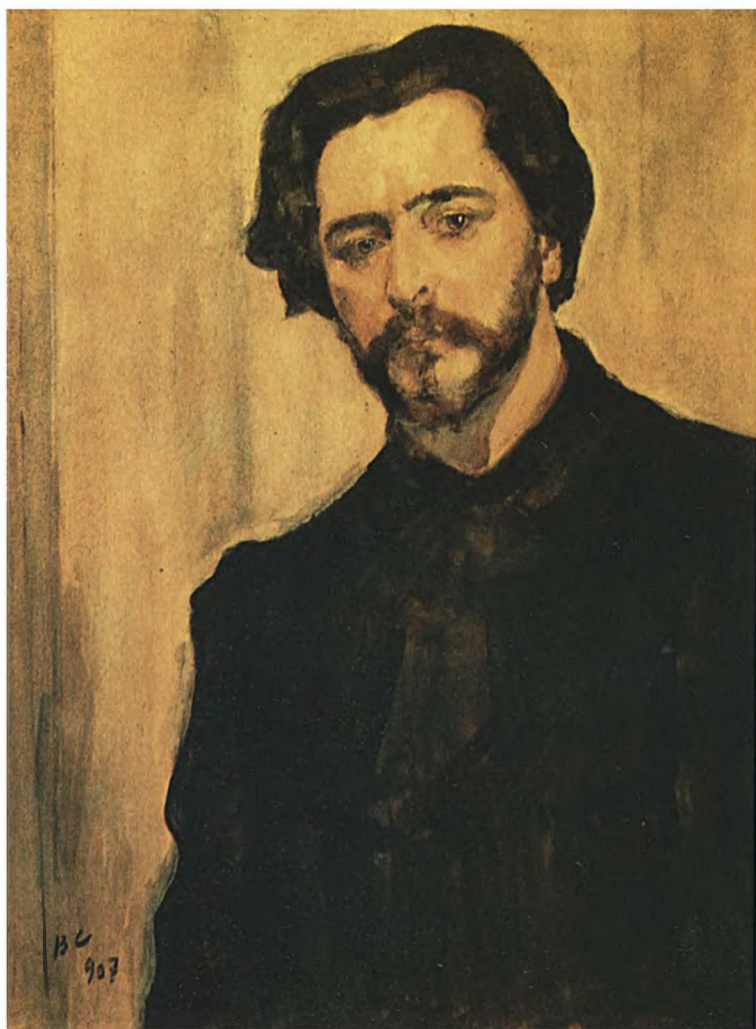


Л.Н. АНДРЕЕВ

НАУКА



ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ  
АНДРЕЕВ

*Портрет работы В. Серова, 1907 г.*

РОССИЙСКАЯ  
АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ  
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
им. А. М. ГОРЬКОГО

ИНСТИТУТ  
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО

РОССИЙСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

ЛИДССКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
(Великобритания)

# Л. Н. АНДРЕЕВ

Полное собрание  
сочинений и писем

В двадцати трех томах



МОСКВА НАУКА 2012

# Л. Н. АНДРЕЕВ

Полное собрание  
сочинений и писем

Том пятый

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
1906 – 1907



МОСКВА НАУКА 2012

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
А65

ISBN 978-5-02-036248-2

ISBN 978-5-02-037537-6 (т. 5)

- © Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Лидсский университет (Великобритания), составление, подготовка текстов, статьи, комментарии, 2012
- © Российская академия наук и издательство “Наука”, Полное (академическое) собрание сочинений и писем Л.Н. Андреева в 23 томах, разработка, оформление, 2007 (год начала выпуска), 2012
- © Редакционно-издательское оформление. Издательство “Наука”, 2012

# Повести и рассказы





# ЕЛЕАЗАР

## I

Когда Елеазар вышел из могилы, где три дня и ночи находился он под загадочною властью смерти, и живым возвратился в свое жилище, в нем долго не замечали тех зловещих странностей, которые со временем сделали страшным самое имя его. Радуюсь светлой радостью о возвращенном к жизни, друзья и близкие ласкали его непрестанно и в заботах о пище и питье и о новой одежде утоляли жадное внимание свое. И одели его пышно в яркие цвета надежды и смеха, и когда он, подобный жениху в брачном одеянии, снова сидел среди них за столом, и снова ел, и снова пил, они плакали от умиления и звали соседей, чтобы взглянуть на чудесно воскресшего. Приходили соседи и радовались умиленно; приходили незнакомые люди из дальних городов и селений и в бурных восклицаниях выражали свое поклонение чуду – точно пчелы гудели над домом Марии и Марфы. 10

И то, что появилось нового в лице Елеазара и движениях его, объясняли естественно, как следы тяжелой болезни и пережитых потрясений. Очевидно, разрушительная работа смерти над трупом была только остановлена чудесной властью, но не уничтожена совсем; и то, что смерть уже успела сделать с лицом и телом Елеазара, было как неоконченный рисунок художника под тонким стеклом. На висках Елеазара, под его глазами и во впадинах щек лежала густая землистая синева; так же землисто-сини были длинные пальцы рук, и у выросших в могиле ногтей синева становилась багровою и темной. Кое-где на губах и на теле лопнула кожа, вздувшаяся в могиле, и на этих местах оставались тонкие красноватые трещинки, блестящие, точно покрытые прозрачной слюдою. И тучен он стал. Раздутое в могиле тело сохранило эти чудовищные размеры, эти страшные выпуклости, за которыми 30 чувствуется зловонная влага разложения. Но трупный, тяжелый запах, которым были пропитаны погребальные одежды Елеазара и, казалось, самое тело его, вскоре исчез совершенно, а через некоторое время смягчилась синева рук и лица и загладились красноватые трещинки кожи, хотя совсем они никогда не исчезли.

С таким лицом предстал он людям во второй своей жизни; но оно казалось естественным тем, кто видел его погребенным.

Кроме лица, изменился как будто нрав Елеазара, но и это никого не удивило и не обратило на себя должного внимания. До 40 смерти своей Елеазар был постоянно весел и беззаботен, любил смех и безобидную шутку. За эту приятную и ровную веселость, лишенную злобы и мрака, так и возлюбил его Учитель. Теперь же он был серьезен и молчалив; сам не шутил и на чужую шутку не отвечал смехом; и те слова, которые он изредка произносил, были самые простые, обыкновенные и необходимые слова, столь же лишенные содержания и глубины, как те звуки, которыми животное выражает боль и удовольствие, жажду и голод. Такие слова всю жизнь может говорить человек, и никто никогда не узнает, чем болела и радовалась его глубокая душа.

50 Так с лицом трупа, над которым три дня властвовала во мраке смерть, – в пышных брачных одеждах, сверкающих желтым золотом и кровавым пурпуром, тяжелый и молчаливый, уже до ужаса другой и особенный, но еще не признанный никем, – сидел он за столом пиршества среди друзей и близких. Широкими волнами, то нежными, то бурливо-звонкими, ходило вокруг него ликование; и теплые взгляды любви тянулись к его лицу, еще сохранившему холод могилы; и горячая рука друга ласкала его синюю, тяжелую руку. И музыка играла. Призвали музыкантов, и они весело играли: тимпан и свирель, цитра и гусли. Точно пчелы гудели – точно 60 цикады трещали – точно птицы пели над счастливым домом Марии и Марфы.

## II

Кто-то неосторожный приподняло покрывало. Кто-то неосторожным одним дуновением брошенного слова разрушил светлые чары и в безобразной наготе открыл истину. Еще мысль не стала ясной в голове его, когда уста, улыбаясь, спросили:

– Отчего ты не расскажешь нам, Елеазар, что было там?

И все замолчали, пораженные вопросом. Как будто сейчас только догадались они, что три дня был мертв Елеазар, и с любопытством смотрели, ожидая ответа. Но Елеазар молчал. 70

– Ты не хочешь нам рассказать, – удивился вопрошавший.  
– Разве так страшно там?

И опять мысль его шла позади слова; если бы она шла впереди, не предложил бы он вопроса, от которого в то же мгновение нестерпимым страхом сжалось его собственное сердце. И всем

стало беспокойно, и уже с тоскою ожидали они слов Елезара, а он молчал холодно и строго, и глаза его были опущены долу. И тут снова, как бы впервые заметили и страшную синеву лица, и отвратительную тучность; на столе, словно позабытая Елезаром, лежала сине-багровая рука его, — и все взоры неподвижно и без- 80  
вольно приковались к ней, точно от нее ждали желанного ответа. А музыканты еще играли; но вот и до них дошло молчание, и как вода заливаает разбросанный уголь, так и оно погасило веселые звуки. Умолкла свирель; умолкли и звонкий тимпан, и журчащие гусли; и точно струна оборвалась, точно сама песнь умерла — дрожащим, оборванным звуком откликнулась цитра. И стало тихо.

— Ты не хочешь? — повторил вопрошавший, бессильный удерживать свой болтливый язык. Было тихо, и неподвижно лежала сине-багровая рука. Вот она слегка шевельнулась, и все вздохнули облегченно и подняли глаза: прямо на них, все охватывая одним 90  
взором, тяжело и страшно смотрел воскресший Елезар.

Это было на третий день после того, как Елезар вышел из могилы. С тех пор многие испытали губительную силу его взора, но ни те, кто был ею сломлен навсегда, ни те, кто в самых первоисточниках жизни, столь же таинственной, как и смерть, нашел волю к сопротивлению, — никогда не могли объяснить ужасного, что недвижимо лежало в глубине черных зрачков его. Смотрел Елезар спокойно и просто, без желания что-либо скрыть, но и без намерения что-либо сказать, — даже холодно смотрел он, как тот, кто бесконечно равнодушен к живому. И многие беззаботные 100  
люди сталкивались с ним близко и не замечали его, а потом с удивлением и страхом узнавали, кто был этот тучный, спокойный, задевший их краем своих пышных и ярких одежд. Не переставало светить солнце, когда он смотрел, не переставало звучать фонтан, и таким же безоблачно-синим оставалось родное небо, но человек, подпавший под его загадочный взор, уже не чувствовал солнца, уже не слышал фонтана и не узнавал родного неба. Иногда человек плакал горько; иногда в отчаянии рвал волосы на голове и безумно звал других людей на помощь, но чаще случалось так, что равнодушно и спокойно он начинал умирать, и умирал долгами 110  
годами, умирал на глазах у всех, умирал бесцветный, вялый и скучный, как дерево, молчаливо засыхающее на каменистой почве. И первые, те, кто кричал и безумствовал, иногда возвращались к жизни, а вторые — никогда.

— Так ты не хочешь рассказать нам, Елезар, что видел ты там? — в третий раз повторил вопрошавший. Но теперь голос его был равнодушен и тускл, и мертвая, серая скука тупо смотрела

из глаз. И все лица покрыла, как пыль, та же мертвая серая скука, и с тупым удивлением гости озирали друг друга и не понимали, 120 зачем собралась она сюда и сидят за богатым столом. Перестали говорить. Равнодушно думали, что надо, вероятно, идти домой, но не могли преодолеть вязкой и ленивой скуки, обессилившей мышцы, и продолжали сидеть, все оторванные друг от друга, как тусклые огоньки, разбросанные по ночному полю.

Но музыкантам платили за то, чтобы они играли, и снова взялись они за инструменты, и снова полились и запрыгали заученно-веселые, заученно-печальные звуки. Все та же привычная гармония развертывалась в них, но удивленно внимали гости: они не 130 знали, зачем это нужно и почему это хорошо, когда люди дергают за струны, надувая щеки, свистят в тонкие дудки и производят странный, разноголосый шум.

– Как они плохо играют! – сказал кто-то.

Музыканты обиделись и ушли. За ними – один по одному – ушли гости, ибо наступила уже ночь. И когда со всех сторон их охватила спокойная тьма, и уже легче становилось дышать, – вдруг перед каждым из них в грозном сиянии встал образ Елеазара: синее лицо мертвеца, одежды жениха, пышные и яркие, и холодный взгляд, в глубине которого неподвижно застыло ужасное. Точно превращенные в камень, стояли они в разных концах, 140 и тьма их окружала, и во тьме все ярче разгоралось ужасное видение, сверхъестественный образ того, кто три дня находился под загадочной властью смерти. Три дня он был мертв: трижды восходило и заходило солнце, а он был мертв; дети играли, журчала по камням вода, горячая пыль вздымалась на проезжей дороге, – а он был мертв. И теперь он снова среди людей – касается их – смотрит на них – смотрит на них! – и сквозь черные кружки его зрачков, как сквозь темные стекла, смотрит на людей само непостижимое Там.

### III

150 Никто не заботился об Елеазаре, не осталось у него близких и друзей, и великая пустыня, обнимавшая святой город, приблизилась к самому порогу жилища его. И в дом его вошла, и на ложе его раскинулась, как жена, и огни погасила. Никто не заботился об Елеазаре. Одна за другою ушли сестры его – Мария и Марфа, – долго не хотела покидать его Марфа, ибо не знала, кто будет его кормить, и жалеть его, плакала и молилась. Но в одну ночь, когда ветер носился в пустыне и со свистом сгибались кипарисы над кровлей, она

тихо оделась и тихо ушла. Вероятно, слышал Елеазар, как хлопнула дверь, как, незапертая плотно, она хлопалась о косяки под порывами ветра, — но не поднялся он, не вышел, не посмотрел. И всю ночь до утра свистели над его головою кипарисы, и жалобно постукивала дверь, выпуская в жилище холодную, жадно рыскающую пустыню. Как прокаженного, избегали его все, и, как прокаженному, хотели на шею ему надеть колокольчик, чтобы избежать во время встречи. Но кто-то, побледнев, сказал, что будет очень страшно, если ночью под окнами послышится звон Елеазарова колокольца, — и все, бледнея, согласились с ним. 160

И так как и сам он не заботился о себе, то, быть может, умер бы он от голода, если бы соседи, чего-то боясь, не ставили ему пищу. Приносили ее дети; они не боялись Елеазара, но и не смеялись над ним, как с невинной жестокостью смеются они над несчастными. Были равнодушны к нему, и таким же равнодушием платил Елеазар: не было у него желания приласкать черную головку и заглянуть в наивные, сияющие глазки. Отданный во власть времени и пустыне, разрушался его дом, и давно разбежались по соседям голодные, блеющие козы. И обветшали брачные одежды его. Как надел он их в тот счастливый день, когда играли музыканты, так и носил, не меняя, точно не видел разницы между новым и старым, между рваным и крепким. Яркие цвета выгорели и поблекли; злые городские собаки и острый терн пустыни в лохмотья превратили нежную ткань. 170

Днем, когда беспощадное солнце становилось убийцей всего живого и даже скорпионы забивались под камни и там корчились от безумного желания жалить, он неподвижно сидел под лучами, подняв кверху синее лицо и косматую, дикую бороду.

Когда с ним еще говорили, его спросили однажды:

— Бедный Елеазар! Тебе приятно сидеть и смотреть на солнце?

И он ответил:

— Да, приятно. 190

Так, вероятно, силен был холод трехдневной могилы, так глубока тьма ее, что не было на земле ни такого жара, ни такого света, который мог бы согреть Елеазара и осветить мрак его очей, — подумали вопрошавшие и со вздохом отошли.

А когда багрово-красный, расплющенный шар опускался к земле, Елеазар уходил в пустыню и шел прямо на солнце, как будто стремился настигнуть его. Всегда прямо на солнце шел он, и те, кто пытались проследить путь его и узнать, что делает он ночью в пустыне, неизгладимо запечатлели в памяти черный силуэт высо-

200 кого, тучного человека на красном фоне огромного сжатого диска. Ночь прогнала их страхами своими, и так не узнали они, что делает в пустыне Елеазар, но образ черного на красном выжегся в мозгу и не уходил. Как зверь, засоривший глаза, яростно трет лапами морду, так глупо терли и они глаза свои, но то, что давал Елеазар, было неизгладимо и забывалось, быть может, только со смертью.

Но были люди, жившие далеко, которые никогда не видали Елеазара и только слышали о нем. С дерзновенным любопытством, которое сильнее страха и питается страхом, с затаенной насмешкой в душе, они приходили к сидящему под солнцем и вступали в 210 беседу. В это время вид Елеазара уже изменился к лучшему и не был так страшен; и в первую минуту они щелкали пальцами и неодобрительно думали о глупости жителей святого города. А когда короткий разговор кончился и они уходили домой, они имели такой вид, что жители святого города сразу узнавали их и говорили:

– Вот еще идет безумец, на которого посмотрел Елеазар, – и с сожалением цмокали и поднимали руки.

Приходили, бряцая оружием, храбрые воины, не знавшие страха; приходили со смехом и песнями счастливые юноши; и озабоченные дельцы, позвякивая деньгами, забежали на минуту; и надменные 220 служители храма ставили свои посохи у дверей Елеазара, – и никто не возвращался каким приходил. Одна и та же страшная тень опускалась на души и новый вид давала старому, знакомому миру.

Так передавали чувства свои те, которые еще имели охоту говорить:

Все предметы, видимые глазом и осязаемые руками, становились пусты, легки и прозрачны – подобны светлым теням во мраке ночи становились они;

230 ибо та великая тьма, что объемлет все мироздание, не рассеивалась ни солнцем, ни луною, ни звездами, а безграничным черным покровом одевала землю, как мать, обнимала ее;

во все тела проникала она, в железо и камень, и одиноки становились частицы тела, потерявшие связь; и в глубину частиц проникала она, и одиноки становились частицы частиц;

ибо та великая пустота, что объемлет мироздание, не наполнялась видимым, ни солнцем, ни луною, ни звездами, а царила безбрежно, всюду проникая, все отъединяя: тело от тела, частицы от частиц;

240 в пустоте расстилали свои корни деревья и сами были пусты; в пустоте, грозя призрачным падением, высились храмы, дворцы и дома, и сами были пусты; и в пустоте двигался беспокойно человек, и сам был пуст и легок как тень;

ибо не стало времени, и сблизились начало каждой вещи с концом ее: еще только строилось здание, и строители еще стучали молотками, а уж виделись развалины его и пустота на месте развалин; еще только рождался человек, а над головою его зажигались погребальные свечи, и уже тухли они, и уже пустота становилась на месте человека и погребальных свечей;

и, объятый пустотою и мраком, безнадежно трепетал человек перед ужасом Бесконечного.

Так говорили те, кто еще имел охоту говорить. Но, вероятно, 250 еще больше могли бы сказать те, которые не хотели говорить и молча умирали.

#### IV

В это время жил в Риме один знаменитый скульптор. Из глины, мрамора и бронзы он создавал тела богов и людей, и такова была их божественная красота, что люди называли ее бессмертною. Но сам он был недоволен и утверждал, что есть еще нечто поистине красивейшее, чего не может он закрепить ни в мраморе, ни в бронзе. “Еще лунного сияния не собрал я, – говорил он, – еще солнечным светом не упился я – и нет в моем мраморе души, 260 нет жизни в моей красивой бронзе”. И когда в лунные ночи он медленно брел по дороге, пересекая черные тени кипарисов, мелькая белым хитоном под луною, встречные дружески смеялись и говорили:

– Не лунный ли свет идешь ты собирать, Аврелий! Почему не взял ты с собою корзины?

И так, смеясь, он показывал на свои глаза:

– Вот мои корзины, куда собираю я свет луны и сияние солнца.

И это была правда: светила луна в его глазах, и солнце сверкало в них. Но не мог он перевести их в мрамор, и в этом было светлое страдание его жизни.

Происходил он из древнего рода патрициев, имел добрую жену и детей и ни в чем не терпел недостатка.

Когда дошел до него темный слух об Елеазаре, он посоветовался с женою и друзьями и предпринял далекое путешествие в Иудею, чтобы взглянуть на чудесно воскресшего. Было ему немного скучно в эти дни, и надеялся он дорогою обострить утомленное внимание свое. То, что рассказывали ему о воскресшем, не пугало его: он много размышлял о смерти, не любил ее, но не любил и тех, кто 280 смешивает ее с жизнью. По эту сторону – прекрасная жизнь, по ту

сторону – загадочная смерть, размышлял он, и ничего лучшего не может придумать человек, как, живя, радоваться жизни и красоте живого. И имел он даже некоторое тщеславное желание: убедить Елеазара в истине своего взгляда и вернуть к жизни его душу, как было возвращено его тело. Тем более легко это казалось, что слухи о воскресшем, пугливые и странные, не передавали всей правды о нем и только смутно предостерегали против чего-то ужасного.

Уже поднимался Елеазар с камня, чтобы идти вслед за уходящим в пустыню солнцем, когда приблизился к нему богатый римлянин, сопровождаемый вооруженным рабом, и звонко окликнул его:  
– Елеазар!

И увидел Елеазар прекрасное гордое лицо, осиянное славой, и светлые одежды, и драгоценные камни, сверкающие под солнцем. Красноватые лучи придавали голове и лицу сходство с тускло блистающей бронзой – и это увидел Елеазар. Послушно сел он на свое место и утомленно опустил глаза.

– Да, ты некрасив, мой бедный Елеазар, – говорил спокойно римлянин, играя золотую цепью, – ты даже страшен, мой бедный друг; и смерть не была ленивой в тот день, когда ты так неосторожно попал в ее руки. Но ты толст, как бочка, а толстые люди не бывают злы, говорил великий Цезарь, и я не понимаю, почему так боятся тебя люди. Ты позволишь мне переночевать у тебя? Уже поздно, а у меня нет приюта.

Еще никто не просил Елеазара провести у него ночь.

– У меня нет ложа, – сказал он.

– Я немного воин и могу спать сидя, – ответил римлянин. – Мы зажжем огонь...

– У меня нет огня.

310 – Тогда в темноте, как два друга, мы поведем беседу. Я думаю, у тебя найдется немного вина...

– У меня нет вина.

Римлянин засмеялся.

– Теперь я понимаю, почему так мрачен ты и не любишь своей второй жизни. Нет вина! Ну что же, останемся и так: ведь есть речи, которые кружат голову не хуже фалернского.

Движением руки он отпустил раба, и они остались вдвоем. И снова заговорил скульптор, но будто вместе с уходящим солнцем уходила жизнь из его слов, и становились они бледные и пустые, – будто шатались они на нетвердых ногах, будто скользили и падали они, упившись вином тоски и отчаяния. И черные провалы между ними появились – как далекие намеки на великую пустоту и великий мрак.



– Теперь я твой гость, и ты не обидишь меня, Елеазар! – говорил он. – Гостеприимство обязательно даже для тех, кто три дня был мертв. Ведь три дня, говорили мне, ты пробыл в могиле. Там холодно, должно быть... и оттуда ты вынес эту скверную привычку обходиться без огня и вина. А я люблю огонь, здесь так быстро темнеет... У тебя очень интересные линии бровей и лба: точно занесенные пеплом развалины каких-то дворцов после землетрясения. Но почему ты в такой странной и некрасивой одежде? Я видел женихов в вашей стране, и они носят такое платье – такое смешное платье – такое страшное платье... Но разве ты жених? 330

Уже скрылось солнце, черная гигантская тень побежала с востока – точно босые, огромные ноги зашуршали по песку, и дуновение быстрого бега обвеяло холодом спину.

– В темноте ты кажешься еще больше, Елеазар, ты точно растолстел за эти минуты. Уже не кормишься ли ты тьмою?.. А я бы хотел огня – хоть маленький огонь, хоть маленький огонь. И мне 340 холодно немного, у вас такие варварски холодные ночи... Если бы не было так темно, я сказал бы, что ты смотришь на меня, Елеазар. Да, кажется, ты смотришь... Ведь ты смотришь на меня, я чувствую, – ну вот ты улыбнулся.

Ночь пришла, и тяжелой чернотой налился воздух.

– Вот будет хорошо, когда завтра снова взойдет солнце... Ведь ты знаешь, что я великий скульптор – так зовут меня друзья. Я творю, да, это называется творить... но для этого нужен день. Холодному мрамору я даю жизнь, я плавлю на огне звенящую бронзу, на ярком, горячем огне... Зачем ты тронул меня рукой! 350

– Пойдем, – сказал Елеазар. – Ты мой гость.

И они пошли в дом. И долгая ночь легла на землю.

Раб не дождался господина и пришел за ним, когда уже высоко стояло солнце. И увидел: прямо под палящими лучами его сидели рядом Елеазар и его господин, смотрели вверх и молчали. Заплакал раб и громко закричал:

– Господин, что с тобою? Господин!

В тот же день он уехал в Рим. Всю дорогу Аврелий был задумчив и молчал, внимательно оглядывал все – людей, корабль и море, и точно старался что запомнить. В море застигла их сильная 360 буря, и во все время ее Аврелий находился на палубе и жадно вглядывался в надвигающиеся и падавшие валы. Дома испугались страшной перемене, которая произошла со скульптором, но он успокоил домашних, многозначительно сказав:

– Я нашел.

И в той же грязной одежде, которую не менял он всю доро-  
гу, он взялся за работу, и мрамор покорно зазвенел под гулками  
ударами молотка. Долго и жадно работал он, никого не впуская,  
и наконец в одно утро сказал, что произведение готово, и повелел  
370 созвать друзей, строгих ценителей и знатоков искусства. И, ожи-  
дая их, оделся пышно в яркие праздничные одежды, сверкавшие  
желтым золотом, красневшие пурпуром виссона.

– Вот что я создал, – сказал он задумчиво.

Взглянули друзья его, и тень глубокой скорби покрыла их  
лица. Это было нечто чудовищное, не имевшее в себе ни одной из  
знакомых глазу форм, но не лишенное намека на какой-то новый,  
неведомый образ. На тоненькой, кривой веточке, или уродливом  
подобии ее, криво и странно лежала слепая, безобразная, раскоря-  
ченная грудка чего-то ввернутого внутрь, чего-то вывернутого на-  
380 ружу, каких-то диких обрывков, бессильно стремящихся уйти от  
самих себя. И случайно, под одним из дико кричащих выступов,  
заметили дивно изваянную бабочку, с прозрачными крылышками,  
точно трепетавшими от бессильного желания лететь.

– Зачем эта дивная бабочка, Аврелий? – нерешительно спросил кто-то.

– Не знаю, – ответил скульптор.

Но нужно было сказать правду, и один из друзей, тот, что  
больше любил Аврелия, твердо сказал:

– Это безобразно, мой бедный друг. Это надо уничтожить.  
390 Дай молоток.

И двумя ударами он разрушил чудовищную грудку, оставив  
только дивно изваянную бабочку.

С тех пор Аврелий больше ничего не создал. С глубоким  
равнодушием он смотрел на мрамор и на бронзу и на свои  
прежние божественные создания, на которых почил бессмерт-  
ная красота. Думая вдохнуть в него старый жар к работе, раз-  
будить его омертвевшую душу, его водили смотреть чужие  
прекрасные произведения, – но все так же равнодушен оста-  
вался он, и улыбка не согревала его сомкнутых уст. И только  
400 когда много и долго ему говорили о красоте, он возражал утом-  
ленно и вяло:

– Но ведь все это – ложь.

А днем, когда светило солнце, он выходил в свой богатый,  
искусно устроенный сад и, найдя место, где не было тени, отда-  
вал непокрытую голову и тусклые очи свои сверканию и зною.  
Порхали красные и белые бабочки; в мраморный водоем сбегала  
плескаясь вода из искривленных уст блаженно-пьяного сатира,

а он сидел неподвижно – как бледное отражение того, кто в глубокой дали, у самых врат каменной пустыни, так же неподвижно сидел под огненным солнцем.

410

## V

И вот призвал к себе Елеазара сам великий, божественный Август.

Одели Елеазара пышно, в торжественные брачные одежды – как будто время узаконило их и до самой своей смерти он должен был оставаться женихом неведомой невесты. Похоже было на то, как будто на старый, гниющий, уже начавший разваливаться гроб навели новую позолоту и привесили новые, веселые кисти. И торжественно повезли его, все нарядные и яркие, как будто и вправду двигался свадебный поезд, и передовые громко трубили в трубы, 420 чтобы давали дорогу посланцам императора. Но пустыни были пути Елеазара: вся родная страна уже проклинала ненавистное имя чудесно воскресшего, и разбежался народ при одной вести о страшном приближении его. Одиноко трубили медные трубы, и только пустыня отвечала протяжным эхом своим.

Потом повезли его морем. И это был самый нарядный и самый печальный корабль, который отражался когда-либо в лазурных волнах Серединного моря. Много людей на нем находилось, но, как гробница, был он безмолвен и тих, и словно плакала безнадежно вода, огибая крутой, красиво изогнутый нос. Одиноко сидел там Елеазар, подставляя непокрытую голову солнцу, слушал журчание струй и молчал, а вдали смутной толпою 'тоскующих теней бессильно и вяло лежали, сидели моряки и посланцы. Если бы в это время ударил гром, ветер рванул красные паруса, корабль, вероятно, погиб бы, так как ни у кого из бывших на нем не было ни сил, ни охоты бороться за жизнь. С последним усилием некоторые подходили к борту и жадно вглядывались в голубую, прозрачную бездну: не мелькнет ли в волнах розовым плечом наяда, не промчится ль, взбивая копытами брызги, безумно-веселый и пьяный кентавр. Но пустынно было море, и морская бездна 440 была нема и пустынна.

Равнодушно ступил Елеазар на улицы Вечного города. Слово все богатство его, все величие зданий, возведенных гигантами, весь блеск, и красота, и музыка утонченной жизни – было лишь отзвуком ветра в пустыне, отблеском мертвых зыбучих песков. Мчались колесницы, двигались толпы сильных, красивых, надменных людей, строителей Вечного города и гордых участников

жизни его; звучала песня – смеялись фонтаны и женщины своим жемчужным смехом – философствовали пьяные – с улыбкой  
450 слушали их трезвые – и подковы стучали, подковы стучали о камень настилки. И, охваченный со всех сторон веселым шумом, холодным пятном безмолвия двигался среди города тучный, тяжелый человек и сеял на пути своем досаду, гнев и смутную, сосущую тоску. “Кто смеет быть печальным в Риме?” – негодовали граждане и хмурились, а через два дня уже весь быстроязычный Рим знал о чудесно воскресшем и пугливо сторонился от него.

Но были и здесь многие смелые люди, желавшие испытать силу свою, и на их неосмысленный зов послушно приходил Елеазар. Занятый делами государства, император медлил с приемом, и  
460 целых семь дней ходил по людям чудесно воскресший.

Вот пришел Елеазар к веселому пьянице, и пьяница смехом красных губ встретил его.

– Пей, Елеазар, пей! – кричал он. – Вот посмеется Август, когда увидит тебя пьяным!

И смеялись обнаженные, пьяные женщины, и лепестки роз ложились на синие руки Елеазара. Но взглянул пьяница в глаза его – и навсегда кончилась его радость. На всю жизнь остался он  
470 пьяным; уже не пил ничего, но оставался пьяным, – но, вместо радостных грез, что дает вино, страшные сны осенили несчастную голову его. Страшные сны стали единственной пищей его пораженного духа. Страшные сны и днем и ночью держали его в чаду своих чудовищных созданий, и сама смерть не была страшнее того, чем явили себя ее свирепые предтечи.

Вот пришел Елеазар к юноше и девушке, которые любили друг друга и были прекрасны в своей любви. Гордо и крепко обнимая рукою свою возлюбленную, юноша сказал с тихим сожалением:

– Взгляни на нас, Елеазар, и порадуйся с нами. Разве есть что-нибудь сильнее любви?

480 И взглянул Елеазар. И всю жизнь продолжали они любить друг друга, но печальной и сумрачной стала их любовь, как те надмогильные кипарисы, что корни свои питают тлением гробниц и острою черных вершин своих тщетно ищут неба в тихий вечерний час. Бросаемые неведомою силою жизни в объятия друг друга, поцелуи они смешивали со слезами, наслаждение – с болью, и дважды рабами чувствовали себя: покорными рабами требовательной жизни и безответными слугами грозно молчащего Ничто. Вечно соединяемые, вечно разъединяемые, они вспыхивали, как искры, и, как искры, гасли в безграничной темноте.

Вот пришел Елеазар к гордому мудрецу, и мудрец сказал 490  
ему:

– Я уже знаю все, что ты можешь сказать ужасного, Елеазар.  
Чем еще ты можешь ужаснуть меня?

Но немного прошло времени, и уже почувствовал мудрец,  
что знание ужасного не есть еще ужасное и что видение смерти  
не есть еще смерть. И почувствовал он, что мудрость и глупость  
одинаково равны перед лицом Бесконечного, ибо не знает их Бес-  
конечное. И исчезла грань между ведением и неведением, между  
правдой и ложью, между верхом и низом, и в пустоте повисла его  
бесформенная мысль. Тогда схватил он себя за седую голову и 500  
закричал испуганно:

– Я не могу думать! Я не могу думать!

Так погибало под равнодушным взглядом чудесно воскресше-  
го все, что служит к утверждению жизни, смысла и радостей ее.  
И стали говорить, что опасно пускать его к императору, что лучше  
убить его и, схоронив тайно, сказать, что скрылся он неизвестно  
куда. Уже мечи точились и преданные благу народа юноши само-  
отверженно готовили себя в убийцы, когда Август потребовал,  
чтобы наутро явился к нему Елеазар, и тем расстроил жестокие  
планы.

510

Если нельзя было совсем устранить Елеазара, то желали  
хоть немного смягчить то тяжелое впечатление, какое произво-  
дило лицо его. И с этой целью собрали искусных художников,  
цирюльников и артистов, и всю ночь трудились над головою  
Елеазара. Подстригли бороду, завили ее и придали ей опрят-  
ный и красивый вид. Неприятна была мертвецкая синева его  
рук и лица, и красками удалили ее: набелили руки и нарумяни-  
ли щеки. Отвратительны были морщины страданий, которые  
бороздили старое лицо, и их замазали, покрасили, загладили  
совсем, а по чистому фону тонкими кисточками искусно про- 520  
вели морщины добродушного смеха и приятной, беззлобной  
веселости.

Равнодушно подчинялся Елеазар всему, что делали с ним,  
и вскоре превратился в естественно-толстого, красивого стари-  
ка, спокойного и добродушного деда многочисленных внуков.  
Еще не сошла с уст его улыбка, с какой рассказывал он смеш-  
ные сказки, еще таилась в углу глаз стариковская тихая неж-  
ность, – таким казался он. Но брачной одежды снять они не  
посмели, но глаз его они изменить не могли – темных и страш-  
ных стекол, сквозь которые смотрело на людей само непости-  
жимое Там.

530

## VI

Не тронуло Елеазара великолепие императорских чертогов. Как будто не видел он разницы между своим развалившимся домом, к которому подошла пустыня, и каменным, крепким, красивым дворцом, – так равнодушно смотрел и не смотрел он, проходя. И твердый мрамор полов под его ногами становился подобным зыбучему песку пустыни, и множество прекрасно одетых надменных людей становилось подобно пустоте воздуха под взорами его. В лицо его не глядели, когда он проходил, опасаясь подвергнуться страшному влиянию его глаз; но, когда по звуку тяжелых шагов догадывались, что он миновал стоящих, – поднимали головы и с боязливым любопытством рассматривали фигуру тучного, высокого, слегка согбенного старика, медленно углублявшегося в самое сердце императорского дворца. Если бы сама смерть проходила, не более пугались бы ее люди, ибо до сих пор было так, что смерть знал только мертвый, а живой знал только жизнь – и не было моста между ними. А этот, необыкновенный, знал смерть, и было загадочно и страшно проклятое знание его. “Убьет он нашего великого, божественного Августа”, – думали со страхом люди и посылали бессильные проклятия вслед Елеазару, медленно и равнодушно входившему все дальше и дальше, все глубже и глубже.

Уже знал и цезарь о том, кто такой Елеазар, и приготовился к встрече. Но был он мужественный человек, чувствовал огромную, непобедимую силу свою и в роковом поединке с чудесно воскресшим не пожелал опереться на слабую помощь людей. Один на один, лицом к лицу сошелся он с Елеазаром.

– Не поднимай на меня взоров твоих, Елеазар, – приказал он вошедшему. – Слышал я, что голова твоя подобна голове Медузы и превращает в камень каждого, на кого ты взглянешь. А я хочу рассмотреть тебя и поговорить с тобою, прежде чем превращусь в камень, – добавил он с царственной шутливостью, не лишенной страха.

Подойдя близко, он внимательно рассмотрел лицо Елеазара и его странную праздничную одежду. И был обманут искусной подделкой, хотя взор имел острый и зоркий.

– Так. На вид ты не страшен, почтенный старичок. Но тем хуже для людей, когда страшное принимает такой почтенный и приятный вид. Теперь поговорим.

Август сел и, допрашивая взором столько же, как и словами, начал беседу:

– Почему ты не приветствовал меня, когда входил?

Елеазар равнодушно ответил:

– Я не знал, что это нужно.

– Ты христианин?

– Нет.

Август одобрительно кивнул головой.

– Это хорошо. Я не люблю христиан. Они трясут дерево жизни, не дав ему покрыться плодами, и по ветру рассеивают его благоуханный цвет. Но кто же ты?

580

С некоторым усилием Елеазар ответил:

– Я был мертвым.

– Я слышал об этом. Но кто же ты теперь?

Елеазар медлил ответом и наконец повторил равнодушно и тускло:

– Я был мертвым.

– Послушай меня, неведомый, – сказал император, отдельно и строго говоря то, о чем уже думал он раньше, – мое царство – царство живых, мой народ – народ живых, а не мертвых. И ты лишний здесь. Я не знаю, кто ты, я не знаю, что ты видел там, – 590  
но если ты лжешь, я ненавижу ложь твою, но если ты говоришь правду – я ненавижу твою правду. В моей груди я чувствую трепет жизни; в моих руках я чувствую мощь – и гордые мысли мои, как орлы, облетают пространство. А там, за моей спиной, под охраною моей власти, под сенью мною созданных законов живут, и трудятся, и радуются люди. Ты слышишь эту дивную гармонию жизни? Ты слышишь этот воинственный клич, который бросают люди в лицо грядущему, зовя его на бой?

Август молитвенно простер руки и торжественно воскликнул:

600

– Будь благословенна, великая, божественная жизнь!

Но Елеазар молчал, и с увеличенной строгостью продолжал император:

– Ты лишний здесь. Ты, жалкий остаток, недоеденный смертью, внушаешь людям тоску и отвращение к жизни; ты, как гусеница на полях, объедаешь тучный колос радости и извергаешь слизь отчаяния и скорби. Твоя правда подобна ржавому мечу в руках ночного убийцы, – и, как убийцу, я предаю тебя казни. Но раньше я хочу взглянуть в твои глаза. Быть может, только трусы боятся их, а в храбром они будят жажду борьбы и победы: тогда 610  
не казни, а награды достоин ты... Взгляни же на меня, Елеазар.

И в первое мгновение показалось божественному Августу, что друг смотрит на него, – так мягко, так нежно-чарующ был взор Елеазара. Не ужас, а тихий покой обещал он, и нежной любовни-

цей, сострадательною сестрою – матерью казалось Бесконечное. Но все крепче становились нежные объятия его, и уже дыхание перехватывал алчный до поцелуев рот, и уже сквозь мягкую ткань тела проступало железо костей, сомкнувшихся железным кругом, – и чьи-то тупые, холодные когти коснулись сердца и вяло погрузились в него.

– Мне больно, – сказал божественный Август бледнея. – Но смотри, Елеазар, смотри!

Точно медленно расходились какие-то тяжелые, извека закрытые ворота, и в растущую щель холодно и спокойно вливался грозный ужас Бесконечного. Вот двумя тенями вошли необъятная пустота и необъятный мрак и погасили солнце, у ног отняли землю, и кровлю отняли у головы. И перестало болеть леденеющее сердце.

– Смотри, смотри, Елеазар! – приказал Август шатаясь.

630 Остановилось время, и страшно сблизилось начало всякой вещи с концом ее. Только что воздвигнутый, уже разрушился трон Августа, и пустота уже была на месте трона и Августа. Бесшумно разрушился Рим, и новый город стал на месте его и был поглощен пустотою. Как призрачные великаны, быстро падали и исчезали в пустоте города, государства и страны, и равнодушно глотала их, не насыщаясь, черная утроба Бесконечного.

– Остановись, – приказал император. Уже равнодушие звучало в голосе его, и бессильно обвисали руки, и в тщетной борьбе с надвигающимся мраком загорались и гасли его орлиные глаза.

640 – Убил ты меня, Елеазар, – сказал он тускло и вяло.

И эти слова безнадежности спасли его. Он вспомнил о народе, щитом которого он призван быть, и острой, спасительной болью пронизалось его омертвевшее сердце. “Обреченные на гибель”, – с тоскою подумал он; “светлые тени во мраке Бесконечного”, – с ужасом подумал он; “хрупкие сосуды с живою, волнующейся кровью, с сердцем, знающим скорбь и великую радость”, – с нежностью подумал он.

И так, размышляя и чувствуя, склоняя весы то на сторону жизни, то на сторону смерти, он медленно вернулся к жизни, чтобы в страданиях и радости ее найти защиту против мрака пустоты и ужаса Бесконечного.

– Нет, не убил ты меня, Елеазар, – сказал он твердо, – но я убью тебя. Ступай!

В тот вечер с особенной радостью вкушал пищу и питье божественный Август. Но минутами застывала в воздухе поднятая рука, и тусклый блеск заменял яркое сияние его орлиных глаз –



то ужас ледяной волною пробежал у ног его. Победенный, но не убитый, холодно ожидающий своего часа, он черною тенью на всю жизнь стал у изголовья его, владея ночами и послушно уступая светлые дни скорбям и радостям жизни. 660

На другой день по приказу императора каленым железом выжгли Елеазару глаза и на родину отправили его. Умертвить его не решился божественный Август.

---

Вернулся Елеазар в пустыню, и приняла его пустыня свистящим дыханием ветра и зноем раскаленного солнца. Снова сидел он на камне, подняв кверху лохматую, дикую бороду, и две черные ямы на месте выжженных глаз тупо и страшно смотрели на небо. Вдали беспокойно шумел и двигался святой город, а вблизи было безлюдно и немо: никто не приближался к месту, где доживал дни свои чудесно воскресший, и уже соседи давно покинули дома свои. Загнанное каленым железом в глубину черепа, проклятое знание его таилось там точно в засаде; точно из засады впивалось оно тысячью невидимых глаз в человека, – и уже никто не смел взглянуть на Елеазара. 670

А вечером, когда, краснея и ширясь, солнце клонилось к закату, за ним медленно двигался слепой Елеазар. Наткнулся на камни и падал, тучный и слабый, тяжело поднимался и снова шел; и на красном пологе зари его черное туловище и распростертые руки давали чудовищное подобие креста. 680

Случилось, пошел он однажды и больше не вернулся. Так, видимо, закончилась вторая жизнь Елеазара, три дня пробывшего под загадочной властью смерти и чудесно воскресшего.

*Август 1906 г.*

# ИУДА ИСКАРИОТ

## I

Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда из Кариота – человек очень дурной славы и его нужно остерегаться. Одни из учеников, бывавшие в Иудее, хорошо знали его сами, другие много слышали о нем от людей, и не было никого, кто мог бы сказать о нем доброе слово. И если порицали его добрые, говоря, что Иуда корыстолюбив, коварен, склонен к притворству и лжи, то и дурные, которых расспрашивали об Иуде, поносили его 10 самыми жестокими словами. “Он ссорит нас постоянно, – говорили они, отплевываясь, – он думает что-то свое и в дом влезает тихо, как скорпион, а выходит из него с шумом. И у воров есть друзья, и у грабителей есть товарищи, и у лжецов есть жены, которым говорят они правду, а Иуда смеется над ворами, как и над честными, хотя сам крадет искусно, и видом своим безобразнее всех жителей в Иудее. Нет, не наш он, этот рыжий Иуда из Кариота”, – говорили дурные, удивляя этим людей добрых, для которых не было большой разницы между ним и всеми остальными порочными людьми Иудеи.

20 Рассказывали далее, что свою жену Иуда бросил давно, и живет она несчастная и голодная, безуспешно стараясь из тех трех камней, что составляют поместье Иуды, выжать хлеб себе на питание. Сам же он много лет шатается бессмысленно в народе и доходил даже до одного моря и до другого моря, которое еще дальше; и всюду он лжет, кривляется, зорко высматривает что-то своим воровским глазом; и вдруг уходит внезапно, оставляя по себе неприятности и ссору – любопытный, лукавый и злой, как одноглазый бес. Детей у него не было, и это еще раз говорило, что Иуда – дурной человек и не хочет Бог потомства от Иуды.

30 Никто из учеников не заметил, когда впервые оказался около Христа этот рыжий и безобразный иудей; но уж давно неотступно шел он по ихнему пути, вмешивался в разговоры, оказывал маленькие услуги, кланялся, улыбался и заискивал. И то совсем привычен он становился, обманывая утомленное зрение, то вдруг бросался в глаза и в уши, раздражая их, как нечто невиданно-

безобразное, лживое и омерзительное. Тогда суровыми словами отгоняли его, и на короткое время он пропадал где-то у дороги, — а потом снова незаметно появлялся, услужливый, льстивый и хитрый, как одноглазый бес. И не было сомнения для некоторых из учеников, что в желании его приблизиться к Иисусу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет.

Но не послушал их советов Иисус; не коснулся Его слуха их пророческий голос. С тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек Его к отверженным и нелюбимым, Он решительно принял Иуду и включил его в круг избранных. Ученики волновались и сдержанно роптали, а Он тихо сидел, лицом к заходящему солнцу, и слушал задумчиво, может быть, их, а может быть, и что-нибудь другое. Уж десять дней не было ветра, и все тот же оставался, не двигаясь и не меняясь, прозрачный воздух, внимательный и чуткий. И казалось, будто бы сохранил он в своей прозрачной глубине все то, что кричалось и пелось в эти дни людьми, животными и птицами, — слезы, плач и веселую песню, молитву и проклятия; и от этих стеклянных, застывших голосов был он такой тяжелый, тревожный, густо насыщенный незримой жизнью. И еще раз заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно книзу, зажигая небо; и все на земле, что было обращено к нему: смуглое лицо Иисуса, стены домов и листья деревьев, — все покорно отражало тот далекий и страшно задумчивый свет. Белая стена уже не была белою теперь, и не остался белым красный город на красной горе.

---

И вот пришел Иуда.

Пришел он, низко кланяясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая вперед свою безобразную бугроватую голову, — как раз такой, каким представляли его знающие. Он был худошав, хорошего роста, почти такого же, как Иисус, который слегка сутулился от привычки думать при ходьбе и от этого казался ниже; и достаточно крепок силою был он, по-видимому, но зачем-то притворялся хилым и болезненным и голос имел переменчивый: то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей мужа, досадно-жидкий и неприятный для слуха; и часто слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые, шероховатые занозы. Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу: за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким черепом всегда

слышится шум кровавых и беспощадных битв. Двоилось так же и лицо Иуды: одна сторона его, с черным, остро высматривающим 80 глазом, была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая; и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза. Покрытый белесой мутью, не смыкающийся ни ночью, ни днем, он одинаково встречал и свет и тьму; но оттого ли, что рядом с ним был живой и хитрый товарищ, не верилось в его полную слепоту. Когда в припадке робости или волнения Иуда закрывал свой живой глаз и качал головой, этот качался вместе с движениями головы и молчаливо смотрел. Даже люди, совсем 90 лишённые пронизательности, ясно понимали, глядя на Искарриота, что такой человек не может принести добра, а Иисус приблизил его и даже рядом с Собою – рядом с Собою посадил Иуду.

Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные, любя Учителя своего, неодобрительно потупились. А Иуда сел – и, двигая головою направо и налево, тоненьким голоском стал жаловаться на болезни, на то, что у него болит грудь по ночам, что, всходя на горы, он задыхается, а стоя у края пропасти, испытывает головокружение и едва удерживается от глупого желанья броситься вниз. И многое другое безбожно выдумывал он, 100 как будто не понимая, что болезни приходят к человеку не случайно, а рождаются от несоответствия поступков его с заветами Предвечного. Потирал грудь широкою ладонью и даже кашлял притворно этот Иуда из Кариота при общем молчании и потупленных взорах.

Иоанн, не глядя на Учителя, тихо спросил Петра Симонова, своего друга:

– Тебе не наскучила эта ложь? Я не могу дольше выносить ее и уйду отсюда.

Петр взглянул на Иисуса, встретил Его взор и быстро встал.

– Подожди! – сказал он другу.

110 Еще раз взглянул на Иисуса, быстро, как камень, оторванный от горы, двинулся к Иуде Искарриоту и громко сказал ему с широкой и ясной приветливостью:

– Вот и ты с нами, Иуда.

Ласково похлопал его рукою по согнутой спине и, не глядя на Учителя, но чувствуя на себе взор Его, решительно добавил своим громким голосом, вытеснявшим всякие возражения, как вода вытесняет воздух:

– Это ничего, что у тебя такое скверное лицо: в наши сети попадают еще и не такие уродины, а при еде-то они и есть са-

мые вкусные. И не нам, рыбакам Господа нашего, выбрасывать 120  
улов только потому, что рыба колюча и одноглаза. Я видел од-  
нажды в Тире осьминога, пойманного тамошними рыбаками, и  
так испугался, что хотел бежать. А они посмеялись надо мною,  
рыбаком из Тивериады, и дали мне поесть его, и я попросил еще,  
потому что было очень вкусно. Помнишь, Учитель, я рассказывал  
Тебе об этом, и Ты тоже смеялся. А ты, Иуда, похож на осьмино-  
га – только одною половиною.

И громко захохотал, довольный своею шуткой. Когда Петр  
что-нибудь говорил, слова его звучали так твердо, как будто  
он прибивал их гвоздями. Когда Петр двигался или что-нибудь 130  
делал, он производил далеко слышный шум и вызывал ответ у  
самых глухих вещей: каменный пол гудел под его ногами, двери  
дрожали и хлопали, и самый воздух пугливо вздрагивал и шумел.  
В ущельях гор его голос будил сердитое эхо, а по утрам на озере,  
когда ловили рыбу, он кругло перекачивался по сонной и блестя-  
щей воде и заставлял улыбаться первые робкие солнечные лучи.  
И, вероятно, они любили за это Петра: на всех других лицах еще  
лежала ночная тень, а его крупная голова, и широкая обнаженная  
грудь, и свободно закинутые руки уже горели в зареве восхода.

Слова Петра, видимо одобренные Учителем, рассеяли тяго- 140  
стное состояние собравшихся. Но некоторых, также бывавших  
у моря и видевших осьминога, смутил его чудовищный образ,  
приуроченный Петром столь легкомысленно к новому ученику.  
Им вспомнились: огромные глаза, десятки жадных щупальцев,  
притворное спокойствие, – и раз! – обнял, облил, раздавил и вы-  
сосал, ни разу не моргнувши огромными глазами. Что это? Но  
Иисус молчит, Иисус улыбается и исподлобья с дружеской на-  
смешкой смотрит на Петра, продолжающего горячо рассказывать  
об осьминоге, – и один за другим подходили к Иуде смущенные  
ученики, заговаривали ласково, но отходили быстро и неловко. 150

И только Иоанн Зеведеев упорно молчал да Фома, видимо, не  
решался ничего сказать, обдумывая происшедшее. Он вниматель-  
но разглядывал Христа и Иуду, сидевших рядом, и эта странная  
близость божественной красоты и чудовищного безобразия, чело-  
века с кротким взором и осьминога с огромными, неподвижными,  
тускло-жадными глазами, угнетала его ум, как неразрешимая за-  
гадка. Он напряженно морщил прямой, гладкий лоб, щурил глаза,  
думая, что так будет видеть лучше, но добивался только того, что  
у Иуды как будто и вправду появлялись восемь беспокойно ше-  
велиющихся ног. Но это было неверно. Фома понимал это и снова 160  
упорно смотрел.

А Иуда понемногу осмеливался: расправил руки, согнутые в локтях, ослабил мышцы, державшие его челюсти в напряжении, и осторожно начал выставлять на свет свою бугроватую голову. Она и раньше была у всех на виду, но Иуде казалось, что она глубоко и непроницаемо скрыта от глаз какой-то невидимой, но густою и хитрою пеленою. И вот теперь, точно вылезая из ямы, он чувствовал на свету свой странный череп, потом глаза – остановился – решительно открыл все свое лицо. Ничего не произошло. Петр ушел  
170 куда-то; Иисус сидел задумчиво, опершись головою на руку, и тихо покачивал загорелой ногою; ученики разговаривали между собой, и только Фома внимательно и серьезно рассматривал его, как добросовестный портной, снимающий мерку. Иуда улыбнулся – Фома не ответил на улыбку, но, видимо, принял ее в расчет, как и все остальное, и продолжал разглядывать. Но что-то неприятное тревожило левую сторону Иудина лица, – оглянулся: на него из темного угла холодными и красивыми глазами смотрит Иоанн, красивый, чистый, не имеющий ни одного пятна на снежно-белой совести. И, идя, как и все ходят, но чувствуя так, будто он волочится по земле,  
180 подобно наказанной собаке, Иуда приблизился к нему и сказал:  
– Почему ты молчишь, Иоанн? Твои слова как золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах, подари одно из них Иуде, который так беден.

Иоанн пристально смотрел в неподвижный, широко открытый глаз и молчал. И видел, как отполз Иуда, помедлил нерешительно и скрылся в темной глубине открытой двери.

Так как встала полная луна, то многие пошли гулять. Иисус также пошел гулять, и с невысокой кровли, где устроил свое ложе Иуда, он видел уходивших. В лунном свете каждая белая фигу-  
190 ра казалась легкою и неторопливою и не шла, а точно скользила впереди своей черной тени; и вдруг человек пропадал в чем-то черном, и тогда слышался его голос. Когда же люди вновь появлялись под луной, они казались молчащими – как белые стены, как черные тени, как вся прозрачно-мглистая ночь. Уже почти все спали, когда Иуда услышал тихий голос возвратившегося Христа. И все стихло в доме и вокруг него. Пропел петух; обиженно и громко, как днем, закричал где-то проснувшийся осел и неохотно, с перерывами умолк. А Иуда все не спал и слушал притаившись. Луна осветила половину его лица и, как в замерзшем озере, отра-  
200 зилась странно в огромном открытом глазу.

Вдруг он что-то вспомнил и поспешно закашлял, потирая ладонью волосатую, здоровую грудь: быть может, кто-нибудь еще не спит и слушает, что думает Иуда.

## II

Постепенно к Иуде привыкли и перестали замечать его безобразия. Иисус поручил ему денежный ящик, и вместе с этим на него легли все хозяйственные заботы: он покупал необходимую пищу и одежду, раздавал милостыню, а во время странствований приискивал место для остановки и ночлега. Все это он делал очень искусно, так что в скором времени заслужил расположение некоторых учеников, видевших его старания. Лгал Иуда постоянно, но и к этому привыкли, так как не видели за ложью дурных поступков, а разговору Иуды и его рассказам она придавала особый интерес и делала жизнь похожей на смешную, а иногда и страшную сказку. 10

По рассказам Иуды выходило так, будто он знает всех людей и каждый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, по его мнению, называются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли; но если такого человека обнять, приласкать и выпросить хорошенько, то из него потечет, как гной из проколотой раны, всякая неправда, мерзость и ложь. Он охотно сознавался, что иногда лжет и сам, но уверял с клятвой, 20 что другие лгут еще больше, и если есть в мире кто-нибудь обманутый, так это он, Иуда. Случалось, что некоторые люди по многу раз обманывали его и так и этак. Так, некий хранитель сокровищ у богатого вельможи сознался ему однажды, что уж десять лет непрестанно хочет украсть вверенное ему имущество, но не может, так как боится вельможи и своей совести. И Иуда поверил ему — а он вдруг украл и обманул Иуду. Но и тут Иуда ему поверил — а он вдруг вернул украденное вельможе и опять обманул Иуду. И все обманывают его, даже животные: когда он ласкает собаку, она кусает его за пальцы, а когда он бьет ее палкой — она лижет 30 ему ноги и смотрит в глаза, как дочь. Он убил эту собаку, глубоко зарыл ее и даже заложил большим камнем, но кто знает? Может быть, оттого, что он ее убил, она стала еще более живою и теперь не лежит в яме, а весело бегаёт с другими собаками.

Все весело смеялись на рассказ Иуды, и сам он приятно улыбался, щуря свой живой и насмешливый глаз, и тут же, с тою же улыбкой сознавался, что немного солгал: собаки этой он не убивал. Но он найдет ее непременно и непременно убьет, потому что не желает быть обманутым. И от этих слов Иуды смеялись еще больше. 40

Но иногда в своих рассказах он переходил границы вероятного и правдоподобного и приписывал людям такие наклонности,

каких не имеет даже животное, обвинял в таких преступлениях, каких не было и никогда не бывает. И так как он называл при этом имена самых почтенных людей, то некоторые возмущались клеветой, другие же шутливо спрашивали:

– Ну а твои отец и мать, Иуда, не были ли они хорошие люди?

Иуда прищуривал глаз, улыбался и разводил руками. И вместе с покачиванием головы качался его застывший, широко открытый глаз и молчаливо смотрел.

– А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой, а может быть, и дьявол, и козел, и петух. Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложе его мать? У Иуды много отцов; про которого вы говорите?

Но тут возмущались все, так как сильно почитали родителей, и Матфей, весьма начитанный в Писании, строго говорил словами Соломона:

– Кто злословит отца своего и мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы.

Иоанн же Зеведеев надменно бросал:

– Ну а мы? Что о нас дурного скажешь ты, Иуда из Кариота?

Но тот с притворным испугом замахал руками, сгорбился и заныл, как нищий, тщетно выпрашивающий подаяния у прохожего:

– Ах, искушают бедного Иуду! Смеются над Иудой, обмануть хотят бедного, доверчивого Иуду!

И пока в шутовских гримасах корчилась одна сторона его лица, другая качалась серьезно и строго, и широко смотрел никогда не смыкающийся глаз. Больше всех и громче всех хохотал над шутками Искарриота Петр Симонов. Но однажды случилось так, что он вдруг нахмурился, сделался молчалив и печален и поспешно отвел Иуду в сторону, таща его за рукав.

– А Иисус? Что ты думаешь об Иисусе? – наклонившись, спросил он громким шепотом. – Только не шути, прошу тебя.

Иуда злобно взглянул на него:

– А ты что думаешь?

Петр испуганно и радостно прошептал:

– Я думаю, что Он – Сын Бога живого.

– Зачем же ты спрашиваешь? Что может тебе сказать Иуда, у которого отец козел!

– Но ты Его любишь? Ты как будто никого не любишь, Иуда.

С той же странной злобою Искарриот бросил отрывисто и резко:



– Люблю.

После этого разговора Петр дня два громко называл Иуду своим другом-осьминогом, а тот неповоротливо и все так же злобно старался ускользнуть от него куда-нибудь в темный угол и там сидел угрюмо, светлея своим белым несмыкающимся глазом.

Вполне серьезно слушал Иуду один только Фома: он не понимал шуток, притворства и лжи, игры словами и мыслями и во всем доискивался основательного и положительного. И все рассказы Искарота о дурных людях и поступках он часто перебивал короткими деловыми замечаниями:

– Это нужно доказать. Ты сам это слышал? А кто еще был при этом, кроме тебя? Как его зовут?

Иуда раздражался и визгливо кричал, что он все это сам видел и сам слышал, но упрямый Фома продолжал допрашивать неотвязчиво и спокойно, пока Иуда не сознавался, что солгал, или не сочинял новой правдоподобной лжи, над которою тот надолго задумывался. И, найдя ошибку, немедленно приходил и равнодушно уличал лжеца. Вообще Иуда возбуждал в нем сильное любопытство, и это создало между ними что-то вроде дружбы, полной крика, смеха и ругательств – с одной стороны, и спокойных, настойчивых вопросов – с другой. Временами Иуда чувствовал нестерпимое отвращение к своему странному другу и, пронизывая его острым взглядом, говорил раздраженно, почти с мольбою:

– Но чего ты хочешь? Я все сказал тебе, все.

– Я хочу, чтобы ты доказал, как может быть козел твоим отцом? – с равнодушной настойчивостью допрашивал Фома и ждал ответа.

Случилось, что после одного из таких вопросов Иуда вдруг замолчал и удивленно с ног до головы ощупал его глазом: увидел длинный прямой стан, серое лицо, прямые прозрачно-светлые глаза, две толстые складки, идущие от носа и пропадающие в жесткой, ровно подстриженной бороде, и убедительно сказал:

– Какой ты глупый, Фома! Ты что видишь во сне: дерево, стену, осла?

И Фома как-то странно смутился и ничего не возразил. А ночью, когда Иуда уже заволакивал для сна свой живой и беспокойный глаз, он вдруг громко сказал с своего ложа – они оба спали теперь вместе на кровле:

– Ты не прав, Иуда. Я вижу очень дурные сны. Как ты думаешь: за свои сны также должен отвечать человек?

– А разве сны видит кто-нибудь другой, а не он сам?

Фома тихо вздохнул и задумался. А Иуда презрительно улыбнулся, плотно закрыл свой воровской глаз и спокойно отдался своим мятежным снам, чудовищным грезам, безумным видениям, 130 на части раздиравшим его бугроватый череп.

Когда во время странствований Иисуса по Иудее путники приближались к какому-нибудь селению, Искарriot рассказывал дурное о жителях его и предвещал беду. Но почти всегда случалось так, что люди, о которых говорил он дурно, с радостью встречали Христа и Его друзей, окружали их вниманием и любовью и становились верующими, а денежный ящик Иуды делался так полон, что трудно было его нести. И тогда над его ошибкой смеялись, а он покорно разводил руками и говорил:

– Так! Так! Иуда думал, что они плохие, а они хорошие: и 140 поверили быстро, и дали денег. Опять, значит, обманули Иуду, бедного, доверчивого Иуду из Кариота!

Но как-то раз, уже далеко отойдя от селения, встретившего их радушно, Фома и Иуда горячо заспорили и, чтобы решить спор, вернулись обратно. Только на другой день догнали они Иисуса с учениками, и Фома имел вид смущенный и грустный, а Иуда глядел так гордо, как будто ожидал, что вот сейчас все начнут его поздравлять и благодарить. Подойдя к учителю, Фома решительно заявил:

– Иуда прав, Господи. Это были злые и глупые люди, и на ка- 150 мень упало семя Твоих слов.

И рассказал, что произошло в селении. Уж после ухода из него Иисуса и его учеников одна старая женщина начала кричать, что у нее украли молоденького беленького козленка, и обвинила в покраже ушедших. Вначале с нею спорили, а когда она упрямо доказывала, что больше некому было украсть, как Иисусу, то многие поверили и даже хотели пуститься в погоню. И хотя вскоре нашли козленка запутавшимся в кустах, но все-таки решили, что Иисус обманщик и, может быть, даже вор.

– Так вот как! – вскричал Петр, раздувая ноздри. – Господи, 160 хочешь, я вернусь к этим глупцам, и...

Но молчавший все время Иисус сурово взглянул на него, и Петр замолчал и скрылся сзади, за спинами других. И уже никто больше не заговаривал о происшедшем, как будто ничего не случилось совсем и как будто не прав оказался Иуда. Напрасно со всех сторон показывал он себя, стараясь сделать скромным свое раздвоенное, хищное, с крючковатым носом, лицо, – на него не глядели, а если кто и взглядывал, то очень недружелюбно, даже с презрением как будто.

И с этого же дня как-то странно изменилось к нему отношение Иисуса. И прежде почему-то было так, что Иуда никогда не говорил прямо с Иисусом, и Тот никогда прямо не обращался к нему, но зато часто взглядывал на него ласковыми глазами, улыбался на некоторые его шутки, и если долго не видел, то спрашивал: а где же Иуда? А теперь глядел на него, точно не видя, хотя по-прежнему – и даже упорнее, чем прежде, – искал его глазами всякий раз, как начинал говорить к ученикам или к народу, но или садился к нему спиною и через голову бросал слова Свои на Иуду, или делал вид, что совсем его не замечает. И что бы Он ни говорил, хотя бы сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя бы даже то самое, что думает и Иуда, – казалось, однако, что Он всегда говорит против Иуды. И для всех Он был нежным и прекрасным цветком, благоухающей розою ливанскою, а для Иуды оставлял одни только острые шипы – как будто нет сердца у Иуды, как будто глаз и носа нет у него и не лучше, чем все, понимает он красоту нежных и беспорочных лепестков. 170 180

– Фома! Ты любишь желтую ливанскую розу, у которой смуглое лицо и глаза как у серны? – спросил он своего друга однажды, и тот равнодушно ответил:

– Розу? Да, мне приятен ее запах. Но я не слышал, чтобы у роз были смуглые лица и глаза как у серны. 190

– Как? Ты не знаешь и того, что у многорукого кактуса, который вчера разорвал твою новую одежду, один только красный цветок и один только глаз?

Но и этого не знал Фома, хотя вчера кактус действительно вцепился в его одежду и разорвал ее на жалкие клочки. Он ничего не знал, этот Фома, хотя обо всем расспрашивал, и смотрел так прямо своими прозрачными и ясными глазами, сквозь которые, как сквозь финикийское стекло, было видно стену позади его и привязанного к ней понурого осла.

Произошел некоторое время спустя и еще один случай, в 200 котором опять-таки правым оказался Иуда. В одном иудейском селении, которое он настолько не хвалил, что даже советовал обойти его стороною, Христа приняли очень враждебно, а после проповеди Его и обличения лицемеров пришли в ярость и хотели побить камнями Его и учеников. Врагов было много, и, несомненно, им удалось бы осуществить свое пагубное намерение, если бы не Иуда из Кариота. Охваченный безумным страхом за Иисуса, точно видя уже капли крови на Его белой рубашке, Иуда яростно и слепо бросался на толпу, грозил, кричал, умолял и лгал, и тем дал время и возможность уйти Иисусу и ученикам. Разительно 210

проворный, как будто он бегал на десятке ног, смешной и страшный в своей ярости и мольбах, он бешено метался перед толпой и очаровывал ее какой-то странной силой. Он кричал, что вовсе не одержим бесом Назорей, что Он просто обманщик, вор, любящий деньги, как и все Его ученики, как и сам Иуда, – потрясал денежным ящиком, кривлялся и молил, припадая к земле. И постепенно гнев толпы перешел в смех и отвращение, и опустились поднятые с камнями руки.

– Недостойны эти люди, чтобы умереть от руки честного, – говорили одни, в то время как другие задумчиво провожали глазами быстро удалявшегося Иуду.

И снова ожидал Иуда поздравлений, похвал и благодарности, и выставлял на вид свою изодранную одежду, и глумился, что били его, – но и на этот раз был он непонятно обманут. Разгневанный Иисус шел большими шагами и молчал, и даже Иоанн с Петром не осмеливались приблизиться к Нему; и все, кому попадался на глаза Иуда в изодранной одежде, с своим счастливо-возбужденным, но все еще немного испуганным лицом, отгоняли его от себя короткими и гневными восклицаниями. Как будто не он спас их

230 всех, как будто не он спас их учителя, которого они так любят.

– Ты хочешь видеть глупцов? – сказал он Фоме, задумчиво шедшему сзади. – Посмотри: вот идут они по дороге, кучкой, как стадо баранов, и поднимают пыль. А ты, умный Фома, плетешься сзади, а я, благородный, прекрасный Иуда, плетусь сзади, как грязный раб, которому не место рядом с господином.

– Почему ты называешь себя прекрасным? – удивился Фома.

– Потому что я красив, – убежденно ответил Иуда и рассказал, многое прибавляя, как он обманул врагов Иисуса и посмеялся над ними и их глупыми камнями.

240 – Но ты солгал! – сказал Фома.

– Ну да, солгал, – согласился спокойно Искарот. – Я им дал то, что они просили, а они вернули то, что мне нужно. И что такое ложь, мой умный Фома? Разве не большею ложью была бы смерть Иисуса?

– Ты поступил нехорошо. Теперь я верю, что отец твой – дьявол. Это он научил тебя, Иуда.

Лицо Искарота побелело и вдруг как-то быстро надвинулось на Фому – словно белое облако нашло и закрыло дорогу и Иисуса. Мягким движением Иуда так же быстро прижал его к себе,

250 прижал сильно, парализуя движения, и зашептал в ухо:

– Значит, дьявол научил меня? Так, так, Фома. А я спас Иисуса? Значит, дьявол любит Иисуса, значит, дьяволу нужен Иисус

и правда? Так, так, Фома. Но ведь мой отец не дьявол, а козел. Может, и козлу нужен Иисус? Хе? А вам Он не нужен, нет? И правда не нужна?

Рассерженный и слегка испуганный Фома с трудом вырвался из липких объятий Иуды и быстро зашагал вперед, но вскоре замедлил шаги, стараясь понять происшедшее.

А Иуда тихонько плелся сзади и понемногу отставал. Вот в отдалении смешались в пеструю кучку идущие, и уж нельзя было рассмотреть, которая из этих маленьких фигурок Иисус. Вот и маленький Фома превратился в серую точку – и внезапно все пропало за поворотом. Оглянувшись, Иуда сошел с дороги и огромными скачками спустился в глубину каменистого оврага. От быстрого и порывистого бега платье его раздувалось и руки взмывали вверх, как для полета. Вот на обрыве он поскользнулся и быстро серым комком скатился вниз, обдираясь о камни, вскочил и гневно погрозил горе кулаком:

– Ты еще, проклятая!..

И, внезапно сменив быстроту движений угрюмой и сосредоточенной медленностью, выбрал место у большого камня и сел неторопливо. Повернулся, точно ища удобного положения, приложил руки, ладонь с ладонью, к серому камню и тяжело прислонился к ним головою. И так час и два сидел он, не шевелясь и обманывая птиц, неподвижный и серый, как сам серый камень. И впереди его, и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острой линией обрезаая края синего неба; и всюду, впиваясь в землю, высились огромные серые камни – словно прошел здесь когда-то каменный дождь и в бесконечной думе застыли его тяжелые капли. И на опрокинутый, обрубленный череп похож был этот дико-пустынный овраг, и каждый камень в нем был как застывшая мысль, и их было много, и все они думали – тяжело, безгранично, упорно.

Вот дружелюбно проковылял возле Иуды на своих шатких ногах обманутый скорпион. Иуда взглянул на него, не отнимая от камня головы, и снова неподвижно остановились на чем-то его глаза, оба неподвижные, оба покрытые белесою странною мутью, оба точно слепые и страшно зрячие. Вот из земли, из камней, из расселин стала подниматься спокойная ночная тьма, окутала неподвижного Иуду и быстро поползла вверх – к светлому побледневшему небу. Наступала ночь с своими мыслями и снами.

В эту ночь Иуда не вернулся на ночлег, и ученики, оторванные от дум своих хлопотами о пище и питье, роптали на его нерадивость.

### III

Однажды, около полудня, Иисус и ученики Его проходили по каменистой и горной дороге, лишенной тени, и так как уже более пяти часов находились в пути, то начал Иисус жаловаться на усталость. Ученики остановились, и Петр с другом своим Иоанном разостлали на земле плащи свои и других учеников, сверху же укрепили их между двумя высокими камнями, и таким образом сделали для Иисуса как бы шатер. И Он возлег в шатре, отдыхая от солнечного зноя, они же развлекали Его веселыми речами и шутками. Но, видя, что и речи утомляют Его, сами же будучи мало чувствительны к усталости и жару, удалились на некоторое расстояние и предались различным занятиям. Кто по склону горы между камнями разыскивал съедобные корни и, найдя, приносил Иисусу; кто, взбираясь все выше и выше, искал задумчиво границ голубеющей дали и, не находя, поднимался на новые островерхие камни. Иоанн нашел между камней красивую, голубенькую ящерицу и в нежных ладонях, тихо смеясь, принес ее Иисусу; и ящерица смотрела своими выпуклыми, загадочными глазами в Его глаза, а потом быстро скользнула холодным тельцем по Его теплой руке и быстро унесла куда-то свой нежный, вздрагивающий хвостик.

Петр же, не любивший тихих удовольствий, а с ним Филипп занялись тем, что отрывали от горы большие камни и пускали их вниз, состязаясь в силе. И, привлеченные их громким смехом, понемногу собрались вокруг них остальные и приняли участие в игре. Напрягаясь, они отдирали от земли старый, обросший камень, поднимали его высоко обеими руками и пускали по склону. Тяжелый, он ударялся коротко и тупо и на мгновение задумывался; потом нерешительно делал первый скачок – и с каждым прикосновением к земле, беря от нее быстроту и крепость, становился легкий, свирепый, всесокрушающий. Уже не прыгал, а летел он с оскаленными зубами, и воздух, свистя, пропускал его тупую, круглую тушу. Вот край, – плавным последним движением камень взмывал кверху и спокойно, в тяжелой задумчивости, округло летел вниз, на дно невидимой пропасти.

– Ну-ка, еще один! – кричал Петр. Белые зубы его сверкали среди черной бороды и усов, мощная грудь и руки обнажились, и старые сердитые камни, тупо удивляясь поднимающей их силе, один за другим покорно уносились в бездну. Даже хрупкий Иоанн бросал небольшие камешки, и, тихо улыбаясь, смотрел на их забаву Иисус.

– Что же ты, Иуда? Отчего ты не примешь участия в игре – это, по-видимому, так весело? – спросил Фома, найдя своего странного друга в неподвижности, за большим серым камнем.

– У меня грудь болит, и меня не звали.

– А разве нужно звать? Ну, так вот я тебя зову, иди. Посмотри, какие камни бросает Петр.

Иуда как-то боком взглянул на него, и тут Фома впервые смутно почувствовал, что у Иуды из Кариота – два лица. Но не успел он этого понять, как Иуда сказал своим обычным тоном, льстивым и в то же время насмешливым:

– Разве есть кто-нибудь сильнее Петра? Когда он кричит, все ослы в Иерусалиме думают, что пришел их Мессия, и тоже поднимают крик. Ты слышал когда-нибудь их крик, Фома?

И, приветливо улыбаясь и стыдливо запахивая одеждою грудь, поросшую курчавыми рыжими волосами, Иуда вступил в круг играющих. И так как всем было очень весело, то встретили его с радостью и громкими шутками, и даже Иоанн снисходительно улыбнулся, когда Иуда, кряхтя и притворно охая, взялся за огромный камень. Но вот он легко поднял его и бросил, и слепой, широко открытый глаз его, покачнувшись, неподвижно устоялся на Петра, а другой, лукавый и веселый, налился тихим смехом.

– Нет, ты еще брось! – сказал Петр обиженно.

И вот один за другим поднимали они и бросали гигантские камни, и, удивляясь, смотрели на них ученики. Петр бросал большой камень – Иуда еще больше. Петр, хмурый и сосредоточенный, гневно ворочал обломок скалы, шатаясь, поднимал его и ронял вниз, – Иуда, продолжая улыбаться, отыскивал глазом еще больший обломок, ласково впивался в него длинными 70 пальцами, облипал его, качался вместе с ним и, бледнея, посылал его в пропасть. Бросив свой камень, Петр откидывался назад и так следил за его падением, – Иуда же наклонялся вперед, выгибался и простирал длинные шевелящиеся руки, точно сам хотел улететь за камнем. Наконец оба они, сперва Петр, потом Иуда, схватились за старый, седой камень – и не могли его поднять, ни тот, ни другой. Весь красный, Петр решительно подошел к Иисусу и громко сказал:

– Господи! я не хочу, чтобы Иуда был сильнее меня. Помоги мне поднять тот камень и бросить. 80

И тихо ответил ему что-то Иисус. Петр недовольно пожал широкими плечами, но ничего не осмелился возразить и вернулся назад со словами:

– Он сказал: а кто поможет Искарриоту?

Но вот взглянул он на Иуду, который, задыхаясь и крепко стиснув зубы, продолжал еще обнимать упорный камень, и весело засмеялся:

– Вот так больной! Посмотрите, что делает наш больной, бедный Иуда!

90 И засмеялся сам Иуда, так неожиданно уличенный в своей лжи, и засмеялись все остальные, – даже Фома слегка раздвинул улыбкой свои прямые, нависшие на губы серые усы. И так, дружелюбно болтая и смеясь, все двинулись в путь, и Петр, совершенно примирившийся с победителем, время от времени подталкивал его кулаком в бок и громко хохотал:

– Вот так больной!

Все хвалили Иуду, все признавали, что он победитель, все дружелюбно болтали с ним, но Иисус – но Иисус и на этот раз не захотел похвалить Иуду. Молча шел Он впереди, покусывая сорванную травинку; и понемногу один за другим переставали смеяться ученики и переходили к Иисусу. И в скором времени опять вышло так, что все они тесною кучкою шли впереди, а Иуда – Иуда-победитель – Иуда сильный – один плелся сзади, глотая пыль.

Вот они остановились, и Иисус положил руку на плечо Петра, другой рукою указывая вдаль, где уже показался в дымке Иерусалим. И широкая, могучая спина Петра бережно приняла эту тонкую, загорелую руку.

На ночлег они остановились в Вифании, в доме Лазаря. И когда все собрались для беседы, Иуда подумал, что теперь вспомнят о его победе над Петром, и сел поближе. Но ученики были молчаливы и необычно задумчивы. Образы пройденного пути: и солнце, и камень, и трава, и Христос, возлежащий в шатре, тихо плыли в голове, навевая мягкую задумчивость, рождая смутные, но сладкие грезы о каком-то вечном движении под солнцем. Сладко отдыхало утомленное тело, и все оно думало о чем-то загадочно-прекрасном и большом, – и никто не вспомнил об Иуде.

Иуда вышел. Потом вернулся. Иисус говорил, и в молчании слушали Его речь ученики. Неподвижно, как изваяние, сидела у 120 ног Его Мария и, закинув голову, смотрела в Его лицо. Иоанн, придвинувшись близко, старался сделать так, чтобы рука его коснулась одежды Учителя, но не обеспокоила Его. Коснулся – и замер. И громко и сильно дышал Петр, вторя дыханием своим речи Иисуса.

Искарриот остановился у порога и, презрительно миновав взглядом собравшихся, весь огонь его сосредоточил на Иисусе.



И по мере того как смотрел, гасло все вокруг него, одевалось тьмою и безмолвием, и только светлел Иисус с Своею поднятой рукою. Но вот и Он словно поднялся в воздух, словно растаял и сделался такой, как будто весь Он состоял из надозерного тумана, пронизанного светом заходящей луны; и мягкая речь Его звучала где-то далеко-далеко и нежно. И, вглядываясь в колеблющийся призрак, вслушиваясь в нежную мелодию далеких и призрачных слов, Иуда забрал в железные пальцы всю душу и в необъятном мраке ее, молча, начал строить что-то огромное. Медленно, в глубокой тьме, он поднимал какие-то громады, подобные горам, и плавно накладывал одна на другую; и снова поднимал, и снова накладывал; и что-то росло во мраке, ширилось беззвучно, раздвигало границы. Вот куполом почувствовал он голову свою, и в непроглядном мраке его продолжало расти огромное, и кто-то молча работал: поднимал громады, подобные горам, накладывал одну на другую и снова поднимал... И нежно звучали где-то далекие и призрачные слова. 130 140

Так стоял он, загоразивая дверь, огромный и черный, и говорил Иисус, и громко вторило Его словам прерывистое и сильное дыхание Петра. Но вдруг Иисус смолк – резким незаконченным звуком, и Петр, точно проснувшись, восторженно воскликнул:

– Господи! Тебе ведомы глаголы вечной жизни!

Но Иисус молчал и пристально глядел куда-то. И когда последовали за Его взором, то увидели у дверей окаменевшего Иуду с раскрытым ртом и остановившимися глазами. И, не поняв, в чем дело, засмеялись. Матфей же, начитанный в Писании, притронулся к плечу Иуды и сказал словами Соломона:

– Смотрящий кротко – помилован будет, а встречающийся в вортах – стеснит других.

Иуда вздрогнул и даже вскрикнул слегка от испуга; и все у него – глаза, руки и ноги – точно побежало в разные стороны, как у животного, которое внезапно увидело над собою глаза человека. Прямо к Иуде шел Иисус и слово какое-то нес на устах Своих – и прошел мимо Иуды в открытую и теперь свободную дверь. 160

---

Уже в середине ночи обеспокоенный Фома подошел к ложу Иуды, присел на корточки и спросил:

– Ты плачешь, Иуда?

– Нет. Отойди, Фома.

– Отчего же ты стонешь и скрипишь зубами? Ты нездоров?

Иуда помолчал, и из уст его, одно за другим, стали падать тяжелые слова, налитые тоскою и гневом.

– Почему Он не любит меня? Почему Он любит тех? Разве я  
170 не красивее, не лучше, не сильнее их? Разве не я спас Ему жизнь,  
пока те бежали, согнувшись, как трусливые собаки?

– Мой бедный друг, ты не совсем прав. Ты вовсе не красив, и  
язык твой так же неприятен, как и твое лицо. Ты лжешь и злосло-  
вишь постоянно, как же ты хочешь, чтобы тебя любил Иисус?

Но Иуда точно не слышал его и продолжал, тяжело шевелясь  
в темноте:

– Почему Он не с Иудой, а с теми, кто Его не любит? Иоанн  
принес Ему ящерицу – я принес бы Ему ядовитую змею. Петр  
бросал камни – я гору бы повернул для Него! Но что такое ядови-  
180 тая змея? Вот вырван у нее зуб, и ожерельем ложится она вокруг  
шеи. Но что такое гора, которую можно скрыть руками и ногами  
потоптать? Я дал бы Ему Иуду, смелого, прекрасного Иуду! А  
теперь Он погибнет, и вместе с Ним погибнет и Иуда.

– Ты что-то странное говоришь, Иуда!

– Сухая смоковница, которую нужно порубить секирою, –  
ведь это я, это обо мне Он сказал. Почему же Он не рубит? Он не  
смеет, Фома. Я Его знаю: Он боится Иуды! Он прячется от смело-  
го, сильного, прекрасного Иуды! Он любит глупых, предателей,  
лжецов. Ты лжец, Фома, ты слышал об этом?

190 Фома очень удивился и хотел возражать, но подумал, что Иуда  
просто бранится, и только покачал в темноте головою. И еще силь-  
нее затосковал Иуда; он стонал, скрежетал зубами, и слышно было,  
как беспокойно движется под покрывалом все его большое тело.

– Что так болит у Иуды? Кто приложил огонь к его телу? Он  
сына своего отдает собакам! Он дочь свою отдает разбойникам на  
порувание, невесту свою – на непотребство. Но разве не нежное  
сердце у Иуды? Уйди, Фома, уйди, глупый. Пусть один останется  
сильный, смелый, прекрасный Иуда!

#### IV

Иуда утаил несколько динариев, и это открылось благодаря  
Фоме, который видел случайно, сколько было дано денег. Можно  
было предположить, что это уже не в первый раз Иуда совершает  
кражу, и все пришли в негодование. Разгневанный Петр схватил  
Иуду за ворот его платья и почти волоком притащил к Иисусу, и  
испуганный, побледневший Иуда не сопротивлялся.

– Учитель, смотри! Вот он – шутник! Вот он – вор! Ты  
ему поверил, а он крадет наши деньги. Вор! Негодяй! Если Ты  
10 позволишь, я сам...

Но Иисус молчал. И, внимательно взглянув на Него, Петр быстро покраснел и разжал руку, державшую ворот. Иуда стыдливо оправился, искоса поглядел на Петра и принял покорно-угнетенный вид раскаявшегося преступника.

– Так вот как! – сердито сказал Петр и громко хлопнул дверью, уходя. И все были недовольны и говорили, что ни за что не останутся теперь с Иудою, – но Иоанн что-то быстро сообразил и проскользнул в дверь, за которою слышался тихий и как будто даже ласковый голос Иисуса. И когда по прошествии времени вышел оттуда, то был бледный, и потупленные глаза его краснели как бы от недавних слез.

– Учитель сказал... Учитель сказал, что Иуда может брать денег, сколько он хочет.

Петр сердито засмеялся. Быстро, с укором взглянул на него Иоанн и, внезапно загоревшись весь, смешивая слезы с гневом, восторг со слезами, звонко воскликнул:

– И никто не должен считать, сколько денег получил Иуда. Он наш брат, и все деньги его, как и наши, и если ему нужно много, пусть берет много, никому не говоря и ни с кем не советуясь. Иуда наш брат, и вы тяжело обидели его – так сказал Учитель... Стыдно нам, братья!

В дверях стоял бледный, криво улыбавшийся Иуда, и легким движением Иоанн приблизился и трижды поцеловал его. За ним, оглядываясь друг на друга, смущенно подошли Иаков, Филипп и другие, – после каждого поцелуя Иуда вытирал рот, но чмокал громко, как будто этот звук доставлял ему удовольствие. Последним подошел Петр.

– Все мы тут глупые, все слепые, Иуда. Один Он видит, один Он умный. Мне можно поцеловать тебя?

– Отчего же? Целуй! – согласился Иуда.

40

Петр крепко поцеловал его и на ухо громко сказал:

– А я тебя чуть не удушил! Они хоть так, а я прямо за горло! Тебе не больно было?

– Немножко.

– Пойду к Нему и все расскажу. Ведь я и на Него рассердился, – мрачно сказал Петр, стараясь тихонько, без шума, открыть дверь.

– А что же ты, Фома? – строго спросил Иоанн, наблюдавший за действиями и словами учеников.

– Я еще не знаю. Мне нужно подумать.

50

И долго думал Фома, почти весь день. Разошлись по делам своим ученики, и уже где-то за стеною громко и весело кричал

Петр, а он все соображал. Он сделал бы это быстрее, но ему несколько мешал Иуда, неотступно следивший за ним насмешливым взглядом и изредка серьезно спрашивавший:

– Ну как, Фома? Как идет дело?

Потом Иуда притащил свой денежный ящик и громко, звеня монетами и притворно не глядя на Фому, стал считать деньги.

– Двадцать один, двадцать два, двадцать три... Смотри, Фома, 60 опять фальшивая монета. Ах, какие все люди мошенники, они даже жертвуют фальшивые деньги... Двадцать четыре... А потом опять скажут, что украл Иуда... Двадцать пять, двадцать шесть...

Фома решительно подошел к нему – уже к вечеру это было – и сказал:

– Он прав, Иуда. Дай я поцелую тебя.

– Вот как? Двадцать девять, тридцать. Напрасно. Я опять буду красть. Тридцать один...

– Как же можно красть, когда нет ни своего, ни чужого. Ты просто будешь брать сколько тебе нужно, брат.

70 – И это столько времени тебе понадобилось, чтобы повторить только Его слова? Не дорожишь же ты временем, умный Фома.

– Ты, кажется, смеешься надо мною, брат?

– И подумай, хорошо ли ты поступаешь, добродетельный Фома, повторяя слова Его? Ведь это Он сказал – “свое”, – а не ты. Это Он поцеловал меня – вы же только осквернили мне рот. Я и до сих пор чувствую, как ползают по мне ваши мокрые губы. Это так отвратительно, добрый Фома. Тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Сорок динариев, Фома, не хочешь ли проверить?

80 – Ведь Он наш Учитель. Как же нам не повторять слов Учителя?

– Разве отвалился ворот у Иуды? Разве он теперь голый и его не за что схватить? Вот уйдет Учитель из дому, и опять украдет нечаянно Иуда три динария, и разве не за тот же ворот вы схватите его?

– Мы теперь знаем, Иуда. Мы поняли.

– А разве не у всех учеников плохая память? И разве не всех учителей обманывали их ученики? Вот поднял учитель розгу – ученики кричат: мы знаем, учитель! А ушел учитель спать, и говорят ученики: не этому ли учил нас учитель? И тут. Сегодня утром ты назвал меня: вор. Сегодня вечером ты зовешь меня: брат. 90 А как ты назовешь меня завтра?

Иуда засмеялся и, легко поднимая рукою тяжелый, звенящий ящик, продолжал:

– Когда дует сильный ветер, он поднимает сор. И глупые люди смотрят на сор и говорят: вот ветер! А это только сор, мой добрый Фома, ослиный помет, растоптанный ногами. Вот встретил он стену и тихо лег у подножия ее, а ветер летит дальше, ветер летит дальше, мой добрый Фома!

Иуда предупредительно показал рукой через стену и снова засмеялся.

100

– Я рад, что тебе весело, – сказал Фома. – Но очень жаль, что в твоей веселости так много зла.

– Как же не быть веселым человеку, которого столько целовали и который так полезен? Если бы я не украл трех динариев, разве узнал бы Иоанн, что такое восторг? И разве не приятно быть крюком, на который вывешивает для просушки: Иоанн – свою отсыревшую добродетель, Фома – свой ум, поеденный молью?

– Мне кажется, что лучше мне уйти.

– Но ведь я же шучу. Я шучу, мой добрый Фома, – я только хотел знать, действительно ли ты желаешь поцеловать старого, 110  
противного Иуду, вора, который украл три динария и отдал их блуднице.

– Блуднице? – удивился Фома. – А об этом ты сказал Учителю?

– Вот ты опять сомневаешься, Фома. Да, блуднице. Но если бы ты знал, Фома, что это была за несчастная женщина. Уже два дня она ничего не ела...

– Ты это знаешь наверное? – смутился Фома.

– Да, конечно. Ведь я сам два дня был с нею и видел, что она ничего не ест и пьет только красное вино. Она шаталась от истощения, и я падал вместе с нею...

120

Фома быстро встал и, уже отойдя на несколько шагов, кинул Иуде:

– По-видимому, в тебя вселился сатана, Иуда.

И, уходя, слышал в наступивших сумерках, как жалобно позванивал в руках Иуды тяжелый денежный ящик. И как будто смеялся Иуда.

Но уже на другой день Фоме пришлось сознаться, что он ошибся в Иуде – так прост, мягок и в то же время серьезен был Искарriot. Он не кривлялся, не шутил злоречиво, не кланялся и не оскорблял, но тихо и незаметно делал свое хозяйственное дело. 130  
Был он проворен, как и прежде, – точно не две ноги, как у всех людей, а целый десяток имел их, но бегал бесшумно, без писка, воплей и смеха, похожего на смех гиены, каким раньше сопровождал он все действия свои. А когда Иисус начинал говорить, он тихо усаживался в углу, складывал свои руки и ноги и смотрел

так хорошо своими большими глазами, что многие обратили на это внимание. И о людях он перестал говорить дурное, и больше молчал, так что сам строгий Матфей счел возможным похвалить его, сказав словами Соломона:

140 – Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит.

И поднял палец, намекая тем на прежнее злоречие Иуды. В скором времени и все заметили в Иуде эту перемену и порадовались ей; и только Иисус все так же чуждо смотрел на него, хотя прямо ничем не выражал Своего нерасположения. И сам Иоанн, которому Иуда оказывал теперь глубокое почтение, как любимому ученику Иисуса и своему заступнику в случае с тремя динариями, стал относиться к нему несколько мягче и даже иногда вступал в беседу.

150 – Как ты думаешь, Иуда, – сказал он однажды снисходительно, – кто из нас, Петр или я, будет первым возле Христа в Его небесном царствии?

Иуда подумал и ответил:

– Я полагаю, что ты.

– А Петр думает, что он, – усмехнулся Иоанн.

– Нет. Петр всех ангелов разгонит своим криком, – ты слышишь, как он кричит? Конечно, он будет спорить с тобою и постарается первый занять место, так как уверяет, что тоже любит Иисуса, – но он уже староват, а ты молод, он тяжел на ногу, а ты бегаешь быстро, и ты первый войдешь туда со Христом. Не так ли?

– Да, я не оставлю Иисуса, – согласился Иоанн.

И в тот же самый день и с таким же вопросом обратился к Иуде Петр Симонов. Но, боясь, что громкий голос его будет услышан другими, отвел Иуду в самый дальний угол, за дом.

– Так как же ты думаешь? – тревожно спрашивал он. – Ты умный, тебя за ум сам Учитель хвалит, и ты скажешь правду.

– Конечно ты, – без колебания ответил Искарот; и Петр с негодованием воскликнул:

170 – Я ему говорил!

– Но, конечно, и там он будет стараться отнять у тебя первое место.

– Конечно!

– Но что он может сделать, когда место уже будет занято тобою? Ведь ты первый пойдешь туда с Иисусом? Ты не оставишь Его одного? Разве не тебя назвал Он – камень?

Петр положил руку на плечо Иуды и горячо сказал:

– Говорю тебе, Иуда, ты самый умный из нас. Зачем только ты такой насмешливый и злой? Учитель не любит этого. А то ведь и ты мог бы стать любимым учеником, не хуже Иоанна. Но только и тебе, – Петр угрожающе поднял руку, – не отдам я своего места возле Иисуса, ни на земле, ни там! Слышишь! 180

Так старался Иуда доставить всем приятное, но и свое что-то думал при этом. И, оставаясь все тем же скромным, сдержанным и незаметным, каждому умел сказать то, что ему особенно нравится. Так, Фоме он сказал:

– Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим.

Матфею же, который страдал некоторым излишеством в пище и питье и стыдился этого, привел слова мудрого и почитаемого им Соломона: 190

– Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.

Но и приятное говорил редко, тем самым придавая ему особенную ценность, а больше молчал, внимательно прислушивался ко всему, что говорится, и думал о чем-то. Размышляющий Иуда имел, однако, вид неприятный, смешной и в то же время внушающий страх. Пока двигался его живой и хитрый глаз, Иуда казался простым и добрым, но когда оба глаза останавливались неподвижно и в странные бугры и складки собиралась кожа на его выпуклом лбу – являлась тягостная догадка о каких-то совсем особенных мыслях, ворочающихся под этим черепом. Совсем чужие, совсем особенные, совсем не имеющие языка, они глухим молчанием тайны окружали размышляющего Искарриота, и хотелось, чтобы он поскорее начал говорить, шевелиться, даже лгать. Ибо сама ложь, сказанная человеческим языком, казалась правдою и светом перед этим безнадежно-глухим и неотзывчивым молчанием. 200

– Опять задумался, Иуда? – кричал Петр, своим ясным голосом и лицом внезапно разрывая глухое молчание Иудиных дум, отгоняя их куда-то в темный угол. – О чем ты думаешь?

– О многом, – с покойной улыбкой отвечал Искарриот. И, заметив, вероятно, как нехорошо действует на других его молчание, чаще стал удаляться от учеников и много времени проводил в уединенных прогулках или же забирался на плоскую кровлю и там тихонько сидел. И уже несколько раз слегка пугался Фома, наткнувшись неожиданно в темноте на какую-то серую грудку, из которой вдруг высовывались руки и ноги Иуды и слышался его шутливый голос.

220 Только однажды Иуда как-то особенно резко и странно напомнил прежнего Иуду, и произошло это как раз во время спора о первенстве в царствии небесном. В присутствии Учителя Петр и Иоанн перекорялись друг с другом, горячо оспаривая свое место возле Иисуса: перечисляли свои заслуги, мерили степень своей любви к Иисусу, горячились, кричали, даже бранились неслдержанно, Петр – весь красный от гнева, рокочущий; Иоанн – бледный и тихий, с дрожащими руками и кусающейся речью. Уже непристойным делался их спор и начал хмуриться Учитель, когда Петр взглянул случайно на Иуду и самодовольно захохотал; взглянул на Иуду Иоанн и также улыбнулся, – каждый из них вспомнил, что говорил ему умный Искарriot. И, уже предвкушая радость близкого торжества, они молча и согласно призвали Иуду в судьи, и Петр закричал:

– Ну-ка, умный Иуда! Скажи-ка нам, кто будет первый возле Иисуса – он или я?

Но Иуда молчал, дышал тяжело и глазами жадно спрашивал о чем-то спокойно-глубокие глаза Иисуса.

– Да, – подтвердил снисходительно Иоанн, – скажи ты ему, кто будет первый возле Иисуса.

240 Не отрывая глаз от Христа, Иуда медленно поднялся и ответил тихо и важно:

– Я!

Иисус медленно опустил взоры. И, тихо бия себя в грудь костлявым пальцем, Искарriot повторил торжественно и строго:

– Я! Я буду возле Иисуса!

И вышел. Пораженные дерзкой выходкой, ученики молчали, и только Петр, вдруг вспомнив что-то, шепнул Фоме неожиданно тихим голосом:

– Так вот о чем он думает!.. Ты слышал?

## V

Как раз в это время Иуда Искарriot совершил первый, решительный шаг к предательству: тайно посетил первосвященника Анну. Был он встречен очень сурово, но не смутился этим и потребовал продолжительной беседы с глазу на глаз. И, оставшись наедине с сухим и суровым стариком, презрительно смотревшим на него из-под нависших, тяжелых век, рассказал, что он, Иуда, человек благочестивый и в ученики к Иисусу Назорею вступил с единственной целью уличить обманщика и предать Его в руки закона.



– А кто он, этот Назорей? – пренебрежительно спросил Анна, делая вид, что в первый раз слышит имя Иисуса.

Иуда также сделал вид, что верит странному неведению первосвященника, и подробно рассказал о проповеди Иисуса и чудесах, ненависти Его к фарисеям и храму, о постоянных нарушениях Им закона и, наконец, о желании Его исторгнуть власть из рук церковников и создать Свое особенное царство. И так искусно перемешивал правду с ложью, что внимательнее взглянул на него Анна и лениво сказал:

– Мало ли в Иудее обманщиков и безумцев? 20

– Нет, Он опасный человек, – горячо возразил Иуда, – Он нарушает закон. И пусть лучше один человек погибнет, чем весь народ.

Анна одобритительно кивнул головою.

– Но у Него, кажется, много учеников?

– Да, много.

– И они, вероятно, очень любят Его?

– Да, они говорят, что любят. Очень любят, больше, чем себя.

– Но если мы захотим взять Его, не вступятся ли они? Не поднимут ли они восстания?

Иуда засмеялся продолжительно и зло: 30

– Они? Эти трусливые собаки, которые бегут, как только человек наклоняется за камнем. Они!

– Разве они такие дурные? – холодно спросил Анна.

– А разве дурные бегают от хороших, а не хорошие от дурных? Хе! Они хорошие, и поэтому побегут. Они хорошие, и поэтому они спрячутся. Они хорошие, и поэтому они явятся только тогда, когда Иисуса надо будет класть в гроб. И они положат Его сами, а ты только казни!

– Но ведь они же любят Его? Ты сам сказал.

– Своего учителя они всегда любят, но больше мертвым, чем 40 живым. Когда учитель жив, он может спросить у них урок, и тогда им будет плохо. А когда учитель умирает, они сами становятся учителями, и плохо делается уже другим! Хе!

Анна пронизательно взглянул на предателя, и сухие губы его сморщились, – это значило, что Анна улыбается.

– Ты обижен ими? Я это вижу.

– Разве может укрыться что-либо от твоей пронизательности, мудрый Анна? Ты проник в самое сердце Иуды. Да. Они обидели бедного Иуду. Они сказали, что он украл у них три динария, – как будто Иуда не самый честный человек в Израиле! 50

И еще долго говорили они об Иисусе, об учениках Его, о гибельном влиянии Его на израильский народ, – но решитель-

ного ответа не дал на этот раз осторожный и хитрый Анна. Он уж давно следил за Иисусом и на тайных совещаниях с родственниками и друзьями своими, начальниками и саддукеями уже давно решил участь пророка из Галилеи. Но он не доверял Иуде, о котором и раньше слышал как о дурном и лживом человеке, не доверял его легкомысленным надеждам на трусость учеников и народа. В свою силу Анна верил, но боялся кровопролития, боялся грозного бунта, на который так легко шел непокорный и гневливый народ иерусалимский, боялся, наконец, сурового вмешательства властей из Рима. Раздутая сопротивлением, оплодотворенная красной кровью народа, дающей жизнь всему, на что она падет, – еще сильнее разрастется ересь и в гибких кольцах своих задушит Анну, и власть, и всех его друзей. И когда во второй раз постучался к нему Искарriot, Анна смутился духом и не принял его. Но и в третий и в четвертый раз пришел к нему Искарriot, настойчивый, как ветер, который и днем и ночью стучится в запертую дверь и дышит в скважины ее.

70 – Я вижу, что боится чего-то мудрый Анна, – сказал Иуда, допущенный наконец к первосвященнику.

– Я довольно силен, чтобы ничего не бояться, – надменно ответил Анна, и Искарriot раболепно поклонился, простирая руки. – Чего ты хочешь?

– Я хочу предать вам Назорея.

– Он нам не нужен.

Иуда поклонился и ждал, покорно устремив свой глаз на первосвященника.

– Ступай.

80 – Но я должен прийти опять. Не так ли, почтенный Анна?

– Тебя не пустят. Ступай.

Но вот и еще раз, и еще раз постучался Иуда из Кариота и был впущен к престарелому Анне. Сухой и злобный, удрученный мыслями, молча глядел он на предателя и точно считал волосы на бугроватой голове его. Но молчал и Иуда – точно и сам подсчитывал волоски в реденькой седой бородке первосвященника.

– Ну? Ты опять здесь? – надменно бросил, точно плюнул на голову, раздраженный Анна.

– Я хочу предать вам Назорея.

90 Оба замолчали, продолжая с вниманием разглядывать друг друга. Но Искарriot смотрел спокойно, а Анну уже начала покалывать тихая злость, сухая и холодная, как предутренний иней зимою.

– Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса?

– А сколько вы дадите?

Анна с наслаждением оскорбительно сказал:

– Вы все шайка мошенников. Тридцать серебряников – вот сколько мы дадим.

И тихо порадовался, видя, как весь затрепыхал, задвигался, забегал Иуда – проворный и быстрый, как будто не две ноги, а 100 целый десяток их было у него.

– За Иисуса? Тридцать серебряников? – закричал он голосом дикого изумления, порадовавшим Анну. – За Иисуса Назорея! И вы хотите купить Иисуса за тридцать серебряников? И вы думаете, что вам могут продать Иисуса за тридцать серебряников?

Иуда быстро повернулся к стене и захохотал в ее белое плоское лицо, поднимая длинные руки:

– Ты слышишь? Тридцать серебряников! За Иисуса!

С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил:

– Если не хочешь, то ступай. Мы найдем человека, который 110 продаст дешевле.

И, точно торговцы старым платьем, которые на грязной площади перебрасывают с рук на руки негодную ветошь, кричат, клянутся и бранятся, они вступили в горячий и бешеный торг. Упиваясь странным восторгом, бегая, вертясь, крича, Иуда по пальцам вычислял достоинства Того, Кого он продает.

– А то, что Он добр и исцеляет больных, это так уже ничего и не стоит, по-вашему? А? Нет, вы скажите, как честный человек!

– Если ты... – пробовал вставить порозовевший Анна, холодная злость которого быстро нагревалась на раскаленных словах 120 Иуды; но тот беззастенчиво перебивал его:

– А то, что Он красив и молод – как нарцисс саронский, как лилия долин? А? Это ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что Он стар и никуда не годен, что Иуда продает вам старого пуха? А?

– Если ты... – старался кричать Анна, но его старческий голос, как пух ветром, уносила отчаянно-бурная речь Иуды.

– Тридцать серебряников! Ведь это одного оболы не выходит за каплю крови! Половины оболы не выходит за слезу! Четверть оболы за стон! А крики! А судороги! А за то, чтобы Его сердце 130 остановилось? А за то, чтобы закрылись Его глаза? Это даром? – вопил Искарот, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением своих рук, пальцев, крутящихся слов.

– За все! За все! – задыхался Анна.

– А сами вы сколько наживете на этом? Хе? Вы ограбить хотите Иуду, кусок хлеба вырвать у его детей? Я не могу! Я на площадь пойду, я кричать буду: Анна ограбил бедного Иуду! Спасите!

Утомленный, совсем закружившийся Анна бешено затопал по полу мягкими туфлями и замахал руками:

140 – Вон!.. Вон!..

Но Иуда вдруг смиренно согнулся и покорно развел руками:

– Но если ты так... Зачем же ты сердисься на бедного Иуду, который желает добра своим детям? У тебя тоже есть дети, прекрасные молодые люди...

– Мы другого... Мы другого... Вон!

– Но разве я сказал, что я не могу уступить? И разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса за пятнадцать оболов? За два оболы? За один?

И, кланяясь все ниже, извиваясь и лстя, Иуда покорно согласился на предложенные ему деньги. Дрожащею сухою рукой порозовевший Анна отдал ему деньги и молча, отвернувшись и жуя губами, ждал, пока Иуда перепробовал на зубах все серебряные монеты. Изредка Анна оглядывался и, точно обжегшись, снова поднимал голову к потолку и усиленно жевал губами.

– Теперь так много фальшивых денег, – спокойно пояснил Иуда.

– Это деньги, пожертвованные благочестивыми людьми на храм, – сказал Анна, быстро оглянувшись и еще быстрее подставив глазам Иуды свой розоватый лысый затылок.

160 – Но разве благочестивые люди умеют отличить фальшивое от настоящего? Это умеют только мошенники.

Полученные деньги Иуда не отнес домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем. И назад он возвращался тихо, тяжелыми и медлительными шагами, как раненое животное, медленно уползающее в свою темную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы у Иуды, а был дом, и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший, измученный непрерывной борьбой с фарисеями, стеною белых, блестящих ученых лбов окружавшими Его каждодневно в храме, Он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене, и, по-видимому, крепко спал. В открытое окно влетали беспокойные звуки города, за стеной стучал Петр, сбивая для трапезы новый стол, и напевал тихую галилейскую песенку, – но Он ничего не слышал и спал спокойно и крепко. И это был Тот, Кого они купили за тридцать серебряников.

Бесшумно продвинувшись вперед, Иуда с нежной осторожностью матери, которая боится разбудить свое больное дитя, с изумлением вылезшего из логовища зверя, которого вдруг очаровал беленький цветок, тихо коснулся Его мягких волос и быстро отдернул руку. Еще раз коснулся – и выполз бесшумно.

– Господи! – сказал он. – Господи!

И, выйдя в место, куда ходили по нужде, долго плакал там, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нащептывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо, похожий на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжелый, решительный и всему чужой, как сама судьба.

---

...Тихою любовью, нежным вниманием, ласкою окружил 190  
Иуда несчастного Иисуса в эти последние дни Его короткой жизни. Стыдливый и робкий, как девушка в своей первой любви, страшно чуткий и пронизательный, как она, – он угадывал малейшие невысказанные желания Иисуса, проникал в сокровенную глубину Его ощущений, мимолетных всплесков грусти, тяжелых мгновений усталости. И куда бы ни ступала нога Иисуса, она встречала мягкое, и куда бы ни обращался Его взор, он находил приятное. Раньше Иуда не любил Марию Магдалину и других женщин, которые были возле Иисуса, грубо шутил над ними и причинял мелкие неприятности – теперь он стал их 200  
другом, смешным и неповоротливым союзником. С глубоким интересом разговаривал с ними о маленьких, милых привычках Иисуса, подолгу с настойчивостью расспрашивая об одном и том же, тайно совал деньги в руку, в самую ладонь, – и те приносили амбру, благовонное дорогое миро, столь любимое Иисусом, и обтирали Ему ноги. Сам покупал, отчаянно торгуясь, дорогое вино для Иисуса и потом очень сердился, когда почти все его выпивал Петр с равнодушием человека, придающего значение только количеству; и в каменистом Иерусалиме, почти 210  
вовсе лишенном деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зелененькую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках – первый раз в жизни – маленьких детей, добывая их где-то по дворам или на улице и принужденно целуя их, чтобы не плакали; и часто случалось, что к задумавшемуся Иисусу вдруг всползло на колени что-то маленькое, черненькое, с курчавыми волосами и грязным носиком и требовательно искало ласки. И пока оба они радовались друг на друга, Иуда строго прохаживался в стороне, как суровый тюремщик, который сам весною впустил к заключенному бабочку и теперь притворно ворчит, жалуясь 220  
на беспорядок.

По вечерам, когда вместе с тьмою у окон становилась на страже и тревога, Искарот искусно наводил разговор на Галилею, чуждую ему, но милую Иисусу Галилею, с ее тихой водой и зелеными берегами. И до тех пор раскачивал он тяжелого Петра, пока не просыпались в нем засохшие воспоминания, и в ярких картинах, где все было громко, красочно и густо, не вставала перед глазами и слухом милая галилейская жизнь. С жадным вниманием, по-детски полуоткрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус его порывистую, звонкую, веселую речь и иногда так хохотал над его шутками, что на несколько минут приходилось останавливать рассказ. Но еще лучше, чем Петр, рассказывал Иоанн; у него не было смешного и неожиданного, но все становилось таким задумчивым, необыкновенным и прекрасным, что у Иисуса показывались на глазах слезы, и Он тихонько вздыхал, а Иуда толкал в бок Марию Магдалину и с восторгом шептал ей:

– Как он рассказывает! Ты слышишь?

– Слышу, конечно.

240 – Нет, ты лучше слушай. Вы, женщины, никогда не умеете хорошо слушать.

Потом все тихо расходились спать, и Иисус нежно и с благодарностью целовал Иоанна и ласково гладил по плечу высокого Петра.

И без зависти, с снисходительным презрением смотрел Иуда на эти ласки. Что значат все эти рассказы, эти поцелуи и вздохи сравнительно с тем, что знает он, Иуда из Кариота, рыжий, безобразный иудей, рожденный среди камней!

## VI

Одною рукой предавая Иисуса, другою рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы. Он не отговаривал Иисуса от последнего, опасного путешествия в Иерусалим, как делали это женщины, он даже склонялся скорее на сторону родственников Иисуса и тех Его учеников, которые победу над Иерусалимом считали необходимою для полного торжества дела. Но настойчиво и упорно предупреждал он об опасности и в живых красках изображал грозную ненависть фарисеев к Иисусу, 10 их готовность пойти на преступление и тайно или явно умертвить пророка из Галилеи. Каждый день и каждый час говорил он об этом, и не было ни одного из верующих, перед кем не стоял бы Иуда, подняв грозный палец, и не говорил бы предостерегающе и строго:

– Нужно беречь Иисуса! Нужно беречь Иисуса! Нужно заступиться за Иисуса, когда придет на то время.

Но безграничная ли вера учеников в чудесную силу их Учителя, сознание ли правоты своей или просто ослепление – пугливые слова Иуды встречались улыбкою, а бесконечные советы вызывали даже ропот. Когда Иуда добыл откуда-то и принес два меча, только Петру понравилось это, и только Петр похвалил меча и Иуду, остальные же недовольно сказали:

– Разве мы воины, что должны опоясываться мечами? И разве Иисус не пророк, а военачальник?

– Но если они захотят умертвить Его?

– Они не посмеют, когда увидят, что весь народ идет за Ним.

– А если посмеют? Тогда что?

Иоанн говорил пренебрежительно:

– Можно подумать, что только один ты, Иуда, любишь Учителя.

И, жадно вцепившись в эти слова, совсем не обижаясь, Иуда начал допрашивать торопливо, горячо, с суровой настойчивостью:

– Но вы Его любите, да?

И не было ни одного из верующих, приходивших к Иисусу, кого он не спросил бы неоднократно:

– А ты Его любишь? Крепко любишь?

И все отвечали, что любят.

Он часто беседовал с Фомой и, подняв предостерегающе сухой, цепкий палец с длинным и грязным ногтем, таинственно предупреждал его:

– Смотри, Фома, близится страшное время. Готовы ли вы к нему? Почему ты не взял меча, который я принес?

Фома рассудительно ответил:

– Мы люди, непривычные к обращению с оружием. И если мы вступим в борьбу с римскими воинами, то они всех нас перебьют. Кроме того, ты принес только два меча, – что можно сделать двумя мечами?

– Можно еще достать. Их можно отнять у воинов, – нетерпеливо возразил Иуда, и даже серьезный Фома улыбнулся сквозь прямые, нависшие усы:

– Ах, Иуда, Иуда! А эти где ты взял? Они похожи на меча римских солдат.

– Эти я украл. Можно было еще украсть, но там закричали – и я убежал.

Фома задумался и печально сказал:

– Опять ты поступил нехорошо, Иуда. Зачем ты крадешь?

– Но ведь нет же чужого!

– Да, но завтра воинов спросят: а где ваши мечи? И, не найдя, накажут их без вины.

60 И впоследствии, уже после смерти Иисуса, ученики припоминали эти разговоры Иуды и решили, что вместе с Учителем хотел он погубить и их, вызвав на неравную и убийственную борьбу. И еще раз проклинали ненавистное имя Иуды из Кариота, предателя.

А рассерженный Иуда, после каждого такого разговора, шел к женщинам и плакался перед ними. И охотно слушали его женщины. То женственное и нежное, что было в его любви к Иисусу, сблизило его с ними, сделало его в их глазах простым, понятным и даже красивым, хотя по-прежнему в его обращении с ними сквозило некоторое пренебрежение.

70 – Разве это люди? – горько жаловался он на учеников, доверчиво устремляя на Марию свой слепой и неподвижный глаз. – Это же не люди! У них нет крови в жилах даже на обол!

– Но ведь ты же всегда говорил дурно о людях, – возражала Мария.

– Разве я когда-нибудь говорил о людях дурно? – удивлялся Иуда. – Ну да, я говорил о них дурно, но разве не могли бы они быть немного лучше? Ах, Мария, глупая Мария, зачем ты не мужчина и не можешь носить меча!

– Он так тяжел, я не подниму его, – улыбнулась Мария.

80 – Поднимешь, когда мужчины будут так плохи. Отдала ли ты Иисусу лилию, которую нашел я в горах? Я встал рано утром, чтоб найти ее, и сегодня было такое красное солнце, Мария! Рад ли был Он? Улыбнулся ли Он?

– Да, Он был рад. Он сказал, что от цветка пахнет Галилеей.

– И ты, конечно, не сказала Ему, что это Иуда достал, Иуда из Кариота?

– Ты же просил не говорить.

90 – Нет, не надо, конечно, не надо, – вздохнул Иуда. – Но ты могла проболтаться, ведь женщины так болтливы. Но ты не проболталась, нет? Ты была тверда? Так, так, Мария, ты хорошая женщина. Ты знаешь, у меня где-то есть жена. Теперь бы я хотел посмотреть на нее: быть может, она тоже не плохая женщина. Не знаю. Она говорила: Иуда лгун, Иуда Симонов злой, и я ушел от нее. Но, может быть, она и хорошая женщина, ты не знаешь?

– Как же я могу знать, когда я ни разу не видела твоей жены?

– Так, так, Мария. А как ты думаешь, тридцать серебряников – это большие деньги? Или нет, небольшие?



– Я думаю, что небольшие.

– Конечно, конечно. А сколько ты получала, когда была блудницей? Пять серебряников или десять? Ты была дорогая? 100

Мария Магдалина покраснела и опустила голову, так что пышные золотистые волосы совсем закрыли ее лицо: виднелся только круглый и белый подбородок.

– Какой ты недобрый, Иуда! Я хочу забыть об этом, а ты вспоминаешь.

– Нет, Мария, этого забывать не надо. Зачем? Пусть другие забывают, что ты была блудницей, а ты помни. Это другим надо поскорее забыть, а тебе не надо. Зачем?

– Ведь это грех.

– Тому страшно, кто греха еще не совершал. А кто уже совершил его – чего бояться тому? Разве мертвый боится смерти, а не живой? А мертвый смеется над живым и над страхом его. 110

Так дружелюбно сидели они и болтали по целым часам – он, уже старый, сухой, безобразный, со своею бугроватой головой и дико раздвоившимся лицом; она – молодая, стыдливая, нежная, очарованная жизнью, как сказкою, как сном.

А время равнодушно протекало, и тридцать серебряников лежали под камнем, и близился неумолимо страшный день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим на осляти, и, расстилая одежду по пути Его, приветствовал Его народ восторженными криками: 120

– Осанна! Осанна! Грядый во имя Господне!

И так велико было ликование, так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус, а ученики Его говорили гордо:

– Не Сын ли это Божий с нами?

И сами кричали торжествующе:

– Осанна! Осанна! Грядый во имя Господне!

В тот вечер долго не отходили ко сну, вспоминая торжественную и радостную встречу, а Петр был как сумасшедший, как одержимый бесом веселия и гордости. Он кричал, заглушая все речи своим львиным рыканием, хохотал, бросая свой хохот на головы, как круглые, большие камни, целовал Иоанна, целовал Иакова и даже поцеловал Иуду. И сознался шумно, что он очень боялся за Иисуса, а теперь ничего не боится, потому что видел любовь народа к Иисусу. Удивленно, быстро двигая живым и зорким глазом, смотрел по сторонам Искарriot; задумывался и вновь слушал и смотрел; потом отвел в сторону Фому и, точно прикалывая его к стене своим острым взором, спросил в недоумении, страхе и какой-то смутной надежде: 130

140 – Фома! А что, если Он прав? Если камни у Него под ногами, а у меня под ногою – песок только? Тогда что?

– Про кого ты говоришь? – осведомился Фома.

– Как же тогда Иуда из Кариота? Тогда я сам должен удушить Его, чтобы сделать правду. Кто обманывает Иуду: вы или сам Иуда? Кто обманывает Иуду? Кто?

– Я тебя не понимаю, Иуда. Ты говоришь очень непонятно. Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И, покачивая головою, Иуда повторил, как эхо:

– Кто обманывает Иуду? Кто прав?

150 И на другой еще день, в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел на Фому, звучал все тот же странный вопрос:

– Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И еще больше удивился и даже обеспокоился Фома, когда вдруг ночью зазвучал громкий и как будто радостный голос Иуды:

– Тогда не будет Иуды из Кариота. Тогда не будет Иисуса. Тогда будет... Фома, глупый Фома! Хотелось ли тебе когда-нибудь взять землю и поднять ее? И, может быть, бросить потом.

– Это невозможно. Что ты говоришь, Иуда!

160 – Это возможно, – убежденно сказал Искарот. – И мы ее поднимем когда-нибудь, когда ты будешь спать, глупый Фома. Спи! Мне весело, Фома! Когда ты спишь, у тебя в носу играет галилейская свирель. Спи!

Но вот уже разошлись по Иерусалиму верующие и скрылись в домах, за стенами, и загадочны стали лица встречных. Погасло ликование. И уже смутные слухи об опасности поползли в какие-то щели; пробовал сумрачный Петр подаренный ему Иудой меч. И все печальнее и строже становилось лицо Учителя. Так быстро пробежало время и неумолимо приближало страшный день предательства.

170 Вот прошла и последняя вечеря, полная печали и смутного страха, и уже прозвучали неясные слова Иисуса о ком-то, кто предаст Его.

– Ты знаешь, кто Его предаст? – спрашивал Фома, смотря на Иуду своими прямыми и ясными, почти прозрачными глазами.

– Да, знаю, – ответил Иуда, суровый и решительный. – Ты, Фома, предашь Его. Но Он сам не верит тому, что говорит! Пора! Пора! Почему Он не зовет к Себе сильного, прекрасного Иуду?

...Уже не днями, а короткими, быстро летящими часами мерялось неумолимое время. И был вечер, и вечерняя тишина была, и длинные тени ложились по земле – первые острые стрелы грядущей ночи великого боя, когда прозвучал печальный и суровый голос. Он говорил:

180

– Ты знаешь, куда иду я, Господи? Я иду предать Тебя в руки Твоих врагов.

И было долгое молчание, тишина вечера и острые, черные тени.

– Ты молчишь, Господи? Ты приказываешь мне идти?

И снова молчание.

– Позволь мне остаться. Но Ты не можешь? Или не смеешь? Или не хочешь?

И снова молчание, огромное, как глаза вечности.

190

– Но ведь Ты знаешь, что я люблю Тебя. Ты все знаешь. Зачем Ты так смотришь на Иуду? Велика тайна Твоих прекрасных глаз, но разве моя – меньше? Повели мне остаться!.. Но Ты молчишь, Ты все молчишь? Господи, Господи, за тем ли в тоске и муках искал я Тебя всю мою жизнь, искал и нашел! Освободи меня. Сними тяжесть, она тяжеле гор и свинца. Разве Ты не слышишь, как трещит под нею грудь Иуды из Кариота?

И последнее молчание, бездонное, как последний взгляд вечности.

– Я иду.

200

Даже не проснулась вечерняя тишина, не закричала и не заплакала она и не зазвенела тихим звоном своего тонкого стекла – так слаб был шум удалявшихся шагов. Прошумели и смолкли. И задумалась вечерняя тишина, протянулась длинными тенями, потемнела – и вдруг вздохнула вся шелестом тоскливо взметнувшихся листьев, вздохнула и замерла, встречая ночь.

Затолклись, захлопали, застучали другие голоса – точно развязал кто-то мешок с живыми, звонкими голосами, и они попадали оттуда на землю, по одному, по два, целой кучей. Это говорили ученики. И, покрывая их всех, стучаясь о деревья, о стены, падая на самого себя, загремел решительный и властный голос Петра – он клялся, что никогда не оставит Учителя своего.

– Господи! – говорил он с тоскою и гневом. – Господи! С Тобою я готов и в темницу и на смерть идти.

И тихо, как мягкое эхо чых-то удалившихся шагов, прозвучал беспощадный ответ:

– Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься от Меня.

## VII

Уже встала луна, когда Иисус собрался идти на гору Елеонскую, где проводил Он все последние ночи свои. Но непонятно медлил Он, и ученики, готовые тронуться в путь, торопили Его; тогда Он сказал внезапно:

– Кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и этому написанному: “И к злодеям при-чтен”.

10 Ученики удивились и смотрели друг на друга с смущением. Петр же ответил:

– Господи! вот здесь два меча.

Он взглянул испытующе на их добрые лица, опустил голову и сказал тихо:

– Довольно.

Звонко отдавались в узких улицах шаги идущих – и пугались ученики звука шагов своих; на белой стене, озаренной луною, вырастали их черные тени – и теней своих пугались они. Так молча проходили они по спящему Иерусалиму, и вот уже за 20 ворота города они вышли, и в глубокой лощине, полной загадочно-неподвижных теней, открылся им Кедронский поток. Теперь их пугало все. Тихое журчание и плеск воды на камнях казался им голосами подкрадывающихся людей; уродливые тени скал и деревьев, преграждавшие дорогу, беспокоили их пестротой своею, и движением казалась их ночная неподвижность. Но, по мере того как поднимались они в гору и приближались к Гефсиманскому саду, где в безопасности и тишине уже провели столько ночей, они делались смелее. Изредка оглядываясь на оставленный Иеру- 30 салим, весь белый под луною, они разговаривали между собой о минувшем страхе; и те, которые шли сзади, слышали отрывочно тихие слова Иисуса. О том, что все покинут Его, говорил Он.

В саду, в начале его, они остановились. Большая часть осталась на месте и с тихим говором начала готовиться ко сну, расстилая плащи в прозрачном кружеве теней и лунного света. Иисус же, томимый беспокойством, и четверо Его ближайших учеников по-шли дальше, в глубину сада. Там сели они на земле, не остывшей еще от дневного жара, и, пока Иисус молчал, Петр и Иоанн лениво перекидывались словами, почти лишенными смысла. Зевая от усталости, они говорили о том, как холодна ночь, и о том, как дорого 40 мясо в Иерусалиме, рыбы же совсем нельзя достать. Старались точным числом определить количество паломников, собравшихся к празднику в город, и Петр, громкою зевотою растягивая слова, говорил, что двадцать тысяч, а Иоанн и брат его Иаков уверяли так же лениво, что не более десяти. Вдруг Иисус быстро поднялся.

– Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте, – сказал Он и быстрыми шагами удалился в чашу и скоро пропал в неподвижности теней и света.

– Куда Он? – сказал Иоанн, приподнявшись на локте. Петр повернул голову вслед ушедшему и утомленно ответил:

– Не знаю.

50

И, еще раз громко зевнув, опрокинулся на спину и затих. Затихли и остальные, и крепкий сон здоровой усталости охватил их неподвижные тела. Сквозь тяжелую дрему Петр видел смутно что-то белое, наклонившееся над ним, и чей-то голос прозвучал и погас, не оставив следа в его помраченном сознании.

– Симон, ты спишь?

И опять он спал, и опять какой-то тихий голос коснулся его слуха и погас, не оставив следа:

– Так ли и одного часа не могли вы бодрствовать со Мною?

“Ах, Господи, если бы Ты знал, как мне хочется спать”, – подумал он в полусне, но ему показалось, что сказал он это громко. И снова он уснул, и много как будто прошло времени, когда внезапно выросла около него фигура Иисуса, и громкий будящий голос мгновенно отрезвил его и остальных:

– Вы все еще спите и поживаете? Конечно, пришел час – вот предается Сын Человеческий в руки грешников.

Ученики быстро вскочили на ноги, растерянно хватая свои плащи и дрожа от холода внезапного пробуждения. Сквозь чащу деревьев, озаряя их бегучим огнем факелов, с топотом и шумом, в лязге оружия и хрусте ломающихся веток приближалась толпа воинов и служителей храма. А с другой стороны прибежали трясущиеся от холода ученики с испуганными, заспанными лицами и, еще не понимая, в чем дело, торопливо спрашивали:

– Что это? Что это за люди с факелами?

Бледный Фома, со сбившимся на сторону прямым усом, зябко лялскал зубами и говорил Петру:

– По-видимому, это пришли за нами.

Вот толпа воинов окружила их, и дымный, тревожный блеск огней отогнал куда-то в стороны и вверх тихое сияние луны. Впереди воинов торопливо двигался Иуда из Кариота и, остро ворочая живым глазом своим, разыскивал Иисуса. Нашел Его, на миг остановился взором на Его высокой, тонкой фигуре и быстро шепнул служителям:

– Кого я поцелую, Тот и есть. Возьмите Его и ведите осторожно. Но только осторожно, вы слышали?

Затем быстро придвинулся к Иисусу, ожидавшему его молча, и погрузил, как нож, свой прямой и острый взгляд в Его спокойные, потемневшие глаза.

– Радуйся, Равви! – сказал он громко, вкладывая странный и  
90 грозный смысл в слова обычного приветствия.

Но Иисус молчал, и с ужасом глядели на предателя ученики, не понимая, как может столько зла вместить в себя душа человека. Быстрым взглядом окинул Искарriot их смятенные ряды, заметил трепет, готовый перейти в громко ляскающую дрожь испуга, заметил бледность, бессмысленные улыбки, вялые движения рук, точно стянутых железом у предплечья, – и зажглась в его сердце смертельная скорбь, подобная той, какую испытал перед этим Христос. Вытянувшись в сотню громко звенящих, рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал Его холодную щеку. Так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что, будь Иисус цветком на тоненьком стебельке, он не колыхнул бы его этим поцелуем и жемчужной росы не сронил бы с чистых лепестков.

– Иуда, – сказал Иисус и молнией Своего взора осветил ту чудовищную груду насторожившихся теней, что была душой Искарriота, – но в бездонную глубину ее не мог проникнуть.  
– Иуда! Целованием ли предаешь Сына Человеческого?

И видел, как дрогнул и пришел в движение весь этот чудовищный хаос. Безмолвным и строгим, как смерть в своем гордом  
110 величии, стоял Иуда из Кариота, а внутри его все стеноло, гремело и выло тысячью буйных и огненных голосов:

“Да! Целованием любви предаем мы Тебя! Целованием любви предаем мы Тебя на поругание, на истязания, на смерть! Голосом любви скликаем мы палачей из темных нор и ставим крест – и высоко над теменем земли мы поднимаем на кресте любовью распятую любовь”.

Так стоял Иуда, безмолвный и холодный, как смерть, а крику души его отвечали крики и шум, поднявшиеся вокруг Иисуса. С грубой нерешительностью вооруженной силы, с неловкостью  
120 смутно понимаемой цели уже хватали Его за руки солдаты и тащили куда-то, свою нерешительность принимая за сопротивление, свой страх – за насмешку над ними и издевательство. Как кучка испуганных ягнят, теснились ученики, ничему не препятствуя, но всем мешая – и даже самим себе; и только немногие решались ходить и действовать отдельно от других. Толкаемый со всех сторон, Петр Симонов с трудом, точно потеряв все свои силы, извлек из ножен меч и слабо, косым ударом опустил его на голову одного из служителей – но никакого вреда не причинил. И заметивший это Иисус приказал ему бросить ненужный меч, и, слабо звякнув,  
130 упало под ноги железо, столь видимо лишенное своей колющей

и убивающей силы, что никому не пришло в голову поднять его. Так и валялось оно под ногами, и много дней спустя нашли его на том же месте играющие дети и сделали его своей забавой.

Солдаты распихивали учеников, а те вновь собирались и тупо лезли под ноги, и это продолжалось до тех пор, пока не овладела солдатами презрительная ярость. Вот один из них, насупив брови, двинулся к кричащему Иоанну; другой грубо столкнул с своего плеча руку Фомы, в чем-то убеждавшего его, и к самым прямым и прозрачным глазам его поднес огромный кулак, – и побежал Иоанн, и побежали Фома и Иаков, и все ученики, сколько ни было их здесь, оставив Иисуса, бежали. Теряя плащи, ушибаясь о деревья, натыкаясь на камни и падая, они бежали в горы, гонимые страхом, и в тишине лунной ночи звонко гудела земля под топотом многочисленных ног. Кто-то неизвестный, по-видимому только что вставший с постели, ибо был покрыт он только одним одеялом, возбужденно сновал в толпе воинов и служителей. Но, когда его хотели задержать и схватили за одеяло, он испуганно вскрикнул и бросился бежать, как и другие, оставив свою одежду в руках солдат. Так совершенно голый бежал он отчаянными скачками, и нагое тело его странно мелькало под луною. 140

Когда Иисуса увели, вышел из-за деревьев притаившийся Петр и в отдалении последовал за учителем. И, увидя впереди себя другого человека, шедшего молча, подумал, что это Иоанн, и тихо окликнул его:

– Иоанн, это ты?

– А, это ты, Петр? – ответил тот, остановившись, и по голосу Петр признал в нем Предателя. – Почему же ты, Петр, не убежал вместе с другими?

Петр остановился и с отвращением произнес: 160

– Отойди от меня, сатана!

Иуда засмеялся и, не обращая более внимания на Петра, пошел дальше, туда, где дымно сверкали факелы и лязг оружия смешивался с отчетливым звуком шагов. Двинулся осторожно за ним и Петр, и так почти одновременно вошли они во двор первосвященника и вмешались в толпу служителей, гревшихся у костров. Хмуρο грел над огнем свои костлявые руки Иуда и слышал, как где-то позади него громко заговорил Петр:

– Нет, я не знаю Его.

Но там, очевидно, настаивали на том, что он из учеников Иисуса, потому что еще громче Петр повторил: 170

– Да нет же, я не понимаю, что вы говорите!

Не оглядываясь и нехотя улыбаясь, Иуда мотнул утвердительно головой и пробормотал:

– Так, так, Петр! Никому не уступай своего места возле Иисуса!

И не видел он, как ушел со двора перепуганный Петр, чтобы не показываться более. И с этого вечера до самой смерти Иисуса не видел Иуда вблизи Его ни одного из учеников; и среди всей 180 этой толпы были только они двое, неразлучные до самой смерти, дико связанные общностью страданий, – Тот, Кого предали на поругание и муки, и тот, кто Его предал. Из одного кубка страданий, как братья, пили они оба, Преданный и Предатель, и огненная влага одинаково опаляла чистые и нечистые уста.

Пристально глядя на огонь костра, наполнявший глаза ощущением жара, протягивая к огню длинные шевелящиеся руки, весь бесформенный в путанице рук и ног, дрожащих теней и света, Искарriot бормотал жалобно и хрипло:

– Как холодно! Боже мой, как холодно!

190 Так, вероятно, когда уезжают ночью рыбаки, оставив на берегу тлеющий костер, из темной глубины моря вылезает нечто, подползает к огню, смотрит на него пристально и дико, тянется к нему всеми членами своими и бормочет жалобно и хрипло:

– Как холодно! Боже мой, как холодно!

Вдруг за своей спиной Иуда услышал взрыв громких голосов, крики и смех солдат, полные знакомой, сонно-жадной злобы, и хлесткие, короткие удары по живому телу. Обернулся, пронизанный мгновенной болью всего тела, всех костей, – это били Иисуса.

200 Так вот оно!

Видел, как солдаты увели Иисуса к себе в караульню. Ночь проходила, гасли костры и покрывались пеплом, а из караульни все еще неслись глухие крики, смех и ругательства. Это били Иисуса. Точно заблудившись, Искарriot проворно бегал по обезлюдевшему двору, останавливался с разбега, поднимал голову и снова бежал, удивленно натываясь на костры, на стены. Потом прилипал к стене караульни и, вытягиваясь, присасывался к окну, к щелям дверей и жадно разглядывал, что делается там. Видел тесную, душную комнату, грязную, как все караульни в мире, 210 с заплеванным полом и такими замасленными, запятнанными стенами, точно по ним ходили или валялись. И видел Человека, которого били. Его били по лицу, по голове, перебрасывали, как мягкий тук, с одного конца на другой; и так как Он не кричал и не сопротивлялся, то минутами, после напряженного смотрения,



действительно начинало казаться, что это не живой человек, а какая-то мягкая кукла, без костей и крови. И выгибалась она странно, как кукла, и когда при падении ударялась головой о камни пола, то не было впечатления удара твердым о твердое, а все то же мягкое, безболезненное. И когда долго смотреть, то становилось похоже на какую-то бесконечную, странную игру – иногда 220 до полного почти обмана. После одного сильного толчка человек, или кукла, опустился плавным движением на колени к сидящему солдату; тот, в свою очередь, оттолкнул, и оно, перевернувшись, село к следующему, и так еще и еще. Поднялся сильный хохот, и Иуда также улыбнулся – точно чья-то сильная рука железными пальцами разодрала ему рот. Это был обманут рот Иуды.

Ночь тянулась, и костры еще тлели. Иуда отвалился от стены и медленно прибрел к одному из костров, раскопал уголь, поправил его и, хотя холода теперь не чувствовал, протянул над огнем слегка дрожащие руки. И забормотал тоскливо: 230

– Ах, больно, очень больно, сыночек мой, сыночек, сыночек. Больно, очень больно!..

Потом опять пошел к окну, желтеющему тусклым огнем в прорезе черной решетки, и снова стал смотреть, как бьют Иисуса. Один раз перед самыми глазами Иуды промелькнуло Его смуглое, теперь обезображенное лицо в чаще спутавшихся волос. Вот чья-то рука впиалась в эти волосы, повалила человека и, равномерно переворачивая голову с одной стороны на другую, стала лицом Его вытирать заплеванный пол. Под самым окном спал солдат, открыв рот с белыми блестящими зубами; вот чья-то широкая спина 240 с толстой голой шеей загородила окно, и больше ничего уже не видно. И вдруг стало тихо.

Что это? Почему они молчат? Вдруг они догадались?

Мгновенно вся голова Иуды, во всех частях своих, наполняется гулом, криком, ревом тысяч взбесившихся мыслей. Они догадались? Они поняли, что это – самый лучший человек? – это так просто, так ясно. Что там теперь? Стоят перед Ним на коленях и плачут тихо, целуя Его ноги. Вот выходит Он сюда, а за Ним ползут покорно те – выходит сюда, к Иуде, выходит победителем, мужем, властелином правды, богом... 250

– Кто обманывает Иуду? Кто прав?

Но нет. Опять крик и шум. Бьют опять. Не поняли, не догадались и бьют еще сильнее, еще больше бьют. А костры догорают, покрываясь пеплом, и дым над ними так же прозрачно-синь, как и воздух, и небо так же светло, как и луна. Это наступает день.

– Что такое день? – спрашивает Иуда.

Вот все загорелось, засверкало, помолодело, и дым наверху уже не синий, а розовый. Это восходит солнце.

– Что такое солнце? – спрашивает Иуда.

## VIII

На Иуду показывали пальцами, и некоторые презрительно, другие с ненавистью и страхом говорили:

– Смотрите: это Иуда Предатель!

Это уже начиналась позорная слава его, на которую обрек он себя вовеки. Тысячи лет пройдут, народы сменятся народами, а в воздухе все еще будут звучать слова, произносимые с презрением и страхом добрыми и злыми:

– Иуда Предатель... Иуда Предатель!

10 Но он равнодушно слушал то, что говорили про него, поглощенный чувством всепобеждающего жгучего любопытства. С самого утра, когда вывели из караульни избитого Иисуса, Иуда ходил за Ним и как-то странно не ощущал ни тоски, ни боли, ни радости – одно только непобедимое желание все видеть и все слышать. Хотя не спал всю ночь, но тело свое чувствовал легким; когда его не пропускали вперед, теснили, он расталкивал народ толчками и проворно вылезал на первое место; и ни минуты не оставался в покое его живой и быстрый глаз. При допросе Иисуса Каиафой, чтобы не пропустить ни одного слова, он оттопыривал  
20 рукою ухо и утвердительно мотал головою, бормоча:

– Так! Так! Ты слышишь, Иисус!

Но свободным он не был – как муха, привязанная на нитку: жужжа летает она туда и сюда, но ни на одну минуту не оставляет ее послушная и упорная нитка. Какие-то каменные мысли лежали в затылке у Иуды, и к ним он был привязан крепко; он не знал как будто, что это за мысли, не хотел их трогать, но чувствовал их постоянно. И минутами они вдруг надвигались на него, наседали, начинали давить всею своею невообразимой тяжестью – точно свод каменной пещеры медленно и страшно опускался на его  
30 голову. Тогда он хватался рукою за сердце, старался шевелиться весь, как озябший, и спешил перевести глаза на новое место, еще на новое место. Когда Иисуса выводили от Каиафы, он совсем близко встретил Его утомленный взор и, как-то не отдавая отчета, несколько раз дружелюбно кивнул головою.

– Я здесь, сынок, здесь! – пробормотал он торопливо и со злобой толкнул в спину какого-то ротозея, стоявшего ему на дороге. Теперь огромной, крикливой толпою все двигались к Пила-

ту, на последний допрос и суд, и с тем же невыносимым любопытством Иуда быстро и жадно разглядывал лица все прибывавшего народа. Многие были совершенно незнакомы, их никогда не видел Иуда, но встречались и те, которые кричали Иисусу: “Осана на!” – и с каждым шагом количество их как будто возрастало. 40

“Так, так! – быстро подумал Иуда, и голова его закружилась, как у пьяного. – Все кончено. Вот сейчас закричат они: это наш, это Иисус, что вы делаете? И все поймут и...”

Но верующие шли молча. Одни притворно улыбались, делая вид, что все это не касается их; другие что-то сдержанно говорили, но в гуле движения, в громких и исступленных криках врагов Иисуса бесследно тонули их тихие голоса. И опять стало легко. Вдруг Иуда заметил невдалеке осторожно пробиравшегося 50 Фому и, что-то быстро придумав, хотел к нему подойти. При виде предателя Фома испугался и хотел скрыться, но в узенькой, грязной улочке, между двух стен, Иуда нагнал его.

– Фома! Да погоди же!

Фома остановился и, протягивая вперед обе руки, торжественно произнес:

– Отойди от меня, сатана.

Искарriot нетерпеливо махнул рукою.

– Какой ты глупый, Фома, я думал, что ты умнее других. Сатана! Сатана! Ведь это надо доказать. 60

Опустив руки, Фома удивленно спросил:

– Но разве не ты предал Учителя? Я сам видел, как ты привел воинов и указал им на Иисуса. Если это не предательство, то что же тогда предательство?

– Другое, другое, – торопливо сказал Иуда. – Слушай, вас здесь много. Нужно, чтобы вы все собрались вместе и громко потребовали: отдайте Иисуса, Он наш. Вам не откажут, не посмеют. Они сами поймут...

– Что ты! Что ты, – решительно отмахнулся руками Фома, – разве ты не видел, сколько здесь вооруженных солдат и служителей храма. И потом суда еще не было, и мы не должны препятствовать суду. Разве он не поймет, что Иисус невинен, и не повелит немедленно освободить Его. 70

– Ты тоже так думаешь? – задумчиво спросил Иуда. – Фома, Фома, но если это правда? Что же тогда? Кто прав? Кто обманул Иуду?

– Мы сегодня говорили всю ночь и решили: не может суд осудить невинного. Если же он осудит...

– Ну! – торопил Искарriot.

80 – ...то это не суд. И им же придется худо, когда надо будет дать ответ перед настоящим Судиею.

– Перед настоящим! Есть еще настоящий! – засмеялся Иуда.

– И все наши прокляли тебя, но так как ты говоришь, что не ты предатель, то, я думаю, тебя следовало бы судить...

Не дослушав, Иуда круто повернул и быстро устремился вниз по улочке, вслед за удаляющейся толпой. Но вскоре замедлил шаги и пошел неторопливо, подумав, что когда идет много народу, то всегда идут они медленно, и одиноко идущий непременно нагонит их.

90 Когда Пилат вывел Иисуса из своего дворца и поставил Его перед народом, Иуда, прижатый к колонне тяжелыми спинами солдат, яростно ворочающий головою, чтобы рассмотреть что-нибудь между двух блистающих шлемов, вдруг ясно почувствовал, что теперь все кончено. Под солнцем, высоко над головами толпы, он увидел Иисуса, окровавленного, бледного, в терновом венце, остриями своими вонзавшемся в лоб; у края возвышения стоял Он, видимый весь с головы до маленьких загорелых ног, и так спокойно ждал, был так ясен в Своей непорочности и чистоте, что только слепой, который не видит самого солнца, не увидел бы этого, только безумец не понял бы. И молчал народ – так тихо было, что слышал Иуда, как дышит стоящий впереди солдат и при каждом дыхании где-то поскрипывает ремень на его теле.

100 “Так. Все кончено. Сейчас они поймут”, – подумал Иуда, и вдруг что-то странное, похожее на ослепительную радость падения с бесконечно высокой горы в голубую сияющую бездну, остановило его сердце.

Презрительно оттянув губы вниз, к круглому бритому подбородку, Пилат бросает в толпу сухие, короткие слова – так кости бросают в стаю голодных собак, думая обмануть их жажду свежей крови и живого трепещущего мяса:

110 – Вы привели ко мне Человека этого как развращающего народ; и вот я при вас исследовал и не нашел Человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его...

Иуда закрыл глаза. Ждет.

И весь народ закричал, завопил, завыл на тысячу звериных и человеческих голосов:

– Смерть Ему! Распни Его! Распни Его!

И вот, точно глумясь над самим собою, точно в одном миге желая испытать всю беспредельность падения, безумия и позора, тот же народ кричит, вопит, требует тысячью звериных и человеческих голосов:

– Варраву отпусти нам! Его распни! Распни!

Но ведь еще римлянин не сказал своего решающего слова: по его бритому надменному лицу пробегают судороги отвращения и гнева. Он понимает, он понял! Вот он говорит тихо служителям своим, но голос его не слышен в реве толпы. Что он говорит? Велит им взять мечи и ударить на этих безумцев?

– Принесите воды.

Воды? Какой воды? Зачем?

Вот он моет руки – зачем-то моет свои белые, чистые, укра- 130  
шенные перстнями руки – и злобно кричит, поднимая их, удивленно молчащему народу:

– Неповинен я в крови Праведника этого. Смотрите вы!

Еще скатывается с пальцев вода на мраморные плиты, когда что-то мягко распластывается у ног Пилата, и горячие, острые губы целуют его бессильно сопротивляющуюся руку – присасываются к ней, как щупальца, тянут кровь, почти кусают. С отвращением и страхом он взглядывает вниз – видит большое извивающееся тело, дико двоящееся лицо и два огромные глаза, так странно непохожие друг на друга, как будто не одно существо, а 140  
множество их цепляется за его ноги и руки. И слышит ядовитый шепот, прерывистый, горячий:

– Ты мудрый!.. Ты благородный!.. Ты мудрый, мудрый!..

И такой поистине сатанинской радостью пылает это дикое лицо, что с криком ногою отталкивает его Пилат, и Иуда падает навзничь. И, лежа на каменных плитах, похожий на опрокинутого дьявола, он все еще тянется рукою к уходящему Пилату и кричит, как страстно влюбленный:

– Ты мудрый! Ты мудрый! Ты благородный!

Затем проворно поднимается и бежит, провожаемый хохотом 150  
солдат. Ведь еще не все кончено. Когда они увидят крест, когда они увидят гвозди, они могут понять, и тогда... Что тогда? Видит мельком оторопелого бледного Фому и зачем-то, успокоительно кивнув ему головою, нагоняет Иисуса, ведомого на казнь. Идти тяжело, мелкие камни скатываются под ногами, и вдруг Иуда чувствует, что он устал. Весь уходит в заботу о том, чтобы лучше ставить ногу, тускло смотрит по сторонам и видит плачущую Марию Магдалину, видит множество плачущих женщин – распущенные волосы, красные глаза, искривленные уста, – всю безмерную печаль нежной женской души, отданной на пору- 160  
гание. Оживляется внезапно и, улучив мгновение, подбегает к Иисусу:

– Я с Тобою, – шепчет он торопливо.

Солдаты отгоняют его ударами бичей, и, извиваясь, чтобы ускользнуть от ударов, показывая солдатам оскаленные зубы, он поясняет торопливо:

– Я с Тобою. Туда. Ты понимаешь, туда!

Вытирает с лица кровь и грозит кулаком солдату, который обора-  
170 Фому – но ни его, ни одного из учеников нет в толпе провожаю-  
щих. Снова чувствует усталость и тяжело передвигает ноги, внима-  
тельно разглядывая острые, белые, рассыпающиеся камешки.

---

...Когда был поднят молот, чтобы пригвоздить к дереву левую  
руку Иисуса, Иуда закрыл глаза и целую вечность не дышал, не  
видел, не жил, а только слушал. Но вот со скрежетом ударилося  
железо о железо, и раз за разом тупые, короткие, низкие удары, –  
слышно, как входит острый гвоздь в мягкое дерево, раздвигая  
частицы его...

180 Одна рука. Еще не поздно.

Другая рука. Еще не поздно.

Нога, другая нога – неужели все кончено? Нерешительно рас-  
крывает глаза и видит, как поднимается, качаясь, крест и устанав-  
ливается в яме. Видит, как, напряженно содрогаясь, вытягиваются  
мучительно руки Иисуса, расширяют раны – и внезапно уходит  
под ребра опавший живот. Тянутся, тянутся руки, становятся тон-  
кие, белеют, вывертываются в плечах, и раны под гвоздями крас-  
неют, ползут – вот оборвутся они сейчас... Нет, остановилось. Все  
остановилось. Только ходят ребра, поднимаемые коротким глубо-  
190 ким дыханием.

На самом темени земли вздымается крест – и на нем распятый  
Иисус. Осуществился ужас и мечты Искарриота, – он поднимает-  
ся с колен, на которых стоял зачем-то, и холодно оглядывается  
кругом. Так смотрит суровый победитель, который уже решил  
в сердце своем предать все разрушению и смерти, и в послед-  
ний раз обводит взором чужой и богатый город, еще живой  
и шумный, но уже призрачный под холодною рукою смерти.  
И вдруг так же ясно, как ужасную победу свою, видит Искарриот ее  
зловещую шаткость. А вдруг они поймут? Еще не поздно. Иисус  
200 еще жив. Вон смотрит Он зовущими, тоскующими глазами...

Что может удержать от разрыва тоненькую пленку, застилаю-  
щую глаза людей, такую тоненькую, что ее как будто нет совсем?  
Вдруг – они поймут? Вдруг всею своею грозною массой мужчин,  
женщин и детей они двинутся вперед, молча, без крика, сотрут  
солдат, зальют их по уши своею кровью, вырвут из земли про-

клятый крест и руками оставшихся в живых высоко над теменем земли поднимут свободного Иисуса! Осанна! Осанна!

Осанна? Нет, лучше Иуда ляжет на земле. Нет, лучше, лежа на земле и ляская зубами, как собака, он будет высматривать и ждать, пока не поднимутся все те. Но что случилось с временем? 210 То почти останавливается оно, так что хочется пихать его руками, бить ногами, кнутом, как ленивого осла, – то безумно мчится оно с какой-то горы и захватывает дыхание, и руки напрасно ищут опоры. Вон плачет Мария Магдалина. Вон плачет мать Иисуса. Пусть плачут. Разве значат сейчас что-нибудь ее слезы, слезы всех матерей, всех женщин в мире!

– Что такое слезы? – спрашивает Иуда и бешено толкает неподвижное время, бьет его кулаками, прокладывает, как раба. Оно чужое и оттого так непослушно. О, если бы оно принадлежало Иуде, – но оно принадлежит всем этим плачущим, смеющимся, 220 болтающим как на базаре; оно принадлежит солнцу; оно принадлежит кресту и сердцу Иисуса, умирающему так медленно.

Какое подлое сердце у Иуды! Он держит его рукою, а оно кричит “Осанна!” так громко, что вот услышат все. Он прижимает его к земле, а оно кричит: “Осанна, осанна!” – как болтун, который на улице разбрасывает святые тайны... Молчи! Молчи!

Вдруг громкий, оборванный плач, глухие крики, поспешное движение к кресту. Что это? Поняли?

Нет, умирает Иисус. И это может быть? Да, Иисус умирает. Бледные руки неподвижны, но по лицу, по груди и ногам пробегают короткие судороги. И это может быть? Да, умирает. Дыхание реже. Остановилось... Нет, еще вздох, еще на земле Иисус. И еще? Нет... Нет... Нет... Иисус умер.

Свершилось. Осанна! Осанна!

---

Осуществился ужас и мечты. Кто вырвет теперь победу из рук Искарриота? Свершилось. Пусть все народы, какие есть на земле, стекутся к Голгофе и возопиют миллионами своих глоток: “Осанна, Осанна!” – и моря крови и слез прольют к подножию ее – они найдут только позорный крест и мертвого Иисуса. 240

Спокойно и холодно Искарриот оглядывает умершего, останавливается на миг взором на щеке, которую еще только вчера поцеловал он прощальным поцелуем, и медленно отходит. Теперь все время принадлежит ему, и идет он неторопливо; теперь вся земля принадлежит ему, и ступает он твердо, как повелитель, как царь, как тот, кто беспредельно и радостно в этом мире одинок. Замечает мать Иисуса и говорит ей сурово:

– Ты плачешь, мать? Плачь, плачь, и долго еще будут плакать с тобою все матери земли. Дотоле, пока не придем мы вместе с 250 Иисусом и не разрушим смерть.

Что он – безумен или издевается, этот предатель? Но он серьезен, и лицо его строго, и в безумной торопливости не бегают его глаза, как прежде. Вот останавливается он и с холодным вниманием осматривает новую, маленькую землю. Маленькая она стала, и всю ее он чувствует под своими ногами; смотрит на маленькие горы, тихо краснеющие в последних лучах солнца, и горы чувствует под своими ногами; смотрит на небо, широко открывшее свой синий рот, смотрит на кругленькое солнце, безуспешно старающееся обжечь и ослепить, – и небо и солнце чувствует под своими ногами. Беспредельно и радостно одинокий, он гордо ощутил бессилие всех сил, действующих в мире, и все их бросил в пропасть.

И дальше идет он спокойными и властными шагами. И не идет время ни спереди, ни сзади; покорное, вместе с ним движется оно всею своей незримою громадой.

Свершилось.

## IX

Старым обманщиком, покашливая, льстиво улыбаясь, кланяясь бесконечно, явился перед синедрионом Иуда из Кариота – Предатель. Это было на другой день после убийства Иисуса, около полудня. Тут были все они, Его судьи и убийцы: и престарелый Анна со своими сыновьями, точными и отвратительными подобиями отца, и снедаемый честолюбием Каиафа, зять его, и все другие члены синедриона, укравшие имена свои у памяти людской – богатые и знатные саддукеи, гордые 10 силою своею и знанием закона. Молча встретили они Предателя, и надменные лица их остались неподвижны: как будто не вошло ничего. И даже самый маленький из них и ничтожный, на которого другие не обращали внимания, поднимал кверху свое птичье лицо и смотрел так, будто не вошло ничего. Иуда кланялся, кланялся, кланялся, а они смотрели и молчали: как будто не человек вошел, а только вползло нечистое насекомое, которого не видно. Но не такой был человек Иуда из Кариота, чтобы смутиться: они молчали, а он себе кланялся и думал, что если и до вечера придет-ся, то и до вечера он будет кланяться.

20 Наконец нетерпеливый Каиафа спросил:

– Что надо тебе?



Иуда еще раз поклонился и громко сказал:

– Это я, Иуда из Кариота, тот, что предал вам Иисуса Назорея.

– Так что же? Ты получил свое. Ступай! – приказал Анна, но Иуда как будто не слышал приказания и продолжал кланяться. И, взглянув на него, Каиафа спросил Анну:

– Сколько ему дали?

– Тридцать серебряников.

Каиафа усмехнулся, усмехнулся и сам седой Анна, и по всем 30 надменным лицам скользнула веселая улыбка; а тот, у которого было птичье лицо, даже засмеялся. И, заметно бледнея, быстро подхватил Иуда:

– Так, так. Конечно, очень мало, но разве Иуда недоволен, разве Иуда кричит, что его ограбили? Он доволен. Разве не святому делу он послужил? Святому. Разве не самые мудрые люди слушают теперь Иуду и думают: он наш, Иуда из Кариота, он наш брат, наш друг, Иуда из Кариота, Предатель? Разве Анне не хочется стать на колени и поцеловать у Иуды руку? Но только Иуда не даст, он трус, он боится, что его укусят. 40

Каиафа сказал:

– Выгони этого пса. Что он лает?

– Ступай отсюда. Нам нет времени слушать твою болтовню, – равнодушно сказал Анна.

Иуда выпрямился и закрыл глаза. То притворство, которое так легко носил он всю свою жизнь, вдруг стало невыносимым бременем; и одним движением ресниц он сбросил его. И когда снова взглянул на Анну, то был взор его прост, и прям, и страшен в своей голой правдивости. Но и на это не обратили внимания.

– Ты хочешь, чтобы тебя выгнали палками? – крикнул 50 Каиафа.

Задыхаясь под тяжестью страшных слов, которые он поднимал все выше и выше, чтобы бросить их оттуда на головы судей, Иуда хрипло спросил:

– А вы знаете... вы знаете... кто был Он – Тот, Которого вчера вы осудили и распяли?

– Знаем. Ступай!

Одним словом он прорвет сейчас ту тонкую пленку, что застилает их глаза, – и вся земля дрогнет под тяжестью беспощадной истины! У них была душа – они лишатся ее; у них была жизнь – 60 они потеряют жизнь; у них был свет перед очами – вечная тьма и ужас покроют их. Осанна! Осанна!

И вот они, эти страшные слова, раздирающие горло:

– Он не был обманщик. Он был невинен и чист. Вы слышите? Иуда обманул вас. Он предал вам невинного.

Ждет. И слышит равнодушный, старческий голос Анны:

– И это все, что ты хотел сказать?

– Кажется, вы не поняли меня, – говорит Иуда с достоинством, бледнея. – Иуда обманул вас. Он был невинен. Вы убили 70 невинного.

Тот, у которого птичье лицо, улыбается, но Анна равнодушен, Анна скучен, Анна зевает. И зевает вслед за ним Каиафа и говорит утомленно:

– Что же мне говорили об уме Иуды из Кариота? Это просто дурак, очень скучный дурак.

– Что! – кричит Иуда, весь наливаясь темным бешенством. – А кто вы, умные! Иуда обманул вас – вы слышите! Не Его он предал, а вас, мудрых, вас, сильных, предал он позорной смерти, которая не кончится вовеки. Тридцать серебряников! Так, так. 80 Но ведь это цена вашей крови, грязной, как те помои, что выливают женщины за ворота домов своих. Ах, Анна, старый, седой, глупый Анна, наглотавшийся закона, – зачем ты не дал одним серебряником, одним оболон больше! Ведь в этой цене пойдешь ты вовеки!

– Вон! – закричал побагровевший Каиафа. Но Анна остановил его движением руки и все так же равнодушно спросил Иуду:

– Теперь всё?

– Ведь если я пойду в пустыню и крикну зверям: звери, вы слышали, во сколько оценили люди своего Иисуса, что сделают звери? Они вылезут из логовищ, они завоюют от гнева, они забудут свой страх перед человеком и все придут сюда, чтобы сожрать вас! Если я скажу морю: море, ты знаешь, во сколько люди оценили своего Иисуса? Если я скажу горам: горы, вы знаете, во сколько люди оценили Иисуса? И море и горы оставят свои места, определенные извека, и придут сюда, и упадут на головы ваши!

– Не хочет ли Иуда стать пророком? Он говорит так громко! – насмешливо заметил тот, у которого было птичье лицо, и заискивающе взглянул на Каиафу.

100 – Сегодня я видел бледное солнце. Оно смотрело с ужасом на землю и говорило: где же человек? Сегодня я видел скорпиона. Он сидел на камне и смеялся и говорил: где же человек? Я подошел близко и в глаза ему посмотрел. И он смеялся и говорил: где же человек, скажите мне, я не вижу! Или ослеп Иуда, бедный Иуда из Кариота!

И Искариот громко заплакал. Был он в эти минуты похож на безумного, и Каиафа, отвернувшись, презрительно махнул рукою. Анна же подумал немного и сказал:

– Я вижу, Иуда, что ты действительно получил мало, и это волнует тебя. Вот еще деньги, возьми и отдай своим детям. 110

Он бросил что-то, звякнувшее резко. И еще не замолк этот звук, как другой, похожий, странно продолжал его: это Иуда горстью бросал серебряники и оболы в лица первосвященника и судей, возвращая плату за Иисуса. Косым дождем криво летели монеты, попадая в лица, на стол, раскатываясь по полу. Некоторые из судей закрывались руками, ладонями наружу, другие, вскочив с мест, кричали и бранились. Иуда, стараясь попасть в Анну, бросил последнюю монету, за которою долго шарил в мешке его дрожащая рука, плюнул гневно и вышел.

– Так, так! – бормотал он, быстро проходя по улочкам и пугая 120 детей. – Ты, кажется, плакал, Иуда? Разве действительно прав Каиафа, говоря, что глуп Иуда из Кариота? Кто плачет в день великой мести, тот недостоин ее, – знаешь ли ты это, Иуда? Не давай глазам твоим обманывать тебя, не давай сердцу твоему лгать, не заливай огня слезами, Иуда из Кариота!

Ученики Иисуса сидели в грустном молчании и прислушивались к тому, что делается снаружи дома. Еще была опасность, что месть врагов Иисуса не ограничится Им одним, и все ждали вторжения стражи и, быть может, новых казней. Возле Иоанна, которому, как любимому ученику Иисуса, была особенно тяжела 130 смерть Его, сидели Мария Магдалина и Матфей и вполголоса утешали его. Мария, у которой лицо распухло от слез, тихо гладила рукою его пышные волнистые волосы, Матфей же наставительно говорил словами Соломона:

– Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.

В это мгновение, громко хлопнув дверью, вошел Иуда Искариот. Все испуганно вскочили и вначале даже не поняли, кто это, а когда разглядели ненавистное лицо и рыжую бугроватую голову, то подняли крик. Петр же поднял обе руки и закричал: 140

– Уходи отсюда, предатель! Уходи, иначе я убью тебя!

Но всмотрелись лучше в лицо и глаза Предателя и смолкли, испуганно шепча:

– Оставьте! Оставьте его! В него вселился сатана.

Выждав тишину, Иуда громко воскликнул:

– Радуйтесь, глаза Иуды из Кариота! Холодных убийц вы видели сейчас – и вот уже трусливые предатели пред вами! Где Иисус? Я вас спрашиваю: где Иисус?

Было что-то властное в хриплом голосе Искарота, и покорно  
150 ответил Фома:

– Ты же сам знаешь, Иуда, что Учителя нашего вчера вечером распяли.

– Как же вы позволили это? Где же была ваша любовь? Ты, любимый ученик, ты – камень, где были вы, когда на дереве распинали вашего друга?

– Что же могли мы сделать, посуди сам, – развел руками Фома.

– Ты это спрашиваешь, Фома? Так, так! – склонил голову набок Иуда из Кариота, и вдруг гневно обрушился: – Кто любит, тот не спрашивает, что делать! Он идет и делает все. Он плачет, он кусается, он душит врага и кости ломает у него! Кто любит! Когда твой сын утопает, разве ты идешь в город и спрашиваешь прохожих: “Что мне делать? мой сын утопает!” – а не бросаешься сам в воду и не тонешь рядом с сыном. Кто любит!

Петр хмуро ответил на неистовую речь Иуды:

– Я обнажил меч, но Он сам сказал – не надо.

– Не надо? И ты послушался? – засмеялся Искарот. – Петр, Петр, разве можно Его слушать! Разве понимает Он что-нибудь в людях, в борьбе!

170 – Кто не повинуется Ему, тот идет в геенну огненную.

– Отчего же ты не пошел? Отчего ты не пошел, Петр? Геенна огненная – что такое геенна? Ну и пусть бы ты пошел – зачем тебе душа, если ты не смеешь бросить ее в огонь, когда захочешь!

– Молчи! – крикнул Иоанн, поднимаясь. – Он Сам хотел этой жертвы. И жертва Его прекрасна!

– Разве есть прекрасная жертва, что ты говоришь, любимый ученик? Где жертва, там и палач, и предатели там! Жертва – это страдания для одного и позор для всех. Предатели, предатели, что сделали вы с землею? Теперь смотрят на нее сверху и снизу и хотят и кричат: посмотрите на эту землю, на ней распяли Иисуса! И плюют на нее – как я!

Иуда гневно плюнул на землю.

– Он весь грех людей взял на Себя. Его жертва прекрасна! – настаивал Иоанн.

– Нет, вы на себя взяли весь грех. Любимый ученик! Разве не от тебя начнется род предателей, порода малодушных и лжецов? Слепцы, что сделали вы с землею? Вы погубить ее захотели, вы скоро будете целовать крест, на котором вы распяли Иисуса! Так, так – целовать крест обещает вам Иуда!

180 – Иуда, не оскорбляй! – прорычал Петр, багровея. – Как могли бы мы убить всех врагов Его? Их так много!

– И ты, Петр! – с гневом воскликнул Иоанн. – Разве ты не видишь, что в него вселился сатана? Отойди от нас, искуситель. Ты полон чти! Учитель не велел убивать.

– Но разве Он запретил вам и умирать? Почему же вы живы, когда Он мертв? Почему ваши ноги ходят, ваш язык болтает дрянное, ваши глаза моргают, когда Он мертв, недвижим, безгласен? Как смеют быть красными твои щеки, Иоанн, когда Его бледны? Как смеешь ты кричать, Петр, когда Он молчит? Что делать, спрашиваете вы Иуду? И отвечает вам Иуда, прекрасный, смелый Иуда из Кариота: умереть. Вы должны были пасть на дороге, за мечи, за руки хватать солдат. Утопить их в море своей крови – умереть, умереть! Пусть бы сам Отец Его закричал от ужаса, когда все вы вошли бы туда!

Иуда замолчал, подняв руку, и вдруг заметил на столе остатки трапезы. И с странным изумлением, любопытно, как будто первый раз в жизни увидел пищу, оглядел ее и медленно спросил:

– Что это? Вы ели? Быть может, вы спали также?

– Я спал, – кротко опустив голову, ответил Петр, уже чувствуя в Иуде кого-то, кто может приказывать. – Спал и ел. 210

Фома решительно и твердо сказал:

– Это все неверно, Иуда. Подумай: если бы все умерли, то кто бы рассказал об Иисусе? Кто бы понес людям Его учение, если бы умерли все: и Петр, и Иоанн, и я?

– А что такое сама правда в устах предателей? Разве не ложью становится она? Фома, Фома, разве ты не понимаешь, что только сторож ты теперь у гроба мертвой правды. Засыпает сторож, и приходит вор, и уносит правду с собою, – скажи, где правда? Будь же ты проклят, Фома! Бесплоден и нищ ты будешь вовеки, и вы с ним, проклятые! 220

– Будь сам проклят, сатана! – крикнул Иоанн, и повторили его возглас Иаков, и Матфей, и все другие ученики. Только Петр молчал.

– Я иду к Нему! – сказал Иуда, простирая вверх властную руку. – Кто за Искаротом к Иисусу?

– Я! Я с тобою! – крикнул Петр, вставая. Но Иоанн и другие с ужасом остановили его, говоря:

– Безумный! Ты забыл, что он предал Учителя в руки врагов! Петр ударил себя кулаком в грудь и горько заплакал:

– Куда же мне идти? Господи! Куда же мне идти! 230

---

Иуда давно уже, во время своих одиноких прогулок, наметил то место, где он убьет себя после смерти Иисуса. Это было на

горе, высоко над Иерусалимом, и стояло там только одно дерево, кривое, измученное ветром, рвущим его со всех сторон, полузасохшее. Одну из своих обломанных кривых ветвей оно протянуло к Иерусалиму, как бы благословляя его или чем-то угрожая, и ее избрал Иуда для того, чтобы сделать на ней петлю. Но идти до дерева было далеко и трудно, и очень устал Иуда из

240 Кариота. Все те же маленькие острые камешки рассыпались у него под ногами и точно тянули его назад, а гора была высока, обвеена ветром, угрюма и зла. И уже несколько раз присаживался Иуда отдохнуть, и дышал тяжело, а сзади, сквозь расселины камней, холодом дышала в его спину гора.

– Ты еще, проклятая! – говорил Иуда презрительно и дышал тяжело, покачивая тяжелой головою, в которой все мысли теперь окаменели. Потом вдруг поднимал ее, широко раскрывал застывшие глаза и гневно бормотал:

– Нет, они слишком плохи для Иуды. Ты слышишь, Иисус?

250 Теперь Ты мне поверишь? Я иду к Тебе. Встреть меня ласково, я устал. Я очень устал. Потом мы вместе с Тобою, обнявшись, как братья, вернемся на землю. Хорошо?

Опять качал каменеющей головою и опять широко раскрывал глаза, бормоча:

– Но, может быть, Ты и там будешь сердиться на Иуду из Кариота? И не поверишь? И в ад меня пошлешь? Ну что же! Я пойду в ад! И на огне Твоего ада я буду ковать железо и разрушу Твое небо. Хорошо? Тогда Ты поверишь мне? Тогда пойдешь со мною назад на землю, Иисус?

260 Наконец добрался Иуда до вершины и до кривого дерева, и тут стал мучить его ветер. Но когда Иуда выбранил его, то начал петь мягко и тихо, – улетал куда-то ветер и прощался.

– Хорошо, хорошо! А они собаки! – ответил ему Иуда, делая петлю. И так как веревка могла обмануть его и оборваться, то повесил он ее над обрывом, – если оборвется, то все равно на камнях найдет он смерть. И перед тем как оттолкнуться ногою от края и повиснуть, Иуда из Кариота еще раз заботливо предупредил Иисуса:

– Так встретить же меня ласково, я очень устал, Иисус.

270 И прыгнул. Веревка натянулась, но выдержала: шея Иуды стала тоненькая, а руки и ноги сложились и обвисли, как мокрые. Умер. Так в два дня, один за другим, оставили землю Иисус Назорей и Иуда из Кариота, Предатель.

Всю ночь, как какой-то чудовищный плод, качался Иуда над Иерусалимом; и ветер поворачивал его то к городу лицом, то

к пустыне – точно и городу и пустыне хотел он показать Иуду. Но, куда бы ни поворачивалось обезображенное смертью лицо, красные глаза, налитые кровью и теперь одинаковые, как братья, неотступно смотрели в небо. А наутро кто-то зоркий увидел над городом висящего Иуду и закричал в испуге. Пришли люди и 280 сняли его и, узнав, кто это, бросили его в глухой овраг, куда бросали дохлых лошадей, кошек и другую падаль.

И в тот вечер уже все верующие узнали о страшной смерти Предателя, а на другой день узнал о ней весь Иерусалим. Узнала о ней каменистая Иудея, и зеленая Галилея узнала о ней; и до одного моря и до другого, которое еще дальше, долетела весть о смерти Предателя. Ни быстрее, ни тише, но вместе с временем шла она, и как нет конца у времени, так не будет конца рассказам о предательстве Иуды и страшной смерти его. И все – добрые и злые – одинаково предадут проклятию позорную память его; и у 290 всех народов, какие были, какие есть, останется он одиноким в жестокой участи своей – Иуда из Кариота, Предатель.

*24 февраля 1907 г.*

*Капри*

# ТЬМА

## I

Обычно происходило так, что во всех его делах ему сопутствовала удача; но в эти три последние дня обстоятельства складывались крайне неблагоприятно, даже враждебно. Как человек, вся недолгая жизнь которого была похожа на огромную, опасную, страшно азартную игру, он знал эти внезапные перемены счастья и умел считаться с ними – ставкою в игре была сама жизнь, своя и чужая, и уже одно это приучило его к вниманию, быстрой сообразительности и холодному, твердому расчету.

Приходилось изворачиваться и теперь. Какая-то случайность, одна из тех маленьких случайностей, которых нельзя предусмотреть, навела на его следы полицию, и вот теперь, уже двое суток, за ним, известным террористом, бомбометателем, непрерывно охотились сыщики, настойчиво загоняя его в тесный замкнутый круг. Одна за другою были отрезаны от него конспиративные квартиры, где он мог бы укрыться; оставались еще свободными некоторые улицы, бульвары и рестораны, но страшная усталость от двухсуточной бессонницы и крайней напряженности внимания представляла новую опасность: он мог заснуть где-нибудь на бульварной скамейке или даже на извозчике и самым нелепым образом, как пьяный, попасть в участок. Это было во вторник. В четверг же, через один только день, предстояло совершение очень крупного террористического акта. Подготовкою к убийству в течение продолжительного времени была занята вся их небольшая организация, и “честь” бросить последнюю решительную бомбу была предоставлена именно ему. Необходимо было продолжать во что бы то ни стало.

И вот тогда, октябрьским вечером, стоя на перекрестке двух людных улиц, он решил поехать в этот дом терпимости в –ом переулке. Он уже и раньше прибег бы к этому не совсем, впрочем, надежному средству, если бы не некоторое осложняющее обстоятельство: в свои двадцать шесть лет он был девственником, совсем не знал женщин как таковых, и никогда не бывал в публичных домах. Когда-то в свое время ему пришлось выдержать



тяжелую и трудную борьбу с бунтующей плотью, но постепенно воздержание перешло в привычку, и выработалось спокойное, совершенно безразличное отношение к женщине. И теперь, поставленный в необходимость так близко столкнуться с женщиной, которая занимается любовью как ремеслом, быть может, 40 увидеть ее голою — он предчувствовал целый ряд своеобразных и чрезвычайно неприятных неловкостей. В крайнем случае, если это окажется необходимым, он решил сойтись с проституткой, так как теперь, когда плоть уже давно не бунтовала и предстоял такой важный и огромный шаг, — девственность и борьба за нее теряли свою цену. Но во всяком случае это было неприятно, как бывает иногда неприятна какая-нибудь противная мелочь, через которую необходимо перейти. Однажды, при совершении важного террористического акта, при котором он находился в качестве запасного метальщика, он видел убитую лошадь с изорванным 50 задом и выпавшими внутренностями; и эта грязная, отвратительная, ненужно-необходимая мелочь дала тогда ощущение в своем роде даже более неприятное, чем смерть товарища от брошенной бомбы. И насколько спокойно, бестрепетно и даже радостно представлял он себе четверг, когда и ему придется, вероятно, умереть, — настолько предстоявшая ночь с проституткой, с женщиной, которая занимается любовью как ремеслом, казалась ему нелепой, полной чего-то бестолкового, воплощением маленького, сумбурного, грязноватого хаоса.

Но другого выбора не было. И он уже шатался от усталости. 60

## II

Было еще совсем рано, когда он приехал, около десяти часов, но большая белая зала с золочеными стульями и зеркалами была готова к принятию гостей, и все огни горели. Возле фортепиано с поднятой крышкой сидел тапер, молодой, очень приличный человек в черном сюртуке, — дом был из дорогих, — курил, осторожно сбрасывая пепел с папиросы, чтобы не запачкать платье, и перебирал ноты; и в углу, ближнем к полутемной гостиной, на трех стульях подряд, сидели три девушки и о чем-то тихо разговаривали. 70

Когда он вошел с хозяйкой, две девушки встали, а третья осталась сидеть; и те, которые встали, были сильно декольтированы, а на сидевшей было глухое черное платье. И те две смотрели на него прямо, с равнодушным и усталым вызовом, а эта отвернулась, и профиль у нее был простой и спокойный,

как у всякой порядочной девушки, которая задумалась. Это она, по-видимому, что-то рассказывала подругам, а те ее слушали, и теперь она продолжала думать о рассказанном, молча рассказывала дальше. И потому, что она молчала и думала, и потому, что 80 она не смотрела на него, и потому, что у нее только одной был вид порядочной женщины, – он выбрал ее. Он никогда раньше не бывал в домах терпимости и не знал, что в каждом хорошо поставленном доме есть одна, даже две такие женщины: одеты они бывают в черное, как монахини или молодые вдовы, лица у них бледные, без румян, и даже строгие; и задача их – давать иллюзию порядочности тем, кто ее ищет. Но, когда они уходят в спальню с мужчинами и там напиваются, они становятся как и все, иногда даже хуже: часто скандалят и колотят посуду, иногда пляшут, раздевшись голыми, и так голыми выскакивают 90 в зал, а иногда даже бьют слишком назойливых мужчин. Это как раз те женщины, в которых влюбляются пьяные студенты и угоривают начать новую, честную жизнь.

Но он этого не знал. И когда она поднялась нехотя и хмуро, с неудовольствием взглянула на него подведенными глазами и как-то особенно резко мелькнула бледным, матово-бледным лицом, – он еще раз подумал: “какая она порядочная, однако!” – и почувствовал облегчение. Но, продолжая то вечное и необходимое притворство, которое двоило его жизнь и делало ее похожей на сцену, он качнулся как-то очень фатовски на ногах, 100 с носков на каблуки, щелкнул пальцами и сказал девушке развязным голосом опытного развратника:

– Ну как, моя цыпочка? Пойдем к тебе? а? Где тут твое гнездышко?

– Сейчас? – удивилась девушка и подняла брови.

Он засмеялся игриво, открыв ровные, сплошные, крепкие зубы, густо покраснел и ответил:

– Конечно. Чего же нам терять драгоценное время?

– Тут музыка будет. Танцевать будем.

– Но что такое танцы, моя прелесть? Пустое верчение, ловля 110 самого себя за хвост. А музыку, я думаю, и оттуда слышно?

Она посмотрела на него и улыбнулась:

– Немного слышно.

Он начинал ей нравиться. У него было широкое, скуластое лицо, сплошь выбритое; щеки и узкая полоска над твердыми, четко обрисованными губами слегка синели, как это бывает у очень черноволосых бреющихся людей. Были красивы и темные глаза, хотя во взгляде их было что-то слишком неподвижное,

и ворочались они в своих орбитах медленно и тяжело, точно каждый раз проходили очень большое расстояние. Но, хотя и бритый и очень развязный, на актера он не был похож, а скорее на обрусевшего иностранца, на англичанина.

– Ты не немец? – спросила девушка.

– Немножко. Скорее англичанин. Ты любишь англичан?

– А как хорошо говоришь по-русски. Совсем незаметно.

Он вспомнил свой английский паспорт, тот коверканый язык, которым говорил все последнее время, и то, что теперь забыл притвориться как следует, и снова покраснел. И, уже нахмурившись несколько, с сухой деловитостью, в которой чувствовалось утомление, взял девушку под локоть и быстро повел.

– Я русский, русский. Ну, куда идти? Показывай. Сюда? 130

В большом, до полу, зеркале резко и четко отразилась их пара: она, в черном, бледная и на расстоянии очень красивая, и он, высокий, широкоплечий, также в черном и также бледный. Особенно бледен казался под верхним светом электрической люстры его упрямый лоб и твердые выпуклости щек; а вместо глаз и у него и у девушки были черные, несколько таинственные, но красивые провалы. И так необычна была их черная, строгая пара среди белых стен в широкой, золоченой раме зеркала, что он в изумлении остановился и подумал: как жених и невеста. Впрочем, от бессонницы, вероятно, и от усталости соображал он плохо, и мысли были неожиданные, нелепые; потому что в следующую минуту, взглянув на черную, строгую, траурную пару, подумал: как на похоронах. Но и то и другое было одинаково неприятно.

По-видимому, и девушке передалось его чувство: также молча, с удивлением она разглядывала его и себя, себя и его; попробовала прищурить глаза, но зеркало не ответило на это легкое движение и все так же тяжело и упорно продолжало вычерчивать черную застывшую пару. И показалось ли это девушке красивым, или напомнило что-нибудь свое, немного грустное, – она улыбнулась тихо и слегка пожала его твердо согнутую руку.

– Какая парочка! – сказала она задумчиво, и почему-то сразу стали заметнее ее большие черно-лучистые ресницы с тонко изогнутыми концами. 150

Но он не ответил и решительно пошел дальше, увлекая девушку, четко постукивавшую по паркету высокими французскими каблуками. Был коридор, как всегда, темные неглубокие комнатки с открытыми дверями, и в одну комнатку, на двери которой было написано неровным почерком: “Люба”, – они вошли.

– Ну вот что, Люба, – сказал он, оглядываясь и привычным жестом потирая руки одна о другую, как будто старательно мыл их в холодной воде, – надобно вина и еще чего там? Фруктов что ли.

– Фрукты у нас дороги.

– Это ничего. А вино вы пьете?

Он забылся и сказал ей “вы”, и хотя заметил это, но поправляться не стал: было что-то в недавнем ее пожатии, после чего не хотелось говорить “ты”, любезничать и притворяться. И это чувство также как будто передалось ей: она пристально взглянула на него и, помедлив, ответила с нерешительностью в голосе, но не в смысле произносимых слов:

– Да, пью. Погодите, я сейчас. Фруктов я велю принести только две груши и два яблока. Вам хватит?

И она говорила теперь “вы”, и в тоне, каким произносила это слово, звучала все та же нерешительность, легкое колебание, вопрос. Но он не обратил на это внимания и, оставшись один, принялся за быстрый и всесторонний осмотр комнаты. Попробовал, как запирается дверь, – она запиралась хорошо, крючком и на ключ; подошел к окну, раскрыл обе рамы – высоко, на третьем этаже, и выходит во двор. Сморщил нос и покачал головою. Потом сделал опыт над светом: две лампочки, и когда гаснет вверху одна, зажигается другая, у кровати, с красным колпачком – как в приличных отелях.

Но кровать!..

Поднял высоко плечи – и оскалился, делая вид, что смеется, но не смеясь, с той потребностью двигать и играть лицом, какая бывает у людей скрытных и почему-либо таящихся, когда они остаются наконец одни.

Но кровать!

Обошел ее, потрогал ватное стеганое откинтое одеяло и с внезапным желанием созорничать, радуясь предстоящему сну, по-мальчишески скривил голову, выпятил вперед губы и вытаращил глаза, выражая этим высшую степень изумления. Но тотчас же сделался серьезен, сел и утомленно стал поджидать Любу. Хотел думать о четверге, о том, что он сейчас в доме терпимости, уже в доме терпимости, но мысли не слушались, щетинились, кололи друг друга. Это начинал раздражаться обиженный сон: такой мягкий там, на улице, теперь он не гладил ласково по лицу волосатой шерстистой ладонью, а крутил ноги, руки, растягивал тело, точно хотел разорвать его. Вдруг начал зевать, истово, до слез. Вынул браунинг, три запасные обоймы с патронами и со

злостью подул в ствол, как в ключ, – все было в порядке, и нестерпимо хотелось спать.

Когда принесли вино и фрукты и пришла запоздавшая почему-то Люба, он запер дверь – сперва только на один крючок, и сказал:

– Ну вот что... вы пейте. Люба. Пожалуйста.

– А вы? – удивилась девушка и искоса, быстро взглянула на него.

– Я потом. Я, видите ли, я две ночи кутил и не спал совсем, и теперь... – Он страшно зевнул, выворачивая челюсти. 210

– Ну?

– Я скоро. Я один только часок... Я скоро. Вы пейте, пожалуйста, не стесняйтесь. И фрукты кушайте. Отчего вы так мало взяли?

– А в зал мне можно пойти? Там скоро музыка будет.

Это было неудобно. О нем, о странном посетителе, который улегся спать, начнут говорить, догадываться, – это было неудобно. И, легко сдержав зевок, которая уже сводила челюсти, попросил сдержанно и серьезно:

– Нет, Люба, я попрошу вас остаться здесь. Я, видите ли, 220 очень не люблю спать в комнате один. Конечно, это прихоть, но вы извините меня...

– Нет, отчего же. Раз вы деньги заплатили...

– Да, да, – покраснел он в третий раз. – Конечно. Но не в этом дело. И... Если вы хотите... Вы тоже можете лечь. Я оставлю вам место. Только, пожалуйста, вы уже лягте к стене. Вам это ничего?

– Нет, я спать не хочу... Я так посижу.

– Почитайте что-нибудь.

– Здесь книг нету.

– Хотите сегодняшнюю газету? У меня есть, вот. Тут есть кое- 230 что интересное.

– Нет, не хочу.

– Ну как хотите, вам виднее. А я, если позволите...

И он запер дверь двойным поворотом ключа и ключ положил в карман. И не заметил странного взгляда, каким девушка провожала его. И вообще весь этот вежливый, пристойный разговор, такой дикий в несчастном месте, где самый воздух мутно густел от винных испарений и ругательств, – казался ему совершенно естественным, и простым, и вполне убедительным. Все с тою же вежливостью, точно где-нибудь на лодке, при катанье с барышня- 240 ми, он слегка раздвинул борты сюртука и спросил:

– Вы мне позволите снять сюртук?

Девушка слегка нахмурилась.

– Пожалуйста. Ведь вы... – Но не договорила – что.

– И жилетку? Очень узкая.

Девушка не ответила и незаметно пожала плечами.

– Вот здесь бумажник, деньги. Будьте добры, спрячьте их у себя.

– Вы лучше бы отдали в контору. У нас все отдают в контору.

250 – Зачем это? – Но взглянул на девушку и смущенно отвел глаза. – Ах да, да. Ну, пустяки какие.

– А вы знаете, сколько здесь у вас денег? А то некоторые не знают, а потом...

– Знаю, знаю. И охота вам...

И лег, вежливо оставив одно место у стены. И восхищенный сон, широко улыбнувшись, приложился шерстистой щекою своею к его щеке – одной, другую – обнял мягко, пощекотал колени и блаженно затих, положив мягкую, пушистую голову на его грудь. Он засмеялся.

260 – Чего вы смеетесь? – неохотно улыбнулась девушка.

– Так. Хорошо очень. Какие у вас мягкие подушки! Теперь можно и поговорить немного. Отчего вы не пьете?

– А мне можно снять кофточку? Вы позволите? А то сидеть-то долго придется. – В ее голосе звучала легкая усмешка. Но, встретив его доверчивые глаза и предупредительное: “Конечно, пожалуйста!” – серьезно и просто пояснила: – У меня корсет очень тугой. На теле потом рубцы остаются.

– Конечно, конечно, пожалуйста.

Он слегка отвернулся и опять покраснел. И оттого ли, что 270 бессонница так путала мысли его, оттого ли, что в свои 26 лет он был действительно наивен, – и это “можно” показалось ему естественным в доме, где было все позволено и никто ни у кого не просил разрешения.

Слышно было, как хрустел шелк и потрескивали расстегиваемые кнопки. Потом вопрос:

– Вы не писатель?

– Что? Писатель? Нет, я не писатель. А что? Вы любите писателей?

– Нет. Не люблю.

280 – Отчего же? Они люди... – он сладко и продолжительно зевнул, – ничего себе.

– А как вас зовут?

Молчание и сонный ответ:

– Зовите меня И... нет, Петром. Петр.

И еще вопрос:

– А кто же вы? Кто вы такой?

Спрашивала девушка тихо, но сторожко и твердо, и было такое впечатление от ее голоса, будто она сразу, вся, придвинулась к лежащему. Но он уже не слышал ее, он засыпал. Вспыхнула на мгновение угасающая мысль и в одной картине, где время и пространство слились в одну пеструю грудку теней, мрака и света, движения и покоя, людей и бесконечных улиц и бесконечно вертящихся колес, вычертила все эти два дня и две ночи бешеной погони. И вдруг все это затихло, потускнело, провалилось – и в мягком полусвете, в глубочайшей тишине представился один из залов картинной галереи, где вчера он на целых два часа нашел покой от сыщиков. Будто сидит он на красном бархатном, необыкновенно мягком диване и смотрит неподвижно на какую-то большую черную картину; и такой покой идет от этой старой, потрескавшейся картины, и так отдыхают глаза, и так мягко становится мыслям, что на несколько минут, уже засыпающий, он начал противиться сну, смутно испугался его, как неизвестного беспокойства.

Но заиграла музыка в зале, запрыгали толкачиками коротенькие, частые звуки с голыми безволосыми головками, и он подумал: “теперь можно спать” – и сразу крепко уснул. Торжествующе взвизгнул милый, мохнатый сон, обнял горячо – и в глубоком молчании, затаив дыхание, они понеслись в прозрачную, тающую глыбину.

Так спал он и час и два, навзничь, в той вежливой позе, какую принял перед сном; и правая рука его была в кармане, где ключ и револьвер. А она, девушка с обнаженными руками и шеей, сидела напротив, курила, пила неторопливо коньяк и глядела на него неподвижно; иногда, чтобы лучше разглядеть, она вытягивала тонкую, гибкую шею, и вместе с этим движением у кончиков губ ее вырастали две глубокие, напряженные складки. Верхнюю лампочку он забыл погасить и при сильном свете ее был ни молодой ни старый, ни чужой ни близкий, а весь какой-то неизвестный: неизвестные щеки, неизвестный нос, загнутый клювом, как у птицы, неизвестное ровное, крепкое, сильное дыхание. Густые черные волосы на голове были острижены коротко, по-солдатски; и на левом виске, ближе к глазу, был небольшой побелевший шрам от какого-то старого ушиба. Креста на шее у него не было.

Музыка в зале то замирала, то вновь раздражалась звуками клавиш и скрипки, пением и топотом танцующих ног, а она все сидела, курила папиросы и разглядывала спящего. Внимательно,

вытянув шею, рассмотрела его левую руку, лежавшую на груди: очень широкая в ладони, с крупными пальцами – на груди она производила впечатление тяжести, чего-то давящего больно; 330 и осторожным движением девушка сняла ее и положила вдоль туловища на кровати. Потом встала быстро и шумно, и с силою, точно желая сломать рожок, погасила верхний свет и зажгла нижний, под красным колпачком.

Но он и в этот раз не пошевелился, и все тем же неизвестным, пугающим своей неподвижностью и покоем осталось его порозовевшее лицо. И, отвернувшись, охватив колена голыми, нежно розовеющими руками, девушка закинула голову и неподвижно уставилась в потолок черными провалами немигающих глаз. И в зубах ее, стиснутая крепко, застыла недокуренная потухшая 340 папироса.

### III

Что-то произошло неожиданное и грозное. Что-то большое и важное случилось, пока он спал, – он понял это сразу, еще не проснувшись как следует, при первых же звуках незнакомого, хриплого голоса, понял тем изощренным чутьем опасности, которое у него и его товарищей составляло как бы особое, новое чувство. Быстро спустил ноги и сел и уже крепко сжал рукою револьвер, пока глаза остро и зорко обыскивали розовый туман. И когда увидел ее, все в той же позе, с прозрачно-розовыми плечами 350 ми и грудью и загадочно почерневшими, неподвижными глазами, подумал: выдала! Посмотрел пристальнее, передохнул глубоко и поправился: еще не выдала, но выдаст.

Плохо!

Вздыхнул еще и коротко спросил:

– Ну? Что?

Но она молчала. Улыбалась торжествующе и зло, смотрела на него и молчала – будто уже считала его своим и, не торопясь, никуда не спеша, хотела насладиться своею властью.

– Ты что сказала сейчас? – повторил он нахмурившись.

360 – Что я сказала? Вставай, я сказала, вот что. Будет. Поспал. Будет. Пора и честь знать. Тут не ночлежка, миленький!

– Зажги лампочку! – приказал он.

– Не зажгу.

Зажег сам. И увидел под белым светом бесконечно злые, черные, подведенные глаза и рот, сжатый ненавистью и презрением. И голые руки увидел. И всю ее, чуждую, решительную, на что-то бесповоротно готовую. Отвратительной показалась ему эта протитутка.



– Что с тобой – ты пьяна? – спросил он серьезно и беспокойно и протянул руку к своему высокому крахмальному воротничку. 370  
Но она предупредила его движение, схватила воротничок и не глядя бросила куда-то в угол, за комод.

– Не дам!

– Это еще что? – сдержанно крикнул он и стиснул ее руку твердым, крепким, круглым, как железное кольцо, пожатием, и тонкая рука бессильно распростерла пальцы.

– Пусти, больно! – сказала девушка, и он сжал слабее, но руки не выпустил.

– Ты смотри!

– А что, миленький? Застрелить меня хочешь, да? Это что у 380  
тебя в кармане – револьвер? Что же, застрели, застрели, посмотри я, как это ты меня застрелишь. Как же, скажите, пожалуйста, пришел к женщине, а сам спать лег. Пей, говорит, а я спать буду. Стриженный, бритый, так никто, думает, не узнает. А в полицию хочешь? В полицию, миленький, хочешь?

Она засмеялась громко и весело – и действительно, он с ужасом увидел это: на ее лице была дикая, отчаянная радость. Точно она сходила с ума. И от мысли, что все погибло так нелепо, что придется совершить это глупое, жестокое и ненужное убийство и все-таки, вероятно, погибнуть – стало еще ужаснее. Совсем 390  
белый, но все еще с виду спокойный, все еще решительный, он смотрел на нее, следил за каждым движением и словом и сообщал.

– Ну? Что же молчишь? Язык от страха отнялся?

Взять эту гибкую змеиную шею и сдавить; крикнуть она, конечно, не успеет. И не жалко: правда, теперь, когда рукою он удерживает ее на месте, она ворочает головой совершенно по-змеиному. Не жалко, но там, внизу?

– А ты знаешь, Люба, кто я?

– Знаю. Ты, – она твердо и несколько торжественно, по сло- 400  
гам, произнесла: – ты революционер. Вот кто.

– А откуда это известно?

Она улыбнулась насмешливо.

– Не в лесу живем.

– Ну, допустим...

– То-то, допустим. Да руку-то не держи. Над женщиной все вы умеете силу показывать. Пусти!

Он отпустил руку и сел, глядя на девушку с тяжелой и упорной задумчивостью. В скулах у него что-то двигалось, бегал беспокойно какой-то шарик, но все лицо было спокойно, серьезно 410

и немного печально. И опять он, с этой задумчивостью своей и печалью, стал неизвестный и, должно быть, очень хороший.

– Ну что уставился! – грубо крикнула девушка и неожиданно для себя самой прибавила циничное ругательство.

Он поднял удивленно брови, но глаз не отвел, и заговорил спокойно и несколько глухо и чуждо, будто с очень большого расстояния.

– Вот что, Люба. Конечно, ты можешь предать меня, и не одна ты можешь это сделать, а всякий в этом доме, почти каждый человек с улицы. Крикнет: держи, хватай! – и сейчас же соберутся десятки, сотни и постараются схватить, даже убить. А за что? Только за то, что никому я не сделал плохого, только за то, что всю мою жизнь я отдал этим же людям. Ты понимаешь, что это значит: отдал всю жизнь?

– Нет, не понимаю, – резко ответила девушка. Но слушала внимательно.

– И одни сделают это по глупости, другие по злобе. Потому что, Люба, не выносит плохой хорошего, не любят злые добрых.

– А за что их любить?

430 – Не подумай, Люба, что я так, нарочно, хвалю себя. Но посмотри: что такое моя жизнь, вся моя жизнь? С четырнадцати лет я треплюсь по тюрьмам. Из гимназии выгнали, из дому выгнали – родители выгнали. Раз чуть не застрелили меня, чудом спасся. И вот, как подумаешь, что всю жизнь так, всю жизнь только для других – и ничего для себя. Ничего.

– А отчего же это ты такой хороший? – спросила девушка насмешливо; но он серьезно ответил:

– Не знаю. Родился, должно быть, такой.

440 – А я вот плохая родилась. А ведь тем же местом на свет шла, как и ты, – головою! Поди ж ты!

Но он как будто не слышал. С тем же взглядом внутрь себя, в свое прошлое, которое теперь в словах его вставало перед ним самим так неожиданно и просто героичным, он продолжал:

– Ты подумай: мне двадцать шесть лет, на висках у меня уже седина, а я до сих пор... – он запнулся немного, но окончил твердо и даже с надменностью: – я до сих пор не знаю женщин. Понимаешь, совсем. И тебя я первую вижу вот так. И скажу правду, мне немного стыдно смотреть на твои голые руки.

450 Снова отчаянно заиграла музыка, и от топота ног в зале задрожал слегка пол. И кто-то, пьяный, отчаянно гикал, как будто гнал табун разъярившихся коней. А в их комнате было тихо, и слабо колыхался в розовом тумане табачный дым и таял.

– Так вот, Люба, какая моя жизнь! – И он задумчиво и строго опустил глаза, покоренный воспоминаниями о жизни, такой чистой и мучительно прекрасной.

А она молчала. Потом встала и накинула на голые плечи платок. Но, встретив его удивленный и словно благодарный взгляд, усмехнулась и резко сдернула платок, и так сделала рубашку, что одна прозрачно-розовая и нежная грудь обнажилась совсем. Он отвернулся и слегка пожал плечами.

460

– Пей! – сказала девушка. – Будет ломаться.

– Я не пью совсем.

– Не пьешь? А я вот пью! – И она опять нехорошо засмеялась.

– Вот если папиросочки у тебя есть, я возьму.

– У меня плохие.

– А мне все равно.

И когда брал папиросу, заметил с радостью, что рубашку Люба поправила, – явилась надежда, что все еще уладится. Курил он плохо, не затягиваясь, и папиросу держал, как женщина, между двумя напряженно выпрямленными пальцами.

– Ты и курить-то не умеешь! – сказала девушка гневно и грубо вырвала папироску из его рук. – Брось.

– Вот ты опять сердисься...

– Да, сержусь.

– А за что, Люба? Ты подумай: ведь я, правда, две ночи не спал, как волк бегал по городу. Ну и выдашь ты меня, ну и заберут меня – тебе какая от этого радость? Так ведь я, Люба, живой-то еще и не сдамся...

Он замолчал.

480

– Стрелять будешь?

– Да. Стрелять буду.

Музыка оборвалась, но тот дикий, обезумевший от вина, продолжал еще гикать; видимо, кто-то, шутя или серьезно, зажимал ему рот рукою, и сквозь пальцы звук прорывался еще более отчаянным и страшным. В комнатке пахло духами, не то душистым, дешевым мылом, и запах был густой, влажный, развратный; и на одной стене, неприкрытые, висели смято и плоско какие-то юбки и кофточки. И так все это было противно, и так странно было подумать, что это – тоже жизнь и такой жизнью люди могут жить всегда, что он с недоумением пожал плечами и еще раз медленно оглянулся.

– Как тут у вас... – сказал он раздумчиво и остановился глазами на Любе.

– Ну? – спросила она коротко.

И, взглянув на нее, как она стояла, он понял, что ее надо пожалеть; и как только понял, тотчас же искренно пожалел.

– Бедная ты, Люба.

– Ну?

500 – Дай руку.

И, несколько подчеркивая свое отношение к девушке как к человеку, взял ее руку и почтительно приложил к губам.

– Это ты мне?

– Да, Люба, тебе.

И совсем тихо, точно благодаря его, девушка произнесла:

– Вон! Вон отсюда, болван!

Он понял не сразу:

– Что?

– Уходи! Вон отсюда. Вон.

510 Молча, крупными шагами, она прошла комнату, достала из угла белый воротничок и бросила его с таким выражением гадливости, точно была это самая грязная, загаженная тряпка. И так же молча, с видом высокомерия, не удостаивая девушки даже взглядом, он начал спокойно и медленно пристегивать воротничок; но уже в следующую секунду, взвизгнув дико, Люба с силою ударила его по бритой щеке. Воротничок покатился по полу, и сам он пошатнулся, но устоял на ногах. И, страшно бледный, почти синий, но все так же молча, с тем же видом высокомерия и горделивого недоумения, остановился на Любе

520 своими тяжелыми, неподвижными глазами. Она дышала часто и смотрела на него с ужасом.

– Ну?! – выдохнула она.

Он смотрел на нее и молчал. И, совершенно безумная от этой надменной безответности, ужасаясь, теряя соображение, как перед каменной глухой стеною, девушка схватила его за плечи и с силою посадила на кровать. Наклонилась близко, к самому лицу, к самым глазам.

– Ну что же ты молчишь! Что же ты со мной делаешь, подлец, подлец же ты. Руку поцеловал! Хвастаться сюда пришел! Красо-  
530 ту свою показывать! Да что же ты со мною делаешь, да несчастная же я!

Она трясла его за плечи, и ее тонкие пальцы, сжимаясь и разжимаясь бессознательно, как у кошки, царапали его тело сквозь рубашку.

– Женщин не знал, подлец, да? И это мне смеешь говорить, мне, которую все мужчины... все... Где же у тебя совесть, что же

ты со мной делаешь! Живой не дамся, да! А я вот мертвая – понимаешь, подлец, мертвая я. А я вот наплюю в твое лицо... На... живой! На, подлец, на! Иди теперь, иди!

С гневом, которого больше не мог сдерживать, он отшвырнул 540 ее от себя, и затылком она ударилась о стену. По-видимому, он уже плохо соображал, потому что следующим таким же быстрым и решительным движением он выхватил револьвер – точно улыбнулся чей-то черный, беззубый, провалившийся рот. Но девушка не видела ни его оплеванного, мокрого, искаженного бешеным гневом лица, ни черного револьвера. Закрыв ладонями глаза, точно вдавливая их в самую глубину черепа, она прошла быстрыми крупными шагами и бросилась в постель, лицом вниз. И тотчас же беззвучно зарыдала.

Выходило все не то, чего он ждал; получалась бессмыслица, 550 нелепость, вылезал своей мятой рожей дикий, пьяный, истерический хаос. Передернув плечами, он спрятал ненужный револьвер и принялся ходить по комнате. Девушка плакала. Прошелся еще и еще – девушка плакала. Остановился над нею, руки в карман, и стал глядеть. Лежала ничком женщина и рыдала безумно, в отчаянной, нестерпимой муке, как могут только рыдать люди над потерянной жизнью, над чем-то большим жизни, потерянным навсегда. Заострившиеся голые лопатки то сходились почти вместе, точно снизу под грудь ей подкладывали огонь, горячие уголья; то раздвигались медленно, словно она уходила 560 куда-то, к груди прижимала свою тоску и горе свое. А музыка опять играла, и теперь играла она мазурку, и слышно было, как щелкают чьи-то шпоры. Должно быть, приехали офицеры.

Таких слез он еще не видал и смутился. Вынул зачем-то руки из кармана и тихо сказал:

– Люба!

Плакала Люба.

– Люба, о чем ты, Люба!

Девушка ответила что-то, но так тихо, что он не расслышал. Сел возле на кровать, наклонил стриженую крупную голову и 570 положил руку на плечи – и безумным трепетом ответила рука на дрожь этих жалких, голых женских плеч.

– Я не слышу, что ты говоришь... Люба!

И далекое, глухое, налитое слезами:

– Подожди уходить... Там... приехали офицеры. Они тебя... могут... О Господи, что же это такое!

Она быстро села на кровать и замерла, всплеснув руками, неподвижно, с ужасом глядя в пространство расширенными глаза-

ми. Это был страшный взгляд, и продолжался он одно мгновение.  
580 И опять девушка лежала ничком и плакала. А там ритмично шелкали шпоры, и, видимо, чем-то возбужденный или напуганный тапер старательно отбивал такты стремительной мазурки.

– Выпей воды, Любочка!.. Ну выпей, выпей. Пожалуйста... – шептал он наклонившись.

Но ухо было закрыто волосами, и, боясь, что она не слышит, он осторожно отвел эти черные, слегка вьющиеся пряди, сожженные завивкой, и открыл маленькую, красную, пылавшую раковинку.

– Выпей, пожалуйста, я прошу тебя.

– Нет, не хочу. Не надо. Пройдет и так.

590 Она действительно успокаивалась. Прекратились рыдания – одно, другое глухое, длительное всхлипывание, и плечи перестали дрожать и стали неподвижны и задумчивы глубоко. И он тихонько гладил ее, от шеи к кружеву рубашки, и опять.

– Тебе лучше, Люба?.. Любочка?

Она не ответила, вздохнула протяжно и, повернувшись, быстро и коротко взглянула на него. Потом спустила ноги и села рядом, еще раз взглянула и прядями волос своих вытерла ему лицо, глаза. Еще раз вздохнула и мягким простым движением положила голову на плечо, а он так же просто обнял ее и тихонько прижал к себе. И то, что пальцы его прикасались к ее голому плечу, теперь не смущало его; и так долго сидели они и молчали, и неподвижно смотрели перед собою их потемневшие, сразу окружившиеся глаза. Вдыхали.

Вдруг в коридоре зазвучали голоса, шаги; зазвенели шпоры, мягко и деликатно, как это бывает только у молоденьких офицеров, и все это приближалось – и остановилось у их двери. Он быстро встал, – а в дверь уже стучал кто-то, сперва пальцами, потом кулаком, и чей-то женский голос глухо кричал:

– Любка, отвори!

Он смотрел на нее и ждал.

– Дай платок! – сказала она не глядя и протянула руку. Вытерла крепко лицо, громко высморкалась, бросила ему на колени платок и пошла к двери. Он смотрел и ждал. На ходу Люба закрыла электричество, и сразу стало так темно, что он услышал свое дыхание, несколько затрудненное. И почему-то снова сел на слабо скрипнувшую кровать.

– Ну, что там? Чего надо? – спросила Люба сквозь дверь, не отпирая, и голос у нее был немного недовольный, но спокойный.

Сразу, перебивая друг друга, зазвенело несколько женских 620 голосов. И так же сразу они оборвались, и мужской голос, как-то странно почтительный, настойчиво стал просить.

– Нет, не пойду.

Опять зазвенели голоса, и опять, обрезая их, как ножницы обрезают развившуюся шелковую нить, заговорил мужской голос, убедительный, молодой, за которым чувствовались белые, крепкие зубы и усы, и шпоры звякнули отчетливо, точно говоривший кланялся. И странно: Люба засмеялась.

– Нет, нет, не пойду... Да, хорошо, очень хорошо... Ну и пусть зовут Любовь, а я все-таки не пойду. 630

Еще раз стук в дверь, смех, ругательство, щелканье шпор, и все отодвинулось от двери и погасло где-то в конце коридора. В темноте, нащупав рукою его колено, Люба села возле, но голову на плечо класть не стала. И коротко пояснила:

– Офицеры бал устраивают. Всех сзывают. Будут котильон танцевать.

– Люба, – попросил он ласково, – зажги, пожалуйста, огонь. Не сердись.

Молча она встала и повернула рожок. И уже не рядом с ним села, а по-прежнему на стул против кровати. И лицо у нее было 640 хмурое, неприветливое, но вежливое – как у хозяйки, которая должна выждать неприятный, затянувшийся визит.

– Вы не сердитесь на меня, Люба?

– Нет. За что же?

– Я удивился сейчас, как вы весело смеялись. Как это вы можете?

Она усмехнулась не глядя.

– Весело, вот и смеюсь. А вам нельзя сейчас уходить. Нужно подождать, пока разойдутся офицеры. Они скоро.

– Хорошо, подожду. Спасибо вам, Люба. 650

Она опять усмехнулась.

– Это за что же? Какой вы вежливый.

– Вам это нравится?

– Не особенно. Вы кто по рождению?

– Отец – доктор, военный врач. Дед был мужик. Мы из старообрядцев.

Люба с некоторым интересом взглянула на него.

– Вот как! А креста на шее нет.

– Креста? – усмехнулся он. – Мы крест на спине несем.

Девушка нахмурилась слегка. 660

– Вы спать хотели. Вы бы лучше легли, чем так время проводить.

– Нет, я не лягу. Я не хочу теперь спать.

– Как хотите.

Было долгое и неловкое молчание. Люба смотрела вниз и сосредоточенно вертела на пальце колечко; он обводил глазами комнату, каждый раз старательно минуя взглядом девушку, и остановился на недопитой маленькой рюмке с коньяком. И вдруг с необыкновенной ясностью, почти осязательностью, ему пред-  
670 ставилось, что все это уже было: и эта желтенькая рюмка, и именно с коньяком, и девушка, внимательно оборачивающая кольцо, и он сам – не этот, а какой-то другой, несколько иной, несколько особенный. И как раз только что кончилась музыка, как и теперь, и было тихое позвякивание шпор. Будто он жил уже когда-то – но не в этом доме, а в месте, очень похожем на это, и как-то действовал, и даже был очень важным в этом смысле лицом, вокруг которого что-то происходило. Странное чувство было так сильно, что он испуганно тряхнул головою; и быстро оно исчезло, но не совсем: остался легкий, несглаживающийся след потревоженных  
680 воспоминаний о том, чего не было. И затем не раз в течение этой необыкновенной ночи он ловил себя на том, что, глядя на какую-нибудь вещь или лицо, старательно припоминал их, вызывал их из глубокой тьмы прошедшего или даже совсем не бывшего.

Если бы не знать наверное, он сказал бы, что уже был здесь однажды, – так минутами начинало все это казаться знакомым и привычным. И это было неприятно, так как слегка отчуждало его от себя и от своих и странно приближало к публичному дому с его дикой, отвратительной жизнью.

Молчать становилось тяжело. Спросил:

690 – Отчего вы не пьете?

Она вздрогнула:

– Что?

– Вы бы выпили, Люба. Отчего вы не пьете?

– Одна я не хочу.

– К сожалению, я не пью.

– А я одна не хочу.

– Я лучше грушу съем.

– Ешьте. Для того и брали.

– А вы грушу не хотите?

700 Девушка не ответила и отвернулась. Но поймала на своих голых и прозрачно-розовых плечах его взгляд и накинула на них серый вязаный платок.



– Холодно что-то, – сказала она отрывисто.

– Да, холодновато, – согласился он, хотя в маленькой комнатке было жарко. И опять стояло долгое и напряженное молчание. Из зала донеслись громкие, призывные звуки ритурнеля.

– Танцуют, – сказал он.

– Танцуют, – ответила она.

– За что вы, Люба, так рассердились на меня... и ударили меня?

710

– Так нужно было, вот и ударила. Не убила ведь, чего же спрашивать? – Она нехорошо засмеялась.

Девушка сказала: “так нужно”. Смотрела на него прямо своими черными, окружившимися глазами, улыбалась бледно и решительно и говорила: “так нужно”. И на подбородке у нее была ямочка. Трудно было поверить, что это ее голова – вот эта злая, бледная голова – минуту назад лежала на его плече. И ее он ласкал.

– Так вот как! – сказал он мрачно. Прошелся несколько раз по комнате, на шаг не доходя до девушки, и, когда сел на прежнее место – лицо у него было чужое, суровое и несколько надменное. Молчал, смотрел, подняв брови на потолок, на котором играло светлое с розовыми краями пятно. Что-то ползало, маленькое и черное, должно быть ожившая от тепла, запоздалая, осенняя муха. Проснулась она среди ночи и ничего, наверно, не понимает и умрет скоро. Вдохнул.

Девушка громко рассмеялась.

– Что вас радует? – холодно взглянул он и отвернулся.

– Да так. А ведь вы действительно похожи на писателя. Вы не обижаетесь? Он тоже сперва пожалеет, а потом начинает сердиться, отчего я не молюсь на него, как на икону. Такой обидчивый. Будь бы он Богом, ни одной лампадки бы не простил... – Она засмеялась.

– А откуда вы знаете писателей? Ведь вы ничего не читаете.

– Бывает один, – коротко ответила Люба.

Он задумался, устремив на девушку неподвижный, тяжелый, как-то слишком спокойно разглядывающий взор. Как человек, проведший жизнь в мятеже, он и в девушке смутно почувствовал бунтарскую душу, и это волновало его и заставляло искать и догадываться: почему именно на него обрушился ее гнев? И то, что она имела дело с писателями и, вероятно, разговаривала с ними, и то, что она могла держать себя иногда так спокойно и с достоинством и говорить так зло, – невольно поднимало ее и ее удару придавало характер чего-то значительно более серьез-

ного и важного, чем простая истерическая вспышка полупьяной и полуголой проститутки. И только рассерженный, но нисколько не оскорбленный вначале – теперь, когда прошло уже столько времени, он вдруг минутами начинал оскорбляться – и не только умом.

750 – За что вы ударили меня, Люба? Когда человека бьют по лицу, то должны сказать ему за что? – повторил он прежний вопрос хмуро и настойчиво. Упрямство и твердость камня были в его выдавшихся скулах, тяжелом лбу, давившем глаза.

– Не знаю, – ответила Люба так же упрямо, но избегая его взгляда.

Не хотела отвечать. Он передернул плечами и снова с упорством принялся разглядывать девушку и соображать. Его мысль в обычное время была туга и медленна; но, потревоженная однажды, она начинала работать с силою и неуклонностью  
760 почти механическими, становилась чем-то вроде гидравлического пресса, который, опускаясь медленно, дробит камни, выгибает железные балки, давит людей, если они попадут под него, – равнодушно, медленно и неотвратно. Не оглядываясь ни направо, ни налево, равнодушный к софизмам, полутвердам и намекам, он двигал свою мысль тяжело, даже жестоко – пока не распылится она или не дойдет до того крайнего, логического предела, за которым пустота и тайна. Своей мысли от себя он не отделял, мыслил как-то весь, всем телом, и каждый логический вывод тотчас становился для него и действенным, – как это бывает  
770 только у очень здоровых, непосредственных людей, не сделавших еще из своей мысли игрушку.

И теперь, взбудораженный, выбитый из колеи, похожий на большой паровоз, который среди черной ночи сошел с рельсов и продолжает каким-то чудом прыгать по кочкам и буграм, – он искал дороги, во что бы то ни стало хотел найти ее. Но девушка молчала и, видимо, вовсе не хотела разговаривать.

– Люба! Давайте поговорим спокойно. Надо же...

– Я не хочу говорить спокойно.

Опять!

780 – Слушайте, Люба. Вы меня ударили, и так я этого не оставлю. Девушка усмехнулась.

– Да? Что же вы со мной сделаете? К мировому пойдете?

– Нет. Но я буду ходить к вам, пока вы мне не объясните.

– Милости просим! Хозяйке доход.

– Приду завтра. Приду...

И вдруг, почти одновременно с мыслью, что ни завтра, ни послезавтра ему прийти нельзя, – явилась догадка, даже уверенность, почему девушка поступила так. Он даже повеселел.

– Ах, так вот как! Это вы за то ударили меня, что я пожалел вас, оскорбил своею жалостью? Да, глупо вышло... Правда, 790 я этого не хотел, но, быть может, это действительно оскорбляет. Конечно, раз вы такой же человек, как и я...

– Такой же? – Она усмехнулась.

– Ну, будет. Давайте руку, помиримся.

Люба опять слегка побледнела.

– Вы хотите, чтобы я опять вам по роже дала?

– Да ведь руку, по-товарищески! По-товарищески! – искренно, даже басом почему-то, воскликнул он.

Но Люба встала и, уже отойдя несколько, произнесла:

– Знаете что... Либо вы дурак, либо вас действительно мало 800 били!

Потом взглянула на него и громко расхохоталась:

– Ну, ей-богу же, мой писатель! Совершеннейший писатель! Да как же вас не бить, голубчик вы мой!

По-видимому, слово “писатель” было для нее бранным, и вкладывала она в него свой особенный, определенный смысл. И уже с совершенным, с полным презрением, не считаясь с ним, как с вещью, как с безнадежным идиотом или пьяным, свободно прошлась по комнате и кинула вскользь:

– А что, я тебя больно ударила? Чего ты хнычешь все? 810

Он не ответил.

– Писатель мой говорит, что я больно дерусь. Но, может, у него лицо поблагороднее, а по твоей мужицкой харе сколько ни хлопай, не почувствуешь? Ах, много народу я по морде била, а никого мне так не жалко, как писательчика моего. Бей, говорит, бей – так мне и надо. Пьяный, слюнявый, бить-то даже противно. Такая сволочь. А об твою рожу я даже руку ушибла. На – целуй ушибленное.

Она ткнула руку к его губам и снова быстро заходила. Возбуждение ее росло, и казалось минутами, будто она задыхается в чем-то горячем: потирала себе грудь, дышала широко открытым 820 ртом и бессознательно хваталась за оконные драпри. И уже два раза на ходу налила и выпила коньяку. Во второй раз он заметил ей угрюмо-вопросительно:

– Вы же не хотели пить одна?

– Характеру нет, голубчик, – ответила она просто. – Да и отравлена я, не попью некоторое время, удушье делается. От этого и подохну.

И вдруг, точно теперь только заметив его, удивленно вскинула глаза и захохотала.

830 – А, это ты! Тут еще, не ушел. Посиди, посиди! – С диким выражением глаз она сдернула вязаный платок, и снова зарозовели ее плечи и тонкие, нежные руки.

– И чего-то я закуталась? Тут и так жарко, а я... Это я его берегла, как же, нужно... Послушайте, вы бы сняли штаны. Тут таковские, тут можно без штанов. Может быть, у вас грязные кальсоны, так я вам дам свои. Ничего что с разрезом? Послушайте, наденьте! Ну миленький, ну голубчик, ну что вам стоит...

Она хохотала и, захлебываясь от хохота, просила его, протягивала руки. Потом быстро соскользнула на пол, стала на колени 840 и, лоя его руки, умоляла:

– Ну голубчик, ну миленький, я вам ручки расцелую!..

Он отодвинулся и с угрюмой тоскою сказал:

– За что вы меня, Люба? Что я вам сделал? Я так хорошо к вам отношусь... За что вы меня, за что? Разве я обидел вас? Ну, если обидел, простите. Ведь я совсем в этом, во всех этих делах... несведущ.

Передернув презрительно голыми плечами, Люба гибко поднялась с колен и села. Дышала она трудно.

– Значит, не наденете? А жалко, я бы посмотрела.

850 Он начал говорить что-то, запнулся и продолжал нерешительно, растягивая слова:

– Послушайте, Люба... Конечно, я... все это пустяки. И если вы уже так хотите, то... можно потушить огонь. Потушите огонь, Люба.

– Что? – удивилась девушка и широко открыла глаза.

– Я хочу сказать, – заторопился он, – что вы женщина, и я... Конечно, я был не прав... Вы не думайте, что это жалость, Люба, нет, вовсе нет... Я и сам... Потушите огонь, Люба.

860 Смущенно улыбнувшись, он протянул к ней руки с неуклюжей ласковостью человека, который никогда не имел дела с женщинами. И увидел: сцепив напряженно пальцы, она поднесла их к подбородку и точно вся превратилась в одно огромное, задержанное в поднятой груди дыхание. И глаза у нее стали огромные, и смотрели они с ужасом, с тоской, с невыносимым презрением.

– Что вы, Люба? – отшатнулся он.

И с холодным ужасом, почти тихо, она произнесла, не разжимая пальцев:

– Ах, негодяй! Боже мой, какой же ты негодяй!

870 И, багрово-красный от стыда, отвергнутый, оскорбленный тем, что сам оскорбил, он топнул ногою и бросил в широко от-

крытые глаза, в их безбрежный ужас и тоску, короткие, грубые слова:

– Проститутка! Дрянь! Молчи!

Но она тихо качала головою и повторяла:

– Боже мой! Боже мой, какой же ты негодяй!

– Молчи, дрянь! Ты пьяна. Ты с ума сошла. Ты думаешь, мне нужно твое поганое тело. Ты думаешь, для такой я себя берег, как ты. Дрянь, бить тебя надо! – Он размахнулся рукою, чтобы дать пощечину, но не ударил.

– Боже мой! Боже мой!

880

– И их еще жалеют! Истреблять их надо, эту мерзость, эту мерзость. И тех, кто с вами, всю эту сволочь... И это обо мне, обо мне ты смела подумать! – Он крепко сжал ее руки и бросил ее на стул.

– Хороший! Да? Хороший? – хохотала она в восторге, будто обрадовалась безмерно.

– Да, хороший! Честный всю жизнь! Чистый! А ты? А кто ты, дрянь, зверюка несчастная?

– Хороший! – упивалась она восторгом.

– Да, хороший. Послезавтра я пойду на смерть для людей, а ты – а ты? Ты с палачами моими спать будешь. Зови сюда твоих офицеров. Я брошу им тебя под ноги: берите вашу падаль. Зови!

Люба медленно встала. И когда он, бурно взволнованный, гордый, с широко раздувающимися ноздрями, взглянул на нее, то встретил такой же гордый и еще более презрительный взгляд. Даже жалость как будто светилась в надменных глазах проститутки, вдруг чудом поднявшейся на ступень невидимого престола и оттуда с холодным и строгим вниманием разглядывавшей у ног своих что-то маленькое, крикливое и жалкое. Уже не смеялась она, и волнения не было заметно, и глаз невольно искал ступенек, на которых стоит она, – так сверху вниз умела глядеть эта женщина.

– Ты что? – спросил он отступая, все еще яростный, но уже поддающийся влиянию спокойного, надменного взгляда.

И строго, с зловещей убедительностью, за которой чувствовались миллионы раздавленных жизней, и моря горьких слез, и огненный непрерывный бунт возмущенной справедливости, – она спросила:

– Какое же ты имеешь право быть хорошим, когда я – плохая?

910

– Что? – не понял он сразу, вдруг ужаснувшись пропасти, которая у самых ног его раскрыла свой черный зев.

– Я давно тебя ждала.

– Ты меня ждала?

– Да. Хорошего ждала. Пять лет ждала, может, больше. Все они, какие приходили, жаловались, что подлецы они. Да подлецы они и есть. Мой писатель говорил сперва, что хороший, а потом сообразился, что тоже подлец. Таких мне не нужно.

– Чего же тебе нужно?

920 – Тебя мне нужно, миленький. Тебя. Да, как раз такой. – Она внимательно и спокойно оглядела его с ног до головы и утвердительно кивнула бледной головой. – Да. Спасибо, что пришел.

Ему, ничего не боявшемуся, вдруг стало страшно.

– Чего же тебе надо? – повторил он отступая.

– Надо было хорошего ударить, миленький, настоящего хорошего. А тех слюнтяев и бить не стоит, руки только марать. Ну вот и ударила, можно теперь и ручку себе поцеловать. Милая ручка, хорошего ударила!

Она засмеялась и действительно погладила и трижды поцеловала 930 вала свою правую руку. Он дико смотрел на нее, и мысли его, такие медленные, теперь бежали с отчаянной быстротою; и уже приближалось, словно черная туча, то ужасное и непоправимое, как смерть.

– Ты что сказала... Что ты сказала?

– Я сказала: стыдно быть хорошим. А ты этого не знал?

– Не знал, – пробормотал он, вдруг глубоко задумавшись и даже как будто забывши про нее. Сел.

– Ну вот, узнай.

Говорила она спокойно, и только по тому, как ходила под 940 рубашкой грудь, заметно было глубокое волнение, сдушенный тысячеголосый крик.

– Ну, узнал?

– Что? – очнулся он.

– Узнал, говорю?

– погоди!

– погожу, миленький. Пять лет ждала, а теперь пять минуток да не погодить!

Она опустила на стул и, точно в предчувствии какой-то необыкновенной радости, заломила голые руки и закрыла глаза:

– Ах, миленький, миленький ты мой!..

950 – Ты сказала: стыдно быть хорошим?

– Да, миленький, стыдно.

– Так ведь это!.. – Он в страхе остановился.

– То-то и есть. Испугался? Ничего, ничего. Это сначала только страшно.

– А потом?

– Вот останешься со мною и узнаешь, что потом.

Он не понял.

– Как останусь?

Удивилась, в свою очередь, девушка:

– Да разве теперь, после этого, тебе можно куда-нибудь идти? 960  
Смотри, миленький, не обманывай. Ведь не подлец же и ты, как другие. А хороший – так останешься, никуда не пойдешь. Недалом же я тебя ждала.

– Ты с ума сошла! – сказал он резко.

Она строго поглядела на него и даже погрозила пальцем.

– Нехорошо. Не говори так. Раз пришла к тебе правда, поклонись ей низко, а не говори: ты с ума сошла. Это мой писатель говорит: ты с ума сошла! – так на то он и подлец. А ты будь честный.

– А вдруг не останусь? – мрачно усмехнулся он побелевшими 970  
искривленными губами.

– Останешься! – сказала она с уверенностью. – Куда тебе идти теперь? Тебе некуда идти. Ты честный. У подлеца дорог много, а у честного одна. Это я еще тогда поняла, как ты мне руку поцеловал. Дурак, думаю, а честный. Ты не обижаешься, что я дураком тебя сочла? Да ты сам виноват. Зачем ты невинность свою мне предлагал? Думал: дам ей невинность мою, она и отступится. Ах, дурачок, дурачок! Сперва я даже обиделась: что же это, думаю, даже за человека не считает; а потом вижу, что и это тоже от хорошеи от твоей. И так ты рассчитывал: отдам ей невинность и 980  
оттого, что отдам, стану я еще невиннее, и получится у меня вроде как бы неразменный рубль. Я его нищему, а он ко мне назад. Я его нищему, а он ко мне назад. Нет, миленький, этот номер не пройдет.

– Не пройдет?

– Не-е-т, миленький, – протянула она. – Не на дуру напал. Я купцов-то этих достаточно насмотрелась: награбит миллионы, а потом даст целковый на церковь да и думает, что прав. Нет, миленький, ты мне всю церковь построй. Ты мне самое дорогое дай, что у тебя есть, а то невинность! Может, и невинность-то только 990  
потому и отдаешь, что самому не нужна стала, заплесневела. Невеста у тебя есть?

– Нет.

– А будь невеста и жди она тебя завтра с цветами, да с поцелуями, да с любовью – отдал бы невинность или нет?

– Не знаю, – сказал он задумчиво.

– Вот то-то и есть. Сказал бы: лучше жизнь мою возьми, а честь мою оставь! Что подешевле, то и отдаешь. Нет, ты мне самое дорогое отдай, такое, без чего сам не можешь жить, вот!

1000 – Да зачем я отдам? Зачем?

– Как зачем? Да все затем же, чтобы стыдно не было.

– Люба, – воскликнул он в удивлении. – Послушай, да ведь ты сама...

– Хорошая, хочешь сказать? Слыхала и это. От писательчика моего не раз слыхала. Только это, миленький, неправда. Самая я настоящая девка. Вот останешься, узнаешь.

– Да не останусь же я! – крикнул он сквозь зубы.

1010 – Не кричи, миленький. Криком против правды ничего не сделаешь. Правда как смерть – придет, так принимай, какая ни на есть. С правдой тяжело, миленький, встретиться, по себе знаю, – и шепотом, глядя ему прямо в глаза, добавила: – Бог-то ведь тоже хороший!

– Ну?

– Больше ничего... Сам понимай, а я ничего говорить не стану. Только вот уже пять лет, как в церкви не была. Вот она, правда-то!

Правда, какая правда? Что это еще за новый, неизвестный ужас, которого не знал он ни перед лицом смерти, ни перед лицом самой жизни? Правда!

1020 Скуластый, крепкоголовый, знающий только “да” и “нет”, он сидел, опершись головою о руки, и медленно переводил глаза, будто с одного края жизни до другого края ее. И распадалась жизнь, как плохо склеенный запертый ящичек, попавший под осенний дождь, и в жалких обломках ее нельзя было узнать недавнего прекрасного целого, чистого хранилища души его. Он вспоминал милых, родных людей, с которыми он жил всю жизнь и работал в дивном единении радости и горя, – и они казались чужими, и жизнь их непонятной, и работа их бессмысленной. Точно вдруг взял кто-то его душу мощными руками и переломил ее, как палку о жесткое колено, и далеко разбросил концы. Только несколько часов он здесь, только несколько часов он оттуда, – а кажется, будто всю жизнь он здесь, против этой полуголой женщины, слушает далекую музыку и треньканье шпор и не уходил никуда. И не знает, вверху он или внизу, – знает только, что он против, мучительно против всего того, что только что, еще сегодня днем, составляло его жизнь и его душу. Стыдно быть хорошим.

Вспомнил книги, по которым учился жить, и улыбнулся горько. Книги! Вот она, книга, – сидит с голыми руками, с закрытыми



глазами, с выражением блаженства на бледном, измученном лице и ждет терпеливо. Стыдно быть хорошим... И вдруг с тоскою, с ужасом, с невыносимой болью он почувствовал, что та жизнь кончена для него навсегда – что уже не может он быть хорошим. Только этим и жив, что хороший, только этому и радовался, только это и противопоставлял и жизни и смерти, – и этого нет, и нет ничего. Тьма. И останется ли он здесь, и вернется ли он назад, к своим – у него уже нет своих. Зачем пришел он в этот проклятый дом! Остался бы лучше на улице, отдался бы в руки сыщикам, пошел бы в тюрьму – что такое тюрьма, в которой еще можно, еще не стыдно быть хорошим! А теперь – и в тюрьму поздно.

– Ты плачешь? – спросила девушка беспокойно. 1050

– Нет! – ответил он резко. – Я никогда не плачу.

– И не надо, миленький. Это мы, женщины, можем плакать, а вам нельзя. Если и вы заплачете, кто же тогда ответит Богу?

Да, своя; вот эта – своя.

– Люба, – воскликнул он с тоскою, – что же делать! Что же делать!

– Оставайся со мною. Со мною оставайся – ты ведь мой теперь.

– А они?

Девушка нахмурилась:

– Какие еще они? 1060

– Да люди, люди же! – воскликнул он в бешенстве, – люди, для которых работал! Ведь не для себя же, в самом деле, не для собственного утешения нес я все это – к убийству готовился!

– Ты мне о людях не говори! – строго сказала девушка, и губы ее задрожали. – Ты мне лучше о людях не говори – опять драться буду! Слышишь!

– Да что ты? – удивился он.

– Что я – собака? И все мы – собаки? Миленький, поостерегись! Попрятался за людей, и будет. Не прячься от правды, миленький, от нее никуда не спрячешься! А если любишь людей, жалеешь нашу горькую братию – так вот, бери меня. А я, миленький мой, – тебя возьму! 1070

## V

Сидела заломив руки, вся в блаженной истоме, вся счастливая безумно – будто помешанная. Покачивала головою и, не открывая блаженно грезящих глаз, говорила медленно, почти пела:

– Миленький мой! Пить с тобою будем. Плакать с тобою будем, – ох, как сладко плакать будем, миленький ты мой. За всю

1080 жизнь наплачуся! Остался со мною, не ушел. Как увидела тебя сегодня в зеркале, так сразу и метнулося: вот он, мой суженый, вот он, мой миленький. И не знаю я, кто ты, брат ли ты мой, или жених, а весь родной, весь близкий, весь желанненький...

Вспомнил и он эту черную, немую траурную пару в золотой раме зеркала и свое тогдашнее ощущение: как на похоронах, – и вдруг стало так невыносимо больно, таким диким кошмаром показалось все, что он в тоске даже скрипнул зубами. И, идя мыслью дальше, назад, вспомнил милый револьвер в кармане – двухдневную погоню – плоскую дверь без ручки, и как он искал

1090 звонка, и как вышел опухший лакей, еще не успевший натянуть фрака, в одной ситцевой грязной рубашке, и как он вошел с хозяйкой в белый зал и увидел этих трех чужих.

И все свободнее ему становилось – и наконец ясно стало, что он такой же, как и был, и совершенно свободен, совершенно свободен и может идти куда хочет.

Он строго обвел глазами незнакомую комнату и сурово, с убежденностью человека, который очнулся на миг от тяжелого хмеля и видит себя в чуждой обстановке, осудил все увиденное: – Что это! Какая бессмыслица! Какой нелепый сон!

1100 . . . . .

Но музыка играла. Но женщина сидела заломив руки, смеялась, бессильная говорить, изнемогающая под бременем безумного, невиданного счастья. Но это не был сон.

. . . . .

– Что же это? Так это – правда?

– Правда, миленький! Неразлучные мы с тобою.

Это – правда. Правда – вот эти плоские мятые юбки, висящие на стене в своем голом безобразии. Правда – вот эта кровать, на которой тысячи пьяных мужчин бились в корчах гнусного сладострастия. Правда – вот эта душистая, старая, влажная вонь, которая липнет к лицу и от которой противно жить. Правда – эта музыка и шпоры. Правда – она, эта женщина с бледным, измученным лицом и жалко-счастливою улыбкой.

1110 Опять он положил на руки тяжелую голову, смотрел исподлобья взглядом волка, которого не то убивают, не то он сам хочет убить, и думал бессвязно:

«Так вот она, правда... Это значит: и завтра, и послезавтра не пойду, и все узнают, почему я не пошел, остался с девкою, запил, и назовут меня предателем, трусом, негодяем. Некоторые 1120 заступятся, будут догадываться... нет, лучше не надеяться на это,

лучше так. Кончено так кончено. В темноту так в темноту. А что дальше? Не знаю, темно. Вероятно, ужас какой-нибудь, – ведь я еще не умею по-ихнему. Как странно: нужно учиться быть плохим. У кого же? У нее?.. Нет, она не годится, она сама ничего не знает, ну да я сумею. Плохим нужно быть по-настоящему, так, чтобы... Ох, что-то большое я разрушу!.. А потом? А потом, когда-нибудь, приду к ней, или в кабак, или на каторгу, и скажу: теперь мне не стыдно, теперь я ни в чем не виноват перед вами, теперь я сам такой же, как вы, грязный, падший, несчастный. Или выйду на площадь, падший, и скажу: смотрите, какой я! 1130 Все у меня было: и ум, и честь, и достоинство, и даже – страшно подумать – бессмертие; и все это я бросил под ноги проститутке, от всего отказался только потому, что она плохая... Что они скажут? Разинут рты, удивятся, скажут – “дурак”! Конечно, дурак. Разве я виноват, что я хороший? Пусть и она, пусть и все стараются быть хорошими... Раздай имение неимущим. Но ведь это имение и это Христос, в которого я не верю. Или еще: кто душу свою положит – не жизнь, а душу – вот как я хочу. Но разве сам Христос грешил с грешниками, прелюбодействовал, пьянствовал? Нет, Он только прощал их, любил даже. Ну и я ее люблю, 1140 прощаю, жалею, – зачем же самому? Да, но ведь она в церковь не ходит. И я тоже. Это не Христос, это другое, это страшнее».

– Страшно, Люба!

– Страшно, миленький. Страшно человеку встретиться с правдой.

“Она опять о правде. Но отчего страшно? Чего я боюсь? Чего я могу бояться – когда я так хочу? Конечно, бояться нечего. Разве там на площади, перед этими разинутыми ртами, я не буду выше их всех? Голый, грязный, оборванный – у меня тогда будет ужасное лицо – сам отдавший все – разве я не буду грозным глашатаем вечной справедливости, которой должен подчиниться и сам Бог – иначе он не Бог!” 1150

– Нет страшного, Люба!

– Нет, миленький, есть. Не боишься, и хорошо, но его не зови. Не надо.

“Так вот как я кончил. Не этого я ожидал. Не этого я ожидал для моей молодой, красивой жизни. Боже мой, но ведь это безумие, я с ума сошел! Еще не поздно! Еще не поздно. Еще можно уйти!”

– Миленький ты мой! – бормотала женщина заломив руки. 1160

Он хмуρο взглянул на нее. В блаженно закрытых глазах ее, в блуждающей, счастливой, бессмысленной улыбке была неутоли-

мая жажда, ненасытимый голод. Точно уже сожрала она что-то огромное и сожрет еще. Взглянул хмуро на тонкие, нежные руки, на темные впадины в подмышках и неторопливо встал. И с последним усилием спасти что-то драгоценное – жизнь, или рассудок, или старую добрую правду – неторопливо и серьезно начал одеваться. Не может найти галстука.

– Послушай, ты не видала моего галстука?

1170 – Ты куда? – оглянулась женщина.

Руки ее упали с головы, и вся она потянулась вперед, к нему.

– Ухожу.

– Уходишь? – протяжно повторила она. – Уходишь? Куда?

Он усмехнулся угрюмо.

– Разве мне некуда идти. К товарищам иду.

– К хорошим? Ты обманул меня?

– Да, к хорошим, – опять усмехнулся. Наконец он оделся; провел ладонями по бокам:

– Давай бумажник.

1180 Подала.

– А часы?

Подала. Они лежали тут же, на столике.

– Прощай.

– Испугался?

Вопрос был спокойный, простой. Он взглянул: стояла высокая, стройная женщина, с тонкими, почти детскими руками, улыбалась бледно, побелевшими губами, и спрашивала:

– Испугался?

1190 Как она менялась странно: то сильная, даже страшная, то вот как теперь, печальная и больше на девушку похожа, чем на женщину. Но это ведь все равно. Сделал шаг к двери.

– А я думала, что ты останешься.

– Что?

– А я думала, что останешься. Со мною.

– Зачем?

– Ключ у тебя, в кармане. Да так: чтобы мне лучше было.

Уже щелкнул замок.

– Ну что же. Ступай. Ступай к своим хорошим, а я...

1200 ...И вот тогда, в эту последнюю минуту, когда оставалось открыть дверь и за нею вновь найти товарищей, прекрасную жизнь и героическую смерть, – он совершил дикий, непонятный поступок, погубивший его жизнь. Было ли то безумие, которое овладевает иногда так внезапно самыми сильными и спокойными умами, или действительно – под визг пьяной скрипки, в стенах публичного

дома, под дикими чарами подведенных глаз проститутки – он открыл какую-то последнюю ужасную правду жизни, свою правду, которой не могли и не могут понять другие люди. Но было ли безумием или здоровьем ума, было ли ложью или правдой новое понимание его, – он принял его твердо и бесповоротно с тою безусловностью факта, которая всю прежнюю жизнь его вытянула в 1210 одну прямую огненную линию, оперила ее как стрелу.

Провел медленно, очень медленно руками по щетинистому твердому черепу и, даже не закрыв двери, – просто пошел и сел на кровати. Широкоскулый, бледный, похожий с виду на иностранца, на англичанина.

– Что ты? Забыл что-нибудь? – удивилась женщина: так теперь не ожидала она того, что случилось.

– Нет.

– Что же ты? Почему ты не уходишь?

И спокойно, с выражением камня, на котором жизнь тяжелой 1220 рукою своею высекла новую, страшную, последнюю заповедь, он сказал:

– Я не хочу быть хорошим.

Она ждала, не смея верить, – вдруг ужаснувшаяся тому, чего искала и жаждала так долго. Стала на колени. И, слегка улыбнувшись, уже по-новому, по-страшному возвышаясь над ней, он положил руку ей на голову и повторил:

– Я не хочу быть хорошим.

И радостно засуетилась женщина. Она раздевала его как ребенка, расшнуровывала ботинки, путаясь в узлах, гладила его по 1230 голове, по коленам, и не смеялась даже – так полно было ее сердце. Вдруг взглянула на его лицо и испугалась:

– Какой ты бледный! Пей, пей скорее. Тебе трудно, Петечка?

– Меня зовут Алексей.

– Все равно. Хочешь, я налью тебе в стакан? Только смотри не обожгись, с непривычки трудно из стакана.

И раскрыв рот смотрела, пока он пил медленными, слегка неуверенными глотками. Закашлялся.

– Это ничего, ничего. Ты хорошо будешь пить, это сразу видно. Молодец же ты у меня! До чего же я рада!

1240

Завизжав, она вспрыгнула на него и стала душить короткими, крепкими поцелуями, на которые он не успевал отвечать. Смешно: чужая, а так целует! Крепко сжал ее руками, вдруг лишив ее возможности двигаться, и некоторое время молча, сам не двигаясь, держал так, точно испытывал силу покоя, силу женщины – силу свою. И женщина покорно и радостно немела в его руках.

– Ну ладно! – сказал он и вздохнул незаметно.

И вновь металась женщина, горя в дикой радости своей как в огне. И так наполнила своими движениями комнатку, как будто  
1250 не одна, а несколько таких полубезумных женщин говорило, двигалось, ходило, целовало. Поила его коньяком и пила сама. Вдруг спохватилась и даже всплеснула руками.

– А револьвер! А револьвер-то мы и забыли! Давай, давай скорее, нужно его отнести в контору.

– Зачем?

– Ну его, боюсь я этих вещей. А вдруг выстрелит?

Он усмехнулся и повторил:

– А вдруг выстрелит? Да. А вдруг выстрелит!

Вынул револьвер и несколько медленно, точно меряя рукою  
1260 тяжесть спокойного, послушного оружия, передал его девушке. Достал и обоймы.

– Неси.

И когда остался один, без револьвера, который носил столько лет, с полукрытой дверью, в которую неслись издали чужие, незнакомые голоса и тихое позвякивание шпор, – почувствовал он всю громаду бремени, которое взвалил на плечи свои. Тихо прошелся по комнате и, обратясь лицом в сторону, где должны были находиться те, произнес:

– Ну?

1270 И застыл, сложив руки на груди, обратив глаза в сторону, где должны были находиться те. И было в этом коротеньком слове много: и последнее прощание, и глухой вызов, и бесповоротная, злая решимость бороться со всеми, даже со своими, и немного, совсем немного тихой жалобы.

Все так же стоял он, когда прибежала Люба и с порога взволнованно заговорила:

– Миленький, ты не рассердишься? Не сердись, я подруг сюда позвала. Так, некоторых. Ничего? Понимаешь: очень мне захотелось им тебя показать, суженого моего, миленького моего.  
1280 Ничего? Они славные, их нынче никто не взял, и они одни там. А офицеры по комнатам разошлись. А один офицерик видел твой револьвер и похвалил: очень хороший, говорит. Ничего? Миленький, ничего? – душила его девушка короткими, быстрыми, крепкими поцелуями.

А те уже входили, повизгивая, жеманясь, и чинно садились рядом, одна возле другой. Их было пять или шесть самых некрасивых или старых, накрашенных, с подведенными глазами, с волосами, навесом начесанными на лоб. Некоторые делали вид,

что стыдятся, и хихикали, другие спокойно и просто ожидали коньяку и глядели на него серьезно, протягивали руку и здоровались, входя. По-видимому, они уже ложились спать, потому что все были в легких капотах, а одна, чрезвычайно толстая, ленивая и равнодушная, пришла даже в одной юбке, с голыми, невероятно толстыми руками и жирною, словно распухшею грудью. Эта толстая и еще одна, с злым, птичьим, старым лицом, на котором белила лежали, как грязная штукатурка на стене, были совершенно пьяны, остальные же сильно навеселе. И все это полуголое, откровенное, хихикающее окружило его, и сразу нестерпимо запахло телом, портером, все теми же влажными, мыльными духами. Прибежал с коньяком и портером потный лакей в обтянутом 1300 кургузом фраке, и все девицы хором встретили его:

– Маркуша! Милый Маркуша! Маркуша!

По-видимому, это было в обычае – встречать его такими возгласами, потому что даже и толстая, пьяная, лениво прогудела:

– Маркуша!

И все это было необыкновенно. Пили, чокались, говорили все сразу и о чем-то своем. Злая, с птичьим лицом, раздраженно и крикливо рассказывала о госте, который брал ее на время и с которым у нее что-то вышло. Часто ввертывали уличные ругательства, но произносили их не равнодушно, как мужчины, а всегда с особенной едкостью, с некоторым вызовом; все вещи называли 1310 своими именами.

На него вначале обращали внимания мало, да и сам он упорно молчал и выглядывал. Счастливая Люба сидела очень тихо рядом с ним на постели, обнимая его рукою за шею, сама пила немного, но ему постоянно подливала. И часто в самое ухо шептала:

– Миленький!

Пил он много, но не хмелел, а что-то другое происходило в нем, что производит нередко в людях таинственный и сильный алкоголь. Будто – пока он пил и молчал – внутри его происходила 1320 огромная разрушительная работа, быстрая и глухая. Как будто все, что он узнал в течение жизни, полюбил и передумал, разговоры с товарищами, книги, опасная и завлекательная работа – бесшумно сгорало, уничтожалось бесследно, но сам он от этого не разрушался, а как-то странно креп и твердел. Словно с каждой выпитой рюмкой он возвращался к какому-то первоначалу своему – к деду, к прадеду, к тем стихийным, первобытным бунтарям, для которых бунт был религией и религия – бунтом. Как линючая краска под горячей водой – смывалась и блекла книжная чуждая мудрость, а на место ее вставало свое собственное, дикое и тем- 1330

ное, как голос самой черной земли. И диким простором, безграничностью дремучих лесов, безбрежностью полей веяло от этой последней темной мудрости его; в ней слышался смятенный крик колоколов, в ней виделось кровавое зарево пожаров, и звон железных кандалов, и иступленная молитва, и сатанинский хохот тысяч исполнинских глоток – и черный купол неба над непокрытой головою.

Так сидел он, широкоскулый, бледный, вдруг такой родной, такой близкий всем этим несчастным, галдевшим вокруг него.  
1340 И в опустошенной, выжженной душе и в разрушенном мире белым огнем расплавленной стали сверкала и светилась ярко одна его раскаленная воля. Еще слепая, еще бесцельная, она уже выгибалась жадно; и в чувстве безграничного могущества, способности все создать и все разрушить, спокойно железнело его тело.

Вдруг он стукнул кулаком по столу:

– Любка! Пей!

И когда она, светлая и улыбающаяся, покорно налила рюмки, он поднял свою и произнес:

– За нашу братию!

1350 – Ты за тех? – шепнула Люба.

– Нет, за этих. За нашу братию! За подлецов, за мерзавцев, за трусов, за раздавленных жизнью. За тех, кто умирает от сифилиса...

Девицы рассмеялись, но толстая лениво попрекнула:

– Ну это, голубчик, уже слишком.

– Молчи! – сказала Люба бледнее. – Он мой суженый!

– ...За всех слепых от рождения. Зрячие! выколем себе глаза, ибо стыдно, – он стукнул кулаком по столу. – Ибо стыдно зрячим смотреть на слепых от рождения. Если нашими фонари-  
1360 ками не можем осветить всю тьму, так погасим же огни и все полезем в тьму. Если нет рая для всех, то и для меня его не надо, – это уже не рай, девицы, а просто-напросто свинство. Выпьем за то, девицы, чтобы все огни погасли. Пей, темнота!

Он слегка покачнулся и выпил. Говорил он несколько туго, но твердо, отчетливо, с паузами, выговаривая каждое слово. Никто не понял этой дикой речи, но всем он понравился – понравился он сам, бледный и как-то по-особенному злой. Вдруг быстро заговорила Люба, протягивая руки:

– Он мой суженый. Он останется со мною. Он был честный, у  
1370 него есть товарищи, а теперь он останется со мною.

– Поступай к нам, на место Маркуши, – лениво сказала толстая.



– Молчи, Манька, я морду тебе побью! Он останется со мною. Он был честный.

– Мы все были честные, – сказала злая, старая.

И другие подхватили:

– Я до четырех лет была честная... Я и сейчас честная, ей-богу! Люба чуть не плакала.

– Молчите, дряни вы этикие. У вас честность отняли, а он сам отдал. Взял и отдал: на мою честность! Не хочу я честности! Вы все тут... а он еще невинный... 1380

Она всхлипнула – и все разразилось хохотом. Хохотали, как могут хохотать только пьяные, со всею безудержностью их чувств; хохотали, как можно только хохотать в маленькой комнатке, где воздух уже насытился звуками, уже не принимает их и гулко выбрасывает назад, оглушая. Плакали от смеха, валились друг на друга, стонали; тоненьким голосом кудахтали толстая и бессильно падала со стула; наконец, глядя на них, залился хохотом он сам. Точно весь сатанинский мир собрался сюда, чтобы хохотом проводить в могилу маленькую, невинную 1390 честность, – и хохотала тихо сама умершая честность. Не смеялась только Люба. Дрожа от возмущения, она ломала руки, кричала что-то и наконец бросилась бить кулаками толстую, и та еле-еле бессильно отводила ее голыми, круглыми, как бревна, руками.

– Будет, – кричал он, но они не слышали. Наконец понемногу стихли.

– Будет! – еще раз крикнул он. – Стойте. Я вам еще штучку покажу.

– Оставь их! – говорила Люба, вытирая кулаком слезы. – Их всех надо выгнать! 1400

– Испугалась? – повернул он лицо, еще дрожащее от хохота. – Честности захотелось? Глупая – тебе все время только ее и хочется! Оставь меня!

И, не обращая больше на нее внимания, он обернулся к тем, встал, высоко поднял руки:

– Слушайте. Погодите. Я сейчас вам покажу. Смотрите сюда, на мои руки.

И, настроенные весело и любопытно, они смотрели на его руки и послушно, как дети, ждали разинув рты.

– Вот, – он потряс руками, – я держу в руках мою жизнь. Видите? 1410

– Видим! Дальше!

– Она была прекрасна, моя жизнь. Она была чиста и прелестна, моя жизнь. Она была, знаете, как те красивые вазы из фарфора. И вот глядите: я бросаю ее!

Он опустил руки почти со стоном, и все глаза обратились на землю, как будто там действительно лежало что-то хрупкое и нежное, разбитое на куски – прекрасная человеческая жизнь.

– Топчите же ее, девки! Топчите, чтобы кусочка не осталось! – 1420 топнул он ногой.

И как дети, которые радуются новой шалости, они все с визгом и хохотом вскочили и начали топтать то место, где невидимо лежала разбитая нежная фарфоровая ваза – прекрасная человеческая жизнь. И постепенно овладела ими ярость. Смолк хохот и визг. Только тяжелое дыхание, густой сап и топот ног, яростный, беспощадный, неукротимый.

Как оскорбленная царица, через плечо, глядела на него Люба яростными глазами и вдруг, точно поняв, точно обезумев, – с радостным стоном бросилась в середину толкущихся женщин 1430 и быстро затопала ногами. Если бы не серьезность пьяных лиц, если бы не яростность потускневших глаз, не злоба искаженных, искривленных ртов, можно было бы подумать, что это новый особенный танец без музыки и без ритма.

И сцепив пальцами твердый, щетинистый череп – спокойно и угрюмо смотрел он.

---

Говорили в темноте два голоса.

Голос Любы, близкий, внимательный, чуткий, с легкими нотками особенного страха, каким бывает всегда голос женщины в 1440 темноте, – и его, твердый, спокойный, далекий. Слова он выговаривал слишком твердо, слишком отчетливо – и только в этом чувствовался еще не совсем прошедший хмель.

– У тебя глаза открыты? – спрашивала женщина.

– Открыты.

– Ты думаешь о чем-нибудь?

– Думаю.

Молчание и темнота, и снова внимательный, сторожкий женский голос:

– Расскажи мне еще о твоих товарищах. Ты можешь?

1450 – Отчего же? Они были...

Он говорил “были” – как живые говорят о мертвых или как мертвый мог бы говорить о живом. И рассказывал спокойно, почти равнодушно, с похоронными отзвуками меди в ровно текущем голосе, как старик, который рассказывает детям героическую сказку о давно минувших годах. И в темноте, беспредельно раздвинувшей границы комнаты, вставала перед зачарованными глазами Любы крохотная горсточка людей, страшно молодых,

лишенных матери и отца, безнадежно враждебных и тому миру, с которым борются, и тому – за который борются они. Ушедшие мечтою в далекое будущее, к людям-братьям, которые еще не родились, свою короткую жизнь они проходят бледными, окровавленными тенями, призраками, которыми люди пугают друг друга. И безумно коротка их жизнь: каждого из них ждет виселица, или каторга, или сумасшествие; больше нечего ждать – каторга, виселица, сумасшествие. И есть среди них женщины... 1460

Люба охнула и приподнялась на локтях:

– Женщины! Что ты говоришь, миленький!

– Молоденькие, нежные девушки, почти подростки, – мужественно и смело идут они по стопам мужчин и гибнут...

– Гибнут. Господи!

1470

Люба всхлипнула и прижалась к его плечу.

– Что, растрогалась?

– Ничего, миленький, я так. Рассказывай! Рассказывай!

И он рассказывал дальше. И удивительное дело: лед превращался в огонь, в похоронных отзвуках его прощальной речи для девушки с открытыми горящими глазами вдруг зазвучал благовест новой, радостной, могучей жизни. Слезы быстро накопились на ее глазах и сохли, словно на огне; взволнованная мятежно, она жадно слушала, и каждое тяжелое слово, как молот по горячему железу, ковало в ней новую, звонкую душу. Равномерно опускался молот, и все звончее становилась душа, – и вдруг в душном смраде комнаты громко прозвучал новый, незнакомый голос – голос человека: 1480

– Милый! Ведь я тоже женщина!

– Чего же ты хочешь?

– Ведь я тоже могу пойти к ним!

Он молчал. И вдруг в молчании своем, в том, что он был их товарищем, жил вместе с ними, – показался ей таким особенным и важным, что даже неловко стало лежать с ним, так просто, рядом, и обнимать его. Отодвинулась немного и руку положила легко, так, 1490 чтобы прикосновение чувствовалось как можно меньше. И, забывшая свою ненависть к хорошим, все слезы свои и проклятия, долгие годы ненарушимого одиночества в вертепе, покоренная красотой и самоотречением ихней жизни – взволновалась до краски в лице, почти до слез, от страшной мысли, что те могут ее не принять.

– Милый! А они примут меня? Господи, что это такое? Как ты думаешь, как ты думаешь, они примут меня, они не побрезгуют? Они не скажут: тебе нельзя, ты грязная, ты собою торговала? Ну, скажи!

- 1500 Молчание и ответ, несущий радость:  
– Примут. Очего же?  
– Миленький ты мой! Какие же они...  
– Хорошие, – добавил мужской голос, словно поставил тупую, круглую точку. И радостно, с трогательным доверием девушка повторила:  
– Да. Хорошие.  
И так светла была ее улыбка, что казалось, улыбнулась сама темнота и какие-то звездочки забегали – голубенькие, маленькие точки. Приходила к женщине новая правда, но не страх, а радость несла с собою.
- 1510 И робкий просящий голос:  
– Так пойдем к ним, милый! Ты отведешь меня, не постыдишься, что привел такую? Ведь они поймут, как ты сюда попал. На самом деле – за человеком гонятся, куда ему деваться. Тут не только что – тут в помойную яму полезешь. И я... и я... я уже постарюсь. Что же ты молчишь?  
Угрюмое молчание, в котором слышно биение двух сердец – одно частое, торопливое, тревожное – и твердые, редкие, странно редкие удары другого.
- 1520 – Тебе стыдно привести такую?  
Угрюмое, длительное молчание и ответ, от которого повеяло холодом и непреклонностью жесткого камня:  
– Я не пойду. Я не хочу быть хорошим.  
Молчание.  
– Они господа, – как-то странно и одиноко прозвучал его голос.  
– Кто? – глухо спросила девушка.  
– Те, прежние.  
И опять длительное молчание – точно откуда-то сверху со-  
1530 рвалась птица и падает, бесшумно крутясь в воздухе мягкими крыльями, и никак не может достичь земли, чтобы разбиться о нее и лечь спокойно. В темноте он почувствовал, как Люба молча и осторожно, стараясь как можно меньше касаться, перебралась через него и стала возиться с чем-то.  
– Ты что?  
– Я не хочу лежать так. Хочу одеться.  
Должно быть, оделась и села, потому что легонько скрипнул стул. И стало так тихо, как будто в комнате не было никого. И долго было тихо; и спокойный, серьезный голос сказал:  
1540 – Там, Люба, на столе остался, кажется, еще коньяк. Выпей рюмочку и ложись.

## VI

Уже совсем рассветало, и в доме было тихо, как во всяком доме, — когда явилась полиция. После долгих сомнений и колебаний, боязни скандала и ответственности, — в полицейский участок был послан Маркуша с подробным и точным докладом о странном посетителе и даже с его револьвером и запасными обоймами. И там сразу догадались, кто это. Уже три дня полиция бредила им и чувствовала его тут, возле; и последние следы его терялись как раз в —ном переулке. Даже предположен был на одно время 1550  
обход всех публичных домов в участке, но кто-то отыскал новый ложный путь, и туда направились поиски, и про дом забыли.

Затрещал тревожно телефон, и уже через полчаса в октябрьском холодке, сдирая подошвами иней, по пустым улицам двигалась молча огромная толпа городских и сыщиков. Впереди, всем телом чувствуя свою зловещую выброшенность вперед, шел участковый пристав, очень высокий пожилой человек в широком, как мешок, форменном пальто. Он зевал, закрывая красноватый, отвислый нос в седеющих усах, и думал с холодной тоскою, что надо было подождать солдат, что бессмысленно идти на такого 1560  
человека без солдат, с одними сонными, неуклюжими городовыми, не умеющими стрелять. И уже несколько раз мысленно назвал себя “жертвою долга” и каждый раз при этом продолжительно и тяжело зевал.

Это был всегда слегка пьяный старый пристав, развращенный публичными домами, которые находились в его участке и платили ему большие деньги за свое существование; и умирать ему вовсе не хотелось. Когда его подняли нынче с постели, он долго перекладывал свой револьвер из одной потной ладони в другую и, хотя времени было мало, зачем-то велел почистить сюртук, точно 1570  
собирался на смотр. Еще накануне в участке, среди своих, вели разговор о нем, о котором бредила эти дни вся полиция, и пристав с цинизмом старого, пьяного своего человека называл его героем, а себя старой полицейской шлюхою. И когда помощники хохотали, серьезно уверял, что такие герои нужны хотя бы для того, чтобы их вешать:

— Вешаешь — и ему приятно, и тебе приятно. Ему потому, что идет прямо в царствие небесное, а мне как удостоверение, что есть еще храбрые люди, не перевелись. Чего зубы скалите, — верно-с! 1580

Правда, он и сам смеялся при этом, так как давно позабыл, где в его словах правда, а где ложь, то, что табачным дымом обволакивало всю его беспутную, пьяную жизнь. Но сегодня — в ок-

тябрьском утре, идя по холодным улицам, — он ясно почувствовал, что вчерашнее — ложь и что “он” просто негодай; и было стыдно вчерашних мальчишеских слов.

— Герой! Как же! Господи, да если он, — изнывал пристав в молитве, — да если он, мерзавец, пошевельнется, убью как собаку. Господи!

1590 И опять думал, отчего ему, приставу, уже старому, уже по-дагрику, так хочется жить? И вдруг догадался: это оттого, что на улицах иней. Обернулся назад и свирепо крикнул:

— В ногу! Идут как бараны... с... с...

А под пальто поддувало, а сюртук был широк, и все тело болталось в одежде, как желток в болтне, — точно вдруг сразу похудел он. Ладони же рук, несмотря на холод, были потные.

Дом окружили так, будто не одного спящего человека собирались взять, а сидела там целая рота неприятелей; и потихоньку, на цыпочках, пробрались по темному коридору к той страшной двери. Был

1600 отчаянный стук, крик, трусливые угрозы застрелить сквозь дверь; и когда, почти сбивая с ног полуголую Любу, ворвались дружной лавой в маленькую комнату и наполнили ее сапогами, шинелями, ружьями, то увидели: он сидел на кровати в одной рубашке, спустив на пол голые, волосатые ноги, сидел и молчал. И не было ни бомбы, ни другого страшного. Была только обыкновенная комната проститутки, грязная и противная при утреннем свете, смятая широкая кровать, разбросанное платье, загаженный и залитый портером стол; и на кровати сидел бритый, скуластый мужчина с заспанным, припухшим лицом и волосатыми ногами и молчал.

1610 — Руки вверх! — крикнул из-за спины пристав и крепче зажал в потной ладони револьвер.

Но он рук не поднял и не ответил.

— Обыскать! — крикнул пристав.

— Да ничего же нету! Да я же револьвер отнесла! Господи! — кричала Люба, лякая от страха зубами.

И она была в одной только смятой рубашке, и среди одетых в шинели людей оба они, полуголый мужчина и такая же женщина, вызывали стыд, отвращение, брезгливую жалость. Обыскали его одежду, обшарили кровать, заглянули в углы, в комод и не нашли

1620 ничего.

— Да я же револьвер отнесла! — твердила бессмысленно Люба.

— Молчать, Любка! — крикнул пристав.

Он хорошо знал девушку, раза два или три ночевал с нею и теперь верил ей; но так неожиданен был этот счастливый исход, что хотелось от радости кричать, распоряжаться, показывать власть.

– Как фамилия?  
– Не скажу. И вообще на вопросы отвечать не буду.  
– Конечно-с, конечно! – иронически ответил пристав, но несколько оробел.

1630

Потом взглянул на его голые, волосатые ноги, на всю эту мерзость – на девушку, дрожавшую в углу, и вдруг усомнился.

– Да тот ли это? – отвел он сыщика в сторону. – Что-то как будто?..

Сыщик, пристально вглядывавшийся в его лицо, утвердительно мотнул головой.

– Тот. Бороду только сбрил. По скулам узнать можно.

– Скулы разбойничьи, это верно...

– Да и на глаза гляньте. Я его по глазам из тысячи узнаю.

– Глаза, да... Покажи-ка карточку.

1640

Он долго разглядывал матовую без ретуши карточку того, – и был он на ней очень красивый, как-то особенно чистый молодой человек с большой русской окладистой бородою. Взгляд был, пожалуй, тот же, но не угрюмый, а очень спокойный и ясный. Скул только не было заметно.

– Видишь: скул не видать.

– Да под бородою же. А ежели прощупать глазом...

– Так-то оно так, но только... Запой что ли у него бывает?

Высокий, худой сыщик с желтым лицом и реденькой бородкой, сам запойный пьяница, покровительственно улыбнулся:

1650

– У них запоя не бывает-с.

– Сам знаю, что не бывает. Но только... Послушайте, – подошел пристав, – это вы участвовали в убийстве... ?.. – Он назвал почтительно очень важную и известную фамилию.

Но тот молчал и улыбался. И слегка покачивал одной волосатой ногой с кривыми, испорченными обувью пальцами.

– Вас спрашивают!..

– Да оставьте. Он не будет же отвечать. Подождем ротмистра и прокурора. Те заставят разговориться!

Пристав засмеялся, но на душе у него становилось почему-то все хуже и хуже. Когда лазили под кровать, разлили что-то, и теперь в непроветренной комнатке очень дурно пахло. “Мерзость какая! – подумал пристав, хотя в отношении чистоты был человек нетребовательный, и с отвращением взглянул на голую качающуюся ногу. – Еще ногой качает!” Обернулся: молодой, белобрысый, с совсем белыми ресницами, городской глядел на Любу и ухмылялся, держа ружье обеими руками, как ночной сторож в деревне палку.

1660

– Эй, Любка! – крикнул пристав, – ты что же это, сучья дочь, сразу не донесла, кто у тебя?

1670 – Да я же...

Пристав ловко дважды ударил ее по щеке, по одной, по другой.

– Вот тебе! Вот тебе! Я вам тут покажу!

У того поднялись брови и перестала качаться нога.

– Вам не нравится это, молодой человек? – Пристав все более и более презирал его. – Что же поделаешь! Вы эту харю целовали, а мы на этой харе...

И засмеялся, и улыбнулись конфузливо городовые. И что было всего удивительнее: засмеялась сама побитая Люба. Глядела приятно на старого пристава, точно радуясь его шутовности, его веселому характеру, и смеялась. На него, с тех пор как пришла полиция, она ни разу не взглянула, предавая его наивно и откровенно; и он видел это, и молчал, и улыбался странной усмешкой, похожей на то, как если бы улыбнулся в лесу серый, вросший в землю заплесневший камень. А у дверей уже толпились полуодетые женщины: были среди них и те, что сидели вчера с ними. Но смотрели они равнодушно, с тупым любопытством, как будто в первый раз встречали его; и видно было, что из вчерашнего они ничего не запомнили. Скоро их прогнали.

1690 Рассвело совсем, и в комнате стало еще отвратительнее и гаже. Показались два офицера, не выславшиеся, с помятыми физиономиями, но уже одетые, чистые, и вошли в комнату.

– Нельзя, господа, ей-богу, нельзя, – лениво говорил пристав и злобно смотрел на него.

Подходили, осматривали его с головы до голых ног с кривыми пальцами, оглядывали Любу и, не стесняясь, обменивались замечаниями.

1700 – Однако, хорош! – сказал молоденький офицерик, тот, что сзывал всех на котильон. У него, действительно, были прекрасные белые зубы, пушистые усы и нежные глаза с большими девичьими ресницами. На арестованного офицерик смотрел с безгливой жалостью и морщился так, будто сейчас готов был заплакать. На левом мизинце у того была мозоль, и было почему-то отвратительно и страшно смотреть на этот желтоватый маленький бугорок. И ноги были грязноваты. – Как же это вы, сударь, ай-ай-ай! – качал головой офицер и мучительно морщился.

– Так-то-с, господин анархист. Не хуже нас, грешных, с девочками. Плоть-то и у вас, стало быть, немощна? – засмеялся другой, постарше.

1710 – Зачем вы револьвер свой отдали? Вы бы могли хоть стрелять. Ну, я понимаю, ну вы попали сюда, это может быть со всяким, но зачем же вы отдали револьвер? Ведь это нехорошо перед товари-



щами! – горячо говорил молоденький, и объяснял старшему офицеру: – Знаете, Кнорре, у него был браунинг с тремя обоймами, представьте! Ах, как это нелепо.

И, улыбаясь насмешливо, с высоты своей новой, неведомой миру и страшной правды, глядел он на молоденького, взволнованного офицера и равнодушно покачивал ногою. И то, что он был почти голый, и то, что у него волосатые, грязноватые ноги с испорченными кривыми пальцами, – не стыдило его. И если бы таким же вывести его на самую людную площадь в городе и посадить перед глазами женщин, мужчин и детей, он так же равнодушно покачивал бы волосатой ногой и улыбался насмешливо. 1720

– Да разве они понимают, что такое товарищество! – сказал пристав, свирепо косясь на качающуюся ногу, и лениво убеждал офицеров: – Нельзя разговаривать, господа, ей-богу, нельзя. Сами знаете, инструкции.

Но свободно входили новые офицеры, осматривали, переговаривались. Один, очевидно знакомый, поздоровался с приставом за руку. И Люба уже кокетничала с офицерами.

– Представьте, браунинг, три обоймы, и он, дурак, сам его отдал, – рассказывал молоденький. – Не понимаю! 1730

– Ты, Миша, никогда этого не поймешь.

– Да ведь не трусы же они!

– Ты, Миша, идеалист, у тебя еще молоко на губах не обсохло.

– Самсон и Далила! – сказал иронически невысокий, гнусавый офицер с маленьким полупровалившимся носиком и высоко зачесанными редкими усами.

– Не Далила, а просто она его удавила.

Засмеялись.

Пристав, улыбающийся приятно и потиравший книзу свой красноватый, отвислый нос, вдруг подошел к нему, стал так, чтобы загородить его от офицеров своим туловищем в широком свисавшем сюртуке, – и заговорил сдушенным шепотом, бешено вращая глазами: 1740

– Стыдно-с!.. Штаны бы надели-с!.. Офицеры-с!.. Стыд-но-с... Герой тоже... С девкою связался, с стервой... Что товарищи твои скажут, а?.. У-х, ска-а-тина...

Напряженно вытянув голую шею, слушала его Люба. И так стояли они друг возле друга – три правды, три разные правды жизни: старый взяточник и пьяница, жаждавший героев, распутная женщина, в душу которой были уже заброшены семена подвига и самоотречения, – и он. После слов пристава он несколько побледнел и даже как будто хотел что-то сказать, но вместо того улыбнулся и вновь спокойно закачал волосатой ногой. 1750

Разошлись понемногу офицеры, городовые привыкли к обстановке, к двум полуголым людям, и стояли сонно, с тем отсутствием видимой мысли, какая делает похожими лица всех сторожей. И, положив руки на стол, задумался пристав глубоко и печально о том, что заснуть сегодня уже не придется, что надо идти в участок и при-

1760 нимать дела. И еще о чем-то, еще более печальном и скучном.

– Можно мне одеться? – спросила Люба.

– Нет.

– Мне холодно.

– Ничего, посидишь и так.

Пристав не глядел на нее. И, перегнувшись, вытянув тонкую шею, она что-то шепнула тому, нежно, одними губами. Он поднял вопросительно брови, и она повторила:

– Миленький! Миленький мой!..

Он кивнул головою и улыбнулся ласково. И то, что он улыбу-

1770 нулся ей ласково и, значит, ничего не забыл; и то, что он, такой гордый и хороший, был раздет и всеми презираем, и его грязные ноги – вдруг наполнили ее чувством нестерпимой любви и бешеного, слепого гнева. Взвизгнув, она бросилась на колени, на мокрый пол, и схватила руками холодные волосатые ноги.

– Оденься, миленький! – крикнула она исступленно. – Оденься!

– Любка, оставь! – оттащивал ее пристав. – Не стоит он этого!

Девушка вскочила на ноги.

– Молчи, старый подлец! Он лучше вас всех!

– Он скотина!

1780 – Это ты скотина!

– Что? – вдруг рассвирепел пристав. – Эй, Федосеенко, возьми ее. Да ружье-то поставь, болван!

– Миленький! да зачем же ты револьвер отдал! – вопила девушка, отбиваясь от городского. – Да зачем же ты бомбу не принес... Мы бы их... мы бы их... всех...

– Рот ей зажми!

Задыхаясь, уже молча, боролась отчаянно женщина и старалась укусить хватавшие ее жесткие пальцы. И растерянно, не зная, как бороться с женщинами, хватая ее то за волосы, то за обнажившуюся

1790 грудь, валил ее на пол белобрысый городской и отчаянно сопел. А в коридоре уже слышались многочисленные громкие, развязные голоса и звенели шпоры жандарма. И что-то говорил сладкий, задушевный, поющий баритон, точно приближался это оперный певец, точно теперь только начиналась серьезная, настоящая опера.

Пристав оправил сюртук.

*20 сентября 1907 г.*

## ИЗ РАССКАЗА, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ОКОНЧЕН

Измученный жуткой неопределенностью дня, я заснул одетый на постели, когда жена разбудила меня. В руке у нее колыхалась свеча, и среди ночи она показалась мне яркою, как солнце. А за свечою колыхался бледный подбородок и неподвижно темнели огромные, незнакомые глаза.

– Ты знаешь, – сказала она, – ты знаешь: на нашей улице строят баррикады.

Было тихо, и мы смотрели друг на друга прямо в незнакомые 10 глаза, и я чувствовал, как бледнеет мое лицо. Жизнь ушла куда-то – и снова вернулась с громким биением сердца. Было тихо, и пламя свечи колыхалось, и было оно маленькое, неяркое, но острое, как кривой меч.

– Ты боишься? – спросил я.

Бледный подбородок дрогнул, но глаза остались неподвижны и смотрели на меня не моргая, и только теперь я увидел, какие это незнакомые, какие это страшные глаза. Уже десять лет я смотрел в них и знал их лучше, чем свои, а теперь в них было новое, чего я не умею назвать. Гордость – назвал бы я это, но там было дру- 20 гое, новое, совсем новое. Я взял руку: холодная, она ответила мне крепким пожатием, и в нем было новое, чего я не знал. Так еще ни разу не пожимала она моей руки.

– Давно? – спросил я.

– Уже с час. И брат уже ушел. Он, вероятно, боялся, что ты не отпустишь его, и ушел потихоньку. Но я видела.

Значит, это – правда: оно пришло. Я встал и почему-то долго умывался, как утром, когда шел на работу, и жена светила мне. Потом мы потушили свечу и подошли к окну на улицу. Была весна, был май, и в открытое окно ворвался такой воздух, какого никогда 30 еще не было в старом огромном городе. Уже несколько дней стояли без работы фабрики и железные дороги, и свободный от угольного дыма воздух пропитался запахом поля и цветущих садов, быть может, росы. Я не знаю, что это пахнет так хорошо в весенние ночи, когда далеко-далеко уйдешь за город. И ни одного фонаря,

и ни одного экипажа, и ни одного городского звука над бесконечной каменной поверхностью, — если закрыть глаза, то, правда, можно подумать, что это деревня. Лает собака! — вот! Я еще ни разу не слышал, как лает в городе собака, и засмеялся от счастья.

40 — Послушай, — собака!..

Жена обняла меня и сказала:

— Они там на углу.

Мы перегнулись через подоконник и там в прозрачной темной глубине увидели какое-то движение. Не людей, а движение. Что-то ломали, что-то строили. Кто-то двигался, неуловимый, как тень. Вдруг застучало что-то: топор или молоток. Так звонко, весело — как в лесу, как на реке, когда чинят лодку или строят плотину. И, в предчувствии веселой, стройной работы, я крепко обнял жену, а она смотрела вверх домов, вверх крыш на молодой остророгий месяц, уже клонившийся к закату. Такой молоденький, такой смешной — как девушка, которая мечтает и боится сказать кому-нибудь о своих мечтах, и светит только для себя.

— Когда он станет полным...

— Не надо! Не надо! — перебила меня жена с непонятным мне испугом. — Не надо говорить о том, что будет. Зачем? Оно боится слов. Пойдем сюда.

В комнате было темно, и мы долго молчали, не видя друг друга, но думая об одном. И когда я заговорил, мне показалось, что это сказал кто-то другой: я не боялся, а у этого голос был  
60 хриплый, точно он задыхался от жажды.

— Так как же?..

— А они?

— Ты будешь с ними, для них довольно матери. И я не могу.

— А я могу?

Я знаю, она не тронулась с места, но я почувствовал ясно: она уходит, она далеко — она далеко. И так холодно стало, и я протянул руки, но она отстранила их.

— В сто лет раз бывает у людей праздник, и ты хочешь меня лишить его. За что? — сказала она.

70 — Но тебя могут убить. И дети наши погибнут.

— Жизнь будет милостива к ним. Но даже если и погибнут они...

И это говорила она, жена моя, женщина, с которой я жил десять лет! Еще вчера она не знала ничего другого, кроме детей, и полна была страха за них; еще вчера она с ужасом ловила грозные признаки грядущего, — что случилось с нею? Вчера, — но ведь я тоже забыл обо всем, что было вчера.

– Ты хочешь идти со мной?

– Не сердись! – Она думала, что я сержусь. – Не сердись! Сегодня, когда они там застучали и ты еще спал, я поняла, вдруг 80 поняла, что муж, дети, все это – так, все это – пока. Я люблю тебя, очень, – она нашла мою руку и пожала ее тем же новым, незнакомым мне пожатием, – но ты слышишь, они стучат? Они стучат, и как будто падают, падают какие-то стены – и так просторно, так широко, так вольно! Сейчас ночь, а мне кажется, что сияет солнце. Мне тридцать лет, и я уже старая, а мне кажется, что мне семнадцать лет, и я люблю кого-то первую любовью – такой огромною, такой безграничной любовью!

– Какая ночь! – сказал я. – Точно нет города. Правда, и я забыл, сколько мне лет. 90

– Они стучат, и это – как музыка, как пение, о котором я мечтала всю жизнь. И я не знала, кого я люблю такой безумной любовью, от которой хочется и плакать, и смеяться, и петь. Так просторно, так широко – не отнимай у меня счастья, дай мне умереть с теми, кто работает там и так смело зовет будущее, и в гробах будит погибшее прошлое.

– Времени нет.

– Ты говоришь?

– Времени нет. Кто ты? Я тебя не знал. Ты человек?

Она засмеялась так звонко, как будто ей было семнадцать лет. 100

– Да. Ведь и я этого не знала. И ты тоже человек? Как это странно и красиво: человек.

Давно уже было то, о чем я пишу, и те, кто спит сейчас тяжелым сном серой жизни и умирает, не проснувшись, – те не поверят мне: в те дни не было времени. Солнце всходило и заходило, и стрелка двигалась по кругу, а времени не было. И много другого чудесного и великого произошло в те дни, и не поверят мне те, кто спит сейчас тяжелым сном серой жизни и умирает, не проснувшись.

– Нужно идти, – сказал я. 110

– погоди, я покормлю тебя. Ведь ты сегодня ничего не ел. И ты видишь, как я благоразумна: я пойду завтра. Отдам детей и найду тебя.

– Товарищ, – сказал я.

– Да, товарищ.

В открытые окна лился воздух полей, и тишина, и изредка звонкий, веселый стук топора, а я сидел за столом и смотрел и слушал, и так загадочно ново было все, что хотелось смеяться. Я смотрел на стены, и они казались мне прозрачными. Точно всю

120 вечность обнимая одним взглядом, я видел, как разрушатся они, и только один я был всегда и всегда буду. Все пройдет – а я буду. И все казалось мне странным и смешным – таким ненастоящим: и стол, и кушанье, и все, что вне меня. Прозрачным и легким, существующим только нарочно, только пока.

– Почему же ты не ешь? – спросила жена.

Я улынулся:

– Хлеб – это так странно.

Она взглянула на хлеб, на черствый, сухой кусок хлеба, и почему-то лицо ее сделалось грустным. Все продолжая смотреть на него, она тихо поправляла руками передник, и голова ее немного, совсем немного повернулась в ту сторону, где спали дети.

– Тебе жаль их? – спросил я.

Она покачала головой, не отводя глаз от хлеба.

– Нет. Но я подумала о том, что было в жизни, – раньше было. Как это непонятно! И все, – она, удивляясь, как проснувшаяся после долгого сна, обвела глазами комнату, – и все так непонятно. Здесь мы жили.

– Ты была моей женой.

– А там наши дети.

140 – Здесь за стеною умер твой отец.

– Да. Умер. Умер, не проснувшись.

Заплакала, чего-то испугавшись во сне, самая маленькая. И так странен показался этот простой детский крик, настойчиво требовавший своего, – среди этих призрачных стен, когда там, внизу, строили баррикады.

.. Она плакала и требовала своего – ласки, каких-то смешных слов и обещаний, которые ее успокаивают. И быстро успокоилась.

– Ну иди! – шепотом сказала жена.

– Мне бы хотелось поцеловать их.

150 – Боюсь, разбудишь.

– Нет, ничего.

Оказалось, старший не спал, слышал все и все понимал. Ему было всего девять лет, но он все понял – таким глубоким и строгим взглядом встретил он меня.

– Ты возьмешь ружье? – спросил он задумчиво и серьезно.

– Да, возьму.

– Оно под печкой?

– А ты откуда знаешь? Ну, поцелуй меня. Ты будешь меня помнить?

160 Он вскочил на постели в своей коротенькой рубашонке, весь горячий со сна, и крепко обнял мою шею. И руки у него были

горячие и такие мягкие и нежные. Я поднял волоса у него на затылке и поцеловал горячую тонкую шейку.

– Тебя убьют? – прошептал он в самое ухо.

– Нет. Я вернусь.

Но почему он не плакал? Он плакал иногда, если я просто уходил из дому, – разве и его коснулось это? Кто знает – так много чудесного произошло в те великие дни!

Я взглянул на стены, на хлеб, на свечу, пламя которой все колыхалось, и взял жену за руку.

170

– Ну, до свидания.

– Да – до свидания.

И только, и я ушел. На лестнице было темно и пахло какой-то старой грязью; и, охваченный со всех сторон камнями и тьмою, ощупью находя ступеньки, я почувствовал новое, неведомое и радостное, куда я иду, – огромным, радостным, всенаполняющим чувством.

*1907 г.*

## ВЕЛИКАН

– ...Вот пришел великан, большой, большой великан. Такой большой, большой. Вот пришел он, пришел. Такой смешной великан. Руки у него толстые, огромные, и пальцы растопырены, и ноги тоже огромные, толстые, как деревья, такие толстые. Вот пришел он... и упал! Понимаешь, взял и упал! Зацепился ногой за ступеньку и упал! Такой глупый великан, такой смешной – зацепился и упал! Рот раскрыл – и лежит себе, и лежит себе, такой смешной, как трубочист. Ты зачем пришел сюда, великан? Ступай, ступай отсюда, великан! Додик такой милый, такой славный, славный; он так тихонько прижался к своей маме, к ее сердцу – к ее сердцу – такой милый, такой славный. У него такие хорошие глазки, милые глазки, ясные, чистые, и все так его любят. И носик у него такой хороший, и губки, и он не шалит. Это прежде он шалил – бегал – кричал – ездил на лошадке. Ты знаешь, великан, у Додика есть лошадка, хорошая лошадка, большая, с хвостом, и Додик садится на нее и ездит, далеко-далеко на речку ездит, в лес ездит. А в речке рыбки, ты знаешь, великан, какие бывают рыбки? Нет, ты не знаешь, великан, ты глупый, а Додик знает: 20 такие маленькие, хорошенькие рыбки. Солнышко светит в воду, а они играют, такие маленькие, хорошенькие, такие быстрые. Да, глупый великан, а ты не знаешь.

– Какой смешной великан! Пришел и упал! Вот смешной! Шел по лестнице – раз-раз, зацепился за порожек и упал. Такой глупый великан! А ты не ходи к нам, великан, тебя никто не звал, глупый великан. Это прежде Додик шалил и бегал – а теперь он такой славный, такой милый, и мама так нежно-нежно его любит. Так любит – больше всех любит, больше себя, больше жизни. Он ее солнышко, он ее счастье, он ее радость. Вот теперь он ма- 30 ленький, совсем маленький, и жизнь его маленькая, а потом он вырастет большой, как великан, у него будет большая борода и усы большие, большие, и жизнь у него будет большая, светлая, прекрасная. Он будет добрый, и умный, и сильный, как великан, такой сильный, такой умный, и все будут его любить, и все будут



смотреть на него и радоваться. Будет в его жизни горе, у всех людей есть горе, но будут и большие, светлые как солнце радости. Вот войдет он в мир, красивый и умный, и небо голубое будет сиять над его головой, и птицы будут петь ему свои песенки, и вода будет ласково журчать. И он взглянет и скажет: “Как хорошо на свете, как хорошо на свете...” 40

– Вот... Вот... Вот... Этого не может быть. Я крепко, я нежно, нежно держу тебя, мой мальчик. Тебе не страшно, что тут так темно? Посмотри, вон в окнах свет. Это фонарь на улице, стоит себе и светит, такой смешной. И сюда осветил немного, такой милый фонарь. Сказал себе: “Дай и туда посвечу немножко, а то у них так темно – так темно”. Такой длинный смешной фонарь. И завтра будет светить – завтра. Боже мой, завтра!

– Да, да, да. Великан. Конечно, конечно. Такой большой, большой великан. Больше фонаря, больше колокольни, и такой смешной: пришел и упал! Ах, глупый великан, как же ты не заметил ступеньки! “Я вверх смотрел, мне внизу не видно, – говорит великан, и басом, понимаешь, таким толстым, толстым голосом. – Я вверх смотрел!” – А ты вниз лучше смотри, глупый великан, тогда и будешь видеть. Вот Додик мой милый, милый и такой умный, он вырастет еще больше, чем ты. И так будет шагать – прямо через город, прямо через леса и горы. Он такой будет сильный и смелый, он ничего не будет бояться – ничего. Подошел к речке – и перешагнул. Все смотрят, рты разинули, такие смешные, – а он взял и перешагнул. И жизнь у него будет такая большая, и светлая, и прекрасная, и солнышко будет сиять, милое родное солнышко. 50 Выйдет себе утречком и светит, такое милое... Боже мой!

– Вот... Вот пришел великан – и упал. Такой смешной – смешной – смешной же!

Так глубокою ночью говорила мать над умирающим ребенком. Носила его по темной комнате и говорила, и фонарь светил в окно, – а в соседней комнате слушал ее слова отец и плакал.





*Л.Н. Андреев.  
Фотография Ауры Хертвиг. Берлин, 1906 г.*



13. 0. Зачем вы так долго ждете? ~~Сколько же вы ждете?~~ ~~Сколько же вы ждете?~~

9 а. Почему? ~~Почему?~~ ~~Почему?~~ ~~Почему?~~

10- И почему вы так долго ждете? ~~Почему же вы так долго ждете?~~

13. В чем вы сомневаетесь? ~~В чем вы сомневаетесь?~~ ~~В чем вы сомневаетесь?~~ ~~В чем вы сомневаетесь?~~

12- Почему же вы так долго ждете?

15- ~~Почему же вы так долго ждете?~~ ~~Почему же вы так долго ждете?~~ ~~Почему же вы так долго ждете?~~

20. Почему же вы так долго ждете? ~~Почему же вы так долго ждете?~~ ~~Почему же вы так долго ждете?~~

22 V. Почему же вы так долго ждете?

93. Почему же вы так долго ждете?

- ~~Почему же вы так долго ждете?~~ ~~Почему же вы так долго ждете?~~ ~~Почему же вы так долго ждете?~~

26. ~~Почему же вы так долго ждете?~~ ~~Почему же вы так долго ждете?~~ ~~Почему же вы так долго ждете?~~

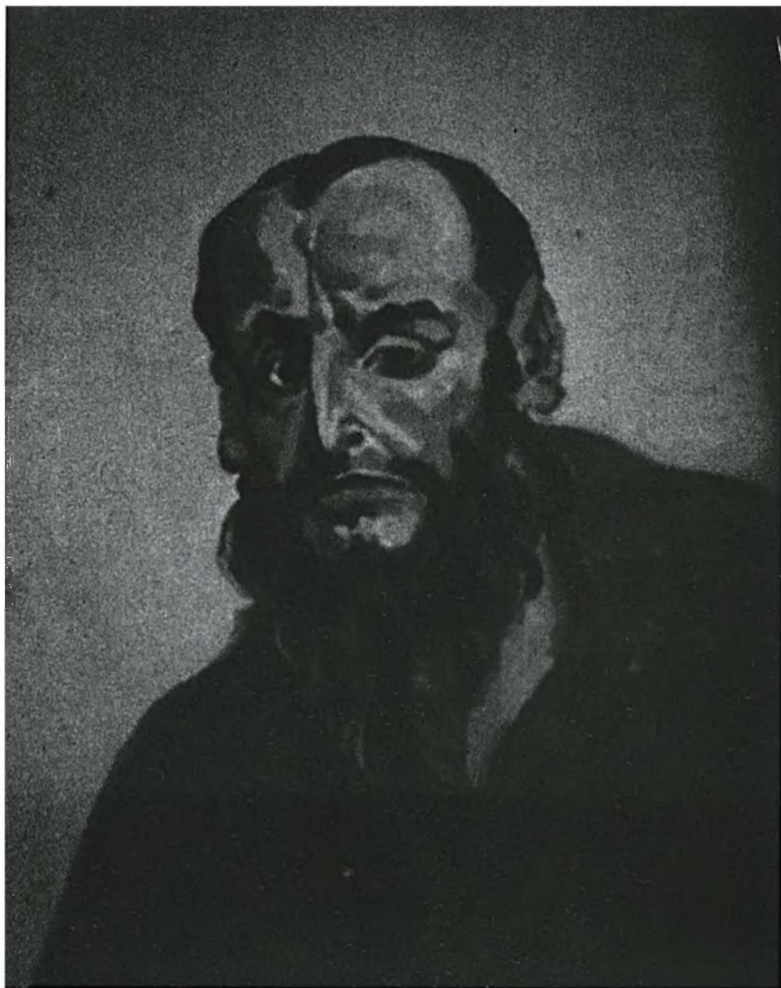
Список замечаний М. Горького к ранней редакции повести "Иуда Искариот".  
Гуверовский институт (Стэнфордский университет, США)



*Александра Михайловна Андреева  
(урожд. Велигорская), первая жена Л.Н. Андреева.  
1901 г.*



*Л.Н. Андреев.  
Лозанна (?), 1906 г.*



*〈Иуда〉.*

*Автохром с картины маслом работы Л.Н. Андреева  
(Русский архив в Лидсе).*

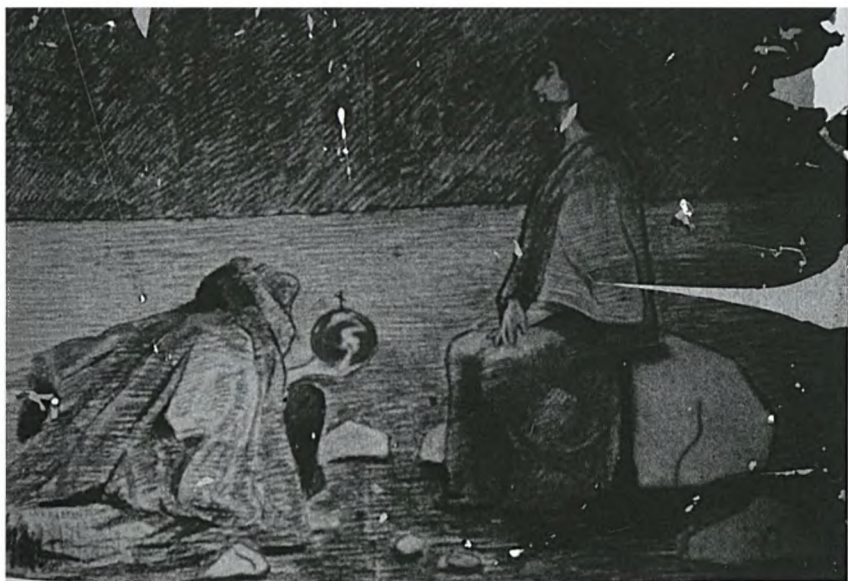
*Начало 1910-х годов.*

*Местонахождение подлинника неизвестно*





*Без названия.  
Автохром с картины пастелью (?) работы Л.Н. Андреева  
(Русский архив в Лидсе). Начало 1910-х годов.  
Местонахождение подлинника неизвестно*



*Без названия.  
Автохром с картины пастелью (?) работы Л.Н. Андреева  
(Русский архив в Лидсе). Начало 1910-х годов.  
Местонахождение подлинника неизвестно*



√ Освободить - 75 - !

ка и тратить ее на диспуты съ баранами я не намеренъ. Огнемъ ихъ надо! Огнемъ! Пусть надолго запомнятъ день, когда пришелъ на земля Савва Тропининъ!

ЛИПА. Но чего ты хочешь? Чего ты хочешь?

САВВА. Чего хочу? Освободить землю! Освободить человека и уничтожить всю эту двуногую, болтающую тварь! Онъ теперешній, умный, онъ уже готовъ для свободы, но прошлое ёсть его душу, какъ короста, замккаетъ его жизнь въ желѣзный кругъ совершившагося, фактовъ. Факты я хочу уничтожить, факты!

*Словить торжеству, въ которую заиратами идеи, и дать имъ крылья, и открыть имъ ковчи, великий нектарный пророкъ. Въ огни и зрѣши прейти когъ я широчную грань!*

Липа (закрываетъ рукой глаза). Слѣшь страшно. Слѣшь страшно. Я вижу все въ огни....

САВВА. Ты думаешь, я не знаю, что каждый изъ этихъ глупцовъ радъ бы убить меня? Но этого не будетъ, нѣтъ. Настало мнѣ время придти и я пришелъ и вотъ стою я среди васъ. Будьте готовы! Время настало! Ничтожная! ты думала, что воровски отнявши у меня одну маленькую возможность, ты ограбила меня всего? Нѣтъ. Я все также богатъ.

Липа (съ закрытыми глазами) *Небѣ убито. Этого не слюжетъ бить, тебе тебя не убили! Небѣ убито.*

Савва *Иду и твоей убито. Не довелъ такъ извѣство, что вондутъ надъ тобой - невиданная еще чѣмъто послѣдней мести! Я только посланникъ, посланникъ отъ меня (офицера) баясь какъ подѣ страшной тѣнью посланникъ отъ меня*

"Савва".

Машинопись с правкой рукой А.М. Андреевой.  
Институт русской литературы (Пушкинский Дом), С.-Петербург





# „ЖИЗНЬ ЧЕЛО- ВЪКА“ Л.АНДРЕЕВА



В. Е. Егоровъ...  
 Изобразилъ...  
 Какъ...  
 1908 г.

## МУЗЬКА И.С - Ъ

### НА СЦЕНЬ МОСКОВСКАГО ХУДО- ЖЕСТВЕННАГО ТЕА- ТРА 3-Й АКМ.

Совѣтвенность С.Т.  
СКЛАДЪ

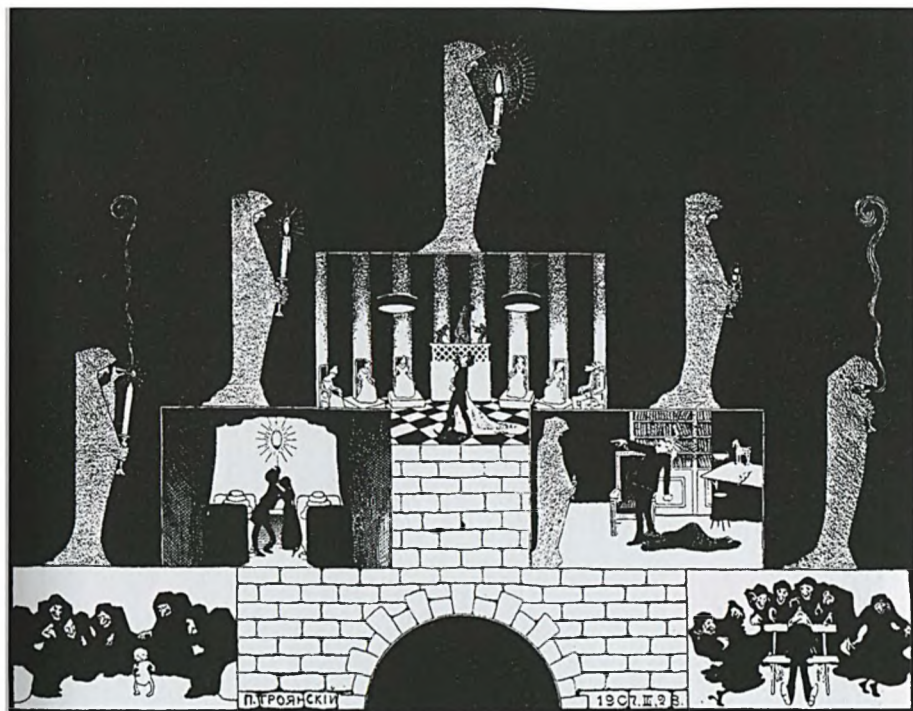
цѣна 60к.

А.ЗЕЙВАНГЪ

Москва, Кузнечій мостъ д. Бр. ДЖАМГАРОВУХЪ.

Дат. Вѣрса, Москва.

Обложка издания музыки И.А. Саца (М., 1908)  
 к "Жизни Человека" Л.Н. Андреева  
 с дарственной надписью неустановленного лица.  
 Художник В.Е. Егоров. Русский архив в Лидсе (Великобритания)



*“Жизнь Человека”.*

*Мистико-карикатурное представление.*

*Художник П. Н. Троянский (Театр и искусство, 1907, 1 апр. (№ 13). С. 221)*



*“Некто в сером”.*  
*Картина работы Л.Н. Андреева. Пастель.*  
*Начало 1910-х годов.*  
*Русский архив в Лидсе (Великобритания)*





*Л.Н. Андреев в образе Некто в сером.  
Фотография начала 1910-х годов.  
Русский архив в Лидсе (Великобритания)*



# Пьесы



# САВВА

## Ignis Sanat\*

### ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

#### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Егор Иванович Тропинин, содержатель трактира в монастырском посаде. Старик лет под шестьдесят; держится важно, говорит внушительно и строго.

Антон (Тюха). Лет 35–38, грузный, одутловатый, с одышкой. Лицо бескровное, мрачное, сонное, с редкой растительностью. Говорит медленно и трудно; никогда не смеется.

Олимпиада. 28 лет. Довольно красивая, белая; есть что-то монастырское в одежде.

Савва. 24 лет. Большой, широкоплечий, немного мужиковатый. Ходит слегка сгорбившись, плечом вперед, носки внутрь. Жесты рук округленные, красивые, ладонью вверх – точно держит что-то. Черты лица крупные, рубленые; вместо бороды и усов – мягкий светлый пушок. Когда волнуется или сердится, становится весь серый как пыль; движения делаются легкие, быстрые, сутулость исчезает, – точно распахивается весь. Одет в блузу и сапоги, как рабочий.

Пелагея, жена Тюхи, веснушчатая, бесцветная женщина лет 30. Одета по-мещански, грязно, неряшливо.

Сперанский Григорий Петрович, бывший семинарист. Высокого роста, очень худой, лицо продолговатое, бледное, с пучком черных волос на подбородке. Длинные гладкие волосы, двумя прядями свисающие вдоль лица. Одет или в длинное черное пальто, или в такой же сюртук.

Кондратий. Послушник, 42 лет, невзрачный, узкогрудый человек с подпухшими живыми глазками.

Молодой послушник Вася. Крепкий, сильный юноша, лет 20. Круглое, веселое, улыбающееся лицо, волнистые светлые волосы.

\*Огонь исцеляет (лат.).

Царь Ирод. Лет 50. Странник. Лицо сухое, изможденное, черное от загара и придорожной пыли; косматые седые волосы, такая же борода, что придает ему дикий вид. Одна только рука, левая; другая по плечо отрезана. Росту высокого, как и Савва.

40 Толстый монах.

Седой монах.

Человек в чуйке.

Монахи, богомольцы, странники, калеки и убогие, слепцы, уроды.

Действие происходит в начале XX столетия в богатом монастыре, известном чудотворною иконою Спасителя. Между первым и последним актами проходит около двух недель.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Внутренность мещанского жилища в монастырском посаде. Две комнаты, третья в перспективе. Все кривое, старое, загаженное. Первая комната – нечто вроде столовой, большая, грязная, с низким потолком, с дешевыми запятнанными обоями, кое-где отставшими от стен. Три маленькие окна выходят во двор; видны навесы, телега, какая-то рухлядь. Деревянная дешевая мебель, большой непокрытый стол, на стенах засиженные мухами виды монастыря и портреты монахов. Вторая комната для гостей, почище; на окнах кисейные занавески, два горшка с засохшей геранью; диван, круглый стол со скатертью, горка с посудой. Из первой комнаты дверь налево ведет в трактир; когда дверь открывается, из трактира доносится чье-то заунывное, монотонное пение. Летний жаркий полдень, тишина; изредка под окном прокудахчет курица; через каждые полчаса на монастырской колокольне бьют часы; перед тем как ударить, они долго и непонятно вызванивают что-то. Пелагея, беременная, моет полы.

*Пелагея (у нее кружится голова; шатаясь, она опирается на стену и так стоит некоторое время, бессмысленно глядя перед собой). Ох, Господи! (Моем.)*

*Липа (входит, изнемогая от жары). Духота какая! Не знаю, куда деваться. Голова как дурманом налита. (Садится.) Поля, а Поля?*

*Пелагея. Что?*

*Липа. Поля, а папаша где?*

*Пелагея. Спит.*

*Липа. Ох, не могу! (Открывает окна, потом, бесцельно пройдясь 70 по комнате, заглядывает в трактир.) Тюха тоже за стойкой спит. Искушаться бы пойти, да жарко, не дойдешь до реки. Поля, ты хоть бы сказала что-нибудь.*

*Пелагея. Что?*

*Липа. Все моешь?*

*Пелагея. Мою.*

*Липа. А через день опять грязные будут. Охота тебе!*

*Пелагея. Надо.*

*Липа. Посмотрела я сейчас на улицу, так даже жутко: ни человека, ни собаки. Точно умерло все... И монастырь такой 80 странный: как будто он висит в воздухе. Дунуть на него, и он заколышется и улетит. Что же ты молчишь, Поля? А Савва где? Не видала?*

*Пелагея. На выгоне с ребятами в ладыжки играет.*

*Липа. Какой смешной!*

*Пелагея. Что же тут смешного? Ему работать надо, а он игры играет, как маленький. Не люблю я вашего Савки!*

*Липа (лениво). Нет, он хороший.*

*Пелагея. Да! Пожаловалась я ему, как хорошему, что трудно мне, а он говорит: что ж, хочешь быть лошадью, так вези. Зачем 90 только приходил сюда? Где был, там бы и оставался.*

Л и п а. Родных повидать. Десять лет, Поля, не видал, как хочешь. Ведь он еще мальчиком ушел отсюда.

П е л а г е я. Очень ему нужны родные! То-то Егор Иванович не знает, как от него отделаться. Соседи и те удивляются: одет как рабочий, а держится по-господски. Ни с кем не хочет говорить, а только ворочает глазами, как идол. Я глаз его боюсь.

Л и п а. Какие пустяки! У него красивые глаза.

П е л а г е я. Разве он не видит, как мне трудно: одна на весь дом работаю. А он что? Давеча волоку я кадку, надрываюсь, а он прошел мимо, “здравствуй” не сказал. Много я людей перевидала, а ни один не был мне так противен.

Л и п а. У меня от жары круги перед глазами. А ты если не хочешь, Поля, так и не работай – никто тебя не заставляет.

П е л а г е я. А если не я, так кто же будет работать? Не ты ли?

Л и п а. И я не стану. Работницу найдем.

П е л а г е я. То-то денег у вас много.

Л и п а. А на что их беречь?

П е л а г е я. Вот умру я скоро, тогда и нанимайте. Моего веку немного осталось. Скинула одного ребенка, а на другом и сама Богу душу отдам. Что же! Лучше, чем такая жизнь. Ох! *(Хватается за поясницу.)*

Л и п а. Да кто же заставляет тебя? Господи! Ну брось, не мой.

П е л а г е я. Да, брось. А потом сами будете говорить, отчего грязно.

Л и п а *(маясь от жары и от речей Пелагеи)*. Господи, тоска какая!

П е л а г е я. А мне не тоска? Ты что, ты ведь барыня. У тебя одно дело: Богу молиться да книжки читать. А мне и помолиться некогда: так с подоткнутым подолом на тот свет и вляпаюсь, – здравствуйте!

Л и п а. Ты и на том свете полы будешь мыть.

П е л а г е я. Нет, это ты будешь там полы мыть, а я буду барыней сидеть. На том свете мы первые будем. А тебя и твоего Савку за гордость и жестокосердие твое...

Л и п а. Ах, Поля! Да разве же я тебя не жалею?

Е г о р И в а н о в и ч *(входит; сильно заспанный, борода на сторону, ворот рубахи расстегнут, дышит тяжело)*. Фу-ты... Полька, принеси-ка квасу. Поживее!

Е г о р И в а н о в и ч. Кто окна открыл?

Л и п а. Я.

Е г о р И в а н о в и ч. А зачем?



Л и п а. Жарко. Тут от печки от трактирной продохнуть нельзя.

Егор Иванович. Ну и закрой. Закрой, говорю! А если жарко, так на погреб ступай.

Л и п а. Да зачем это?

Егор Иванович. А затем! Ну закрывай, закрывай. Сказано, чего ждешь?

140

Липа, пожимая плечами, закрывает; хочет уходить.

Егор Иванович. Куда? Как отец пришел, так бежать. Посиди.

Л и п а. Да ведь я вам не нужна.

Егор Иванович. Нужна – не нужна, а посиди. Не умрешь. Ох, Господи! *(Зевает и крестится.)* А Савка где?

Л и п а. Не знаю.

Егор Иванович. Скажи ему, выгоню его.

Л и п а. Сами скажите.

Егор Иванович. Дура! *(Зевает и крестится.)* Господи Иисусе Христе, помилуй нас, грешных. Что это я нынче во сне видел?

Л и п а. Не знаю.

Егор Иванович. Тебя и не спрашивают. Дура, как же ты можешь знать, что я во сне видел, а? Вот голова!

Пелагея *(подает квас)*. Натe!

Егор Иванович. Натe! Поставь, а не нате. *(Берет кружку и пьет.)* О чем я говорил-то?

Пелагея домывает полы. Липа смотрит в окно.

Егор Иванович. Да, отец игумен... Ловкий человек, поискать таких. Новый гроб на место старого поставил. Старый-то весь богомольцы изгрызли, так он новый поставил. Новый поставил, да. На место старого. И этот изгрызут, дураки. Им что ни поставь. Дураки! Ты слышишь или нет?

Л и п а. Слышу. Что же тут хорошего? Обман, больше ничего.

Егор Иванович. А то и хорошего, что у тебя не спросился. Старый-то весь изгрызли, так он новый поставил, такой же. Да, как раз такой, в каком преподобный лежал, помяни ты нас во царствии твоём небесном. *(Крестится и зевает.)* И зубы от него тоже проходят. Старый-то они весь изгрызли. Куда? Посиди.

Л и п а. Я не могу, тут так жарко...

170

Егор Иванович. А я могу? Посиди, не растаешь.

Пауза.

Старый-то они сгрызли, так он новый поставил. А Савка где?

Пелагея. С ребятами в ладыжки играет.

Егор Иванович. Тебя не спрашивают. Который час?

Пелагея. Два пробило.

Егор Иванович. Ты ему скажи, что я его выгоню. Я этого не потерплю.

Липа. Да чего? Вы скажите толком.

180 Егор Иванович. Того. Кто он такой? Как обедать, так его и нету, а потом придет и жрет один, как собака. По ночам шатается, калитку не запирает. Вчера выхожу, а калитка настезь. Обокрадут, кто тогда отвечать будет?

Липа. Ну, какие у нас воры?

Егор Иванович. Такие, всякие. Люди спят, а он шатается: где это видано?

Липа. Да если ему спать не хочется, Господи!

Егор Иванович. Ну ты тоже. Не хочется, так полежи: заснешь. Никому спать не хочется, а как полежал, так и заснул. Не 190 хочется! Знаю я его. Пришел – кто звал? Делал там бумажки, так и делал бы, а сюда чего?

Липа. Какие еще бумажки?

Егор Иванович. Какие? Не настоящие же: за настоящие ничего не бывает. Фальшивые, вот какие. За это, брат, по головке не погладят, теперь строго. А я возьму – становому приставу и скажу: так и так, пощупайте-ка его.

Липа. Какие глупости!

Пелагея. Это ты одна не знаешь, все знают.

Липа. О Господи!

200 Егор Иванович. Ну, Бога-то мы знаем получше твоего, нечего взывать. А ты ему скажи. Я его не боюсь, не на таковского напал. Возьму и выгоню: ступай откуда пришел. Ты грабить будешь, а я за тебя отвечать, где это видано?

Липа. Вы еще не проснулись как следует, папаша.

Егор Иванович. Я-то проснулся давно, а ты-то вот проснулась ли. Смотри, Олимпиада, не было бы тебе того же.

Липа. Чего?

Егор Иванович. Того... *(Зевает и крестится.)* Поднялась бы из гроба покойница, посмотрела бы – то-то бы похвалила: хороши 210 детки! Вскормил я вас, взлелеял, а вышли настоящие прохвосты. Тюха вот скоро тоже запьет, по харе вижу. Где это видано? Скоро на праздник народ попрет, а я один за всех работай. Полька, подыми спичку, вон. Да не там, дура слепая! Вот, дура!

Пелагея *(ищет)*. Да не вижу я.

Егор Иванович. Вот огрею я тебя по затылку, так сразу увидишь. Да вот она, черт!

Липа (*в изнеможении*). Господи, жарница какая!  
Егор Иванович. Да вот она! Куда лезешь? Под стулом.  
Вот, анафема!

Входит Савва, очень веселый, в подоле ладыжки.

220

Савва. Шесть пар с лашкой выиграл!  
Егор Иванович. Скажите пожалуйста.  
Савва. Мишку, подлеца, насилу доконал. Ты что бурчишь там?  
Егор Иванович. Ничего. Только бы лучше ты мне “вы” говорил.

Савва (*не обращая на него внимания*). Липа, я шесть пар выиграл.

Липа. Как ты можешь в такую жару!..

Савва. Погоди, я сейчас ладыжки отнесу. Теперь у меня во- семнадцать пар. Ну и подлец Мишка: здорово играет.

Уходит.

Егор Иванович (*поднимается*). Больше я не желаю его видеть. А ты ему скажи.

Липа. Хорошо, скажу.

Егор Иванович. Ты – не “хорошо”, а делай, что тебе отец приказывает. Народил прохвостов, нечего сказать. (*Уходит.*) То-то бы покойница поглядела!..

Пелагея. Тоже о покойнице вспоминает, а кто ее в гроб вогнал? До смерти заговорил, зуда проклятая. Говорит-говорит, зудит-зудит, а чего ему надо – и сам не знает.

Липа. Да тут с вами... точно в железные обручи завинчивают голову.

Пелагея. Так и уходила бы со своим Савкой, чего ждешь?

Липа. Вот ты. За что ты на меня злишься?

Пелагея. Я не злюсь; я правду говорю. Замуж не хочешь, женихами брезгуешь, так шла бы в монастырь.

Липа. В монастырь я не пойду, а уйти, должно быть, скоро уйду.

Пелагея. Ну и уходи: скатертью дорога.

250

Липа. Ах, Поля, ты вот все сердисься, злишься, а не знаешь ты, о чем я по ночам думаю. Лежу и думаю. И о тебе, Поля, думаю, и обо всех несчастных, обо всех.

Пелагея. Обо мне нечего думать, о себе лучше думай.

Липа. И никто об этом не знает... Ну да что говорить: ты все равно не поймешь. Мне жаль тебя, Поля!

Пелагея смеется.

Что ты?

Пелагея. А жаль, так вот возьми-ка ведро вынеси. Я брюхата, мне тяжелое подымать не годится, так потрудись ты за меня, Христа ради.

Липа (*хмурится, потом лицо ее проясняется, и с улыбкой она берет ведро*). Давай. (*Хочет нести.*)

Пелагея (*со злостью*). Фокусница! Пусти, куда тебе. (*Уносит ведро, потом возвращается за тряпками.*)

Входит Савва.

Савва (*сестре*). Ты что это такая красная?

Липа. Жарко.

Пелагея смеется.

270 Савва. Послушай, Пелагея, Кондратий меня не спрашивал?

Пелагея. Какой еще Кондратий?

Савва. Отец Кондратий, послушник; так, вроде воробья.

Пелагея. Никакого Кондратия я не видала. Воробей! Тоже скажут!..

Савва. Позови-ка сюда Тюху.

Пелагея. Сам позови.

Савва. Ну!

Пелагея (*сперва кричит в дверь, потом идет в трактир*). Антон Егорыч, вас зовут!

280 Липа. Зачем он тебе?

Савва. Что у вас здесь у всех за привычка спрашивать: куда, кто, зачем, почему?

Липа (*немного обиженно*). Не хочешь, так не говори.

Тюха (*входит, говорит медленно и трудно*). Ну, кто там зовет?

Савва. Я. Придет сюда послушник Кондратий – знаешь? – так пошли его сюда.

Тюха. А ты кто такой?

Савва. И водки пришли полбутылки, слышишь?

Тюха. Может, слышу, а может, и нет. Может, пришлю водки,

290 а может, и нет. Кто знает?

Савва. Какой скептик! Ты одурел, Тюха?

Липа. Оставь его, Савва. Это он у семинариста, у Сперанского, научился. У него и так в голове...

Тюха (*садится*). Меня никто не учил, я сам все понимаю. У меня кровь в сердце запеклась.

Савва. Это у тебя от пьянства, Тюха. Брось пить.

Тюха. У меня кровь в сердце запеклась. Ты думаешь, я не понимаю, почему это такое? Вдруг не было тебя, и вдруг пришел. Нет, я все понимаю. У меня видения бывают.

С а в в а. Что же ты видишь? Бога?

Т ю х а. Никакого Бога нет.

С а в в а. Вот как!

Т ю х а. И дьявола нет. Ничего нет. И людей тоже нет. И зверей тоже нет. Ничего нет.

С а в в а. Что же есть?

Т ю х а. Рожи одни есть. Множество рож. Все рожи, рожи, рожи. Очень смешные рожи, я всегда смеюсь. Я сижу, а они мимо меня так и скачут, так и плывут. У тебя тоже, Савка, очень смешная рожа. *(Мрачно.)* Можно умереть со смеху!

С а в в а *(весело смеется)*. Ну-у? Какая же у меня рожа? 310

Т ю х а. Такая... *(Тычет пальцем.)* И у нее рожа, и у нее рожа. И у папаши тоже рожа. И, кроме того, другие рожи. Множество рож. Я в трактире сижу и все вижу; меня нельзя обмануть. Какая рожа большая, какая маленькая, и все они так и плавают, так и плавают. Какие далеко, какие совсем близко, как будто хочет поцеловать или за нос укусить. У них зубы.

С а в в а. Ну ладно, Тюха, ступай; потом о рожах поговорим. У тебя у самого очень занятная рожа.

Т ю х а. Ну да, а то как же? И у меня рожа.

С а в в а. Ладно, ладно. Ступай, да водки тогда пришли, не забудь. 320

Т ю х а. Какие днем, какие ночью... Множество рож. *(С порога.)* А водки, может, пришлю, а может, и нет. Не знаю еще.

С а в в а *(Липе)*. Давно он такой?

Л и п а. Не знаю, давно уже, кажется. Он сильно пьет.

П е л а г е я. С вами нехотя запьешь. *(Уходит.)* Идолы!

Л и п а. Жара какая... куда деваться, не знаю. Савва, отчего ты так плохо относишься к Поле? Она такая несчастная, жалкая.

С а в в а. Рабья душа, кривая. Она на трехногий стул похожа. 330

Л и п а. Она не виновата, что она такая.

С а в в а *(равнодушно)*. Да и я не виноват.

Л и п а. Ах, Савва, если бы ты знал, какая у нас здесь ужасная жизнь. Мужчины пьянствуют, бьют жен, а жены...

С а в в а. Знаю.

Л и п а. Как ты равнодушно говоришь это. А мне так хотелось поговорить с тобою...

С а в в а. Что же, говори.

Л и п а. Ты скоро, вероятно, опять уйдешь отсюда?

С а в в а. Да, скоро.

Л и п а. Ну вот... так, пожалуй, и не удастся поговорить. Дома ты бываешь редко... Сегодня чуть ли не в первый раз... Да, Савва, – и охота же тебе играть с ребятами, со стороны смешно смотреть. Такой ты большой, как медведь...

С а в в а (*весело*). Нет, Липа, они хорошо играют. Мишка – хорошо, и мне с ним трудно справиться. Вчера я ему три пары проиграл.

Л и п а. Да ведь ему десять лет!

С а в в а. Ну так что же? Да и народу здесь нет, кроме них.  
350 Самый умный народ.

Л и п а (*с улыбкой*). А я?

С а в в а (*смотрит на нее*). А ты? Что же, и ты – как другие.

Пауза. Липа обижена, и вялость ее несколько исчезает.

Л и п а. Может, тебе скучно со мной?

С а в в а. Нет, все равно. Я никогда не скучаю.

Л и п а (*принужденно смеется*). Что же, и на том спасибо. Ты был сегодня в монастыре? Ты туда часто, кажется, ходишь?

С а в в а. Был, а что?

Л и п а. Ты, вероятно, совсем его не помнишь? А я так его  
360 люблю. Он у нас такой красивый, такой задумчивый иногда. Мне нравится, что он такой старый: от этого в нем есть какая-то важность, строгое спокойствие, отчужденность...

С а в в а. Ты много книг читаешь?

Л и п а (*краснея*). Прежде много читала... Я ведь четыре зимы в Москве жила, у тети Глаши. Ты почему спрашиваешь?

С а в в а. Так... продолжай.

Л и п а. Тебе смешно, что я так говорю?

С а в в а. Нет, ничего... говори.

Л и п а. Но ведь монастырь, правда, такой удивительный. Там,  
370 знаешь, есть хорошие уголки, где никто не бывает, – так, где-нибудь между глухими стенами, где только трава да упавший кирпич, да какой-то старый-старый сор. Я люблю бывать там, особенно в сумерки или вот в такой жаркий, сонный день. Стоишь закрывши глаза, и кажется, что видишь что-то далекое-далекое. Тех, кто первые его строили, кто первые в нем молились. Вот идут они по мосткам, несут кирпичи и что-то поют – так тихо, далеко. (*Закрывает глаза*.) Так тихо, тихо...

С а в в а. Я не люблю старого. И строили его, конечно, крепостные, и когда таскали кирпичи, то не пели, а ругались. И кто-  
380 нибудь как раз на этом месте сломал себе шею. Так будет вернее.

Л и п а (*открывая глаза*). А у меня такие мечты... Я ведь здесь одна, Савва... мне и поговорить не с кем. Послушай, ты не будешь

сердиться? Скажи мне, мне одной, зачем ты пришел сюда к нам? Ведь не молиться же, не на праздник: ты не похож на богомольца.

Савва (*хмуро*). Что это, любопытство? Не люблю я этого.

Липа. Как ты можешь думать это? Разве я похожа на любопытную? Ведь две недели ты видишь меня и должен понимать, что я одинока здесь. Одинока, Савва. И тебе я рада как манне небесной: ведь ты первый живой человек оттуда, из настоящей жизни. В Москве я жила так тихо, только книги читала, а тут... Ты 390 видел наших, какие они.

Савва. А в других местах, ты думаешь, лучше?

Липа. Не знаю. Вот я и хочу узнать от тебя. Ты так много видел, ты был даже за границей...

Савва. Недолго.

Липа. Все равно. Ты видел много людей, образованных, умных, интересных, ты жил с ними, – ну как они живут, ну какие они? Расскажи мне все.

Савва. Дрянной народ.

Липа. Да?.. Что ты говоришь? 400

Савва. А живут они, как и вы здесь живете: глупо, бестолково, и только слова у них другие. Но это еще хуже. Скоту оправданием служит отсутствие речи, а когда скот начинает говорить, защищаться, мечтать, получается совсем мерзко. И жилье у них другое, это правда; но и то неважное. Я был, Липа, в одном городе, где живет сто тысяч человек, и во всех домах окна маленькие. Все любят свет, а никто не догадается, что нужно сделать большие окна. И когда строят новый дом, то окна делают по-старому – такие же маленькие.

Липа. Вот как, не думала я этого. Но ведь не все же такие, 410 ведь видел же ты, наверное, хороших людей, которые умеют жить.

Савва. Как тебе сказать? Пожалуй, и видел, если не совсем хороших, то... Вот те, с которыми я жил последнее время, – народ ничего себе. Стараются брать жизнь не готовую, а делать ее по своей мерке. Но...

Липа. Кто же они? Студенты?

Савва. Нет. Ты, того, как насчет языка – не из болтливых?

Липа. Савва! ну как тебе не стыдно!

Савва. Ладно. Так вот: ты читала про людей, которые бом- 420 бочки делают – бомбочки, понимаешь?.. Ну и если кто-нибудь мешает жить, так они его, того, убирают. Называются они террористами. Но это не совсем верно. (*Пренебрежительно.*) Какие они террористы!

Л и п а (*отодвигаясь, пораженная*). Что ты говоришь? Неужели это правда? И ты тоже? Все так просто, и ты вдруг... Мне даже холодно стало.

За окном кричит петух, нашедший зерно и сзывающий кур.

С а в в а. Ну вот, испугалась. То Расскажи, а то...

430 Л и п а. Нет, ничего, я так. Очень неожиданно, Савва. Я думала, что таких людей нет в действительности, что это только сочиняют. И вдруг мой брат... Ты не шутишь, Савва? Посмотри на меня!

С а в в а. Да чего ты испугалась? Они вовсе не такие страшные. Скорее даже они смирный народ, рассудительный. Долго собираются, рассуждают, а потом бац! – глядь, какого-нибудь воробья и прикончили. А через минуту глядь, на этой же ветке другой воробей скачет. Что ты смотришь на мои руки?

Л и п а. Так. Дай мне твою руку... нет, правую.

440 С а в в а. На.

Л и п а. Какая она тяжелая. Ты слышишь, какие у меня холодные руки? Ну говори, говори – как это интересно!

С а в в а. Да что говорить! Люди они храбрые, это верно, но храбрость у них больше не в голове, а в руках. А голова у них старая, с перегородочками, и все они опасаются, как бы не сделать чего лишнего, как бы не повредить. Ну можно ли вырубить здоровенный лесище, рубя по одному дереву, скажи на милость! А они так и делают: с одного конца рубят, а на другом подрастает. Пустое получается занятие. Предложил я им как-то одно дельце, 450 пообширнее, да они, того, испугались. Слабоваты. Ну я и ушел от них: пусть себе упражняются в добродетели. Узкий народ: широты взгляда у них нет.

Л и п а. Ты говоришь это так спокойно, как будто шутишь.

С а в в а. Нет, я не шучу.

Л и п а. А ты – неужели ты ничего не боишься?

С а в в а. Я-то? Пока ничего – да и впереди не ожидаю. Страшнее того, Липа, что человек раз уже родился, ничего быть не может. Это все равно что утопленника спросить: а что, дядя, промокнуть не боишься? (*Смеется.*)

460 Л и п а. Так вот ты какой!..

С а в в а. Одному я у них научился: уважению к динамиту. Сильная вещь, с большой способностью убеждать.

Л и п а. Тебе двадцать четыре только года. У тебя еще ни усов, ни бороды нет.

С а в в а (*ощупывая лицо*). Растительность дрянная, это верно. Но только что из этого следует?



Л и п а. Страх еще придет.

С а в в а. Нет. Если уже я до сих пор не испугался, когда жизнь увидел, так уж больше испугаться нечего. Жизнь, да. Вот обнимаю я глазами землю, всю ее, весь этот шарик, и нет на ней ничего страшнее человека и человеческой жизни. А человека я не боюсь. 470

Л и п а (*почти не слушая его, восторженно*). Да. Вот настоящие слова, вот! Савва, милый, я тоже не боюсь страданий тела. Я знаю, начни жечь меня на медленном огне, разрежь меня на части, я не вскрикну – смеяться буду. Но я другого боюсь: я боюсь страдания людей, их неизбежного горя. Когда я подумаю ночью, в тишине, когда только колокол на часах, подумаю, сколько вокруг нас страданий, бесцельных, никому не нужных, даже никому неизвестных, – я холодею от ужаса. Я становлюсь на колени и молюсь, 480 молюсь и говорю Богу: если нужна жертва, так возьми меня, но дай людям радость, дай им покой, дай им, наконец, забвение. Господи! Быть таким всемогущим!..

С а в в а. Да.

Л и п а. Я читала про человека, которого клевал орел, и мясо за ночь у него выросло. Если бы мое тело могло стать хлебом и радостью для людей, я согласилась бы жить вечно и вечно в страданиях кормить им несчастных. Здесь в монастыре скоро будет праздник...

С а в в а. Знаю. 490

Л и п а. Тут есть икона Спасителя с трогательной надписью: “Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные...”

С а в в а. “...И Аз упокою вы”. Знаю.

Л и п а. Она считается чудотворною, и ты пойдешь тогда посмотри. Точно река притекает к монастырю, точно море подходит к его стенам – и все это море из одних человеческих слез, страданий, горя. Какие уроды, какие калеки! Я потом хожу как сумасшедшая, я во сне их вижу. Есть такие лица, с такою глубиной страдания, что их никогда не забудешь, сколько ни живи. Ведь я прежде была веселая, Савва, пока не увидела всего этого. Здесь каждый год 500 бывает один, по прозвищу Царь Ирод...

С а в в а. Он уже здесь. Я видел его.

Л и п а. Да, видел?

С а в в а. Да. Лицо трагическое.

Л и п а. Он давно, в молодости еще, убил как-то нечаянно своего ребенка и с тех пор все ходит. У него ужасное лицо. И все они ждут чуда...

Савва. Да. Есть кое-что похуже неизбывных человеческих страданий.

510 Липа. Что?

Савва (*небрежно*). Неизбывная человеческая глупость.

Липа. Не знаю.

Савва. А я знаю. Ты здесь видишь только клочок жизни, а если бы ты увидела, услышала ее всю... Первое время, когда я читал их газеты, я смеялся и думал, что это нарочно, что это издается в каком-нибудь сумасшедшем доме, для сумасшедших. Но нет, это серьезно. Это серьезно, Липа! И тогда моей мысли стало больно – невыносимо больно. (*Прижимает пальцы ко лбу.*)

Липа. У тебя болела голова?

520 Савва. Нет. Это особенная боль, ты ее не знаешь. Ее знают немногие. И испытать ее – все равно что пройти сквозь смерть: все остается по ту сторону. Я, Олимпиада Егоровна, видите ли, умер однажды – умер и воскрес.

Липа. Ты говоришь загадками.

Савва. Разве? А мне кажется, так просто. Только вот что немного странно: почему так жаждете все вы воскресения Христа? Хорошо, конечно, если Он придет с медовым пряником, а если вместо того Он бичом по всей земле: вон, торгующие, из храма!

Липа (*удивленно*). Как ты говоришь про Христа!

530 Савва. С большим уважением. Но дело не в этом, а в том, видишь ли, что вот тогда я и решил – уничтожить все.

Липа. Что ты говоришь?

Савва. Ну да, все. Все старое.

Липа (*в недоумении*). А человека?

Савва. А тебе человека жалко? Останется, не бойся. Ему мешает глупость, которой за эти тысячи лет накопилась целая гора. Теперешние умные хотят строить на этой горе – но, конечно, ничего, кроме продолжения горы, не выходит. Нужно срыть ее до основания – до голой земли. До голой земли – понимаешь?

540 Липа. Я не понимаю тебя. Ты так странно говоришь!..

Савва. Уничтожить все: старые дома, старые города, старую литературу, старое искусство. Ты знаешь, что такое искусство?

Липа. Да, конечно, знаю. Картины, статуи... Я бывала в Третьяковской галерее.

Савва. Ну вот, Третьяковская галерея и другие, поважнее которые. Там есть хорошее, но будет еще лучше, когда старое не будет мешать. Старое платье, все. У тебя есть любимые вещи?

Липа. Право, не знаю. Кажется, нет.

550 Савва. Остерегайся вещей! Ты не смотри, что они молчат, – они хитрые и злые. И их нужно уничтожить. Нужно, чтобы тепе-

решный человек голый остался, на голой земле. Тогда он устроит новую жизнь. Нужно оголить землю, Липа, содрать с нее эти мерзкие лохмотья! Достойна она царской мантии, а одели ее в рубище, в арестантский халат. Городов настроили – идиоты!

Л и п а. Но кто же это сделает, уничтожит все?

С а в в а. Я.

Л и п а. Ты?

С а в в а. Ну да, я. Начну я, а потом, когда люди поймут, в чем дело, то присоединятся другие. Я принес на землю меч, и скоро все услышат его звон. Глухие – и те услышат. Не имеющие ушей, 560 чтобы слышать, и те услышат.

Л и п а. Это ужасно! Сколько крови!

С а в в а. Да, многовато, но если бы был ее целый океан – все равно, через это надо перешагнуть. Когда дело идет о существовании человека, тут уже не приходится жалеть об отдельных экземплярах. Только бы сам выдержал... Ну а не выдержит, туда, значит, ему и дорога – не в свои, значит, сани сел. Мировая ошибка произошла.

Пауза. На дворе кудахчут куры; оттуда же доносится сонный голос Тюхи:  
“Полька, тебя папаша зовет. Куда ты его картуз девала?”

570

Л и п а. Какие планы! Ты не шутишь, Савва?

С а в в а. Вот надоели мне с этим все – шутишь, шутишь.

Л и п а. Я тебя боюсь, Савва. Ты так серьезно говоришь...

С а в в а. Да. Меня многие боятся, Липа.

Л и п а. Ты хоть бы улыбнулся!

С а в в а (*смотрит на нее широко и открыто и смеется с неожиданной ясностью*). Ах ты, чудачка, да зачем я буду улыбаться? Я лучше засмеюсь. (*Оба смеются.*) Ты щекотки боишься?

Л и п а. Оставь, ну что ты, какой ты еще мальчик!

С а в в а. Ну ладно. А Кондратия нет как нет! Не унес ли его 580 черт? Черти монахов любят.

Л и п а. Какие у тебя мечты, однако. Вот ты теперь шутишь...

С а в в а (*немного удивленно*). Это не мечты.

Л и п а. А у меня другие мечты, Савва. Ты теперь, милый, разговариваешь со мной, и я тебе как-нибудь вечером все расскажу. Пойдем гулять, и я расскажу.

С а в в а. Ну что ж, расскажи. Послушаю.

Л и п а. Савва, а скажи, если только можно, ты любишь какую-нибудь женщину?

С а в в а. Светла-таки на любовь, по-женски. Право, не знаю, 590 что тебе сказать. Любил я как будто одну, да она не выдержала.

Л и п а. Чего не выдержала?

Савва. Да моей любви. Меня, что ли, я уж не знаю. Только взяла и ушла от меня.

Липа (*смеется*). А ты что же?

Савва. Да ничего. Так и остался.

Липа. А друзья у тебя есть? Товарищи?

Савва. Нет.

Липа. А враги? Ну, такой враг, один, что ли, которого бы ты  
600 особенно не любил, ненавидел?

Савва. Такой, пожалуй, есть: Бог.

Липа (*не доверяя*). Что?

Савва. Бог, я говорю. Ну, тот, кого вы называете вашим Спасителем.

Липа (*кричит*). Ты не смеешь так говорить! Ты с ума сошел!

Савва. Ого! В чувствительное место попал?

Липа. Ты не смеешь!

Савва. Я думал, ты кроткая голубица, а язычок-то у тебя как  
у змейки. (*Показывает рукой движение змеиного языка.*)

610 Липа. Господи! Как ты осмелился, как ты мог, Спасителя! Ты  
взглянуть на Него не смеешь... Зачем ты пришел сюда?

Из дверей трактира показывается Кондратий. Оглядывается и тихонько  
входит.

Кондратий. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Савва. Аминь. Только очень вы запоздали, почтенный!

Кондратий. Творил волю пославшего. Молоденькие огурчики для отца игумена собирал: любят они эту закуску. Ну, жара! Семь потов сошло, пока добрался.

Савва (*Луне*). Вот монах – посмотри: любит выпить, недурно  
620 сквернословит, не дурак и насчет бабья...

Кондратий. Не конфузьте, Савва Егорович. При девице-то!

Савва. И вдобавок не верит в Бога.

Кондратий. Они шутят!

Липа. Мне такие шутки не нравятся. Вы зачем пришли?

Кондратий. По зову-с.

Савва. Он мне нужен.

Липа (*не глядя на Савву*). Зачем?

Савва. А это тебя не касается. Ты вот лучше с ним поговори;  
630 он, правда, человек любопытный: не глуп и умеет смотреть.

Липа (*испытующе глядит на Савву*). Я его хорошо знаю. Очень хорошо!

Кондратий. К прискорбию моему, должен сказать, что это правда: имею печальную известность как человек невоздержно-

го образа поведения. За это качество был из волостных писарей изгнан, за это же качество и ныне по неделям на хлебе да на воде сижу, ибо не умею действовать сокровенно, а наоборот – явно и даже громогласно. Вот и с вами мы, Савва Егорович, при таких обстоятельствах познакомились, что даже вспомнить нехорошо.

Савва. А вы и не вспоминайте.

640

Кондратий (*Луне*). В луже я лежал во всем моем великолепии, свинья свиньей...

Липа (*брезгливо*). Хорошо!

Кондратий. Но только я не стыжусь об этом говорить, потому что, во-первых, многие это видели, но никто, конечно, не потрудился поднять, кроме Саввы Егоровича. А во-вторых, я усматриваю в этом мой крест.

Липа. Хорош крест!

Кондратий. У всякого человека, Олимпиада Егоровна, свой крест. В луже-то тоже не ахти как приятно лежать – на сухом-то 650 всякому приятнее. И почему вы знаете? Может, я эту лужу наполовину слезами моими наполнил, воплями моими скорбными всколыхнул?

Савва. Это не совсем верно, отец Кондратий. Вы пели “Во Иордане крещаяся”, и притом на очень веселый мотив.

Кондратий. Разве? Что же, тем хуже. До чего, значит, дошел человек?

Савва. Только вы, отец, напрасно напускаете на себя меланхолию. Душа у вас веселая, и грусть эта совсем вам не к лицу, поверьте.

660

Кондратий. Прежде была веселая, это верно вы говорите, Савва Егорович, до поры до времени, пока в монастырь не поступил. А как поступил – вместо радости и успокоения узнал я самую настоящую скорбь. Да, убил бобра, можно сказать.

Входит Тюха, останавливается у притоки и влюбленными глазами смотрит на послушника.

Савва. Что же так?

Кондратий (*подходя ближе, вполголоса*). У нас, Савва Егорович, Бога нет, у нас дьявол. У нас страшно жить, поверьте, Савва Егорович, моему честному слову. Я человек бывалый, испугать 670 меня не легко, но, однако, ночью по коридору ходить боюсь.

Савва. Какой дьявол?

Кондратий. Обыкновенный. К вам, к людям образованным, он, конечно, является под благородными фасонами, а к нам, которые попроще и поглупее, в своем естественном виде.

Савва. С рогами?

Кондратий. Как вам сказать? Рог я не видал, да и не в рогах суть дела, хотя должен сказать, что на тени и рога отпечатываются весьма явственно. Дело в том, что нет у нас тишины, а  
680 этакий беспокойный шум. Снаружи ночью посмотреть – покой, а внутри: стон и скрежет зубовой. Какие хрипят, какие стонут, какие так, непонятно на что жалуются: идешь мимо дверей, а за каждую дверью словно душа живая со светом прощается. И вдруг прошмыгнет что-то и за угол, а на стенке вдруг тень. Ничего нет, а на стенке тень. В других местах что такое тень? – так, пустяки, явление, не стоящее внимания, а у нас они, Савва Егорович, живут, чуть что не разговаривают. Ей-богу! Коридор у нас, знаете ли, есть такой длинный-длинный, до бесконечности. Вступишь в него – ничего, этак черненькое что-то перед ногами мотается,  
690 вроде тоже как бы человек, а потом все больше, да шире, да по толку, знаете, пошло, да уже тебя сзади-то, сзади! Идти идешь, а уж почувствовать-то – ничего уж и не чувствуешь.

Савва (Тюхе). Ты что глаза таращишь?

Тюха. Какая рожа!

Кондратий. И Бог у нас сил не имеет. Конечно, есть у нас мощи и икона чудотворная, но только все это никакого, извините, действия не оказывает.

Липа. Что вы говорите?

Кондратий. Никакого-с. Мне не верите, так других ино-  
700 ков спросите, то же скажут. Молимся мы, молимся, лбами бьем, бьем, – а хоть бы тебе что. Уж ни о чем другом, а чтобы вот хоть силу-то нечистую отогнало, так нет, не может! Стоит себе образ и стоит, как будто и не его это дело, а как ночь, так и пошло шмыгать по всему монастырю да за углами подкарауливать... Отец игумен говорит: малодушие, стыдитесь, – но только по какой причине нет действия? Говорят у нас...

Липа. Ну?

Кондратий. Да только трудно очень поверить, как же это так? Говорят, будто дьявол-то настоящий образ, который есть  
710 действительно чудотворный, давно уже украл, а на место его свой портрет повесил.

Липа. Господи! Какое кощунство! Как же вам не стыдно верить таким мерзостям? А еще рясу носите... Вам, правда, только в луже лежать...

Савва. Ну-ну, не сердись. Это она нарочно, отец Кондратий, она добрая. А отчего бы вам и вправду из монастыря не уйти? Что за охота с теньями да с дьяволами возиться?

Кондратий (пожимая плечами). Да и ушел бы, да куда при-  
ткнуться? От дела я отбился давно, а тут по крайней мере заботы

о куске хлеба не имеешь. Да и против дьявола... *(осторожно подмигивает Савве на Липу, отвернувшуюся к окну, и щелкает себе по горлу)* есть у меня средство.

Савва. Ну-ну, пойдем, поговорим. Ты, рожа, пришлешь нам водки? Как, решил или нет?

Тюха *(хмуро)*. Он неверно говорит. Дьявола тоже нет. Этого не может быть, чтобы дьявол свой портрет повесил, когда дьявола нет. Пусть он лучше у меня спросит.

Савва. Ладно, потом поговоришь. Пришли водки.

Тюха *(уходит)*. И водки не пришлю.

Савва. Вот дурень! Вы, отец, вот что: ступайте-ка пока в сад, вот в ту дверь, знаете, а я сейчас приду. Не заблудитесь? *(Уходит следом за Тюхой.)* 730

Кондратий. До свидания, Олимпиада Егоровна.

Липа не отвечает. Когда Кондратий выходит, она несколько раз взволнованно проходит по комнате и ждет Савву.

Савва *(входит с бутылкой водки и связкой бубликов)*. Ну вот... Какой дурень!

Липа *(загораживает ему дорогу)*. Я знаю, зачем ты пришел сюда. Я знаю. Ты не смеешь.

Савва. Что еще? 740

Липа. Я слушала тебя и думала, что это одни слова, что это так, но теперь... Опомнись, подумай!.. Ты с ума сошел. Что ты хочешь делать?

Савва. Пусти!

Липа. И я слушала его, смеялась... Господи! Я точно проснулась от страшного сна... Или все это сон? Зачем здесь был монах? Зачем? Зачем ты говорил про бомбы?

Савва. Ну довольно, поговорила и достаточно. Пусти!

Липа. Да пойми же, что ты сошел с ума... понимаешь, сошел с ума? 750

Савва. Надоело. Пусти!

Липа. Савва, ну миленький, ну голубчик... А, так... Хорошо же, не слушаешь, хорошо же. Ты увидишь, Савва. Увидишь. Найдутся люди. Тебя связать надо! Господи, что же это! Да постой же! Постой!

Савва *(идя)*. Хорошо, хорошо.

Липа *(кричит)*. Я донесу на тебя. Убийца! Анархист! Я донесу на тебя!

Савва *(поворачиваясь)*. Ого! Знаешь, будь поосторожнее. *(Кладет ей руку на плечо и смотрит в глаза.)* Будь поосторожнее, говорю! 760

Липа. Ты... *(Секунды три борьбы двух пар глаз, и Липа отворачивается закусив губы.)* Я не боюсь тебя.

Савва. Вот так-то лучше. А то кричать. Кричать никогда не надо. *(Уходит)*

Липа *(одна)*. Что же это? Что же делать... Да?

Кудахчут куры.

Егор Иванович *(во дворе)*. Что тут делается, а? На полчаса ушел, а уже какой беспорядок. Полька, ты что это цыплят в малинник выпустила? Ступай, анафема, загони. Тебе говорю! А вот 770 же я тебе пойду! Я тебе пойду! Я тебе...

Занавес.



## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Внутри монастырской ограды. В глубине сцены и с левой стороны – монастырские здания, трапезная, кельи монахов, часть церкви и башня с проходными арчатыми под ней воротами. В различных направлениях двор пересекают деревянные мостки. Правая сторона сцены: слегка выдавшийся угол стеной башни и приютившееся возле стены небольшое монастырское кладбище, обнесенное легкой железной решеткой. Мраморные памятники, каменные и железные плиты, сильно вдавшиеся в землю; все старое, покосившееся, – здесь уже давно никого не хоронят. Шиповник, два-три небольшие дерева.

Время к вечеру после всенощной; от башни, от стены длинные тени. Здания и 10 башни залиты красноватым светом заходящего солнца. По мосткам проходят монахи, послушники, богомольцы. В начале действия слышно, как за стеной гонят деревенское стадо: хлопает пастуший кнут, бляние овец, мычание коров, глухие крики. К концу действия сильно темнеет, и движение по двору прекращается. На лавочке у железной решетки кладбища сидят С а в в а, С п е р а н с к и й и молодой п о с л у ш н и к. Сперанский держит шляпу на коленях и изредка приглаживает длинные прямые волосы, висящие двумя унылыми прядями вдоль длинного бледного лица; ноги держит вместе, говорит тихо, грустно, жестикулирует одним вытянутым указательным пальцем. Послушник, молодой, круглолицый, крепкий, не слушает разговора и все время улыбается чему-то своему. 20

*С а в в а (рассеянно глядя в сторону)* Да. Чем же вы занимаетесь тут?

*С п е р а н с к и й.* Да ничем, Савва Егорович. Разве в таком положении можно чем-нибудь заниматься? Раз человек сомневается в собственном своем существовании, так для него никакие занятия не обязательны. Но дьяконица этого не понимает. Она очень глупая женщина, совершенно необразованная и, кроме того, дурного характера и заставляет меня работать. А какая же тут работа? Или такое дело: у меня аппетит очень хороший, развился еще в семинарии, а она упрекает меня за каждый, извините, кусок хлеба. Не понимает того, необразованная женщина, что в действительности 30 куска этого, весьма возможно, совсем не существует. Имей я настоящее бытие, как другие люди, я страдал бы весьма сильно, но в теперешнем моем положении нападки эти не уязвляют меня. Меня все житейское не уязвляет, Савва Егорович.

*С а в в а (улыбаясь послушнику на его бессознательную радость, рассеянно).* И давно это с вами началось?

*С п е р а н с к и й.* Еще с семинарии, когда мы изучали философию. Тяжелое это состояние, Савва Егорович. Теперь я несколько привык, а вначале было прямо-таки несносно. Вешался я раз – сняли; вешался другой раз – опять-таки сняли. И из семинарии 40 выгнали: ступай, говорят, безумный, вешаться в другое место. Как будто есть другое место, а не все одно.

*П о с л у ш н и к.* Савва Егорович, поедемте завтра рыбу ловить на мельницу.

Савва. Я не люблю рыбу удить: скучное занятие.

Послушник. Жалко. Ну так пойдемте же в лес, сухие ветки сбивать. Очень весело: ходишь и палкой сбиваешь, а потом как закричишь: го-го-го! А из оврага: го-го-го! А плавать вы любите?

50 Савва. Люблю. Я хорошо плаваю.

Послушник. Я тоже люблю.

Сперанский *(вздыхая)*. Да. Странное положение.

Савва *(улыбаясь послушнику)*. А? Ну как же вы теперь?

Сперанский. Дядя мой, отец дьякон, когда брал меня к себе, так условием поставил, чтобы я больше не покушался на жизнь. Что же! Я и сказал: если мы, говорю, действительно существуем, то больше я вешаться не буду.

Савва. А зачем вам знать, существуете вы или нет? Вон небо, посмотрите, какое красивое! Вон ласточки. Травую пахнет... хорошо! *(К послушнику)*. Хорошо, дядя?

Послушник. Савва Егорович, а вы любите муравьиные кучи разорять?

Савва. Не знаю, не пробовал. Но думаю, что интересно.

Послушник. Очень интересно. А вы любите змей пускать?

Савва. Давно уже не приходилось. А некогда очень любил.

Сперанский *(терпеливо ждущий окончания их разговора)*. Ласточки! Ну и летают они: что же мне от этого? А может быть, и ласточек этих нет и все это только сонная греза.

70 Савва. Что же, и сны бывают хорошие.

Сперанский. А мне вот все проснуться хочется – и не могу. Хожу, хожу до усталости, до изнеможения, а очнусь – и опять я здесь. Монастырь, колокольня, часы бьют. И все как сонная греза. Закроешь глаза – и нет его. Откроешь – опять оно появится. Иной раз выйду я в поле, ночью, закрою глаза, и кажется мне, что ничего уж нет. Только вдруг коростель закричит, телега по шоссе проедет – и опять, значит, греза. Потому что если уши заткнуты, тогда и этого не услышишь. А умру я, и все замолчит, и тогда будет правда. Одни мертвые, Савва Егорович, знают правду.

80 Послушник *(улыбаясь, осторожно машет руками на какую-то птицу, шепотом)*. Спать пора! Спать! Слышишь!

Савва *(с неудовольствием)*. Какие мертвые? Послушайте, господин хороший, у меня ум мужицкий, простой, и я этих тонкостей не понимаю. Про каких вы мертвых говорите?

Сперанский. Решительно про всяких. Оттого-то у мертвых лицо спокойное. Вы посмотрите: как бы человек перед смертью

ни мучился, а умрет – лицо у него сейчас же становится спокойное. Оттого что правду узнал. Я сюда постоянно хожу, на все похороны, и это даже удивительно. Одну бабу тут хоронили – с горя умерла: мужа у нее на чугушке задавило. Что у нее в голове должно было перед смертью совершаться, подумать страшно, – а лежит такая спокойная: потому что узнала она, что горе ее – одна греза, видение сонное. Я мертвых люблю, Савва Егорович. Мне кажется, что мертвые действительно существуют.

Савва. Я не люблю мертвых... (*Нетерпеливо.*) Послушайте, однако, вы пренеприятный господин. Вы как дверь, которая покорибилась от дождя и сквозь которую вечно дует. Вам это говорили?

Сперанский. Да. Высказывали.

Савва. И я не стал бы вас из петли вынимать. Какой дурак вас вынул? Товарищи?

100

Сперанский. Первый раз отец эконоом, а в другой раз – товарищи. Очень жаль, Савва Егорович, что вы так мною недовольны. А я хотел было вам, как человеку образованному, показать некий мой письменный труд, еще от семинарии оставшийся. Называется “Шаги смерти”, так, вроде рассказа.

Савва. Нет, уж избавьте. Да и вообще...

Послушник (*поднимаясь*). Отец Кирилл идет, надо удирать!

Савва. А что?

Послушник. Он меня в лесу поймал, как я “го-го” кричал. Ах ты, говорит, леший, лесной дух, козлоногий... Завтра после обеда, ладно? (*Уходит, сперва идет прямо, потом каким-то танцующим шагом.*)

Толстый монах. О чем беседуете, молодые люди? Вы, никак, будете сынок Тропинина, Егора Ивановича?

Савва. Да, он самый.

Толстый монах. Слыхал, слыхал. Почтенный человек – ваш батюшка. Присесть позволите? (*Садится.*) Вечер, а как жарко: не быть бы грозе к полуночи. Ну как, молодой человек, нравится вам у нас? Как против столиц?

Савва. Монастырь богатый.

120

Толстый монах. Да, благодарение Господу. В большом почете во всей, можно сказать, России. Есть многие, что даже из Сибири приходят. Далеко идет слава. Вот скоро праздник...

Сперанский. Утомительно будет вам, батюшка. День и ночь служение...

Толстый монах. Нужно потрудиться для монастыря.

Савва. А не для людей?

Толстый монах. Да и для людей, а то для кого же? У нас в прошлый год сколько одних кликуш исцелилось – конца-краю

130 нет. Слепой прозрел, двое хромых заходили... Вот сами поглядите, молодой человек, тогда улыбаться не будете. Вы, как я слышал, неверующий?

Савва. Верно слышали, неверующий.

Толстый монах. Ай-ай, стыдно, стыдно! Конечно, много теперь неверующих из образованного класса, только лучше ли им от этого? Сомневаюсь.

Савва. Нет, не так много. Это они в церковь не ходят и думают про себя, что неверующие, но вера у них, пожалуй, глубже сидит, чем у вас.

140 Толстый монах. Скажите пожалуйста!

Савва. Ну да, под благородными, конечно, фасонами. Народ образованный.

Толстый монах. Конечно, конечно. Только с верою спокойнее.

Савва. Слышал я, что дьявол тут по ночам монахов душит?

Толстый монах *(смеется)*. Пустяки какие!.. *(К проходящему мимо седому монаху)*. Отец Виссарион, пожалуйста-ка сюда! Присаживайтесь. Вот сынок Егор Ивановича утверждает, что нас дьявол по ночам душит. Не слышали?

150 Оба монаха благодушно смеются, глядя друг на друга.

Седой монах. Это некоторые от сытости плохо спят, вот им и кажется, что их душат. Дьяволу, молодой человек, в нашу святую обитель не войти.

Савва. А вдруг да явится? Что тогда, отцы, скажете?

Толстый монах. А мы его кропилом, кропилом! Куда лезешь, черномазый?

Монахи смеются.

Седой монах. Царь Ирод идет.

160 Толстый монах. Погодите минутку, отец Виссарион. Вот вы говорите – вера и прочее такое, а позвольте, я вам человечка одного представлю. Вон он как идет, а на ём вериг на полтора пуда. Танцует, а не идет. Каждое лето у нас гостует, да и то сказать – гость дорогой. Глядя на него, и другие в вере укрепляются... Ирод, а Ирод!

Царь Ирод. Чего тебе надо?

Толстый монах. Подь-ка сюда на минутку. Вот господин в Боге сомневается, поговори-ка с ним.

Царь Ирод. А ты сам что же, толстопузый, язык от пива не ворочается?

170 Толстый монах. Еретик! Экий еретик!

Смеются оба.

Царь Ирод (*подходя*). Который господин?

Толстый монах. Вот этот.

Царь Ирод (*смотрит внимательно*). Сомневается, так и пусть сомневается; мне-то какое дело?

Савва. Вот как!

Царь Ирод. А ты думал как?

Толстый монах. Ты бы сел.

Царь Ирод. И так постою.

Толстый монах (*Савве громким шепотом*). Это он для усталости. Пока не сомлеет совсем, так ни есть, ни спать не может. 190 (*Громко*.) Вот господин удивляется, какие на тебе вериги.

Царь Ирод. Вериги что – побрякушки. Их на лошадь надень – и лошадь понесет, сила бы у ее была... Душа у меня мрачна. (*Смотрит на Савву*.) Ты знаешь, сына я своего убил. Сам. Говорили небось сороки-то эти?

Савва. Говорили.

Царь Ирод. Ты можешь это понять?

Савва. Отчего же? Могу.

Царь Ирод. Врешь ты, не можешь. И никто этого понять не может. Обойди ты весь свет, всю землю, всех людей опроси, и 190 никто не может понять. А если кто и говорит, что понимает, так врет, как ты. Ты и своего носа-то как следует не видишь, а тоже говоришь. Глуп ты еще.

Савва. А ты умен?

Царь Ирод. А я умен. Меня мое горе просветило. Велико мое горе, больше его на земле нету. Сына убил, сам, своими руками. Не этой, что глядишь, а той, которой нет.

Савва. А та где же?

Царь Ирод. В печке отжег. Положил в печку да по локоть и отжег. 200

Савва. Что же, полегчало?

Царь Ирод. Нет. Моего горя огонь не берет, мое горе горячее огня.

Савва. Огонь, дядя, все берет.

Царь Ирод. Нет, парень, он слаб, огонь. Плюнул на него, а он и погас.

Савва. Какой огонь! Можно, дядя, такой запалить, что хоть ты море на него вылей, так и то не погасишь.

Царь Ирод. Нет, парень, всякий огонь тухнет, когда время на то приходит. А моего горя ничем ты не угасишь. Велико мое 210 горе, так велико, что, как посмотрю я вокруг: ах, мать твою, – да куда же большое все подевалось: дерево маленькое, дом малень-

кий, гора маленькая. Будто это, знаешь, не земля, а маковая розинка. Идешь так-то да все опасаясь: как бы ко краю не прийти да не свалиться.

Толстый монах (*с удовольствием*). Ну-ну, царь Ирод, здорово!

Царь Ирод. Для меня, парень, и солнце не восходит. Для других восходит, а для меня нет. Другие днем темноты не видят, а 220 я вижу. Она промеж свету, как пыль. Сперва взглянешь, как будто и светло, а потом глядь, Господи! – небеса черные, земля черная, и всё как сажа. Маячит что-то, а что – даже не разберешь: человек ли, куст ли. Тоска моя, тоска моя великая... (*Задумывается.*) Кричать стану – кто услышит? Выть начну – кто отзовется?

Толстый монах (*седому тихо*). Собаки на деревне отзовутся.

Царь Ирод (*встряхнув головой*). Эх вы, люди! Вот смотрите вы на меня как на пугало. Волосы, да вериги, да сына убил, да Царь Ирод, – а души моей вы не видите и тоски моей не 230 знаете. Слепы вы все, как черви земляные. Вас оглоблей по затылку бить, так и то не поймете! Ты, толстопузый, что брюхо колыхаешь?

Савва. Однако, как он вас!

Толстый монах (*успокоительно*). Это ничего. Не в этом суть дела. Он всех нас поносит.

Царь Ирод. И буду поносить! Тебе такому разве Богу служить? В кабаке тебе сидеть, дьявола тешить. С его пуза, парень, черти по ночам на салазках катаются.

Толстый монах (*благодушно*). Ну, ну. Господь с тобой. Ты о 240 деле лучше говори.

Царь Ирод (*Савве*). Видишь! Это он на моем горе нажить хочет. Наживайся, наживайся!

Седой монах. Экий ты ругатель, Царь Ирод, откуда слова у тебя берутся? Это как-то он при отце игумене ляпнул: кабы Бог не бессмертен был, так они бы Его давно по кусочкам распродали. Но, однако же, терпим, так как для обители он человек не вредный.

Толстый монах. Народ собирает. Сюда для него многие приходят. А нам что: Господь видит нашу чистоту. Верно, Царь 250 Ирод?

Царь Ирод. Ну ты там молчи, старый хрен. Ногами еле двигает, черт в таратайке переехал, а на селе трех баб содержит. Одной ему мало!

Монахи добродушно хохочут.

Царь Ирод. Видишь? Видишь? У-у, глаза ваши бесстыжие! Хоть ты им плюй!..

Савва. Зачем же сюда ходишь?

Царь Ирод. Не для них хожу. Слушай, молодец, горе у тебя есть?

Савва. Может, и есть. А что?

260

Царь Ирод. Ну так послушай ты меня: будет у тебя горе, не ходи ты к людям. Будь друг, не ходи. Невмоготу станет – лучше к волкам в лес пойдешь. Сожрут сразу, и баста, а эти... Видел я, парень, много плохого, а хуже человека ничего не видал. Нет! Говорят тоже: по образу, по подобию созданы. Ах, сукины дети, сукины дети! Да разве есть у вас образ? Да будь образ самый махонький, так вы бы от стыда от одного на карачках поползли, сукины дети! Хоть ты им смейся, хоть ты им плачь, хоть ты им кричи, – ничего, облизываются. Царь Ирод... Сукины дети!.. А когда царь Ирод, не я, а настоящий, в золотой короне, младенцев ваших избивал, вы где были, а?

Толстый монах. Нас тогда, миленький, и на свете не было.

Царь Ирод. Не вы были, так другие, такие же! Избил и избил – и больше ничего. Многих я, парень, спрашивал: ну как, что? – Да ничего, говорят, избил и избил. Хороши? За детей своих – и за тех постоять не умеют – хуже собак, анафемы!

Толстый монах. А ты-то что же бы сделал?

Царь Ирод. Я? Голову бы ему оторвал, со всей его золотой короной, мать его!..

280

Седой монах. В Писании сказано: Божие Богови, а кесарево кесарю.

Толстый монах. В чужое, значит, дело не мешайся. Понял?

Царь Ирод (*с отчаянием Савве*). Нет, ты послушай! Ты послушай, что они говорят!

Савва. Слышал.

Царь Ирод. Ну погодите же, голубчики, погодите! Дождетесь скоро. Вот придет дьявол, он вам пропишет геенну огненную. Жир-то потечет – слышишь, монах, шпаленым пахнет?

290

Толстый монах. Это, милый, из трапезной.

Царь Ирод. Только пятки засверкают, да некуда: везде геенна, везде огонь! Ага, голубчики, голоса моего слушать не хотели, так теперь огонька послушаетесь! Ну и рад же я буду! Вериги сыму, ловить их буду и к дьяволу по одному предьявлять: вот он, бери! А он-то плачет, а он-то изгиляется: да не виноват же

я! – Не виноват? А кто же виноват, а? Да в геенну его: гори, сукин сын, до второго пришествия!

Седой монах. А не время ли нам, отец Кирилл?

300 Толстый монах. Что же, тронемся, отец Виссарион. Стенело, пора и на покой.

Царь Ирод. Ага! Правды-то не любите?

Толстый монах (*благодарно*). И-и, миленький, брань на ворота не виснет. Ты поругаешься, а мы послушаем, а там Господь разберет, кого надо в геенну, а кого куда. Кроткие-то, голубчик, наследуют землю, сказано в Писании. До приятного свидания, молодые люди.

310 Седой монах (*сердито*). А все-таки я тебе, старик, посоветую: говори, да не заговаривайся. Не по чему другому, как только по убожеству твоему терпим тебя да по глупости твоей. А в случае чего, разболтаешься очень, так можно и попридержать. Да!

Царь Ирод. Попробуй, попробуй придержи!

Толстый монах. И охота вам, отец Виссарион! Пусть себе поговорит, вреда от этого никому нет. Послушайте, послушайте, молодые люди, – человек любопытный. До свиданья!

Уходят; слышно, как толстый монах хохочет.

Царь Ирод (*Савве*). Хороши? Терпения моего с ними нету.

Савва. А ты мне, дядя, нравишься.

320 Царь Ирод. Ой ли? Тоже не любишь ихнего брата?

Савва. Не люблю.

Царь Ирод. Ну-ка дай-кась я присяду. Ноги отекли. Папироски у тебя нет?

Савва (*дает*). Куришь?

Царь Ирод. Когда как. Ты мне прости, что я тебя обругал давеча. Ты парень ничего, душевный. Только зачем врешь, что понял: никто понять не может. А это кто с тобой?

Савва. Так. Пристал.

Царь Ирод. Что, парень, обмок, а? Не сладко на душе?

330 Сперанский. Да, грустно.

Царь Ирод. Ну молчи, молчи. Слушать не желаю. Есть горе – и молчи. Я тоже, брат, человек, не пойму да еще обижу. (*Бросает папиросу и встает.*) Нет, не могу. Пока стою или хожу – ничего, а как сел... У-ух ты... (*Мается.*) Просто, брат, продохнуть нельзя. Какая ведь вещь... Господи, видишь ли? А? Ну-ну, ничего, ничего... Обошлось. У-ах!

Небо заволочло облаками, сильно темнеет. Изредка безмолвно вспыхивают зарницы.



Савва (*тихо*). Горе, дядя, удушить надо. Сказать себе твердо: не хочу горя, и не будет горя. Человек ты, я вижу, хороший, 340 сильный...

Царь Ирод. Нет, парень, моего горя и смерть не возьмет. Что смерть! Она маленькая, а горе мое большое, не кончит она моего горя. Вот Каин когда еще помер, а горе его как было, так и осталось.

Сперанский. У мертвых горя нет, они спокойны. Они правду знают.

Царь Ирод. Да никому не скажут... что толку от этой правды? Я вот живой, а правду знаю. Вот горе мое, видишь, какое – на земле такого не бывает, а призови меня Бог и скажи: “На тебе, 350 Еремей, все царства земные, а горе твое отдай Мне...” – не отдам. Не отдам, парень. Слаще оно мне меду липового, крепче оно браги хмельной... Правду я узнал через мое горе.

Савва. Бога?

Царь Ирод. Христа, вот кого. Он только один понять может, какое у меня горе. Смотрит и понимает: “Да, вижу Я, Еремей, какое у тебя страдание”. И больше ничего. “Вижу”. А я Ему отвечаю: “Да, смотри, Господи, какая у меня тоска”. Только и всего, и ничего больше не надо.

Савва. Тебе дорого, что Он за людей пострадал? Так 360 что ли?

Царь Ирод. Это что распинали-то Его? Нет, брат, это пустое страдание. Распяли и распяли, только и всего, – а то, что тут Он сам правду узнал. Пока ходил Он по земле, был Он человек так себе, хороший, думал то да се, то да се. Вот человеки, вот поговорю, да вот научу, да устрою. Ну а как эти самые человеки потащили Его на крест, да кнутьями Его, тут Он и прозрел: “ага, говорит, так вот оно какое дело”. И взмолился: “Не могу Я такого страдания вынести. Думал Я, что просто это будет распятие, а это что же такое...” А Отец Ему: “ничего, ничего, потерпи, Сынок, 370 узнай правду-то, какова она”. Вот тут Он и затосковал, да... да до сих пор и тоскует.

Савва. Тоскует?

Царь Ирод. Тоскует, парень.

Пауза; зарница.

Сперанский. Весьма возможно, что будет дождь, а я без калош и без зонтика.

Царь Ирод. И всегда передо мной лик Его чистый, куда ни повернешь: “Понимаешь, Господи, страдание мое?” – “Понимаю, Еремей. Я, брат, все понимаю; иди себе спокойно”. И весь я перед 380

Ним как сосуд хрустальный со слезою. “Понимаешь, Господи?” – “Понимаю, Еремей”. – “Ну то-то, и я Тебя понимаю”. Так мы с Ним вдвоем и живем: Он да я. Мне тоже Его жалко, паренек. А помирать стану, передам Ему тоску мою: владай, Господи!

Савва. А все-таки на людей ты напрасно так наседаешь. Есть и хорошие; очень мало, но есть. Иначе бы, дядя, и жить не стоило.

Сперанский. Да и Христос, насколько известно, заповедал: люби ближнего, как самого себя.

390 Царь Ирод. Чудачок! Да сам же я себе руку отжег, не пожалел; так имею я право другому человеку по шее дать, когда случай подходящий? Как ты располагаешь?

Савва. Это верно.

Царь Ирод. Вот то-то и оно. Ты знаешь, ведь это они меня Царем Иродом окрестили.

Савва. Кто?

Царь Ирод. Да люди-то твои. Нет, парень, зверя жесточе человека... Младенца я убил – так вот и выходит по-ихнему: Царь Ирод. Не понимают того, сукины дети, каково мне такую кличку-то носить. Ирод! И будь бы от злости, а то так...

Савва. А тебя как звать?

Царь Ирод. Да Еремей же; Еремеем меня звать. А они: Ирод, да еще Царь, чтобы ошибки не было!.. Гляди, опять монах идет, чтоб его разразило!.. Слушай, ты образ-то Его видел?

Савва. Видел.

Царь Ирод. А глаза у Его видел? Ну так посмотри, посмотри, посмотри... Зачем идешь, мышь летучая? На деревню, к бабам собрался?

Кондратий. Мир честной беседе. Здравствуйте, Савва Его-рович! Какими судьбами?

Царь Ирод. Смотри, монах, из кармана чертов хвост торчит.

Кондратий. Это не чертов хвост, это редька. Глазаст, глазаст, а промаху даешь.

Царь Ирод. Тьфу! Не могу я их видеть, с души воротит. Ну, прощай, паренек... попомни, что я говорил: будет горе – не ходи к людям.

Савва. Ладно, дядя, попомню.

Царь Ирод. Лучше в лес иди к волкам.

420 Уходит; из темноты доносится: “Господи, видишь ли?..”

Кондратий. Ограниченный человек. Сына убил и хорохорится, никому не дает проходу. Радость какая, подумашь!

С перанский *(вздыхает)*. Нет, отец Кондратий, вы неправильно рассуждаете: он счастливый человек. Ведь теперь, по его настроению, воскресни его сын, так он его опять убьет, пяти минут сроку не даст. Но, конечно, умрет – узнает правду.

Кондратий. Я и говорю: дурак. Будь бы кошку убил, а то сына. Что призадумались, Савва Егорович?

Савва. Да вот жду, скоро этот господин уйдет или нет. Черт их тут носит. Вот еще кто-то прется! *(Всматривается.)*

430

Липа *(подходит, нерешительно всматривается)*. Это ты, Савва?

Савва. А это ты? Чего надо?

Липа. Это отец Кондратий с тобой?

Савва. Ну да, он. Чего тебе надо? Я не люблю, сестра, когда за мной ходят по пятам.

Липа. Двор проходной, сюда никому вход не запрещен... Григорий Петрович, вас Тюха спрашивает: отчего, говорит, семинарист не приходит?

Савва. Вот и ступайте вместе, этакой веселой парой. Прощайте, господин, прощайте.

440

Сперанский. До приятного свидания, Савва Егорович. Надеюсь еще побеседовать.

Савва. Нет уж, не надейтесь лучше. Прощайте.

Липа. Какой ты грубый, Савва! Идемте, Григорий Петрович, – у них свои дела.

Сперанский. Все же не теряю надежды. До свиданья.

Уходят.

Савва. Вот пристал, черт его побери!

Кондратий *(смеется)*. Действительно, неотвязный человек. Пристанет и как тень ходит. У нас многие так и зовут его: тень; 450 отчасти, надо полагать, за худобу. Вот подождите: вы ему понаравили, теперь прилипнет.

Савва. Со мной разговоры короткие: прогоню.

Кондратий. И бить его пробовали – не помогает. Он тут на двадцать верст известен. Фигура!

Пауза. Темнеет. Зарницы чаще. Безмолвно вспыхивают они в разных сторонах неба, и кажется при каждой вспышке, что кто-то заглядывает через ограду и башни во двор монастыря.

Савва. Ты зачем, Кондратий, здесь мне место назначил? Проходной двор какой-то. Облепили меня монахи да юродивые, 460 как блохи. Говорил я: лучше в лесу, спокойнее.

Кондратий. Для избежания подозрений. Пойдем мы с вами в лес, – зачем, скажут, благочестивый Кондратий с таким связал-

ся – извините – человеком? А тут всякому место. Я нарочно и приходите повременил: пусть вас с разными людьми повидают.

Савва (*пристально смотрит*). Ну?

Кондратий (*отводит глаза и пожимает плечами*). Не могу.

Савва. Боишься?

Кондратий. Говоря по совести: боюсь.

470 Савва. Ну и дрянь же ты, брат, человек.

Кондратий. Это уж как хотите.

Пауза.

Савва. Да чего боишься-то, дурень? Машинка безопасная, тебя не тронет. Поставил, завел, а сам хоть на деревню ступай, к бабам.

Кондратий. Да я не этого.

Савва. Суда? Так сказано же тебе: в случае чего вину на себя беру. Не веришь?

Кондратий. Как не верить? Верю.

480 Савва. Так чего же? Неужели Бога?

Кондратий. Бога.

Савва. Да ведь ты же не в Бога, а в дьявола веришь?

Кондратий. А кто знает: а вдруг Он да и есть? Тогда тоже, Савва Егорович, благодарю покорно за одолжение. Да и из-за чего? Живу я спокойно, хорошо; конечно, как вы говорите, обман; так я же здесь при чем? Хотят верить, пусть себе и верят. Не я Бога выдумал.

Савва. Послушай, ты знаешь, что я сам бы мог это сделать. Взял да во время крестного хода бомбу и бросил – вот тебе и все.  
490 Но тогда погибнет много народу, а это сейчас – лишнее. Поэтому я тебя и прошу. А если ты откажешься, так я все-таки сделаю, и на твоей душе будут убитые. Понял?

Кондратий. Зачем же на моей? Не я буду бросать. Да опять-таки мне-то какое дело до них, до убитых? Народу на свете много, всех не перебьете, сколько ни бросайте.

Савва. А тебе их не жалко?

Кондратий. Всех жалеть – самому не останется.

Савва. Ну вот! Ты умный человек, говорил же я тебе, а ты все не веришь. Умный, а испортить кусок дерева боишься.

500 Кондратий. Если это кусок дерева, так из-за чего же и вам хлопотать? – То-то, что не дерево, а образ.

Савва. Ну да. Налипло на него много, вот они его и ценят. А я не люблю того, что люди дорого ценят.

Кондратий. Как же это так “не любите”?

Савва. Так и не люблю. Когда для человека шапка дороже головы, так нужно с него и шапку и голову снять. Эх, дядя, не будь ты трус – порассказал бы я тебе!

Кондратий. Что ж, расскажите, от этого мне греха не будет. Да и не трус я, а просто – осторожный человек.

Савва. Это, дядя, только начало.

510

Кондратий. Хорошее начало, нечего сказать. А конец какой?

Савва. Голая земля – понимаешь? Голая земля, и на ней голый человек, голый, как мать родила. Ни штанов на нем, ни орден на нем, ни карманов у него – ничего. Ты подумай: человек без карманов – ведь это что же! Да, брат, икона – это еще ничего.

Кондратий. Я и говорю: новую сделают.

Савва. Ну да уж не та будет. Да и не забудут они уже, что динамит сильнее ихнего Бога! А человек – сильнее динамита. Вот они кланяются, вот они молятся, вот они прямо взглянуть не смеют, холопы поганые, а пришел настоящий человек и разрушил. Готово!

Кондратий. Действительно.

Савва. И когда так будет разрушен десяток их идолов, они почувствуют, холопы, что кончилось царство ихнего Бога и наступило царство человека. И сколько их подохнет от ужаса одного, с ума будут сходить, в огонь бросаться. Антихрист, скажут, пришел... ты подумай, Кондратий!

Кондратий. А вам не жалко?

Савва. Их-то? – Они мне тюрьму выстроили, а я их жалеть буду? Они голову мою в застенки посадили, а я их жалеть буду? Ха! Тебе в голову гвозди вбивали или нет? Нет. Ну а у меня вся голова гвоздями утыкана – мастера они гвозди вгонять, пожалеть их надо?

Кондратий. Кто же вы такой, что никого не жалеете?

Савва. Я? Я, дядя, человек, который однажды родился. Родился и пошел смотреть. Увидел церкви – и каторгу. Увидел университеты – и дома терпимости. Увидел фабрики – и картинные галереи. Увидел дворец – и нору в навозе. Подсчитал так, понимаешь, сколько на одну галерею острогов приходится, и решил: надо уничтожить всё. И мы это сделаем. Да, пора нам посчитаться, пора!

Кондратий. Кто – мы?

Савва. Я, ты, Кондратий, другие.

Кондратий. Народ глуп, не поймет он этого.

Савва. Поймет, когда загорится все кругом. Огонь, дядя, учитель хороший. Ты слышал о Рафаэле?

Кондратий. Нет, не приходилось.

Савва. Ну так вот. После Бога мы примемся за них. Там их  
550 много: Тицианы, Шекспиры, Пушкины, Толстые. Из всего этого мы сделаем хорошенький костерчик и польем его керосином. Потом, дядя, мы сожжем их города!

Кондратий. Ну-ну, вы шутите! Как же это можно – города!

Савва. Нет, зачем шутить? Все города. Ведь что такое ихние города? Это могилы, понимаешь, каменные могилы. И если этих дураков не остановить и дать им строиться еще, они всю землю оденут в камень, и тогда задохнутся все. Все!

Кондратий. Бедному человеку придется плохо!

560 Савва. Тогда все будут бедные. Богатый – отчего он богат? Оттого что есть у него дом, деньги, забором он отгородился. А как не будет у него ни домов, ни денег, ни забора...

Кондратий. Верно! И документов, значит, нет – сгорели!

Савва. И документов нет. Иди-ка, дядя, работать – буде дворяниться!

Кондратий *(смеется)*. Потеха! Голые это все, как из бани!

Савва. Ты мужик, Кондратий?

Кондратий. Подати плачу. Крестьянин я, это верно.

Савва. Я тоже мужик. Нам, брат, с тобой хуже не станет.

570 Кондратий. Да уж куда хуже! Но только много народу пропадет, Савва Егорович!

Савва. Ничего, довольно останется. Дрянь, дядя, пропадет. Глупые пропадут, для которых эта жизнь как скорлупа для рака. Пропадут те, кто верит, – у них отнимется вера. Пропадут те, кто любит старое, – у них все отнимется. Пропадут слабые, больные, любящие покой: покоя, дядя, не будет на земле. Останутся только свободные и смелые, с молодой жадной душой, с ясными глазами, которые обнимают мир.

Кондратий. Как у вас... Я ваших глаз, Савва Егорович, бо-  
580 юсь, особенно в темноте.

Савва. Как у меня? Нет, Кондратий, я человек отравленный – от меня ихнею мертвечиной пахнет. Будут люди лучше, свободнее, веселее. И, свободные от всего, голые, вооруженные только разумом своим, они сговорятся и устроят новую жизнь, хорошую жизнь, Кондратий, где можно будет дышать человеку.

Кондратий. Любопытно. Только позвольте сказать вам, Савва Егорович... народ – он хитрый, припрячет что-нибудь или

как. А потом глядь, на старое и повернули, по-старому, значит, как было. Тогда как?

Савва. По-старому. *(Мрачно.)* Тогда совсем надо его уничтожить. Пусть на земле совсем не будет человека. Раз жизнь ему не удалась, пусть уйдет и даст место другим – и это будет благородно, и тогда можно будет и пожалеть его, великого осквернителя и страдальца земли!..

Кондратий *(качая головой)*. Однако!

Савва *(кладя ему руку на плечо)*. Поверь мне, монах, я исходил много городов и земель, и нигде я не видел свободного человека. Я видел только рабов. Я видел клетки, в которых они живут, постели, на которых они рождаются и умирают; я видел их вражду и любовь, грех и добродетель. И забавы их я видел: жалкие попытки воскресить умершее веселье. И на всем, что я видел, лежит печать глупости и безумия. Родившийся умным – глупеет среди них; родившийся веселым – вешается от тоски и высовывает им язык. Среди цветов прекрасной земли – ты еще не знаешь, монах, как она прекрасна! – они устроили сумасшедший дом. А что они делают со своими детьми! Я еще не видел ни одной пары родителей, которые не были бы достойны смертной казни: во-первых – что родили; а во-вторых – что, родивши, тотчас не умерли сами.

Кондратий. Ого, как вы говорите!

Савва. И как они лгут, как они лгут, монах! Они не убивают правды – нет, они ежедневно секут ее, они обмазывают своими нечистотами ее чистое лицо – чтобы никто не узнал ее! – чтобы дети ее не любили! – чтобы не было ей приюта! И на всей земле – на всей земле, монах, нет места для правды.

Задумывается. Пауза.

Кондратий. А нельзя как-нибудь иначе, без огня? Очень страшно, Савва Егорович. Что же это такое будет! Светопреставление.

Савва. Нельзя, дядя, иначе: светопреставление и нужно. Лечили их лекарством – не помогло; лечили их железом – не помогло. Огнем их теперь надо – огнем!

Пауза. Сверкают безмолвно зарницы. Где-то далеко колотит сторож в железную доску. Савва неподвижно-широко смотрит на зарницу: он окован громадной думою о жизни, мыслями без слов, чувством без выражения. Видит свое одиночество и близкую смерть.

Кондратий. И кабаков не будет?

Савва *(думая)*. Ничего не будет!

Кондратий. Кабаки построят. Без кабаков не обойдутся.

Продолжительное молчание.

630 Кондратий. Да-а... О чем задумались, Савва Егорович?  
(Савва молчит. Кондратий прикасается к его плечу.) На вас бабочка села.

Савва. Что?

Кондратий. Бабочка села. Мертвая голова называемая – по ночам летает. Да что вы?

Савва (вздвoгнув, громко). Оставь.

Кондратий. Испугал я вас?

Савва. Что? (Очнувшись, удивленно.) Какие зарницы! Ты что говоришь? Да, да. Ничего, брат, все устроится... (Вздвoхнув, весело.) Ну как же – начнем? Согласен? Да ну, дядя, будет упрямиться!

640 Кондратий (покачивая головой). Загадали вы мне загадку.

Савва. Ничего, дядя, не робей. Ты человек умный, сам понимаешь, что нельзя иначе. Кабы можно иначе, разве стал бы я сам, пойми!

Кондратий (густо вздыхает). Да-а... Эх, Савва Егорович, ангел вы мой неоцененный, разве я этого не понимаю? Жизнь проклятушая! Эх, Савва Егорович, Савва Егорович! Вот скажи я вам, кому хочешь скажи: я человек хороший, – засмеют, по затылку дадут: “что брешешь, пьяница!..” Кондратий – хороший человек... самому даже смешно, а я, ей-богу, хороший. Так, не знаю, как это

650 вышло. Жил-жил – и вдруг! Как это, по какой причине – неизвестно.

Савва. А ты вот все боишься!

Кондратий. Кто я теперь такой: ни Богу свеча, ни черту кочерга. Как оглянешься иной раз да подумаешь... Эх, Савва Егорович, разве у меня совести нет? Разве я не понимаю? Все я понимаю, но только... Я и дьявола не то вправду боюсь, не то так: дурака ломаю. Эка штука – дьявол! Побыл бы на нашем месте, так узнал бы кузькину мать. Недавно это, пьяный, кричу я: выходи, дьявол, на левую руку, я человек отчаянный! Мне ничего не жалко: пропадать так пропадать... Эх, разжалобили вы меня,

660 Савва Егорович! (Утирает рукавом глаза.)

Савва. Зачем пропадать? И я пропадать не хочу. Еще поживем, дядя! Тебе сколько лет?

Кондратий. Сорок два.

Савва. Ну вот, самые года. Деньги тебе нужны?

Кондратий. А они у вас есть?

Савва. Есть!

Кондратий (подозрительно). Откуда же это они у вас?

Савва. А тебе-то что? Может быть, я убил богатого купца или кого-нибудь зарезал. Доносить ведь не пойдешь?

670 Кондратий (успокаиваясь). Что вы, Савва Егорович, это дело ваше. А деньги, конечно, никогда не лишнее. Я тогда из монасты-



ря уйду. У меня, скажу вам по совести, давно уже одно мечтание есть: сесть при дороге и трактир открыть. Компанию я люблю, и сам я разговорчивый человек; у меня дело пойдет. Трактирщик если и сам выпивает, так это не беда: народу приятнее; у веселого трактирщика и штаны оставишь – не заметишь. По себе знаю.

Савва. Что же, можно и трактир.

Кондратий. И кроме того, человек я еще в полном соку. Чем тут грешить, лучше же я законным браком...

Савва. В посаженные отцы не забудь позови.

680

Кондратий. Молоды еще! А деньги, Савва Егорович, когда – раньше или потом?

Савва. Иуда раньше получил!

Кондратий (*огорченно*). Ну вот! То сами подговариваете, а то – Иуда. Разве приятно такие слова слышать? Живого человека Иудой называете!

Савва. Иуда был дурак. Он удавился, а ты трактир откроешь.

Кондратий. Опять! Если вы так обо мне думаете...

Савва (*хлопая по плечу*). Ну-ну, дядя... Разве не видишь, что я шучу? Иуда человека продал, а ты что – вроде как бы дровами торгуешь. Верно, дядя!

690

Показываются Сперанский и Тюха. Последний заметно покачивается.

Кондратий. Вот еще нелегкая несет. Тут такой разговор пошел...

Савва. Так как же, по рукам?

Кондратий. Что же с вами поделаешь!

Сперанский (*кланяется*). Еще раз здравствуйте, Савва Егорович. А мы с Антоном Егоровичем были на том конце, на кладбище. Бабу нынче одну схоронили, так посмотреть...

700

Савва. Не вылезла ли? А его зачем с собой таскаете? Тюха, иди спать, на ногах не держишься.

Тюха. Не пойду.

Сперанский. Антон Егорович сегодня в беспокойстве. Им все рожи представляются.

Савва. Да ведь смешные же?

Тюха. Ну да, смешные, а то какие же? (*Мрачно*.) У тебя, Савка, очень, очень смешная рожа!

Савва. Ну ладно, иди. Отведите его, нечего таскать.

Сперанский. До приятного свидания! Пойдемте, Антон Егорович.

710

Уходят. Тюха идет, озираясь на Савву и спотыкаясь. Пропадают в темноте.

Кондратий. И нам пора. А деньги у вас как, свободные?

Савва. Свободные. Так слушай. Праздник в воскресенье. В субботу утром ты возьмешь, значит, машинку и вечером поставишь, за полчаса до двенадцати. Через четыре дня. Я тебе покажу, как заводить и все. Четыре дня еще. Надоело мне тут у вас, Кондратий.

Кондратий. А если я того... обману?

720 Савва (*тяжело*). Убью.

Кондратий. Ну вот!

Савва. Теперь если и откажешься, все равно убью. Много, брат, знаешь.

Кондратий. Шутите!

Савва. Что же, может, и шучу. Я, брат, человек веселый. Люблю посмеяться.

Кондратий. Попервоначалу вы веселый были. А что, Савва Егорович (*оглядывается*), приходилось вам человека убивать живого?

730 Савва. Приходилось. Купца-то того зарезал-то я.

Кондратий (*машет рукою*). Теперь вижу, что вы шутите. Ну, прощайте, пойду. Да и вы не засиживайтесь, как бы ворота не заперли. Вот не боюсь, не боюсь, а про коридор подумаешь, так страшно. Тени там теперь. Прощайте.

Савва. Прощай.

Кондратий пропадает в темноте. Зарницы. Савва стоит, опершись на решетку, и смотрит на белые камни кладбища, вспыхивающие при блеске зарниц.

Савва (*к могилам*). Ну как-то вы, покойнички: перевернетесь в гробах или нет? – Невесело мне что-то, покойнички, невесело!

740

Зарницы.

Занавес.

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Парадная комната; три окна на улицу, одно открыто, но занавеска спущена. Открытая темная дверь в комнату первого действия. Вечер, темно. За окнами все время, не прекращаясь, слышны шаги богомольцев, идущих на завтрашний праздник. Идут в сапогах, идут босые и в лаптях; шаги быстрые, торопливые, медленные, усталые; идут группами по двое, по трое, идут по одному. Большею частью идут молча, но изредка доносится сдержанный, невнятный говор. Глухо начинаясь где-то далеко, слева, звуки шагов и разговоров разрастаются, иногда точно наполняют комнату и пропадают вдали. Впечатление огромного, неудержимого, стихийного движения. 10

За столом, при колеблющемся свете сального огарка, сидят Сперанский и сильно пьяный Тюха. Бутылка водки, огурцы, селедка. В остальной комнате совсем темно; временами ветерок надувает белую занавеску в окне и колыхает пламя свечи. Разговор Тюхи и Сперанского ведется шепотом. После открытия занавеса продолжительная пауза.

Тюха (*наклоняясь к Сперанскому, таинственно*). Так ты говоришь — может, нас и нету, а?

Сперанский (*так же таинственно*). Как я уже докладывал вам: под сомнением, под большим сомнением. Весьма возможно, что в действительности мы не существуем, вовсе не существуем. 20

Тюха. И тебя нет и меня нет?

Сперанский. И вас нет, и меня нет. Никого нет.

Пауза.

Тюха (*озираясь, таинственно*). А где же мы?

Сперанский. Мы?

Тюха. Ну да, мы.

Сперанский. Неизвестно, Антон Егорович, никому не известно.

Тюха. Никому?

Сперанский. Никому. 30

Тюха (*оглядываясь*). А Савке?

Сперанский. И ему не известно.

Тюха. Савка все знает.

Сперанский. А этого и он не знает. Нет.

Тюха (*грозит пальцем*). Тише! Тише!

Оба оглядываются и молчат.

Тюха (*таинственно*). Куда это они идут, а?

Сперанский. На поднятие иконы. Завтра праздник, поднятие иконы.

Тюха. Нет, а по-настоящему! По-настоящему, понимаешь? 40

Сперанский. Понимаю. Неизвестно. Никому не известно, Антон Егорович.

Тю х а. Тише! (*Кривит весело лицо, закрывая рот рукой и озираясь.*)

С пер а н с к и й (*шепотом*). Чего вы?

Тю х а. Молчи, молчи! Слушай.

Оба слушают.

Тю х а (*шепотом*). Это – рожи.

С пер а н с к и й. Да?

Тю х а. Это – рожи идут. Множество рож. Видишь?

50 С пер а н с к и й (*вглядываясь*). Нет, не вижу.

Тю х а. А я вижу. Вот они, смеются. Отчего ты не смеешься, а?

С пер а н с к и й. Мне очень грустно.

Тю х а. Нет, ты смеешься, все смеются. Молчи, молчи!

Пауза.

Тю х а. Слушай: никого нет. Никого, понимаешь? И Бога нет, и человека нет, и зверя нет. Вот стол – и стола нет. Вот свечка – и свечки нету. Одни рожи, понимаешь? Молчи! Молчи! Я очень боюсь.

С пер а н с к и й. Чего?

60 Тю х а (*близко наклоняясь*). Помереть со смеху.

С пер а н с к и й. Да?

Тю х а (*утвердительно кивая головой*). Да. Помереть со смеху. Увижу такую рожу и начну хохотать, хохотать, хохотать и умру. Молчи, молчи, я знаю.

С пер а н с к и й. Вы никогда не смеетесь.

Тю х а. Нет. Я постоянно смеюсь, только вы этого не видите. Это ничего. Я только умереть боюсь: увижу такую рожу и начну хохотать, хохотать, хохотать. Так, подступает. (*Потирает себе грудь и горло.*)

70 С пер а н с к и й. Мертвые всё знают.

Тю х а (*таинственно, со страхом*). Я Савкиной рожи боюсь. Очень смешная, от нее можно умереть со смеху. Главное дело, остановиться нельзя, понимаешь? Будешь хохотать, хохотать, хохотать! Тут никого нет?

С пер а н с к и й. По-видимому, никого!

Тю х а. Молчи, молчи, я знаю. Молчи.

Пауза. Шаги становятся громче, как будто в самой комнате.

Тю х а. Идут?

С пер а н с к и й. Да, идут.

80

Пауза.

Тю х а. Я тебя люблю. Спой-ка ты мне эту, твою... А я слушать буду.

Сперанский. Извольте, Антон Егорыч... *(Поет вполголоса, почти шепотом, протяжным и заунывным мотивом, несколько похожим на церковный.)* “Все в жизни неверно, и смерть лишь одна – верна, неизменно верна! *(С возрастающей осторожностью и наставительностью, жестикулируя одним пальцем, как будто передает тайну.)* Все канет-минует, забудет, пройдет – она не минует, найдет! Покинутых, скорбных, последних из нас, до мошки, незримой для глаз...”

90

Тюха. Как?

Сперанский. “До мошки – незримой для глаз. Прижмет, приголубит и тяжкий свой брачный наденет венец, и – жизненной сказке конец”. Все, Антон Егорыч.

Тюха. Молчи, молчи. Спел и молчи.

Входит Липа, открывает окна, отодвигает цветы и смотрит на улицу. Потом зажигает лампу.

Тюха. Это кто? Ты, Липа? Липа, а Липа, куда они идут?

Липа. На праздник, ты же знаешь. Шел бы и ты спать, Тюха.

А то увидит папаша, рассердится.

100

Сперанский. Много идет народу, Олимпиада Егоровна?

Липа. Да. Только темно очень, не рассмотришь. Что это вы такой бледный, Григорий Петрович? Даже неприятно смотреть.

Сперанский. Такой вид у меня, Олимпиада Егоровна.

В окно осторожно стучат.

Липа *(открывая окно)*. Кто там?

Тюха *(Сперанскому)*. Молчи! Молчи!

Послушник *(просовывая в окно улыбающееся лицо)*. А Саввы Егорыча нет? Я же его в лес хотел позвать.

110

Липа. Нет. Как же это вам не стыдно, Вася! У вас такой завтра праздник, а вы...

Послушник *(улыбаясь)*. Там и без меня народу много. Скажите Савве Егорычу, что я в овраг пошел, светляков собирать. Пусть покричит: го-го!

Липа. Зачем вам светляки?

Послушник. Да монахов же пугать. Поставлю два светляка рядом, как глаза, они и думают, что это черт. Скажите же ему, пусть покричит: го-го-го! *(Исчезает в темноте.)*

Липа *(вдогонку)*. Сегодня он не может... Убежал!

120

Сперанский. Нынче, Олимпиада Егоровна, троих на кладбище хоронили.

Липа. Вы Саввы не видали?

Сперанский. Нет, не пришлось, к сожалению... Троих, я говорю, хоронили. Старика одного, – может, знаете: Петра Хвостова?

Липа. Да, знаю. Умер?

Сперанский. Да. Его да двоих ребят. Бабы очень плакали.

Липа. Отчего они умерли?

130 Сперанский. Извините, не поинтересовался. Детское что-нибудь. А вы не изволили замечать, Олимпиада Егоровна, что, когда ребенок умрет, он делается весь синий? И вид у него такой, будто он хочет закричать. У взрослых лицо спокойное, а у них нет. Отчего бы это?

Липа. Не знаю. Не замечала.

Сперанский. Очень интересное явление.

Липа. Вот и папаша. Говорила – досидишься, а теперь брань вашу слушать. *(Уходит.)*

Егор Иванович. Кто лампу зажег?

140 Сперанский. Здравствуйте, Егор Иванович.

Егор Иванович. Здравствуйте. Кто лампу зажег?

Сперанский. Олимпиада Егоровна зажгли.

Егор Иванович *(тушит, закрывает окна)*. У Савки научилась. *(К Тюхе.)* А ты это что, а? Докуда же это будет, а? Докуда же я из-за вас, прохвостов, муку принимать буду, а? Где водку взял, а?

Тюха. В буфете.

Егор Иванович. Так это она для тебя там стоит?

Тюха. У вас, папаша, очень смешная рожа.

Егор Иванович. Давай водку!

150 Тюха. Не дам.

Егор Иванович. Давай!

Тюха. Не дам!

Егор Иванович *(бьет его по лицу)*. Давай, говорю!

Тюха *(падая на диван, не выпуская бутылки)*. Не дам!

Егор Иванович *(садится, спокойно)*. Ну и жри, дьявол, пока лопнешь. Да, о чем бишь я говорил? Вот дурак-то, сбил меня... Да, богомolec здорово идет. Год нынче неурожайный, так, должно быть, еще от этого: жрать нечего, так они Богу молиться. Так тебе Бог всякого дурака и послушал! Всех дураков слушать, так умному человеку нельзя будет жить. Дурак – так он дурак и есть. Потому и дураком называется.

Сперанский. Это справедливо!

Егор Иванович. Еще бы не справедливо. Отец Парфений мудрый человек, он их облапошит. Гроб, слышишь, новый поставил. Старый-то богомольцы изгрызли, так он новый поставил.

Старый, так на место старого. Сгрызут и этот, им что ни поставь...  
Тюха, опять пьешь?

Тюха. Пью.

Егор Иванович. Пью!.. Вот пойти да по харе тебя, а? Что тогда скажешь?

170

Входит Савва, очень веселый и оживленный; сутулится меньше обычного, говорит быстро, смотрит резко и прямо, но взглядом останавливается ненадолго.

Савва. А, философы! Родитель! Почтенная компания! Почему у вас темно тут, как у дьявола под мышками? Для философов нужен свет, а в темноте хорошо только людей обирать. Где лампа? Ага, вот она! *(Зажигает.)*

Егор Иванович *(иронически)*. Может, и окна откроешь?

Савва. Верно. И окна открою. *(Открывает)*. Ого, идут-то!

Сперанский. Целая армия.

Савва. И все в свое время умрут и станут покойниками. И тогда узнают правду, ибо приходит она не иначе как в сопутствии червей. Верно я схватил суть вашей оптимистической философии, мой худой и длинный друг?

Сперанский *(со вздохом)*. Вы все шутите.

Савва. А вы все грустите! Слушайте: оттого, что дьяконица плохо кормит вас, и от грусти вы скоро умрете, и физиономия у вас тогда будет самой спокойной. Острый нос, и вокруг него разлито этакое спокойствие. Неужели вас и это не утешает? Вы подумайте: островок носа среди целого океана спокойствия.

Сперанский *(уныло)*. Вы все шутите.

190

Савва. И не думаю. Разве можно шутить над смертью? Нет. Когда вы умрете, я буду идти за вашим гробом и показывать: смотрите, вот человек, который узнал правду. Или нет, лучше так: я повешу вас, как знамя истины. И по мере того, как с вас станет сползать кожа и мясо, будет выступать правда. Это будет в высшей степени поучительно. Тюха, что уставился на меня?

Тюха *(мрачно)*. У тебя очень смешная рожа.

Егор Иванович *(водит глазами, недоумевая)*. Что они говорят?

Савва. Отец, что это у тебя физиономия? Запачкана чем-то? Черен ты как сатана.

Егор Иванович *(хватаясь за лицо)*. Где?

Сперанский. Это они шутят. Ничего нет, Егор Иванович, да ничего же!

Егор Иванович. Ну и дурак! Сатана! Сам сатана, прости Господи!

173

Савва (*делает страшную рожу, приставляет из пальцев рога*). Я черт.

Егор Иванович. Черт и есть!

210 Савва (*оглядываясь*). А не будет ли черту поужинать? Грешниками я сыт, а так, чего-нибудь повкуснее?

Егор Иванович. А ты где шатался, когда люди ужинали? Теперь и так посидишь.

Савва. С ребятами я сидел, родитель, с ребятами, – они сказки мне рассказывали. Ну и здоровы же рассказывать! И все про чертей, да про ведьм, да про покойников. По вашей специальности, философ. Рассказывают, а сами трусят, – оттого и сидели так долго – боятся домой бежать. Один Мишка молодец: ничего не боится.

220 Сперанский (*равнодушно*). Что ж, и он умрет.

Савва. Господин хороший! Да не будьте же вы мрачны, как центральное бюро похоронных процессий! И охота вам каркать: умрет, умрет. Вот родитель мой совсем скоро умрет, а смотрите, какое у него приятное и веселое лицо.

Егор Иванович. Сатана! Совсем сатана!

Сперанский. Да если же мы не знаем...

Савва. Голубчик! Жизнь – ведь это такое интересное занятие. Понимаете, жизнь! Пойдемте завтра в ладыжки играть, а? Я вам свинчатку дам – какую, батенька, свинчатку!.. (*Незаметно входит*

230 *Липа*.) И потом, вам нужно заниматься гимнастикой. Серьезно, голубчик. Смотрите, какая у вас грудь; вы через год подохнете от чахотки. Дьяконица будет рада, но какой переполох поднимется среди покойников! Серьезно. Вот я занимался гимнастикой, и поглядите. (*Легко поднимает за ножку тяжелый стул*.) Вот!

Липа (*очень громко смеется*). Ха-ха-ха!

Савва (*опуская стул, несколько сконфуженно*). Чего ты? Я думал, тебя нет...

Липа. Так. Тебе бы следовало в цирк поступить акробатом.

Савва (*угрюмо*). Не говори глупостей.

240 Липа. Обиделся?

Савва (*вдруг смеется весело и добродушно*). Ну вот, чепуха! В цирк так в цирк. Мы вместе со Сперанским поступим. Только не акробатами, а клоунами... согласны? Вы умеете горящую паклю глотать? Нет? Ну погодите, я и этому вас научу. А ты вот что, Липа, дай-ка мне поесть. С утра не жрал.

Егор Иванович. Сатана! Совсем сатана! Не жрал. Так кто же теперь жрет? Где это видано?



Савва. А ты вот посмотри, это очень интересно. Ты погоди, отец, я тебя тоже научу паклю глотать, – совсем молодцом будешь!

250

Егор Иванович. Меня? Дурак ты, больше ничего. Тюха, давай водку!

Тюха. Не дам.

Егор Иванович. Чтоб вас всех... Вскормил, взлелеял...  
(Уходит.)

Липа (подавая молоко и черный хлеб). Ты что-то весел сегодня?

Савва. Да и ты весела.

Липа (смеется). Я весела.

Савва. И я весел.

Пьет с жадностью молоко. На улице шаги становятся громче, наполняют звуком 260  
своим комнату и снова слегка стихают.

Савва. Как топочут!

Липа (выглядывает в окно). Завтра будет хорошая погода. Сколько я ни запомню, в этот день всегда солнце.

Савва. М-да. Это хорошо.

Липа. И когда несут икону, вся она сверкает от драгоценных камней, как огонь, и только лик ее темнеет. Не радуют его эти драгоценности, мрачен и темен он, как горе народное... (Задумывается.)

Савва (равнодушно). М-да? Вот как.

270

Липа. Когда подумаешь, сколько пало на него слез, сколько слышал он стонов и вздохов! Уже одно это делает его такую святынею – для всякого, кто любит и жалеет народ, понимает его душу. Ведь никого у них нет, кроме Христа, – у всех этих несчастных, убогих... Когда я была маленькая, я все ждала чуда...

Савва. Это было бы интересно.

Липа. Но теперь я поняла, что Сам Он ждет от людей чуда, ждет, что перестанут люди враждовать и губить друг друга.

Савва. Ну, и что же?

Липа (сурово смотрит на него). Ничего. Завтра сам увидишь, 280  
когда понесут Его. Увидишь, что делает с людьми одно только сознание, что Он здесь, с ними. Живут они весь год грязно, нехорошо, в ссорах и страданиях, а в этот день точно исчезает все... Страшный и радостный день, когда вдруг точно сбрасываешь с себя все лишнее и так ясно чувствуешь свою близость со всеми несчастными, какие есть, какие были, – и с Богом!

Савва (быстро). Который, однако, час?

Сперанский. Сейчас пробило четверть двенадцатого, если не ошибаюсь.

- 290      Л и п а. Рано еще.  
С а в в а. Что рано?  
Л и п а. Так. Рано, говорю, еще.  
С а в в а (*подозрительно*). Что это ты?  
Л и п а (*вызывающе*). А что?  
С а в в а. Почему ты сказала: рано еще?  
Л и п а (*бледнея*). Потому что сейчас только одиннадцать. А когда будет двенадцать...
- С а в в а (*вскакивает и быстро идет к ней. Тяжело смотрит на нее, говорит медленно, слово за словом*). Так вот что! Когда будет двенадцать...
- 300 (*Поворачивая голову к Сперанскому, но продолжая смотреть на Липу*.) Послушайте вы, ступайте домой!
- Л и п а (*с испугом*). Нет, подождите еще, Григорий Петрович. Пожалуйста, я прошу вас!
- С а в в а. Если вы не уйдете сейчас, я выброшу вас в окно. Ну?
- С п е р а н с к и й. Извините, я никак не думал, я с Антон Егорычем, я сейчас. Тут где-то моя шляпа... положил я ее...
- С а в в а. Вот ваша шляпа. (*Бросает.*)
- Л и п а (*слабо*). Посидите еще, Григорий Петрович.
- 310 С п е р а н с к и й. Нет, уже поздно. Я сейчас, сейчас. До приятного свиданья, Олимпиада Егоровна. До приятного свиданья, Савва Егорович. А они, кажется, уже спят – их в постельку бы надо. Иду, иду. (*Уходит.*)
- С а в в а (*говорит тихо и спокойно, в движениях тяжел и медлителен, как будто вдруг сразу почувствовал тяжесть своего тела*). Ты знаешь?
- Л и п а. Знаю.
- С а в в а. Все знаешь?
- Л и п а. Все.
- С а в в а. Монах сказал?
- 320 Л и п а. Монах сказал.
- С а в в а. Ну?
- Л и п а (*слегка отступая и поднимая руки для защиты*). Ничего не будет. Взрыва не будет. Взрыва не будет, ты понимаешь, Савва? Не будет!
- Пауза. На улице шаги и невнятный говор. Савва поворачивается и с особенной медлительностью сгорбившись прохаживается по комнате.
- С а в в а. Ну?
- Л и п а. Так лучше, брат, поверь мне. Поверь мне!
- С а в в а. Да?
- 330 Л и п а. Ведь это было – не знаю что! Сумасшествие какое-то. Ты подумай!

Савва. Это – наверно?

Липа. Да, наверно. Теперь уже ничего не сделаешь.

Савва. Расскажи, как это произошло. *(Осторожно садится и тяжело смотрит на Липу.)*

Липа. Я уже давно догадалась... Еще тогда, в тот день, когда мы говорили. Только я еще не знала – что. И я видела... машинку эту: у меня есть другой ключ от этого сундука.

Савва. У тебя склонности сыщика. Продолжай.

Липа. Я не боюсь оскорблений.

340

Савва. Ничего, ничего, продолжай.

Липа. Потом я видела, что ты часто разговариваешь с этим, с Кондратием. А вчера я посмотрела – машинки этой уже нет. И я поняла.

Савва. Второй, ты говоришь, ключ?

Липа. Да... ведь сундук этот мой. Ну и сегодня...

Савва. Когда?

Липа. Уже к вечеру – я никак не могла найти Кондратия – я сказала ему, что знаю все. Он очень испугался и рассказал мне остальное.

350

Савва. Достойная пара: сыщик и предатель. Ну?

Липа. Если ты будешь оскорблять меня, я замолчу.

Савва. Ничего, ничего, продолжай.

Липа. Он хотел донести игумену, но я не позволила. Я не хочу губить тебя.

Савва. Да?

Липа. Когда все это устроилось, я вдруг поняла, как это дико все – так дико, что этого не может быть. Кошмар какой-то. Нет, этого не может быть! И мне стало жаль тебя.

Савва. Да?

360

Липа. Мне и сейчас жаль тебя. *(Со слезами.)* Саввушка, милый, ведь ты мой брат, ведь я качала тебя в люльке. Миленький, что ты задумал, – ведь это же ужас, сумасшествие. Я понимаю, что тебе тяжело было смотреть, как живут люди, и ты дошел до отчаяния... Ты всегда был хороший, добрый, и я понимаю тебя. Разве мне самой не тяжело смотреть? Разве я сама не мучусь? Дай мне твою руку...

Савва *(отстраняя ее руку)*. Он сказал тебе, что пойдет к игумену?

Липа. Да, но я не позволила ему.

370

Савва. А машинка у него?

Липа. Он завтра отдаст ее тебе; мне он побоялся ее отдать. Саввушка, миленький, ну не смотри на меня так! Я понимаю, что тебе неприятно, но ты умный, ты не можешь не сознавать, что ты

хотел сделать. Но ведь это же бессмыслица, это бред, это может присниться только ночью. Разве я не понимаю, что жить тяжело, не мучусь этим! Но нужно бороться со злом, нужно работать... Даже эти товарищи твои, анархисты... убивать нельзя, никого нельзя, но я все же их понимаю: они убивают злых...

380 С а в в а. Они не товарищи мне; у меня нет товарищей.

Л и п а. Но ведь ты же анархист?

С а в в а. Нет.

Л и п а. Кто же ты?

Т ю х а (*поднимая голову*). Идут. Всё идут. Слышишь?

С а в в а (*тихо, но угрожающе*). Идут!

Л и п а. Да, и кто идет, ты подумай. Ведь это горе человеческое идет, а ты хотел отнять у него последнее – последнюю надежду, последнее утешение... И зачем, во имя чего? Во имя какой-то дикой, страшной мечты о “голой земле”... (*Смотрит в темную комнату с ужасом.*) Голая земля – подумать страшно – голая земля! Как мог человек додуматься до этого: голая земля. Нет ничего, все надо уничтожить. Все. Над чем люди работали столько лет, что они создали с таким трудом, с такой болью... Несчастные люди! и среди вас находится человек, который говорит: все это надо сжечь... огнем!

С а в в а. Ты хорошо запомнила мои слова.

Л и п а. Ты разбудил меня, Савва. Когда ты сказал мне, я вдруг точно прозрела, я полюбила все. Понимаешь, полюбила! Вот эти стены... прежде я не замечала их, а теперь мне жаль их, так жаль... до слез. И книги, и все, каждый кирпич, каждую деревяшку, отделанную человеком. Пусть оно плохо, – кто говорит, что оно хорошо! Но за то я и люблю его – за неудачу, за кривые линии, за несбывшиеся надежды... за труд, за слезы! И все, Савва, кто услышит тебя, так же почувствуют, как и я, так же полюбят все старое, милое, человеческое...

С а в в а. Мне дела нет до вас.

Л и п а. Нет дела! А до кого же дело? Нет, Савва, ты никого не любишь, ты только себя любишь, свои мечты. Кто любит людей, тот не станет отнимать у них все, тот не поставит свое желание выше их жизни. Уничтожить все! Уничтожить Голгофу!.. Ты подумай: (*с ужасом*) уничтожить Голгофу! Самое светлое, что было на земле! Пусть ты не веришь в Христа, но если в тебе есть хоть капля благородства, ты должен уважать Его, чтить Его благородную память: ведь Он же был несчастен, ведь Он же был распят – распят, Савва!.. Ты молчишь?

С а в в а. Молчу.

Л и п а. Я думала... я думала... если тебе удастся это, я убью тебя, отравлю. Как самого вредного!

С а в в а. А если это не удастся...

Л и п а. Ты еще надеешься?

420

С а в в а. А если это не удастся, я убью тебя.

Л и п а (*делает шаг к нему*). Убей! Убей! Дай мне пострадать за Христа... за Христа, за людей!

С а в в а. Да, я убью тебя.

Л и п а. Да разве я не думала об этом? Разве я об этом не мечтала? Господи! Пострадать за Тебя – да есть ли счастье выше этого!

С а в в а (*презрительным жестом указывая на Липу*). И это – человек! И это считалось лучшим! И этим гордились! Н-ну, не богаты же вы хорошим!

430

Л и п а. Оскорбляй, издевайся – нас всегда оскорбляли – прежде чем убить.

С а в в а. Нет. Я не думаю тебя оскорблять – как я могу оскорбить тебя! Ты просто неумная женщина. Таких много было. Много есть и сейчас. Просто неумная, ничтожная, даже невинная, как все, кто ничтожен. И если я хочу убить тебя, то ты не гордись этим, не думай, что ты особенная, достойная моего гнева. Нет. Просто мне будет немного легче. Когда мне случалось колоть дрова и я промахивался и вместо полена попадал по порогу, это было легче, чем если кто-нибудь удерживал мою руку. Поднятая 440 рука должна упасть.

Л и п а. И подумать, что этот зверь – мой брат!

С а в в а. Которого ты качала в люльке и ставила на горшок. Да. Мне несколько не странно, что ты моя сестра, а вот это чудело – мой брат. Эй, Тюха? Идут! (*Тюха ворочает головой, бессмысленно смотрит, не отвечает.*) Да. Мне несколько не странно, когда все ничтожное называет себя моими сестрами и братьями, а когда узнает, кто я, идет покупать мышьяку на пятиалтынный – для брата. Травить меня, видишь ли, уже пробовали. Та, которая ушла от меня, пробовала, но не хватило духу. Дело в том, что все сестры и 450 братья мои, помимо прочего – трусы!

Л и п а. Я бы отравила.

С а в в а. Не спорю. Ты немного истеричка, а истерички – народ решительный, если только не расплачутся раньше.

Л и п а. Я истеричка? Хорошо, пусть так! Пусть так – а кто ты, Савва?

С а в в а. Меня это мало интересует.

Л и п а. Они идут, Савва. Они идут! И они найдут то, что им надо... И это сделала истеричка! Ты слышишь, сколько их? И 460 если бы они узнали... Если бы подойти сейчас к окну и открыть и крикнуть: вот он, здесь, человек, который покушается на вашего Христа... Хочешь, я подойду сейчас? Хочешь? *(В испуге делает шаг к окну.)* Хочешь?

С а в в а. Да, средство хорошее – избавиться от мученического венца. Что ж, крикни. Да поосторожнее: Тюху не свали!

Л и п а *(возвращается)*. Мне жаль тебя, ты разбит, а лежачего не бьют. Но помни! Но помни, Савва: это идут тысячи твоих смертей.

С а в в а *(улыбаясь)*. Шаги смерти.

470 Л и п а. Помни, что каждый из них счастлив был бы убить тебя, раздавить, как гадину. Ты слышишь, сколько их? И каждый из них – твоя смерть! Если простого вора, конокрада, они бьют до смерти, то что же они должны сделать с тобой? Ведь ты Бога у них хотел украсть!

С а в в а. Это, верно, – тоже собственность!

Л и п а. И ты еще смеешься? Кто дал тебе право? Кто дал тебе власть над людьми, как смеешь ты касаться того, что для них – право, касаться их жизни?

С а в в а. Кто дал мне право? Вы дали. Кто дал мне власть? 480 Вы дали. И я держу ее крепко – попробуй отними! Вы – вашей злостью, вашим безумием, вашим подлым бессилием. Право! Власть! Превратили землю в помойную яму, в бойню, в жилище рабов, грызут друг друга и спрашивают: кто осмелился схватить их за горло? Я! Понимаешь? Я! *(Встаем.)*

Л и п а. Ты такой же человек, как и все.

С а в в а. Я – мститель. За моей спиной все удушенное вами. Ага! Блудили себе потихоньку и думали: никто не узнает, ничего, обойдется понемногу. Лгали, бесстыдствовали, кривлялись перед своими алтариками и бессильным Богом и думали: ничего, бояться некого, мы здесь одни. А вот пришел человек и говорит: отчет! 490 Что сделали, ну-ка? Отчет давайте, ну? – да без мошенничества, я вас знаю! За каждого потребую! Ни одной кровинки не прощу! Ни одной слезы вам не оставлю!

Л и п а. Но уничтожить все... Ты подумай!..

С а в в а. А что же с ними делать, по-твоему? Уговаривать этих баранов свернуть с их скотской тропы, ловить каждого за рога и отводить в сторону, надеть фрак и читать им лекции? Как будто мало их учили! Как будто для них имеют значение слова, мысли. Мысль! Чистая, несчастная мысль! Они развратили ее, научили

мошенничать, сделали ее продажной тварью, что отдается за пя- 500  
так. Нет, сестра, жизнь коротка, и тратить ее на диспуты с баранами я не намерен. Огнем их надо! Огнем! Пусть надолго запомнят день, когда пришел на землю Савва Тропинин!

Л и п а. Но чего ты хочешь? Чего ты хочешь?

С а в в а. Чего хочу? Освободить землю. Освободить мысль! Освободить человека и уничтожить всю эту двуногую болтающую тварь! Он, теперешний, умный, он уже готов для свободы, но прошлое ест его душу, как короста, замыкает его жизнь в железный круг совершившегося, фактов. Факты я хочу уничтожить, факты! Сломать тюрьму, в которой запрятаны идеи, и дать им крылья, и 510  
открыть им новый, великий, неведомый простор. В огне и громе перейти хочу я мировую грань!

Л и п а (*закрывая рукой глаза*). Мне страшно. Мне страшно! Я вижу все в огне...

С а в в а. Ты думаешь, я не знаю, что каждый из этих глупцов рад бы убить меня? Но этого не будет, нет. Настало мне время прийти, и я пришел, и вот стою я среди вас. Будьте готовы! Время настало! Ничтожная! Ты думала, что, воровски отнявши у меня одну маленькую возможность, ты ограбила меня всего? Нет, я все так же богат. 520

Л и п а (*с закрытыми глазами*). Тебя убьют. Этого не может быть, чтобы тебя не убили! Тебя убьют.

С а в в а. Ну и пускай убьют. Но бойся тех цветов, что взойдут над моей могилой – невиданных еще цветов последней мести! Я только посланный, пославший же меня... пославший же меня – бессмертен. И не я, так другой, а вашему миру придется худо. Сочтены дни его, и часы его измерены.

Пауза.

Л и п а. Ты страшный человек. Я думала, ты будешь поражен неудачей, а ты... ты – как сатана и, падая, становишься еще чер- 530  
нее.

С а в в а. Да. Это только воробьи, Липа, прямо с земли поднимаются кверху, а крупной птице надо сперва упасть, чтобы хорошо расправить крылья.

Л и п а. Неужели тебе не жаль детей? Сколько должно погибнуть их!..

С а в в а. Каких детей? Ах, да. Мишка... (*Добродушно.*) Мишка – славный парень, это верно. Он подрастет, спуску вам не даст... Дети, да! Недаром вы уже начинаете побаиваться их! Ничего. Я детей люблю, это верно. (*С гордостью*) И меня они любят, а вас 540  
вот – недолюбливают.

Л и п а. Мы не играем с ними в ладыжки.

С а в в а. Какая ты глупая, сестра! Да если же я люблю играть?

Л и п а. Вот и играл бы.

С а в в а. И буду играть.

Л и п а. Когда ты так говоришь, мне опять кажется, что все это сон... что было, что мы говорили. Неужели это правда? и ты хочешь убить меня?

550 С а в в а. Это как понадобится. Может быть, и не придется.

Л и п а. Ты шутишь!

С а в в а. Вы все твердите, что я шучу. До чего отвыкли вы от серьезного!

Л и п а. Нет, это не сон. Идут!

С а в в а. Да, идут.

Слушают.

Л и п а. И ты еще как будто веришь. Во что ты веришь?

С а в в а. Я верю в свою судьбу.

На монастырской башне начинают бить часы.

560 С а в в а. Двенадцать.

Л и п а (*считает*). Семь... Восемь... И подумать, что в этот час должно было совершиться... при одной мысли...

Глухой звук сильного взрыва.

Л и п а. Что это?

С а в в а. Ага, вот оно!

Оба бросаются к окнам, будя Тюху, который сонно ворочает головой. На улице шаги на миг останавливаются; потом слышно, как все бежит. Испуганные вскрики, плач, отрывочные громкие слова: “Что это?” – “Господи!” – “Пожар!” – “Пожар!” – “Нет, завалилось что-то”. – “Бежим!” – и часто повторяется слово “монастырь”.

570

Т ю х а. Бегут? Куда они бегут? А? Почему никого нет?

П е л а г е я (*полуодетая, проходит*). Господи, батюшка! Никак монастырь горит. Господи, батюшка! А ты тут, пьяница, василиск...

Т ю х а. Ого! Бегут!.. Рожи-то, а?

Гулко проносится первый удар всполошного колокола. Затем удары становятся чаще, – торопливые, тревожные, неровные, они сливаются с гулом улицы и точно лезут в окна.

П е л а г е я (*плачет*). Господи, куда же теперь деваться?

Бежит. Крики на улице сильнее. Кто-то кричит в одну ноту: “ай-ай-ай!” и пропадает в общем тревожном гуле и звоне.

580



Л и п а (*отходя от окна, очень бледная, растерянная*). Что же это? Не может быть. Не может быть! Тюха, Тюха, проснись! Тюха, братик, что же это, а? Тюха!

Т ю х а (*успокоительно*). Это ничего. Это всё рожи.

С а в в а (*отходя от окна, спокойный и строгий, но тоже бледный*). Ну что, сестра?

Л и п а (*мечется*). Я побегу. Я побегу. Где платок, где платок? Господи Боже мой, да где же платок?

С а в в а. Платок, вот он, но я все равно его не дам. Посиди, там тебе нечего делать.

590

Л и п а. Пусти!

С а в в а. Нет, посиди, посиди! Теперь все равно уже поздно.

Л и п а. Поздно...

С а в в а. Да, поздно. Ты слышишь, как бухают?

Л и п а. Я побегу, побегу.

С а в в а. Сиди, сиди (*сажает ее*). Тюха, слышал? Бога взорвали!

Т ю х а (*со страхом смотрит на лицо Саввы*). Савка, не смей меня, отвернись!

Савва улыбается и ходит по комнате решительными, очень легкими шагами, без обычной сутуловатости.

600

Л и п а (*слабо*). Савва!

С а в в а. Что? Громче!..

Л и п а. Неужели это правда?

С а в в а. Правда.

Л и п а. И Его нет?

С а в в а. И Его нет.

Липа плачет, сперва тихо, потом все громче и громче. Набат и крики точно растут. Грохочут какие-то повозки.

С а в в а. Бегут! Как они, однако!.. (*Липа говорит что-то, но слов ее не слышно*.) Громче! Не слышу. Видишь, как они раззвонились!

610

Л и п а (*громко*). Убей меня, Савва!

С а в в а. Зачем? Ты умрешь сама.

Л и п а. Я не могу! Я убью себя.

С а в в а. Убивай! Убивай! Убивай скорей!

Липа плачет, уткнувшись головой в кресло. Тюха с перекосившимся от страха лицом смотрит на Савву и обе руки держит в готовности у рта. Гулко бухает всполошной колокол, сливая свои тревожные звуки с громкою речью Саввы.

С а в в а (*громко*). Ага! Зазвонили! Звоните, звоните! Скоро зазвонит вся земля. Я слышу!.. Я слышу! Я вижу, как горят ваши города. Я вижу пламя! Я слышу треск! Я вижу, как валяются на го- 620  
лову дома! Бежать некуда... Спасенья нет!.. Спасенья нет! Огонь

езде! Горят церкви, горят фабрики – лопаются котлы. Конец рабьему труду!

Тю х а (*трясая от страха*). Савка, замолчи! Я смеяться буду!

С а в в а (*не слыша*). Настало время! Настало время!.. Ты слышишь! Земля выбрасывает вас. Нет вам места на земле! Нет!.. Он идет! Я вижу его! Он идет, свободный человек! Он родится в пламени!.. Он сам – пламя и разрушение! Конец рабьей земле!

Тю х а. Савка, замолчи!

630 С а в в а (*наклоняясь к Тюхе*). Будьте готовы! Он идет. Ты слышишь его шаги? Он идет! Он идет!..

Занавес.

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Вблизи монастыря. Большая дорога, наискось пересекающая сцену. По ту сторону дороги – через реку – широкий вид на окрестности: луга, леса, села с горящими на солнце крестами церквей. Направо вдали, на выступе горы, над блестящей излучиной реки видна часть монастырских стен и башен. По эту сторону дороги бугроватое место, покрытое сильно притоптанной травой. Раннее солнечное утро: часов пять-шесть. Над лугами кое-где туман, медленно рассеивающийся. По дороге изредка проходят богомольцы, торопящиеся к монастырю, провозят повозки с калеками и уродами. Со стороны монастыря приносится гул многотысячной, чем-то радостно возбужденной толпы. Отдельных голосов не слышно, 10 но чувствуется пение слепцов, крики, радостный, торопливый, частый говор. Впечатление той же стихийности и силы. Через равные промежутки, как волна, крик упадает, и тогда ясно слышно пение слепцов.

По эту сторону дороги Липа и молодой послушник. Липа, одетая как и ночью, в небрежно повязанном белом платке, усталая от радости, почти грезящая, сидит на бугорке. Возле стоит послушник; лицо у него растерянное, недоумевающее, движения неуверенные, нецелесообразные; пытается улыбнуться, но улыбка выходит кривая, жалкая. Похож на обиженного ребенка, не знающего точно причины своих страданий.

Липа (*развязывая платок*). Господи, как хорошо. Так бы и умер- 20 ла тут. Не могу надышаться! Как хорошо! Как хорошо!

Послушник (*оглядывается*). Да, хорошо. Только я не могу там быть. Не могу. Толкаются, лезут... Как они эту женщину раздавили... У нее ребенок. Я не мог смотреть. Я... я уйду в лес...

Липа. Как хорошо, Господи!

Послушник (*с тоской смотрит на широкую даль*). Я пойду в лес.

Липа. И еще вчера только ничего этого не было. Ни чуда, ничего. Был Савва. Я не могу поверить, что это было вчера: как будто год прошел, сто лет... Господи! 30

Послушник (*морщась*). Зачем это он? Ну зачем?

Липа. Вы догадываетесь, Вася?

Послушник (*машет рукой*). Говорил, пойдете в лес. Нет, нужно!

Липа. Он что-нибудь рассказывал вам?

Послушник (*машет рукой*). И надо было. Э-эх!

Липа. Ах, Вася, Вася! С вашим лесом вы прозевали самое великое, такое великое, чего не запомнят люди. Ах, Вася, ну можно ли говорить о чем-нибудь, когда вот сейчас, вот перед вами совершилось чудо. Вы понимаете: чудо! Даже сказать страшно: чудо! 40 Господи! Вы где были, Вася, когда сделался взрыв? В лесу?

Послушник. В лесу. Я взрыва не слышал. Я только набат услышал.

Липа. Ну?

П о с л у ш н и к. Да ничего. Прибежал, а у нас... ворота раскрыты, плачут все, как помешались. И икона...

Л и п а. Ну-ну... Вы видели?

П о с л у ш н и к. Да ничего, стоит. А кругом... *(Оживляясь.)* Вы знаете решетку железную, ту, ну вы знаете, – скрутило всю, как 50 веревку. Даже смотреть смешно: как будто она мягкая. Я попробовал, ну нет! Какая сила, а? Должно быть, большой заряд...

Л и п а. Ну а икона, икона?

П о с л у ш н и к. Да ничего, стоит. Молятся наши около нее.

Л и п а. Господи! И стекло цело?

П о с л у ш н и к. И стекло цело.

Л и п а. Мне говорили, но я все сомневалась... Прости меня, Господи. Ну что, как они? Рады, очень?

П о с л у ш н и к. Да, рады. Как пьяные все. Не поймешь, что говорят. Чудо, чудо. Отец Кирилл как поросенок визжит: уи-уи. 60 Ему холодную припарку делали на голову. Он толстый, того и гляди помрет. Нет, не могу я тут. Ступайте домой, Олимпиада Егоровна, а? Я вас провожу.

Л и п а. Нет, Вася, милый. Я туда пойду.

П о с л у ш н и к. Не ходите, ей-богу, не ходите. Они вас задавят. Как они бабу эту! Все как пьяные. Лопочут, лопочут. Глаза вытарашенные... Слышите, как они там?

Л и п а. Вы еще мальчик, Вася, вы этого еще не понимаете. Чудо! Люди всю жизнь ждали чуда, может, уже отчаиваться стали, а тут... Господи! Да тут с ума сойти можно от радости. Как я 70 услышала вчера: “чудо”, нет, думаю, что же это такое? Не может быть. Только вижу: плачут, крестятся, на колени становятся. И набат перестал.

П о с л у ш н и к. Отец Афанасий звонил. Он страсть какой здоровый.

Л и п а. И только и слышно: чудо, чудо! Никто ничего не говорит, а только слышно: чудо, чудо! Как будто вся земля заговорила. Я и сейчас как глаза закрою, так и слышу: чудо, чудо! *(Закрывает глаза и слушает, счастливо улыбаясь.)* Как хорошо!

П о с л у ш н и к. Мне Савву Егоровича жалко!.. Шумят-то 80 как, а?

Л и п а. Оставьте, не нужно о нем говорить. Он Богу ответит. Правда, что сегодня будут “Христос воскрес” петь, когда икону понесут?.. вместо того, что всегда поют... Вася, вы слышите, я вас спрашиваю?..

П о с л у ш н и к. Да, правда. Говорят. Ступайте домой, Олимпиада Егоровна, а?

Л и п а. Ступайте, если хотите.

П о с л у ш н и к. Да как же я вас оставлю: они скоро сюда нахлынут. Господи, Савва Егорович сюда идет!

Идет С а в в а. Он без шапки. Лицо потемневшее, землистое; под глазами круги. 90  
Смотрит исподлобья острым, неподвижным взглядом. Часто озирается и точно прислушивается к чему-то. Походка тяжелая, но быстрая. Увидев Липу и послушника, сворачивает к ним. При его приближении Липа встает и отворачивается.

С а в в а. Кондратия не видали?

П о с л у ш н и к. Нет, он в монастыре.

Савва стоит молча. Крик у монастыря упал, и слышно жалобное пение слепцов.

П о с л у ш н и к. Савва Егорович!

С а в в а. Папироски у тебя нет?

П о с л у ш н и к. Нет же, я не курю, Савва Егорович. *(Плачушим*  
*голосом.)* Пойдемте в лес! 100

Савва стоит молча.

П о с л у ш н и к. Они вас убьют ведь! Савва Егорович, пойдете в лес, голубчик...

Савва внимательно смотрит на него, молча поворачивается и уходит.

П о с л у ш н и к. Савва Егорович! Ей-богу, лучше бы в лес!..

Л и п а. Оставьте его. Он, как Каин, не находит себе места на земле. Вся земля радуется, а он...

П о с л у ш н и к. У него лицо черное... мне жалко.

Л и п а. Он весь черный... Вы дальше от него будьте, Вася. Вы не понимаете еще, кого вы жалеете. Я его сестра, я люблю его, — 110  
но если его убьют, это будет счастье для всех людей. Вы еще не знаете, что он хотел сделать: подумать страшно. Это сумасшедший, Вася, страшный сумасшедший, или уж не знаю кто...

П о с л у ш н и к *(машет рукой)*. Да вижу же я, ну что вы мне говорите... только жалко мне его, ну и противно тоже. Ну зачем это он? Ну зачем? Придумывают люди всякую глупость... Эх!

Л и п а. У меня одна только надежда, что он понял наконец. А если...

П о с л у ш н и к. Ну что еще — если?

Л и п а. Так, ничего. Пришел он — и точно туча на солнце нашла. 120

П о с л у ш н и к. Вот вы тоже: весело вам — ну и радуйтесь же, а то “если” да “так”. Нельзя без этого?

Народу незаметно прибывает. На дороге останавливаются две повозки с калекми; уже некоторое время под деревом сидит хромой с костылями и плачет, сморкаясь и утираясь рукавом. Со стороны монастыря показывается человек в чуйке.

Человек в чуйке (*суетливо и озабоченно*). Калек-то надо к Ему поближе, калек-то, убогих-то. Ну, бабы, заснули! Вези, вези, 130 там отдохнешь. Ты что, дедушка, не идешь, а? Тебе с ногами тоже поближе надо. Иди, дед, иди.

Хромой (*плачет*). Не могу я ийти.

Человек в чуйке (*озабоченно*). Ах, какой ты! Как же это ты так, а? Ну давай пособилю что ль... Ну, подымайся, ну?

Хромой. Не могу.

Прохожий. Не действует? Дай-ка я... Его главное дело поставить, а там он заскачет. Верно, дед?

Человек в чуйке. Ты его с того боку, а я с этого. Ну, дедушка, двигай, двигай, недолго потерпеть осталось.

140 Прохожий. Вот и засакал. Так, так! Работай, дед, внакладе не останешься. (*Уходят.*)

Послушник (*весело улыбаясь*). Как они его завели! Ловко, а? Так и пошел... ишь ты, старый!

Липа (*плачет*). Господи! Господи! Какие люди хорошие!

Послушник (*огорченный*). Ну чего вы? Да не плачьте же, ей-богу. Ну чего вы? То ничего, а то плакать.

Липа. Ничего, Вася, ничего. Я от радости плачу. Отчего вы не радуетесь, Вася? Вы не верите в чудо?

150 Послушник. Да верю же, Господи. Только я не могу на это смотреть. Все как пьяные лопочут, что – не разберешь. Бабу эту раздавили... (*Брезгливо, с тоскою.*) Они ведь ей кишки выпустили... Ах, Господи! Просто не могу. И все это так... Отец Кирилл хрюкает: уи-уи-уи. (*Смеется, тоскливо.*) Ну зачем он хрюкает?

Липа (*строго*). Это вы у Саввы научились!

Послушник. Да нет же! Ну зачем он хрюкает? (*Смеется, тоскливо.*) Ну зачем?

Подходит Егор Иванович. Одет по-праздничному. Борода и волосы расчесаны; очень важен и строг.

Егор Иванович. Ты чего это тут, а? Почему в таком 160 виде?

Липа. Не успела переодеться.

Егор Иванович. А сюда успела? Куда не надо, успела, а куда надо – не успела. Иди-ка домой да переоденься. Нехорошо, нигде этого не видано.

Липа. Ах, папаша!..

Егор Иванович. Нечего ахать. А папаша и есть папаша. Вот видишь, оделся же я. Оделся и иду как надо. Да. Со стороны посмотреть, так и то приятно: оделся как надо, да. А ты бы, того, для такого дня-то, ты бы за стойкой-то немного постояла,

да. Тюха удрал, чтоб его разразило, а Полька одна не управится. 170  
Нечего рожу-то кривить!

Мещанин (*проходит*). Егору Ивановичу! С чудом вас.

Егор Иванович. И тебя тоже, любезный. Погоди, вместе пойдем. А ты, Олимпиада, дура, да. Как была дура, так и осталась.

Мещанин. Здорово нынче торговать будете.

Егор Иванович. Как Бог даст. А ты почему поздно? Спал? То-то вы все спите... (*Уходят.*)

Послушник. Как бежал я вчера, так всех светляков из шапки разронял по дороге. Растоптали их теперь. Лучше бы я их в 180 лесу оставил... Как они там кричат, а? Чего это они? Опять, должно быть, кого-нибудь раздавили.

Липа (*закрывая глаза*). Вы говорите, Вася, а слова как будто мимо меня. Слышу – и не слышу. Так бы и осталась, кажется, на всю жизнь. С места бы не тронулась, все сидела бы закрывши глаза и слушала, что там внутри. Господи, какое счастье! Вы понимаете, Вася?

Послушник. Да понимаю я.

Липа. Нет. Вы понимаете, что сегодня случилось? Ведь это, значит, Бог сказал, сам Бог сказал: подождите, не бойтесь, плохо 190 вам, но это ничего, это пройдет. Нужно ждать. Ничего не надо разрушать, а нужно работать и ждать. Оно придет, Вася, оно придет. Я теперь чувствую это, я – знаю.

Послушник. Что придет?

Липа. Жизнь, Вася, настоящая придет. Господи, мне все плакать хочется, Вася, – от радости, не бойтесь!

Подходят Сперанский и Тюха. Последний очень мрачен, смотрит исподлобья, вздыхает. Минутами манерой ходить и смотреть он странно напоминает Савву.

Сперанский. Здравствуйте, Олимпиада Егоровна. Здрав- 200 ствуйте, Вася. Какое чрезвычайное событие, если только верить слухам.

Липа. Верьте, Григорий Петрович, верьте.

Сперанский. Вы рассуждаете по простоте, Олимпиада Егоровна. А если подумать, что все это и мы сами, весьма возможно, не существуем...

Тюха. Молчи!

Сперанский. Отчего же? Для меня, Олимпиада Егоровна, чуда не существует. Если сейчас, скажем, сразу все повиснет в воздухе, так и это не будет чудо.

Липа. А что же? Какой вы чудак!

С пер а н с к и й. Просто перемена, Олимпиада Егоровна. Было одно, а стало другое, больше ничего. Если хотите, для меня уже то чудо, что оно так стоит. Все радуются, а я сижу и думаю: вот моргнет время глазами, будет перемена: эти все уже умерли, а на их место какие-то новые. И тоже, вероятно, радуются.

Т ю х а. Савка где?

Л и п а. На что он тебе?

С пер а н с к и й. Они все время Савву Егоровича ищут. Везде  
220 обошли: нету.

П о с л у ш н и к. Он сейчас здесь был.

Т ю х а. Куда пошел?

П о с л у ш н и к. В монастырь, кажется.

Т ю х а (*тащит Сперанского*). Пойдем.

С пер а н с к и й. До приятного свидания, Олимпиада Егоровна. Как они там кричат! А будет время, все замолчат. (*Уходят.*)

П о с л у ш н и к (*беспокойно*). Зачем они ищут Савву Егоровича?

Л и п а. Не знаю.

230 П о с л у ш н и к. Я не люблю этого семинариста, всегда он около покойников... и чего ему надо? Такой противный. Как ни похороны, так он уж тут как тут. Он носом мертвечину чувствует.

Л и п а. Он несчастный.

П о с л у ш н и к. Какой он несчастный! Его собаки на селе боятся. Не верите? Ей-богу. Полает-полает, да и в подворотню.

Л и п а. Это все пустяки, Вася. Вот послушайте: сегодня петь будут: “Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ”. Понимаете: “смертью смерть поправ”?..

240 П о с л у ш н и к. Понимаю, понимаю, но только зачем он говорит: все замолчат. И все это так... Не люблю я этого, не люблю. Вот бабу эту задавили, может быть, еще кого-нибудь. (*Мотает головой.*) Не люблю. В лесу у меня тихо, хорошо, а тут... Лучше бы чуда этого не было, только бы хорошо было. Зачем это? Чудо. Не надо чуда!

Л и п а. Что вы говорите, Вася!

П о с л у ш н и к. Савва Егорович... Не надо было этого, не надо! Говорил – в лес пойдем, а он... Прежде я его любил, знаете, а теперь... я его боюсь. Зачем это он? Ну зачем? Господи, какие они все... Вот еще калек везут. Вот тоже калеки... зачем они?

250 Л и п а. Да что с вами, Вася? Что вы мечетесь?

П о с л у ш н и к. Так было все хорошо, Господи! Да идите же вы домой, Олимпиада Егоровна. Посмотрели, ну и довольны, чего



вам тут сидеть? Идите-ка, и я пойду... Ох, батюшки, опять Савва Егорович идет!

Л и п а. Где?

П о с л у ш н и к. Вон он... Эх!

С а в в а (*садится*). Кондратий не приходил?

П о с л у ш н и к. Нет, Савва Егорович.

Пауза. Снова слышно жалобное пение слепцов.

С а в в а. У вас нет папироски, Вася?

260

П о с л у ш н и к. Да нет же, я не курю.

Л и п а (*сурово*). Чего ты ждешь, Савва? Уходи отсюда – ты здесь лишний. Ты посмотри на себя: на тебя взглянуть страшно. У тебя лицо черное.

С а в в а. Не спал, вот и черное.

Л и п а. Чего ты ждешь?

С а в в а. Объяснения.

Л и п а. Ты не веришь в чудо?

С а в в а (*усмехаясь*). Вася, вы верите в чудо?

П о с л у ш н и к. Да верю же, Савва Егорович.

270

С а в в а. Ну, погодите. Что они там делают! Трех уже задавили.

П о с л у ш н и к. Трех?

С а в в а. И еще задавят. И все галдят: чудо, чудо! Дождались!

Л и п а. И это ты, Савва, дал им чудо. Тебя нужно благодарить.

С а в в а (*хмуро*). Что, Вася, рады небось монахи?

П о с л у ш н и к. Очень рады, Савва Егорович, плачут.

С а в в а (*смотрит на него*). Плачут? Чего же они плачут?

П о с л у ш н и к. Да не знаю же; от радости, должно быть. Отец Кирилл хрюкает как поросенок: уи-уи-уи! Как пьяные все.

280

С а в в а (*встает, беспокожно*). Как пьяные? Что это значит? Они, может, и вправду пьяные?

П о с л у ш н и к. Да нет же, Савва Егорович. От чуда это они: рады. Отец Кирилл хрюкает: уи-уи. Говорит, что пить теперь бросит, в скит пойдет, если жив останется.

С а в в а (*смотрит*). Ну?

П о с л у ш н и к. Больше ничего.

С а в в а. Что они говорят?

П о с л у ш н и к. Каются, говорят, что больше грешить не будут, обнимаются. Как пьяные все...

290

С а в в а (*прохаживается, гладит себя рукой по лбу*). Да, так вот оно что!.. Да. Глупо!

Л и п а (*следит за ним*). Уходи отсюда, Савва, ты лишний.

Савва. Что?

Липа (*неохотно*). Тебя могут узнать, и тогда... Ты хоть бы шапку надел, у тебя вид, как...

Послушник. Да, уходите, Савва Егорович... пожалуйста, голубчик. Они ведь... они вас убить могут.

300 Савва (*с внезапным гневом*). Оставьте меня в покое. Никто меня не убьет. Чепуха какая!

Пауза.

Савва (*садится*). Воды бы, что ль, выпить... пить очень хочется. Нет тут лужи какой-нибудь?

Послушник (*со страхом глядя на Савву*). Нет, все повисохло.

Савва (*морщась*). Жаль.

Послушник. Вон у бабы манерка есть. (*Весело.*) Я сейчас попрошу... (*Бежит.*)

310 Липа. Тебе бы этой воды давать не следовало. Уходи отсюда, Савва, уходи. Посмотри, как радуются все кругом, земля радуется, солнышко радуется, а ты один... Я все еще не могу забыть, что ты мой брат. Уходи. Но только куда ты ни пойдешь, всюду уноси с собой память об этом дне. Помни, что и везде тебя ждет то же. Земля не отдаст тебе своего Бога, люди не отдадут тебе, чем они живут и дышат. Вчера я еще боялась тебя, а сегодня я смотрю на тебя с жалостью. Ты жалок, Савва. Уходи. Чего ты смеешься?

Савва (*улыбаясь*). Не рано ли ты мне, сестра, отходную читаешь?

Липа. Неужели ты еще не испуган?

320 Савва. А чего же мне пугаться? фокусов ваших? Я, Липа, привык ко лжи и обманам. Этим меня не испугаешь! Да и глупой доверчивости у меня еще много, ну а это помогает. На будущий раз пригодится.

Липа. Савва!

Савва. Ну?

Послушник (*приносит манерку с водой*). Насилу выпросил. Такая ведь каляная баба! Самой, говорит, нужно. Такая баба!

330 Савва. Спасибо, дядя. (*Пьет с жадностью.*) Хорошо! (*Допивает последние капли.*) Сладкая вода! Отнесите бабе и скажите: сладкая вода! Такой на всей земле нет.

Послушник (*весело*). Хорошо, скажу. (*Уходит.*)

Липа (*шепотом*). Ты враг рода человеческого!

Савва (*облизывая губы*). Ладно, ладно. Вот послушаем, что Кондратий скажет. Экая каналья! Ну я его!..

Липа (*с ударением, но все так же шепотом*). Ты враг рода человеческого! Ты враг рода человеческого!

Савва. Громче говори, а то никто не слышит. Новость пикантная!

Липа. Уходи отсюда!

Послушник возвращается.

340

Савва (*смотрит прищурившись вдаль*). А правда, дядя, хорошо там? Чей это лес? Базыкинский? Были мы там с вами или нет?

Послушник (*весело*). Да Базыкинский же! Я вчера, Савва Егорыч, полную горсть светляков набрал, да только как бежал... (*Вспоминает; тоскливо.*) Господи, как они кричат там! Ну чего они? Вы говорите, они троих задавили, Савва Егорыч, а, Савва Егорыч?

Савва (*равнодушно*). Троих.

Послушник. И чего ломаются? Ведь понесут же ее, все увидят.

350

Савва. Когда понесут?

Послушник (*смотрит вверх*). Теперь скоро.

Липа. Они будут петь сегодня "Христос воскрес".

Савва (*усмехаясь*). Да? Какой я им, однако, праздник устроил!

Показываются Сперанский и Тюха.

Послушник. Ну вот, теперь эти еще идут. Э-эх! Ну чего им надо? Чего ищут? Не люблю же я этого. Господи! Савва Егорыч, пойдете отсюда.

Савва. Чего ради?

360

Послушник. Они сюда идут, Сперанский...

Савва. Ага! "Шаги смерти" приближаются.

Липа смотрит удивленно; послушник, волнуясь, прижимает руки к груди.

Послушник (*плачущим голосом*). Ну что вы говорите! Ах, Господи! Ну зачем это? Не надо этого говорить. Ах, Господи! Никаких тут нет шагов смерти.

Савва. Это он рассказ такой сочинил... Здравствуйте, здравствуйте... Чего надо?

Сперанский. Вот Антон Егорович вас ищут, Савва Егорович...

370

Савва (*со странным беспокойством*). Чего тебе?

Тюха (*очень мрачно, слегка прячась за Сперанского*). Ничего.

Послушник (*внимательно слушающий, горячо*). Так чего же вы ходите! Ничего так ничего. А то ходят, ищут. Как это нехорошо. Ей-богу!

Тю х а *(мельком взглядывает на послушника, упирается взглядом в Савву)*. Савка!

С а в в а *(раздраженно)*. Да чего тебе надо, ну?

Тюха не отвечает и прячется за Сперанского, выглядывая из-за спины; в течение 380 дальнейшего он неотступно глядит на Савву, дергает ртом и бровями и иногда обеими руками крепко зажимает рот. Очень мрачен.

С п е р а н с к и й. Народ очень волнуется, Олимпиада Егоровна. Сломали старые ворота, что на той стороне, к лесу; ворвались. Отец игумен выходил усовещивать. Кричат, ничего разобрать нельзя. Многие в корчах валяются на земле, больные, должно быть. Очень странно, даже совсем необыкновенно!

Л и п а. Скоро понесут? Надо идти. *(Встает.)*

С п е р а н с к и й. Теперь, говорят, скоро. Повозку одну повалили с безруким, с безногим. Лежит на земле и кричит, такой 390 странный.

П о с л у ш н и к. Да нет! Вы сами видели?

По дороге из монастыря идет Ко н д р а т и й с двумя богомольцами, внимательно его слушающими. Увидев Савву, Кондратий что-то говорит своим спутникам, и те останавливаются.

С а в в а. Ага! Вот он!

Ко н д р а т и й *(чистый, доброобразный, сияющий)*. Здравствуйте, Олимпиада Егоровна. Здравствуйте и вы, Савва Егорович!

С а в в а. Здравствуй, здравствуй! Пришел-таки, не побоялся!

Ко н д р а т и й *(спокойно)*. Чего же мне бояться? Авось не убьете, а если и убьете, так от вашей руки и умереть сладко. 400

С а в в а. Какой храбрый! И чистенький какой, смотреть больно. В луже-то не такой лежал, похуже был.

Ко н д р а т и й *(пожимая плечами, с достоинством)*. Напрасно только вспоминаете: теперь это ни к чему. А вам, Савва Егорович, пора бы вашу злость и оставить. Да!

С а в в а. Ну?

Ко н д р а т и й. То-то что не ну. Понюкали и будет.

С а в в а. С чудом поздравить можно?

Ко н д р а т и й. Да, Савва Егорыч, с чудом. *(Пристойно плачет, 410 вытираясь платком.)* Дал Господь дожить.

С а в в а *(поднимаясь и делая шаг к монаху, внушительно)*. Ну ты, того. Будет именинника разыгрывать. Поиграл – и будет! А то я из тебя именины-то эти повытрясу, слышишь!

П о с л у ш н и к. Савва Егорыч, голубчик, не надо!

Ко н д р а т и й *(слегка отступая)*. Потихе, потихе! Мы не в лесу, когда купцов резать можно. Тут и народ близко.

С а в в а *(хмуро)*. Ну, рассказывай. Пойдем!

Кондратий. Зачем же идти? Я и тут все рассказать могу – у меня секретов нет. Это у вас секреты, а я весь тут.

Савва. Ты врать тут будешь.

420

Кондратий (*горячо, со слезами*). Грех вам, Савва Егорыч, грех. За что обижаете человека? Что в луже видели? Грех вам, нехорошо!

Савва (*с недоумением*). Да что ты?

Кондратий. В такой день и врать я буду! Олимпиада Егоровна, хоть вы! Боже мой, Боже мой! Ведь нынче Христос воскрес, понимаете вы это?

Прибывает народ. Некоторые мельком оглядываются на группу с двумя монахами и, обертываясь, проходят.

Липа (*взволнованно*). Отец Кондратий...

430

Кондратий (*бьет себя в грудь*). Понимаете ли вы это? Э-эх! Жил всю жизнь как мерзавец, и за что только Бог привел! Олимпиада Егоровна, понимаете вы это? Понимаете вы это? а!

Савва (*в тяжелом недоумении*). Говори толком! Будет хныкать.

Кондратий (*махнет рукой*). Я на вас не сержусь. Вы что...

Савва. Говори толком!

Кондратий. Я Олимпиаде Егоровне расскажу, не вам. Знали вы меня, Олимпиада Егоровна, за пьяницу, за беспутного человека, – теперь послушайте. И вы (*к Сперанскому*) послушайте, молодой человек, вам это будет полезно: как Бог невидимо на- 440  
правляет.

Липа. Я вижу, отец Кондратий. Простите вы меня.

Кондратий. Бог простит, а я что!.. Так вот, Олимпиада Егоровна, послушался я вашего совета и пошел к отцу игумену с этой самой адской машинкой. Воистину – адская! И рассказал я ему все как на духу, чистосердечно.

Сперанский (*догадываясь*). Так это... Какое странное событие...

Послушник (*тихо*). Ну молчите же вы, ну вам-то что?

Кондратий. Да-с. Отец игумен даже поповелели. “Ах ты, 450  
говори, да ты знаешь, с кем ты дело-то имел?” – “Знаю”, – говорю, а сам трясусь. Ну, собрали они братию, посоветовались келейно и говорят мне: вот что, говорят, Кондратий, – избрал тебя Господь орудием Своей святой воли. Да. (*Плачет.*) Избрал тебя Господь орудием...

Липа. Ну-ну!

Кондратий. Да-с. Ступай ты, говорят, и положи машинку как приказано и заведи ее... Как следует! Пусть дьявольский-то помысел так весь и совершится, полностью. А мы с братией, го-

460 ворят, пойдем да с тихим пением икону-то и вынесем. И вынесем. Вот дьявол в дураках и останется.

С а в в а. Ага!

Л и п а (*удивленно*). Пойдите, отец Кондратий... Как же это?

Савва хохочет.

К о н д р а т и й. Погодите, Олимпиада Егоровна. А как, говорят, дьявольский помысел совершится, – мы ее, честную, назад поставим. Да-с. Ну и что тут делалось, как мы ее выносили, уже этого я рассказать вам не могу. Рыдает братия, петь никто не может. Горят это свечечки... мало-мало. А уж как вынесли мы ее в  
470 притвор, да как подумали, да как вспомнили... кто на ее святом месте... Лежим ниц округ иконы да горько-прегорько рыдаем – от жалости, от сокрушения: родной ты наш, сокровище ты наше, смилосердуйся над нами, вернись ты на свое место!

Липа плачет; послушник вытирает кулаком глаза.

К о н д р а т и й. А как трабабахнуло, как пошел по всей обители дым серный, дышать невозможно. (*Шепотом*.) И тут многие в дыму его увидели и от ужаса лишились чувств. Страшное дело! А уж как назад мы его понесли, да все без уговору “Христос вос-  
кресе” запели, – так что это такое было!

480 С а в в а. Ты слышишь, Липа?.. Да что с вами? Чего вы плачете все?

П о с л у ш н и к. Да жалко же очень, Савва Егорыч.

С а в в а. Да ведь вас же обманули! Или вы лжете все – слезами лжете?

Кондратий пренебрежительно машет рукой.

Л и п а (*качая головой, плача*). Нет, Савва... Ты этого не понимаешь. Господи, Господи!..

К о н д р а т и й. В вас Бога нет, оттого вы и не понимаете. У вас мысли одни, да гордость, да злость, оттого вы и не понимаете. Эх,  
490 Савва Егорыч, Савва Егорыч, хотели вы и меня погубить, а я вам скажу по-христиански: лучше бы на свет не рождались!

С а в в а. Да что ты говоришь! Что я, ослеп что ли!

К о н д р а т и й (*машет рукой, отворачивается*). Кричите себе!

П о с л у ш н и к. Савва Егорыч, не надо кричать, не надо! Вон народ... они уж оглядываться начали.

С а в в а (*кладет руку на плечо Кондратия, тихо*). Послушай, я понимаю... Конечно, при людях... Но ты ведь понимаешь, Кондратий, ты ведь умный человек, очень умный, что это чепуха. Подумай, брат, подумай. Ведь икону вынесли – какое же тут чудо?

Кондратий (*сбрасывая руку, качает головой, громко*). Не понимаете? Так-таки и не понимаете, а? 500

Савва (*шепотом*). Послушай, вспомни, что мы говорили...

Кондратий (*громко*). Нам шептаться с вами не о чем. А вы думаете, как чудо бывает? Эх вы! Вот вы тоже человек умный, а простой вещи сообразить не можете: все ведь вы сделали, а? Все: и машинку мне дали, и взрыв был. Все. А икона-то цела! Цела, я говорю, икона-то? Вот вы через это перескочите с вашим умом-то!

Липа (*озираясь, возбужденно*). Как это просто. Как это страшно. И я... И моими руками... Господи! (*Падает на колени, устремив взоры в небо.*) 510

Савва (*дико смотрит на все, потом на Кондратия*). Ну!

Кондратий (*отступая, со страхом*). Чего уставился?

Савва (*кричит*). Какой ты... дурак!

Кондратий (*бледнея*). Вы потише! Потише, говорю! Вы так не кричите, а то я как крикну!

Савва (*мечется, Сперанскому*). Что ты рот разинул, ты! Ведь ты философ, ты философ! Понимаешь, как они глупы: думают, что это чудо (*смеется*), думают, что это чудо!

Сперанский (*отступая*). Извините, Савва Егорыч, но с точки зрения... я не знаю! 520

Савва. Не знаешь?

Сперанский. Кто же знает? (*С отчаянием кричит.*) Мертвые только, Савва Егорыч, мертвые!

Кондратий. Ага! Прижало тебя... Антихрист!

Липа (*с ужасом*). Антихрист?

Услышав крик, подходят сперва те двое богомольцев, что пришли с Кондратием; к ним постепенно присоединяются другие, между прочим человек в чуйке.

Первый богомолец. Что это, отец, а? Обнаружился? 530

Кондратий. Гляди, гляди, как его!

Савва. Вася, голубчик. Что же это они, а? Ты послушай, что же они говорят, что они говорят! Милый ты мой!..

Послушник (*отступая*). Савва Егорыч, не надо, не надо! Уходите отсюда.

Савва. Вася, Вася, ну ты, ты...

Послушник (*кричит*). Да не знаю же я! Ничего я не знаю! Я боюсь!

Липа (*исступленно*). Антихрист! Антихрист!

Второй богомолец. Слушай-ка! Слушай!

540

Кондратий. Ага! Прижало!.. Деньги-то твои на! Карманы прожгли, проклятые! На! На! На, антихристово семя! *(Бросает деньги.)*

Савва *(поднимая руки как для удара)*. Я вас!

Первый богомолец. Ребята, не бойтесь! Сюда! Сюда!

Савва *(крепко сжимая голову)*. Болит, болит... Тьма идет.

Кондратий. Корчить начало! Так! Так!

Липа. Антихрист!

Тюха *(кричит)*. Савка! Савка!

550 Савва *(мгновение глубокой, страшной задумчивости. Потом внезапно распрямляется, смотрит так, точно перед ним встал призрак, и с грозным торжеством кричит куда-то вдаль, поверх голов)*. Так, значит, правда! Я прав! Я прав!

Кондратий. Братцы, да что же! Это он икону! Это он!

Человек в чуйке *(протискивается, озабоченно)*. Что тут, братцы, такое? Ага! Поймали? Который? Этот? Ну-ка ты! *(Хватает Савву за рукав.)*

Савва *(рассеянно и злобно отбрасывает его)*. Прочь!

Голоса. Ишь ты!.. Не выпускай!

560 Кондратий. Бери его!

Послушник *(кричит)*. Бежите! Савва Егорыч, бежите!

В течение дальнейшего Липа молится; Сперанский смотрит с жадным любопытством, и из-за его спины выглядывает Тюха. Все голоса сливаются в один испуганный, свирепый, дикий крик.

Голоса. С того боку! – Да, поди-ка сам! У тебя палка. – Эх ты, и камня ни одного нету! – Держи, держи, уйдет!..

Человек в чуйке *(поднявшись с земли, распоряжается)*. Обступи его, братцы, обступи! К реке-то ему ходу не давай – убежит. Ну-ну, постарайся!..

570 Голоса. Иди сам. – Сунулся раз! – Напри – так! Хватай его, хватай! – Ага!..

Кондратий *(визжит)*. Бей его, антихриста, бей!

Савва *(опасность приводит его в себя. Оглядывается, быстрым взглядом намечает путь к реке и, серый как пыль от гнева, разом двигается вперед)*. Прочь, уроды!..

Голоса. Идет! Идет! Держи! Ох, братцы! Идет! Идет!

Отступают полукругом, валясь друг на друга, перед напирающим Саввой. Кондратий начинает закрепивать его частыми, мелкими крестиками и так крестит его во все остальное время.

580 Савва *(надвигаясь)*. Ну-у! Дорогу!.. Ну... поджали хвосты, собаки! Дорогу! Ну-у!



Г о л о с а. Идет!

Навстречу Савве из толпы выходит Ц а р ь И р о д и загораживает дорогу. Смотрит страшно. Савва подходит вплотную и останавливается.

С а в в а. Ну?

Короткая пауза и разговор почти вполголоса, почти спокойный.

Ц а р ь И р о д. Это ты?

С а в в а. А это ты? Пусти...

Ц а р ь И р о д. Человек?

С а в в а. Да. Пусти!

590

Ц а р ь И р о д. Спасителя хотел? Христа?

С а в в а. Тебя обманывают.

Ц а р ь И р о д. Люди могут обмануть, Христос нет. Как звать?

С а в в а. Савва. Посторонись, говорю!

Ц а р ь И р о д. Отпусти рабу Твоему Савве. Держись!

Тяжело бьет левой рукой, откуда Савва не ожидал удара. Савва падает на одно колено. Набрасывается толпа и подминает его.

Г о л о с а. Бей его!.. Ага, так... Вертится!.. Бей!..

П о с л у ш н и к. Что же это, а-а-а!.. (С плачем, взявшись за голову 600 убегают.)

С а в в а (отчаянно борется; показываясь на минуту, страшный). Пусти... Го-о-о! (Падает.)

Г о л о с а. Так его! – Раз! – Ага! – Бей! – Готов! – Нет еще! – Готов. – Да чего смотришь? – Бей! – Готов...

Г о л о с. Ворочается.

Г о л о с а. Бей!

Человек в чуйке. Петька, у тебя ножик! Ножиком его полосни! По горлу!

П е т ь к а (фальцетом). Нет, я его лучше – каблуком. Раз!

610

К о н д р а т и й (закрещивает). Господи Иисусе Христе! Господи Иисусе Христе...

Сзади отчаянные крики: “Выносят! Выносят!” В толпе избивающих движение; толпа редеет.

Г о л о с а. Несут. – Да буде, готов! – Нет, я его еще разок. – На! – Как я его по морде! – Несут! – Братцы, несут! Несут!

Ц а р ь И р о д. Да будет вам! Обрадовались, зверье окаянное!

Г о л о с а. Ей-богу, несут! – Полежи тут, полежи. – Господи, не опоздать бы. – Да будет тебе! – А тебе-то жалко – твоя голова, что ли? Разок один! Идем!

620

Разбегаются, открывая изуродованный труп Саввы.

Человек в чуйке. Эх, отволочь бы его, нехорошо тут при дороге. Грязно! Ребята! Слышь, ребята! Эх, народ!..

Уходит вслед за остальными – но уже навстречу валит толпа. Нестройный говор. Сперанский и Тюха осторожно подходят к труп, становятся с обеих сторон на корточки и жадно рассматривают. Есть что-то звериное в их позах и вытянутых шеях.

Сперанский *(таинственно, со зловещей убедительностью)*. Мертвый! Глаз нету!

630 Тюха *(сквозь все морщинки его лица, превращая его в хаос, проступает неуправляемый последний смех)*. Молчи! Молчи! *(Зажимает рот рукою.)*

Сперанский. А лицо спокойное, посмотрите, Антон Егорович. Оттого, что узнал правду!

Тюха *(фыркает)*. Какая же у него... смешная... рожа! *(Смеется.)*  
Рожа!

Смеется. Смех прорывается сквозь пальцы, растет, становится неуправляемым и переходит в визг. Вваливается толпа, закрывая собою труп, Сперанского и Тюху. На монастыре поднимается звон колоколов, как на Пасхе, и одновременно все поет тысячью голосов.

640 Толпа. “Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Христос...”

Липа *(бросаясь в толпу, поет)*. Христос воскресе:..

Толпа валит, заполняя все. Раскрытые рты, округлившись, расширенные глаза. Пронзительно кричат кликуши, порченые, бесноватые. Мгновенный крик: “задавили!” Замирающий откуда-то смех Тюхи. Победное пение растет, ширится, переходит в дикий рев, покрывая собою все остальное. Колокола.

Толпа *(ревет)*. “Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе...”

650

Занавес.

10 февраля 1906 года

# ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПЯТИ КАРТИНАХ С ПРОЛОГОМ

Светлой памяти моего друга, моей жены,  
посвящаю эту вещь,  
последнюю,  
над которою мы работали вместе.

*Леонид Андреев*

### ПРОЛОГ

Некто в сером, именуемый Он, говорит о жизни Человека. Подобие 10  
большой, правильно четырехугольной, совершенно пустой комнаты, не имею-  
щей ни двери, ни окон. Все в ней серое, дымчатое, одноцветное: серые стены,  
серый потолок, серый пол. Из невидимого источника льется ровный, слабый  
свет – и он так же сер, однообразен, одноцветен, прозрачен и не дает ни теней,  
ни светлых бликов. Неслышно отделяется от стены прильнувший к ней Некто в  
сером. На Нем широкий, бесформенный серый балахон, смутно обрисовываю-  
щий контуры большого тела; на голове Его такое же серое покрывало, густую  
тенью крошущее верхнюю часть лица. Глаз Его не видно. То, что видимо: скулы,  
нос, крутой подбородок, – крупно и тяжело, точно высечено из серого камня. 20  
Губы Его твердо сжаты. Слегка подняв голову, Он начинает говорить твердым,  
холодным голосом, лишенным волнения и страсти, как – наемный чтец, с суро-  
вым безразличием читающий Книгу Судеб:

– Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха.  
Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека, с ее темным нача-  
лом и темным концом. Доселе не бывший, таинственно схоро-  
ненный в безграничности времен, не мыслимый, не чувствуемый,  
не знаемый никем, – он таинственно нарушит затворы небытия и  
криком возвестит о начале своей короткой жизни. В ночи небытия  
вспыхнет светильник, зажженный неведомой рукою, – это жизнь  
Человека. Смотрите на пламень его – это жизнь Человека. 30

Родившись, он примет образ и имя человека и во всем станет  
подобен другим людям, уже живущим на земле. И их жестокая  
судьба станет его судьбою, и его жестокая судьба станет судьбою  
всех людей. Неудержимо влекомый временем, он непреложно  
пройдет все ступени человеческой жизни, от низу к верху, от  
верху к низу. Ограниченный зрением, он никогда не будет видеть

следующей ступени, на которую уже поднимается нетвердая нога его; ограниченный знанием, он никогда не будет знать, что несет ему грядущий день, грядущий час – минута. И в слепом неведении своем, томимый предчувствиями, волнуемый надеждами и страхом, он покорно совершит круг железного предначертания.

Вот он – счастливый юноша. Смотрите, как ярко пылает свеча! Ледяной ветер безграничных пространств бессильно кружится и рыскает, колебля пламя, – светло и ярко горит свеча. Но убывает воск, съедаемый огнем. – Но убывает воск.

Вот он – счастливый муж и отец. Но посмотрите, как тускло и странно мерцает свеча: точно морщится желтеющее пламя, точно от холода дрожит и прячется оно. Ибо тает воск, съедаемый огнем. – Ибо тает воск.

50 Вот он – старик, больной и слабый. Уже кончились ступени жизни, и черный провал на месте их, – но все еще тянется вперед дрожащая нога. Пригибаясь к земле, бессильно стелется синее пламя, дрожит и падает, дрожит и падает – и гаснет тихо.

Так умрет Человек. Придя из ночи, он возвратится к ночи и сгинет бесследно в безграничности времен, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никем. И Я, тот, кого все называют Он, останусь верным спутником Человека во все дни его жизни, на всех путях его. Не видимый Человеком и близкими его, Я буду неизменно подле, когда он бодрствует и спит, когда он молится и проклинаят. В часы радости, когда высоко воспарит его свободный и смелый дух, в часы уныния и тоски, когда смертным томлением омрачится душа и кровь застынет в сердце, в часы побед и поражений, в часы великой борьбы с непреложным – Я буду с ним. – Я буду с ним.

И вы, пришедшие сюда для забавы, вы, обреченные смерти, смотрите и слушайте: вот далеким и призрачным эхом пройдет перед вами, с ее скорбями и радостями, быстротечная жизнь Человека.

70 Некто в сером умолкает. И в молчании гаснет свет, и мрак объемлет Его и серую пустую комнату.

Опускается занавес.

## КАРТИНА ПЕРВАЯ

### РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И МУКИ МАТЕРИ

Глубокая тьма, в которой все неподвижно. Как кучка серых притаившихся мышей, смутно намечаются серые силуэты Старух в странных покрывалах и очертания большой высокой комнаты. Тихими голосами, пересмеиваясь, Старухи ведут беседу.

#### РАЗГОВОР СТАРУХ

– Хотелось бы мне знать, что родится у нашей приятельницы: сын или дочь? 80

– А разве вам не все равно?

– Я люблю мальчиков.

– А я люблю девочек. Они всегда сидят дома и ждут, когда к ним приходишь.

– А вы любите ходить в гости?

Старухи тихо смеются.

– Он знает.

– Он знает.

Молчание.

– Приятельнице нашей хотелось бы иметь девочку. Она го- 90  
ворит, что мальчики слишком буйны нравом, предприимчивы и ищут опасности. Когда они еще маленькие, они любят лазить по высоким деревьям и купаться в глубокой воде. И часто падают и часто тонут. А когда становятся они мужчинами, они устраивают войны и убивают друг друга.

– Она думает, что девочки не тонут. А я много-таки видела утонувших девочек, и были они как все утопленники: мокрые и зеленые.

– Она думает, что девочек не убивают камни!

– Бедная, ей так тяжело рожать. Вот уже шестнадцать часов 100  
сидим мы здесь, а она все кричит. Сперва она кричала звонко, так что больно было ушам от ее крика, потом тише, а теперь только хрипит и стонет.

– Доктор говорит, что она умрет.

– Нет, доктор говорит, что ребенок будет мертвый, а она сама останется жива.

– Зачем они рожают? Это так больно.

– А зачем они умирают? Это еще больнее.

Старухи тихо смеются.

110 – Да. Рожают и умирают.

– И вновь рожают.

Смеются. Слышен тихий крик страдающей женщины.

– Опять началось.

– У нее снова появился голос. Это хорошо.

– Это хорошо.

– Бедный муж: он так растерялся, что на него смешно смотреть. Прежде он радовался беременности жены и говорил, что хочет мальчика. Он думает, что сын его будет министром или генералом. Теперь он ничего не хочет, ни мальчика, ни девочки, и только мечется и плачет.

– Когда у нее начинаются схватки, он тужится сам и краснеет.

– Его послали в аптеку за лекарством, а он два часа ездил мимо аптеки и не мог вспомнить, что ему надо. Так и вернулся.

Старухи тихо смеются. Крик становится сильнее и замирает. Тишина.

– Что с нею? Быть может, она уже умерла?

– Нет. Тогда бы мы услышали плач. Тогда вбежал бы сюда доктор и стал бы говорить пустяки. Тогда бы внесли сюда ее мужа, потерявшего чувство, и нам пришлось бы поработать. Нет, она не умерла.

130 – Тогда зачем же мы здесь сидим?

– Спросите у Него. Разве мы знаем?

– Он не скажет.

– Он не скажет. Он ничего не говорит.

– Он помыкает нами. Он поднимает нас с постелей и заставляет сторожить, а потом оказывается, что и приходить не надо было.

– Мы сами пришли. Разве мы не сами пришли? Нужно быть справедливыми. Вот она снова кричит. Разве вам мало этого?

– А вы довольны?

140 – Я молчу. Я молчу и жду.

– Какая вы добрая!

Смеются. Крики становятся сильнее.

– Как она кричит! Как ей больно!

– Вы знаете эту боль? Точно разрываются внутренности.

– Мы все рожали.

– Как будто это не она. Я не узнаю голоса нашей приятельницы. Он такой мягкий и нежный.

– А это скорее похоже на вой зверя. Чувствуется ночь в этом крике.

– Чувствуется бесконечный темный лес, и безнадежность, и 150  
страх.

– Чувствуется одиночество и тоска. Разве возле нее нет никого? Почему нет других голосов, кроме этого дикого вопля?

– Они говорят, но их не слышно. Вы замечали, как одинок всегда крик человека: все говорят, и их не слышно, а кричит один, и кажется, что все другое молчит и слушает.

– Я слышала раз, как кричал человек, которому смяло экипажем ногу. Улица была полна народу, а казалось, что он только один и есть.

– Но это страшнее.

160

– Громче, скажите.

– Протяжнее, пожалуй.

– Нет, страшнее. Здесь чувствуется смерть.

– И там чувствовалась смерть. Он и умер.

– Не спорьте! Разве вам не все равно?

Молчание. Крик.

– Как странно кричит человек! Когда самой больно и кричишь, то не замечаешь, как это странно – как это странно.

– Я не могу представить себе рта, который издает эти звуки. Неужели это рот женщины? Я не могу представить.

170

– Но чувствуется, что он перекоксился.

– В какой-то глубине зарождается звук. Теперь это похоже на крик утопающего. Слушайте, она захлебывается!

– Кто-то тяжелый сел ей на грудь!

– Кто-то душит ее!

Крики смолкают.

– Наконец-то умолкла. Это надоедает. Крик так однообразен и некрасив.

– А вы и тут хотели бы красоты, не правда ли?

Старухи тихо смеются.

180

– Тише! Он здесь?

– Не знаю.

– Кажется, здесь.

– Он не любит смеха.

– Говорят, что Он смеется сам.

– Кто это видел? Вы передаете просто слухи: о Нем так много лгут.

– Он слышит нас. Будем серьезны!

Тихо смеются.

190 – А все-таки я очень хотела бы знать, будет ли мальчик или девочка?

– Правда, интересно знать, с кем будешь иметь дело.

– Я бы желала, чтобы оно умерло, не родившись.

– Какая вы добрая!

– Не добрее, чем вы.

– А я бы желала, чтобы оно было генералом.

Смеются.

– Вы уж слишком смешливы! Мне это не нравится.

– А мне не нравится, что вы так мрачны.

200 – Не спорьте! Не спорьте! Мы все и смешливы и мрачны. Пусть каждая будет, как она хочет.

Молчание.

– Когда они родятся, они очень смешные. Смешные детеныши.

– И самодовольные.

– И очень требовательные. Я не люблю их. Они сразу начинают кричать и требовать, как будто для них все уже должно быть готово. Еще не смотрят, а уже знают, что есть грудь и молоко, и требуют их. Потом требуют, чтобы их уложили спать. Потом требуют, чтобы их качали и тихонько шлепали по красной спинке. Я больше люблю их, когда они умирают: тогда они менее требовательны. Протянется сам и не просит, чтобы его укачивали.

210 – Нет, они очень смешные. Я люблю обмывать их, когда они рождаются.

– Я люблю обмывать их, когда они умерли.

– Не спорьте! Не спорьте! Всякой будет свое: одна обмоет, когда родится, другая – когда умрет.

– Но почему они думают, что имеют право требовать, как только рождаются? Мне не нравится это.

220 – Они не думают. Это желудок требует.

– Они всегда требуют!

– Но ведь им никогда и не дают.

Старухи смеются. Крики за стеной возобновляются.

– Опять кричит.

– Животные рожают легче.

– И легче умирают. И легче живут. У меня есть кошка: если бы вы видели, какая она толстая и счастливая.

– А у меня собака. Я ей каждый день говорю: ты умрешь! – а она осклабляет зубы и весело вертит хвостом.



- Но ведь они – животные.
- А это – люди.

230

Смеются.

– Либо она умирает, либо родит. Чувствуются последние силы в этом вопле.

- Вытарашенные глаза...
- Холодный пот на лбу...

Слушают.

- Она родит!
- Нет, она умирает.

Крики обрываются.

240

– Я вам говорю...

Некто в сером (*говорит звучно и властно*). Тише! Человек родился.

Почти одновременно с Его словами приносится крик ребенка и вспыхивает свеча в Его руке. Высокая, она горит неуверенно и слабо, но постепенно огонь становится сильнее. Тот угол, в котором неподвижно стоит Некто в сером, всегда темнее других, и желтое пламя свечи озаряет его крутой подбородок, твердо сжатые губы и крупные костистые щеки. Верхняя часть лица скрыта покрывалом. Ростом Он несколько выше обычного человеческого роста.

Свеча длинная, толстая, вправлена в подсвечник старинной работы. На зелени 250  
бронзы выделяется Его рука, серая, твердая, с тонкими длинными пальцами. Медленно светлеет, и из мрака выступают фигуры пяти сторбленных Ст а р у х в странных покрывалах и комната. Она высокая, правильно четырехугольная, с гладкими одноцветными стенами. Впереди и направо по два высоких восьми-стекольных окна, без занавесок; в стекла смотрит ночь. У стен стоят стулья с высокими прямыми спинками.

Ст а р у х и (*торопливо*):

- Слышите, как забегали! Идут сюда.
- Как светло! Мы уходим.
- Смотрите, свеча высока и светла.
- Мы уходим! Мы уходим! Скорее!
- Но мы придем! – Но мы придем!

260

Тихо смеются и в полумраке странными, зигзагообразными движениями ускользают пересмеиваясь. С их уходом свет усиливается, но в общем остается тусклым, безжизненным, холодным; тот угол, в котором недвижимо стоит Некто в сером с горячей свечой, темнее других.

Входит Доктор в белом больничном балахоне и Отец Человека. Лицо последнего выражает глубокое утомление и радость. Под глазами синие круги, щеки впали, волосы в беспорядке. Одет очень небрежно. У Доктора очень ученый вид.

270

Доктор. До последней минуты я не знал, останется ли в живых ваша жена или нет. Я употребил все искусство и знание, но наше искусство значит так мало, если не приходит на помощь сама природа. И я очень волновался, у меня и сейчас так бьется пульс. Уже стольким детям я помог явиться на свет, но и до сих пор я не могу отделаться от волнения. Но вы не слушаете меня, сударь!

Отец Человека. Я слушаю, но ничего не слышу. До сих пор у меня стоит в ушах ее крик, и я плохо понимаю. Бедная, 280 как она страдала! Безумный, глупый, я так хотел иметь детей, но теперь я отказываюсь от этого преступного желания.

Доктор. Вы еще позовете меня, когда родится у вас следующий.

Отец. Нет, никогда. Мне стыдно сказать, но я сейчас ненавижу ребенка, из-за которого она столько страдала. Я даже не видал его, какой он?

Доктор. Он хорошо упитанный, крепкий мальчик и, если не ошибаюсь, похож на вас.

Отец. Похож на меня? Как я счастлив! Теперь я начинаю 290 любить его. Мне всегда хотелось, чтобы у меня родился мальчик и был похож на меня. Вы видели: у него такой нос, как мой, не правда ли?

Доктор. Да, нос и глаза.

Отец. И глаза? Это так хорошо! Я вам заплачу больше, чем назначил.

Доктор. Вы должны мне заплатить особо за щипцы, которые я накладывал.

Отец *(обращаясь к тому углу, где неподвижно стоит Он)*. Боже! 300 Благодарю Тебя за то, что Ты исполнил мое желание и дал мне сына, похожего на меня. Благодарю Тебя за то, что не умерла моя жена и жив ребенок. И прошу Тебя: сделай так, чтобы он вырос большим, здоровым и крепким, чтобы он был умным и честным и чтобы никогда не огорчал нас: меня и его мать. Если Ты сделаешь так, я всегда буду верить в Тебя и ходить в церковь. Теперь я очень люблю моего сына.

Входят Родственники. Их шестеро. Необыкновенно толстая пожилая дама с отвисшим подбородком и маленькими надменными глазками, чрезвычайно важная и гордая. Пожилой господин, ее муж, очень длинный и необыкновенно худой, так что платье висит на нем. Козлиная острая борода, 310 длинные, до плеч, гладкие, точно намоченные, волосы и очки; смотрит испуганно и в то же время поучительно; в руке держит шляпу – низкий черный цилиндр. Молоденькая девушка, их дочь, с наивно вздернутым носиком, мигающими глазами и открытым ртом. Худая дама, имеющая крайне угнетенный и кислый вид; в руках держит носовой платок и часто вытирает

им рот. Двое ю н о ш е й, совершенно тождественных: необыкновенно высокие воротнички, вытягивающие шею, прилизанные волосы, выражение недоумения и растерянности.

Все указываемые свойства в каждом из обладателей их достигают крайнего развития.

П о ж и л а я д а м а. Позволь, дорогой брат, поздравить тебя с 320 рождением сына. (*Целует его.*)

П о ж и л о й г о с п о д и н. Позволь, дорогой родственник, сердечно поздравить тебя с рождением столь долго ожидаемого сына. (*Целует.*)

О с т а л ь н ы е. Позвольте нам, дорогой родственник, поздравить вас с рождением сына. (*Целуют.*)

Доктор уходит.

О т е ц (*очень растроганный*). Благодарю вас! Благодарю вас! Вы все очень хорошие, очень добрые и милые люди, и я очень люблю вас. Прежде я сомневался и думал, что ты, дорогая сестра, не- 330 сколько занята собой и своими достоинствами, а вы, милый зять, несколько педантичны. И про остальных я думал, что они холодны ко мне и ходят только обедать, но теперь я вижу, что ошибался. Я очень счастлив: у меня родился сын, похожий на меня, и, кроме того, я сразу вижу столько хороших, любящих меня людей.

Целуются.

М о л о д а я д е в у ш к а. Как вы назовете сына, дорогой дядя? Мне бы очень хотелось, чтобы это было красивое, поэтическое имя. Так много зависит от того, как зовут человека.

П о ж и л а я д а м а. Я бы желала, чтобы это было простое и 340 солидное имя. Люди с красивыми именами всегда очень легкомысленны и редко успевают в жизни.

П о ж и л о й г о с п о д и н. Мне кажется, что вам, дорогой шурин, следовало бы наречь сына по имени какого-либо из старших родственников. Это продолжает и укрепляет род.

О т е ц. Да, мы с женой уже думали об этом, но не могли решить. Вообще с рождением ребенка приходит столько новых мыслей и забот!

П о ж и л а я д а м а. Это наполняет жизнь.

П о ж и л о й г о с п о д и н. Это ставит прекрасную цель для 350 жизни. Воспитывая ребенка, устраняя от него те ошибки, жертвой которых мы были, укрепляя его ум нашим собственным богатым опытом, мы таким образом создаем лучшего человека и медленно, но верно движемся к конечной цели существования – к совершенству.

Отец. Вы совершенно правы, уважаемый зять. Когда я был маленьким, я очень любил мучить животных, и это развивало во мне жестокость. Моему сыну я не позволю мучить животных. Уже будучи взрослым, я часто ошибался в дружбе и любви: из-360 бирал недостойных друзей и вероломных женщин. Моему сыну я объясню...

Доктор *(входит и громко говорит)*. Сударь, вашей жене очень плохо. Она хочет видеть вас.

Отец. Ах, Боже мой! *(Уходит вместе с доктором.)*

Родственники садятся полукругом и некоторое время торжественно молчат. В углу, обратив к ним каменное лицо Свое, неподвижно стоит Некто в сером.

### РАЗГОВОР РОДСТВЕННИКОВ

– Ты не думаешь, милая жена, что наша родственница может умереть?

370 – Нет, я не думаю этого. Она очень нетерпеливая женщина и придает много значения своим болям. Все женщины рожают, и никто не умирает. Я сама рожала шесть раз.

– Но она так кричала, мама!

– Да, у нее на лице кровоподтеки от крика. Я обратил на это внимание!

– Это не от крика. Это оттого, что надо тужиться. Ты этого не понимаешь. У меня у самой были кровоподтеки, однако я не кричала.

380 – Одна моя знакомая, жена инженера, рожала недавно и тоже почти не кричала.

– Я не знаю жены инженера. Напрасно брат так беспокоится: нужно быть тверже и смотреть на вещи спокойнее. Я боюсь, что и в воспитание ребенка он внесет много фантазерства и распушенности.

– Он очень безвольный человек. У него у самого так мало денег, а он дает займы людям, не заслуживающим доверия.

– Вы знаете, сколько стоило для ребенка белье?

– Не говорите, меня так огорчает легкомыслие брата. Мы часто спорим с ним по этому поводу.

390 – А говорят, что тебе приносит аист. Какой же это аист!

Молодые люди одновременно фыркают.

– Не говори глупостей. Я на твоих глазах родила пятерых, а я, слава богу, не аист.

Молодые люди снова фыркают, а пожилая дама продолжительно и строго смотрит на них.

– Ты должна заметить себе, что это предрассудок. Дети рождаются совершенно естественным путем, строго установленным наукой.

– Они теперь на новой квартире.

– Кто?

400

– Инженер и его жена. Старая квартира оказалась очень сырая и холодная. Несколько раз жаловались домовладельцу, но он не обратил внимания.

– По моему мнению, лучше маленькая квартира, но теплая, чем большая и сырая. В сырой квартире можно умереть от насморков и ревматизма.

– У одних моих знакомых тоже очень сырая квартира.

– И у моих тоже. Очень сырая!

– Теперь так много сырых квартир!

– Скажите, пожалуйста, я давно хотела у вас спросить: как выводятся жирные пятна со светлых материй?

– Шерстяной?

– Нет, с шелковой.

Крики ребенка за стеной.

– Возьмите небольшой кусок чистого льда и хорошенько трите то место, где пятна. И когда хорошенько протрете, возьмите горячий утюг и прогладьте.

– Скажите как просто! А я слыхала, что лучше борной водой.

– Нет, борной водой хорошо только для темных материй. А для светлых самое лучшее – лед.

420

– Скажите, пожалуйста, можно здесь курить? Я как-то никогда не думал, можно ли курить, когда только что родился ребенок?

– И мне никогда не приходилось. Как странно! На похоронах, я знаю, курить неприлично, но тут...

– Какие пустяки! Конечно, можно.

– Только куренье табаку вообще очень дурная привычка! Вы еще очень молодой человек, и вам следовало бы побереечь здоровье. В жизни так много случаев, когда здоровье необходимо.

– Но табак возбуждает.

– Поверьте мне, это очень нездоровое возбуждение. Я сам в молодости, когда был легкомыслен, злоупотреблял курением табаку...

– Мама, как он кричит! Как он кричит, мама! Он хочет молочка?

Молодые люди фыркают. Пожилая дама строго смотрит на них.

Опускается занавес.

## КАРТИНА ВТОРАЯ

### ЛЮБОВЬ И БЕДНОСТЬ

Все залито ярким, теплым светом. Большая, очень высокая и очень бедная комната. Совершенно гладкие светло-розовые стены, местами покрытые фантастическим и красивым сплетением сырых пятен. В правой стене два высоких восьмистекольных окна без занавесок; в них смотрит ночь. Две бедные кровати, два стула и непокрытый стол, на котором стоит полуразбитый кувшин с водою и прекрасный букет полевых цветов.

В углу, который темнее других, стоит Некто в сером. Свеча в Его руке 10  
убыла на одну треть, но пламя еще очень ярко, высоко и бело, и бросает сильные блики на каменное лицо Его и подбородок. Входят Соседи, одетые в яркие, веселые платья. Все руки у них полны цветов, травы, зеленых свежих веток дуба и березы. Разбегаются по комнате. Лица у всех простые, веселые и добрые.

### РАЗГОВОР СОСЕДЕЙ

– Как они бедны! Смотрите, у них нет ни одного лишнего стула...

– Ни занавесок на окнах...

– Ни картин на стенах...

– Как они бедны! Смотрите, они едят только черствый хлеб...

20 – И пьют только воду; холодную воду из студеного ключа!

– У них нет даже лишней одежды. Она всегда ходит в своем розовеньком платье, с голою шейкой, что делает ее похожей на девочку.

– А он в своей блузе и диком галстуке, что делает его похожим на артиста и заставляет злобно лаять на него всех собак...

– И вызывает недовольство всех порядочных людей!

– Собаки ненавидят бедняков. Я видел вчера, как три собаки 30  
напали на него и он отбивался палкой, крича: “Не смейте касаться моих брюк! Это последние брюки!” И он смеялся, а собаки с оскаленными зубами бросались на него и выли от злости.

– А я видела сегодня, как двое порядочных людей, господин и дама, испугались его и перешли на другую сторону. “Он сейчас попросит денег”, – сказал господин. “Он нас убьет”, – запищала дама, и они перешли на другую сторону, оглядываясь и держась за карманы. А он качал головой и смеялся.

– Он такой веселый!

– Они постоянно смеются.

– И поют!

– Это он поет. Она танцует.

40 – В своем розовеньком платье, с голенькой шейкой.

- На них приятно смотреть: такие они молодые и славные.
- А мне их жалко: ведь они голодны. Понимаете: голодны.
- Да, это правда. У них было больше мебели и платья, но они все продали. И теперь им нечего уже продавать.
- Я помню, у нее были такие красивые серьги, и она их продала, чтоб купить хлеб.
- А у него был красивый черный сюртук, в котором он венчался, и он продал его.
- У них остались только обручальные кольца. Как они бедны!
- Это ничего. Это ничего. Я сам был молод и знаю это.
- Что ты говоришь, дедушка?
- Это ничего. Это ничего.
- Смотрите, дедушке захотелось петь, думая о них.
- И танцевать!

Смеются.

- Он такой добрый: он сделал моему мальчику лук и стрелы.
  - А она плакала со мной, когда была больна моя дочь.
  - Он помог мне поставить упавший забор. Крепкий паренек!
  - Приятно иметь таких хороших соседей. Их молодость согревает нашу холодную старость, их беззаботность прогоняет наши заботы.
  - Но их комната похожа на тюрьму: она так пуста.
  - Нет, она похожа на храм: в ней так светло!
  - Смотрите, у них на столе цветы. Это она собрала, гуляя по полю в своем розовеньком платье, с голенькой шейкой. Вот ландыши! На них еще не высохла роса.
  - Вот красная горячая смолка!
  - Вот фиалки!
  - Вот простая зеленая травка!
  - Не трогайте, девушки, не трогайте цветов. На них ее поцелуй – не уроните их на землю; на них ее дыхание – не сдуйте его вашим дыханием. Не трогайте, девушки, не трогайте цветов!
  - Он придет и увидит цветы!
  - Он возьмет поцелуй.
  - Он выпьет ее дыхание...
  - Как они бедны! Как они счастливы!
  - Пойдемте! Пойдемте отсюда!
  - Но неужели мы ничего не принесли нашим милым соседям!
- Это было бы так плохо!

– Я принесла бутылку молока и кусок белого, пахучего хлеба.  
(Ставит на окно.)

– А я мягкой и нежной травы: когда рассыпать ее по полу, то становится как на цветущем лугу и пахнет весной. (*Рассыпает.*)

– А я цветов! (*Разбрасывает их.*)

– А мы березовых и дубовых веток с зелеными листьями: если убраться ими стены, то становится похоже на зеленый веселый лес!

90 Убирают комнату, загораживая темные окна, закрывая листьями розовую наготу стен.

– А я хорошую сигару. Она очень дешевая, но крепкая и пахучая, и от нее бывает приятный сон. (*Кладет на окно.*)

– А я розовую ленточку. Если повязать ею волосы, то становишься такой нарядной и красивой. Мне подарил ее возлюбленный, но у меня так много лент, а у нее ни одной. (*Кладет туда же.*)

– А что же ты, бабушка? Разве ты ничего не принес?

– Я ничего. Я ничего. Я принес только мой кашель. Но этого им не нужно. Правда, сосед?

100 – Как и мои костыли... Эй, девушки, кому нужны мои костыли?

– Помнишь, сосед?..

– А ты, сосед, помнишь?..

– Пойдем-ка, сосед, спать. Уже поздно.

Вдыхают и уходят, один покашливая, другой постукивая костылями.

– Пойдемте! Пойдемте!

– Дай Бог им счастья: они такие хорошие соседи!

– Дай Бог, чтобы всегда они были здоровы и веселы и любили друг друга. И чтобы никогда не пробежала между ними противная черная кошка!

110 – И чтобы нашлась молодчику работа. Плохо, когда у человека нету работы.

Уходят. Тотчас же входит Жена Человека, очень красивая, грациозная, нежная, с цветами в пышных полураспущенных волосах. У нее очень грустный вид. Садится на стул, складывает на коленях ручки и грустно говорит, обращаясь к зрителям.

120 Жена Человека. Я сейчас ходила в город и искала – не знаю, чего я искала. Мы так бедны, у нас нет ничего, и нам очень трудно жить. Нужны деньги, а как их достать – я не знаю. Если просить у людей – не дадут; отнять – у меня нету силы. Я искала работы, но и работы мне не дают, говорят, что людей много, а работы так мало. Я на дорогу смотрела: не уронил ли кто-нибудь из богатых свой кошелек, но или его не роняли, или уже поднял кошелек кем-нибудь более счастливым, чем я. И мне так грустно.



Вот сейчас придет мой муж с поисков работы, усталый, голодный, а что я ему дам, кроме моих поцелуев? Но только ведь поцелуями сыт не будешь, нет. Мне так грустно, что хочется плакать.

Я могу очень долго не есть, и мне ничего, а он не может. У него большое тело, которое требует пищи, и когда он долго не ест, он становится такой жалкий, бледный, больной, раздраженный. Бранит меня, а потом целует и просит, чтобы я не сердилась. Но я никогда не сержусь, потому что очень люблю его. Мне только грустно. 130

Мой муж – очень талантливый архитектор, и я даже думаю, что он гениален. Его родители умерли очень рано, и он остался сиротой. Некоторое время после смерти родителей его поддерживали родственники, но так как он был всегда очень самостоятелен характером и резок, часто говорил неприятные вещи, не высказывал благодарности, то его бросили. Но он продолжал учиться, добывая средства уроками и часто голодая, и окончил высшую школу. Он часто голодал, мой бедный муж! Теперь он архитектор и делает чертежи прекрасных зданий, но никто их не берет, и многие глупые люди даже смеются над ним. Чтобы пробиться вперед, нужны покровители или удача, а у него нет ни покровителей, ни удачи. Вот и ходит он, разыскивая случая – какого-то случая, – а может быть, и на земле ищет денег, как я. Он очень еще молод и наивен. 140

Конечно, когда-нибудь и к нам повернется счастье, но только когда это будет? А пока нам очень трудно жить. Когда мы повенчались, у нас было маленькое приданое, но мы очень скоро его прожили: все ходили в театр и ели конфеты. Он еще надеется, а я иногда совсем теряю надежду и потихоньку плачу. Сердце у меня сжимается, когда я подумаю, что вот придет он, и опять ничего – кроме моих жалких поцелуев. 150

Господи Боже! Будь нам милосердным и добрым Отцом. Ведь у Тебя так много всего: и хлеба, и работы, и денег. Твоя земля так богата: она родит плоды и колосья на поле, она покрывает цветами луга, из темной глубины своей шлет она людям золото и драгоценные красивые камни. И так много тепла у Твоего солнца, и у Твоих задумчивых звезд так много тихой радости. Дай нам немного из Своей кошницы, совсем немного, столько, сколько даешь Ты птицам Своим. Немного хлеба, чтобы не был голоден мой милый, хороший муж. Немного тепла, чтобы не было холодно ему, и немного работы, чтобы поднял он гордо свою красивую голову. И, пожалуйста, не гневайся на моего мужа, что он так ругается, и смеется, и даже поет, заставляя меня танцевать: он так молод и совершенно несерьезен. 160

Теперь, когда я помолилась, мне стало легче, и я опять надеюсь. Правда, отчего Богу не дать, когда Его так просят? Пойду и поищу немного, не уронил ли кто-нибудь кошелек или блестящий алмаз. (*Уходит.*)

170 Некто в сером. Она не знает, что уже исполнено желание ее. Она не знает, что уже сегодня утром в богатом доме два человека, согнувшись, жадно рассматривали чертеж Человека и восторгались им. Весь день сегодня они тщетно разыскивали Человека – богатство искало его, как он ищет богатство. И завтра утром, когда соседи уйдут на работу, к их дому подъедет автомобиль и два господина, низко кланяясь, войдут в бедную комнату и принесут богатство и славу. Но не знают об этом ни он, ни она. Так приходит к человеку счастье – и так же уходит оно.

180 Входят Человек и его Жена. У Человека красивая, гордая голова с блестящими глазами, высоким лбом и черными бровями, расходящимися от переносья, как два смелых крыла. Волнистые черные волосы свободно откинута назад, низкий, белый, мягкий воротник открывает стройную шею и часть груди. В движениях своих Человек легок и быстр, как молодое животное, но позы он принимает свойственные только человеку: деятельно-свободные и гордые.

Человек. Опять ничего. Скоро я лягу в постель и так буду лежать весь день – пускай приходят за мной те, кому я нужен, а сам я не пойду. Завтра же лягу.

Жена. Ты устал?

190 Человек. Да, я устал и голоден. Я мог бы, как герой Гомера, съесть целого быка, а придется довольствоваться куском черствого хлеба. Ты знаешь ли, что человек не может постоянно есть один только хлеб – мне хочется грызть, рвать, кусать!

Жена. Мне жалко тебя, мой милый.

Человек. Да и мне жалко себя, но от этого я не сыт. Сегодня я целый час стоял перед гастрономическим магазином, и, как люди рассматривают произведения искусства, так я рассматривал эти пулярдки, паштеты, колбасы. А вывески! Они так хорошо умеют рисовать ветчину, что ее можно съесть вместе с железом.

Жена. Ветчину и я люблю.

200 Человек. Кто же не любит ветчины? А омаров ты любишь?

Жена. Да, люблю.

Человек. Какого я видел омара! Он был нарисован, но он был еще красивее, чем живой. Красный, как кардинал, величественный, строгий, он стоял того, чтобы подойти к нему под благословение. Я думаю, я мог бы съесть двух таких кардиналов и папу-карпа в придачу.

Жена (*грустно*). Ты не замечаешь моих цветов?

Человек. Цветы? А их можно есть?

Ж е н а. Ты не любишь меня.

Ч е л о в е к (*целует ее*). Прости меня! Но, правда, я так голоден. 210  
Посмотри, у меня трясутся руки, я даже в собаку не в силах бросить камнем.

Ж е н а (*целует руку*). Бедный мой!

Ч е л о в е к. А откуда эти листья на полу? От них так хорошо пахнет. Это также ты?

Ж е н а. Нет, это, наверное, соседи.

Ч е л о в е к. Милые люди наши соседи. Странно: так много хороших людей на свете, а человек может умереть с голоду. Отчего это?

Ж е н а. Ты стал так мрачен. Ты хмуришься! Ты видишь что- 220  
нибудь?

Ч е л о в е к. Да. Предо мной, среди моих шуток, проскользнул ужасный образ нищеты и встал вон там, в углу. Ты видишь ее? Жалобно протянутые руки, заброшенность детеныша в лесу, молящий голос и тишина людской пустыни. Помогите! – Никто не слышит. – Помогите, я умираю! – Никто не слышит. Смотри, жена, смотри! Вот дрожа выплывают смутные черные тени, как обрывки черного дыма из длинной страшной трубы, ведущей в ад. Смотри: и я между ними.

Ж е н а. Мне стало страшно, и я не могу смотреть в тот темный 230  
угол. Ты видел все это на улице?

Ч е л о в е к. Да, я видел все это на улице, и скоро это будет с нами.

Ж е н а. Нет, Бог не допустит этого.

Ч е л о в е к. Отчего же Он для других допускает?

Ж е н а. Мы лучше других, мы хорошие люди. Мы ничем Его не огорчаем.

Ч е л о в е к. Ты думаешь? А я так часто ругаюсь.

Ж е н а. Ты не злой.

Ч е л о в е к. Нет, я злой, я злой! Когда я похожу по улице и 240  
посмотрю на все, что нам не принадлежит, у меня отрастают клыки, как у кабана. Ах, как много нет у меня денег! Слушай меня, маленькая женка! Сегодня я гулял вечером в парке, в этом прекрасном парке, где дороги прямы как стрелы и красивые буки похожи на королей в коронах...

Ж е н а. А я ходила по улицам города, и там всё магазины – такие красивые магазины...

Ч е л о в е к. Мимо меня проходили люди с тросточками, одетые так красиво, и я думал: а у меня этого нет!

Ж е н а. Нарядные женщины в изящных ботинках, делающих 250  
ногу красивой, в прекрасных шляпах, из-под которых глаза свер-

кают так таинственно, в шелковых юбках, издающих загадочный шелест, – проходили мимо меня, и я думала: а у меня нет хорошей шляпки, нет шелковой юбки!

Человек. Один нахал толкнул меня плечом, но я показал ему свои клыки, и он позорно спрятался за других!

Женa. Меня толкнула нарядная дама, но я даже не посмотрела на нее: так было мне неловко!

Человек. Там проносились всадники на горячих, гордых  
260 конях, – а у меня этого нет!

Женa. У нее в ушах были такие брильянты, что их хотелось поцеловать!

Человек. Там бесшумно, как призраки с горящими глазами, скользили красные и зеленые автомобили, и люди сидели в них, и смеялись, и лениво смотрели по сторонам, – а у меня этого нет!

Женa. А у меня нет ни брильянтов, ни изумрудов, ни белого чистого жемчуга!

Человек. Над озером богатый ресторан сверкал огнями, как царствие небесное, и там ели! Министры во фраках, какие-то  
270 ангелы с белыми крыльями разносили бутерброды и пиво, и там ели, там пили! Я есть хочу! Маленькая женка, я есть хочу!

Женa. Миленький, ты бегаешь, а от этого еще больше хочется есть. Ты лучше сядь, а я сяду к тебе на колени, а ты возьми бумагу и нарисуй красивое-красивое здание.

Человек. Мое вдохновение так же голодно, оно рисует только съестные пейзажи! Уже давно мои дворцы походят на толстые пироги с жирной начинкой, а церкви – на гороховые колбасы. Но на твоих глазах я вижу слезы: что с тобой, моя маленькая женка?

Женa. Мне так грустно, что я не могу помочь тебе!

280 Человек. Ты меня пристыдила. Я, крепкий мужчина, умный, талантливый, здоровый, ничего не могу сделать, а моя маленькая женка, моя сказочная фея, плачет, что не в силах помочь мне! Когда женщина плачет, это всегда позор для мужчины. Мне совестно!

Женa. Ты же не виноват, что люди не могут тебя оценить!

Человек. У меня даже уши покраснели! Словно меня, как в детстве, отодрали за уши! Ты ведь тоже голодна, а я не вижу этого, как настоящий эгоист. Это подло!

Женa. Милый мой, я не чувствую голода...

290 Человек. Это бесчестно! Это малодушно! Тот нахал, который толкнул меня, был прав: он видел, что это идет настоящая жирная свинья! Кабан с острыми клыками, но с глупой головой!

Ж е н а. Если ты будешь бранить себя так нехорошо, я опять заплачу.

Ч е л о в е к. Нет, нет, не нужно слез! Когда я вижу слезы на твоих глазах, мною овладевает страх. Я боюсь этих кристальных, светлых капелек: точно кто-то другой, кто-то страшный роняет их. Я не позволю тебе плакать. У нас нет ничего, мы бедны, – но я расскажу тебе о том, что у нас будет. Я очарую тебя светлой сказкой, яркими мечтами обовью я тебя, как розами, моя царица! 300

Ж е н а. Не нужно бояться! Ты сильный, ты гениальный, и ты победишь жизнь. Минута уныния пройдет, и святое вдохновение вновь осенит твою гордую голову.

Ч е л о в е к (*становится в гордую и смелую позу вызова и бросает в тот угол, где стоит Неизвестный, дубовый листок со словами*): Эй Ты, как Тебя там зовут: рок, дьявол или жизнь, я бросаю Тебе перчатку, зову Тебя на бой! Малодушные люди преклоняются пред Твоею загадочною властью, Твое каменное лицо внушает им ужас, в Твоем молчании они слышат зарождение бед и грозное падение их. А я смел и силен и зову Тебя на бой. Поблестим мечами, позвоним щитами, обрушим на головы удары, от которых задрожит земля! Эй, выходи на бой! 310

Ж е н а (*приникая немного позади к его левому плечу, говорит страстно*). Смелее, мой милый, еще смелее!

Ч е л о в е к. Твоей зловещей косности я противопоставлю мою живую и бодрую силу; мрачности Твоей – мой яркий и звонкий смех! Эй, отражай удары! У Тебя каменный лоб, лишенный разума, – бросаю в него раскаленные ядра моей сверкающей мысли; у Тебя каменное сердце, лишенное жалости, – сторонись, я лью в него горячую отраву мятежных криков! Черною тучею Твоего свирепого гнева затмится солнце – мы мечами осветим тьму! Эй, отражай удары! 320

Ж е н а. Смелее, еще смелее! За тобой стоит твой оруженосец, мой гордый рыцарь!

Ч е л о в е к. Побеждая, я буду петь песни, на которые откликнется вся земля; молча падая под Твоим ударом, я буду думать лишь о том, чтоб снова встать и ринуться на бой! В моей броне есть слабые места, я знаю это. Но, покрытый ранами, истекающий алой кровью, я силы собираю, чтобы крикнуть: Ты еще не победил, злой недруг человека! 330

Ж е н а. Смелее, мой рыцарь! Я слезами омою твои раны, поцелуями остановлю бег алой крови!

Ч е л о в е к. И, умирая на поле брани, как умирают храбрые, одним лишь возгласом я уничтожу Твою слепую радость: я по-

бедил! Я победил, злой враг мой, ибо до последнего дыхания не признал я Твоей власти!

Ж е н а. Смелей, мой рыцарь, смелей! Я умру с тобою.

Ч е л о в е к. Эй, эй, выходи на бой! Поблестим мечами, позвоним щитами, обрушим на головы удары, от которых задрожит  
340 земля. Эй, выходи!

Некоторое время Человек и его Жена остаются в тех же позах, потом оборачиваются друг к другу и целуются.

Так разделаемся мы с жизнью, моя маленькая женка, не правда ли? Пусть она хмурится, как слепая сова при солнце, – мы поставим ее улыбнуться!

Ж е н а. И поплясать под наши песни. Нас двое!

Ч е л о в е к. Нас двое. Ты хорошая жена, ты моя верная подруга, ты храбрая маленькая женщина, и пока мы с тобой, нам никто не страшен. Эка бедность! Сегодня бедны, а завтра уже богаты!

350 Ж е н а. И что такое голод? Сегодня хочется есть, а завтра мы уже сыты.

Ч е л о в е к. Ты думаешь? Очень возможно. Но я буду очень много есть – так много нужно, чтобы я почувствовал себя сытым. Как ты думаешь, достаточно это будет: утром чай, или кофе, или шоколад, как кто хочет, выбор свободный? Потом завтрак из трех блюд. Потом обед. Потом ужин. Потом...

Ж е н а. Побольше фруктов. Я очень люблю фрукты.

Ч е л о в е к. Хорошо. Я буду корзинами покупать их прямо на рынке: там они дешевле и свежее. Впрочем, у нас будет свой сад.

360 Ж е н а. Но у нас нет земли!

Ч е л о в е к. Я куплю. Мне давно хочется иметь свой кусочек земли. Кстати, я построю там дом по своему рисунку. Пусть посмотрят, негодяи, какой я архитектор!

Ж е н а. Мне хотелось бы в Италии, у самого моря. Мраморная белая вилла в роще лимонов и кипарисов. И чтобы белые мраморные ступени опускались прямо в голубые волны.

Ч е л о в е к. Понимаю. Это хорошо. Но я рассчитываю, кроме того, построить замок в Норвегии, в горах. Внизу фиорд, а вверху, на острой горе, замок. Бумаги у нас нет? Ну смотри на стену, я  
370 буду показывать. Вот это фиорд, видишь?

Ж е н а. Да. Как красиво!

Ч е л о в е к. Блестящая, глубокая вода, здесь – она отражает нежно-зеленую траву; здесь – красный, черный, коричневый камень. А вот здесь в прорыве – где вот это пятно – клочок голубого неба и белое, тихое облачко...

Ж е н а. Белая лодка, смотри, отразилась в воде, как будто гурдь с грудью два белые лебедя.

Ч е л о в е к. А вот тут идет кверху гора. Веселая, зеленая снизу, кверху она все мрачнее, все строже. Острые скалы, черные тени, обрывки и лохмотья туч...

380

Ж е н а. Похоже на разрушенный замок.

Ч е л о в е к. И вот на том, на среднем пятне построю я царственный замок.

Ж е н а. Там холодно! Там ветер!

Ч е л о в е к. У меня будут толстые каменные стены и огромные окна из целого стекла. Ночью, когда забушует зимняя вьюга и заревет внизу фиорд, мы завесим окна и затопим огромный камин. Это будут такие огромные очаги, в которых будут гореть целые бревна, целые леса смолистых сосен!

Ж е н а. Как тепло!

390

Ч е л о в е к. И тихо как, заметь. Везде ковры и много-много книг, от которых бывает такая живая и теплая тишина. А мы вдвоем. Там ревет буря, а мы вдвоем, перед камином, на шкуре белого медведя. “Не взглянуть ли, что делается там?” – скажешь ты. “Хорошо”, – отвечу я, и мы подойдем к самому большому окну и отдернем занавес. Боже, что там!

Ж е н а. Клубится снег!

Ч е л о в е к. Точно белые кони несутся, точно мириады испуганных маленьких духов, бледных от страха, ищут спасения у ночи. И визг и вой...

400

Ж е н а. Ой, холодно! Я дрожу!

Ч е л о в е к. Скорее к огню! Эй, подайте мой дедовский кубок. Да не тот – золотой, из которого викинги пили! Налейте его золотистым вином, да не так – до краев пусть поднимается жгучая влага. Вот на вертеле жарится серна – несите-ка ее сюда, я ее съем! Да скорее, а то я съем вас самих, – я голоден как черт!

Ж е н а. Ну вот и принесли... Дальше.

Ч е л о в е к. Дальше... Понятно, я ее съем, что же может быть дальше? Но что ты делаешь с моей головой, маленькая женка?

Ж е н а. Я богиня славы! Из листьев дубовых, которые набра- 410 сали соседи, я сплела тебе венок и венчаю тебя. Это слава пришла, прекрасная слава! *(Надевает венок.)*

Ч е л о в е к. Да, слава, шумящая, звонкая слава. Смотри на стену! Вот это – я иду. А кто рядом со мною, видишь?

Ж е н а. Это я.

Ч е л о в е к. Смотри – нам кланяются. О нас шепчутся. На нас показывают пальцами. Вот какой-то почтенный старик заплакал

и говорит: счастлива родина, имеющая таких детей. Вот юноша, бледнея, смотрит: на него с улыбкой оглянулась слава. В это время я уже построил Народный дом, которым гордится вся наша земля...

Ж е н а. Ты мой славный! К тебе так идет венок из дуба, а из лавра пошел бы еще больше.

Ч е л о в е к. Смотри, смотри! Вот это – идут ко мне представители от города, где я родился. Они кланяются и говорят: город наш гордится честью...

Ж е н а. Ах!

Ч е л о в е к. Что ты?

Ж е н а. Я нашла бутылку молока.

430 Ч е л о в е к. Этого не может быть!

Ж е н а. И хлеб, мягкий пахучий хлеб. И сигару.

Ч е л о в е к. Этого не может быть! Ты ошиблась: это сырость с проклятой стены, а тебе показалось – молоко.

Ж е н а. Да нет же!

Ч е л о в е к. Сигара! Сигары не растут на окнах. Их за бешеные деньги продают в магазинах. Это, наверное, черный обломанный сучок!

Ж е н а. Ну посмотри же! Я догадываюсь: это принесли наши милые соседи.

440 Ч е л о в е к. Соседи? Поверь мне: это люди, но – божественного происхождения. Но если бы это принесли сами черти... Скорее сюда, моя маленькая женка!

Жена Человека садится к нему на колени, и так они едят. Она отламывает кусочек хлеба и кладет ему в рот, а он поит ее молоком из бутылки.

Ч е л о в е к. По-видимому, сливки!

Ж е н а. Нет, молоко. Жуй получше, ты подавишься!

Ч е л о в е к. Корку давай. Она такая поджаристая!

Ж е н а. Ну, ведь я говорила, что подавишься.

Ч е л о в е к. Нет, проглотил.

450 Ж е н а. У меня молоко течет по шее и подбородку. Ой, щекотно!

Ч е л о в е к. Дай, я его выпью. Не нужно, чтобы капля пропала.

Ж е н а. Какой ты хитрый!

Ч е л о в е к. Готово. Быстро. Все хорошее кончается так быстро. У этой бутылки, по-видимому, двойное дно: с виду она кажется глубже! Какие жулики эти фабриканты стекла!

Он закуривает сигару, приняв позу блаженно отдыхающего человека, она повязывает в волосы розовенькую ленточку, смотрясь в черное стекло окна.



По-видимому, дорогая сигара: очень пахучая и крепкая. Все-гда буду курить такие! 460

Ж е н а. Ты не видишь?

Ч е л о в е к. Все вижу. И ленточку вижу, и вижу, что ты хочешь, чтобы я поцеловал твою голенькую шейку.

Ж е н а. Этого я не позволю. Вообще ты стал что-то развязен. Кури, пожалуйста, свою сигару, а моя шейка...

Ч е л о в е к. Что? Да разве она не моя? Черт возьми, покушение на собственность! *(Она бежит. Человек догоняет ее и целует.)* Вот. Права восстановлены. А теперь, моя маленькая женка, танцевать. Вообрази, что это – великолепный, роскошный, изумительный, 470 сверхъестественный, красивый дворец.

Ж е н а. Вообразила.

Ч е л о в е к. Вообрази, что ты – царица бала.

Ж е н а. Готово.

Ч е л о в е к. И к тебе подходят маркизы, графы, пэры. Но ты отказываешь им и избираешь этого, как его, – в трико. Принца! – Что же ты?

Ж е н а. Я не люблю принцев.

Ч е л о в е к. Вот как! Кого же ты любишь?

Ж е н а. Я люблю талантливых художников. 480

Ч е л о в е к. Готово. Он подошел. Боже мой, но ведь ты кокетничаешь с пустотой? Женщина!

Ж е н а. Я вообразила.

Ч е л о в е к. Ну ладно. Вообрази изумительный оркестр. Вот турецкий барабан: бум-бум-бум! *(Бьет кулаком по столу, как по барабану.)*

Ж е н а. Милый мой! Это только в цирке собирают публику барабаном, а во дворце...

Ч е л о в е к. Ах, черт возьми! Перестань воображать. Воображай опять! Вот заливаются певучие скрипки. Вот нежно поет свирель. Вот гудит, как жук, толстый контрабас... 490

Человек в дубовом венке садится и напевает танец, прихлопывая в такт ладонями. Мотив тот, что повторяется в следующей картине на балу у Человека. Жена танцует, грациозная и стройная.

Ч е л о в е к. Ах ты, козочка моя!

Ж е н а. Я царица бала.

Пень и танец все веселее. Постепенно Человек встает, потом начинает слегка танцевать на месте – потом схватывает Жену и с сбившимся на сторону дубовым венком танцует.

И равнодушно смотрит Некто в сером, держа в окаменелой руке ярко пылающую свечу. 500

Опускается занавес.

## КАРТИНА ТРЕТЬЯ

### БАЛ У ЧЕЛОВЕКА

Бал происходит в лучшей зале обширного дома Человека. Это очень высокая, большая, правильно четырехугольная комната с совершенно гладкими белыми стенами, таким же потолком и светлым полом. Есть какая-то неправильность в соотношении частей, в размерах их – так, двери несоразмерно малы сравнительно с окнами, вследствие чего зала производит впечатление странное, несколько раздражающее – чего-то дисгармоничного, чего-то не найденного, чего-то лишнего, пришедшего извне. Все полно холодной белизной, и однообразие ее нарушается только рядом окон, идущих по задней стене. Очень высокие, почти до потолка, близко стоящие друг к другу, они густо чернеют темнотою ночи: ни одного блика, ни одного светлого пятнышка не видно в пустых междурамных провалах. В обилии позолоты выражается богатство Человека. Золоченые стулья и очень широкие золотые рамы на картинах. Это единственная мебель и единственное украшение огромной высокой залы. Освещается она тремя люстрами в виде обручей, с редкими, широко расставленными электрическими свечами. Очень светло к потолку; внизу света значительно меньше, так что стены кажутся сероватыми.

10 Бал у Человека в полном разгаре. Играет оркестр из трех человек, причем музыканты очень похожи на свои инструменты. Тот, что со скрипкой, похож на скрипку: тонкая шея, маленькая головка с хохолком, склоненная набок, несколько изогнутое туловище; на плече, под скрипкой, аккуратно разложен носовой платок. Тот, что с флейтой, похож на флейту: очень длинный, очень худой, с вытянутым лицом и крепко составленными худыми ногами. И тот, что с контрабасом, похож на контрабас: невысокий, с покатыми плечами,низу очень толстый, в широких брюках. Играют они с необыкновенной старательностью, бросающейся в глаза: отбивают такт, поматывают головой, раскачиваются. Мотив во все время бала один и тот же. Это – коротенькая, в две музыкальных фразы, полька, с подпрыгивающими, веселыми и чрезвычайно пустыми звуками.

30 Все три инструмента играют немного не в тон друг другу, и от этого между ними и между отдельными звуками некоторая странная разобщенность, какие-то пустые пространства.



Мечтательно танцуют девушки и молодые люди, все они очень красивые, изящные, стройные. В противоположность крикливым звукам музыки, их танец очень плавлен, неслышен и легок; при первой музыкальной фразе они кружатся, при второй расходятся и сходятся грациозно и несколько манерно.

Вдоль стены, на золоченых стульях, сидят гости, застывшие в чопорных позах. 40  
Туго двигаются, едва ворочая головами, так же туго говорят, не перешептываясь, не смеясь, почти не глядя друг на друга и отрывисто произнося, точно обрубая, только те слова, что вписаны в текст. У всех руки в кисти точно переломлены и висят туго и надменно. При крайнем, резко выраженном разнообразии лиц все они охвачены одним выражением: самодовольства, чванности и тупого почтения перед богатством Человека.

Танцующие только в белых платьях, мужчины в черном. Среди гостей черный, белый и ярко-желтый цвета.

В ближнем углу, более темном, чем другие, неподвижно стоит Некто в сером, именуемый Он. Свеча в Его руке убыла на две трети и горит сильно желтым огнем, бросая желтые блики на каменное лицо и подбородок Его. 50

### РАЗГОВОР ГОСТЕЙ

– Я должна заметить, что это очень большая честь – быть в гостях на балу у Человека.

– Вы можете добавить, что этой чести удостоены весьма немногие. Весь город добивался приглашения, а попали лишь весьма немногие. Мой муж, мои дети и я – мы все весьма гордимся честью, которую оказал нам глубокоуважаемый Человек.

– Мне даже жаль тех, кто не попал сюда: всю ночь они не будут спать от зависти, а завтра станут клеветать про скуку на балах Человека.

– Они никогда не видали этого блеска.

– Добавьте: этого изумительного богатства и роскоши.

– Я и говорю: этого чарующего, беззаботного веселья. Если это не весело, то я желала бы видеть, где бывает весело!

– Оставьте: вы не переспорите людей, когда их мучит зависть. Они вам скажут, что вовсе не на золоченых стульях мы сидели. Во все не на золоченых.

– Что это были самые простые, дешевые стулья, купленные у торговца старыми вещами! 70

– Что вовсе и не электричество нам светило, но простые сальные свечи.

– Скажите: огарки.

– Дрянные плоски. О, клевета!

– Они будут нагло отрицать, что в доме Человека золоченые карнизы.

– И что у картин такие широкие золотые рамы. Мне кажется, будто я слышу звон золота.

– Вы видите его блеск, этого достаточно, я думаю.

– Я редко наслаждалась такой музыкой, как на балах Человека. 80  
Это божественная гармония, уносящая душу в высшие сферы.

– Я надеюсь, что музыка будет достаточно хороша, если за нее платят такие деньги. Вы не должны забывать, что это лучший оркестр в городе и играет в самых торжественных случаях.

– Эту музыку долго слышишь потом, она, положительно, порочает слух. Мои дети, возвращаясь с балов Человека, долго еще напевают мотив.

– Мне иногда кажется, что я слышу ее на улице. Оглядываюсь – и нет ни музыкантов, ни музыки.

90 – А я слышу ее во сне.

– Мне особенно нравится то, должна я сказать, что музыканты играют так старательно. Они понимают, какие деньги им платят за музыку, и не желают получать их даром. Это очень порядочно!

– Похоже даже, будто они сами вошли в свои инструменты: так стараются они!

– Или, скажите, инструменты вошли в них.

– Как богато!

– Как пышно!

– Как светло!

100 – Как богато!

Некоторое время в разных концах отрывисто, звуком, похожим на лай, повторяют только два эти выражения: “Как богато! Как пышно!”

– Кроме этой залы, у Человека в доме еще пятнадцать великолепных комнат, и я видела их все. Столовая с таким огромным камином, что в нем можно жечь целые деревья. Великолепные гостиные и будуар. Обширная спальня, и над изголовьем у кровати, вы представьте себе, – балдахины!

– Да, это изумительно. Балдахины!

– Вы слышали: балдахины!

110 – Позвольте мне продолжать. Для сына, маленького мальчика, прекрасная светлая комната из золотистого желтого дерева. Кажется, что в ней всегда светит солнце...

– Это такой прелестный мальчик. У него кудри как солнечные лучи.

– Это правда. Когда помотришь на него, то невольно думаешь: ах, неужели взошло солнце!

– А когда помотришь в его глаза, то думаешь: ах, вот уже кончилась осень, и опять показалось голубое небо.

120 – Человек так безумно любит своего сына. Для верховой езды он купил ему пони, хорошенького, снежно-белого пони. Мои дети...

– Позвольте мне продолжать, я прошу вас. Я уже говорила про ванну?

– Нет! Нет!

- Так вот: ванна!
- Ах, ванна!
- Да. Горячая вода постоянно. Дальше кабинет самого Человека, и там всё книги, книги, книги. Говорят, что он очень умный, и это видно по книгам. 130
- А я видела сад!
- Сада я не видала.
- А я видела сад, и он очаровал меня, я должна в этом сознаться. Представьте себе: изумрудно-зеленые газоны, подстриженные с изумительной правильностью. Посередине проходят две дорожки, усыпанные мелким красным песком. Цветы – даже пальмы.
- Даже пальмы.
- Да, даже пальмы. И все деревья подстрижены так же: одни как пирамиды, другие как зеленые колонны. Фонтаны. Зеркальные шары. А в траве среди ее зелени стоят маленькие гипсовые 140 гномы и серны.
- Как богато!
- Как роскошно!
- Некоторое время отрывисто повторяют: “Как богато! Как роскошно!”
- Господин Человек удостоил меня чести показать свои коюшни и сараи, и я высказал полное одобрение содержащимся там лошадям и экипажам. Особенно глубокое впечатление произвел на меня автомобиль.
- Вы подумайте: у него только семь человек одной прислуги: повар, кухарка, две горничные, садовники... 150
- Вы пропустили кучера.
- Да, конечно, и кучер.
- Да, сами они ничего уже не делают. Такие важные.
- Нужно согласиться, что это большая честь – быть в гостях у Человека.
- Вы не находите, что музыка несколько однообразна?
- Нет, я этого не нахожу и удивляюсь, что вы это находите. Разве вы не видите, какие это музыканты?
- А я скажу, что всю жизнь желала бы слушать эту музыку. В ней есть что-то, что волнует меня. 160
- И меня.
- И меня.
- Так хорошо под нее отдаваться сладким мечтам о блаженстве...
- Уноситься мыслью в надзвездные сферы!
- Как хорошо!
- Как богато!

– Как пышно!

Повторяют.

170 – Я вижу у тех дверей движение. Сейчас пройдет через залу  
Человек со своей Женой.

– Музыканты совершенно выбиваются из сил.

– Вот они!

– Идут! Смотрите, идут.

В невысокие двери с правой стороны показываются Ч е л о в е к, его Ж е н а, его Д р у з ь я и В р а г и и наискось пересекают залу, направляясь к дверям на левой стороне. Танцующие, продолжая танцевать, расступаются и дают дорогу.

Музыканты играют отчаянно громко и разноголосно.

180 Человек сильно постарел: в длинных волосах его и бороде заметная проседь. Но лицо мужественно и красиво, и идет он с спокойным достоинством и некоторой холодностью; смотрит прямо перед собою, точно не замечая окружающих. Так же постарела, но еще красива его Жена, опирающаяся на его руку. И она точно не замечает окружающего и несколько странным, почти остановившимся взглядом смотрит прямо перед собою. Одеты они богато.

Первыми за Человеком идут его Друзья. Все они очень похожи друг на друга: благородные лица, открытые высокие лбы, честные глаза. Выступают они гордо, выпячивая грудь, ставя ноги уверенно и твердо, и по сторонам смотрят снисходительно, с легкой насмешливостью. У всех у них в петлицах белые розы.

190 Следующими, за небольшим интервалом, идут Враги Человека, очень похожие друг на друга. У всех у них коварные, подлые лица, низкие, прижатые лбы, длинные обезьяньи руки. Идут они беспокойно, толкаясь, горбясь, прячась друг за друга, и исподлобья бросают по сторонам острые, коварные, завистливые взгляды. В петлицах – желтые розы.

Так медленно и совершенно молча проходят они через залу. Топот шагов, музыка, восклицания гостей создают очень нестройный, резко дисгармоничный шум.

ГОСТИ

– Вот они! Вот они! Какая честь!

– Как он красив!

200 – Какое мужественное лицо!

– Смотрите! Смотрите!

– Он не глядит на нас!

– Он нас не видит!

– Мы его гости!

– Какая честь! Какая честь!

– А она? Смотрите, смотрите!

– Как она прекрасна!

– Как горда!

– Нет, нет, вы на брильянты посмотрите!

210 – Брильянты! Брильянты!

– Жемчуг! Жемчуг!

- Рубины!
- Как богато! Какая честь!
- Честь! Честь! Честь!

Повторяют.

- А вот Друзья Человека!
- Смотрите, смотрите, вот Друзья Человека!
- Благородные лица!
- Гордая поступь!
- На них сияние его славы! 220
- Как они любят его!
- Как верны ему!
- Какая честь быть другом Человека!
- Они смотрят на все как на свое!
- Они тут дома!
- Какая честь!
- Честь! Честь! Честь!

Повторяют.

- А вот Враги Человека!
- Смотрите, смотрите – Враги Человека! 230
- Они идут, как побитые собаки.
- Человек укротил их.
- Он надел на них намордники!
- Они виляют хвостом.
- Крадутся!
- Толкаются!
- Ха-ха! Ха-ха!

Хохочут.

- Какие подлые лица!
- Жадные взгляды! 240
- Трусливые!
- Завистливые!
- Они боятся на нас смотреть.
- Чувствуют, что мы дома.
- Их нужно еще поугаать!
- Человек будет благодарен!
- Пугайте их, пугайте!
- Го-го!

Кричат на Врагов Человека, смешивая крик “го-го” с хохотом. Враги жмутся друг к другу, боязливо и остро поглядывая по сторонам. 250

- Уходят! Уходят!

- Какая честь!
- Уходят!
- Го-го! Ха-ха!
- Ушли! Ушли! Ушли!

Шествие скрывается в двери с левой стороны. Наступает некоторое затишье. Музыка играет не так громко, и танцующие постепенно заполняют залу.

– Куда они прошли?

– Я думаю, что они прошли в столовую, там сервирован  
260 ужин.

– Вероятно, скоро пригласят и нас. Вы не видите никого, кто бы искал нас?

– Да, уже пора. Если сесть за ужин позже, то плохо будешь спать ночью.

– Должна заметить, что и я ужинаю весьма рано.

– Поздний ужин тяжело ложится на желудок.

– А музыка все играет!

– А они все танцуют. Я удивляюсь, как не устанут они.

– Как богато!

270 – Как пышно!

– Вы не знаете, на скольких особ сервирован ужин?

– Я не успела сосчитать. Вошел метрдотель, и мне пришлось удалиться.

– Не может быть, чтобы нас забыли!

– Но ведь Человек так горд. Мы же так ничтожны.

– Оставьте! Мой муж говорит, что мы сами оказываем ему честь, бывая у него. Мы сами достаточно богаты.

– Если принять в расчет репутацию его жены...

280 – Вы не видите никого, кто бы искал нас? Быть может, он ищет нас в других комнатах?

– Как богато!..

– Если не совсем осторожно обращаться с чужими деньгами, то, я думаю, можно стать богатым.

– Перестаньте, это говорят его враги...

– Однако среди них есть люди весьма почтенные. Должна сознаться, что мой муж...

– Однако, как уже поздно!

– Здесь, очевидно, произошло недоразумение! Я не могу допустить, чтобы нас просто забыли.

290 – По-видимому, вы плохо знаете жизнь и людей, если вы думаете так.

– Удивляюсь. Мы сами достаточно богаты...

– Кажется, кто-то звал нас?



– Это вам послышалось! Нас никто не звал. И я не понимаю, должна сознаться откровенно, зачем мы пришли в дом с такой репутацией. Знакомство нужно выбирать осторожно.

В двери показывается Лакей в ливрее.

– Господин Человек и его супруга просят почтенных господ пожаловать к столу.

ГОСТИ (*поспешно подымаясь*):

300

– Какая ливрея!

– Он нас позвал!

– Я говорила, что здесь недоразумение.

– Человек так мил! Они, наверное, еще сами не успели сесть за стол.

– Я говорила, нет ли кого-нибудь, кто искал бы нас.

– Какая ливрея!

– Говорят, что ужин великолепен.

– У Человека ничего не может быть плохо.

– Какая музыка! Какая честь быть на балу у Человека.

310

– Пусть нам позавидуют те...

– Как богато!

– Как пышно!

– Какая честь!

– Какая честь!

Повторяя, один за другим удаляются, и зала пустеет. Пара за парой оставляют танцы танцующие и молча уходят вслед за гостями. Некоторое время кружится еще одна пара, но и она вскоре уходит за другими. Но все с тою же отчаянной старательностью играют музыканты.

Лакей тушит люстры, оставляя лишь одну свечу в дальней люстре, и уходит. 320  
В наступившем полумраке смутно колеблются фигуры музыкантов, раскачивающихся со своими инструментами, и резко выделяется Некто в сером. Пламя свечи колеблется и ярким желтоватым светом озаряет Его каменное лицо и подбородок.

Не поднимая головы, Он поворачивается и медленно, через всю залу, спокойными и тихими шагами, озаренный пламенем свечи, идет к тем дверям, куда ушел Человек, и скрывается в них.

Опускается занавес.

## КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

### НЕСЧАСТИЕ ЧЕЛОВЕКА

Четырехугольная большая комната мрачного вида: гладкие темные стены, такой же пол и потолок. В задней стене два высоких восьмистекольных незанавешенных окна и низенькая дверь между ними; такие же два окна в правой стене. В окна смотрит ночь, и, когда распаивается дверь, та же глубокая чернота ночи быстро взглядывает в комнату. Вообще, как бы ни было светло в комнатах Человека, огромные темные окна поглощают свет. В левой стене одна только низенькая дверь внутрь дома; у этой же стены стоит широкий диван, обитый черной клеенкой. У окна направо рабочий стол Человека, очень простой, бедный; на нем тускло горящая лампа под темным колпаком, желтое пятно разложенного чертежа и детские игрушки: маленький кивер, деревянная лошадка без хвоста и красный длинноносый паец с бубенцами. В простенке между окнами старый книжный шкаф, совершенно пустой, разоренный; заметны пыльные полосы от книг – видно, что их унесли совсем недавно. Один стул. В углу более темном, чем другие, стоит Н е к т о в с е р о м, именуемый О н. Свеча в Его руке не больше как толстый, слегка оплывший огарок, горящий красноватым колеблющимся огнем. И так же красны блики на каменном лице и подбородке Его. Единственная прислуга Человека, С т а р у х а, сидит на стуле и говорит ровным голосом, обращаясь к воображаемому собеседнику:

– Вот и снова впал в бедность Человек. Было у него много дорогих вещей, лошади и экипажи, и автомобиль даже был, а теперь нет ничего и из всей прислуги осталась я только одна. В этой комнате и в других двух есть еще хорошие вещи – вот диван, вот шкаф, – а в остальных двенадцати нет ничего, и стоят они пустые и темные. И днем и ночью бегают в них крысы, дерутся и пищат; люди их боятся, а я нет. Мне все равно.

Давно уже висит на воротах железная доска, где написано, что дом продается, но никто не покупает его. Уже проржавела доска, и буквы на ней стерлись от дождей, а никто не приходит и не покупает – никому не нужен старый дом. А может быть, кто-нибудь и купит – тогда пойдем искать другого жилища, и будет оно совсем чужое. Госпожа станет плакать, заплачет, пожалуй, и старый господин, а я нет. Мне все равно.

Вы удивляетесь, куда же девалось богатство, – не знаю, может быть, это и удивительно, но только всю жизнь жила я у людей и видела часто, как уходили деньги, потихоньку уплывали в какие-то щели. Так и у этих моих господ. Было много, потом стало мало, потом совсем ничего; приходили заказчики и заказывали – потом перестали приходиться. Спросила я однажды госпожу, отчего это так, а она ответила: “Перестает нравиться то, что нравилось; перестают любить, что любили”. Как же это может быть, чтобы

перестало нравиться, раз уже понравилось? Не ответила она и заплакала, а я нет. Мне все равно. Мне все равно.

Пока платят они мне, живу у них, а перестанут платить, пойду к другим и у других жить буду. Стряпала я им, а тогда другим стряпать стану, а потом и совсем перестану – старая стала и вижу плохо. Тогда выгонят они меня и скажут: ступай куда хочешь, а мы другую возьмем. Что ж? Я и пойду, мне все равно.

Вот удивляются мне люди: страшно, говорят, жить у них, 50 страшно по вечерам сидеть, когда только ветер в трубе свистит да крысы пищат и грызутся.

Не знаю, может быть, и страшно, но только я не думаю об этом. Зачем? Они вдвоем у себя сидят и смотрят друг на друга, и ветер слушают, а я у себя на кухне сижу и тоже ветер слушаю. Разве не один ветер свистит в наши уши? У них так бывало, что придут молодые люди к ихнему сыну, и тогда все смеются, поют, ходят в пустые комнаты крыс разгонять, а ко мне никто не приходит, и сижу я одна, все одна. Не с кем разговаривать – так я с собой говорю, и – мне все равно. 60

И так у них плохо, а третьего дня и еще несчастье случилось: пошел молодой господин гулять и шляпу набок надел и волосы выправил как молодец, а злой человек взял из-за угла и бросил в него камнем, и разбил ему голову, как орех. Принесли его, положили, и лежит он теперь, умирает, – а может быть, и жив останется, кто знает. Плакали старая госпожа и господин, а потом взяли все книги, на воз положили да продали. Теперь сиделку на эти деньги наняли, лекарства взяли, даже винограду купили. Вот и пригодились книги. Но только не ест он винограду, даже не смотрит на него – так и стоит возле, на блюдечке. Так и стоит. 70

В наружную дверь входит Доктор, мрачный и очень озабоченный.

Доктор. Туда я попал? Вы не знаете, старушка? Я доктор, у меня много посещений, и я часто ошибаюсь. Туда зовут, сюда зовут, а дома все одинаковы, и люди в них скучные. Туда я попал?

Старушка. Не знаю.

Доктор. Вот я посмотрю в записную книжку. Не у вас ли ребенок, у которого болит горло, и он задыхается?

Старушка. Нет.

Доктор. Не у вас ли господин, подавившийся костью?

Старушка. Нет. 80

Доктор. Не у вас ли человек, который внезапно сошел с ума от бедности и топором зарубил жену и двух детей? Всего должно быть четверо?

Старушка. Нет.

Доктор. Не у вас ли девушка, у которой перестало биться сердце? Не лгите, старушка, мне кажется, что она у вас.

Старушка. Нет.

Доктор. Нет. Я вам верю, вы говорите искренно. Не у вас ли молодой человек, которому камнем разбили голову, и он умирает?

Старушка. У нас. Ступайте в ту дверь, налево. Да дальше не ходите, там вас съедят крысы.

Доктор. Хорошо. Звонят, все звонят, днем и ночью. Вот и теперь ночь. Фонари все потушены, а я все иду. Часто ошибаюсь я, старушка. *(Уходит в дверь, ведущую внутрь дома.)*

Старушка. Один доктор лечил – не вылечил, теперь другой будет – и тоже, должно быть, не вылечит. Что ж! Тогда умрет ихний сын, и останемся мы в доме одни. Я буду в кухне сидеть и с собой разговаривать, а они тут будут сидеть, молчать и думать.  
100 Еще одна комната освободится, и будут в ней бегать и драться крысы. Пускай бегают и дерутся, мне все равно. Мне все равно.

Спрашиваете вы меня, за что ударил злой человек молодого господина. А я не знаю – откуда же я буду знать, за что люди убивают один другого. Один бросил камень из-за угла и убежал, а другой свалился и теперь умирает – вот это я знаю. Говорят, что добрый был наш молодой господин, смелый и за бедных заступался, – не знаю, мне все равно. Добрый или злой, молодой или старый, живой или мертвый, мне все равно. Мне все равно.

Пока платят – живу, а перестанут платить – пойду к другим; и  
110 другим стряпать буду, а потом совсем перестану – стара я стала, вижу плохо и соли от сахара не отличаю. Тогда выгонят они меня и скажут: ступай куда хочешь, а мы другую возьмем. Что ж? Я и пойду, мне все равно... Мне все равно...

Входят Доктор, Человек и его Жена. Оба они очень состарились и совершенно седы. Высоко стоящие длинные волосы Человека и большая борода придают его голове сходство с львиной головою: ходит он слегка сгорбившись, но голову держит прямо и смотрит из-под седых бровей сурово и решительно. Когда разглядывает что-нибудь вблизи, то надевает большие очки в серебряной оправе.

Доктор. Ваш сын крепко уснул, и вы не будите его. Сон,  
120 может быть, к лучшему. И вы засните; если человек имеет время спать, он должен спать, а не ходить и не разговаривать.

Жена. Благодарю вас, доктор, вы так нас успокоили. А завтра вы не приедете к нам?

Доктор. И завтра приеду, и послезавтра. А вы, старушка, тоже ступайте спать. Уж ночь, и всем пора спать. В эту дверь надо идти? Я часто ошибаюсь.

Уходит. Уходит и Старушка, и Человек остается с Женой вдвоем.

Человек. Посмотри, жена: вот это я начал чертить, когда наш сын был еще здоров. Вот на этой линии я остановился и подумал: отдохну, а потом буду продолжать опять. Посмотри, 130  
какая простая и спокойная линия, а на нее страшно взглянуть: ведь она может быть последней, которую провел я при жизни сына. Каким зловещим неведением дышит ее простота, ее спокойствие!

Жена. Не тревожься, мой милый, гони от себя дурные мысли. Я верю, что доктор сказал правду и сын наш выздоровеет.

Человек. А ты разве не тревожишься? Взгляни на себя в зеркало: ты бела, как твои волосы, мой старый друг.

Жена. Конечно, я немного тревожусь, но я убеждена, что опасности нет. 140

Человек. И теперь, как и всегда, ты ободряешь меня и обманываешь так искренно и свято. Бедный мой оруженосец, верный хранитель моего иступившегося меча, – плох твой старый рыцарь, не держит оружия его дряхлая рука. Что я вижу? Это игрушки сына! Кто положил их сюда?

Жена. Мой милый, ты забыл: ты сам же давно еще положил их сюда. Ты говорил тогда, что тебе легче работается, если перед тобою лежат эти детские невинные игрушки.

Человек. Да, я забыл. Но теперь мне страшно смотреть на них, как осужденному на орудия пытки и казни. Когда ребенок 150 умирает, проклятием для живых становятся его игрушки. Жена, жена! Мне страшно смотреть на них.

Жена. Они куплены еще в то время, когда мы были бедны. Жаль смотреть на них: такие это бедные милые игрушки.

Человек. Я не могу, я должен взять их в руки. Вот лошадка с оторванным хвостом. – Гоп-гоп, лошадка, куда ты скачешь? – “Далеко, папа, далеко, туда, где поле и зеленый лес”. – Возьми меня, лошадка, с собой. – “Гоп-гоп, садись, милый папочка...” А вот кивер, картонный, плохонький кивер, который со смехом я сам примерял, когда покупал его в лавке. – Ты кто? – “Я рыцарь, 160 папа. Я самый сильный, смелый рыцарь”. – Куда идешь ты, мой маленький рыцарь? – “Дракона убивать я иду, милый папа. Я иду освободить пленных, папа”. – Иди, иди, мой маленький рыцарь.

Жена Человека плачет.

А вот и наш неизменный паяц со своей глупой и милою рожей. Но какой он ободранный – точно из сотни битв вырвался он, но все так же смеется и так же краснонос. Ну, позвени же, друг, как ты звенел прежде. Не можешь, нет? Один только бубенчик остался, ты говоришь. Ну так я же брошу тебя на пол! *(Бросает.)*

170 Жена. Что ты делаешь? Вспомни, как часто целовал наш мальчик его смешное лицо.

Человек. Да. Я не прав. Прости меня, мой друг, и ты, старина, прости. *(Поднимает, с трудом нагибаясь.)* Все смеешься? Нет, я положу тебя подальше. Не сердись, но сейчас я не могу видеть твоей улыбки, ступай смеяться в другое место.

Жена. Твои слова разрывают сердце. Поверь мне, выздоровеет наш сын, — разве это будет справедливо, если молодое умрет раньше старого?

Человек. А где ты видела справедливое, жена?

180 Жена. Мой милый друг, я прошу тебя, преклони со мной вместе колена, и вдвоем мы умолим Бога.

Человек. Трудно сгибаются старые колена.

Жена. Преклони их, ты должен.

Человек. Не услышит меня Тот, чей слух еще ни разу не утруждал я ни славословием, ни просьбами. Проси ты — ты мать!

Жена. Проси ты — ты отец! Если не отец умолит за сына, то кто же? Кому ты оставляешь его? Разве одна я могу так сказать, как мы скажем вдвоем?

190 Человек. Пусть будет как ты говоришь. Быть может, отзовется вечная справедливость, если преклонят колена старики.

Оба становятся на колени, обратившись лицом в тот угол, где неподвижно стоит Н е и з в е с т н ы й, и молитвенно складывают у груди руки.

#### МОЛИТВА МАТЕРИ

— Боже, я прошу Тебя, оставь жизнь моему сыну. Только одно я понимаю, только одно могу я сказать, только одно: Боже, оставь жизнь моему сыну. Нет у меня других слов, все темно вокруг меня, все падает, я ничего не понимаю, и такой ужас у меня в душе, Господи, что только одно могу я сказать: Боже, оставь 200 жизнь моему сыну! Оставь жизнь моему сыну! Оставь! Прости, что так плохо молюсь я, но я не могу. Господи, Ты понимаешь, не могу. Ты посмотри на меня. Ты только посмотри на меня — видишь? Видишь, как трясется голова, как трясутся руки — да что руки мои, Господи! Пожалей его, ведь он такой молоденький, у него родинка на правой ручке. Дай ему пожить, хоть немножко, хоть немножко. Ведь он такой молоденький, такой глупый, — он еще любит сладкое, и я купила ему винограду. Пожалей! Пожалей!

Тихо плачет, закрыв лицо руками. Не глядя на нее, Человек говорит.

– Вот я молюсь, видишь Ты? Согнул старые колени, в прахе разостлался перед Тобой, землю целую, – видишь? Быть может, когда-нибудь я оскорбил Тебя, так Ты прости меня, прости. Правда, я был дерзок, заносчив, требовал, а не просил, часто осуждал. Ты прости меня. А если хочешь, если такая Твоя воля, накажи – но только сына моего оставь. Оставь, я прошу Тебя. Не о милосердии я Тебя прошу, не о жалости, нет – только о справедливости. Ты – старик, и я ведь тоже старик. Ты скорее меня поймешь. Его хотели убить злые люди, те, что делами своими оскорбляют Тебя и оскверняют Твою землю. Злые, безжалостные негодяи, бросающие камни из-за угла. Из-за угла, негодяи! Не дай же совершиться до конца злему делу: останови кровь, верни жизнь – верни жизнь моему благородному сыну. Ты отнял у меня все, но разве когда-нибудь я просил Тебя, как попрошайка: верни богатство! верни друзей! верни талант! Нет, никогда. Даже о таланте не просил я, а Ты ведь знаешь, что такое талант – ведь это больше жизни! Может быть, так нужно, думал я, и все терпел, и все терпел, гордо терпел. А теперь прошу, на коленях, в прахе, целую землю, – верни жизнь моему сыну. Целую землю Твою!

Встают. Равнодушно внемлет молитве отца и матери Некто, именуемый Он. 230

Жена. Я боюсь, что не совсем смиренна была твоя молитва, мой друг. В ней как будто звучала гордость.

Человек. Нет, нет, жена, я хорошо говорил с Ним, так, как следует говорить мужчинам. Разве покорных льстецов Он должен любить больше, чем смелых и гордых людей, говорящих правду? Нет, жена, ты этого не понимаешь. Теперь и я верю, и мне стало спокойно, даже весело. Чувствую, что и я что-нибудь еще значу для моего мальчика, и это меня радует. Взгляни, спит ли он. Он должен спать крепко.

Жена уходит. Человек, дружелюбно посматривая в угол, где стоит Некто, берет игрушечного паца, играет с ним и тихонько целует его в длинный красный нос. 240

В этот момент входит Жена, и Человек говорит смущенно:

А я все извинялся, обидел я этого дурака. Ну как наш милый мальчик?

Жена. Он такой бледный.

Человек. Это ничего, это пройдет; он очень много потерял крови.

Жена. Мне так жалко смотреть на его бедную остриженную голову. Ведь у него были такие прекрасные золотистые кудри.

250      Ч е л о в е к. Их было необходимо срезать, чтобы обмыть рану. Ничего, жена, ничего, вырастут еще лучше. Но собрала ли ты обрезанные волосы? Их необходимо собрать и сохранить. На них его драгоценная кровь, жена!

Ж е н а. Да, я спрятала их в тот ларец, последний, что остался от нашего богатства.

Ч е л о в е к. Не грусти о богатстве. Нам нужно подождать только, пока не возьмется за работу наш сын: он вернет потерянное. Мне стало весело, жена, и я твердо верю в наше будущее. А помнишь ли ты нашу бедную розовую комнатку? Добрые соседи  
260      набросали дубовых листьев, и ты сделала из них венок на мою голову и говорила, что я гениален.

Ж е н а. Я и теперь, мой друг, скажу то же. Люди перестали ценить тебя, но не я.

Ч е л о в е к. Нет, моя маленькая женка, ты не права. Создания гения переживают эту дрянную старую ветошку, которая называется его телом. Я же еще жив, а вещи мои...

Ж е н а. Нет, они не умерли и не умрут. Вспомни тот дом на углу, что построил ты десять лет назад. Каждый вечер, когда заходит солнце, ты ходишь смотреть на него. Разве во всем городе  
270      есть здание более красивое, более глубокое?

Ч е л о в е к. Да, я строил его как раз в расчете, что последние лучи заходящего солнца должны падать на него и гореть в окнах. Весь город уже в темноте, а мой дом еще прощается с солнцем. Это сделано хорошо и, может быть, – как думаешь? – переживет меня хоть немного?

Ж е н а. Конечно, мой друг.

Ч е л о в е к. Меня огорчает только одно, женка: зачем так скоро забыли меня люди? Они могли бы помнить несколько дольше, жена, несколько дольше.

280      Ж е н а. Забывают то, что знали, перестают любить то, что любили.

Ч е л о в е к. Несколько дольше могли бы помнить они, несколько дольше.

Ж е н а. Около того дома я видела молодого художника. Он внимательно изучал здание и срисовывал его в альбом.

Ч е л о в е к. А, как же ты не сказала мне этого, мой друг? Это очень важно, очень важно. Это значит, что моя мысль передается другим людям, и пусть меня забудут, она будет жить. Это очень важно, жена, чрезвычайно важно.

290      Ж е н а. Да тебя и не забыли, мой милый. Вспомни молодого человека, который так почтительно поклонился тебе на улице.



Человек. Это верно, женка. Хороший юноша, очень хороший. У него такое славное молодое лицо. Хорошо, что ты мне напомнила об этом поклоне, у меня посветлело на сердце. Но что-то меня клонит ко сну, устал я, вероятно. Да и стар я, моя маленькая, седенькая женка, ты не замечаешь?

Жена. Ты все такой же красивый.

Человек. И глаза блестят?

Жена. И глаза блестят.

Человек. И волосы черны как смоль?

300

Жена. Они у тебя так снежно-белы, что это еще красивее!

Человек. И морщинок нет?

Жена. Есть маленькие морщинки, но...

Человек. Кончено, я чувствую себя красавцем. Завтра куплю мундир и поступлю в легкую кавалерию. Хорошо?

Жена улыбается.

Жена. Вот ты и шутишь, как встарь. Ну приляг здесь, мой милый, усни немного, а я пойду к нашему мальчику. Будь спокоен, я не оставлю его, а когда он проснется, позову тебя. А тебе не неприятно целовать старую, морщинистую руку?

310

Человек (*целует*). Оставь! Ты самая красивая женщина, какую я знаю.

Жена. А морщинки?

Человек. Какие еще морщинки? Я вижу милое, доброе, хорошее, умное лицо, и больше ничего. Не сердись на меня за строгий тон и пойдти к мальчику. Побереги его, посиди около него тихой тенью нежности и ласки, а если станет он беспокоиться во сне, спой ему песенку, как прежде. Да виноград поставь поближе, чтобы мог достать его рукою.

Жена уходит. Человек ложится на диван головой к тому концу, где неподвижно стоит Некто в сером, так что последний почти касается рукою его седых размечтанных волос. Быстро засыпает.

320

Некто в сером. Крепко и радостно уснул Человек, оболщенный надеждами. Тихо дыхание его, как у ребенка, спокойно и ровно бьется старое сердце отдыхая. Он не знает, что через несколько мгновений умрет его сын, и в сонных таинственных грезах перед ним встает невозможное счастье.

Ему кажется, что в белой лодке едет он с сыном по красивой и тихой реке. Ему кажется, что день прекрасен, и он видит голубое небо, кристально-прозрачную воду; он слышит, как шурша расступается перед лодкою камыш. Ему кажется, что он счастлив, и радость чувствует он, — все чувства лгут Человеку.

330

Но вдруг беспокоится он, страшная правда сквозь густые покровы сна обожгла его мысль.

– Отчего так низко обрезаны твои золотистые волосы, мой мальчик? Отчего?

– У меня болела голова, папа, и от этого так низко обрезаны мои волосы.

И снова, обманутый, он чувствует счастье, видит голубое небо  
340 и слышит, как шуршат камыши, расступаясь.

Он не знает, что уже умирает его сын. Он не слышит, как в последней безумной надежде, с детской верой в силу взрослых, сын зовет его без слов, криком сердца: “Папа, папа, я умираю! Удержи меня!” Крепко и радостно спит Человек, и в таинственных и обманчивых грезах пред ним встает невозможное счастье.

Проснись, Человек! Твой сын – умер.

Человек (*испуганно поднимает голову и встает*). Мне страшно: как будто кто-то позвал меня.

В то же мгновение за стеной раздается плач многих женских голосов. Высокими  
350 голосами протяжно плачут они над умершим. Входит Жена, страшно бледная.

Человек. Наш мальчик умер?

Жена. Да. Умер.

Человек. Он звал меня?

Жена. Нет. Он не просыпался. Он никого не звал. Он умер, мой сын, мой ненаглядный мальчик!

Падает на колени перед Человеком и рыдает, охватив руками его ноги. Человек кладет руку ей на голову и с рыданием в голосе, но грозно говорит, обращаясь в угол, где равнодушно стоит Некто.

Человек. Ты женщину обидел, негодяй! Ты мальчика убил!  
360 (*Жена рыдает. Человек тихонько, дрожащею рукой гладит ее волосы.*) Не плачь, милая, не плачь. Он и над слезами нашими посмеется, как посмеялся над нашими молитвами. А Ты, я не знаю, кто Ты – Бог, дьявол, рок или жизнь, – я проклиная Тебя!

Дальнейшее говорит громким, сильным голосом, одною рукою как бы защищая Жену, другую грозно протягивая к Неизвестному.

#### ПРОКЛЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА

– Я проклиная все данное Тобою. Проклинаю день, в который я родился, проклиная день, в который я умру. Проклинаю всю жизнь мою, ее радости и горе. Проклинаю себя! Проклинаю мои  
370 глаза, мой слух, мой язык. Проклинаю мое сердце, мою голову, – и все бросаю назад, в Твое жестокое лицо, безумная Судьба. Будь проклята, будь проклята вовеки! И проклятием я побеждаю Тебя.

Что можешь еще сделать Ты со мною? Вали меня наземь, вали – я буду смеяться и кричать: будь проклята! Клещами смерти зажми мне рот – последней мыслью я крикну в Твои ослиные уши: будь проклята, будь проклята! Бери мой труп, грызи его, как собака, возись с ним в темноте – меня в нем нет. Я исчез, но исчез, повторяя: будь проклята, будь проклята! Через голову женщины, которую Ты обидел, через тело мальчика, которого Ты убил, – шлю Тебе проклятие Человека.

380

Умолкает с грозно поднятой рукою. Равнодушно внемлет проклятию Некто в сером, и колеблется пламя свечи, точно раздуваемое ветром. Так некоторое время в сосредоточенном молчании стоят один против другого: Человек и Некто в сером. Плач за стеною становится громче и протяжнее, переходя в мелодию страдания.

Опускается занавес.

## КАРТИНА ПЯТАЯ

### СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА

Неопределенный, колеблющийся, мигающий, сумрачный свет, мешающий что-либо рассмотреть с первого взгляда. Когда глаз привыкает, он видит такую картину:

10 Широкая длинная комната с очень низким потолком, без одного окна в стенах. Вход откуда-то сверху, по ступеням. Стены гладки и сумрачно грязны – похоже на грубую, запятнанную кожу какого-то большого зверя. Всю заднюю стену, до ступенек, занимает один огромный плоский стеклянный буфет, сплошь устав-

20 ленный совершенно правильными рядами бутылок с разноцветными жидкостями. За невысоким прилавком совершенно неподвижно сидит Каба т ч и к, сложив руки на животе. Белое с румянцем лицо, лысина, большая рыжая борода – выражение полного спокойствия и равнодушия. Таким он остается все время, ни разу не перемещаясь и не меняя положения. За небольшими столиками на деревянных табуретах сидят П ь я н и ц ы. Количество людей увеличивается их тенями, блуждающими по стенам и по потолку.

30 Бесконечное разнообразие отвратительного и ужасного. Лица, похожие на маски с непомерно увеличенными или уменьшенными частями: носатые и совсем безносые, глаза дико вытаращенные, почти вылезшие из орбит и сузившиеся до едва видимых щелей и точек; кадыки и крохотные подбородки. Волосы у всех спутанные, лохматые, грязные, иногда закрывающие половину лица. На всех, однако, лицах, при их разнообразии, лежит печать страшного сходства: это зеленоватая, могильная окраска и выражение то веселого, то мрачного и безумного ужаса.

Одеды Пьяницы в одноцветные лохмотья, обнажающие то зеленую костлявую руку, то острое колено, то впалую страшную грудь. Есть почти совсем голые. Женщины мало отличаются от мужчин и еще безобразнее, чем они. У всех трясутся руки и головы, и походка неровная, точно они ходят или по очень скользкой, или бугровой, или движущейся поверхности. И голоса одинаковые:

30 хриплые, сипящие; и так же нетвердо, как ходят, выговаривают Пьяницы слова непослушными, точно замерзшими губами.

Посередине сборища за отдельным столиком сидит Ч е л о в е к, положив седую вклокоченную голову на руки. Таким остается он все время, за исключением того момента, когда говорит. Одет он очень плохо.

В углу неподвижно стоит Н е к т о в с е р о м с догорающей свечой. Узкое синее пламя колеблется, то ложась на край, то острым язычком устремляясь вверх.

И могильно-сини блики на каменном лице и подбородке Его.

### РАЗГОВОР ПЬЯНИЦ

– Боже мой! Боже мой!

40 – Послушайте – как странно колеблется все: ни на чем нельзя остановить взора.

– Все дрожит как в лихорадке: люди, стулья и потолок.

– Все плывет и качается, как на волнах.

– Вы не слышите шума? Я слышу какой-то шум. Точно грохочут железные колеса или камни падают с горы. Большие камни падают, как дождь.

– Это шумит в ушах.

– Это шумит кровь. Я чувствую мою кровь. Густая, черная, пахнувшая ромом, она тяжело катится по жилам. И когда подходит к сердцу, то все падает, и становится страшно.

50

– Я вижу как будто блистание молний!

– Я вижу огромные, красные костры, и на них горят люди. Противно пахнет горелым мясом. Черные тени кружатся вокруг костров. Они пьяны, эти тени. Эй, позовите меня, я буду с вами танцевать.

– Боже мой! Боже мой!

– И я веселый! Кто хочет со мною смеяться? Никто не хочет, так я буду один. *(Смеется один.)*

– Прелестная женщина целует меня в губы. От нее пахнет мускусом, и зубы у нее как у крокодила. Она хочет укусить меня. 60  
Прочь, шлюха!

– Я не шлюха. Я старая беременная змея. Уже целый час смотрю я, как из моей утробы выходят маленькие змейки и ползают. Эй, не раздави моего змееныша!

– Куда ты идешь?

– Кто ходит там? Сядьте. Весь дом дрожит, когда вы ходите.

– Я не могу. Мне страшно сидеть.

– И мне страшно. Когда сидишь, то слышно, как ужас бегаёт по телу.

– И мне. Пустите меня!

70

Трое или четверо Пьяниц колеблющимися шагами бесцельно бродят, путаясь среди столов.

– Посмотрите, что оно делает. Уже два часа оно старается прыгнуть на мои колени. Только на вершок не достает. Я его отогною, а оно опять. Это какая-то странная игра.

– У меня под черепом ползают черные тараканы. И шуршат.

– У меня распадается мозг. Я чувствую, когда одна серая частица отделяется от другой. Мой мозг похож на скверный сыр. Он пахнет.

– Тут пахнет какой-то падалью.

80

– Боже мой! Боже мой!

– Сегодня ночью я подползу к ней на коленях и зарежу ее. Потечет кровь. Она сейчас течет уже: такая красная.

– За мной все время ходят трое. Они зовут меня в темный угол на пустырь и там хотят зарезать. Они сейчас около дверей.

- Кто это ходит по стенам и по потолку?
- Боже мой! Они пришли сюда. За мною.
- Кто?
- Они!

90 – У меня немеет язык. Что же мне делать? У меня немеет язык.  
Я буду плакать. *(Плачет.)*

– Все из меня лезет наружу. Я сейчас вся вывернусь наизнанку и буду красной.

– Послушайте, послушайте, эй! Кто-нибудь. На меня идет чудовище. Оно поднимает руку. Помогите, эй!

- Что это! Помогите! Паук!
- Помогите!

Некоторое время кричат хриплыми голосами: “Помогите!”

100 – Мы все пьяницы! Позовем всех сверху сюда. Наверху так мерзко.

– Не надо. Когда я выхожу отсюда на улицу, она мечется, как дикий зверь, и скоро валит меня с ног.

– Мы все пришли сюда. Мы пьем спирт, и он дает нам веселье.

- Он дает ужас. Я весь день трясусь от ужаса.
- Лучше ужас, чем жизнь. Кто хочет вернуться туда?
- Я – нет.
- Не хочу. Я лучше издохну здесь. Не хочу я жить!
- Никто!

110 – Боже мой! Боже мой!

– Зачем ходит сюда Человек? Он пьет мало, а сидит много. Не надо его.

- Пусть идет в свой дом. У него свой дом.
- Пятнадцать комнат.
- Не трогайте его, ему больше некуда ходить.
- У него пятнадцать комнат.
- Они пустые. В них только бегают и дерутся крысы.
- А жена?
- У него никого нет. Должно быть, умерла жена.

120 – Умерла жена.

– Умерла жена.

Во время этого разговора и последующего потихоньку входят Старухи в странных покрывалах, незаметно заменяя собой тихо уходящих Пьяниц.

Вмешиваются в разговор, но так, что никто этого не замечает.

## РАЗГОВОР ПЬЯНИЦ И СТАРУХ

- Он сам скоро умрет. Он едва ходит от слабости!
- У него пятнадцать комнат.
- Послушайте, как бьется его сердце: неровно и тихо. Оно скоро остановится.
- Эй! Человек! Позови нас к себе: у тебя пятнадцать комнат. 130
- Оно скоро остановится. Старое, больное, слабое сердце Человека!
- Он спит, пьяный дурак. Спать так страшно, а он спит. Он может во сне умереть. Эй, разбудите его!
- А помните, как билось оно молодо и сильно!

Тихий смех.

- Кто смеется? Тут есть лишние.
- Это вам кажется. Тут только мы одни, пьяницы.
- Я пойду на улицу и устрою скандал. Меня ограбили. Я совсем голый. У меня зеленая кожа. 140
- Здравствуйте.
- Опять шумят колеса. Боже мой, они меня задавят. Помогите!

Никто не отзывается.

- Здравствуйте.
- А вы помните, как он родился? Вы, кажется, там были?
- Должно быть, я умираю. Боже мой, Боже мой! Кто же отнесет меня в могилу? Кто зароет меня? Так и буду я валяться, как собака, на улице. Будут люди ходить через меня, экипажи ездить – раздавят они меня. Боже мой! Боже мой! (Плачет.) 150
- Позвольте поздравить вас, дорогой родственник, с новорожденным.
- Твердо уверен, что тут есть ошибка. Когда из прямой линии выходит замкнутый круг, то это – абсурд. Сейчас я докажу это!
- Вы правы.
- Боже мой! Боже мой!
- Только невежды в математике могут допустить это. Но я не допускаю. Слышите, я не допускаю этого!
- А вы помните розовенькое платьице и голенькую шейку?
- И цветы. Ландыши, с которых не высохла роса, фиалки и 160 зеленую травку.
- Не трогайте, девушки, не трогайте цветов.

Тихо смеются.

- Боже мой! Боже мой!

Пьяницы все ушли, и их места заняты Старухами в странных покрывалах. Свет становится ровным и очень слабым. Резко выделяется фигура Неизвестного и седая голова Человека, на которую сверху падает слабый свет.

#### РАЗГОВОР СТАРУХ

– Здравствуйте!

170 – Здравствуйте. Какая славная ночь!

– Вот мы и снова собрались. Как ваше здоровье?

– Покашливаю.

Тихо смеются.

– Теперь недолго. Он сейчас умрет.

– Взгляните на свечу. Пламя синее, узкое и стелется по краям. Уже нет воска, и фитиль догорает.

– Не хочет гаснуть.

– А когда вы видели, чтобы пламя хотело гаснуть?

– Не спорьте! Не спорьте! Хочет оно гаснуть или не хочет, а  
180 время идет.

– А вы помните его автомобиль? Он однажды чуть не задавил меня.

– А его пятнадцать комнат?

– Я сейчас только была там. Меня чуть не съели крысы, и я простудилась от сквозняков. Кто-то украл рамы, и ветер ходит по всему дому.

– А вы полежали на кровати, где умерла его жена? Не правда ли, какая она мягкая?!

– Да, я обошла все комнаты и помечтала немного. У них та-  
190 кая милая детская. Жаль только, что и там выбиты рамы и ветер шуршит каким-то сором. И кроватка детская такая милая. В ней крысы теперь завели свое гнездо и выводят детей.

– Таких миленьких, голеньких крысятков.

Тихо смеются.

– А в кабинете на столе лежат игрушки: бесхвостая лошадка, кивер, красноносый пац. Я немного поиграла с ними. Надевала кивер – он так ко мне идет. Только пыли на них ужасно много, вся перепачкалась.

– Но неужели вы не были в зале, где давался бал? Там так  
200 весело.

– Да, я была там, но, представьте, что я увидела! Темно, стекла выбиты, ветер шуршит обоями...

– Это похоже на музыку.



– А у стен, в темноте, на корточках сидят гости, но в каком виде, если бы вы знали!

– Мы знаем!

– И, ляская зубами, лают отрывисто: как богато, как пышно!

– Вы шутите, конечно?

– Конечно, я шучу. Вы знаете мой веселый характер.

– Как богато! Как пышно!

210

– Как светло!

Тихо смеются.

– Напомните ему.

– Как богато! Как пышно!

– Ты помнишь, как играла музыка на твоём балу?

– Он сейчас умрет.

– Кружились танцующие, и музыка играла так нежно, так красиво. Она играла так.

Становятся полукругом около Человека и тихо напевают мотив музыки, что играли на его балу.

220

– Устроим бал! Я так давно не танцевала.

– Вообрази, что это дворец, сверхъестественно красивый дворец.

– Зовите музыкантов. Нельзя же хороший бал давать без музыки.

– Музыкантов!

– Ты помнишь?

Напевают. В то же мгновение по ступеням спускаются те три Музыканта, что играли на балу. Тот, кто со скрипкой, аккуратно подстилает на плечо носовой платок, и все три начинают играть с чрезвычайной старательностью. Но звуки 230  
тихи и нежны, как во сне.

– Вот бал!

– Как богато, как пышно!

– Как светло!

– Ты помнишь?

Тихо напевая под музыку, начинают кружиться вокруг Человека, манерничая и в дикой уродливости повторяя движения девушек в белых платьях, танцевавших на балу. При первой музыкальной фразе они кружатся, при второй – сходятся и расходятся грациозно и тихо. И тихо шепчут:

– Ты помнишь?

240

– Ты сейчас умрешь, а ты помнишь?

– Ты помнишь?

– Ты помнишь?

– Ты сейчас умрешь, а ты помнишь?

– Ты помнишь?

Танец становится быстрее, движения резче. В голосах поющих Старух проskalьзывают странные, визгливые нотки; такой же странный смех, пока еще сдержанный, тихим шуршанием пробегает по танцующим. Пронсясь мимо Человека, бросают ему в ухо отрывистый шепот:

250 – Ты помнишь?

– Ты помнишь?

– Как нежно, как хорошо!

– Как отдыхает душа!

– Ты помнишь?

– Ты сейчас умрешь, сейчас умрешь, сейчас умрешь...

– Ты помнишь?

Кружатся быстрее, движения резче. Внезапно все смолкает и останавливается. Застывают с инструментами в руках Музыканты, в тех же позах, в каких застало их безмолвие, замирают танцующие.

260 Человек встает, выпрямляется, закидывает седую, красивую, грозно-прекрасную голову и кричит неожиданно громко, призывным голосом, полным тоски и гнева. После каждой короткой фразы короткая, но глубокая пауза.

– Где мой оруженосец? – Где мой меч? – Где мой щит? – Я обезоружен! – Скорее ко мне! – Скорее! – Будь прокля... *(Падает на стул и умирает, запрокинув голову.)*

В то же мгновение, ярко вспыхнув, гаснет свеча, и сильный сумрак поглощает предметы. Точно со ступенек ползет сумрак и постепенно заволакивает все, только светлеет лицо умершего Человека. Тихий, неопределенный говор Старух, шушуканье, пересмеивание.

270 Некто в сером. Тише! Человек умер!

Молчание, тишина. И тот же холодный, равнодушный голос повторяет из глубокой дали, как эхо:

– Тише! Человек умер!

Молчание, тишина. Медленно густеет сумрак, но еще видны мышинные фигуры насторожившихся Старух. Вот тихо и безмолвно они начинают кружиться вокруг мертвеца, потом начинают тихо напевать – начинают играть музыканты. Сумрак густеет, и все громче становится музыка и пение, все безудержнее дикий танец. Уже не танцуют, а бешено носятся они вокруг мертвеца, топя ногами, визжа, смеясь непрерывно диким смехом. Наступает полная тьма. Еще светлеет

280 лицо мертвеца, но вот гаснет и оно. Черный, непроглядный мрак. И во мраке слышно движение бешено танцующих, взвизгивания, смех, нестройные, отчаянно громкие звуки оркестра. Достигнув наивысшего напряжения, все эти звуки и шум быстро удаляются куда-то, замирают...

Тишина.

Опускается занавес.

23 сентября 1906 г.

# СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА \*

## ВАРИАНТ ПЯТОЙ КАРТИНЫ

### Жизни Человека

Высокая мрачная комната, в которой умерли сын и жена Человека. На всем лежит печать разрушения и смерти. Стены покосились и грозят падением; в углах раскинулась паутина – правильные светлые круги, включенные безысходно один в другой; грязно-серыми прядями спускается мертвая паутина и с нависшего

---

\* Уже после постановки “Жизни Человека” на сцене я убедился в некоторых погрешностях, допущенных мною как против формы, так и против основного замысла пьесы.

В отношении формы я считаю возможным оставить пьесу без изменений – пусть первый мой опыт неореалистической драмы остается таким, каким создался он в ту пору сомнений и колебаний. Иное дело – ошибки против основного замысла драмы.

Оставляя за другими право решить, насколько я прав или ошибаюсь в толковании смысла человеческой жизни, я должен ради себя самого, в целях наибольшей последовательности и ясности, исправить те недостатки пьесы, которые либо затемняют основную ее идею, либо представляют ее в недостаточно полном и законченном виде.

В пятой картине, вариант которой я ныне предлагаю, самым существенным недостатком являлось вот что: вторжение в драму относительно случайного элемента в лице *Пьяниц* и отсутствие столь необходимой и столь важной в жизни группы, как *Наследники*, естественно завершающей собою группы *Родственников*, *Друзей* и *Врагов* Человека.

Правда, введением в пьесу кабака и пьяниц я отнюдь не хотел сказать, что каждый человек неизбежно умирает в кабаке, и некоторые из моих критиков, рассуждавшие так: «Я в кабак не хожу – следовательно, все это неправда – следовательно, я никогда не умру – следовательно, какая же это “Жизнь Человека”!» – были совершенно не правы. Но то *одиночество* умирающего и несчастного человека, для показания которого выведены эти столь же одинокие и несчастные люди, с большей полнотой может быть охарактеризовано появлением *Наследников*. Если Пьяницы только предоставляют Человеку умереть одному, то Наследники убеждают его умереть, толкают его к смерти – с естественной безжалостностью всех тех, кто приходит на смену. *Смена* – вот и еще важный момент, упущенный мною из виду при первоначальном изображении “Смерти Человека”.

Отсутствовало в моей пьесе *Милосердие*, что также многим казалось неправдивым. Теперь оно представлено в лице Сестры Милосердия; и хотя за все время она не открывает глаз ни разу, но самим присутствием своим свидетельствует, что Милосердие действительно существует.

Памятуя, однако, что всякая правда есть лишь новая, но еще не доказанная ошибка, я прекращаю мои, быть может, излишние объяснения и предоставляю новую картину “Смерти Человека” на благосклонный суд читателя.

*Автор*

потолка. Точно под упорным давлением мрака, черной безграничностью обьявшего дом Человека, подались внутрь и покривились два высокие окна; если  
10 окна не выдержат и провалятся, то мрак вольется в комнату и погасит слабый, умирающий свет, которым озаряется она.

В задней стене коленчатая лестница, ведущая наверх, в те комнаты, где происходил когда-то бал; внизу видны кривые погнувшиеся ступени, дальше они теряются в густой насупившейся мгле. У той же стены под искривленным, порванным балдахинном кроватъ, на которой умерла жена Человека.

Справа темное жерло холодного, давно потухшего огромного камина; большая куча серой мертвой золы, в которой белеет полуобгорелый лист какой-то бумаги, по-видимому чертежа. Перед камином в кресле сидит неподвижно умирающий Человек; в том, как оборван его халат, в том, как лохматы и дики  
20 его нечесанные седые волосы и борода, чувствуется полная заброшенность и одиночество умирания. В стороне от Человека, на таком же кресле, крепко спит Сестра Милосердия с белым крестом на груди; за все время картины она не просыпается ни разу.

Вокруг умирающего Человека, обнимая его тесным кольцом жадно вытянутых лиц, сидят на стульях Н а с л е д н и к и. Их семь человек, три женщины и четверо мужчин. Их шеи хищно вытянуты по направлению к Человеку, рты жадно полураскрыты; напряженно-скрюченные пальцы на поднятых руках походят на когти хищных птиц. Есть среди них толстые и весьма упитанные люди, особенно один господин, жирное тело которого бесформенно расплывается на стуле, но  
30 по тому, как они сидят, как они смотрят на Человека, – кажется, что всю жизнь они были голодны и всю жизнь ожидали наследства. Голодны они как будто и сейчас.

В углу неподвижно стоит Некто в сером с догорающей свечою. Узкое синее пламя колеблется, то ложась на край, то острым язычком устремляясь вверх. И могильно-сини блики на каменном лице и подбородке Его.

## РАЗГОВОР НАСЛЕДНИКОВ

*(Говорят громко.)*

- Дорогой родственник, вы спите?
- Дорогой родственник, вы спите?
- 40 – Дорогой родственник, вы спите или нет? Отвечайте нам.
- Мы ваши друзья!
- Ваши наследники.
- Отвечайте нам!

Человек молчит. Наследники переходят на громкий шепот.

- Он молчит.
- Он ничего не слышит: он глух.
- Нет, он притворяется. Он ненавидит нас, он рад был бы нас выгнать, но не может: мы его наследники!
- Каждый раз, когда мы приходим, он смотрит на нас так, точно  
50 мы пришли убивать его. Как будто не умрет он и сам!
- Глупец!
- Это от старости. От старости все люди становятся глупы.

– Нет, это от жадности. Он рад был бы унести в могилу все. Он не знает, что в могилу человек уходит один.

– Почему вы так ненавидите нашего дорогого родственника?

– Потому, что он медлит умирать. *(Громко.)* Старик, почему ты не умираешь? Ты портишь нам жизнь, ты грабишь нас. Твое платье рвется и гниет, твой дом разрушается, твои вещи стареют и теряют ценность!

– Это правда, он нас грабит!

60

– Тише! Зачем кричать!

– Старик, ты обираешь нас!

– Но, может быть, дорогой родственник слышит нас?

– Пусть слышит! Правду всегда полезно слышать.

– Но, может быть, у него еще хватит силы составить завещание и лишить нас наследства?

– Вы думаете?

Натянуто смеются. Продолжают нежными голосами, громко, так, чтобы слышал Человек.

– Пустяки, он всегда был умным человеком, склонным к 70 юмору, и прекрасно понимает шутку. Не правда ли, дорогой родственник?

– Конечно, мы шутили.

– Мы можем ждать сколько угодно. Нам только жаль его. Так грустно день и ночь сидеть одному перед потухшим камином – не правда ли, дорогой родственник?

– Почему он не ляжет в постель?

– Так, маленькая причуда. На этой постели умерла его жена, и он никому не позволяет коснуться ни белья, ни подушек.

– Но время уже коснулось их!

80

– От них пахнет гнилью.

– Здесь отовсюду пахнет гнилью. *(Нюхает.)*

– Когда я подумую... Нет, когда я подумую, что в этом камине он непроизводительно жег целые бревна...

– А вы помните его бал? Наш милый родственник так сорил деньгами!

– Нашими деньгами!

– А вы помните, как он баловал жену, эту ничтожную женщину?

– Добавьте: которая обманывала его.

– Тише!

90

– У которой была дюжина любовников!

– Тише! Тише!

– Которая жила с лакеем! Да, с своим лакеем. Я сама видела однажды, как они переглянулись.

- Но она умерла! Не оскверняйте могил клеветою!
- Но это правда: я сама слыхала о том же.
- Бедный, обманутый глупец!
- Вы не замечаете украшений в его почтенной седине?
- Тише! Тише!

100 С возгласами “тише! тише!” переглядываются и тихонько смеются.

– Человек не имеет права думать только о самом себе. Когда я рассчитаю, сколько он мог бы нам оставить и сколько нам остается...

– Гроши!

– Нужно благодарить Провидение и за то, что осталось. Наш почтенный родственник так небережлив.

– Взгляните на его халат: разве можно так обращаться с дорогими вещами?

– Вы думаете? Я не вижу отсюда, что это за материя.

110 – Подойдите осторожно и пощупайте пальцами. Это шелк!

Одна из женщин подходит к умирающему Человеку и, делая вид, что оправляет подушку, ощупывает матерку. Все с любопытством следят за нею.

– Шелк!

Различными жестами Наследники выражают свое негодование.

Человек *(на мгновение выходит из неподвижности и просит слабо)*.  
Воды!

Наследники. Что он говорит? Он слышал? Чего ему надо?

Человек. Воды! Бога ради, воды! *(Умолкает.)*

120 Несколько испуганные Наследники ищут воды, но не находят. Брезгливо-встревоженные голоса:

– Воды!

– Он просит воды!

– Да дайте же ему воды!

– Воды нет.

Все разом обращаются к спящей Сестре Милосердия, кричат, приставляя руки ко рту в виде рупора:

– Сестра Милосердия!

– Сестра Милосердия!

– Сестра Милосердия!

130 – Вам говорят, Сестра Милосердия! Больной просит воды.

– Растволкайте ее. За что же ей платят деньги, если она все время спит!

– А если вы хотите такую сестру милосердия, которая бы не спала, то придется платить еще дороже. Разве вы этого не понимаете?

- Она очень устала. У бедной женщины так много работы!
- Пусть спит. У нее такой сон, что жаль его тревожить.
- Дорогой родственник, вы не можете подождать? Сестра очень устала и спит.

Человек не отвечает, и все снова рассаживаются по местам, полукругом. Слабый свет, озаряющий комнату, медленно гаснет – в углах встает мрак. Тяжело отку- 140  
да-то сверху ползет мрак по ступеням, стелется по потолку, бесшумно липнет к каждому углублению.

- Он успокоился. Бедный!
- Как темно! Господа, вы не замечаете, как темно?
- Когда я подумаю, что так, перед камином, он может про- сидеть еще долго – недели, месяцы, мне хочется схватить его за тощую шею и удушить.

– Позвольте: вы так беспокоитесь о наследстве, а вместе с тем я не знаю, кто вы?

- И я не знаю! И я! 150
- Вы просто человек с улицы: какое вы имеете право на на- следство?

- Я такой же наследник, как и вы.
- Нет, сударь, вы мошенник!
- Нет, это вы мошенник!
- Тише! Тише!
- Его надо выгнать! Вон!
- Вы все мошенники!
- Тише! Вы разбудите его!

Яростно оскалив зубы, грозят друг другу сжатыми кулаками. 160

- Господа, свет гаснет! Я почти не вижу лиц.
- Надо уходить. Еще один погибший день!
- Надо уходить.
- А я останусь. Я не пойду отсюда. Это мой дом. Мой, мой, мой!

– Вас съедят здесь крысы.

*(В исступлении.)*

- Это мой дом – мой, мой, мой!
- Одна седьмая часть, господин наследник с улицы, во всяком случае не больше, как одна седьмая часть. 170

- Это мой дом! Мой!
- Господа, темнеет.
- Спокойной ночи, дорогой родственник!
- Спокойной ночи, дорогой родственник!
- Спокойной ночи, дорогой родственник!

По очереди, низко кланяясь Человеку, уходят. Некоторые поднимают вялую, бледную руку умирающего, лежащую на ручке кресла, и нежно пожимают ее. Наследник с улицы остается один. Презрительно взглянув на безмолвных Человека и Сестру Милосердия, он быстро и сердито исследует комнату: трогает стены, щупает материю на стульях, оценивает взглядом то, до чего не может дотянуться руками. Подходит к кровати, на которой умерла жена Человека, и пробует крепость белья. Но гнилая материя расплзается под пальцами, и, бешено топнув ногою, Наследник разбрасывает подушки и простыни. Потом решительно идет к умирающему и останавливается за его спиной.

Речь Наследника. Послушай, старик. Ты должен умереть. Зачем ты оскорбляешь смерть сопротивлением? Уходи. Освободи живые вещи от твоей мертвой власти, – она свинцовой тяжестью лежит над всем. Посмотри: все ждет и жаждет твоей смерти – эти падающие стены, эта паутина и паук, заключенный в ее круги, этот черный камин. Прежде он дышал на тебя огнем, теперь в прохладу могилы зовет твое изношенное тело. Уходи. Там ты встретишь тех, кто любил тебя и в черноте и в седине твоих волос и был любим тобою.

Молчание.

Не веришь?!

*(Обращается в угол, где стоит Некто в сером.)*

– Эй Ты! Скажи ему, что там его встретят любимые: сын его с проломленной головою, жена, умершая от болезней и горя.

Молчание.

200 И Ты молчишь? И все молчит? Пусть. Но что бы ни ждало тебя там – отсюда уходи; я, живой, изгоняю тебя из жизни. И когда ты умрешь, я благословлю тебя. Я возложу венки на твой гроб и на том месте, где будет гнить твое тело, воздвигну памятник – если это не будет дорого стоить. Уходи!

Молчание. Наследник снова ходит по комнате, но уныние места, мрак, непрестанно нарождающийся, тягучее безмолвие пугают его. Тревожно мечется он, позабыв, где выход, и говорит хрипло:

– Сестра Милосердия, проснитесь! Сестра! Где же выход?.. Где же выход? Сестра Милосердия!

210 Молчание. В разных местах почти одновременно показываются Старухи. Происходит легкая, молчаливая, смешная для Старух игра: они загораживают выход Наследнику, кружат по комнате и, так бесшумно перебрасывая его, пропускают наконец к двери. Подняв над головою руки, с выражением ужаса, Наследник убегает. Старухи тихонько смеются.



## РАЗГОВОР СТАРУХ

- Здравствуйте!
- Здравствуйте! Какая славная ночь!
- Вот мы и снова собрались. Как ваше здоровье?
- Покашливаю.

Тихо смеются.

220

– Теперь недолго. Он сейчас умрет.  
– Посмотрите на свечу. Пламя синее, узкое и стелется по краям. Уже нет воска, и только фитиль догорает.

– Не хочет гаснуть.  
– А когда вы видели, чтобы пламя хотело гаснуть?  
– Не спорьте! Не спорьте! Хочет пламя гаснуть или не хочет, а время идет.

– Время идет.

– Время идет.

– А вы помните, как он родился? Позвольте, дорогой род- 230  
ственник, поздравить вас с новорожденным!

– А вы помните розовенькое платьице и голенькую шейку?

– И цветы. Ландыши, с которых не высохла роса, фиалки и зеленую травку?

– Не трогайте, девушки, не трогайте цветов!

Смеются.

– Время идет.

– Время идет.

Смеются. Одна из Старух оправляет постель.

– Что вы делаете?

240

– Я оправляю постель, на которой умерла его жена.

– Зачем это нужно? Он сейчас умрет.

– Какая вы добрая!

– Теперь хорошо. Теперь он может идти.

– Когда его пустит Тот.

– Теперь хорошо. Теперь хорошо.

Широким дыханием через комнату проносится гармоничный, но очень печальный и странный звук. Зародившись где-то наверху, он трепетно гаснет во мраке углов. Похоже, как будто одна за другую лопнули многие струны.

– Тише! Вы слышите?

250

– Что это?

– Это там наверху, где давали бал. Это музыка!

– Нет, это ветер. Я была там. Я видела. Я знаю. Это ветер. Там выбиты стекла, и ветер звенит осколками их так гармонично.

– Да, это похоже на музыку.

– Там так весело! Там на корточках в темноте у ободранных стен сидят гости, – но в каком виде, если бы вы знали.

– Мы знаем!

– И, ляская зубами, лают отрывчато: как богато, как пышно!

260 – Вы шутите, конечно?

– Конечно, я шучу. Вы знаете мой веселый характер.

– Как богато! Как пышно!

– Как светло!

Тихо смеются.

– Напомните ему.

Тесно окружают Человека, льнут к нему мягкими движениями, ласкают костлявыми руками, засматривают в лицо и шепчут вкрадчиво, въедаясь в самую глубину старого сердца:

– Ты помнишь?

270 – Как богато! Как пышно!

– Ты помнишь, как играла музыка на твоём балу?

– Он сейчас умрет.

– Кружились танцующие, и музыка играла так нежно, так красиво. Она играла так...

Тихо напевают мотив музыки, что играли на его балу.

– Ты помнишь?

– Устроим бал! Я так давно не танцевала!

– Вообрази, что это дворец, сверхъестественно красивый дворец!

280 – Ты помнишь? Вот заливаются певучие скрипки. Вот нежно поет свирель. Вот...

Внезапно, перебивая речь Старух, начинает играть музыка, наверху, в том месте, где находится зала. Звуки приносятся громкие и отчетливые. Старухи прислушиваются.

– Тише! Вы слышите?

– Они играют!

– Музыканты играют! (*Дико кричит:*) – Эй, музыканты, сюда!

Остальные вторят:

– Эй, музыканты, сюда! Эй, музыканты, сюда!

290 Музыка наверху смолкает. Почти в то же мгновение по искривленным ступеням, выйдя из мрака, спускаются те три музыканта, что играли на балу. Выходят на середину, становятся в ряд, как стояли тогда. Тот, что со скрипкой, аккуратно подстилает на плечо носовой платок, и все трое начинают играть с чрезвычайной старательностью. Но звуки тихи, нежны и печальны, как во сне.

- Вот и бал!
- Как богато! Как пышно!
- Как светло!
- Ты помнишь?

Тихо напевая под музыку, начинают кружиться вокруг Человека, манерничая и в дикой уродливости повторяя движения девушек в белых платьях, танцевавших 300 на балу. При первой музыкальной фразе они кружатся, при второй сходятся и расходятся грациозно и тихо. И тихо шепчут:

- Ты помнишь?
- Ты сейчас умрешь, а ты помнишь?
- Ты помнишь?
- Ты помнишь?
- Ты сейчас умрешь, а ты помнишь?
- Ты помнишь?

Танец становится быстрее, движения резче. В голосах поющих Старух проскальзывает странная, визгливая нотка; такой же странный смех, пока еще сдержанный, тихим шуршанием пробегает по танцующим. Пронось мимо Человека, бросают ему в ухо отрывистый шепот:

- Ты помнишь?
- Ты помнишь?
- Как нежно, как хорошо!
- Как отдыхает душа!
- Ты помнишь?
- Ты сейчас умрешь, сейчас умрешь, сейчас умрешь...
- Ты помнишь?

Кружатся быстрее, движения резче. Внезапно все смолкает и останавливается. 320 Застывают с инструментами в руках музыканты; в тех же позах, в каких застало их безмолвие, замирают танцующие.

Человек встает шатаясь и неверными шагами идет к постели. Одна из Старух загораживает ему путь и шепчет в лицо:

- Не ложись в постель! Ты там умрешь!
- Ты там умрешь!
- Берегись постели!

Человек (*беспомощно останавливается и молит в тоске*). Помогите мне кто-нибудь. Я не могу дойти до постели.

И вдруг точно видит все. Видит злобно насторожившихся Старух, блудливо 330 заигрывающих со смертью; видит разрушение, и мрак, и смерть, царящие вокруг; видит как бы впервые каменный лик Некогого в сером и свечу, копотно догорающую в руке Его. Поднимает руку, и отступают Старухи. Закидывает седую, грозно-прекрасную голову, выпрямляется, готовясь к последнему бою, и кричит неожиданно громко, призывным голосом, полным тоски и гнева. В первой короткой фразе еще звучит старческая слабость; но с каждой последующей голос молодеет и крепнет; и, отражая на мгновение вернувшуюся жизнь, высоко

взметывается красное, тревожное пламя свечи, озаряя окружающее суровым  
отсветом пожара.

340 Где мой оруженосец? – Где мой меч? – Где мой щит? – Я обез-  
оружен! – Скорее ко мне! – Скорее! – Будь проклят!

Падает у подножья постели и умирает.

В то же мгновение, бессильно взметнувшись еще раз, гаснет пламя, и сильный сумрак поглощает предметы. Будто подались наконец стена и окна, задерживавшие мрак, и густой, черною, победоносной волною он заливает все; только светлеет лицо умершего Человека. Тихий, неопределенный голос Старух, шушуканье, пересмеиванье.

Некто в сером. Тише! Человек умер!

350 Молчание, тишина. И тот же холодный, равнодушный голос повторяет из  
глубокой дали, как эхо:

– Тише! Человек умер.

Молчание, тишина. Медленно густеет сумрак, но еще видны мышинные фигуры насторожившихся Старух. Вот тихо и безмолвно они начинают кружиться вокруг мертвеца – потом начинают тихо напевать – начинают играть музыканты. Сумрак густеет, и все громче становится музыка и пение, все безудержнее дикий танец. Уже не танцуют, а бешено носятся они вокруг мертвеца, топая ногами, визжа, смеясь непрерывно диким смехом. Наступает полная тьма. Еще светлеет лицо мертвеца, но вот гаснет и оно. Черный, непроглядный мрак.

360 И во мраке слышно движение бешено танцующих, взвизгивания, смех, нестрой-  
ные, отчаянно-громкие звуки оркестра. Достигнув наивысшего напряжения, все  
эти звуки и шум быстро удаляются куда-то, замирают...

Тишина.

Опускается занавес.

*20 февраля 1908 г.*

Неопубликованное



## ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Уже полтора года море окружает меня шумом своим. Я слышу его то далеко, то близко, то громким, то тихим и нежным, там, на Капри, оно ревело и выло, врвалось ночью в мою комнату. Ветер и море. Оно рвало ставни, раздувало красный огонь в камине, и мне снились страшные сны о страшной правде – о страшной правде жизни. А тут оно шумит тихо, тут оно такое жалкое, и шумит тихо и зло, и окруженная вечным говором и качаясь на его звуках, как разбитая лодка на волнах, идет моя жизнь. Куда – я не знаю.

Бездна подо мной – бездна вокруг меня, и так же страшны сны, нехотя, мелкое, шумит оно тихо, и нет красного огня среди ночи, и нежно пахнет березой. Белая береза и белая ночь.

Только безумцы боятся смерти – разумные боятся жизни. И вот когда еще раз испугала меня жизнь. В тот день... – помнишь день, когда ты взглянула на меня, белый платок и черные глаза. Я так мало знал, что случится, я совсем не знал, что случится, и когда ты была за стеной, я спросил у Н.Г.: “Неужели у сестры Г.И. такие большие дети?” Я ведь думал, что эти двое – гимназист и девочка – дети сестры Г.И. и что она так себе, старая.

– Нет, это не ее дети.

– А у нее есть дети?

И мне показалось, что Н.Г. ответила:

– Нет, но теперь она ждет ребенка.

И она действительно так ответила, но когда я опять увидел тебя, то решил: пусть лучше мне это показалось. Ведь и правда она говорила так тихо, и можно было не разобрать. Потом я взглянул на тебя еще раз, и вдруг по сердцу пробежали живчики, вдруг я увидел все: пыльную дорогу под твоими ногами, зеленую траву, небо и подумал: какая она тонкая, высокая и такая смешная. Прячет лицо и глаза под белой шляпкой и жметесь к краю дороги: взглянет – и тогда белого нет, а только черное, и хочется смеяться, и опять спрячется. И опять заглянет, и опять спрячет-

ся – такая смешная, высокая, тонкая – неужели я уже люблю ее? Как смешно.

Край лодки подается под ногой, а вдруг я не удержусь и упаду и уроню тебя: нужно крепче сжать твою руку. Кто смеется? Опять береза над рекою и все зеленым, блестящим, задумчивым, нежным, родным и радостным уходит назад – к бесконечному началу. Кто плачет? Кто тихо плачет на берегу? Другая лодка идет рядом, ее никто не видит – кто тихо плачет над водой? Ах, плачьте, плачьте, вода и белые березы. И в той лодке сижу я и она, та, что умерла. Конечно, нужно было руль положить направо, и я ошибся, но ничего – вот и она опять на глубокой воде. Как это случилось, что твои глаза здесь, близко, и я в них падаю? Взглянет и спрячется. – Боже мой, какая же она смешная, и ведь это правда: я люблю ее.

– Вот эту землю я покупаю.

И трава будет моя. Эта зеленая, милая, любимая трава будет моя. Да, и трава будет моя. Но ведь это все ты. Ты – река, ты – небо, ты – стройная березка над водою. Если бы березка умела ходить, она ходила бы как ты, так же нагибалась бы вперед – но ведь у тебя вовсе не черные глаза. Это только ресницы черные и загибаются вверх; как у детей, когда высохнут от слез, одна ресничка, другая ресничка, и все загибаются вверх – это очень красиво, ты не знала? А глаза коричневые, теплые, нет-нет, горячие, желтые – несомненно, позади их где-то солнце... Кто смеется, кто плачет над рекой?

Это я смеюсь, это я плачу. Тихо звучат голоса, и голубая песня звенит так тихо. Ты не смеешься надо мною, жизнь, ты жалеешь меня. Тяжело опускается книзу старое, измученное сердце, и мглой одевается оно. Как смело она улыбнулась, как смело! Тысячи разбуженных страданий, бешено звеня оружием, промчались через него, тысячи ночных дум яростно и глухо топтали его копытами черных коней своих. Дико развевались их гривы, и когда один из них заржал, подняв голову высоко, – ночь побледнела и заплакала. Даже ночь пожалела меня.

Ты слышала когда-нибудь последний звон щита? Вот упал последний воин и тихо зазвенел его щит, потом наступает молчание и мрак.

– Да, я построю на этой горе большой просторный дом.

...Теперь она ждет ребенка. Конечно, это неправда. Правда должна быть правдива, и разве может быть у нее лицо лжи? Показать девочку, у которой одна ресничка, другая ресничка загнулась вверх, и сказать: она ждет ребенка. Сказать, она ждет ребенка,



и показать девочку, у которой тоненькие руки и шейка и голос таит, как эхо в лесу, в вечернем лесу, над которым тают облака. Вероятно, Н.Г. сказала, что ей хочется иметь ребенка, а я был невнимателен и мне послышалось: она ждет ребенка.

Потому что этого не может быть. Людей не воскрешают, чтобы убивать их тут же, а мое сердце улыбнулось. Наконец, река и эти бе(резы?). Трава росная, и кончик ноги мокрый, почернел – может быть, и это неправда? Вот Аркадий широко расставил ноги и смотрит куда-то в бинокль – может быть, и это неправда? На нем синяя помятая рубашка, та, что была вчера, и это неправда? На нем синяя помятая рубашка, та, что была вчера, и это с ним я ехал сюда, чтобы купить землю, и мы еще оба жаловались на пыль.

– Вы не знаете, где дача Карла Кюнерайнен.

– Это я Кюнерайнен.

Вот смешно: эти красные щеки и белесые глаза и финские белые усики и есть Кюнерайнен, а мы собирались искать.

– И у вас живут...

Тогда я ничего не знал и смеялся. Мертвые ведь тоже умеют смеяться. Молчи, молчи, не нужно говорить о мертвых. Ты сказал и смотри. Вон опять плывет лодка, которой никто не видит. Молчи. Конечно, это правда, и она ждет ребенка. Сядь поудобнее и размышляй. Пойми, что зеленая трава, на которой лежит твоя рука, – просто трава и больше ничего. А [...] <sup>1</sup> идет зеленая горка с белыми цветами и там река. И с тобой случилась очень неприятная вещь. Конечно, очень неприятная, и может быть даже, это смерть – разве смерть не подходит иногда к человеку как молоденькая березка? Что же, можно и умереть. Только что захотелось жить, а нужно умирать, – что же, бывает и так. Люди пишут письмо, кладут, осторожно согнутое, в конверт, заклеивают языком, потом в правую руку берут оружие, а левой нащупывают, где бьется сердце – старое сердце, усталое сердце, жалкая водовозная кляча с согнутыми коленями. Но почему так много солнца? Солнце – и вдруг умирать. Умирать – и вдруг солнце. Кто говорит о смерти? А, это та. Ты умерла и зовешь меня туда с тобою. Но мне весело, весело, весело.

Глаза мои. Взгляните на меня еще раз, глаза мои, мои янтарные, пронизанные солнцем, темный мед, принесенный лесными пчелами. Ах, виноват, я не заметил, что мы опять в лодке и я управляю рулем. Но теперь я буду управлять – это так просто: нужно дернуть то одну веревочку, то другую, только не нужно

---

<sup>1</sup> Здесь и далее многоточием в квадратных скобках отмечены пропуски в машинописи.

забывать какую. И если дернуть левую, то можно правым плечом прикоснуться к ее плечу... Да, оно здесь. Оно темное – не знаю. Оно [...] – не знаю. Но оно жизнь – это я знаю. Разве, лаская траву, я думаю, какая она? Я знаю, что судьба оказала мне честь и позволила коснуться тонкой верхушечки ее зеленой жизни, – вот и все. И безумец тот, кто думает о смерти, плывя по тихой воде, под сенью зеленых берез, у которых глаза как янтарь. Здравствуй, жизнь! Здравствуй, молодое, зеленое сердце, свободная птица беспредельных пространств. Тебе немного тесно в моей груди, ты жалуешься. Я отворю тебе мою грудь и выпущу оттуда под голубое небо. Ибо все железные замки, все [...] должны быть разрушены и надо всем должна находиться прекрасная и смелая любовь.

Кто плакал над рекою? Кто говорил о смерти?

Мне стыдно немного, но я опущу глаза. Разве я вижу что-нибудь особенное? Смуглая, смешная, тонкая шейка – это все видят. А дальше... Четырехугольный вырез в платье. А дальше? Ничего. Правда, есть еще тонкая полоска белой рубашки, но она так плотно прильнула к смуглому телу. Это я и хочу видеть. Если бы ты стала молиться, то ты не молилась бы так чисто, как эта белая полоска, прильнувшая к смуглому телу... Я знаю: от нее должно пахнуть водою и мылом, здоровым запахом деревенской чистоты – и вот лодка опять уткнулась в берег. Почему вы смеетесь? Это так естественно, когда человек на руле все время забирает влево и у него молодое сердце, которое смеется во весь рот.

Если минутку не смотреть на нее, а смотреть на плывущий берег, то все березки идут в тихом хороводе. Если минутку не смотреть никуда, то чувствуешь ее плечо. И это правда. И это правда, что она положила руку на мое колено. И тихонько отняла ее. Это правда, что плечом своим она прижалась ко мне и не отняла его. Что же. Может быть, я и не ослышался: она ждет ребенка. Но от молодой березки идет совсем молоденькая, беленькая березка, и поэтому молодую березку любить нельзя. Кто сказал?

– Да, я построю на этой горе большой просторный дом.

...Но она ждет ребенка.

– Пусть. Я построю дом, новый дом из свежего пахучего леса. И когда зимою загорится камин, вдруг потечет из стены теплая, светлая смолка.

– Это плачет сосна о своей зеленой жизни. У нее остались в лесу маленькие зеленые сосенки.

– Пусть. Они вырастут большие и у них своя жизнь. И от радости она плачет, от близости горячего огня. Там снег, а здесь огонь. Ты чувствуешь, как горячо мое прикосновение?

Потом мы поедem в Италию. Глаза мои. Мои черные звезды среди голубого неба, глаза мои, вы не видели синего моря. Шейка моя. Нильская тростинка над томной водою, шейка моя – тебя не целовало южное солнце. Нежные раковинки мои, перламутровые лепестки под смуглой колонкой, чуткие оконца, куда воровски крадется, озираясь и смеясь, мой проворный невысказанный шепот, – вы не слышали, как шумит то море, то глубокое, сильное, прекрасное море, прекрасное, прекрасное в ярости, страшное в тишине, таинственное днем, всеговорящее в ночи. Пусть иногда вместе с ветром вырывает оно ставни у окон и гремит железом болтов, как голодная злая собака, – ты со мною. Ты сильная, ты умеешь любить, – еще раз взгляни на меня и осияй меня светом твоих глаз... У тебя нежное, гибкое тело, и я забуду(сь) с тобою. Вон вновь мелькает над водою та призрачная лодка и кто-то прощаясь плачет над водою. Плачь, моя любимая, далекая, живая в живом, вечно живая в живом. И протяни надо мною твои благословляющие руки. Ты не хочешь. Ты ждешь чего-то.

Отчего мне страшно? Разве может быть так страшно в ясный день над водою? Так дремотно, слышится зов далекой кукушки, засыпает сторож в тихом монастыре – и просыпается, облитый текущим заревом огнища, и сбрасывает сон и обеими руками раскачивает железный язык колокола, и звонко лязгает зубами воспрянувшая ночь.

– Мы подъезжаем.

– Это правда. Это может быть. Это и есть конец.

– Мы подъезжаем. И она ждет ребенка.

– И это правда.

– Мы подъезжаем.

– Погоди.

Опять белая шляпка. Опять взглянет и спрячется.

– Жизнь или смерть, скажи.

– Разве ты не видишь моих глаз?

– Погоди.

Такая смешная и милая. И локончики такие смешные. Мотнет головой, и локончики мотнутся, а глаза опять стали черные. И совсем не страшно, совсем не страшно. А у Аркадия скуластые красные щеки, и в них остряками вклеены волоски. Я и не знал, что он такой милый. А с усов у меня каплет, когда я ем суп, и

потому я вообще ничего не буду есть – никогда – ни сегодня, ни завтра... А Аркадий ест, вот подлец.

– Господин Карл Кюнерайнен, Вы не знаете, возможно на Черной Речке найти комнаты и нанять?

– Я думаю, что можно.

Господин Карл Кюнерайнен, Вы красавец, Вы очаровательны, г. Карл Кюнерайнен, и если весь финский народ таков же, как Вы, я целую весь финский народ.

Какие-то люди. Конечно, это Гржебин. Сотрудничать. О, всю жизнь сотрудничать. Не благодарите. Я так люблю “Шиповник”. А Аркадий опять ест. Удивительно, как много может он съесть. И опять шумит море. Снова шумит и окружает меня шумом своим, и на волнах его, тихо покачиваясь, плывет моя жизнь.

Куда – я не знаю.

Милая моя. Ты указала мне свет – и вместе с тобою мы пойдем по свету.

---

Это и многое другое, чего я не умею рассказать, чувствовал я в день 29-го мая.

Леонид Андреев

Незаконченное.  
Наброски



## 〈ДОЛГ И ЛЮБОВЬ〉

– Долг... И любовь к мужу... Я его люблю не так – не так, но что будет с ним? Я пробовала уйти однажды, и он травился. Ты великолепный, ты прекрасный, ты поймешь. Ты поймешь...

Холодно. Под рукою холодный песок и сор – какие-то соломинки, какие-то сухие, острые соломинки. И песчаные ямы кругом. И белая помертвевшая ночь и холодный туман над черной водою. И лицо женщины. Разве это ты? Почему же так холодно твое лицо, так бледно и смутно оно – как этот туман над черной водою?

– Как холодно!

– Да, твои руки так холодны. Бедные, милые руки с тонкими пальчиками. Ты не любишь меня?

– Я не знаю. Я хочу, чтобы лучше было для тебя.

– Ты хочешь, чтобы лучше было для меня?

Солгало солнце. Оно светило на мою дорогу, а потом ушло. И вот ночь, и вот холодный туман. Кто-то прошел за решеткой – там, где смутно и четко белеет чья-то дача. Должно быть, дворник. А на даче спят дачники. Укрылись теплыми одеялами и спят. И зачем-то сидим мы – среди песчаных ям. Зачем? Сидят мужчина, которого обмануло солнце, и женщина, которая колеблется и говорит о долге, о том, чтобы (было?) лучше. Когда-то я уже слышал это. И оттого, должно быть, я так стар сейчас. И бледное, смятенное лицо, от которого отступило солнце, я уже видел когда-то, давно. Бледное, смятенное лицо, от которого отступило солнце.

Бедная девочка моя. Милая, бедная девочка, у которой такие холодные пальчики. Я ведь забыл, что ты ждешь ребенка. Я ведь забыл, что у тебя есть муж – человек, который пишет тебе письма, а потом приедет и возьмет тебя с собой. И о долге я забыл. Как можно забывать о долге, когда за оградой ходит дворник и сторожит!

– Я хочу, чтобы тебе было лучше.

– Да? Ты этого хочешь?





# Другие редакции и варианты



# ЕЛЕАЗАР

(С. 7)

## Варианты прижизненных изданий (Шт, ЗР, Ш, Пр)

- 4 под загадочную властью / под загадочною властью (Пр)  
27 и на этих местах оставались / и на этих местах остались (Шт, ЗР, Ш, Пр)  
55 ходило вокруг него ликование / ходило вокруг него ликование (Шт, ЗР)  
63 кто-то неосторожный / кто-то неосторожным (Шт, ЗР, Ш)  
73 шла позади слова / шла позади слов (ЗР, Ш)  
106 уже не чувствовал солнца, / в Пр нет  
138 неподвижно застыло / недвижимо застыло (Шт, ЗР, Ш, Пр)  
142 властью смерти / властью смерти (Пр)  
173 После: не было у него желаниа – поблагодарить их за услуги, не было желаниа (Шт, ЗР)  
178 точно не видел разницы / точно не видел он разницы (Шт, ЗР, Ш)  
216 с сожалением цмокали / с сожалением умолкали (Шт, ЗР, Ш, Пр)  
221 и никто не возвращался каким приходил / и никто не возвращался тем, каким приходил (Шт, ЗР)  
260 еще солнечным светом не упился я / еще солнечного блеска не схватил я... (Шт, ЗР)  
329 очень интересные линии бровей и лба / очень интересная линия бровей и лба (Шт) / очень интересна линия бровей и лба (ЗР, Пр)  
358 он уехал в Рим / они уехали в Рим (ЗР)  
363 со скульптором / с скульптором (Шт, Пр)  
442 Равнодушно ступил / Равнодушно вступил (Шт, ЗР, Пр)  
445 мертвых зыбучих песков / знойных зыбучих песков (Шт, ЗР, Пр)  
452 среди города / среди него (ЗР)  
520–521 провели морщины / провели морщинки (Шт, ЗР, Ш)  
553–554 приготовился к встрече / приготовился ко встрече (ЗР)  
560 на кого ты взглянешь / на кого ты посмотришь (ЗР)  
613 После: так мягок, – так привлекателен, (Шт, ЗР, Ш)  
615 сострадательною сестрою / сострадательной сестрою (Шт, ЗР, Пр)  
617 алчный до поцелуев рот / алчный от поцелуев рот (Пр)  
659 стал у изголовья / встал у изголовья (Шт, ЗР, Пр)  
673–674 впивалось оно тысячью невидимых глаз / впивалось оно тысячей невидимых глаз (Шт, ЗР, Пр)  
683 властью смерти / властью смерти (Шт, Пр)  
684 Август 1906 г. / 7 сентября 1906 года (ЗР) / в Шт, Пр даты нет

# ИУДА ИСКАРИОТ

(С. 24)

## ЧНІ

⟨л. 1⟩ ИУДА ИСКАРИОТ И ДРУГИЕ

### I

Иуда из Кариота был плохой человек: весьма лживый, недобросовестный в денежных делах, лукавый и злой. И внешность у него была неприятная, внушающая недоверие – как будто сама природа отметила его и сказала неосторожным людям:<sup>1</sup> остерегайтесь! Голову он имел большую, покрытую какими-то буграми и шишками, и рыжие жесткие волосы торчали на ней, как осенний лес на диком предгорье. На одном глазу, на правом, у него было большое бельмо, как у слепой лошади, а левый глаз, черный и круглый, находился в постоянном остром беспокойстве. Даже когда Иуда смотрел прямо, казалось, что он подглядывает и что-то выискивает; даже<sup>2</sup> в то время, когда плакал он – черный глаз его продолжал над чем-то беспокойно насмехаться. И был Иуда высокий и сильный, а голос имел тоненький, как ниточка, – писклявый неприятный голос, в котором чувствовалось притворство. Чтобы добиться сочувствия людей, Иуда ходил сторбившись и постоянно жаловался на болезни: говорил, что у него болит грудь или горло, и даже кашлял притворно. А чтобы получить их доверие и благосклонность, он бесстыдно и униженно льстил, – как те бродячие, изголодавшиеся собаки, что униженно и льстиво виляют хвостом перед каждым прохожим. К болезням Иуды относились холодно, но лестью своею он кое-чего добивался: всегда находились такие глупые люди, которые охотно верили самым неумеренным и бесстыдным похвалам. И если бы Иуда сохранял границы в своей лести, он, вероятно, имел бы много друзей и покровителей; но ⟨л. 2⟩ всегда случалось так, что его похвалы начинали переходить в дерзкую и грубую насмешку, видимую для самого наивного глаза, и тогда его с позором и бранью прогоняли. Он трусливо уходил – и уже снова хвалил кого-то и тихонько, в ухо, нашептывал дурное о прежних своих покровителях, ядовито клеветал на них. И не было, кажется, человека в Иудее, которого не оклеветал бы

<sup>1</sup> Далее было начато: бер(егитесь?)

<sup>2</sup> Далее было начато: ко(гда)

Иуда, о котором он – беспокойно ворочая своим черным глазом – не наговорил бы чудовищных вещей<sup>3</sup>, редко правдоподобных, а чаще дико фантастических, почти безумных. Как будто мало ему было упрекнуть человека в том дурном, что он действительно сделал, а надо было найти еще что-то – еще что-то глубокое, сокрытое в потемках души и тайниках человеческой жизни.

И Христа многократно предупреждали, что Иуда из Кариота – плохой человек. Но с тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек Его к отверженным, Иисус приблизил к себе Иуду<sup>4</sup>

## ЧА I

⟨л. 1⟩<sup>5</sup>

### ИУДА ИСКАРИОТ И ДРУГИЕ

#### I

Христа предупреждали относительно Иуды. Ему неоднократно говорили, что Иуда дурной человек: лживый, завистливый, коварный и деньги любит больше, чем полагается честному человеку. Говорили, что обманывает он, притворяясь верующим; что питает он тайные замыслы, держит в уме злые расчеты – обманывает Иуда. На лицах показывали, как дурно лицо Иуды:<sup>6</sup> кривили уста, закрывали один глаз, а другим старались смотреть ехидно; лохматили<sup>7</sup> волосы руками, гнули по-кошачьи спину, а пальцы<sup>8</sup> загибали так угрожающе, точно каждый из них заканчивался острым когтем. Беспокойно двигались, спорили, шумели; нашептывали – и кричали громко. А Христос тихо сидел, лицом к заходящему солнцу, и слушал<sup>9</sup> задумчиво. Уже десять дней не было ветра и десять дней не двигался прозрачный, нагретый воздух, и казалось, будто сохранил он в себе то, что кричалось и пелось в эти дни: крики животных и людей, смех и молитвы, плач и веселую песню – такой он был беспокойный, тяжелый, густо насыщенный незримою жизнью. И еще раз ⟨л. 2⟩ заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно к низу, зажигая

<sup>3</sup> вещей *вписано*.

<sup>4</sup> Текст *обрывается*.

<sup>5</sup> На верхнем поле листа помета: 17 янв(аря) 1907 г.)

<sup>6</sup> Далее было: *закрыва(ли)*

<sup>7</sup> Было: *ерошили*

<sup>8</sup> Далее было: *распрямяли*

<sup>9</sup> Далее было: *их*

небо; и все, что на земле было обращено к нему, покорно отражало далекий и тяжелый свет. Белая стена уже не была теперь белою, и не был белым красный город на красной горе.

И с тем духом светлого противоречия, который заставлял Христа любить нелюбимых и ласкать неласкаемых, – он взял к себе Иуду и в круг самых близких учеников включил его. Его предупреджали, а он молчал и слушал, а потом поступил по-своему. “А может быть, и надо так?” – подумали одни, вглядываясь в дружеское, но вечно загадочное лицо<sup>10</sup> Иисуса; другие же глубоко затаили обиду непринятых советов, горечь неслышанного голоса и на Иуде из Кариота понемногу выместили<sup>11</sup> ее. И вот пришел Иуда. Пришел он, льстиво кланяясь, выгибая по-кошачьи спину и так недоверчиво неся вперед свою рыжую косматую голову,<sup>12</sup> как будто просил за нее прощения или рабски ожидал, что вот сейчас кто-нибудь ударит по ней<sup>13</sup>. Роста был высокого, а притворялся низким и голосом говорил маленьким, болезненным – точно старая женщина, которая вечно жалуется на болезни свои и мужа. Сел – и, поворачивая рыжую голову направо и налево, стал рассказывать, как у него болит грудь и как он кашляет по ночам. И даже кашлял притворно, этот Иуда из Кариота!

Всем было неловко от этой лжи, но Петр вдруг громко сказал:

– Ну вот и ты с нами, Иуда.

И взглянув<sup>14</sup> на Христа, быстро пошел к Иуде и широкой ладонью дружески похлопал его по съезжившейся спине. Еще раз взглянул на Христа и неопределенно сказал своим громким, решительным *⟨л. 3⟩* голосом:

– Такой же ведь ты, как и все.

Когда Петр что-нибудь говорил, слова его звучали так громко и твердо, как будто он прибывал<sup>15</sup> каждое крепким и острым гвоздем. Когда Петр двигался или что-нибудь делал, он производил много шума и вызывал голос у самых глухих вещей: каменный пол гудел под его ногами, двери хлопали о косяки, шумел самый воздух, уступая напору большого, сильного тела. И тихо он не умел сделать ничего: ни пройти, ни сказать, ни приласкать.

---

<sup>10</sup> *Далее было:* Христа

<sup>11</sup> *Далее было:* его

<sup>12</sup> *Далее было:* как будто показывал то, что навсегда должно было спрятать от глаз

<sup>13</sup> *Далее было:* палкой

<sup>14</sup> *Вместо:* И взглянув – *было:* Взглянув

<sup>15</sup> *Было начато:* ка(ждое)

После этого все заговорили, и на Иуду уже не обращали такого внимания, как будто примирились с тем, что он здесь сейчас и здесь и останется. И сам Иуда сел несколько пошире, осторожно расправил руки, согнутые в локтях, и понемногу стал открывать свое неприятное лицо. Оно и раньше было у него открыто и видимо всем, но ему казалось, что очень крепко и непроницаемо он скрывает его какою-то пеленою. И теперь, точно вылезая из темной ямы, он ощутил на свету свои волосы, короткие, жесткие,<sup>16</sup> и весь свой череп, покрытый странными буграми и впадинами; потом глаза – один неподвижный, с большим белым, как у лошади, бельмом; другой острый, вертлявый и хитрый. И вот все лицо осветилось. Испугался, взглянул – на него смотрит Иисус, и должно быть, Иисус его любит. За что? Опять спрятался немного, опять взглянул – Иисуса нет, а смотрит на него Иоанн, и красивые глаза его холодны, суровы, не прощаючи. Лежит и смотрит на него откуда-то сверху, красивый, чистый, не имеющий ни одного пятна. И с льстивой улыбкой, в одном глазу неся странную белевую муть, другим – остро ощупывая предметы, пронизывая, обтачивая, окружая их<sup>17</sup>, Иуда подошел к любимому ученику Иисуса и раболепно сказал:

*(л. 4)*<sup>18</sup> – Я рад бы вымыть тебе ноги – ты так добр, Иоанн.

Тот закрыл глаза и не ответил.

Кое-кто ушел гулять, потому что встала полная луна; некоторые остались дома. Иисус также ушел гулять. В лунном свете каждая белая фигура бросала черную тень; и вдруг человек пропал в чем-то черном, и тогда слышался только его голос. Когда же люди вновь показывались под луной, они казались молчаливыми – как белые стены, как черные тени, как весь город, снова ставший белым. Уже почти все спали, когда Иуда услышал голос возвратившегося Христа, заглушаемый громкими шагами Петра. И все стихло, все заснуло. Но Иуда только притворялся, что спит: он лежал с открытым глазом и прислушивался к чуткой тишине. Пропели петухи; громко, как днем, закричал где-то проснувшийся осел и неохотно, с перерывами, умолк. А Иуда все не спал и слушал. Луна осветила половину его лица и, как в замерзшем озере, отразилась странно в большом глазу; другой же,<sup>19</sup> хитрый и живой, остался в черной тени.

---

<sup>16</sup> *Далее было:* похожие на облезший(?) поломанный бурей лес

<sup>17</sup> *их вписано.*

<sup>18</sup> *В верхней части листа на полях помета:* 21 янв(аря 1907 г.)

<sup>19</sup> *Далее было начато:* ж(ивой)

Вдруг Иуда что-то вспомнил и поспешно закашлял, потирая ладонью волосатую, здоровую грудь: быть может, кто-нибудь еще не спит и слушает, что делает Иуда.

## II

Понемногу к Иуде из Кариота привыкли: перестали видеть его лицо и слышать его голос, и стал он просто – Иуда. И даже как-то необходимым он сделался: был он очень услужлив, хорошо вел денежное хозяйство и знал все про всех людей, какие встречались на пути у Христа и его учеников. Но только про всех он рассказывал одно дурное, и за это одни знание его называли сплетнею, но слушали охотно, другие – просто ложью. И случалось иногда, что предсказания (л. 5) Иуды оправдывались и дурной человек оказывался дурным; но часто бывало так, что делался он преданным учеником Христа, обильно наделял Иуду деньгами и пищей и со слезами провожал уходящих, говоря, что свет внесли они в его темную жизнь. Тогда на Иуду смотрели с улыбками, а Петр громко хохотал и спрашивал:

– Ну что, Иуда? Ну что, Иуда?

И Иуда смущался<sup>20</sup> так сильно<sup>21</sup>, что это казалось даже<sup>22</sup> странным: недоверчиво и пугливо улыбался, горбился и старался спрятаться за стены. И черный острый глаз его, тот, что видел, находил спину Иисуса и впивался в нее, как черная отравленная стрела, окружал ее невидимыми кольцами, ошупывал точно щупальцами. Иисусу рассказывали про смешную ошибку Иуды, и он слушал молча, а когда останавливались на ночлег, долго и внимательно смотрел на суетившегося Иуду. И, осмелившись, тот отвечал коротким и прямым взглядом и становился почему-то весел, но задумчив: забывал кашлять и растирать грудь ладонью и невнимательно отвечал даже Иоанну. А потом снова<sup>23</sup> повторялась ошибка, и снова смех учеников, и снова короткий, но решительный разговор глазами.

Единственный из учеников, серьезно относившийся к ошибкам Иуды, был Фома. Он внимательно слушал Иуду, когда тот говорил дурное о человеке, и часто перебивал его короткими, сухими вопросами:

– Ты сам это видел?

---

<sup>20</sup> *Далее было: даже*

<sup>21</sup> *сильно вписано.*

<sup>22</sup> *даже вписано.*

<sup>23</sup> *Далее было: продолжался*



Или:

– Ты сам это слышал<sup>24</sup>?

И иногда решительно обрывал рассказ суровыми словами:

– Этого не может быть. Это ложь!

Иуда клялся, озираясь и сдерживая свой визгливый голос, но Фома упрямо и молча качал головою и отходил. Иногда, в странной *⟨л. 6⟩* потребности рассказать о человеке что-нибудь дурное, Иуда переходил все границы вероятного и правдоподобного: выдум(ыв)ал *⟨?⟩* преступления, каких не было и никогда не бывает, приписывал людям чудовищные наклонности, каких не имеет даже животное. И все это было так грубо, и, рассказывая, Иуда имел такой жалкий, лживый вид, что некоторые смеялись, другие сердились за наглый и неискусный обман, и только упрямый Фома серьезно спрашивал:

– Зачем ты лжешь, Иуда?

– Разве это ложь? А я думал, что это правда.

– Нет, ты не думал, что это правда, – настаивал Фома.

– Ну да, я не думал, что это правда, – удивленно соглашался Иуда.

– Так зачем же ты лгал?

Иуда смущенно пожимал плечами, кашлял и старался переменить разговор. Но Фома был настойчив и не отходил до тех пор, как тот не отвечал:

– Ну да, он этого не делал. Но мог сделать.

– Станный ответ, – нахмурился Фома. Но весь тот день он был задумчив и недоволен, и во взглядах его была необычная растерянность. И только на другой день, утром, когда солнце осветило всю дорогу до самых дальних хребтов, он подождал Иуду, по обыкновению шедшего сзади, и сердито сказал:

– Нужно, чтобы человек сперва сделал, а потом говорить.

Иуда ощупал<sup>25</sup> глазом его прямые волосы, кривые складки по обеим сторонам лица, всю его прямую фигуру и презрительно отмахнулся рукой:

– Эх ты!..

Фома был единственный, с кем он осмеливался так говорить, п(отому) ч(то) слегка презирал его и нисколько не боялся. Честный и неумолимо *⟨л. 7⟩* правдивый Фома так же, по-своему, глубоко презирал постоянного лжеца и сочинителя, и это создавало между ними что-то вроде дружбы: они любили быть вместе, и с каждой новой, неожиданно придуманной ложью Иуда прежде

<sup>24</sup> Было: слушал

<sup>25</sup> Далее было: его

всего шел к правдивому Фоме. Однажды, после одной из обычных и<sup>26</sup> смешных ошибок Иуды, оба друга исчезли и только на другой день нагнали Иисуса и учеников. Иуда имел вид торжествующий, а Фома, по обыкновению сухой, серьезный, дорожащий каждым своим словом, подошел к Иисусу и сказал:

– Учитель! Иуда прав. Этот человек посмеялся над нами.

Иуда ожидал удивления, но как-то странно – ни Иисус, ни другие словно совсем не обратили внимания на известие, словно не слышали ничего, словно ничего не случилось. А Иуда спешил и гнал Фому – и вот теперь ничего не ответил Христос. Усиленно искал его взгляд, но как будто и смотреть на него не хотел Иисус, а когда взглянул – во взгляде была только усталость от долгой ходьбы под палящим солнцем. Посмотрел Иуда на других, шедших тесной кучкой вокруг утомленного Иисуса, сгорбился, притих и закашлял, потирая грудь широкою ладонью и делая болезненное, но приветливое лицо. А когда все остановились отдохнуть, он забился за большой камень, и лицо его стало другим – строгим, до ужаса мрачным и злым. Даже красивым оно как будто сделалось – в такое соответствие друг к другу стали все черты его: и неподвижный глаз, полный белой мутью, и другой глаз – черный, сверкающий и столь же неподвижный; и крепко сжатый широкий рот, и бугроватый череп – хранитель странных замыслов и странных грез.

– Ты почему тут один, Иуда? – спросил нашедший его Фома. – Ты слышишь, как смеются наши? Это они бросают камни с <л. 8> горы. И Петр говорит, что нет никого сильнее и никто не может бросить камень тяжелее, чем он. Я думаю, что это правда. Ты слышишь?

– Слышу.

Для Фомы он не захотел менять лицо, и Фома удивленно смотрел на него, смутно догадываясь, что у Иуды – два лица.

– Какой ты, однако... Иуда?

Иуда приветливо улыбнулся.

– Вот ты опять... Зачем ты улыбаешься?

– Разве и мне пойти поиграть? – сказал Иуда.

Ученики играли. Напрягаясь, они отдирали от земли огромный камень, высоко<sup>27</sup> поднимали его обеими руками и бросали вниз, по склону горы. Тяжелый камень глухо и тупо ударялся о землю, задумывался на мгновение – и нерешительно, туго ворочаясь, делал первый скачок. Снова взлетал – и, с каждым быстрым при-

---

<sup>26</sup> и вписано.

<sup>27</sup> высоко вписано.

косновением черпая от земли быстроту и силу, становился легкий, свирепый, все(с)окрушающий. Он уже не прыгал неуклюже – он летел с оскаленными зубами, и воздух со свистом разбежался от него. Вот край – и плавным последним движением камень взмывал вверх и спокойно, бесшумно опускался книзу, на дно невидимой пропасти. Ученики шутили и смеялись, соперничая в силе, и громче всех хохотал Петр. Руки и грудь его обнажились, белые зубы сверкали среди черной бороды и усов, и огромные серые<sup>28</sup> камни, тупо удивляясь поднимающей их силе, один за другим уносились в бездну. Даже хрупкий Иоанн принял участие в игре и бросал небольшие<sup>29</sup> камушки, снисходительно<sup>30</sup> отвечая на шутки Петра. И тихо улыбаясь, смотрел на их забаву Иисус.

– Вот он хочет бросить камень, – предупредил Фома, указывая на лстыиво улыбавшегося(ся), скромного и болезненного Иуду.

⟨л. 9⟩ И уже после третьего камня все остановились и стали смотреть на Петра и Иуду, поощряя их восклицаниями. Петр бросал большой камень – Иуда еще больше. Петр, хмурый, сосредоточенный, уже не смеющийся, ворочал обломок скалы, шатаясь поднимал его и бросал, скорее ронял – Иуда, так же серьезный и строгий, отыскивал глазом еще больший обломок, впивался в него пальцами, качался вместе с ним и, бледнея, посылал его в пропасть. Бросив свой<sup>31</sup> камень, Петр откидывался назад, следя за его падением; бросив свой – Иуда наклонялся вперед, точно сам хотел лететь вслед за ним. Наконец одного камня не поднял Петр, а Иуда поднял его и бросил. И все решили, что победил Иуда.

Петр хмуро отворачивался, поглаживая бороду трясущимися пальцами, но вдруг вспомнил что-то и захохотал.

– Вот так больной! – закричал он, хлопая Иуду по плечу. – Вот так больной!

И всю остальную дорогу радостно хохотал, даже обнимал снова сгорбившегося Иуду и водил показывать его Христу, хотя тот и сам уже видел все. И все хвалили Иуду, даже Иоанн, – и только Иисус и на этот раз не похвалил его и ничем не высказал своего участия.

Уже поздно ночью Фома подошел к приятелю – они спали вместе на кровле – и тихо спросил:

– Ты плачешь, Иуда?

Иуда резко ответил:

---

<sup>28</sup> серые вписано.

<sup>29</sup> небольшие вписано.

<sup>30</sup> Далее было: улыбаясь

<sup>31</sup> Было начато: к(амень)

– Нет. Отойди от меня.

– А я думал, что ты плачешь. Почему же ты стонал?

Иуда приподнялся и быстро заговорил:

– Почему он меня не любит? Других любит, а меня нет. Почему он мне не верит? Не верит, не верит! Всегда не верит.

*(л. 10)* – Он с тобою ласков.

– Ну да, ласков. Разве я не вижу его глаз? И всем верит: Петру верит, Иоанну верит, Луке верит, а мне нет. Почему?

Фома задумался.

– Нужно доказать, – сказал он, и в темноте голос его показался Иуде противным.

– Доказать! А они разве доказывают? И разве они лучше, чем я? И разве ты лучше, чем я?

– Да, лучше, – задумчиво, но решительно сказал Фома.

Иуда засмеялся. И в темноте смех его показался Фоме нехорошим.

– Как ты не хорошо смеешься, Иуда.

Иуда засмеялся еще громче.

– Нужно доказать, – сказал он насмешливо.

Оба молчали и думали. И совсем другим голосом, как будто Иуда ушел, а на его место пришел кто-то новый, он спросил:

– А ему ты веришь? Он не обманывает?

Фома помолчал и решительно ответил:

– Верю.

– А зачем он сказал, что сухую смоковницу надо порубить топором? Это он про меня сказал – ты знаешь?

– Может быть. И он прав. Зачем нужна сухая смоковница?

Иуда помолчал и тихо засмеялся.

– Сухое дерево дает хороший огонь. Это правда.

– Ты ему не веришь?

– Это вы ему не верите, а я верю. И вы его не любите.

Фома долго думал и твердо заявил:

– Это совсем неправда. Мы его любим. И я люблю. И ты его любишь, Иуда. Ты и себя не любишь, а его любишь.

*(л. 11)* – Нет, я себя<sup>32</sup> люблю. Но вас я не люблю, потому что вы все обманщики. Зачем вы его обманываете? Зачем Петр хохочет, как добрый? Зачем Иоанн такой красивый? Два глаза – это обман, два глаза. Прямой нос – это обман, прямой нос! Доброе дело – это обман, доброе дело!

– Я тебя не понимаю. То, что ты говоришь, лишено смысла.

---

<sup>32</sup> Далее было: не

– Он думает: вот это Иуда, а это Петр. А это все Иуда. Только Петр лжет, п(отому) ч(то) у него два глаза и он высокий, хорошо смеется, а Иуда не лжет, потому что он кривой. Посмотри, разве я лгу?

Иуда приблизил лицо к Фоме, и в сплошном мраке белым пятном выступила белесая муть глаза, неподвижного, прямого, страшного – как будто одно зрение заменившего другим. Фома отшатнулся и строго сказал:

– Учителя предупреждали, что ты плохой человек.

В темноте, куда снова ушло лицо Иуды, послышался тихий смех.

– Какой ты глупый, Фома. Иди-ка лучше спать. Ты что видишь во сне? Лошадь, корову, осла?

Оба они легли каждый на свое место, но не спали, а лежали молча и глядели на звезды. И уже много времени прошло, когда Фома громко сказал:

– Это неправда. Я вижу очень странные и нехорошие сны. И я не люблю спать.

И еще много времени прошло и уже на утро повернулось звездное небо, когда Иуда громко<sup>33</sup> спросил:

– Нужно доказать. Не так ли, Фома?

Но тот уже спал и не ответил. Но и во сне лицо его было сухо и прямо, и две прямые складки шли от носа и терялись в жесткой, но ровно подстриженной бороде.

⟨л. 12⟩

IV<sup>34</sup>

Иуда утаил несколько динариев, и это открылось благодаря Фоме, который случайно видел, сколько денег было дано на общее пользование. Можно было предположить, что и раньше Иуда скрывал истинную цифру пожертвований, и все пришли в негодование. Разгневанный Петр схватил Иуду за ворот и почти волоком приволок его к Иисусу, и<sup>35</sup> перепуганный Иуда не сопротивлялся, покорно цепляясь ногами за пороги и в то же время, для облегчения труда тащившему, легонько отталкиваясь от них.

– Учитель, смотри! Вот он – вор! Ты ему поверил, а он крадет наши деньги. Вор, негодяй! Если ты позволишь, я его...

Но встретил продолжительный, спокойный взгляд Христа, выпустил Иуду и, гневаясь теперь уже на учителя, вышел с сер-

<sup>33</sup> Далее было: сказал

<sup>34</sup> Так в рукописи.

<sup>35</sup> Далее было начато: ис(пуганный?)

дитым ворчанием. И все были недовольны и говорили, что ни за что не останутся теперь с Иудой. Но вот вышел побледневший Иоанн и, не глядя ни на кого, холодно<sup>36</sup> произнес:

– Учитель сказал, что Иуда может брать денег, сколько он хочет.

Петр сердито засмеялся.

– А мы должны быть голодными, не так ли?

И внезапно повысив голос, трепеща от волнения, открыв всем свои прекрасные, горящие восторгом глаза, Иоанн звонко выкликнул:

– И никто не должен считать, сколько денег получил Иуда. Он наш брат, и все деньги его, как и наши, и если ему нужно много, пусть берет много, никому не говоря и ни с кем не советуясь. Так сказал учитель. Иуда наш брат, и вы тяжко обидели его, сказал учитель.

В дверях стоял так же бледный и криво улыбавшийся Иуда, и быстрым (л. 13) движением Иоанн подошел и трижды поцеловал его. За ним, оглядываясь друг на друга, смущенно подошли другие и так же поцеловали – и после каждого поцелуя Иуда вытирал рот, но чмокал громко, как будто этот звук доставлял ему удовольствие. Последним подошел Петр.

– Все мы тут дураки, Иуда. Один только он понимает, в чем дело. Ты хочешь меня поцеловать?

– Отчего же? – сказал Иуда.

Петр крепко поцеловал его и на ухо громко сказал:

– А я тебя еще за шиворот. Они хоть так, а я прямо за шиворот. Только отчего ты сам не взял меня за шиворот, а? Помнишь, как ты камни бросал? Эх, брат Иуда, хороший ты человек!

И еще раз поцеловал его. Потом подошел к Иоанну и на ухо, но все так же спросил:

– А на меня он очень сердится, а?

– Нет, не сердится вовсе.

– Вот! – Петр развел руками и в грустном раздумье добавил: – а я его прямо за шиворот. Пойду, расскажу Ему, как я Его самого обругать хотел. Вот!..

– А что же ты, Фома? – строго спросил Иоанн.

– Я еще не знаю. Мне нужно подумать, – скучно ответил Фома. И долго думал, несколько часов, почти весь день<sup>37</sup> – под острым, улыбающимся взглядом Иуды. Потом решительно подошел к нему и сказал:

---

<sup>36</sup> Далее было: сказал

<sup>37</sup> почти весь день вписано.

– Он прав. Дай я поцелую тебя, Иуда.

Но Иуда оттолкнул его рукою, и лицо его стало, как тогда – холодное, до ужаса<sup>38</sup> мрачное и прямое. И уже не улыбался он, ни устами, ни остро сверкающим глазом.

– Надумали? – спросил он. – У-у, обманщики, лицемеры, предатели! *⟨л. 14⟩* За шиворот, больно сделали, а потом целуют. А если бы он не сказал – так бы за шиворот и держали? Камнями побили бы – из-за трех динариев? Предатели!

– Ты же сам называешь его: Учитель. Он учит нас.

– И это неправда, что это деньги мои. Я чужие деньги взял, я чужие хотел взять.

– Не должно быть ни своего, ни чужого. Это правда.

Иуда ударил палкой по камню и сломал ее.

– И я опять буду красть.

– Ты просто будешь брать.

– Нет, я буду красть, красть. И вы опять возьмете меня за шиворот. Предатели! Это он сказал: свои. Это он поцеловал меня – как вы смеете повторять, что говорит он, делать, что он сделал! Вы мне рот опоганили!

Иуда с отвращением сплюнул. Им овладевало бешенство. Его черный круглый глаз двигался с безумной быстротою, точно прокалывая взором своим все встречные предметы, точно убивая и жала все вокруг себя; и в странной неподвижности, полный белесой мути, что-то искал, нашел и крепко держал второй невидящий глаз. И когда говорил Иуда из Кариота, то будто двигались в жутком смятении все бугры на его черепе, хранители странных замыслов и странных снов. Внимательно оглядев его, сказал Фома осторожно и вдумчиво:

– По-видимому, в тебя опять вселился сатана, Иуда. Почему ты нас называешь “предатели”?

– Сейчас вы целовали Иуду – а вот уйдет Иисус из дому, и опять украдет Иуда три динария – и опять вы его за шиворот схватите и закричите, как ослы: вор Иуда! Вор! Этот честный Иоанн, который сейчас кричал тонким голосом, как баба, и целовался, как баба, – ты *⟨л. 15⟩* нечаянно поймал меня, а он уже давно следит и старается поймать. И Он...

Иуда со страхом оглянулся, пригнул голову Фомы и прошептал в его большое тонкое ухо:

– Если я сухая смоковница, то зачем он не порубит меня? Ты это понимаешь? Зачем выставляет на посмешище? Я не хочу, чтобы Иоанн входил в царствие небесное на моей спине.

---

<sup>38</sup> Далее было начато: пр(ямое?)

Фома внимательно слушал.

– А почему он исцелил одного слепого, а не всех, одного хромого, а не всех хромых, воскресил одного мертвого, а не всех? Или у него нет силы исцелить всех? Тогда он не должен исцелять одного. Или Он – тоже обманщик?

– Почему ты сам не поговоришь с учителем?

– Он не поверит мне. И я его боюсь.

Фома задумался. Стал тих и Иуда и тоже думал, и оба глядели на узкую, кривую улицу, по которой стекал книзу жидкий навоз и грязь помоев. Совсем близко напротив был низенький, плохо сложенный забор, и камни торчали из него своими острыми боками, и ни одному не хотелось лежать на месте.

– Скучно мне, – сказал Иуда из Кариота.

Фома решительно заявил:

– Я сам с Ним поговорю.

Иуда посмотрел на него и улыбнулся:

– Ну что же. Поговори.

Но был занят Иисус проповедью, и несколько дней Фоме не удавалось подойти к нему. И тревожно следил за ним Иуда и неоднократно понуждал его к разговору. А на третью ночь, когда Фома крепко спал, Иуда подполз к нему и сдернул с головы его покрывало – была *⟨л. 16⟩* холодная, плохая ночь и ученик спал, крепко укрывшись. И, невидимый в темноте, Иуда зашептал в самое ухо, т(ак) ч(то) дыхание было слышно:

– Скажи ему, Фома, что я люблю Его. Скажи ему, что все, и Иоанн, и Петр, и Филипп, – предатели и обманывают его. И скажи ему: Господи, вот о чем просит тебя Иуда, Если Ты<sup>39</sup> сын Божий и дана тебе власть от Отца, то пошли на землю молнию<sup>40</sup> и истреби всех людей.

– Этого я не скажу.

– Нет, скажешь.<sup>41</sup> И Иуду, и Петра, и Иоанна; и тех, кто близки, и тех, кто живет далеко – всех. И если спрячется кто в темную пещеру, то и там пусть найдет его молния и убьет. Скажи Ему: вот о чем просит тебя Иуда, если ты сын Божий и дана тебе власть от отца.

Фома подумал и сказал:

---

<sup>39</sup> Было: ты

<sup>40</sup> Было: огонь

<sup>41</sup> Далее было: Скажи ему, что больное сердце у Иуды и полна печали душа его. Пусть он скажет Отцу: зачем дал ты крылья ползающему гаду, зачем дал душу Иуде? Открыл глазам звезды, а дороги к ним не дал.



– Это лишено смысла. Это диавол внушил тебе эти слова<sup>42</sup>, Иуда.

Но Иуды уже не было, и не слышно было, когда он ушел. Можно было подумать, что это просто приснился Фоме один из его странных снов. Так и решил Фома и почувствовал впервые, что нехорошо ему так часто разговаривать с Искарриотом и быть вблизи диавола. И на другой день ничего не сказал Иуде, а только неотступно смотрел на него. Иуда же был как всегда: кланялся льстиво и улыбался, покашливал, и когда получал деньги, то не опускал их сразу в ящик, а нес всем показывать и громко считал. И это было всем неприятно.

Наконец удалось Фоме поговорить с Иисусом.

⟨л. 17<sup>43</sup>⟩ – Ну что<sup>44</sup> сказал учитель? – спросил Иуда, притворно улыбаясь, а бугры на черепе его двигались и глаз сторожко и остро сверкал. – Ну что?

– Он сказал, что знает все то<sup>45</sup>, что знает и Иуда.

– Знает?

– Да. Но не знает Иуда того, что знает Он.

– И это все?

– Все.

Молча, без упреков и жалоб, отошел Иуда, и на некоторое время как бы совсем пропал он: так тих и незаметен сделался он. И<sup>46</sup> как-то странно(?) перестал он обращать внимание на Христа: раньше следил за каждым его движением и словом, а<sup>47</sup>

## ЧА2

⟨л. 1⟩<sup>48</sup>

## ИУДА ИСКАРИОТ И ДРУГИЕ

### I

Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда из Кариота, тот, что впоследствии был наименован предателем, очень дурной человек. Одни из учеников хорошо знали его сами, другие много слышали о нем от людей, и, по твердому свидетельству

<sup>42</sup> Было: мысли

<sup>43</sup> В рукописи описка: 16

<sup>44</sup> Далее было: ?

<sup>45</sup> то вписано.

<sup>46</sup> Далее было: даже с Фомою разговаривать перестал

<sup>47</sup> Текст обрывается.

<sup>48</sup> На верхнем поле листа помета: 26 янв(аря 1907 г.)

всех его знавших, Иуда был корыстолюбив, коварен, склонен к лжи и притворству. И ленив он был, как дурной осел, который не хочет везти возложенную на него тяжесть, широко расставляет ноги и не слушает ни голоса, ни палки. Свою жену Иуда отдал в добычу нужде и работе, а сам бессмысленно шатался по людям, что-то высматривая, всюду залезая, везде оставляя по себе неприятности и ссору, – лукавый и злой, как одноглазый бес. Детей у него не было, и это еще раз подтверждало, что Иуда дурной человек и не хочет Бог потомства от Иуды. Никто не заметил<sup>49</sup>, когда впервые оказался Иуда около Христа; но уже давно он<sup>50</sup> неотступно следил за ним и Его учениками, бывал везде, где бывали они, вмешивался в разговоры, оказывал маленькие услуги, кланялся, улыбался и заискивал. Его отгоняли суровыми словами, и на короткое время он пропадал где-то у дороги – а потом снова появлялся, услужливый, льстивый и хитрый, как одноглазый бес. И не было сомнения для учеников, что в желании его приблизиться к Христу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет.

Так говорили ученики, любя учителя своего, и слова их были правдивы, (л. 2) как солнечный свет. Но Иисус не послушал их советов и не коснулся слуха его их пророческий голос. С тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек его к отверженным и нелюбимым<sup>51</sup> – он решительно принял Иуду и включил его в круг избранных. А может быть, и силу свою испытать он хотел – кто знает<sup>52</sup> замыслы человека, который смотрит тихо, улыбается и молчит, а потом решает твердо: так надо.

И вот пришел Иуда<sup>53</sup>. Пришел он, низко кланяясь, сгибая спину, осторожно и пугливо неся вперед свою большую, бугроватую голову – как раз такой, каким представляли его знающие<sup>54</sup>. Он был хорошего роста, по-видимому, очень сильный, но любил притворяться<sup>55</sup> хилым и голос<sup>56</sup> имел<sup>57</sup> тоненький<sup>58</sup>, крикливый<sup>59</sup> и

---

<sup>49</sup> Было: обратил внимания

<sup>50</sup> он вписано.

<sup>51</sup> Далее было: , как широкий ветер морской, который все деревья пригибает к земле

<sup>52</sup> знает вписано.

<sup>53</sup> Далее было: из Кариота

<sup>54</sup> Было: верующие

<sup>55</sup> В рукописи: притворялся

<sup>56</sup> В рукописи: голосом (незаверш. правка)

<sup>57</sup> Было: говорил

<sup>58</sup> Было: тоненьким

<sup>59</sup> Было: крикливым

неприятный<sup>60</sup>: звуки его торопливой речи долго еще оставались в ушах, как гнилые, острые и шероховатые занозы. [...]<sup>61</sup>

⟨л. 4⟩ и одноглаза<sup>62</sup>. А кашель твой пройдет – у нас и не такие болезни проходят.

Слова Петра, видимо одобренные учителем, рассеяли тягостное состояние собравшихся. Поняв свою ошибку, ученики один за другим ласково заговаривали с Иудой, но преодолеть чувства своего еще не могли, и оттого слова их звучали неправдою. И только Иоанн Заведеев упорно молчал, да Фома, видимо, не решался ничего сказать, обдумывая происшедшее: он упорно разглядывал Христа и Иуду, сидевших<sup>63</sup> рядом, и, поражаясь<sup>64</sup> несходством их, еще не мог найти в уме объяснения. А Иуда понемногу осмеливался: расправил руки, согнутые в локтях, ослабил мышцы, дер- [...]

– Ты так добр, Иоанн, ты любимый ученик Господа, и я хотел бы вымыть тебе ноги.

Но ничего не ответил Иоанн, как будто не слышал. [...]

⟨⟨л. 5⟩⟩<sup>65</sup> ⟨посту⟩пок или даже преступление. Хороших людей не было совсем, а если некоторые и считались хорошими, то лишь потому, что искуснее, чем другие, умели скрывать свои мысли и дела. Он охотно сознавался, что иногда лжет, но уверял, что все другие лгут еще больше, и если есть в мире кто-нибудь обману- тый, так это он, Иуда. Иногда в своих рассказах он переходил границы вероятного и правдоподобного и приписывал людям та- кие<sup>66</sup> наклонности, каких не имеет даже животное,<sup>67</sup> обвинял<sup>68</sup> в таких преступлениях, каких не было и никогда не бывает. И так как он называл при этом имена самых почтенных людей, то не-

<sup>60</sup> Было: неприятным

<sup>61</sup> Здесь и далее многоточием в квадратных скобках отмечаются обрывы текста в рукописи.

<sup>62</sup> Ср. в ОТ: И не нам, рыбалям Господа нашего, выбрасывать улов только потому, что рыба колюча и одноглаза. (гл. 1, стк. 121–122).

<sup>63</sup> Было: возлежавших

<sup>64</sup> Далее было: противоположностью

<sup>65</sup> Здесь и далее двойными угловыми скобками выделена нумерация листов, отсутствующая в рукописи и введенная составителями на основании нумерации, данной в “Критических замечаниях Горького” (см. с. 481–491 наст. тома), общей композиции повести и т.п.

<sup>66</sup> Далее было: порок(и)

<sup>67</sup> Далее было: приписывал

<sup>68</sup> Было: им

которые возмущались<sup>69</sup> клеветою, другие же смеялись и шутливо спрашивали:

– Ну а что дурного сделал ты, Иуда? Скажи-ка: вот мы все здесь и ты нас видишь.

Иуда<sup>70</sup> прищуривал глаз, улыбался и разводил руками. И вместе с покачиванием головы качался его застывший, широко открытый глаз и молчаливо смотрел. [...]

*⟨л. 7⟩* – Разве вы сами не знаете этого лучше, чем я? Вот я скажу, а вы будете смеяться надо мною, что я солгал, и я буду снова<sup>71</sup> обманут. И кто я такой, Иуда из Кариота, чтобы говорить Иоанну: у тебя дурные мысли, Иоанн, у тебя завистливое сердце, Иоанн! Хе?<sup>72</sup> Кто поверит Иуде из Кариота?

И начинал притворно всхлипывать, с видимым желанием расшемить<sup>73</sup> вопрошавших:

– Ах, обманут бедного Иуду! Всю жизнь обманывают бедного, больного Иуду, а он так доверчив, слепой Иуда!

И пока в шутовских гримасах корчилась одна сторона его лица, другая качалась серьезно и строго и широко смотрел никогда не смыкающийся глаз. Все смеялись, и только Фома серьезно слушал<sup>74</sup>: он не понимал шуток и во всем доискивался правды. И все рассказы Иуды<sup>75</sup> о дурных людях и злых поступках он слушал так же серьезно, часто перебивая его речь короткими и деловыми вопросами:

– Ты сам это видел? Ты сам это слышал? А кто при этом был еще, кроме тебя? [...]

*⟨л. 8⟩* ошибкой смеялись и весело рассказывали о ней задумчиво улыбавшемуся Иисусу. Но как-то раз Иуда и Фома уже с дороги возвратились в селение, где приняли их хорошо, и только на другой день догнали<sup>76</sup> остальных, оба очень довольные и мирно беседующие. И Иуда имел такое гордое лицо, будто ожидал, что его сейчас начнут с чем-то поздравлять, а Фома подошел прямо к учителю и сказал:

– Иуда прав, Господи. Эти люди посмеялись над Тобою, и над нами.

---

<sup>69</sup> Далее было: этой

<sup>70</sup> Далее было начато: у(лыбался)

<sup>71</sup> снова вписано.

<sup>72</sup> Хе? вписано.

<sup>73</sup> Далее было: собравшихся

<sup>74</sup> Далее было: Иуду

<sup>75</sup> Было: его

<sup>76</sup> Далее было: свои(х?)

⟨л. 9⟩ Но Иисус ничего не ответил,<sup>77</sup> хотя знал серьезную правдивость Фомы. И остальные не удивились, не вознегодовали, не стали поздравлять Иуду, а сделали вид, как будто не слышали и то, что рассказывает Иуда, не имеет никакого значения. А Иоанн нахмурился и довольно громко сказал Фоме:

– Не нужно бы тебе, Фома, дружить с Искариотом.

И тот, о ком говорил, слышал это, так как слух имел необычайно тонкий. И с этого же дня заметно изменился к нему Иисус: редко взглядывал на него, и хотя по-прежнему был ласков в обращении, но выходило<sup>78</sup> как-то так, что с Иудой он почти не разговаривает. И если что-нибудь нужно было, учитель передавал через других, через Тимофея или Фому. Через последнего он передал однажды, что Иуда должен купить себе новые одежды, так как старые пришли в ветхость, и Фома увидел в этом особенную заботливость, а<sup>79</sup> Искариот<sup>80</sup> отнесся как-то странно: одежду купил, а потом вдруг подарил ее кому-то, а сам остался в старой, рваной и выцветшей. Но Иисус не обратил на это внимания, как будто совершенно забыл свои слова, да и другие остались вполне равнодушны. Так и остался Иуда в плохой одежде, пока<sup>81</sup> незаметно не сменил ее на новую.

Произошел и еще один случай, в котором опять-таки правым оказался Иуда. В одном иудейском селении, куда он настойчиво не советовал входить и даже предлагал обойти его стороною, Христа приняли очень враждебно, а после его проповеди пришли в такую ярость, что хотели побить камнями и<sup>82</sup> Его и его учеников. Но Иуда криками, мольбами и ложью удалось отклонить врагов Иисуса от их пагубного намерения, и пока Иисус и ученики уходили, Иуда, как одноглазый бес, метался перед толпою. Он кричал, что вовсе не одержим бесом Назорей, что он просто обманщик, любящий деньги, как и все его ученики, как и сам Иуда, – потрясал ⟨л. 10⟩ денежным ящиком, кривлялся и молил. И уже кто-то поднял<sup>83</sup> камень, чтобы убить Искариота<sup>84</sup>, когда другие остановили его, говоря с отвращением:

– Оставь его! Недостойны эти люди того, чтобы умереть от руки честного. [...]

<sup>77</sup> Далее было: как будто не слыха⟨л⟩

<sup>78</sup> Было: сделал

<sup>79</sup> Далее было начато: Иу⟨да⟩

<sup>80</sup> Было начато: И⟨уда⟩

<sup>81</sup> Далее было: как-то

<sup>82</sup> и вписано.

<sup>83</sup> Далее было: с ⟨?⟩ яростью

<sup>84</sup> Было начато: И⟨уду⟩

подымают пыль. А ты, умный Фома, идешь сзади, а я, благородный Иуда, плетусь сзади, как собака!

– Почему ты называешь себя благородным? – удивился Фома.

Иуда рассказал, как он<sup>85</sup> обманул врагов Христа, спасая его жизнь, и как чуть не убили его самого.

– Ты солгал, – сказал Фома.

– Ну да, солгал, – согласился Иуда. – А то как же бы мог я спасти Его и вас? Ведь ваша правда не помогала вам?<sup>86</sup>

– Ты поступил нехорошо. Ты недостойн быть его другом, Иуда.

Лицо Искарриота налилось кровью, потом побледнело, стало белым – и уже не было такой разности между сторонами его, живою и мертвой.

– Так было бы лучше, по-твоему, если бы его убили? – спросил он презрительно и гневно. И серое лицо его, как тусклое, бесформенное облако, надвинулось на Фому, закрыло солнце, закрыло дорогу и Иисуса.

– Оставь меня, Иуда, – попросил Фома. – Оставь меня, мне тяжело с тобой.

(л. 11) И отошел Иуда. Он долго плелся сзади, понемногу отставая. Вот в отдалении смешались в пеструю кучку идущие<sup>87</sup>, и уже нельзя было рассмотреть, которая из этих маленьких фигурок Иисус. Вот и маленький Фома превратился в голубенькую точку и внезапно пропал за поворотом – оглянувшись<sup>88</sup>, Иуда соскочил в сторону от дороги и быстро спустился в глубину каменистого оврага. Поскользнулся, упал, сильно ударившись ногою о камень,<sup>89</sup> нетерпеливо простонал и погрозил камню кулаком:

– Ты еще, проклятый!..

И внезапно сменив быстроту движений угрюмой и сосредоточенной медленностью, выбрал место у большого камня и<sup>90</sup> неторопливо сел. Повернулся, точно ища удобного положения, приложил руки, ладонь с ладонью, к серому камню и тяжело прислонился к ним головою. И так час и два<sup>91</sup> сидел он, не шевелясь и обманывая птиц, неподвижный, безгласный<sup>92</sup>, как сам серый

<sup>85</sup> Далее было начато: спа(с)

<sup>86</sup> Текст: Ведь ваша правда не помогала вам? – вписан.

<sup>87</sup> Место: идущие – было: Иисус и ученики

<sup>88</sup> Далее было: по сторо(нам)

<sup>89</sup> Далее было начато: прос(тонал)

<sup>90</sup> Далее было начато: се(л)

<sup>91</sup> Далее было начато: непод(вижно?)

<sup>92</sup> Далее было: и серый

камень – и неподвижно смотрели из-под бугроватого черепа два глаза, и казалось, что оба они теперь покрыты одной и тою же белесою, странною мутью.<sup>93</sup>

В эту ночь Иуда не вернулся на ночлег, и ученики, оторванные от дум своих хлопотами о пище и ночлеге, роптали на нерадивость его.<sup>94</sup>

### III [...]

«*л. 14*») Иуда остановился у порога и, презрительно обойдя взглядом<sup>95</sup> собравшихся, весь огонь его сосредоточил на Иисусе. И по мере того как говорил Иисус, смягчалось сердце<sup>96</sup> предателя, и великая тоска зажглась в душе его. Еще ползали в голове его мелкие, слепые<sup>97</sup> мысли, как земляные черви после дождя, а душа вся уже горела в черном и холодном огне непостижимой скорби. Как будто уже тысячи лет жил Иуда, как будто еще тысячи лет будет он жить – так<sup>98</sup> беспредельна была эта скорбь, из такой глубины поднимались горькие, ничего не очищающие слезы. Вот перестал он думать. Вот перестал он слышать. Вот исчезло его тело, ноги, руки и голова, и весь он превратился в одну огромную черную пустоту, подобную ночи. И подобно огонькам во мраке ночи зажигались<sup>99</sup> в ней слова Иисуса и гасли бесследно<sup>100</sup>, тихо – а ночь все продолжалась, а ночь все развевалась *л. 15* шире и чернее, и смутные тени клубились. Так стоял он, загоразивая дверь, огромный, черный и страшный – и громко вторило словам Иисуса прерывистое и сильное дыхание Петра.

Уже поздно ночью обеспокоенный Фома подошел к ложу Иуды и спросил:

– Ты плачешь, Иуда?

– Нет. Отойди, Фома.

– Отчего же ты стонешь и скрипишь зубами?

Иуда помолчал, и из искривленных уст его стали падать, одно за другим, тяжелые, глухие слова:

– Почему он не любит меня? Почему он любит тех? Разве я не сильнее их? Разве не я спас ему жизнь, пока те бежали, согнувшись, как подлые собаки?

<sup>93</sup> Далее было (с абзаца): III

<sup>94</sup> В эту ночь ~ нерадивость его. вписано позднее.

<sup>95</sup> Далее было начато: присутств(ующих)

<sup>96</sup> Далее было: в

<sup>97</sup> Было: дерзкие, дурные

<sup>98</sup> Далее было начато: безбр(ежна)

<sup>99</sup> Далее было: и гасли

<sup>100</sup> бесследно вписано.

– Не нужно лгать, – сказал Фома.

– Почему он не с Иудой, а с теми, кто не любит его? Иоанн принес ему ящерицу – я на груди своей принес бы ему бы<sup>101</sup> всех ядовитых змей. Петр бросал камни – я всю землю перевернул бы для него. Но он не хочет сильного Иуды! Он боится смелого, прекрасного Иуды! Он любит громко лающего Петра, он любит трусливого, как мышь, Иоанна, он любит лжецов, предателей, глупцов, подобных тебе, Фома.

– Это нужно доказать, Иуда. Нельзя так говорить.

– Сухая смоковница, которую нужно порубить секирою, – ведь это я, это обо мне Он сказал. Почему же он не рубит? Он узнал бы тогда, что если зеленая смоковница родит<sup>102</sup> плоды – то сухая дает живой огонь. Он боится смелого, сильного, прекрасного Иуды! Он прячется от него!.. Уйди, Фома, пока я не задушил тебя. Пусть один останется смелый, прекрасный Иуда! [...]

*(л. 20)* тогда, что Иуда – убийца, или опять будут целовать его?

Внимательно оглядев его, Фома сказал осторожно и вдумчиво:

– По-видимому, в тебя вселился Сатана, Иуда.

Но на другой день Фома решил, что он ошибся – так приятен, серьезен и добр был Иуда. И все другие ученики с радостью заметили эту перемену в своем брате, и многие утверждали, что совершилось чудо. Прежде Иуда был льстив и беспокоен в обращении, но часто говорил злое и обидное, и даже насмеялся – теперь он стал спокоен и сдержан и говорил только доброе. С особенной внимательностью он относился к Иоанну, выказывая ему<sup>103</sup> уважение и любовь, и любимый ученик Иисуса постепенно примирился с ним. Прежде Иуда говорил о людях только дурное – теперь он стал говорить о них только доброе, откровенно и прямо сознаваясь, что прежде он ошибался. Перестал<sup>104</sup> лгать, перестал кашлять притворно, и только изредка с грустью жаловался на то, что у него такое дурное, некрасивое лицо, мешающее людям с доверием относиться к нему. Жаловался он иногда и на холодность к нему Иисуса, и уже несколько раз случалось, что Петр с горячностью предстательствовал перед учителем за Иуду Искаротиота.

И даже Фома, первоначально с недоверием отнесшийся к перерождению Иуды, постепенно начал менять свой взгляд.

<sup>101</sup> Так в рукописи.

<sup>102</sup> Далее было: зеленые(?) (нрзб.)

<sup>103</sup> ему вписано.

<sup>104</sup> Далее было начато: каш(лять)



– Почему ты не говоришь теперь о людях дурного? – допрашивал он, глядя на Иуду своими прямыми, тяжелыми глазами.

– Ты же сам учил меня, Фома, что нужно доказывать то, что говоришь.

– Но ведь и хорошее нужно доказывать.

– Разве? – удивлялся Иуда. – А я думал, что хорошее и так видно. Разве не хорошему учит Иисус? А ты знаешь ведь, сколько людей уверовало в него, и каждый день ты видишь, как растет число друзей его. Ведь они *⟨л. 21⟩* его любят – а разве могли бы они любить хорошее, если бы сами не были хороши?

– Это правда, – согласился Фома. – Но у него есть враги, дурные люди.

– Горсточка, кучка глупых и злых людей! Что могут они сделать тому, у кого тысячи друзей? Разве они не любят его? Разве и Петр и Иоанн и ты не любите Иисуса<sup>105</sup> и не готовы положить за него душу свою?

– Это правда.

И очень довольный, Фома шел к ученикам и рассказывал им о разумных и добрых словах Иуды. Было это<sup>106</sup> незадолго до Пасхи, и у учеников уже<sup>107</sup> существовали смутные опасения, что враги Иисуса причинят ему злое, уверенные же слова Иуды уменьшали этот страх. И снова радовались они тому, как переменялся Искарриот.

Только раз слегка<sup>108</sup> усумнились они, и было это так. Собравшись около учителя, они горячо спорили между *⟨собой⟩*, как это не раз бывало и раньше, кто из них в царствии небесном займет первое место возле Христа. Перечисляли свои заслуги, меряли степень своей любви к Иисусу, а в других находили недостатки и даже слегка увеличивали их. Петр говорил, что он будет первым, Иоанн и брат его Иаков, что они. И уже раздражительность звучала в их словах, и все громче и громче кричал несдержанный Петр, когда нечаянно они взглянули на Иуду и изумились. Стоял он бледный, слегка наклонившись вперед, как в то время, когда бросал<sup>109</sup> с горы огромные камни, и острым, пронизывающим взглядом своего живого глаза впивался в Иисуса. И так же неотступно смотрел на него Иисус.

– Ты что так смотришь, Иуда? – крикнул Петр. – Ну скажи ты, кто из нас, я или Иоанн, будет первым около Иисуса?

---

<sup>105</sup> *Далее было: ?*

<sup>106</sup> *Далее было: уже*

<sup>107</sup> *уже вписано.*

<sup>108</sup> *Далее было: опять*

<sup>109</sup> *Далее было: он*

– Я! – тихо сказал Предатель, тихо бия себя пальцем в грудь.  
– Я, – повторил он громче, неотступно глядя в глаза Иисусу.  
– Я буду возле [...]

«л. 23» И еще долго говорил он о Иисусе и его учениках, но решительного ответа не дал этот раз осторожный и хитрый Анна. Он знал об Иисусе больше и лучше, чем рассказывал ему неожиданный предатель, и уже давно в тайных совещаниях решалась судьба пророка из Галилеи. Но Иуда не должен был знать об этом, и когда во второй раз явился он к первосвященнику, встреча была еще более суровой и неприветливой. Делая вид, что он совсем забыл, кто такой Иуда и кто такой Иисус из Назореи, Анна заставил предателя повторить весь свой рассказ.

«л. 24» И так лгали они друг другу, веря и не веря, обманываясь и обманывая.

– Ну чего же ты хочешь? – презрительно, точно плюя на Иуду, спросил первосвященник.

– Я хочу предать вам Иисуса, – мрачно ответил Иуда.

– Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса?

– А сколько вы дадите?

Анна презрительно бросил:

– Вы все шайка мошенников. Тридцать серебряников – вот сколько мы дадим, если хочешь.

– За Иисуса! – воскликнул<sup>110</sup> Иуда, и слепой глаз его, покачнувшись, устоялся на Анну. – За Иисуса Назорея! И вы хотите купить Иисуса за 30 серебряников, и вы думаете, что вам могут продать Иисуса за 30 серебряников!

Иуда захохотал.

– Если не хочешь, то ступай. Мы найдем человека, который продаст дешевле!

И точно торговцы старым платьем, которые на площади перебрасывают из рук в руки негодную ветошь и кричат, они вступили в горячий торг. С странным наслаждением, почти в упоении, Иуда выставлял на вид достоинства того, кого он продает: и то, что Иисус молод, и то, что жалостлив<sup>111</sup> и делает много добра, исцеляя больных и прокаженных; и то, наконец, что предан он будет жестокой и позорной смерти, зрелище которой тяжело даже для предателя. И розовея от злости, Анна кричал сухим и резким голосом:

– Ступай! ступай! Мы найдем человека, который продаст дешевле.

---

<sup>110</sup> Далее было: Фома

<sup>111</sup> Было: добр

– Ведь это одного обола не выходит за каплю крови! Пол-обола не выходит за слезу! Четверть обола за стон! А крик! А за то, чтобы его сердце остановилось? А за то, чтобы закрылись его глаза? Это даром? *(л. 25)* – вопил Иуда, наступая на первосвященника.

– За все, за все! – кричал Анна. Он был утомлен и трясся от злости – к Иуде, который кричит как на базаре, к Христу, из-за которого приходится вести этот неприятный и унижительный спор.

– А сами вы сколько наживете на этом? Хе! Вы ограбить хотите Иуду, кусок хлеба хотите отнять у детей бедного Иуды! Я не могу! Я выйду на площадь и кричать буду!

– Вон! Ступай вон! – топал ногами престарелый Анна, теряя силы. [...]

под камнем. И назад он возвращался медленно, погруженный в глубокую и тягостную думу. Радость о том, что так быстро и хорошо исполняется задуманное им, сменилась непонятно горькою, странно мучительною *(л. 26)* обидою за Иисуса, купленного так дешево. Он ожидал и желал плохого, но это было хуже того, что он ожидал, и смутно почувствовал<sup>112</sup> он, что ждет его впереди что-то еще более плохое, еще более неожиданное и чуть ли не страшное.

– Тридцать серебряников, – бормотал он, покачивая бугроватой головою. – Как за раба! Как за животное. Что скажешь ты на это, Иисус?

Дома он увидел Иисуса, утомленного, бледного, с выросшими<sup>113</sup> глазами, окруженными темным, но улыбающегося и ласкового, – и такая нежность к этому человеку, оцененному в 30 серебряников, такая мучительная и нестерпимая любовь овладели им, что захотелось плакать, ползти на коленях и целовать эти ноги, эти худые загорелые руки.

– Господи! Господи! – сказал он и вышел, тихо плача.

И тихую любовью, нежным вниманием, ласкою окружил он Иисуса в эти последние дни его короткой жизни. Шушукался о чем-то с Марией Магдалиной и другими женщинами, на которых раньше он не хотел смотреть, – и те приносили благовонное дорогое миро, столь любимо(е) Иисусом<sup>114</sup>, и обтирали его ноги. И вино покупал дорогое, негодуя, когда почти все его выпивал Петр, и в каменистом, лишенном деревьев, цветов и зелени

<sup>112</sup> по- вписано.

<sup>113</sup> Так в рукописи.

<sup>114</sup> Вместо: столь любимо(е) Иисусом – было: которое так любил Христос

Иерусалиме<sup>115</sup> доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зеленую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Он заметил, что Иисус любит вспоминать милую Галилею, с ее тихой водою и<sup>116</sup> зелеными берегами – и вот искусно наводил он разговор, вызывая воспоминания<sup>117</sup> и до тех пор раскачивал тяжелого Петра, пока тот снова не чувствовал себя рыбаком на своей лодке и не начинал бесконечных<sup>118</sup> рассказов о рыбной ловле, о разорванной сети, о милых пустыках. С жадным вниманием, по-детски полуоткрыв рот, смеясь глазами, слушал Иисус его звонкую, живую речь и потом, под взглядом Иуды, целовал Петра. Разве не мог бы так же рассказать [...]

«*л. 31*») любовь народа к Иисусу. Удивленно смотрел на него Иуда; потом отвел в сторону Фому и пронизывая его взглядом, полным удивления, надежды и страха, спросил в недоумении:

– Фома! А что если Он прав?

– Про кого ты говоришь? – осведомился Фома.

– Тогда, значит, я один? За что же это? Кто обманывает Иуду: вы или сам Иуда? Кто обманывает Иуду? Кто?

– Я тебя не понимаю, Иуда. Ты говоришь очень непонятно. Кто обманывает Иуду? Кто прав?

– Кто обманывает Иуду? Кто прав? – как эхо повторил Искариот и, покачивая головою, отошел от<sup>119</sup> слегка изумленного Фомы. И на другой<sup>120</sup> еще день в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел,<sup>121</sup> звучал все тот же странный вопрос:

– Кто обманывает Иуду? Кто прав? [...]

«*л. 32*») Его. Но Он<sup>122</sup> сам не верит тому, что говорит. Почему он не позовет к себе сильного, смелого Иуду?

– Ты шутишь в такое время, когда нужно быть серьезным, – укоризненно сказал Фома.

Уже не днями, а короткими, быстро летящими часами мерялось неумолимое время. И уже прозвучал в вечерней тишине странный и печальный голос. Он говорил:

---

<sup>115</sup> Иерусалиме *вписано*.

<sup>116</sup> *Было: ,*

<sup>117</sup> *Далее было: , рассказы*

<sup>118</sup> *бесконечных вписано*.

<sup>119</sup> *Далее было начато: изумл(енного)*

<sup>120</sup> *Далее было начато: д(ень)*

<sup>121</sup> *Было: и*

<sup>122</sup> *Далее было: не*

– Ты знаешь, куда иду я, Господи? Я иду предать тебя в руки твоих врагов.

И было молчание.

– Ты молчишь, Господи? Ты приказываешь мне идти?

И снова молчание.

– Но ведь ты знаешь, что я люблю тебя. Зачем<sup>123</sup> ты так смотришь на Иуду? Повели мне остаться, и я останусь. Освободи меня от этой тяжести, она тяжелее<sup>124</sup> гор и свинца<sup>125</sup>. Разве ты не слышишь, как трещит под нею голова и грудь Иуды из Кариота?

И снова долгое молчание, вечерняя тишина.

– Я иду.

И тихие удаляющиеся шаги в вечерней тишине. Еще незримо пронеслось времени<sup>126</sup>, и другой голос загремел решительно и громко. Это (л. 33) Петр клялся, что никогда не оставит Учителя своего.

– Господи! – говорил он с тоскою и гневом: – с тобою я готов и в темницу и на смерть идти.

И тихо, как эхо чьих-то удалившихся шагов, прозвучал беспощадный ответ:

– Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься<sup>127</sup> от<sup>128</sup> Меня.

## VI [...]

(л. 36) тонкой фигуре, и быстро шепнул служителям:

– Кого я поцелую, Тот и есть. Возьмите Его и ведите осторожно. Но только осторожно – вы слышали?

Затем подошел к Иисусу и<sup>129</sup>, многозначительно глядя ему прямо в глаза, сказал:

– Радуйся, Равви!

Но Иисус молчал. И стиснув зубы в мгновенном порыве смертельной тоски, подобной той, какую перед этим испытал Христос,<sup>130</sup> Иуда придвинулся к нему, подался вперед своею бугроватой головою – и нежно поцеловал холодную щеку. Всю свою безграничную любовь, всю свою тоску, всю нежность, всю

<sup>123</sup> Было начато: П(овели?)

<sup>124</sup> Далее было: всех

<sup>125</sup> Вместо: и свинца – было: земных

<sup>126</sup> Так в рукописи.

<sup>127</sup> Далее было: , что не знаешь

<sup>128</sup> от вписано.

<sup>129</sup> Далее было: гляд(я)

<sup>130</sup> Далее было: он

злобу<sup>131</sup> своей чудовищно прекрасной души вложил он в этот поцелуй и молча ждал чего-то. И ужасаясь, смотрели на него ученики.

– Иуда! – сказал Иисус, так же многозначительно глядя на него, – целованием ли предаешь Сына<sup>132</sup> Человеческого?

“Да! – закричало все в Иуде тысячько буйных и диких голосов. – Да! Целованием предаю я Тебя. Целованием любви, которую я проклиная, предается на муки и на казнь сын человеческий! Не ненависть, а любовь предает тебя в руки палачей, и целованием любви казню я вместе с Тобюю и любовь!”

Но не успел Иуда сказать и слова, как воины двинулись к Христу, поднялись шум и суматоха. Потерявшийся Петр с трудом, точно потеряв все свои силы, извлек из ножен меч и слабо, косым ударом, опустил его на голову одного из служителей, но никакого вреда ему не причинил. И видевший это Иисус приказал ему спрятать<sup>133</sup> ненужный меч, и в грубом торжествующем говоре солдат потонули испуганные, жалобные вскрики учеников. Вот один из солдат, насупив брови, двинулся к кричащему Иоанну; другой грубо столкнул с своего плеча руку Фомы, в чем-то убеждавшего его, и поднял кулак – и побежал Иоанн, и побежал Фома и Иаков, и все ученики, сколько их ни было здесь, оставивши Его, бежали.<sup>134</sup> Теряя плащи, ушибаясь о деревья, [...]

⟨л. 38⟩ и пробормотал:

– Так, так, Петр!

И не видел он, как ушел со двора испуганный Петр, чтобы не показываться более. И<sup>135</sup> с этого дня до самой смерти Иисуса не видел Иуда возле Него ни одного из учеников, ни близко, ни далеко, сам же неотступно следил за ним, шаг за шагом, минута за минутой, удар за ударом переживая муки Христа и ужас удачного предательства. Еще сидя у костра, он услышал вдруг грубый говор солдат, их буйные вскрики, полные темной злобы и глумления – и хлесткие звуки ударов по живому телу.

Это били Иисуса.

Он видел<sup>136</sup>, как увели Иисуса в караульню.<sup>137</sup> Ночь проходила, гасли костры и покрывались пеплом, а из караульни все еще

<sup>131</sup> всю злобу вписано.

<sup>132</sup> Было: сына

<sup>133</sup> Далее было: меч

<sup>134</sup> оставивши Его, бежали. вписано.

<sup>135</sup> Далее было: до самой

<sup>136</sup> Было: увидел

<sup>137</sup> Далее было начато: О(н)

неслись глухие крики, смех и ругательства. И он видел, припадая к окнам, заглядывая в щель дверей, то поднимаясь на цыпочки, то выгибаясь как кошка, — он видел тесную, душную, тускло освещенную комнату, с грязным заплеванным полом, и человека, которого били. В сизом воздухе беззвучно падала и поднималась и снова падала какая-то тень человека, в изодранной одежде, с окровавленным распухшим лицом, волосами, беспорядочно падающими на лоб, мокрыми от пота. Вот чья-то рука впиалась в эти волосы, повалила человека и, равномерно переворачивая голову с одной стороны на другую, стала лицом его вытирать заплеванный пол. Чья-то нога равнодушно, мимоходом ударила голову, и, рванувшись, она сильно ударилась о камень и точно приклеилась к нему. Под самым окном спал солдат, открыв рот с блестящими, белыми зубами; вот чья-то широкая спина с голою толстой шеей загородила окно, и больше ничего уже не видно. И вдруг стало тихо.

Иуда<sup>138</sup> прислушивается, и бугроватую голову его, склоненную набок, буравят<sup>139</sup> ужас и радость: почему так тихо? А если они вдруг догадались, вдруг поняли, что это — самый лучший человек в (л. 39) мире. Ведь это так просто, так ясно. Что же тогда? Как же тогда быть Иуде?

— Кто обманывает Иуду? Кто прав? — шепчут побелевшие, искусанные губы.

Но нет. Вот отодвинулась спина, загоразивавшая окно, и в сизом воздухе караульни снова мечется беззвучно фигура человека, которого бьют. Падает под ударами, и снова встает — а костры догорают<sup>140</sup>, покрываясь пеплом, и дым над ними так же прозрачно синь, как и воздух, и небо так же светло, как и луна. Это наступает день.

— Что такое день? — спрашивает Иуда.

Вот все загорелось, засверкало, порозовело, и дым наверху уже не синий, а розовый. Это восходит солнце.

— Что такое солнце? — спрашивает Иуда. [...]

«(л. 40)» и упорная нитка. И то, к чему был привязан Иуда — был огромный, смутно тяжелый вопрос, такой большой и страшный, что не хотелось о нем думать. Но минутами нитка вдруг страшно сокращалась и что-то огромное, тяжелое, как свод пещеры,

<sup>138</sup> Далее было: , наклонив на бок голову,

<sup>139</sup> В рукописи: буровят

<sup>140</sup> Далее было: в воздухе, ставшем прозрачно синим, и небо так же светло, как луна.

медленно опускалось ему на голову – и тогда он хватался рукою за сердце и спешил перевести глаза на новое место, еще на новое место. Когда Иисуса выводили от Каиафы, он совсем близко встретил его утомленный взор, и как-то не отдавая [...]

(л. 45) Иисуса, Иуда закрыл глаза и целую вечность увидел в это короткое мгновение. Но вот со скрежетом ударило железо о железо – одна рука. Еще не поздно.

Другая рука. Еще не поздно. Нога, другая нога – неужели все кончено? Нерешительно раскрывает глаз и видит, как поднимается, качаясь, крест и устанавливается<sup>141</sup> в яме. Видит, как напряженно, содрогаясь вытягиваются руки Иисуса, расширяя раны, и внезапно уходит под ребра опавший живот. Тянутся, тянутся руки, становятся тонкие, вывертываются в плечах, а раны под гвоздями<sup>142</sup> делаются длиннее – вот сейчас оборвутся они... Нет, остановилось. Все остановилось. Только ходят ребра, поднимаемые коротким, глубоким дыханием.

Но еще не поздно. Людей здесь так много. Вдруг они взглянут на него ясными простыми глазами, взглянут на голубеющее, предвечернее небо, взглянут на этот камень, лежащий так тихо и просто, – и поймут и закричат: что же мы делаем! Ведь это Он! Лучший из людей! Что же тогда? Кто прав? Кто обманул Иуду?

Пусть. Но время идет. То почти останавливается оно, так что хочется пихать его руками, бить кнутом, как ленивую лошадь, то безумно мчится оно, и захватывает дыхание, и руки напрасно ищут опоры. Что же он? Вот плачет мать Иисуса. Пусть плачет. Разве значат сейчас что-нибудь ее слезы, слезы всех матерей, всех женщин в мире!

Что такое слезы? – спрашивает Иуда и бешено толкает<sup>143</sup> неподатливое время, бьет его кулаками, прокликает, как раба. Нечаянно взглядывает в небо и задумывается. Почему никто из них<sup>144</sup> не смотрит<sup>145</sup> в небо. Если смотреть в небо, то почти не слышно, что говорят здесь, а слышно только, как кричат воробьи. Теперь весна, и им так весело прыгать и кричать. Но вот суматоха внизу сильнее, крики, потом молчание. Что это? Они поняли?

(л. 46) Нет, умирает Иисус. И это может быть? Да. Иисус умирает. Руки его мертвенно неподвижны, спокойны, но по лицу, по

---

<sup>141</sup> Далее был начат повтор: кр(ест)

<sup>142</sup> Далее было начато: стано(вятся)

<sup>143</sup> Далее было: время

<sup>144</sup> Вместо: никто из них – было: они

<sup>145</sup> В рукописи: смотрят (незаверш. правка)



груди и по ногам пробегают короткие судороги. Дыхание реже. Остановилось. Нет, еще вдох. И еще? Нет. – Нет. – Нет. Иисус умер.

Свершилось.

Иуда еще раз спокойно и внимательно взглядывает на Иисуса, убеждается, что он мертв, и медленно отходит. Нет ни торопливости, ни беспокойства в его движениях: он идет так спокойно, так твердо ставит ногу, как будто во всем мире он только один, и нет здесь ни плачущей матери Иисуса, ни людей, ни самого умершего Иисуса. Свершилось. Останавливается и долго и спокойно смотрит на новую землю. Вдруг маленькая она стала, и всю ее он чувствует под своими ногами, смотрит на горы, багровеющие в последних лучах солнца, и их чувствует под ногами; смотрит на небо – и его чувствует под ногами. Там еще есть город.

Иуда поворачивается и идет к городу, теми же спокойными и страшно властными шагами. Камушки<sup>146</sup> уже не рассыпаются под ногою, и время не идет ни впереди, ни сзади: оно движется вместе с ним всю свою незримою громадой.

Свершилось.

## VIII

Всю эту ночь Иуда провел в размышлениях, а наутро, рано, поспешно отправился за город, чтобы достать спрятанные под камнем деньги. Шел он быстро, как человек, у которого много дел впереди, и он спешит, но в быстроте его уверенных движений не было смешной<sup>147</sup> беспокойной суетливости. Как бы хозяином земли чувствовал он себя, и подобно тому<sup>148</sup>, как хозяин спокойно (л. 47) ходит по своему дому, говорит<sup>149</sup> что хочет, грустит или смеется, не видя остальных<sup>150</sup>. Деньги лежали в мешочке под камнем, как он их положил, но, не доверяя, Иуда пересчитал их заново: тридцать серебряников. Улыбнулся и быстро зашагал обратно в город, к дому первосвященника, где заседал в тот день синедрион. Гром и молнию нес в себе Иуда; гром и молнию обрушит он сейчас на все эти черные и седые головы,<sup>151</sup> опалит их лукавые ресницы, выжжет их подлые глаза и слух их разорвет жестокою правдою

<sup>146</sup> Было: Камешки(?)

<sup>147</sup> Было: той

<sup>148</sup> подобно тому *вписано*.

<sup>149</sup> Было *начато*: разговарива(ет)

<sup>150</sup> Далее было: , так и он

<sup>151</sup> Далее было *начато*: в(ыжжет?)

своих слов. Что будет с этими людьми, когда он, Иуда из Кариота, скажет, кто был этот Иисус, которого они распяли, и кто они, живые мерзостью своею? Поймут они, что сделали, и захотят вырвать из груди своей лживое сердце и лживые глаза из черепа своего, и голову свою захотят раздробить о камень. Но поздно – свершилось. И среди криков отчаяния, стонов и слез земли<sup>152</sup> спокойно пойдет Иуда – Иуда победитель, Иуда смелый, Иуда правдивый – пойдет к Тому, кто молчаливо ждет его в могильной сени.

Вот покашливая, льстиво выгибая спину и улыбаясь заискивающе, предстал Иуда из Кариота перед синедрионом. Там были все они: и Анна с своими сыновьями, точными и отвратительными подобиями отца,<sup>153</sup> Каиафа, зять его, и другие саддукеи, богатые, знатные, гордые силою своею и знанием закона. Молча встретили они Предателя, и лица их, и<sup>154</sup> сухие, и толстые, остались<sup>155</sup> брезгливо неподвижны: как будто не вошло ничего. Иуда кланялся, кланялся, кланялся – а они смотрели и молчали: как будто ничего не вошло, как будто вползло только нечистое насекомое, которого не видно.

– Это я, Иуда из Кариота, тот, что предал вам Иисуса Назорея.

Наконец Анна сказал:

– Чего ты хочешь? Ты получил свое. Ступай.

Каиафа спросил Анну:

– Сколько ему дали?

⟨л. 48⟩ – Тридцать серебряников.

Каиафа усмехнулся, усмехнулся и сам седой Анна, и по всем надменным лицам скользнул луч веселой улыбки. Иуда, кланяясь и бледнея, подхватил:

– Так, так. Конечно, очень мало, но разве Иуда недоволен? Он доволен. Разве не святому делу он помог? Святому. Разве не обманщика распяли вчера на Голгофе? Разве не самые мудрые люди слушают теперь Иуду и думают: он наш, Иуда из Кариота, он наш брат, наш друг, Иуда из Кариота, предатель? Разве не хочется вам целовать Иуду – руки целовать у Иуды Искарриота, предателя?<sup>156</sup>

Каиафа сказал:

– Выгони этого пса. Что он лает?

---

<sup>152</sup> земли *вписано*.

<sup>153</sup> Далее было начато: др(угие?)

<sup>154</sup> и *вписано*.

<sup>155</sup> Было: остановились(?)

<sup>156</sup> Текст: Разве не хочется вам целовать Иуду – руки целовать у Иуды Искарриота, предателя? *вписан*.

– Ступай отсюда. Нам некогда, – равнодушно сказал Анна.

Иуда выпрямился, и шагая тихо, точно подкрадываясь,<sup>157</sup> подошел ближе<sup>158</sup> и спросил:

– А вы знаете, кто был Он, тот, кого вы осудили и распяли?

– Знаем. Ступай.

– А вы знаете, что Он – не был обманщик? – Иуда побледнел<sup>159</sup>, впервые в словах услышав то страшное, о чем думать было невозможно. – Вы знаете, что Иуда из Кариота – обманул вас? Что он предал вам невинного?

Молчат.

– Что Иисус, которого вы распяли, – лучший из людей, какие были на земле? Что кровь его чиста, как дождь, падающий с неба? Иуда обманул вас – вы слышите?! Не Его он предал – а вас, мудрых, вас, сильных и богатых, предал он позорной смерти, которая не кончится вовеки. И тридцать серебряников – это цена вашей крови, грязной, как те помои, что выливают женщины за ворота домов своих. Ах, Анна, старый, седой, глупый Анна, наглотавшийся закона, – отчего ты не дал одним серебряником, одним оболлом больше – ведь в этой цене пойдешь ты вовеки!

– Вон! – закричал Каиафа.

Но Анна остановил его движением руки и равнодушно спросил Иуду:

– И это все, что ты хотел сказать?

⟨л. 49⟩ – Как! – закричал Иуда, – а что же можно сказать еще?

Некоторые улыгнулись на страшный крик Иуды, а престарелый Анна наставительно заметил:

– Ты никогда не был особенно умным человеком, Иуда, – так мне говорили знающие тебя. Когда ты еще не приходил, мы знали об Иисусе все, что ты говоришь теперь...

– Все! Вы знали все? Как же вы убили его?

– Этого ты не поймешь никогда...

– Выгони его! – нетерпеливо заметил Каиафа. – Стоит ли отвечать лающему псу,<sup>160</sup> впавшему в бешенство?

– Но я вижу, – продолжал Анна, строго взглянув на Каиафу, – что ты действительно получил мало, и это волнует тебя. Вот возьми! [...]

---

<sup>157</sup> Далее было начато: спро(сил)

<sup>158</sup> ближе вписано.

<sup>159</sup> Было: побледнев

<sup>160</sup> Далее было начато: пот(ерявшему?)

– Так, так! – бормотал он, быстро шагая по улочкам и пугая детей. – Ты видишь, Иисус?

Ученики Иисуса сидели в грустном молчании и прислушивались к тому, что делается снаружи дома. Еще была опасность, что месть врагов Иисуса не ограничится Им одним, и они ждали вторжения стражи и, быть может, новых казней – когда громко распахнулась дверь и вошел Иуда из Кариота. Все вскочили и вначале даже не поняли, кто это, а когда рассмотрели ненавистное лицо<sup>161</sup>, то подняли крик. Петр же поднял обе руки и загремел:

– Уходи отсюда! Убью!

⟨л. 50⟩ Но всмотрелись лучше в лицо предателя и смолкли, испуганно шепча:

– В него вселился Сатана!

Иуда, выждав молчания, гневно и резко произнес:

– Где же Иисус? Где ваш учитель? Почему мои глаза не видят его среди вас? Или я ослеп, и Он возлежит возле тебя, Иоанн, и на груди Его покоится твоя голова. Слеп я или нет, говорите!

Все молчали, удивляясь дерзости и бешенству Иуды, и только Фома наконец осторожно заметил:

– Ты же сам знаешь, Иуда, что Иисуса вчера вечером<sup>162</sup> распяли.

– Кто?

– Его враги, – ответил Фома.

– Которым ты предал Его, Сатана, – бросил Иоанн.

– А где же были друзья Его?

Фома подумал и сказал, пожимая плечами:

– Ты же сам знаешь, Иуда, что мы были здесь.

– А Он умирал один?

– Что же могли мы<sup>163</sup> сделать, Иуда? Подумай сам.

Петр гневно прорычал:

– Нужно выгнать эту собаку. От него смердит.

– Что сделать? – со стоном закричал Иуда. – А что делает мать, когда отнимают у нее ребенка? Разве не впивается она ногтями в глаза убийцы и не держит его до тех пор, пока умрет сама? А что делает собака, когда у нее отнимают щенка? Разве не впивается острыми зубами в горло обидчика и не держит его, пока не задушит? А что сделали вы?

Петр хмуро ответил:

– Я обнажил меч, но Он сказал – не надо.

---

<sup>161</sup> ненавистное лицо *вписано*.

<sup>162</sup> вечером *вписано*.

<sup>163</sup> *Было*: бы

– И ты послушался! Разве можно Его слушать? Разве понимает он что-нибудь в людях?

⟨л. 51⟩ – Кто не повинуется Ему, тот идет в геенну огненную.

– Отчего же ты не пошел? Геенна огненная – что такое геенна? Ну и пусть бы ты пошел в геенну, и он<sup>164</sup> и все.

– Сатана! – громко сказал Иоанн и отвернул свое прекрасное лицо.

– Что же было делать? – все так же хмуро спрашивал Петр, уже чувствуя в Иуде того, кто может приказывать.

– Что делать? Я не знаю<sup>165</sup>, это вы должны знать, которые любите. Нужно было плакать, кричать, весь Иерусалим наполнить криками и стонами, утопить его в слезах. Нужно было пойти убить Анну, и Каиафу, и Пилата. Нужно было зажечь Иерусалим, эту блудницу, избивающую своих пророков.

– Это невозможно! – сказал Фома.

– Сатана! – крикнул Иоанн свирепо. – Он не велел убивать! Отойди от нас, Искуситель!

– Но разве Он запретил вам и умирать? Почему же вы живы, когда Он мертв? Почему ваши ноги ходят, ваш язык болтает дрянное, ваши глаза моргают, когда Он лежит там, один, избитый, поруганный? Как смеют быть красными твои щеки, Иоанн, когда его бледны? Как смеешь ты кричать, Петр, когда Он молчит? Как можете, как смеее вы жить, предатели, убийцы! Что делать? Вы должны были пасть на дороге и не пускать. За мечи, за руки хватать палачей. Окружить его морем своей крови – умереть, умереть! Сам Отец Его пусть<sup>166</sup> закричал бы от ужаса, когда все бы вы вошли туда!

Иуда замолчал, подняв руки, и вдруг заметил на столе остатки пищи. И с странным изумлением он отступил назад и тихо, с навивным любопытством спросил:

– Что это? – вы ели? Быть может, вы спали также?

– Я спал, – коротко, опустив голову, сказал Петр. – Спал и ел.

⟨⟨л. 52⟩⟩ [...]

– Будь сам проклят, Сатана! – крикнули Иоанн и Иаков и все другие ученики. Только Петр молчал.

– Я иду к Нему, – сказал Иуда. – Кто со мною? Кто с Иудею Искариотом?

<sup>164</sup> Далее было начато: в(се)?

<sup>165</sup> Далее было: . Нуж(но)

<sup>166</sup> пусть вписано.

– Я! – крикнул Петр, вставая. Но Иоанн и другие с ужасом остановили его, схватив за одежду и говоря:

– Безумный! Ты забыл, что он предал учителя в руки врагов!

Петр ударил себя руками<sup>167</sup> в грудь и горько заплакал:

– Куда же мне идти? Господи! Куда же мне идти?

Иуда Искариот не заметил, последовал ли кто-нибудь за ним или нет. Снова почувствовав ту страшную усталость, что и накануне, он медленно брел по каменистой дороге, размахивая руками и бормоча. Прошел весь город, перешел через Кедронский поток и, поднимаясь в гору, вдруг так ослабел, что принужден был сесть на камень. Напротив (н)его ослепительно сверкал под солнцем белый Иерусалим, и Иуда утомленно отвернулся. Поднялся и снова пошел, устало волоча тяжелые ноги. И бормотал, тяжело разводя руками:

– Нет. Они слишком плохи даже для Иуды. Ты слышишь, Иисус? Я иду к Тебе.

И снова шел, и снова бормотал:

(л. 53<sup>168</sup>) – Они слишком плохи, Иисус. Я иду к тебе. Слишком плохи.

Фома задумался между тем над словами Иуды, а когда он долго думал, у него всегда являлись сомнения. Так и в этот раз. И не желая оставлять что-либо не разъясненным до конца, он пошел разыскивать Иуду, чтобы еще раз переговорить с ним. Искал его в Иерусалиме, искал за городом, расспрашивая прохожих, и наконец нашел такого, который мог указать ему путь Искариота. И уже только к вечеру разыскал он Иуду и отступил с ужасом: Предатель висел на дереве, удавившись<sup>169</sup> своим поясом, и распухшее лицо его было страшно. И был особенно страшен его слепой, широко открытый глаз, теперь красный от налившейся крови.

“Теперь он мертв и уже ничего не скажет”, – с сожалением подумал Фома.

– Иуда! – окликнул он на всякий случай. Но Иуда не отозвался и все так же прямо и просто смотрел на него своим красным глазом. И неохотно ушел Фома, унося с собою неразрешенные сомнения и думая, что теперь опять будут тревожить его дурные, непонятные сны.

В тот вечер уже все верующие узнали о страшной смерти Предателя, а на другой день знал о ней весь Иерусалим. Узнала о ней Иудея, и тихая Галилея узнала о ней, и так, переходя из уст

---

<sup>167</sup> Было начато: ку(лаком)

<sup>168</sup> Было: 52

<sup>169</sup> Далее было начато: собст(венным)

в уста, разносилась весть о смерти Предателя. Ни быстрее, ни тише, но вместе с временем шла она, и как нет у времени конца, так не будет конца рассказам о предательстве Иуды и страшной смерти его. И все добрые и злые одинаково предадут проклятию позорную память его, и во все времена и у всех народов, какие были, какие есть, какие будут, останется он одиноким в жестокой участи своей – Иуда из Кариота, Предатель.

4 февраля 1907

## ЧН2

Всю эту ночь Иуда провел в размышлениях, а наутро, рано, живой и бодрый двинулся в путь, чтобы окончить начатое. Достав хорошую<sup>170</sup> и крепкую веревку, которая не оборвалась бы под тяжестью его тела и не обманула бы его, как люди когда-то, – он с приятным видом, неторопливо, отправился за город, к тому месту, где были спрятаны<sup>171</sup> тридцать серебряников. Утро было хорошее, и маленькая земля горела под солнцем<sup>172</sup>, казалась молоденькою, красивой и невинною, как девушка. И у людей, которые встречались на дороге, были такие же невинно-добродушные лица – и одобрительно кивал на все это своею рыжей головою Иуда из Кариота.

– Так, так, – говорил он, – я вижу,<sup>173</sup> какая ты милая. Я вижу! И смеялся.

Деньги лежали в мешочке под камнем, как он их положил, но, не доверяя ни безлюдью местности<sup>174</sup>, ни камню, Иуда пересчитал их заново: тридцать серебряников. И так же неторопливо, точно гуляя, он направился обратно, к городу, и все шел и все улыбался<sup>175</sup> и все глядел на молоденькую невинную землю. Какая красивая! Какое небо голубое! Какое теплое и светлое солнце! Уже при входе в город, он увидел играющего возле стены ребенка и вдруг – как-то странно! – ему захотелось удушить его. Остановился – и долго с хмурым видом разглядывал загорелую шейку, толстые<sup>176</sup>, неловкие пальчики, собирающие камни, всю коротенькую, смешную и милую фигурку маленького человека. Подумал Иуда, постоял<sup>177</sup> и пошел дальше, но<sup>178</sup> не улыбался

---

<sup>170</sup> Было начато: в(еревку?)

<sup>171</sup> Далее было: деньги

<sup>172</sup> Далее было: , как золото

<sup>173</sup> Далее было: земля

<sup>174</sup> местности вписано.

<sup>175</sup> Далее было: , глядя

<sup>176</sup> Было: маленькие

<sup>177</sup> постоял вписано.

<sup>178</sup> Далее было: больше уже

уже<sup>179</sup> и не кивал одобрительно головою<sup>180</sup>. Оскорбительны, но не смешны, казались ему теперь и свет солнечный, и вся наивная прелесть земли, и смутно почувствовался в них какой-то огромный, неразрушимый, неисчерпаемый обман.

Быстрый и решительный подошел Иуда к дому первосвященника, и уже во двор<sup>181</sup> вступил, но задумался на мгновение – и так же решительно повернул назад. Уже давно мечтал он об этой блаженной минуте<sup>182</sup>, когда вновь предстанет он перед

## ЧНЗ

### IX

Чтобы уйти с земли вслед за Иисусом, Иуде из Кариота не нужно было больших хлопот и сборов. Денег он никогда не имел, к родным относился равнодушно и вовсе не думал о них,<sup>183</sup> друзей у него также не было – и все эти неприятные для умирающего заботы о наследстве, о прощании, о последних наставлениях остающимся для него не существовали. Все, что нужно было для него, это хорошая веревка для петли, и веревку он купил, обещав деньги отдать когда-нибудь потом.

Но вовсе не за тем он шел за Иисусом, чтобы больше никогда не возвращаться на землю, и с землею он должен был проститься хорошо. После первых торжественных часов, когда он чувствовал себя<sup>184</sup> более могучим, чем все цари, он снова понемногу сделался Иудой, любопытным, насмешливым и злым. Все такой же одинокий и свободный, он облекся в одежды духа своего, и

## *Варианты прижизненных изданий (Б, СБЗн, Ш, Пр)*

### *Глава 1*

<sup>58</sup> тот далекий / этот далекий (Б, СБЗн, Ш)

<sup>145</sup> облил / облип (Б, СБЗн)

<sup>159</sup> появлялись / появлялось (Б, СБЗн, Ш, Пр)

---

<sup>179</sup> уже вписано.

<sup>180</sup> Было: головой(?)

<sup>181</sup> Далее было начато: вош(ел?)

<sup>182</sup> Вместо: этой блаженной минуте – было: а. этой минуте б. этом блаженном мгновении

<sup>183</sup> Далее было: друзей (нрзб.)

<sup>184</sup> Далее было: повелителем



- 167–168 чувствовал / почувствовал (Б, СбЗн)  
193 под луной / под луною (Б, СбЗн)

### Глава 2

- 57 Матфей / Матвей (Б, СбЗн, Ш)<sup>185</sup>  
59 отца своего и мать свою / отца своего и свою мать (Б, СбЗн, Ш)  
61 Иоанн же Зеведеев / Иоанн же Заведеев (Б)  
208 капли крови / капли алой крови (Б, СбЗн, Ш)  
291 с своими мыслями / со своими мыслями (Б)  
292–293 оторванные от дум своих хлопотами о пище / оторванные от дум своих, хлопотали о пище (СбЗн)

### Глава 3

- 41 небольшие камешки / небольшие камушки (Б, СбЗн, Ш, Пр)  
97 что он победитель / что он победил (Б, СбЗн, Ш)  
100 травинку / травку (Б, СбЗн, Ш, Пр)  
131 звучала / зазвучала (Б, СбЗн)  
134 всю душу / всю свою душу (Б)  
172 Ты вовсе не красив / Ты вовсе некрасив (Б, СбЗн, Ш, Пр)

### Глава 4

- 38 Все мы тут глупые, все слепые / Все мы тут глупые, все мы слепые (Б, СбЗн, Пр)  
46–47 без шума, отворить дверь / без шуму отворить дверь (Б, СбЗн)  
99 показал рукой / показал рукою (Б, СбЗн)

### Глава 5

- 14–15 рассказал о проповеди Иисуса и чудесах, ненависти Его / рассказал о проповеди Иисуса и чудесах, о ненависти Его (Б, СбЗн)  
122–123 как лилия долин / как лилия долины (Б, СбЗн, Ш, Пр)  
168 борьбой с фарисеями / борьбою с фарисеями (Б, СбЗн)  
171 за стеной стучал / за стеною стучал (Б, СбЗн)  
242–243 нежно и с благодарностью / нежно с благодарностью (Б, СбЗн, Ш)

---

<sup>185</sup> Такое соотношение вариантов сохраняется далее во всех указанных источниках.

## Глава 6

- <sup>2</sup> Одной рукой / Одной рукою (Б, СбЗн, Ш, Пр)  
<sup>2</sup> другой рукой / другой рукою (Б, СбЗн)  
<sup>95</sup> не видела / не видала (Б, СбЗн, Ш)  
<sup>114</sup> со своею бугроватой головой / со своею бугроватой головою (Б, СбЗн)  
<sup>213</sup> говорил он с тоскою и гневом / говорил он с тоскою-гневом (Б, СбЗн)

## Глава 7

- <sup>32-33</sup> Большая часть осталась на месте и с тихим говором начала готовиться ко сну / Большая часть остались на месте и с тихим говором начали готовиться ко сну (Б, СбЗн, Ш)  
<sup>47</sup> в неподвижности теней и света / в неподвижности теней ее и света (Б, СбЗн, Ш, Пр)  
<sup>98</sup> зажглась в его сердце / зажглась в его сердце (Б)  
<sup>197</sup> короткие удары / короткие и частые удары (Б, СбЗн, Ш, Пр)

## Глава 8

- <sup>51</sup> что-то быстро придумав, хотел к нему подойти / что-то быстро придумав, двинулся, хотел к нему подойти (Б)  
<sup>85</sup> Иуда круто повернул и быстро устремился / Иуда круто повернулся и быстро устремился (Б, СбЗн, Ш, Пр)  
<sup>117</sup> распни Его! / Его же распни! (Б, СбЗн)  
<sup>130</sup> зачем-то моет / зачем-то он моет (Б)  
<sup>141-142</sup> слышит ядовитый шепот / слышит шепот (Б, СбЗн, Ш, Пр)  
<sup>172</sup> камешки / камушки (Б, СбЗн, Ш, Пр)  
<sup>217-218</sup> неподвижное время / неподатливое время (Б, СбЗн, Ш, Пр)

## Глава 9

- <sup>6</sup> Анна со своими сыновьями / Анна с своими сыновьями (Б, СбЗн, Ш, Пр)  
<sup>294</sup> Капри – в Б, СбЗн, Ш, Пр нет.

# ТЬМА

(С. 78)

## ЧА I

⟨л. 2/1⟩<sup>1</sup> С каждым часом круг преследователей становился все теснее и крепче. Как будто кто-то огромный и слепой, но страшно чуткий, бросал с неба на город железные обручи – один в другой, один в другой, – загоняя его к какому-то центру, в какую-то темную ловушку, откуда уже не будет выхода. И он, преследуемый так яростно, не видел их, своих преследователей, ибо все это происходило в городе, среди его улиц и переулков, заслонялось<sup>2</sup> высокими стенами<sup>3</sup>, растворялось в городской толпе, шумной, занятой, самоцельно движущейся. Только по условным знакам он издали узнавал, что конспиративная квартира не безопасна: поворачивался и уходил,<sup>4</sup> играя тросточкой, как денди. Потом так же узнавал, что не безопасна вторая квартира, и третья, и четвертая, и оказалось, наконец, что во всем огромном городе нет комнаты, куда бы он мог войти, нет постели, на которой он мог бы протянуться и заснуть. И это продолжалось вторые уже сутки, понедельник и половину вторника.

⟨л. 3/2⟩ Первую ночь он ходил по ресторанам и кафе; а когда и рестораны и кафе были закрыты, нанял извозчика и, притворяясь пьяным, ездил по городу. И городские, которые, как и лакеи, любят пьяных, хорошо одетых господ, провожали его ласковыми взглядами; и так он ездил до утра, меняя извозчиков и улицы с темными, высокими и низкими, но всегда похожими друг на друга домами. А утром, когда все двинулись на свою работу, принял вид человека, торопливо идущего на службу, садился в конку и ехал на службу; вновь садился и вновь ехал на службу. Читал в конке газету, из средних, не обращающую на себя внимания и подходящую к костюму; а переворачивая лист, быстро оглядывал лица и видел, что все эти люди ночью спали, потом умывались и

---

<sup>1</sup> В правом верхнем углу помета: 14 ав(густа) (19)07 (г.) Здесь и далее после архивной нумерации листов через косую черту указана авторская.

<sup>2</sup> Далее было начато: дом(ами)

<sup>3</sup> Было: домами (незач. вар.)

<sup>4</sup> Далее было: размахивая

пили чай и теперь разгуливаются, одни тяжело и хмуро, другие<sup>5</sup> весело и легко.

В одной из хороших парикмахерских, куда по утрам заходят деловые люди, он побрился – он ходил бритым и вид имел иностранца, англичанина, и паспорт имел английский – и попросил вытереть все лицо чистым одеколоном; и на минуту ему показалось, что он спал ночь, как и все, почувствовал себя свежим и крепким. Он был очень еще молод, всего двадцать шесть<sup>6</sup> лет, и очень здоров; прежде, когда он носил большую бороду и длинные волосы, он был похож на молодого приват-доцента по русскому праву или на богатого, либерального земца, помещика; а теперь, бритый, походил на шкипера дальнего плавания, много уже раз выдавшего бури, или на много путешествовавшего коммерсанта. И держался он солидно, с тяжелым *(л. 4/3)* спокойствием, внушавшим уважение швейцарам. И очень нравился женщинам – и в том своем виде, и в теперешнем, но не будил в них любви и страсти, а чувство доверия и товарищеской хорошей близости.

На самом же деле он не был ни земцем, ни шкипером, а революционером, террористом; участвовал уже в двух убийствах высокопоставленных особ, причем во втором случае сам стоял с бомбой, в качестве запасного метальщика<sup>7</sup>. И теперь, через два дня, в четверг, он должен был уже<sup>8</sup> первый бросить бомбу в министра внутренних дел – это покушение он сам и подготовил, с<sup>9</sup> изумительной тщательностью, твердостью и той<sup>10</sup> ужасной определенностью, которая всем действиям его придавала характер фатальности. Его хорошо знали все свои и гордились им; и только потому они разрешили ему<sup>11</sup> пойти на этот риск – ибо брошенная бомба обычно убивала и того, кто бросал, – что верили в его неизменное счастье и устранение<sup>12</sup> министра было действительно необходимо. В свою очередь, смутно, но хорошо знала его и полиция; и сотня сыщиков, замирая от щиплющего страха, мечтала, как схватит его: окружит, обойдет сзади и схватит; и были среди них нервные и злые ищейки, которые постоянно чувствовали его: непосредственно, чутьем, узнавали, когда он в городе и когда нет его. Но и их безумно чуткая, острозубая злоба расшибалась о ту сетку<sup>13</sup> тон-

---

<sup>5</sup> Далее было начато: р(?)

<sup>6</sup> Было: шести(?)

<sup>7</sup> Вместо: в качестве запасного метальщика – было: при запасе

<sup>8</sup> уже вписано.

<sup>9</sup> Далее было: той

<sup>10</sup> той вписано.

<sup>11</sup> Далее было: теперь

<sup>12</sup> Далее было начато: б(ыло?)

<sup>13</sup> Было: стену (незач. вар.)

чайших хитростей, неожиданных уловок, мгновенных провалов и появлений, какую он окружал себя. Ибо и он чувствовал их так же сильно, как чувствовали его они<sup>14</sup>.

Так, спокойный и ясный, проходил он свою короткую жизнь среди ненависти и любви, уважения и страха. И если бы в ту минуту, как он рассматривал в парикмахерском равнодушном зеркале (л. 5/4) свои густые черные брови, решительно и строго изогнутые губы, свою голову, твердую, круглую и беспощадную, как ядро, обтянутое кожей, – если бы спросить его, что в этом мире он считает красивейшим, что считает благороднейшим и лучшим, он ответил бы: мою жизнь и мою смерть.

– All right<sup>15</sup>! – сказал он парикмахеру, погладив пальцами<sup>16</sup> лоснящуюся кожу подбородка и резко очерченных, тяжелых скул. – All right<sup>17</sup>! Вы славно отшлифовали мою физиономию!

Это были единственные слова по-английски, которые знал он, мистер Чарльз Коллет, и как всегда, произнося их, он улыбнулся на нелепость, которая во всем этом заключалась. И улыбнувшись – вдруг, внезапно, почувствовал ту огненную радость, что как бы<sup>18</sup> вечно таилась в нем, и сторожила, и вырывалась внезапно, как пламя из-под хвороста, и в ярком полете своем сжигала мгновенно все мелкое, тяжелое и<sup>19</sup> грустное. И вместе с радостью так же внезапно, так же властно почувствовал он острую нежность к этому человечку, к парикмахеру в белом переднике.

– Какой у вас красивый галстух... где вы берете такие галстухи? – спросил он растроганно. И пока польщенный человек, имевший целую коллекцию прекраснейших галстухов, краснея и волнуясь, рассказывал ему историю их приобретения, он ласково смотрел в его покрасневшее человеческое лицо, усердно кивал головою и наконец крепко пожал руку. Это была сентиментальность, он знал это. Это была сентиментальность, непонятная и дешевая чувствительность, которая так, по-видимому, не шла к его трезвому и твердому характеру и за которую товарищи часто (л. 6/5) бранили его. Но как люди, твердые на хмель, позволяют себе выпить немного с полной возможностью остановиться, когда хотят, – позволял и он себе быть чувствительным, думая, что всегда может остановиться, когда захочет. И хоть и сам считал

---

<sup>14</sup> *Вместо:* как чувствовали его они – *было:* как и они его

<sup>15</sup> *В рукописи:* Al riht

<sup>16</sup> *Далее было начато:* ко(жу)

<sup>17</sup> *В рукописи:* Al riht

<sup>18</sup> *бы вписано.*

<sup>19</sup> *Было:* ,

это неким распутством, но не особенно стыдился, так как других пороков не имел.

Еще на улице он некоторое время с приятным чувством думал о парикмахере и его галстуках. Потом забыл о нем и, все еще радуясь, стал думать об<sup>20</sup> огромном народе, который молча и терпеливо ждет свободы; и о себе, о своих, об этой<sup>21</sup> крохотной кучке, дерзновенно и одиноко<sup>22</sup> ведущей борьбу с сильным, вооруженным, богатым государством. И о том далеком времени он подумал, когда незнакомые, далекие, милые люди извлекут их имена из тьмы разрушенных гробниц, из глубины острожных могил и вознесут высоко. И его имя будет там, на высоте. Мысль была радостная, гордая, но стало грустно почему-то – как грустно бывает влюбленному жениху, подумавшему о близкой свадьбе, как нищему, подумавшему о богатстве. И жаль стало кого-то. И опять вспомнился парикмахер, но уже без приятного чувства, а скорее с раздражением, даже брезгливостью.

– Это оттого, что я не спал ночь, и перед этим не досыпал уже целую неделю, – подумал он и, подчиняясь дурной привычке тихонько мурлыкать себе под нос какую-нибудь песенку, тихонько запел, и хотя слов не произносил, а только думал их, звучали они выпукло<sup>23</sup> и ясно:

– Вихри враждебные веют над нами...

Шаги стали отчетливее и тверже, распрямилась грудь и как-то *(л. 7/6)* особенно ясно почувствовалась ширина и крепость плеч. Так шел он среди беспокойной городской толпы, ритмично колыхаясь, под одному ему слышимые музыкальные такты – спокойный, уверенный, чуткий и такой зоркий, как будто не пара, а тысяча глаз было у него. А сверху кто-то огромный и слепой продолжал набрасывать на город железные обручи, и все теснее, все крепче, все безысходнее становился железный круг.

... Вихри враждебные веют над нами...

Смерть, смерть! Почему люди боятся ее? И что такое смерть, смерть!

... Судьбы безвестные ждут...

Смерть! Смерть!

---

<sup>20</sup> *Вместо:* об огромном народе – *было:* о народе

<sup>21</sup> *Далее было начато:* неволь(шой)

<sup>22</sup> и одиноко *вписано.*

<sup>23</sup> *Было:* отчетливо

## II

Так прошел день,<sup>24</sup> светлый и странный,<sup>25</sup> каким он кажется<sup>26</sup> тем, кто случайно подсмотрел тайну это(й) вечной смены: дня и ночи, ночи и дня. И наступала вторая ночь – вторая ночь без сна. Уже охватывала тело тупая, тяжелая усталость. Сидел как-то тяжело, всем телом, поднимался со стула медленно,<sup>27</sup> двигался неохотно и уже раза два споткнулся, переходя улицу. А тревожные признаки все росли и уже совсем близко, где-то за углом, чувствовались те. Оберегаемый чутьем, в течение дня он кружился, видимо, среди одних и тех же улиц: все встречные лица казались странно знакомыми, уже виденными однажды, и это грозно говорило об узости круга, в который он загнан. И два раза *(л. 8/7)* уже за ним гнались шпионы – случайные, фланёры, не знавшие, кто он, и только беспокойным, напряженным чутьем своим почувствовавшие в нем что-то особенное, необычное, подозрительное. Особенно настойчивы они, однако, не были, и избавиться от них не стоило большого труда, но все же было плохо. Опасность, как серая бесшумная тень, кралась где-то по пятам, кружила над головою, как птица, выглядывала из окон, из дверей, из человеческих глаз – и это было самое тяжелое: из<sup>28</sup> человеческих глаз. При всей своей опытности, и зоркости, и чутье, он не мог каждый раз с точностью сказать: кто этот человек, враг... или друг, или просто равнодушный; и это наполняло улицы призраками. Ослабвало минутами напряженное внимание, и тогда, как в кошмаре, как в бреду, начинали мелькать в мозгу носы, глаза, руки; опять носы, глаза, руки. Эта городская толпа, толпа улиц, ресторанов и садов, толпа музеев и кафе, чудовищно разрасталась, множилась, бесконечно повторялась: как будто каждый человек на глазах превращался в двух, а те опять двоились, и так без конца.

Днем после обеда он имел неосторожность зайти в синематограф, и в начале это ему понравилось: показывалось что-то смешное, какие-то смешные люди гонялись друг за другом, падали в воду, наталкивались на веревки; и движения их были разорванные, толчкообразные, угловатые, будто под действием прерывающегося электрического тока. Но вскоре мелькание начало утомлять глаза, как-то больно отозвалось в самой глубине

---

<sup>24</sup> *Далее было:* медленны(й)

<sup>25</sup> *Далее было:* такой

<sup>26</sup> *Далее было:* людям, случайно

<sup>27</sup> *Далее было:* шел

<sup>28</sup> *Далее было начато:* гла(з)

мозга – и, нахмурив брови, он вышел на светлую улицу – но и там вдруг все начало мелькать: прохожие, экипажи, гудящие трамваи. Два господина разговаривали друг с другом; они двигали *(л. 9/8)* носом, бровями, выделявали ртом странные гримасы, поднимали и опускали руки – и все эти движения были разорванные, толчкообразные, будто не они сами двигались, а кто-то снаружи приводил их в действие. И если сразу взглянуть на всю улицу, то<sup>29</sup> казалась она огромною лентою, на которой дергались в судорожных движениях лошади, люди и колеса. Это было так неприятно, что он зажмурил глаза, и на короткое время нелепое ощущение прекратилось; но потом явилось снова, и на весь уже день. И когда в ресторане он заказывал себе обед, он так поднимал карту, разглядывал ее и клал обратно – и лакей так наклонялся к нему, поднимал брови, повертывался, и фалды его фрака так размахивались, словно оба они, и лакей и он, прodelывали все это нарочно, для кого-то третьего, какого(-то) невидимого зрителя.

И за весь день было хорошо только один час, в картинной галерее; там были очень удобные, мягкие, обитые красным бархатом диваны; и публики было мало, и двигалась она медленно и плавно, подолгу останавливаясь, и говорили тихо. Перед тем местом, где он сидел, была какая-то большая черная картина и от нее веяло спокойствием. Он не помнит, какая это была картина, помнит только черные и светло-серые пятна, кажется, руку, не то плечо – но от нее веяло спокойствием. Жаль, в соседнем зале показался кто-то подозрительный, высматривавший что-то, и пришлось уйти, а то можно было бы и подремать немного на мягком, удобном диване, обитом красным бархатом, изредка открывая глаза на черную картину, от которой веяло спокойствием и тихим, невозмутимым миром. Пришлось уйти.

...Вихри враждебные веют над нами...

Темные силы нас злобно гнетут...

*(л. 10/9)* К вечеру небо над городом, в прорезах улиц, задернулось серыми облаками, потемнел и помягчел воздух и сильнее стали запахи города: сентябрьская неверная погода грозила<sup>30</sup> ненастную дождливою ночью. И мягкие сумерки наступили быстро и сразу прекратили несносное мелькание; и люди на тротуарах, на которых он смотрел с извозчика, вдруг стали другими, настоящими, за каждым почувствовался дом, постель, какие-то свои мысли и желания. Даже городской на посту ожил: и за ним почувство-

<sup>29</sup> Далее было начато: он(а)

<sup>30</sup> Далее было: испортиться



вался дом, постель, может быть, дети, – что-то свое, что бывает у всех городских.

И мягким клубком, как котенок, приготовившийся для сна, улеглась в душе тревога и спрятала свои острые когти. И вместе с наступившим покоем вдруг невыносимо захотелось спать – до боли, до отчаяния, до детской беспомощности. Он зевал, выворачивая челюсть, уже не вытирая слез, и с бессильным гневом чувствовал, как все тело его размякает, разваливается по сиденью, ищет удобнейшей позы для сна и радуется глупо – тихой радостью победившей плоти. Уже около сорока часов провел он без сна, в утомительном, бесцельном движении, и теперь сон, молодой, здоровый, радостный сон наваливался на него всею своею<sup>31</sup> тяжестью, широкой, мягкой ладонью валил его с ног, как ребенка, гладил ласково. Это было его всегдашним несчастьем – крепкий, властный сон. Другие товарищи его, более нервные, менее здоровы(е), могли в возбуждении не спать трое-четверо суток, а он валился уже на вторые, и мог спать сидя, стоя, на острых камнях. Однажды<sup>32</sup> ему пришлось спать неделю на ящике, полном готовых, снаряженных бомб, *(л. 11/10)* и он спал великолепно, с дивной беззаботностью, вызывавшей удивление у мужчин и восторг у женщин. И напрасно он уверял, что это не храбрость, а только здоровье, простое, глупое здоровье, – ему не хотели верить те, в ком беспокойная жизнь, полная грозных опасностей, изощрила чувства, пропитала острым недоверием все хрупкое, измученное, безумно зрячее тело. Так же не хотели ему верить товарищи и в том, что быстрота и непреклонная твердость, с какою он принимает опасные и ответственные решения, спокойствие, с каким идет он на смерть, – все то же простое, глупое здоровье, а не какая-то особенная, исключительная<sup>33</sup> смелость.

Но теперь сон грозил большою и серьезною опасностью. Пока еще он борется с ним, зевая<sup>34</sup>, а вот наступит ночь, и заснет он где-нибудь на бульваре, на извозчике, и глупо попадет в участок, как пьяный. Правда, просыпался он быстро, от первого толчка, – но самая мысль о том, чтобы заснуть где-то на улице, без защиты зрения и слуха, под взорами тех, кто его ищет, возбуждала тревогу и страх. Была еще одна квартира, куда, наверное, еще не проникла полиция, но в нее он мог явиться только в четверг утром, за последней бомбой – последней для министра и, быть может, для

---

<sup>31</sup> *Далее было:* мягкою

<sup>32</sup> *Далее было:* он

<sup>33</sup> *Далее было:* храбрость

<sup>34</sup> *зевая вписано.*

него. И при огненной<sup>35</sup> мысли, что только сорок коротких часов отделяют его от этого великого мгновения, подготовленного так хорошо, с неутомимой логикой и твердостью самой судьбы, тело его окрепло, прекратилась глупая зевота, и ясное определенное решение встало в мозгу:

– Надо ехать туда.

Туда – это значило: в дом терпимости. Еще вчера он подумал (л. 12/11) об этом, но постыдился в первую же ночь прибегнуть к этому рискованному средству, ибо всякий дом, даже дом терпимости, представлял для него опасность. И еще то смущало его, что в свои двадцать шесть лет он был девственником и<sup>36</sup> никогда не бывал в таких домах; и хотя, по расспросам, он хорошо знал, как там нужно вести себя, все же было неловко при мысли о каких-то могущих быть осложнениях. И наконец – голая женщина, совершенно незнакомая, голая женщина. Он улыбнулся, покраснел густо, опять улыбнулся и подумал:

– Ну что же! Если уже так нужно будет, то... то можно, конечно, и девственность... Раз необходимо.

И развязным голосом, как опытный кутила, приказал извозчику ехать. Но сам был красен, от<sup>37</sup> крутого лба до самой<sup>38</sup> шеи, и долго оставался красен – не хотела краска сходить с его резко очерченного<sup>39</sup> английского лица. Дом, куда ехать, он знал по расспросам хорошо; знал его и извозчик.

– Хороший бардак! – сказал он просто и сочувственно. – Девки, говорят, хороши, на подбор. Необыкновенный бардак. Самого пристава раз туда возил, из 5-го участка. Толстый такой, с усами. Как же, знаю.

Это было неожиданно, но скорее хорошо, чем плохо. И он задумался о толстых приставах с усами, потом о министре и о том, как он его убьет, – потом о себе. И мысли были мягкие, тихие, как колыхание экипажа на бесшумных резиновых шинах, как безвольно податливое покачивание тела, которому был обещан сон, и оно покорно и висло (? ) ждало. Подумал он о том, что вот ему 26 лет, а он девственник, и ему стыдно ехать туда, к незнакомой голый (л. 13/12) женщине, но что и девственности своей не пожалеет он для своей высокой цели, свободно отдаст ее, береженую, какой-то грязной, продажной твари. И жизни своей не пожалеет,

---

<sup>35</sup> огненной *вписано*.

<sup>36</sup> Было: ,

<sup>37</sup> Далее было начато: сам(ого?)

<sup>38</sup> Было начато: (нрзб.)

<sup>39</sup> Далее было: лица шк(ипера?)

и ничего не пожалеет, раз нужно, и это делает его таким особенным и красивым, таким человеком среди всех этих извозчиков, голых женщин, темных домов с освещенными окнами. И вдруг – все так же мягко грезя – он увидел жизнь свою как чудо: почему она такая радостная, почему такая светлая и красивая? Как факел на высокой горе в черную ночь.

...Вихри враждебные веют над нами...

Вот скоро, через сорок часов, он умрет, и как умрет! С поднятой рукой, непримиримый, гордый – человек до самого последнего конца. Он быстро открыл глаза – пролетка бесшумно огибала городского на угле<sup>40</sup> и городской козырял: он привык козырять всем, подъезжавшим к этому дому, так как часто получал на чай. И с улыбкой на нелепость всего этого он козырнул ответно.

...Судьбы безвестные нас теперь ждут...<sup>41</sup>

## ЧН1

свои темные брови, решительно изогнутые губы, свою голову, твердую и круглую, как ядро, обтянутое кожей, – если б и спросить его: что в этом мире он считает красивейшим, что считает благороднейшим и лучшим, он ответил бы: мою жизнь и мою смерть. Ибо вся она, с начала до конца, устремлена к одной цели, как оперенная стрела, и цель эта высока и прекрасна. Ибо нет ничего в мире благороднее и красивее смерти, которая увенчивает такую жизнь, и сама становится источником новых, прекрасных жизней.

– All right<sup>42</sup>! – сказал он парикмахеру – единственные слова, какие знал он по-английски, – all right<sup>43</sup>! Вы славно отшлифовали мою физиономию.

## ЧА2

⟨л. 14/⟨1⟩⟩<sup>44</sup>

## НОЧЬ

...И вот тогда он, девственник, он, не ведавший нечистого, он, вся жизнь которого была подобна огню жертвенника, стремящемуся ввысь, доколе не погаснет; он, молодой, красивый и строгий, – ре-

<sup>40</sup> Было: посту

<sup>41</sup> Текст обрывается.

<sup>42</sup> В рукописи: Al riht

<sup>43</sup> В рукописи: Al riht

<sup>44</sup> В правом верхнем углу помета: 18 августа (1907 г.) Здесь и далее после архивной нумерации листов через косую черту в угловых скобках дана восстановленная составителями авторская нумерация.

шил поехать в этот дом терпимости. Уже двое суток за ним, известным террористом, бомбометателем, казнившим<sup>45</sup> однажды некоего высокого и опять<sup>46</sup> готовым к новой, еще более высокой казни, – охотилась яростно полиция; уже двое суток, в непрестанном движении по улицам города, он не имел ни отдыха, ни покоя, ни сна. И не было дома; где мог бы он отдохнуть, и не было во всем городе ни одной чистой постели, на которой он мог бы протянуться и уснуть. А молодой и радостный сон, глухой к опасности, дружески беспощадно наваливался на него всею<sup>47</sup> мягкой тяжестью своею<sup>48</sup>, гладил его по лицу своей широкой пушистой ладонью – валил его с ног, валил его с ног, как пьяного. И вот тогда он, девственник, решил поехать в этот дом, единственный, двери в который были для него открыты, и на нечистой постели продажной женщины найти отдых<sup>49</sup> и сон. Это была третья ночь, как он не спал, и предпоследняя перед тем днем, когда он бросит бомбу в некоего высокого [...]

(л. 15/3) Но он этого не знал. И когда она нехотя поднялась и хмуро взглянула на него черными подведенными глазами и как-то резко мелькнула своим бледным, страшно бледным лицом – он еще раз подумал, какая она порядочная, и обрадовался. Но, продолжая то вечное притворство, которое двоило его жизнь, притворялся слегка пьяным и<sup>50</sup> сказал девушке развязным голосом опытного развратника и кутилы:

– Ну-ка, пойдем-ка к тебе!

– Сейчас? – удивилась девушка и подняла брови. Он игриво засмеялся, но покраснел и ответил:

– Конечно. Чего же нам ждать?

– Тут музыка будет. Танцевать будем.

– А ну ее к черту, музыку! Ведь, небойсь, и оттуда слышно?

Она посмотрела на него и улыбнулась:

– Немного слышно.

Опять он густо покраснел и, нахмутив брови, уже не притворяясь почему-то, – решительно взял ее за руку и повел:

– Куда идти? Сюда? Показывай.

В большом зеркале резко отразилась их пара: она, в черном, бледная и на расстоянии очень красивая, и он, высокий, строй-

---

<sup>45</sup> Далее было начато: неко(его)

<sup>46</sup> Было: снова

<sup>47</sup> Далее было: своей

<sup>48</sup> своею вписано.

<sup>49</sup> Было: покой

<sup>50</sup> притворялся слегка пьяным и вписано.

ный, также в черном и также бледный. Особенно бледен казался его лоб среди густых черных волос; а вместо глаз и у него и у нее были черные<sup>51</sup>, несколько таинственные, но красивые провалы. И так необычна была их черная пара, среди белых стен, под ярким огнем электрической люстры, что он в изумлении остановился и подумал: как жених и невеста. Впрочем, от бессонницы, вероятно, и от усталости (л. 16/4) он соображал плохо, и мысли были нелепые, потому что в следующую минуту, взглянув на черную пару, подумал: как на похоронах. Но и то и другое было неприятно.

– Ну что, налюбовался? – спросила девушка, так же внимательно приглядывавшаяся к зеркалу: видимо, и ее поразила какая-то необычность в этом контрасте черного и белого. – Красив, красив, и так ведь знаешь.

Но он не ответил и решительно пошел дальше, продолжая вести девушку за руку. Был длинный коридор, как всегда,<sup>52</sup> темные комнатки с открытыми дверями, и в одну комнатку, на двери которой было написано неровным почерком: “Люба”, – они вошли.

– Ну вот что, Люба, – сказал он, потирая руки<sup>53</sup>, – нужно вина и еще чего там, фруктов, что ли.

– Фрукты у нас дороги.

– Ничего. А вино вы пьете?

Он забылся и сказал ей “вы”, но поправляться не стал. Но она как будто не заметила, и, не взглянув, коротко ответила:

– Да, пью. Погодите, я сейчас. Фруктов я велю принести только две груши и два яблока.

И она говорила теперь “вы”, но он не обратил на это внимание. Какая приличная девушка – подумал он, когда она вышла, и стал оглядывать комнату. Подошел к окну, раскрыл – высоко, на третьем этаже и выходит во двор. Не выпрыгнешь! В двери, изнутри, ключ и крючок, и оба запираются хорошо. Две лампочки, и когда гаснет сверху,<sup>54</sup> зажигается другая у кровати, с красным колпачком. Вообще, очень прилично. Но кровать!.. Широкая, двухспальная, с высоко взбитыми подушками, с отдернутым на половину стеганым одеялом. Лицо его передернулось гримасой, брезгливой (л. 17/5) и жалкой в одно время. Неужели придется? Хорошо бы, конечно, умереть, как и жил. [Но если так нужно... ну и черт с ней, с девственностью. Он вспомнил, как он берег себя, сколько это вначале, пока не привык, стоило ему страданий,

---

<sup>51</sup> Было начато: к(расивые?)

<sup>52</sup> Далее было: потом

<sup>53</sup> – сказал он, потирая руки *вписано*.

<sup>54</sup> Далее было начато: друг(ая)

неловкостей и даже слез, и еще раз со злобой подумал: ну и черт с ней. Дурацкие сантименты! Хотя жалко, конечно...

Мысли щетинились, кололи друг друга – это начинал<sup>55</sup> злиться обиженный сон. Он уже не гладил по лицу волосатой, шерстистой, мягкой ладонью, а крутил ноги, руки, растягивал тело, точно хотел разорвать его. И Люба не приходила. Осмотрел со злостью браунинг, три запасные обоймы с патронами,<sup>56</sup> подул слегка в ствол – все было в порядке. Потер руки, как бы умываясь.] [...]

⟨л. 22 об./⟨5/6?⟩⟩ – Почитайте что-нибудь.

– У меня нету книг.

– Хотите газету? У меня есть, вот.

– Нет. Не хочу. [...]

⟨л. 19/⟨6?⟩⟩ – Ну как хотите. Я, если позволите... – и он запер дверь двойным поворотом ключа и ключ положил в карман. И не заметил взгляда, каким девушка провожала его. И вообще весь этот разговор, такой дикий в этом месте, казался ему естественным и простым – оттого, вероятно, что бессонница сильно расстроила его мысли.

– Вы позволите мне снять сюртук?

– Пожалуйста. Вы и жилетку снимите, а то узко очень.

– Вот здесь бумажник, деньги. Будьте добры, спрячьте их...

– Вы лучше бы отдали в контору. У нас все отдают в контору.

– Зачем? – удивился он, но не взглянул на девушку и смущенно отвел глаза. – Ну вот, пустяки какие. Какая еще там контора. [...]

⟨л. 20/⟨6⟩⟩ – А мне можно снять кофточку? А то корсет у меня очень тугой. На теле потом рубцы остаются.

⟨л. 18/ 7⟩ – Конечно, конечно, пожалуйста.

Он слегка отвернулся и опять покраснел. И оттого ли, что [...]

⟨л. 21/⟨7⟩⟩ И еще вопрос, тихий и настойчивый.

– А кто же вы? Кто вы такой?

Вопрос был настойчивый, сторожкий, и было в голосе что-то, на что ему следовало обратить внимание. Но он засыпал – и слова прозвучали без значения, а в голосе почудилась ласка и доброта. И не ответил он. Вспыхнула на одно мгновение угасающая мысль,

<sup>55</sup> Было: начал

<sup>56</sup> три запасные обоймы с патронами, вписано.

и отчетливо, как молния, которая освещает поле до самого горизонта, вычертила все эти два дня и две ночи безумной погони и такого же безумного бегства: улицы, людей, рестораны, какие-то вертящиеся колеса, множество вертящихся колес. И вдруг все это сделалось далеким и спокойным прошлым; погасло совсем. И последним, что донеслось к *(л. 22/8)* нему, была заигравшая музыка: взрыв веселых, ласковых, пляшущих нот, похожих на голых ребятишек на берегу тихой и солнечной реки. Торжествующе взвизгнул милый, мохнатый сон, обнял горячо – и в глубоком молчании, затаив дыхание, они понеслись в прозрачную, тающую глубину.

Так спал он и час, и два, навзничь, в той вежливой позе, какую принял перед сном; и правая рука его была в кармане, где револьвер и ключ. А она, девушка с голыми плечами и грудью, сидела напротив, пила рюмку за рюмкой коньяк и неподвижно глядела на него. Он позабыл погасить верхнюю лампочку, и лицо его было освещено ярко; и теперь, во сне, оно показалось девушке не таким молодым и очень суровым. А когда она, встав бесшумно, погасила верхнюю и зажгла нижнюю лампочку под красным абажуром, лицо вновь помолодело, порозовело, улыбнулось как будто.

Музыка в зале то замирала, то вновь раздражалась звуками клавиш и скрипки, пением и топотом танцующих ног – и она все сидела, курила папиросы<sup>57</sup>, пила рюмку за рюмкой и смотрела неподвижно. От красного абажура ее голые руки и грудь стали прозрачно-розовыми, а глаза выросли, почернели, и молчание их сделалось таинственным и непонятым.

## II

*(л. 24/(9))* Плохо! Музыка в зале молчала, и было тихо.

– Ну – что? – спросил он хрипло.

– Вставай. Будет, поспал. Вставай, – хрипота долгого молчания исчезла в ее голосе, и звучал он чисто, но резко и зло. И говорила она сквозь зубы, еле разжимая рот.

– Зажги лампочку, – приказал он.

– Не зажгу.

Зажег сам. И увидел под ярким светом бесконечно злые, черные, подведенные глаза, горевшие такой решительной ненавистью, что ему, ничего не боявшемуся, стало тяжело и жутко.

– Что с тобой – ты пьяна? – спросил он серьезно и беспокойно, и протянул руку к своему высокому, крахмальному воротничку.

<sup>57</sup> курила папиросы *вписано*.

ку. Но она раньше схватила его голой<sup>58</sup> рукою и бросила куда-то в угол, за комод.

– Не дам!<sup>59</sup>

– Да что с тобою? – уже строго сказал он и нахмурился.

– Это у тебя револьвер в правом кармане, а? Застрелить меня хочешь – да? Ну стреляй, стреляй, посмотрю я, как ты меня застрелишь. Пришел к женщине, а сам спать лег. Пей, говорит, а я спать буду. Знаю, знаю, отчего тебе спать захотелось... А в полицию *⟨л. 23/10⟩* хочешь? [...]

*⟨л. 25/⟨10?⟩⟩* – Ну? Что же молчишь?

Пугать не нужно, нужно уговорить. То, последнее – не уйдет.

– А ты знаешь, Люба, кто я?

– Знаю, – и твердо, все с той же ненавистью, разделяя каждый слог, она произнесла: – Революционер – вот кто.

– Ну, допустим, революционер. Но зачем же ты хочешь погубить меня?..

– И погублю.

– Разве ты не знаешь, что мы работаем не для себя? Что мы работаем, жертвуя жизнью, для людей, для таких, как ты, чтобы стали они свободны, понимаешь, чтобы не было больше на свете этой мерзости.

– Ну. Знаю. Дальше.

Говорила она с той же резкостью, насмешливо<sup>60</sup>, но<sup>61</sup> уже спокойнее, и не так она была пьяна, как показалось сначала.

– Дальше, Люба? – голова у него кружилась слегка, но мысли были ясны и тверды; и чувство было такое, будто он видит сквозь стены темную улицу, и весь темный ночной<sup>62</sup> город; и будто видит он вчерашний день и завтрашний, и следующий, когда он поднимет последнюю [...]

*⟨л. 26/⟨12⟩⟩* Музыка оборвалась, но тот, дикий, еще гикал; видимо, кто-то, шутя или серьезно, зажимал ему рот рукою, и сквозь пальцы звук прорывался еще более отчаянным и страшным. Словно душили кого-то.

– Как тут у вас, – повел он плечами и сморщился. – Я ведь первый раз в таком доме...

---

<sup>58</sup> голой *вписано*.

<sup>59</sup> *Далее было: —*

<sup>60</sup> насмешливо *вписано*.

<sup>61</sup> *Далее было: в*

<sup>62</sup> ночной *вписано*.



Девушка резко встала и, задев его голым плечом, подняла в угле воротничок и бросила:

– Одевайся! – гневно, сквозь стиснутые зубы<sup>63</sup>.

– Что? [...]

(л. 13<sup>64</sup>) – Уходи! Вон отсюда. Вон!

И когда он, побледнев, в недоумении, протянул руку к воротничку, изогнулась как-то и быстрым, неожиданным, сильным движением ударила его по лицу. От неожиданности, от силы удара он пошатнулся и сел на кровать. И в руке у него, красноватым отсветом по черному тускло блеснул револьвер, маленький, злой, беспощадный, веселый. Но она не видела револьвера. Разъяренная, с внезапно разметавшимися черными волосами, она до боли впиалась ногтями в его плечи, бессознательно царапала их и, наклонившись близко, к самому лицу, бросила отрывисто – коротко – мучительно. Слова ее жгли лицо, глаза сверлили его глаза, хотели отравить, убить, сжечь одной силой и безграничной ненавистью взгляда:

– У-у! Подлец! Негодяй! Хвастаться сюда пришел! Красоту свою показывать пришел! Никогда не был! Женщин не знал, подлец! А я тут живу, ты хочешь это знать? А меня все мужчины в городе... все... все...

Она царапала его плечи и в жгучей ненависти, точно сама отравленная тем ядом, что струили ее глаза, – дрожала мелкой, мучительной дрожью.

– Живой не сдамся, да! А я вот мертвая... мертвая! А я вот наплюю в твоё лицо... На... живой! На! На! Иди теперь, иди!

Он с силой отшвырнул<sup>65</sup> ее и поднялся, бледный, с мокрым оплеванным лицом. Так же дрожал. И кроме желания убить ее, задушить, взять эту тонкую, злую, змеиную шею и сдавить – не чувствовал ничего. Револьвер он бросил на кровать. Сделал(?) шаг(?) вперед. Но она не видела этого. Закинув голову(?) назад(?) (2 нрзб.)

### *Варианты прижизненных изданий (Б, АШ, Ш, Пр)*

<sup>9</sup> к вниманию / ко вниманию (Ш, Пр)

<sup>13</sup> навела на его следы / навела на его след (Б)

<sup>16</sup> конспиративные / те конспиративные (Б, АШ)

<sup>63</sup> Далее было начато: , бр(осила?)

<sup>64</sup> Указана только авторская нумерация.

<sup>65</sup> Было: оттолкнул

- 26 последнюю / эту последнюю (Б, АШ, Ш)  
 56 предстоявшая ночь / предстоящая ночь (Б, АШ)  
 68 платье / платья (Б)  
 135 упрямый лоб / открытый лоб (Б, АШ, Ш, Пр<sup>66</sup>)  
 157 комнатку / комнату (Б)  
 160 как будто старательно мыл / так, будто старательно мыл (Б, АШ, Ш, Пр)  
 244 не договорила – что / не договаривала, что (Б)  
 299 от этой старой / от этой старой, черной (Б, АШ, Ш, Пр)  
 328 с крупными пальцами / с крупными, спокойными пальцами (Б, АШ, Ш)  
 354 коротко спросил / кротко спросил (Ш, Пр)  
 370 воротничку / воротнику (Б)  
 464 папиросочки / папироски (Б, АШ, Ш, Пр)  
 473 папироску / папиросу (Б, АШ, Ш)  
 523 Он смотрел / Смотрел (Б, АШ)  
 525 стеною / стеной (Б)  
 528 ты со мной делаешь / со мной делаешь (Б, АШ)  
 552 он спрятал / спрятал (Б, АШ)  
 567 Плакала Люба. / Плакала. (Б, АШ)  
 569 Девушка ответила что-то / Ответила что-то (Б, АШ)  
 569 что он не расслышал. / что не расслышал. (АШ)  
 599 голову на плечо / голову ему на плечо (Б, АШ)  
 650 подожду / я подожду (Б, АШ)  
 696 А я одна не хочу / А одна я не хочу (Б, АШ)  
 709–710 После: ударили меня? – (с абзаца) Девушка помедлила и резко ответила: (Б, АШ)  
 722 Молчал, смотрел / Молчал и смотрел (Б, АШ)  
 723 Что-то ползало / Что-то ползло (АШ, Ш)  
 756 Он передернул / Передернул (Б, АШ)  
 886 обрадовалась / обрадовалася (АШ)  
 898 с холодным / с холодом (Б)  
 903 отступая / не отступая (Б, АШ, Ш)  
 931 быстротою / быстротой (Б)  
 965 и даже погрозила / она даже погрозила (Б)  
 973–974 У подлеца дорог много, а у честного одна. / в Б, АШ нет.  
 980–981 и оттого, что отдам / и оттого, что отдал (Б, АШ, Ш)  
 1015 как в церкви / как я в церкви (Б, АШ, Ш)  
 1017 Правда, какая правда? / Правда – какая правда? (Б, АШ, Ш)

<sup>66</sup> Опечатка в Пр: покрытый лоб

- 1017–1018 неизвестный ужас / неизведанный ужас (Б, АШ, Ш)
- 1043 Только этим и жив / Только этим и жил (Б, АШ)
- 1113 жалко-счастливою улыбкой / жалко счастливою улыбкою (Б)
- 1114 Опять он положил / Опять положил (Б, АШ)
- 1142 страшнее». / страшнее. Это дьявол! (Б)
- 1168 найти галстука / найти галстух (Б, АШ, Ш, Пр)
- 1169 моего галстука / моего галстуха (Б, АШ, Ш, Пр)
- 1174 Он усмехнулся угрюмо. / Усмехнулся угрюмо. (Б, АШ)
- 1177 Наконец он оделся / Наконец оделся (Б, АШ)
- 1199–1200 оставалось открыть / оставалось только открыть (Б, АШ, Ш)
- 1212 Провел ~ руками / Провел ~ рукою (Б, АШ, Ш, Пр)
- 1213–1214 сел на кровати / сел на старое место на кровати (Б, АШ, Ш, Пр)
- 1312 своими именами / своим именем (Б)
- 1390–1391 невинненькую честность / невинную честность (Б)
- 1574 шлюхою / шлюхой (Б)
- 1653 убийстве... / убийстве N? (Б)
- 1707 Плоть-то и у вас / Плоть же и у вас (Б)
- 1717 покачивал ногою / покачивал ногой (Б, Ш, Пр)
- 1722 ногой / ногою (Б, АШ, Ш, Пр)
- 1774 схватила руками / охватила руками (Б)
- 1796 20 сентября 1907 г. / в Б нет.

# ИЗ РАССКАЗА, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ОКОНЧЕН

(С. 121)

## *Варианты прижизненных изданий* (УР, П, У, Ш, Пр)

- 32 фабрики и железные дороги, / фабрики и дороги, (УР, П, У)  
42 – Они там / – Оно там (П, У)  
49 – поверх крыш на // поверх крыш, смотрела на (П, У)  
54–55 мне испугом. / для меня испугом. (П)  
71 милостива к ним. / милостива ко мне. (УР, П, У)  
76 я тоже / я-то тоже (Ш, Пр)  
82–83 незнакомым мне пожатием, – / незнакомым пожатием, – (П)  
91–92 мечтала всю жизнь. / мечтала всегда, всю жизнь. (УР, П, У)  
92–93 безумной любовью, / безмерной любовью, (УР, П) /  
бессмертной любовью, (У)  
95 с теми, кто / с тем, кто (У)  
99 Ты человек? / Ты человек. (У)  
102 я видел, как разрушатся они, / я видел, как эти стены  
строились, я видел, как разрушатся они, (УР, У) / как раз-  
рушаются они, (П)  
123 и кушанье, / и кушанья, (УР)  
135 И все, – она, удивляясь, / И все – она удивлялась, (Ш, Пр)  
144 требовавший / по-видимому требовавший (У)

# САВВА

(С. 131)

## ЧН1

### ОГОНЬ ВРАЧУЕТ

1-е действие: провинциальный дом – лавка + трактир + жилец попович. Все устроено глупо. В маленькие окна – сараи, черные от дождя. Отец стоит и ждет: в передней голос X.

О.<sup>1</sup> Пришел? Смотри, выгоню.

X. Не выгонишь (*поднимает его на воздух*).

О. Пошлю за полицией!

X. А это что? (*переставляет что-то*).

Оторван палец. Разговор о монастыре, о празднике. Выясняется значение монастыря. Семья. Братья, один сонный, другой – жулик. Женщины.

2-е действие: Выясняется философия – (огонь врачует) и план X – взорвать икону. Соглашение с монашком. Б(ыть) м(ожет), какая-нибудь женщина. Происходит в келье. Являются монахи, харак(еристика) монастыря с внутр(енней) стороны.

3-е действие: Лагерь богомольцев у монастыря. Костры. Слепые, калеки, несчастные по слову Христа: приидите ко мне... Дикий человек в веригах. Его речи.

4-е действие: Чудо совершилось. Рассказ монашка. Спор, выдает толпе. Стоят друг против друга: X – и дикий в веригах. Убийство X. Пение, процессия с иконой. Толстые монахи, косящиеся на труп.

## ЧН2

⟨л. 1⟩<sup>2</sup>

САВВА

### ДРАМА В 4 АКТАХ

<sup>3</sup>Егор Иванович – старик, ничтожный, тупой, упрямый; живет плохо, скучно, дел своих вести не умеет. Рост большой, а голова маленькая, темная, с перегородками и всякой рухлядью.

<sup>1</sup> Далее было: Опять

<sup>2</sup> На л. 1 в правом верхнем углу помета: 20 января н(ового) с(тиля) 1906

<sup>3</sup> Перед: Егор – было начато и зачеркнуто: Егор Ива(нович)

Мошенничает, но мелко, и завидует монахам, к(отор)ые – крупно. Можно с этого начать первый акт: входит и жалуется, что нагрел кого-то на копейку, – он... а вот монахи. Вдов. Религиозен, отвержен к монастырю. Лавка – постоялый двор.<sup>4</sup>

Старший сын – Тюха (Антон). Велик, тучен, неопределенно мрачен, пьет запоем; и когда пьян, перед глазами у него что-то “мерцает”. Сидит, покачивается и тупо смотрит.

Жена Тюхи, Пелагея – вроде батрачки. Заработавшаяся, обремененная несчастная женщина. Беременна. Тоже выпивает и когда пьяна, бьет себя кулаками по животу: пропади ты, проклятый.

Дочь<sup>5</sup> Саша, красивая, бледная, васнецовское лицо. Мистична, скорбит о монаст(ырских) беспорядках, сама с огромной волей, могла бы быть хорошей настоятельницей. Но всему практическому мешают мечты – какие-то огромные мечты о всеобщем счастье, о справедливости, об обновлении жизни религией. Быстро идет к сектантству, не подозревая этого. Замуж – не хочет. Мужчин вообще не любит, слегка презирает.

Младший сын Савва. Давно ушел из дому. Где-то пропал. Вернулся неожиданно. Большой, неуклюже грациозный, мужиковатый, ходит слегка сгорбившись, плечом вперед, носки слегка внутрь. Но когда вспыхивает – закидывает голову, выпрямляется, становится легок, быстр. Без бороды и усов, черты лица крупные, рубленые. Видимо, был (л. 2) среди интеллигенции, но не любит ее за<sup>6</sup> бессилие, за привязанность к старой культуре, за мягкость. Был среди террористов, но и те не удовлетворили его – мелковаты, все боятся, как бы чего лишнего не повредить. “Одному они меня научили – уважению к динамиту”. “Предлагал я как-то им... да что, побоялись. Мелковаты!” Ненавидит религию, Бога, которого видит во всем, которым отравлены даже души неверующих. Пришел с целью взорвать икону Спасителя “Придите ко мне все...” как эмблему лжи. “А вот я его динамитцем”. Нужно разрушить все: всю культуру. Искусство также. Книги оставить только технические. Любит ребят и играет с ними в бабки. Одет как городской рабочий. Над Пелагеей смеется: “Хочешь быть лошастью, так будь”.

Монашек – бывший псаломщик, неудачник в жизни, пьянчужка. И к жизни, и к себе, и к Богу относится с легкой иронией, не то верит, не то нет. Уверен, что из монастыря только одна доро-

<sup>4</sup> Лавка – постоялый двор. – *вписано позднее, частично между строк.*

<sup>5</sup> *Далее было вписано:* Е(гора) И(вановича)

<sup>6</sup> *Далее было начато:* от(сутствие?)

га – в ад. Любит рассказывать про мон(астырь) гадости, клубничку, – много врет. Фантазер. Речи Саввы ошеломляют его, мечты – пленяют своей грандиозностью и необычностью. После взрыва перерождается: верит в Б(ога) фанатично и страстно.

Семинарист. Сомневается в собственном существовании. Мягко, задумчив, грустен; много пьет, и дьяконица ругает его за это. Но работать не хочет: ежели неизвестно, существую я или нет, то зачем работать?

Человек в веригах. Воплощение дикой фанатичной веры. Как и Савва, враг культуры, искусства, книг – но во имя Бога. Когда-то сам нечаянно убил своего ребенка, и с тех пор надел вериги. Вид дикий. Только Спаситель может понять глубину его тоски, громаду его горя. Отдавать Спасителю свою (л. 3) неизбывную тоску, всю жизнь только его чистый Лик видеть перед собою, говорить: “Ты понимаешь, Спаситель, как я страдаю” – его<sup>7</sup> наслаждение. Он рад, что он убил ребенка – он узнал Спасителя, радость смертельного, бездонного страдания перед лицом Чистоты<sup>8</sup>. Он как хрустальный сосуд со слезами. Савву он убивает, лично мстя за Спасителя.

*Действие развивается так:* Савва подговаривает монашка накануне праздника подложить под икону динамит(ный) патрон, ночью. Монашек соглашается, но в последнюю минуту сообщает о замысле игум(е)ну, и икону выносят, а патрон оставляют. Получилось чудо, в которое верят сами чудотворцы. Перед назлектризованной, впавшей в экстаз толпою монашек выдает Савву, и его убивают.

ПЕРВЫЙ АКТ, в доме, в общей комнате. Начинается разговор Саши и Пелагеи, между прочим, о Савве. Входит Савва, он только что играл с ребятами в ладыжки, весел – выиграл; подол полон бабок. Игрой с ребятами он заинтересован серьезно; ни снисходительности, ни рисовки. Разговор с сестрой. За сценой слышны куры, петухи, деревенские летние звуки<sup>9</sup>.

ВТОРОЙ (АКТ) – в ограде монастыря. Разговор с монахами, с Монашком. Дикий человек.

ТРЕТИЙ АКТ. С начала до конца без перерыва за сценой шаги – идут на праздник. В комнате темно, только свечка, за столом пьяный Тюха и семинарист. Тюха. Мерцает. Семинарист. Да, все оно плывет, движется, как бы сон. Тюха. Так ты

<sup>7</sup> Далее было: адов(о)

<sup>8</sup> Было: чистоты

<sup>9</sup> За сценой слышны куры, петухи, деревенские летние звуки. – Вписано позднее, частично между строк.

говоришь, и меня нету и тебя нету. С (е м и н а р и с т ). Под сомнением. Т ( ю х а ). А куда они идут? Савва, ожидающий взрыва, сдержанно возбужденный и радостный. Сцена с сестрой. Вдали – глухой взрыв.

#### ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ.

### ЧА I

⟨ л. I ⟩<sup>10</sup>

САВВА

#### ТРАГЕДИЯ<sup>11</sup> В 4 ДЕЙСТВИЯХ

#### ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ<sup>12</sup>

Внутренность мещанского жилища в посаде – небольшой селитьбе при Кресто-Воздвиженском монастыре. Две комнаты, третья в перспективе. Первая комната, нечто вроде столовой, большая, грязная, с дешевыми запятнанными обоями, кое-где отставшими от стены. Три маленькие закрытые окна выходят во двор; видны навес, телега, какая-то рухлядь. Деревянная дешевая мебель; большой непокрытый стол; на стенах засиженные мухами виды монастыря и портреты монахов. Вторая комната для гостей, почище; на окнах кисейные занавески, диван, круглый стол со скатертью, горка с посудой; в углу хорошая божица. Из первой комнаты дверь налево ведет в трактир; когда кто-нибудь из домашних входит оттуда, доносится звон посуды, говор, тихое пение подгулявших мужиков. Жаркий летний полдень; на дворе под окном роются в навозе и кудахчут куры; когда окна открываются, летние деревенские звуки становятся громче; раз или два во время действия бьют часы на монастырской колокольне. Пелагея, беременная, моет полы.

Пелагея (*сердито толкая стул*). У-у, аспиды, василиски! Запрягли как лошадь. Чтоб вас всех громом разразило! (*У нее кружится голова, она опирается о стену, стоит так некоторое время, и со вздохом продолжает мыть.*)

С а ш а (*входит*). Паша, а Савва еще не приходил?

Пелагея сердито молчит.

⟨ л. 2 ⟩ С а ш а. Паша, ты слышишь, Савва не приходил? (*Открывает окно.*)

П ( е л а г е я ). Слышу... Не приходил. На улице с ребятами в ладыжки играет. О-ох. Господи, когда же это смерть придет!

<sup>10</sup> В верхнем правом углу помета: 19 января 1906. Мюнхен.

<sup>11</sup> Было: Драма

<sup>12</sup> Вместо: Действие первое – было: Акт первый



С а ш а. В ладыжки? что за охота. Какой он нелепый!

П ( е л а г е я ). Делать нечего, вот он с жиру и бесится. Нет чтобы людям помочь – зачем только приходил! Был бродягой, и оставался<sup>13</sup> бы бродягой, а тут – кому он тут нужен. Скажите, пожалуйста, какой барин!

С ( а ш а ). И не бродяга он, и не барин, это ты говоришь от злости. А если ты не хочешь работать, так и не надо.

П ( е л а г е я ). Пожаловалась я ему, как доброму, что трудно мне, а он посмотрел так и говорит: “Запряглась, так и<sup>14</sup> вези”. Посмотрю и я, как тебя, голубчика<sup>15</sup>, запрягут, повезешь не хуже моего.

С ( а ш а ). Он там учился, работал. У него своя работа, Паша.

П ( е л а г е я ). Хороша работа, что и сказать нельзя какая. Намедни отец Кондратий спрашивает Егора Ивановича: “А чем ваш сынок в столицах занимался?” – а Егор Иваныч и ответит, что не знает. Со стыда мы тут сгорели. Жулик он мелкий, больше ничего.

С ( а ш а ). Паша!

П ( е л а г е я ). Будь большой жулик, так в дырявых сапогах не пришел бы. Бумажки, говорят, делал – если бы бумажки делал, так в карете бы приехал. В проходных воротах ветром торговал, вот он кто.

С ( а ш а ). С тобой нельзя<sup>16</sup> говорить<sup>17</sup>.

П ( е л а г е я ). Да и не говорите. Разве с нами разговаривать можно! Вы тоже, Сашенька, барышня<sup>18</sup>, белоручка, свечки ставите, душу спасаете. А нам куда душу спасать! Так с завернутым подолом на тот свет и вляпаешься. Нет, вы погодите, вы увидите: одного ребенка скинула, и ( л . З ) другого скину.

С ( а ш а ). Это не от работы, Паша. Я давно хотела тебе сказать...

Егор Иванович (*выходит из двери в трактир*). Что это ты, золовка, с утра подоткнулась, а и двух комнат не вымыла?

Пелагея молча начинает мыть.

Е ( г о р ) И ( в а н о в и ч ). А ты зачем сюда?

С ( а ш а ). Так.

Е ( г о р ) И ( в а н о в и ч ). А окна кто открыл?

<sup>13</sup> Было: остался

<sup>14</sup> и вписано.

<sup>15</sup> голубчика вписано.

<sup>16</sup> нельзя вписано.

<sup>17</sup> Далее было: нельзя

<sup>18</sup> Было: барыня

С⟨а ша⟩. Я. Душно тут очень.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Прохлады захотела, так на погреб иди. А тут жилье, жилое помещение, люди живут. *(Закрывает окна.)* А Савка где?

П⟨елагея⟩. С ребятами в бабки играет.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Ну ты молчи, тебя не спрашивают. Э-эх, Господи Иисусе Христе! *(Зевает и крестит рот.)* Поспать что ль пойти, разморило. *(Садится.)* Вот тоже, мужики сейчас: жалуются, копейки не хватило. Народ пошел: из-за копейки скандал подымает. Копейка! Трудно эта копейка достается. Ты что молчишь?

С⟨а ша⟩. Слушаю, что вы говорите.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Ну и слушай, авось поумнеешь. Где этот самый, как его, Савка? Вот тоже дурак, прости Господи! О чем я говорил-то, сбила ты меня? Да, так вот, о⟨тец⟩ игумен – ловкий человек. Новый гроб, слышишь, на место старого сделали. Старый-то весь богомольцы изгрызли, так они новый поставили. И этот изгрызут, дураки. Им что ни поставь, разве они понимают.

С⟨а ша⟩ *(брезгливо)*<sup>19</sup>. Как это нехорошо, ведь это же обман. Люди верят, а они...

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Ну и пусть верят, кому от этого плохо? Гроб-то он как раз такой, в каком преподобный лежал, помани ты нас в царствии твоем небесном. *(Крестится и зевает.)* И зубы, слышишь, проходят, не ⟨л. 4⟩ болят. А настоящий разве можно? Он, поди, чего стоит, а они его в<sup>20</sup> год сгрызут. Нет, умный человек о⟨тец⟩ Парфений, все от него кормимся⟨?⟩, дай Бог ему продления живота. Что до него было: так, монастырек захудалый, а теперь, слышишь, со всех четырех ст⟨орон⟩ народ собирается. В столицах даже известно, Савка говорил. А ты вот что, ты скажи Савке...

С⟨а ша⟩. Сами скажите.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Не стану я с ним, дураком, разговаривать. А ты скажи, что выгоню, мол, я его. Выгоню, если не станет оказывать послушания, по заповеди, как надо. Это вы его боитесь, а я не боюсь, я самому губернатору известен. Скажу, что фальшивые бумажки делал!

С⟨а ша⟩. Что вы говорите!

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Не я говорю, люди говорят. А я его не боюсь, молод он еще, так ты ему и скажи. А то на, поди: праздник идет, а я один управляйся. Где это видано? Нет, приструню я его, ей-богу, приструню.

<sup>19</sup> *(брезгливо) вписано.*

<sup>20</sup> *Далее было: миг*

П⟨елагея⟩ (ворчит). Как же, так и приструнил.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Что?

П⟨елагея⟩. Ничего.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. То-то, ничего. Ничего, так и молчи.

С⟨аша⟩. Папаша, я окно открою. Прямо невозможно.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. А мне возможно? Хороша будешь и так.

С⟨аша⟩. Так я уйду.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Посиди. У Савки научилась прекословить. Вскормил я вас, взлелеял, а вышли вы настоящие прохвосты. Вот тоже Тюха: по роже вижу, что запьет не нынче-завтра. Это к празднику-то! Где это видано? Будь жива маменька, покойница, что бы она сказала ?

П⟨елагея⟩ (ворчит). Сам в гроб вогнал.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Что?

⟨л. 5⟩ С⟨аша⟩. Вы бы его к доктору отвезли.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. О⟨тец⟩ Парфений обещал водой покропить. Какая-то у них новая вода есть, монах с Иерусалима привез, очень хорошо помогает от запою.

П⟨елагея⟩. Лучше бы своих монахов покропил, прости Господи!

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Что? Ты мне там поговори, я тебе поговорю. Думаешь, муж пьяница, так и власти над тобой нету? Я еще силу-то не совсем потерял.

П⟨елагея⟩. Да уж такого драчуна поискать.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Что? А вот я тебе сейчас покажу, какой я такой драчун.

Медленно встает, Пелагея бросает тряпку и отбегает к двери.

С⟨аша⟩. Папаша, да оставьте же вы! Ведь это же мука. День-деньской, день-деньской.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Нет, я ей...

Савва входит, и Егор Иванович при виде его возвращается на место, садится и смотрит на Савву иронически. В подоле у Саввы ладыжки, он очень весел.

Савва. Шесть пар с лашкой выиграл!

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Скажите пожалуйста.

Савва. Мишку насилу доконал. Ты что бурчишь там?

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Ничего. Только<sup>21</sup> лучше бы ты<sup>22</sup> мне “вы” говорил.

<sup>21</sup> Далее было: ты

<sup>22</sup> ты вписано.

Савва (не обращая на него внимания). Саша, я шесть пар выиграл.

С(аша). Какой ты чудак.

Савва. погоди, я сейчас, ладыжки отнесу. У меня теперь 18 пар. Ну и молодцы ребята – здорово играют.

Уходит.

Е(гор) И(ванович). Больше я не желаю его видеть. А ты ему скажи...

С(аша). Хорошо, хорошо, скажу.

Е(гор) И(ванович). Ты не “хорошо”, а делай, что тебе приказывают. А то ведь я и к губернатору, я человек ему известный. Вот тогда и поговоришь. (л. б) Вскормил, взлелеял, а поди вот... Полька, подыми спичку, зачем спичка валяется?

Уходит.

С(аша). Вот что, Паша, хотела я тебе сказать: напрасно ты пьешь – водку пьешь. Это Тюха тебя научил.

П(елагея). Никто меня не учил. Сама научилась.

С(аша). Ведь подумай, как это ужасно. Ты еще такая молодая, красивая...

П(елагея). А кому моя красота нужна. Пьянице-то этому? Он и трезвый-то ничего не видит, а уж пьяный...

С(аша). Тебе самой нужно. Ведь так хорошо быть красивым, чистым человеком. Ну если тебе так трудно, уйди отсюда.

П(елагея). А куда я пойду?

С(аша). Ах, ну мало ли, Паша. Свет так велик. Ты веришь в Бога – ну пойди в монастырь.

П(елагея). Чтобы на скотном дворе работать?

С(аша). Работа так приятна, когда она во имя чего-нибудь. Я понимаю тебя, Паша, мне так жаль смотреть, как ты изводишься – из-за ничего. Ну кому все это нужно: дом этот, все. Кривое все, грязное – глупое.

П(елагея). Это ты Савкины слова повторяешь.

С(аша). Что же, он верно говорит. Я тебя понимаю. Я и сама в монастырь бы пошла, да...

П(елагея). За чем же остановка! Все равно, где свечки ставишь, тут или там. Ты со вкладом будешь, тебя работать не заставят.

С(аша). Нет, Паша, не это. Нет веры настоящей в монастырях, не умеют там молиться, не умеют там страдать. Спокойные, сытые, никто их не преследует. Хорошо бы, Паша, пострадать за веру. Святые, мученики, могут творить чудеса: ты подумай, Паша, как бы это хорошо: стать мученицей и помогать несчаст-

ным. Ведь столько горя, Паша, столько несправедливости. На что мне тело, когда душа болит? Ты не думай, Паша, что *(л. 7)* если я не работаю, так я счастливая.

П<sup>(елагея)</sup>. Я и не думаю. Шла бы ты замуж лучше.

С<sup>(аша)</sup>. Нет. Я не люблю мужчин. Кулаки<sup>23</sup> у них здоровые, а нет у них ни настоящей силы, ни твердости, ни ума. Машут кулаками зря, как слепые: кого не надо побьют, а где и надо бы – пропустят. Да и зачем пойду я замуж? Мне землю всю обнять хочется, а вместо того возьму я у нее только кусочек, самый крохотный, и буду как дерево в кадке: куда его ни повези, оно все со своей землей ездит.

П<sup>(елагея)</sup>. Эх, Александра, Александра: недаром тебя Е<sup>(гор)</sup> И<sup>(ванович)</sup> дружит за книжки.

С<sup>(аша)</sup>. Да я только и читаю, что<sup>24</sup> жития святых. Какие книги? – не люблю я их. Все их люди пишут, а мне нужно только то, что от Бога. Ну да что – разговорилась я некстати. А ты, Паша, послушай меня, к добру твоему говорю: не пей. Выпьешь ты и становишься злая, некрасивая, для всех мучительная. Другие, выпивши, веселеют, а ты... И это так ужасно: зачем ты бьешь себя кулаками по животу? Это так... ужасно!

П<sup>(елагея)</sup>. Так вот и бью. А отчего не бить?

С<sup>(аша)</sup>. Да ведь ребенок!

П<sup>(елагея)</sup>. А пропади он пропадом. Вот запьет Тюха, и я запью. Ты, конечно, барышня, белоручка, тебе на наше горе смотреть противно, а я тебе вот что скажу: только я и свет увидела, как пить начала. Выпью, и никого не боюсь<sup>25</sup> и всем правду скажу, какие вы есть – кровопийцы. За что молодость мою погубили? Конечно, не всякому правду приятно слышать, но только уж, извините, А<sup>(лександра)</sup> Е<sup>(горовна)</sup>, для вас я себя менять не стану.

С<sup>(аша)</sup>. Да разве я для себя?

П<sup>(елагея)</sup>. А мне все равно, для кого. Оба вы с братцем хороши!

С<sup>(аша)</sup>. Какая ты... несправедливая.

П<sup>(елагея)</sup>. А ты справедливая? А если справедливая, так возьми вот ведро с водой, да и вынеси. Я брюхатая, мне, видишь, нехорошо тяжелое *(л. 8)* подымать. Ну-ка, потрудись: не всё<sup>26</sup> книжки читать да свечки ставить.

<sup>23</sup> Было начато: Не(т)

<sup>24</sup> и читаю, что вписано.

<sup>25</sup> и никого не боюсь вписано.

<sup>26</sup> Далее было начато: краси(вые?)

Саша хмуро сдвигает брови, но потом лицо ее проясняется; она с трудом поднимает ведро и несет его к двери. П(елагея) насмешливо смотрит на нее.

П(елагея). Фокусница!

Савва (на пороге сталкивается с сестрой). Ты что это? Куда несешь?

С(аша) (немного смущенная). Так. Нужно.

П(елагея) (смеется). Потрудись, потрудись.

Савва (равнодушно пропуская сестру). Нужно, так неси.

Ходит по комнате, не обращая внимания на П(елагею).

П(елагея). Егор Иваныч обещал тебя выгнать. Слышишь, что ли?

Савва. А ты рада?

П(елагея). Рада.

Савва. Говорят, что ты пьешь. Я еще не видал тебя пьяной.

П(елагея). Мало ли что говорят. Говорят, что ты бумажки фальшивые делаешь.

Савва. Какая ты пьяная? Плачешь или дерешься?

П(елагея). А тебе что?

Савва. Вероятно, дерешься. Ты не видала, Кондратий не приходил?

П(елагея). Какой Кондратий?

Савва. Послушник. Рыжий.

П(елагея). Не видала.

Савва. Позови-ка сюда Тюху.

П(елагея). Сам позови.

Савва. Ну?

П(елагея) (в дверь зовет). Антон Егорыч. Вас зовут.

Почти одновременно с разных сторон входят Тюха и Саша с пустым ведром  
Проходя мимо Саввы, Саша старается скрыть ведро.

⟨л. 9⟩ П(елагея) (насмешливо). Потрудились?

Т(юха) (медленно и трудно). Ну, кто там зовет?

Савва. Я. Придет сюда послушник Кондратий – знаешь? – так пошли его сюда.

Тюха. Молод ты еще, чтобы командовать.

Савва. И водки пришли, полбутылки.

Т(юха). Кто ты такой? Откуда ты явился? Не было тебя – и вдруг пришел.

Савва. И вдруг уйду. Верно, брат.

Т(юха). Напрасно ты это, Савка.

Савва. Что напрасно?

Т(юха). И полбутылки напрасно, и пришел ты напрасно.  
Кто ты такой?

С а ш а. Тюха, а ты уже выпил сегодня?

П е л а г е я. У вас все пьяницы.

Т ю х а. Не было тебя – и вдруг пришел. Зачем это? Уходи-ка ты лучше, а? Папаша тебе денег на дорогу даст – уходи, а? И я дам.

П е л а г е я. Много, видно, у вас денег.

Т ю х а. Беспокоишь ты меня. Почему такое? Не было – и вдруг пришел.

П е л а г е я. Живот с голоду подвел, вот и пришел.

С а ш а. Пойдем отсюда, Савва, мне нужно с тобой поговорить.

С а в в а. Я тут человека одного жду. Потом.

Т ю х а. Мерцает.

С а в в а. Что?

Т ю х а. Мерцает. Савва, я приказываю тебе уходить. Я твой старший брат.

С а в в а *(молча берет его за плечи, доводит до двери)*. Так сюда его пошли, слышишь?

Т ю х а *(с порога)*. Хорошо. Беспокоишь ты меня очень. Ушел бы ты, а? *(л. 10)* *(Уходит.)*

П е л а г е я домывает комнату, прислушивается к разговору.

С а ш а. Что у тебя за страсть играть с ребятами. Смешно смотреть со стороны. Такой ты огромный, как медведь...

С а в в а *(весело)*. Нет, они хорошо играют. Мишка очень хорошо, и мне с ним трудно справиться. Вчера три пары ему проиграл.

С а ш а. Да ведь ему 10 лет!

С а в в а. Да и народу тут нет хорошего, кроме них. Самый умный народ.

С а ш а *(с улыбкой)*. А я?

С а в в а. А ты? *(Смотрит на нее.)* Что же – и ты как другие.

П е л а г е я громко фыркает. Саша хмурится.

С а ш а *(холодно)*. Может быть, ты занят сейчас?

С а в в а. Нет. Посиди.

П е л а г е я *(убирая тряпки)*. Сюда, господа, пожалуйста. А то там для вас грязно, как бы ножки не запачкали.

Уходит.

С а ш а. Савва! Скажи мне – зачем ты сюда пришел.<sup>27</sup> Кто ты? *(Смеется.)* Я, как пьяный Тюха, спрашиваю. Нет, правда. Две недели ты живешь тут, а я до сих пор не пойму.

---

<sup>27</sup> *Напротив текста: С а ш а. Савва! ~ сюда пришел. – на л. 10 об. помета (со знаком вставки): О красивой старой башне.*

Савва (*хмуро*). Любопытство? Не люблю я этого.

Саша (*горячо*). Нет, Савва. Разве я такая? Две недели ты видишь меня, и разве ты не понимаешь, что у меня делается на душе. Ты не думай, я гордая, и только тебе говорю это. Ведь это – сумасшедший дом.

Савва. А в других местах, ты думаешь, лучше?

Саша. Не знаю. Вот я и хочу узнать от тебя. Ты много видел...

Савва. Да, много.

⟨л. 11⟩ Саша. Ты был даже за границей?

Савва. Недолго.

Саша. Все равно. Ты видел много людей, образованных, умных, и даже, быть может, жил с ними – ну, как они живут, ну, какие они?

Савва. Дрянной народ. А живут они как и вы здесь живете, только слова у них другие. И жилье у них другое – да и то немногим лучше. Я был в одном городе, где живет 100 т(ысяч) человек: и во всех домах окна маленькие. Все любят свет, а никто не догадается, что нужно сделать большие окна. Так и живут.<sup>28</sup>

Саша. Но ведь видел же ты хороших людей, таких, которые умеют жить?

Савва. Как тебе сказать? Вот те, с которыми я последнее время жил – ничего народ.

Саша. Ну?

Савва. А ты – не из болтливых?

Саша. Как тебе не стыдно, Савва. Я так...

Савва. Так вот: ты слыхала про людей, которые бомбочки<sup>29</sup> делают<sup>30</sup>, ну, и<sup>31</sup> если<sup>32</sup> кто-нибудь, этакий негодяй, знаешь,<sup>33</sup> мешает жить многим, так они его убирают? Называются они анархистами, и это не совсем верно. Какие они анархисты!<sup>34</sup>

Саша (*прижимая руки к груди*). И неужели – и неужели ты жил с ними, Савва? Что ты говоришь?

Савва. Чего же ты испугалась? То ты хотела слышать про людей, которые делают свою жизнь, а не берут ее готовую, а теперь испугалась.

---

<sup>28</sup> *Напротив текста:* Савва. Дрянной ~ Так и живут. – на л. 10 об. помета (со знаком вставки): Они [ро(ждаются?)] в молодости стареют. // А ты молодой. // Я молодой.

<sup>29</sup> *бомбочки вписано.*

<sup>30</sup> *Далее было:* бомбы

<sup>31</sup> *Вместо:* ну, и – *было:* и

<sup>32</sup> *Далее было:* какой-нибудь человек

<sup>33</sup> *кто-нибудь, этакий негодяй, знаешь, вписано.*

<sup>34</sup> *Какие они анархисты! вписано.*



С а ш а. Нет, говори.

С а в в а. Ну – мужественные они люди, сильные, но тоже и у них свой страх есть: как бы чего лишнего не сделать, как бы не повредить. И потом – можно ли вырубить лес, рубя по одному дереву? А *(л. 12)* они так и делают: с одного конца рубят, а на другом подрастает. Пустое получается дело. Предложил я им как-то одно дельце... да что,<sup>35</sup> слабоваты. Испугались. Я и ушел от них.

С а ш а. А ты ничего не боишься?

С а в в а. Я? Пока ничего – да и впереди не ожидаю.

С а ш а. Так вот ты какой...

С а в в а. Одному я у них научился. Уважению к динамиту. Сильная вещь.

С а ш а. Тебе 21 только год.

С а в в а. Ну так что же?

С а ш а. Страх еще придет.

С а в в а *(раскрываясь, широко)*. Смерть может прийти, но страх – нет! Я могу бояться? Вот я<sup>36</sup> обнимаю ее всю, вот я охватываю взглядом ее всю – и нет ничего, чего можно было бояться.

С а ш а. Про кого ты говоришь?

С а в в а. Про землю. Я могу бояться! *(Успокаивается.)* Смешное ты говоришь.

С а ш а *(восторженно)*. Я тоже не боюсь страданий тела! Савва, милый! Я знаю – начни жечь меня на медленном огне, резать на части – я не вскрикну – я смеяться буду! Но я другого боюсь: страдания людей,<sup>37</sup> неизбывного горя земли<sup>38</sup>. Когда я подумаю ночью, в тишине, сколько вокруг нас страданий, бесцельных, никому не нужных, даже никому неизвестных – я холодею от ужаса! Здесь<sup>39</sup> в монастыре скоро будет праздник...<sup>40</sup>

С а в в а. Знаю.

С а ш а. Тут есть икона Спасителя, которая считается чудотворною, с надписью: приидите ко мне все труждающиеся и обремененнии.

С а в в а. И Аз успокою вы. Знаю.

*(л. 13)* С а ш а. Вот ты тогда пойд и посмотри. Точно река приливает к монастырю, точно море подходит к его стенам – и

<sup>35</sup> Далее было: Саша

<sup>36</sup> Далее было: всю

<sup>37</sup> Далее было: их

<sup>38</sup> В рукописи описка: земля

<sup>39</sup> Было начато: С(коро?)

<sup>40</sup> Напротив данного абзаца на л. 11 об. вписано позднее: С(аша). Ты был в монастыре, какой он красивая *(так!)*. Это старая башня, знаешь, на углу. // С а в в а *(равнодушно)*. Я не люблю ничего старого.

все это море из одних слез, болезней, горя. Какие уроды, какие калеки! Есть такие лица, с такою глубиной страдания, что их никогда не забудешь, всю жизнь не забудешь. Здесь каждый год бывает один, по прозвищу Железник.

С а в в а. Он уже здесь. Я видел его.

С а ш а. Да, видел?

С а в в а. Да. Лицо – трагическое.

С а ш а. Он не как другие, которые ходят по всем праздникам – он признает только Спасителя... Он давно еще, в молодости, как-то нечаянно убил своего ребенка, единственного, и с тех пор бросил все... Мне он снится. Мне многие из них снятся.

С а в в а. Есть кое-что похуже человеческих страданий.

С а ш а. Что?

С а в в а. Неизбывная человеческая глупость. Но и то – не страшно.

С а ш а. Не знаю.

С а в в а. А я знаю. И с тех пор как люди живут, накопилась ее гора целая. Теперешние умные хотят на этой горе строить – ан ничего, конечно, кроме продолжения горы, не выходит. Нужно ее скрыть и уничтожить.

С а ш а. Что скрыть?

С а в в а. Уничтожить все старое. Старые дома, старые города, старую литературу, старое искусство... Ты знаешь, что такое искусство?

С а ш а. Картины.

С а в в а. Ну да, картины. Они говорят: там есть хорошие. Но будут еще лучше, когда старое не будет мешать. (л. 14) Старое платье – ну да, все. Нужно, чтобы теперешний<sup>41</sup> человек голый остался на голой земле, тогда он устроит новую жизнь. А то поселились люди на собственном навозе и жалуются, что плохо пахнет. Нужно оголить землю, Саша. Достояна она царской мантии, а одета в рубище, в арестантский халат<sup>42</sup>.

С а ш а. Кто же это сделает – уничтожит?

С а в в а. Я попробую, а там, может, и другие найдутся. Важно начать<sup>43</sup>.

Пауза.

С а в в а. Только науку уничтожать не надо, бесплодно: она неизменна и<sup>44</sup> все равно явится такой же.

Пауза.

<sup>41</sup> теперешний *вписано*.

<sup>42</sup> Текст: Достойна она ~ арестантский халат. – *вписан, частично между строк*.

<sup>43</sup> Важно начать *вписано*.

<sup>44</sup> неизменна и *вписано*.

С а ш а. Я тебя боюсь, Савва.

С а в в а. Да. Меня многие боятся.

С а ш а. Ты хоть бы улыбнулся.

С а в в а (*смотрит на нее и смеется широко и открыто, с неожиданной ясностью*). Ах ты, чудачка, да зачем же я буду улыбаться? Я лучше посмеюсь с тобою. (*Оба смеются.*) Ты щекотки боишься? (*Щекочет ее.*)

С а ш а. Оставь, ну что ты! Какой ты еще мальчик!

С а в в а. Ну ладно. А Кондратия-то нет как нет.

С а ш а. Какие у тебя мечты!

С а в в а (*немного удивленно*). Это не мечты.

С а ш а (*не слушая*). А у меня другие мечты. Только не сумею я их рассказать так ясно, как ты. По-моему ничего не надо уничтожать, а нужно только... Нет, я не могу сейчас, я потом.

С а в в а. Ну, потом. Как хочешь.

С а ш а. Савва, а скажи, если только это можно, ты любишь какую-нибудь женщину?

С а в в а. Право не знаю. Любил я одну, да она не выдержала.

⟨л. 15⟩ С а ш а. Чего не выдержала?

С а в в а. Да моей любви. Меня что ли, я уж не знаю. Только взяла и ушла от меня.

С а ш а (*смеется*). А ты что же?

С а в в а. Да ничего. Так и остался.

С а ш а. А друзья у тебя есть?

С а в в а. Нет.

С а ш а. Ну а враги?

С а в в а (*утомленно*). Да я же тебе говорил: все старое. Что же это Кондратий не идет. Время.

С а ш а. Нет, я говорю про личного врага, про такого, которого ты особенно не любишь. Есть такой?

С а в в а. Да, есть и такой. Бог.

С а ш а (*вскакивая*). Что? Что ты говоришь?

С а в в а. Бог.

Саша с ужасом смотрит на него.

С а в в а. Ну, Спаситель, если хочешь. Ваш Спаситель.

С а ш а (*с внезапным гневом*). Не смей так говорить. Не смей!

С а в в а (*также встает, выпрямляется, сперва немного исподлобья, потом закидывает голову назад*). Так вот – твои мечты.

С а ш а (*гордо*). Да. Это – мои мечты.

С а в в а (*спокойно, со скукою*). Ну и мечтай себе. Пока.

Из двери трактира показывается о. Кондратий. Оглядывается и тихонько входит.

О. Кондратий. Во имя Отца, Сына и Св(ятаго) Духа.

Савва. Аминь. Только очень вы запоздали, почтенный.

Кондратий. Творил волю пославшего.<sup>45</sup> Молоденькие (л. 16)<sup>46</sup> огурчики на огороде собирал – для о(тец) игумена. Их<sup>47</sup> преподабие эту закуску для выпивки предпочитают всякой другой.

Савва (Саше). Вот монах – посмотри. Любит выпить, не дурак насчет бабья.

Кондратий. Что вы, Савва Егорыч. При девице-то!

Савва. И не верит в Бога.

Кондратий (презрительно отвернувшейся Саше). Они шутят. Как можно не верить.

Саша. Вы зачем пришли.

Кондр(атий). По зову-с.

Савва. Он мне нужен.

Саша. Зачем?

Савва. Это тебя не касается. Ты вот лучше с ним поговори, правда, очень интересный человек, неглупый и умеет смотреть. Ну те-ка, отец К(ондратий), расскажите ей про вашу тихую обитель. Как у вас там мощи изготавливаются и всякие чудеса производятся.

Саша (сурово). Мне это не интересно. Я не понимаю глумления над верой.

Кондратий. Да они шутят все. Конечно, и у нас греха много, да без этого нельзя, сами посудите: где живой человек, там и грех. И если уже говорить правду, так нет для дьявола лучшего места, как монастырь: народ в нравах своих ограниченный, сытый...

Саша. Это правда. Только Бог не ответчик за то, что люди делают.

Кондр(атий). Кто говорит. Да у нас в Бога-то почитай что никто и не верит. У нас в дьявола больше верят.

Саша. В дьявола?

---

<sup>45</sup> Далее было: На

<sup>46</sup> На л. 15 об. вписано позднее: Савва. Что человек выдумал Бога, существо, у которого и неизмеримая сила, и мудрость, и красота, – это хорошо. Это показывает, что человеку давно уже всего этого хочется – и мудрости и силы. Но что он упорствует в выдумке – это плохо. Ему пора самому стать мудрым и самому управлять жизнью, а не поручать это все тому же Богу. С этим надо покончить. (Далее оставлен пробел в несколько строк.) Должна начаться новая история, и должна она начаться с уничтожения всей старой. Пусть в будущих учебниках будет коротко сказано: а все, что было от начала до 1900, то разрушено и сметено. Остался только тот тип человека, который выработался.

<sup>47</sup> Было начато: За(куску?)

Кондр(а т и й). Ну да, в нечистого. Бог-то ни в чем не чувствуется, а дьявол не только чувствуется, но даже осязаем, можно сказать. Бога-то (л. 17) никто же виде нигде же, а дьявола я сам видел, личное, можно сказать, знакомство.

С а в в а. Белая горячка была?

Кондр а т и й. Доктора так это называют, только от названия дело не меняется. Дьявол нас и соблазняет, дьявол нас и научает, дьявол всей нашей жизни наставник. Дьяволу и молимся: отыди, сатана! В большом у нас почете дьявол, сам о(тец) игумен его почитает.

Входит Т ю х а, останавливается у двери и слушает.

С а в в а. Ну-ну!

Кондр а т и й. Вот на меня поглядите, какой я есть. А все от дьявола. Бога я в себе никогда не ощущал, а дьявола ощущал с измалолетства<sup>48</sup>. Только и слышишь: “Кондрат Петрович, пойдём-ка, брат, выпьем! К(ондрат) П(етрович), а то бы это деньги хапнул” (это когда я волост(ным) писарем был). Да и теперь. “О(тец) Кондратий, а не дернуть нам с тобой на сено, к бабам, хорошие бабы!” И верно: бабы хорошие. Дьявол-то, он вот где. *(Тычет себя в живот.)* Верно, Антон Егорыч?

Т ю х а. Верно.

К(ондр а т и й). Нет, А(нтон) Е(горыч), с дьяволом вы не шутите, дьявола и я боюсь. Вчера ночью иду по коридору, слышу, в келье своей о(тец) Серафим стонет, хрипит – ой, батюшки, не убивают ли? А это его дьявол душил.

С а в в а. Пьян был?

К(ондр а т и й). Зачем пьян? Трезвый. У нас ночью дьявол всему монастырю хозяин. Похаживает да пошаливает.

Т ю х а. Это ты хорошо говоришь, монах. Дьявол – он везде. Почему так? Вот ты пришел – а потом уйдешь. Вот он – пришел и уйдет. Приходят и уходят. Почему такое? Какой конец, какое начало. Сажу я в трактире, а они все приходят и уходят.

(л. 18) К(ондр а т и й). Выпил, свое дело сделал, и ушел. Чего ж сидеть.

Т(ю х а). Я и говорю: ушел. А кто такой – неизвестно. Идут, идут, а по какой причине, неизвестно.

К(ондр а т и й). Вот я то же скажу...

Т(ю х а). Нет, погоди. Вот меня зовут Тюха, а разве я Тюха?

С а в в а. А кто же ты?

<sup>48</sup> Так в рукописи: с измалолетства

Т <ю х а > (смотрит на него недоуменно). Не знаю. Может, Тюха, а может, и не Тюха. Может, я ... Иван.

Саша и Савва смеются.

С а в в а. Ты, брат, от пьянства скоро в желтый дом угодишь.

Т ю х а. А почему он желтый? А может, он красный?

К о н д р а т и й. Черти, которые видятся во хмелю, зелененькие. Вроде как ящерицы.<sup>49</sup>

Т ю х а. Ты зачем пришел, а? Кто ты такой?

С а в в а. Вот что, Тюха, довольно. Поговорил сколько надо и ступай. Да водки пришли, в сад. Мы с вами, о <тец > Кондратий, в сад пойдем, хорошо?

К <ондр а т и й >. Очень даже приятно. Только вы мною не стесняетесь, С <авва > Е <горыч >.

С а в в а. Ну?

Т ю х а. И водки я тебе не пришлю. ,

Уходит.

С а в в а. Какой ты, брат, глупый (Идет вслед за ним; в открытую дверь доносится пение.) Я сейчас.

Пауза.

К о н д р < а т и й >. Хорошо поют наши<sup>50</sup> мужички.

С а ш а. Да.

К о н д р < а т и й >. Это они в предвкушении. Вот через недельку богомолец попрет, они им и поживятся. Здорово тут богомольца обдирают прямо, до голого тела.

С а ш а. А Железняк уже тут?

К о н д р < а т и й >. Как же! Он первый. Ходит, верижками позванивает, да<sup>51</sup> монахов поругивает<sup>52</sup>. Оригинальный человек!

<л. 19 > С а ш а. Вот что, о <тец > Кондратий: не слушайте, что вам<sup>53</sup> Савва будет говорить. Пожалуйста, я прошу вас.

К о н д р а т и й. Да они ничего такого и не говорят.

С а ш а. Нет, я знаю. И если вам нужны будут деньги, немного денег...

К о н д р а т и й. Что вы!

С а ш а (оглядываясь). Вот вы говорите: дьявол, дьявол. А он — страшнее дьявола.

<sup>49</sup> Вроде как ящерицы. *вписано.*

<sup>50</sup> наши *вписано.*

<sup>51</sup> *Далее было: всех*

<sup>52</sup> да [всех] монахов поругивает *вписано.*

<sup>53</sup> *Было: Вам*

К о н д р а т и й.<sup>54</sup> Что вы говорите!<sup>55</sup>

С а ш а. Да, да, поверьте мне. Я<sup>56</sup>...

Входит Савва с полуб(утылкой) водки и связкой баранок.

С а в в а. Ну, идем. Закуска вот только плохая. Да там яблоки есть, яблочком закусите.

К (о н д р а т и й). Ах, пожалуйста. Яблочко – на что лучше. Сами о(тец) игумен, и то не брезгают. До приятного свидания, А(лександра) Е(горовна).

Идут.

С а ш а. Савва, на одну минутку.

С а в в а. Что там такое?

С а ш а. Нужно.

С а в в а. Возьмите-ка, отец. (Отдает водку.) Я сейчас за вами<sup>57</sup>. Ну, что тебе. Поскорее!

С а ш а (близко подходит к нему, смотрит прямо в глаза). Что ты задумал, Савва?

С а в в а. Ничего.

С а ш а.<sup>58</sup> Ты лжешь. Ты ничего не делаешь так. Зачем ты пришел сюда – в монастырь?

С а в в а. Мне некогда болтать. А если что будет, сама увидишь. Дела не мысли, их не спрячешь. Пусти!

С а ш а (хватая его за руку). Не делай этого, Савва.

(л. 20) С а в в а. Чего?

С а ш а. Я не знаю, я не знаю. Но я чувствую, что ты задумал что-то страшное. Не надо, не делай этого, не делай!

С а в в а. Пусти.

С а ш а. Нет. погоди, одну минутку, одну минутку. Когда ты сидел сегодня и слушал – этого... я взглянула на тебя, и ты был весь черный.

С а в в а. Как дьявол?

С а ш а. Не шути! Ты был черный, большой и страшный, и как будто тень от тебя шла. И мне стало так страшно. Точно это не ты, не брат мой, которого я качала в люльке, а кто-то другой, неведомый, ужасный. Холодно!

С а в в а. Я и говорю: дьявол.

---

<sup>54</sup> Далее было: Какие слова!

<sup>55</sup> Что вы говорите! вписано.

<sup>56</sup> Я вписано.

<sup>57</sup> Было: Вами

<sup>58</sup> Далее было: Зачем

С а ш а. Мне вдруг представилось... Я не знаю. Точно закачалось все и что(-то) огромное, дымное, черное... И огонь! Савва, пожалей себя, не надо, не делай.

С а в в а. Вы все здесь слегка помешанные.

С а ш а. На тебе печать, печать чего-то ужасного. Я только теперь поняла. Давеча, когда ты пришел с улицы и смеялся,<sup>59</sup> мне вдруг стеснило сердце, и я не знала, отчего это. Ты погубишь других и сам погибнешь.

С а в в а (*раскрываясь*). Что мне за дело, погибну я или нет. Я так хочу! Пусть погибнут многие, пусть погибнут все – но я так хочу, и этого довольно. Я!

С а ш а (*гневно*). Ты не смеешь!

С а в в а. Я смею все!<sup>60</sup> А! Ты позвала меня, жизнь – и теперь я покажу тебе мою волю, мою власть. Я!

*(л. 21)* С а ш а. Я не позволю!

Савва смеется весело и просто.

С а ш а. Я не позволю!

С а в в а. Вот что, сестрица: я не люблю много разговаривать, а таким тоном – особенно. И у тебя, вероятно, начало истерии, как у многих девушек, которые не идут замуж. Ты подумай об этом.

С а ш а. Савва!

С а в в а. Верно. Ты женщина неглупая, и жаль будет, если ты так глупо пропадешь.

Идет.

С а ш а. Я донесу на тебя!

С а в в а (*останавливается*). Да? Ну так поторопись, а то поздно будет.

Уходит.

С а ш а (*быстро идет за ним, останавливается, протягивает руки*). Ради Христа, Савва, ради Христа!

Т ю х а (*просовывается в дверь, оглядывается*). Ушел, а? Куда!

С а ш а. Не знаю! Не знаю!

Занавес.

---

<sup>59</sup> Далее было начато: в(друг?)

<sup>60</sup> Далее было: Т(ы)



Внутри монастырской ограды. За железной решеткой<sup>61</sup> небольшое кладбище. Налево длинное здание, где помещаются кельи монахов. Мостки, пересекающие площадь в разных направлениях. Сцена замыкается церковью, идущей в два крыла от колокольни; под колокольной проходные ворота. В глубине сцены время от времени проходят монахи, послушники, богомольцы<sup>62</sup>. Время после вечерни. На лавочке у кладбища сидят Савва и Сперанский.

Савва. Чем же вы занимаетесь тут?

Сперанский. Да ничем, С(авва) Е(горыч)<sup>63</sup>. Разве в таком положении заниматься чем-нибудь можно? Раз человек сомневается в собственном существовании, так для него никакие занятия необязательны. Но дьяконица (-) женщина очень глупая, необразованная и этого не понимает: заставляет меня работать. А какая же тут работа? Или вот: аппетит у меня большой, еще в семинарии развился, а она меня за каждый кусок хлеба попрекает. И как женщина необразованная, не понимает того, что в действительности и куска этого, весьма возможно, не существует. Или вот грустен я – я постоянно грустен – а она меня посылает: пошел бы, говорит, да лучше с барышнями позанялся, все дело. А какие же тут барышни? Дядя тот ничего, тот жалеет меня. Меня весьма многие жалеют.

Савва (рассеянно). И давно у вас это началось?

Сперанский. Еще в семинарии, когда философию мы изучали. Тяжелое это состояние, С(авва) Е(горыч). Теперь я несколько привык, а в начале было прямо-таки несносно. Вешался я раз – сняли; вешался и другой раз – опять-таки сняли. И с семинарии выгнали: ступай, говорят, вешаться ⟨л. 23⟩ в другое место. Как будто есть другое место, а не все – одно место.

С(авва). Как же вы теперь?

Сперанский. Дядя мой, о(тец) диакон, когда к себе брал, условием поставил, чтобы больше на жизнь не покушаться. Я, конечно, согласился: если, говорю, мы действительно существуем, больше я вешаться не буду.

Савва. А зачем вам знать, существуете вы или нет? Вон небо, посмотрите, какое красивое. Вон ласточки, травую пахнет. Хорошо!

Сперанский. А вы жизнь любите?

Савва. Люблю.

<sup>61</sup> *Вместо: железной решеткой – было: оградой*

<sup>62</sup> *богомольцы вписано.*

<sup>63</sup> *С(авва) Е(горыч) вписано.*

Сперанский. А я нет, С(авва) Е(горыч)<sup>64</sup>. Ласточки! Ну и летают они: что же мне от этого. А может быть и ласточек этих нет, и все это – только сонная греза.

Савва. Что ж: и сны бывают хорошие.

С(перанский). А мне вот все проснуться хочется – и не могу. Хожу, хожу, до усталости, до изнеможения,<sup>65</sup> до беспамятства – очнусь, и опять я здесь. Монастырь, колокольня, часы бьют. И все – как сонная греза. Закроешь глаза – и нет его. Откроешь – опять он появится. Иногда выйду я в поле, закрою глаза, и кажется мне, что ничего уже нету. Только вдруг коростель закричит или на телеге кто проедет – и опять, значит, греза. Потому что если уши заткнуть, тогда и этого не услышишь. А умру я, и все замолчит, и тогда будет правда. Одни мертвые, С(авва) Е(горыч), знают правду.

Савва. У меня ум, извините, мужицкий, простой, и я этих штук философских не понимаю<sup>66</sup>. Мертвые? Какие мертвые?

С(перанский). Да. Всякие<sup>67</sup>. Оттого-то у мертвых лицо спокойное. Вы посмотрите: как бы человек перед смертью ни мучился, а умрет – и лицо у него сейчас же становится спокойное. Оттого, что правду узнал. Я сюда постоянно хожу на все похороны – и всегда так. Одна тут женщина умерла с горя, прямо с горя: мужа у нее поездом раздавило. Что у ней в голове должно было перед смертью свершаться, подумать страшно<sup>68</sup> – а лежит такая спокойная. (л. 24) Потому что узнала она, что горе ее – одна греза, видение сонное.<sup>69</sup> Я мертвых люблю, С(авва) Е(горыч). Мне кажется, в виде как бы исключения, что мертвые действительно существуют.<sup>70</sup>

Савва (задумчиво). Мертвые... Я не люблю мертвых. Слушайте, вы, однако, пренеприятный господин. Вам это говорили?

С(перанский) (грустно).<sup>71</sup> Да.<sup>72</sup> Высказывали.

Савва. И я не стал бы вас из петли вынимать. Какой дурак вас вынул?

С(перанский). Первый раз о(тец) эконом, а второй раз товарищи.

---

<sup>64</sup> С(авва) Е(горыч) вписано.

<sup>65</sup> Далее было: засну и (?)

<sup>66</sup> Текст: У меня ум ~ не понимаю. – вписан.

<sup>67</sup> Всякие вписано.

<sup>68</sup> подумать страшно вписано.

<sup>69</sup> Далее вписан знак вставки.

<sup>70</sup> Текст: Я мертвых люблю ~ действительно существуют. – вписан на л. 23 об.

<sup>71</sup> Далее было: Весьма многие

<sup>72</sup> Далее было: Говорили.

Толстый монах (*подходит*). О чем беседуете, молодые люди? Вы никак будете<sup>73</sup> сынок Егора Ивановича?

Савва. Да. Он самый.

Т〈олстый〉 м〈онах〉. Слыхал, слышал. Присесть позволите? (*Садится*.) Ну, как вам у нас нравится? Благолепие? Как против столиц?

Савва. Монастырь богатый.

Т〈олстый〉 м〈онах〉. Да, благодарение господу. В большом почете во всей, можно сказать, России. Есть многие, что даже из Сибири приходят. Далеко слава идет.

С〈перанский〉. Трудно вам скоро будет, о〈тец〉 Кирилл. День и ночь служение.

Т〈олстый〉 м〈онах〉. Нужно<sup>74</sup> потрудиться для монастыря.

Савва. А не для людей?

Т〈олстый〉 м〈онах〉. Да и для людей, а то для кого же? У нас прошлый год сколько одних кликуш исцелилось – счету нет. Слепой прозрел, двое хромых двигаться стали. Вот сами<sup>75</sup> поглядите, молодой человек, тогда не будете улыбаться. Вы неверующий?

Савва. Да, неверующий.

Т〈олстый〉 м〈онах〉. Ай, ай, стыдно, стыдно, из такой вы семьи хорошей<sup>76</sup>. Много теперь неверующих, надо сказать, среди образованных. Только лучше ли от этого?

Савва. Как кому.

Т〈олстый〉 м〈онах〉. Конечно, конечно. Только с верою спокойнее. Я сам 〈л. 25〉 хоть и не особенного образования, а тоже был неверующий – гордость имел. Да чуть в Сибирь и не угодил. А теперь – сыт, обут, душа спокойна. Согрешишь – тут же и покаешься и опять чист.

Савва. Слыхал я, что дьявол тут по ночам монахов душит.

Т〈олстый〉 м〈онах〉. Пустяки. Это которые от сытости, плохо спят, вот им и кажется. Дьяволу, м〈олодой〉 ч〈еловек〉, в нашу святую обитель не войти.

Савва. А вдруг да придет?

Т〈олстый〉 м〈онах〉 (*смеется*). А мы его кропилом! Нет, вы говорите вера, а позвольте, я вам одного человека представлю, вон он идет.

---

<sup>73</sup> будете *вписано*.

<sup>74</sup> Далее было начато: порабо〈тать〉

<sup>75</sup> сами *вписано*.

<sup>76</sup> из такой вы семьи хорошей *вписано*.

Савва. Железняк?

Т<олстый> м<онах>. А вы знаете? Ну да, его. Вы посмотрите, как идет, а на нем вериг на двенадцать пуд. Танцует, а не идет. Каждое лето у нас гостует, да и вправду сказать – гость дорогой. Глядя на него, и другие в вере укрепляются. Ребенка своего он как-то убил<sup>77</sup> по случайности<sup>78</sup>...

Савва. Знаю. Правда, сильный, должно быть.

Т<олстый> м<онах>. Железняк, а Железняк!

Ж<елезняк>. Что?

Т<олстый> м<онах>. Пойди-ка сюда. Вот господин в божестве сомневается; поговори-ка с ним.

Ж<елезняк> (*подходит*). Который господин?

Т<олстый> м<онах>. Вот этот.

Ж<елезняк> (*смотрит внимательно*). Сомневается, так и пусть сомневается.

Савва. Вот как?

Ж<елезняк>. А ты думал как?

Т<олстый> м<онах>. Ты бы сел.

Ж<елезняк>. И так постою.

Т<олстый> м<онах>. Это он сидеть не может, все ходит, и железо на нем для усталости.<sup>79</sup> Вот господин удивляется, какие на тебе вериги.

*(л. 2б)* Ж<елезняк>. Вериги что, побрякушки. Их на лошадь надень, и лошадь понесет, сила была бы. Душа у меня мрачна.

Савва. Что так?

Ж<елезняк> (*смотрит на него*). Ты знаешь, сына<sup>80</sup> я своего убил. Сам. Говорили небось?

Савва. Говорили.

Ж<елезняк>. Ты можешь это понять?

Савва. Могу.

Ж<елезняк>. Врешь, не можешь. И никто не может понять. Обойди ты весь свет, всех людей опроси, и никто не может понять. А если кто и говорит, что понимает, так врет, как ты. Ты и себя-то понимать не можешь, а говоришь. Глуп ты еще.

Савва. А ты умен?

Ж<елезняк>. А я умен. Меня Бог просветил. Больше моего горя нет на земле. Собери ты все слезы, какие льются, и тех не хватит, чтобы омыть мое великое горе. Сам убил, сам своими

<sup>77</sup> убил *вписано*.

<sup>78</sup> *Далее было: убил.*

<sup>79</sup> *Текст: Это он сидеть ~ для усталости. вписан.*

<sup>80</sup> *Было: ребенка*

руками головку ему разможил. Возьми ты человеческую душу, развори ты ее всю, огнем ее выжги<sup>81</sup> – и такого горя не будет. Господи, Господи! Ты вот говоришь, земля велика, а я всю еще помещу тут вот (*бьет себя по груди*), в груди моей. Тоска моя, тоска моя великая!

Т<олстый> м<онах>. Ну-ну, Железняк. Вот слышите.

Ж<елезняк>. Ни исплакать ее, ни искричать, ни изжаловать. Хожу я по земле<sup>82</sup> как пузырь, а в середине у меня – темная ночь. Закрою я глаза – так! (*закрывает глаза*) и будто свод каменный надо мною замыкается: ай, задыхаюсь. Кричать стану – кто услышит? Выть начну – кто отзовется? Эх, вы! Вот смотрите на меня как на пугало: волосы, да вериги, да сына убил – а души моей вы не видите и тоски моей не знаете. Слепые вы, как черви земляные. Вас палкой по голове бить, так и то (<л. 27>) не поймете. Люди! Ты вот сидишь, толстопузый...

Савва. Однако, как он вас!

Т<олстый> м<онах>. Это ничего. Не в этом суть дела. Он всех нас поносит.

Ж<елезняк>. И буду поносить. Тебе такому разве Богу надо служить? В кабаке бы тебе за стойкою сидеть.

Т<олстый> м<онах> (*благодарушно*)<sup>83</sup>. Ну-ну. Господь с тобой. Ты о деле лучше говори.

Ж<елезняк> (*Савве*). Видишь? Это он на моем горе нажить хочет. Наживайся!<sup>84</sup>

Т<олстый> м<онах>. Он раз при о(тце) игум(е)не ляпнул: “кабы бог не бессмертен был, так они бы его давно по кусочкам всего распродали”. Он скажет! Но терпим, т(ак) к(ак) для обители он человек полезный, народ собирает.

Ж<елезняк>. Видишь? Видишь?

Савва. Зачем же сюда ходишь?

Ж<елезняк>. Не для него хожу. Слушай, молодец, горе у тебя есть?

Савва. Нет.

Ж<елезняк>. Ну так послушай: будет горе – не ходи ты к людям. Будь друг, не ходи. Невмоготу станет – лучше к волкам в лес пойди. Сожрут сразу и баста – а эти,<sup>85</sup> люди, они твоим горем

<sup>81</sup> Было: жги

<sup>82</sup> по земле вписано.

<sup>83</sup> (*благодарушно*) вписано.

<sup>84</sup> *Напротив текста*: Ж<елезняк> (*Савве*). Видишь? ~ Наживайся! – на л. 26 об. помета (со знаком вставки): Приходит сухой монах. Трех жен имеет, (ср.: *ОТ. Д. 2, стк. 251–253*)

<sup>85</sup> *Далее было*: толстопузые, они

как грязной тряпкою полы подтирать будут, чтобы блестело! чтобы глаз ихний радовался: вот как чисто да пригоже я живу. А то торговать твоим горем начнут, как вот этот – чан пивной!

Т < олст ы й > м < она х > (*поднимаясь*). Ну, однако, я пойду, Время скоро и трапезовать. Он вам доскажет.

Ж < е л е з н я к >. Не выдержал? Они все меня не выдерживают.

Т < олст ы й > м < она х > (*благодарушно*). И, голубчик, брань на вороту не виснет. Господь видит нашу чистоту: за доброту и живота прибавляет. Злые-то < л. 28 > они все поджарые, сам знаешь.

Уходит.

Ж < е л е з н я к > (*Савве*). Хорош? Будь бы я не тем занят, в ступе, кажется, столоч бы их!

С а в в а. Ты мне нравишься.

Ж < е л е з н я к >. Ой ли? Тоже не любишь ихнего брата?

С а в в а. Не люблю.

Ж < е л е з н я к >. Ну, дай-кося я присяду, устал. Папироски у тебя нет?

С а в в а (*даёт*). Куришь?

Ж < е л е з н я к >. Так, когда случится. Ты мне прости, что я тебя обругал давеча. Ты паренек ничего. Только зачем врешь, что понял. Никто понять не может. Верно. А это кто? Не сладко на душе, а?

С а в в а. Так. Пристал.<sup>86</sup>

С < п е р а н с к и й >. Да, грустно.

Ж < е л е з н я к >. Ну, молчи, молчи, слушать не хочу. Есть горе, и молчи. Я тоже, брат, человек, как все: не пойму да еще обижу. Молчи и слушай. А о моем горе, как < о > горах, сколько ни говори, меньше не станут. Такая, паренек, тоска, такая тоска! (*Бросает папиросу.*) Нет<sup>87</sup>. Не могу. За что ни возьмусь, не могу! Нет, дай-ка я лучше стану.

С а в в а. Горе, брат<sup>88</sup>, надо удушить. Сказать – я не хочу горя – и не будет горя. Человек ты, я вижу, сильный...

Ж < е л е з н я к >. Нет, брат, настоящее горе не задушишь. Понимаешь, такое, что смерти мало, чтобы его погасить. Знаешь, думал я тогда руки на себя наложить, да нет: смерть маленькая, а горе большое, не кончит она моего горя. Вон Каин давно помер, а горе его как было, так и осталось.

<sup>86</sup> С а в в а. Так. Пристал. *вписано*.

<sup>87</sup> Нет *вписано*.

<sup>88</sup> брат *вписано*.

С пер⟨анский⟩. У мертвых горя нет, мертвые спокойны. Они правду знают.

Ж⟨елезняк⟩. Да никому не скажут – что толку от этой правды. Я вот живой, я правду знаю. (Савве.) А<sup>89</sup> верно монах говорил, что ты в ⟨л. 29⟩ Боге сомневаешься?

Савва. Верно.

Ж⟨елезняк⟩. Ну погоди. Послушай. Вот горе мое – видишь какое, на земле такого не бывало. Да. А скажу я тебе – что слаще оно для меня меда липового: призови меня Бог и скажи: вот тебе все царства земные, возьми их, а горе твое отдай, – так и то не отдам. Его я узнал через горе мое, да.

Савва. Бога?

Ж⟨елезняк⟩ (строго). Христа. Он только один понять может, какое у меня горе. Смотрит и понимает: да, вижу я, Еремей, какое у тебя страдание. И больше ничего: вижу. А я Ему отвечаю: да, смотри, Господи, какая у меня тоска. Только и всего.

Савва. Маловато.

Ж⟨елезняк⟩. И ношу я перед собою лик его чистый, ночь ли, день ли, в поле ли, в лесу ли дремучем. И только спрашиваю: понимаешь, Господи? А он отвечает: понимаю, Еремей, понимаю, не бойся. – Ну, то-то<sup>90</sup>. И весь я перед лицом его как сосуд хрустальный со слезою: вот он, весь. А ты говоришь, царства земные! Только на свете нас и есть: Он да Я. – Понимаешь, Господи? Понимаю, Еремей, понимаю. (Смотрит вверх.) А сколько в ём горя сидит, в Христе, то подумать жутко. Мне, паренек, его тоже жалко.

Савва. А если его нет, Христа?

Ж⟨елезняк⟩ (с важной снисходительностью). Чудак, вижу же я. Не слепой. Ты скажешь еще, что и меня нету? И горя моего нет?

С пер⟨анский⟩. Неизвестно, существуем ли мы в действительности, или это только сонное мечтание. Неизвестно, к сожалению.

Ж⟨елезняк⟩. Скажешь! Слушай, паренек, ты говоришь “нету”: а образ ты видел?

Савва. Видел.

⟨л. 30⟩ Ж⟨елезняк⟩. И глаза у Его видел?

Сзади подходит Саша. Почти одновременно подходит с другой стороны К⟨ондратий⟩.

<sup>89</sup> Далее было начато: прав⟨ду⟩?

<sup>90</sup> Ну, то-то вписано.

С а ш а. Здравствуйте. Григорий Петрович, вас Тюха спрашивает: ушел, говорит, а неизвестно куда.

С п е р ( а н с к и й ). Вечером я у них буду.

С а в в а. Зачем ты сюда?

С а ш а. Сюда никому вход не заказан.

С а в в а. Что ты все ходишь за мною? Смотри, сестра.

С а ш а ( с у х о ). К тебе ребята приходили.

С а в в а ( о ж и в л е н н о ). Кто? Мишка?

С а ш а. Ты обещал с ними куда-то идти.

С а в в а. Да. Ну, хорошо. Ты что им сказала?

С а ш а. Чтобы попозже зашли.<sup>91</sup> Так до свидания. Приходите же Г(ригорий) П(етрович), он вас ждет. (Уходит, смотря на Ж(елезняк).)

К о н д р а т и й. Здравствуйте, А(лександра) Е(горовна).

Саша не отвечает, уходит.

Мир честной беседе. Ж(елезняком) любуетесь, С(авва) Е(горыч)?

Ж ( е л е з н я к ). А ты, тля, тоже тут? Смотри,<sup>92</sup> монах, из кармана чертов хвост торчит!

К ( о н д р а т и й ). Это не чертов хвост. Это редька.

Ж ( е л е з н я к ) ( п л ю е т ). Тьфу!

К ( о н д р а т и й ). Хороший вечерок для прогулки, С(авва) Е(горыч). Вы давно здесь?

С а в в а. Давно.

К ( о н д р а т и й ). Очень даже приятный.

Ж ( е л е з н я к )<sup>93</sup> ( с о т ч а я н и е м ). Не могу я их видеть – с души воротит. Так прощай, паренек. Попомни, что я говорил: будет горе, не ходи к людям.

С а в в а. Еще увидимся.

Ж ( е л е з н я к ). Прощай.

Уходит.

Пауза.

К ( о н д р а т и й ). А вы, г(осподин) Сперанский, тоже для прогулки?

С п е р ( а н с к и й ). Так, вообще. Вот с С(аввой) Е(горычем) интересную<sup>94</sup> имели беседу.

Пауза.

<sup>91</sup> Текст: С а ш а ( с у х о ). К тебе ребята ~ Чтобы попозже зашли. – вписан (со знаком вставки) на л. 29 об.

<sup>92</sup> Далее было: из

<sup>93</sup> Далее было: Не

<sup>94</sup> Далее было начато: бе(седу)



*(л. 31)* Сперанский. Станный субъект! *(Смеется.)*

Савва *(угрюмо)*. Кто?

Сперанский. Да вот, Железняк. Убил сына и рад. Ведь теперь по его настроению, воскресни его сын, он его опять убьет – сейчас же, пяти минут сроку не даст. Счастливый человек! Ну да умрет, узнает правду.

Кондратий<sup>95</sup>. Какую правду?

Сперанский. Этому я уже не знаю. Такую правду, какую все мертвые знают.

Пауза.

Савва. Вот что, господин, как вас там, вы сами уходите, или вас прогонять надо? Вы не стесняйтесь, скажите.

Сперанский. Я могу и сам уйти. *(Поднимается.)* А потом я могу с вами еще побеседовать?

Савва. Нет. Прощайте.

Сперанский. Все же не теряю надежды. До свидания.

Идет.

Савва. Вот пристал, черт его возьми!

Кондратий<sup>96</sup>. Действительно, неотвязный человек. Пристанет, и как тень ходит. У нас многие так и зовут его: Тень. Худой, длинный.<sup>97</sup> Вот подождите: вы ему понравились, он теперь вам проходу не даст.

Савва. Со мной разговоры короткие. Прогоню.

Кондратий. И бить его пробовали – не помогает. Он тут на 20 верст известен. Фигура!

Савва. Ты зачем, Кондрат, место мне здесь назначил? Проходной двор какой-то. Обсыпали меня, как блохи, монахи да юридические. Говорил, лучше в лесу.

Кондратий. Для избежания подозрений-с. Пойдем мы с вами в лес: зачем, скажут, благочестивый Кондратий с таким связался – извините – человеком, как вы? А тут всякому место. Я нарочно и *(л. 32)* замедлил(?): пусть вас с разными людьми поведдают.

Савва *(пристально смотрит)*. Ну?

Кондратий *(отводит глаза, пожимает плечами)*. Не могу.

Савва. Боишься?

Кондратий. Говоря по совести: боюсь.

<sup>95</sup> Было: Сперанский

<sup>96</sup> Было: Сперанский

<sup>97</sup> Худой, длинный. вписано (со знаком вставки) на л. 30 об.

Савва. Дрянь, брат, ты человек.

К<ондратий>. Это уж как хотите.

Пауза.

Савва. Да чего боишься-то? Машинка<sup>98</sup> безопасная, сам видел.

К<ондратий>. Да я не этого.

Са<вва>. Суда? Так ведь я сказал: в случае чего, на себя возьму. Не веришь?

К<ондратий>. Как не верить? Верю.

С<авва>. Неужели Бога?

К<ондратий>. Бога.

С<авва>. Да ведь ты же не веришь?

К<ондратий>. А кто знает: а вдруг Он да есть? Тогда тоже, благодарю покорно. Да и из-за чего? Живу я спокойно, хорошо; конечно, как вы говорите, обман – но и этого я не понимаю. Хотят люди верить, и пусть себе верят: я-то здесь при чем. Не я Бога выдумал.

С<авва>. Послушай: ты знаешь, что я сам бы мог это сделать. Взял бомбу, да во время крестного хода и бросил ее – вот и все. Но тогда погибнет много народу, и это лишнее. Поэтому я тебе и говорю. А если ты откажешься – так я и сделаю, и на твоей душе будут убитые.

К<ондратий>. Зачем же на моей. Не я буду бросать. Да и опять-таки: мне-то какое дело до них, до убитых? Народу на свете много, всех не перебьешь, сколько бомб ни бросай.

С<авва>. А тебе их не жалко?

К<ондратий>. Всех жалеть – самому не останется.

л. 33 С<авва>. Видишь, как ты хорошо рассуждаешь. Ты человек умный, я говорил тебе, и сам<sup>99</sup> не понимаешь этого. А испортить кусок дерева – боишься.

К<ондратий>. Если это кусок дерева, так из-за чего же и вам хлопотать. Дерево пусть деревом и останется. То-то, что не дерево, а образ.

С<авва>. Для меня – дерево. Для дураков – святыня, поэтому и хочу я ее уничтожить. Эх, Кондратий, не будь ты трус, сказал бы я тебе!..

К<ондратий>. Послушать я могу, от этого греха не будет. Да и не трус, а просто – осторожный человек.

С<авва>. Это только начало.

---

<sup>98</sup> Далее было: то

<sup>99</sup> Далее было: этого

К⟨ондратий⟩. Хорошее начало. А конец какой?

С⟨авва⟩. Голая земля – понимаешь? И на ней – голый человек! Лечили землю лекарством – не помогло! Лечили железом – не помогло. Нужно огнем ее, понимаешь?

К⟨ондратий⟩. Огнем?

С⟨авва⟩. Икона, что!

К⟨ондратий⟩. Я и говорил: другую сделают.

С⟨авва⟩. Не та уже<sup>100</sup> будет – не та. Да и не забудут они уже – что динамит сильнее ихнего Бога! А человек – сильнее динамита. Вот они кланяются, вот они молятся, вот они прямо взглянуть не смеют, рабы отцовской глупости – а пришел настоящий человек и разрушил.

К⟨ондратий⟩. Действительно.

С⟨авва⟩. И когда так будет разрушен десяток их святынь, они почувствуют, воюющие скоты – что кончилось царство Бога и наступило царство человека. И сколько их подохнет от ужаса одного, с ума будут сходить, Антихрист, скажут, пришел – подумай, Кондратий!

К⟨ондратий⟩. А вам и не жалко?

С⟨авва⟩. Их-то! Мне никого не жалко, кто умирает. Но это что! Мы ⟨л. 34⟩ сделаем лучше.

К⟨ондратий⟩. А кто вы?<sup>101</sup>

С⟨авва⟩. Я, ты, Кондратий, другие. Мы уничтожим все ихнее старье. Ты знаешь Рафаэля?

К⟨ондратий⟩. Это кто?

С⟨авва⟩. Это был средневековый человек, который с⟨редне⟩вековыми красками писал с⟨редне⟩вековые глупости. Все умные верят в него – и мы его уничтожим. Потом – мы сожжем их города.

К⟨ондратий⟩. Ну-ну, вы шутите.

С⟨авва⟩. Нет, зачем шутить? Все города. Ведь что такое ихние города? Это каменная глупость, сложенная руками их глупых покойников, и живых она душит.

К⟨ондратий⟩. Бедному человеку придется плохо!

С⟨авва⟩. Тогда все будут бедные. Ты мужик, Кондратий?

К⟨ондратий⟩. Крестьянин.

С⟨авва⟩. Я тоже мужик. Нам, брат, с тобой хуже не станет.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> уже вписано.

<sup>101</sup> Вместо: А кто вы? – было: Кто мы? (незач. вар.)

<sup>102</sup> Текст: К⟨ондратий⟩. Крестьянин. ~ хуже не станет. – вписан со знаком вставки на л. 33 об.

К { о н д р а т и й }. А ведь верно!

С { а в в а }. Я и говорю: нужно начать жить сначала.

К { о н д р а т и й }. Много народу пропадет.

С { а в в а }. Ничего, довольно останется. Дрянь пропадет.<sup>103</sup>

Пропадут глупые, которые мешают жить. Пропадут те, кто верит – у них отнимется вера. Пропадут те, кто любит старое – у них оно отнимется. Пропадут слабые, любящие покой – покоя не будет на земле. Останутся только свободные и смелые, с молодой и жадной<sup>104</sup> душой, с ясными глазами, которые обнимают мир и вечность.

К { о н д р а т и й }. Как у вас!

С { а в в а }. Да, как у меня! Поверь мне, монах (*кладет руку на плечо К(ондратия)*) я исходил много городов и<sup>105</sup> земель, и нигде я не видел свободного человека. Я видел только рабов. Я видел клетки, в которых они живут, иконы, которых они боятся; я видел их вражду и любовь, их грех и добродетель. И на всем лежит печать { л. 35 } безумия и глупости. Родившийся умным, глупеет среди них; кто хочет до конца сохранить свой ум – погибает в сумасшедшем доме или на виселице. Среди цветов прекрасной земли<sup>106</sup> – ты еще не знаешь, монах, как она прекрасна! – они устроили сумасшедший дом: одни обжираются, когда другиедохнут от голода,<sup>107</sup> одни смеются, когда другие плачут. И все они, кривляясь, сплошной массой валятся в могилы и гниют там, оскверняя<sup>108</sup> землю. И как они лгут, как они лгут, монах! Правды они боятся, как вы здесь дьявола: потому что правда только одна<sup>109</sup>: смерть и уничтожение всему созданному человеком<sup>110</sup> доньне!

К { о н д р а т и й }. А нельзя как-нибудь иначе: без огня. Очень страшно, С { а в в а } Е { горыч }. Что ж это такое будет! Светопредставление!<sup>111</sup>

С { а в в а }. Нельзя.<sup>112</sup> Оно и нужно: светопредставление! Ведь они все время пробуют иначе, но они так сцепились, перепутались, изолгались, что ничего не выходит. Родится он; а для него все уже готово: и клетка, и корм, и Бог и дьявол, и цепь и кнут. Покобенится, покобенится – да и запляшет, как все. Ты почему послушник, а не царь?

<sup>103</sup> Ничего, довольно останется. Дрянь пропадет *вписано*.

<sup>104</sup> *Далее в рукописи: и*

<sup>105</sup> *Далее было начато: нигд(е)*

<sup>106</sup> *Далее было начато: он(и)*

<sup>107</sup> *Далее было: другие*

<sup>108</sup> *Было: заражая*

<sup>109</sup> *одна вписано.*

<sup>110</sup> *человеком вписано.*

<sup>111</sup> *Так в рукописи.*

<sup>112</sup> *Нельзя. вписано.*

К<ондратий>. Скажете!

С<авва>. Ну, да!<sup>113</sup> Потому что родился в свином хлеву – так тебе приготовлено было. А родись во дворце – и был бы ты царь.

К<ондратий>. Что ж, это верно. Я когда волостным писарем был, так очень хорошо поставил дело. Проворовался, конечно.

С<авва>. Так вот и нужно, чтобы ни хлеба не было, ни дворца. Понимаешь, монах. Чтобы было – одно чистое поле. *(Обводит рукой.)* Чисто!

К<ондратий>. Соблазнительно! На самом деле, я человек, сказать правду, неглупый. Это теперь я послушник, пьянчуга, ни Богу свеча, ни черту кочерга, а было время... Ох, С<авва> Е<горыч>, кому не хочется, чтобы получше было. А вот бьешься, бьешься... хлоп, в яму и угодил. Икону вот только <л. 3б> жалко: явленная она. В ручье она явилась. Еще преподобный по ней спасался.

С<авва>. Видишь, откуда паутинка-то еще тянется. А ты в этой паутинке как муха, жужжишь, а двинуться, разорвать ее – силы нет.

К<ондратий>. Страшно. А вдруг?..

С<авва>. Что вдруг?<sup>114</sup>

К<ондратий>. Я к иконе, а меня громом. Или земля расступится.

С<авва>. В том-то и сила: все ведь думают – расступится. А оно и икона взорвана, и земля не расступилась. Понимаешь?

К<ондратий>. Хорошо, как не расступится.

С<авва>. Ты человек смешливый: ты подумай, какие рожи будут. Идут они из-за тридевять земель...

К<ондратий>. Железняка весь монастырь разнесет. Скажет: монахи нарочно сделали.

С<авва>. Ну и пускай. Тебе-то что. А ты подумай, монахи...

К<ондратий> *(смеется)*. Монахи, это верно. Вот содом-то будет. Содом и Гоморра!

С<авва>. Деньги тебе нужны?

К<ондратий>. А они у вас есть?

С<авва>. Есть.

К<ондратий> *(подозрительно)*. Откуда ж это они у вас?

С<авва>. А тебе-то что. Может быть, я убил купца богатого. Доносить не пойдешь?

К<ондратий> *(успокаиваясь)*. Что вы, это дело ваше. Конечно, деньги никогда не лишнее. Я тогда из монастыря уйду. У меня,

<sup>113</sup> Далее было начато: А род(ись)

<sup>114</sup> Далее было: А

скажу по совести, есть одно мечтание: при дороге трактир открыть. Народ я люблю, и сам я разговорчивый человек, могу составить компанию.

С(авва). Что ж, можно и трактир.

⟨л. 37⟩ К(ондратий). И кроме того, человек я еще в полном соку. Чем тут грешить, лучше же я законным браком...

С(авва). В посаженные отцы позови.

К(ондратий). Молоды еще! А деньги когда – раньше или потом?!

С(авва). Иуда раньше получил.

К(ондратий) (огорченно). Вот вы всегда скажете такое: всю охоту отбивает.

С(авва). Иуда был дурак. Он удавился, а ты трактир откроешь.<sup>115</sup>

К(ондратий). Опять какие слова!

С(авва). Ну-ну. Иуда человека продал, а ты что – вроде как бы дровами торгуешь. Верно!

Показывается Сперанский.

К(ондратий). Вот несет нелегкая.

С(авва). Так как же: по рукам?

К(ондратий). Что же с вами сделаешь!

С(авва). Говорю, не раскаешься.

Спер(анский) (проходит, кланяется). А вы еще тут? А я на том конце, на могилках был, бабу сегодня одну схоронили, так посмотреть.

Савва. Не вылезла ли?

Спер(анский). А вы все шутите?

С(авва). Я шутить не люблю. Прощайте.

Спер(анский). До приятного свидания.

Уходит, оборачиваясь.

Кондр(атий). А если я того... обману.

С(авва). Убью.

К(ондратий). Ну-ну.

С(авва). Теперь, если откажешься, все равно убью. Много знаешь.

К(ондратий). Шутите.

С(авва). Может и шучу. Я, брат, парень веселый. (Смеется.)  
Завтра ко мне приходи. Передам.

<sup>115</sup> Далее было (с абзаца): С(авва). Ну-н(у)

⟨л. 38⟩ К⟨ондратий⟩. Сестры боюсь я вашей. Что-то она ко мне присматривается.

С⟨авва⟩. Ничего не бойся.

Уговариваются, как и когда сделать: в субботу поздно вечером, накануне выноса иконы к народу.<sup>116</sup>

К⟨ондратий⟩. Ну так вы тут посидите, а я пойду.

С⟨авва⟩. Иди.

К⟨ондратий⟩. Деньги приготовьте.

С⟨авва⟩. Ладно.

Кондратий уходит. С⟨авва⟩ стоит, опершись на решетку кладбища.

С⟨авва⟩ (*усмехаясь, к могилам*). Ну, как-то вы: перевернетесь в гробах или нет? (*После паузы, топая ногой.*) Буду ли я первым свободным, который вступит на землю. Земля, земля – прими меня, мать моя!

Занавес.

⟨л. 39⟩

### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Парадная комната, три окна на улицу, одно наполовину приоткрыто. Вечер, темно. За окнами все время, с начала действия до конца, слышны шаги богомольцев – быстрые, медленные, усталые, торопливые, в сапогах, в лаптях. Идут группами, по двое, по трое; идут по одному. Большею частью молча, но изредка доносится сдержанный невнятный говор и пропадает вдали.

За столом, при колеблющемся свете огарка, сидят сильно пьяный<sup>117</sup> Тюха и Сперанский. В комнате почти совсем темно; временами ветерок надувает занавеску в открытом окне и колышет пламя свечи. После открытия занавеса продолжительная пауза. На столе водка, картошка, селедка.<sup>118</sup>

Тюха (*загадочно*<sup>119</sup>). Так ты говоришь: может, нас и нету?

Сперанский. Да, Антон Егорыч. Весьма возможно, что мы и не существуем. Так, только греза одна, сонное видение.

Тюха. Сонное видение. И меня нету, а?

Пауза.

Тюха. А где же мы, а?

Сперанский. Мы?

Тюха. Да, мы.

Сперанский (*со вздохом*). Неизвестно. Никому не известно.

<sup>116</sup> *Напротив текста:* С⟨авва⟩. Ничего не бойся. – на л. 37 об. помета (со знаком вставки): Уговариваются ~ иконы к народу. (ср. ОТ. Д. 2, стк. 714–717)

<sup>117</sup> *сильно пьяный вписано.*

<sup>118</sup> *На столе водка, картошка, селедка. вписано.*

<sup>119</sup> *Было: сильно пьяный*

Т〈ю х а〉. А Савка знает?  
С〈перанский〉. Нет, не знает.  
Т〈ю х а〉. Савка все знает.  
С〈перанский〉. А этого и он не знает. Никому не известно,  
А〈нтон〉 Е〈горыч〉.

Пауза.

Т〈ю х а〉 (*туго поворачивая голову к окну*). Куда они идут, а?  
〈л. 40〉 С〈перанский〉. На праздник они идут, А〈нтон〉  
Е〈горыч〉. Завтра поднятие иконы.

Т〈ю х а〉. Нет, неверно.  
С〈перанский〉. Что неверно?  
Т〈ю х а〉. Все неверно.  
С〈перанский〉. Все?  
Т〈ю х а〉. Все. Может, это бесплотные духи, а? Бесплотные  
духи, может что.

Пауза.

Т〈ю х а〉. Это ничего, что они в сапогах. Куда они идут, ты  
мне объясни, чтоб я понял.

С〈перанский〉. В сущности, и это никому не известно.  
Т〈ю х а〉. Неизвестно?  
С〈перанский〉. Да.  
Т〈ю х а〉. А Бог знает?  
С〈перанский〉. Как я уже докладывал вам, А〈нтон〉 Е〈го-  
рыч〉, многие<sup>120</sup> философы весьма отрицают существование Бо-  
жие.

Т〈ю х а〉. И его нет?  
С〈перанский〉. Да. И его нет.  
Т〈ю х а〉. А кто же тогда знает?  
С〈перанский〉. Да никто не знает. Мертвые знают.  
Т〈ю х а〉. Ну, мертвые? Покойники?  
С〈перанский〉. Да. Которые умрут.

Пауза.

Т〈ю х а〉. Ну-ка, ты... Спой-ка эту: как ее... твою.

С〈перанский〉. Извольте, А〈нтон〉 Е〈горыч〉. (*Поет тихо,  
грустным, несколько церковным напевом.*) “Все в жизни неверно, и  
смерть лишь одна – верна, неизменно верна. Все канет, минует,  
забудет, пройдет – она не минует, найдет – покинутых, скорбных,  
последних из нас, до мошки, незримой для глаз”.

Т〈ю х а〉. Чувствительно, хорошо.

<sup>120</sup> многие вписано.



С⟨перанский⟩. “Прижмет, приголубит и тяжкий свой брачный наденет венец – и жизненной сказке конец!” Истинная правда, А⟨нтон⟩ Е⟨горыч⟩ – “и жизненной сказке конец”.  
(Вздыхает.)

Т⟨юха⟩ (густо вздыхает). Н-да.

Пауза.<sup>121</sup>

Т⟨юха⟩. Выпей.

С⟨перанский⟩. Да я же не пью, А⟨нтон⟩ Е⟨горыч⟩. Благодарствуйте.

Т⟨юха⟩. А лучше бы пил.

С⟨перанский⟩. Благодарствуйте, не люблю. Мозги затмеваются от нее.

Пауза.

Т⟨юха⟩ (поднимается, кричит к окну<sup>122</sup>). Послушай, кто там? Назад пошли! (л. 41) Пошли назад! Слышишь. Я приказываю.

С⟨перанский⟩ (усаживает его). Не надо кричать, А⟨нтон⟩ Е⟨горыч⟩, нехорошо.

Т⟨юха⟩. А они зачем идут?

С⟨перанский⟩. Лучше так поговорим, тихо, мирно. Зачем кричать. От крику только горло надсадится, больше ничего.

Т⟨юха⟩. А ты кто?

С⟨перанский⟩. Называюсь Сперанский.

Т⟨юха⟩. Сперанский, ну ладно. А я возьму ружье и застрелю Савку, как собаку. Вот тогда и будет тебе Сперанский.

Входит Саша; проаживается по комнате, не вмешиваясь в разговор, выглядывает в окно. Потом зажигает лампу.

Т⟨юха⟩. Вот увидишь. Я что сказал, все равно что сделал.

С⟨перанский⟩. Зачем же? С⟨авва⟩ Е⟨горыч⟩ человек симпатичный.

Т⟨юха⟩. Он меня беспокоит<sup>123</sup>. Он и папашу<sup>124</sup> беспокоит<sup>125</sup>.

С⟨перанский⟩. И папашу?

<sup>121</sup> Текст: Пауза. // Т⟨юха⟩. Ну-ка, ты... ~ Н-да. // Пауза. – вписан (со знаком вставки) на л. 39 об.

<sup>122</sup> Далее было вписано и зачеркнуто: кричит

<sup>123</sup> Было: не уважает

<sup>124</sup> Далее было: не уважает

<sup>125</sup> беспокоит вписано.

Т<юха>. Ну да, папашу, а то кого же. Все вы дураки. И ты дурак. А если будешь обижаться, так я тебя...

С<перанский>. Да я не обижаюсь.

Т<юха>. То-то, не обижаюсь. Это кто? Саша? Саша, куда они идут, а?

С<аша>. На праздник, ты же знаешь. Шел бы ты спать, Тюха. А то увидит папаша, рассердится.

Спер<анский>. Много народу идет, А<лександра> Е<горовна>?

С<аша>. Да. Только темно очень, не рассмотришь ничего. Двоих сейчас провезли, должно быть, калеки. Савву вы не видали, Григорий Петрович?

Спер<анский>. Видел, как же. Даже имел удовольствие беседовать. Они с Железником гуляли, образ разглядывали. Странный субъект, этот Ж<елезняк>. *(Смеется.)* Говорит, что Спаситель глаза поворачивает: куда Ж<елезняк><sup>126</sup> идет, а глаза все за ним. С<авва> Е<горыч> доказывают, что это от искусного расположения красок, а <<л. 42>> Железняк не верит, сердится.

С<аша>. А как вы думаете, что с Ж<елезником> было бы, если б этот образ у него отнять. Ну, если бы он сгорел?

Спер<анский>. Кто ж его знает, ведь он совсем как помешанный. Да кто и отнимать станет?

С<аша>. Нет, я так.

Спер<анский>. А сегодня троих хоронили. Старика одного: может быть, знаете Петра Хворостова?

С<аша>. Да знаю. Умер?

Спер<анский>. Да его, да двоих ребят. Бабы очень плакали.

С<аша>. Отчего они умерли?

С<перанский>. Извините.<sup>127</sup> Не поинтересовался. Детское что-нибудь. А вы не изволили<sup>128</sup> замечать, А<лександра> Е<горовна>, что, когда умрет ребенок, он очень быстро синееет. И вид у него такой, будто закричать хочет. У взрослых лицо спокойное, а у них нет. Отчего бы это?

С<аша>. Не знаю, не замечала.

Спер<анский>. Очень интересное явление.

Т<юха>. Мерцает.

Спер<анский>. Что вы, А<нтон> Е<горыч>.

Т<юха>. Ничего. Мерцает.

---

<sup>126</sup> Было: он

<sup>127</sup> Извините вписано.

<sup>128</sup> Было начато: за<мечали>?

С⟨аша⟩. Вон и папаша. Говорила, что досидишь, а теперь брань вашу слушать.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Кто лампу зажег?

Спер⟨анский⟩. Здравствуйте, Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Здравствуй. Кто лампу зажег?

С⟨перанский⟩. А⟨лександра⟩ Е⟨горовна⟩ зажгли.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩ *(тушит)*. У Савки научилась. *(К Тюхе.)*

А ты что это<sup>129</sup>, а? Докуда же это будет, а? Докуда же я из-за вас, прохвостов, муку принимать буду, а?

⟨л. 43⟩ Т⟨юха⟩.<sup>130</sup> У тебя, папаша, рожа!

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. До чего допился, а?<sup>131</sup> Ну где это видано, а? А вы то ж, сидите, и смотрите. Давай водку!

Т⟨юха⟩. Не дам. *(Держит бутылку<sup>132</sup>.)*

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Давай!

Т⟨юха⟩. Не дам!

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩ *(бьет его по лицу)*. Давай!

Т⟨юха⟩ *(падает на диван, не выпуская бутылки)*. Не дам.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩ *(садится, спокойно)*. Да о чем, бишь, я говорил? Вот дурак, сбил меня. Да, о⟨тец⟩ игумен. Вот человек настоящий, и в праздник дела своего не забывает. Сейчас жаловались эти ковалихинские: трех лошадей загнали с луга, с монастырского<sup>133</sup>. Это в праздник-то!

С⟨аша⟩. О⟨тец⟩ Парфений очень хозяйственный человек.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. В праздник-то! Сами мужики хвалят. Жалуются, а хвалят. А тут<sup>134</sup> ошибешься на копейку... Тюха, ты опять пьешь?

Т⟨юха⟩. Пью.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Ну что я с тобою, с дьяволом, прости Господи, делать буду? а?

Савва *(входит; очень веселый и живой)*. А, философы! Родитель! Почтенная компания! Почему у вас темно тут, как у дьявола под мышками? Где лампа? Ага, вот она. *(Зажигает.)*

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩ *(иронически)*. Может, и окна откроешь?

Савва. Верно. И окна открою.OGO, идут-то!

С⟨перанский⟩. Целая армия<sup>135</sup>.

<sup>129</sup> это вписано.

<sup>130</sup> Далее было: Меня никто не уважает.

<sup>131</sup> Вместо: До чего допился, а? – было: А за что тебя, дурака, уважать?

<sup>132</sup> Было: полбутылку

<sup>133</sup> с луга, с монастырского вписано.

<sup>134</sup> Далее было: на копейку

<sup>135</sup> Вместо: Целая армия – было: Армия целая

Савва. И все в свое время умрут и станут покойниками. И тогда узнают правду. Верно я схватил суть вашей философии, мой неизменный друг?

С⟨перанский⟩ (*со вздохом*). Вы все шутите, С⟨авва⟩ Е⟨горыч⟩.

Савва. А вы все грустите! Слушайте, когда вы умрете, у вас будет ⟨⟨л. 44⟩⟩ физиономия самая спокойная. Острый нос, и вокруг него разлито этакое спокойствие. Неужели вас это не утешает? Вы подумайте: островок носа среди целого моря спокойствия.

С⟨перанский⟩. Вы все шутите.

Савва. И не думаю. Слушайте, когда вы умрете, я буду идти за вашим гробом и показывать: смотрите, вот человек, который узнал правду. Или нет, лучше так: я повешу вас, как знамя истины. И по мере того, как с вас будет сползать кожа и мясо, будет выступать правда. Это будет в высшей степени поучительно. Двугривенный за вход, дети и нижние чины платят половину!

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Что он говорит?

С⟨авва⟩. Отец, что это у тебя рожа запачкана чем-то. Черн ты, как сатана!

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩ (*хватается за лицо*). Где?

С⟨перанский⟩. Это они шутят. Ничего нет, Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩, да ничего же.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Ну и дурак! Сатана! Сам сатана, прости господи!

Савва (*хохочет*). Пстой, я тебя сейчас щекотать буду.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Что еще?

Савва. Щекотать!

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩ (*искренне удивленный*). Да что ты, сбесился что ли?<sup>136</sup>

⟨л. 44 об.⟩ Савва (*делает рожу, приставляет из пальцев рога*). Я черт.

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Черт и есть!

Савва. А не будет поужинать черту?

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. А ты где шатался<sup>137</sup>, когда люди ужинали. Теперь и так посидишь.

Савва. А если я тебя съем! с голоду?

Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩. Вот дурак! Что говорит!

<sup>136</sup> *Напротив текста:* Е⟨гор⟩ И⟨ванович⟩ (*искренне удивленный*). Да что ты, сбесился что ли? — на л. 43 об. *помета:* Шалит. Рассказывает, что сидел с ребятами и слушал сказки.

<sup>137</sup> *Было:* был

Савва. С ребятами я сидел, сказки они мне рассказывали. Вот здоровы рассказывать! И все про чертей, про ведьм да про покойников. По вашей специальности, г(осподин) Тень.

С(перанский) (равнодушно). Что ж, и они умрут.

Савва. Рассказывают и сами трусят: оттого и сидели так долго, боятся домой бежать. Один Мишка молодец: наплевать мне, говорит, на ведьм и покойников.

С(перанский) (равнодушно). И он умрет.

Савва. Господин хороший! Да плюньте вы на эту смерть. И охота вам: умрет, умрет. Вот родитель мой совсем скоро умрет, а смотрите, каким молодцом.

Е(гор) И(ванович). Сатана! Совсем сатана!

С(перанский). Да если ж мы не знаем...

Савва. Голубчик! Жизнь – ведь это такое интересное занятие. Жизнь! Понимаете: дышать, вертеться, крутиться, работать! Пойдемте завтра в ладыжки играть, а? Я вам свинчатку дам – какую свинчатку!

Входит незаметно Саша.

И потом вам нужно заниматься гимнастикой. Необходимо. Смотрите, какая у вас грудь, вы через год подохнете от чахотки. Диаконица будет рада, но что скажет свет? Правда, какой черт! Вот я занимался гимнастикой, и поглядите. (*Легко поднимает за ножку большой стул.*) Вот!<sup>138</sup>

(л. 45) Саша (*смеется вызывающе громко*). Хо-хо-хо!

<sup>138</sup> *Вместо текста:* Савва (*делает рожу ~ за ножку большой стул*). Вот! – было: Савва. Слушайте, философы! Давайте я вам театр представлю. Ну-ну, садись, не егози, егоза старая. (*Сажает отца.*) Вы звери лесные, никогда еще не видали этого. Ну вот. Занавес. Вот он идет. (*Идет, сбывчившись, на средину, медленно выпрямляется и говорит повышенным, несколько театральным голосом.*) Как камень упал я в болото и зашипели подводные гады. (*Другим голосом.*) Это не я говорю, это он говорит.

Е(гор) И(ванович). Вот дурак!

Савва. Нет, камень, это не хорошо. Слушайте (*продолжает; в средине (л. 45) его речи входит Саша и слушает*).

Стоял лес. Дремучий лес. Старый лес. Стоят там старые гнилые пни, и их никто не валит. Гукают там сычи, светоненавид(ц)ы – и никто их не гонит. Стоит там поганая лужа, и дьявол купает в ней свою рожу. И в этот лес ворвался – ураган. [У-у-у! К(то)] (*Подражая вою ветра.*) У-у-у! Кто пришел? Я – ураган. Завыл с перепугу дьявол, запрыгали белки, очертились волки. У-у-у! Крушу, ломаю! Вались старое – вон уже небо видно! Что плачешь, белочка? – Гнездышка жалко – Гнездышка? У-у-у! Веселый я парень. Закружу, заверчу – и выброшу! Вались старое – вот уже чисто кругом. И высохла поганая лужа.

Савва (*опуская стул*<sup>139</sup>, *несколько сконфуженно*). Чего ты? Я думал... Когда ты пришла?

Саша. Так. Очень ты смешон. Отчего бы тебе, правда, не поступить на сцену. У тебя талант.

Савва (*угрюмо*). Не говори глупостей.

Е<гор> И<ванович>. Сатана! Чистая сатана!

Т<юха>. Он меня беспокоит. Они все меня беспокоят. Почему такое?

Савва (*вдруг смеется весело и добродушно*). Ну да ладно. Вот что, сестреночка, ты бы дала мне поесть. С утра не жрал.

Е<гор> И<ванович>. Сатана! Совсем сатана. Не жрал? Да кто же теперь жрет. Где это видано?

Савва. А ты вот посмотри.

Е<гор> И<ванович>. Я? Дурак ты, больше ничего. Тюха, давай водку.

Тюха. Не дам.

Е<гор> И<ванович>. Чтобы вас всех. Вскормил, взлелеял...

Уходит.

Саша (*подавая хлеб и молоко*). Ты что-то весел сегодня?

Савва. Да и ты весела.

Саша. Я весела? (*Смеется*.)

Савва. И я весел. (*Хочет. Потом с жадностью пьет молоко*.)

<л. 46> Саша. Бедный Савва.

Савва. Что?

Саша. Ничего. Бедный, я говорю, Савва.

Савва. Правда, проголодался.

С<перанский>. Я им рассказывал, как вы с Ж<елезняком> спорили. Очень смешно.

Савва. М-да.

Саша. А мне не кажется смешно.

Савва. Как кому.

Саша. Я так люблю этот праздник. Всегда в этот день бывает хорошая погода, солнце...

Савва. Вот как? Это хорошо.

Саша. Да, солнце. И когда понесут икону<sup>140</sup>, вся она сверкает от камней, как огонь, и только Лик ее темнеет. Не радуют Его эти

<sup>139</sup> *Вместо: опуская стул – было: принимая обычную позу*

<sup>140</sup> *Было: ее*

драгоценности, мрачен и темен он<sup>141</sup>, как горе народное, как душа человеческая.

С а в в а. Трогательно.

С а ш а (с ударением). Да. Трогательно. И когда подумаешь, сколько слез пало на нее, сколько тихих молитв, сколько стонов и вздохов, так и самой<sup>142</sup> захочется плакать – и скорбно, и радостно. Единое прибежище всех страдающих. Вот идут они, скорбные, убогие, замученные... жизнью...

С а в в а. У тебя тоже талант – только поэтический.

С а ш а. И ждут, не свершится ли чудо.

С а в в а. Это было бы интересно.

С а ш а. Но он сам, страдающий за всех, ждет чуда – от них ждет чуда. Ждет, что растворятся сердца, что сменится вражда любовью и радостною станет земля Его. И несут Его над бедными полями, над убогими селеньями, и идут за ним с трепетной мольбою, с тихой жалобой – идут несчастные, идут обиженные, труждающиеся и обремененные. И уходят они домой – медленно идут они домой – все те же убогие, все (л. 47) те же горькие, но утешенные, обласканные страданием Его: знают они, что все с ними Он, что по-прежнему страдает он великим горем человеческим...

С а в в а (быстро). Который, однако, час?

С п е р а н (с к и й). Одиннадцать<sup>143</sup> без пяти.

С а ш а. Рано еще.

С а в в а. Что рано?

С а ш а. Так.

С а в в а (подозрительно). Что-то ты...

С а ш а (смеется). А что?

С а в в а (продолжая смотреть на нее). Ничего.

Т ю х а (внезапно, точно проснувшись). Идут! Слышишь?

С а в в а (оставляя еду). Почему ты сказала: рано еще?

С а ш а. Потому что сейчас одиннадцать. А когда будет двенадцать...

Савва вскакивает и быстро идет к ней.

С а в в а. Что? Повтори! (оборачиваясь к Спер(анскому), но глядя на С(ашу)). Послушайте вы, ступайте домой.

С а ш а (бледнея). Посидите еще, Г(ригорий) П(етрович).

<sup>141</sup> он вписано.

<sup>142</sup> Было: самому

<sup>143</sup> Было начато: П(ять?)

Савва. Если вы сейчас не уйдете, я выброшу вас в окно. Ну!

С⟨перанский⟩. Зачем же, я так уйду. Где моя шапка? Положил я ее тут.

Савва. Вот ваша шапка. *(Бросает.)*

С⟨перанский⟩. До приятного свидания, А⟨лександра⟩ Е⟨горовна⟩. До приятного свидания, С⟨авва⟩ Е⟨горыч⟩. А они, кажется, уже спят – их в постель бы надо! Иду, иду.

Уходит.

Савва *(спокойно)*. Ты знаешь?

Саша. Знаю.

Савва. Все знаешь?

Саша. Все.

Савва. Монах сказал?

⟨л. 48⟩ Саша. Да.

Савва. Ну?

Саша *(слегка отступая и поднимая руки для защиты)*. Ничего не будет. Взрыва не будет. Взрыва не будет, Савва.

Савва делает шаг к ней, пристально смотрит на нее, поворачивается медленно и ходит по комнате. Пауза.

Саша. Так лучше, брат, поверь мне. Поверь мне.

Савва не отвечает, ходит.

Саша. Ведь это было не знаю что. Безумие какое-то.

Савва. Это – наверно?

Саша. Да, наверно.

Савва. Расскажи, как это произошло.

Саша. Я уже давно догадалась, тогда еще, в тот день, как мы говорили. И я видела – машинку эту.

Савва. У тебя наклонности сыщика. Продолжай.

Саша. Я не боюсь оскорблений.

Савва. Ничего, ничего, продолжай.

Саша. Потом я видела, что ты разговаривал с Кондратием. А вчера я посмотрела – машинки этой уже нет. И я поняла.

Савва. Да.

С⟨аша⟩. А сегодня...

Савва. Когда?

С⟨аша⟩. Уже к вечеру – я никак не могла найти К⟨ондратия⟩, – я сказала ему, что знаю все. Он очень испугался и рассказал мне остальное.

Савва. Достойная пара. Сыщик и предатель. Ну?

С⟨аша⟩. Если ты будешь оскорблять меня, я замолчу.



Савва. Ничего, ничего, продолжай.

С(аша). Он хотел донести обо всем игумену, но я не позволила (л. 49) этого. Я не хочу губить тебя, Савва. Когда все это устроилось, я вдруг почувствовала, как это дико – так дико, что этого не может быть. Сон какой-то. И мне стало жаль тебя, как мальчика.

Савва. Да?

С(аша). Да, как мальчика, который вступил в борьбу с Богом. Саввушка, голубчик, ведь я качала тебя, когда ты был маленький. Саввушка, миленький, что ты задумал? (Плачет.) Как я рада, Господи! Миленький, дай мне руку! Ведь я знаю, что сам ты рад тоже: это была минута, это ты с отчаяния. Саввушка, как это хорошо.

Савва (отталкивая ее руку). Он сказал тебе, что пойдет к игум(е)ну?

С(аша). Да. Но я не позволила.

Савва. А машина у него?

С(аша). Он завтра отдаст ее тебе. Мне он побоялся ее дать. Саввушка, не сердись на меня. Ведь ты умный, ты понимаешь, что ты хотел сделать. И ты на самом деле этого не хотел, не хотел!

Тюха (поднимая голову). Идут! Все идут? Слышишь?

Савва (тихо, но угрожающе). Идут!

С(аша). Да, и кто идет, ты подумай! Подумай, что хотел сделать ты с этими людьми. И это обман, ты не хотел, твоя мысль обманывала тебя. И зачем, во имя чего? Во имя какой-то детской, ребяческой мечты – о “голой земле”.

Савва садится и по виду спокойно смотрит на С(ашу).

Саша (глядя в темную комнату, боком к Савве). Ведь это ужас – голая земля. Голая земля! Как мог ты додуматься до этого! Уничтожить все. Уничтожить все, над чем люди работали тысячи лет! Что они создавали с таким трудом, с такою болью. Да. Пусть оно плохо – кто говорит, что оно хорошо! Но за это я и любила, да, за это – за неудачу, за кривые линии, за несбывшиеся надежды. За труд, за слезы. Уничтожить (л. 50) Голгофу. Ты подумай: (с ужасом) уничтожить Голгофу! Ты молчишь?

Сав(ва). Да. Молчу.

Саша. И если бы тебе удалось это<sup>144</sup>, я... выдала бы тебя. Я бы – отравила тебя.

Савва. А если это не удастся...

Саша. Ты еще надеешься?

<sup>144</sup> Вместо: тебе удалось это – было: это удалось тебе

Савва. А если это не удастся, я убью тебя.

Саша *(делая шаг к нему)*. Убей! Убей. Дай пострадать мне за Христа!

Савва. Да, я убью тебя.

Саша. Савва! Да разве я не думала<sup>145</sup> об этом? Разве я об этом не мечтала? Господи! пострадать за тебя – разве есть счастье выше этого!

Савва *(презрительным жестом указывая на С(ашу))*. И это – человек! И это – до сих пор считалось лучшим. И этим – гордились! Ну-ну, не богаты же вы хорошим.

С(аша). Да. Поноси, оскорбляй – прежде чем убить, нас всегда оскорбляли.

Савва. Я не думаю тебя оскорблять – как я могу оскорбить тебя. Ты просто глупая женщина. Таких много было, много есть и сейчас. Просто глупая, ничтожная, даже невинная, как все, кто ничтожен. И если я хочу убить тебя, то ты не гордись этим, не думай, что ты<sup>146</sup> особенная, достойная моего гнева. Нет. Просто – мне будет немного легче. Когда мне случалось колоть дрова, и я промахивался, и вместо полена попадал по порогу, это было легче, чем если кто-нибудь удерживал мою руку. Поднятая рука должна упасть.

С(аша). Мне страшно подумать, что этот зверь – мой брат.

Савва. Которого ты качала в люльке и ставила на горшок? Да. А мне нисколько не страшно, что ты моя сестра, а вот этот идиот – мой брат. Эй, Тюха, идут?

Тюха ворочает головой, бессмысленно смотрит, не отвечает.

*(л. 51)* Савва. Да. И мне нисколько не страшно, когда все ничтожное называет себя моими сестрами и братьями, а потом, когда узнает, кто я, – плачет, сердится и идет к кому-нибудь жаловаться – на меня. И травить меня тоже пробовали. Та, которая ушла от меня, пробовала, но не хватило духу. Дело в том, что все братья мои и сестры, помимо прочего – трусы.

С(аша). Я бы отравила.

Савва. Я не спорю. Может быть. Ты немного истеричка, а истерички – народ решительный, если только не расплачутся раньше.

С(аша). Я истеричка? Хорошо, пусть так. Пусть я истеричка – а кто ты, Савва? *(Смеется.)*

Савва. Меня это мало интересует.

---

<sup>145</sup> Было: мечтала

<sup>146</sup> Далее было начато: за(служила?)

С < а ш а >. Они идут, Савва? Они идут! И они найдут то, что им надо – и это сделала истеричка! Ты слышишь, сколько их? И если бы они узнали, если бы подойти сейчас к окну – открыть – и крикнуть: вот здесь человек, который покушается на вашего Христа... Хочешь, я подойду сейчас? Хочешь? *(Делает шаг к окну.)* Хочешь?

С а в в а. Да, хорошее для тебя средство – избавиться от мученического венца. Что же, крикни. Да осторожнее, Тюху не свали!

С < а ш а > *(возвращается)*. Мне жаль тебя. Ты разбит – лежачего не бьют. Но помни: это идут тысячи твоих смертей. Помни, что каждый из них был бы счастлив убить тебя. Ты слышишь, сколько их? И каждый из них – твоя смерть. Несчастный Савва! Ты хотел их ограбить...

С а в в а. Это верно.

С < а ш а >. И ты еще гордишься этим? Кто дал тебе право? Кто дал тебе власть над людьми – как смеешь ты касаться того, что для них – право, ихнее право – касаться их жизни. Ох, Савва, не шути с огнем.

С а в в а. Кто дал мне право? Я сам взял. Кто дал мне власть? Я сам взял ее. Попробуй отними! Ха! Право! власть! А если я знаю, что *(л. 52)* это так, что так нужно – что же мне делать, по-твоему, святая глупость? Уговаривать этих баранов свернуть с их скотской тропы, ловить каждого за рога и отводить в сторону; дискутировать с ними – надеть фрак и<sup>147</sup> читать им лекции? Как будто мало их учили!<sup>148</sup> Как будто для них имеют значение слова, мысли! Как будто им не нужно каждый день напоминать, что  $2 \times 2 = 4$ , а то они и это забудут. Нет, милая сестра, жизнь коротка, и тратить ее на диспуты с баранами я не намерен. Огнем их надо. Огнем!

С < а ш а >. Но чего ты хочешь? Но чего ты хочешь?

С а в в а. Ты едва ли поймешь это, но изволь – я скажу. Я хочу освободить человека и землю. *(Встает и ходит.)* Да. Освободить человека. Он, теперешний, он уже готов для свободы, но не знает, как к ней приступить. Бойтся. Оглядывается. Как проснувшийся раб, он увидел цепи, но еще не знает, к чему он прикован. Шарит ощупью в потемках<sup>149</sup>. Да. Ищет. Да. Нужно ему помочь, нужно дать ему воздуху, свету – побольше воздуху. Расчистить вокруг него.

С а ш а. Мечта!

<sup>147</sup> надеть фрак и *вписано*.

<sup>148</sup> Как будто мало их учили! *вписано*.

<sup>149</sup> в потемках *вписано*.

С а в в а. Вымести весь этот хлам, этот сор: Бога, искусство, литературу. Всю эту труху – она отравляет его, она делает глупость бессмертной. Пирамиды. Какое идиотство. А оно стоит тысячи лет, и люди ездят смотреть. Нужно, чтобы не было ничего позади, на что мог бы он смотреть – нужно повернуть его к будущему. На каждом живом сидит тысяча покойников.

С а ш а. Я не понимаю тебя. Ты бормочешь что-то.

С а в в а. Ты думаешь, я не знаю, что каждый из них готов бы убить меня? Но этого не будет, и ты бы меня не отравила. У всякого своя судьба, и моя судьба – дать людям свободу. Зажечь перед ними зарю свободы. Огнем, Саша, огнем!

С а ш а. Ты страшный человек, Савва. Я думала, ты будешь поражен неудачей, а ты... Ты как Сатана, и падая становишься еще чернее.

С а в в а. Да. Я страшный человек. У меня нет страха.

⟨л. 53⟩ С а ш а. Неужели тебе не жаль детей? Ты ведь как будто любишь их.

С а в в а. Каких детей? Ах, да, Мишка. Мишка славный парень, это верно. Он подрастет, спуску вам не даст. Здоровый паренюга. Детей я люблю, это верно. (С гордостью.) И меня они любят, а вот вас они недолюбливают.

С а ш а. Мы с ними не играем в ладыжки.

С а в в а. Какая ты глупая, сестра. Да если ж я люблю играть?

С ⟨ а ш а ⟩. Вот и играл бы.

С а в в а. И буду играть.

С ⟨ а ш а ⟩. Когда ты так говоришь, мне кажется, что все это сон... что было, что мы говорили. Неужели это правда – и ты хочешь убить меня?

С а в в а. Это как понадобится. Может быть, и не придется.

С ⟨ а ш а ⟩. Ты шутишь.

С а в в а. Все вы твердите, что я шучу. До чего вы отвыкли от серьезного!

С ⟨ а ш а ⟩. Нет, это не сон. Идут!

С а в в а. Да, идут.

Слушают.

С ⟨ а ш а ⟩. И ты еще как будто веришь? Во что ты веришь?

С а в в а. Я верю в свою судьбу.

На монастырской башне начинают бить часы.

С а в в а. Двенадцать.

С ⟨ а ш а ⟩ (считая). Восемь... И подумать, что в этот час должно было совершиться...

Глухой звук сильного взрыва.

С < а ш а >. Что это?!  
С а в в а. А! Что это?!

Оба бросаются к окнам, будя Тюху, который сонно ворочает головой. На улице шаги на миг останавливаются. Потом слышно, как многие бегут. Отрывочные, громкие слова: “Что это?” – <л. 54> “Господи!” – “Пожар!” – “Нет, завалилось что-то”. – “Бежим”. – И часто повторяется слово: “монастырь”.

Т ю х а. Идут? Куда они идут, а? Почему никого нету? а?

П е л а г е я (*полуодетая, проходит*). Господи, Батюшки. Никак монастырь горит. Вот грех-то! А ты тють, тютенный, пьяница, глаза-то пялишь! Ведь это что же это! Монастырь горит, угодники горят, а он...

Т ю х а.<sup>150</sup> Ого! Бегут! Рожи-то, а?

П е л а г е я. Сам ты рожа<sup>151</sup>, аспид ты, василиск.<sup>152</sup>

Слышен звук набата.

П < е л а г е я >. Господи! (*Плачет.*) Батюшки, куда же теперь деваться-то? (*Бежит.*)

Набат. Крики на улице сильнее.

Т < ю х а >. (*Слушает. Тяжело машет рукой.*) И это – неверно. (*Кладет голову на руки.*)

С а ш а (*отходя от окна, страшно бледная*). Что же это, а? Не может быть, не может быть! Тюха, Тюха, проснись. Тюха, братик, что же это!

Т < ю х а > (<sup>153</sup> *прислушиваясь*). Бегут, а?

С а в в а (*отходя от окна, спокойный и строгий, но тоже бледный*). Ну что, сестра?

С а ш а (*мечется*). Я побегу. Я побегу. Где платок, где платок? Господи, Боже мой, да где же платок!

С а в в а. Платок вот он, но я все равно его не дам. Посиди.

С < а ш а >. Пусти.

С а в в а. Нет, посиди, посиди. Теперь все равно уже поздно.

С < а ш а >. Поздно?

С а в в а. Да, поздно.

С < а ш а >. Я побегу.

С а в в а. Сиди, сиди. (*Сажает ее.*) Тюха, слышал? Бога взорвали!

<sup>150</sup> *Далее было:* Все это неверно.

<sup>151</sup> *Вместо:* Сам ты рожа – *было:* Что неверно

<sup>152</sup> *Далее было (с абзаца):* Т < ю х а >. Все неверно. Монастырь – неверно. Горит – неверно.

<sup>153</sup> *Далее было:* а. <нрзб.> б. хохочет

〈л. 55〉 Т〈ю х а〉 (<sup>154</sup>со страхом). Савка, не смей меня! Отвернись!

Савва улыбается и ходит по комнате решительными, очень легкими шагами, без обычной сутуловатости.

С а ш а (*слабо*). Савва!

С а в в а. Что?

С 〈 а ш а 〉. Неужели это правда?

С а в в а (*в пол(у)обороте*). Правда.

С 〈 а ш а 〉. И Его нет?

С а в в а. И Его нет.

Саша плачет, сперва тихо, потом все громче и громче. Набат. Крики. Бегут.

С а в в а. Бегут! Да, это ускоряет шаг!

Саша говорит что-то.

С а в в а. Громче. Не слышу. Видишь, как они раззвонились.

С а ш а (*громко*). Убей меня, С а в в а.

С а в в а. Зачем? Ты умрешь сама.

С 〈 а ш а 〉. Я не могу! Я убью себя!

С а в в а. Убивай! Убивай! Убивай скорее!

Набат.<sup>155</sup>

С а в в а (*вдохновенно*). Звони, звони! Я слышу, как по всей земле начинают звонить в испуге старые колокола! Я вижу, как горят ваши города! Все падает, рушится, и<sup>156</sup> среди пламени, среди развалин, мечутся рабы, ища спасения. Его нет! Его нет! Огонь

---

<sup>154</sup> Далее было: *мычит*

<sup>155</sup> Далее было:

С а в в а (*громко среди звуков колокола*). Звони, звони, положи народ, подымай землю, возвещай смерть убийцам. Кричи, что Бога нет – что Бога нет – что Бога нет! Шире разевай медную глотку! На весь мир кричи, что Бога нет, что Бога нет, что Бога нет! Сзывай рабов. Пусть плачут – пусть сходят с ума – пусть убивают себя – и освобождают землю. Прекрасную землю, которую они опозорили. (*Один удар колокола срывается.*) Что поперхнулся? Ори, ори, старый дурак. Тебе первому – выпала честь – возвестить земле зарю свободы. Ну же, ну! Громче, громче! Чтобы весь мир узнал, что настало царство человека. Мать моя земля – 〈л. 56〉 оскверненная, поруганная, опозоренная в самых недрах своих – тебе отдаю этот звон разорванных цепей. Прими его как залог грядущего. Пусть дождем падет он на твою измученную грудь, пусть цветами покроются твои раны, мать моя, земля. И меня прими, твоего сына – твоего свободного сына! Ну, громче, громче! (*Топает ногою.*) Да громче же, старый дурак!

Занавес.

<sup>156</sup> Далее было: *в*

езде. Горят музеи и университеты, горят церкви, горят фабрики и заводы и лопаются раскаленные котлы. Конец рабьему труду!

Т ю х а (*трясаясь от ужаса*<sup>157</sup>). Савка, замолчи! Я смеяться буду!

С а в в а (*не слыша*). Я вижу пламенеющее небо и затмившееся солнце! Я вижу груды трупов, которых не хотят есть собаки. Я слышу вой и плач, и стоны, я вижу матерей, которые сами разбивают головы детям. Я вижу людей, мгновенно обросших шерстью, как обезьяны, я вижу стада кривляющихся обезьян, я вижу, как горят они, и тонут и падают под выстрелами. Конец старой земле. И я вижу, как в пламени и дыму родится новая земля, родится новый, свободный человек! Звони!

Т ю х а. Савка, замолчи!

С а в в а. Звони! Звони! Зови огонь, зови<sup>158</sup> царство человека!

Занавес.

⟨л. 57⟩

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Возле монастыря. Большая дорога, обсаженная старыми березами,<sup>159</sup> выходя из-за левой кулисы, где видна часть монастырских зданий, она идет, расширяясь, прямо на зрителя, к правому переднему углу сцены. По бокам – луговина с приотптанной травой; по ту сторону дороги – рожь, уходящая к горизонту, где синее лесок. Время очень раннее – около пяти-шести часов утра. Солнце.

Много богомольцев. Радостно возбужденные, они стоят группами и сидят под деревьями. Много нищих, слепых, хромых; в небольших ручных повозках калеки, паралитики, уроды-дети. По виду некоторых богомольцев, с котомками, сумками, палками можно понять, что они пришли издалека.

Первый богомолец. Не протолпишься<sup>160</sup>. Стоят стена-стеной.

В т ⟨орой⟩ богомолец. Куда там, пушкой теперь не прошибешь. Я и сам пробовал, да куда...

Первый ⟨богомолец⟩. Повидать бы! Господи, Батюшки, повидать бы. С той самой минуты дрожу я весь, места найти не могу. Повидать бы! Ведь есть же счастливые...

Купец. Не завидуй, Бог даст, все увидим. Такого в сто лет раз не бывает. Дал Господь дожить, даст и увидеть.

Второй ⟨богомолец⟩. Чудо... И подумать-то страшно: чудо, а? Ведь это что же? Ведь теперь всего ожидать можно. При-

<sup>157</sup> от ужаса вписано.

<sup>158</sup> огонь, зови вписано.

<sup>159</sup> Далее было: начина(я)

<sup>160</sup> Далее было: куда там

дешь домой, а там уже и дома нет, а... (*Счастливо смеется, утирая глаза.*)

Первый *〈богомолец〉*. Да, теперь ежели и умереть, так все равно. Повидать бы только, повидать! Как Он, Милостивый?..

*〈л. 58〉* Купец. Ни единой царапинки. Стекло на образе на что вещь хрупкая, а и то цело. Мне монах говорил. Кругом разрушение, кирпичи из стены повыбило, а Он стоит... (*Всхлипывает, строго.*) Прости ты нас, Господи Иисусе Христе, и того, который... и всех нас. Все грешны перед Тобой. И за что Ты только жалеешь нас!

Первый *〈богомолец〉*. Повидать бы!

Второй *〈богомолец〉*. Придешь домой, а дома-то и нет. Жена, а?

Слепой старик (*торопливо*). Что говорите? Не вижу я, слепой. Несут?

Третий бог*〈омолец〉*. Нет еще.

С*〈лепой〉* старик. Слепой я, не вижу.

Втор*〈ой〉* богомолец. Теперь не долго, дедушка. Прозреешь. Такое чудо, а ты говоришь, слепой. Да теперь... (*Машет рукой.*) Ай пойти, еще попробовать.

Жена (*держая его за рукав*). Куда тебе. Постой. Господи, шли мы и думали...

Купец. Здорово трабабахнуло. Я на сеновале спал.

Первый *〈богомолец〉* (*перебирая ногами от нетерпения*)<sup>161</sup>. Повидать бы!

Кто*〈-то〉*. Несут!

В толпе движение.

Купец. Нет, нет, стой, я знаю. (*Слепому.*) Стой, дедушка, не беспокойся. Мне монах говорил: как понесут, так во все колокола зазвонят, как на Пасху, и петь будут не обычное, что полагается, а "Христос воскрес из мертвых, смертью смерть..."

Многие (*крестятся*). Во истину!

В*〈торой〉* богомолец. Какая теперь смерть!

Мещанин (*подходит, горячо*). Нет, ведь это что же! Что же это, господа. Говорят, где Бог, а он вот он, среди нас. Это что же. Ведь я теперь от одного счастья умереть должен. Ведь это даже страшно. Жили, жили и вдруг!..

*〈л. 59〉* Купец. Дух захватывает, это верно.

<sup>161</sup> (*перебирая ногами от нетерпения*) вписано.



Мещанин. Жили, жили, грешили и вдруг. Вот Он, Бог, вот Он, понимаешь? *(Хватает пер(вого) богомольца за плечи и трясет.)* Ведь это даже страшно. Кто я такой? почему мне такое?

2-й богомолец. Говорю, придешь домой, а избы-то и нет!

Мещанин. Двадцать лет сюда я ходил, и все ничего, – и вдруг. Как же я теперь пойду – домой?

3-й богомолец. У многих и слов совсем нет: лежат и плачут. Потрогаешь<sup>162</sup>, посмотрит он и опять плакать.

Купец. Заплачешь!

Слепой *(все время улыбавшийся и прислушивавшийся к чему-то внутри себя)*. Стой! Братцы! Стой!

Голоса. Что? Что он?

Слепой *(бледнея и проведя рукой по лицу)*. Нет. Так. Ничего.

Кто-то *(озабоченно)*. Калек-то, убогих-то надо к Ему поближе. Ну, калеки, ну, убоженькие, идите-ка, идите. Вези, баба, своего, что стала. Ты царство Божие так-то проспишь.

Баба. Не пускают, миленький.

Кто-то. Кто не пускает? Пустят. Вези, вези. Им первое<sup>163</sup> место.

4-й богом(олец). Уж если не им, так кому же!

Купец. Мы здоровые, мы и подождать можем.

Многие. Что и говорить. Мы-то здоровые. Вези, баба, вези.

П(р)опу(с)кают баб, те везут калек и уродов.

Хромой *(плачет)*. Не доскачу я, миленькие.

Купец. Эх ты, живая душа на костылях. Ну давай, что ль, подсоблю.

4-й богом(олец). Не бойся, дядя. На всех хватит.

Мещанин *(быстро уходит, махая руками)*. Ведь это что же!

Первый (богомолец). Повидать бы! *(Идет за ним.)*

⟨л. 60⟩ Второй. Жена! Что я тебе скажу? *(Снимает шапку, крестится.)* Христос Воскресе!

Баба. Христос Воскресе, Роман Петрович.

Троекратно целуются и плачут.

Второй (богомолец) *(сквозь слезы)*. Стало быть, конец страданий-то, а?

Баба плачет.

Второй (богомолец). Не плачь, баба, не плачь. *(Плачет, утираясь шапкой.)*

Трое проходят.

<sup>162</sup> Далее было: его

<sup>163</sup> Далее было: -то(?)

Первый. ...И как только не повалило церковь. Всю<sup>164</sup> стену разворотило, решетку, знаешь,<sup>165</sup> железную, так всю в кольца, в жгут – как девка косу заплетает. Сила в нем страшная. Как услышал я, ну, говорю, бежим, братцы<sup>166</sup>, дело не ладно... А там дым, клубами...

Второй. А Образ<sup>167</sup> где?

Первый. Уж это потом. В провале в этом, как раз посередке. Кругом, ох ты, Боже мой, взглянуть страшно, а Он как был невредим, так и есть невредим. Чудо!

Второй (*крестится*). Страшно, брат.

Первый. Как не страшно. Я как увидел, так ни пить, ни есть не могу.

Третий. А того – поймали?

Первый. Этого-то?.. Да...

*Уходят.*

Голос. Несут!

Другие голоса. Да нет! Чего народ булгачить? Сказано тебе, что звонить будут!

Многие, однако, уходят по направлению к монастырю. Двое идут оттуда, один без шапки.

Первый (*без шапки*). Не ходи, задавят. Что там делается!

Второй. Бабу, говорят, беременную задавили.

*⟨л. 61⟩* Первый. Чисто ополоумел народ!

Из толпы. А еще не выносили?

Первый. Скоро вынесут.

Из толпы. Ах, батюшки, а мы тут сидим.

Многие уходят к монастырю. Среди оставшихся беспокойное движение, говор. Все глядят в сторону монастыря. Входят Саша и Сперанский. Саша – волосы в беспорядке, под глазами круги, на губах счастливая блуждающая улыбка.

С⟨перанский⟩. Присядьте здесь, А⟨лександра⟩ Е⟨горовна⟩, тут потише. Сюда, сюда, в тень. Жаркий будет день нынче. Шесть часов, а уже как пригревает.

Саша. Я не могу сидеть<sup>168</sup>.

С⟨перанский⟩. Отдохните, а там и опять пойдем. Мне тоже очень интересно. Какое событие! Если только мы действи-

<sup>164</sup> Далее было: арку *⟨нрзб.⟩*

<sup>165</sup> Далее было начато: стра⟨шренная?⟩

<sup>166</sup> братцы *вписано*.

<sup>167</sup> Было: Он

<sup>168</sup> Далее было: , а к

тельно существуем, то это самое удивительное – в высшей степени удивительное.

Саша. Неужели вы еще не верите, Г(ригорий) П(етрович) (?)

С(перанский). Как я могу верить, А(лександра) Е(горовна), когда все это только в глазах моих и в ушах. Ну – народ, ну – шумят, ну говорят “чудо” – а закрою я глаза, заткну уши – и ничего этого нет. Нет, мне не такое чудо нужно, А(лександра) Е(горовна).

Саша. Какое же вам еще. Разве может быть больше?

С(перанский). Не знаю какое, только не такое. Я ведь не оспариваю факта, А(лександра) Е(горовна) – и действительно, это в высшей степени удивительно. Только ничего из этого не следует.

Саша. Ничего?

С(перанский). Ничего-с.

Саша. Господи, какой вы несчастный, Г(ригорий) П(етрович). Все радуются – вы посмотрите, само солнышко радуется, вся земля радуется, а он сидит как мертвый...

С(перанский). Чему же мне радоваться? Вот С(авва) Е(горыч) тоже по-видимому не радуются.

Саша. А вы его видели?

С(перанский) А вы разве не видали? Он же около нас прошел. Я ему еще *л. 62* сказал: “Доброе утро, С(авва) Е(горыч)”, – только они ничего не ответили.

Саша. Не видала.

Спер(анский). Ну вот! Совсем рядом. Вид у них беспокойный и как будто ищут кого-то.

Саша. Не говорите мне о нем, Г(ригорий) П(етрович).

С(перанский) (*немного удивленный*). Хорошо-с. Я не знал. Но только вот они и сами. Доброе утро, С(авва) Е(горыч).

Входит Савва. Он очень бледен, под глазами круги, как у Саши, без фуражки. Идет<sup>169</sup> медленно, сильно сутулясь и вытягивая голову вперед, точно нюхая воздух. Перед Сашей останавливается и смотрит на нее неподвижным взглядом.

Савва. Ты тут?

Саша. Уйдем отсюда, Г(ригорий) П(етрович). (*Поднимается.*)

Савва (*брезгливо*)<sup>170</sup>. Что это такое, а?

Саша. Ты видишь.

Савва. Где Кондратий?

Саша. Ты был в народе, ты слышал, что говорят.

Савва молчит и смотрит на нее.

<sup>169</sup> Далее было начато: мед(ленно)

<sup>170</sup> (*брезгливо*) вписано.

С а ш а. Ты доволен? Это ты сделал. Ты сделал, Савва, ты. Как дьявол, который хочет навредить Богу, а все делает во славу Его<sup>171</sup>. Ты слышишь или нет?

С а в в а. Слышу.

С а ш а. Ты не брат мне теперь. Слышишь?

С а в в а. Слышу.

С а ш а. Пойдем отсюда, Г(ригорий) П(етрович).

С а в в а. Погоди!<sup>172</sup> Ты сама видела икону?

С а ш а. Сама.

С а в в а. Как она стоит? В центре взрыва или в стороне? Далеко (л. 63) от него?

С( а ш а). В центре, в центре! В самом центре.

С а в в а. И кругом все разрушено?

С( а ш а). Все, все!

С а в в а (сдержанно смеется). Ага. Так. (Садится.)

С( а ш а). Ты что-то думаешь?

С а в в а. Я всегда думаю.

С( а ш а) (с тоскою и гневом). Савва, где же граница твоей гордости!<sup>173</sup>

С а в в а (с легким вздохом). Одурачили. Дураки, а одурачили. Хм!..

С а ш а. Вся земля радуется тому, что ты сделал, Савва. Посмотри, какое солнце. Помнишь, я говорила тебе, что в этот день всегда сияет солнце. И опять понесут ее... Господи, Господи, какое счастье. Понесут над полями. Ты знаешь, что сегодня будут петь “Христос Воскресе”, как на первый день Святой... Во истину, воскрес Христос. И все это ты сделал, Савва, Савва. И все это твоими руками, Савва, Савва! (Смеется.) Что, жжет земля ноги, а? Это ад тебя зовет, Савва, Савва! Вы понимаете, Г(ригорий) П(етрович)?

С п е р( а н с к и й). Я понимаю, А(лександра) Е(горовна). Не надо говорить об этом, народ тут близко. Могут быть неприятности для С(аввы) Е(горыча). Я понимаю.

С а ш а. И правда, не надо. Разве для него не достаточно! Пусть уходит, как Каин – с печатью. На тебе печать, Савва, ты не знаешь. Что, узнал ты наконец страх, Савва?

С а в в а. Пока еще – нет.

С( а ш а). Чего ж ты еще ждешь? Разве этого мало?

С а в в а. Мало, сестра.

---

<sup>171</sup> Его *вписано*.

<sup>172</sup> *Было*: Постой!

<sup>173</sup> *Было*: злости?

С ( а ш а ). Мало? (Смеется.) Да ты посмотри! Ты разбудил Бога в людях – понимаешь – ты разбудил Бога в людях! Ведь это на тысячу лет пойдет. От деда к внуку пойдет. Ты послушай людей, что они говорят. Радость какая, счастье какое! Если они имели что против Бога, так теперь всё (л. 64) забыли, всё простили. За страдание, которое ты хотел причинить – ему, уже<sup>174</sup> однажды распятому за людей. Ты будешь жить, и всю жизнь ты будешь видеть, скрипя зубами от злости, – как всходит семя, посеянное тобою. Тобою, Савва, Савва. И везде так.<sup>175</sup>

С а в в а. Ты еще не знаешь правды.

С ( п е р а н с к и й ). Одни мертвые знают правду, С (авва) Е (го-рыч).

С а ш а. Что мне до твоей правды? Я видела сегодня старика, который плакал – вот правда! Правда, правда! Говори, что хочешь, Савва, я так счастлива. Я иду в монастырь, брат. Я теперь спокойна за людей – Бог не оставляет их. И меня ты вылечил, Савва.

С а в в а. Да, они радуются. Радуются. Но это<sup>176</sup> ненадолго<sup>177</sup>. Они узнают правду, скоро узнают правду... Какие вы глупые люди. Я смотрю на вас и думаю: какие вы<sup>178</sup> глупые люди.

С ( а ш а ). Говори что хочешь, Савва. Говори – так сладко слушать тебя.

С а в в а. Правда, я был удивлен, сильно удивлен, когда услышал это – “чудо”.

С ( а ш а ). Да – убежал без шапки.

С а в в а. Везде кричат “чудо, чудо!”. Бегут, сбивают с ног – идиоты! Но я тогда еще не знал, как это. Теперь я знаю (закрывает рукою лицо). Который час, что, уже поздно?

С п е р ( а н с к и й ). Половина седьмого.

С а в в а. Но не думай, сестра, я не испугался. (Смеется.)<sup>179</sup> Удивился, да. Сильно удивился. Еще бы, кричат “чудо, чудо” – в ушах звон от этого чуда. (Смеется.) Что ж<sup>180</sup>, не вышло. И теперь я не боюсь. Нет. И радости этой дикой не боюсь. Они уже там несколько человек задавили.

С п е р ( а н с к и й ). Кого? А я и не слышал. Много?

<sup>174</sup> Далее было начато: рас(пятому)

<sup>175</sup> И везде так. вписано (со знаком вставки) на л. 63 об.

<sup>176</sup> Далее было: еще(?)

<sup>177</sup> Было: не долго

<sup>178</sup> вы вписано.

<sup>179</sup> Далее было: Сильн(о)

<sup>180</sup> ж вписано.

Савва. И еще задают. Это ничего, это ничего, сестра. Я еще увижу настоящие слезы – не эти. Увижу. Который час?

⟨л. 65⟩ Спер⟨анский⟩. Я уже докладывал: половина седьмого.

Савва (оглядывается). Тут нигде нет воды? Лужи какой-нибудь.

Спер⟨анский⟩. Нет. Дождя давно не было. Воды мало, у бабы одной я видел чайник, как будто с водой. Позвольте я дойду до нее.

Саша. Не ходите. Он не смеет пить этой воды!

Савва. Не надо. Обойдусь<sup>181</sup>. А впрочем... Нет, уж сходите, если не трудно.

Спер⟨анский⟩ идет.

Савва. Слушай, Мишки не видала?

Саша. Нет.

Савва. И я его не видал. Вертится где-нибудь в толпе, небось кричит “чудо”.

Саша. А как ты думаешь, если бы он знал, кто это сделал, – подошел бы он к тебе?

Савва. Мишка? Подошел бы.

С⟨аша⟩. Нет. Нет!

Савва. Ну чего кричишь? Экая глотка.

Сперанский. Нате. На донышке осталось,<sup>182</sup> не отдает, насилиу выпросил.

Савва. Спасибо. (Выпивает). Маловато! (Допивает последние капли.) Сладкая вода. Отнесите и скажите: сладкая вода. (Увидя подходящего Кондратия.) Ага! Вот он гость дорогой. Насилу-то.

Кондратий (чистый, благообразный, сияющий). Здравствуйте, А⟨лександра⟩ Е⟨горовна⟩. И вы, здравствуйте, С⟨авва⟩ Е⟨горыч⟩.

Савва. Пришел?

К⟨ондратий⟩. Как видите?

Савва. Не<sup>183</sup> побоялся?

К⟨ондратий⟩. Чего же мне бояться? Авось не убьете, а если и убьете, так ⟨л. 66⟩ от вашей руки и умереть сладко.

Савва. Какой храбрый! Откуда только набрался. И чистенький какой, смотреть больно. Н-ну?

К⟨ондратий⟩. Ну-с.

Савва. С чудом поздравить можно?

---

<sup>181</sup> Было: А

<sup>182</sup> Далее было: на донышке

<sup>183</sup> Далее было начато: б⟨оаяся⟩

К<ондратий>. Да-с, чудо, великое чудо. *(Плачет.)* Удостоил Господь, теперь и умереть можно.

Савва *(удивленно)*. Плачешь? Это что.

К<ондратий> *(махнет рукой)*. Не тревожьте. Что я – я такой уж и есть я – великий грешник перед Господом. А вот о<тца> игум<е>на никак обкачать не могут – плачут всё. Весь монастырь рыданием рыдает.

Савва<sup>184</sup>. Господи, как хорошо! Только как же это вы, о<тец> Кондратий, не понимаю я...

К<ондратий>. Да я ничего, А<лександра> Е<горовна>.

Савва *(удивляясь)*. Да что вы, с ума все посошли. Ты, кукла, рассказывай. Как было, ну.

К<ондратий>. А так и было, как было. И не нукайте – по нукали и буде.

Савва *(грозно)*. Ну!

К<ондратий>. Ну так и было. Как сказала мне А<лександра> Е<горовна>, так я и сделал. Только вопреки совету вашему, А<лександра> Е<горовна>, пошел я к о<тцу> игумену и чистосердечно, как на исповеди, все ему доложил.

С<авва>. Так. Верно. Дальше.

К<ондратий>. Я не вам, я А<лександре> Е<горовне> говорю. Ах, ты, говорит, да ведь ты бы так в геенну и попал. Знаю, говорю, владыко – дьявол искусил. Ну, собрали они братию, посоветовались и, посоветовавшись, говорят мне: “Ты машинку эту не отдавай, а ступай ты и положи, как тебе сказано, и заведи. Пусть весь дьявольский помысел так полностью и совершится. А мы с братией, соборно, как и полагается, пойдем <л. 67> и с тихим пением икону-то и вынесем. Дьявол-то в дураках и останется”.

Савва *(радостно)*. Так, так, монах. Ну?

Саша *(удивленно и испуганно)*. Постойте, о<тец> К<ондратий>, как же это?

Савва *(хохочет)*. Ты слушай, слушай.

К<ондратий>. Позвольте окончить, А<лександра> Е<горовна>. А как, говорят, дьявольский умысел<sup>185</sup> совершится, так мы ее назад и поставим. Ну уж и сказать вам не могу, что это было такое, как мы ее выносили. Рыдает братия, петь никто не может. А уж как вынесли мы ее в притвор, да как подумали, кто на ее святом месте остался. *(Плачет.)* И сейчас вспомнить не могу! *(К Савве.)* Ну что, слышал!

Савва. Слышал. А потом и поставили.

<sup>184</sup> В рукописи описка. Должно быть: Саша. Далее было: *(удивляясь)*

<sup>185</sup> Было: помысел

К<ондратий>. А потом и поставили. И когда ставили, “Христос Воскресе” пели – так радостно, так светло!

Савва (*хочет*). Ну и актеры! Слышишь, Саша, слышишь? Где правда?

Саша (*колеблясь*). Я не понимаю...

Савва. Что же тут понимать. Так это и есть ваше чудо, монах?

К<ондратий>. Это<sup>186</sup> и есть!

Савва. Хорошо чудо! Лжецы окаянные.

К<ондратий> (*бледнея*). Вы позвольте. Вы так не говорите. В вас Бога нет, вы, извините (*шепотом*), антихрист (*крестится*), оттого вы так и говорите. А вы еще какого чуда хотели? Икона-то цела.

Савва. Еще бы, когда вы ее вынесли.

К<ондратий>. Вынесли! А кто нас умудрил на это, а? Кто? Ты, брат, потише, да. Вынесли! А ты разве не сделал все, чтобы взорвать? *(л. 68)* И денег ты мне дал, и машинку ты мне дал, и взрыв был – все. А икона цела? Цела, *(тихо)* антихрист! Ты вот через это перешагни.

Саша. Это правда. Она цела!

Савва (*хмурясь*). Вы сумасшедшие.

К<ондратий>. Да? А ты кто? Это по твоему глупому уму чудо так делается, что вот и стояла икона, и цела осталась. Дурак ты, даром что антихрист.

Саша (*хватаясь за голову*). Да. Да. Чудо. Чудо. Теперь я понимаю. И когда я шла к Кондратию...

К<ондратий>. Конечно. Это он один не понимает.

Саша. Да. Вот оно, вот оно – настоящее чудо. Господи, Господи, мне страшно, Господи! Она цела, цела, Кондратий?

К<ондратий> (*гордо*). Ни единой царапинки.

Савва (*угрюмо*). Ты всем расскажи.

К<ондратий>. А ты что думаешь? И расскажу. И расскажу. Это ты один, окаянный, не понимаешь, не видишь руки Господней?

Савва. Что же это?

К<ондратий>. Ага!

Савва. Тьма идет.

К<ондратий> (*торжествующе*). Ага, испугался, дьявол. Пробрало.

Савва. Чудо! И вы говорите чудо? Что же это? *(Озираясь)*. Где же тут люди!

<sup>186</sup> Было: Это-то



К<ондратий>. Испугался!

Савва (*широко*<sup>187</sup> *глядя на него*). Да. Страшно, монах. Страшно. (*Горбится, слегка дрожит*). Один я тут. (*Обводит руками, дрожа*.) Один!

К<ондратий>. Корежить начало. Так, так.

Саша (*с ужасом*). Антихрист!

⟨л. 69⟩ Савва<sup>188</sup>. Вы послушайте. Вы поймите. Ведь я же говорю как человек, ясно, просто. Так просто. Вы поймите.

К<ондратий>. Ага, запросил!

Савва (*гневно кричит*). Да ведь есть же у вас голова?

К<ондратий> (*подступая*). Ну, ты, не кричи, а то так крикну!  
(*Вокруг них постепенно собирается толпа*.)

Кто-то. Что это? О чем они.

Другой. Не знаю.

Кто-то. Смотри, смотри, тут дело не ладно.

К<ондратий>. Гляди, гляди, никого тут твоих нету. Твои в пекле сидят, туда ступай. И мне еще с тобою сосчитаться надо, да. (*Вынимает деньги и бросает в лицо Савве*.) Получи, сатана!

Савва (*не нагибаясь*). Что это?

К<ондратий>. Деньги твои! Все мне карманы прожгли! Антихрист! Душу было мою погубил! Спаси, Господь!

Саша (*с ужасом кричит*). Антихрист.

Толпа собирается ближе. Испуганный говор, в котором уже есть угроза.

Кто-то. Что тут?

Другой. Братцы, Антихрист!

Третий. Что это! Где?

К<ондратий> (*в исступлении, кричит*). Глядите на него, глядите, православные. Это он.

Голоса. Кто? Этот. Ага! Это он. Бери его!

К<ондратий>. Это он икону хотел взорвать! Берите его! Бейте!

Толпа с криком и угрозами окружает Савву. Многие подходят уже вплотную.

Кто-то с некоторой опаской берет его за рукав.

К<ондратий>. Бейте. Бейте в мою голову!<sup>189</sup>

⟨л. 70⟩ Савва (*отталкивая, выпрямляется, грозно*). Прочь, сволочь!

Голоса. Бей его! Что смотришь, бей его. Бей! Бей! Бей!

Савва (*идет на толпу, повелительно*). Дорогу!.. Дорогу!

При его приближении все отступают широким полукругом.

<sup>187</sup> Далее было: и откры(то)

<sup>188</sup> Далее было: (вытирая слезу)

<sup>189</sup> Так в рукописи.

С а в в а. Дорогу!

Идет и натывается на Ж е л е з н я к а. Оба некоторое время стоят молча.

Ж < е л е з н я к >. Это ты?

С < а в в а >. А это ты?

Ж < е л е з н я к >. Спасителя хотел?

С < а в в а >. Да.

Ж < е л е з н я к >. Христа?

С < а в в а >. Да. Христа. Пусти.

Ж < е л е з н я к >. Не пущу. Как звать?

С < а в в а >. С а в в а.

Ж < е л е з н я к >. Господи Иисусе Христе! От(п)усти рабу твою, Савве. Держись!

Бьет по голове. Набрасывается толпа и после отчаянной борьбы убивает его. Уже во время борьбы на монастыре звонят колокола радостно, как на Пасхе, и доносится нестройный гул, переходящий в пение: “Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ”.

Г о л о с а. Бросьте! Несут! Дай я его еще раз садану. Получи!

К т о - т о. Ворочается!

Г о л о с а. Бей! Нет, готов. Несут, Господи!

С п е р < а н с к и й > (*неподвижно стоявший у дерева*). Они его убили, А < л е к с а н д р а > Е < г о р о в н а >. Я же говорил: опасно!

С а ш а (*срываясь с места, идет к монастырю, поет*). Христос Воскресе!..

Толпа<sup>190</sup> постепенно расходится и идет навстречу приближающемуся пению. Пение торжествующее, стихийное, все растет. Звонят колокола. На освободившемся от народа месте истерзанный труп Саввы.

⟨л. 71⟩ К т о - т о (*оглядываясь*). Падаль-то уберите. Тут икона пойдет.

В т о р о й. Помоги-ка! У, проклятый (*волокут труп с дороги на авансцену*).

П е р в ы й (*толкая труп ногой*). Керосином бы тебя облить да сжечь, чтобы духу твоего не осталось.

В т о р о й. Идут! Господи!

Бегут навстречу и смешиваются с первыми показавшимися рядами.

С п е р < а н с к и й > (*осторожно трогает труп*). Мертвый. Настоящий.<sup>191</sup> И глаз нет, одни дырки, что сделали! А лицо спокойное. Правду узнал.

Т о л п а (*грохочет*). Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос Воскресе. Между деревьями, блистая камнями, показывается икона, окруженная монахами. Все заполняется толпой, скрывающей собой труп. При торжествующем, победном пении высоко над головами плывет икона.

<sup>190</sup> Далее было начато: рас(ходит)ся

<sup>191</sup> Настоящий. вписано.

Толпа. Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав! Христос...

Занавес.

27 января 1906

### ЧНЗ

### САВВА

(Ignis sanat)

### ПЬЕСА В 4 ДЕЙСТВИЯХ

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Егор Иванович Тропинин, 56 лет. Содержатель трактира в монастырском посаде.

Антон (Тюха) – 35 лет. Грязный, одутловатый, сонный. Редкая растительность.

Олимпиада<sup>192</sup>, 28 лет

Савва, 23 года. Большой, неуклюже грациозный, мужиковатый; ходит слегка сгорбившись, плечом вперед, носки внутрь. Но когда вспыхивает – выпрямляется, закидывает голову, точно раскрывается весь; движения становятся легкие и быстрые. Вместо бороды и усов – легкий, светлый пушок. Черты лица крупные, рубленые.

Эго дети

Пелагея, 30 лет, жена Антона.

О. Кондратий, 40 лет, послушник из монастыря.

Эперанский Григорий Петрович, бывший семинарист. Очень высок и худ. Говорит тихо, почтительно.

Царь Ирод<sup>193</sup>, странник, 50 лет. Косматые седые волосы, такая же борода. Имеет вид дикий. Одна рука, правая.

Толстый монах.

Седой монах.

Молодой послушник<sup>194</sup>.

Ионахи, богомольцы, странники.

<sup>92</sup> Было: Наталья

<sup>93</sup> Вместо: Царь Ирод – было: Железняк

<sup>94</sup> Молодой послушник вписано позднее между строк.

Действие происходит в начале XX столетия, в богатом монастыре, известном чудотворною иконою Спасителя.

### *Отвергнутые варианты*

**ЧН4а**

⟨3⟩<sup>195</sup>

С а в в а. До того серьезно, что можно было закричать от ужаса. И однажды я выбежал в поле и закричал городу: проклятый! – проклятый! – проклятый! А к самым ногам моим подходили чахлые и жалкие колосья, и возле работал человек, с глазами животного, с движениями рабочей скотины. И я позвал его: пойдём, сожжём этот город, а он – хотел ударить меня. И тогда я закричал и ему, и этим тощим колосьям, и всему: проклятые – проклятые!

⟨7⟩<sup>196</sup>

С а в в а.<sup>197</sup> (*вздыхает глубоко, но сдержанно*). Я-то? Д⟨а⟩ вот гляжу на зарницы и думаю: хорошо бы этак быть камнем где-нибудь у океана, в безлюдьи, чтобы только волна об грудь билась.

⟨9⟩<sup>198</sup>

⟨а⟩

Л и п а. Отдели пшеницу от плевел!

С а в в а. Огонь отделит ее<sup>199</sup>! Огонь, сестра, судия справедливый!<sup>200</sup> Грязную руду он превратит в блестящую искристую сталь,<sup>201</sup> негодное он сожжет, а то, что может жить и должно жить, почерпнет в нем начало новой, сверкающей жизни!<sup>202</sup> Умирает душа<sup>203</sup> чело-

---

<sup>195</sup> *Предположительно фрагмент соответствует тексту: С а в в а. ⟨...⟩ Но нет, это серьезно. Это серьезно, Липа! И тогда моей мысли стало больно – невыносимо больно (Д. 1, стк. 516–518)*

<sup>196</sup> *Фрагмент зачеркнут. Предположительно он должен был следовать за текстом: Кондратий. Да-а... О чем задумались, Савва Егорович? (Д. 2, стк. 630)*

<sup>197</sup> *Далее было: Я-то?*

<sup>198</sup> *Предположительно оба варианта должны были следовать за текстом: Л и п а. Но уничтожать все... Ты подумай!.. (Д. 3, стк. 494; первая строка вар. “а” – как замена)*

<sup>199</sup> *ее вписано.*

<sup>200</sup> *Огонь, сестра, судия справедливый! вписано.*

<sup>201</sup> *Далее было: (в зверях он вызовет ужасы⟨?⟩, а в благородных людях – пробудит ответ⟨?⟩)*

<sup>202</sup> *Далее было: Душа*

<sup>203</sup> *Умирает душа вписано.*

века, умирает под бременем прошлого<sup>204</sup>, под грудюю ошибок и лжи, ввевшейся в<sup>205</sup> душу, как мозоли вьедаются<sup>206</sup> в тело<sup>207</sup>. Ты знаешь ли, – ты знаешь ли, слепая, что уже сейчас на земле есть мертвые страны – мертвые озера в пустыне жизни. Они считаются лучшими, они считаются свободными и счастливыми – ты подумай: счастливыми! – и владыка их: смерть!

⟨б⟩

С а в в а. Огонь отделит, сестра<sup>208</sup>: он судья справедливый! Грязную руду он превратит в раскаленную сталь, негодное он сожжет, а то, что может и должно жить, возьмет в нем начало новой, сверкающей жизни! Умирает душа человека. Умирает его сильный, благородный разум! У-ух! Когда я подумаю об этом, когда я представлю себе его убийц – все эти ничтожные, тупые, зловеще глупые, зловеще бесчисленные... (*поднимает руку, но сдерживается и, успокаиваясь, говорит Липе*) А ты вот мешаешь мне взорвать какую-то икону! Эх, ты!

Л и п а. Ты снова!..

С а в в а. Молчи! (*подходит близко<sup>209</sup> и, глядя в глаза, тихо*) Ты знаешь, что уже сейчас – на земле – есть мертвые страны? Понимаешь: мертвые страны – мертвые озера. Их считают лучшими, свободными, счастливыми<sup>210</sup> счастливыми, понимаешь! – и не видят, что там уже смерть. Это могильные черви копошатся в трупе, а они думают: как там весело, как оживленно.

⟨12⟩

<sup>211</sup>С а в в а (*безмерно удивленно, в припадке внезапной веселости*). Да что вы, ребята? С ума сошли?<sup>212</sup>

Смеется, но быстро умолкает, не найдя поддержки. Липа плачет, Послушник и Сперанский смотрят в землю; только по лицу Тюхи пробегает быстрая, судорожная<sup>213</sup> улыбка и исчезает.

<sup>214</sup>И точно железными челюстями хлопают колокола.

---

<sup>204</sup> *Над словами:* под бременем прошлого – вписано (без знака вставки): его [свободный] сильный, благородный разум!

<sup>205</sup> *Далее было:* тело

<sup>206</sup> вьедаются вписано.

<sup>207</sup> *Далее было:* , как бородавки

<sup>208</sup> сестра вписано.

<sup>209</sup> *Далее было:* говорит

<sup>210</sup> *Далее было начато:* сча(стливыми?)

<sup>211</sup> *Фрагмент предположительно соотносится с текстом:* С а в в а . Да ведь вас же обманули! (Д. 4, стк. 493) или рядом располагающимся текстом.

<sup>212</sup> *Далее было:* (сме(еется))

<sup>213</sup> судорожная вписано.

<sup>214</sup> *Фрагмент предположительно соотносится с финальной ремаркой:* Победное пенне растет, ширится, переходит в дикий рев, покрывая собою все ос-

⟨13⟩<sup>215</sup>

Савва. Смотрел я нынче на эти рожи, и Тюху вспомнил (*хмуро, с тяжелой<sup>216</sup> усмешкой*) А у тебя, Липа, не рожа, это он соврал, у тебя – физио-гно-мия. Это приличнее⟨?⟩, чем рожа...

Липа. И ты еще смеешь издеваться. Это возмутительно! Уходи отсюда.

Савва. Но и отвратительнее... А где этот Тюха: ты его не видала?

Липа. Савва! Ты не хочешь слушать меня!

Савва (*равнодушно*). Говори!

⟨14⟩<sup>217</sup>

Липа. С идеями нельзя бороться динамитом!

Савва. Я не борюсь с идеями, я освободить их хочу!

#### ЧН46

(Редакция финала действия 1)<sup>218</sup>

Савва. Пусти.

Липа. Я теперь поняла, я догадывалась, зачем ты пришел. Савва, миленький, не искушай Бога! Ну хочешь, я на колени встану перед тобой – ведь я тебя в люльке качала, когда ты был маленький. А теперь я на коленях...

Савва. Встань, не люблю я этих мелодрам. Чего тебе надо от меня?

Липа. Не ходи! Не надо! Так было тихо все, и вдруг ты! Что это? Я не узнаю ничего кругом.

Савва. Чего надо, говори. Мне некогда.

Липа. Не ходи. За этим порогом ждет тебя... я не знаю что. Несчастье, ужас. Поверь мне. Когда монах говорил, я посмотрела на твое лицо и на нем было что(-то) такое – как будто ты уже был мертвый!

---

тальное. Колокола. (Д. 4, стк. 655–656)

<sup>215</sup> Фрагмент предположительно соотносится с текстом: Липа (*сурово*). Чего ты ждешь, Савва? Уходи отсюда, – ты здесь лишний. (Д. 4, стк. 272–273)

<sup>216</sup> Далее было: (*нрзб.*)

<sup>217</sup> Фрагмент предположительно должен был предшествовать тексту: Сломать тюрьму, в которой запрятаны идеи, и дать им крылья ⟨...⟩ (Д. 3, стк. 510)

<sup>218</sup> Фрагмент предположительно соотносится с текстом ОТ (Д. 1, стк. 744–771)

Савва. Ну, все? Пусти.

Липа. Ты идешь на смерть! Хуже, чем на смерть!

Савва (*морщась*). Какой вздор! Какие вы все здесь – неприятные.

Липа. Я умоляю тебя!

Савва. Надоело. Пусти (*отстраняет ее рукой*).

Липа. А, ты так, Савва. Ну, хорошо. Хорошо, Савва, хорошо. Пусть. Но только ты увидишь! Я не позволю. Я не позволю кому-нибудь бродяге, проходимцу...

Савва. Вот этот тон к тебе идет больше.

Липа. Убийца! Анархист! Я донесу на тебя!

Савва. Ого! Будь осторожнее, сестра! (*Кладет ей руку на плечо и [смотрит ей в глаза.]*) Будь осторожней, говорю.

Липа (*тише*). Ты!... (*секунды две безмолвной борьбы двух пар глаз... Липа отворачивается, закусив губы.*) Сумасшедший!

Савва. Вот так-то лучше. А то кричишь! Кричать никогда не надо! (*Уходит.*)

Липа (*одна*). Что же это?... Что же делать? Да?...]<sup>219</sup>

Кудахчут куры.

Егор Иванович (*во дворе*). Что же это? Что тут делается, а?<sup>220</sup> На полчаса ушел, а уже какой беспорядок! Полька, ты что это цыплят в малинник выпустила! Ступай, анафема, загони. Видишь, вон ястреб<sup>221</sup>. Вчера<sup>222</sup> одного унес, так<sup>223</sup> и нам(?) надо! Тебе говорю! А вот же я тебе пойду!.. А вот же я тебе!...

Занавес.

*Варианты рукописных и машинописных автографов  
и авторизованных копий (ЧА2, РКАП, НР, ЧН4, БМАП)  
и прижизненных изданий (Шт, СбЗн, Зн, Пр)*

- <sup>3</sup> Драма в четырех действиях / Пиесса в 4-х действиях (ЧА2, РКАП) / Пьеса в четырех действиях (Шт, БМАП, СбЗн)  
<sup>6-7</sup> лет под шестьдесят / лет под пятьдесят (РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн)

<sup>219</sup> Текст: *смотрит ей в глаза* ~ Что же делать? Да?... – находится на л. 23 в составе ЧА2.

<sup>220</sup> Что тут делается, а? *вписано*.

<sup>221</sup> Видишь, вон ястреб *вписано*. Далее было: , крутится

<sup>222</sup> Далее было: ястреб

<sup>223</sup> Было: так-таки(?)

- 10 мрачное, сонное / мрачно-сонное (Шт, БМАП)  
 13 Олимпиада / Олимпиада (Липа) (Шт)  
 15 24 лет / 23 года (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / а. 23 года б. 24 года (БМАП) / как в БМАП вар. "б" (Сб3н, 3н)  
 15-16 широкоплечий, немного мужиковатый / неуклюже грациозный, мужиковатый ◊ (ЧА2, РКАП)  
 18 держит что-то / держит что (ЧА2, РКАП, Шт)  
 20-21 становится весь / то становится весь (ЧА2, РКАП, Шт, БМАП) / как в ЧА2 ◊ (НР)  
 22 сутулость / сутуловатость (ЧА2, РКАП)  
 31 42 лет / 42 года (ЧА2, РКАП, Шт, БМАП) / как в ЧА2 ◊ (НР)  
 34 лет 20 / лет девятнадцати (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП, Сб3н)  
 34 волнистые / вьющиеся (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)  
 34-35 светлые волосы / волоса (НР) / как в НР ◊ (БМАП)

### ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

- 56 с засохшей геранью / с полусохшей геранью (ЧА2, РКАП)  
 59 Прокудахчет / Прокудахтает (НР) / как в НР ◊ (БМАП)  
 62 на стену / на стенку (Шт)  
 71 тоже за стойкой спит / тоже спит ◊ (ЧА2)  
 72 не дойдешь до реки / не дойдешь ◊ (ЧА2, РКАП)  
 87 Савки / Саввы ◊ (ЧА2, РКАП)  
 91 оставался / остался (РКАП)  
 92-93 Десять лет, Поля, не видал, как хочешь. / Десять лет не видал. ◊ (ЧА2)  
 95 от него отделаться / от него и отделаться (ЧА2, РКАП)  
 96 а держится по-господски / а ведет себя как барин (ЧА2, РКАП, Шт) / а держит себя как барин (НР, БМАП, Сб3н, 3н, Пр)  
 96 Ни с кем не хочет говорить / Говорить ни с кем не хочет (ЧА2)  
 97 боюсь / боюсь (НР) / как в НР ◊ (БМАП)  
 102 а ни один / но ни один (Шт)  
 109-110 веку немного / веку недолго (ЧА2, РКАП)  
 117 маясь от жары / томясь от жары ◊ (РКАП)  
 117 от речей Пелагеи / от речей) ◊ (ЧА2)  
 152 выгоню его / выгоню я его (ЧА2, РКАП)  
 168-169 зевает.) И зубы от него тоже проходят. Старый-то / зевает.) Старый-то ◊ (ЧА2)  
 177 его выгоню / его прогоню (ЧА2, РКАП)



- 182 калитка настежь / калитка открыта  $\diamond$  (ЧА2)  
 183 кто тогда отвечать будет / кто отвечать будет  $\diamond$  (ЧА2)  
 188 так полежи / так ты полежи (Шт)  
 189 как полежал / как полежит (ЧА2, РКАП)  
 192 Какие еще бумажки? / Какие бумажки?  $\diamond$  (ЧА2)  
 193–194 Какие? Не настоящие же: за настоящие ничего не бывает.  
 Фальшивые, вот какие. За это / Какие? Фальшивые. За  
 это  $\diamond$  (ЧА2)  
 203 отвечать / отвечай (Шт)  
 210 Вскормил / Выкормил (Шт)  
 211 скоро тоже запыет / тоже скоро запыет (ЧА2, РКАП)  
 211 по харе вижу / по роже вижу  $\diamond$  (ЧА2, РКАП)  
 239 в гроб / во гроб (Шт)  
 240 заговорил, зуда проклятая. / заговорил.  $\diamond$  (ЧА2)  
 241 зудит-зудит / ноет(?), ноет(?)  $\diamond$  (ЧА2)  
 242 железные обручи / железные круги (ЧА2) / как в ЧА2  $\diamond$   
 (РКАП)  
 244 со своим Савкой / с своим Савкой (ЧА2)  
 248 В монастырь я не пойду / В монастырь не пойду (ЧА2,  
 РКАП)  
 251–252 а не знаешь ты, / а не знаешь,  $\diamond$  (РКАП) / а не знаешь то,  
 (НР) / как в НР  $\diamond$  (БМАП)  
 260 подымать / поднимать (СбЗн, Зн)  
 271 Какой еще Кондратий? / Какой Кондратий?  $\diamond$  (ЧА2)  
 273–274 Тоже скажут! / Тоже, скажет! (ЧА2, РКАП)  
 296 от пьянства, Тюха. / от пьянства.  $\diamond$  (ЧА2)  
 307 я всегда смеюсь / (хохочет)  $\diamond$  (ЧА2)  
 308 так и скачут, так и плывут. / плывут.  $\diamond$  (ЧА2)  
 309 рожа. (Мрачно.) Можно умереть со смеху! / рожа. Можно  
 умереть со смеху! (Хохочет.)  $\diamond$  (ЧА2)  
 310 Ну-у / Н-ну (ЧА2, РКАП) / Ну (НР, Шт) / Ну  $\diamond$  (БМАП)  
 317 Тюха, ступай / Тюха, ладно, ступай. (ЧА2, РКАП)  
 323 пришло, а может / пришло, может (Шт)  
 330 Рабья душа, кривая. Она на трехногий стул похожа. / Рабья  
 душа. (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2  $\diamond$  (БМАП)  
 333 какая у нас здесь / какая здесь у нас (ЧА2, РКАП)  
 337 поговорить с тобою / поговорить с тобой (ЧА2, РКАП,  
 Шт)  
 342 бываешь редко... Сегодня чуть ли не в первый раз... / быва-  
 ешь редко...  $\diamond$  (ЧА2)  
 342–343 Да, Савва, – и охота же тебе / Да, Савва, охота тебе  $\diamond$   
 (ЧА2)

- 345 Нет, Липа, они хорошо играют / Нет, они хорошо играют ◊  
(ЧА2)
- 345–346 хорошо / очень хорошо (ЧА2, РКАП, Шт)
- 349 Ну так что же? / Ну так что ж! (ЧА2, РКАП)
- 354 Может, тебе скучно / Может быть, тебе скучно (ЧА2,  
РКАП)
- 356–357 Ты был сегодня в монастыре? / Ты был в монастыре? ◊  
(ЧА2)
- 360 Он у нас такой красивый / Он такой красивый. ◊ (ЧА2)
- 360 такой красивый, такой задумчивый / такой красивый, такой  
строгий, такой задумчивый (ЧА2, РКАП)
- 362–371 отчужденность... С а в а. Ты много книг ~ глухими стена-  
ми / отчужденность... Теперешние монахи такие неприят-  
ные – они в монастыре, как гости в гостинице, и монастырь  
не любит их. Шумные, неприятные – торгаши. // С а в а  
(улыбается). Да, ребята веселые. // Л и п а. Ты смеешься, а я  
бы всех их выгнала отсюда. В монастыре есть такие хоро-  
шие уголки, где никто не бывает. Такие, где-нибудь между  
глухими стенами ◊ (ЧА2)
- 374 кажется, что видишь что-то / кажется, будто слышишь и  
видишь что-то (ЧА2, РКАП)
- 384 Ведь не молиться же, не на праздник / Ведь не молиться  
же, на праздник (ЧА2, РКАП)
- 390–391 Ты видел наших, какие они / Ты видел, какие они ◊ (ЧА2)
- 404 совсем мерзко / совсем скв(ерно) ◊ (ЧА2)
- 405–406 Я был, Липа, в одном городе / Я был в одном городе ◊ (ЧА2)
- 409 по-старому – такие же маленькие / по-старому – малень-  
кие ◊ (ЧА2)
- 418 Ты, того, как насчет языка – не из болтливых? / Ты, того, не  
из болтливых? ◊ (ЧА2)
- 420–421 про людей, которые бомбочки делают – бомбочки, понима-  
ешь?.. / про людей, которые бомбочки делают ◊ (ЧА2)
- 422–423 террористами / анархистами (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в  
ЧА2 ◊ (БМАП)
- 424 террористы / анархисты (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в  
ЧА2 ◊ (БМАП)
- 430 неожиданно / это неожиданно (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП,  
СБЗн, Зн)
- 430–431 таких людей нет в действительности / таких людей в дей-  
ствительности нет ◊ (ЧА2)
- 437–438 через минуту, глядь, на этой же ветке / через минуту на  
этой же ветке (Шт)

- 443–444 С а в в а. Да что говорить! Люди они храбрые, это верно, но храбрость / С а в в а. Люди они, правда, храбрые, но храбрость ◊ (ЧА2)
- 445–446 не сделать чего лишнего / чего лишнего не сделать ◊ (ЧА2)
- 447 здоровенный лесище / [девственный лес] здоровый лесище (ЧА2) / здоровый лесище ◊ (РКАП)
- 453 как будто шутишь / как будто ты шутишь (ЧА2)
- 456–457 Страшнее того, Липа / Страшнее того, Саша ◊ (ЧА2)
- 458 утопленника спросить / утопленника спрашивать (ЧА2)
- 458 а что, дядя / а что, брат ◊ (ЧА2)
- 462 Сильная вещь / Вещь силь⟨ная⟩ ◊ (ЧА2)
- 463 двадцать четыре только года / 23 только года (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / 24 только года (БМАП, СбЗн, Зн)
- 469 так уж больше / так уже больше (НР, Шт, БМАП)
- 476 смеяться буду / я смеяться буду (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП)
- 476 страдания / страданий (НР, Шт) / как в НР ◊ (БМАП)
- 487–488 и вечно в страданиях кормить им / и вечно, в страданиях, кормить их (НР) / как в НР ◊ (БМАП)
- 491 с трогательною надписью / с трогательной надписью (ЧА2, РКАП)
- 492 Приидите ко мне / Приидите ко Мне (Шт)
- 495 притекает / приливает (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн) / привлекает (Зн, Пр)
- 501 царь Ирод / а. Железняк б. Царь Ирод<sup>224</sup> (ЧА2) / как в ЧА2 вар. “б” (РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн, Пр)
- 511 С а в в а (небрежно). Неизбывная / С а в в а. Неизбывная ◊ (ЧА2)
- 517 Это серьезно, Липа! / Это серьезно, Саша! ◊ (ЧА2)
- 518–520 – невыносимо больно ~ Это особенная боль / а. – невыносимо больно. Это особенная боль б. – невыносимо больно. (Прижимает пальцы ко лбу.) // Л и п а. Больно? // С а в в а. Да. Это особенная боль (ЧА2) / как в ЧА2 вар. “б” (РКАП, НР, Шт, БМАП)
- 519–531 Л и п а. У тебя болела голова? ~ уничтожить все. / Л и п а. Больно? // С а в в а. Да. Это особенная боль. Твое не знаешь. Ее знают немногие. И было больно, пока я не решил... // Л и п а. Что? // С а в в а. Уничтожить все. (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊<sup>225</sup> (БМАП)

<sup>224</sup> Такое соотношение вариантов сохраняется до конца второго действия.

<sup>225</sup> За исключением вариантов стк. 524–530.

- 520–521 *После:* Ее знают немногие. – Это великая боль. Она должнается мгновение, но мгновение это равно вечности. Она убивает человека, она же воскрешает его для новой жизни, в которой мало человеческого. (*Успокаиваясь.*) (ЧН4)
- 523 умер однажды / уже умер однажды (ЧН4, БМАП, СБЗн, Зн, Пр)
- 524 Л и п а. Ты говоришь загадками. / Л и п а. [Ты пугаешь меня!] (*испуганно*) Как странно ты говоришь!.. // С а в в а (*задумчиво*). Я не знаю почему вы все так жаждете воскресшего Христа? Я бы боялся – воскресшего Христа... // Л и п а. Савва! // С а в в а. А? (*усмехается*) Ну ладно, все это пустяки. Да, Липа, вот тогда я и решил... // Л и п а. Что? // С а в в а. Уничтожить все. (ЧН4)
- 530 С большим уважением. / Конечно, конечно, я не прав. (НР, ЧН4) / как в НР ◊ (БМАП)
- 534 А человека? / А человек? (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 535 А тебе человека жалко? Останется, не бойся. / Человек, конечно, останется. (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 538 Нужно срыть ее / Нужно ее срыть (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП)
- 540 Ты так странно говоришь!.. / Ты так страшно говоришь!.. (ЧА2)
- 543 Да, конечно, знаю. / Да, знаю. ◊ (ЧА2)
- 543 Я бывала / Я часто бывала ◊ (ЧА2)
- 545–546 Ну вот ~ поважнее которые. / Картины, статуи. ◊ (ЧА2)
- 546–547 старое не будет мешать. Старое платье, все. / старое не будет мешать. ◊ (ЧА2)
- 547 У тебя есть любимые вещи? ~ нужно уничтожить / в ЧА2, РКАП, НР, Шт нет.
- 552 оголить землю, Липа / оголить землю, Саша ◊ (ЧА2)
- 558–568 С а в в а. Ну да, я. ~ Мировая ошибочка произошла. / а. С а в в а. Ну да, я. Начну я, а потом, когда люди поймут, в чем дело, то присоединятся другие. Веселая пойдет работа, [Саша] Липа, небу будет жарко. Да. Только науку уничтожать не стоит, бесплодно: она неизменна и явится такой же.  
б. С а в в а. Ну да, я. Начну я, а потом, когда люди поймут, в чем дело, то присоединятся и другие. Только науку...  
в. С а в в а. Ну да, я. // Л и п а. Один? // С а в в а. Один этого не сделаешь. Конечно, впоследствии, когда поймут в чем

дело, найдутся и другие, но пока...[Ты знаешь, что такое хулиганы?] Впрочем, у меня есть кое-какой народ, с которым можно начать кампанию. Я уже приглядывался. // Л и п а. Рабочие? // С а в в а. Нет. Рабочие хороши, когда они голодны и обижены, а как только их покормят, так они становятся такими же смиренными и рассудительными, как и остальные. Нет, тут нужно нечто поострее, что не тупилось бы так скоро. Ты знаешь, что такое хулиганы? // Л и п а. Ну – знаю. // С а в в а. Так вот. Это готовое и острое орудие мести, которое человечество выковало против себя. Их лишили разума, всего человеческого, их превратили в особую породу низколобых существ; сами идут куда то к сверхчеловеку, а [им предоставили] их гонят назад, к обезьянам. Они храбры, неумоимо злы и любят все разрушать, потому что для них все на земле – чужое. Если бы у них был разум, они давно сделали бы то, [о чем] что хочу сделать я – и вот я стану ихним разумом, а они – моими руками. Их можно великолепно организовать, Липа. // Л и п а. И с ними, с этими ты думаешь начать новую жизнь? // С а в в а. Нет – только покончить со старой, которой они принадлежат. А потом, когда они выполняют, что [они] от них требуется, к чему они призваны, их надо будет уничтожить. Поголовно. Без руководящего разума они не сильны. Веселая пойдет работа, Липа, небу будет жарко!

2. С а в в а. Ну да, я. Только науку уничтожить не стоит, бесплодно: она неизменна и явится такой же. // Л и п а. Один? // С а в в а. Один этого не сделаешь. Впоследствии, когда поймут, в чем дело, найдутся и другие, но пока... Впрочем, у меня есть кое-какой народ, с которым можно начать кампанию. Я уже приглядывался. // Л и п а. Рабочие? // С а в в а. Нет. Рабочие хороши, пока они голодны и обижены, а сытые они так же рассудительны и смиренны, [видал я их на западе в прирученном состоянии] как и другие. И они тоже в конце концов дорожат этой самой культурой. Нет, тут нужно нечто поострее, что не тупилось бы так скоро... Ты знаешь, что такое хулиганы? // Л и п а. Ну – знаю. // С а в в а. Так вот. Это достаточно острое орудие мести, которое [человечество] люди выковали [для] против себя. Их лишили разума, всего человеческого, превратили в особую породу низколобых существ; сами, видишь ли, лезут куда-то к сверх-человеку, а их гонят назад, к обезьяне. Они храбры, неумоимо злы и любят все разрушать,

потому что для них все на земле чужое. Если бы у них был разум, они давно сделали бы что нужно – и вот, Липа, я стану ихним разумом, а они – моими руками. Их можно великолепно организовать, Липа. // Л и п а. И с ними, с этими, ты думаешь начать новую жизнь? С такими? // С а в в а. Нет, только покончить со старой. А когда они выполнят то, к чему они призваны, их надо будет уничтожить. Без руководящего разума они не сильны и большого сопротивления не окажут. – Да, Липа, веселая пойдет работа, небу станет жарко! // Л и п а. Сколько крови! // С а в в а. Не больше, чем пролито, но, по крайней мере, с толком. (ЧА2) /

*а. как в ЧА2 вар. “б”*

*б. С а в в а. Ну да, я. Только науку уничтожать не стоит, бесполезно<sup>226</sup>: она неизменна и явится такой же. – Да, Липа, веселая пойдет работа, небу станет жарко! // Л и п а. Сколько крови! // С а в в а. Не больше, чем пролито, но по крайней мере, с толком. (РКАП)*

*С а в в а. Ну да, я. Начну я, а потом, когда люди поймут, в чем дело, то присоединятся другие. Веселая пойдет работа, Липа, небу будет жарко. Да. Только науку уничтожать не стоит, бесплодно: она неизменна и явится такой же. // Л и п а. Сколько крови!<sup>227</sup> С а в в а. Не больше, чем пролито, но, по крайней мере, с толком. (НР, Шт) / как в НР ◊ (БМАП)*

<sup>564</sup> *После: через это надо перешагнуть. – [Пока(?)] Только разум уничтожает кровь, а чтобы проложить дорогу разуму, не нужно спасти все это – старое, глупое, безответственное. До голой земли! До голой земли уничтожить! Чтобы трава выросла на месте их городов, молоденькая, веселая травка с такими голубыми и красными цветочками. Да ◊ (ЧН4).*

<sup>569</sup> *кудахчут куры / кудахтают куры (РКАП, Шт)*

<sup>571</sup> *Л и п а. Какие планы! Ты не шутишь / Л и п а. Ты не шутишь ◊ (ЧА2)*

<sup>572</sup> *Вот надоели мне с этим все – шутишь, шутишь / Вот надоели мне с этим! Все – шутишь, шутишь (ЧА2, РКАП) / Вот надоели мне с этим: все шутишь, шутишь (НР, БМАП) / Вот надоела мне с этим: все шутишь, шутишь (Шт)*

<sup>574</sup> *Меня многие боятся, Липа. / Меня многие боятся. (ЧА2, РКАП, Шт)*

<sup>226</sup> В ЧА2: бесплодно. Возможно, здесь описка А.М. Андреевой.

<sup>227</sup> В Шт далее: Какой ужас!

- 577 я буду улыбаться? / я буду смеяться? ◇ (ЧА2)
- 580 А Кондратия нет / А Кондратия-то нет (ЧА2) / а. А Кондратия-то все нет б. как в ЧА2 (РКАП)
- 584 А у меня другие мечты, Савва. / А меня другие мечты ◇ (ЧА2)
- 585 со мной / со мною (ЧА2, РКАП, Шт)
- 587 Ну что ж / Ну что же (ЧА2, РКАП, Шт)
- 592 Чего не выдержала? / Что не выдержала? (НР, Шт) / как в НР ◇ (БМАП)
- 593 я уж не знаю / я уже не знаю (ЧА2, РКАП, Шт)
- 609 Показывает рукой / Показывает рукою (ЧА2, РКАП)
- 611 на Него / на него (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн)
- 617 Ну, жара! / Ну и жара! (ЧА2)
- 617–618 жара! Семь потов сошло, пока добрался. / жара! ◇ (ЧА2)
- 634–635 невоздержного / невоздержанного (НР, Шт, БМАП)
- 635 из волостных писарей изгнан / из волостных писарей удален ◇ (ЧА2)
- 641 Кондратий (Lune). В луже / Кондратий. В луже ◇ (ЧА2)
- 645–646 никто, конечно, не потрудился / никто не потрудился ◇ (ЧА2)
- 649 Олимпиада Егоровна / Александра Егоровна ◇ (ЧА2)
- 654–655 Во Иордане крещаяся / Во Иордане крещающуюся (СбЗн)
- 658 Только вы, отец, напрасно / Только вы напрасно ◇ (ЧА2)
- 662 Савва Егорович / Савва Егорыч (ЧА2)
- 663 А как поступил – вместо радости / А как поступил, так вместо радости (ЧА2, РКАП)
- 668–669 Савва Егорович, / Савва Егорыч, в монастыре (ЧА2) / Савва Егорович, в монастыре (РКАП)
- 669 у нас дьявол / у нас диавол (НР, БМАП, СбЗн, Зн, Пр)
- 672 Какой дьявол? / Какой диавол? (НР, БМАП)
- 675 попроще и поглупее / попроще да поглупее (ЧА2, РКАП)
- 680 Снаружи ночью посмотреть – покой / Снаружи посмотреть, благолепие, покой ◇ (ЧА2)
- 683 словно душа / словно жив(ая) душа ◇ (ЧА2)
- 685–686 так, пустяки, явление / так, пустяки, а у нас явление ◇ (ЧА2)
- 686–687 живут, чуть что не разговаривают / чуть что не разговаривают ◇ (ЧА2)
- 687 Ей-богу! Коридор у нас / Коридор у нас ◇ (ЧА2)
- 689–690 мотается, вроде тоже как бы человек, а потом / мотается, а потом ◇ (ЧА2)

- 692 а уж чувствовать-то – ничего уж / а уже чувствовать-то –  
ничего уже (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП, Сб3н, 3н, Пр)
- 695 у нас сил не имеет / у нас силы не имеет (ЧА2, РКАП, Шт)
- 701 а хоть бы тебе что / и хоть бы тебе что (ЧА2, РКАП)
- 701 Уж ни о чем другом / Уже ни о чем другом (ЧА2, РКАП)
- 702 силу-то нечистую / силу-то бы нечистую (ЧА2, РКАП)
- 717 с дьяволами возиться / с дьяволом возиться (ЧА2, РКАП)
- 718–719 да куда приткнуться? / да куда приткнешься? (ЧА2)
- 719 От дела я отбился / От дела я дав(но) отбился ◊ (ЧА2)
- 721 отвернувшуюся к окну, и щелкает себе по горлу) / отвернувшуюся к  
окну) ◊ (ЧА2)
- 731 приду / прибуду (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП, Сб3н)
- 733 До свидания / До свиданья (Шт)
- 733 Олимпиада Егоровна / Алек(сандра) Егоровна ◊ (ЧА2)
- 736 С а в в а (входит с бутылкой водки и связкой бубликов). / С а в в а  
(входит). (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 738 загораживает / загораживая (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП)
- 741 и думала, что это / и думала все, что это (ЧА2, РКАП)
- 745 И я слушала / Я слушала (Шт)
- 746 Или все это сон? / Или и это все сон? (ЧА2, РКАП)
- 747 Зачем? Зачем ты говорил про бомбы? / Зачем? (ЧА2, РКАП,  
Шт)
- 749–750 понимаешь, сошел с ума? / понимаешь, сошел с ума! (ЧА2,  
РКАП, НР, Шт)
- 752 Савва, ну миленький, ну голубчик / Савва, миленький ◊  
(ЧА2)
- 757 Убийца! Анархист! / а. как в тексте б. Убийца! Хулиган!  
(ЧА2) / как в ЧА2 вар. “б” (РКАП, Шт)
- 761 Секунды три борьбы / Секунды две борьбы ◊ (ЧА2)
- 765 Кудахчут куры. / Кудахтают куры. (НР) / как в НР ◊ (БМАП)

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

- 4 арчатыми под ней / арчатыми (Шт)
- 5 правая сторона сцены / правый угол сцены ◊ (ЧА2)
- 10 от башни, от стены / от башни и от стены (ЧА2, РКАП, Шт)
- 13 хлопает пастуший кнут / хлопанье пастушьего кнута (Шт)
- 14–15 движение по двору прекращается / движение по двору почти прекраща-  
ется (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП)
- 15–16 сидят Савва, Сперанский и молодой послушник / сидят Сав-  
ва и Сперанский ◊ (ЧА2)
- 17 висящие двумя унылыми прядями / висящие двумя унылыми косма-  
ми(?) ◊ (ЧА2)



- 18–19 жестикулирует одним вытянутым указательным пальцем / почти без жестикуляций ◊ (ЧА2)
- 22 Савва Егорович / Савва Егорыч (ЧА2, РКАП)
- 42 а не все одно / а не всё – одно место (ЧА2, РКАП) / а не все одно место (НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн, Пр)
- 43 рыбу ловить / рыбу удить (ЧА2, РКАП, Шт)
- 47 сбивать / обивать (ЧА2, РКАП)
- 47 сбиваешь / обиваешь (ЧА2)
- 51 Я тоже люблю / И я тоже люблю (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн, Пр)
- 54 дьякон / диакон (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн, Пр)
- 63 Не знаю, не пробовал. Но думаю, что интересно. / Не знаю, не пробовал. (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 64 Очень интересно. / А я люблю. (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 64–65 змей пускать / змеи пускать (ЧА2, РКАП, БМАП)
- 66 А некогда / А прежде (ЧА2, РКАП, Шт)
- 70 Что же / Ну, что же (Шт)
- 71 А мне вот / А вот мне (Шт)
- 76 ничего уж нет / ничего уже нет (ЧА2, РКАП, Шт)
- 77 если уши заткнуты / если уши заткнуть (ЧА2, РКАП, Шт)
- 81 Спать пора! Спать! Слышишь! / Спать пора! Спать! (Шт)
- 90 на чугушке задавило / чугушка задавила ◊ (НР, БМАП)
- 96–97 Вы – как дверь, которая покорибилась от дождя и сквозь которую вечно дует. / в ЧА2, РКАП, НР, Шт нет. / Вы как дверь, которая покорибилась от дождя и через которую вечно дует. ◊ (БМАП)
- 99–100 Какой дурак вас вынул? Товарищи? / Какой дурак вас вынул? (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 102 Савва Егорович / Савва Егорыч (РКАП)
- 104 от семинарии оставшийся / от семинарии ◊ (ЧА2)
- 110 лесной дух, козлоногий / лесной дух ◊ (ЧА2)
- 112 шагом.) / шагом. Подходит толстый монах.) (Шт)
- 122 во всей, можно сказать, России / можно сказать, во всей России (Шт)
- 129 в прошлый год / прошлый год (ЧА2, РКАП, Шт)
- 130 двое хромых / два хромых (Шт)
- 134–135 Конечно, много теперь неверующих / Конечно, теперь много неверующих (ЧА2, РКАП, Шт) / Конечно, много неверующих (НР) / как в НР ◊ (БМАП)

- 137–142 С а в в а. Нет, не так много. ~ Народ образованный / С а в -  
в а. Как кому.  $\diamond^{228}$  (ЧА2)
- 137–138 в церковь не ходят и думают / в церковь не ходят, а думают  
(Шт)
- 143 конечно / только  $\diamond$  (ЧА2)
- 148 Егора Ивановича / Егора Иваныча (ЧА2)
- 157 Монахи смеются. / Монахи благодушно смеются.  $\diamond$  (ЧА2)
- 159 Погодите минутку / Позвольте  $\diamond$  (ЧА2)
- 161 на ём / на нем (РКАП, СБЗн, Зн, Пр)
- 161–162 вериг на полтора пуда / вериг на 12 пуд (ЧА2, РКАП) / ве-  
риг на двенадцать пуд (Шт)
- 164 Ирод, а Ирод! / Железняк, а Железняк!  $\diamond$  (ЧА2)
- 184 сына я своего убил / сына своего я убил (ЧА2, РКАП)
- 190 всех людей опроси / всех людей спроси (Шт)
- 196–197 своими руками. / вот этими руками.  $\diamond$  (ЧА2)
- 207 такой запалить / такой запалить огонь  $\diamond$  (ЧА2) / такой огонь  
запалить (Шт)
- 209–210 время на то приходит / время приходит  $\diamond$  (ЧА2)
- 211 посмотрю я вокруг / посмотрю я округ (ЧА2, РКАП, Шт)
- 212 куда же большое все / куда же все большое (ЧА2, РКАП,  
НР, Шт, БМАП, СБЗн)
- 212 подевалось / девалось  $\diamond$  (ЧА2)
- 214 Идешь так-то / Идешь так-то ночью  $\diamond$  (ЧА2)
- 214 ко краю / к краю (ЧА2, РКАП, Шт)
- 218 солнце не восходит / солнце не всходит (НР) / как в НР  $\diamond$   
(БМАП)
- 223 тоска моя великая / тоска великая (НР) / как в НР  $\diamond$   
(БМАП)
- 223–224 Кричать стану / Кричать начну  $\diamond$  (ЧА2) / Кричать начну  
(Шт)
- 225 Толстый монах (седому тихо). / Толстый монах (се-  
дому монаху тихо). (Шт)
- 227 (встряхнув головой) / (стукнув палкой(?))  $\diamond$  (ЧА2)
- 228–229 да сына убил, да царь Ирод / да сына убил  $\diamond$  (ЧА2)
- 229 а души моей / но души моей (ЧА2)
- 229–230 тоски моей не знаете / тоски моей вы не знаете (Шт)
- 230 Слепы вы все / Слепые вы все (ЧА2, РКАП, Шт)
- 231 что брюхо / чего брюхо (ЧА2, РКАП)
- 237 С его пуза / С его брюха  $\diamond$  (ЧА2)

<sup>228</sup> За исключением варианта стк. 143.

- 243 Экий ты ругатель, царь Ирод / а. Экий ругатель б. Экий ругатель ты, царь Ирод (ЧА2, РКАП) / как в ЧА2 вар. "б" (Шт)
- 243–244 откуда слова у тебя берутся / откуда слова берутся ◊ (ЧА2)
- 246–247 для обители он человек не вредный / для обители он человек полезный ◊ (ЧА2) / для обителей он человек не вредный (Шт)
- 261–289 Ну, так послушай ты меня ~ Дождетесь скоро. Вот придет дьявол / Ну, так послушай ты меня: будет у тебя горе, не ходи ты к людям. Будь друг, не ходи. [Нет зверя жесточе человека.] Невмоготу станет – лучше к волкам в лес пойди. Сожрут сразу, и баста, а эти... [Нет зверя жесточе человека.] Видел я, парень, много плохого, а хуже человека ничего не видал. Нет! Говорят тоже: по образу, по подобию созданы. Ах, сукины дети, сукины дети! Да разве есть у вас образ? Да будь образ самый махонький, так вы бы от стыда одного на карачках поползли, сукины дети! Хоть ты им смейся, хоть ты им кричи, хоть ты им [смейся] плачь, как были, так и остаются. Вот погодите, голубчики: придет дьявол ◊ (ЧА2)
- 294 огонька послушаетесь / огонька послушайтесь (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 298 до второго пришествия! / а. до второго пришествия, а там мы новенького огоньку подложим! б. до второго пришествия, а там мы новенького подложим огоньку, новенького! (ЧА2) / как в ЧА2 вар. "б" (РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн, Пр)
- 303 (благодушно) / в Шт нет.
- 306–307 До приятного свидания, молодые люди. ~ как толстый монах хохочет. / До приятного свидания, молодые люди. Послушайте, послушайте, человечек любопытный (уходят). ◊<sup>229</sup> (ЧА2)
- 308 (сердито) / в ЧА2, РКАП, НР, Шт нет.
- 311 так можно / таки можно (ЧА2, НР, БМАП, СбЗн)
- 316 человечек любопытный / человек любопытный (НР) / как в НР ◊ (БМАП)
- 316 До свиданья! / До свидания! (Шт)
- 325 Когда как / Как когда (ЧА2, РКАП)
- 325 Ты мне прости / Ты меня прости (ЧА2, РКАП)

<sup>229</sup> За исключением вариантов стк. 308, 311.

- 335 Господи, видишь ли? / Господи, видишь ли Ты? (*Шт*)
- 340 не хочу горя / не хочу я горя (*ЧА2, РКАП*)
- 340–341 я вижу, хороший, сильный / я вижу, сильный ◊ (*ЧА2*)
- 344 Вот Каин / Вон Каин (*ЧА2, РКАП, Шт*)
- 348–349 что толку от этой правды / что толку от этакой правды  
(*ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП*)
- 349 Вот горе мое, видишь, какое, / Вот горе мое, видишь, какое  
оно, (*Шт*)
- 358 Да, смотри / Ну да, смотри ◊ (*ЧА2*)
- 360 Тебе дорого, что / Тебе дорого то, что (*Шт*)
- 361 что ли / что ль (*ЧА2, РКАП*)
- 362 распинали-то Его / распинали Его ◊ (*ЧА2*)
- 366 да вот научу, да устрою / а. вот научу, вот устрою б. да вот  
научу, да вот устрою (*ЧА2*) / как в *ЧА2* вар. “б” (*РКАП, НР,  
Шт, БМАП, СбЗн*)
- 368 вот оно какое дело / вот какое дело ◊ (*ЧА2*)
- 370–371 потерпи, Сынок, узнай / потерпи, узнай ◊ (*ЧА2*)
- 371 какова она / какая она (*ЧА2*)
- 371 Он и затосковал / Он затосковал ◊ (*ЧА2*)
- 378–379 куда ни повернешь / куда ни повернись (*ЧА2, РКАП, НР,  
БМАП, Шт, СбЗн, Зн, Пр*)
- 385 А все-таки на людей ты напрасно / А на людей ты, дядя,  
напрасно ◊ (*ЧА2*)
- 386 очень мало / мало ◊ (*ЧА2*)
- 388 С перанский. Да и Христос ~ Вот то-то и оно. / Царь  
Ирод. Нет, парень, нету. Я тебя обманывать не буду: нету.  
(*ЧА2, РКАП, НР, Шт*) / как в *ЧА2* ◊ (*БМАП*)
- 394–395 После: Ты знаешь, ведь это они царем Иродом окрестили.  
– Нет, парень, зверя жесточе человека. ◊ (*ЧА2*)
- 397–398 Да люди-то твои. Нет, парень, зверя жесточе человека... /  
Да люди-то твои. ◊ (*ЧА2*)
- 399–400 кличку-то носить / кличку носить ◊ (*ЧА2*)
- 401 Да Еремей же; Еремеем меня звать. / Петр, Петром меня  
звать. ◊ (*ЧА2*)
- 402–403 А они: Ирод, да еще Царь, чтобы ошибки не было!.. Гляди /  
А они: Ирод... Гляди ◊ (*ЧА2*)
- 404 ты образ-то Его видел / ты образ-то видел ◊ (*ЧА2*)
- 406–407 Ну так посмотри, посмотри, посмотри... / Ну так посмотри,  
посмотри... (*ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП*)
- 407 Зачем идешь, мышь летучая? / Зачем идет, мышь летучая?  
(*Шт*)

- 407–408 к бабам собрался? / к бабам собрался. (Подходит Кондратий)  
(Шт)
- 409–410 Савва Егорович / Савва Егорыч (ЧА2, РКАП)  
419 иди к волкам / или к волкам (СБЗн, Зн, Пр)  
429 скоро этот господин / скоро ли этот господин (Шт)  
430 Вот еще / Вон еще (ЧА2)  
430 кто-то прется / какая-то фигура ◊ (ЧА2)  
431 нерешительно всматривается / нерешительно останавливается (ЧА2,  
РКАП, НР, Шт, БМАП, СБЗн)  
433 с тобой / с тобою (ЧА2, РКАП)  
435 за мной ходят / за мною ходят (ЧА2, РКАП)  
439 Вот и ступайте вместе / Вот и ступайте себе вместе (ЧА2,  
РКАП, Шт)
- 453 Со мной разговоры короткие: прогоню. / Со мной разговор  
короткий – прогоню. (Шт)
- 456–458 Пауза. Темнеет. ~ во двор монастыря. / а. Пауза. Зарницы. Слегка погро-  
мыхивает временами далекий гром. б. Пауза. Зарницы. Погромыхивает  
временами далекий гром. (ЧА2) / как в ЧА2 вар. “б” (РКАП,  
НР, Шт) / как в РКАП ◊ (БМАП)
- 467 отводит глаза и пожимает плечами / отводит глаза, пожимает плеча-  
ми (ЧА2, РКАП, Шт)
- 491 так я все-таки сделаю / так я сделаю ◊ (ЧА2)
- 491–492 и на твоей душе / и на твоей, дядя, душе ◊ (ЧА2)
- 502–506 С а в в а. Ну да. Налипло на него много ~ так нужно с него  
и шапку и голову снять. Эх, дядя / а. С а в в а. Для меня –  
дерево. Для дураков святыня, поэтому и хочу я ее уничто-  
жить. Вот-то они рот поразинут!.. Эх, дядя б. С а в в а. Для  
меня – дерево. Для людей святыня, поэтому и хочу я ее  
уничтожить. Вот-то они рот поразинут!.. Эх, дядя (ЧА2) /  
как в ЧА2 вар. “б” (РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 вар. “б” ◊  
(БМАП)
- 511 Хорошее начало / Хорошо начало (ЧА2, РКАП, НР) / как в  
ЧА2 ◊ (БМАП)
- 516 икона – это еще ничего. / икона – это что! ◊ (ЧА2)
- 518 Ну, да уж / Ну, это уж ◊ (ЧА2)
- 524–525 они почувствуют, холопы / они почувствуют тогда, холо-  
пы ◊ (ЧА2)
- 525 кончилось царство / кончено царство (Шт)
- 529 А вам не жалко? / А вам и не жалко? (ЧА2, РКАП, НР, Шт,  
БМАП, СБЗн, Зн)
- 531 в застенок посадили, а я их / в застенок глупости посадили,  
а их я ◊ (ЧА2)

- 532–533 Тебе в голову гвозди вбивали ~ пожалеть их надо? / в ЧА2, РКАП, НР, Шт нет / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 537–538 университеты – и дома терпимости. / университеты и бардаки ◊ (ЧА2)
- 540 сколько на одну галерею острогов приходится / сколько на одну галерею острогов да бардаков приходится ◊ (ЧА2)
- 546–547 Огонь, дядя, учитель хороший / Огонь учитель хороший ◊ (ЧА2)
- 547 Ты слышал о Рафаэле? / Ты слышал, Кондратий, о Рафаэле? ◊ (ЧА2)
- 549 мы примем за них. / мы примемся за него. ◊ (ЧА2)
- 550 Тицианы, Шекспир, Пушкины, Толстые / Тицианы, Шекспир, Байроны, Пушкины ◊ (ЧА2) / Тицианы, Шекспир, Байроны, Пушкины (Шт)
- 551 мы сделаем хорошенький костерчик и польем его керосином. / мы сделаем хороший костер. ◊ (ЧА2)
- 558 оденут в камень, и тогда / оденут в камень, как могилы, и тогда ◊ (ЧА2)
- 560–567 С а в в а. Тогда все будут бедные. Богатый – отчего он богат? ~ Ты мужик, Кондратий? / С а в в а. Тогда все будут бедные. Ты мужик, Кондратий? ◊<sup>230</sup> (ЧА2)
- 561 есть у него дом / есть у него дома (ЧА2, РКАП)
- 561 забором он отгородился / забором он огородился (ЧА2, РКАП, Шт)
- 566 Голые это все, как из бани! / Голые все, как из бани! (Шт)
- 570–571 Но только много народу пропадет / Много неповинного народу пропадет ◊ (ЧА2)
- 576 покоя, дядя, не будет / покоя не будет ◊ (ЧА2)
- 576–577 Останутся только свободные и смелые / Останутся только молодые и свободные, и смелые ◊ (ЧА2)
- 577 с молодой жадной душой / с молодой и жадной душой (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн)
- 581–583 С а в в а. Как у меня? ~ свободнее, веселее. / С а в в а. Да, как у меня. (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / Как у меня? Нет, Кондратий, я плох, во мне много сидит от старой жизни. Коли не сгорю сам в этом огне, так нужно будет меня упразднить, в свое время. Конечно, будут лучше люди, огнистее. ◊ (ЧН4) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 586–591 К о н д р а т и й. Любопытно. Только позвольте сказать ~ не будет человека. / К о н д р а т и й. Любопытно! ◊<sup>231</sup> (ЧА2)

<sup>230</sup> За исключением вариантов стк. 561.

<sup>231</sup> За исключением вариантов стк. 617.

- 587 Савва Егорович / Савва Егорыч (ЧА2, РКАП)<sup>232</sup>
- 591–594 Раз жизнь ему не удалась ~ осквернителя и страдальца земли!.. / Довольно! (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 598–599 клетки, в которых они живут, постели / клетки, в которых они живут, душевные, тесные постели ◊ (ЧА2)
- 601 воскресить умершее веселье. / воскресить давно умершее веселье. ◊ (ЧА2)
- 602–608 Родившийся умным ~ тотчас не умерли сами. / Родившийся умным, глупеет среди них; родившийся веселым – вешается от тоски и высовывает им язык. Глупости они воздвигают храмы, а ум – гноят в тюрьме и вырывают ему язык из гортани; рабы у них свободны – а свободные в цепях. Среди цветов прекрасной земли – ты еще не знаешь, монах, как она прекрасна! – они устроили сумасшедший дом. И как они лгут, как они лгут, монах! Как они боятся правды, как они ее ненавидят! А что они делают со своими детьми. Я еще не видел ни одних родителей, которые не были бы достойны смертной казни: во-первых, за то, что родили; а во-вторых, – что, родивши, не умерли тотчас же сами. ◊ (ЧА2)
- 609 Ко н д р а т и й. Ого, как вы говорите! / Ко н д р а т и й. Ого, как вы говорите! Послушать вас, так ведь это что-же? (Шт)
- 622–625 Пауза. Сверкают безмолвно зарницы ~ свое одиночество и близкую смерть. / Пауза. Сверкают зарницы. Гром стих. Где-то колотит сторож в железную доску. (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / Пауза. Сверкают настойчиво зарницы. Гром стих. Где-то колотит сторож в железную доску. ◊<sup>233</sup> (БМАП)
- 623 Савва неподвижно-широко смотрит / Савва неподвижно и широко смотрит (БМАП, СбЗн)
- 623 на зарницу / на зарницы (БМАП, СбЗн)
- 627 С а в в а (думая) / С а в в а (задумчиво) (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 629 Продолжительное молчание. / Продолжительная пауза. (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 630 О чем задумались / Что задумались ◊ (ЧА2)
- 631–639 (Савва молчит. ~ Да ну, дядя, будет упрячиться! / С а в в а. Так... (Слегка вздыхает, весело.) Ну как же, Кондратий, начнем? (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / С а в в а. Так... О многом...

<sup>232</sup> Такое соотношение вариантов сохраняется далее до конца второго действия.

<sup>233</sup> За исключением вариантов стк. 623.

- обо всем. (*Слегка вздыхает, весело.*) Ну как же, Кондратий, начнем?  $\diamond^{234}$  (БМАП)
- 630 О чем задумались / Что задумались  $\diamond$  (ЧА2)
- 633 Мертвая голова называемая / Мертвая голова называется (БМАП, СбЗн, Зн, Пр)
- 644 Кондратий (*густо вздыхает*) / Кондратий (*вздыхает*) (Шт)
- 655 Я и дьявола / Я и дьявола-то (Шт)
- 658–659 Мне ничего не / Я ничего не  $\diamond$  (ЧА2)
- 664 самые года / самые годы (НР, БМАП, Шт, СбЗн, Зн, Пр)
- 664–665 С а в в а. Ну вот, самые года. Деньги тебе нужны? // К о н д р а т и й. А они у вас есть? / С а в в а. Ну вот, самые года. // К о н д р а т и й. Иконы жалко. Явленная, говорят, она, в ручье явилась. // С а в в а. Было бы чего жалеть. Чудотворная, а ни одного чуда, сказать даже неловко. // К о н д р а т и й. Подменили, говорят, ее; дьявол подменил. // С а в в а. И того лучше. А вы лбом бухаетесь, народ обманываете. Нечего, дядя, долго растабарывать, по рукам так по рукам. // К о н д р а т и й. Идти вам надо, скоро ворота запрут... А вдруг?... // С а в в а. Что еще вдруг? // К о н д р а т и й. А вдруг – я к иконе подходить стану, а меня – громом! // С а в в а (*смеется*). Не бойсь, не ударит. Так-то и все думают: громом убьет, ан и икона взорвана, и громом не убило. Деньги тебе нужны? // К о н д р а т и й. А они у вас есть? (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2  $\diamond$  (БМАП)
- 670–671 это дело ваше. / это дело.  $\diamond$  (ЧА2)
- 671 А деньги, конечно, никогда не лишнее. / А деньги, конечно, никогда не лишне. (ЧА2, РКАП, Шт) / А деньги, конечно, никогда не лишние. (НР) / как в НР  $\diamond$  (БМАП)
- 675 народу приятнее / народу пример  $\diamond$  (ЧА2)
- 676 не заметишь. По себе знаю. / не заметишь.  $\diamond$  (ЧА2)
- 677 Что же / Что ж (ЧА2, РКАП)
- 679 лучше же я законным браком / лучше ж я законным браком (ЧА2, РКАП, НР, БМАП, СбЗн)
- 682 раньше или потом? / раньше или уже потом? (ЧА2, РКАП, Шт)
- 690 С а в в а (*хлопая по плечу*). / С а в в а (*хлопает по плечу*). (Шт)
- 697 Что же / Что ж (ЧА2, РКАП)
- 699 А мы с Антоном Егоровичем / А мы с Антон Егорычем (ЧА2, РКАП)

<sup>234</sup> За исключением вариантов стк. 633.



- 700 Бабу нынче / Бабу сегодня ◊ (ЧА2) / Бабу сегодня (Шт)
- 704 Антон Егорович / Антон Егорыч (ЧА2, РКАП)
- 708 очень смешная рожа! / очень смешная рожа! (Удерживается от смеха.) ◊ (ЧА2)
- 710–711 Пойдемте, Антон Егорович. / Пойдемте, Антон Егорыч. (ЧА2, РКАП)
- 716 Свободные. Так слушай. / Так слушай. ◊ (ЧА2)
- 717 ты возьмешь, значит, машинку / ты возьмешь машинку ◊ (ЧА2)
- 722 Теперь если и откажешься, / Теперь даже если откажешься, (Шт)
- 727 вы веселый были. / вы веселей были. (ЧА2, РКАП) / вы веселее были. (Шт)
- 731 (машет рукою) / (машет рукой) (Шт)
- 731 что вы шутите / что шутите (ЧА2, РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн, Пр)
- 732 как бы ворота не заперли. / скоро ворота запрут. (ЧА2, РКАП, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 733–734 а про коридор подумаешь / а как про коридор подумаю (ЧА2, РКАП, Шт)
- 734 Прощайте. / в ЧА2, РКАП нет.

### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ<sup>235</sup>

- 6–7 Большею частью / Большой частью (Шт)
- 8 где-то далеко, слева / с левой кулисой ◊ (ЧА2)
- 10 стихийного движения / стихийного стремления ◊ (ЧА2)
- 14–15 Разговор Тюхи и Сперанского ведется шепотом. После открытия занавеса продолжительная пауза. / После открытия занавеса продолжительная пауза. ◊ (ЧА2)
- 28 Антон Егорович / Антон Егорыч (ЧА2, НР)
- 43 (Кривит весело лицо, / (Сдержанно хохочет, ◊ (ЧА2)
- 57 свечки нету / свечки нет (Шт)
- 65 Вы никогда не смеетесь / Вы мало смеетесь ◊ (ЧА2)
- 66 вы этого не видите / вы этого нет, не видите ◊ (ЧА2)
- 77 как будто в самой комнате / как будто в комнате ◊ (ЧА2)
- 87 жестикулируя одним пальцем, как будто передает тайну. / как будто передает тайну. ◊ (ЧА2)
- 107 Такой вид у меня / Такой у меня вид (ЧА2, НР)
- 109 Послушник / Молодой послушник (ЧА2, НР, Шт, БМАП)
- 110 Я же его в лес / Я его в лес ◊ (ЧА2)

<sup>235</sup> Действие третье в РКАП отсутствует.

- 111 Как же это вам не стыдно, Вася / Как же это не стыдно вам,  
Вася ◊ (ЧА2)
- 113, 117 Послушник / Молодой послушник (ЧА2, НР,  
БМАП, Шт)
- 117 Да монахов же пугать / Монахов пугать ◊ (ЧА2)
- 117–118 Поставлю два светляка рядом, как глаза / Поставлю два  
светляка рядом ◊ (ЧА2)
- 118 они и думают/ а они и думают (ЧА2, НР, БМАП)
- 123 Вы Саввы не видали? / Вы Савву не видали? (ЧА2, Шт)
- 124 к сожалению / к сожаленью (Шт)
- 125 может, знаете / может быть, знаете (ЧА2)
- 138 (Уходит.) / (Уходит. Входит Егор Иванович) (Шт)
- 142 Олимпиада Егоровна зажгли. / Олимпиада Егоровна за-  
жгла. (Шт)
- 143 *закрывает окна / в ЧА2, НР, Шт нет.*
- 154 Т ю х а (падая на диван, / Т ю х а (падает на диван, (Шт)
- 156 Вот дурак-то, сбил меня... / Вот дурак, сбил меня...  
(ЧА2, Шт)
- 157 Год нынче / Год еще нынче ◊ (ЧА2)
- 157–158 должно быть, еще от этого / должно быть, от этого ◊  
(ЧА2)
- 158 жрать нечего / жрать-то нечего (ЧА2)
- 184 *со вздохом / вз(дыхая?) ◊ (ЧА2)*
- 186–187 и физиономия у вас тогда будет самой спокойной / и физио-  
номия у вас будет тогда самая спокойная (ЧА2, Шт) / и фи-  
зиономия у вас будет тогда самой спокойной (НР, БМАП)
- 188 Неужели вас и это не утешает? / Неужели вас это не утеша-  
ет? (ЧА2)
- 194–195 с вас станет сползать / с вас будет сползать ◊ (ЧА2)
- 197 Т ю х а (мрачно). У тебя / Т ю х а. У теб(я) ◊ (ЧА2)
- 198–199 Е г о р И в а н о в и ч (водит глазами, недоумеая). Что они гово-  
рят? / Егор Ив. Что они говорят? (ЧА2, НР, Шт) / как в  
ЧА2 ◊ (БМАП)
- 210 не будет ли черту поужинать/ не будет черту поужинать  
(ЧА2)
- 215–216 И все про чертей да про ведьм. / И все про чертей, про  
ведьм (ЧА2, Шт)
- 223 Вот родитель мой / Вон родитель мой (ЧА2)
- 229–230 *входит Л и п а / входит С а ш а ◊ (ЧА2)*
- 232 Дьяконица / Диаконица (ЧА2)
- 232–233 какой переполох поднимется среди покойников! / какой  
переполох будет среди покойников! ◊ (ЧА2)

- 242 вместе со Сперанским / вместе с Сперанским (ЧА2)
- 243–244 а клоунами... согласны? Вы умеете горящую паклю глотать? Нет? Ну погодите, я и этому вас научу. А ты вот что / а клоунами... согласны? А ты вот что ◊ (ЧА2)
- 246–247 Так кто же / Да кто же (ЧА2)
- 248 А ты вот посмотри, это очень интересно. / А ты вот посмотри. ◊ (ЧА2)
- 248–250 Ты погоди, отец, я тебя тоже научу паклю глотать, – совсем молодцом будешь! / а. [Погоди] Ты погоди, отец, я тебя тоже научу горящую паклю глотать. б. Ты погоди, отец, я тебя еще научу паклю глотать, – совсем молодцом будешь! (ЧА2)
- 251 Меня? Дурак ты, больше ничего. / Дурак ты, больше ничего. ◊ (ЧА2, НР, БМАП)
- 277 Он ждет от людей чуда, / Он ждет чуда ◊ (ЧА2)
- 283 в ссорах и страданиях / в ссорах, в страданиях (ЧА2, Шт) / в ссорах, в страданиях (НР, БМАП, СБЗн, Зн)
- 302 подождите еще / посидите еще (ЧА2)
- 304 я выброшу вас в окно. / я выброшу вас в окошко. (ЧА2, НР, Шт) / как в ЧА2 ◊ (БМАП)
- 310–311 До приятного свиданья / До приятного свидания (Шт)
- 312 Савва Егорович / Савва Егорыч (ЧА2)
- 314 С а в в а (говорит тихо и спокойно) / а. С а в в а (спокойно) б. С а в в а (он говорит тихо и спокойно) (ЧА2, НР, БМАП)
- 334 (Осторожно садится / садится) ◊ (ЧА2)
- 342–343 с этим, с Кондратием / с этим, Кондратием ◊ (ЧА2)
- 366–367 Разве я сама не мучусь? Дай мне твою руку... / а. Дай мне твою руку!.. б. Разве я сама не мучаюсь? Дай мне твою руку!.. (ЧА2) / как в ЧА2 вар. “б” (НР, БМАП)
- 372 мне он побоялся ее отдать / мне он побоялся ее дать (ЧА2)
- 377 не мучусь этим! / не мучаюсь этим! (ЧА2, НР, БМАП)
- 377 бороться со злом / бороться с злом (ЧА2)
- 378 Даже эти товарищи твои, анархисты / Даже эти твои, анархисты ◊ (ЧА2)
- 379–384 они убивают злых... ~ Т ю х а (поднимая голову) / они убивают злых... Т ю х а (поднимая голову) ◊ (ЧА2)
- 393 они создали / они создавали (ЧА2)
- 393 с такой болью... / с такую болью... (ЧА2)
- 397 Ты разбудил меня, Савва. / Ты разбудил меня, брат. ◊ (ЧА2)

- 398–399 Вот эти стены... прежде я не замечала их, а теперь мне жаль их / Вот эти стены, мне стало жаль их ◊ (ЧА2)
- 407–415 Нет дела! ~ Ты молчишь? / Уничтожить все! Уничтожить Голгофу... Ты подумай: (с ужасом) уничтожить Голгофу! Ты молчишь? ◊ (ЧА2)
- 422 (делает шаг к нему) / (делая шаг к нему) (ЧА2, НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн, Пр)
- 433 не думаю тебя оскорблять / не думаю оскорблять тебя ◊ (ЧА2)
- 446 Мне нисколько не странно / А мне нисколько не странно (ЧА2, НР, Зн)
- 446 Мне нисколько не странно / И мне нисколько не странно (ЧА2, НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн)
- 459 И это сделала истеричка! / и это сделала я! ◊ (ЧА2)
- 465 Что ж, крикни / Да, крикни ◊ (ЧА2)
- 482 Превратили землю в помойную яму, в бойню / а. Превратили землю в клоаку, помойную яму б. Превратили землю в помойную яму, в позорище ◊ (ЧА2) / как в ЧА2 вар. "б" (Шт)
- 483–484 схватить их за горло / взять их за горло ◊ (ЧА2)
- 488–490 Лгали, бесстыдствовали, кривлялись перед своими алтариками и бессильным Богом и думали: ничего, бояться некого, мы здесь одни. / Придумали слабые и бессильные милосердного Бога и прятались за него. ◊ (ЧА2)
- 492 Ни одной кровинки не прощу! / Ни одной кровинки не забуду! ◊ (ЧА2)
- 495 А что же с ними делать / А что же я с ними буду делать ◊ (ЧА2)
- 497–498 надеть фрак и читать им лекции? Как будто мало их учили! / надеть фрак и читать им лекции? Или в рясе обольщать их царствием небесным? Как будто мало их учили! ◊ (ЧА2)
- 500 сделали ее продажной тварью / сделали ее продажную тварью (Шт)
- 500–501 пятак / пятак (? ) ◊ (ЧА2)
- 510–511 Огнем их надо! Огнем! Пусть надолго запомнят день, когда пришел на землю Савва Тропинин! / Огнем их надо! Огнем! ◊ (ЧА2)
- 512–527 Л и п а. Но чего ты хочешь? Чего ты хочешь? ~ Сочтены дни его, и часы его измерены. Пауза. / а. Л и п а. Но чего ты хочешь? Чего ты хочешь? // С а в в а. Едва ли ты поймешь это, но изволь, я скажу. Я хочу освободить человека и землю. Да, освободить. Он теперешний,

настоящий, он уже готов для свободы, но не знает, как к ней приступить. Боится. Оглядывается. Как проснувшийся раб, он увидел цепи, но еще не знает, к чему он прикован. Шарит, ощупью, в потемках. Нужно ему помочь, нужно дать ему побольше воздуха, свету – побольше воздуха. Расчистить вокруг него. Вымести весь этот хлам: литературу, искусство, Бога. Они отравляют его, они делают глупость бессмертной. Нужно, чтобы не было ничего позади, на что мог бы он смотреть – нужно взять его за шиворот и повернуть [его] к будущему. На каждом живом сидит тысяча покойников. // Л и п а. [Я не понимаю тебя. Ты бормочешь что-то.] Откуда у тебя эта гордость! За шиворот! Ты говоришь как сатана, у тебя тысячи рук и тысячи жизней. Смотри, Савва, ты не бессмертен! // С а в в а. Ты думаешь, я не знаю, что каждый из этих глупцов рад бы убить меня? Но этого не будет. Нет! Настало мне время прийти и я пришел, и вот, я стою среди вас. Будьте готовы! Ничтожная! Ты думала, что, воровски отнявши у меня одну маленькую возможность, ты ограбила меня всего. Нет. Я все так же богат. // Л и п а. А если у тебя отнимут жизнь? // С а в в а. А если я бессмертен? Посмотри на меня! Посмотри внимательнее – а как я бессмертен, а?

б. Л и п а. Но чего ты хочешь? Чего ты хочешь? // С а в в а. Чего хочу? Освободить землю. Освободить человека и уничтожить всю эту двуногую, болтающую тварь! Он, теперешний, умный – он уже готов для свободы, но прошлое ест его душу, как короста, замыкает его жизнь в железный круг совершившегося, фактов. Факты я хочу уничтожить, факты. Вымести весь этот хлам: литературу, искусство, Бога. Они отравляют [его] человека, они делают глупость бессмертной. Нужно, чтобы не было ничего позади, на что мог бы он смотреть, нужно взять его за шиворот и повернуть к будущему. // Л и п а. Смотри, Савва, ты не бессмертен, а у двуногой твари есть и руки! // С а в в а. Ты думаешь, я не знаю, что каждый из этих глупцов рад бы убить меня? Но этого не будет, нет. Настало мне время прийти, и я пришел, и вот стою я среди вас. Будьте готовы! Время настало! – Ничтожная! ты думала, что, воровски отнявши у меня одну маленькую возможность, ты ограбила меня всего? Нет, я все так же богат. // Л и п а. [Ты страшный человек. Я ожидала, ты будешь поражен неудачей,

а ты как Сатана и, падая, ст(ановишься еще чернее.<sup>236</sup>) Я твоя сестра... но какое счастье, что ты не бессмертен! // С а в в а. Ты, я вижу, совсем анархистка. Они тоже ведь ду-мают, что убить одного человека и дело сделано. Ну убьют меня, повесят, колесуют – придет другой, еще почище, чем я. Было бы болото, а черти, сестра моя, всегда найдутся. И не я, так другой, а вашему миру (сжимает кулак) придется круто! (ЧА2) / как в ЧА2 вар. “б” без вычерков (НР, Шт) / как в НР  $\diamond^{237}$  (БМАП)

- 511–512 В огне и громе перейти хочу я мировую грань! / В огне и громе сгорю(?) я, перейдя(?)  $\diamond$  (ЧН4)
- 525 пославший же меня... пославший же меня – / пославший же меня... (Пригибаясь, как под страшной тяжестью) пославший же меня (ЧН4, БМАП, СБЗн)
- 529–530 будешь поражен неудачей, а ты / будешь поражен, а ты  $\diamond$  (ЧА2)
- 530–531 становишься еще чернее / становишься еще сильнее  $\diamond$  (ЧА2)
- 532–534 С а в в а. Да. Это только воробьи ~ расправить крылья. / а. С а в в а. Да. Я страшный человек. б. С а в в а. Да. Это только воробьи, Липа, прямо с земли поднимаются кверху, а хорошей птице надо сперва упасть, чтобы как следует расправить крылья.  $\diamond$  (ЧА2)
- 537 А х да. Мишка... (Добродушно.) Мишка / А х, да. Мишка... Мишка  $\diamond$  (ЧА2)
- 561 Л и п а (считает) / Л и п а (считая) (ЧА2, Шт)
- 565 С а в в а. Ага, вот оно! / С а в в а. А? Что это?  $\diamond$  (ЧА2) / С а в в а. А? Что это? (Шт)
- 571 Почему никого нет? / Почему никого нету? (ЧА2, Шт)
- 573 Господи, батюшка // Господи, батюшки (ЧА2, Шт)
- 582–583 Т ю х а, братик, что же это, а? / Т ю х а, братик, что же это? (Шт)
- 584 Т ю х а (успокоительно). Это ничего. / Т ю х а. Это ничего.  $\diamond$  (ЧА2)
- 590 тебе нечего делать / тебе нечего поделать (ЧА2)
- 594 как бухают / как они бухают (ЧА2, НР, Шт, БМАП, СБЗн)
- 595 Я побегу, побегу. / Я побегу. Я побегу. (ЧА2)
- 614 Убивай скорей! / Убивай скорее! (ЧА2, Шт, БМАП)
- 616 смотрит на Савву / искоса смотрит на Савву (ЧА2)
- 617 всполошной колокол / всполошный колокол (ЧА2)

<sup>236</sup> Восстановлено по НР.

<sup>237</sup> За исключением варианта стк. 525.

- 617 сливая свои тревожные звуки с громкою речью Саввы / аккомпанируя  
 словам Саввы ◊ (ЧА2)  
 620–621 как валятся на голову дома! / как валятся ваши дома! ◊  
 (ЧА2)  
 630 Будьте готовы! Он идет. / Он идет. ◊ (ЧА2)<sup>238</sup>

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

- 4–5 над блестящей излучиной / над блестящею излучиной (РКАП)  
 5 По эту сторону дороги / По ту сторону дороги (РКАП, НР) / как в  
 РКАП ◊ (БМАП)  
 9 повозки / повозочки (РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн)  
 13 слышно пение слепцов / а. как в тексте б. слышно жалобное пение  
 слепцов (РКАП)  
 23 эту женщину раздавили... / эту женщину раздавили, совсем  
 раздавили. (РКАП, Шт)  
 26 с тоской смотрит / с тоскою смотрит (РКАП, Шт)  
 26 Я пойду / Я уйду (Шт)  
 33 машет рукой / машет рукою (РКАП)  
 33 пойдемте в лес. / пойдем в лес! (РКАП)  
 38 чего не запомнят / что не запомнят ◊ (РКАП)  
 46 как помешались / как помешанные ◊ (РКАП) / как будто по-  
 мешались (Шт)  
 49–50 скрутило всю, как веревку / скрутило всю, как веревкой  
 (НР) / как в НР ◊ (БМАП)  
 56 Мне говорили, но я все сомневалась... / а. Мне говорили, но  
 я все... б. Мне говорили, но я все сомневаюсь ... (РКАП, НР,  
 Шт) / как в РКАП ◊ (БМАП)  
 57 Ну что, как они? / Ну, что, Вася, как они? (РКАП)  
 59 визжит / верезжит (РКАП, НР, БМАП, СбЗн, Зн) / верещит  
 (Шт)  
 67 вы этого еще не понимаете. / вы этого не понимаете (РКАП,  
 НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн)  
 68–69 отчаиваться стали / отчаиваться начали (РКАП)  
 69 с ума сойти можно / с ума можно сойти (РКАП, НР, Шт,  
 БМАП, СбЗн, Зн, Пр)  
 90 Лицо потемневшее, землистое / Лицо осунувшееся (?) ◊ (РКАП)  
 93 При его приближении / При их приближении ◊ (РКАП)  
 94 Кондратия не видали? / Кондратья не видали? (Шт)

<sup>238</sup> Здесь заканчивается ЧА2.

- 105 Ей-богу, лучше бы в лес! / Ей-богу бы лучше в лес! (РКАП, Шт)
- 109–123 Вы дальше от него будьте, Вася. ~ Нельзя без этого? / Вы дальше от него будьте, Вася. Мне было так весело, а как увидела его, так словно туча на солнце нашла. И это мой брат!  $\diamond^{239}$  (РКАП)
- 113 или уж не знаю кто... / или уже не знаю что... (РКАП, Шт) / или уже не знаю кто (НР, БМАП)
- 116 всякую глупость / всякие глупости (Шт)
- 119 Ну что еще – если? / Ну что еще: а если? (РКАП)
- 120 Пришел он / Прошел он (РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн, Пр)
- 120 точно туча / словно туча (РКАП, Шт)
- 124 Народу незаметно прибывает / Народ незаметно прибывает (Шт)
- 130–131 Тебе с ногами тоже поближе надо. / а. Тебе с ногами-то поближе надо. б. Тебе с ногами-то тоже поближе надо. (РКАП) / как в РКАП вар “б” (Шт)
- 133–134 Как же это ты так / Как же ты это так (РКАП, Шт)
- 144 Господи! Господи! Какие люди хорошие! / Господи! Господи! (РКАП, НР, Шт) / как в РКАП  $\diamond$  (БМАП)
- 145 П о с л у ш н и к (огорченный). / П о с л у ш н и к (огорченно). (РКАП, Шт)
- 150 что – не разберешь / что-то не разберешь  $\diamond$  (РКАП) / что и не разберешь (Шт)
- 151 с тоскою / с тоской (Шт)
- 152 не могу / не могу я (РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн)
- 179 Как бежал я вчера / Как бежал я сюда вчера  $\diamond$  (РКАП)
- 190–191 плохо вам, но это ничего / плохо вам, да, но это ничего (Шт)
- 198 манерой ходить и смотреть / манерой смотреть и ходить (РКАП)
- 201–202 если только верить слухам. / если только верить словам. (РКАП)
- 215 моргнет время глазами, будет перемена / моргнет время глазами, и будет перемена (РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн)
- 215–216 а на их место какие-то новые. / а на их месте какие-то новые. (РКАП, Шт)
- 223 В монастырь, кажется. / К монастырю, кажется. (РКАП)
- 225 До приятного свидания / До приятного свиданья (Шт)
- 232 он уж тут / он уже тут (РКАП, Шт)

<sup>239</sup> За исключением варианта стк. 113, 116, 119, 120.



- 235 да и в подворотню / да в подворотню (РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн, Зн, Пр)
- 236 Это все пустяки / Все это пустяки (РКАП, Шт)
- 237–238 смертию смерть поправ”. Понимаете: “смертию смерть поправ”? / смертью смерть поправ”. Понимаете: “смертью смерть поправ”? (РКАП, Шт) / смертию смерть поправ”. Понимаете, смертью смерть поправ? (НР, БМАП)
- 256 Вон он... Эх! / Вот он... Эх! (РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн)
- 256 После: Вон он... Эх! – (Подходит Савва.) (Шт)
- 264 У тебя лицо черное. / У тебя лицо страшное. (НР) / как в НР ◊ (БМАП)
- 292–293 Да, так вот оно что!.. Да. Глупо! / Да. Так вот оно что. Да. (РКАП, Шт) / Да, так вот оно чудо. – Да. (НР) / как в НР ◊ (БМАП)
- 303 Воды бы, что ль / Воды бы, что ли (Шт)
- 310 как радуются все / как радуется всё (РКАП, Шт)
- 312–313 уноси с собой / уноси с собою (РКАП, Шт)
- 315 Вчера я еще / Вчера еще я (РКАП)
- 322–323 На будущий раз пригодится. / На будущий раз годится. (РКАП, Шт)
- 334 Экая каналья / Этакий негодяй (ЧН4)
- 336 После: Ты враг рода человеческого! (с абзаца) – С а в в а (с любопытством смотрит на ее, глаза прищурив – точно через овраг (?) рассматривает что-то). Ну-ну! // Л и п а. Если бы была жива мать, она... прокляла бы тебя! (ЧН4)
- 345 Ну чего они? / Ну, что они. (Шт)
- 349–350 все увидят / ведь увидят (РКАП)
- 354 С а в в а. (усмехаясь). Да? / С а в в а. Да? (усмехаясь). (РКАП)
- 364–365 Ах, Господи! / в РКАП, Шт нет.
- 369 Вот Антон Егорович вас ищут, / Вот Антон Егорыч вас ищут, (РКАП)
- 371 С а в в а (со странным беспокойством). Чего тебе? / С а в в а. Чего тебе? (РКАП, НР, Шт) / как в РКАП ◊ (БМАП)
- 376–377 упирается взглядом в Савву). / а. упираясь взглядом в Савву). б. упирается взглядом в Савву). (РКАП) / как в РКАП вар. “б” (НР, Шт, БМАП)
- 378 чего тебе надо / что тебе надо (РКАП, Шт)
- 379 выглядывая из-за спины / выглядывая из-за его спины (РКАП)
- 395 С а в в а. Ага! Вот он! / С а в в а. Ага! (РКАП, НР, Шт) / как в РКАП ◊ (БМАП)
- 431 Понимаете ли вы это? / Понимаете вы это? (РКАП, НР, Шт, БМАП)

- 445–446 И рассказал я ему все, как на духу/ а. И рассказал я ему, как на духу б. И рассказал я все ему, как на духу (РКАП) / как в РКАП вар. “б” (Шт)
- 450–451 Ах ты, говорят / Ах ты, говорит (РКАП, НР, Шт, БМАП)
- 457 Ступай ты, говорят, / Ступай ты, говорит, (РКАП, НР) / как в РКАП ◊ (БМАП)
- 459 так весь и совершится, полностью. / так и совершится, весь, полностью. (РКАП) / так и совершится, полностью. (НР, Шт) / как в НР ◊ (БМАП)
- 459–460 А мы с братией, говорят / А мы с братией, говорит (РКАП, НР, БМАП)
- 460 икону-то и вынесем / икону-то вынесем (НР) / как в НР ◊ (БМАП)
- 465 Погодите, Олимпиада Егоровна. / Погодите, погодите, Олимпиада Егоровна. (РКАП, НР, Шт, БМАП)
- 465–466 А как, говорят / А как, говорит (РКАП, НР, БМАП)
- 467–468 уже этого я рассказать / уж этого я рассказать (РКАП, Шт)
- 473 смилосердуйся / смилосердствуйся (РКАП)
- 474 вытирает кулаком глаза / вытирает кулаком глаз (РКАП)
- 478 мы его понесли / мы ее понесли (РКАП, Шт)
- 486 (качая головой, плача) / (качает головой, плача) (Шт)
- 491 лучше бы на свет не рождались / лучше бы вы на свет не рождались (РКАП, НР, Шт, БМАП, СбЗн)
- 492 Что я, ослеп что ли! / Что я, ослеп что ль! (РКАП, Шт)
- 495 они уж оглядываться начали / они уже оглядываться начали (РКАП, Шт)
- 498 Но ты ведь / Ты ведь ◊ (РКАП)
- 499 какое же тут / ну какое же тут (РКАП)
- 509–510 Как это страшно. И я... / Как это страшно. Господи! Господи! И я... (РКАП, НР, Шт) / как в РКАП ◊ (БМАП)
- 510–511 устремив взоры в небо / устремив взор в небо (РКАП, Шт)
- 512 С а в в а (дико смотрит на все, потом на Кондратия). / С а в в а (дико смотрит на нее, потом на Кондратия). (РКАП, Шт)
- 513 Чего уставился? / Чего уставились? (Шт)
- 515–516 Вы так не кричите / Вы так не говорите (РКАП, НР, Шт) / как в РКАП ◊ (БМАП)
- 517–518 Ведь ты философ, ты философ! / Ведь ты философ! Ты, ты философ! (Шт)
- 520 Савва Егорыч / Савва Егорович (НР, Шт, БМАП, СбЗн)
- 523 С отчаянием / С отчаяньем (Шт)

- 528–529 присоединяются другие, между прочим, человек в чуйке. / присоединяются другие, между прочими, человек в чуйке. (РКАП)
- 532–533 что же они говорят / что они говорят (РКАП)
- 540 Слушай-ка! Слушай! / Ступай-ка! Ступай! (РКАП, НР) / как в РКАП ◊ (БМАП)
- 545 Ребята, не бойтесь! / Ребята, не бойся! (РКАП, Шт)
- 546 (крепко сжимаемая голову) / (сжимаемая голову) (Шт)
- 546 Болит, болит... Тьма идет. / Болит. – Болит. – Болит. (РКАП) / Неужели же и нет покою? Болит ведь? – Болит! [Дьявол! Дьявол!] Тьма идет! (ЧН4)
- 547 После: Кондратий. Корчить начало! Так! Так! (с абзаца) – Савва. Тьма идет! (РКАП)
- 550–554 Савва (мгновение глубокой, страшной задумчивости. ~ Это он икону! Это он! / Савва (горбится, слегка дрожит, озираясь). Один я тут. Один! (РКАП) / Савва (мгновение глубокой страшной задумчивости. Потом внезапно распрямляется, точно растет на глазах и с дикой радостью кричит куда-то вдаль, вверх голов). Я прав! – Значит, я прав! Все это надо! Все! Все! (точно окаменеет в позе полета, стремления ввысь). // Кондратий. Братцы, да что же! Это он икону! Это он! (НР) / Савва (на мгновение в глубокой, страшной задумчивости. Потом внезапно распрямляется, точно вырастает, и с дикой радостью кричит куда-то вдаль, вверх голов). Я прав! Значит, я прав! Все это надо! Все! Все! (Точно окаменеет в позе полета, стремления ввысь). // Кондратий. Братцы, да что же! Это он икону! Это он! (Шт) / как в НР ◊ (БМАП)
- 555 Человек в чуйке (протискивается, озабоченно). / Человек в чуйке (озабоченно). (РКАП)
- 556–557 (Хватает Савву за рукав.) / (Хватает Савву за рукав, тот отбрасывает его.) (РКАП) / (Хватая Савву за рукав.) (НР, БМАП, СбЗн, Зн, Пр)
- 558 Савва (рассеянно и злобно отбрасывает его). Прочь! / в РКАП нет.
- 559 Голоса. Ишь ты!.. Не выпускай! / Голоса. Не выпускай! (РКАП)
- 560 Кондратий. Бери его! / Кондратий. Братцы, что же вы! (РКАП)
- 563–564 один испуганный, свирепый, дикий крик / один испуганно свирепый, дикий крик (РКАП, Шт)
- 565–566 Эх ты, и камня ни одного нету! / Эх, ты, камня ни одного нету! ◊ (РКАП)
- 567 поднявшись с земли / поднимаясь с земли ◊ (РКАП)

- 573–574 *Оглядывается, быстрым взглядом намечает путь к реке / Оглядывается, быстро взглядом намечает путь к реке (РКАП)*
- 577 Отступают / Отступаются (*Шт*)
- 578–579 и так крестит его во все остальное время / и так крестит во все остальное время (*РКАП*)
- 580–581 *С а в в а (надвигаюсь)*. Ну-у! Дорогу!.. Ну... поджали хвосты, собаки! Дорогу! Ну-у! // *Г о л о с а*. Идет! / *С а в в а*. Дорогу!.. Дорогу! (*РКАП*)
- 583–584 Навстречу Савве из толпы выходит Царь Ирод и загораживает дорогу. Смотрит страшно. Савва подходит вплотную и останавливается. // *С а в в а*. Ну? / Идет. Навстречу ему выходит Царь Ирод и загораживает дорогу. Смотрит дико. (*РКАП*)
- 586 разговор почти вполголоса, почти спокойный. / разговор почти вполголоса. (*РКАП*)
- 610 *П е т ь к а (фальцетом)*. Нет / *П е т ь к а*. Нет (*РКАП, НР, Шт*) / как в *РКАП* ◊ (*БМАП*)
- 613 В толпе izbивающих движение. / В толпе izbивающих движение. (*НР, Шт, БМАП*)
- 619–620 твоя голова, что ли / твоя голова, что ль (*РКАП*)
- 626–627 Есть что-то звериное в их позах и вытянутых шеях. / в *РКАП, НР, Шт нет* / как в *РКАП* ◊ (*БМАП*)
- 628–629 *С п е р а н с к и й (таинственно, со зловещей убедительностью)*. Мертвый! / *С п е р а н с к и й*. Мертвый! (*РКАП, НР, Шт*) / как в *РКАП* ◊ (*БМАП*)
- 630–631 *Т ю х а (сквозь все морщинки ~ (Зажимает рот рукою.) / Т ю х а*. Молчи! (*фыркает стонущим смехом и крепко зажимает рот руками.*) (*РКАП, НР, Шт*) / как в *РКАП* ◊ (*БМАП*)
- 632–633 Антон Егорович / Антон Егорыч (*РКАП*)
- 634–635 *Т ю х а (фыркает)*. Какая же у него... смешная... рожа! (*Смеется.*) Рожа! / *а*. *Т ю х а*. Молчи! (*стонущим смехом*) Какая у него – смешная... *б*. *Т ю х а*. Молчи! (*фыркает*). Какая у него – смешная... (*РКАП, НР, Шт*) / как в *РКАП* ◊ (*БМАП*)<sup>240</sup>
- 640, 647–648 смертью смерть / смертью смерть (*РКАП, Шт, Зн*).
- 646 переходит в дикий рев / переходит в рев (*РКАП, НР, Шт*)

<sup>240</sup> Здесь оканчивается *БМАП*.

# ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

*ЧН1*

## ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

*ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ,  
СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ КАРТИН*

Схема: обыкновенная жизнь обыкновенных людей с трагичностью, которую вносит в нее рок, неведение будущего и законы природы – жизни и смерти.

Форма:

Начинается так. Открывается занавес и на сцене уже стоит некто в черном домино; после некоторой паузы он спокойно, просто и холодно рассказывает схему человек(еской) жизни. Затем он присутствует в качестве Невидимого во всех четырех картин(ах), поясняет и каждый раз заканчивает: а что будет, они этого не знают.

Первая картина. Молодость и бедность. Обстановка стилизованной бедности. Нечто наивное: напр(имер), бедный ужин с пояснением действующих лиц, какой он бедный. Они молоды и веселы и не думают о будущем. Когда они выходят, приходят соседи и рассказывают, какие они, как они живут.

Вторая картина. Богатство. В том же стиле упрощенности. Так же пояснения со стороны гостей и Невидимого.

Третья картина. На склоне. Суд, так же упрощенно и с такими же пояснениями со стороны судей и Невидимого.

Четвертая. Конец. Он умирает, пьяный, в трактире. Он сидит, положив седую голову на руки, и остальные, в полукруге, рассказывают о нем. Рассказывает сам. Потом он умирает и Невидимый дает заключение о “Жизни человека”.

## Ранняя редакция картины третьей

⟨л. 1⟩<sup>1</sup>

## КАРТИНА ТРЕТЬЯ

## БАЛ У ЧЕЛОВЕКА

Очень большой, высокий, правильно четырехугольный, белый зал. Совершенно гладкие, белые стены, такой же потолок и одноцветный, светлый пол в одну краску<sup>2</sup>. По задней стене и по левой идет ряд высоких, почти до потолка, восьмистекольных окон без занавесок; в них смотрит ночь. Золоченые карнизы; на стенах картины в очень широких, золоченых рамках: рама в треть полотна. Золоченые стулья. Другой мебели нет. По потолку в ряд три круглые люстры со свечами. Очень светло к потолку; внизу свет меньше.

Бал у Человека в полном разгаре. Играет оркестр из трех человек, причем музыканты очень похожи на свои инструменты. Тот, что со скрипкой, похож на скрипку: тонкая шея, маленькая головка, склоненная набок, несколько изогнутое туловище; на плече разостлан носовой платок. Тот, что с флейтой, похож на флейту: очень высокий, очень худой, с длинным лицом, с длинными ногами, с длинными тонкими руками. И тот, что с контрабасом, похож на контрабас: невысокий, к низу очень толстый, в широких брюках<sup>3</sup>. Играют они с необыкновенной старательностью, отбивая такт, помахывая головою, покачиваясь. Мотив во все время действия один и тот же. Это – коротенькая, из двух музыкальных фраз, полька, с подпрыгивающими, веселыми и чрезвычайно пустыми звуками. Все три инструмента играют немного не в тон друг другу, и от этого между ними и между отдельными звуками некоторая разобщенность, какие-то пустые пространства. Лишь изредка звуки сливаются в тихую и несколько печальную гармонию.<sup>4</sup>

У стены на стульях, сидят гости: все дамы в белом, все ⟨л. 2⟩ мужчины в черном. В глубине – танцующие: все женщины молоды, красивы, легки; так же юны и красивы мужчины. И танцуют они легко, изящно, мечтательно; при первой музыкальной фразе они кружатся, при второй – расходятся и сходятся бесшумно и грациозно.

В ближнем углу, более темном, чем другие, неподвижно стоит Некто в сером, именуемый Он. Свеча в Его руке убывла на две трети и горит сильно желтым огнем, бросая желтые блики на каменное лицо и подбородок.

<sup>1</sup> Над началом текста: Картина третья – помета рукой неустановленного лица  
Вариант

<sup>2</sup> в одну краску вписано.

<sup>3</sup> в широких брюках вписано.

<sup>4</sup> Далее было (с абзаца): Все

## РАЗГОВОР ГОСТЕЙ

– Вот мы в гостях на балу у Человека: какая честь для нас и какое удовольствие!

– Он такой знаменитый и гордый, и приглашает немногих.

– Сколько людей осталось дома и завидует нам!

– И клеветет, говоря про скуку на балах Человека.

– Они никогда не видели этого блеска!

– Они никогда не видали этого богатства.

– И этого беззаботного веселья!

– Как богато!

– Как красиво!

⟨л. 3⟩ – Как пышно!

– Высокие потолки!

– Смотрите, смотрите<sup>5</sup>, на картинах широкие золотые рамы!

– Золоченые стулья...

– Золотые карнизы!

– Так старательно и хорошо играют музыканты. Им, вероятно, много платят.

– Человек не жалеет денег.

– Он сорит ими!

– Кроме этого зала у него еще пятнадцать прекрасных комнат, огромная столовая, где может обедать сто человек.

– Какой в ней камин!

– Великолепная гостиная, где ковры, и позолота, и бархат.

Обширная спальня.

– Для детей светлая комната.

– Ванна!

⟨л. 4⟩ – Изумительный кабинет. Туда страшно войти, так много там книг, так умно все там, так серьезно, так учено...

– Я видела их сад и он очаровал меня. Представьте себе: изумрудно-зеленые газоны, подстриженные так ровно. Посередине проходит две дорожки, усыпанные золотисто-красным песком. Цветы – даже пальмы!

– Даже пальмы!

– Деревья, то обстриженные, как шар, то, как<sup>6</sup> зеленые колонны. Фонтан. Зеркальные шары. Чугунная с золотом решетка. А в траве, среди зелени, стоят маленькие гипсовые гномы и такие же серны – совсем как настоящие.

– Как красиво!

---

<sup>5</sup> Смотрите, смотрите *вписано*.

<sup>6</sup> *Далее было*: колонны

– А я видел конюшни. Там стоят белые и черные лошади. А рядом каретный сарай. Там стоят две коляски и превосходный красный автомобиль.

– Мы видели. Мы видели! Когда Человек проезжает на автомобиле, то все смотрят в окна и говорят: какой он<sup>7</sup> счастливый<sup>8</sup>, какой он богатый!

– Они едят только с серебра!

– У них семь человек прислуги: повар, кухарка, две горничные, кучер, садовник...

(л. 5) – Да, сами они ничего уже не делают.

– Бумажки с полу сами не поднимут.

– Пылинки с себя не сдуют!

– Такие важные!

– А она вся в бриллиантах: сверкает, как солнце.

– Но это не делает ее красивой.

– Немного толста. Ей нужно бы лечиться массажем.

– Или поменьше есть...

– Вы не находите, что музыка несколько однообразна?

– Но ведь это лучшие музыканты в городе. Я не понимаю, чего вы еще хотите.

– Да, это правда. Они играют во всех богатых домах.

– Их приглашают наперебой, и так много им платят. Они так весело играют.

– Потом во сне слышишь эту музыку.

(л. 6) – Я иногда на улице слышу ее: оглядываюсь – и нет никого.

– Очаровательная музыка: смотрите, как весело под нее танцуют.

– Самой хочется кружиться.

– До усталости! До изнеможения.

– До самой смерти. Все кружиться, кружиться, кружиться.

– Как они богаты! Как счастливы.

– Тише! Они идут сюда.

Музыка играет громче, потом стихает<sup>9</sup>. Выходят на середину Человек и его Жена, оба одеты очень модно и богато. Человек сильно постарел, но все так же красив; носит большие волосы с заметной проседью и такую же бороду. Держится он величественно и холодно, говорит медленно и важно. Его Жена, так же сильно постаревшая, но красивая<sup>10</sup>, опирается на его руку.

---

<sup>7</sup> Было начато: кра(сивый?)

<sup>8</sup> Далее было: человек

<sup>9</sup> потом стихает вписано.

<sup>10</sup> но красивая вписано.



Человек

Ты довольна успехом бала, мой друг?

Жена

Да. Но я устала немного, мой милый. Так много нужно сделать, чтобы все остались довольны.

Человек

Мне кажется, что у нас достаточно прислуги, которая должна заботиться о мелочах. Я плачу ей за это хорошие деньги.

(л. 7)

Жена

Прислуга не может сделать всего. Не сердись, мой милый, но меня утомляют несколько гости.

Человек

Но это лучшие люди в городе, которых я выбрал сам.

Жена

И музыка утомляет меня. Она так весела и так беззаботна, но<sup>11</sup> я устаю от этих назойливых звуков...

Человек

Но это лучшие и самые дорогие музыканты. Ты просто нервничаешь, мой друг, и тебе давно следует обратиться к доктору.

Жена

А тебе весело, мой милый? Если тебе весело, то буду довольна и я.

Человек

Да, я рад, что у нас такой хороший бал. Лучшие люди города добивались чести быть приглашенными, но я избрал только самых достойных. Здесь все мои друзья. Сами враги мои, которые так жадно клеветают на меня и добиваются моей гибели, сегодня у входа раболепно пожимали мою руку и кланялись низко<sup>12</sup>. Их завистливые, растерянные лица вызывают во мне мстительную радость; их заискивающие взоры ролят на моих устах улыбку презрения. Смотри, как весело танцует молодежь! Как грациозны их движения! Как легка и неслышна их поступь! Но ты бледна, мой друг, и руки твои холодны, как лед?

Жена

Мне холодно немного.

---

<sup>11</sup> Далее было: сердце

<sup>12</sup> низко вписано.

Человек

Оберни шею мягким боа.

Жена

Оно не согреет меня.

(л. 8)

Человек

Надень на плечи дорожную соболью накидку, которую я подарил тебе.

Жена

Она не согреет моего сердца.

Человек

Выпей вина. Прикажи новых поленьев подбросить в камин. Пусть ярче разгорится веселое яркое пламя и согреет твои бедные милые руки. Отчего в твоих глазах так мало блеска? Они прежде были яркие, как звезды.

Жена

Мне кажется, что здесь темно немножко.

Человек

Пусть новые зажгут огни!

Жена

Они не осветят моих глаз.

Человек

Тогда еще, еще огней! Я<sup>13</sup> богат<sup>14</sup>, я всемогущ, я зажгу тысячи огней и залью светом твои милые, бедные глазки. Улыбнись мне, мой друг, не порти мне этого счастливого дня. Вспомни о сыне, о нашем дорогом мальчике. Вот и улыбнулась ты!

Жена

Он такой славный.

Человек

Он стойкий и честный мальчик. Из него выйдет хороший мужчина.

Жена

Сейчас он проснулся на мои ласки и сказал: я так люблю, мама, когда далеко, далеко играет музыка; тогда мне кажется, что

---

<sup>13</sup> Было: Мы

<sup>14</sup> В рукописи: богаты (незаверш. правка)

ты ласкаешь меня, милая мама. Приходи ко мне почаще и целуй меня крепко: я не проснусь.

⟨л. 9⟩

Человек

Нежное, детское сердце. И я люблю его крепко, моего златокудрого сына. Но идем, без нас уже соскучились гости. Твои руки потеплели, мой друг. И глаза твои сияют, как встарь? Ах, ты все та же, моя маленькая глупенькая<sup>15</sup> женка, моя сказочная фея!

Уходят, смеясь. Громче играет музыка, и ропот восхищения пробегает среди гостей.

- Как они красивы!
  - Как счастливы и горды!
  - Смотрите, смотрите, как твердо ведет он ее.
  - Смотрите, смотрите! Как нежно опирается она на его руку.
  - Даже музыканты заиграли еще веселее!..<sup>16</sup>
- ⟨л. 10⟩ – Хорошо быть богатым!
- Хорошо быть знаменитым!
  - И деньги, и слава! Все, все есть у человека.

Выходят вперед Друзья Человека. Их довольно много, и все они очень похожи друг на друга: открытые благородные лица, высокие лбы, смелая поступь.

#### РАЗГОВОР ДРУЗЕЙ

– На этом пышном балу, среди лучших людей города, мы лишь одни отмечены Человеком: мы друзья Человека.

– Да, одних только нас он дарит своею любовью и нежной доверчивостью своей благородной души.

– Из множества людей, добывающихся<sup>17</sup> его расположения, его улыбки, его ласкового взгляда – одних нас он избрал и озарил светом своей дружбы.

– Мне ниже кланяются, когда узнают, что я друг Человека.

– Я сам лучше<sup>18</sup> стал смотреть на себя<sup>19</sup>, когда он назвал меня другом.

– Моя жизнь потеряла бы цену, если бы он ушел от меня. Я погибал, терзаясь сомнениями, бесплодно допрашивая жизнь и

<sup>15</sup> глупенькая *вписано*.

<sup>16</sup> *Далее в ранней версии редакции следовал отвергнутый фрагмент, приблизительно соответствующий л. 9–16 настоящей версии (“Разговор друзей” и “Разговор врагов”). Ниже он воспроизводится отдельно (ЧН26).*

<sup>17</sup> *В рукописи описка: добывающиеся*

<sup>18</sup> *лучше вписано.*

<sup>19</sup> *Далее было: лучше*

уже готовясь к самоубийству, – когда мужественным словом он призвал меня к жизни и *(л. 11)* борьбе.

– Ницетою духа томился я, когда в мой ум он насадил прекрасные идеи, и их расцветом теперь любитесь он, мой благородный, мой гениальный друг.

– Он так щедро рассыпает богатства своего духа, но неистощимой кажется его мысль. Скупцы богатеют, сберегая и копя; он богатеет, расточая. Когда глубокой ночью в дружеской беседе он беззаботно рассыпает перлы своего ума, чаруя сердце, возвышая мысль, – он кажется мне полубогом. И мне хочется раскрыть двери и окна и созвать людей: смотрите, какой человек живет между вами!

– Нет, не зовите людей: они не поймут его. Пусть только ночь слушает наши беседы.

– Да. Они видят в нем только счастливица, только богача, только знаменитость.

– И завидуют ему.

– И клеветуют. Как клеветуют! Змея от зависти вырвала бы жало свое, если бы видела<sup>20</sup>, как могут кусать злые<sup>21</sup> люди<sup>22</sup>.

– Они не щадят ничего, они не дают отдохнуть своему злобному языку ни на минуту. Муравей назвал бы себя лентяем, если бы знал, как трудолюбивы и неутомимы злые люди!

– Каждый день что-нибудь новое...

*(л. 12)* – То он украл...

– То чуть ли не убил!

– Обвиняют его в бездарности!

– Обвиняют его в разврате...

– В пьянстве...

– Во всех пороках.

– Они не щадят даже его жены, этой прекрасной чистой женщины, самоотверженной подруги Человека.

– Гнусность! Гнусность!

– А он только смеется, беззаботный и сильный.

– Вы знаете: сегодня они все здесь, его враги. Он послал им приглашения, и, покорные велениям своей ничтожной души, они приехали.

– И задыхаются от злости. Я видел их, когда он<sup>23</sup> небрежно показывал им свою картинную галерею и библиотеку. Они были зелены от зависти, как только что взошедшая трава.

---

<sup>20</sup> *Далее было:* она

<sup>21</sup> *злые вписано.*

<sup>22</sup> *Далее было:* когда они злы

<sup>23</sup> *Было:* им

– И через головы их он послал мне неосторожную<sup>24</sup> улыбку.  
Боюсь, они заметили ее.

– Пускай! Что могут они сделать?

– Мы здесь, его друзья.

⟨л. 13⟩ – И никогда не оставим его.

– Никогда! Никогда!

– Поклянемся, что до последней минуты жизни мы останемся верными нашему другу. Когда он будет печален, мы<sup>25</sup> откроем ему наши сердца; когда болен он будет, мы окружим его изголовье и дружеским участием облегчим<sup>26</sup> его боль. Что бы ни постигло его: бедность, несчастье, болезнь, сама смерть – клянемся, что<sup>27</sup> до последней минуты мы останемся верными ему неизменно.

– Клянемся! Клянемся!

Подходит Человек в сопровождении своих Врагов. Их много, и они похожи друг на друга: коварные, подлые лица, низкие лбы, кривые завистливые улыбки; и ходят они, слегка сгорбившись и остро поглядывая вокруг. Друзья, насмешливо улыбаясь и кланяясь, уступают им место.

#### Человек

Здесь, мои почтенные и уважаемые гости, вы можете полюбоваться танцами молодежи. Я пригласил самый дорогой оркестр, и он играет на славу. Если и вам придет желание потанцевать, я буду очень рад: мне так приятно ваше беззаботное веселье.

#### Враги

Может быть! Мы подумаем! Да, да, с удовольствием, дорогой хозяин.

#### Человек

Если же вы захотите кушать или пить, то прошу вас пройти в столовую: мой дом – ваш дом.

⟨л. 14⟩

#### Враги

Мы тронуты!

Человек удаляется в присутствии Друзей, и Враги, яростно озираясь, собираются тесным кругом.

#### РАЗГОВОР ВРАГОВ

– Идиот!

– Кривляка!

<sup>24</sup> неосторожную *вписано*.

<sup>25</sup> *Было*: ему

<sup>26</sup> *Было*: утишим

<sup>27</sup> *клянемся, что вписано*.

- Самонадеянный наглец!
- Скотина!
- Вор!
- Отравитель!

Задыхаются от злости и умолкают, яростно мотая головами.

- Приглашает нас танцевать!

Вновь задыхаются, и только трясутся и шипят.

- А его картины?
- ⟨л. 15⟩ – А библиотека?
- А эти мошенники, друзья его?
- Какие-то разбойничьи рожи!
- Это какой-то вертеп!
- Тут зарежут!
- И уж наверно обменят калоши!

– Негодяй! Зовет в столовую. А недавно я обедал у него и лакей вылил мне за шею горячего супу. Нарочно!

–<sup>28</sup> Я разорвал себе брюки о гвоздь. Хорош архитектор, у которого из стены торчат гвозди.

- Это нарочно!

– А что он говорит о нас! Говорит, что мы бездарны, как пустые бутылки от уксусу...

- Вот как!

– Что он не дал бы нам построить конуру для собаки, боясь, что она будет выть от оскорбления.

- Вот как! Так-так-так!..

⟨л. 16⟩ – Что мы глупы, жадны, завистливы, бессовестны...

- Клевета!

– Что нас можно покупать и продавать, как старое платье, обменивать, штопать, пороть, выбивать палкой...

- Клевета! Гнусная клевета! Ну мы его...

- Мы его!.. Мы его!..

Вновь задыхаются от злости.

- Слушайте, слушайте!

Сближаются в кружок и шепчутся.

- Я видел дом – тот дом, который он строит...
- Ну? Ну?
- И на нем – трещинка!
- Не может быть!

---

<sup>28</sup> Далее было: Еще себ(е)

- Да, да. Трещинка. Пока она маленькая...
- Маленькая! Маленькая!
- ⟨л. 17⟩ – Потом станет больше-больше!..
- Больше... Больше...
- Шире-шире!
- Шире-шире...
- Потом – оно развалится!
- Оно развалится! Оно развалится!

Хохочут с необыкновенным восторгом: хватают себя за грудь, за бока, покачиваются, натываются, сближают слезящиеся глаза и ослабленные рты. Хохочут. И так с хохотом уходят.

Музыка играет громче. Танцующие приближаются к авансцене, заполняют ее и затем медленно удаляются вглубь. Выходит

### Человек

Моя жизнь проходит счастливо. Еще сорока лет не прожил я на земле, а уже достиг почти всего, к чему стремился, к чему звал меня мой талант. Мое имя звучит далеко, и уже наряду тех имен стоит оно, которые долго не забудутся потомством. А<sup>29</sup> богатство мое велико: я имею достаточно, чтобы жить в довольстве, даже в роскоши, и щедрою рукою осыпать благодеяниями бедных. Меня любит и уважает жена, моя славная и верная подруга; меня любит мой сын, двенадцатилетний мальчик, красивый и гордый, каким был я сам в его годы. Когда наступит старость, он будет утешением нашим, и в его молодой и яркой жизни я продолжу мою изжитую жизнь. У меня есть ⟨л. 18⟩ враги, ничтожные и коварные люди; но их завистливый ропот не достигает моих ушей, заглушаемый дружеской любовной речью. Преданы мне мои добрые и честные друзья, и за их крепкой охраной бессильно мечутся злоба и ненависть, зависть и подлое коварство.

Но еще не всего достиг я. Ненасытны мои желания и нет предела моей гордой мечте. Завоевав город, я хочу завоевать весь мир! Все больше славы, все больше богатства, все больше любви хочу я – и получу то, что хочу. Крепка моя мысль, не знают устали в работе мои руки, мое сердце кипит желаниями, и покорная жизнь, служанка сильных, отдаст мне желанное.

Взглядывает в угол<sup>30</sup>, где стоит Н е к т о в с е р о м, и пугается.

– Мне вдруг стало страшно: как будто призрак увидел я в этом темном углу. Теперь это часто случается со мною: размечтаюсь гордо и вдруг испугаюсь чего-то. И грустные мысли приходят тогда, омрачая радость торжества и гордого счастья. Я думаю тогда,

<sup>29</sup> Было: Я

<sup>30</sup> Далее было начато: и пуга(ется)

что коротка жизнь Человека, и уже половина дней, данных мне судьбою, канула в вечность. И чувствую я тогда, что где-то во мне беспокойно копошится брюзгливая старость, выбирая место для сна.

Неужели я буду стар? Но почему же я чувствую мгновениями, что как будто падает мой талант, слабеет творческая мысль? Уже ничего нового и яркого не могу построить я, и то, что я делаю теперь, так странно, так ужасно походит на сделанное раньше. Куда я ни бросаюсь, я всюду натыкаюсь на себя – на себя – на себя! – точно тюрьмою для духа стал мой собственный дух, точно не мысли это, а железные засовы так громко звучат во мне.

И неужели я – умру?

С ужасом и мольбою смотрит в угол, где неподвижно (л. 19) стоит Некто.

– Быть может, я оскорбил тебя, Жизнь, тем, что требовал так много? Тогда не слушай меня, Жизнь, и прости меня. И оставь мне только то, что есть – только его не отнимай у меня. Пусть будет все как<sup>31</sup> есть – будет дом, будет навсегда, я ничего больше не хочу. Ты добрая, ты честная, ты не станешь обижать того, кто так верно служил тебе, исполняя твои лишь заветы: вечно стремиться, вечно желать, вечно работать!

Теперь мне стало легче и вновь я верю в свое счастье. Пойду и созову друзей моих, пусть, милые, порадуются со мной.

Уходит. Снова музыка и танцы. И вдруг все замирает: останавливаются музыканты, неподвижно, точно окаменев, стоят танцующие. И в наступившей тишине громко говорит

Некто в сером

Он не знает, что уже сочтены дни его счастья и грозные тени грядущих<sup>32</sup> сторожат дом его и заглядывают в окна. Он не знает, что уже завтра утром, когда крепко будет спать он, убаюканный счастьем, ворвется в его<sup>33</sup> спальню кто-то испуганный и громко закричит, что развалился, как карточный домик, дворец, что строил он. Это случайность – скажет он утешаясь. Он не знает, что за этой случайностью придут другие, столь же странные и неожиданные для него, но не странные для того, кому ведомы древние книги Судьбы.

Перестает нравиться то, что нравилось; перестают любить то, что любили; на смену старому идет новое и беспощадно глушит молодая зеленая поросль старую желтую траву. Вот настало лето –

<sup>31</sup> В рукописи описка: так

<sup>32</sup> Далее было: уже

<sup>33</sup> Далее было начато: ком(нату)



кто увидит старую траву? Он не *(л. 19а)* знает, что уже осужден изменчивыми умами его прекрасный талант, и достаточно дуновенья ветра, неосторожного вздоха, прямого взгляда – чтобы бесшумно и быстро развалились прочные здания его творческой мысли. Он не знает, что в бесшумных сапогах, на мягких подошвах ходит по свету несчастье – думает, что далеко, а оно уже у порога его и тихо крадется в спальню.

И<sup>34</sup> не знает он, что перестают друзья любить, а враги ненавидеть, и забывают те и другие клятвы свои. Не вечен шум, но безмолвие вечно – и уже трепещут над головой Человека его черные крылья.

Умолкает. Вновь с того же самого места, где остановились, продолжают музыка и танцы. Входят Человек, его Жена и Друзья.

### Человек

Моя милая жена! Мои милые верные друзья! Я призвал вас сюда за тем, чтобы порадовались вы со мною и благословили<sup>35</sup> щедрую жизнь. Перестаньте играть, музыканты! Я хочу, чтобы в тишине разносились слова мои и были бы слышны до самых дальних, до самых темных углов.

### Друзья

Перестаньте играть, музыканты!

### Жена

Я счастлива, что ты так спокоен и ясен, мой милый. Тень забот иногда<sup>36</sup> омрачала твое чело, но теперь вижу я блестящие глаза и радостную улыбку, и входит в мою душу веселье и смех.

### Друзья

Мы рады, что не забыл ты нас в минуту твоей радости. Светлое вдохновение сияет в твоих глазах – говори смело, наш добрый друг. Молчат *(л. 20)* музыканты, и до самых дальних, до самых темных углов разнесется твой звучный голос.

Человек, обращаясь к углу, где стоит Не кто в сером.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Было: Он

<sup>35</sup> Далее было начато: ж(изнь)

<sup>36</sup> иногда вписано.

<sup>37</sup> Далее было (с абзаца): [Благословляю тебя, Жизнь Человека!] // Благословляю твою мудрость, мудрая Жизнь! В борьбе слепых сил, где одинаково безучастны все, творящий и разрушающий, – ты одна, мудрая жизнь Человека, смело идешь вперед, все вперед, высоко неся перед собою светильник разума. // Благословляю твою суровость, суровая Жизнь! В холоде твоих суровых велений, в беспощадности твоих приговоров звучит вечная справедливость: убивая слабое и больное, укрепляя сильное, ты неуклонно творишь новые,

Благословляю тебя, Жизнь! Послушай, как я рад, что я живу, как я люблю тебя, милая, хорошая, Жизнь! Я рад, что я дышу. Так приятно ловить грудью свежий, пахучий воздух полей – леса и моря, дышать глубоко, дышать бесконечно. Как люблю я в тихий вечер<sup>38</sup>, когда заходит красное солнце, выйти на высокий берег моря и дышать всю бесконечную прохладую свежего крепкого воздуха! Я рад, что я вижу. Самый драгоценный дар – глаза мои, и все смотрел бы я, все смотрел бы – и никогда не устал бы я смотреть на красоту твою. Я рад, что я слышу. Музыкаю полна чудная земля – и все слушал бы я, все слушал – и никогда не устал бы я слушать твои чудные песни. Я рад, что я чувствую. Непрерывною волною, глубоким морем проходят во мне чувства мои<sup>39</sup>

## ЧН26

### Вариант фрагмента картины третьей (л. 9–16)<sup>40</sup>

⟨л. 9⟩ Внезапно обрывается музыка и все неподвижно замирает в тех позах, в каких застало их глубокое молчание. Говорит

#### Некто в сером

Он не знает, что это последний бал в его<sup>41</sup> доме, и уже никогда больше не зажгутся люстры, одетые чехлами. Он не знает, что уже завтра утром, когда крепко будет спать он, утомленный довольством, с криком вбежит в его спальню бледный, испуганный человек. Разбудит его грубо и скажет, что развалился, как картонный домик, ⟨л. 10⟩ тот величественный дворец, что строил он годами. Он не знает, что уже обстругиваются доски и делается та скамья, на которой будет сидеть он, отдавая судьям отчет в своих невольных ошибках. Он не знает, что уже щелями покрылся пол его дома и стены его, и готово утечь в них плавучее, покорно холодное золото.

И не знает она, что согреется ее сердце скорбью и отойдет от него холод блестящего довольства. Не знает она, что вновь в страданиях обретет она потерянную любовь и протянет тому

---

лучшие формы и на смену красивого ставишь красивейшее. // Благословляю твою щедрость, щедрая Жизнь!

<sup>38</sup> Далее было: выйти на высо(кий)

<sup>39</sup> Текст обрывается.

<sup>40</sup> Текст, замененный позднейшим (см. ЧН2а, л. 9, примеч. 16).

<sup>41</sup> Было: этом

руку помощи, кто сейчас так твердо и властно вел ее своею крепкою рукою. Так на серых развалинах вырастут прекрасные цветы, пока не сорвет их беспощадною рукою некто более жестокий, чем разорение и суд.

Умолкает. Вновь играют старательно музыканты с того места, где они остановились, и все приходит в движение.

Выходят вперед Друзья Человека. Их всего четверо, и они очень похожи друг на друга: добрые, почтенные лица, светлые бороды и простая скромная одежда.

#### РАЗГОВОР ДРУЗЕЙ

– Вот и мы здесь, друзья Человека. Но как мало нас: только четверых друзей имеет он, хотя говорит постоянно, что у него много друзей.

– Здесь только те, кто искренне любит его. Если бы собрались сюда все, кто притворяется его друзьями, нас было бы больше.

– Вы правы, сударь. Наш друг так добр и доверчив, и многие *⟨л. 11⟩* обманывают его.

– К сожалению, я не могу согласиться с вами, сударь. Пагубная доверчивость нашего друга проистекает не из доброты его, а из легкомысленной уверенности в своих достоинствах и силах.

– Он думает, что все должны любить его, а кто не любит, тот совершает ошибку или даже преступление.

– Он страшно самонадеян.

– И горд.

– Иногда он бывает невыносим. Когда хочешь сказать ему правду, предостеречь его, указать на ошибку, он смотрит так холодно и неприязненно, что остается только замолчать и уйти.

– Но у него доброе сердце.

– И забывчивое, добавьте. Разве он помнит, что я первый открыл его талант и рекомендовал его городскому управлению как архитектора?

– Он забыл, что на мои деньги была сшита его первая фракная пара.

– Как не забыл он пригласить нас сюда?

– Его испортило счастье и слава.

*⟨л. 12⟩* – Вы правы, сударь. Люди очень хорошо и мужественно выносят<sup>42</sup> горе, но я не видел еще ни одного, который с достоинством сумел бы пережить счастье.

– Сейчас я отвел его в сторону и правдиво сказал: зачем, мой друг, этот шум, эта толпа? Не лучше ли скромный кружок друзей? А он улыбнулся и ответил: как ты скучен, мой бедный друг.

<sup>42</sup> Далее было: счастье(е)

– Да, мы для него скучны.

– И бесталанны. Недавно он сказал одному знакомому, что среди нас нет ни одного действительно талантливого человека.

– Вот как!

– Что он не понимает, какие дураки дают нам заказы и платят деньги. Что он не поручил бы нам построить конуру для собаки, жалея ее эстетический вкус.

– Вот как. Это чудовищно!

– Что в домах, которые мы строим, одно<sup>43</sup> только достоинство, покрывающее все их недостатки: они быстро разваливаются.

– Но это ложь! У нас не развалился еще ни один дом. А у него...

– Позвольте, сударь. Разве вы не думаете, что все это просто сплетни. Трудно допустить, чтобы наш умный<sup>44</sup> друг мог говорить такие глупости.

⟨л. 13⟩ – Однако, вы едва ли пожалуетесь, чтобы он надоедал вам своими посещениями?

– Да он бывает у нас редко. Но он так занят.

– Он говорит, что от наших советов и причитаний у него лезут волосы из головы и портится автомобиль.

– Вот как. Но при чем тут автомобиль?

– Перестаньте. Вы повторяете гнусную ложь. Он лучший из людей, честный, талантливый и умный. И я убежден, что он искренне любит нас. Вспомните, как радушно встретил он нас сегодня.

– А потом не подошел ни разу и весь вечер провел со своими врагами. Им он показывал свою картинную галерею, им он показывал свою библиотеку, свои чертежи...

– А мы грустно тащились в хвосте и из-за спин врагов не видели даже кончика носа нашего друга.

– Он очень самолюбив!

– Тщеславен, скажите.

– И не любит правды!

– Нужно бессовестно<sup>45</sup> льстить, чтобы заслужить его расположение, и потакать ⟨л. 14⟩ его слабостям.

– Еще никогда не сознался он ни в одной своей ошибке.

– Для этого нужно мужество!

– Боюсь, что я не буду его частым гостем. Пусть проводит время с теми, кто ему приятен. Потом вспомнит и пожалеет.

---

<sup>43</sup> Было: один

<sup>44</sup> умный вписано.

<sup>45</sup> бессовестно вписано.

– Нет, я не оставлю его. Мне жаль его.  
– Вы дождетесь, сударь, что он вас выгонит.  
– Конечно, лучше не ходить к нему. Когда придет беда, он сам позовет нас.

– И мы тогда явимся<sup>46</sup> и скажем...

– Нет, мы просто придем и поможем... Вот он сам идет сюда, наш друг, и ведет за собою врагов своих. Несчастный! Смотрите, какие у них самодовольные и злые лица! И какая гордая у него поступь.

– Мы уступаем место. Идемте, идемте.

Друзья Человека понуро уходят, вереницею, один за другим.

#### РАЗГОВОР ГОСТЕЙ

– Как грустны его друзья.

⟨л. 15⟩ – Как веселы его враги! Что-то дурное ждет Человека.

– Нет, он покори́л своих врагов. Смотрите, какие у них смиренные лица.

– Они идут как побитые собаки.

– Как он силен и счастлив!

– А музыка играет! Как весело у Человека!

Выходит вперед Человек с своими врагами. Число их велико и все они похожи друг на друга: имеют коварные и злые лица, черные бороды и ходят, слегка сгорбившись и остро поглядывая вокруг.

#### Человек

Вот здесь, мои почтенные и уважаемые гости, вы можете полюбоваться танцами молодежи. Я пригласил самый дорогой оркестр и, надеюсь, он усладит ваш музыкальный слух.

#### Враги

Мы тронуты.

#### Человек

Если вы захотите кушать или пить, то прошу вас пройти в столовую. Пожалуйста, не стесняйтесь: мой дом, ваш дом и все, что есть в нем, принадлежит вам.

Кланяется и уходит. Враги отвечают низким поклоном и ⟨л. 16⟩ вступают в беседу.

#### РАЗГОВОР ВРАГОВ

– Идиот!

– Кривляка!

– Самонадеянный наглец!

– Скотина!

<sup>46</sup> Было: придем

– Не нужно преувеличений. Просто – дурак. Самой обыкновенной дешевой конструкции.

– Я едва удерживался от желания плюнуть ему в его бессознательные глаза.

– Я тоже.

– А почему же не плюнули?

– Потому что только у вас ядовитая слюна.

– Слушать его идиотскую музыку.

– А его картины? Среди них нет ни одной настоящей, все подделки, а он думает, что у него сокровища.

⟨л. 17⟩ – Я боюсь у него есть, он нас отравит.

– Полноте, полноте, он достаточно плохой<sup>47</sup> дурак, чтобы покормить нас хорошо. И я должен сказать правду: вина у него не дурны. Здесь он понимает больше, чем в искусстве.

– Когда я накраду денег, у меня тоже будут хорошие вина. Вы и ко мне придете?

– А вы разве тогда от себя уйдете?

– А я все хожу и боюсь провалиться под пол: ведь это он, кажется, строил.

– Успокойтесь, это он взял готовое.

– А его жена? Вы видели? Вид мадонны, сошедшей на землю, а любовников не перечесать!

– Поневоле начнешь изменять, когда муж содержит балетную танцовщицу.

– Это еще ничего. Говорят хуже.

– Что? Что? Скажите.

– Это можно сказать только по секрету.

⟨л. 18⟩            Говорит на ухо. Все охают и качают радостно головами.

– Об этом не мешало бы донести прокурору.

– Без преувеличений, господа, без преувеличений. Клевещите умеренно и тогда вам поверят. Если вы скажете, что человек украл луну, вам не поверят, п(отому) ч(то) луна ведь очень большая и видимая всем. А если вы скажете, что он нечаянно захватил позабытый вами на столе золотой, этому поверят охотно. Не утруждайте воображения людей скромных и занятых.

– Вы заступаетесь за нашего общего врага.

– Нет, это правда. И я вам должен сказать, что чертеж лучшего своего здания Человек украл у меня. Я позабыл его на столе...<sup>48</sup>

<sup>47</sup> плохой вписано.

<sup>48</sup> Текст обрывается.

## Ранняя редакция картины четвертой

⟨л. 1⟩<sup>49</sup>

## КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

## НЕСЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Четырехугольная большая комната с гладкими темными стенами, таким же полом и потолком. В задней стене два высоких, восьмистекольных, не занавешенных окна и низенькая<sup>50</sup> дверь между ними; такие же два окна в правой стене. В окна смотрит ночь, и когда распаивается дверь, в отверстие видна глубокая чернота ночи. В левой стене одна только низенькая дверь посередине. У окна направо рабочий стол Ч е л о в е к а, очень простой, темный; на нем тускло горит лампа под темным колпаком, освещающая желтое пятно разложенного чертежа. Рядом с чертежом детские игрушки: маленький кивер, деревянная маленькая лошадка и красный<sup>51</sup> пац с бубенцами. Полка с тремя книгами, два стула, широкий диван, обитый черной клеенкой.

В углу, более темном, чем другие, стоит Н е к т о в сером, именуемый О н . Свеча в его руке не больше как толстый, слегка оплывший огарок, горящий красноватым, колеблющимся огнем. И так же красны блики на каменном лице и подбородке его.

\_\_\_\_\_ 52

⟨л. 2⟩ Стоят рядом<sup>53</sup> три женщины, прислуги, и испуганно, вытянув шеи, смотря на дверь. Дверь распаивается, открывая темноту ночи, и входит Д о к т о р . У него круглое, самодовольное лицо и под мышкой ящик с инструментами.

## Доктор

Вот я и<sup>54</sup> приехал. Я быстро езжу, быстрее всех докторов. Только гробовщики быстрее меня, и уже двое сторожат там за вашими дверьми. Я их прогнал, но они опять придут. Отчего вы так разинули рты, точно хотите проглотить меня, мои красавицы?

<sup>49</sup> В верхнем правом углу авторская помета: 17 сент(ября). Ниже нее помета рукой неустановленного лица вписано: Вариант

<sup>50</sup> низенькая вписано.

<sup>51</sup> красный вписано.

<sup>52</sup> Далее в ранней версии редакции следовал отвергнутый фрагмент, соответствующий л. 1–7 настоящей версии. Ниже он воспроизводится отдельно (ЧНЗб).

<sup>53</sup> рядом вписано.

<sup>54</sup> и вписано.

Одна

Мы боимся. Вы доктор?

Доктор

Неужели мне всех вас троих<sup>55</sup> нужно лечить от столбняка? У Лота была только одна жена, а тут целых три соляных столба. Вы клеветеете на священное писание, сударыни.

Другая, показывает на дверь налево:

Молодой господин там.

Третья

Прямо, и сейчас же дверь направо. С ним его родители.

Доктор

Доктор всегда найдет своего больного. Но только прогоните гробовщиков, они портят мою репутацию.

Уходит.

#### РАЗГОВОР ПРИСЛУГИ

– Он еще смеется!

– Что ему?

⟨л. 3⟩ – Пожил бы он в этом доме, так перестал бы смеяться.

– Проклятый дом!<sup>56</sup> И никто мне не сказал, и никто меня не предупредил, и никто мне не посоветовал – так я и попала сюда, несчастная.

– Давно бы и я ушла, если бы деньги были заплачены. А то уже два месяца как ни мне, ни ей не платят. Нет у них денег, так и прислуги бы не нанимали, сами бы себе служили.

– Привыкнут люди барствовать, долго их не отучишь. Ведь богаты были, говорят люди.

– Я и служу-то им так, как захочется: захочу – хорошо сделано кушанье, захочу – собака есть не станет.

– Да и я: день мету, а два – нет. И обругать они меня не смеют, посмотрят, посмотрят, да так и проглотят.

– Едят они и морщатся, а я как будто и не замечаю. Да еще их же поругиваю. Ничего – молчат.

– Кому охота даром работать?

– Да и если бы они и платили<sup>57</sup> стали, скажу я вам – не могла бы я тут работать. Не лежит у меня сердце к ним, и думаю я: не убили ли тут кого-нибудь.

<sup>55</sup> В рукописи описка: троим

<sup>56</sup> Далее было: Лучше бы я

<sup>57</sup> В рукописи: платили (незаверш. правка).



– Да под полом и схоронили.

– Ой, не пугайте. Я уж и не знаю, как я побегу домой.

⟨л. 4⟩ – А вы не ходите, побудьте с нами. Мы вам в кухне кофе приготовим, в карты сыграем.

– Очень нам страшно, вдвоем-то.

– Нянька старая все сидит около молодого господина. Не уходит, как собака.

– Умрет он, я думаю.

– Конечно, умрет.

– А может быть, и вылечат.

– Нет. Если бы вы видели его голову, вы не сказали бы этого. Так разбита вся, как орех под ногою, и волосы все спутались. Были они у него золотые, а теперь стали красные.

– Вот что я скажу: умрет он, и дня одного я тут не останусь. Ведь это все равно как в темной комнате свечку последнюю погасить.

– Или в холодной печке уголь последний залить. Если он не будет смеяться, то кто? Уже не мы ли?

– Кто его ударил так страшно.

– Какой-то человек из-за угла бросил в него камнем. Видели люди, как он шел потом, только не осмелились его остановить. Был у него нож да еще другой камень. Так и ушел.

⟨л. 5⟩ – Кому охота подставлять свою голову?

– Страшно жить на свете, женщины. За что же хотели убить молодого господина? Такой он был добрый и веселый, идет себе по улице и поет. И девушки его все любили: как он покажется на улице, так они к окнам.

– Да и мужчины его любили. Бывало, приведет своих товарищей, так они смотрят не посмотрят. Все руки ему жмут, а потом песни петь начнут. И он же – первый у них запевала.

– Только, бывало, и отдохнешь, как молодые люди придут. Старики, и те начинали смеяться, а сам так даже пел с ними. Только плохо, должно быть, он пел, шутили они над ним.

– Может быть, за женщину его и<sup>58</sup> хотели убить?

– Кто знает? Может, и за женщину, а может, и за другое что. За разное людей убивают, разве разберешь за что!

– Грозили ему, я слыхала. А тут три дня какие-то люди его сторожили по вечерам. Поднимется на цыпочки<sup>59</sup> и смотрит, крикнешь – согнется и побежит. Говорила я молодому господину, а он только смеется.

---

<sup>58</sup> Далее было: убили

<sup>59</sup> Далее было: он, крикне(шь)

– Вот и досмеялся. Как орех, говоришь<sup>60</sup>, голова?  
– Да, как орех, когда его ногою раздавишь.  
– Страшно жить на свете, женщины. Умрет он, чувствую я это.

⟨л. 6⟩ – Вот и будут старики сидеть<sup>61</sup> как сычи да смотреть друг на друга.

– Да слушать, как ветер в трубе свистит.

– Да зубами от стужи ляскать. Вы чувствуете, как у нас холодно: два дня уже не топим.

– Уйду я отсюда. Завтра же уйду. Пусть пропадают деньги, душа цела будет.

– Да и я не останусь. Бог с ними!

– И не ходит к старикам никто. Должно быть, хороши люди!

– Будут сидеть как сычи...

– Ох, не хорошо же у вас, женщины. Лучше же я домой пойду.

– Нет, нет!

Входят Доктор, Человек и его Жена. Оба они очень постарели и совершенно седы. Большие волосы и такая же борода придают голове Человека<sup>62</sup> сходство с львиной головою. При ходьбе он слегка горбится, но голову держит высоко; когда рассматривает что-нибудь вблизи, то надевает большие очки в серебряной оправе.

⟨л. 8⟩

Доктор

Успокойтесь, почтенные родители. Если ваш сын может поправиться, то он поправится. Теперь ваш сын заснул – это может быть очень плохо, но может быть и хорошо.

Жена Человека

Благодарю вас, доктор. Вы очень утешили нас. Надеюсь, вы приедете к нам завтра?

Доктор

Приеду завтра и послезавтра, и каждый день буду ездить... Что это за карточки? Ах, это оставили мои коллеги, – ну это я возьму с собою, тут разоблачаются профессиональные секреты. До свидания, до свидания, будьте совершенно спокойны.

Уходит.<sup>63</sup>

Человек и его Жена остаются одни и некоторое время молчат.

<sup>60</sup> В рукописи: говорит

<sup>61</sup> сидеть вписано.

<sup>62</sup> Вместо: голове Человека – было: Человеку

<sup>63</sup> Далее было (с абзаца): Жена. // Няня, я прошу вас, пойдите, посидите к мальчику (так в рукописи! Незаверш. правка). Он спит так крепко, как маленький,

## Человек

Вот это я начал чертить, когда он был<sup>64</sup> еще здоров. Вот на этой линии я остановился и подумал: отдохну, а потом буду продолжать опять. Простая, спокойная линия, и можно ли подумать, рассматривая, что между нею и следующей... Какая ужасная мысль!

## Жена

Он будет здоров, я верю. Не тревожься, мой милый!

⟨л. 9⟩

## Человек

А ты разве не тревожишься? Взгляни на себя в зеркало, как ты бледна. Ты бела как твои волосы, мой старый друг.

## Жена

Конечно, я немного тревожусь, но я убеждена, что опасности нет.

## Человек

И теперь как всегда ты утешаешь и ободряешь меня, и обманываешь меня так искренне, так свято. Бедный мой оруженосец, плох твой рыцарь, не держит оружия его дряхлая рука... Что это? Это его игрушки? Зачем они здесь? Кто положил их сюда?

## Жена

Мой милый! Ты же сам, давно еще, положил их сюда. Ты говорил тогда, что тебе работается легче, если пред тобою лежат эти детские, невинные игрушки.

## Человек

Игрушки! Игрушки!.. Они пугают меня, жена, они смотрят на меня, как призраки. Когда ребенок умирает, проклятием для живых становятся его игрушки. Игрушки!

## Жена

Они куплены, когда мы были еще бедны. От этого они еще дороже.

## Человек

Игрушки! То, во что ребенок играл, где он оставил часть своей маленькой души. Кивер, картонный плохонький кивер. – Ты кто? – Я рыцарь, папа. Я самый сильный, смелый рыцарь. – Куда же идешь ты, мой маленький рыцарь? – Я иду убивать дракона,

---

и возле него будет сидеть его няня. // Няня. // Посижу, посижу – отчего не посидеть? Много ночей сидела я над ним, когда он, бывало, болел, посижу и теперь. И плакать не буду – не любит он, когда над ним плачут.

<sup>64</sup> был *втисано*.

папа. Я иду освободить пленных, папа. – Иди, иди, мой маленький рыцарь!

Жена плачет.

А, лошадка. Гоп-гоп, лошадка, куда ты скачешь? – Далеко, папа, далеко, туда, где зеленый лес. – Возьми меня, лошадка<sup>65</sup>, с собою. – Гоп-гоп, садись, милый папочк... И паяц. Смешной, красноносый, ободранный паяц! У него один только <л. 10> бубенчик и нет глаза. Ну-ка сделай рожу, паяц! Засмейся же, ну-ну! Нет, не можешь, старый ободранный забавник – так жалко звенит твой осиротелый бубенчик!

Жена

Не мучь себя и меня! Твои слова разрывают сердце. Поверь мне, выздоровеет наш сын, не допустит Бог, чтобы мы, старики, пережили его. Разве это будет справедливо, если молодое умрет раньше старого?

Человек

А где ты видела справедливое, жена?

Жена

Мой милый друг, я прошу тебя, преклони со мною вместе колена и вместе вдвоем, мы старые – мы умолим Бога.

Человек

Трудно сгибаются старые колена.

Жена

Преклони их – ты должен.

Человек

Не услышит меня Тот, чей слух еще ни разу не утруждал я ни славословием, ни<sup>66</sup> докучными просьбами.

Жена

Проси – ты должен. Если не отец умолит за сына, то кто же? Кому ты оставляешь его?

Человек

Пусть будет, как ты говоришь. Быть может, отзовется вечная справедливость, если преклонит колена старик.

Оба становятся на колени, обратившись<sup>67</sup> лицом в тот угол, где неподвижно стоит Некто в сером, и молитвенно складывают у груди руки.

---

<sup>65</sup> лошадка *вписано*.

<sup>66</sup> *Далее было начато*: прось(бами)

<sup>67</sup> *Было начато*: обращ(аются?)

Боже, я ни о чем не прошу тебя, я говорю только, что он мой сын. Мое дитя, мой мальчик, мой сын. Боже, ты слышишь меня? В муках я родила его и слышала его первый крик. Боже, ты знаешь, как кричат маленькие дети? Потом я видела, как он рос. Сколько есть минуток в твоём светлом дне, в твоей темной ночи – столько минуток я думала о нем и смотрела на него. Я столько на него смотрела, что не было<sup>68</sup> на его маленьком тельце ни одного местечка, которое не знала бы я<sup>69</sup>, которое не целовала бы я несчетно. Боже, ты слышишь меня? Потом он учился ходить. Ты знаешь, как долго это продолжается. Они падают, ушибаются и плачут, и смеются они – у них такие маленькие, слабые ножки – и это я, это я учила его ходить.<sup>70</sup> И вот сделался он юношею, на его смешном, милом лице выросли уже усики, и стал он строг, суров и недоступен, как мужчина – но разве не весь он был передо мною? Ведь каждую пуговочку на его рубашке его знаю, ведь нет на нем местечка, которое бы не было мое, мое, мое. Я уверяю Тебя, Боже, я умру, если он умрет, и нагоню его в смерти и вместе с ним предстану пред Тобою – и не меня, мать, ты пожалей. Пожалей его – дай ему пожить еще хоть немножко, хоть немножко, он так любит жить. Ведь он еще так молод,<sup>71</sup> Боже, так глуп<sup>72</sup> – он еще любит сладкое. Пожалей его!

– Что же не молишься ты, мой друг.

– Я хочу один говорить с Ним. Уйди.

Жена<sup>73</sup> целует Человека<sup>74</sup> в лоб и выходит.

– Вот я молюсь, видишь Ты? Согнул старые колени, в прахе разостлался перед Тобою, землю целую – видишь? Быть может, когда-нибудь я оскорбил Тебя, так Ты прости меня – прости. Правда, я был дерзок, заносчив, требовал, а не просил, часто осуждал – Ты прости меня. А если хочешь, если такая Твбя воля<sup>75</sup>, накажи – но только сына моего оставь. Оставь, я прошу Тебя. Не

<sup>68</sup> *Вместо:* не было – было: нет

<sup>69</sup> *я вписано.*

<sup>70</sup> *Далее было:* Вот стал он большой мальчик, начал говорить смешные большие слова и думать – это я учила его говорить, это я думала с ним вместе. Боже, ты слышишь меня!

<sup>71</sup> *Далее было начато:* Госпо⟨ди⟩

<sup>72</sup> *так глуп вписано.*

<sup>73</sup> *Далее было:* выходит

<sup>74</sup> *Было:* его

<sup>75</sup> *воля вписано.*

о милосердии я Тебя прошу, не о жалости, нет – только о справедливости. Ты – старик, и я ведь тоже старик. Ты скорее меня поймешь. Его хотели убить злые люди, те, что делами своими оскорбляют Тебя и оскверняют Твою землю. Злые, безжалостные, негодяи, бросающие камни из-за угла. Из-за угла, негодяи! Не дай же совершиться до конца злему делу: останови кровь, верни жизнь – верни жизнь моему благородному сыну. Ты отнял у меня все, но разве когда-нибудь я просил тебя, как попрошайка: верни богатство! верни друзей! верни талант! Нет, никогда. Даже о таланте не просил я, а ты ведь знаешь, что такое талант – ведь это больше жизни! Может быть, так нужно, думал я, и все терпел, и все терпел, гордо терпел. А теперь прошу, на коленях, в прахе, целуя землю, – верни жизнь моему сыну! Целую землю твою!]<sup>76</sup>  
С трудом встает. Равнодушно внемлет молитве отца и матери Некто в сером.  
Входит Жена.

Человек

Ну, успокойся, жена, я поговорил с Ним, поговорил как следует, как нужно объясняться мужчинам. Теперь<sup>77</sup> и я верю, и мне стало спокойно, даже весело. Ты не была у мальчика: как он?

Жена

Да, я была у него. Он хорошо и крепко спит, и я думаю, что все (л. 13) будет хорошо.

Человек

Да, да, все будет хорошо, будь спокойна. Но собрала ли ты волосы, которые обрезали с головы его, когда обмывали рану? Их необходимо собрать и сохранить.

Жена

Да, я спрятала их в<sup>78</sup> драгоценный ларец, последний, что осталось от нашего богатства.

[Человек

Не грусти о богатстве. Нам нужно подождать только, пока не возьмется за работу наш сын: он вернет потерянное. Мне стало весело, жена, и я твердо верю в наше будущее. А помнишь ли ты нашу бедную розовую комнатку? Добрые соседи набросали дубовых листьев, и ты сделала из них венок на мою голову, и говорила, что я гениален?

<sup>76</sup> Текст: МОЛИТВА ОТЦА. ~ Целую землю твою! – вырезан. Здесь восстановлен по л. 10 карт. 4 Ча, куда был перенесен автором.

<sup>77</sup> Далее было: я

<sup>78</sup> в вписано.

Жена

Я и теперь, мой друг, скажу то же. Люди перестали ценить тебя, но не я.

Человек ]<sup>79</sup>

Нет, моя маленькая женка, ты не права. Но не это огорчает меня минутами: заслуга Человека не в том, чтобы родиться гением, а в том, чтобы хорошо и честно поработать для жизни. И я не был тунеядцем, нет! Меня огорчает только: зачем так скоро забыли меня люди. Они могли бы помнить несколько дольше, жена, несколько дольше.

Жена

Да. Перестают любить то, что любили; забывают то, что знали.

Человек

Несколько дольше могли бы помнить они, несколько дольше.

⟨л. 14⟩

Жена

Ты забыл, как третьего дня на улице тебе поклонился какой-то молодой человек?

Человек

Да, да, хороший юноша, очень хороший юноша. Я его помню, у него такое славное лицо. Да, да. Хорошо, что ты напомнила мне сейчас<sup>80</sup> об этом поклоне, у меня посветлело на сердце. Но что-то меня клонит ко сну, устал я, вероятно. Да, и стар я, моя маленькая, седая женка, ты не замечаешь?

Жена

Ты все такой же.

Человек

И глаза блестят?

Жена

И глаза блестят.

Человек

И морщин нет?

Жена

Есть маленькие морщинки, но...

Человек смеется.

---

<sup>79</sup> Текст: Человек. // Не грусти о богатстве. ~ Люди перестали ценить тебя, но не я. // Человек. – вырезан. Здесь восстановлен по л. 12 карт. 4 Ча, куда был перенесен автором.

<sup>80</sup> сейчас вписано.

Конечно, я чувствую себя красавцем, куплю мундир и поступлю в кавалерию! Хорошо?

Ж е н а, улыбаясь.

Вот ты и шутишь, как прежде. Ну, приляг здесь, мой друг, усни немного, а я пойду к мальчику. Будь спокоен, я не оставлю его, а когда он проснется, позову тебя. А тебе не неприятно целовать старую, морщинистую руку?

Ч е л о в е к, целуя руку.

Она такая же, как была, и люблю я ее больше еще, чем любил. Побереги же нашего сына, посиди около него тихой тенью нежности<sup>81</sup> и ласки, а если станет он беспокоиться во сне, спой ему песенку, как прежде.

(л. 15) Жена уходит, слегка пригасив лампу<sup>82</sup>. Человек ложится на диван, головою к тому концу, где неподвижно стоит Некто в сером, так что последний почти касается рукою его седых, разметанных волос. Быстро засыпает.

#### Некто в сером

Крепко и радостно уснул Человек, обольщенный надеждами. Тихо дыхание его, как у ребенка, спокойно и ровно бьется старое сердце, отдыхая. Он не знает, что через несколько мгновений умрет его сын, и в сонных, обманчивых, таинственных грезах пред ним встает невозможное счастье. Вот видит он, что по тихой красивой реке он едет в лодке со своим мальчиком. Тиха прозрачная вода, голубеет небо, и камыш шуршит, расступаясь. Как хорошо, говорит он, как полно все счастья и солнца. Но вдруг беспокоится он, страшная правда сквозь густые покровы сна прорезала мысль его: Отчего так низко обрезаны твои золотистые волосы, мой мальчик? Отчего? – У меня болела голова, папа, от этого так низко обрезаны мои волосы. И снова счастье и тишина, и сияние солнца, и бесшумное трепетание стрекозиных крыл над рекою.

Он не знает, что уже умирает его сын, и в последней безумной надежде, с детской верою в помощь взрослых, без слов зовет его криком сердца: папа, папа, я умираю! Удержи меня! Тиха прозрачная вода, сияет солнце,<sup>83</sup> синие стрекозы сверкают под солнцем и счастливо улыбаются чему-то молодые, веселые уста.

Проснись, Человек! Твой сын – умер.

Ч е л о в е к испуганно поднимает голову и быстро встает.

---

<sup>81</sup> Было: покоя

<sup>82</sup> слегка пригасив лампу *вписано*.

<sup>83</sup> Далее было: голубые



– Кто звал меня? Кто разбудил меня?

(л. 16) В то же мгновение за стеною раздается громкий плач многих женских голосов. Высокими голосами, протяжно плачут они над умершим. Входит Жена, бледная, совсем белая.

Человек

Умер?!

Жена

Да. Умер.

Человек

Он звал меня?

Жена

Нет – нет, нет, нет. Он никого не звал. Он умер.<sup>84</sup>

Идет к дивану и молча, без крика и слез, падает на него. Человек медленно, дрожа всем телом, поворачивается к углу, где стоит Некто – и говорит тихо:

– Так ты – обманул меня?

Сдерживая дрожь, быстро проходит по комнате, возвращается и так же тихо бросает:

– Так будь же ты – проклят!

Высоко поднимает руки, и точно бросая тяжелый камень, обрушивает гневно и страшно:

– Будь проклят!

Выпрямляется гордо и, высоко подняв руки, проклинает жестокую судьбу.

– Слепой, безумный, жестокий Рок – я проклинаю тебя проклятием Человека. Безгранично властвуешь ты надо мною, ты, лишенный разума, ты, лишенный совести, ты, скрывшийся в черных недрах непознаваемого – и я твой раб, проклинаю тебя проклятием Человека. Нет судьи между нами, и безнаказанно творишь ты надо мною насилие, несправедливость, обижаешь меня, издеваешься надо мною, как бесталанный шут, – но не преклоню же я перед тобою моих (л. 17) колен, не признаю же я твоей дикой власти и во веки веков проклянута ее проклятием Человека! Отнимай у меня, все отнимай – ведь ты жаден, как ростовщик, голоден вечно, как саранча, силен, как разбойник на большой дороге, спрятавший свою рожу под маской, – моего святого гнева Ты никогда не отнимешь у меня. Нет! Здесь, безумец слепорожденный, конец твоей злой<sup>85</sup> власти и начало моей! Ты<sup>86</sup> изрезал морщинами мое

<sup>84</sup> Далее было (с абзаца): Человек.

<sup>85</sup> злой вписано.

<sup>86</sup> Далее было: ножом

лицо – о, ты хорошо умеешь это делать, талантливый цирюльник вечности! – ты побелил мои волосы, ты день за днем крал у меня силы, талант<sup>87</sup> – ты, наконец, убил моего сына, моего мальчика – ведь ты любишь убивать детей и глумиться над женщинами, мой верный друг, не так ли? Ну так послушай же – моего я ты не смеешь тронуть, моего гордого, смелого, человеческого я!

Ага, проклятый разбойник, бездарный кривляка вечности! Ты издевался надо мною – теперь я, я посмеюсь над тобою, я! Что можешь сделать ты со мною со всей твоею сатанинскою властью? Ты повалишь меня наземь – я буду смеяться и кричать: проклят, проклят! Ты клещами послушной смерти зажмешь мне рот – последней мыслью моею я крикну в твои ослиные уши: проклят, проклят! И вот ты получишь мой труп – глупец, глупец, дарю его тебе. Грызи его в бессильной злобе, мне же<sup>88</sup> он не нужен! Ты не встречал еще мужчин, должно быть, славный победитель над<sup>89</sup> безоружными!

Послушай меня, убийца сына! Если<sup>90</sup> у тебя есть лицо, подобное моему – ведь во мраке кроешься ты и молчишь, – проклетие бросаю я в лицо твое. Будь проклят – проклят – проклят!

Человек отходит и обращается к<sup>91</sup> Жене, которая лежит неподвижно.

– Пойдем, мать, к умершему, отдадим ему последние ласки наши и *(л. 18)* поцелуи... Но ты молчишь? Ты неподвижна...

Трогает ее.

– И руки твои холодны... Что! Этого не может быть! Встань! Встань, тебе я говорю! – Ведь ты же со мною умереть хотела!

Занавес.

## ЧНЗ6

### *Вариант фрагмента картины четвертой (л. 1–7)<sup>92</sup>*

*(л. 1)<sup>93</sup>* Сидит на стуле и тихо плачет, выражая глубокое горе, бывшая нянька Сына, старуха с добрым морщинистым лицом.

Распахивается дверь наружу в темноту ночи, и входит Кухарка и Горничная Человека – обе очень испуганные. Быстро захлопывают за собою дверь.

<sup>87</sup> *Далее было:* о, ты хорошо умеешь это делать, герой ночного мрака!

<sup>88</sup> *Было:* больше

<sup>89</sup> *Было начато:* б(езоружных?)

<sup>90</sup> *Далее было:* ты только

<sup>91</sup> *Далее было начато:* непо(движной?)

<sup>92</sup> *Текст, замененный позднейшим (см. ЧАЗа, л. 1, примеч. 52, и л. 8, примеч. 63).*

<sup>93</sup> *В начале фрагмента помета рукой неуст. лица: Вариант.*

⟨л. 2⟩

РАЗГОВОР ПРИСЛУГИ

– Ну что же, пригласили вы доктора, за которым ходили?

– Да, он внимательно выслушал нас и обещал тотчас же приехать. Так страшно идти по улице: ветер загасил все фонари, и мы все время бежали от страха.

– Наш страх мы вынесли из этого дома, и это он сделал ночь такую черною и ужасною.

– Проклятый дом! Я вам говорю, поверьте мне: проклятый дом! Над ним висит чье-то проклятие.

– Где я ни жила, я не видела такого противного дома. Кажется, как будто здесь совершен какой-то великий грех, которого ничем нельзя замолить.

– Несчастный дом, женщины, а не проклятый. Несчастный дом. Уже двадцать пять лет живу я здесь, здесь я состарилась, и знаю все.

– Вы были нянюшкой несчастного молодого господина?

– Да, я была нянюшкой, нянюшкой и осталась, хотя моему мальчику теперь двадцать уже лет. Был наш дом богатый и славный, женщины<sup>94</sup>, и музыка на балах играла – теперь уже нигде не услышишь такой веселой музыки. Были и господа наши веселые и радостные – теперь нигде не увидишь таких веселых и щедрых господ.

⟨л. 3⟩ – Куда же девалось богатство? Мы его не видим.

– Вот уже год, как не получаю я жалованья.

– А я? Только поэтому и живу здесь, что жаль зажитых денег, думаю, авось заплатят. Только, должно быть, не дождусь и уйду.

– Да и я. Своя душа дороже, чем деньги. Если молодой господин умрет, я и дня одного не останусь. Ведь это все равно что в темной комнате потушить последнюю свечу.

– Или в холодной печке залить последний уголь. Если он перестанет смеяться, то кто будет смеяться? Уже не мы.

– Пойдем к счастливым людям. Около чужого счастья и самой теплее. А тут у меня руки не поднимаются на работу. Зачем работать?

– У меня кушанья никогда не удаются.

– Два дня уже не мела я комнат. Зачем? Кому нужно?

– А подать их, так холодные на столе и стоят.

– Куда девалось богатство? Не знаю, женщины, не знаю. Откуда мне знать, старухе? Было много, стало мало, а потом и совсем ничего. То приходили люди и заказывали, а то перестали

<sup>94</sup> женщины *вписано*.

приходить. Спросила я госпожу, отчего это, а она ответила: оттого, что перестало нравиться то, что нравилось. – А отчего же могло перестать нравиться, раз уже понравилось? – А оттого, что другое начало нравиться больше. Так она сказала и заплакала, и я заплакала *(л. 4)* с нею, женщины.

– Отчего же не помогли люди? Разве не было друзей у господина?

– Помогали, и перестали помогать. Ходили, и перестали ходить. Кто знает, отчего? Спросила я госпожу, и ответила она со слезами: “перестают, няня, любить то, что любили, забывают то, что знали”. Были Враги у господина, может быть, они все это сделали, не знаю. Не знаю я, женщины, не знаю.

– Кто же ударил камнем молодого господина и так страшно разбил ему голову?

– Камень был брошен из-за угла.

– Да, и видели убийцу, когда он уходил.

– Но никто не осмелился остановить его.

– У него был нож и еще другой камень. Кто захочет, чтобы ему также разбили голову или ударили ножом?

– Вы не знаете, кто это был?

– Злой человек, женщины, злой человек. Кто же другой мог бы ударить моего милого мальчика! Злой человек покусился на него, женщины, злой человек бросил камень. И не добрее человека был злой камень и разбил он голову моему бедному мальчику.

*(л. 5)* – Бедный молодой господин!

– Если бы я не была трусливая женщина, я бы нашла убийцу и выжгла ему глаза.

– Кому от этого польза? Многими глазами смотрит зло, и много на улице камней и углов! Ступайте, женщины, к вашему делу, не мешайте мне плакать. Буду я плакать и благодарить Бога, что дал Он человеку слезы.

– Несчастный дом! Кто-то преследует его.

– Нам страшно одним. Пойдемте с нами, старая няня, мы не помешаем вам плакать.

– Мы тихо будем сидеть, старая няня. Не хочется громко говорить в этом доме!

– Пойдемте, милые, пойдемте. Посижу, подожду, может быть, и позовут меня к милому мальчику. А может, и забудут старую няню: престают любить то, что любили, забывают то, что знали.

Уходят. Женщины идут впереди, боязливо оглядываясь. Входит Доктор. У него очень ученый и самодовольный<sup>95</sup> вид; под мышкой он держит различные инструменты.

---

<sup>95</sup> самодовольный *вписано*.

Доктор

Вот я и<sup>96</sup> приехал. Очень быстро! Я приезжаю быстрее всех докторов, и только гробовщики обгоняют меня. У вашего подъезда уже стоят двое, но я их прогнал. Кого надо лечить?

⟨л. б)⟩

Няня

– Молодого господина надо лечить, г(осподин) доктор.

Доктор

– Полечим и молодого. Мы всех лечим, молодых, старых, только ничего из этого не выходит. Не плачьте, старушка, – если можно вылечить вашего господина, я вылечу, если нельзя, то не вылечу. Куда мне идти?

Няня

– В эту дверь, доктор. Там у больного отец его и мать.

Доктор

– Вот я и иду. Кого лечить надо?

Уходит. Няня сидит одна и тихо плачет. Осторожно открывается дверь на улицу, и, бесшумно толкаясь и грозя друг другу, на цыпочках входят два Гр о б о в щ и к а с аршинами в руках. Оба они похожи друг на друга: худые, длинные, костлявые, с движениями, напоминающими излом аршина, с вытарашенными от жадности глазами. Долго кланяются, стоя сзади, потом одновременно подходят.

#### РАЗГОВОР ГРОБОВЩИКОВ, ПОЛУШЕПОТОМ

– Сударыня!..

– Сударыня!

– Если вам нужен хороший гроб...

– Если вам нужен самый лучший гроб...

– Лучшие гробы, металлические, дубовые, деревянные... Позументы, траур...

– Самые лучшие гробы самых модных фасонов. Катафалки, носильщики.

⟨л. 7)⟩ – На каждых трех факельщиков четвертый бесплатно...

– Берут на себя украшение могил...

– Кислота для уничтожения запаха...

– Допускается кредит...

– Рассрочка!..

– Наши клиенты...

– Нет, наши клиенты!

Няня

Никто еще не умер и, Бог даст, не умрет. Ступайте себе, ступайте, вас позовут, если понадобится.

<sup>96</sup> и вписано.

## Г р о б о в щ и к и

Мы подождем. Извольте наши адреса.

Кладут на стол адреса и уходят так же, как пришли. Входят Доктор, Человек и его Жена. Оба они очень постарели и совершенно седы. Большие волосы и такая же борода придают голове Человека сходство с львиной головою. При ходьбе он несколько горбится, но голову держит высоко; когда рассматривает что-нибудь вблизи, то надевает большие очки в серебряной оправе.

*Варианты черновой редакции (ЧА)  
и авторизованных машинописных копий (МП1 и МП2<sup>97</sup>)*

<sup>9</sup> После: С ПРОЛОГОМ (с абзаца) –

*Пролог:*

Некто в сером, именуемый Он, говорит о жизни человека.

*Картина первая:*

Рождение Человека и муки матери.

*Картина вторая:*

Любовь и бедность.

*Картина третья:*

Богатство. Бал у Человека.

*Картина четвертая:*

Несчастье Человека.

*Картина пятая:*

Смерть человека.

*Лица, участвующие в представлении.*

Некто в сером, именуемый Он.

Человек

Его Жена

Отец

Родные

Соседи

Друзья

Враги

Гости

Прислуга

Музыканты на балу

Доктор

Кабатчик

Пьяницы

} Человека

<sup>97</sup> Ввиду почти полной идентичности МП1 и МП2 далее почти везде (за исключением единичных случаев несовпадения) употребляется общее сокращение "МП".

Старухи (ЧА, МП)

- 4-8 Светлой памяти ~ Леонид Андреев / в ЧА и МП нет.  
10 говорит о жизни / рассказывает жизнь ◊ (ЧА)  
10 Человека / а. Человека (ЧА) б. человека (ЧА, МП)  
10-22 Подobie большой ~ Книгу Судеб. / Подobie большой четырехугольной комнаты, не имеющей ни двери, ни окон. Все в ней серое, дымчатое, одноцветное; серые стены, серый потолок, серый пол. Из невидимого источника льется такой же однообразный, серый свет, не дающий ни теней, ни светлых бликов. Отделяется от серой стены и (нрзб.) на середину Он. На Нем широкий, бесформенный, серый балахон, смутно обрисовывающий контуры большого тела; на голове Его такой же серый капюшон, густо тенью кроющий верхнюю половину лица. Глаз Его не видно. То, что видимо: скулы, нос, крутой подбородок, – крупно, костисто и окрашено в такой же безразличный серый цвет. Губы Его твердо сжаты. Слегка подняв голову, Он начинает говорить твердым, холодным голосом, лишенным волнения и страсти – точно наемный чтец, с суровым безразличием читающий Книгу Судеб. ◊<sup>98</sup> (ЧА)  
11 четырехугольной, совершенно пустой комнаты / четырехугольной комнаты ◊ (ЧА)  
37 уже поднимается / уже вступает ◊ (ЧА)  
38-39 что несет ему / что ему несет ◊ (ЧА)  
42 Вот он – счастливый юноша / Вот он юноша ◊ (ЧА)  
43 Ледяной ветер / Безгранич(ные?) ◊ (ЧА)  
56 не знаемый никем / никем не знаемый ◊ (ЧА)  
59-60 молится и проклинает / молится и мечтает(?) ◊ (ЧА)  
60-70 В часы радости ~ и серую пустую комнату. / В часы радости, когда высоко воспарит его святой дух, в часы уныния и тоски, когда смертным томлением помрачится его душа и начнет стынуть в сердце кровь, – я буду с ним. – Я буду с ним. // И вы, пришедшие сюда для забавы, вы, обреченные смерти – смотрите и слушайте: вот пройдет перед вами, с ее скорбями и радостями, быстротечная жизнь Человека. // Некто в сером умолкает и отходит. И в молчании гаснет свет, и тьма покрывает Его и серую, пустую комнату. ◊ (ЧА)  
74-77 Глубокая тьма ~ ведут беседу. / Глубокая тьма, в которой все неподвижно. Смутно намечаются очертания большой комнаты и темные силуэты старух, ведущих беседу. ◊ (ЧА)  
74 Как кучка серых притаившихся мышей / Как груда больших камней ◊ (ЧА)  
90 иметь девочку / девочку иметь ◊ (ЧА)  
92 ищут опасности / любят опасность ◊ (ЧА)

<sup>98</sup> За исключением варианта стк. 11.

- 100 шестнадцать часов / двенадцать часов ◊ (ЧА)
- 114 снова появился / опять появился ◊ (ЧА)
- 126 Тогда бы внесли сюда / Тогда внесли бы сюда (ЧА)
- 127-128 ее мужа / ее бесчу(вственного) мужа ◊ (ЧА)
- 128 потерявшего чувство / лишившегося чувств (ЧА) / как в ЧА ◊ (МП)
- 135-136 и<sub>1</sub>приходить не надо было / не надо было и приходиться ◊ (ЧА)
- 142 Крики становятся / Крик становится (ЧА)
- 144 – Вы знаете эту боль? Точно разрываются внутренности. / в ЧА и МП реплика дана без тире и в подбор (без спуска) к предыдущей (стр. 143)
- 198 уж слишком смешливы / уж очень смешливы (ЧА, МП)
- 208 что есть грудь / что есть груди (ЧА)
- 220 Это желудок требует. / Это желудок требует. Человек ◊ (ЧА)
- 222 им никогда и не дают / им не дают ◊ (ЧА)
- 231 – А это – люди. / в ЧА нет / как в ЧА ◊ (МП)
- 244-245 с Его словами приносится крик ребенка, и вспыхивает свеча / с Его словами вспыхивает свеча ◊ (ЧА)
- 245 она горит неуверенно / она горит тускло ◊ (ЧА)
- 247 и желтое пламя / и пламя ◊ (ЧА)
- 248-249 скрыта покрывалом / покрыта тенью от капюшона ◊ (ЧА)
- 250-251 На зелени бронзы / На синеве бронзы ◊ (ЧА)
- 252-253 Ст а р у х в странных покрывалах и комната / Ст а р у х и комната ◊ (ЧА)
- 254-255 два высоких восьмистекольных окна / два высоких восьмиуголь(ых) окна ◊ (ЧА)
- 255 стоят стулья / идут стулья ◊ (ЧА)
- 258 – Слышите, как забегали! Идут сюда. / – Идут сюда. ◊ (ЧА)
- 264-265 свет усиливается, но в общем остается тусклым, безжизненным, холодным; / становится совершенно светло, и только ◊ (ЧА)
- 266 с горячей свечой / с горящею свечою (ЧА)
- 274-275 бьется пульс / бьется сердце ◊ (ЧА)
- 290 чтобы у меня / чтобы он ◊ (ЧА)
- 296 мне заплатить особо за щипцы / заплатить мне еще за щипцы ◊ (ЧА)
- 303 и чтобы никогда / и чтобы мы ◊ (ЧА)
- 306 Их шестеро. / Их пятеро. ◊ (ЧА)
- 306-307 толстая пожилая дама / толстая да(ма) ◊ (ЧА)
- 314 угнетенный и кислый вид / угнетенный вид ◊ (ЧА)



- 322 Пожилой господин. / Господин. (ЧА, МП)  
 323 столь долго / так долго ◊ (ЧА)  
 331 занята собой / а. занята свои(ми) б. занята собою (ЧА)  
 333 ходят только / ходят ко мне ◊ (ЧА)  
 335 столько хороших / столько хороших людей ◊ (ЧА)  
 344 какого-либо / кого-либо (ЧА, МП)  
 343–344 дорогой шурин / дорогой тесть (ЧА) / как в ЧА ◊ (МП)  
 346 мы с женой / мы с женою (ЧА)  
 351–352 жертвой которых / жертвою которых (ЧА)  
 356 Отец. / Человек. ◊ (ЧА)  
 365–367 Родственники садятся ~ РАЗГОВОР РОДСТВЕННИКОВ / Разговор родственников. Они садятся полукругом и некоторое время молчат. В углу неподвижно, обратив к ним каменное лицо свое, стоит [челове(к)] Некто в сером со свечою. ◊<sup>99</sup> (ЧА)  
 366 В углу, обратив / В углу, непод(вижно) обратив ◊ (ЧА)  
 373 – Но / – Она ◊ (ЧА)  
 376–377 Ты этого не понимаешь / Ты этого еще не понимаешь ◊ (ЧА)  
 381 Я не знаю жены инженера. / Я знаю. (ЧА, МП)  
 383 много фантазерства / много фантазии ◊ (ЧА)  
 390 бебе приносит аист / ребенка приносит аист ◊ (ЧА)  
 394 а пожилая дама / и пожилая дама (ЧА, МП)  
 397 путем, строго установленным / путем, установленным ◊ (ЧА)  
 398 наукой / наукою (ЧА)  
 411 со светлых материй / со светлой материи. (ЧА, МП)  
 412 Шерстяной? / С шерстяной? (ЧА)  
 414 за стеной / за стеною (ЧА, МП)  
 416–417 И когда хорошенько протрете, возьмите горячий утюг и прогладьте. / И когда все кругом одинаково потемнеет, прополощите шелк в чистой холодной воде. ◊ (ЧА)  
 418 Скажите, как просто! А я слыхала / А я слыхала ◊ (ЧА)  
 421 Скажите, пожалуйста, можно / Что, можно ◊ (ЧА)  
 423 не приходилось. Как странно! На похоронах / не приходилось. На похоронах ◊ (ЧА)  
 426 куренье табаку вообще очень дурная привычка! / куренье вообще дурная привычка! ◊ (ЧА)  
 430–431 в молодости, когда был легкомыслен, злоупотреблял / в молодости злоупотреблял ◊ (ЧА)  
 436 Опускается занавес / Занавес ◊ (ЧА)

<sup>99</sup> За исключением варианта стк. 366.

## КАРТИНА ВТОРАЯ

- 3-13 Все залито ярким ~ веселые и добрые. / Очень высокая, большая, очень бедная комната. Совершенно гладкие светло розовые стены, местами покрытые фантастическим сплетением серых пятен. На правой стене два высокие восьмистекольные окна без занавесок; в них смотрит ночь. Две бедные кровати, два стула и [стол] непокрытый скатертью стол, на котором стоит полуразбитый кувшин с водой и букет свежих цветов и кусок черствого хлеба. Очень светло. // В углу, который темнее других, стоит Некто в сером со свечою. Свеча убыла на одну треть, но пламя ее очень ярко и бело, и бросает сильные блики на [лицо] подбородок и щеки Его. // Входят соседи.  $\diamond^{100}$  (ЧА)
- 5-6 два высоких восьмистекольных окна / два высокие восьмистекольные окна (ЧА, МП)
- 6 стоит полуразбитый кувшин / стоит бук(ет)  $\diamond$  (ЧА)
- 10 убыла на одну треть / убыла наполо(вину)  $\diamond$  (ЧА)
- 10 пламя еще очень ярко / пламя ее очень ярко (ЧА)
- 11-12 яркие, веселые платья / яркие, радужные цвета  $\diamond$  (ЧА)
- 12-13 зеленых свежих веток дуба и березы / дубовых и березовых зеленых [свежих] веток  $\diamond$  (ЧА)
- 26 недовольство / недоверие (ЧА)
- 28-29 Не смейте касаться / Не смейте трогать  $\diamond$  (ЧА)
- 29 последние брюки / единственные мои брюки  $\diamond$  (ЧА)
- 58 со мной / со мною (ЧА)
- 60 таких хороших соседей / таких соседей  $\diamond$  (ЧА)
- 65 она собрала / а. как в тексте б. она собирала (ЧА)
- 79 не принесли нашим милым соседям / им не принесли  $\diamond$  (ЧА)
- 83 мягкой и нежной травы: когда рассыпать ее / дубовых и березовых листьев: когда рассыпать их  $\diamond$  (ЧА)
- 84 на цветущем лугу / в лесу  $\diamond$  (ЧА)
- 89 загораживая темные окна / закрывая темные окна  $\diamond$  (ЧА)
- 112-113 Тотчас же входит Жена Человека, очень красивая, грациозная, нежная, с цветами в пышных полураспущенных волосах. / Тотчас входит Жена Человека.  $\diamond$  (ЧА)
- 122 или его не роняли / или он не ронял (ЧА)
- 128 Вот сейчас придет / Вот придет  $\diamond$  (ЧА)
- 133-134 и он остался / и остался  $\diamond$  (ЧА)
- 138 окончил / кончил (ЧА) / как в ЧА  $\diamond$  (МП)
- 141 многие глупые люди даже смеются / многие даже смеются  $\diamond$  (ЧА)
- 141 как я / как и я  $\diamond$  (ЧА)

<sup>100</sup> За исключением варианта стк. 5, 6, 10, 11, 12, 13.

- 148 у нас было маленькое приданое / у меня было маленькое приданое (ЧА)
- 156 из темной глубины / и из темной глубины (ЧА)
- 159 немного из Своей кошницы / а. немного б. немного из твоей кошницы (ЧА)
- 159 кошницы / а. как в тексте б. житницы (МП1; правка рукой неуст. лица)
- 160–161 мой милый, хороший муж. / а. как в тексте б. мой милый. (МП)
- 162 свою красивую голову / свою голову ◊ (ЧА)
- 163–165 И, пожалуйста, не гневайся ~ совершенно несерьезен. / И если можешь, то немножко, совсем немножко шоколадных конфет. Но если это трудно, то не надо, я и так буду довольна. ◊ (ЧА)
- 175–176 подъедет автомобиль / подъедет бога(тый?) автомобиль ◊ (ЧА)
- 179 красивая, гордая голова / красивая и гордая голова (ЧА)
- 194 от этого я не сыт / от этого я не сытее (ЧА, МП)
- 195 целый час / целый день ◊ (ЧА)
- 198 умеют рисовать ветчину / умеют есть ветчину ◊ (ЧА)
- 223 образ нищеты / образ Нищеты (ЧА)
- 223 *После:* Ты видишь ее? – Ты видишь ее зеленое костлявое лицо, ее беззубый жалкий рот, ее отвратительные лохмотья? Смотри, смотри! Ты видишь детей, жалких уродов с большими головами, тщетно теребящих пустые груди и яростно грызущих черные соски. Смотри, смотри! Вот убийца-голод. ◊ (ЧА)
- 248 проходили люди / проходили люди, одет(ые) ◊ (ЧА)
- 249 и я думал: а у меня / а я думал: у меня / как в ЧА ◊ (МП)
- 250 делающих ногу красивой / делающих ногу красивую (ЧА)
- 254 а у меня нет / а у меня нет ничего! ◊ (ЧА)
- 256 свои клыки / мои клыки (ЧА, МП)
- 263 Там бесшумно, как призраки с горящими глазами, скользили / Там бесшумно скользили ◊ (ЧА)
- 273 а я сяду / и я сяду ◊ (ЧА)
- 273–274 а ты возьми / возьми ◊ (ЧА)
- 278 что с тобой / что с тобою (ЧА)
- 282 не в силах / не может ◊ (ЧА)
- 287 отодрали за уши / отодрали за них ◊ (ЧА)
- 287–288 я не вижу этого, как настоящий эгоист / я не вижу этого и говорю только о себе, как настоящий эгоист (ЧА)
- 292 но с глупой головой / но глупой головой (ЧА, МП)

- 297 кто-то другой, кто-то страшный / кто-то другой, кто-то чужой, кто-то страшный (ЧА, МП)
- 303 *После:* осенит твою гордую голову. – (Человек.)<sup>101</sup> Да, я поборю тебя, Жизнь! // Обращается к тому углу, где неподвижно стоит Некто, именуемый // Я поборю тебя, Жизнь, и к моим ногам я положу тебя, равнодушную и злую. Я вызываю тебя, Судьба, выходи на бой с Человеком. // Иди на бой, я вызываю тебя, [Судьба] Рок! Суеверные люди преклоняются пред твоей загадочной властью; твоё каменное лицо внушает им ужас; в твоём молчании они слышат зарождение бед и грозное падение их. А я человек, я вызываю тебя на бой! Я молодой, я смелый, я не боюсь никого, ни живых, ни призраков, и ты отдашь мне победу. Ты любишь храбрых, говорили мне старые люди, так вот же пред тобою тот, кому должен отдать ты любовь свою. // (Жена.) Смелее мой милый, еще смелее! // (Человек.) Твоей зловещей косности – я противопоставлю мою живую и бодрую силу! В твой каменный лоб, лишенный разума, я брошу каленные ядра моей пламенеющей мысли; в твоё каменное сердце, лишенное жалости, я волью отраву мятежных воплей, кликов ярости и гнева. // (Жена.) Смелее, еще смелее. За тобою стоит твой оруженосец, мой гордый рыцарь! // (Человек.) Падая под твоим ударом, я буду думать лишь о том, чтобы снова встать и снова ринуться на бой! Покрытый ранами, истекающий алой кровью, я соберу последние силы, чтобы крикнуть тебе: ты еще не победил, злой Рок! // (Жена.) Смелее, мой рыцарь! Я слезами омою твои раны, я поцелуями остановлю бегущую кровь! // (Человек.) И умирая на поле сражения, как умирают храбрые, одним лишь возгласом я уничтожу твою слепую радость палача: я победил! Я победил, злой враг мой, ибо до последнего дыхания не признал я твоей власти! // (Жена.) Смелее, мой рыцарь, смелее! Я умру с тобою. ◊ (ЧА)
- 307 Малодушные люди / Суеверные люди ◊ (ЧА)
- 311 обрушим на головы удары / обрушим на голову удары (ЧА, МП)
- 313 *к его левому плечу / к его плечу* ◊ (ЧА)
- 320 Черною тучею / Черной тучею (ЧА, МП)
- 323 За тобой / За тобою (ЧА)
- 329 чтобы крикнуть / чтоб крикнуть (ЧА, МП)

<sup>101</sup> Далее в этом фрагменте ЧА реплики не индивидуализированы.

- 332 остановлю бег / остановлю бегущ(ую) ◊ (ЧА)
- 333 на поле брани / на поле битвы (ЧА) / как в ЧА ◊ (МП)
- 335 до последнего дыхания / до последнего момента ◊ (ЧА)
- 336 Смелей, мой рыцарь, смелей! / Смелее, мой рыцарь, смелее! (ЧА, МП)
- 338 Эй, эй, выходи / Эй, выходи (ЧА)
- 348 мы с тобой / мы с тобою (ЧА, МП)
- 349 завтра уже богаты / завтра богаты ◊ (ЧА)
- 373 красный, черный / красный, зеленый ◊ (ЧА)
- 376 отразилась в воде / отразилась ◊ (ЧА)
- 377 грудь с грудью два белые лебедя / два белые лебедя грудь с грудью ◊ (ЧА)
- 378 идет кверху гора / идет вверх гора (ЧА, МП)
- 382 на среднем пятне, построю / а. на среднем пятне, выступе, построю б. на среднем пятне, т.е. на выступе, построю (ЧА) / а. как в ЧА вар. "б" б. ◊ (МП)
- 382–383 царственный замок / замок ◊ (ЧА)
- 385–386 огромные окна / огромные стекл(а?) ◊ (ЧА)
- 387 огромный камин / огромные каминь (ЧА)
- 391 И тихо как, заметь. Везде ковры / И тихо. Везде кни(ги) ◊ (ЧА)
- 393–394 на шкуре белого медведя / на шкуре медведя ◊ (ЧА)
- 403–404 Налейте его золотистым вином / Наполните его вином ◊ (ЧА)
- 404 пусть поднимается / пусть поднимется / (ЧА, МП)
- 408–409 Дальше... Понятно, я ее съем, что же может быть дальше? Но что / Дальше... Но что ◊ (ЧА)
- 409 с моей головой, маленькая женка? / а. с моею головою? б. с моею головою, маленькая женка? (ЧА) / с моей головою, маленькая женка? (МП)
- 410 Жен а. Я богиня славы! Из листьев дубовых / Жен а. Из листьев дубовых ◊ (ЧА)
- 412 Надевает венок. / Надевает. (ЧА) / как в ЧА ◊ (МП)
- 413 Да, слава, шумящая, звонкая слава. / Да, слава. ◊ (ЧА)
- 422 так идет венок / так идет дубовый венок ◊ (ЧА)
- 424–425 идут ко мне представители / идут представители ◊ (ЧА)
- 425–426 город наш гордится / город гордится ◊ (ЧА)
- 431 После: И сигару. (с абзаца) – Этого не может быть! Ты ошиблась: сигары не растут на окнах, их за деньги продают в магазинах. Это наверно черный обломанный сучок! ◊ (ЧА)
- 438 Ну посмотри же / Посмотри ◊ (ЧА)

- 440–441 Соседи? Поверь мне: это люди, но – божественного происхождения. / Это не люди, это ангелы. ◊ (ЧА)
- 450 течет по шее / течет по подбородку ◊ (ЧА)
- 458–459 Он закуривает сигару, приняв позу блаженно отдыхающего человека, она повязывает в волосы розовенькую ленточку / Он закуривает сигару, она повязывает в волосы ленточку ◊ (ЧА)
- 468 *После:* и целует. (с абзаца) – Вот. А теперь танцевать. Вообрази, что это дворец, а ты – царица бала. Готово? // Вообразила. // И оркестр готов. Вот нежная скрипка. Вот труба: го-го-го! – слышишь. Вот барабан: бум-бум-бум. // Человек в дубовом венке садится и напевает танец, прихлопывая [ру(ка-ми)] ладонями. Она кружится. И танец и музыка все веселее. Постепенно человек встает, потом начинает [под] слегка танцевать, потом схватывает жену и бешено кружится с нею, напевая. И равнодушно смотрит Некто в сером, держа в окаменелой руке убывающую свечу. // Занавес. ◊ (ЧА)
- 471 сверхъестественный, красивый / сверхъестественно красивый (ЧА)
- 482 с пустотой / с пустотою (ЧА)
- 485 по столу / по стулу (ЧА, МП)
- 497 и с сбившимся / а. и как бы б. и со сбившимся (ЧА)

### КАРТИНА ТРЕТЬЯ

- 3 в лучшей зале / а. как в тексте б. в лучшем зале (ЧА, МП)
- 6 в размерах / в размере (ЧА)
- 7 зала производит / зал производит (ЧА, МП)
- 7 вследствие чего / вследствие которой (ЧА, МП)
- 9 холодной белизной / холодной белизною (ЧА)
- 15 огромной высокой залы / огромного высокого зала (ЧА, МП)
- 15 единственное украшение / единственные украшения (ЧА, МП)
- 16–17 широко расставленными электрическими свечами / широко расставленными свечами ◊ (ЧА)
- 17 внизу света значительно меньше / внизу света меньше ◊ (ЧА)
- 23 с флейтой / с флейтою (ЧА)
- 24 И тот, что / Тот, что ◊ (ЧА)
- 25–26 невысокий, с покатыми плечами, книзу очень толстый / невысокий, книзу очень толстый ◊ (ЧА)
- 27 поматывают головой / поматывают головою (ЧА)
- 42 не смеясь, почти не глядя друг на друга и отрывисто произнося / не смеясь и отрывисто произнося (ЧА) / как в ЧА ◊ (МП)
- 42–43 точно отрубая, только те слова / только те слова ◊ (ЧА)
- 48 ярко-желтый / ярко-красный ◊ (ЧА)

- 56 Весь город добивался приглашения / Весь город добивался приглашений (ЧА, МП)
- 66 когда их мучит / когда их мучает (ЧА, МП)
- 71 вовсе и не электричество / вовсе не электричество (ЧА, МП)
- 71 но простые / а простые (ЧА)
- 80 такой музыкой / такую музыку (ЧА)
- 88 Мне иногда кажется, что я слышу ее / Мне кажется, что я иногда слышу ее (ЧА)
- 101–102 Некоторое время в разных концах, отрывисто, звуком, похожим на лай, повторяют / Некоторое время повторяют ◊ (ЧА)
- 103 Кроме этой залы / Кроме этого зала (ЧА, МП)
- 105–106 Великолепные гостиные и будуар / Великолепные гостиная и будуар (ЧА, МП)
- 111 из золотистого желтого дерева / из золотисто-желтого дерева (ЧА)
- 128 Да. Горячая вода постоянно. Дальше кабинет / Да. Дальше кабинет ◊ (ЧА)
- 139 Фонтаны. / Фонтан. (ЧА, МП)
- 143 После: – Как роскошно! (с абзаца) – – Как светло! (ЧА, МП)
- 144 Некоторое время отрывисто повторяют / Некоторое время повторяют ◊ (ЧА)
- 149 у него / у них (ЧА)
- 165 надзвездные / подзвездные (МП)
- 170 пройдет через залу / пройдет через зал (ЧА, МП)
- 176 пересекают залу / пересекают залу (ЧА, МП)
- 183 точно не замечая окружающих / точно не замечая окружающего (ЧА)
- 186 благородные лица / смелые лица ◊ (ЧА)
- 191 толкаясь / спотыкаясь ◊ (ЧА)
- 193 желтые розы / красные розы ◊ (ЧА)
- 194 проходят они через залу / проходят они через зал (ЧА, МП)
- 256 в двери / в левой двери ◊ (ЧА)
- 257 заполняют залу / заполняют зал (ЧА, МП)
- 264 спать ночью / спать ночь (ЧА, МП)
- 284 это говорят его враги / это говорят только его враги (ЧА, МП)
- 295–296 с такой репутацией. Знакомство / с такую репутацией. Знакомства (ЧА) / с такой репутацией. Знакомства (МП)
- 314 – Какая честь! // – Какая честь / – Какая честь! (ЧА, МП)
- 316 зала пустеет / зал пустеет (ЧА, МП)

- 318 она вскоре уходит / она вскоре пере(стает танцевать?) ◇ (ЧА)
- 318–319 с тою же отчаянной старательностью / с тою же старательностью ◇ (ЧА)
- 320 оставляя лишь одну свечу в дальней люстре / оставляя по одной свече на люстру ◇ (ЧА)
- 325 через всю залу / через весь зал (ЧА, МП)
- 328 Опускается занавес / (Занавес) ◇ (ЧА)

#### КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

- 4 восьмистекольных незанавешенных окна / восьмистекольных окна ◇ (ЧА)
- 8 темные окна поглощают свет / темные окна точно поглощают свет, сторожат его ◇ (ЧА)
- 14 шкаф / шкаф (ЧА, МП)
- 15 После: Один стул. (с абзаца) – Общий свет – сильно желтый. ◇ (ЧА)
- 28 на воротах / на доме ◇ (ЧА)
- 34 старый господин / господин ◇ (ЧА)
- 37 как уходили деньги / как уходят деньги ◇ (ЧА, МП)
- 39 и заказывали, / и заказывали, и приносили деньги ◇ (ЧА)
- 40 – потом / – а потом (ЧА, МП)
- 55 в кухне сижу / на кухне одна сижу (ЧА, МП)
- 56 и тоже ветер / а. и ветер б. и тот же ветер (ЧА)
- 56–57 слушаю. Разве не один ветер свистит в наши уши? / слушаю. ◇ (ЧА)
- 59–60 с собой говорю, и – мне все равно / с собою говорю – мне все равно (ЧА)
- 61 И так у них / Так у них ◇ (ЧА)
- 62–63 шляпу набок надел, и волосы выправил / шляпу набекрень надел ◇ (ЧА)
- 64 и разбил ему голову, как орех / голову ему, как орех, разбил ◇ (ЧА)
- 70 так и стоит возле, / а. так и стоит возле кровати, б. так и стоит возле него, ◇ (ЧА)
- 75 Не знаю. / А я не знаю, куда вам надо. ◇ (ЧА)
- 76 посмотрю в записную книжку / посмотрю записную книжку (ЧА)
- 82 двух детей / двоих детей (ЧА, МП)
- 92 съедят крысы / крысы съедят (ЧА) ) / как в ЧА ◇ (МП)
- 93–94 Вот и теперь ночь / Вот теперь ночь (ЧА) ) / как в ЧА ◇ (МП)



- 102 Спрашиваете вы меня / Спрашивают меня люди (ЧА) / как  
в ЧА ◊ (МП)
- 108 После: мне все равно. – Откуда мне знать, какой человек  
добрый, какой злой. ◊ (ЧА)
- 109 Пока платят – живу / Пока платят они мне, живу я у них ◊  
(ЧА)
- 109–110 пойду к другим: и другим стряпать буду / пойду к другим;  
и у других жить буду. Стряпала я им, а тогда другим стря-  
пать стану ◊ (ЧА)
- 111 соли от сахара не отличаю / соль от сахара не отличаю (ЧА,  
МП)
- 112–113 Я и пойду, мне все равно. Мне все равно... / Я и пойду, мне  
все равно. Тут ли, там ли, нигде ли – мне все равно... Мне  
все равно... (ЧА, МП)
- 115 и большая борода / и такая же большая борода ◊ (ЧА)
- 116 сходство с львиной головою: ходит он / сходство с львиною головою.  
Ходит он (ЧА)
- 124 И завтра приеду и послезавтра. / И завтра приеду и после-  
завтра приеду. (ЧА)
- 125 Уж ночь / Уже ночь (ЧА, МП)
- 127 остается с Женой вдвоем / остается с Женой один ◊ (ЧА)
- 131 страшно взглянуть / страшно смотреть ◊ (ЧА)
- 132 может быть последней / может быть последнею (ЧА, МП)
- 143 моего иступившегося / моего заржавленного ◊ (ЧА)
- 158 с собой / с собою (ЧА)
- 159–160 который со смехом я сам / который я сам ◊ (ЧА)
- 161 самый сильный, смелый / самый сильный, самый смелый  
(ЧА) / как в ЧА ◊ (МП)
- 161 Куда идешь ты / Куда же идешь ты (ЧА, МП)
- 165–166 со своей глупой и милою рожей / со своею глупою и милою  
рожей (ЧА)
- 174 Не сердись / Сейчас ◊ (ЧА)
- 187 так сказать / сказать так (ЧА, МП)
- 193 Неизвестный / Некто ◊ (ЧА)
- 198–199 у меня в душе, Господи, что только одно могу я сказать / у  
меня в душе, что только могу я сказать ◊ (ЧА)
- 202–203 Ты только посмотри на меня – видишь? / Ты только по-  
смотри на меня, посмотри – видишь? (ЧА)
- 203 Видишь, как трясется голова, как трясутся руки / Видишь,  
как трясется голова, видишь, как трясутся руки (ЧА, МП)
- 212 перед Тобой / перед Тобою (ЧА)
- 233–234 как следует / как и следует (ЧА)

- 237 что и я / что я (ЧА) / как в ЧА ◊ (МП)  
 240 посматривая в угол / поглядывая в угол (ЧА)  
 246 он очень много / он так много ◊ (ЧА)  
 271–272 последние лучи заходящего солнца / последние лучи солнца (ЧА)  
 274 как думаешь / как ты думаешь (ЧА, МП)  
 307 как встарь / как прежде ◊ (ЧА)  
 320 головой к тому концу / головою к тому концу (ЧА)  
 327 невозможное счастье / невозможное сердце ◊ (ЧА)  
 340 шуршат камыши / шуршит камыш (ЧА)  
 344–345 таинственных и обманчивых / таинственных, обманчивых (ЧА, МП)  
 349 за стеной / за стеною (ЧА)  
 349 женских голосов. / женских голосов. Входит Жена, стра(шно) ◊ (ЧА)  
 357–358 обращаясь в угол / обращаясь к Н(еизвестному?) ◊ (ЧА)  
 372 я побеждаю Тебя. / я побеждаю Тебя, смеюсь над твоей бессильной властью. ◊ (ЧА)  
 374 Клещами смерти / Клещами послушной смерти ◊ (ЧА)  
 375 последней мыслью я крикну / последней мыслью моею я крикну ◊ (ЧА)  
 377 возись с ним в темноте / возись с ним в твоей подлойд(?) темноте ◊ (ЧА)  
 379 которого Ты убил / которого убил (ЧА, МП)  
 381 внемлет проклятию / внемлет проклятиям (ЧА)  
 386 Опускается занавес / Занавес ◊ (ЧА)

### КАРТИНА ПЯТАЯ

- 3 колеблющийся, мигающий, сумрачный / колеблющийся, сумрачный ◊ (ЧА)  
 9–10 сплошь уставленный совершенно правильными рядами бутылок / а. сплошь уставленный бутылками б. сплошь уставленный рядами бутылок (ЧА) / а. как в ЧА вар. “б” б. сплошь уставленный правильными рядами бутылок (МП2; правка рукой Андреева) / а. как в ЧА вар. “б” б. ◊ (МП1; правка рукой неуст. лица)  
 12–13 рыжая борода / черная борода ◊ (ЧА)  
 14 не меня положения / не меня позы (ЧА) / как в ЧА ◊ (МП)  
 19 до едва видимых / до почти невидимых ◊ (ЧА)  
 27 мало отличаются / почти не отличны ◊ (ЧА)  
 31 точно замерзшими губами / словно замерзшими губами (ЧА)  
 34 После: Одет он очень плохо. – Грудь обнажена. ◊ (ЧА)  
 36 пламя колеблется / пламя сильно колеблется (ЧА)

- 55 *После:* танцевать. – Я веселый и люблю танцевать. (ЧА)
- 62–63 смотрю я / я смотрю (ЧА)
- 77–78 одна серая частица / одна частица ◊ (ЧА)
- 92–93 Я сейчас вся вывернусь наизнанку и буду красной. / Я сейчас весь вывернусь наизнанку и буду красный. (ЧА)
- 101 выхожу отсюда на улицу / выхожу на улицу ◊ (ЧА)
- 106 чем жизнь / чем жизнь там ◊ (ЧА)
- 120 – Умерла жена. // – Умерла жена. / *Нет.* (ЧА, МП)
- 123 заменяя собой / заменяя собою (ЧА)
- 133 пьяный дурак / дурак ◊ (ЧА)
- 133–134 Он может во сне умереть. Эй, разбудите его! / Он может умереть. ◊ (ЧА)
- 148 буду я валяться / буду валяться я (ЧА)
- 176 и фитиль догорает / и только фитиль догорает (ЧА, МП)
- 177 Не хочет гаснуть / Не хочет тухнуть (ЧА, МП)
- 178 хотело гаснуть / хотело тухнуть (ЧА, МП)
- 179 Хочет оно гаснуть / Хочет оно тухнуть (ЧА, МП)
- 188 какая она мягкая / какая мягкая (ЧА, МП)
- 195 А в кабинете на столе / А на столе ◊ (ЧА)
- 197–198 *После:* вся перепачкалась. (*с абзаца*) – А в комнате – бал. Как это было весело! // – Как богато! Как пышно! ◊ (ЧА)
- 201–202 стекла выбиты, ветер шуршит / стекла выбиты и ветер шуршит (ЧА)
- 204 у стен, в темноте, на корточках / у стен, на корточках ◊ (ЧА)
- 219 и тихо напевают / и напевают ◊ (ЧА)
- 220 на его балу / *а.* на его балу *б.* на балу Человека ◊ (ЧА)
- 222 что это дворец / что дворец (ЧА) / *как в ЧА* ◊ (МП)
- 228 В то же мгновение / В то же время ◊ (ЧА)
- 228 по ступеням спускаются / являются (ЧА) / *как в ЧА* ◊ (МП)
- 229 Тот, кто / Тот, что (ЧА, МП)
- 230 все три / все трое (ЧА)
- 236 манерничая и / манерничая и передразнивая, ◊ (ЧА)
- 246 В голосах / В голосах пр(оскальзывают) ◊ (ЧА)
- 248 Проносья мимо / Пробегая мимо (ЧА) / *как в ЧА* ◊ (МП)
- 259 замирают танцующие / застывают танцующие ◊ (ЧА)
- 261–262 кричит неожиданно громко, призывным голосом, полным тоски и гнева. / *а.* кричит молодым сильным голосом. *б.* кричит неожиданно громко, странно громко молодым сильным голосом. (ЧА) / *а. как в ЧА вар. “б” б.* ◊ (МП)

- 263–264 Где мой щит? – Я обезоружен! – Скорее ко мне! / Где мой щит? – Скорее ко мне! ◇ (ЧА)
- 267–268 заволакивает все, только светлеет лицо умершего Человека. / заволакивает все. ◇ (ЧА)
- 274 мышиные фигуры / странные фигуры ◇ (ЧА)
- 275–276 вокруг мертвеца / вокруг мертвеца (ЧА, МП)
- 278 топя ногами / топоча ногами (ЧА)
- 279 непрерывно диким смехом / непрерывным диким смехом (ЧА)
- 280 Черный, непроглядный / Наступает черный, непроглядный ◇ (ЧА)
- 284 Тишина. / нет (ЧА) / как в ЧА ◇ (МП)
- 285 Опускается занавес / Занавес ◇ (ЧА)

*Варианты прижизненных изданий*  
(Б, АШ, СЧ, Ш, Пр)

ПРОЛОГ

- 21 и страсти как – наемный чтец / и страсти – точно наемный чтец (Б, АШ, Ш, Пр)
- 38–39 несет ему грядущий день, грядущий час / несет ему грядущий час (АШ)

КАРТИНА ПЕРВАЯ

- 156 все другое молчит / все молчит (АШ)
- 198 слишком смешливы / очень смешливы (Б, Ш)
- 222 им никогда и не дают / им никогда не дают (АШ)
- 265 недвижимо / неподвижно (АШ)
- 276 не слушаете меня / не слушайте меня (Б)
- 282 родится у вас следующий / родится следующий (АШ)
- 285–286 не видал его, какой он? / не видал его: какой он? (Б)
- 296 особо за щипцы / особо еще за щипцы (Б, АШ, Ш, Пр)
- 301–302 чтобы он вырос большим, здоровым и крепким, чтобы он был умным и честным / чтобы он был умным и честным (АШ)
- 308 Пожилой господин. / Господин. (Б, АШ)
- 343 дорогой шурин / дорогой тещь (АШ)
- 344 какого-либо / кого-либо (АШ)
- 381 Я не знаю жены инженера. / Я знаю. (Б, АШ) / Я не знаю. (Пр)
- 394 фыркают, а пожилая дама / фыркают, и пожилая дама (Б)
- 411 со светлых материй / со светлой материи (АШ)

## КАРТИНА ВТОРАЯ

- 5-6 два высоких восьмистекольных окна / два восьмистекольных окна  
(АШ)
- 24 галстук / галстухе (Б, АШ, Ш)
- 81 Я принесла бутылку молока и кусок белого, пахучего хлеба.  
/ Я принесла кусок белого, пахучего хлеба и бутылку  
молока. (АШ)
- 96 А что же / Что же (АШ)
- 114 складывает на коленях / раскладывает на коленях (АШ)
- 149 конфеты / конфекты (Б, АШ, Ш)
- 151 я подумаю / я думаю (АШ)
- 181 откинута назад / откинута назад (АШ)
- 194 я не сыт / я не сытее (АШ)
- 222 Предо мной / Передо мною (Б, АШ)
- 227 выплывают смутные черные тени / выплывают черные  
тени (АШ)
- 234 Нет, Бог / Нет. Бог (Б, АШ, Пр, Ш)
- 243 маленькая женка / миленькая женка (Б)
- 246 всё магазины / всё магазины, магазины (АШ, Ш, Пр)
- 256 свои клыки / мои клыки (Б, АШ, Пр, Ш)
- 292 но с глупой / но глупой (Б)
- 297 кто-то другой, кто-то страшный / кто-то другой, кто-то чу-  
жой, кто-то страшный (Б, АШ)
- 306 рок / Рок (Б, АШ, Пр, Ш)
- 315 я противопоставлю / я противопоставляю (АШ)
- 332 алой крови / злой крови (Б)
- 337 Смелей, мой рыцарь, смелей! / Смелее, мой рыцарь, сме-  
лее! (Б, АШ, Ш)
- 355 шоколад / шеколад (Б)
- 377 два белые лебедя / два белые лебеди (Ш, Пр)
- 382 И вот на том, на среднем пятне / И вот, на том замке, на  
среднем пятне (АШ)
- 393 А мы вдвоем. Там ревет буря, а мы вдвоем, перед камином /  
А мы вдвоем, перед камином (АШ)
- 404 пусть поднимается / пусть поднимется / (Б, АШ)
- 409 головой / головою (Б)
- 458-459 повязывает / подвязывает (АШ)
- 475 пэры / мэры (АШ)
- 485 по столу / по стулу (Б)
- 487 а во дворце / а не во дворце (АШ)

### КАРТИНА ТРЕТЬЯ

- 3 в лучшей зале / в лучшем зале (Б, АШ, Ш, Пр)  
7 зала производит / зал производит (Б, АШ, Ш, Пр)  
11 чернеют темнотою / темнеют темнотою (Б)  
15 огромной высокой залы / огромного высокого зала (Б, АШ, Ш, Пр)  
31 разобщенность / разнообразность (АШ)  
33 очень красивые, изящные, стройные / очень красивые, стройные (АШ)  
56 Весь город добивался приглашения / Весь город добивался приглашений (Б, Ш, Пр)  
67 Они вам скажут / Они нам скажут (АШ)  
71 и не электричество / не электричество (Б)  
103 Кроме этой залы / Кроме этого зала (Б, АШ, Ш, Пр)  
103 у Человека в доме еще пятнадцать / у Человека еще пятнадцать (АШ)  
139 Фонтаны. / Фонтан. (АШ)  
141 серны / сирены (АШ)  
142 – Как богато! – Как роскошно! / Как богато! – Как роскошно! – Как светло! (Б, АШ, Ш)  
165 надзвездные / подзвездные (Б, АШ)  
169 пройдет через залу / пройдет через зал (Б, АШ, Ш, Пр)  
176 пересекают залу / пересекают зал (Б, АШ, Ш, Пр)  
178 разноголосо / разногласно (АШ)  
180 с спокойным / с покойным (Б)  
194 проходят они через залу / проходят они через зал (Б, АШ, Ш, Пр)  
257 заполняют залу / заполняют зал (Б, АШ, Ш, Пр)  
284 говорят его враги / говорят только его враги (Б, АШ)  
296 Знакомство / Знакомства (Б)  
297 В двери показывается Лакей в ливрее. / В двери показывается лакей в ливрее. Лакей в ливрее. (Б)  
314–315 – Какая честь! – Какая честь! / – Какая честь! (Б, АШ)  
316 зала пустеет / зал пустеет (Б, АШ, Ш, Пр)  
325 через всю залу / через весь зал (Б, АШ, Ш, Пр)

### КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

- 9 внутрь дома / во внутрь дома (АШ, Ш, Пр)  
10–11 на нем тускло горящая лампа под темным колпаком / на нем тускло горящая свеча, лампа под темным колпаком (АШ)  
14 шкаф / шкаф (Б, АШ, Ш, Пр)  
40 потом перестали / а потом перестали (Б, АШ, Ш)  
55 на кухне сижу / на кухне одна сижу (Б, АШ, Пр)  
60 и – мне все равно / мне все равно (АШ)

- 81 который внезапно сошел с ума / который сошел с ума  
(АШ)
- 98–99 Я буду в кухне сидеть и с собой разговаривать, а они тут  
будут сидеть, молчать и думать. / Я буду в кухне сидеть,  
молчать и думать. (АШ)
- 113 Я и пойду, мне все равно. Мне все равно... / Я и пойду, мне  
все равно. Тут ли, там ли, нигде ли – мне все равно... Мне  
все равно... (Б, АШ, Пр)
- 116 с львиной головою: ходит он / с львиной головою. Ходит он (Б)
- 132 последней / последнею (Б)
- 142 искренно / искренне (Б)
- 142–143 верный хранитель / вечный хранитель (АШ)
- 159 плохонький / плохенький (Б, АШ, Ш, Пр)
- 166 ободранный / оборванный (АШ)
- 181 колена / колени (АШ)
- 203 как трясутся руки / видишь, как трясутся руки (АШ,  
Пр, Ш)
- 248 бедную / бледную (АШ)
- 260 и ты сделала из них венок / и ты сделала венок (АШ)
- 274 как думаешь? / как ты думаешь? (Б, АШ, Ш)
- 347 поднимает / подымает (Б, АШ, Ш)
- 360 рукой / рукою (Б, Ш)
- 369 ее радости / радости (АШ)
- 377–378 Я исчез, но исчез, повторяя / Я исчез, но повторяю (АШ)
- 379 которого Ты убил / которого убил (Б)

#### КАРТИНА ПЯТАЯ

- 20 едва видимых / едва видных (АШ)
- 40 как странно / как страшно (АШ)
- 119–121 Должно быть, умерла жена. – Умерла жена. – Умерла  
жена. / Должно быть, умерла жена. (Б, АШ)
- 176 и фитиль / и только фитиль (Б, АШ)
- 177 гаснуть / тухнуть (Б, АШ)
- 188 какая она мягкая / какая мягкая (Б, АШ)
- 229 Тот, кто / Тот, что (Б, Ш)
- 255–256 Ты сейчас умрешь, сейчас умрешь, сейчас умрешь... – Ты  
помнишь? / Ты сейчас умрешь, а ты помнишь? (АШ)
- 261 неожиданно громко / неожиданно громко, громко (АШ)
- 277 пение / пенье (Б)

СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА.  
ВАРИАНТ ПЯТОЙ КАРТИНЫ

- 82 *Нюхает / Нюхают (Ш, СЧ)*  
179 *и сердито / и решительно, с гневным видом (СЧ)*  
221 *Он сейчас умрет. / Он сейчас умрет. – Не мешайте мне.  
Я оправляю постель, на которой умерла его жена. (СЧ)*  
276 *играла так нежно / играла так пышно (СЧ)*  
283 *где находится зала / где находится зал (СЧ, Ш, Пр)*  
344 *задержавшие / задерживавшие (СЧ, Ш)*



# Приложение



## “ИУДА ИСКАРИОТ”. КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ М. ГОРЬКОГО К РАННЕЙ РЕДАКЦИИ (ЧА2)<sup>1</sup>

### Л. 1

Стк. 2. Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда из Кариота, тот, что впоследствии был наименован предателем, очень дурной человек.

– “что” лишнее

*В ОТ (1, 3–4<sup>2</sup>) отсутствует текст: “тот, что впоследствии был наименован предателем”.*

Стк. 4. Одни из учеников хорошо знали его сами, другие много слышали о нем от людей, и по твердому свидетельству всех его знавших, Иуда был корыстолюбив, коварен, склонен к лжи и притворству.

– “всех его знавших” – точнее – “говоривших о нем”, ибо знали – некоторые

*В ОТ (1, 4–10) иная редакция, учитывающая замечание.*

Стк. 9. Свою жену Иуда отдал в добычу нужде и работе, а сам бессмысленно шатался по людям <...>

– среди людей, мне кажется

*В ОТ (1, 20–28) исправлено на “в народе”.*

Стк. 11. Детей у него не было, и это еще раз подтверждало, что Иуда дурной человек <...>

---

<sup>1</sup> О списке замечаний Горького и его пометах в ЧА2 см. с. 529–530 наст. тома. Отсылки Горького к тексту ЧА2 унифицированы (горьковские пометы “Стр.” обозначены как “Л.”, а строки как “Стк.”).

Как правило, сначала приводятся фрагменты из чернового автографа (ЧА2), к которым относятся замечания Горького. Они даны прямым шрифтом; слова, помеченные в них Горьким, подчеркнуты. В необходимых случаях приводятся параллельные фрагменты из ОТ (также прямым шрифтом, но в кавычках). Далее полужирным прямым приводятся соответствующие замечания Горького, сведенные им в отдельный список.

Примечания составителей выделены курсивом.

<sup>2</sup> Здесь и далее при отсылке к ОТ первая цифра обозначает номер главы; цифры, следующие далее после запятой, – номера строк.

– тяжело и уже не в тон

*В ОТ сохранено с заменой “подтверждало” на “говорило” (1, 28–29).*

*Стк. 16. Его отгоняли суровыми словами, и на короткое время он пропадал где-то у дороги {...}*

– суровыми ли? Резко для проповедников любви к нищему, безобразному и жалкому

*В ОТ оставлено без изменений (1, 36–37).*

*Стк. 18. И не было сомнения для учеников, что в желании его приблизиться к Христу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет.*

– “не было сомнения” – это много.

*В ОТ “для учеников” исправлено на “для некоторых из учеников” (1, 39–40).*

## *Л. 2*

*Стк. 9. Пришел он, низко кланяясь, сгибая спину, осторожно и пугливо неся вперед свою большую, бугроватую голову {...}*

– “неся вперед” – не рисует фигуру.

*В ОТ исправлено на “вытягивая вперед” (1, 64).*

*Стк. 11. Он был хорошего роста, по-видимому, очень сильный, но любил притворяться хилым {...}*

– “любил притворяться” – слишком определенно.

*В ОТ исправлено на “но зачем-то притворялся” (1, 68–69).*

*Стк. 13. {...} звуки его торопливой речи долго еще оставались в ушах, как гнилые, острые и шероховатые занозы.*

– “гнилые – острые” – гнилое не остро

*В ОТ “острые” отсутствует (1, 72–73).*

## *Л. 4*

*Стк. 10. – “оно” – солнце?*

*Соответствующий фрагмент ЧА2 не сохранился.*

*Стк. 16. Поняв свою ошибку, ученики один за другим ласково заговаривали с Иудой, но преодолеть чувства своего еще не могли, и оттого слова их звучали неправдою.*

– “оттого” – лишнее

*В ОТ существенно дополнен (развернутым сравнением Иуды с осьминогом) весь эпизод, изменилась и отмеченная фраза: “{...} один за другим подходили к Иуде смущенные ученики, заговаривали ласково, но отходили быстро и неловко” (1, 149–150).*

*Стк. 20. <...>* Фома, видимо, не решался ничего сказать, обдумывая происшедшее: он упорно разглядывал Христа и Иуду, сидевших рядом, и, поражаясь несходством их, еще не мог найти в уме объяснения.

– какого объяснения, для чего? Не видел ли он – со страхом и печалью – что в красоте и безобразии есть нечто сближающее их на высшей точке? Если поставлено – “объяснение” – надо развить его или намекнуть, чего требовало оно.

*В ОТ существенно исправлена вторая половина фразы: “Он <Фома> внимательно разглядывал Христа и Иуду, сидевших рядом, и эта странная близость божественной красоты и чудовищного безобразия, человека с кротким взором и осьминога с огромными, неподвижными, тускло-жадными глазами, угнетала его ум, как неразрешимая загадка” (1, 152–156); эпизод развит в следующих двух новых предложениях (1, 156–161).*

*Стк. 24. Соответствующий фрагмент ЧА2 не сохранился. Ср. ОТ (1, 171–174): “Она <его голова> и раньше была у всех на виду, но Иуде казалось, что она глубоко и непроницаемо скрыта от глаз какой-то невидимой, но густой и хитрою пеленою”.*

“Иуде казалось” – это – вдруг и очень много. До этой строки ни слова об ощущениях Иуды – а здесь слишком много сразу. На 5 стр. – “чувствую” – снова нечто излишнее. Как говорил Иуда, что он делал – или что он чувствовал и как чувствовал или весь он – внешне и внутренне – надо подумать об этом.

## *Л. 5*

“делает” или думает?

*Соответствующий фрагмент ЧА2 не сохранился.*

Хороших людей не было совсем, а если некоторые и считались хорошими, то лишь потому, что искуснее, чем другие, умели скрывать свои мысли и дела. *Текст подчеркнут и помечен на полях знаком “NB”.*

– NB – Здесь следовало бы остановиться и подчеркнуть. Вероятно, здесь то, что создало Предателя. Почему он говорит так о людях? Презирает ли он их – нося в душе своей невыносимую тяжесть презрения к себе, или он хочет найти в них, узнать о них что-то незыблемо, безмерно красивое?

Уничтожает или создает? Нашел ли он в людях нечто навеки отвратительное или еще ищет неувыдаемо прекрасное? Во всяком случае – здесь, мне кажется, источник для самопознания Иудой души своей.

Мне кажется, вещь эта нуждается в эпиграфе подобном таким: “Иуда был человек, и потому в нем жила трагедия”

“Иуда был человек, и потому было в нем нечто таинственное и прекрасное”

“----- и потому он жаждал незыблемого”

“----- и потому он был дерзок в исканиях своих”

“----- и потому – без конца!”

Лицо его души так же страшно двойственно, как раздвоены глаза его.

*В ОТ подчеркнутое исправлено на: “Хорошими же людьми, по его мнению, называются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли (...)” (2, 15–17). Эпизод в целом существенно расширен (дополнен анекдотами-притчами об обманувших Иуду вельможе и собаке).*

И вместе с покачиванием головы качался его застывший, широко открытый глаз и молчаливо смотрел.

*В стипке замечаний не отражено. В ОТ оставлено без изменений (2, 49–51).*

## Л. 7

*Стк. 12.* Все смеялись, и только Фома серьезно слушал: он не понимал шуток и во всем доискивался правды.

– Фома ищет правды внешней, по твоему объяснению, он как те ученые, которые делают из многогранных явлений жизни гладкие кирпичи и хотят построить из них правильно-квадратное здание – тюрьму для духа свободы. Следует указать это.

*В ОТ исправлено на: “Вполне серьезно слушал Иуду один только Фома: он не понимал шуток, притворства и лжи, игры словами и мыслями и во всем доискивался основательного и положительного” (2, 90–92).*

*Стк. 12. Соответствующий фрагмент ЧА2 не сохранился. Ср. ОТ (2, 97–101; условно подчеркнуто слово, отраженное в замечаниях Горького): “Иуда раздражился и визгливо кричал, что он все это сам видел и сам слышал, но упрямый Фома продолжал допрашивать неотвязчиво и спокойно, пока Иуда не сознавался, что солгал, или не сочинял новой правдоподобной лжи, над которою тот надолго задумывался”.*

– раздражился ли? Раздражаются – уверенные. Снова спрашиваю – искал он или уже нашел и верил, что обладает истиной?

## Л. 8

*Стк. 10. Соответствующий фрагмент ЧА2 не сохранился. Ср. ОТ (2, 124–130; условно подчеркнуты слова, отраженные в замечаниях Горького):*

“ – Ты не прав, Иуда. Я вижу очень дурные сны. Как ты думаешь: за свои сны также должен отвечать человек?”

– А разве сны видит кто-нибудь другой, а не он сам?

Фома тихо вздохнул и задумался. А Иуда презрительно улыбнулся, плотно закрыл свой воровской глаз и спокойно отдался своим мятежным снам, чудовищным грезам, безумным видениям, на части раздиравшим его бугроватый череп”.

– Не понимаю, почему Фома видит дурные сны.

**НВ.** “Спокойно” – это хорошо. Но – здесь чувствуется зияние, – пред этим чего-то не сказано. Мне неясно, почему сны Иуды мятежны и видения его безумны? Нашедшие истину, уверенные в ней – спят спокойно.

*Соответствующий фрагмент ЧА2 не сохранился. Возможно, замечание связано с текстом, близким к тексту ОТ (2, 133–141):*

“Но почти всегда случалось так, что люди, о которых говорил он дурно, с радостью встречали Христа и Его друзей, окружали их вниманием и любовью и становились верующими, а денежный ящик Иуды делался так полон, что трудно было его нести. И тогда над его ошибкой смеялись, а он покорно разводил руками и говорил:

– Так! Так! Иуда думал, что они плохие, а они хорошие: и поверили быстро, и дали денег. Опять, значит, обманули Иуду, бедного, доверчивого Иуду из Кариота!”

– **НВ.** О(?). Здесь чувствуется что-то большое – может быть, ничтожество людей, всегда готовых уверовать.

**Л. 9.** И с этого же дня заметно изменился к нему Иисус: редко взглядывал на него, и хотя по-прежнему был ласков в обращении, но выходило как-то так, что с Иудею он почти не разговаривает. *Фраза отчеркнута на полях со знаком “NB”.*

– Почему? Что почувствовал Иисус в правде Иуды? Правду враждебную?

*В ОТ фрагмент существенно переработан и расширен (введены образы ливанской розы и кактуса), но эта переработка не отражала замечания Горького (см. 2, 169–185).*

**Л. 9–10.** Он кричал, что вовсе не одержим бесом Назорей, что он просто обманщик, любящий деньги, как и все его ученики, как и сам Иуда, – потрясал денежным ящиком, кривлялся и молил. *(Далее знак вставки и помета “NB”).* И уже кто-то поднял камень, чтобы убить Искарриота, когда другие остановили его, говоря с отвращением:

– И должен был он как-то особенно смотреть на людей в это время обоими глазами.

*После знака вставки в ОТ добавлен текст. Также изменена следующая фраза: “{...} и молил, припадая к земле. И постепенно гнев толпы перешел в смех и отвращение, и опустили поднятые с камнями руки” (2, 216–218).*

**Л. 10.** – Так было бы лучше, по-твоему, если бы его убили? – спросил он (Иуда) презрительно и гневно. *Над фразой помета “NB”. В списке замечаний не отражено. В предыдущей реплике Иуды – вставка (возможно, позднейший слой, под влиянием пометы Горького):* Ведь ваша правда не помогла вам?

*В ОТ весь фрагмент (диалог Иуды и Фомы (“поднимают пыль ~ мне тяжело с тобой”) существенно переработан и дополнен (2, 231–255).*

**Л. 11.** Повернулся, точно ища удобного положения, приложил руки, ладонь с ладонью, к серому камню и тяжело прислонился к ним головою. И так час и два сидел он, не шевелясь (...) *Рядом с фразой на полях помета: “NB”.*

– NB. Вот положение, в котором ты можешь дать намек – кто есть Иуда? И о чем думал он, один [в овраге]? Может быть, для него эти несколько часов в овраге – как 40 дней пустыни для Иисуса? *(Текст подчеркнут карандашом.)*

*В ОТ эпизод, описывающий пребывание Иуды в овраге (2, 263–291, существенно дополнен, в том числе следующими фразами: “И впереди его, и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острой линией обрезая края синего неба; и всюду, впиваясь в землю, высились огромные серые камни – словно прошел здесь когда-то каменный дождь и в бесконечной думе застыли его тяжелые капли. И на опрокинутый, обрубленный череп похож был этот дико-пустынный овраг, и каждый камень в нем был как застывшая мысль, и их было много, и все они думали – тяжело, безгранично, упорно”.*

**Л. 12.** *Соответствующий фрагмент ЧА2 не сохранился. Возможно, замечание связано с текстом, близким к эпизоду ОТ в начале гл. 3, где описываются бурные развлечения апостолов в то время, как Иисус изнемогает от усталости и жары: “(...) сами же (апостолы), будучи мало чувствительны к усталости и жару, удалились на некоторое расстояние и предались различным занятиям” (3, 10–12).*

– В усталости?

**Л. 14.** И по мере того, как говорил Иисус, смягчалось сердце предателя и великая тоска зажглась в душе его. *В списке замечаний не отражено.*

*В ОТ фраза изменена на: “И по мере того как смотрел (Иуда на Иисуса), гасло все вокруг него, одевалось тьмою и безмолвием, и только светлел Иисус с Своею поднятой рукою” (3, 127–129); а весь эпизод, к которому относится фраза, существенно дополнен и радикально изменен (см. 3, 125–160).*



**Л. 15.** – Почему он не любит меня? Почему он любит тех? Разве я не сильнее их? Разве не я спас ему жизнь, пока те бежали, согнувшись, как подлые собаки? *В тексте помет нет, фрагмент воспроизводится по общему смыслу замечания.*

– [Начало трагедии? Значит, что(?)] Он хочет, чтобы Христос любил его – значит, он любит Христа – значит, нашел нечто для себя? [Хорошо.] Что? Не понимаю. Для любви Иуды – как ты его делаешь – Христос мал, – мне кажется, он должен видеть нечто за ним, дальше, нечто более незыблемое, чем он, нечто, чего он, Христос, является первой жертвой.

*В ОТ весь эпизод (разговор Иуды и Фомы о нелюбви Иисуса к Иуде) несколько изменен и расширен (3, 169–198), но в новой редакции никак не отразились замечания Горького.*

**Л. 20.** Прежде Иуда говорил о людях только дурное – теперь он стал говорить о них только доброе, откровенно и прямо сознавая, что прежде он ошибался. *Фраза отчеркнута на полях со знаком “NB”.*

**Что-то неясное.** Следующая глава начинается предательством. Когда оно решено? В овраге? Значит, возникновение любви к Иисусу – это из сознания неизбежности гибели его?

*В ОТ дана новая версия этой фразы: “И о людях он перестал говорить дурное, и больше молчал (...)” (4, 137–138) и исключен фрагмент, развивающий мотив неожиданной перемены Иуды в лучшую сторону в конце л. 20 – начале л. 21 ЧА2 (“Перестал лгать ~ как переменялся Иуда”).*

**Л. 21.** Собравшись около учителя, они горячо спорили между (с собой), как это не раз бывало и раньше, кто из них в царствии небесном займет первое место возле Христа. *В списке замечаний не отражено. Указание на пропуск слова.*

**Л. 22.** *Соответствующий фрагмент ЧА2 не сохранился. Судя по композиции повести, речь идет о начале гл. 5 ОТ – сцене первого прихода Иуды к Анне.*

– Как он смотрел в это время?

**Л. 23.** *Соответствующий фрагмент ЧА2 не сохранился. Ср. ОТ (слова Иуды об апостолах): – Они? Эти трусливые собаки, которые бегут, как только человек наклоняется за камнем. Они! (5, 31–32).*

– “Трусливые собаки” – безусловное кощунство с т(очки) з(рения) цензуры.

*Несмотря на замечание-предупреждение Горького, Андреев несколько раз использовал это выражение в ОТ.*

– NB. Как он это говорил?

*Соответствующий фрагмент ЧА2 не сохранился.*

Он знал об Иисусе больше и лучше, чем рассказывал ему неожиданный предатель {...}

– “Он знал об Иисусе больше и лучше Иуды” – что знал? Он не мог знать больше Иуды, а то, что он знал в оценке Иуды, – ничтожно.

*В ОТ исправлено на:* “Он уж давно следил за Иисусом и на тайных совещаниях с родственниками и друзьями своими, начальниками и саддукеями уже давно решил участь пророка из Галилеи” (5, 53–56). *Далее текст ЧА2 существенно расширен* (5, 53–69).

Но Иуда не должен был знать об этом, и когда во второй раз явился он к первосвященнику, встреча была еще более суровой и неприветливой. *Фраза отчеркнута на полях со знаком “NB”.* *В списке замечаний не отражено.*

*В ОТ исправлено на:* “И когда во второй раз постучался к нему Искарriot, Анна смутился духом и не принял его” (5, 65–67). *Ср. также предыдущее замечание.*

**Л. 24.** – Я хочу предать вам Иисуса, – мрачно (?) ответил Иуда. *Около подчеркнутого слова проставлен вопросительный знак.* *В списке замечаний не отражено.*

*В ОТ исправлено на:* “– Я хочу предать вам Назорея.

Оба замолчали, продолжая с вниманием разглядывать друг друга. Но Искарriot смотрел спокойно, а Анну уже начала покалывать тихая злость, сухая и холодная, как предутренний иней зимою” (5, 89–93).

Иуда захохотал. *После фразы вписана помета:* “Как?” *В списке замечаний не отражено.*

*В ОТ исправлено на:* “Иуда быстро повернулся к стене и захохотал в его белое плоское лицо, поднимая длинные руки:

– Ты слышишь? Тридцать серебряников! За Иисуса!

С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил: {...)” (5, 106–109).

**Л. 25.** Дома он увидел Иисуса, утомленного, бледного, с выросшими<sup>3</sup> глазами, окруженными тёмным, но улыбающегося и ласкового, – и такая нежность к этому человеку, оцененному в 30 серебряников, такая мучительная и нестерпимая любовь овладели им, что захотелось плакать, ползти на коленях и целовать эти ноги, эти худые загорелые руки. *Абзац отчеркнут на полях.* *В списке замечаний не отражено.*

<sup>3</sup> Так в рукописи.

*В ОТ фраза изменена на: “⟨...⟩ и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший, измученный непрерывной борьбой с фарисеями, стеною белых, блестящих ученых лбов окружавшими Его каждодневно в храме, Он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене, и, по-видимому, крепко спал” (5, 166–170), а весь эпизод существенно изменен и расширен (см. 5, 166–179).*

**Л. 25–26.** Радость о том, что так быстро и хорошо исполняется задуманное им, сменилась непонятно горькою, странно мучительною обидою за Иисуса, купленного так дешево. Он ожидал и желал плохого, но это было хуже того, что он ожидал, и смутно почувствовал он, что ждет его впереди что-то еще более плохое, еще более неожиданное и чуть ли не страшное. *Текст:* обидою за Иисуса ~ чуть ли не страшное. – *отчеркнут на полях.*

– [Тут] Здесь хочется больше того, что сказано, или ничего не надо.

*В ОТ весь приведенный фрагмент отсутствует.*

**Л. 31.** – Фома! А что если Он прав? *⟨Далее вписана помета “NB”⟩*

– Про кого ты говоришь? – осведомился Фома.

– Тогда, значит, я один? За что же это?

– Спросит ли он так? Спросит о “правоте” именно? И скажет ли – за что это?

*В ОТ исправлено на: “– Фома! А что, если Он прав? Если камни у Него под ногами, а у меня под ногою – песок только? Тогда что?*

– Про кого ты говоришь? – осведомился Фома.

– Как же тогда Иуда из Кариота? Тогда я сам должен удушить Его, чтобы сделать правду” (6, 140–144).

**Л. 32.** – Ты знаешь, куда иду я, Господи? Я иду предать тебя в руки твоих врагов.

И было молчание.

– Ты молчишь, Господи? Ты приказываешь мне идти?

И снова молчание.

– Но ведь ты знаешь, что я люблю тебя. Зачем ты так смотришь на Иуду? Повели мне остаться, и я останусь. Освободи меня от этой тяжести, она тяжелее гор и свинца. Разве ты не слышишь, как трещит под нею голова и грудь Иуды из Кариота?

И снова долгое молчание, вечерняя тишина.

– Я иду. *Фрагмент отчеркнут на полях.*

– В этой драме чего-то мало.

*В ОТ фрагмент расширен и частично изменен (см. 6, 182–200). Так, после слов: И снова молчание – сделана вставка: – Позволь мне остаться. Но Ты не можешь? Или не смеешь? Или не хочешь?*

И снова молчание, огромное, как глаза вечности (6, 188–190).  
*Есть и другие вставки.*

**Л. 36.** ⟨...⟩ Не ненависть, а любовь предаёт тебя в руки палачей, и целованием любви казнь я вместе с Тобою и любовь!

– Любовь ли? Мне кажется – здесь что-то не додумано. Открывается и зияет [трагическая] душа воистину трагическая, но – неужели только против любви направлена хаотическая сила ее? Что движет ее? Не презрение ли к миру – к людям – немощным и в любви своей? Что стоит любовь их? Она ничтожна для Иуды, и он уже знает это. Не есть ли чувство его – ненависть единственного, кто понял Христа как начало чего-то нового и кто видит, что только он один – может любить, все же – не могут. Отсюда и мятеж против всех и всего<sup>4</sup>.

*В ОТ исправлено на:* “⟨...⟩ Голосом любви скликаем мы палачей из темных нор и ставим крест – и высоко над теменем земли мы поднимаем на кресте любовью распятую любовь” (7, 113–116).

Но не успел Иуда сказать и слова, как воины двинулись к Христу, поднялись шум и суматоха. *В списке замечаний не отражено.*

*В ОТ фраза заменена существенно более развитой и детализированной сценой ареста Иисуса (7, 117–133).*

**Л. 38.** В сизом воздухе беззвучно падала и поднималась и снова падала какая-то тень человека, в изодранной одежде, с окровавленным распухшим лицом, волосами, беспорядочно падающими на лоб, мокрыми от пота. *В списке замечаний не отражено.*

*В ОТ фраза заменена обширной и детализированной сценой избияния Иисуса (7, 211–226).*

**Л. 41.** *Соответствующий фрагмент ЧА2 не сохранился. Возможно, замечание связано с текстом, близким к следующему фрагменту ОТ:*

“Фома остановился и, протягивая вперед обе руки, торжественно произнес:

– Отойди от меня, сатана” (8, 56–58).

– Мне думается – Фоме лучше бы спросить о чем-нибудь.

**Л. 42.** *Соответствующий фрагмент ЧА2 не сохранился.*

– Не Фома! Умно для него.

**Л. 46.** Иуда еще раз спокойно и внимательно взглядывает на Иисуса, убеждается, что он мертв, и медленно отходит.

<sup>4</sup> *Далее карандашом вписан вопросительный знак.*

*В тиске замечаний не отражено. В ОТ заменено на: “Спокойно и холодно Искарот оглядывает умершего, останавливается на миг взором на щеке, которую еще только вчера поцеловал он прощальным поцелуем, и медленно отходит” (8, 241–243).*

**Л. 47.** Гром и молнию нес в себе Иуда; гром и молнию обрушит он сейчас на все эти черные и седые головы, опалит их лукавые ресницы, выжжет их подлые глаза (...) *Фраза отчеркнута на полях.*

– Следует ли говорить о том, что он нес?

*Отмеченная фраза, как и весь первый абзац гл. 8 ЧА2 (композиционно соответствует началу гл. 9 ОТ), описывающий чувства Иуды перед последним визитом к Анне, в ОТ отсутствуют.*

**Л. 50.** – Ты же сам знаешь, Иуда, что Иисуса вчера вечером распяли.

– Кто?

– Его враги, – ответил Фома.

– Которым ты предал Его, Сатана, – бросил Иоанн.

– А где же были друзья Его?

Фома подумал и сказал, пожимая плечами:

– Ты же сам знаешь, Иуда, что мы были здесь.

– А Он умирал один?

– Что же могли мы сделать, Иуда? Подумай сам.

Петр гневно прорычал:

– Нужно выгнать эту собаку. От него смердит.

– Что сделать? – со стоном закричал Иуда (...) *Фрагмент отчеркнут на полях.*

– Мне кажется, он говорит побуждаемый какими-ниб(удь) другими чувствами. Он мог говорить с гневом, резко, со стоном? Я думаю, в это время он был уже мертв и оба глаза его – стали одинаково круглы, неподвижны и слепы.

*В ОТ отмеченный фрагмент был существенно изменен (см. 9, 111 и далее), но скорее вопреки пожеланиям Горького. Образ страстного, живого и страдающего Иуды полемически усилен.*

**Л. 53.** *После предпоследнего абзаца повести, заканчивающегося фразой: И неохотно ушел Фома, унося с собою неразрешенные сомнения и думая, что теперь опять будут тревожить его дурные, непонятные сны. – горизонтальная линия, отчеркивающая конец (последний, не связанный с Фомой абзац) повести.*

– На Фоме и кончить бы.

*В ОТ последний абзац ЧА2 (от которого предлагал отказаться Горький) сохранен (хотя и подвергнут небольшой правке – см. 9, 274–292). Но финал повести (л. 53 ЧА) в ОТ принципиально изменен: исключено видение смерти Иуды с точки зрения Фомы и описаны мысли и чувства самого Иуды перед самоубийством.*

“ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА”.  
ФРАГМЕНТЫ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ  
ТЕАТРАЛЬНОЙ ЦЕНЗУРОЙ<sup>1</sup>

КАРТИНА ПЕРВАЯ

376 Это оттого, что надо тужиться

КАРТИНА ВТОРАЯ

154 ⟨...⟩ и хлеба, и работы, и денег.

163–165 И, пожалуйста, не гневайся на моего мужа, что он так ругается, и смеется, и даже поет, заставляя меня танцевать: он так молод и совершенно несерьезен.

203–205 Красный, как кардинал, величественный, строгий, он стоял того, чтобы подойти к нему под благословение.

205–206 ⟨...⟩ кардиналов и папу-карпа в придачу.

235 Отчего же Он для других допускает?

268–271 Над озером богатый ресторан сверкал огнями, как царствие небесное, и там ели! Министры во фраках, какие-то ангелы с белыми крыльями разносили бутерброды и пиво, и там ели, там пили!

276–277 Уже давно мои дворцы походят на толстые пироги с жирной начинкой, а церкви – на гороховые колбасы.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

43–46 У всех руки в кисти точно переломлены и висят тупо и надменно. При крайнем, резко выраженном разнообразии лиц все они охвачены одним выражением: самодовольства, чванности и тупого почтения перед богатством Человека.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

182–185 Ч е л о в е к. Трудно сгибаются старые колена.

Ж е н а. Преклони их, ты должен.

Ч е л о в е к. Не услышит меня Тот, чей слух еще ни разу не утруждал я ни славословием, ни просьбами. Проси ты – ты мать!

189–191 Быть может, отзовется вечная справедливость, если преклонят колена старики.

---

<sup>1</sup> См. с. 707 наст. тома.

- 200–204 Прости, что так плохо молюсь я, но я не могу. Господи, Ты понимаешь, не могу. Ты посмотри на меня. Ты только посмотри на меня – видишь? Видишь, как трясется голова, как трясутся руки – да что руки мои, Господи!
- 204–205 <...> у него родинка на правой руке.
- 206–207 <...> такой глупый – он еще любит сладкое, и я купила ему винограду
- 211–228 – Вот я молюсь, видишь Ты? Согнул старые колени, в прахе разостлался перед Тобой, землю целую – видишь? Быть может, когда-нибудь я оскорбил Тебя, так Ты прости меня, прости. Правда, я был дерзок, заносчив, требовал, а не просил, часто осуждал. Ты прости меня. А если хочешь, если такая Твоя воля, накажи, – но только сына моего оставь. Оставь, я прошу Тебя. Не о милосердии я Тебя прошу, не о жалости, нет – только о справедливости. Ты – старик, и я ведь тоже старик. Ты скорее меня поймешь. Его хотели убить злые люди, те, что делами своими оскорбляют Тебя и оскверняют Твою землю. Злые, безжалостные негодяи, бросающие камни из-за угла. Из-за угла, негодяи! Не дай же совершиться до конца злomu делу: останови кровь, верни жизнь – верни жизнь моему благородному сыну. Ты отнял у меня все, но разве когда-нибудь я просил Тебя, как попрошайка: верни богатство! верни друзей! верни талант! Нет, никогда. Даже о таланте не просил я, а Ты ведь знаешь, что такое талант – ведь это больше жизни! Может быть, так нужно, думал я, и все терпел, и все терпел, гордо терпел. А теперь <...>
- 231–232 Я боюсь, что не совсем смиренна была твоя молитва, мой друг. В ней как будто звучала гордость.
- 233–236 Нет, нет, жена, я хорошо говорил с Ним, так, как следует говорить мужчинам. Разве покорных льстецов Он должен любить больше, чем смелых и гордых людей, говорящих правду? Нет, жена, ты этого не понимаешь
- 261–263 Он и над слезами нашими посмеется, как посмеялся над нашими молитвами. А Ты, я не знаю, кто Ты – Бог, дьявол, рок или жизнь, – я проклинаю Тебя!..

## КАРТИНА ПЯТАЯ

- 61–64 <...> шлюха!  
– Я не шлюха. Я старая беременная змея. Уже целый час смотрю я, как из моей утробы выходят маленькие змейки и ползают. Эй, не раздави моего змееныша!
- 139–140 Я совсем голый.

“ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА”.  
ПАРТИТУРА МУЗЫКИ И.А. САЦА  
К ПОСТАНОВКЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ<sup>1</sup>

На балу у человека.

I.

Andantino. Муз. И. С. Ъ.

Flauto  
Violino  
Piano.  
C. Basso.

*f e sempre marcato*

*poco rit.*

II.

Moderato.

*f* *p*

Печатня В.Россе в Москвѣ. Б. Спасская ул. 20/21.

А. 008 Б.

<sup>1</sup> См. с. 737–738 наст. тома.



This page of musical notation consists of four systems of staves. The first system shows a piano introduction with a forte (*f*) dynamic in the right hand and a piano (*p*) dynamic in the left hand. The second system includes a first ending (1.) and a second ending (2.) with an *ad lib.* marking and a *m.d.* (moderato) dynamic. The third system continues with a *p* dynamic and a *m.c.* (moderato) marking. The fourth system concludes the piece with a *p* dynamic. The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and dynamic markings.

A. 008 S.

The musical score consists of five systems, each with a treble and bass clef staff. The key signature has two flats. The first system shows a complex melodic line in the treble with many beamed sixteenth notes and a bass line with quarter notes and eighth notes. Dynamics include *f* and *sf*. The second system features a first ending (1.) and a second ending (2.) in the treble, with dynamics *f* and *p*. The third system continues the melodic development with dynamics *f* and *p*. The fourth system has dynamics *f* and *p*. The fifth system includes a first ending (1.) and a second ending (2.) with dynamics *f* and *p*. The piece concludes with a double bar line.

# Комментарии



## ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1906–1907 гг.

В сочинениях 1906–1907 гг., вошедших в этот том<sup>1</sup>, запечатлен один из высших взлетов творческой энергии Андреева. Повести “Иуда Искариот” и “Тьма”, пьесы “Жизнь Человека” и “Савва”, рассказ “Елеазар” – в ряду наиболее крупных явлений его художественного наследия.

Знаменательны собственные авторские признания. На последнем этапе своей деятельности, подводя итоги предшествующего пути в письме С.С. Голоушеву от 25 марта 1918 г., Андреев сказал: “Вершины я достигаю в 906–907 г., когда мною написаны: в 1906 – Елеазар, Жизнь Человека, Савва, 1907 – Иуда и Тьма и в одном 1908 – Семь повешенных, Дни нашей жизни, Мои записки, Черные маски и Анатема” (S.O.S. С. 233). Но еще более знаменательны проникнутые горечью размышления о том, почему вслед за этими произведениями он, как кажется ему, не пошел дальше в своем творчестве: «...почему так случилось, что 10 лет я с каждою вещью поднимался прямо вверх, как ракета, поднимался быстро, решительно и светоносно – и вдруг остановился? Графически линия развития моего была такова, что продолжайся она *без излома* – я через вторые десять лет (8 апреля 20 лет как я печатаюсь<sup>2</sup>) должен был подняться над *всеми* моими современниками (...) Конечно, я не могу сказать про себя, что *падаю* (...) Знаю, что дело не в оскудении таланта: что такое талант? – а в ином, даже до чрезвычайности сложном. Именно: в некотором душевном сдвиге и некоторых ошибках сознания, о которых в письме слишком долго говорить. А коротко так: я силен и я единственный, пока я разрушаю, пока я “Елеазар”, под видом какого в свое время изобразил себя. И я слаб, обыкновенен, похож на многих и теряюсь в писательской толпе, когда я пытаюсь утверждать, утешать, обнадеживать [и] успокаивать. Коли ты Елеазаром родился, так таким и живи, а в бонны к юному человечеству не поступай и сморкание носов предоставь другому» (Там же. С. 233–234).

<sup>1</sup> Том подготовлен при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Проект № 04-04-00130а.

<sup>2</sup> Игнорируя публикации предшествующего времени, Андреев связывал *подлинное* начало своего творчества с появлением в газете “Курьер” от 5 апреля 1898 г. рассказа “Баргамот и Гараська”.

Писатель не переставал мучиться этими раздумьями. Уже месяц спустя, в дневниковой записи от 22 апреля, воспроизводился тот же ход мыслей, но еще более беспощадно-исповедальный по отношению к себе: «За последний месяц очень много думаю о своей писательской судьбе, ищу разгадки одному странному обстоятельству (...) Вкус мой стал строже. Средний уровень моих вещей значительно выше, и есть вещи замечательные, как хотя бы “Реквием” или “Собачий Вальс”, – но великих нет. Или я вообще к ним не способен? Нет, способен, я это чувствую и знаю. И почему же тогда – если я не способен – мой путь был к величию? Не к литературе вообще, а именно к величию? Ведь это не был еще один хороший писатель, медленно созревающий на солнце, как баклажан, как все эти Бунины, Куприны, Брюсовы и даже Блоки, а явно и очевидно (и даже страшно) пришел Некто. Я не “начал” писать, а пришел, и приходом своим не только взволновал до крайности, но и испугал, насторожил. Над ржаво-зеленым болотом, где вся жизнь в тине, бурчанье и лопающихся пузырьках, – *вдруг* высоко поднялась на тонкой змеиной шее чья-то очень странная голова, очень бледная, очень странная, с очень нехорошими глазами. И все ахнули: “Вот он, пришел!” – и многие перекрестились от страха. Это потом они говорили следом за Толстым: “Он пугает, а нам не страшно!” – потом, когда я изменил себе.

Да, в этом все дело – я изменил себе, изменнически изменил. Рожденный проклинать, я занялся раздачей индульгенций – немножко проклятий и тут же целая бочка меду и патоки. Ведь только уксус и желчь у меня настоящие, а вместо сахару – патока. Сладко, но противно. И что такое: желчь с патокой?» (Там же. С. 44–45).

В противопоставлении Андреевым разных этапов своего творчества есть все-таки явственное преувеличение. Немало андреевских произведений 1910-х годов отличается не только художественной силой, но и новыми для писателя и перспективными для литературного движения в целом эстетическими идеями. Тем не менее зерно истины в приведенных суждениях было. Ощущение общей катастрофичности мира в андреевских сочинениях второй половины 1900-х годов, глубокий драматизм, им присущий, пронзительность авторского “я”, проступающая в, казалось бы, внешне отчужденных от него образах и мотивах, достигают здесь предельного уровня, с которым несопоставимо по крайней мере большинство позднейших произведений писателя.

Именно в эти годы Андреев приобретает большое имя в русской литературе, становится одним из самых популярных и “многотиражных” писателей.

О признании Андреева красноречиво говорит, к примеру, определенная эволюция взгляда на него в модернистской среде – точнее, некоторых из самых крупных ее деятелей. Известно, что версия о необразованности, культурной отсталости писателя порой становилась здесь общим местом. Элитарный круг, откуда шли эти речи, был

действительно весьма образован по части книжного знания, недостаточность которого случалась у Андреева. Но сплошь и рядом ее восполняло интуитивное проникновение в дух и переживания времени.

И примечательно, что упомянутая версия вызвала возмущение у А. Блока и А. Белого, чьи суждения тех лет об Андрееве особенно значимы в контексте критических мнений о писателе. “Приторный и противный запах партийности особого рода” почувствовал Блок в одном из “наиболее тяжких обвинений, которые взводятся в наши дни на Л. Андреева” – в “антикультурности” (статья “О драме”, 1907 – *Блок. ПСС. Т. 7. С. 96*). И тогда же, в 1907 г., Белый предвидел “хамское хихиканье над слабыми сторонами этого большого дарования” (см.: *Белый А. Арабески. М., 1911. С. 492*). При этом и Белый и Блок были согласны в том, что сила Андреева проявлялась не тогда, когда он “сознательно (...) умствовал”, а тогда, когда шел “от самой глубины своей, неотступно и бессознательно” (*Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 133*). Именно на этом уровне оценивался ими Андреев как “крупный талант”, “большой художник” (*Белый А. Арабески. С. 486, 493*). Вместе с тем, если иметь в виду андреевское творчество в целом, и Блок и Белый в разное время и по-разному, подчас весьма негативно, высказывались об отдельных его особенностях. Что же касается приведенных (как и прочих) весьма позитивных суждений, то почти все они относятся к творчеству писателя 1900-х годов, когда появились его сочинения из ряда действительно лучших – и особенно взволновавшая Блока и Белого “необычайной” новизной (*Блок. ПСС. Т. 7. С. 96*), “всей глубиной своей художественной стихии” драма “Жизнь Человека” (*Белый А. Арабески. С. 497*). Именно акцентом на *стихийности* глубинных прозрений Андреева (“Так вот перекликнулись два наши хаоса (...)” – *Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. С. 131*) проникнуты неоднозначные блоковские размышления о писателе и в воспоминаниях о нем 1919 г. Тогда же и приблизительно то же сказал в своих воспоминаниях о почившем писателе и Андрей Белый, которому “открывался космический смысл, неосознанный вовсе, – в Л(еониде) Н(иколаевиче)”; “знания были – обыкновенными, переживания – огромными” (*Книга о Л.А. С. 177, 181; курсив мой. – Сост.*).

А еще раньше ту же, по сути, мысль высказывал Иванов-Разумник: “Цель, смысл и оправдание отдельной жизни человека, цель, смысл и оправдание общей жизни человечества – на все эти вопросы Л. Андреев дает нам, *быть может, сам того не сознавая* (курсив мой. – *Сост.*), один из возможных ответов своим творчеством. И в этом – главное его значение в современной русской литературе” (*Иванов-Разумник. 1908. С. 161*).

С огромным интересом к новым сочинениям Андреева отнесся Горький. Хотя и не приемля “философии” автора “Жизни Человека” и “Елезара”, он высоко оценил их новизну как явлений искусства –

вровень с масштабами “всемирной литературы” (*Горький. Письма*. Т. 5. С. 223).

Но одновременно разгорался острый спор по поводу этих сочинений, в котором громко звучали резкие критические ноты и который обнаружил поразительное разноречие в отношении к писателю (в чем убедится читатель, познакомившись с представленными в томе обзорными критиками).

Впрочем, подобными, особенно жесткими, несогласиями в критических толках вокруг Андреева сопровождался весь его путь. И объяснялось это – во многом – не только естественным различием идеологических и художественных позиций у писавших о нем, но и особым положением Андреева в литературной жизни его времени. Примыкавший на отдельных этапах к тем или другим изданиям, группировкам, он, по существу, всегда оставался чужаком в любом литературном сообществе. Позднее сказанные и хорошо известные слова Андреева о себе (по справедливости привлекающие исследователей его творчества): “Для благороднорожденных декадентов – презренный реалист; для наследственных реалистов – подозрительный символист” (из письма Горькому от декабря 1912 г. – *ЛН*72. С. 351) – в равной мере относятся и к периоду, о котором идет речь, – периоду наибольших, при всех горячих дебатах вокруг писателя, популярности и признания. С тем, что было сказано в этом же письме: “осточертело жить и работать и бороться в одиночку!” (Там же), Андреев так и остался до конца жизни. Отсюда – очень нередко – даже в самых положительных, комплиментарных отзывах сквозила характерная отчужденность: разговор шел не о “своем” как бы писателе.

Разумеется, помимо чрезмерно пристрастных, а зачастую просто недобросовестных и раздраженно недоброежелательных суждений, высказывались и реальные претензии к автору. Смущение, недоумение вызывали противоречия мысли Андреева, равно как и художественные неровности его произведений.

Вместе с тем, при всей исключительности, “непохожести” этого творческого феномена, он особыми путями отражал общие закономерности литературного процесса начала XX столетия. И эту уловленную более чуткими критиками “вписанность” в свой художественный век, может быть, красноречивее других андреевских сочинений подтверждали самые известные из сочинений середины и второй половины 1900-х годов.

Имеем в виду прежде всего устремления литературы Серебряного века, в ее лучших, наиболее представительных образцах, к миросозерцательному и художественному синтетизму, к соединению внутри единого художественного целого разных путей мысли, образного языка, разных стилевых тенденций, рожденных эпохой перелома.

Подобные устремления находим уже у самого раннего Андреева в его, казалось бы, традиционной социально-бытописательной прозе. В последующие годы мироощущение писателя сохраняет свое синтетиче-



ское качество. И вместе с тем существенно видоизменяется и осложняется с возникновением острого интереса к бурным общественным событиям начала века, под воздействием нарастающего исторического чувства. С начала 1905 г. “события” не только “держат мысль” в крайнем “напряжении” (ЛН72. С. 256), но подчас вовлекают Андреева непосредственно в общественную деятельность. Этот особый этап биографии писателя отмечен сильнейшим гражданским пафосом, вызывавшим к жизни неожиданные для него эмоции. К примеру, он так живописал Горькому и М.Ф. Андреевой свое нахождение в Таганской тюрьме, куда попал в феврале 1905 г. по обвинению в предоставлении своей московской квартиры для нелегального заседания ЦК РСДРП: “Воспоминание о тюрьме будет для меня одним из самых милых и светлых – в ней я чувствовал себя человеком (...) я выпрямляюсь как наполеоновский гренадер (...) в ней (тюрьме. – *Сост.*) я был молод, здоров, мечтателен (...)” (Там же. С. 258). Но самые заметные эпизоды политической активности писателя тех лет относятся к его пребыванию в Финляндии летом 1906 г. и связаны с его публичными, при большом стечении народа, выступлениями в поддержку финской революционной Красной гвардии на устраиваемых ею собраниях и митингах. Полицейские донесения сообщали о призывах к “вооруженному мятежу” и свержению самодержавия в речах Андреева (см.: *Пухов Ю.С. Л. Андреев и Скиталец в революции 1905–1907 годов (по документам Департамента полиции) // Революция 1905 года и русская литература. М.; Л., 1956. С. 422–424*). «Все связывали Леонида Андреева с “Мыслью”, с “Василием Фивейским”, но Леонид Андреев и революция... это был совсем новый Андреевский лик (...)» – свидетельствовал бывший в то время в Финляндии Е.И. Замятин (*Замятин Евг. (Л.Н. Андреев) // Замятин Е. Я боюсь: Литературная критика, публицистика, воспоминания. М., 1999. С. 69*).

Однако уже очень вскоре, в июле 1906 г., после разгрома Свеаборгского восстания в Финляндии, настрой писателя резко сменился на прямо противоположный. В письме к тому же Горькому от октября 1906 г. он мрачно прогнозировал: “Не на кого надеяться русской революции” (ЛН72. С. 275).

Подобные “перепады” – еще одна характеристическая черта общественных настроений писателя той поры. Они начались уже после первых неудач революции и значительно усугублялись по мере дальнейшего драматического хода событий. Восторженное приятие революции постепенно отступало перед глубоко драматическим восприятием ее последствий, внушая осознание утопичности возникшей было веры. В творчестве писателя складывается антиномический комплекс: близкая Андрееву освободительная идея, до конца остающаяся в возвышенно-романтическом ореоле, – перед лицом обрекающей ее реальности. Мы находим, например, прямой отзвук этой антиномии в двух сочинениях, связанных друг с другом одной, пусть и по-разному запечатленной, “баррикадной” темой: “Из рассказа, который никогда

не будет окончен” (см. в наст. томе) и в опубликованном несколько месяцев спустя рассказе “Иван Иванович” (который вошел в следующий, шестой, том).

Первостепенно важен у Андреева и непрямой, в высшей степени опосредованный отклик на события времени. Это началось приблизительно уже с повести “Жизнь Василия Фивейского” и продолжилось позднее. Почти все крупные произведения пятого тома на темы современной жизни, как и на темы библейской истории: пьесы “Савва” и “Жизнь Человека”, повесть “Иуда Искариот”, рассказ “Елеазар”, – так или иначе, уже в самой катастрофичности авторского видения, но почти без каких-либо явных отсылок к конкретным современно-историческим реалиям, несут на себе печать бурных лет.

Подспудное обращение к текущей истории – значимый компонент художественного текста. Но в этом случае не оно определяет авторский замысел, а метаисторическая мысль, бесконечно возвышающаяся над конкретной реальностью и, однако, не вытесняющая ее. Мысль эта в ее главной сути вся устремлена к надвременному содержанию и вместе с тем осваивает свое историческое время. Именно особый синтетизм наиболее крупных сочинений данного периода – сопряжение метафизического и исторического начал – сообщает им и особо крупный масштаб на общем фоне творчества писателя.

На том же фоне выделяется своим содержанием и сама метафизическая мысль Андреева, постоянный интерес писателя к “вечному” и его приоритету над “временным”. Трансформации евангельских сюжетов – одно из веских подтверждений этого. Именно в те годы наиболее интенсивно приобщается Андреев к тому, чем была наполнена современная ему духовная жизнь, – к религиозно-философской проблематике. Но при этом остается глубоко чужд постепенно завоевывающему авторитет русскому неохристианскому философскому движению (за исключением отдельных соприкосновений с ним и тоже очень непростых, например с Н.А. Бердяевым). Чужд “утешительной”, в восприятии Андреева, метафизике религиозно-философского ренессанса (как его потом именовали), тогда как собственные андреевские размышления на эту тему как раз запечатлевали кризисное состояние мысли писателя. То был мучительный поиск истинного знания, отмеченный обнаженным драматизмом и опять-таки антиномичностью, но уже философического характера. Произведения, вошедшие в настоящий том, – это в целом поле соперничества большей частью несовместимых представлений о мире и человеке, которые в конечном счете не находят решения у писателя. Официальная церковная вера – основной объект изобличения в пьесе “Савва”. Сочувствие отдано восстающей против нее богоборческой идее. Но перед лицом представленной в пьесе еще одной “правды” (которая никак не утверждается, но и не отвергается) – об изначальной призрачности самого бытия – две предшествующие “правды” оказываются, по существу, одинаково проблематичными.

В повести “Иуда Искарriot” другое преломление все той же, кардинальной для Андреева, темы. В столкновении со светлой Христовой правдой, казалось, побеждает жестокая, Иудина, но ее торжество мнимое. Основной, трагический, итог повести не столько событийный, сколько мирозерцательный: несостоятельность доставшихся человечеству “правд”.

В произведениях 900-х годов Андреев поглощен, как и во всем своем творчестве, проблемами отдельного человека, индивидуально обособленной внутренней жизни. Но интенсивный в те годы его диалог с церковной мыслью, религиозной философией сообщал особый характер этого рода личностной проблематике. Она сосредоточена прежде всего на отношениях личности с надмирными началами. Однако и здесь мы по-прежнему встречаемся с разными постижениями бытия.

Безнадежная духовная смерть – таков в рассказе “Елеазар” фатально мрачный итог соприкосновения личности с потусторонним миром, осмысленный как всеобщность существования. Но в драме “Жизнь Человека” предстает иная всеобщность – внутренне несокрушимое противостояние метафизической неотвратимости обреченного на поражение героя. Здесь, как и в повести “Жизнь Василия Фивейского”, автор близко соприкасается с экзистенциалистской философской концепцией, которая своим внедрением в русскую литературу рубежа веков немалым обязана именно Андрееву. Воззрения, связанные с этой концепцией, оказались более других устойчивыми в творчестве писателя, но и они, как видно, были колеблемы другими веяниями.

В повести “Тьма”, появившейся вслед за “Жизнью Человека” и возвращающей к революционной современности, запечатлена внутренняя капитуляция героя-революционера перед непреодолимым, в его понимании, злом (оправданная, сочувственно поданная автором), и в этом смысле противопоставленного герою андреевской драмы. Вместе с тем повесть содержит намек и на возможность другого, более глубинного (“последняя темная мудрость”), противостояния миру, коренящегося в народном инстинкте.

“Как всегда я только ставлю вопросы, но ответы на них не даю (...)” – писал Андреев Вл.И.Немировичу-Данченко в апреле 1906 г. по поводу пьесы “Савва” (*УЗТУИ19*. С. 386). Суждение, в целом, верное, хотя картина деятельности писателя была все-таки сложнее. Отдельные его произведения тех лет заключали в себе как будто однозначные “ответы”. Но они оказывались относительными в общем контексте андреевского творчества с его множественностью смыслов. Именно своей открытостью многим вопросам духовной жизни века (а не их решениями) особенно ценен этот этап пути писателя.

Значительны и художественные обретения Андреева. Поиску синтетической мысли о мире сопутствует синтетизм в области стиля, совершенствуемый в новых произведениях писателя. Пример тому – пьеса “Савва”, чьи символического смысла обобщения вырастают из нацио-

нальной почвы, своеобразных национальных характеров, запечатленных с реалистической подлинностью. Примечательно, что даже философско-притчевое в замысле повествование, обращенное к евангельским сюжетам, какова повесть “Иуда Искариот”, приобретает у Андреева психологическую и реально-бытовую убедительность. В коротком рассказе “Великан” “вечная” тема смерти, неотвязная у писателя, предстает психологизированно и лично – в щемлящем, надрывном “монологе” матери.

Однако в создании известнейшего сочинения “Жизнь Человека” автор пошел иным путем. Жизнь человеческая, возведенная к категориям надчеловеческим и надвременным, воссоздана средствами условно-обобщенной поэтики, нарочито схематизирующими конкретную реальность, гротесково ее “преувеличивающими”, нарушающими привычно реалистическое ее восприятие как “жизнеподобия”. Драматург отправляется от разных источников этой поэтики, трансформируя и обновляя их, – в том числе от традиций лубка, низовой лубочной литературы, что было замечено тогдашней критикой. Среди наибольших ценителей пьесы, признавших ее новаторской, были (о чем уже сказано) высочайшие художественные авторитеты. Весьма интересно и позднее, 1918 г., суждение на этот счет самого автора (из цитированного письма Голоушеву), менее известное, чем другие его развернутые суждения, относящиеся ко времени создания пьесы (они приведены в комментариях). «Можно сказать, пожалуй, – писал Андреев, – что я достиг своего предельного роста в Жизни Человека (...) “Жизнь человека”, будучи вершиной, в то же время вовсе не представляет собою гармонично законченного произведения, каким является зрелость, – она мальчишески зелена и обещает больше, чем дает» (S.O.S. С. 234).

Слова об обещании особенно важны, ибо в исканиях автора “Жизни Человека” улавливается предварение разных путей, по которым пойдет развитие драматургии. С пьесой Андреева в русскую драматургию и театр пришла новая поэтика, тесно связанная с поэтикой экспрессионизма, хотя и не укладывающаяся в его рамки. Но помимо близкого родства с зарубежной экспрессионистской драмой 1910–1920-х годов, “Жизнь Человека” своими обещаниями, напрашивающимися параллелями обращена к значительно более широкому и отдаленному по времени кругу явлений мирового искусства, притом весьма отличных друг от друга, каковы, к примеру, эстетика театра абсурда и драматургическая эстетика Б. Брехта.

“Жизнь Человека” – из тех андреевских сочинений, которые более других сопричастны художественным запросам века двадцатого.

Последний текст, к которому мы обращаемся, впервые опубликован совсем недавно, – это лирический этюд “День первый” (и примыкающий к нему набросок (Долг и любовь)). Это короткое сочинение, сугубо камерное, занимает весьма скромное место в ряду

крупных произведений (о которых до сих пор шла речь), не сопоставимое с их масштабом. Но само по себе оно любопытно, ибо указывает на нечто особое в этом ряду. Перед нами своеобразный фрагмент литературы “потока сознания”, подчиняющего себе все повествование: и жанровую его характерность, и его строение – композиционное, условно-сюжетное. Текст этот не был опубликован при жизни писателя, может быть, ввиду своей сугубой автобиографичности – слишком интимный ее эпизод запечатлен здесь. Но может быть, еще и потому, что “поток сознания” в подобном “чистом”, “беспримесном” виде не показателен для андреевского творчества, для основных его интенций, устремлявшихся по другим руслам. Но так или иначе он интересен, поскольку демонстрирует еще одно, пусть эпизодическое, соприкосновение писателя с некоторыми ведущими тенденциями литературы XX в. – в этом случае с художественным феноменом, занявшим в ней одно из самых почетных положений.

В подготовке настоящего тома принимали участие:

“Елеазар”. Подготовка основного текста и текстологического комментария – М.В. Козьменко, вариантов – Р.Д. Дэвис, Л.А. Иезуитова и М.В. Козьменко. Подготовка историко-литературного и реального комментария – Л.А. Иезуитова.

“Иуда Искариот”. Подготовка основного текста и текстологического комментария – М.В. Козьменко, редакций – Р.Д. Дэвис, Л.А. Иезуитова и М.В. Козьменко, вариантов – О.В. Шалыгина. Подготовка историко-литературного и реального комментария – Л.А. Иезуитова (при участии Л.А. Климова).

“Тьма”. Подготовка основного текста и текстологического комментария – М.В. Козьменко, редакций – Р.Д. Дэвис, Л.А. Иезуитова и М.В. Козьменко, вариантов – О.В. Шалыгина. Подготовка историко-литературного и реального комментария – Л.А. Иезуитова (при участии Л.А. Климова).

“Из рассказа, который никогда не будет окончен”. Подготовка основного текста, вариантов и комментария – В.Н. Быстров.

“Великан”. Подготовка основного текста и комментария – Г.Н. Боева.

“Савва”. Подготовка основного текста и текстологического комментария – М.В. Козьменко, редакций – Р.Д. Дэвис, Н.А. Казакова, М.В. Козьменко и О.В. Шалыгина, вариантов рукописных и машинописных автографов – Р.Д. Дэвис, М.В. Козьменко и О.В. Шалыгина, вариантов прижизненных изданий – О.В. Шалыгина. Подготовка историко-литературного комментария: история создания – Н.А. Казакова, М.В. Козьменко, обзор критики, история театральных постановок и реальный комментарий – Н.А. Казакова, М.В. Козьменко и О.В. Шалыгина.

“Жизнь Человека”. Подготовка основного текста и текстологического комментария – Л.Н. Кен и Ю.Н. Чирва, редакций и вариантов рукописных и машинописных автографов – Р.Д. Дэвис, Л.Н. Кен и Ю.Н. Чирва, вариантов прижизненных изданий – Л.Н. Кен и Ю.Н. Чирва. Подготовка историко-литературного и реального комментария – Л.Н. Кен и Ю.Н. Чирва.

“День первый”, “⟨Долг и любовь⟩”. Подготовка текстов и комментария – Р.Д. Дэвис и М.В. Козьменко.

Все материалы “Приложения” – Р.Д. Дэвис и М.В. Козьменко.

Все данные о прижизненных переводах произведений Андреева на иностранные языки подготовлены Р.Д. Дэвисом.

Указатели составлены Е.В. Глухой.

В подготовке рукописи к изданию принимала участие В.М. Введенская.

Ответственный редактор тома и автор вступительной статьи к комментариям – В.А. Келдыш.

Редактор и составители тома благодарят за существенную помощь в подготовке издания Бена Хеллмана (Хельсинкский университет).

\* \* \*

5 декабря 2008 г., в процессе подготовки к печати настоящего тома, на 77 году жизни в С.-Петербурге скоропостижно скончалась Людмила Александровна Иезуитова, член редколлегии издания и активнейший его участник. Ее безвременная кончина стала невосполнимой потерей для российского и зарубежного научного и культурного сообщества.

Л.А. Иезуитова стояла у истоков Собрания сочинений Леонида Андреева. В качестве текстолога и комментатора она успела сделать существенный вклад в несколько будущих томов Собрания, подготовив к изданию такие шедевры, как “Иуда Искариот”, “Тьма”, “Елеазар”, “Христиане”.

Судьба Л.А. Иезуитовой почти 60 лет была связана с Ленинградским–Петербуржским государственным университетом. Она прошла путь от студентки до ведущего преподавателя кафедры истории русской литературы, стала одним из самых авторитетных педагогов. Ее отличали широкая эрудиция и свежесть научного мышления. Ученые, прошедшие школу Л.А. Иезуитовой, работают сегодня во многих странах мира.

Людмила Александровна была страстным в науке человеком, щедро дарила свою душевную энергию окружающим, жила ярко, насыщенно, на пределе возможностей. Ее призванием была литература Серебряного века. Она читала спецкурсы, писала статьи о Бор. Зайцеве, Бунине, Ахматовой, Куприне, Шмелеве. Но главным предметом ее служения и плодотворного изучения всегда оставался Леонид Андреев. В непростое для нашей науки время она многое сделала для возрождения самого имени писателя. Ее книга 1976 г. “Творчество Леонида Андреева” стала этапной для андрееведения и до сих пор остается одной из лучших монографий об этом сложном художнике.

Неотъемлемой частью светлой памяти о Л.А. Иезуитовой станет осуществление ее мечты – издание Полного собрания сочинений Леонида Андреева.

*Редколлегия*

## ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ЕЛЕАЗАР

(С. 7)

Источники текста:

*Шт* – Stuttgart: J.H.W. Dietz Nachfolger, 1906. 28 с.

*Б* – Berlin: J. Ladyschnikow, 1906. 28 с.

*ЗР* – Золотое руно. 1906. № 11–12. С. 59–67.

*Ш*. Т. 5. С. 87–112.

*Пр*. Т. 7. С. 1–32.

*ПССМ*. Т. 3. С. 87–104.

Автограф неизвестен.

Впервые: *Шт*.

Печатается по тексту *ПССМ* со следующим исправлением:

*Стк. 445–446*: и словно плакала безнадежно вода – *вместо*: и словно плакала безнадежная вода (*по ЗР, Ш, Пр*)

Впервые замысел рассказа зафиксирован в одной из рабочих тетрадей писателя<sup>1</sup>. В основном содержащиеся в ней тексты относятся к 1902–1903 гг., но небольшая часть записей сделана позже, в 1904–1907 гг. Именно в позднейших записях этой тетради трижды упоминается рассказ.

Первое упоминание – в плане цикла произведений под общим заголовком: “Сказки бессмертного”:

«Сказки [диавола] бессмертного

I. *Двадцатый*. Император. Власть, сила, жестокость, величие, недосягаемость. Революция. (Судя по излагаемому далее сюжету, речь идет о будущем рассказе “Так было”. – *Сост.*) (...)

II. Воскресение Лазаря.

III. Две женщины на войне.

IV. Иуда» (*МиИ2012*. С. 118–119).

“Две женщины на войне” – незаконченный рассказ, повествующий о событиях Русско-японской войны 1904–1905 гг.; набросок к нему, озаглавленный “Две сестры”, датирован 13 апреля (1905 г.) (РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед. хр. 11). Дошедшая до нас рукопись рассказа “Так было”

---

<sup>1</sup> Впервые материалы тетради были частично опубликованы Л.А. Иезуитовой (Филол. записки. Воронеж, 1995. Вып. 5). В наст. изд. даются ссылки на более полную их публикацию (Р.Д. Дэвисом и М.В. Козьменко) в кн. “Леонид Андреев: Материалы и исследования”. Вып. 2. М., 2012 (*МиИ2012*) (*Примеч. отв. ред.*).

(с зачеркнутым первоначальным заголовком “Двадцатый”) датирована 6 октября 1905 г. (*Hoover*. Box 141. Folder 7). Предположительно весь план с включенными в него замыслами “Воскресения Лазаря” и “Иуды” мог появиться в тетради не ранее апреля 1905 г.

В этой же тетради рассказ дважды упомянут в дополнении (1905–1906) к указанному перечню задуманных и незаконченных рассказов: “25. {...} Лазарь {...} 29. Елеазар” (*МИИ2012*. С. 131). Разночтение в названии рассказа, вероятно, вызвано хронологическим промежутком между этими двумя записями.

Андреев дважды датировал время окончания рассказа. При первой публикации в журнале “Золотое руно” стояла дата “7 сентября 1906 года”. Ту же дату автор вписывает в вышеупомянутую рабочую тетрадь (позднейшая помета около записи “29. Елеазар”). Однако в *ПССМ* указана иная дата: “Август 1906 г.”

23 сентября 1906 г. Андреев извещал Горького и М.Ф. Андрееву: «Написал “Елеазара”» (*ЛН72*. С. 273). В отличие от произведений, над которыми писатель работал по несколько месяцев и даже лет, это далось ему сразу: «С удивительной быстротой, – извещал он Горького из Берлина 13–14 октября 1906 г., – написал “Елеазара”, рассказ мрачный, как клистирная трубка...» (*ЛН72*. С. 274). Андрееву Горький ответил около 25 октября 1906 г., высоко оценив рассказ с художественной точки зрения: «“Елеазар” {...} И снова скажу: это, на мой взгляд, лучшее из всего, что было написано о смерти во всемирной литературе. Мне кажется даже, что ты как бы приблизился и приближаешь людей к неразрешимой загадке, не разрешая ее, но страшно, близко знакомя с нею. Ее чувствуешь – спокойную, темную, великую своим спокойствием – это удивительно и хорошо. – Превосходно выдержан стиль. Вообще – как литература, как произведение искусства – эта вещь дает мне огромное наслаждение и вызывает славную радость за тебя – молодчина ты!» (*Горький. Письма*. Т. 5. С. 223).

В то же время Горький не принял пессимистической философии рассказа: “Как философия – это для меня неприемлемо. Я заряжен жизнью и силами ее лет на шестьсот и – чем дальше – тем более оптимистично смотрю на жизнь {...} Но – философия твоего рассказа тонет в красоте его формы, как спрут в чудной глубине Неаполитанского залива”. Очевидно, отзываясь в какой-то мере на философию автора “Заратустры”, Горький писал: “Я ничего не имею против смерти – но питаю отвращение к трупам, особенно к тем из них, которых не похоронили почему-то, и они ходят по улицам, женятся, пишут книги, картины, вообще – состоят при жизни, поддерживаемые какою-то инертной силой на двух ногах.



Смерть, если это целостно, закончено и крупно, может быть, даже красиво – но умирание – отвратительно всегда – так? Конечно, это трюизм.

И мне страшно хочется, чтобы ты возненавидел умирающих и со всей спокойной, огромной силой своего таланта добывал их”.

Закljučая размышления об андреевском рассказе, Горький писал: “Я далек от тебя, как негр от английского лорда, – ты прав! – но я тебя люблю, как индеец ночь своих степей {...}” (*Горький. Письма*. Т. 5. С. 223–224).

В письме К.П. Пятницкому (около 15 ноября 1906 г.) Горький вновь положительно оценивает рассказ Андреева: “А Лазарь – хорошо” (Там же. С. 231).

В.Н. Чуваков полагал, что замысел “Елеазара”, опубликованного в конце 1906 г., возник у Андреева «под впечатлением от драмы Флобера “Искушение святого Антония”» в переводе Б. Зайцева, помещенном в 1907 г. в сб. “Знание”, кн. 16, с которым Андреев познакомился в рукописи (см.: *ЛН72*. С. 282). Но это утверждение вызывает сомнение прежде всего по отношению к хронологии. С Зайцевым видется Андреев мог, будучи в Москве, где находился с 11 сентября по 16 ноября 1905 г. (*Кен Л.Н. Летопись жизни Л. Андреева. Рукопись*) после отсидки в Таганской тюрьме и перед вынужденной эмиграцией за границу, где пробыл с декабря 1905 до середины 1907 г. Между тем Зайцев начал переводить “Искушение св. Антония” только в январе 1906 г., о чем известил Горького, а Горький – Пятницкого (*Горький. Письма*. Т. 5. С. 137). Красноречиво и суждение Зайцева из позднейших воспоминаний об Андрееве: “Флобер – столь бесконечно далекий от Андреева” (см.: *Книга о Леониде Андрееве*. Пг.; Б., 1922. С. 86). Заслуживает также внимания письмо Зайцева Л.Н. Афонину от 25 января 1968 г., в котором он писал: «Никаких разговоров с Андреевым о Флобере не помню – уверен, их не было {...} Мое впечатление: более чем сомнительно, чтобы Флобер мог повлиять на “Елеазара”. “Сумрак, сумрак, за меня!” – эти брюсовские стихи вполне применимы к Андрееву без всякого Флобера {...} Конечно, христианином Флобер не был и, конечно, он горестен; все-таки Леониду Андрееву как-то нечего делать, по-моему, с Флобером» (*Зайцев Б.К. Собр. соч.* М., 2001. Т. 11. С. 267).

Главным источником и стимулом в создании рассказа была Библия, всегда переживаемая писателем через призму современного и вечного, как и художественные произведения, отзывавшиеся на нее. Из последних следует прежде всего назвать произведения А. Франса. На связь с ними библейской “трилогии” писателя (“Бен-Товит”, “Елеазар”, “Иуда Искариот и другие”) указал А.Л. Григорьев (*Григорьев А.Л. Леонид Андреев в мировом литературном процессе // Русская литература*. 1972. № 3. С. 191; см. также: *Иезуитова Л.А. Леонид Андреев и Анатолий Франс*. Ч. I // *Взаимосвязи и взаимовлияние русской и европейских литератур*. СПб., 1997. С. 60–62; *Леонид Андреев и Анатолий Франс*.

Ч. II // Взаимосвязи и взаимовлияния русской и европейской литератур. СПб., 1999. С. 149–161). Заметим также, что в 1908 г. “Свободная мысль” известила о намерении издательства “Пантеон”, возникшего в 1907 г. под началом З.И. Гржебина, опубликовать “шедевры мировой литературы всех времен и народов”, и в том числе выпустить в свет «“Экклезиаста” с двумя предисловиями: Леонида Андреева и Анатоля Франса» (см.: [Б.п.] Календарь писателя // Свободная мысль. 1908. 25 февр. (№ 42). С. 4). И, как всегда в “библейских” произведениях Андреева, ощутимо воздействие “библейского” стиля ницшевского “Заратустры”.

Крупнейшими художественными произведениями русской литературы на темы эмпирической и метафорической смерти, фактического, физического или переносного по смыслу воскресения, предшествующими андреевскому рассказу, были “Воскресение” Л.Н. Толстого и “Преступление и наказание” Ф.М. Достоевского. И если у Толстого возникает вопрос по преимуществу в плоскости нравственно-философской, то у Достоевского проблематика романа, в том числе и проблема смерти и воскресения, строится на религиозных идеях и сосредоточивается во многом вокруг евангельской истории о воскресении четырехдневного Лазаря.

Из произведений зарубежных авторов, обращавшихся к сюжету евангельского чуда о воскресении, следует назвать также два цикла стихов Г. Гейне: “Лазарь” (из второй книги “Романсеро”) и “К Лазарю”. Полное собрание стихов Гейне вышло в Петербурге в 1900 г. в переводах русских поэтов, а до того было издано восьмитомное собрание стихов в переводах П. Вейнберга (оно было в библиотеке Андреева). Можно предположить, что некоторые из них отозвались в его рассказе (“Оглядка назад”, “Восстание из мертвых”, “Enfant perdu”, “Ах, как медленно ползет улитка время...” и др.).

Художником, обратившимся к сюжету евангельского чуда воскресения, был Виктор Гюго (стихотворение “Воскрешение Лазаря” из “Легенды веков” и стихотворение “Он не был виноват” из книги “Все струны лиры”).

Непосредственным предшественником андреевского “Елеазара” по времени была поэма Н. Минского “Гефсиманская ночь” (1884).

Из области ассоциаций напомним и о близком, хотя и не прямом источнике – офорте любимого Андреевым Фр. Гойи под названием “Nada” (“Ничто”) из цикла “Бедствия войны”. В автокомментарии Гойя писал: “Мой призрак хочет сказать, что он совершил великое путешествие в иной мир, но ничего не нашел там”. Тема выходца “с того света” невольно ассоциируется с образом андреевского Елеазара.

Источником андреевского Лазаря М. Волошин в рецензии на “Елеазара” (*Волошин 1907*) назвал поэму Леона Дьеркса “Лазарь”, переведенную на русский Евгением Дегеном и опубликованную в последнем номере “Мира Божиего” за 1899 г.

В сопутствующей переводу статье “Два Парнасца” Ев. Деген представил “короля поэтов” французского Парнаса, поэта “парижской умственной аристократии”, свысока взирающего на мятущуюся толпу, как автора поэмы о трагически одиноком, чуждом толпе, отмеченном “печатью гения и проклятья” Поэте, в образе воскресшего Лазаря. Приведем некоторые выразительные характеристики героя поэмы:

... и Лазарь ожил вновь на мощный зов Христа.  
Из тьмы пещеры он поднялся, бледнолицый,  
И в складках путаясь широкой плащаницы,  
Шел прямо пред собой, один, сомкнув уста.

Сомкнув уста, один, по городу он бродит,  
И спотыкаются нетвердые стопы;  
Чужд мелочей земных и пошлых чувств толпы,  
Все что-то ищет он, чего-то не находит.

⟨...⟩

О, сколько раз, бродя один пустынным местом,  
На фоне сумерек чернея, как пятно,  
На небо к ангелу, желанному давно,  
Он руки простирает с молящим, скорбным жестом.

О, сколько раз, в тоске минуя города,  
На темных кладбищах бродил он одиноко,  
Завидуя всем тем, что спят в земле глубоко  
И не поднимутся оттуда никогда.

⟨...⟩

И все в Вифании тогда, и стар, и мал,  
Боялись страшного пришельца из могилы,  
У самых храбрых страх спирал тисками жилы,  
Когда свой взгляд слепой на них он подымал.

(С. 69–70)

Представив в упомянутой рецензии на “Елеазара” свой перевод некоторых фрагментов поэмы, Волошин пришел к заключению о рассказе Андреева как “развитии поэмы Дьеркса”: «Он (Андреев. – *Сост.*) удержал все основные черты, данные Дьерксом, и его равнодушие к тщетной суете жизни, и его таинственное молчание, и даже силуэт Елеазара на фоне заката: “черное туловище и распростертые руки ⟨...⟩ давали чудовищное подобие креста”».

Волошин не без основания считает поэму Дьеркса толчком к написанию “Елеазара” и его источником, хотя и с существенными оговорками о глубине различий между героями поэмы и рассказа: “Елеазар Дьеркса сохраняет туманную красоту поэтического символа, великую тоску по вечным тайнам иного мира. Его Лазарь видел свет вечный, и его глаза больше не могли смотреть на этот мир ⟨...⟩ У андреевского Елеазара нет ничего этого. По ту сторону он ничего не видел, и ему нечего рассказать о тайнах иного мира, если бы он и мог говорить”.

Волошин сравнивает “Елеазара” и с живописными произведениями мирового искусства на евангельские темы, с изображениями “страстей Господних” у “кольмарского мастера XVII века” Матиаса Грюневальда, но одновременно и с современным немецким “размашистым живописцем” Францем Штуком, чьи работы, “бьющие сильно по нервам”, потрафляют в конечном счете “мещанскому вкусу европейской публики”.

Однако, говоря о предшественниках, Волошин опускает сравнение с тем источником, с которым рассказ вступает в полемику. Это “Преступление и наказание”, где чтение легенды о четырехдневном Лазаре (четвертая глава четвертой части романа) формирует философско-религиозный эпицентр: о путях духовного воскресения “умерших”. Андреев “ответил на вызов”, говоря словами Волошина, но не Дьеркса, а Достоевского.

Подводя итог разговору о предшественниках “Елеазара”, о его возможных литературных источниках, можно сказать, что, по-видимому, Андреев был в курсе многих из них, но в диалог вступил главным образом с Евангелием.

“Елеазар” имел большую, в сравнении с другими рассказами Андреева, прессу: библиографией зафиксировано около пятидесяти заметок, рецензий, статей, книжных глав, других откликов. А поскольку он был напечатан в элитарном модернистском журнале, выходившем относительно небольшим тиражом, его стали перепечатывать. О перепечатке в петербургском сборнике “Ссылным и заключенным” далее скажем особо. “Елеазара” также перепечатали в отрывках в январе 1907 г. газеты “Тульская речь” и тифлисское “Новое обозрение”, в февралe – целиком – газета “Чита” и др.

О рассказе проходили беседы, читались доклады и лекции. К примеру, такая беседа состоялась в декабре 1907 г. в помещении Московского женского общества взаимопомощи (Мясницкая, дом Строгановского училища, гимназия Граховой) ([Б.н.] Беседа о “Елеазаре” // Наш понедельник. 1907. 17 дек. (№ 5). С. 4). Минская газета “Окраина” напечатала отчет о докладе, посвященном творчеству Андреева, и специальном сообщении о рассказе “Елеазар”, прочитанном в минском Литературно-артистическом обществе 23 января 1908 г. В отчете говорилось: “Среда прошла оживленно и привлекла значительное количество собравшихся. После, по обыкновению, происходили дебаты” ([Б.н.] Литературная среда // Окраина. Минск, 1908. 24 янв. (№ 146). С. 3). В новочеркасской “Донской жизни”, в “Царицынском вестнике”, других южных газетах печатались отчеты о лекциях В.И. Стражева, в течение нескольких месяцев зимы–весны–лета 1908 г. пропагандировавшего творчество Андреева: “...он носит в себе черный цветок, в котором все безумие жизни...” В каждой своей лекции Стражев останавливался на “Елеазаре”, ища сути и пафоса рассказа. Андреева он считал своеобразным колоколом своего времени, который взывает к людям: “... – Да

проснитесь вы, безумцы! Ведь так опасно шутить со смертью, нравственную смертью!» По словам лектора, писатель всем смыслом своего творчества и его отдельных произведений “дает надежду и веру в грядущее обновление жизни” (Царицынский вестник. 1908. 6 янв. (№ 2751). С. 2).

Корреспонденты, освещавшие лекции Стражева, также высоко ценили талант Андреева. Один из них писал, что Андреев – «лучший выразитель человеческой скорби, ужасов жизни, ропота и возмущения человеческой воли против неправд ее, против слепой и безжалостной “роковой необходимости”, столь бесконечно властной над беспомощным и слабым человеком...» (*Юж-н [Южанин А.]*). Мысли и впечатления: По поводу лекции “Л. Андреев” // Донская жизнь. Новочеркасск, 1908. 23 апр. (№ 93). С. 2). Сочувствовали его стремлению “проникнуть в тайну творения”: “Сила творческого духа” писателя «красиво, полно и глубоко проникает в эту тайну, и в каждой отдельной картине этого произведения (речь идет о “Елеазаре”. – *Сост.*) читатель чувствует стройность и законченность художественных образов» (*В.М.* Мысли о возможном // Царицынский вестник. 1908. 6 янв. (№ 2751). С. 2).

В сознании ряда и крупных, и рядовых столичных и провинциальных критиков автор “Елеазара” становился ярким выразителем настроений эпохи: «При своем огромном таланте Андреев остается вместе с тем единственным пока художником, отразившим наше время в его большой мечте (“К звездам”, “Савва”) и в его большом же разочаровании (“Иуда”, “Елеазар”, “Тьма”))» (*Кранихфельд В.П.* Литературные отклики: Симптомы современных переживаний и настроений // Современный мир. 1908. № 2. С. 28).

Среди резко отрицательных отзывов выделялись реплики Антона Крайнего. Крайний предупреждал Андреева об опасности для него оторваться от бытописания в сторону фантастики или мистики, ибо обращение к ним подчеркивает “всю грубость, всю примитивную его некультурность и вытекающую из них беспомощность...” (*Антон Крайний [Гиппиус З.Н.]*). О “Шиповнике”. I. Человек и Болото. Литературно-художественные Альманахи издательства “Шиповник”. Книга первая. СПб., 1907. Ц. 1 р. // Весы. 1907. № 5. С. 57). И как только “Елеазар” появился, Антон Крайний объявил его “слабой, вымученной, некультурной вещью” (*Антон Крайний [Гиппиус З.Н.]*). Братская могила // Весы. 1907. № 7. С. 58). По поводу статей Крайнего и подобных И. Джонсон заметил: “Мне уже приходилось отмечать господствующий у некоторых критиков удивительно высокомерный тон по отношению к Леониду Андрееву: ... да... талантлив... Но невежествен, не умен... Путается в темном хаосе им же самим поднятых вопросов... бессилён осознать жизнь... Безнадежно банален в своих философствованиях...” В “Елеазаре” критик увидел поиск “правды жизни и смысла существования”, связав его с образом Августа, противопоставленного основному герою, этот смысл утратившему. Август осуществил попытку “осветить

жизнь извечной правдой добра и любви и поверить в силу этой правды” (Джонсон 1908).

Среди разборов “Елеазара” свое место заняли отзывы критиков социологического направления – прежде всего А.В. Луначарского. С точки зрения его пролетарско-богостроительских идей Андреев – носитель современного пессимизма, а его герой Лазарь – “превосходный образчик у-укающей литературы”, утверждающей «страх смерти в чистейшем его виде, “у-у-у” на самых высоких, сердце надрывающих нотах». Для Луначарского симптоматичен выбор в качестве героя не “воскресшего Христа – героя, носителя идеи”, “своеобразного вождя пролетарских масс Галилеи”, а Елеазара – “символа негодного для жизни”, “ничтожества, мещанина” (наподобие Розанова или Мережковского, которых Луначарский называет мещанами современной жизни) (*Луначарский 1908. С. 151–152, 155–156*).

В духе подобной критики, пишущей скорее не о произведении, а “по поводу него”, высказался о “Елеазаре” и В.Л. Львов-Рогачевский. Своей рецензии “Шаги смерти” он дал подзаголовок: «По поводу “представления” Л. Андреева “Жизнь человека” и рассказа Л. Андреева “Елеазар”». Львов-Рогачевский рассматривает героя Андреева с точки зрения его опасности для состояния современного общества: он может заразить равнодушием небытия тех, в ком пропал вкус к жизни. Рецензент становится на сторону других – тех, кто ежедневно творит жизнь, в том числе тех, кто в огне революции как бы заново воскрес. Рогачевский приводит слова рабочего, участвовавшего в обсуждении рассказа: « – Да чего вы тащите нас к смерти, мы еще не жили... Разве не был мертв наш народ? “Мертв в законе” и в жизни, а теперь он, как Лазарь, воскрес. Чего смеетесь! Да, – мы Лазарь воскресший! Но мы не похожи на Елеазара Л. Андреева: тот, кто поглядел нам в глаза, тот прочел там жажду жизни и борьбы {...} К искусству приходят теперь из мрака и холода миллионы, а вы отсылаете их к Неизвестному и бесконечному...» (*Львов-Рогачевский 1907. С. 62*).

Через четыре года отношение Львова-Рогачевского к рассказу резко изменилось в сторону его принятия. Теперь он сравнивает настроение русского общества после поражения Первой русской революции с настроением восьмидесятников после расправы над первомайцами: «Это были дни мертвой точки, мертвой петли, мертвых слов и “мертвенно-бледного состояния”. Не воскресение, а “мертвец в брачных одеждах” – Елеазар становится символом этой страшной полосы, когда самыми живыми, сильными и яркими произведениями явились “Семь повешенных” Леонида Андреева, “Не могу молчать!” Л.Н. Толстого и “Бытовое явление” В.Г. Короленко» (*Львов-Рогачевский В.Л. Поворотное время // Современный мир. 1911. № 4. С. 238*).

Вместе с тем современников интересовало в “Елеазаре” разное. Одним рассказ был важен своими психологическими глубинами,

другим – постановкой философских проблем бытия и отношением к вопросам религии, третьи искали в нем ключи тайн художественного мастерства Андреева. При этом часто соседствовали резко противоположные точки зрения. Если английский критик Леонард Куртней находил рассказ явлением новейшего психологического натурализма ([Б.п.] Английская критика о Л. Андрееве // Киевские вести. 1910. 23 апр. (№ 104). С. 3), то по мнению Л. Толстого, “это не правда, а выдумка, сочинение”. Узнав от А.А. Измайлова о содержании рассказа “в самых общих чертах”, Толстой отверг саму возможность такого рода изображений: “представить себя в облике человека, видевшего смерть (...) это же нельзя!” Много времени спустя в разговоре с Измайловым Андреев отозвался на реакцию Толстого: «Представить себя воскресшим Лазарем трудно (...) а скажите, разве легче почувствовать себя в шкуре “Холстомера”?..» (Измайлов А. Литературный Олимп. М., 1911. С. 15–16).

Естественно, что многие критики обсуждали вопрос об отношении “евангельского” рассказа с самим Евангелием. Большинству писавших казалось необходимым строгое следование за главной коллизией евангельского текста: воскресение Лазаря как дар Господа Иисуса Христа людям. С этой точки зрения они не принимали рассказ. Самая первая, непримиримо отрицательная рецензия на “Елеазара” (о которой уже шла речь) принадлежала Волошину. Рассказ производил на него “впечатление богохульства”, так как “чудо воскресенья, совершившееся над Елеазаром, является не радостным евангельским обетом, а какой-то диаволической силой, которая труп вернула жизненную силу, но не могла вселить в него отлетевший дух”; “Ужас андреевского рассказа зародился в анатомическом театре, а не в трагедии человеческого духа”; “карикатурно-чудовищный Елеазар” несет в себе “какое-то оскорбительное кощунство”. Волошину хочется спросить у автора: “Где же Христос?”; “...художественная правда требует, чтобы описанная нам трагедия его последующей жизни была так или иначе связана с воскресением самого Христа” (Волошин 1907).

Критик еженедельника религиозно-общественной жизни “Век”, скрывшийся под псевдонимом Константин Левин, также считал, что “на вечери Лазаря у него (Андреева. – *Сост.*) нет Христа”. По убеждению критика, “в неисследимой глубине человеческого духа (...) есть источник, из которого человек черпает силу смотреть в страшные глаза смерти”: этот источник – “упорная уверенность в бессмертии”. Левин “ловит” Андреева на множестве ошибок, которые тот совершил: показал воскресение во плоти, хотя его никто не ожидает, показал, как в “пустое” сердце Елеазара легко входит “бесконечная пустота” инобытия, хотя это должно составлять основу неведомой драмы и даже трагедии, и т. п. Он предлагает писателю конкретные пути следования за Евангелием: “Да, – заключает рецензию автор, – только спрятав за художественные ширмы воскресившего Христа, можно было представить таким грозным призраком воскресенного Лазаря” (Левин К. Лите-

ратурные заметки: А где же Христос? // Век. СПб., 1907. 4 марта. (№ 9). С. 100–112).

А.А. Измайлов, хвалебно отозвавшийся о рассказе, рассматривал Елеазара как носителя то ли “безысходного отчаяния язычества” (“Духа христианской радости нет в сердце...”), то ли современного рационалистического сознания, “которое за гранью гроба и вечности не нашло ничего, кроме пустоты, тьмы, бездны еврейского шеола (в др.-евр. религ. представлении потусторонний мир. – *Сост.*)...”. Если Елеазар “воскрешен Христом – он символ человеческого бессмертия и должен принести на землю свет радости, а не тьму шеола. Только в этом мог быть смысл его воскресения. Если бы он принес безнадежность бытия, он был бы живым отрицанием и чуда над собою, и воскресившего его Христа” (*Измайлов А.А. Литературные заметки // ВВед.* 1907. 12 апр. (№ 9844). Утр. вып. С. 3).

Ряд претензий к Андрееву по поводу его “расправы” над текстом Евангелия можно было бы продлить; в этом сходились критики разных направлений и позиций. Мнение значительно более терпимое высказал английский переводчик рассказов Андреева священник В. Лоу. В предисловии к переводам Лоу писал, что “не всё в рассказах русского автора соответствует тому трактованию подобных сюжетов, к которому привыкли люди ортодоксального склада ума, но”, по его мнению, “громадный интерес некоторых из затронутых Андреевым проблем вполне оправдывает появление этих рассказов на английском языке”. Публикатор этих слов прибавляет от себя: «Вот бы у кого поучиться терпимости нашим синодским критикам, прогнавшим “Анатэму” со сцены» (*Б.л.*) *Английская критика о Леониде Андрееве // Киевские вести.* 1910. 23 апр. (№ 104). С. 3).

По отношению к рассказу “Елеазар” православная критика оказалась более сдержанной. Так, рецензент “Христианской мысли”, констатируя не-христианскую проблематику рассказа и объясняя сущность христианского подхода к сюжету, был вместе с тем далек от упреков и разоблачений: “Андрееву, человеку, воспитанному в позитивном духе, неприемлема христианская эсхатология, и он рисует Елеазара губителем жизни...” На аскетическом языке Средневековья, до сих пор бытующем в обществе, в смерти есть только “ужас перед Вечным” и нет “радости Там”. Когда воскресший принес на землю свой ужас перед небытием, Август выколол ему глаза. По мнению критика, это мнимое разрешение вопроса, лишь бегство от него, поскольку “освободить от ужаса небытия и бесконечности может только Христос, и примирить мир с Бесконечным, дать тому, чем мы живем на земле, ценность, какой не уничтожит и смерть, может только Всевышний” (*Германов 1916.* С. 139–141).

У значительной части рецензентов вызвала одобрение окрашенность рассказа Андреева в тона философских раздумий и настроений. Возможно, первым эту особенность отметил А.А. Измайлов в цитированной статье: “Андреев спускается в глубины духа, подходит к проблемам ужаса и смерти (...) Андреев отходит от модных тем дня в прекрас-



ную и великую область общечеловеческого, вынося вековые, огромные, потрясающие вопросы бытия (...) за стесняющие рамки (...) действительности в сферу всемирного, всечеловеческого интереса. Андреев заставляет задуматься над отвлеченным вопросом философии, облекши его в образы, как это завещали творцы Каинов, Манфредов, Прометеев". Измайлов ставит Андрееву в заслугу выработку "удивительного языка", способного сложить "поэму" философско-психологических переживаний.

Сибирский критик Исаак Г. определил философскую проблематику рассказа как соотнесение сознаний и психологий земного и запретного, как стремление обитателей земли "постичь непостижимое"; "им (...) казалось, что там должно быть что-то определенное, осязаемое, чувствуемое... Им казалось, что они способны постичь все...". По мысли рецензента, Андреев – нигилист, облекший "дух отрицания и разрушения в красочный символ". Однако же его воля сосредоточена на другом стремлении: понять земную жизнь, «или "жизнь здесь"», "связать ее с всемогущим духом бесконечного, – иначе все, что существует с людьми: и искусство, и красота, и любовь должны погибнуть под взглядом *оттуда*, под взглядом Елеазара" (Исаак Г. [Гольдберг И.Г.] Литературные очерки: Искание отрицания // Забайкальская новь. Чита, 1907. 22 июля. (№ 63). С. 3).

Похоже проблематику рассказа интерпретирует Джонсон: жизнь «способна казаться привлекательной и ценной лишь для того, кто может забываться и не думать о черной бездне, всех нас ожидающей. Но кто забыть не в силах, тому жизнь перестает представляться обаятельной, для того тухнут все светлы, блекнут все краски ее. Этот ужас бесконечной бездны, отравляющий всякий вкус к жизни, показан писателем в рассказе "Елеазар"» (Джонсон И. [Иванов И.В.] В тревогах богоискания: Леонид Андреев // Киевские вести. 1910. 5 сент. (№ 239). С. 2).

Д.А. Девор назвал "Елеазара" "сказкой, пригрезившейся в переживании небытия". Она передает одно из мгновенных состояний человека, вдруг оказавшегося перед фактом кончины; по мнению Девора, "в смысле художественной красоты и правды – это одно из лучших декадентских творений Л. Андреева, так как в нем отразилось общечеловеческое психологическое переживание, у иных смутное, у других острое и захватывающее" (Девор Д.А. Наши Шекспиров и Гете. СПб., 1908. С. 28).

В рассказе Андреева Р.В. Иванов-Разумник нашел подтверждение своей философии "имманентного субъективизма". Анализируя рассказ, Иванов-Разумник задается вопросом: "...действительно, что страшного читаем мы в глазах Елеазара? (...) Что пугает человека во взоре Елеазара-Смерти?" – и отвечает на этот вопрос: "Пугает его объективная бессмысленность человеческой жизни. Зачем жизнь, если все есть только великая пустота? Зачем жизнь, если она есть только бессмысленный процесс постройки здания для его разрушения, рождения человека для

его смерти?” Ответ на этот вопрос Иванов-Разумник находит в самом рассказе: «...император Август выдерживает взгляд Елеазара. Жизнь не побеждается Смертью; здесь Л. Андреев (...) побеждает в себе (...) черты, которые несомненно часто являются общечеловеческими. Объективная бессмысленность жизни побеждается ее субъективной осмысленностью – таков смысл сцены между Елеазаром и Августом. (...) Так субъективный смысл жизни победил в Августе ее объективную бессмысленность; так отвечает на этот раз Л. Андреев на центральный вопрос своего творчества – зачем жить, если есть смерть? Ответ гласит, что именно потому и надо жить, что существует смерть; именно потому наша жизнь и имеет такую большую субъективную ценность: недаром, выдержав губительный взор Елеазара, – “в тот вечер с особенной радостью вкушал пищу и питье божественный Август”... Тот, кто смотрел в глаза Елеазару-Смерти, этому “Царю Ужаса” и не погиб от зрелища объективной бессмысленности всего окружающего, тот найдет источник живой воды в самой жизни и обретет неисчерпаемую бодрость в мысли о субъективном смысле человеческой жизни» (*Иванов-Разумник 1908. С. 153–155*).

Ряд критиков остановились на семантической структуре рассказа, увидев в ее основе принцип контраста, противоречия, антиномии как некоей модели восприятия бытия.

В сборнике студенческих работ Ю.В. Соболев писал, что композиция рассказа построена на столкновении двух правд; “жизни творческой и созидающей – Август; смерти, тоскливой, разрушающей – Елеазар”. По мысли критика, “победа Августа, соединенная с насилием не только над физическим лицом, но и над идеей, над мыслью, – оставляет известный яд сомнений. Мы не видим, на чьей стороне Андреев, чью правду он считает истинной, за кем зовет он следовать, – за Елеазаром или за Августом” (*Соболев 1908а. С. 130–133*).

В другой статье Ю.В. Соболев попытался охарактеризовать всеобщий семантико-композиционный принцип строения андреевских произведений середины 1900-х годов, таких как “Елеазар”, “Иуда Искариот и другие”, “Жизнь Человека”, прочих: «Это прежде всего мотив борьбы двух течений, двух начал, двух “правд”. Борются такие начала, как бытие и небытие, небо и земля, горение жизни и ее угасание. Иуда восстает во имя идеала царства Божия *на земле* против Христа с Его блаженством *на небе*; гордый Человек бросает вызов каменному гиганту “в сером”; Цезарь Август выдерживает искушение смерти и взгляд носителя тления – Елеазара». Посредством борьбы противоположностей Андреев надеется найти ответ на «один и тот же вопрос: “В чем истина, где правда?”». В этой борьбе “победа достается на долю правды земной” (*Соболев 1908б. С. 2*).

Еще отчетливее мысль об антиномической структуре андреевских произведений была высказана Е.А. Ляцким: «“Елеазар” написан контрастно, без полутеней и полутонов: остановившийся в своем разложении труп и праздничные одежды, холод могилы в душе и палящее

солнце, неспособное согреть остывшие члены...» Ляцкий подмечает игру контрастов и антиномий на уровне интерпретации мироздания, равно как и на уровне стиля: «Тайна обаяния андреевского рассказа – столь же тайна непостижимости борьбы между жизнью и смертью, которая задевает каждого по глубине его мысли, сколько и тайна стиля писателя (...) этот насквозь искусственный стиль служит в руках художника дивным орудием для метких, словно иссекаемых из металла образов и картин давно умолкнувшей жизни; в изображениях безобразной наготы истины и смерти рождается новая жизнь, новая красота – искусство».

Ляцкий выделил антиномии и на уровне структуры сознания (разум–сердце: «Разум измерил пучину ужаса и отдался его власти, а сердце, способное биться любовью и жалостью, способное волноваться скорбью и великой радостью, заполнило безнадежный ум ненасытимой жаждой жизни, которая столь же безмерна своими радостями и светом, как и мраком небытия») (Ляцкий 1907. С. 62, 64).

Ляцкому вторила и Е.А. Колтоновская, обратившая внимание на ту же черту рассказа и вообще всего творчества писателя – их антиномическую природу: «В творчестве его всегда чувствуется жуткий баланс между жизнью и смертью, а его отрицание жизни является все же главным образом ее форм и проявления – отрицание во имя утверждения. Лучшее место в “Елезаре” – поединок взглядов между жизнерадостным Августом и смертоносным Елезаром».

Колтоновская написала рецензию не на один только рассказ Андреева, но на весь сборник, в котором он был переиздан, – на сборник “Ссылным и заключенным” (СПб.: Шиповник, 1907). Сама организация такого сборника была напоминанием о пожизненно заточенных узниках Шлиссельбурга, помилованных в разгар Первой русской революции. Андреев, один из сотрудников “Шиповника”, счел необходимым, во-первых, собрать такой сборник, во-вторых, поместить там свой рассказ, открывавший эту книгу и, по-видимому, имевший касательство к политическим событиям, связанным с государственным наказанием борцов за свободу. Отголосок этой ситуации ощутим в статье Колтоновской.

«На первом плане, – писала она, – следует поставить прогремевшего ужасом андреевского “Елезара”». Далее следовал пассаж, который переводил содержание рассказа в регистр современной отечественной жизни: «Всякое воскресение само по себе есть ликующий праздник, эмблема высшей радости – возвращения в жизнь. Под гипнотизирующею властью того, что было там – таинственном, неведомом и непостижимом там, воскресение превращается в пытку и жизнь лишается своей привлекательности. В своей прежней жизни Елезар был веселым шутником, а после того, как побывал во власти смерти, научился улыбаться и сделался олицетворением ужаса для себя и для других (...) Сумрачной и печальной становилась любовь; мудрецы начинали чувствовать, что знание ужасного – не есть еще ужасное, ужас-

ное – черная пустота, “ничто”, бессмысленная бездна...» (*Обр.* 1907. № 10. Отд. 3. С. 80–81). Обратим внимание на некоторые слова: “возвращение в жизнь”, а не “к жизни”; Елеазар не был мертв, но “побывал во власти смерти” и т. п. Как будто говорится не об умершем и воскресшем, а о человеке как бы умершем и потом вдруг как бы воскрешенном.

В сборнике “Ссылным и заключенным” были напечатаны стихи двух из таких “воскрешенных”:

П.Я. [Якубович П.Ф.]

Из былого

I. Матери

... Но ты скажи, что духом он восстал

Из **ненавистой** ночи гроба...

IV. В ожидании суда

Из **глубины** могилы нашей

Благословение вам шлем.

(Стихотворения датированы 1894 и 1897 гг.)

В.Н. Фигнер

Песня

Все отняв, чем свет мил,

**Схоронили нас** здесь.

Чтоб лишить гордых сил,

Что в душе еще есть.

(Ссылным и заключенным. СПб.: Шиповник, 1907. С. 172, 175, 178; выделено нами. – *Сост.*)

Еще до статьи Колтоновской намекнул на присутствие в рассказе конкретного историко-психологического плана и на его связь с философски-отвлеченным планом П. Дмитриев. Он заметил, что “смерть Елеазара и последовавшее после смерти воскрешение можно рассматривать как символическое выражение возможного потрясения, могущего вызвать в глубине человеческой души переживания, чуждые всей его прежней жизни”. Почти как о психологии современного борца с социальным злом, потерпевшего роковую неудачу, говорит критик о Елеазаре: “...его борьба закончилась только тем, что, лишив его прошлого, сделала его существование еще более бледным и тусклым...” В герое рассказа существует “беспредметная тоска опустевшей человеческой души”, ибо “вернуть вновь все, что однажды было похоронено, – это не значит воскреснуть, и даже не значит – продолжать прежнюю жизнь; это значит пережить довременный конец развития всех своих сил и способностей”. Вместе с тем критику импонируют андреевские абстракции, очевидно потому, что позволяют слить воедино исторически определенное и всеобщее, универсальное (*Дмитриев П.* Журнальное обозрение // *Обр.* 1907. № 3. Отд. 3. С. 85–87).

Тремя годами позже еще более определенно наличие конкретно-исторического плана отметила С.Ю. Витте, написавшая, что Елеазара она считает образом человека своего времени, героем, “воскресшим от смерти, но мертвым для жизни”. Она же указала и на то, что антагани-

стом Елеазара выступает Август с его “мощным желанием дать счастье людям”. В обоих ее наблюдениях есть намек на современную общественную ситуацию (*Bumte 1910*. С. 13, 16).

Тогда же о глубокой и несомненной связи рассказа с современностью заявил в частном письме от 28 июля 1910 г. Егор Сазонов (Созонов), убийца министра внутренних дел В.К. Плеве: “...кто побывал в положении андреевского Елеазара, – тому уж не растопить душевного льда, вынесенного из могилы (...) когда я думаю о дне страшного суда, то мне иногда представляется такая возможность: прозвучит труба архангела, мертвые воскреснут из гробов, но не для новой, обновленной жизни, а для ужасного сознания, что они мертвы безнадежно и непоправимо” (Письма Егора Созонова к родным. М., 1925. С. 345).

В 1911 г. о том же писали В.Л. Львов-Рогачевский, назвавший Елеазара символом реакционного безвременья (см. выше о его статье “Поворотное время”), и В.Ф. Боцяновский: “В сущности, мы все, все наше поколение, если не Елеазары, то Августы. Все мы прошли если не через смерть, то через летаргический сон. Многие из воскресших превратились в живых мертвецов, Елеазаров, мертвящих жизнь, многие бодро отряхнули с себя пыль гробового праха и бодро смотрят вперед” (*Боцяновский В.Ф. Богоборцы Леонида Андреева // Богоискатели*. Пб.; М., 1911. С. 240).

Традиция сравнивать российских проповедников от освободительного движения и революционных борцов, столкнувшихся с тьмой российской действительности и потерпевших поражение, с библейским Лазарем восходит к Герцену. Вспоминая о русских интеллигентах 1840-х годов, в последующее время пришедших к грустным концам, он писал о них в “Былом и думах”: “... И вот перед моими глазами встают наши Лазари, – но не с облаком смерти, а моложе, полные сил...” (*Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. / АН СССР*. М., 1956. Т. 9. С. 115. Говоря о “Лазарях”, Герцен имел в виду Т.Н. Грановского, А.Д. Галахова, В.П. Боткина и др.).

Андрееву особенно близок был более всех писавший о русских Лазарях Ф.М. Достоевский. Сразу по возвращении с каторги он называл себя отрезанным ломтем: “и хотел бы прирасти, да не могу”; в более позднем письме жаловался на прискорбные перемены с душой, верованиями, умом и сердцем за прошедшие годы каторги: “А те 4 года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу”, и все же “выход из каторги” представлялся ему “как светлое пробуждение и воскресение в новую жизнь” (*Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28, кн. 1. С. 166, 181*). Спустя несколько лет сравнение политического преступника на каторге с человеком, “заживо схороненным в гробу”, и рассказ о его мечте воскреснуть из мертвых был повторен в “Записках из Мертвого дома” (Там же. Т. 4. С. 67, 232). Наконец, в “Преступлении и наказании” сюжет романа спроецирован на легенду о воскрешении Лазаря.

Ситуация духовного воскресения иначе, гораздо пессимистичнее, чем в прежние годы, зазвучала в устах знаменитых шлиссельбургцев и в литературе о них. О Е.С. Сазонове уже говорилось. Известный общественный деятель, поэт и житель одного из “мертвых домов” П.Ф. Якубович писал о шлиссельбургских Лазарях в категориях их мысли. Крепость он постоянно называет гробом и могилой: “...Я говорю об ужасном шлиссельбургском гробе, где в течение 21-го года похоронены были десятки лучших людей России, недобитых жертв нашего абсолютизма...” (Якубович П.Ф. Шлиссельбургские мученики. СПб., 1906. С. 2). «...Шлиссельбург прославился (...) как могила героев “Народной воли”...» (Мельшин [Якубович П.Ф.]. Раскрытый тайник // Галерея шлиссельбургских узников. СПб., 1907. Ч. 1. С. XXIX–XXX). Якубович именует бывших узников не иначе, как “живыми мертвецами шлиссельбургскими”, а крепость – “ужасной шлиссельбургской могилой”; он поясняет: «Все усилия самодержавного правительства клонились к тому, чтобы не только общество, но и сами шлиссельбургцы глядели на себя, как заживо погребенных. И такими они действительно были. На дверях, которые вели в шлиссельбургские казематы, было как бы начертано “Оставь надежду навсегда!”». У Елеазара, мы помним, были выжжены глаза, чтобы их взгляд не напоминал о страшном. Якубович воссоздает характерную ситуацию: “В настоящее время выпущенные из Шлиссельбурга уже развезены по разным городам и отданы на поруки родственникам. Установлен строгий контроль за каждым их шагом, за всеми сношениями с посторонними лицами; права выезда из назначенного места они лишены, чтобы они молчали, а их не слышали...” (Якубович П.Ф. Шлиссельбургские узники. СПб., 1906. С. 25, 30, 26–27, 3).

Много материала для понимания конкретно-исторического плана рассказа содержат различные свидетельства В.Н. Фигнер. В письме П.Ф. Якубовичу Фигнер рассказывает о себе, явно проецируя обстоятельства собственной жизни на легенду о Лазаре, с той разницей, что у нее не было надежды на возможность воскресения: «...И вдруг! – писала она о неожиданно дарованной ей свободе. – Опять удар в замкнутую дверь (...) стук жизни, призывающий “Восстань и гряди!”. Ах, Петр Филиппович, когда человек уже решил, что все кончено, и примирился с этим, отказался жить, то быть вновь разбуженным криком “живи!” – это целая трагедия, мука, от которой даже и сейчас я не могу еще освободиться...» (см. в кн.: Фигнер В.Н. Стихотворения. СПб., 1906. С. 4). О гражданской смерти на каторге Фигнер писала в своих стихах, например в стихотворении, посвященном Л.А. Волкенштейн:

Жизнь кончилась, и ночь надо мной  
Свой туманный покров расстилала...

(Фигнер В.Н. Стихотворения. СПб., 1906. С. 16)

В письме Фигнер к архангельским ссыльным те же мотивы безнадежной утраты всего близкого, чувства жизни, непроницаемости стен,

за которыми каторжники лежат, “как мертвый камень” (Фигнер В.Н. Из письма к архангельским ссыльным // Фигнер В.Н. Указ. соч. С. 40).

О том же писали почти все шлиссельбуржцы. Так, М.Ф. Фроленко в своих записках вспоминал: “А время потихоньку шло да шло; яд могилы потихоньку все глубже и глубже забирался в наше тело...” (Фроленко М.Ф. Милость. СПб., 1906. С. 9). Хорошо зная творчество Андреева и его самого лично, известный революционер Г.А. Лопатин выражал свои мысли в образах рассказа Андреева. Летом 1908 г., повстречав В.Л. Бурцева, он жадно его расспрашивал «о том, что было за последние 20 лет, как он выражался, “после его смерти”» (Бурцев В.Л. Как я разоблачил Азефа // Провокатор: Воспоминания и документы о разоблачении Азефа. Л.: Прибой, 1929. С. 218–219).

Как видно, Андреев находился в атмосфере устных и письменных свидетельств, которые отозвались в “Елеазаре” и, с другой стороны, по-своему откликались на мотивы андреевского рассказа, всеобщее философское содержание которого соприкасалось с настроениями политических узников – современников писателя.

При жизни автора рассказ переведен на английский (1906, 1910, 1917, 1918), болгарский (1907), шведский (1907), немецкий (1907, 1908), сербский (1908 – 2 раза), словенский (1912, 1913), итальянский (1913, 1919), хорватский (1913, 1919), французский (1914), испанский (1914), венгерский (1917), японский (1919) языки.

В 1991 г. режиссером Михаилом Кацем по мотивам повести “Иуда Искариот” и рассказа “Елеазар” был поставлен кинофильм “Пустыня” (киностудии “Дягилевъ-Центр”, “Одиссей” (Украина) при участии “Союзтелефильма”; оператор В. Махнев, художник О. Иванов, композитор Г. Канчели). Снятый в двух вариантах (теле- и киноверсия) фильм удостоился ряда наград: диплома и приза Профессионального жюри на кинофестивале “Заречный-91” (“За художественную уникальность кинематографической разработки масштабной исторической темы”); номинировался на премию “Ника” в 1991 г. по категориям: “Лучшая музыка к фильму” (Г. Канчели), “Лучшая работа звукооператора” (Е. Турецкий); получил Гран-при Международного кинофестиваля “Картагена-91” (Колумбия).

С. 7. *Елеазар* – “Бог помог”, “Божья помощь” (др.-евр.). Рассказ Андреева как бы продолжает евангельскую историю о четырехдневном Лазаре. Точкой отсчета становится окончание истории, рассказанной евангелистом Иоанном (Ин 11: 1–46).

...где три дня и ночи {...} властью смерти... – Четырехдневного Лазаря евангельской истории Андреев заменил Елеазаром трехдневным. Три дня и три ночи во гробе до своего воскресения был не Лазарь, а сам Иисус. Возможно, Елеазар получает дополнительные характеристики, намекающие на его родство с Христом.

...он, подобный жениху {...} сидел среди них... – Эпитет “жених” – один из постоянных эпитетов Иисуса (Иисус – жених; христианская церковь – невеста. “...Имеющий невесту есть жених {...} Приходящий с небес есть выше всех {...} ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии” (Ин 3: 29, 31, 34). “И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених?” (Мф 9: 15)). Эту терминологию использовала русская революционная среда, где “жених” был революционер-подвижник, а “невеста” – воскрещаемый народ, революция (см., например, романы Н.Г. Чернышевского).

...над домом Марии и Марфы... – Мария и Марфа – сестры Лазаря, жили в Вифании. Уверовали в Иисуса Христа. По их просьбе Иисус воскресил их рано умершего брата.

С. 8. ...возлюбил его Учитель... – “Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря”; “{...} Иудеи говорили: смотри, как Он любил его” (Ин 11: 5, 36).

...тимпан и свирель, цитра и гусли... – Тимпан – ударный музыкальный инструмент типа литавр, барабана или бубна; свирель – духовой музыкальный инструмент типа флейты; цитра – струнный щипковый или смычковый инструмент; гусли – струнный щипковый инструмент. Ср.: “После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд Филистимский; и когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчествуют {...}” (1 Цар 10: 5).

С. 10. ...святой город. – Иерусалим, главный город Святой земли, священного для последователей трех монотеистических религий: иудаизма, христианства и мусульманства.

С. 12. ...с сожалением цмокали... – Цмокать – издавать звуки, прижимая язык к небу.

...ибо та великая тьма, что объемлет все мироздание {...} ибо та великая пустота, что объемлет мироздание... – Мотивы “тьмы” (Мф 6: 23; Лк 11: 35) и “пустоты” (Иер 10: 15; 51: 18) характерны и для Ветхого и для Нового Завета (см. примечания к “Тьме”).

С. 14. ...кружат голову не хуже фалернского... – Фалернское – вино золотистого цвета, вырабатывалось в Фалернской обл. (в Кампании); славилось в древности как один из лучших сортов вина.

С. 16. Виссон – драгоценная ткань древности, употреблявшаяся для одежды первосвященников; любимая материя римских патрицианок времен империи (Малый энциклопедический словарь / Изд. Брокгауз, Ефрон. СПб., 1907. С. 867).

С. 17. Август Октавиан (63 до н.э. – 14 н.э.) – римский император.



*Серединное море* – Средиземное море; лежит между Европой, Африкой и Азией.

*Вечный город* – город Рим; по преданию, основан в 750 г. до Р.Х.

С. 18. *Вот пришел Елеазар к веселому пьянице <...> и навсегда кончилась его радость.* – Ср. во второй главе “Книги Екклесиаста, или Проповедника”: «Сказал я в сердце моем: “дай, испытаю я тебя весельем <...>”. <...> Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое <...> И оглянулся я на все дела мои <...> и вот, все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!» (Еккл 2: 1, 3, 11).

*Вот пришел Елеазар к юноше и девушке, которые любили друг друга <...> гасли в безграничной темноте.* – “Веселись, юноша, в юности твоей <...> и ходи по путям сердца твоего <...> только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд <...> потому что <...> и юность – суета” (Еккл 11: 9–10).

С. 19. *Вот пришел Елеазар к гордому мудрецу <...> И почувствовал он, что мудрость и глупость одинаково равны перед лицом Бесконечного, ибо не знает их Бесконечное.* – «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость <...> И сказал я в сердце моем: “и меня постигнет та же участь, как и глупого; к чему же я сделался очень мудрым?” И сказал я в сердце моем, что и это – суета <...>» (Еккл 2: 12, 15).

С. 21. *Ты слышишь этот воинственный клич, который бросают люди в лицо грядущему, зовя его на бой?* – В “Жизни Человека” Андреев повторит этот зов на бой в монологах Человека: “Эй Ты, как Тебя там зовут: рок, дьявол или жизнь, я бросаю Тебе перчатку, зову Тебя на бой!” (см. с. 219 наст. тома).

С. 22. *Точно медленно расходились какие-то тяжелые, извека закрытые врата, и в растущую щель холодно и спокойно вливался грозный ужас Бесконечного.* – В пьесе “Анатэма” также фигурируют эти “врата”: “В глубине сцены, на половине горы, стоят огромные, железные, наглухо закрытые врата, знаменующие собою предел умопостигаемого мира. За железными вратами, угнетающими землю своею неимоверной тяжестью, в безмолвии и тайне, обитает Начало всякого бытия, Великий Разум вселенной” (ПССМ. Т. 3. С. 258).

... *“хрупкие сосуды с живою, волнующейся кровью, с сердцем, знающим скорбь и великую радость”*... – Сравнение человека с сосудами широко употребляется в Ветхом и Новом Завете: “Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд <...>” (Деян 9: 15); “не касайтесь нечистого; выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни!” (Ис 52: 11).

## ИУДА ИСКАРИОТ

(С. 24)

Источники текста:

*ЧН1* – черновой набросок начала повести. Под заглавием: “Иуда Искарриот и другие”. Хранится: *Hoover*. Box 141. Folder 15. Item 1 (все прочие рукописи рассказа хранятся там же). 2 л.

*ЧА1* – черновой автограф первых четырех глав (последняя без окончания). Под заглавием: “Иуда Искарриот и другие”. 17 – не позднее 26 января (1907 г.) 17 л.

*ЧА2* – черновой автограф. Под заглавием: “Иуда Искарриот и другие”. 26 января – 4 февраля 1907. Подпись: Леонид Андреев. Часть листов отсутствует. 33 л.

*ЧН2* – Фрагмент. Вариант начала гл. 9. 1 л.

*ЧН3* – Фрагмент. Вариант начала гл. 9. 1 л.

*Б* – Иуда Искарриот и другие: Очерк. Berlin: J. Ladyschnikow, [1907]. 82 с.

*СБ3н* – Иуда Искарриот и другие // Сб. товарищества “Знание” за 1907 г. СПб., 1907. Кн. 16. С. 261–339.

*Ш*. Т. 5. С. 7–85.

*Пр*. Т. 7. С. 151–246.

*ПССМ*. Т. 3. С. 105–160.

Впервые: *Б* (под заглавием: “Иуда Искарриот и другие”).

Печатается по тексту *ПССМ* со следующими исправлениями:

*Гл. 2, стк. 135*: Христа и Его друзей – *вместо*: Христа и его друзей (*по Б*)

*Гл. 5, стк. 197*: куда бы ни обращался Его взор – *вместо*: куда бы ни обращался его взор (*по Б, СБ3н, Ш, Пр*)

*Гл. 7, стк. 158*: Петр признал в нем Предателя – *вместо*: Петр признал в нем предателя (*по Б, Пр*)

*Гл. 7, стк. 183*: Преданный и Предатель – *вместо*: Преданный и предатель (*по Б, Пр*)

*Гл. 8, стк. 32–33*: он совсем близко встретил Его утомленный взор – *вместо*: он совсем близко встретил его утомленный взор (*по Б*)

*Гл. 9, стк. 6–7*: точными {...} подобиями – *вместо*: тучными {...} подобиями (*по ЧН2, СБ3н, Пр*)

*Гл. 9, стк. 55–56*: кто был Он – Тот, Которого вчера вы осудили – *вместо*: кто был Он – Тот, которого вчера вы осудили (*по Б*)

*Гл. 9, стк. 258*: Тогда Ты поверишь мне? – *вместо*: Тогда ты пове-ришь мне? (*по Б, Пр*)

Сопоставительный анализ черновых автографов показывает, что наиболее ранним из сохранившихся является *ЧН1*. Этот вариант первых страниц повести начинается с подробной характеристики Иуды (многие ее детали в преобразованном виде войдут в последующие редакции).

Уже во втором абзаце появляется не безлично-объективная, а дающая оценку со стороны интонация, сопрягающая характеристику Иуды с Иисусом: “И Христа многократно предупреждали, что Иуда его из Каприота – плохой человек”, которую автор будет развивать в последующих редакциях (ср. тот же фрагмент в *ЧА1*: “Говорили, что обманывает он (...)”); “На лицах показывали, как дурно лицо Иуды (...)”; “Беспокойно двигались, спорили, шумели (...)”).

Начатая и завершенная в январе 1907 г. (см. *ЧА1*, с. 274, примеч. 1; с. 276, примеч. 14) исходная редакция первых четырех глав в целом соответствует *ОТ* в событийно-фабульном отношении, однако в ней отсутствует ряд важнейших мотивов и образов позднейших редакций. Так, в первой главе нет сравнения Иуды с осьминогом, сделанного Петром. Фактически лишь намечены эпизоды будущей гл. 2, посвященной отношениям Иуды и Фомы, нет важной для общего сюжета сцены спасения Иисуса Иудой от гнева жителей одного из селений. В гл. 2 *ЧА1* (в целом соответствующей гл. 3 *ОТ*) в значительно более коротком эпизоде метания камней в пропасть отсутствует обращение Петра за помощью к Иисусу и ответ последнего: “А кто поможет Искарриоту?” и т. п.

Судя по авторским датировкам начала и окончания работы (26 января – 4 февраля 1907 г.), вторая редакция была создана достаточно быстро. *ЧА2* сюжетно близок к *ОТ*, но, при совпадении (подчас текстуально) многих фрагментов с окончательным текстом, он имеет достаточно много отличий. В этой редакции ряд эпизодов (особенно в последних главах) существенно короче, в окончательной редакции они более развиты; в редакции не 9, как в *ОТ*, а 8 глав. Есть и сюжетные отличия: например, отсутствует фигура Матфея, комментирующего события библейскими цитатами. Но главное – здесь совсем иной финал, который гораздо короче опубликованной версии и по-другому освещает весь сюжет: эпизод, изображающий самоубийство Иуды, отсутствует, его труп случайно обнаруживает Фома.

Исходя из авторской нумерации, можно заключить, что из 53 листов *ЧА2* сохранилось лишь 33 (причем часть из них лишь в виде вырезанных фрагментов). Отсутствующие листы и фрагменты, скорее всего, использовались в позднейшей несохранившейся рукописи, ставшей основой печатного текста.

Как известно, повесть была создана на Капри, где Андреев жил по приглашению Горького (подробнее см. ниже). Текст *ЧА2* содержит множество помет Горького синим карандашом; к нему приложен и перечень замечаний Горького, комментирующий большинство этих помет (хранится вместе с черновыми редакциями – *Hoover*). В связи с важной ролью, которую сыграли горьковские замечания и пометы в истории текста повести, все они воспроизводятся (с отсылками к измененным под их воздействием фрагментам в *ОТ*) в разделе “Приложение” (см. с. 481–491 наст. тома). Анализ этих замечаний и самих горьковских

помет в *ЧА2* свидетельствует о том, что они существенно повлияли на последующее редактирование повести автором. Так, Андреев принял подавляющее большинство критических замечаний Горького относительно стиля и психологической достоверности образов, что отразилось в новых версиях соответствующих фрагментов в печатной редакции (см., например, замечания к стк. 2, 4, 9 и 18 на л. 1, к стк. 9, 11 и 13 на л. 2, к стк. 12 на л. 7, к л. 20, к л. 23 (обе пометы), к л. 26, 31, 32, 36, 46). Вместе с тем Андреев игнорирует те замечания Горького, которые относятся к существенным сторонам идейно-образного осмысления сюжета, прежде всего к его собственной интерпретации библейской протостории и ее центральных персонажей (см., например, замечание к стк. 16 на л. 1, все замечания к л. 8, 15, 50, 53). Подробнее см.: *Козьменко М.В.* Спор об Иуде: (Пометы Горького на ранней редакции повести Л. Андреева “Иуда Искариот” // Максим Горький: Взгляд из XXI века. М.: Наука, 2010. С. 135–142).

*ЧН2* и *ЧН3*, созданные позднее *ЧА2*, являются версиями (впоследствии отвергнутыми) начала гл. 9; усилия автора по ее переработке говорят об особой важности, которую он придавал финальной части повести.

Два первоиздания повести (вышедшие в апреле 1907 г. текст отдельного берлинского издания и текст, включенный в состав 16-й книги сборников “Знание”) по отношению к окончательной редакции – помимо мелких разночтений – обладают одной стилистической особенностью. Часть местоимений, относящихся к именованию Иисуса (которые в христианской, не только православной, традиции пишутся всегда с прописной буквы), здесь написаны со строчной (“который” вместо “Который”, “его” вместо “Его”, “свое” вместо “Свое” и т. п.). Так же, с отступлением от традиции, пишутся слова “учитель” (в отношении Иисуса) и “писание” (в значении “Писание”). В некоторой степени подобный стилистический разноречивый (по отношению к евангельской традиции) сохраняется и в двух последующих изданиях повести (*Ш* и *Пр*). В вариантах эти разночтения не учитываются, однако в комментарии, в перечне необходимых изменений текста при составлении *ОТ* (см. выше), учтены противоположные случаи, когда в *ЛССМ* наблюдаются редкие отступления подобного рода от книжно-христианской традиции. Необходимо отметить, что часть этих написаний совпадает с написаниями в черновых автографах (вышеуказанные написания при расшифровке черновых автографов не унифицированы).

Впервые название повести зафиксировано в одной из рабочих тетрадей писателя. Эти записи можно датировать 1905–1906 гг. Первое упоминание – в плане цикла произведений под общим заголовком: “Сказки бессмертного” (*МуИ2012*. С. 118–119). В этой же тетради повесть упомянута в позднейшем дополнении к раннему перечню задуманных и незаконченных рассказов: “28) Иуда Искариот” (Там же. С. 131). Подробнее о датировке этих записей см. с. 509–510 наст. тома.

Окончательное название повести – “Иуда Искариот” (вместо “Иуда Искариот и другие”) – появилось в 1909 г., в пятом томе Собрания сочинений Л. Андреева, издаваемого “Шиповником”.

Внимание Андреева к теме вызвано отчасти общественно-политической ситуацией в России. Но еще более тем, что духовное брожение сознания российского общества на рубеже XIX–XX вв. охватило и религиозно-нравственную сферу, порождая, в частности, острый интерес к фигуре Иуды Искариота. Иисус и Иуда воспринимались и как исторические личности, проецировавшиеся на современность, и как предания, легенды, мифология веков, порождавшие новейшую мифопозитику.

Оживилось внимание к концепциям историков и отцов церкви, начиная с идеи блаженного Августина, святого Иоанна Златоуста, монаха и священника Фомы Кемпийского, автора сочинения “О подражании Христу”, выдержавшего более двух тысяч изданий и переведенного в России самим К.П. Победоносцевым, кончая идеями рубежа XIX–XX вв. От десятилетия к десятилетию переживались увлечения апокрифическими сочинениями гностиков и их последователей, трудами прославленных теологов рационалистического богословия Д. Штрауса и Э. Ренана, а также представителей новейшего, в том числе “нравственного богословия”, таких как М.М. Тареев, М.Д. Муретов и др.

Вне зависимости от того, кем считали Иуду писатели – историческим лицом (апостолом Иисуса Христа) или персонажем легенды, как они расценивали поступок, зафиксированный Евангелием или фольклорным преданием, – с древнейших времен Иуда стал в литературе “вечным образом”. К обработке сюжета “Христос–Иуда” причастны Мильтон и Клопшток, Гёте и Диккенс. Российскому читателю рубежа веков были известны француз А. Франс с романом “Таис” (1890) и собранием афоризмов “Сад Эпикура” (1894); другой француз – Е. Хебгардт (Эмиль Жебар) с рассказом “Гибель Иуды” (рус. перевод – М., 1902) и рассказом “Последняя ночь Иуды” (Вятка, 1904); швед Тор Гедберг с повестью “Иуда” (рус. перевод – 1908), имевшей в подлиннике подзаголовок “История одного страдания”, итальянка Мария Корелли с повестью “Варавва”, выдержавшей в России с 1900 по 1916 г. четыре переводных издания; немец, лауреат Нобелевской премии 1910 г. Пауль Хейзе с драмой “Мария из Магдалы” (рус. перевод 1907 г.).

В повести Андреева не могли не отозваться некоторые мотивы из сочинений прославленных авторов. Ему оказалась созвучна острога, с какой Франсом ставились философские проблемы Библии. Для “Иуды” Андреева мог стать толчком образ евангельской “бесплодной смоковницы” Эмиля Жебара, хотя у Жебара смоковница – лишь небольшой эпизод из истории предательства и покаяния Иуды; бесплодная смоковница у Андреева – философский и сюжетный эпицентр повести. Тем не менее явственны параллели между лирической и яркой изобразительной зарисовкой

Жебара и притчей-трагедией Андреева. Неизвестно, знал ли Андреев о существовании рассказа Эмиля Жебара, посвященного последним часам жизни Иуды. Если не знал, то поражает общность хода мысли двух современников: соединить судьбы Иуды и бесплодной смоковницы. Если знал, то бросается в глаза отличие: Иуда Жебара удавился на ветке случайно им увиденной смоковницы; Иуда Андреева уподобился бесплодной смоковнице и тем самым взял на себя символическое значение этого притчевого образа.

Весьма богат и контекст русской литературы. Среди значимых предшественников – автор большого стихотворения (фактически поэмы) “Иуда” Семен Надсон – о двух великих мучениках и страдальцах: Распятом и Его предавшем. Другие имена – Павел Попов, автор поэмы “Иуда Искариот” (1890), и Николай Голованов, автор драмы в стихах “Искариот” (1905). Широкою известность получила распространившаяся в списках поэма Николая Минского “Гефсиманская ночь” (1884). Ее рукописные копии считал своим долгом иметь всякий передовой студент начала века как знак своего вольномыслия. В галерее образов Иуды-предателя, “христопродавца и злодея”, стихотворение Федора Сологуба “Трепещет робкая осина”; оно оканчивалось словами: “Но и преданья не лукавы, / Напоминанья нужны нам” (1886). Считая, по-видимому, тему важной и не исчерпанной, в письме более позднего времени А. Измайлову среди своих замыслов Сологуб назвал два: “Предательство. Драма об Иуде и Христе” и “Роман о современном предателе” (см.: *Дикман М.И.* Примечания // Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1975. С. 582. (Библиотека поэта. Большая серия)).

Разнонаправленные переживания вызывали стихотворения “Сообщники” (1902) Зинаиды Гиппиус и “Иуде” (1903–1907) Ал. Рославлева. Гиппиус, автор нескольких стихотворений об Иуде, в “Сообщниках” (посвященных В. Брюсову) вспоминает о казни Иисуса на кресте: повторяющаяся “вчера, и завтра, и до века” казнь не одному только Христу, но всем людям, живущим на земле, и во все времена после Голгофы: “Мы повторяем казнь – Ему и нам” (*Гиппиус З.Н.* Сочинения. Л., 1991. С. 111).

Вослед “Сообщникам” Гиппиус и “Иуде Искариоту и другим” Андреева в эссе “Трепетное древо” Вас. Розанов “вопит” о человечестве: “– И мы – Иуды?.. Опять Каины! (...) Свершилось второе тягчайшее грехопадение человека: убили Бога. То (убийство Авеля. – *Сост.*) было маленькое падение, это – большое, главное...” (*Розанов В.В.* Религия и культура. М., 1990. Т. 1. С. 381).

В одно время с “Иудой” Андреева появились “Сирийские рассказы” С. Кондурушкина (1906), поэма-мистерия К. Фофанова “После Голго-

фы” (1908), “Притчи скептика” А. Амфитеатрова (1908), стихотворение Блока “Был вечер поздний и багровый...” (написано в 1902-м, опубликовано в 1907-м); интерес к теме возникает и в позднейшем наброске его пьесы о Христе (1918).

В обширную панораму данной темы включились, наряду с Андреевым, авторы многих и непохожих друг на друга образов Иуды: Волошин, Андреев и Ремизов “жили” с Иудой с 1900-го по 1925 г. Продемонстрируем хронологическую канву их нахождения в теме на основе информации, почерпнутой из работ А.М. Грачевой, С.С. Гречишкина, Р. Дэвиса, Л.А. Иезуитовой, В.Н. Купченко, А.В. Лаврова, Е.Р. Обатниной, В.Н. Чувакова.

1900. Волошин смотрел мистерию об Иуде в баварском селении Обермаргугау.

1903, 26 июня. Из письма к С.П. Довгелло узнаем о начале работы Ремизова: “Взялся за Иуду. Вчитываюсь в Евангелие, чтобы изобразить рамку”.

1903, 28 октября. Поэма Ремизова “Иуда” была завершена. Вследствие издательско-цензурных препон в альманахе “Северные цветы” она, вопреки договоренности, напечатана не была. В символистских кругах (Брюсов, Вяч. Иванов, др.) ее знали.

1906, 22 сентября. Состоялся четырехчасовой разговор Волошина с посетителями “Башни” Вяч. Иванова “обо всем самом важном”, в том числе “об Иуде”.

1906, 17 декабря. Волошин в доме Розанова “изложил свой взгляд на роль Иуды”. На стороне Волошина – Розанов и Ремизов (от него Волошин узнал о его поэме “Иуда”); против – священник Гр. Петров (возможный собеседник Андреева об Иуде).

1906. Ремизов пишет апокриф “Гнев Ильи Пророка (От него же сокрыл Господь день памяти его)”.

1907, 4 февраля. Андреев окончил повесть “Иуда Искариот и другие” в последней черновой редакции.

1907, 27 февраля. На лекции в Московском литературно-художественном кружке Волошин впервые – вслед за аббатом Эжже – сформулировал концепцию поступка Иуды как подвига.

1907, 14 апреля. Вышла в свет повесть Андреева: 16-я книжка сборников т-ва “Знание”.

1907, 19 июня. В газете “Русь” Волошин опубликовал рецензию под заголовком “Некто в сером” на “Жизнь Человека” и на повесть Андреева, где отверг андреевскую концепцию Иуды, противопоставив ей свою.

1907. В составе книги Ремизова “Лимонарь, сиречь Луг Духовный” (СПб.: Оры) вышел в свет апокриф “Гнев Ильи Пророка”.

1908, м.б. август. Волошин окончил черновой этюд “Евангелие от Иуды”.

1908. Поэма Ремизова “Иуда” опубликована в московском альманахе “Воздетые руки”; она вошла также в состав сборника ремизовских

рассказов и поэм “Чертов лог и Полуденное солнце”. Тогда же Ремизов пишет “Трагедию о Иуде Принце Искаротском”.

1909, ноябрь–декабрь. Журнал “Золотое руно” (№ 11–12) напечатал “Трагедию о Иуде Принце Искаротском”.

1910. Волошин написал ритмизованный набросок об Иуде-апостоле.

1910. Андреев маслом пишет портрет Иуды Искарота.

1912. В издательствах “Шиповник” и “Сирин” вышел в свет восьмой том Собрания сочинений Ремизова, в составе которого напечатан второй вариант “Трагедии о Иуде Принце Искаротском”.

1912. Андреев пишет пастель на тему Иуды: “Один обернул”.

1914. Андреев пишет пастель на тему Иисуса Христа и Иуды Искарота: “Цари Иудейские”.

1919, ноябрь. Волошин завершает работу над стихотворением “Иуда-апостол”.

1919. ТЕО (Театральный отдел Наркомпроса, Пг.; М.) выпускает в свет ремизовскую “Трагедию о Иуде Принце Искаротском”; в приложении к ней – поэму “Иуда” под названием “Иуда-предатель”.

1925. Волошин намеревался написать стихотворение “Судьба Иуды” в продолжение “Иуды-апостола”.

Волошин шел к разгадке личности Иуды через старые – гностические, апокрифические – источники; он отыскивал их, работая в хранилищах, находил у предшественников. Обо всем найденном Волошин неустанно говорил и писал где мог, в том числе и в рецензии на андреевского “Иуду Искарота”. Андреева он порицал за “неуместные изобретения беллетристической фантазии” (Русь. 1907. 19 июня. (№ 157). С. 2) и за отсутствие интереса к апокрифам.

В черновой композиции “Евангелие от Иуды” (1908) Волошин осуществил попытку реконструкции утраченного, по преданию, Евангелия, используя гностические апокрифы, легенды, четвероевангелие, произведения новейшего времени (А. Франс). Итогом многолетней работы стало стихотворение “Иуда-апостол” (1919). В нем поэт представил художественный синтез своих поисков и находок. “Иуда-апостол” в ряду произведений трех авторов был последним; образ Иуды здесь непосредственно связан с “галлюцинирующей верой (...) христианских еретиков” (слова из статьи Волошина “Некто в сером”).

Три произведения Ремизова: поэма “Иуда”, апокриф “Гнев Ильи Пророка”, “Трагедия о Иуде Принце Искаротском” – составили подобие цикла: каждое имеет свой особенный аспект, все вместе они раскрывают тему Иуды в различных исторических и литературных планах.

Поэма “Иуда” (1903) – наиболее интимная часть цикла. Ремизов был подготовлен к ней собственной судьбой. В ней звучит мотив вины



как некой метафизической силы и безысходной трагедии. Душой Ремизов был с падшими, несущими крест за всечеловеческий “адамов” грех. Иуду он относил к их числу. Слушая “Страсти по Матфею” И.С. Баха, писатель остро почувствовал “отчаяние Иуды”. Тайна Иуды для Ремизова, говоря его словами, была из тех, “от которых на стену лезут” (см.: Вопросы жизни. 1905. № 7. С. 204). Об Иуде писатель “сколько раз думал, как о пламеннике веры и венце всяких страданий” (Письмо Брюсову от 13 янв. 1904, см.: *Ремизов А.М. Собр. соч. М., 2000. Т. 3. С. 606*).

Сюжет поэмы выстраивает драматизм отношений двух героев – Иисуса и Иуды. Тема Иисуса инструментована шестью цитатами из Священного Писания. Они подсказывают и проясняют сложные повороты судьбы Иуды – любящего, верного, предающего, отчаявшегося и погибшего.

Поэма, как писал Ремизов, была достоверной, но и свободной вариацией на тему предательства евангельского апостола Иуды, при том что все сочувствие, вся боль были отданы поверженному предательством Иуде. Из евангельского злодея он преобразился в ученика, субъективно потерпевшего крах, объективно послужившего победительному служению Христа.

В литературном апокрифе “Гнев Ильи Пророка” Ремизов “реставрировал” архаический, народно-славянский образ Иуды преисподней. В 1908 г. Ремизов пишет первый, а в 1912-м второй вариант “Трагедии о Иуде Принце Искаротском”. В “Приложении” указывает источники: труды П.А. Бессонова, Н.И. Костомарова, И.Я. Порфирьева, А.И. Яцимирского, а также народные песни, заговоры, колядки, старины и причитания. Трагедия эта хранит в себе память о трагедии мести (принц Иуда и принц Стратим и его царственные родители) и трагедии рока (он преследует Иуду, как Эдипа и как такового). В ней звучит вопрос о постижении Божьего промысла. Более всего трагедия Иуды – это трагедия вины как некой субстанции миропорядка, трагедия переживания “невинной вины”.

По мнению Волошина, в “Трагедии” Ремизова нет главного: Тайной вечери и предательства Иуды. “Ваш Иуда ... это Эдип, а не Иуда”. Волошин недоволен тем, что предательство Иуды не нашло в “Трагедии”, как он думает, “своего приготовления или оправдания” (М.А. Волошин – А.М. Ремизову. Письмо от 19 янв. 1909 г.; см.: *Волошинские чтения. М., 1981. С. 103* (публ. С. Гречишкина и А. Лаврова)). Оппонент не заметил важных для Ремизова параллелей: Иуда–Эдип–Адам; сад Сиборей и Симона – рай. Сиборей срывает золотое яблоко – знак первородного греха человечества. Иуда–Эдип несет на себе этот грех и увеличивает его убийством отца и женитьбой на матери (как Адам, он срывает золотые заповедные яблоки, не подозревая о роковом значении этого события).

Нетрудно заметить, что Андреев, Волошин и Ремизов, обратясь к “вечному” евангельскому Иуде, создали оригинальные авторские произведения, называя их “свободной фантазией” (Андреев), “свободной вариацией” (Ремизов), авторским апокрифом (Волошин). При этом каждый работал с десятками источников, брал из них “свое”. И каждый предлагал свою версию евангельских событий.

В изложении Горького, содержащемся в его воспоминаниях об Андрееве, сказано об “ошибках”, ставших следствием плохого знания Евангелия, которого Андреев “не позаботился прочитать” (*Горький. ПСС-ХП*. Т. 16. С. 350). Между тем Андреев по крайней мере с 1901 г. неотрывно работает именно с Библией, в разное время задумывает на ее основе “Бен-Товита”, “Воскресение Лазаря” (“Елеазар”), “Иуду”, “Сына человеческого”, “Попа” (“Жизнь Василия Фивейского”), “Счастье” (“Анатэма”), “Мои записки”, “Мои анекдоты”, “Тьму”, “Рассказ о семи повешенных”, “Правила добра”, “Самсона в оковах”, “День гнева”, “Сашку Жегулева”, “Свидетеля истины”, “Дневник Сатаны” и др. Отношение Андреева к Библии по аналогии можно сравнить с его же отношением к лубку – книжному, театральному, музыкальному. В обоих случаях Андреев обращается к источнику известному и интересующему “обыкновенного” человека, которого писатель мыслит своим читателем. Андреев вырабатывает оригинальную трактовку образа и поступка “вечного” Иуды, исходя из собственных общефилософских и художественных представлений, и вместе с тем следует реалиям библейской истории.

В случае с повестью “Иуда Искариот” Андреев, опираясь не только на свою интуицию и художественное воображение, но и на Библию и многие источники, использует более или менее популярные книги для верующих и не верующих об Иисусе Христе – в их числе пособия для учебных заведений и народного чтения.

И одновременно обращается к широко известным в его время исследованиям Д. Штрауса и Э. Ренана – их одинаково названным книгам “Жизнь Иисуса”. Находясь в Швейцарии, в марте 1906 г. он просит брата Павла Николаевича прислать ему эти книги (см.: *Андреев Л. Письма к Павлу Николаевичу и Анне Ивановне Андреевым / Публ. Л.Н. Ивановой и Л.Н. Кен // Русская литература. 2003. № 1. С. 158*).

За письмом Павлу Андрееву последовал каскад писем Леонида, по которым можно проследить этапы работы над повестью.

В октябре 1906-го Андреев пишет Горькому («когда с Шурой уладится (речь идет о рождении сына, Даниила. – *Сост.*), буду писать “Иуду Искариота”» (*ЛН72. С. 274*)) и Г.И. Чулкову («...есть у меня две темы для двух рассказов (...) Одна – “Иуда Искариот” – совершенно свободная фантазия на тему о предательстве, добре и зле, Христе и проч. ...» (*Письма Чулкову. С. 23*).

С декабря 1906 г. письма отсылаются с острова Капри: первое – Е.Н. Чирикову, от 28 декабря 1906 г. (10 янв. 1907): «Я думаю дернуть

рассказ: “Иуду Искариота” (...)» (*Мий2000*. С. 46). Второе – от 22 января (4 февр.) 1907 г. – А.С. Серафимовичу: «Вот сел недавно за рассказ (“Иуда Искариот”), да что-то совсем плохо идет, мысль не слушается, должно быть, много пройдет времени, пока создастся в голове хоть какой-нибудь порядок и освободится она от этого страшного гнета» (Московский альманах. [Вып.] 1. С. 298–299). Третье – Е.Н. Чирикову от 3 (16) февраля: «Работаю, пишу “Иуду Искариотского”» (*Мий2000*. С. 47). Четвертое от 8 (21) февраля 1907 – снова Чирикову: «Я кончил вчерне “Иуду Искариота”, вещь, за которую будут ругать справа и слева, сверху и снизу. Горький говорит, что вещь большая, но я этого не думаю, т(ак) к(ак) просто знаю, что нет. Алексей же просто увлекается» (*Мий2000*. С. 49). Вскоре – 2 (15) марта 1907 г. – В.В. Вересаеву: «И рассказ кончил. “Иуда Искариот и другие” – нечто по психологии, этике и практике предательства. Горький одобряет, но я сам недоволен. Продолжал бы работать и дальше (...) но голова не выдерживает...» (*Реквием*. С. 169).

В разговоре о творческой истории “Иуды” своеобразное место занимает фигура Горького. Его высказывания в большой степени зависели от того, как он относился в то или иное время к Андрееву.

1906-й год был временем дружбы с Горьким. Письма Андреева начинались словами: “Милый Алексеюшка!” И хоть нельзя говорить об их беспредельной близости, Андреев после кончины Александры Михайловны приехал к Горькому на Капри, и Горький принял посильное участие и в его жизни, и в беседах о его произведениях, которыми тот жил. Правда, Горький не был посвящен в детали и тонкости работы; он думал, что желание писать “Иуду” возникло у Андреева под впечатлением от стихотворения Рославлева “Иуде”, а не явилось результатом большой подготовительной работы.

В воспоминаниях об Андрееве Горький называет период создания “Иуды”, “Тьмы” и других произведений 1906–1908 гг. самым плодотворным в его творчестве. Однако отношение Горького к этим сочинениям было неровным и неоднозначным вследствие того, что, вернувшись в Россию, Андреев стал отдаляться от Горького и явно тяготеть к модернистам. В связи с “Иудой” в 1912 г., в письме Горькому от 28 марта (10 апреля), Андреев напоминал: «Различны мы стали лишь с того времени, как ты изменил свои взгляды и вкусы, и я стал для тебя “анархистом” в поносном и позорном смысле. Было время, когда ты иначе относился к анархизму; и еще совсем недавно тот самый Иуда из Кариота, в оправдании которого ты меня упрекаешь в “Русском слове”, (...) был тобою поставлен весьма высоко, и ты сам помогал мне в работе, и печатал “Иуду” в твоём “Знании” (...) Очень неприятно, что в статье “О современности” ты прямо не назвал мое имя, когда говорил о попытках оправдать Иуду. Литература русская не так обширна, чтобы

не догадаться, о ком идет речь, и прямое обвинение было бы во всех смыслах приятнее» (ЛН72. С. 333–334).

В ответном письме Горький объяснял, что в статье “О современности” он имел в виду “писателей улицы, как они опошляют большие идеи”, в том числе Рославлева, а не Андреева – “не твоего Иуду”; но сговориться “друзьям-врагам” было уже трудно (Горький. Письма. Т. 10. С. 14).

Своеобразным ответом на переписку с Горьким и на некоторые рецензии нововременской критики стало письмо Андреева другу И.А. Белоусову от “18 марта отечественного года”: “Напиши мне, миленький, нельзя так аккуратно забывать. Или ты тоже думаешь, что я оправдываю Иуду, и сам я Иуда, и дети мои Азефы? Клянусь: это неправда. Клянусь, я не гусь, я сам этого боюсь” (Письма Л.Н. Андреева И.А. Белоусову. РГАЛИ. Ф. 66. Оп. 1. Ед. хр. 471. Л. 11).

Но вернемся к письму Андреева брату, Павлу Николаевичу, с просьбой прислать ему “Жизнь Иисуса” Штрауса и Ренана.

Если судить по списку книг домашней библиотеки писателя, брат затребованных книг прислать не смог: Штраус вышел в России только в 1907 г., когда “Иуда Искарriot” уже был напечатан, а Ренан, опубликованный в Петербурге издательством М.В. Пирожкова в переводе Е.В. Святловского (1906), также отсутствовал в домашней библиотеке. Андрееву удалось приобрести семитомное собрание сочинений Ренана, изданное в Петербурге Н. Глаголевым в 1907 г., куда вошли: “История израильского народа”, “Жизнь Иисуса” и “Апостолы”, “Святой Павел”, “Антихрист” и “Евангелие”, “Христианская церковь”, “Марк Аврелий” (см.: Памятная книжка – алфавитный каталог библиотеки Андреева Леонида Николаевича. Рукопись. Автограф. РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 72–72 об.). Однако нет сомнения в том, что “Жизнь Иисуса” Ренана издания 1906 г. была им прочитана.

Можно с большой степенью уверенности сказать, что труд Ренана нашел в Андрееве внимательного читателя и в некоторой степени последователя. В художественно-философском жизнеописании Ренана и в повести Андреева некоторым читателям-критикам претило восхищение достоинствами Иисуса; нередко были утверждения о слащавости и фальши Его образа. При этом налицо несовпадение в форме художественной подачи. Ренан дает Ему собственные, авторские характеристики; Андреев нередко показывает Его через влюбленное или ревнивое восприятие Иуды.

В выборе тем, мотивов, проблем, персонажей, эпизодов между книгой Ренана и повестью Андреева существует ряд соответствий. Прежде всего это касается со- и противопоставления учеников Иисуса и самого Иисуса: Он дает ученикам постулаты абсолютного, идеального; они – все без исключения – думают о возможности удобств и “выгод” земного существования. И Ренан и Андреев не раз возвращаются к вариантам

евангельских споров “о местах”. На передний план Ренан выдвигает апостолов (Иакова, Иоанна и Петра). В интересах своего сюжета Андреев, повторив Петра и Иоанна, взамен лишь упоминаемого Иакова дает крупным планом тугомыслящего правдолюбца Фому.

Иисус и Ренана и Андреева с приходом в Иерусалим на Пасху уже знает о предстоящей Ему смерти и внутренне к ней готов. Обоих авторов более “других” занимает Иуда. Ренан дает Иуде ряд метких психологических характеристик, произносимых в форме предположения, вроде: “...мы все же думаем, что проклятия, которыми его осыпают, до некоторой степени несправедливы”; “В этом деле, быть может, с его стороны было больше поспешности, чем коварства”; “Легкого негодования бывало достаточно, чтобы превратить сектанта в изменника”; “Но если безумное желание получить несколько серебряных монет вскружило голову бедного Иуды, то все же не видно, чтобы он окончательно утратил нравственное чувство, ибо, увидав последствия своего поступка, он раскаялся и, по преданию, окончил самоубийством” (*Ренан Э. Жизнь Иисуса*. СПб., 1907. С. 130).

Иуда Андреева существенно отличается от Иуды Ренана. Его предательство сопряжено с колебаниями, сомнениями, отчаянием, бунтом против первосвященников, разрывом с другими учениками, надеждой на спасение Иисуса “другими”, при том что, в отличие от Иисуса, он не верит в возможность земным грешным людям жить по заповедям Христа.

То, что было сочувственным, отчасти лирическим повествованием у Ренана, стало трагическим действием у Андреева.

Среди религиозных мыслителей разных времен и полярных умонастроений находились такие (от гностиков до В.И. Аскоченского<sup>2</sup> и М.Д. Муретова), кто видел в Иуде-предателе фигуру трагическую. Природа этого трагизма – в стремлении человечества осуществить разрешение (примирение) коренного противоречия между абсолютным духовным началом, воплотившимся в Иисусе Христе, и относительным земным началом, сконцентрировавшимся в Иуде Искарите. В повести Андреева своеобразно запечатлен подобный рода трагизм.

Андреев работал над текстом повести с середины января до середины марта 1907 г. После кончины жены повесть давалась художнику с трудом. Очень коротко вспоминал об этом старший сын писателя, Вадим Леонидович, оказавшийся после смерти матери вместе с отцом на Капри: «В те дни (...) отец написал “Иуду Искарита”. Однажды, уже много лет спустя, он сказал мне: “Первые сорок страниц я писал, не зная о том, что я пишу, не понимая, не слыша ни слова. Образ твоей матери неотступно стоял передо мной. Эти первые страницы я выбросил и только потом смог писать”» (*Андреев В.Л. Детство*. М., 1966. С. 154).

<sup>2</sup> О пересечении взглядов на Иуду Аскоченского и Андреева см.: *Храневич В. Аскоченский и Андреев // Варшавский дневник. 1907. 14 дек.*

В течение многих лет сам Андреев, его друзья, читатели, критики по различным поводам возвращались к этой повести-трагедии. Приведем краткую сводку оценок самого Андреева. 6 мая 1916 г. в письме В.Н. Архангельскому (видимо, читателю) Андреев пишет о высоком философском смысле “Иуды” в ряду других произведений более позднего времени: «Глубже вникните в смысл “Черных масок”, “Океана”, “Иуды” и других – и Вы найдете ответ на Ваши вопросы. Жизнь и красота утверждаются не одними восторгами и комплиментами, но и скорбью. Смысл жизни не может быть исчерпан и определен несколькими словами и понятиями; каждый человек добывает его для себя сам многолетним упорным трудом, поисками и размышлениями» (ИРЛИ. Оп. 1. Ед. хр. 401. Л. 1).

В последнее пятилетие своей жизни Андреев нередко размышляет о своей повести, заново оглядывая пройденный путь и место в нем “Иуды Искариота”. К примеру, в дневниковой записи от 11 октября 1915 г. он “с любопытством” отмечает, что “почти все” свои “лучшие вещи” он «писал в пору наибольшей личной неурядицы, в периоды самых тяжелых душевных переживаний. Так, “Иуда Искариот” написан на Капри, через три-четыре месяца после смерти Шуры, когда моя мысль вся была поработана образом ее болезни и смерти. Трудно передать всю степень насилия, которое я употребил над собою...» (S.O.S. С. 22–23).

В письме к С.С. Голоушеву от 25 марта 1918 г. Андреев набрасывает “графическую линию” своего развития, где определяет на ней место “Иуды”: “Вершины я достигаю в 906–07 г. (...) И рассказов выше Иуды и Тьмы нет” (S.O.S. С. 233–234).

К Иуде прибегает Андреев, когда берется обрисовать политическую ситуацию, в которую попала Россия после Октябрьского переворота. Его воззвание “S.O.S.”, напечатанное на восьми европейских языках, было направлено против “дикарей Европы”, своей поддержкой большевизма “восставших против ее культуры, законов и морали” (S.O.S. С. 337). Позицию правительств и культурного человечества Андреев называет либо *предательством* (если правительства знают, что такое большевики), либо *безумием* (если они этого не знают).

Феномен предательства Андреев-публицист объясняет, опираясь на опыт Андреева-художника. “Все предательства, – пишет он, – неожиданны, и если божественный Иисус прекрасно знает, куда и зачем отправляется Иуда, то все ученики Его продолжают оставаться в счастливом неведении вплоть до самого классического поцелуя (...) Нет надобности останавливаться и на *целях* предательства, они все те же со времени Иуды: Голгофа для одного, серебреники для другого! Иногда, впрочем, и веревка... Но это уже относится к патологии предательства, а не к его нормальной и здоровой психологии” (Там же).

История с Иудой в творчестве Андреева имела и иное, живописное, продолжение. Уже в доме на Черной речке писатель вернулся к дорогой для него теме: в чернореченском кабинете «высоко, почти под потолком, висели пастельные картины отца: три музыканта, изображаю-

щие оркестр в 3-ем акте “Жизни Человека”, странные белые фигуры, исчезавшие в синем пролете улицы (очевидно, это было загадочное, связанное с “Иудой” полотно, названное Андреевым “Один оглянулся”. – *Сост.*), Иуда и Христос, *распятые на одном кресте, под одним нимбом...*» (Андреев В.Л. Детство. С. 154). Немало страниц в Дневнике 1918 г. сам Андреев посвятил этой картине, которую любил. 18 апреля 1918: “Цари – это Иисус и Иуда на одном кресте, оба в тернах, мертвые и живые” (S.O.S. С. 40).

Созерцание картин наводит В.Л. Андреева на размышление об “Иуде”: “Столкновение старого и нового протекает как столкновение правд двух сторон”; «До сих пор мы не видели ее и даже не подозревали об ее (правды “другой стороны”. – *Сост.*) существовании, но вот она открылась, и мы одновременно чувствуем *две правды двух миров*». “Бывают мгновения, – продолжает мемуарист, – когда видишь две правды двух миров, друг другу противоположных и враждебных. И в эти минуты чувствуешь, что все ложно или все правдиво и праведно и что в человеческом сознании не бывает незыблемой истины”.

Существенный штрих в характеристику духа творчества Леонида Андреева вносит рассказ сына о собственном восприятии произведения отца: в них всегда присутствовало “ощущение бездны”. Иногда оно было “обнажено до предела, иногда только подразумевалось и с первого взгляда было почти незаметно”.

Вместе с тем при чтении его “самых мрачных книг”, как правило, “ощущение провала и боли уходит в историю, а на поверхность выступают доброта и человечность – второе дыхание, которым живы рассказы и пьесы Леонида Андреева...” (Андреев В.Л. Детство. С. 240–241).

Попутно заметим: младший брат Вадима Леонидовича, Даниил Леонидович, родами которого скончалась их мать (его Вадим назвал художником редких кровей – писателем-визионером), думал иначе: в “Иуде Искарите” он находил прежде всего “глубокое чувство и понимание Христа”, борющееся с “демонической природой мирового закона”, скрытой в душе Иуды Искарота (Андреев Д. Роза мира. М., 1991. С. 178).

14 апреля 1907 г. вышел в свет XVI сборник товарищества “Знание” с повестью Андреева “Иуда Искарот и другие”, и сразу же началась его богатая и сложная жизнь в русской критике.

27 апреля петербургская газета “Русь” констатировала: «Гвоздем книжного (шестнадцатого) сборника “Знание” бесспорно является “Иуда Искарот”, новая повесть Леонида Андреева; она определена как “сильно написанная вещь”. Мотив предательства Иуды – “Его возвеличение”. Однако, как думает рецензент, “центр тяжести повести в другом – в робости, отречении и равнодушии к судьбе Христа Его ближайших учеников (...) Иуда выходит у Леонида Андреева реабилитированным. Обвинены – апостолы. Предатель не Иуда, а робость верных

последователей Христа” ([Б.н.] Книги и писатели // Русь. 1907. 27 апр. (№ 116). С. 3).

28 апреля петербургское же “Обозрение театров” попыталось растолковать смысл повести.

“Художники пера и кисти с самых древних веков и до нашего времени всегда наделяли Иуду самыми отвратительными внешними и внутренними чертами (...) Не пожалел красок в этом отношении и Леонид Андреев. Но (...) противный Иуда любит Христа. Он стремится приблизиться к Нему, делает все, чтобы поставить Его на высоту. В нем нет смиренного непротивления других учеников, ближе его стоявших к Христу. Он замышляет предательство, выдает Христа, но делает это с единственной целью Его возвеличения. Он видит, как Христа любят ученики, видит, как высоко ставят Его народные массы, и глубоко убежден, что за Него заступятся. Его ученики, его почитатели не дадут Его врагам торжествовать. Он, Иуда, уже подготовив предательство, старается внушить эту мысль ученикам. Он приносит им даже оружие для обороны (...)”

Но вот свершилось. Христа взяли, истязают, бьют, распинают. И что же ученики? Что же народ? Они куда-то исчезают. Отвратительный Иуда, который горел любовью к Христу, в отчаянии вешается. И центр тяжести обвинения совершенно перемещается. Леонид Андреев ставит вопрос иначе, чем ставили до него. Иуда, который располагал общей кассой неограниченно, предал Христа очевидно не из-за 30 серебряников (...)”

В дальнейшем рецензент, которым мог быть либо Б.В. Варнеке – филолог, историк театра, подписывавший свои театральные рецензии литерой “р”, либо молодой критик А.И. Эфрос, скрывавшийся под литерой “Р”, текстуально повторяет рецензию “Руси” (реабилитирован Иуда, обвинены апостолы), что заставляет предположить одного и того же автора (р. Новая повесть Леонида Андреева // *ОбозрТ.* СПб., 1907. 28 апр. (№ 109). С. 7–8).

Тогда же, 28 апреля, на “Иуду” откликнулся нижегородский критик А. Дробыш-Дробышевский; он внес в разговор о повести критическую ноту, а также обратил внимание на ее символическую природу. «Иуда предал Иисуса, – пишет рецензент, – из ревнивой любви к Нему, не обращавшему на Иуду достаточного внимания, когда Иуда так любил Его, – как иногда убивает влюбленный предмет своей любви. Но по нашему мнению, г. Андреев в своем рассказе несколько, так сказать, “переборщил”: его Иуда, говоря после смерти с учениками, становится вычурным, упрекая их, что они не защитили Учителя. Он мог, досадуя на себя, упрекать их в душе, раскаиваясь в своем предательстве, но ведь говорить-то это людям, знавшим о его предательстве, это уже слишком. Реальный образ превращается в какой-то романтически-демонический.

У автора, впрочем, есть поползновение изобразить не реальную фигуру, а символический образ в лице Иуды, как бы прототип того безобразного, что присосалось к христианству, что говорит о своей любви



к Нему, распиная то, что любил. По крайней мере, Иуда в рассказе говорит: “Да! Целованием любви (...) на кресте любовью распятую любовь”. Но если это символ, то он слишком неясен, чтобы считать его удачным» (Ум-ский А. [Дробыш-Дробышевский А.А.] Литературные новости: (Новый рассказ Леонида Андреева) // Нижегородский листок. 1907. 28 апр. (№ 100). С. 3).

В мае в ряды ценителей и полемистов вступили москвичи, а за ними вся российская провинция. По-видимому, первым из них оказался критик газеты “Утро свободы” Э.Б. Бескин. Предательство Иуды он характеризует как “предательство любви, а не предательство какого-то мрачного злодея, каким фиксировала его история”. Самую смерть Иуды критик мотивирует также любовью: “Иисус ушел, и Иуда спешит к нему туда. Там они будут одни. Он будет возле Иисуса. Иуда уже давно облюбовал себе место, на горе, возле Иерусалима. Иуда ушел – он ушел к своему Иисусу”.

“Так, через две тысячи лет после Иуды, – замечает автор, – взял его под свою защиту Леонид Андреев” (Эмбе [Бескин Э.Б.]. Иуда из Кариота // Утро свободы. 1907. 5 мая. (№ 4). С. 5).

За ним последовал критик и политический деятель И.Г. Гольдберг. Он писал о характерном приеме Андреева-художника, создавшего “принципиально” иные (чем когда-либо) символы: через свои “глубокие, пропитанные человеческим духом, окутанные психологической сетью символы (...) он развертывал картину человечества”.

Центральный образ повести – “новый символ в литературе, совершенно отличающийся от образа евангельского писания: это не библейский Иуда Хриstopродавец, это не Иуда, имя которого – нарицательно для людской злобы, подлости и предательства... это новый Иуда, хотя и Предатель”.

В Иуде Андреева, который “носит в себе философию лжи (...) презрение к людям (...) презрение к человечеству за его слабость, за его нерешительность”, скрывается “мощный дух смятения, мощный дух борьбы. Это – Сатана, это Мефистофель”; это – символ вселенского “духа отрицания”.

Центральному символу противопоставлены образы “других”. Ученики Христа составляют собирательный символ: «воплощают в себе истину чистую и явную. Они не останавливаются перед истиной даже тогда, когда эта истина несет гибель, несет разрушение. Они не знают, что значит “святая ложь”. Во лжи нет святости» (Исаак Г. [Гольдберг И.Г.] Литературные очерки: Иуда из Кариота // Забайкальская новь. Чита, 1907. 23 мая. (№ 16). С. 2–3).

В июньской критике выделяется отзыв корреспондента московского “Столичного утра” В. Арнольда, давшего повести высокую, почти панегирическую оценку. Он писал: Иуду Андреева побуждают к предательству “не сребролюбие, не зависть, не преступность”, а страстная любовь. Посредством “рокового поцелуя” он “решил сделаться пособником Его воскресения, добровольно взял на себя позорную роль преда-

теля Бога”. “Образ Спасителя мира никогда и нигде еще не выступал в такой невыразимой прелести”.

“Самое ужасное проклятие висело два тысячелетия над предательством Иудиним. И вот Леонид Андреев пробует снять с него проклятие. Образ страшного нарушителя морали приобретает новый смысл: он – само самопожертвование под влиянием чистой любви к Спасителю” (Арнольд В. О Леониде Андрееве // Столичное утро. 1907. 13 июня. (№ 12). С. 3).

Затем на критическое поле вышли рецензенты, которым концепция повести была либо чужда, либо враждебна. Первым из них оказался критик черносотенного “Русского знамени” А.И. Тришатный. В рецензии “Восхваление измены и предательства” он, назвав Андреева новейшим, «с позволения сказать, “писателем” из числа (...) “подмаксимовников”», отнес его к представителям “пошлой революции”, готовым “втоптать в грязь все лучшие человеческие чувства” – патриотические, нравственные, религиозные. “Иуду Искарюта” Тришатный считает “грубым, лживым пасквилом на Евангелие (...) Андреев выставляет порочного Иуду героем”, а “все его хитросплетения – подвигами любви”; он же “клеветает на Иисуса”, который “якобы, брал деньги за свои проповеди”. Апостолы у Андреева – все “трусы и предатели” (Русское знамя. СПб., 1907. 15 июня. (№ 128). С. 2–3).

За Тришатным последовал “старовер” А.А. Коринфский. Его статья – текст-обвинение, текст-приговор: ницшеанство, извращенное декадентство, фантазирование, искажение Евангелия. Рецензент пишет: повесть «“Иуда Искарюта и другие” является произведением, посвященным художественному оправданию и возвеличению предателя Распятой на кресте Истины (...) Нарушая все установившиеся законы творчества, ломая и сокрушая во прах все прежние понятия, автор придал своему Иуде сверхчеловеческие черты, пустив при этом в ход всю сближающую его с декадентами тяжелую артиллерию своей извращенной фантазии. Не жалея никаких красок на изображение этого нового “сверхчеловека”, г. Андреев представляет его своим читателям в самой уродливой, отталкивающей внешней оболочке, но влагает в ее внутреннее содержание великую душу, ведущую этого одноглазого рыжего циклопа с выдающимся четырьмя буграми черепом к выполнению его титанической миссии». Рецензент далее пишет об апостолах: “Все окружающие Христа апостолы изображены, в противоположность этому гиганту мысли, ничтожными трусами, жалости подобными тупицами, заслуживающими только презрения гг. Андреевых, – да и сам Христос представлен хотя и не в таком виде, но каким-то истеричным неврастеником со слабой волею и отсутствием прозорливости настолько, что даже не может понять единственного достойного быть рядом с Ним героя, выведенного автором на свет не то из собственной, извращенной эксцессами декадансирования, фантазии, не то из какого-то, только ему одному ведомого, междупланетного пространства”. Иуда же, по мнению Коринфского, «пытается (...) на каждом шагу “втирать очки” в глаза всем встречающимся с ним

и, как бы умышленно создавая этим себе самую дурную славу, в то же самое время, презрительно окидывая их мысленным взором с высоты обуревающей его великую душу титанической идеи, неуклонно идет по пути своего гениального замысла – стать ближе всех к Сыну Божию и (...) оставить всех (...) в дураках, подняв на высоту своей мысли “бесконечно любимого” им, не чуждого всех человеческих слабостей Учителя жизни. Столь возвышенная, захватившая все его сатанински-сверхчеловеческое существо, идея и ведет, по замыслу Леонида Андреева, его излюбленного на сей раз героя к свершению его предательства. Но не только никто из недостойных своего апостольства, глуповатых, трусливых и неспособных хоть сколько-нибудь возвыситься над толпой, галилейских рыбаков, но даже сам Христос, оказывается, не мог понять Своего выполняющего “великую миссию” предателя» (*Литературный Старовер [Коринфский А.А.]*. В дебрях и тундрах современной литературы // *Голос правды*. СПб., 1907. 21 июня. (№ 531). С. 3).

Аноним “Нового времени” намерен ответить на вопрос, объяснил ли Андреев мотивы предательства Иуды и если объяснил, то какие именно, замечая, что, невзирая на пороки и недостатки, Иуда испытывает к Иисусу чувство глубокой любви (в ней “есть что-то похожее на слепую, но огромную любовь матери к своему ребенку”). Рецензент уследил возникновение у Иуды чувства ревности к ученикам и желание доказать Иисусу “их” бессилие, ничтожество, дряблость; увидел, как в Иуде рождается надежда (вдруг люди поймут, как Он нуждается в защите и в спасении, вдруг “вырвут из земли проклятый крест”, и Иисус явится “поневоле” в славе, силе и могуществе). Все рассуждения позволяют критику прийти к заключению, что действия Иуды нельзя считать предательскими, но затем следует неожиданный вывод: цель Иуды состояла в устранении Иисуса, который мешал Иуде стать первым на земле. Андреев, по мнению рецензента, к пониманию предательства Иуды “не приблизил ни на шаг”; а его повесть – “фантазия” ([*Б.н.*] Литературные заметки: Психология предательства // *НВ*. Приложение. 1907. 11(24) июля. (№ 11252). С. 9–10).

К оценке “Нового времени” присоединился аноним “Русского знамени”, видя в поступке андреевского Иуды “какое-то стерилизованное предательство, имеющее шансы получить беспрепятственное обращение в житейском обиходе. К более ясному пониманию того Иуды, которого мы знаем по Евангелию, толкование господина Андреева не приблизило нас ни на шаг” ([*Б.н.*] Обзор печати // *Русское знамя*. 1907. 15 июля. (№ 154). С. 2).

Параллельно с рецензиями газетных обозревателей вступила в строй “тяжелая артиллерия” писателей и критиков России. По утверждению известного философа С.А. Аскольдова, Андреев “обнаруживает (...) постоянное тяготение к религиозным темам”. Его “несомненно мучает религия Христа. Он постоянно занят ею и стремится болезненно прокричать про нее что-то свое”. Это “свое”, как думает религиозный философ, “звучит пока исключительно как отрицание”. “Иуда” же – “не-

сомненно одно из наиболее сильных антихристианских произведений Андреева”. По наблюдению критика, Христос почти всегда “является молчаливой фигурой, как будто совпадающей с евангельским изображением”; главным образом Андреев говорит “об Иуде и других апостолах. Но, говоря о них, Андреев тем самым говорит нам и о Христе и говорит языком, полным какой-то затаенной муки” (*Аскольдов С.А. [Козлов (Алексеев) С.А.] Иуда и “другие” в понимании Леонида Андреева // Век. М., 1907. 17 июня. (№ 23): С. 359.*

У Аскольдова не возникает сомнения, что “Иуда” – “вещь художественно правдивая. Все его образы взяты из жизни и (...) могут жить”. Однако же “художественная концепция Андреева” не может “служить иллюстрацией к Евангелию и уяснить нам его, не искажая его духа и смысла”. И хотя “Иуда обнаружил себя как человек и тонкого ума, и большой силы, как человек, умеющий в тиши творить добро и быть внутренне правдивым”, он “оставался непризнанным Христом и отнесенным от Него Его любимыми учениками”. Рецензент уверен в том, что предательство Иуды вызвала “змея ревности” и что именно ревность стала мотивом и разгадкой предательства Иуды: “Иуда предал Христа из безумной любви к Нему, из ревности к Его ученикам, из желания быть первым возле Иисуса”. “Все остальное поведение Иуды есть безумное по своей смелости и трагизму исполнение этой мысли” (Там же. С. 360).

Но такая “верность” Иисусу только “на первый взгляд” может быть воспринята как “верность Евангелию”: “Андреев совершенно отверг Евангелие как свидетельство о Христе и Иуде или во всяком случае сильно исказил”. Этот вывод поясняется тем, что между Иисусом и учениками “не видно никакой религиозной и идейной связи”; самое учение Христа в действительности “не играет никакой роли в жизни учеников”; каждый из них занят исключительно собой, “личной жизнью, личными отношениями”; их сознание “ничем другим не занято”.

При этом “Андреев совершенно выпустил из своего рассказа тот единственный евангельский эпизод, которым проливается свет на мотивы предательства”. Речь идет о 12-й главе Евангелия от Иоанна, где рассказывается о помазании Марией миром ног Спасителя и где приводятся слова Иуды: “...для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим”; “здесь повторилось (...) первое искушение дьявола”, когда тот хотел, чтобы Иисус “заботу о хлебе духовном заменил заботой о хлебе материальном. Иуда как раз принял это искушение дьявола, когда он (...) заговорил о динариях и хлебе для насыщения нищих” (Там же. С. 361–362).

Аскольдову кажется, что образом Иуды Андреев звал к “скороспелому героизму”, тогда как христианские герои “должны были родиться из плачущих, глубоко чувствующих” – “борцы из немощных”; “Он повелел связать мягкость и любовь с твердостью и гневом, любовь к Богу с любовью к ближнему, небо с землею”. “(...) Христос не избрал себе в ученики героев воли, в которых в Его эпоху не было недостатка”, а

“героический характер Иуды, если верить изображению Андреева, был Им отвергнут” (Там же. С. 362).

Свою “полку” среди критиков занял известный политический деятель от социал-демократов, Л.Д. Троцкий, немало и с интересом писавший об Андрееве (*Троцкий Л.Д. Вопросы жизни и духа. Трагедия Иуды Искаротского в двух интерпретациях: Л. Андреева и Н. Голованова // Север. Вологда, 1907. 26 июля. (№ 22). С. 2–3; 27 июля. (№ 23). С. 2–3*). В его замысел входило сопоставить два произведения об Иуде: одно – Н. Голованова, старавшегося воссоздать образ Иуды, известный из исторических преданий и науки, другое – Л. Андреева, работавшего с реалиями Евангелия. Первую часть статьи Троцкий посвятил рассказу о событии предательства Иуды и его толковании в соответствии с иудейской историей: об Иуде – предводителе освободительного движения иудеев, о столкновении мирозозерцаний религиозно-аскетического (секта ессеев), к которому принадлежал Иисус, и материалистически-прагматического, носителем которого был Иуда; об обмане и предательстве саддукеев, принявших все меры к тому, чтобы добиться политической казни Иисуса. Это историческое истолкование, предложенное Головановым, Троцкий и сопоставил с трактовкой Андреева.

Образ Иисуса у Андреева критик квалифицировал как символ мирового добра в духе мистического христианства, а образ Иуды – как символ мирового зла, “которое путем умерщвления плоти Иисуса должно было освободить мировое добро”, т.е., если бы не было предательства Иуды и распятия Христа, не осуществилось бы торжество веры Христовой (Там же. № 23). Самую повесть он назвал символической; идейным центром ее является мотив Промысла Божия; его орудием становится Иуда.

Высоко оценив “блестящий язык” “Иуды Искарота” (Там же. № 22), Троцкий остановился на средствах символизации: словесно-семантических повторах, гипнотизме речи, ритме образов, доведении тона повествования до “атмосферы жути” и т. п. (Там же. № 23).

В восприятии критика повесть Андреева – один из оригинальных в мировой литературе опытов пересмотра предательства Иуды.

Любопытен факт литературной игры вокруг повести. В фельетоне “Адвокаты Иуды Искаротского” В.М. Дорошевич приоткрывает завесу над родословной андреевского Иуды, для чего вспоминает дворцового шута князя Шаховского, “одного из умнейших русских людей, но обаянных мятежным духом”. По словам датского посланника Юста Юля, Петр Великий повелел надеть на шута “орден Иуды” за его утверждение, что плата, полученная предателем за Иисуса, ничтожна; он полагал сделку возможной, но за более высокую цену. Дорошевич “подсмотрел” за спиной мятежного князя “оскал желтых клыков Мефистофеля”.

Далее фельетонист указывает на сочинение известного “ханжи и изувера” В.И. Аскоченского (публицист, магистр Киевской духовной академии) “Размышления на Великий Четверток”, в котором тот описывает предательство Иуды как подвиг любви: “Что если он сознательно

пожертвовал спасением своей души, обрек себя на вечную муку из любви к Иисусу во исполнение Его заповедей?! (...) Иуда снимает с мира грех предательства и берет его на себя. Как Он берет на Себя все грехи мира”.

По мнению Дорошевича, “на извилистых тропинках мысли (...) Аскоченский встретился с Леонидом Андреевым... А впрочем, – добавляет фельетонист, – Мефистофель еще давно сказал: неужели ты думаешь, что есть хоть одна мысль, которая кому-нибудь не приходила уже в голову. Новы на свете слова, а мысли – мысли стары...” (*Дорошевич В.М. Маленький фельетон: Адвокаты Иуды Искаримотского // Новое обозрение. Одесса, 1907. 15 июня. (№ 259). С. 3).*

К.И. Чуковский посвятил повести несколько отзывов и одну газетную рецензию. По утверждению критика, Андреева мало занимали евангельские ситуации: текст Библии был нужен писателю, чтобы через собственную интерпретацию его характеров и положений “обличить весь мир, купивший и продавший Бога; даже апостолы – мещане” (*Чуковский К.И. Русская литература // 1907 год. Итоги: Бесплатное приложение к газете “Реформа” за 1908 год. СПб., 1908. С. 27).*

В “Речи” от 24 июня он оценил повесть как “одно из величайших созданий русской поэзии”, своеобразие которого заключается в “тонкой и тревожной диалектике”. Первый тезис, который выдвигает Чуковский: Иуда не богоборец, не враг Учителя, “как хочется уличному романтизму”; он Его “брат, пособник, двойник”; он “вовсе не титаническое Зло, бунтующее против худосочного Добра – он сам Добро”. Его предательство – «акт величайшего Благопочитания: он крадет Бога у “мира”, чтобы доказать, как мало “миру” нужен Бог. Он – вор, чтобы обличить сторожей в небрежности». Иисус же “отвернулся от Искаримота (...) когда понял, что тот ближе всего к Нему и Его учению”. Любовное и предательское целование Иуды открыло Ему, как далеки от духа и смысла Его учения любимые ученики, и зародило мысль о предательстве Иуды и собственной кончине как пути осуществления Подвига. Иуда же отверг мертвый мир во имя живого Бога. Он доказывает, что “мир бичует и распинает Его ежеминутно”, что “мир как Мессию ждет предателя, чтобы распылять своего Бога”. (“Своего Учителя они всегда любят, но больше мертвым, чем живым”).

Второй тезис рецензии Чуковского: Иуда – мнимый христопродавец. Одна из его задач – наставлять “других” в Христовом учении. Он спасает Иисуса, когда Его хотят убить жители селения; он учит Магдалину помнить о своем грехе, чтобы не повторить его вновь; он требует от апостола Петра жертвы, “геенны огненной”, отдачи души во имя Его... Сам же, “выстрадавший Бога, понимает, что в измене Богу... и есть служение Ему”.

Третий тезис: «Иуда предает, чтобы посмотреть, как покупают, чтобы уличить “мир” в этой покупке». По Чуковскому, Иуда ставит эксперимент: купят ли? Откажутся ли от покупки? Поймут ли, кто Он? Раскаются ли? Иуда испытывает каждого апостола, первосвященников,

Пилата, народ. И когда “последним убеждением” Иуда понял, что Бог “миру” не нужен, он решает уйти из “мира”, потому что Иуде не нужен этот “мир”.

Чуковский размышляет о жанре повести, отвергая предложенные жанровые определения, и приходит к выводу, что “Иуда” – это более всего сатира: “Какое же богоборчество? Это мироборчество, это проклятие миру за то, что он по существу своему предвечно не мог вместить в своих недрах Бога. Это не апология зла... Это не мистическая поэма, не философское волхвование, припиленное к библейскому событию, – это раньше всего и после всего – гневная, яростная сатира, обличение вечного мирового уклада, допустившего и беспрестанно допускающего куплю-продажу Бога” (*Чуковский К.И. Об Иуде Искариоте и г. Скитальце // Речь. 1907. 24 июня. (№ 147). С. 2).*

В статье “Оптимизм Леонида Андреева: К 10-летию литературной деятельности” (Свободные мысли. СПб., 1908. 15 апр. (№ 49). С. 3) в качестве главной в творчестве писателя Чуковский назвал экзистенциальную проблематику, указав, что под гримом предателя Иуды спрятана его “подлинная субстанциональная личность”.

В книге “Леонид Андреев большой и маленький” (СПб., 1908) критик писал о том же. По его характеристике, Иуда носит маску предателя: посредством притворства и лжи ему удастся доказать, что в человеке его общественная “одежда”, а что – его сущность (фарисеи и первосвященники учат вере, не имея ее в душе; верные ученики не понимают, чему Он учит; любящий народ живет исключительно в ожидании Его чудес за свое поклонение). Сам Иуда возвратился к Анне, чтобы вернуть сребреники и сбросить “покров своей эмпирической личины” предателя и предстать в качестве судии лжецов: “... он снова взглянул на Анну, <...> взор его был прост и прям, и страшен в своей голой правдивости” (с. 47).

В 1907 г. выступили с разборами повести А. Блок, М. Волошин, А. Глинка-Волжский, В. Львов-Рогачевский, Е. Ляцкий, В. Розанов и др., представлявшие ведущие периодические издания России.

Однозначно высокую оценку повести дал Блок. Он предложил взволнованную художественную интерпретацию повести. Подробно, не пропуская ни единой выразительной детали, рассказал об андреевских Иисусе, Иоанне, Петре, Фоме и Иуде, выделив слова, вобравшие в себя главный смысл “Иуды”: «“Целованием любви” предает он Иисуса и “высоко над теменем земли поднимает на кресте любовью распятую любовь”» (*Блок А. О реалистах // Золотое руно. 1907. № 5. С. 65*). Талант Андреева Блок противопоставил “магии европеизма”, “пресыщенной мысли” русских символистов: Д. Filosofova и др. Устами Андреева, “проклятиями Иуды из Кариота”, по словам Блока, “вопит некультурная Русь”: своими рыданиями, воплями и проклятиями Андреев будит и будет будить “людей в их тяжелых снах”, ибо в них – “голос народной души”. Для Блока “Иуда” – книга о современности, о России и ее судьбе.

М. Волошин откликнулся на “Жизнь Человека” и “Иуду Искариота” в одной и той же рецензии – “Некто в сером”. Для критика “Некто в сером” (“Бог”) и Иисус в “Иуде” – манекены. Иисус “Иуды” “корректен и бесцветен”; он “безразлично добрый человек” – и только, а вся повесть – это «какое-то “Евангелие наизнанку” в стиле Лео Таксиля<sup>3</sup>». Вследствие бесцветности Иисуса героем евангельской повести становится Иуда, считает Волошин. По его мнению, Андреев “принял традиционного Иуду церковного предания и дал его предательству одно из возможных психологических объяснений”, поверхностных, как полагает критик.

Волошин уверен в том, что подлинный Иуда не предатель, а союзник Иисуса: это доказали “христианские еретики первых веков” офиты, каиниты, манихеи, создавшие “образ человека, достигшего чистоты и святости, который добровольно принимает на свою душу постыдное преступление как подвиг высшего смирения”.

Сама христианская церковь, утверждает Волошин, понимает Христа в духе еретических учений; называя Иуду предателем, она совершает сей акт, памятуя об “Иудиной жертве”: чтобы быть полной, она “должна быть запечатлена как преступление в самом Евангелии, чтобы миллионы людей из рода в род проклинали Иуду”. Напомним, что и другие критики пытались толковать андреевского Иуду в духе гностико-еретических идей.

Повторение “подвига” Иуды в духе еретических толкований сам Волошин усмотрел в деятельности современных русских “революционеров-террористов (...) убийц из Союза русского народа (...) всех, совершающих кровавые расправы”. Частичные симптомы подобного ощущения ситуации Волошин находит и в повести Андреева, хотя сетует на то, что моментов своих гностических “прозрений” Андреев не замечает и им не следует.

Итогом рассуждений Волошина был вывод о том, что Андреев избрал “себе тему действительно важную и имеющую глубокое значение для исторического момента духа”, но не сумел ее раскрыть.

Наконец, резко негативной была оценка художественной стороны произведения: «Леонида Андреева никак нельзя отнести к художникам утонченным, но в рассказе “Иуда” его нетонкость перешла все дозволенные границы»; «кощунственность “Иуды” художественная, а не религиозная» (Волошин М. Некто в сером // Русь. 1907. 19 июня. (№ 157). С. 2).

Волошин коснулся “Иуды” и в рецензии, связанной с повестью “Тьма”: «В период “Иуды” и в период “Тьмы” он (Андреев. – *Сост.*) захвачен всецело вопросом о конечной жертве: “можно ли принять на себя предательство Христа? можно ли оставаться хорошим, когда другие плохи?”» Ответ его таков: “Личную добродетель надо принести в жертву.

---

<sup>3</sup> Лео Таксиль (1854–1907) – французский литератор-антиклерикал; имеется в виду его сочинение “Забавное Евангелие, или Жизнь Иисуса” (в оригинале: “La vie de Jésus”).



Иуда должен предать Христа. Не хочу быть хорошим, когда плохи другие”. “Христианские ереси создавали трогательнейшие культы в честь отверженцев Библии – Каина и Иуды (...)”. Но, “познав этот закон”, Андреев “из своего Иуды, из своего Террориста” (герой “Тьмы”. – *Сост.*) создал “чудовищ”. “Нас потрясает в Андрееве (...) темная и мятежная душа, надрывающая своим косноязычием, невозможностью найти свой ритм, свои слова” (*Волошин М.А.* Леонид Андреев и Федор Сологуб // *Русь.* 1907. 19 дек. (№ 340). С. 3–4).

Месяц спустя после публикации первой рецензии Волошина, на “Иуду”, а заодно и на саму рецензию откликнулся В.В. Розанов. Он взял под защиту от Андреева евангельских апостолов: назвав их “другими”, автор повести выразил свое к ним презрение: «такое презрение, что от апостолов приблизительно ничего не должно остаться. “Только мокренько”...» Розанов “побивает” Андреева перечислением его предшественников, все знавших об Иуде, – богословов европейской реформации Лютера, Кальвина, Цвингли, Меланхтона, Боссюэта, авторов книг XIX столетия – Ренана, Штрауса, Гарнака, других, чтобы сказать, что они думали о “подлинных” Христе-Богe и Иуде-предателе. Андреев же, иронизирует Розанов, один во всем мире “догадался, что Иуда был не худший из учеников Иисуса Христа, а, напротив, лучший и более всех его любивший, который даже принял участие в Его подвиге искупления”.

Волошин ядовито упрекает Андреева за то, что он не учел или не знал версии каинитов об Иуде как божественном орудии заклания Иисуса на алтарь искупления. Розанов же корит Андреева за наличие идейной связи между повестью и гностической ересью, за искажение евангельской истории. Критик предложил собственное оформление титульного листа повести Андреева: “Великий хвостун в России. Вранье об Евангелии, об Иисусе Христе и апостолах”. Пренебрежительно именуя Андреева то Леонидом Ивановичем, то Леонидом Петровичем, Розанов заявляет, что Андреев не должен был браться за перо, ибо ничего не смыслит в Евангелии.

В присущей ему манере шаржа Розанов заявляет: “Итак, Иуда – лучший. Такова тема произведения”. Апостолы “не имеют предмета жизни (...) ничего высшего...”. Сам Иисус представлен “бледным, немного сутуловатым от постоянной задумчивости, прекрасным”, похожим “на одного тоже задумчивого и очень знаменитого современного нам беллетриста! К чему называть имена, будем скромны...”. И только один Иуда-предатель предстал возвеличенным, некоей “демонической фигурой” (*Розанов В.* Русский “реалист” об Евангельских событиях и лицах // *НВ.* 1907. 19 июля. (№ 11260). С. 3).

Позднее, в рецензии на книгу профессора богословия М.М. Тареева “Основы христианства”, Розанов, называя писателя Андреевым-Смердяковым, пишет о повести “Иуда Искариот и другие”: «Произведение совершенно лакейское, но сколько по поводу его ахов, вздохов, удивлений, размышлений!.. Образовалась целая “литература предмета” (...) между тем как это всего только “леденец” в две копейки, и внутренняя

причина его пережевывания в печати лежит в том, что нет такой убогой души, которая не могла бы не издать “еще вздоха” по поводу его» (*Розанов В.В. Новая книга о христианстве // НВ. 1909. 3 янв. (№ 3)*).

Напротив, религиозно ориентированный критик А.С. Глинка-Волжский выступил с рецензией, проникнутой живым интересом к автору, сочувственным вниманием к повести, указал на “творческую свободу” Андреева в обработке евангельского сюжета. Повесть Волжский назвал полуфилософской-полухудожественной; она кажется ему произведением, исполненным “глубочайших внутренних противоречий и контрастов”, “труднораспутываемым клубком”, для распознавания которого “требуется аналитическая работа” (*Волжский. “Иуда” Леонида Андреева // Живая жизнь. М., 1907. 20 дек. (№ 2). С. 22*).

“Иуда Искариот и другие” – “сложное, двойственное в основных мотивах своих” произведение; оно “говорит о том, что (...) жива творческая душа в Андрееве, что вопрошающая тревога в нем (...) чутко и мучительно вопрошает, не угмоняясь в неразрешимости, не утоляясь неутолимостью (...)” (Там же. С. 23). Как обычно у Андреева, думает критик, «безрелигиозный “реализм” (...) малого разума (...) сочетается здесь и уживается бок-о-бок с бессознательным мистицизмом, с бессознательной религиозностью большого разума», а “мучительно-страдающее неверие (...) тайно соприкасается уже с чуткими проблесками подлинной веры” (Там же. С. 24).

По мнению Волжского, “в обработке темы” Андреев руководствуется не данными Евангелия, а “произволом замысла, творческой свободой художественной композиции” (Там же). В учениках Иисуса нет ничего апостольского, это обыкновенные люди: “Петр (...) простодушно-добрый, но не умный, веселый балагур и (...) силач”. Иоанн – “холодный, надменный, самодовольный гордец”. Матфей – “ритор и фарисей”. Фома – “ограниченный позитивист, точный и ничего не понимающий”, “кукла, олицетворяющая здравый смысл” (Там же. С. 25). Иуда же, по Андрееву, “и есть настоящая мудрость, бездонная глубь, загадка неразгаданная (...) которую (...) Андрееву надлежит разгадать (...)” (Там же. С. 26).

Между Иисусом и Иудой существует “невидимое соединение Учителя-Господа и преданного ему ученика-предателя, любящего Его всем сердцем (...) и Ему самым своим преступлением служащего...”. Иуда “ищет соединения с Ним через испытующее предательство Его на смерть и распятие, через дерзновенно-сатанинское богоборчество” (Там же. С. 26–27). По наблюдению критика, в Иуде оживают о. Василий Фивейский и сам Л. Андреев, “насильственно вымогающий чудо у Господа, дерзновенно пытающий веру неверием, неверие верой, тайно домогающийся из неверия веру добыть (...) чудо извлечь, не веря в него, но и не умея без него жить, принять и понять жизнь, оправдать ее. В бунте и восстании против Бога, Бога хочет найти, религию обрести из испытующего неверия, из отрицания, из сопротивления” (Там же. С. 27). Волжский приходит к выводу о том, что “Иудино предательство (...) Андреев освещает как религиозный путь, как отрицательный путь к

Богу же” (Там же. С. 28). Иуда Андреева “испытывает чудо Божественности Иисуса”, исходя “из заранее установленной недопустимости его” (Там же. С. 30). Он испытывает учеников, испытывает мир, народ, саму жизнь в надежде узреть “живое мистическое дуновение тайны лика Христова” (Там же. С. 36). А в призрачной “победе” Иуды Волжскому видится сораспятие Иуды с Иисусом и его “последнее великое отчаяние, отчаяние в правде Христа и трагически-героическое погибание за эту великую невозможность (...)” (Там же. С. 28).

Анализируя образ Иуды, В.Л. Львов-Рогачевский пишет: “Он не верит человеческим словам. Он только считается с человеческими поступками. Разве люди не изолгались до того, что их слово только скрывает правду, и разве не называли часто люди ложью то, что было величайшей правдой, и разве не совершал он часто великую ложь ради маленькой правды?” (*Львов В. Великолепный работник и художник-творец: (По поводу XVI сборника “Знания”) // Обр. 1907. № 7. С. 84.*) Автор статьи возражает тем критикам, которые увидели в повести Андреева прославление предательства, в позиции автора свою с ним солидарность: «“Кто-то зоркий” и “знающие люди” возмутятся при чтении написанного Л. Андреевым и не услышат, как бьется сердце этого произведения, бьется и кричит свое “Осанна” – распинаемой правде и свое “проклинаю” – трусливым предателям и холодным убийцам» (Там же. С. 91).

В адрес “Иуды Искарюта” и его автора Антон Крайний откликнулся небольшим пассажем в духе ему присущих категорических парадоксов-приговоров: «...что же хотел сказать Андреев своим “Иудой” – я так и не понял. Современный жид из Вильна, – тщательно современный, – хорошо. Я готов простить Андрееву такое поправление веков: оно для него обычно. Но что же все-таки хотел сказать? Убедить нас, сделав Иуду благороднее других учеников, что современные евреи из Вильна благороднее древних евреев? Как хотите, иного смысла для рассказа не подберу» (*Антон Крайний [Гиппиус З.Н.]. Братская могила // Весы. 1907. № 7. С. 59.*)

Среди рецензий 1907 г. заслуживают внимания еще две, принадлежащие критикам, регулярно откликавшимся на новинки Андреева, – И.Н. Игнатову и Е.А. Ляцкому. Игнатов отнес героев повестей “Иуда Искарюта и другие” и “Тьма” к новейшим “сверхчеловекам”: “В Иуде он старался показать человека, выдвигающего принцип зла во имя сотворения высшего добра. Иуда отдавал не себя (себя отдает не сверхчеловек), а все, что есть самого дорогого на свете. Он шел против человеческих понятий о добре во имя высшего добра, на смерть и страдание предавал он Христа, на поношение и позор свое имя” (*И. [Игнатов И.Н.] Литературные отголоски: Леонид Андреев. “Тьма” // РВед. 1907. 1 дек. (№ 275). С. 3.*)

Е.А. Ляцкий предпринял одну из многочисленных в критике попыток проанализировать повесть Андреева, ее заглавного героя как воплощение вечной борьбы и “вечного сосуществования полярностей”. “В своем мирозерцании Леонид Андреев колеблется между самыми

противоположными крайностями, постигаемыми мыслью, крайностями, которые сходятся у него на острие ножа: он любит жизнь, но смерть постоянно перед глазами, он любит солнце, но темнота ночи в его душе, неверные, колеблющиеся призраки страха, воспоминания страданий или мрачных страстей; он горячо добивается правды в творческих отражениях, но правда эта контурами своими так походит на то, что люди на будничном языке своем зовут ложью, не замечая, что и ложью этой они не владеют сполна, что и она двоятся и, помимо их воли, светится изнутри какой-то еще неведомой правдой {...}” (*Ляцкий 1907. С. 61*).

“По Писанию, явилось предательство Иуды, к нему не было иных побудительных причин, кроме его самодовлеющей злой воли, кроме презренного недуга сребролюбия и внушенного дьяволом умысла воздвигнуть победу зла над добром. И едва ли чье-либо сердце обращалось к нему с состраданием, когда вспоминало, какой ужасной ценой мук и смерти заплатил Иуда за свой поступок. Логика событий не допускала иного исхода, в нем поруганная правда нашла себе отмщение и высшая справедливость произнесла свой понятный для темного человечества суд”, а у Андреева “Иуда – олицетворенный софизм, наделенный горячим, неуимчивым сердцем. Но душа Иуды изжаждалась ласки и любви. Если он будет встречен ласково, – тогда в его душе наступит гармония, не будет ни богоборчества, ни зла, может быть потому, что наступит безразличие, слияние крайностей в великом блаженном ничто {...}” (Там же. С. 65).

Среди отдельных суждений о повести в критике 1907 г. можно отметить высказывание о ней рецензента XVI сборника товарищества “Знание” как о лучшем произведении в сборнике (*Вель. Отголоски // С.-Петербургские ведомости. 1907. 18 апр. (№ 88). С. 4*); отклик на “Иуду” А.В. Тырковой, в котором она назвала повесть “хаосом отдельных эскизов и лиц, набросанных рукой талантливого мастера”, где нет “целостной картины” (*А.В. [Тыркова А.В.] // Речь. СПб., 1907. 29 апр. (№ 100)*); аноним “Могилевского вестника” считал “Иуду Искариота” “первой ступенью к подъему в высь и выходу из литературного оскудения, из переживаемого безвременья” (*[Б.н.] Литературное безвременье // Могилевский вестник. 1907. 11 мая. (№ 106). С. 3*); И.М. Василевский находил, что мотивы предательства Иуды в повести “крайне неясны и затемнены” (*Феникс [Василевский И.М.]. Литература и жизнь: Л. Андреев. “Иуда Искариот и другие” // Южный край. Харьков, 1907. 2 нояб. (№ 9098)*).

Пресса внимательно следила за реакцией критиков, за андреевскими высказываниями и репликами по поводу своих книг. В 1907 г. “Русское слово” опубликовало интервью С.Л. Полякова с Андреевым по поводу его отношения к “Иуде”: «Андреев глубоко недоволен “Иудой Искариотом”. Вышло, по его словам, совсем не то, что он задумал. “Бледно, без глубины захвата”. Исполнение оказалось ниже замысла. Одна глава совершенно пропущена. Сцена истязания Христа солдатами будет для

отдельного издания переработана» (Эс Пэ [Поляков С.Л.]. В мире искусств: У Леонида Андреева // РС. 1907. 5 окт. (№ 228). С. 2).

Отдельный интерес представило эссе писателя Ал. Мирногорова. Оно вошло в альманах пестрого содержания “Белый камень”: здесь помещены изобразительные работы С. Коненкова, стихи С. Клычкова, сочинения Модеста Чайковского, статьи и рецензии харьковского критика Н.Е. Пояркова, московского Э.Б. Бескина (Эмбе), нововременца А.А. Бурнакина, мн. др. Большинство из них (Бурнакин, Поярков, Н.Н. Русов, Бескин и Мирногоров) были критиками произведений Андреева.

Ведущим мотивом повести Андреева Мирногоров считает “великое оправдание жизни и смерти, разгадку тайны и той, и другой”. Образы Христа и Иуды погружают читателя “в пространство прошедших и будущих веков”, связывая их с событием, “когда свершилось нечто беспрецедентное, ужасное и дивное”. «Это “нечто” – тайна рокового поцелуя»: “от поцелуя Иуды зачалась наша духовная жизнь, и все мы духовные дети его”; “мы (...) живем мыслями Искарриота и сердцем Христа” (Мирногоров Ал. [Фриденберг А.Э.] Великий поцелуй: (“Иуда” Леонида Андреева) // Белый камень: Альманахи индивидуального искусства и индивидуальной мысли. М.: Маска, 1907. Т. 1. С. 115–116).

“В душе Иуды развивалась величайшая трагедия сверхчеловечества. Он, умный и смелый, искренно и нежно любил Иисуса – человека кроткого и незлобивого, как взрослый любит ребенка (...) А Иисус любил простоватых, почти глупых учеников своих. Он знал, что сами они не в силах отличить истину от лжи, правду от неправды (...) Бог пришел для слабых и мягких душою. А что же делать сильным духом? Ведь не может же он притворяться слабым, и обманом, ползком проползти в царствие Божие. Кто поможет ему? (...) кто поможет Искарриоту?” (Там же. С. 117–118).

Сам же Иисус – “это светлая, тихая печаль и скорбь”, а Его моление о чаше в пустыне – переживание великой трагедии: нет сомнения, что человек Иисус не мог сразу и совершенно подчиниться Иисусу-Богу. “Там состоялось примирение Бога и человека (...) там Он почувствовал противоречия сверхчеловека и Бога, там Он сознал, что должен победить в себе сверхчеловека, но также и то, что для проявления Его Божества нужен еще и сверхчеловек. То, от чего Он должен был отказаться, Он нашел в Иуде”.

“И вот две великие души Бога и сверхчеловека слились в поцелуе в Гефсиманском саду. И обе после этого поцелуя не могли оставаться на земле, но оставили на земле душу человека с постоянными колебаниями – то в сторону Иисуса, то в сторону Искарриота”.

“Но душа наша не может принять их, как одно (...) Жизнь души человека двигалась вперед мыслью Искарриота и сердцем Иисуса, и Искарриот постоянно насмехался над Христом, и лишь иногда торжествовал Христос” (Там же. С. 119–120).

Почти скандальной была рецензия на “Иуду” в духовном журнале “современной жизни, науки и литературы” “Странник”, выходившем под патронажем А.П. Лопухина. Ее автор – авторитетный духовный писатель, профессор Петербургской духовной академии А.А. Бронзов, пересказав сцену за сценой, эпизод за эпизодом, оценил повесть Андреева как “цинизм” и “нелепое фантазерство”, раздражаясь репликами такого рода: “не только возмутительно, но и омерзительно читать андреевское вранье” (Бронзов А.А. Декадентский бред: По поводу очерка Леонида Андреева “Иуда Искариот и другие” // Странник. 1907. № 10. С. 367, 379). Возмутился андреевским взглядом на главного героя, который якобы “лучше других понимает Спасителя” и “настолько велик, что не ниже, пожалуй, Самого Спасителя” (Там же. С. 367). Почему Андреев уравнивает “великую тайну глаз Иуды и Иисуса”? Почему смеет писать об Иисусе и Иуде: “обнявшись, как братья” (“как будто Иуда очень и очень любит Иисуса Христа”, да так, что зовет Его “сыночек”, “сынок”) (Там же. С. 369).

С возмущением профессор пишет и о “полнейшем пренебрежении и искажении первоисточников” (Там же. С. 376). Заключение Бронзова: “фантастический бред модного ныне писаки, которым интересуются, о котором спорят...” (Там же. С. 385).

Внимание “Странника” к Иуде в 1907 г. не исчерпывалось статьей Бронзова. В связи с книгой проф. Д.И. Богдашевского “Тайная вечеря Господа нашего Иисуса Христа” (Киев, 1906) профессор Казанской духовной академии А.В. Попов высказал свое суждение о евангельском Иуде: «При разрешении (...) спорного вопроса о причинах предательства Иуды проф. Богдашевский удачно синтезирует обыкновенное мнение о сребролюбии Иуды с оригинальным М.Д. Муретова о предательстве Иуды из религиозного фанатизма, из национально-эгоистической идеи политического паниудаизма, – находя, что Иуда “свои сребролюбивые расчеты мог соединять с предательством, как своего рода национально-религиозным служением истинного сына Израиля”» (Странник. 1907. Февраль. С. 336).

Андреевского “Иуду” до Бронзова вспомнил и критик “Странника” В. Ильинский. «“Иуда”, – писал он, – вызывает особый интерес. Иуда – завистлив, лжив. Предательство было совершено им отчасти из корыстолюбия, но больше из ненависти к апостолам, которых он хотел обличить в трусости и непостоянстве в отношении своего Учителя, и из-за скрытного, но глубокого протеста против Него; мрачный и озлобленный, Иуда не мог выносить светлого образа Христа. Однако психология предательства не исчерпывается указанными чувствами. Еще В.И. Аскоченский (...) высказывал мысль, что Иуда предал Христа из-за того, чтобы побудить Его открыть свое мессианство, как его понимали евреи (...) нечто подобное высказывается у него (Андреева. – *Сост.*) собственно в отношении самоубийства. Иуда, по Андрееву, убивает себя потому, что хочет быть вместе с умершим Христом, первым вступить в Его царство. Мысль эта представилась ему еще перед предательством»

(Ильинский В. XVI Сборник тов. “Знание”. СПб., 1907 // Странник. 1907. Июнь. С. 930).

“В общем, изображение преступного ученика Христова дается своеобразное, но психологически выдержанное и не противоречащее отдельным замечаниям о нем” (Там же. С. 931).

1907-й год для критики на “Иуду” был самым продуктивным: общее число критических статей, рецензий, других материалов, больших и малых, по результатам подсчетов, оказалось 64. Из них львиную долю составляют газетные публикации – 51. На первом месте был Санкт-Петербург (24 газетные публикации и 7 журнальных), Москва значительно уступала (13 газетных, 4 журнальных и одна статья в альманахе). “Иуду” удостоили вниманием и газетными публикациями также различные провинциальные города: Харьков, Каменец-Подольский, Могилев, Екатеринослав, Владикавказ, Н. Новгород, Одесса, Чита, Киев, Минск, а также Варшава. В ряду отозвавшихся на сочинение Андреева были крупные деятели русской культуры.

1908-й год фиксирует спад критической волны, но по-прежнему представлен большими именами, такими как В. Брюсов, Д. Мережковский, С. Франк; а из критиков-профессионалов – А. Горнфельд, В. Крайнихфельд и др. Общее число найденного и зафиксированного – 30 публикаций.

Критику 1908 г. открывает статья Горнфельда “Русская литература в 1907 году” (Наш век. СПб., 1908. 1 (14) янв. (№ 961). С. 5). По наблюдению Горнфельда, произведения Андреева 1907 г. востребованы читателями: “Жизнь Человека” “овладела всеобщим вниманием”; “Тьму” “энергично обсуждают”; “Иуду Искарюта” критик воспринимает как одну из наиболее интересных попыток наполнить новым содержанием традиционный образ предателя.

В первом номере “Весов” находим характеристику “Иуды” в статье Брюсова о постановке “Жизни Человека” в Художественном театре. В первой части рецензии сказано о талантливости Андреева. Во второй части – о недостатках, “некультурности” его таланта. В повести “Иуда Искарюта” Брюсов обнаружил темы, которые по плечу “титанам мысли и творческой силы”, но, с точки зрения критика, Андреев “смазывает их с ребяческим простодушием” (*Аврелий*. Жизнь Человека в Художественном театре // Весы. 1908. № 1. С. 144).

Обособленное место в символистской критике об “Иуде” занял Д.С. Мережковский. Вступив в полилог, он образовал вокруг себя целое полемическое поле.

Первые сведения о Мережковском-критике Андреева появились в газете “Руль” (*Осоргин М. [Ильин М.А.] Мережковский об Андрееве // Руль*. М., 1908. 18 янв. (№ 8). С. 2). М.А. Осоргин поместил корреспонденцию о реферате Мережковского в парижском “Salle des Societer Savantes” 11 января 1908 г.: это был первоначальный вариант статьи “В обезьяньих лапах”, опубликованной затем в “Русской мысли” (1908. № 1) и уделившей значительное место андреевской повести. Мережков-

ский коснулся ее и в тогда же напечатанной статье “Мистические хулиганы” (Свободные мысли. 1908. 28 янв. (№ 38)) и в более поздней статье “Революция или реакция? (В тихом омуте)”, которая была напечатана в апреле 1911 г. (Новая земля. М., 1911. № 15–16). При этом выступления Мережковского связаны с обоснованием и защитой собственной “новой религии”, и Андреев интересуется его как противник с точки зрения отношения к ней.

Гибельные факторы современности, по Мережковскому, это “полярно противоположные”: мистические анархисты и их “пророк Андреев”, автор “Иуды”, и “титаническое мещанство” и “его пророк, В.В. Розанов”. Первые обличают мещанство, вторые его насаждают, но и те и другие губят Россию, поскольку образуют полюсы “антихристианского шествия” (Свободные мысли. 1908. 28 янв. (№ 38). С. 2).

В статье “В обезьяньих лапах” Мережковский выстраивает свое понимание особенностей безрелигиозности Андреева, для чего образует видимость цикла из его произведений середины 1900-х годов: “Жизнь Василия Фивейского” оказывается прологом к циклу (Василий Фивейский “верил или хотел верить в Бога”); “К звездам” – условно первая часть трилогии (Сергей Николаевич Терновский “верил или хотел верить в бессмертие”); “Савва” – вторая часть трилогии (Савва “верил или хотел верить в сверхчеловека”); “Жизнь Человека” – третья часть трилогии (Человек “никого, кроме себя, не любил” и “умер как зверь”) и, наконец, “Иуда Искариот и другие” – своего рода эпилог цикла (полное отвержение Бога и торжество “религии дьявола, религии небытия”) (Русская мысль. 1908. № 1. С. 75–98).

По Мережковскому, Иуда по-своему любит Иисуса-человека, но не принимает Иисуса Христа, сына Божия. Он якобы бьется, чтобы сделать Христа предводителем социального восстания народа, а после его кончины надеется на возможность окончательного порабощения мира именем Христовым, на победу и торжество “Иудина царства”, царства земли, царства антихриста. Иуда последовательно отвергает учение Христа и его “царство” (любовь к людям-братьям, любовь к врагам, отдание себя в жертву за мир, чудо воскресения). Согласно Мережковскому, антивера, антирелигия “мистических хулиганов” – это реакция, это гибель (Новая земля. М., 1911. № 15–16. С. 11–12).

Против обеих статей Мережковского в 1908 г. выступили А. Тимофеев [А.А. Тимофеев] (Под кнутом современности // Руль. 1908. 9 и 16 марта (№ 51 и 57)) и Н. Минский [Н.М. Виленкин] (Леонид Андреев и Мережковский // Наша газета. СПб., 1908. 16 марта. (№ 1)).

Тимофеев резко восстал против формулы: Андреев в обезьяньих лапах читательской публики и апологетически настроенной критики, он незаслуженный баловень судьбы. Критику самого Мережковского против писателя он назвал “обезьяньими лапами”, написав об Андрееве: “человек большой культуры; он умеет мыслить не только мыслями, но и идеями. Он умеет не только схватывать, понимать и обобщать впечатления жизни, но и возводить их на степень извечных начал бытия” (Руль.



1908. 16 марта. (№ 57). С. 4). Собственного разбора текста повести Тимофеев не сделал.

Цель Минского была иная: он хотел на литературной площадке Андреева отстоять свою религиозную философию мэонизма от религии Мережковского. Однако попутно высказал ряд общих мыслей об отношении творчества Андреева к религии. В Андрееве, писал критик, Мережковский искал “безбожье и пессимизм”, и поскольку, к примеру, Василий Фивейский усомнился в Боге и чуде воскресения, “позиция Мережковского, на первый взгляд, представляется сильной”. Однако же «атеизм отчаявшегося “глупого” Фивейского» “ближе к высшей религиозности”, чем “неохристианство жизнерадостного и умного Мережковского”, который “проглядел (...) в психологии Фивейского и в творчестве Андреева основной их мотив – мотив любви к людям, то есть, проглядел все”.

Явные и яркие религиозные мотивы Минский находит в пьесе “К звездам”, в “Савве”, “Тьме” и, конечно, в “Иуде”: “(...) апостолы разбежались, толпа не восстала и Христос умер”. Свершилась “ужасная победа” Иуды: “жизнь осуждена, и он умирает как Христос (...) от любви (...) и кто знает, может быть (...) жертва Иуды, любившего не мир, не человечество, а только любовь, является самой бескорыстной”. По логике критика, финал “Иуды” рифмуется с финалом “Тьмы”: “любящий, жертвуя собой, становится не спасителем, не искупителем, а погибшим и падшим”. Для Минского “творчество Андреева является сплошным воплем о муке неоправданной любви к людям”, а сам Андреев “глашатаем любви к личности” (Наша газета. 1908. 16 марта. (№ 1). С. 2–3).

Любопытно, как Андреев откликнулся на выступления Мережковского: его и Розанова он назвал “единственными серьезными и умными критиками в настоящее время”, но добавил, что Мережковский “субъективен”, а его критические статьи написаны “с заранее обдуманном намерением (...) высказать свои новые взгляды о Боге и антихристе”. Что касается Розанова, то он всерьез до понимания Андреева, по мнению писателя, “еще не дошел” (*Комков Вл.* В вилле “Белая ночь”: У Леонида Андреева // Новая Русь. СПб., 1908. 19 окт. (№ 65). С. 4). П.М. Пильскому Андреев признался, что, хотя Мережковский его бранит, он его читает с “удовольствием”, не сердится и только спрашивает себя: “в чем дело и в чем причина такой неумеренности в пропорциях?” (*Петров П.* [Пильский П.М.] Портреты тушью: 1. Леонид Андреев // Новая Русь. СПб., 1908. 16 авг. (№ 1). С. 3).

Но еще до этой реакции Андреева Мережковский повернул в его сторону, похвально отозвавшись о “Рассказе о семи повешенных” (Сошествие в ад // Речь. 1908. 19 июня. (№ 145). С. 2). Однако же мнения своего об “Иуде” не переменял, что явствует из выше цитированной статьи 1911 г. “Революция или реакция?”.

Законодатель мнений от социал-демократии, А.В. Луначарский причислил Андреева к “их литературе – литературного реакционного распада”, “радикально черного пессимизма, безочарования” (*Луначар-*

ский 1908. С. 151). Андреев оказался в компании господ Мережковских, Брюсовых, Бердяевых, Белых; но он, по мнению Луначарского, “выше других своей открытостью”, за что и получил у критика имя Герострата. Признав “глубину и красоту литературного шедевра” Андреева, Луначарский отверг его идейную концепцию. Согласно его точке зрения, она зиждется на желании “уничтожить Иисуса” как общечеловеческую святыню и разоблачить человечество. “Андреев сказал, – пишет критик, – Христос-то хорош, да люди-то, ради которых он страдал, плохи”. Иисус Андреева – Дон Кихот, он не видит, не понимает людей и хочет искупить “сволочь”; а “другие”, кого он любил всем сердцем, “останутся после этого жить и не посмеют защитити Учителя”. Луначарский уверен в том, что Андреев искажил личность и учение Христа, не уразумев, что весь Иисус – в “максиме”: платить добром за зло, не подымать меча... И эта тактика “чуть не победила мир”...

Андреев “делает из пассивности одиннадцати учеников Христовых вывод о низости рода человеческого”. Сам Луначарский называет Евангелие “страшной сатирой на человечество”. Между тем “пролетарская часть человечества заплатила любовью за любовь, терпением за терпение, кровью за кровь. Человечество – смесь доброго и дурного, как сам Иуда”. Пролетарская же часть человечества, по Луначарскому, – “мученики и герои” и в этом смысле последователи Иисуса Христа.

По мнению критика, Андреев, как и его Иуда, сказал “нет” любой жертве. Между тем она оправдана, и так думают сами “мученики и герои” (Там же. С. 157).

“Тифлисский листок” опубликовал статью Н.Л. Державина “Иуда из Кариота. Леонид Андреев и Поль Гейзе”. Охарактеризовав книги Д. Штрауса и Ж.-Э. Ренана “Жизнь Иисуса”, Державин пришел к выводу, что “ни Штраус, ни Ренан не дают глубокого ответа на вопрос, какова же на самом деле роль Иуды в смерти Христа, что привело его к преступлению предателя” (Тифлисский листок. 1908. 13 февр. (№ 37). С. 2). А ответы, содержащиеся в Евангелии и апостольских Деяниях, нашел не разрешающими вопроса о загадочной личности Иуды и его предательстве.

Более продуктивными показались ему подходы авторов двух художественных произведений – Леонида Андреева (повесть “Иуда Искариот и другие”) и Поля Гейзе<sup>4</sup> (драма “Мария из Магдалы” (“Мария Магдалина”), рус. перевод – 1907). В повести Андреева Державин отметил наличие двойственного образа Иуды – доброго, нежно любящего человека и могучего сверхчеловека: он “подымается на недосыгаемую высоко-

---

<sup>4</sup> Поль Гейзе, он же Пауль Хейзе (1830–1914) – немецкий прозаик, поэт, драматург, автор известных романов “В Раю” (1875) и “Дети века” (1873) и новелл “L’Aragbiata” (“Строптивая”), “Марион”, “Пизанская вдова”, др. (см., напр.: Хейзе П. Новеллы. М.: Панорама, 1999). Лауреат Нобелевской премии в области литературы 1910 г. Драма “Мария из Магдалы” в Германии была запрещена.

ту, чтобы свое имя, свою честь, свою любовь отдать в жертву любимому Учителю”. Иуда Андреева – “сильный, смелый, крепкий, берет на себя иго предопределения; его высшая любовь не останавливается перед вечным позором и проклятием во имя славы и вечного торжества Учителя”. Трагический конфликт “между человечностью и сверхчеловечностью” Иуда разрешил своим самоубийством” (Там же. С. 2–3).

Державин отмечает различие в подходе к евангельскому событию у Андреева и Гейзе. Андреев “рассматривает поступок Иуды с точки зрения философии зла как антитезы добра”. Замысел Андреева критик называет “очень глубоким”; он полагает, что художник “справился со своей задачей превосходно”. Поль Гейзе переносит вопрос на политическую почву, вводя читателя “в сферу политических отношений современной Христу Иудеи”. По мысли Державина, оба художника не пытались привести читателей к какому-либо однозначному ответу. Оба они заинтересовали глубокими, “не решенными человечеством вопросами” (Там же).

В критическую андреевиану в 1908 г. вступил юный Ю.В. Соболев, ставший со временем видным театральным критиком (*Соболев 1908а, Соболев 1908б*). В статье “За правдой” Соболев высказывает мысль, что Иуда Искариот “олицетворяет вовсе не Богоборца, а искателя правды, апологета земли”, восставая “не столько против Него, сколько против Писания, говорящего о смерти, воскресении и вознесении Учителя, о том царстве блаженства, которое будет уготовано всем праведным на небе”. Иуда, по словам Соболева, “непонятый и по-своему страстно любящий Христа”, убежденный в том, что “Иисус нужен не небу, а земле, страдающей, мокрой от слез и крови земле, ждущей своего Искупителя”.

Он предает Иисуса в надежде на то, что «учителя судят и приговорят к казни, с креста Он все равно сойдет, и настанет на земле царство Божие (...) С такой же глубокой верой ждут чуда (воскресения и вознесения, как пророчествует Писание) “другие” – апостолы, уверовавшие в Учителя (...) Правда лежит, конечно, в самом Христе, но Он “молчит”. Страшная душевная трагедия Иуды находит разрешение в смерти...» (*Соболев 1908б*).

В своей второй статье – “Над бездной” – Соболев конкретизирует положения первой. Критик отметил искусство словесной портретной живописи: Андреев “с изумительной чуткостью сумел постигнуть внутренний мир Иисуса: мы не только видим и слышим Учителя, но и проникаемся светлым и чистым духом Его проповедей любви и кротости (...) Все это достигнуто приемами чисто импрессионистическими, и надо сознаться, настолько удачно, что андреевский Христос по яркости и силе изображения будет несомненно считаться одним из драгоценнейших вкладов в сокровищницу русской литературы” (*Соболев 1908а. С. 136*). Так же мастерски написан портрет Иуды – двойственность внешнего облика, выражающая двойственность внутреннего мира.

В “Иуде” с большой силой изображена борьба двух правд, являющаяся “одним из основных мотивов творчества Леонида Андреева”: Христос – и Иуда; спокойно, свято и наивно верующие “другие”, апостолы, – и мятежник, непонятый, проклятый, погибающий, заклеянный позором. “Глубокая, страстная, почти нечеловеческая, какой не знал ни один из верных учеников Его”, любовь Иуды к Христу, “однако, столкнулась с ярко выраженным чувством мятежа, поруганной правды”. Смысл “неразгаданной тайны Иуды в столкновении с Христом” состоял в том, что свою “правду земли” он хотел противопоставить правде Иисуса – правде Неба. Иуда кинул вызов Христу, но был побежден Его правдой, светлым духом радости о будущей жизни блаженных на небе...” (Там же. С. 143–144).

Свое понимание повести высказывали и другие критики литературной провинции. “Толкование личности Иуды и его предательства, – писал А. Инд, – может быть только одно. Иуда – человек массы, толпы. Он ждет от Христа царствия земного, видит в Иисусе Христе будущего Царя земного. Обманувшись жестоко в своих ожиданиях, он, озлобленный, предает Иисуса Христа (следовательно, не из одного только корыстолюбия). Но затем, когда момент раздражения и злобы проходит, Иуда в отчаянии, сознав низость своего поступка, кончает самоубийством”.

“Ничего ни демонического, ни героического, ни даже злодейского в этой натуре нет. Она – абсолютное ничтожество”, но Андреев, полагает рецензент, хочет придать Иуде и его предательству “какую-то демоническую окраску”, однако это ему не удастся. И “все, что есть сколько-нибудь ценного в андреевском повествовании, – все это взято из истории” (*Инд А. Критические наброски: О последних произведениях Леонида Андреева // Новороссийский край. Елисаветград, 1908. 24 янв. (№ 8). С. 2).*

Некто “В.”, представляющий себя последователем и единомышленником “Нового времени” и его, считает рецензент, единственно талантливого критика В. Буренина, характерной особенностью современных известных писателей считает “умелое подлаживание к вкусам шатающейся толпы”, а в качестве примера называет “Иуду Искарота” и так пишет о нем: «Отлично зная, какое влияние на революционные массы имеют евреи, единственные “сознательные”, в прямом смысле этого слова, личности в бессознательной толпе, Л. Андреев вздумал опозитизировать личность Искарота, ставшую чуть ли не синонимом гонимого племени. Отрицать исторический факт – было невозможно, и вот изворотливый автор на нескольких страницах обращает облик классического предателя в проникнутое верой и любовью существо. Читатель из этого яркого примера увидит, что мы не голословны» (*В. Что читает современное общество // Русская речь. Одесса, 1908. 11 (24) янв. (№ 624). С. 1).*

Известный критик И.В. Иванов (И. Джонсон), с постоянным вниманием относившийся к творчеству Андреева, отозвался на “Иуду” в газете “Киевские вести” трижды в течение 1908 года. В обзоре “Русская литература в 1907 году” (3 янв. (№ 3). С. 2) И. Джонсон дал общую

оценку произведений Андреева 1907 г.: «(...) Настоящим “властителем дум” в истекшем году, сосредоточившим на себе постоянное и всеобщее внимание, был, конечно, Л.Н. Андреев. Его “Жизнь Человека”, “Иуда Искариот и другие” и “Тьма” бесспорно были центральными произведениями года. Очень большой художник, Леонид Андреев все более становится ценен как замечательный возбудитель мысли».

Во второй статье Джонсон, полемизируя с Волошиным, не соглашается с его утверждением о наличии в “Иуде” Андреева сильных эмоций при отсутствии художественности. Может быть, писал он, нынешнее творчество Андреева и вправду “отчаянный крик, надрывающий сердце. Но как, каким способом, какой угодно крик (...) может потрясать и надирать сердце? В данном случае, только одним, г. Волошин, именно тем, что Вы отрицаете в Андрееве: только чарами искусства, художества (...) Признавать, что Андреев потрясает сердца, и отрицать в нем художника – nonsense”.

Далее Джонсон вступает в спор с другим коллегой по перу – с Чуковским, который, “положим, не развенчивает Андреева как художника”, но пытается “вогнуть” его “в одну из рубрик своей схемы” – в “кризис индивидуализма”. Вопреки мнению Чуковского, называющего Андреева искателем “общечеловека”, Джонсон видит главное в усилиях писателя: “показать, как (...) железный рок властно управляет жизнью каждого человека, и как никакая индивидуальность от колыбели до могилы не свободна от этого ига” (*Джонсон И.* Глупые фасоны // Киевские вести. 1908. 5 марта. (№ 63). С. 2).

Наконец, третья статья Джонсона написана собственно об “Иуде”, о “правде” Иисуса и “кривде” всех “других”: «(...) в “Иуде” он хочет сказать, что однажды сошла на землю правда и воплотилась в Сыне Человеческом. Но те, кто не признали или не хотели признать ее таковою, убили ее. А те, кто признали и поклонились ей и стали исповедовать ее, те без борьбы дали убить ее, и тем самым, в сущности, тоже отреклись от нее.

Когда Иуда созерцал распятого Иисуса, он думал: “Что может удержать от разрыва тоненькую пленку, застилающую глаза людей, такую тоненькую, что ее как будто нет совсем? Вдруг они поймут? Вдруг всю свою грозную массу (...) двинутся вперед (...) сотрут солдат, зальют их по уши своею кровью (...) руками оставшихся в живых высоко над теменем земли поднимут свободного Иисуса!”

Но пленка, застилающая глаза людей, оказалась прочнее, чем думалось Иуде (...). Не поняли и принявшие Правду, чему они попустили совершиться. Они твердили, что Иисус сам хотел жертвы и что его жертва прекрасна. Не могли понять, что не бывает, не может быть прекрасной жертвы, ибо где есть жертва, там есть и палач и предатели. Что жертва – это страдания для одного и позор для всех. Они смотрели на себя, как предназначенных для того, чтобы нести в мир возвещенную их Учителем правду. Но пассивно допустив свершиться тому, что свершилось

на Голгофе, они сами сделались участниками величайшей неправды и предателями правды (...)

Таким образом, правда однажды пыталась войти в мир, но люди убили ее. А без нее – что такое жизнь? (...) – только кратковременная бессмыслица с черным провалом в конце в неизбежный ужас смерти (...)» (Джонсон 1908).

В ряду рецензентов “Иуды” был критик “Русского богатства” А.Е. Редько. Он писал более о “Тьме”, нежели об “Иуде”, но его обобщенная характеристика важна и для понимания “Иуды Искарриота”. По мысли критика, Андреев занят “разоблачением” упокоенных своей “моральностью” “хороших” (апостолов, первосвященников, иудеев, других “других”), отнесенных к категории “плохих” “хороших”. Андрееву «нужен бунт против этики; ему нужно убедить вас и себя через вас – что человечество больно уже 19 веков моральностью, ему нужна фраза, долженствующая зажечь этический пожар в умах: “Какое ты имеешь право быть хорошим, когда я плохая?”».

По словам Редько, “Иуда” и “Тьма” – комментарий на текст Ницше: «“Поистине, не люблю я милосердных, блаженных в страдании моем: слишком уже лишены они стыда”. Наибольшая опасность для будущего человечества – в “хороших”, в “добрых и праведных!”» (Редько А.Е. [Редько А.М. и Е.И.] “Хорошие” и “плохие” у Леонида Андреева // Русское богатство. 1908. № 7 (июль). Отд. 2. С. 15).

Автор пространного “критического этюда” об “Иуде” Ар. Селиванов пообещал сосредоточиться на теме “других”, в ней видя “центр тяжести всего произведения”, не снимающего вины за предательство с Иуды, но переносящего ее тяжесть и на плечи “других”. На самом деле, не касаясь внутренних мотивов предательства “других”, критик уделил основное внимание фигуре главного героя, “титанической в своей дерзости (...) цинизме и безнравственности” (Селиванов Ар.А. Оклеветанный апостол: Критический этюд. Повесть Л. Андреева “Иуда Искарриот и другие”. СПб., 1908. С. 6) и объяснению его предательства. Он, как и некоторые другие критики, пытается осмыслить фигуру Иуды через образ своеобразно понятого сверхчеловека с его вседозволенностью (этюда Селиванова предпослан эпиграф из “Заратустры”), противопоставленной “целомудренно-чистой (Божеской)” психологии Христа. Вместе с тем для Селиванова ликование и скорбь Иуды-победителя, оказавшегося правым в своих психологических опытах, его уход и смерть вслед Христу в надежде разделить Его земную участь и будущую судьбу, были своеобразным предательством-подвигом. Прочертив рисунок диалектики сознания Искарриота, Селиванов завершает “этюд” словами о “глубоком впечатлении”, производимом повестью, восхищается оригинальностью ее “замысла, красотою стиля и трогательною поэзиею многих страниц”; автор утверждает: повесть “может быть названа наиболее сильным и талантливым произведением из всей беллетристики минувшего года” (Там же. С. 16).

1908-й год отмечен выходом монографии Т.Я. Ганжулевич об Андрееве. С точки зрения ее автора, модель художественного мира писателя – это константная оппозиция: Некто (“каменные стены предначертанного”) и Человек (“гордые мысли и слова, свободный в своем порыве, широкий в своем развитии”; “смелый протест, неустанная борьба, невольное подчинение, сохраняющее свое достоинство”) (*Ганжулевич 1908. С. 28*). “Иуда Искарriot дает прекрасный материал для исследования одного вида этой борьбы” (Там же. С. 98). Он “во зле мира находит свое оправдание, в его ничтожестве – свое величие, в его бессилии – силу. Он любит Иисуса, как любят сильного противника...” (Там же. С. 101). Но задача Иуды неразрешимая – слить две правды: земную, временную (греха, зла, слабости), и небесную – вечную; слить их здесь на земле “и увидеть одну правду” (Там же. С. 102). Поэтому “за видимым торжеством (Иуды) стоит страшное поражение; добро вознеслось над злом мира в святости своего страдания и в своем воплощении, перешедшем в вечность”. Оно открыло “разделяющую его со злом бездну” (Там же. С. 103). Иуда это понимает, и это его мучит, но он все еще, хотя и с безнадежностью, уповает на синтез. “Вечную проблему раскрывает Леонид Андреев”, прикасается к “тайне неразрешимого, скрывающегося во мраке” (Там же. С. 103–104).

Особо автор книги выделяет мастерство писателя-психолога. Повесть “открывает Андрееву место в истории литературы. С Толстым Андреева сближает земной реализм, с Достоевским запредельное стремление, ведущее душу к неземным глубинам”; отличительным признаком андреевского таланта является “стремление реализовать дух и одухотворить плоть” (Там же. С. 104).

В качестве дополнения к обзору критики 1908 г. можно упомянуть заметку М. Васенова, который в рассуждениях о писателях современной русской литературы говорил и об Андрееве (*Васенов М. По литературному полю // Красноярск. 1908. 29 июня. (№ 141). С. 2*). Он увидел печать гения в произведениях “Жизнь Василия Фивейского”, “Иуда Искарriot”, “Царь Голод” и изменение писательской манеры в новых произведениях Андреева, “по глубине и силе анализа и чувства” не уступающих его более ранним вещам.

1909-й год внес в кладовую критических разборов “Иуды” существенный вклад. В обсуждении повести приняли участие критики (они же писатели, публицисты, общественные деятели, ученые), много и всерьез писавшие об Андрееве (С.А. Адрианов, И.Ф. Анненский, М. Неведомский, М.А. Рейснер, С.В. Яблоновский), а также епископ и богослов о. Георгий. Всего об “Иуде Искарriote” в 1909 г. появилось, как установлено на сей день, 14 материалов, в Петербурге и Минске по одной книге о писателе.

В 1909 г. М.П. Неведомский не раз обращался к “Иуде” с намерением охарактеризовать общую специфику художественного мира писателя и определить значение и место его творчества в искусстве своего и будущего времени. В обзоре “Наша художественная литература предрево-

люционной эпохи” читаем: “Морализирование и публицистика чужды таланту Андреева. Не поучения, а серьезное раздумье над большими вопросами жизни – именно это (...) оказалось тем новым словом, которое он произнес в нашей литературе. Андреев явился у нас первым художником с философским, а не моралистским характером мышления и творчества”. Андреев “ничего не доказывает: он лишь ставит вопросительные знаки” и “почти все они лежат (...) в плоскости идей Ницше” (Общественное движение в России в начале XX в. Т. I: Предвестники и основные причины движения. СПб., 1909. С. 523, 526).

Статья “Об искусстве наших дней и искусстве будущего: Последний период Л. Андреева. Философские мотивы Андреева” развивает мысль об Андрееве, который “один из первых в революционной русской общественности порвал с морализмом и заговорил на языке философских исканий”, и рассматривает “Иуду Искариота” в контексте философских идей, актуальных для своего остропереходного времени. «“Елеазар”, “Жизнь Человека”, “Царь Голод”, “Рассказ о семи повешенных” и, конечно, “Иуда” “обсуждали” вопрос о (...) человеческой воле к жизни и любви к творчеству (...) и всякий раз возникала в качестве итога тема и проблема “перерождения” и “противостояния”» (Современный мир. 1909. № 3. Отд. 1. С. 179, 174).

Центральная фигура повести об Иуде – “это, с одной стороны, воплощение скепсиса, адогматизма, с другой – действенных, живых, сложных пестро-многообразных, безотчетных пристрастий и влечений. Это почти реальная жизнь со всей ее видимой хаотичностью, некоординированностью, со всеми ее эксцессами, мраком и светом, чистотой и грязью” (Там же. С. 181).

Неведомскому видятся в повести две линии борьбы. Одна – между Иудой и Иисусом. «Скепсис и адогматизм, ницшевское “все дозволено” и “я так хочу!”» – в борьбе с “догматической идеей общеобязательного, абсолютного, метафизического добра”; с другой – с ними обеими – Иудиной и Иисусовой – борется “широкая, хаотически-пестрая, безбрежная живая жизнь”. На этой почве, думает критик, возникает идея-мечта Иуды о совместном со Христом “вторичном пришествии”: “Потом мы вместе с Тобою, обнявшись, как братья, вернемся на землю” (Там же. С. 181). Неведомский выделяет это “как братья”, называя его лирико-философско-религиозным лейтмотивом повести, как мечту Иуды о совершенном человечестве, способном преодолеть “разрозненность, непонимание людьми друг друга, трагедию одинокой муки подвижников среди недоросшей до них толпы” (Там же. С. 182). Это уже было в “Бен-Товите” и других произведениях Андреева, а главное, это было у Достоевского в его заветной мысли о “праведниках и подвижниках, которыми красен мир и мир держится” (Там же. С. 182).

Критик специально останавливается на характеристике “врага” Иуды – апостоле Иоанне – воплощении “чистейшего морализма” в ризах «женственной “хорошести”», самолюбования, слепоглухоты к страданиям земли. Но: “Христос избрал Иоанна...” (Там же. С. 183).



В повести Андреева Неведомский отмечает художественный схематизм как один из способов символического лаконизма. Среди недостатков критик указал на существенные “недоговоренности” (“загадочности”), дающие повод Мережковским писать о “кошунственном богоборческом бунте”, а Луначарскому о попытках Андреева “нанести удар Христу, путем отрицания человечества” (Там же. С. 179).

В целом же “Иуда Искариот и другие” – яркое свидетельство “устремлений Андреева от морализма к эстетико-философской интуиции” (“его упорный антропоцентризм, (...) тяготения к космосу, к универсализму”); это “роднит его творчество со всеми лучшими проявлениями современного молодого искусства” (Там же. С. 190).

Позже, в 1910 г., возвращаясь к своей мысли, Неведомский пишет, что в “Иуде” “как идеальный носитель *морализма* изображен Христос; антитеза его, Иуда, олицетворяет интуитивный взгляд на жизнь. Образ Христа осложнен догматизмом его мирозерцания, а фигура Иуды резким адогматизмом, доходящим до полного скептического нигилизма. Но основной замысел автора, подчеркиваемый неоднократно повторяющимся мотивом о необходимости вторичного *совместного* пришествия Христа и Иуды, на наш взгляд, ясен: только синтез из моральных идей Христа с адогматической интуицией Иуды призван спасти мир...” (*Неведомский 1910. С. 271*).

В своей “Второй книге отражений” И.Ф. Анненский печатает статью, которая содержит оригинальную интерпретацию символического строя повести. Как и в других своих работах об Андрееве, Анненский занят здесь выяснением специфики “искусства Леонида Андреева”. Он отмечает две его отличительные черты. Первая – уникальная изобразительность (вместо повествовательности Достоевского). Критик пишет об этом: “...внутренний человек заменен у него подобным ему, но внешним; но тем значительнее выходит в повести портрет Иуды” (*Анненский И.Ф. Иуда, новый символ // Анненский И.Ф. Вторая книга отражений. СПб., 1909. С. 46*). Вторая – идущая от Достоевского антиномичная структура личности; постоянно присутствующая “загадка двух личин” Иуды. В обрисовке “личины” Иуды Анненский находит “смесь шута и самодура”, наличие “выверта и надрыва”. “По-моему, – замечает Анненский, – не только нельзя понять андреевского Иуды, нельзя ни на минуту даже поверить, что Иуда – точно человек (...) если не толковать его себе именно в этих схемах мысли Достоевского: *выверта и надрыва*. (...) А когда Иуда мечтает о дружбе с лучшими и высшими и под покровом ночи надывается над своей отвергнутой любовью, не вспоминаются ли вам, и с особой назойливостью даже, опять-таки выстрадавшие Достоевским идиллические и всхлипывающие мечтаница его замухрышки, размякшего бессонной ночью в жарком одиночестве своего подполья?” (Там же. С. 48).

Анненский с категоричностью объявил, что “герой новой повести никогда не читал (...) Великой Книги” (Там же. С. 45), что повесть вся “насыщена контрастами”, возникающими в фантазии автора

(Там же. С. 52), что, наконец, “новые символы” не обращены к объяснению евангельского текста: “мука, безобразия и неразрешимость Иуды” – это “*наша мука, наше безобразие и наша неразрешимость*” (Там же. С. 54).

А. Потресов охарактеризовал литературных героев Андреева: Сергея Петровича (“Рассказ о Сергее Петровиче”), Василия Фивейского (“Жизнь Василия Фивейского”), Лоренцо (“Черные маски”) и Иуду Искариота – как неких “абстрактных людей”, выступающих “игралischem темных инстинктов”, живущих «своим “я”, отделенным стеною от других, таких же, как он, в себе замуравленных “я”». «Перед нами, – пишет Потресов, – одинаково проходит трагедия “я” в тех ее – с точки зрения автора – вечных мотивах, для которых среда – лишь случайный реактив, помогший обнаружить то трагическое, что залегло в глубине, в самых тайнах человеческого духа. Всегда и везде это – все тот же “человек”, который стоит неизменно одинокий перед лицом мироздания, с безответными вопросами, с потухшею улыбкою на устах – ибо он, как Елеазар, заглянул в бесконечность (...)» (Потресов А. Лейтмотивы современного хаоса // На рубеже. СПб.: Наше время, 1909. С. 311).

В 1909 г., как и в другие годы, Андреевым интересовались богословы, религиозные философы. Епископ о. Георгий ставит проблему Иуды с точки зрения религиозной нравственности, которую противопоставляет неморальному индивидуализму, представителем которого считает не только андреевского Иуду, но и его создателя. Отец Георгий утверждает, что Андреев поднимает очень современные вопросы, но отвечает на них с позиции индивидуалистического нигилизма, “естественного человека”, который не признает в мире ничего, кроме своего “я” и его хотения.

С отсылкой к апостолу Павлу о. Георгий различает в каждом человеке двух людей: внутреннего и внешнего. “Внутренний человек – это синоним духа, а внешний – синоним плоти”. Все “что есть лучшего в человеке – внутренний человек”; это прежде всего “богоподобный человек – Иисус”; человек внешний, “плотский” – Иуда (Георгий, еп. Индивидуалистическое миросозерцание Леонида Андреева: (Литературно-богословско-философский очерк) // Вера и разум. Харьков, 1909. № IX–X (май). Кн. 1 и 2. С. 307–308). В повести Андреева о. Георгий находит странные отношения между “святой личностью” – Христом и “личностью лживой, клеветнической, злой” – Иудой: Искариот “ищет утверждения своей личности, со своею особою правдою, в союзе со Христом”, но “не хочет (...) отказываться от злых черт своей личности (...) ибо признает право на существование противоположных индивидуальностей” (Там же. С. 299). Чаение Иуды о синтезе двух прав толкуется в статье как квинтэссенция смысла повести.

По мысли о. Георгия, голгофская “победа” Иуды и его самоказнь давали ему надежду соединиться с Иисусом “там” и вместе с Ним, как с братом, возвратиться на землю, чтобы осуществить этот синтез – правды добра Иисуса и правды своей. Но автор статьи допускал и другую возможность: отказ Христа от союза с Иудой “там”. И тогда Иуда снова

будет “ковать железо”, чтобы разрушить небо Христа, в котором нет места Иуде.

В 1908–1909 гг. между богословами В. Ильинским и Я. Богородским завязалась полемика об отношении творчества Андреева к христианской религии. В апрельской книжке журнала “Странник” В. Ильинский опубликовал статью, в которой рассматривал Андреева как писателя, стоявшего во главе “мрачно-пессимистического” направления в современной ему литературе. Вместе с тем автор предполагал, что он в своем творчестве “идет в направлении христианства”, “рисует мир без Бога, но тем самым красноречиво говорит о том, как нам нужен Бог”. Анализируя произведения Андреева, Ильинский находит в них “близость к христианству”, он считает, что писатель “вскрывает зло с точки зрения высшей морали” (*Ильинский В.* Современная литература и оценка ее с христианской точки зрения // Странник. СПб., 1908. Апрель. С. 511).

Логику рассуждений Ильинского Я. Богородский назвал талмудической, утверждая, что в повести “Иуда Искариот и другие” писатель глумится “не только над апостолами, но и над божественной личностью Иисуса Христа”, что мнимое “христианство” Андреева есть издевательство над религией; что автор повести без усталости “изображает зло”, “не знает разумно-этического, движущего историю, начала, т. е. Бога” (*Богородский Я.* Странная апология // Православный собеседник. Казань, 1909. № 12; цит. по отд. оттиску ст. Казань: Центральная типогр., 1909. С. 19, 20). Более того, на основании полнейшего антихристианства Андреева Богородский делает заключение о “ничтожестве” “Иуды” и других сочинений писателя “в литературно-художественном отношении” (Там же. С. 20). Он уверен в “неблагонадежности” Андреева – социалиста и декадента одновременно.

В самой основательной из своих работ об Андрееве критик-социолог М.А. Рейснер выделил три группы писателей: “пророков социально-мистического мировоззрения” – к ним он отнес Толстого и Достоевского; “поэтов социальной эстетики” – Тургенева и Гончарова; создателей “социальной идеологии” – М. Горького и Л. Андреева (*Рейснер 1909.* С. 3).

“Остовом” “социальной идеологии” творчества Андреева критик считает “популяризованное нищезнание”: “оно получило у Андреева признание и было переработано в духе русского общественного сознания” (Там же. С. 4). В сущности, речь идет прежде всего о нищезнании, который не только был “воспринят Андреевым”, но получил у него “русское тело и душу” (с. 102). “Русскость” писателя Рейснер усмотрел в двойственности его идеологии: Андреев “проникнут индивидуалистическим сознанием и является фанатичным последователем его”, с одной стороны, а с другой – он “переживает кризис индивидуализма, от индивида переходит к героической личности и в ней находит примирение с миром {...} Провозвестник индивида {...} Андреев становится пророком сверхчеловека и вестником Вечного Разума” (Там же. С. 4–5).

Рассматривая “Иуду” исключительно в ключе ницшевской проблематики, Рейснер отходит от проблематики евангельской. Согласно его логике, Иуду ведет сверхчеловеческое презрение к просточеловеческому, к “человеческой трусости, глупости и рабству”. Но сами люди оказались “еще ниже его злобных и отвратительных характеристик. И даже апостолы отреклись от Учителя (...) не заступились люди за свою величайшую святыню...” (Там же. С. 82–83).

Вместе с тем в лице Иуды из Кариота Рейснер увидел “великое презрение в качестве возрождающего, воскрешающего момента. Иуда предал Иисуса и этим обнаружил свою страшную правду, в которой сам порою сомневался, правду человеческой низости” (“Кто вырвет теперь победу из рук Искарриота? Свершилось!”). Испытанное Иудой после предательства острое ощущение своего одиночества, того, что всё вокруг под его ногами: “земля, дерево, гора, небо, солнце” – “маленькое”, толкуется так: “в предателе родился сверхчеловек” (Там же. С. 110).

И более того, с позиции Рейснера, некоторые отдельные черты Иисуса изображены так, что можно подумать о Нем, что и Он познал “всю глубину презрения к человеку и человечеству”. Подобный оттенок критик уловил в словах самого Иисуса, сказанных в Гефсиманском саду: “Душа моя скорбит смертельно”; он предвидит свою оставленность людьми (Там же. С. 111). Для подтверждения правоты своего взгляда Рейснер использовал косвенные доказательства: изображение Христа в других произведениях Андреева. Царь Ирод (“Савва”) говорит о невыносимых муках Христа, которые Он перенес, познав всю глубину человеческой низости и предательства. Герой “Моих записок” беседует в темнице с распятием Иисуса и со своим собственным портретом. Портрет героя говорит Иисусу распятия: “Иисус, Иисус! Зачем так чист, так благостен Твой лик? (...) Велика Твоя Голгофа, Иисус, но слишком почтенна и радостна она, и нет в ней одного маленького, но интересного штришка: ужаса бесцельности”. Распятый, устами героя, отвечает его портрету: “Кто знает тайны Иисусова сердца?” “Предполагается, – пишет Рейснер, – что Иисус во время искушения Его дьяволом в пустыне не отрекся от Себя, а предал Себя”. Художник в одной европейской галерее видел лик Христа, – и это был “величайший преступник, томимый величайшими, неслыханными муками страдания”. “Через падение и позор, через преступления и ужас совершается созревание сверхчеловека, – утверждает критик. – Великое презрение Ницше превращается в великое преступление (...) Иуды Искарриотского” (Там же. С. 112). По Рейснеру, сверхчеловек Ницше и Андреева – это человек, не только испытывавший грех и раскаяние, но и достигший познания слабости человеческой и над ней возвысившийся.

Как обычно, в периодике 1909 г. публиковалось множество разного рода сообщений, связанных с жизнью и творчеством писателя. Так, в “Золотом руне” была напечатана информация о переводе Лео Бельмонтом “Иуды Искарриота” на польский язык: “Рассказ сильно заинтересовал польскую публику и вызвал ряд статей и лекций о проблеме

предательства” ([Б.л.] // Золотое руно. М., 1909. № 1. С. 111. Отд.: Вести отовсюду). В газете “Одесское обозрение” сообщалось, что “Леонид Андреев возбудил в польской литературе особенный интерес к проблеме измены Иуды Искариота и к психологии предателя Христа. Известный писатель Лео Бельмонт перевел повесть Андреева “Иуда Искариот и другие” на польский язык, а кроме того, посвятил проблеме “Христа и Иуды” “ярко написанную статью и ряд публичных лекций в Варшаве и провинции”. Одновременно польский писатель Густав Данилевский создал произведение из жизни Христа “Магдалина из Вифании”. «На вопрос сотрудника “Tygodnik’a Ilustrowan’wo”, является ли Иуда в произведении Густава Данилевского таким же символом, как у Андреева, польский писатель ответил следующее: “Нет. Я ищу более глубоких, психологических причин, и меня интересует легенда об Иудиных серебряниках. Что это за жалкая плата за голову возлюбленного учителя?”» «Густав Данилевский объясняет предательство мотивами политического характера: евреи ждали царя-мессию, могучего владыку Израиля, победителя врагов, который возвратит Иудее прежние блеск и силу. А Христос сказал: “Царство Мое – не от мира сего”, и патриот Иуда разочаровался в своих надеждах на Христа. Кроме того, в произведениях Данилевского драматический и психологический элемент осложняется еще изображением пылкой любви Иуды к Магдалине (...) Иуда страдает от неудовлетворенной страсти и зависти к могучей силе божественной чистоты Христа, в нем зарождается та ненависть, которая привела его к измене» ([Б.л.] Литературные новости // Одесское обозрение. 1909. 21 янв. (№ 328). С. 2).

Московская газета “Русские ведомости” извещала: «24 ноября в кружке была беседа об “Анатэме”. Докладчик И.Г. Ашкинази упрекнул автора в отсутствии искусства переживания, замененного логизированием. “Иуду Искариота” докладчик назвал наряду с другими произведениями Андреева “плохими перепевами из Достоевского”. Оппоненты гг. Матрюков и Тихонович поддержали докладчика. Оппонент Жураковский и слушатели стали на защиту Андреева и его творчества. Аплодисменты и свист заканчивали беседу» ([Б.л.] В литературно-художественном кружке // *РВед.* 1909. 25 нояб. (№ 270). С. 4).

В газетах 1910 г. было также напечатано множество корреспонденций, касающихся Андреева. “Столичная молва” писала: «Вчера в общезнании сельскохозяйственного института профессор богословия, протоиерей Боголюбский прочел первую лекцию перед учащейся молодежью о библейских мотивах в литературе. Указывая на преемственность вопросов, поднятых Андреевым, лектор вспоминает “мученика и безумца Ницше”, учение которого, впрочем, подсказано еще Достоевским. Андреев и сам не впервые выступает в “Анатэме” с “кричащими запросами”, и в его Анатэме есть что-то знакомое. Он больше всего похож на Иуду: те же разговоры (...) то же (...) лицемерие, ложь и лесть, и способность ненавидеть и любить – в одно и то же время. Анатэма лишь продолжает дело Иуды, Анатэма лишь нахальнее Иуды. Лекция собрала пол-

ный зал, большинство – студенты института, профессора, но и немало приехавших из Москвы, преимущественно – учащейся молодежи. Было много аплодисментов, но и много недовольных было» ([Б.н.] “Анатэма и Иуда” // Столичная молва. 1910. 29 марта. (№ 114). С. 5).

“Киевские вести” со ссылкой на свежий номер английской газеты “Дэйли телеграф” напечатали сведения об английских переводах произведений Андреева и обширную статью о нем одного из крупнейших критиков Англии, редактора журнала “Фортнайтли ревью” Леонарда Куртнея, посвященную разбору сочинений Андреева, в частности его “Иуды”. “Психология предателя, – пишет Куртней, – всегда представляет большой интерес. Невольно задаешься вопросом – что повело <...> апостола Иуду к предательству? Для нас, современных людей <...>, любящих проникать в тончайшие изгибы души человеческой и не могущих уже удовлетвориться <...> поверхностными объяснениями, фигура Иуды Искариота всегда будет полна глубочайшего интереса и значения. Поэтому неудивительно, что один из современных, по духу, русских писателей, Андреев <...> занялся разрешением этой психологической загадки и дал нам версию этой великой трагедии, составляющую один из его замечательных по оригинальности замысла рассказов. Конечно <...> Андреев разрешает эту загадку своеобразно, не держась евангельского текста”. Куртней отмечает, что “евангельские персонажи, окруженные ореолом благоговения, обратились в рассказе Андреева в обыкновенных смертных и от этого, конечно, лишь выиграли в смысле психологического интереса”. А андреевский Иуда, по его мнению, «делается понятнее для нас, он, так сказать, “очеловечивается”. И, конечно, это лучший способ, чем средневековая метода изображать Иуду – чудовищем безнравственности».

“Киевские вести” сообщают также, что “переводчиком рассказов Андреева на евангельские темы явился священник английской церкви В. Лоу”, который признал несоответствие трактовки Андреевым подобных сюжетов тому, чего ожидали бы ортодоксы; однако он приветствовал появление этих рассказов на английском языке, отметив значимость затронутых русским писателем проблем ([Б.н.] Английская критика о Леониде Андрееве // Киевские вести. 1910. 23 апр. (№ 104). С. 3).

Газеты поделились сведениями о возможной постановке “Иуды” на французской сцене: «На днях Леонид Андреев дал согласие на постановку на сцене парижского театра “Theatre de L’Oeuvre” “Иуды”. Рассказ переделан в пьесу на французском языке профессором College’a – m-eur А. Maquingheu. Пьеса будет поставлена в середине октября. Роль Иуды будет играть главный французский актер-трагик – m-eur de Max.

Переделка повлекла за собою упущение многих художественных мест рассказа, что вызвано, конечно, тою новою формой, в которую вылилась трагедия Иуды. Однако, уже одна передача содержания пьесы

убеждает в том, что m-eur Maquingheu весьма тщательно придерживался подлинника и удачно справился с тем богатым материалом, какой представляет этот рассказ для пьесы.

В первом акте – вид дороги, поднимающейся в гору среди скал. Ученики говорят об Иуде, прихода которого ожидают. Иуда является, разговаривает то там, то здесь с учениками, бросает с ними камни. Он обещает первое место возле Иисуса Петру, потом Иоанну, наконец заявляет, что это место он займет сам. Другая сцена того же акта изображает двор харчевни по дороге в Иерусалим. Показываются Иуда и Фома. Иуда жалуется на дурное отношение к нему учеников и хвастается своей проницательностью (...)

Второй акт открывается сценой у первосвященника: Иуда предает Иисуса. Вторая сцена – вечер, терраса дома в виду Иерусалима. Ученики печальны и беспокойны. Иуда приносит им мечи, чтобы защищаться. Ученики засыпают. Иуда спорит с Фомою и Магдалиной. Наконец в тишине ночи выходит из дому Иисус. Иуда бросается на колени, упрасывая его: “Прикажи остаться... Прикажи!..” Иисус остается безмолвным.

В третьем акте – двор Пилата ночью. Солдаты и люди из толпы, сгруппировавшись у огня, разговаривают об аресте Иисуса. Петр отрекается от Учителя. Евреи подходят к зданию, откуда доносятся стоны бичуемого Иисуса. Томясь, идет туда же Иуда. Он стонет при каждом ударе, получаемом Иисусом. Он надеется еще, что Иисус будет спасен, но Учителя проводят через двор под гиканье толпы. Иуда клянется следовать за ним. Во второй сцене – собрание синедриона. Анна дает отчет о смерти Иисуса. Появляется Иуда и кричит евреям правду: “На ваши головы кровь праведника!” В третьей сцене – дом, в котором укрылись ученики. Иуда предлагает им пойти и умереть вместе с ним. Он выкрикивает свой гнев и свое отчаяние и выходит, чтобы покончить с собою. Ученики шепчутся: “Мы ошиблись в Иуде, Иуда изменник...”».

Таково содержание пьесы. Использован почти весь богатый материал рассказа. Выпущены лишь три сцены: суд Пилата, крестное распятие и смерть Иуды. Пьеса получилась трехактная в семи картинах» ([Б.н.] “Иуда” на французской сцене//Киевский театральный курьер. 1910. 18 сент. (№ 688). С. 2. Ср.: [Б.н.] “Иуда” на французской сцене // Камско-Волжская речь. Казань, 1910. 25 июля. (№ 551). Отд.: Театр и музыка).

Как можно заключить из данной информации, действие пьесы сосредоточено на переживании Иудой трагедии предательства, хотя оно и было актом предопределения и судьбы.

В 1910 г. опубликована монография С.Ю. Витте о творчестве писателя. По оценке Витте, повесть Андреева – “один из крупных алмазов” русской литературы. “Очень оригинально, очень интересно понимает Андреев Иуду. Он выставляет его не предателем Христа, а как будто создателем Его Божественности на земле, создателем Сына Человеческого, – Сыном Божиим. Не было бы Иуды, не было бы и Христа. Христос должен был умереть за истину от людей, чтобы воскреснуть

Богом” (*Vumme* 1910. С. 10). Предательство Иуды Андреев “выставляет самой большой жертвой, какая когда-либо была принесена человеком на земле. Жертву эту Иуда принес во славу Христа и на вечный позор человечества” (Там же. С. 12). Автор книги рассматривает сложную диалектику отношений Иуды к Христу и апостолам, как и отношений Христа к апостолам и Иуде, полагая, что Андреев виртуозно раскрыл борьбу противоположных чувств в душе Иуды. Иуда Андреева противостоит мировой традиции истолкования этой фигуры: “Это совершенно новый Иуда, облагороженный, чрезвычайно интересный как тип человека и даже сверхчеловека” (Там же. С. 13).

Рецензий, статей об “Иуде” в 1911 г. вышло немного. Вопрос о жертве и предательстве в творчестве Андреева обсуждает В.Ф. Боцяновский. Он пишет: “Для того чтобы осветить тьму, чтобы вспыхнул огонь, эту тьму озаряющий, необходимо пожертвование более высокое, чем физическая жизнь. Душа нужна. Нужно черту душу продать... Иуда, любящий Христа более других апостолов, предает Его, подвергает себя душевному страданию, какого не испытывает ни один из близких учеников, и делает это только для того, чтобы совершилось чудо, и чудо свершилось” (*Боцяновский В.Ф. Богоборцы Леонида Андреева // Боцяновский В.Ф. Богоискатели. СПб.; М., 1911. С. 235*).

Те же вопросы возникают у одесского критика Н. Подгуга. В статье о “Сашке Жегулеве” он нашел точки соприкосновения Жегулева с Иудой: «Ведь тут все то же, что и в “Иуде”: стремление к божественной истине через грех, преступление, убийство». В повести “Иуда Искариот и другие” “слишком чистое, неземное Божество должно слиться с землей, преступною, пропитанной слезами и кровью, и тесно обнявшись с ее представителем Иудой, воспрянув реальным, конкретным, воплощенным Существом”. Мечта эта, может быть, и возвышенная, но явно неосуществимая. Как и в “Тьме”, в “Иуде” “поставлена проблема религиозная, только прямо противоположная христианской. Здесь тоже вопрос о жертве, об искуплении, только не греха, а наоборот – чистоты, святости, невинности. Грех – нечто роковое, неизбежное на земле; грех – проклятие, страдание, следовательно, заслуга, некий полюс души человеческой.

В святости, невинности – отсутствует это проклятие, страдание – следовательно, есть некое благополучие, которое нужно заслужить, омывшись в грехе, как в купели очищающей...» (*Подгуг Н. Литературный диалог: (О романе Леонида Андреева “Сашка Жегулев”) // Южная мысль. Одесса, 1911. 29 дек. (№ 99). С. 2*).

Критик М.В. Морозов в своих “Очерках новейшей литературы” размышлял о философском смысле образов андреевских “сверх”героев перед лицом жизненного хаоса и рока. «Как в бегущих водах ручья отражаются попеременно новые и новые берега, а воды сохраняют все тот же блеск и ту же синеву, – так и в сменяющемся стиле Леонида Андреева звучит одна и та же струна, которую различаешь сразу и в несчастном Нуллусе, и в Иуде Искариоте, и в докторе Керженцеве, и в Царе Голоде.



Есть что-то общее в скрытой музыке этих различных по замыслу типов. Но особенно резко бросается сходство “Царя Голода” с “Анатэмой”, представляющим развитие идеи, заложенной в “Иуде Искарите”. Перед нами везде борьба одинокого, могучего, но вместе бессильного и раболепно извивающегося перед силой рока ума, презирующего толпу – и вместе любящего ее, страдающего из-за нее и предающего ее, страстно стремящегося овладеть стихийным творчеством жизни, включить ее хаотический поток в законченные пределы целесообразно предусмотренного действия разумной воли. И везде не выясненная развязка {...} Сам автор не овладел еще смыслом мировой трагедии, волнующей его душу» (*Морозов М.В.* Очерки новейшей литературы. СПб.: Прометей, 1911. С. 55–56).

Среди критики 1911 г. обращают на себя внимание разборы “Иуды Искарита”, проделанные священниками А. Швецовым и А. Бурговым. Швецов стремится уяснить “больные стороны интеллигентской мысли по вопросам веры” (*Швецов А., свящ.* Иуда в освещении художественной литературы // Мирный труд. Харьков, 1911. (Оттиск). С. 3). “Еще в древности, – замечает Швецов, – многие учителя Церкви склонялись к тому мнению, что предательство Иуды произошло не из-за одного только корыстолюбия, что Иуда не желал и не ожидал смерти своего Учителя, предполагая, что Христос сумеет найти средство избавиться от врагов невредимым, и тем самым, принужден будет силою вещей преобразовать Царство Иудейское.

Это старинное мнение имеет среди современных писателей господствующее положение, хотя каждый рисует драму жизни Иуды по-своему” (Там же. С. 5).

Швецов останавливается на трех произведениях: Поля Гейзе, Леонида Андреева и Тора Гедберга. Иуда Гейзе (драма “Мария из Магдалы”) придает Иисуса из ревности к Марии, с которой у него была интимная связь и которая полюбила Иисуса. Такой поворот драматического действия в обосновании причины предательства кажется Швецову “личной фантазией Гейзе” (Там же. С. 7).

Мотив любовной связи есть и у Андреева. Однако предательство андреевского Иуды Швецов понимает как следствие его недовольства бездеятельностью Иисуса в отстаивании интересов народа перед синедрионом и римскими властями. Иуда, думает Швецов, хочет поставить Иисуса в положение, которое заставит Его взять на себя ответственность как вождя иудейского народа: Иисуса схватят, народ Его освободит, а Он “вольно или невольно сделается царем” (Там же. С. 7).

Иуда Тора Гедберга<sup>5</sup> “любит Христа и любил бы Его еще больше, если бы не было этой проповеди” (имеется в виду проповедь любви и непротivления злу насилieм). Гедберг предложил психологическое объяснение: “Любовь к Учителю и отвращение к учению” (Там же. С. 13).

<sup>5</sup> Тор Гедберг (Хедберг), повесть “Иуда” (перевод со шведского, 1908).

“Таким образом, – заключает Швецов, – единственно верное свидетельство – Евангелие, все попытки современных беллетристов не выдерживают исторической критики и остаются лишь попытками художественными, поэтическими, без всякой тени правдоподобия” (Там же. С. 13). Обосновывая алчность Иуды как единственный мотив его предательства, Швецов отсылает читателей к авторитету Ефима Сирина и архиепископа Иннокентия (Там же. С. 15–16).

Книга магистра богословия, священника А. Бургова состоит из двух частей. Первая содержит анализ повести как “опыта литературной философии и психологии Евангельской истории в духе пессимистически-нигилистического мировоззрения автора”. “По содержанию своему, – писал Бургов, – это первый более или менее законченный незамаскированный памфлет (...) против Евангельского христианства” (*Бургов А. Повесть Л. Андреева “Иуда Искариот и другие”: Психология и история предательства Иуды: Опыт подробной литературной и евангельской критики.* Харьков, 1911. С. 3).

Смысл второй части книги – в демонстрации несоответствия характеристики “других” апостолов, Иисуса и самого предателя Евангелию, отсутствия в повести “истинного, положительного значения для жизни Евангельской Голгофы” и наличия в ней “разрушительной революционной этики андреевского Иуды” (Там же. С. 1).

Умышленная двойственность образа Иуды раздражает критика, потому что, по его мнению, в герое повести “механически соединены (...) мрак и свет, зло и добро, грязь и чистота, ложь и правда...” (Там же. С. 6). Особенно не устраивает Бургова толкование “глубоко таинственных отношений Христа и Иуды”, как и тенденциозное изображение «“других”, похожих на Него апостолов, воспринявших в свою жизнь Его заповеди непротивления злу насилием» (Там же. С. 14–15). Недвусмыслен итог: главное значение повести усматривается “в изображении психологии неверующего пессимиста с его призрачными, отвлеченными иллюзиями” (Там же. С. 45).

Тем не менее в этой брошюре мы находим суждения, относящиеся к образу Иуды, его мучительно противоречивым устремлениям и внутреннему миру, типа: “Иуда-предатель – собственно не предатель: он предан Христу, как никто”, которые осложняют жесткую схему целого (Там же. С. 22).

Достойны внимания и замечания Бургова о трагическом столкновении двух типов верования – староиудейского (первосвященников и Иуды) и новохристианского. “Предательство Иудой Господа Его врагам – видимым представителям иудейской религии и народа – первосвященникам и старейшинам народа постепенно развивалось из его старо-иудейской веры в Мессию и земной характер Его царствования” (Там же. С. 57). С опорой на труды богословов Бургов приходит к выводу относительно мотива предательства Иуды: “Иуда предает Христа после того, как для него выяснилась вся противоположность личности Мессии-Христа и Его неземной деятельности народному чувственному

мессианскому идеалу” (Там же. С. 61); это приводит Бургова к выводу о том, что побеждает в повести Андреева Иуда и его сверхчеловеческие идеалы.

И наконец, вопреки крайне критическому отношению к повести и ко всему мирозерцанию писателя, Бургов склонен называть ее автора “выдающимся представителем” “полухудожественного, полуфилософского направления в литературе”, талантом, “наиболее сильным после Толстого (...) по своеобразной глубине и оригинальности литературной мысли, грандиозности творческих замыслов, пишущего смелыми и яркими красками” (Там же. С. 2–3).

В 1912 г. вышел в свет “Толстовский ежегодник”, в котором приведен суровый приговор Л. Толстого повести. Познакомившись с “Иудой” по пятому тому Собрания сочинений издательства “Шиповник”, он сказал: “Иуда Искариот” – “ужасно гадко, фальшь и отсутствие признака таланта. Главное, зачем?” (Толстовский ежегодник. М., 1912. С. 141).

В этом же году С.А. Венгеров в статье о Леониде Андрееве заметил, что «из беллетристических произведений последнего периода Андреев в “Иуде Искариоте” (1907) делает психологически малообоснованную попытку в предательстве Иуды усмотреть какой-то своеобразный порыв к правде» (Венгеров С.А. Андреев Леонид Николаевич // Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Лейпциг; СПб., 1912. Т. 2. С. 812).

В 1914, 1915 и 1916 гг. выходят работы об Андрееве маститого критика В.Л. Львова-Рогачевского, молодого ученого Л.С. Козловского и критика-богослова В. Германова, в каждой из которых осуществляется анализ различных аспектов повести.

Львов-Рогачевский не раз обращался к ней и всегда под особым углом зрения. В своей новой книге критик дал высокую итоговую оценку повести: «“Иуда Искариот” – выдающееся произведение нашего времени, оно займет видное место в мировой литературе, а новый образ Иуды-предателя станет перед людьми, перед “другими” наряду с “Юлианом Отступником” Г. Ибсена, Сверхчеловеком Ницше, Великим инквизитором Ф. Достоевского» (Львов-Рогачевский 1914. С. 90).

“Духовными отцами” Анатэмы и Иуды Львов-Рогачевский назвал байроновского Каина и гетевского Мефистофеля. Непосредственными же предшественниками андреевского Иуды он считал трех других: Иуду итальянского художника Бовио (он революционер, пылавший желанием освободить свой народ и предавший Христа как врага своего народа), Иуду Анатоля Франса из романа “Таис” (в понимании одного из персонажей философа, участника застольной беседы, божественная мудрость употребила преступление Искариота “как камень в великолепном здании искупления”) и, наконец, Иуду Тора Гедберга: он, “как и у Леонида Андреева, горячо любит только одного Христа” (Там же. С. 91).

Участниками “пересмотра” образа Иуды-предателя, побужденными к тому андреевским Иудой, Львов-Рогачевский именует А. Рославлева,

автора «крикливого посвящения “Иуде”» (1907)<sup>6</sup>, и А. Ремизова, автора поэмы “Иуда” (1908).

По мысли критика, “вечный бунтарь” Андреев “осмелился пересказать по-своему тайны сердца Иисуса” и “тайны сердца Иуды”, сопрягая их: “Из одного кубка страданий пили они”. «Крестным мукам Христа посвящены откровения “Царя Ирода” из пьесы “Савва”: страдание Христа вызвано не физическим насилием во время акта распятия, а тем, что “он Сам правду узнал”, когда “человеки потащили Его на крест, да кнутьями Его, тут Он и прозрел...”. Иисус переживает предательство учеников Своих, как и предательство “миллионов людей” (“предательство толпы”). Мучениям Иуды-предателя, потрясенного всеобщим предательством, “которое совершается из века в век”, и посвящена повесть Андреева об Иуде и “других”» (Там же. С. 89). В итоге “плохой, проклинаемый от века, был оправдан и поставлен выше наивного оптимиста” (Там же. С. 90).

Критик вывел формулу характера Иуды в словах “ужас мечты”. Он вынудил Иуду на путь “шатания” в поисках разгадки мира; он привел его к Иисусу и Его ученикам; он толкнул его от Иисуса к “делу предательства”. Львову-Рогачевскому Иуда видится суровым мстителем: он пришел “в мир неправды и зла и хотел, чтобы Иисус был заодно с ним против всего мира” (Там же. С. 93). Но при этом отсутствует “дозволенное и недозволенное” в сознании Иуды, который любыми средствами хочет привлечь на свою сторону Иисуса, чтобы с Ним “поднять землю”, на ней разрушить смерть и ради этого разрушить Его небо (Там же. С. 95).

Критику принадлежат суждения об андреевском принципе художественного двоения, или ведения всех мотивов повести на основе приема антиномической парности: “желтая ливанская роза, у которой смуглое лицо и глаза как у серны”, и многорукий кактус, который разрывает одежду и имеет “один только красный цветок и один только глаз”; кроткий галилеянин, проведший лучшие годы в Галилее с ее “тихой водой и зелеными берегами”, и рыжий безобразный иудей, “рожденный среди камней”; “божественная красота” одного и “чудовищное безобразие” другого и т. д.

Автор обстоятельной статьи об Андрееве, Л.С. Козловский до ее публикации, с 1909 г., был известен как критик, откликнувшийся на все его новинки, и как лектор, пропагандировавший его творчество в обеих столицах и городах провинции (Воронеж, Николаев, Киев).

Основной у Андреева Козловский считал тему бунта во множестве ее модификаций, а некоторый спад интереса к его сочинениям в 10-е годы связывал с тенденциями примирения с действительностью, воз-

---

<sup>6</sup> Стихотворение А.С. Рославлева в 1907 г. было опубликовано дважды: в восьмом номере журнала “Образование” и в сборнике стихов Рославлева “В башне” (СПб.). Однако, по воспоминаниям Горького, еще в 1903 г. Рославлев читал его на литературных встречах (см.: ЛН72. С. 286).

никшими в русском обществе после угасания революционного взрыва 1905–1907 гг.

Образ Иуды в повести – ключевой. Ее центр “не Христос”, а “другое, (...) страшное. Это – Иуда”. “В глазах Андреева, – писал критик, – последняя и самая страшная жертва, принесенная во имя любви, это не жертва Христа, а Иуды: Христос дал распять свое тело, Иуда распял свою душу; Христа били и оплевывали, ведя на казнь, у Иуды навеки растоптана и оплевана душа”. Козловский заметил, что Иуда предъявляет те же требования к себе, что и герой “Тьмы”: “не жизнь, а душу свою положить” (*Козловский 1915. С. 264*).

По убеждению критика, “предательство – только маска Иуды, а не его настоящее лицо. Он предает Христа из любви к нему, и с жадной чуда (...) ждет, что люди вырвут Христа из рук мучителей”. Этого не случилось. Но, навеки опозоренный в глазах людей, он надеется, что Иисус поймет его: “Вот почему, – пишет Козловский, – после смерти его красные глаза, налитые кровью, неотступно смотрели в небо” (Там же. С. 265).

«Одни церковники, – пишет Козловский, – увидели в “реабилитации” Иуды “кошунство”. Но и до Андреева в судьбе Иуды видели несправедливость религиозные чуткие умы. Жестокая участь его смущала эти умы: ведь предательство Иуды было необходимо для того, чтобы совершилась земная история Спасителя, предатель был орудием этой истории. Следовательно, ради искупления мира один человек был избран, намечен для этой позорной и страшной роли предателя: *он был принесен в жертву*. Но если он необходимое орудие искупления, то разве можно мириться с его вечной гибелью?» По мнению критика, Андреев задает вопросы мирозданию: “Почему один хороший, другой – плохой?” И утверждает: “Жизнь следует принять – какая есть!” – “Бог ведь тоже хороший!” (Там же. С. 264–266).

С точки зрения автора другой работы об Андрееве, В. Германова, этот писатель интересен читателю прежде всего как мыслитель; художественная ценность его творчества невелика: “Андреев не просто поэт, может быть, даже не учитель, а просто человек, которому не хватило сил молчать, и он на весь мир закричал о своей боли”, занятый выяснением ее метафизических причин (*Германов 1916. С. 129*).

Поэтому для критика первостепенное значение имеют те произведения писателя, сюжеты которых связаны с Евангелием или написаны на темы, близкие к церковным (Там же. С. 131). Андреев «хочет доискаться до объективного смысла Евангелия. Его повесть “Иуда Искариот и другие” несет на себе следы «“пытки” святой книги», чтобы через ее “призму серьезно всмотреться в жизнь”. Цель писателя – это “освещение жизни с точки зрения вечности религиозного приятия ее” (Там же. С. 132).

Критик полемизирует со Львом Толстым, которому при чтении Андреева было “не страшно”. Он полагает, что и у Толстого, и у Андреева одна и та же общая тема – освобождение человека “от ужаса небытия

или бесконечности”; помочь достижению цели “может только Христос” (Там же. С. 140). Но андреевский Иуда идет против Христа, потому что “воспринимает жизнь в позитивной плоскости (...) хочет счастья и правды человечеству, но хочет здешними, земными путями (...) жаждет победы Иисуса над злом мира” – или “порабощающей силою физического воздействия, или рабским подчинением себе через могущество”, как Великий инквизитор. Для Иуды слово “любовь” равно слову “борьба”. Христос же “не понимает ничего в людях, в борьбе”, как думает Иуда. Он поверил в Праведность Христа, но для него не приемлемо “немогущее Божие”. Для него “нет прекрасной жертвы”; жертву Иисуса он воспринимает как “страдание для одного и позор для всех”, поскольку “нет ничего не поруганного и не оскверненного в человеке, если погиб Тот Праведник, Которого он предал”. Иуде не дано понять, что смерть Христа и есть “реальная победа над злом” (Там же. С. 141); смерть Христа в повести означает и для автора и для героя “смерть миру, смерть человечеству” (Там же. С. 142).

Для Германа Иуда – “типичный представитель современного аморализма, хотя он и любит добро. В нем нет центра личности” (Там же. С. 143). Герой повести изображен искателем, но “...чего жаждет Иуда? Правды? Но сам он постоянный лжец, ради спасения Христа... Красоты? Но он не чувствует ее добра и предает Христа... Что же ему нужно?»: «По-видимому, вопрос выскользнул из-под пера Андреева, и “Иуда Искаротский” оказался каким-то туманным, неясным произведением» (Там же. С. 142).

При жизни автора повесть была переведена на эстонский (1907), немецкий (1908), нидерландский (1908), польский (1908), английский (1908 (отрывки), 1909 (отрывок), 1910, 1916), сербский (1908–1909), финский (1909 (отрывки), 1910), чешский (1910, 1918), словенский (1911, 1913), латышский (1912), французский (1914), хорватский (1914), японский (1914), испанский (1914), новогреческий (1915), венгерский (1919) и итальянский (1919) языки.

Прозаическое произведение Андреева в дальнейшем неоднократно интерпретировалось иными видами искусств.

В 1989 г. в Свердловском театре юного зрителя режиссером Анатолием Праудиным был поставлен спектакль “Иуда Искарот” по мотивам повести Андреева, который на смотре детских театров Советского Союза в Москве получил награды сразу в нескольких номинациях: “Лучший спектакль”, “Лучший режиссер”, Лучший художник” (Анатолий Шубин), “Лучший композитор” (Александр Пантыкин), “Лучшая мужская работа” (Владимир Сизов – Иисус и Владимир Кабалин – Иуда).

В 1991 г. режиссером Михаилом Кацем по мотивам повести “Иуда Искарот” и рассказа “Елеазар” был поставлен кинофильм “Пустыня” (киностудии “Дягилевь-Центр”, “Одиссей” (Украина) при участии “Союзтелефильма”; оператор В. Махнев, художник О. Иванов, композитор Г. Канчели). Снятый в двух вариантах (теле- и киноверсия) фильм

удостоился ряда наград: диплома и приза Профессионального жюри на кинофестивале “Заречный-91” (“За художественную уникальность кинематографической разработки масштабной исторической темы”); был номинирован на премию “Ника-91” по категориям: “Лучшая музыка к фильму” (Г. Канчели), “Лучшая работа звукооператора” (Е. Турецкий); обладатель Гран-при международного кинофестиваля “Картахена-91” (Колумбия).

В 1991 г. на Кишиневском телевидении был поставлен спектакль на молдавском языке “Fratele nostru, Iuda” (“Брат наш, Иуда”), инсценировка Вала Бутнару (Val Butnaru).

В 1992 г. в антрепризном театре “О’кей” (Москва) режиссером А. Говорухо был поставлен спектакль “Кто обманул Иуду?” (авторская инсценировка О. Шведова). См.: *Абрамова Д.* Тайна Иуды: Театральная премьера // Вечерняя Москва. 1992. 13 марта. (№ 51). С. 3; *Амитон И.* “О’кей, Иуда!” // Экран и сцена. 1992. № 36–37. С. 5; *Сальникова Е.* О’кей, Иуда? // Театральная жизнь. 1992. № 8. С. 4–5.

В 1998 г. в Хакасском театре кукол “Сказка” был поставлен спектакль “Иуда Искариот – предатель” (режиссер Евгений Ибрагимов, художник Захар Давыдов). Спектакль стал лауреатом фестиваля “Золотая маска” (Москва, 1999, номинация “Лучшая работа художника”), участником фестиваля “Пассаж-2000” (г. Нанси, Франция); в 2012 г. на студии “Россфильм” была снята картина “Иуда” (режиссер А. Богатырев; Иуда – А. Шевченков, Иисус – С. Фролов).

С. 24. *Иуда Искариот (Искариотский)* – один из двенадцати апостолов, предатель Господа (Мф 10: 4). Иуда (*евр.* Иегуда) – “хвала (слава) Богу” или “Бог да будет восславлен”. Искариот – значение спорно: Иш-Кериот – житель, человек из Кариота, очевидно, назван по месту своего рождения в городе Кариоте, находившемся в колене Иудином. Предполагают, что он был единственным иудеем среди галилейской массы других учеников апостолов. Иногда значение имени выводят из *арамейск.* “лживый” или *греч.* “Сикарий”, “Сикариот” – “убийца”: член группы “сикариев” (“убийц”, “террористов”), с оружием в руках борющихся с римлянами (*sicae* – “ножи”).

*Детей у него не было, и это еще раз говорило, что Иуда – дурной человек и не хочет Бог потомства от Иуды...* – Бездетность в Ветхом Завете воспринималась как наказание свыше, посылаемое за грехи, тогда как наличие в семье детей считалось благословением Божиим: “Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева” (Пс 126: 3).

С. 26. *Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик...* – Иоанн по Библии – один из сыновей галилейского рыбака Зеведея; известен под именем Иоанн Богослов как автор четвертого Евангелия, трех соборных посланий и Апокалипсиса (в действительности это сочинения разных лиц). О любви Иисуса к Иоанну см. Ин 19: 26–27.

*Иоанн <...> спросил Петра Симонова, своего друга...* – Симон – первоначальное имя апостола Петра. Один из самых близких учеников

Иисуса. После ареста Иисуса трижды отрекся от Него. Но последующее искреннее раскаяние Петра принял Христос.

С. 27. *Я видел однажды в Тире осьминога...* – Тир – древний финикийский город, крупнейший морской порт и торговый центр.

*...рыбаком из Тивериады...* – Тивериада – галилейский город на берегу Геннисаретского озера (Галилейское море), от города оно же получило название Тивериадское. Тивериада – древняя столица Галилеи, построена в 16 г. по Р.Х. Иродом Антипой в честь римского императора Тиберия.

С. 28. *Фома* – один из двенадцати апостолов Иисуса. Прозвище Фомы в Евангелии – Неверящий – становится нарицательным.

*Твои слова как золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах...* – “Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное притчно” (Притч 25: 11).

С. 30. *...и Матфей, весьма начитанный в Писании...* – Матфей – апостол и евангелист, автор первого канонизированного Евангелия. В число апостолов был призван с должности мытаря (сборщика пошлины).

*...строго говорил словами Соломона...* – Соломон – израильско-иудейский царь (965–928 до н.э.). В Библии – автор “Книги притчей Соломоновых”, “Книги Песни песней Соломона” и “Книги Премудрости Соломона”. Притчи Соломона, как и некоторые другие ветхозаветные книги, а также Четвероевангелие и Апокалипсис широко привлекались Андреевым при создании произведений.

*Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы.* – Притч 20: 20.

С. 34. *Назорей* – человек, принадлежащий к особому классу посвященных у евреев. Давшие обет назорейства воздерживались от вина, не стригли волос, избегали всякого осквернения. Назореями были Иоанн Креститель и Иисус Христос.

С. 37. *Мессия* – помазанник (*др.-евр.*); божественный избавитель, спаситель человечества от зла.

С. 38. *На ночлег они остановились в Вифании, в доме Лазаря...* – Вифания – селение у горы Масличной, близ Иерусалима. Лазарь – “четверодневный”, человек, воскрешенный Иисусом через четыре дня после погребения. Брат Марии и Марфы, уверовавших в Иисуса Христа, ставших Ему друзьями.

*... сидела у ног Его Мария...* – Мария – сестра Марфы и Лазаря, исповедница Его веры.

С. 39. *Смотрящий кротко – помилован будет, а встречающийся в воротах – стеснит других.* – Притч 12: 13.

С. 40. *Сухая смоковница, которую нужно порубить секирой.* – В Библии есть два образа смоковницы – “доброй” и “худой”. Первая, плодоносящая, символизирует положительное начало – веру, жизнь; вторая, сухая и бесплодная, – неверие, неправду, нежить. Бесплодной смоковницей Иисус назвал Иуду.



*Динарий* – наиболее употребительная в Палестине во время земной жизни Спасителя римская серебряная монета; составляет ¼ сикля – денежной монеты, имевшей хождение у евреев с древнейших времен.

С. 41. ...*подошли Иаков, Филипп и другие...* – В повести Андреев индивидуализирует четырех апостолов: Иоанна, Петра, Фому и Матфея. Из остальных учеников Иисуса, ставших Его апостолами, Андреев называет только Иакова, Филиппа, оставив без упоминания тех, у кого в Евангелии нет индивидуальных внешних черт.

С. 44. *Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит.* – Притч 11: 12.

*Разве не тебя назвал Он – камень?* – Иисус назвал Петра “камнем”, на котором будет основана христианская церковь: “ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою” (Мф 16: 18).

С. 45. *Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим.* – Притч 14: 15.

*Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.* – Притч 13,26.

С. 46. *Иуда Искариот (...)* тайно посетил первосвященника Анну. – Анна – первосвященник, один из глав иудейского народа во времена земного служения Иисуса (Лк 3: 2; Ин 18: 13). Анна был председателем синедриона, пользовался большим авторитетом и влиянием. Пятеро его сыновей были первосвященниками.

С. 47. *Фарисеи* – представители общественно-религиозного течения в Иудее на рубеже старой и новой эры, отличавшиеся фанатическим исполнением правил благочестия; в Евангелиях названы лицемерами и ханжами.

С. 48. *Саддукеи* – политическая и религиозная группировка в Иудее на рубеже двух эр. Объединяла высшее жречество.

*Галилея* – область в Северной Палестине; согласно Евангелиям, основное место проповедей Иисуса Христа. В годы Его жизни славилась развитием ремесел и плодородными садами, виноградниками, нивами. Среди ее богатых городов были Назарет и Тивериада.

С. 49. *Тридцать серебряников – вот сколько мы дадим.* – Серебряники – вероятно, серебряные сикли.

– *А то, что Он красив и молод – как нарцисс саронский, как лилия долины?* – Палестинская равнина Сарон славилась своей красотой и плодородием и изобиловала богатством цветов. О цветах саронских упоминается в Песни Песней (2: 1).

*Ведь это одного оболы не выходит за каплю крови!* – Обол – мелкая серебряная (медная) монета в Древней Греции и других современных ей странах. Вопреки упоминанию ее Андреевым, в Иудее в хождении не была.

С. 54. *Мария Магдалина* – раскаявшаяся грешница, последовательница Иисуса; христианской церковью включена в число святых.

С. 51. ...*приносили амбру, благовонное дорогое миро...* – Амбра – воскообразное вещество, продукт жизнедеятельности китов, используется на Востоке как пряность; миро – благовонное деревянное масло; используется для совершения таинства миропомазания.

С. 54. *Иуда Симонов* – Иуда Искариот, сын некоего Симона.

С. 55. *Уже вступил Иисус в Иерусалим на ослиати (...)* *Осанна! Грядый во имя Господне!* – Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим в преддверии распятия и за неделю до Воскресения Христова: “привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних” (Мф 21: 7–9). Осанна – “спасение”. Этим восклицанием евреи выражали радость, благожелание, любовь и преданность Спасителю во время торжественного шествия Его в Иерусалим (Мф 21: 9; Мк 11: 9–10; Ин 12–13).

С. 56. *Вот прошла и последняя вечеря...* – Тайная вечеря, совершенная Господом перед Своими страданиями, на которой Он установил св. таинство причащения (Лк 22: 19–20).

С. 57. *Иисус собрался идти на гору Елеонскую...* – Гора Елеонская, или Масличная, лежит к востоку от Иерусалима. Часто упоминается в Священном Писании; особенно тесно связана гора с событиями из жизни Иисуса Христа. Он удалялся на нее для ночной молитвы. На ней Иисус провел ночь перед предательством. С нее Он вознесся на небо.

С. 58. ...*должно исполниться на Мне и этому написанному: “И к злодеям причтен”*. – Предсказание о причислении Иисуса к разбойникам содержится в Ветхом Завете: “Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем” (Ис 53: 12). Указание же на то, что это предсказание осуществилось, – в Евангелии: “И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен” (Мк 15: 28).

...*открылся им Кедронский поток...* – Кедрон – название упоминаемого в Священном Писании ручья, протекающего между Иерусалимом и Елеонской горой и впадающего в Мертвое море. Кедрон (кроме ручья) – долина и город.

...*поднимались они в гору и приближались к Гефсиманскому саду...* – *Гефсимания* – место у подножия Елеонской горы; знаменито тем, что здесь совершилось последнее искупительное томление Спасителя. Обнесено стеной, внутри которой находится сад с восемью древними маслинами; это одно из самых священных мест в городе.

*Душа Моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте.* – Мф 26: 38 (в Евангелии: “и бодрствуйте со Мною”).

С. 59. *Вы все еще спите и почиваете? Конечно, пришел час – вот предается Сын Человеческий в руки грешников.* – Ср.: “Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Вот,

приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников...” (Мф 26: 45). Сын Человеческий – так назывался Иисус Христос по другой, человеческой Своей природе.

С. 60. *Равви* – Учитель (*др.-евр.*).

С. 64. *Каиафа* – первосвященник, духовный вождь иудеев.

...крикливой толпой все двигались к Пилату. – Понтий Пилат – римский наместник (прокуратор) Иудеи в 26–36 гг. По новозаветному преданию, осудил к распятию Иисуса, хотя видел Его невинность, злобу врагов.

С. 67. *Варрава* – сын Аввы, известный преступник в Иерусалиме, был судим за убийство. Ему первосвященники и народ испросили у Пилата свободу, отдав Иисуса на распятие.

С. 70. *Синедрион* – совет старейшин, высшее государственное учреждение с политическими и судебными функциями в древней Иудее.

С. 73. *Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.* – Притч 16: 32.

– *Уходи отсюда, предатель! (...)* Но всмотрелись лучше в лицо и глаза Предателя (...). В него вселился сатана. – Различие в написании слова “предатель” (с прописной и строчной буквы), возможно, связано (здесь и в других случаях) с различием смысловых оттенков в его употреблении: в знаковом смысле – метафизическое зло (прописная буква) и в обиходном (строчная).

## ТЬМА

(С. 78)

Источники текста:

*ЧА1* – Черновой автограф начала повести. 14 августа 1907 г. Хранится: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед. хр. 12. Л. 2–13.

*ЧН* – Фрагмент повести. Вариант л. 4 *ЧА1*. Хранится: РАЛ. MS. 606/В.34.ii\*.

*ЧА2* – а) Черновой автограф. Без концовки. Под заглавием “Ночь”. 18 августа (1907 г.). Хранится: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед. хр. 12. Л. 14–26; б) Фрагмент. Хранится: РАЛ. MS. 606/С.40.i\* (1 л.). На копировальной бумаге.

*Б* – Berlin: J. Ladyschnikow, [1907]. 65 с.

*АШ* – Литературно-художественные альманахи изд-ва “Шиповник”. СПб., 1907. Кн. 3. С. 9–67.

*Ш*. Т. 5. С. 217–280.

*Пр*. Т. 9. С. 191–208.

*ПССМ*. Т. 2. С. 138–186.

Впервые: *Б*.

Печатается по тексту *ПССМ*.

*ЧА1* – самая первая из сохранившихся рукописей. В этом тексте дана как бы предыстория сюжета в его окончательном виде: последовательно описаны два бессонных дня, предшествовавших появлению героя в публичном доме. Скрываясь от слезки, он ходит из одного ресторана в другой, ночью кружит по городу, меняя извозчиков, утром второго дня заходит в парикмахерскую, затем в синематограф и картинную галерею. Здесь более детально (по сравнению с *ОТ*) описан внутренний мир героя (большое внимание уделено его самолюбиванию, удовлетворенности собственной внутренней и внешней красотой), довольно много говорится о его революционной деятельности в целом и о предстоящем через четыре дня террористическом акте в частности (убийстве посредством бомбы министра внутренних дел, во время которого весьма вероятно и гибель самого героя). Характерно, что в окончательной редакции Андреев отказывается от подобной развернуто-описательной конкретизации, сводя ее к намекам и кратким образным штрихам. Либо фрагменты *ЧА1* используются в позднейшей редакции уже в качестве воспоминаний о бессонных скитаниях (как, например, эпизод посещения картинной галереи, передающий впечатления от “большой черной картины”, – ср. л. 8 *ЧА1* и стк. 294–303 *ОТ*). *ЧН* является вариантом начала л. 4 *ЧА1* (сценка в парикмахерской).

*ЧА2*, начало которого датировано 18 августа, содержит разрозненные листы несохранившейся промежуточной редакции повести. Наиболее важным для генезиса текста в этом архивном источнике является первый лист, отразивший попытку нового зачина повести. Здесь впервые появляется ее название, иное, но семантически близкое к окончательному, – “Ночь”. Автор кардинально меняет сюжетно-композиционные принципы повествования, отказываясь от предыстории и начиная свой рассказ *in medias res*, что подчеркивается отточием в начале предложения: “...И вот тогда он, девственник, он, не ведавший нечистого, он, вся жизнь которого была подобна огню жертвенника, стремящемуся ввысь, доколе не погаснет; он молодой, красивый и строгий – решил поехать в этот дом терпимости” (первая фраза текста). Остальные восемь фрагментов, относящихся к различным эпизодам повести, близки к окончательной редакции, однако многочисленная правка наглядно демонстрирует работу писателя над текстом.

В одной из рабочих тетрадей писателя, в перечне “Задуманные рассказы”, сделана запись: “24. Революционер и проститутка<sup>7</sup>. (Написано 23 августа 1907, не годится)” (*МиИ2012*. С. 134). Она относится именно к *ЧА2* и позволяет нам установить дату завершения работы над редакцией, а также констатировать неудовлетворенность писателя этой вер-

---

<sup>7</sup> Вероятно, эта фраза относится к наиболее раннему слою записи, отразившему рабочее (лишь обозначающее основную мысль) название повести.

сий. В той же тетради находим записи, связанные с кульминационной и финальной частями произведения и позволяющие уточнить движение авторской мысли при работе над повестью:

“Он чувствовал, что она бунтует тоже, и это нравилось, заставляло думать. – Душа бунтовщика – к – первоначально, к тем стихийным, первобытным бунтарям, которые – –

– и вдруг странно добавил: осел – господа. – Кто – *(4 нрзб.)*

С нескрываемой насмешкой на офицера.

Торговая казнь (?) –” (Там же. С. 138).

Цельной рукописи, близкой к *ОТ*, не сохранилось, но, судя по датировке произведения в *ПССМ*, работа над ним была закончена 20 сентября 1907 г.

Творческая история повести “Тьма” может быть рассмотрена в двух планах. Первую творческую историю можно назвать малой, вторую – большой. “Малая” связана с рассказом Горького о возникновении замысла повести на Капри и последующей его реализации. “Большая” – это авторский путь к повести, накопление ее идей и мотивов на протяжении всех предшествующих этапов творческого пути писателя.

Горьковский “вариант” изложен в его воспоминаниях “Леонид Андреев” 1919 г.: «На Капри Леониду сообщили эпизод, которым он воспользовался для рассказа “Тьма”. Героем эпизода этого был мой знакомый, эсер. В действительности эпизод был очень прост: девица “дома терпимости”, чутьем угадав в своем “госте” затравленного сыщиками, насильно загнанного к ней революционера, отнеслась к нему с нежной заботливостью матери и тактом женщины, которой вполне доступно чувство уважения к герою. А герой, человек душевно неуклюжий, книжный, ответил на движение сердца женщины проповедью морали, напомнив ей о том, что она хотела забыть в этот час. Оскорбленная этим, она ударила его по щеке, – пощечина вполне заслуженная, на мой взгляд. Тогда поняв всю грубость своей ошибки, он извинился пред нею и поцеловал руку ее, – мне кажется, последнего он мог бы и не делать. Вот и все.

Иногда, к сожалению, очень редко, действительность бывает правдивее и краше даже очень талантливого рассказа о ней.

Так было и в этом случае, но Леонид неузнаваемо исказил и смысл и форму события. В действительном публичном доме не было ни мучительного и грязного издевательства над человеком и ни одной из тех жутких деталей, которыми Андреев обильно унастил свой рассказ» (*Горький. ПСС-ХП*. Т. 16. С. 351–352).

Напомним необходимые биографические сведения. Андреев приехал на Капри к Горькому после тяжелейшей утраты – кончины жены – и пробыл там с декабря 1906 до 6 (19) мая 1907 г., стараясь преодолеть отчаяние и интенсивно работать. Эсер П.М. Рутенберг, член ЦК партии, которого Горький считал основным прототипом повести (см. выше – “мой знакомый, эсер”), прибыл на Капри нелегально под именем Васи-

лия Федорова в мае 1907 г., скрываясь от преследования властей после убийства Гапона, руководителем и организатором которого он был. Рутенберг не был членом эсеровской Боевой организации (физически убивали Гапона рабочие-боевики), хотя имел причины скрываться как убийца, каковым формально имели основания его считать члены ЦК партии социалистов-революционеров, объявившие его виновным в превышении полномочий.

Воспользовавшись узнавшим от Рутенберга, Андреев начинает писать повесть уже в Петербурге 14 августа 1907 г.: 13-го извещает Горького: “Завтра сажусь работать. Отработанный рассказ, очень скользкий по теме, пришлю тебе для суждения; вызывает во мне некоторые сомнения” (*ЛН72*. С. 295). 26 сентября состоялось его чтение на заседании “Среды” у Андреева (о чем позже). Первые публикации появились в октябре–ноябре 1907 г.

Резко критические отзывы Горького этой (и более поздней) поры о “Тьме” были продиктованы в том числе упреками автору в идейном отступничестве: “революционера – свалить в грязь” (письмо К.П. Пятницкому от 26 октября (8 ноября) 1907 г. – *Горький. Письма*. Т. 6. С. 97). Здесь же сказано: «“Тьма” – отвратительная и грязная вещь (...) я просил этого скота (П. Рутенберга. – *Сост.*) не говорить Леониду о революции и своем участии в ней, я прямо указывал ему, что Л(еонид) немедленно постарается испачкать все, чего не поймет» (Там же). А в письме Андрееву от 16 (29) февраля 1908 г. Горький уговаривает его “бросить”, “пока время, всю эту сологубовщину”, не “поддаваться” “заразному влиянию”; саму же “Тьму” именует “мазницей дегтя” (Там же. С. 186). (В *ЛН72* и *Письмах* помещены и другие, подобные, горьковские оценки повести.)

Андреев признал неудачу, например в письме Горькому от 11 февраля 1908 г.: «“Тьма” – вещь жестоко неудачная, конфузная” (*ЛН72*. С. 302). Но при этом и в письмах, и в публичных высказываниях (о которых также еще пойдет речь) отклонял обвинения в отступничестве, объясняя неудачу лишь качеством художественного воплощения. “Ведь я не изменился, – писал он Горькому 21 марта 1908 г. – (...) И в “Тьме” (откидываю ее слабую форму) (...) я все тот же, что был и в “Савве”, и в “Иуде”. И в “Шиповнике” я тот же, каким был в “Знании”» (Там же. С. 307).

Однако в последующее время Андреев значительно переоценивал свое прежнее отношение к “Тьме” как вещи “неудачной”. Критик и публицист “Вестника Европы” и “Современного мира” Л.Н. Клейнборт вспоминал о сказанных ему – уже в 1913 г. – словах писателя: «Для меня, если говорите вы об удовлетворении своим детищем, на первом месте была и будет “Тьма” (...) “Тьма” никому не угодила, я это знаю (...) Но многие ли доросли до этих тем» (*Клейнборт Л.Н. Встречи: Леонид Андреев // Былое. 1924. № 24. С. 172*). Здесь же приведена и запись со слов Андреева, корректирующая версию о Рутенберге как *прямо* прототипе героя повести, но искаженном автором: “Чего Горький от него хочет?

Чтобы он, Андреев, был верен характеру?” Но ведь он, в сущности, “не знал революционера. Он художественно обобщил то, что случайно дало толчок его творческому воображению” (Там же. С. 175). Впрочем, если судить по фотографическому портрету Рутенберга, опубликованному Ф.М. Лурье в книге “Хранители прошлого. Былое” (Л., 1990. С. 138), то окажется, что первоначальный портрет героя, запечатленный в редакции *ЧА1*, во многом напоминает этого каприйского знакомого: “темные (густо-черные) брови”, “решительно и строго изогнутые губы”, “твердая, круглая и беспощадная” голова. К этим индивидуальным приметам присоединяются “лоснящаяся кожа подбородка и резко очерченные, темные скулы”.

Большая творческая история повести началась с того момента, когда в биографических и художественных текстах писателя возникли мотивы сложного взаимодействия “света” (а также и того или тех, кто полагает себя “светом”) и “тьмы” (и выяснения того, что она такое), как и воздействия на автора ряда философских, идеологических (и общественных), литературных, других факторов, которые могут косвенно рассматриваться в контексте творческой истории.

Свидетельство того, что сам Андреев полагал “светом”, а что “тьмой”, находим уже в его раннем дневнике и в письмах того времени. Едва переступив порог Петербургского университета, познакомившись со студентами – участниками “идейных” кружков, спорящими о способах политической, революционной борьбы с “тьмой”, Андреев-первокурсник записывает 29 ноября 1891 г.: «(...) скверно в Петербурге (...) Действительно, я нахожусь “в центре умственной жизни России”, но если это центр – то несчастная Россия, воспитывающая как лучших своих сынов фанатиков и изуверов свободы, в стремлении к ней подавляющих всякую истинную свободу» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 120). Здесь он чувствует себя “совсем чужим”, в деятельности кружка и в спорах кружковцев его поражает “крайняя узость и односторонность” (Там же. С. 137, 119). Романтизированный комплекс идей “Спасителя”, им переживаемый, резко отличается, в его представлении, от догматического мышления и нравственного фарисейства соучеников. Герой ранней редакции рассказа “Загадка” (1892) намерен употребить все силы на спасение каждого человека, всех вместе, всего человечества от глупости и зла. Его задача – разрушить “темное царство”: “Буду по капле долбить камень невежества и зла (...) Силы у меня хватит (...) Помню ... чувство силы, готовности бороться и победить, обязательно победить”. Его утопия направлена против мирового зла, которое внутри человека; “спасти” все человечество – значит спасти мужика, купца и любого спящего в вагоне поезда: “Всех вас спасу! – думал я, глядя на разбросанные всюду, скорчившиеся тела (...) – И тебя спасу! – прибавил я неожиданно, обратившись к жандарму, – и сам засмеялся своему ребячеству” (см. т. 1 наст. изд., с. 464).

Характерные черты идеального Спасителя, по Андрееву, – это стремление разделить судьбу с теми, кто в спасении нуждается. В фельетоне “О писателе” (1902) Джеймс Линч (псевдоним Андреева) в качестве подобного нравственного эталона избирает Глеба Успенского – “рыцаря духа” отечества и отечественной литературы; чтобы спасти словом, как это умел делать Успенский, писатель “сам своей жизнью, своей спиной и боками должен узнать и испытать все. Он должен голодать с голодными, быть униженным с униженными, быть битым с битыми; он должен страдать всеми страданиями мира...” (ПССМ. Т. 6. С. 282–283). Речь шла об ответственности за спасаемого, о готовности выпить до дна “чашу человеческого горя, унижений, несправедливости и нищеты {...} не с сытыми и обеспеченными должен он и дружить, а с теми, кто обездолен” (Там же. С. 480).

Народнические уроки запоминались и осваивались ранним Андреевым. Учась “мыслить “по Михайловскому”» (ЛАЗ. 51), фельетонист курьерских “Впечатлений” вспоминает «о незадачливом нотариусе, корреспонденте Сосновском. Мягкий, добродушный, заброшен в деревню; вносит в нее начала новой, культурной жизни. “Нужно упасть, чтобы стать ближе к меньшому брату”. И Сосновский падает. Он пьет с крестьянами, пишет для них по кабакам прошения – время от времени обличает в газетах деревенских заправил. И его убивают. Убивают те, в чью пользу он обличал, с кем он дружески выпивал и беседовал {...} Дико и страшно...» (Курьер. 1900. 24 апр. (№ 113). С. 3). Источник этих умонастроений Андреев находит в “Записках профана” Михайловского, ставших символом веры целого поколения: “О, если бы я мог утонуть, расплыться в этой серой, грубой массе народа, утонуть бесповоротно, но сохранив тот светоч истины и идеала, какой мне удалось добыть на счет того же народа!..” (Михайловский Н.К. Полн. собр. соч. СПб., 1909. Т. 3. Стб. 707). Бунин в “Записях” привел эти слова, назвав подобные мысли и чувства “религиозным пафосом” русской народолюбивой интеллигенции (Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 363). Андреев “заражен” комплексом народолюбивых идей “нисхождения”. Однако, рожденный в постнародническую эпоху, он остро ощущает “диссонанс” между прекраснодушием спасителей и устройством жизни, образом мыслей спасаемых. Вслед за Михайловским автору фельетона “Диссонанс” “захотелось уйти и раствориться в этой серой, тупой массе полулюдей”; однако вслед за тем приходит трезвое понимание и скорбное ощущение трагической неразрешимости исторически сложившегося “диссонанса”. Заключительный аккорд вбирает в себя едкий скепсис и печальную самоиронию фельетониста: “Возможная вещь, что через некоторое время я влез бы на козлы, но, по счастью, мы приехали” (ПССМ. Т. 6. С. 333).

Однако сквозь доминирующее настроение “диссонанса” проступала сочувственная оглядка на предшественников. Об этом Андреев написал В.Г. Короленко в связи с кончиной Н.Ф. Анненского в 1912 г.: “... для души моей, для самого в ней заветного, только то поколение и ценно, и близко, и почитаемо, к какому принадлежит Николай Федорович,



какое представляет собою он. Только за ним я чувствовал ту глубокую серьезность, которая дело русской революции делала воистину святым делом, всю литературу подняла на высоту строгого и неподкупного народослужения” (цит. по: *Иезутова Л.А.* Творчество Леонида Андреева (1892–1906). Л., 1976. С. 193).

В повести “Тьма” проблема бунта и бунтующего героя осмысливается в русле идеи “нисхождения” и “народослужения”. При этом важнейшим обстоятельством было время ее написания – пора серьезного разочарования многих деятелей освободительного движения и сочувствовавших ему в идеях и делах революционеров, пора краха революционизма в сознании части русского общества.

“Тьма” – одно из самых интертекстуальных произведений Андреева. Его творческая история имеет ряд прототекстов, прототипов, она окружена различными контекстами, включавшими и то, что предшествовало ее созданию, и то, что сопутствовало ей, как и то, что следовало за ней. Контекст Священного Писания особенно существен. Эпиграфом к повести можно было бы взять слова Иисуса: “Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?” (Лк 11: 35). И другие аллюзии с Евангелием явны и узнаваемы (подробнее об этом см.: *Иезутова Л.А.* Библейские аллюзии в повести Л. Андреева “Тьма” // Литературные чтения: Сб. статей: СПб. гос. ун-т культуры и искусства. СПб., 2003. С. 102–114).

Из художественной, философско-этической литературы роль своеобразных “источников” текста Андреева принадлежит Достоевскому и Вл. Соловьеву как интерпретатору Достоевского. Следующее по значимости место занимают живые реалии русского освободительного движения 1870–1900-х годов и литературные тексты, непосредственно с ним связанные.

Писатель специально не ссылаясь на произведения Достоевского как на претекст “Тьмы”. Однако же центральный ее мотив “тьма–свет” по-своему восходит к Достоевскому, в том числе к “Зимним заметкам о летних впечатлениях” (1863).

Достоевский указал на резкую полярность тьмы и света, как и на то, что, “уживаясь” друг с другом, “упрямо” идя “рука об руку, противореча друг другу”, они “никак” не исключали “друг друга”. При этом их сознательно замечают “передовые сознающие”, бессознательно, инстинктивно – вся масса (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 5. С. 69). В результате возникает “какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся” (Там же. С. 70).

“Масса”, “тьма” – не народ, а “парии общества”, в ком произошла “потеря сознания”, для них «еще долго не сбудется (...) пророчество (...) еще долго не дадут им (...) белых одежд (...) долго еще будут они звать к престолу Всевышнего: “доколе, Господи” (...) Эти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского», толкаются и дают друг друга “в подземной тьме”; они “ищут выхода, чтоб не задохнуться в темном подвале” (Там же. С. 71; курсив мой. – *Сост.*). “Тьме”

хочет противостоять современная личность; однако она далека от идеи братства, и чтобы проникнуться ею, человеку следует “переродиться”, для чего нужны тысячелетия, “ибо подобные идеи должны сначала в плоть и кровь войти, чтобы стать действительностью” (Там же. С. 79). Современной личности следует достичь “высочайшего развития, {...} самообладания, {...} свободы собственной воли”. “Добровольно {...} пойти за всех на крест, на костер, можно только {...} при самом сильном развитии личности”. Рассудком, разумом к этому прийти “никак нельзя, а надо, чтоб оно *само собой сделалось, чтоб оно было в натуре* {...} одним словом: чтоб было братское, любящее начало – надо любить” (Там же. С. 79–80). Уговорить на братство нельзя. Тогда оно “утопия, господа!” (Там же. С. 80).

Эту-то утопию намеревались осуществить революция и революционеры. В “Записках из подполья” (1864) автор назвал попытку перерождения “невозможностью”, “каменной стеной”; апелляцию к “законам природы”, к “выводам естественных наук” он иронически именуется “тематикой” (Там же. С. 105).

На сквозной диалог Андреева с Достоевским, его “Тьмы” с рядом произведений Достоевского, в особенности с “Преступлением и наказанием”, указывала и критика (см. далее).

Из сочинений Вл. Соловьева к “Тьме” имеют определенное касательство “Три речи в память Достоевского”, в некоторых отношениях предвещающие проблематику “Тьмы”. По утверждению Соловьева, современное искусство “привлекает человека к тьме и злобе житейской с (...) желанием просветить эту тьму, умирить злобу” (Соловьев В.С. Три речи в память Достоевского. 1881–1883. Цит. по кн.: Властитель дум: Достоевский в русской критике конца XIX – начала XX века. СПб., 1997. С. 35). Когда его собственная “первая наивная попытка” “восстать против общественной неправды и пересоздать общество по-своему” “привела Достоевского к эшафоту и на каторгу”, он понял, что “был не прав с своим замыслом социального переворота, который был нужен только ему и его товарищам”. “Среди ужасов Мертвого дома Достоевский впервые сознательно повстречался с правдой народного чувства и в его свете ясно увидел неправоту своих революционных стремлений”; он понял: даже “худшие люди простого народа обыкновенно сохраняют то, что теряют люди интеллигенции: веру в Бога и сознание своей греховности”. “Лучшие” хранят “чувство собственного достоинства”, убеждены “в своем личном превосходстве” (Там же. С. 40). “И он почувствовал и понял, что перед (...) высшей Божьей правдой всякая своя самодельная правда есть ложь, а попытка навязать эту ложь другим есть преступление” (Там же. С. 41). С точки зрения Соловьева, ясному уму Достоевского открылись “три истины”: “отдельные лица, хотя бы и лучшие люди, не имеют права насилловать общество во имя своего личного превосходства”, “общественная правда не выдумывается отдельными умами, а коренится во всенародном чувстве”, “эта правда имеет значе-

ние религиозное и необходимо связана с верой Христовой, с идеалом Христа” (Там же. С. 41).

Каторга убедила “лучшего” в необходимости преодолеть “внутренний грех гордости (...) приведший его к человекоубийству”, искупить “внутренний грех самообоготворения (...) внутренним нравственным подвигом самоотречения” (Там же. С. 42). Только “низойдя” к “худшим”, “лучшие” смогут восстановить “солидарность с народом” и “воссоединиться с ним духовно” (Там же. С. 43).

На место пути “насилия и убийства” Достоевский предложил выношенный им путь “двойного подвига”: отречения “лучшего” “от своего произвольного мнения, от своей самодельной правды во имя общей всенародной веры и правды” (Там же. С. 44). Но и народ, в свою очередь, “должен оправдать себя перед вселенской правдой, и народ должен положить душу свою, если хочет спасти ее” (Там же. С. 44). Однако “исцеление”, “спасение” может прийти только со временем.

Размышления Вл. Соловьева об актуальности идей Достоевского о духовном, братском, “вселенском” воссоединении “верха” и “низа” человеческого перед назревающей в России универсальной катастрофой находят известное соответствие с логикой сюжетного развития “Тьмы”.

Следующее место по значимости для творческой истории произведения принадлежит, как уже сказано, поколению Н.Ф. Анненского, народникам 70-х годов (землевольцам, народовольцам, чернопередельцам, др.). Показательно письмо Андреева М.П. Неведомскому 1904 г.: “Мне хочется написать о террористах-семидесятиниках, дать душу этого движения, этих людей, о которых я знаю только по книге, и я думаю, что это может мне удастся” (Искусство. 1925. № 2. С. 266).

К их числу принадлежал Александр Константинович Соловьев (1846–1879), один из первых террористов, покушавшихся на жизнь Александра II, и, возможно, один из прототипов повести. Уже во второй половине октября о Соловьеве как возможном прототипе героя “Тьмы”, о сходстве сюжета повести с биографией террориста 70-х годов заговорил читинский эсер, писатель, критик Исаак Г. (псевдоним И.Г. Гольдберга), следивший за творчеством Андреева, бывший его заочным учеником по писательскому ремеслу (*Г. Исаак. Литературные очерки // Забайкальская новь. Чита, 1907. 21 окт. (№ 125). С. 2; отмечено В.Н. Чуваковым, см.: БиблиА2. № 938*). Вслед за ним, в один и тот же день, о возможной прототипичности фигуры Соловьева заявили – с отсылкой к журналу “Былое” за 1905–1906 гг. – Е.Д. Кускова и критик Д.Л. Шпитальников.

Е.Д. Кускова заметила, что “в основу драмы, нарисованной Андреевым”, легла “психика неустойчивого равновесия”: «самая фабула – бьющий на эффект контраст: террорист и проститутка. В этом фантастическом сочетании еще нет, конечно, ничего нереального. Возможно даже, что канва взята из доподлинной действительности: как известно, Соловьев был вынужден провести ночь перед покушением на Александра II у проститутки, которая затем фигурировала на допросе (...) Неустойчивое равновесие, больная совесть – вот что служило подпочвой

высокой, но узкой, как гроб, догмы русского интеллигента. Он молился отвлеченному Богу, не различая мелких черт Его лика, он чурался плоти, дьявола, хаоса жизни, не понимая неразрывной связи между божественным и плотским (...) Эта странная связь предстала перед ним в образе Любы и потребовала от него простого, ясного отчета, – к чему далекому идешь ты, холодный к земному, когда я, трепетная и горячая, должна пить полными глотками всю грязь жизни? “Стыдно быть хорошим (...)”» (Е.К. [Кускова Е.Д.] Драма русского максимализма // Товарищ. СПб., 1907. 6 (19) дек. (№ 332). С. 2).

Д. Тальников разместил свою статью о повести в трех номерах “Одесского обозрения”. В первом он отсылает читателей к биографии А.К. Соловьева: «Сюжет (“Тьмы”) невольно напоминает факт из биографии одного из выдающихся русских террористов 70-х годов – Соловьева, – рассказанный в “Былом”. Соловьев провел последнюю свою ночь у проститутки. Сюжет самый неожиданный, полный самых резких контрастов – самой причудливой игры света и тьмы... Таими сюжетами любил играть великий наш и “жестокий” талант Достоевский... Помните вы убийцу Раскольникова у блудницы Сони?..» (Тальников Д. [Шпитальников Д.Л.] Леонид Андреев и его Тьма // Одесское обозрение. 1907. 6 дек. (№ 7). С. 2).

По-видимому, рецензенты были правы: именно в “Былом” Андреев мог почерпнуть сведения о террористе, предположительно давшие еще один толчок к созданию повести. Для русских Елезаров, только что выпущенных из застенков Шлиссельбурга, Петропавловки и др., Соловьев как социалист, с которого начался политический террор, впервые санкционированный партией, был фигурой знаковой. Повествуя о нем, революционеры обсуждали проблему террора, актуальную не только для июня 1879 г., когда исполнительный комитет партии “Народная воля” узаконил террор, но и для 1905–1907 гг., когда он еще продолжался. Первой отозвалась участница покушений на Александра II О.С. Любатович. В ее воспоминаниях целая глава посвящена первому террористу и названа “Выстрел Соловьева”. Она рассказывала о смуте, возникшей среди социалистов после выстрела: о “потрясении” Веры Засулич, о тревоге Я. Стефановича и Л. Дейча, о решительности С. Кравчинского и М. Попова (см.: Любатович О.С. Далекое и недавнее // Былое. 1906. № 5. С. 241).

Н.А. Морозов также воссоздал картину разброса мнений о тактике борьбы в редакции “Земли и воли” накануне выстрела Соловьева. Сам Морозов доставал Соловьеву револьвер, тот, из-за особенностей которого убийство сорвалось (см.: Морозов Н.А. Возникновение “Народной Воли” // Былое. 1906. № 12. С. 4–8). Не исключено, что история с револьвером отозвалась и в “Тьме”, если вспомнить, что и с Морозовым, и с другими шлиссельбургскими узниками Андреев был знаком.

Подробные воспоминания и о выстреле и о личности Соловьева были напечатаны после выхода в свет “Тьмы”. Но сведения, там имевшиеся, задолго до того могли быть известны Андрееву, поскольку, как

сказано, он общался с бывшими каторжанами. Примечательны статья В.Н. Фигнер (хорошо знакомой Андрееву), а также пространная информация о судебном деле Соловьева, напечатанная в журнале “Былое” в 1918 г.

Вера Николаевна Фигнер сосредоточилась на личности и судьбе Соловьева; она обратила внимание на некоторые факты его биографии, типологически схожие с деталями биографии других террористов, небезынтересные в свете образа героя “Тьмы”.

Обсуждая вопросы, актуальные для их деятельности, Александр и его друзья-революционеры часто оперировали словами “товарищи”, “товарищество”; Андреев вводит в повесть круг размышлений Алексея о соотношении своих поступков с кодексом убеждений и поведения своих “товарищей”.

Отчет о процессе Соловьева, подписанный анонимом и напечатанный в трех первых номерах “Былого” за 1918 г., содержит ряд деталей, очевидно известных Андрееву, которые он по-своему использовал в “Тьме”. Собирабельный “народ”, среди которого работал террорист, воспринимался им как “тьма”; сам же “народ” чаще всего считал террориста врагом отечества. Из отчета: «Фельдфебель гренадерского полка Андреев, 41 года, жена наборщика Генерального штаба Тихонова, 45 лет, крестьянин рязанской губернии Храмов, 28 лет, назвали Соловьева “злодеем”» (№ 1. С. 136). Но Соловьеву покушение виделось как реализация “служения народу, бедность и нужды которого” он “принимал близко к сердцу” (№ 1. С. 141–142).

Некоторые детали, также, по-видимому, прежде известные Андрееву, использовались им в качестве узнаваемых проточерт образа и характера героя, сюжета, др.

Так, незадолго до покушения Соловьев “носил маленькую бородку, 30 марта сбрил ее вечером в парикмахерской на Невском за Аничковым мостом” (№ 1. С. 148). Бритье в парикмахерской фигурировало в черновом автографе “Тьмы”. В показаниях Соловьева дважды фигурирует эпизод с проституткой: “Ночь с пятницы на субботу провел я у одной проститутки” (ночь с 30 на 31 марта); “ночь с 1-го на 2 апреля – снова ночевал у проститутки, ушел от нее в 8-м часу утра” (№ 1. С. 148–149) (добавим: и отправился на теракт. – *Сост.*). Косвенно соотнесен с этим и сюжетный мотив “Тьмы”. На процессе были допрошены в качестве свидетелей родственники и знакомые Соловьева и его товарищей. Они объявили единодушный “вердикт”: Соловьев “доверчив, бессребреник, человек странный”; одна из свидетельниц добавила: “...я считала его за юридикового” (№ 3. С. 186). С долей удивления и превосходства отнеслись к Алексею–Петру обитатели публичного дома в повести Андреева.

Возможно, среди обративших на себя внимание автора “Тьмы” революционеров был и известный земле- и народоволец Дмитрий Андреевич Лизогуб (1849–1879). В 1906 г. вышли два произведения, ему посвященные: очерк “Дмитрий Лизогуб” в цикле “Революционные профили” С.М. Кравчинского и рассказ “Божеское и человеческое”

Л.Н. Толстого. В обоих выделены необыкновенная самоотверженность и самоотдача, служение делу и народу, желание пострадать и принять на себя мученический крест. Портрет, написанный Кравчинским, и образ, созданный Толстым, во многом расходятся. Кравчинский делает акцент на силе революционных настроений и жажде послужить делу революции. По словам Кравчинского, Лизогуб был “чистейшим из людей”. “Для него убеждения были религией, которой он посвящал (...) каждое свое помышление”. Семья не заводил. Девственник в свои тридцать лет (*Степняк-Кравчинский С.М.* Соч.: В 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 424). Иной образ, зная о Лизогубе от народовольцев, создал Толстой. Он проследил путь Светлогуба (так символически стала звучать фамилия Лизогуба) от религии революции к религии Христа.

Дм. Лизогуб Кравчинского и особенно Светлогуб Толстого резко отличаются от героя “Тьмы”. Однако они соотносятся в самой попытке во что бы то ни стало “душу отдать”. Герой Андреева далек от святости, но его уход во “тьму” – близкой нравственной природы.

К творческой истории “Тьмы” имеют косвенное касательство также и крупные сочинения С.М. Кравчинского “Подпольная Россия”, “Андрей Кожухов”, изданные в России в 1905–1906 гг., наряду с сочинениями других писателей народнического круга. Движение русских социалистов 1870-х годов, убежден автор, “едва ли можно назвать политическим. Оно было скорее каким-то крестовым походом, отличаясь вполне разительным и всепоглощающим характером религиозных движений. Люди стремились не только к достижению определенных практических целей, но вместе с тем к удовлетворению глубокой потребности личного нравственного очищения” (Там же. С. 381).

Когда на смену пропагандисту пришел террорист – эта “сумрачная фигура, озаренная точно адским пламенем” (Там же. С. 384), мягкие черты подвижника сменились противоположными. Народников 80-х годов Кравчинский назвал “погребенными людьми”, в чьей деятельности «“млеко любви” социалистов прошлого поколения превращалось мало-помалу в желчь ненависти» (Там же. С. 387). Тем не менее “Подпольная Россия” стала дифирамбом личности русского террориста. Но при этом ее автор не раз утверждал: “Я меньше всего думаю проповедовать абсурдную доктрину терроризма” (*Степняк-Кравчинский С.М.* Записная книжка // К вопросам русской и национальной филологии. Ставрополь, 1968. Вып. 1. С. 94).

Можно предположить, что в созданном Андреевым в пору заката и вырождения русского терроризма сложном, полном внутренних противоречий образе многое шло от “Подпольной России”. Герой “Тьмы” имел два имени: настоящее – Алексей и вымышленное – Петр. Первое как бы соответствовало облику пропагандиста 70-х годов. Назвавшись Петром, он желал выставить себя “камнем”, лежащим в основании террора, твердым и безжалостным революционером. И при этом был аскетом, 26-летним девственником, убежденным смертником.

Роман “Андрей Кожухов” в среде народолюбивой интеллигенции долго воспринимался как образец изображения героя времени. Поэтому предполагаемый интерес к нему Андреева естествен. Роман был написан по-английски в 1889 г.; в 1907 г. – если верно наше предположение – Андреев как бы “примеривает” его к российской действительности, желая взглянуть на последователей тех, кто интересовал Кравчинского (о чем тот писал в “Предисловии” к изданию 1890 г.) “не как политические деятели”, а как “восторженные друзья человечества, у которых преданность своему делу достигла степени высокого религиозного экстаза, не будучи сама по себе религией” (Там же. С. 622). По словам автора, его задачей было “верно изобразить известный тип современных людей, повторяющийся в наш благородный век повсюду в сотнях разнообразных форм”. При этом он уверен в том, что “был далек от превознесения терроризма, как и от его порицания” (Там же).

Сам Кожухов замечает противоречие между политической доктриной террориста и гуманистическим началом его личности. Перед терактом он говорит себе, что покушение для него – “дело второстепенное”, главное: “он готовился умереть” (Там же. С. 293). Иными словами, на первом месте для него была внутренняя самооценка. Андреев берет в качестве сюжетной основы сходную ситуацию, но проблематизирует ее, включая важный аспект – восприятие и оценку “подвига” революционера “другими”, не-революционерами.

Роман Кравчинского принято считать автобиографическим. Это не совсем так: Кожухов, в отличие от автора романа, охотится не за шефом жандармов, а за “главным лицом” империи. Кравчинский первый воспользовался историей Соловьева. Полагаем, что Андреев в черновой редакции повести также рассматривает историю Соловьева, но через фактографию романа “Андрей Кожухов”: здесь явствен отзвук главы “Последняя прогулка по городу”. У Кравчинского она в точности передает реальный маршрут Соловьева от Таврического сада до Дворцовой площади; в черновом автографе “Тьмы” “прогулка” заменена долгим бегом Алексея по городу от своих преследователей, знающих о готовящейся акции, в страхе перед возможным провалом. Здесь и известная история с револьвером: у Соловьева и Кожухова он послужил помехой успеха операции; у героя “Тьмы”, хоть и по другой причине, стал ловушкой для террориста.

Среди источников “Тьмы” находятся не только сочинения неколебимых революционеров. Не менее важны для нее произведения революционеров 70–80-х годов, сомневающихся в правоте террористических деяний или от них отказывающихся. В их ряду знаменит А.О. Осипович-Новодворский своей повестью “Эпизод из жизни ни павы, ни вороны” (1877) о крахе идеи хождения в народ и рассказом под названием “Роман” (1881), где персонажи признают единственным результатом жизни революционных народников “чахотку, а не то замо́к”. Главное в произведениях Осиповича – безусловное признание неизбежности поражения народничества.

Симптоматическое значение приобрела жизнедеятельность Л.А. Тихомирова и Ю.Н. Говорухи-Отрока, отвергших иллюзии положительного значения революционной работы, преодолевших личный революционизм, поставивших на место подвига самопожертвования либо идею совершенной монархической власти, способной объединить здоровые силы России, либо идеал свободной личности. В исповедальном сочинении “Почему я перестал быть революционером” (Париж, 1888) Лев Тихомиров покаялся в запоздало пришедшем прозрении. Особенность своей позиции Говоруха-Отрок передал через мысли и поступки персонажей своих произведений. “Эти люди освещаются у Говорухи-Отрока трагическим светом и характеризуются как сложные натуры гамлетического склада” (*Бялый Г.А. Основные направления русской прозы 70–80-х гг. // История русской литературы: Литература 70–80-х годов XIX в. М.; Л., 1956. Кн. 1. С. 138*).

Вероятно, что первое сообщение в печати о “Тьме” принадлежало В.Г. Тану-Богоразу – общественному деятелю, писателю, ученому. В популярной петербургской газете “Утро России”, выходящей при участии Андреева, 30 сентября 1907 г. он извещал о чтении “Тьмы” 26 сентября на литературной “Среде”, бывшей в доме писателя на Каменноостровском. (Повесть читал Блок: “...звук за звуком, ровно, бесстрастно и печально...”) В интервью “У Леонида Андреева” 5 октября (газета “Русское слово”) журналист Эс. Пэ. [С.Л. Поляков] сообщал о завершении “Тьмы”.

10 октября “Голос Москвы” напечатал предуведомление о готовящейся к выходу из печати третьей книге альманахов издательства “Шиповник”, в состав которой вошла “Тьма”. 4 ноября аноним “Тульской молвы” сообщал поклонникам таланта Андреева о его якобы намерении переделать повесть в пьесу для театра Ф.А. Корша. 16 и 17 ноября две петербургские газеты – “Сегодня” и “Обзорение театров” – извещали о приближившемся моменте выхода в свет альманаха с “Тьмой”, что состоялось в том же ноябре.

В дальнейшем газеты и журналы продолжали напоминать о “Тьме” и ее авторе. Шутливый “Фавн” из екатеринославской “Русской правды” 5 января 1908 г. информировал читателей: «На днях в помещении правления Общества сотрудников периодических изданий состоится секретнейшее литературное собеседование на тему – “Тьма” Андреева, а, может быть, и на другие темные темы». 6 января рецензент газеты “Сегодня” упомянул о следующем инциденте: “По словам московских газет, в числе поздравлений, принесенных Андрееву за его великолепный рассказ, была, между прочим, депутация от московских студентов эс-деков, которые очень горячо благодарили талантливого автора за то, что он так удачно изобразил эс-эра в столь глупом положении”.

Две московские газеты (“Руль” от 27 февр. и “Вести понедельника” от 3 марта 1908 г.) опубликовали отчеты о лекциях В.И. Стражева в молодежном литературно-художественном кружке о “Тьме” Андреева.



Псевдоним А.Т. из “Руля” требовал подходить к “большому писателю осторожно и вдумчиво. Шаблонными выкриками, праздно болтовней не объяснишь его, а только наскучишь. Только и наскучили вчера и г. Стражев и его чересчур молодые оппоненты. Пора быть серьезными, господа!” Б. Бирман из одесского “Голоса” 28 апреля 1908 г., рассуждая о пессимизме автора в “Тьме”, находит его корни “в обстоятельствах личной жизни” самого писателя. О. Норвежский (О.М. Картажинский) в петербургском еженедельнике “Театр и искусство” от 4 мая 1908 г. поместил написанный им “силуэт” Андреева, выделив в нем андреевскую фразу о “центральной мысли” повести “Тьма”: “Стыдно быть хорошим”. Интервью с Андреевым А. Потемкина из “Петербургской газеты” от 27 августа 1908 г. запечатлело один из моментов сомнения и критического отношения к повести самого писателя: “Тьма”, сказал он, “мне совсем не удалась (...) стараний было много, я никогда так не бился над вещью... Жаль, очень жаль, что испортил тему, которую считаю чрезвычайно важной...”. (Однако позже, в письме 1918 г., сказал совсем другое: “Вершины я достигаю в 906–7 г. (...) рассказов *выше* Иуды и Тьмы нет”, см.: *S.O.S.* С. 233–234.)

“Харьковское утро” 31 августа познакомило читателей с юмористической “Литературной ярмаркой” П.Д. Маныча, скрывавшегося под псевдонимом П. Тавричанин. Ударный диалог между критиком и его собеседником был посвящен “Тьме”: «“...Ну, что, пророк, скажите, что будет гвоздем сезона?” – спрашивал я приятеля в вагоне. “– Конечно, Андреев и “Шиповник””, – не задумываясь отвечал критик». В общем хоре голосов звучали и негативные ноты. Так, на вопрос интервьюера Н. Угрюмова (Н.А. Бенштейна) о его отношении к последним произведениям Андреева М.П. Арцыбашев ответил: «“Жизнь Человека”, “Тьму”, “Царь-Голод” нахожу произведениями слабыми, ходульными, неискренними...» (Донская жизнь. 1908. 3 сент.).

Воспоминания о 1907 году рабочего, социал-демократа, депутата I Государственной думы И.Н. Антонова о каприйском разговоре с Горьким о “Тьме”, напечатанные в 1913 г., возвращают нас к тому моменту жизни и творчества бывших друзей, когда их пути и позиции разошлись. Как вспоминает Антонов, Горький сказал ему: “Мне не нравится этот рассказ... Где вы видели таких революционеров, которых так легко можно было бы сбить простым парадоксом? Все это выдуманно. Тему эту принес мне один мой приятель, но я отказался от нее... Сказал, что писать не умею. И попросил приятеля не давать этой темы Андрееву, а то он всю обедню испортит. А ведь действительно обедня!

А тот меня не послушал, рассказал Андрееву, и вот что вышло... После этого рассказа я даже поссорился с Андреевым. То есть, как поссорился? Просто перестал ему писать. Не по тому пути пошел человек... А жаль... Огромный талант!..” (*Изгнанник. О воспитании* // Оренбургская газета. 1913. 11 окт. (№ 224). С. 2).

Эхо 1907 года дошло до года 1915-го. Некто Янус напечатал в московском журнале “Пегас” обзор “Литература за десять лет”. “Тьму”

и 1907-й год Янус воспринял как “освобождение Андреева от влияния Горького”: «революционер отправился в дом терпимости и перестал быть “бомбистом»» – “там произошел переворот в его миропонимании” (Пегас. 1915. № 1. (Нояб.). С. 74–75).

Любопытным штрихом в ряду литературно-биографических материалов, касающихся “Тьмы” и опубликованных в печати, стали воспоминания гимназистки о 1907 годе, написанные 12 лет спустя. Девушка призналась Андрееву, что переживание “Тьмы” побудило ее “идти во тьму жизни”; Андреев поведал, в свою очередь, что “когда писал, то сам переживал это”, “но это состояние” он советует ей “победить”: “работать надо”. В этом же разговоре Андреев обозначил позицию Человека, героя “Тьмы”, других “противляющихся” героев: “Разве гордый протест не есть победа?” (А.П. О Леониде Андрееве: Страничка из личных воспоминаний // Возрождение Севера. Архангельск, 1919. 27 сент. (№ 213). С. 2).

С конца ноября 1907 г. начали печататься рецензии. Одним из первых восторженно откликнулся Незнакомец из “Одесских новостей”: «Высоко взметнулась в небе литературы новая, блестящая звезда и озарила своим светом все планеты, хотя и называется “Тьмою”...» За три дня вся мыслящая, читающая, культурная Одесса прочла повесть и охвачена “жгучим дыханием таланта”. Она о “трагической пропасти”, вмещающей в себе чистоту и грязь, “огненный бунт возмущенной справедливости” и “море слез”. “Тьма” – “вдохновенная, пламенная книга” о “безднах человеческой души” (Незнакомец [Флит Б.Д.]. Мелочи жизни: Альманах “Шиповник” // Одесские новости. 1907. 22 нояб. (№ 7375). С. 3).

В 1907 г. один из постоянных критиков произведений Андреева, А.А. Измайлов, писал о “Тьме” трижды: «Что нового в литературе? Новый рассказ Леонида Андреева “Тьма»» (Биржевые ведомости. 24 нояб.), “Литература экстаза” (Слово. 30 нояб.) и “Потемки души” (Русское слово. 8 дек.). Измайлов характеризовал “Тьму” как произведение психолога-позитивиста, занятого “противоречиями и парадоксами человеческой психики”. Как “сына своего времени”, писал он, Андреева занимают “люди исключительной психологии”; в этом тяготении “есть естественное, ненаигранное, без всякой подделки выявление писательского интереса и художественной сущности”. Андреев является “исследователем трагедии психологического извращения и его истории”. В герое “Тьмы” Измайлов усмотрел “самоуслаждение и щекочущую боль в сознании падения”. Тем более что это сладострастие страдания в падении “ради другого”. Оба переворота в сознании и психике двух главных героев – «психологически слабые места: “чистый” пал ради “падшей” – “падшая” от этого нравственно прозрела. Это деланно, это неправдиво и портит вещь» (Измайлов А.А. Литературные беседы: Потемки души: По поводу нового рассказа Л. Андреева “Тьма” // РС. 1907. 8 дек. (№ 282). С. 2).

Критик и в 1908 г. не расстался с “Тьмой”. В “Слове” от 1 января и 15 февраля под псевдонимом Неблагодарный Читатель он известил читателей об успехе альманахов “Шиповника”, в том числе и третьего – с “Тьмой”, снова предложив понимание “Тьмы” “как опыта интересного психологического парадокса, как попытки подготовить и оправдать (...) дикий и невероятный человеческий аффект...” (Слово. 1908. 15 февр. (№ 381). С. 2).

В конце ноября и в течение всего декабря 1907 г. появилось множество рецензий в разных городах России (в Петербурге, Москве, Одессе, Харькове, Баку, Туле, Чите), отмеченных многообразием идейных и художественных установок, мнений и оценок.

В принятии и непринятии, в похвалах и порицаниях столкнулись столичная “Русь”, либеральные московские “Русские ведомости” и “Русское слово”, “Наш понедельник”, петербургские “Товарищ”, “Свободные мысли”, “Час”, “Наш день”, “Одесские новости” и “Одесское обозрение” и др.

Одна и та же газета могла напечатать два отрицающих друг друга отзыва. К примеру, 4 декабря харьковская газета “Утро” публикует рецензию С.В. Потресова-Яблоновского, автора не менее тридцати рецензий и статей об Андрееве, по преимуществу положительных. “Тьме”, однако, не повезло. Андреев, по мнению рецензента, хотел столкнуть террориста и проститутку для того, чтобы они оказали друг на друга “страшное влияние: переродить души друг другу, поменяться символами веры”, но со своей задачей не справился. И хотя “Тьма” “многих волнует”, хотя в ней «видят слова страшной правды, и сам автор говорит, что его герой в конце переживаемого им перерождения смотрит уже “с высоты своей новой, неведомой миру и страшной правды”», критика “Тьма” не удовлетворила: перерождение героев в ней психологически не мотивировано, а повесть являет собой “не искусство жизненного правдоподобия”, а “искусство обращения с парадоксами”, ради которых Андреев “пренебрег правдой жизни” (*Яблоновский Серг. [Потресов С.В.] На канате парадокса // Утро. Харьков, 1907. 4 дек. (№ 305). С. 3).*

Но тогда же в споре с Яблоновским – в том же ключе, но с иной оценкой – выступил также известный среди критиков Андреева Н.Е. Полярков. В “Тьме” его немного шокировала тема – “неправдоподобная, слишком случайная”; но выполнена она “по-андреевски, сильно, красиво, увлекательно”. Каждая строка повести – “новая красивая петелька большого прекрасного психологического узора. В мелких деталях, в смелых образах, в нервном стиле, в умении держать все время читателя в гипнозе интереса к тому, что будет дальше, чувствуется большой талант” (*Полярков Н.Е. Критические этюды: Альманахи и толстые журналы // Утро. Харьков, 1907. 8 дек. (№ 306). С. 3).*

Среди рецензентов 1907 г. оказались, помимо названных, известные в своем кругу и в орбите Андреева литературные критики Н.Л. Геккер, А.Г. Горнфельд, И.Н. Игнатов, Г.Я. Полонский, известный старообрядческий епископ о. Михаил, а также А. Блок, М. Волошин и др.

Откликнулась на произведение Андреева и официальная газета “Россия”: Ergo назвал “Тьму” “зловонным и гнилым продуктом”, который “наше освободительное движение выкинуло на задворки русской беллетристики” (*Ergo [Гинзбург Р.И.]*. “Стыдно быть хорошим” // Россия. СПб., 1907. 29 нояб. (№ 619). С. 2), а некто Юр. Гр. представил “Тьму” как “истинный перл сумасшедшей литературы”, как “ни с чем не сравнимую по глупости историю жизни русского революционера” (*Юр. Гр.* Литературные новинки // Россия. СПб., 1907. 30 нояб. (№ 620). С. 2).

Декабрьскую критику возглавил И.Н. Игнатов с уяснения времени и места действия, при которых происходит встреча героев. Если у романтиков – это королевский двор, то в начале XX в. – публичный дом. Непосредственно “Тьме” в этом смысле предшествуют “Штабс-капитан Рыбников” Куприна и “Стены” Найденова. Внешняя фабула у Куприна и у Андреева “захватывающе интересна” и однотипна: герой (офицер-террорист) пришел в публичный дом с целью укрыться и выспаться там и там – узан проституткой, отдан в руки полиции, арестован. В событии этом, как в фокусе, раскрывается смысл произведения, а в случае с “Тьмой” – и “философия автора”.

Первоначально герой стоит на “человеческой точке зрения”: “Он отдает свою жизнь, привязанности, склонности (...) для блага других людей”. Вопрос проститутки о праве “быть хорошим, когда она плохая”, прозвучал для него “как откровение”, он потребовал от героя “равенства немедленно” – равенства в самой “порочности”, в чем якобы может проявиться “истинная любовь, стремящаяся к действительному равенству, а не к моральному аристократизму”. По утверждению Игнатова, Андреев обратился здесь уже к проблеме “сверхчеловеческой нравственности”, к “новейшей философии сверхчеловека”, которая представилась критику “дикой и нелепой” и произвела на него “тяжелое впечатление” (*И. [Игнатов И.Н.]* Литературные отголоски: Леонид Андреев. “Тьма” // *РВед.* 1907. 1 дек. (№ 275). С. 3).

Рецензия А.Г. Горнфельда в газете “Товарищ” продиктована желанием определить место и значение Андреева в современной литературе: “Тьма”, как и ей предшествующие произведения 1906–1907 гг., “вызывает страстные споры”; “от нее нельзя оторваться в чтении и после чтения”, она “сковывает мысль, заставляет обновлять впечатление, продумать пережитое в перипетиях рассказа – и так или иначе определять свое отношение к его правде”. В величайшую заслугу ставит Андрееву критик его умение “тревожить читателя” в его “утихомирном догматизме”, “переворачивать привычное в мировоззрении” и тем обращать “все наше чувство, все напряжение нашей мысли к самому главному в нашей жизни”.

Сюжетная коллизия столкновения героя со страшным миром “мрака и грязи” приводит к гибели отвлеченных идеалов. Сравнивая параллельную ситуацию “рокового разговора между убийцей и проституткой”, Горнфельд замечает, что Андреев пишет его как антитезу к Достоевскому и при этом “не боится напоминания о великом образце”.

За этими вопросами, явившимися кульминацией, критик видит всю историю русской интеллигенции, культуры в их отношении к народу. Этот вопрос ведет в трагедию. Но “без трагедии” нет “искания правды”, без “коренного внутреннего противоречия” нет и подвига. Самопожертвование – не средство, а цель. Вопрос, как его формулирует Андреев: «Не “стыдно быть хорошим”, но, чтобы быть хорошим, надо стыдиться». Проститутка научила революционера искать и находить “живой смысл высокой цели”.

Горнфельд утверждает, что Андреева интересуют не отдельные конкретные люди, а то, как на уровне философско-этической мысли решаются их судьбы. В его повести главный герой – метафизика и абстракции философских переживаний писателя: “он сплетает реальность быта с фантастической абстракцией” (*Горнфельд А.Г. Литературные беседы. [Вып.] XXXVI: “Тьма” Леонида Андреева // Товарищ. 1907. 2 дек. (№ 439). С. 3).*

Через месяц, подводя итоги русской литературы 1907 г., Горнфельд заметил, с какой интенсивной энергией критика “осуждала” и “обсуждала” “Тьму”. Так случилось потому, что повесть “с болезненной силой задела что-то важное и требующее ответа в душе читателей” (*Горнфельд А.Г. Русская литература в 1907 году // Наш век. СПб., 1908. 1 янв. (№ 961). С. 5).*

Возвратимся к ранее уже упомянутым статьям Кусковой и Тальникова. Е.Д. Кускова сочла основным во “Тьме” аспект социально-психологический. Отношение русских революционеров к людям повседневной жизни, рождающее в них “психику неустойчивого равновесия”, делает их жертвами “российского максимализма”. Автор статьи не отделяет себя от них: о себе, о них и о герое “Тьмы” она говорит “мы”: “Вечно больные мыслью, больные сердцем, больные совестью – бродим мы в беспримерном хаосе жизни, постоянно переоценивая все ценности, боясь наслаждений, боясь личного счастья, боясь телесности живой, доподлинной жизни. Серые и хмурые, мы улыбаемся лишь бесконечно-далеким идеалам, пугаясь дисгармонии этой частички кристалла с окружающей нас грязной тinou. Живем и не живем, грезим наяву, предпочитаем миражи, заманчивый обман – тусклой, скучной, подчас и страшной правде”.

Кускова не замечает во “Тьме” этических парадоксов; для нее в повести нет “ничего, буквально ничего, кроме {...} русской психики, богатой драматизмом по самой своей сущности”. Ее носитель – “революционер-террорист, религиозный аскет, оторванный от жизни миражами своей догмы, закаленный в своем отречении от благ и искушений жизни. Все вопросы решены. Всё приведено в систему. Он идет на смерть во имя отвлеченного счастья других, он бесстрашен, он безжалостен, он готов убивать и убить кого-то, убивая в то же время и себя”. Представления героя “Тьмы” о счастье, как у каждого революционера, сектантски узки. Герой убежден в том, что он поступает “нравственно и честно”, поскольку способствует “выполнению заветов своей веры”. “Все осталь-

ное – хаос, грязный хаос, бездумный хаос, не стоящий ни оценки, ни наблюдений”.

Драматическая ситуация повести посвящена тому, как “хаос”, “самые грязные волны житейского моря” “сорвали броню”, и “нет уже ни чистой светлой догмы, ни любования высотой своей миссии”.

По мысли критика, “Тьме” удалось стать “художественным разоблачением гнетущей неустойчивости больной психики, не имеющей живых корней в материальной сущности конкретной жизни”, и итог таков: “чистый дух” абстрактных фикций в столкновении с “грязной плотью” обыденной повседневности “должны достичь равновесия” (Е.К. [Кускова-Прокопович Е.Д.] Драма российского максимализма // Товарищ. 1907. 6 дек. (№ 442). С. 2).

Статья Кусковой критиками была замечена: на нее сочувственно и полемически отозвались “Бакинец” (17 дек. 1907) и харьковское “Утро” (8 янв. 1908).

Д. Тальникову принадлежит один из самых крупных разборов “Тьмы” в периодике 1907 г. Критик полагает, что в новой повести Андреева проявились сполна характерные черты его “писательской физиогномии”, которую отличает преобладание отвлеченной, “резонерской и холодной мысли над интимными движениями души”.

Обращаясь к авторской мысли, Тальников специально рассматривает ключевой эпизод повести, когда герой обдумывает слова о необходимости “отдать не жизнь, а душу”, которые в его случае указывают на огромное расстояние, отделяющее поведение героя от христианского подвижничества: Христос любил грешников, прощал их, но никогда не был “тьмой” сам, Алексей же сам шагнул во “тьму”, захотел стать ею, говоря: “Это не Христос, это другое, это страшнее”. Решение героя остаться с “тьмой” и во “тьме” критик считает “актом отчаяния”, поступком “патологической личности” и одновременно в братании с “тьмой” усматривает намек на “новое самопожертвование”: “глядите, какой я хороший: все имел и сам отдал...”. То есть для интеллигента “всегда во всяком отречении будет подвиг и будет нравственная сытость своей утихомирившейся совести”. Так поняв финал, критик назвал его псевдофиналом, игрой туманностями, “софистическими дебрями мысли” (Тальников Д. [Шпитальников Д.Л.] Леонид Андреев и его “Тьма” // Одесское обозрение. 1907. 6 дек. (№ 7). С. 2–3; 9 дек. (№ 9). С. 3; 11 дек. (№ 10). С. 2–3).

В последней – третьей – части статьи Тальников полемизирует с двумя своими предшественниками, А.Г. Горнфельдом и Е.Д. Кусковой: оба критика обнаружили похожий объект нападков Андреева. Для Горнфельда – это “келейность, преступная кружковщина” в которую “интеллигенция уходит от жизни”; для Кусковой – “отчуждение от жизни – и жизнь в мире фантазий”. Сам же Тальников находит позицию Андреева “грустной ошибкой”, потому что за ней стоит «распад, уныние, отчаяние, тогда как читателя нужно звать на “борьбу” и на подвиг» (Там же. 11 дек. (№ 10). С. 2–3).

Скептически воспринял “Тьму” рецензент “Тульской молвы”: “Перед нами не живые люди и в то же время не символы. Вы видите перед собой утонченных неврастеников-интеллигентов (...) неизвестно зачем переодевшихся: одна – проституткой, другой – террористом”. Философию рассказа, заключенную в одной фразе проститутки (“как ты смеешь быть хорошим, когда я плохая?”), критик счел бледным переложением евангельской притчи о мытаре и фарисее (*И-в Н.* “Тьма”: Рассказ Л. Андреева // Тульская молва. 1907. 8 дек. (№ 59). С. 2).

“Андреев – самый острый глаз и самый тонкий слух в современной, не только русской, но, может быть, и европейской литературе”, – писал Гр.Я. Полонский в рецензии на “Тьму”. Андреев во “Тьме” – “реалист в высшем смысле”, как назвал себя Достоевский, потому что он выступил здесь как “поэт невидимого”: “он начал там, где другие обычно оканчивают”, обнаружив “проникновенную мощь и интимность своего таланта”, им “раскрыты все тайные ходы людской души”, “ее изначальные и последние пути”. Критик писал о глубокой связи между двумя разнонаправленными путями героев повести – “вниз” Алексея и “наверх” Любви. Если он “хороший” и вся его жизнь “для других”, то он должен отдать последнее, что у него осталось: свою душу. Победившая его, “непорочного и чистого”, “мертвая” Люба была им же побеждена: она воскресла и преобразилась. “Так совершилась драма попранной и найденной правды, драма обмена двух правд” (*Полонский Гр.Я.* “Тьма” Андреева светит // Наш день. СПб., 1907. 24 дек. (1908. 6 янв.) (№ 3). С. 2–3).

Рецензия Дьяка Шигони (дружески известного Андрееву старообрядческого епископа о. Михаила) предлагает свою версию андреевской мысли, а также указывает на один из возможных ее источников. В первой части рецензии Дьяк Шигони берет “Тьму” под защиту от “непонимающих” ее. Каковыми считает пародиста “Свободных мыслей” Д’Ора, который смеется над самой ситуацией решения “проклятых вопросов” в доме терпимости, а также, по-видимому, рецензентов из официальной “России”.

Содержание “Тьмы” во второй части рецензии передано пересказом притчи о богатом юноше, желавшем найти путь в жизнь вечную. В Четвероевангелии она оканчивается широко известными словами о том, что “удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие” (Мф 19; Мк 10; Лк 28). Дьяк Шигони продолжил притчу: богатый юноша “продал все и не имел динария”, тогда Иисус велел идти и собирать себе богатство: “Пойди к калекам, которые в Вифлееме, и возьми в душу свою проказу их, расслабленные и черную немочь... Пойди в тюрьмы Ирода и возьми в душу свою весь гнев их (...) и все жалобы и тоску их. Пойди к рабам (...) и от них возьми позор согнутых спин их и согнутых душ их... И потом пойди по улицам – в одежде позора, в запятнанных ризах (...) и напугай их пятнами на одежде твоей... Пусть сгорит душа твоя в муке чужого греха и позора, который прими в душу

свою, как свой (...)". Дьяк Шигони указал на то, что продолжение притчи – его собственное сочинение, и объяснил ее концовку как мысль, долженствующую “лечь в основу христианского мировоззрения нарождающейся церкви и новой социальной совести. Идея Голгофы, муки общим грехом, при котором не может быть чувства собственной хорошеости или чистоты”. “Так как я как-то противоестественно уцелел среди этой грязи, то мне должно быть стыднее, мучительнее, больнее, чем тем. Так как же я-то смею быть хорошим?”

Главное в монологе Алексея и всей повести – евангельские слова: “Кто душу свою положит – не жизнь, а душу”, которые рецензент считает “идеей-базисом” нарождающегося религиозного сознания. “Тьма”, по его логике, – вторая часть своеобразной диалогии писателя. Первая – его рассказ “Христиане”: “проститутке удастся передать христианам, что христианство – намного больше записи в метриках, в исполнении обрядов; оно требует известной линии жизни”. Героиня рассказа Караулова обращается к “будничным христианам”. Караулова-вторая – Люба из “Тьмы” – “продолжает ту же христианскую мысль. Но уже для сильных, – для живых” – для тех, которые не успокаиваются на подвиге общественном, идут к подвигу религиозному (*Дьяк Шигони [Семенов П.В.]*. “Тьма” Андреева и “христиане” первого и второго разряда // Час. М., 1907. 12 дек. (№ 68). С. 2).

В том же декабре на повесть откликнулся и М.А. Волошин, который назвал Андреева «оригинальнейшим мастером в группе беллетристов, взошедших под знаком “Знания”». Его тема – “безвыходность отчаяния”, “душевные страдания” современного человека. Они являются читателю в виде “хриплого и прерывистого крика”, надрывающего “слух”. Техника письма противоположна символистской, ибо Андреев “вовсе не стремится прозреть в частном общее, а напротив – всякое отвлеченное понятие низводит до частного, снабжая его реалистическими и часто совсем необоснованными признаками”. Во “Тьме”, как и в “Иуде”, писатель сосредоточен на вопросе о “конечной жертве”: “Можно ли принять на себя предательство Христа? Можно ли оставаться хорошим, когда другие плохи?” По мнению критика, ответы таковы: “Личную добродетель надо принести в жертву. Иуда должен предать Христа”; герой “Тьмы” не хочет “быть хорошим, когда плохи другие”. Следствием этого “закона конечной жертвы” явились “два чудовища” – Иуда и Алексей. Волошин задает вопрос, что же потрясает читателя в повестях Андреева? И отвечает: Андреев потрясает не эстетически (он “не художник”), не этически (он “не пророк”), а эмоционально-психически: “потрясает темная и мятежная душа, жаждущая конечного спасения принесением себя самого в жертву” (*Волошин М.А.* Леонид Андреев и Федор Сологуб // Русь. СПб., 1907. 19 дек. (№ 40). С. 3–4).

Обрамляют критику “Тьмы” 1907 г. два отзыва на третью книгу альманаха “Шиповник” – в “Русском богатстве” и “Золотом руне”. О “Тьме” в обзоре “Русского богатства” сказано: “Такой революционер



и такая проститутка в действительности, вероятно, невозможны, и однако силой таланта они превращены в яркие, живые индивидуальности, и мы точно видим их перед глазами. Бывают эпохи (<...>) когда мучительно яркая, словно топором бьющая по нервам жизнь до того притупляет впечатлительность людей, что обыкновенное реальное искусство теряет над нами всякую силу, когда самый тонкий анализ не дает им конкретного, яркого представления, и художник должен прибегнуть к необходимому приему конденсирования красок, гиперболизации психологического рисунка” ([Б.п.] [Якубович И.Ф.] Литературно-художественные альманахи издательства “Шиповник”. Кн. 3. СПб., 1907 // Русское богатство. 1907. № 12. Отд. 2. С. 173–174).

Обзор “Золотого руна” принадлежал А. Блоку, чей постоянный интерес к Андрееву часто обнаруживал себя в письмах, устных высказываниях, рецензиях, после кончины Андреева – в его литературном портрете, а также в андреевских реминисценциях у самого Блока (см., напр.: *Беззубов В.* Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984. С. 156–250; *Петровский М.С.* “Двенадцать” Блока и Леонид Андреев // *ЛН*. Т. 92: Александр Блок, кн. 4. М., 1987. С. 203–232; *Магомедова Д.М.* “Андреевский пласт” в пьесе Блока “Песня Судьбы” // *Шахматовский вестник*. М., 2008. Вып. 9. С. 22–30 (в работе обнаружены “важные сюжетные переклички” повести Андреева с пьесой Блока); *Приходько И.С.* Леонид Андреев и Александр Блок: “Книга Судеб” и “Песня Судьбы” // *Русская литература конца XIX – начала XX века в зеркале современной науки*. М., 2008. С. 196–203).

Андреев притягивает Блока тем, что “мучится проклятыми, аляповатыми (<...>) вопросами мучается Россией” (Из письма к А. Белому от 15–17 авг. 1907 г. // *Андрей Белый и Александр Блок: Переписка, 1903–1919*. М., 2001. С. 325); 23 сентября – за три дня до прилюдного чтения “Тьмы” – Блок пишет Белому: “(<...>) физиономия Петербурга этого сезона – совершенно иная, чему способствует уже и будет способствовать Л. Андреев” (Там же. С. 339).

С “Тьмой” у Блока связано наибольшее число откликов. Первый был устным высказыванием после чтения Блоком “Тьмы” 26 сентября 1907 г. на петербургской “среде” в квартире Андреева на Каменноостровском, где присутствовало, как вспоминал об этом С.Н. Сергеев-Ценский в 1945 г., более пятидесяти человек: “Тут были и писатели, и критики, и, главным образом, издатели и хозяева театров” (*Сергеев-Ценский С.Н.* Воспоминания о Л.Н. Андрееве, М.П. Арцыбашеве, А.И. Куприне, И.С. Шмелеве и др. РГАЛИ. Ф. 1161. Оп. 1. Ед. хр. 222. Л. 50. Частично опубликовано А.В. Богдановым в примечаниях, см.: *ССХЛ*. Т. 2. С. 536). Поименно Ценский назвал Вяч. Иванова, Георгия Чулкова, Ф. Сологуба, Блока с женой и тещей, Акима Волынского, Семена Юшкевича из бывшей “телешовской” “среды”, издателей “Шиповника” С. Копельмана и З. Гржебина, а также, добавил он, “многих других”.

В письме к матери от 28 сентября 1907 г. Блок, кроме перечисленных Ценским, упоминает Чириковых “и пр., и пр.” и уточняет имена присутствовавших символистов: “Из декадентов выбраны пока только Сологуб, я и Чулков”; имя Вяч. Иванова отсутствует (*Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С.210*).

Ценский 45-го года представляет дело так, будто он, “бытовик”, ждал от Андреева “быта” и, не найдя его во “Тьме”, где все было “так, как не могло быть в действительности”, разочаровался: все, “с начала и до конца, в общем и в деталях” оказалось “придумкой писателя” (*Сергеев-Ценский С.Н. Воспоминания... Л. 53*). Иронически воспроизвел Ценский и то, как читал Блок “Тьму”, и то, что он о ней сказал. “Блок читал благоговейно, скандируя каждое слово... Медленное, торжественное, как церковная служба, чтение длилось, однако (...) не более часу...” (Там же. Л. 52–53). При обсуждении по просьбе Андреева Блок говорил первым: “Тем же торжественным тоном, каким и читал, только с каким-то священным трепетом в голосе”: «– Леонид Николаевич! Не “Николаич”, а именно “Николаевич”. Вы – гениальный писатель... Все, что написано Вами до сего времени – гениально... Но в этой вещи Вы превзошли самого себя... “Тьма” является самым гениальным из Ваших произведений» (Л. 54–55).

С оценкой Блока согласился Чулков, ее “постройку разбивал” Аким Вольнский. Ценский назвал ее “перехлестом за христианство”, на что возразил сам Андреев: “Перехлест за христианство, Вы думаете? А Юлиан Милостивый, обнимающий не проститутку даже, а живо догнивающего прокаженного?..” (Л. 56–57).

Сам же Блок в цитируемом письме к матери так рассказывал о чтении “Тьмы” и своем восприятии ее: «Последнее впечатление от Андреева – очень хорошее. Мы с Любой были на первой его “среде” (26-го), на которой я избран “действительным членом”. У Андреева болел зуб, потому новый рассказ его читал вслух я (...) Новый рассказ Андреева большой, называется “Тьма”, написан на тему “стыдно быть хорошим”, не из лучших для Андреева. Есть великолепные места» (*Блок А.А. Собр. соч. Т. 8. С. 210*).

В статье “Литературные итоги 1907 года” Блок отметил бросающуюся в глаза черту повести, противопоставив ее “Жизни Человека”: автор «открыл свою грудь для горькой и отравленной стрелы противоречий, он не защищен уже ни искусством, ни тем темным и гордым сознанием, которое заставило победить человека, “незнаемого, нечувствуемого никем”» (*Золотое руно. 1907. № 11/12. С. 96*).

В пьесе “Песня Судьбы”, над которой он работал в течение года – с апреля 1907 по апрель 1908 г., Блок воспроизвел и трансформировал “леонид-андреевское” – прежде всего сюжетобразующие ситуации, формирующие проблемную конструкцию обоих произведений (см.: *Магомедова Д.М. Указ. соч.*).

Отношение Блока к “Тьме” оказалось значимым и на последующие годы жизни. Так, в письме куклине С.Н. Тутолминой от 16 января 1916 г.

он определил свою нравственную позицию, опираясь и на концепцию “Тьмы”: «Вся современная жизнь людей есть *холодный ужас*, несмотря на отдельные светлые точки, – ужас надолго непоправимый. Я не понимаю, как ты, например, можешь говорить, что все хорошо, когда наша родина, может быть, на краю гибели (...) когда нет общества, государства, семьи, личности, где было бы хоть сравнительно благополучно.

Всего этого ужаса не исправить отдельным людям, как бы хороши они ни были; иногда даже эти отдельные светлые точки кажутся кошунственным диссонансом, потому что слишком черна (...) окружающая нас ночь. Эта мысль довольно хорошо выражена, между прочим, в одном рассказе Л. Андреева (не помню заглавия) (первоначальное название “Тьмы” – “Ночь”. – *Сост.*), где герой говорит, что стыдно быть хорошим.

Свет идет уже не от отдельных людей и не от отдельных добрых начинаний: мы вступили явственно в эпоху совсем новую, и новые людские отношения, понятия, мысли, образы пока еще в большинстве не поддаются определению» (*Блок А.А. Собр. соч. Т. 8. С. 454*).

В хоре голосов 1907 г. особое место принадлежит Льву Толстому. О его реакции на “Тьму” известно из двух источников: из книги Н.Н. Гусева “Два года с Л.Н. Толстым” (М., 1973. С. 94, 388), а также из собственных помет Толстого на тексте “Тьмы” в третьей книге альманаха “Шиповник” за 1907 г. В обоих случаях Толстого раздражало отсутствие у автора чувства меры (приблизительно то же Толстой говорил почти о каждом произведении Андреева). У Гусева читаем: “Слабо, психологически неверно, много лишнего”. Намного резче слова, написанные рукой Толстого на книге альманаха: “Не искусство, а произвольный бред”; “Что взбредет в голову” (см.: *Петров А. Пометы Л.Н. Толстого на книгах яснополянской библиотеки // Сборник Государственного Толстовского музея. М., 1937. С. 324*). Толстому казалось недопустимо произвольным истолкование психологии поступков Алексея и Любови.

Реакция критики на “Тьму” в 1908 г. достигла высшей точки. Выходит монография, специально посвященная Андрееву, затрагивающая и “Тьму”, – “Леонид Андреев большой и маленький” К.И. Чуковского; в ряде авторских книг – А.В. Амфитеатрова, А.Г. Горнфельда, Р.В. Иванова-Разумника и др. – значительные части были написаны о повести. Специальные статьи с разборами “Тьмы” попали в сборники коллективных трудов. Многие журналы поместили статьи и заметки о “Тьме” ведущих критиков.

В последующие годы газетная критика о “Тьме” начинает заметно убывать; журнальная держит стабильное равновесие; зато статьи в сборниках, книгах постепенно приобретают господствующее значение.

Ко многому написанному специально о “Тьме” примыкает ряд материалов о многочисленных спорах вокруг литературы о повести; множество работ, “Тьме” не посвященных, но на нее реагировавших; наконец, отклики, оставшиеся в письмах, воспоминаниях, устных и письменных высказываниях, проч.

В критическом потоке десятки коротких газетных и журнальных рецензий касались общей оценки повести, ее жанрового определения, ее художественной идеологии, новизны и своеобразия главного героя.

Аноним одного из журналов писал: «Как сильное, яркое произведение, в котором счастливо слиты лучшие приемы творчества Леонида Андреева: сжатость, драматизм, порой доходящий до жестокости, чувство прозорливца, – этот рассказ может и должен сыграть большую роль в области уяснения отношений между “чистыми” и грешными, “грязными” людьми...» ([Б.л.] “Тьма”: Рассказ Леонида Андреева // Былое – грядущее. М., 1908. № 2/6. С. 3).

Кишиневский критик С. Ноев, регулярно откликавшийся на все новинки Андреева, обратил внимание на декадентство и пессимизм, вытекающие из особенностей народолюбивой психологии “той части русской интеллигенции, которая в своем покаянном рвении то опускалась до самоуничтожения, то поднималась до порыва гордого негодования, граничащего с подлинным пафосом”. Критик полагал, что по простоты у нее “религиозно-психологического экстаза” она поймет и оценит “суетность своего самопожертвования”, и тогда перед ней “развернется мрачная бездна”. Все эти большие вопросы Андреев задал во “Тьме” и тем доказал свою принадлежность к “русской народолюбивой интеллигенции со всем складом ее мышления” (Ноев С. Власть “Тьмы” // Бессарабская жизнь. 1908. 3 янв. (№ 2). С. 2).

Виктор Финк посчитал идеологему “тьма” некоей метафорой всего творчества писателя: «Литературное “я” Андреева составляют мотивы страха, мотивы ужаса и трагизма в обыденщине, в повседневности». Финк согласен с Волжским: Андреева “захватывают не столько ширь явлений, сколько глубь их (...) трагизм подглядел Андреев (...) в виде переживаний отдельных атомов, входя в их психологию, заставляя их стонать от неизбежной боли и подавленности”; мня себя “царями природы”, они “ни на одну йоту” не могут изменить хода жизни: “в этом (...) величайший трагизм бытия”. Критик желает писателю «среди “тьмы” наших дней высоко поднять божественный факел своего таланта и, озарив кошмар, спугнув кровавые призраки, найти истинного Бога, которого мучительно ищет его великая душа» (Финк В. О мотивах творчества Леонида Андреева // Голос Одессы. 1908. 14 апр. (№ 8). С. 2–3).

Характерной чертой таланта автора “Тьмы” критик Л. Сергеев считает стремление и умение проникнуть “в глубину человеческой души, в ее святая святых”, дойти “до бездны”. Герой “Тьмы” “мучительно захотел бурь и упоения бездной”: “он жаждал хаоса”. Такая направленность таланта роднит Андреева с автором “Братьев Карамазовых”. Однако если Достоевский на дне “бездны внизу” увидел “то же небо”, то Андрееву “небо не открылось”. “Хаос тьмы”, дионисийское растворение в хаосе Сергеев трактует как переключку “Тьмы” с “дионисийским языческим шабашем” из романа Мережковского “Юлиан Отступник” (Сергеев Л. [Цедербаум Ю.О., Мартов Л.] “Тьма” Андреева // Голос Одессы. 1908. 5 мая. (№ 52). С. 3).

Р.В. Иванов-Разумник дважды писал о “Тьме” как о произведении, воплотившем в лице ее героев мировоззрение современного политического движения “махаевщины”, согласно которому “тьма” “во имя всеобщего равенства” потребовала “низведения всего и всех до одного общего уровня” (*Иванов-Разумник 1908. С. 146*). Сама постановка вопроса: “Какое ты имеешь право быть хорошим, когда я – плохая?” – показалась Иванову-Разумнику не философско-религиозной, а уравниловско-махаевской (*Иванов-Разумник Р.В. Что такое “махаевщина”? К вопросу об интеллигенции. СПб., 1908. С. 159*).

Противоположную точку зрения на поступок Петра–Алексея высказал В.П. Быстренин. Он также заподозрил в образах Саввы (“Савва”) и Петра–Алексея наличие “социалистической мысли новейшего течения” – “махаевщины”. Однако, в отличие от Иванова-Разумника, для него “махаевское мышление” – яркая ветвь религиозно-революционного движения, делающего “уклон в сторону религиозных исканий”, “конечного освобождения человеческой личности в абсолютной религиозной правде, в той бескровной революции духа, перед силой которой не может устоять никакая земная твердыня” (*Быстренин В.П. На перевале // Московский еженедельник. 1908. 4 марта. (№ 10). С. 44*).

Активный деятель партии кадетов Быстренин полемизирует также с теми критиками от максималистов, которые называют героя “выдумкой автора”. Критик склонен считать Андреева ясновидцем: ему удалось предсказать появление героя “новой правды”. Быстренин сравнивает “Тьму” с “Бесами”: как Достоевский предугадал в “Бесах” “будущих героев России”, так и герою “Тьмы” “еще предстоит появиться на арене исторических событий”. В повести дано внезапное перерождение героя; оно, однако, было подготовлено ранее “где-то в подсознательных глубинах его души”. Перелом, происшедший с Алексеем, критик называет “пробуждением личности”: под влиянием недавних кровавых событий русское общество поворачивает от идеи “борьбы классов” к идее “любви к своему ближнему”. “Новая правда” ставит тяжелую задачу: “мыслить самостоятельно и нести личную ответственность за свои мысли и поступки”. По Андрееву, думает Быстренин, процесс преображения души трагичен; писатель не раскрыл его до конца, но предсказал возможность его исхода (*Быстренин Вл.Пор. Новая правда // Московский еженедельник. 1908. 23 авг. (№ 33). С. 1–13; 30 авг. (№ 34). С. 20–31*).

Один из редакторов либеральной газеты “Сегодня”, А.А. Вейнберг определял повесть Андреева как “подлинную поэму”. Она строится на слиянии трех мотивов, являющих собой три правды: правду Алексея – ту, до которой «Иван Карамзев в свое время тоже додумался: “Если нет рая для всех, то и для меня не надо»»; правду Любы: вслед за “новой ужасной правдой жизни” Алексея она познает “новую правду”, и притом “как раз обратную: герой порешил стать плохим, а Люба пожелала стать хорошей”. Наконец, третья правда – правда повседневной жизни, правда пристава, не чувствующая взлетов и падений, не знающая траге-

дий. “Тьма”, по мысли Вейнберга, – поэма несомненно символическая: три правды – основные символы жизненных путей.

Вместе с тем композиция “Тьмы” создана по канонам “полицейской хроники” или сообщения из отдела “происшествий”. И в этом случае Андреев идет вслед за Достоевским, гениально сочетавшим в романах трагедию и полицейский протокол (*В. Андрей [Вейнберг А.А.]. “Тьма”. Литературно-художественный альманах “Шиповник”, кн. III // Сегодня. СПб., 1908. 8 янв. (№ 416). С. 3–4.*

Рецензент харьковской газеты А. Смолянов обратил внимание на множество разноречивых мнений и позиций, занятых критиками “Тьмы”. Все они по-своему правы, поскольку их “правды” сближаются общей мыслью о “крахе русского максимализма” – “кромешного падения” и “искренне исповедуемой веры, вылившейся в неоглядный фанатизм”. Трагическая ситуация, проступающая через призму парадокса, с точки зрения Смолянова, убеждает в невозможности разогнать “мировую тьму” посредством “встречи двух абсолютных, разноименных, зачеркивающих друг друга сил” (*Смолянов А. “Тьма” // Утро. Харьков, 1908. 2 янв. (№ 328). С. 3.*

Особенно большое место в суждениях и спорах о “Тьме” занимала “реальная” критика, измерявшая достоинства повести степенью ее соответствия с жизнью – такой, какой она виделась тому или иному рецензенту. Ее представляли ученые, писатели, политики, профессиональные журналисты. Эстетическая критика как таковая присутствовала редко, ее элементы были добавлением к общему объему “реальных” подходов. Нередко критики обсуждали вопросы о правоте или неправоте поступков Алексея и Любови, о возможности или невозможности в отношениях между ними “хорошего” финала (см.: *Соболев 1908а* и *Соболев 1908б*). Н. Геккер, отойдя от текста повести, даже советовал автору, как доделать “Тьму”, чтобы Алексей начал “вместе с падшими (...) искать право на борьбу за их воскресение” (*Геккер Н.Л. О “Тьме” Леонида Андреева // Одесские новости. 1907. 2 дек. (№ 7384). С. 2.*

Исследователь связей литературы с движением общества, С.А. Венгеров трижды обращался к “Тьме”. В статье “Победители или побежденные” (1909) он указал источник основного настроения повести: она выросла “на почве жгучего интереса к природе самопожертвования”. “Преувеличенный”, по Венгерову, “альтруизм” “Тьмы” кажется ему “возвращением нового прилива, нового возрождения”, “подъемом исторической волны”. «Хочется верить, что этот новый подъем вынесет нас из той глубокой “тьмы”, в которую мы теперь погружены. А заслуга Леонида Андреева и в лице его всей литературы, лучшим выразителем которой он является в наши дни, в том, что зорким взглядом он пронизал облегающую нас тьму и увидел свет в отдалении. Приложив ухо к земле, он услышал гул грядущих ликований» (*Венгеров С.А. Основные черты новейшей русской литературы. СПб., 1909. С. 88.*

В 1911 г. Венгеров говорил об Андрееве в двух статьях. Первая, под названием “Живой призыв к подвигу”, была частью большой работы

“Героический характер русской литературы”. Венгеров отметил одну из “резких черт андреевской индивидуальности”, сказавшейся в “Тьме”, в “синтезе новых форм и старого содержания”. Во фразе о праве быть “чистым” критики “усмотрели парадокс, неисполнимое требование”. Венгеров же находит “Тьму” ярким проявлением неустанных дум автора о настроениях “ищущей подвига души”, а парадоксы и преувеличения оказываются лишь способом выявления главного (*Венгеров С.А. Собр. соч. СПб.: Прометей, 1911. Т. 1. С. 96–97*).

Свою точку зрения Венгеров отстаивал в борьбе с критикой, занявшейся «ожесточенным развенчиванием недавнего кумира. Во главе похода, по обыкновению, стоит известный “мистический триумvirат” (господа Мережковский, Гиппиус и Философов)» (*Венгеров С.А. Литературные настроения 1910 года // РВед. 1911. 1 янв. (№ 1). С. 10–11*).

Противоположной была точка зрения А.В. Амфитеатрова. В статье “Талант во тьме” он называет повесть “ошибкой заблудившегося таланта”: его считают “певцом и светочем человеческой свободы”, а он “вдруг” стал автором “Тьмы”. Амфитеатров вспоминает “Бесов” и утверждает, что Достоевский писал Верховенского исключительно “по неведению революционной жизни”, да еще “по слухам и сплетням”. “Тьма” же просто “нехорошая выдумка”. Сам Андреев “считался и считается художником освободительного движения”, а его герой-революционер – “пьяный болтун в публичном доме, которого девки бьют по лицу и приглашают в товарищи к лакею Маркуше”. Между тем писатель представляет читателю “революционера, да не какого-нибудь”: “Перед нами человек закала, – чтобы не напоминать более современных имен – Кравчинского, Стародворского, Веры Фигнер (...) Здесь не место рассуждать о терроре, его принципах, морали, тактике и деятельности, повторяя обвинения против него, и проверять его оправдания. Но я уверен, что даже самый лютей враг революции, даже самый крайний правый на самой крайней правой Государственного Совета не найдет в себе уверенности – сочетать представление о революционере с представлением о философском скандале в публичном доме”.

Единственно сильным моментом в повести критик считает описание реакции полицейского пристава; уязвимым и недостоверным – факт посещения террористом публичного дома (ибо всем, даже не террористам, известно: публичный дом – полицейская ловушка).

Итог разбора резко негативный: “На теле освободительного движения много тяжелых ран и без парадоксальных капризов г. Андреева”: “Тьма” – “оскорбление друзей вражьиими ударами, нанесенными любимой рукой”; “Тьма” – “во всех отношениях слабая и политически неловкая гримаса” (*Амфитеатров А.В. Против течения. СПб.: Прометей, 1908. С. 190–191, 193, 202*).

Позднее Амфитеатров подтвердил и усилил отрицательную оценку повести, назвав “отвратительную” “Тьму” “неряшливым мазанием”, достойным появиться лишь в “Новом времени” и ставшим в творчестве Андреева тем, чем в творчестве Лескова было “Некуда”: там и там “воз-

ведено в идеал полное нравственное бессилие революционного сопротивления” (*Амфитеатров А.В.* Записная книжка // *Одесские новости.* 1909. 26 сент. (№ 7925). С. 3).

В защиту “Тьмы” от “великой смази” Амфитеатрова и с резкой критикой его позиции выступили другие авторы “Одесских новостей”. Амфитеатров «находит возможным говорить о “Тьме” как о какой-то “гадкой вещи”», тогда как именно во “Тьме” “вопрос о границах добра и зла (...) явился в совершенно новом психологическом ракурсе и силой изобразительного таланта автора поставлен бесстрашно и больно” (*Читатель.* Так нельзя // *Одесские новости.* 1909. 30 сент. (№ 7928). С. 2). Читателя поддержал Н.Л. Геккер в его желании вместе с доктором Керженцевым, Василием Фивейским и Алексеем из “Тьмы”, “вырванными из недр нашей души и оставившими там болящие раны”, “сомневаться” в истинах, установленных прекраснодушными моралистами всех времен (*Н.Г. [Геккер Н.Л.]* По поводу статьи г. Читателя “Так нельзя” // *Одесские новости.* 1909. 7 окт. (№ 7933). С. 3).

Социал-демократическая печать заявила о себе в лице Луначарского и Воровского. В.В. Воровский в статье “В ночь после битвы” рассматривал “Тьму” в параметрах политико-социологического метода. Речь шла также о “Новых чарах” – первой части романа Сологуба “Творимая легенда”, с оговоркой, что критик будет “касаться исключительно публицистической стороны этих произведений” Андреева, “а не их эстетической стороны, не их художественной правды”, поскольку “последней в сих произведениях совершенно не имеется” (*Орловский П. [Воровский В.В.]* В ночь после битвы // *О веяниях времени: Сб. СПб., 1908.* С. 5).

Основной тезис Воровского: “Леонид Андреев – типичный выразитель неустойчивых настроений оскудевающей русской интеллигенции”, у которой “никогда не было революционного темперамента”, а “только культурные потребности...” (Там же). Ряд предшественников Андреева – это А. Новодворский, Г. Успенский, В. Гаршин, С. Надсон. Их “доминирующим настроением” был, по мнению критика, “пессимизм”. Он в творчестве Андреева превратился в “ужас”, а писатель стал его “певцом”. “Ужас (...) ко всей жизни” в повести таков, что “разум меркнет перед разгулом темных страстей” (Там же. С. 6).

Как полагает критик, “во всех (...) произведениях” Андреева побеждает тьма, звучит “похоронный звон”, но в повести “Тьма” эти мотивы поступают “на службу мародерству” (Там же. С. 6–7), поскольку она “не только констатирует торжество тьмы”, но “дает апологию этой тьмы”. На языке критика это означает, что “идеализированная тьма униженных и оскорбленных” побеждает «“правду” революционера, которая кажется ему жалкой, “маленькой и невинненькой честностью»» (Там же. С. 7). На дне его души “кроется грубая, дикая, стихийно-разрушительная сила неорганизованного бунтарства”, едва прикрытая сверху налетом “книжной, чужой мудрости” (Там же. С. 10). Образ Алексея Воровский называет образом “фантастического революционера”, а “не реального бунтаря”; силе революции Андреев противопоставил “бунт разрушительной



стихии” (Там же. С. 11), призванной растоптать “сознательность, волю, разум человека”.

Конечный вывод критика: “Это – своеобразная ликвидация революции, идущая параллельно, хотя и враждебная официальной реакции” (Там же. С. 17).

В статье “Тьма, или О метафизическом бунте и лукавом фабриканте” Луначарский предстал в двух лицах: революционера-практика от эс-дэков и выразителя крайнего направления социологической критики. Он квалифицировал “Тьму” как “злую сатиру на революционера”, изображенного Андреевым с “фарисейским сознанием своей святости”, этическим самодовольством, во всем правого.

Уход Алексея “во тьму” критик расценил как умножение фарисейства, ибо “пошлый” псевдореволюционер “вольно или невольно любит своим уничтожением”. Критик воспринял “Тьму” как выражение желания Андреева возвестить “религию нового бунта”. Так сформулировать идею “Тьмы” Луначарскому, по его словам, подсказал о. Михаил (П.В. Семенов), в рецензии на “Тьму” (Час. М., 1907. 12 дек.) назвавший Петра–Алексея “подлинным Христом”. В противовес о. Михаилу Луначарский говорит о герое: “не Христос, а дьявол”, призывающий “грешить с грешниками, прелюбодействовать и пьянствовать”.

“Достоевская мудрость”, мистические анархисты, носители нового религиозного сознания, требующие от “истинного христианина” чувства всеобщей вины, стыда за всех грешных и убогих земли, воскрешения дедовского бунта против “иллюзий” революции наших дней, по Луначарскому, всего лишь “консервативно-мещанская реакция на революцию” (*Луначарский 1908. С. 165–168*).

Заметив, что рассказ “известен (...) всей читающей русской публике” и “наделал много шума”, Луначарский присовокупил: “вся критика единодушным хором поет, что рассказ надуман, натянут и вообще литературно (...) слаб”. Критик уверен, что в “Тьме” “трепещет злая сатира на революционера”, однако он, Луначарский, не в претензии к автору за это, ибо “ничего не должно быть священного для художника-аналитика. Бей и по революционеру!”. Андреев, по мнению Луначарского, “бьет революционера за его этическое самодовольство, святость” и за то, что он – “счастливый. Это – довольно неприятный, но возможный тип” (Там же. С. 171).

Унижение проститутки революционером длилось минуту, а потом «начинается “возвеличение болвана-революционера”»: “Он проникается истиной, вложенной в сердце проститутки, гораздо глубже ее самой. Она-то оказалась очень непрочна в своем убеждении и стала даже мечтать о лучшей жизни, о борьбе, о близости с хорошими. Он же непреклонно и неумолимо развил ее тезис – нельзя быть хорошим. Развил до абсурда, что, “пожалуй, от большого ума приветствовали бы, например, Весы – анархисты-мистики” (Там же. С. 172–173).

“На мой взгляд, – заключает статью Луначарский, – страшная правда Андреева не стоит выеденного яйца”, его сочинение – “напыщенное мудрствование зафилософствовавшего мещанина” (Там же. С. 176).

На повесть Андреева отзывались и два видных критика-социолога, В.М. Шулятиков и В.М. Фриче.

В.М. Шулятиков работал одновременно с Андреевым в газете “Курьер” и с той поры выделялся среди многих особым вниманием к творчеству писателя. Статью “Неаристократический аристократизм”, помещенную во второй книге “Литературного распада”, по отношению к Андрееву следует, по-видимому, рассматривать как антитезу статье Луначарского “Тьма...” в первой книге “Литературного распада”.

Шулятиков напоминает о недавних комментаторах “Тьмы”, которым “переворот, совершившийся с Петром, казался (...) неожиданным и парадоксальным”, и они упрекали Андреева в погрешении “против художественной правды”. Считая, что эти обвинения не затрагивали смысла повести, Шулятиков назвал центральным, смыслонесущим силлогизм: “Если нашими фонариками не можем осветить всю тьму, так погасим же огни и все полезем во тьму”. Секрет понимания повести, по мысли критика, в разгадке специфического понятия “тьма”. «Погружение во “тьму” знаменует не отказ от “света”, а стремление к последнему: “свет” должен воссиять из “тьмы”. Употребление же местоимения “весь” (“всю тьму”, “все полезем”) подчеркивает лишь безсловную необходимость постулируемого акта. Чем больше “тьма”, чем многочисленнее ряды погасивших “фонарики”, тем ближе к свету, к “звездам”! Апология “тьмы” вложена в уста революционера (в этом, собственно, “пикантность” рассказа). Это обстоятельство не должно было представлять ничего неожиданного для читателей андреевского искусства, поскольку в мирозерцании Л. Андреева “Тьма” предстает как единственно положительное средство, помогающее бороться с нестроениями жизни».

Обоснованность такой трактовки Шулятиков подкрепляет другими произведениями Андреева. Керженцев из “Мысли” хочет каторги, где царствует “тьма”. Маруся из пьесы “К звездам” мечтает о лепрозории и прокаженных: о “тьме”. В этих и других сочинениях Андреева “тьма” выступает в качестве “неведомого источника жизни”: здесь можно обрести “силу жизни” (Литературный распад. СПб.: EOS, 1909. Кн. 2. С. 237, 240).

В.М. Фриче также следил за Андреевым со времен их совместного сотрудничества в “Курьере”. В 1909 г. он издал книгу об Андрееве, где в духе ему присущих идей подверг своим приговорам автора и его героев. “Невозможность справиться с жизнью, приспособиться к ней, покорить ее себе” делает героев Андреева “чрезвычайно склонными к психическим аномалиям”: Керженцев убил друга, Василий Фивейский пытался воскресить покойного, Сергей Петрович убил самого себя, Савва проектирует сжечь “всю землю”.

Отказ героя “Тьмы” от своей революционности, уход от “других чистых”, решение уйти во тьму, слиться с нею Фриче объясняет как “психический нонсенс”, называет следствием “крайней психической неустойчивости”. А общий итог “Тьмы” сводит к выводу: психоидеологической болезнью страдает прежде всего и всех сам автор произведения (Фриче В.М. Леонид Андреев: Опыт характеристики. М., 1909. С. 24–25).

Особую главу критической эпопеи, посвященной “Тьме”, составили публикации самых видных старших символистов, вышедшие в начале 1908 г. “Старшие” по-разному отнеслись к таланту Андреева, но “Тьму” почти все отвергли. О них Горький писал Андрееву с Капри 16 (29) февраля 1908 г.: «Ты посмотри – что делают с тобой все эти хулиганы – ныне товарищи твои по сотрудничеству: основоположник их, Мережковский, ходит грязными ногами по твоему лицу (Горький имеет в виду парижскую лекцию Мережковского, опубликованную под названием “В обезьяньих лапах” в первом номере “Русской мысли” за 1908 г. – *Сост.*), Гиппиус поносит тебя в “*Mercur de France*” (статья “Заметки о современной русской литературе” вышла в газете 1 января. – *Сост.*), а в журнале Брюсова (Весы. 1908. № 1. – *Сост.*) ты назван невеждой и дураком – это уже не критика, а организованная травля, гнусная травля, нечто невиданное в нашей литературе» (Горький. *Письма*. Т. 6. С. 185).

Мережковский в статье “В обезьяньих лапах” пришел к выводу о том, что Андреев истощил себя в богохульстве и “неприятии мира” в угоду толпе, ласкающей его в своих “обезьяньих лапах” славы. В статье “Мистические хулиганы” тот же критик объяснил неблагополучное состояние литературы господством в ней недо- и полу-веров; их он назвал “нигилистами”, или “мистическими хулиганами”. Если они поймут, что “Россия гибнет”, явится надежда на то, что действительно “засветит во тьме свет и тьма его не обнимет” (Свободные мысли. 1908. 28 янв. (№ 38). С. 2). Желая Андрееву отыскать “религиозную истину о революции”, Мережковский этой истины в повести “Тьма” пока не увидел. И хотя здесь осуществилось “прикосновение общечеловечности к религии”, но на пути богохульства и кощунства, который автор “Тьмы” прошел “до конца и бесстрашно, не сберегая души своей”. Мережковскому хотелось бы, чтобы Андреев, первый в русской общественности вспомнивший о Христе, первый же и пришел ко Христу. “О если бы ребенка вырвать из обезьяньих лап!” (Мережковский Д. В обезьяньих лапах // Русская мысль. 1908. № 1. Отд. 2. С. 98).

Зинаида Гиппиус откликнулась на “Тьму” дважды, оба раза в феврале 1908 г. В первом случае это был ее критический двойник Антон Крайний с иронической рецензией, названной “Репа” (Весы. 1908. Т. 2. С. 73) и объявившей о появлении “Тьмы” и ее необыкновенной популярности: «В “Шиповнике” Андреевская “Тьма”. Вот уж ее встретили-то! “Анну Каренину” и “Братьев Карамазовых” так не встречали...» А она, “как всегда у Андреева: ни хуже, ни лучше”. На языке Антона Крайнего

это означало: «Та же риторика, та же мера антихудожественности, та же безрезультатная натуга “удивить мир злодейством” и даже тот же глупый-преглупый герой – обыкновенный Андреевский дурак».

Высказалась о “Тьме” более сдержанно Гиппиус уже под своим именем в “Русской мысли”, в своей рубрике “Из дневника журналиста”: “Сочинительство (...) лишает героев Андреева полной реальности бытия (...) Но голое психологическое касанье к вопросу у Андреева очень верное. Андреев, конечно, путался в собственных сетях с первого шага: он не знает, ни что зовется хорошим, ни что плохим; взяв эти понятия очень легкомысленно – он решает, что хорошим можно быть, став плохим” (Русская мысль. 1908. № 2. Отд. 2. С. 168).

Суждение о “Тьме” порой близкого к “старшим” символистам В.В. Розанова в рецензии «Л. Андреев и его “Тьма”» было кратко и недвусмысленно: «“Тьма” – подражательная вещь: темы ее, тоны ее взяты у Достоевского и отчасти у Короленко. Встреча террориста и прости-гутки из дома терпимости и философски-моральные разговоры, которые они ведут там, и все “сотрясение” террориста при этом – повторяет только вечную, незабываемую, но прекрасную (...) историю встречи Раскольников и Сони Мармеладовой в “Преступлении и наказании”» (НВ. 1908. 25 янв. (№ 11448). С. 4).

В.Я. Брюсов объединил “Иуду Искарриота”, “Жизнь Человека” и “Тьму” темами “титанов мысли”, “в которых творческая сила соединяется с гениальностью ума”. Однако Андреев “смазывает”, по его мнению, их сложную серьезность “ребяческим простодушием исполнения” (*Аврелий [Брюсов В.Я.]*. “Жизнь Человека” в Художественном театре // Весы. 1908. № 1. С. 144).

Среди откликов старших символистов выделяется особым взглядом статья Н.М. Минского “Леонид Андреев и Мережковский”, направленная против статьи Мережковского “В обезьяньих лапах”, против самой природы его критического подхода к Андрееву: не эстетического, не психологического, общественного или философского, а “миссионерского, проповеднического”, ибо текст произведений Андреева он использовал для своей “неохристианской проповеди”, не пытаясь отыскать в нем “индивидуальных, неповторяемых, неожиданных черт” (впервые: *Наша газета*. СПб., 1908. 16 марта. (№ 1); здесь и ниже цит. по: *Минский Н.М.* На общественные темы. Пб., 1909. С. 206–207).

Андреев, с точки зрения Минского, наделен “высшей религиозностью, почерпаемой не из мертвых книг, не из предания, а из вечно светлого источника разума” (с. 209). Свой тезис критик раскрывает на примере ряда произведений писателя, включая “Тьму”.

“В интересах своей миссии” Мережковский в самом заглавии “Тьма” увидел “неоспоримое доказательство пребывания Андреева в сетях дьявола”, который ведет героя к желанию “вольного рабства, к последнему отдыху в сладчайшей тьме небытия”. Гост Алексея на пиру проституток Мережковский истолковал как “долой революцию, долой солнце свободы! Да здравствует реакция!” (с. 215).

Между тем, по Минскому, герой “Тьмы” “добровольно гасит огонь и уходит во тьму не из ненависти и не из усталости, а во имя высшей, последней любви”. Не “самому спастись” (Мережковский), а “если всем нельзя жить на свете, то и он хочет жить во тьме, ибо тьма в любви светлее, нежели в разделении” (с. 216). «Но едва ли во всемирной литературе отыщется другое произведение, в котором чувство самодовольства было бы преодолено до такой глубины, почти абсолютной, как во “Тьме”. Может быть, ни в какой другой литературе, кроме русской, этот рассказ не мог бы появиться. В нем заключается завет какой-то новой любви {...} любви как бы бездейственной и не греющей, а, на самом деле, наиболее энергичной и сжигающей...» (с. 216–217).

Генетически корни поступка Алексея объясняет “вся дореволюционная русская интеллигенция, вся русская литература”, включая Достоевского и Толстого. Андреева отличает от них (после революции 1905 г.!) отсутствие поэтизации народной тьмы: «анархист Андреева идет “во тьму”, называя ее тьмою» (с. 217–218). Но главное, что Андреев унаследовал от русской литературы, – “чувство неутолимой, всеобъемлющей любви к тем, кто пребывает во тьме” (с. 219). При этом “любящий, жертвуя собой, становится не спасителем, а погибшим и падшим” (с. 219). “Творчество Андреева”, заключает Минский свою статью, “является сплошным воплем о муке неоправданной любви к людям” (с. 220).

В мистическом “триумvirате” – Мережковский–Гиппиус–Философов – последнему выпала участь следить за критикой произведений Андреева 1907 г. Его реакция на них была частью полемики вокруг “Тьмы”. 2 апреля 1908 г. газета “Речь” (№ 79. С. 2) напечатала статью Философова “Вокруг и около Андреева”. Философов избрал одного критика – Минского, который “хвалил” Андреева, и двух других – Луначарского и Мережковского, которые его “ругали”, и так объяснял причины их реакции. Минский хвалит Андреева “не по объективным причинам” – исключительно из корысти, желая иметь в его лице союзника, поскольку “он одинок”. Однако похвалой Андрееву “он совершил невыгодную сделку”. Луначарский во “Тьме” и “Царе Голоде” усмотрел “революцию, отраженную в голове мещанина”. Близок к тому же и Мережковский. Луначарский “сходится с Мережковским”; они полагают, что Андреев “идет не от реальности, не от жизни к символизму, а от убогой концепции – к наивной аллегории”. Так понятый художественный метод писателя критик назвал “карманным символизмом”.

15 ноября 1908 г. “Московский еженедельник” (№ 45) опубликовал статью Философова “Апофеоз беспочвенности”, в которой продолжилось рассуждение о критиках Андреева, предназначенное для того, чтобы в конечном счете поддержать Мережковского как апологета новой религиозной общественности.

За полгода до Философова критику против Андреева и его “Тьмы” в пародийном ключе представил корреспондент “Одесских новостей”: «Сцена как будто из “Царя-Голода”: Величавые и важные сидят судьи. Их много больше, чем пять. Среди них и маленький, вдумчивый, с ли-

цом византийского письма философ и эстет Мережковский, и одетый в несколько потускневшую от политических передраг большевистскую мантию Луначарский, и “веселый критик” г. Чуковский, и многие другие. Публики много – вся читающая Россия (...) Подсудимый – сам кумир читающей и мыслящей России. Десять лет владел он умами (...) И вот (...) вместо торжества и праздника – суровые мрачные лица судей». О Луначарском, в частности, сказано: «Идеолог пролетарского мирозерцания г. Луначарский при всем его желании сохранить объективность и беспристрастие – горячо клеймит Андреева за его отрицательное отношение к герою “Тьмы” (...) Судья г. Луначарский превысил свои полномочия. Психологический момент в рассказе он подменил моментом социальным, слабое и неяркое он лишил совершенно красок, оставив взамен его пустое место...» (*К-ов Л. [Колбасников Л.] Суд идет // Одесские новости. 1908. 11 (24) апр. (№ 7490). С. 2.*)

Несколько лет спустя в полемике с Мережковским Вячеслав Иванов коснулся и Леонида Андреева. Героя “Тьмы” и ему подобных, жаждавших достичь новой правды, веры, нового “добра” путями и ценой “зла”, Иванов назвал “безбожниками отвлеченной мысли”, погруженными в “оцепенение залюбовавшейся гордости”. Однако поединок слов, воль между Алексеем и Любовью, по мысли критика, неожиданно может привести к магии преображения интеллигентского “верха” и народной “тьмы”, к их соборному синтезу (*Иванов Вяч. Мимо жизни // Утро России. 1916. 13 февр. (№ 44). С. 5.*)

В отзывах о “Тьме” критиков различных направлений на протяжении многих лет возникает соотнесение героя с Христом, а героини с евангельской блудницей; нередко критики продолжают воспринимать повесть Андреева через призму романов Достоевского. «Идею Христа о самопожертвовании герой “Тьмы” доводит до крайних выводов: страдание истинное – значит “отдать самую сущность себя”. Задача эта практически не разрешима и существует в виде “этического парадокса”» (*С-в Алексей. “Тьма” Леонида Андреева // Трудовой путь. СПб., 1908. № 1. С. 46.*) Нижегородский критик А. Уманский находит родство таланта Андреева таланту Достоевского во внимании “к тайнам человеческих душ и к мучительству”, в “глубокой психологической пронизательности”; рассказ “Тьма” “по настроению, по тому чувству милосердия, которое проникает его, (...) в высшей степени христианский” (*Уманский А. [Дробыш-Дробышевский А.А.] Потревоженная совесть: (Леонид Андреев. “Тьма”. “Шиповник”. Кн. 3) // Нижегородский листок. 1908. 19 янв. (№ 16). С. 2.*)

Герой “Тьмы”, подобно Ивану Карамазову, отказывается от мировой гармонии, если хоть один человек плачет. Как и Достоевский, Андреев выстраивает параллель с Христом: “...чтобы спасти людей, поднять человеческий род, открыть ему путь ко спасению, Христос сошел на землю, не пренебрег грязью пошлой земли и этим как бы дал образец высшего подвига” (*Боцяновский В.Ф. Леонид Андреев и мировая гармония // Библиотека “Театра и искусства”. 1910. Т. X. С. 67–68.*) “Андреев

взял (...) убежденного революционера (...) и на его примере показал, что может быть подвиг еще более тяжелый и высокий". "Прав или не прав" Алексей – вопрос "двоящийся", но в рассказе господствует "покаянная тенденция". Пользуясь формулой Осиповича-Новодворского, критик назвал Алексея "ни павой, ни вороной". Ее же применил и к автору "Тьмы": "Андреев рисуется именно такой ни павой, ни вороной, уставшей звать людей к звездам и опускающейся на землю, вниз, во тьму" (*Боцяновский В. Ф.* Богоискатели. СПб.; М.: Изд-ет-ва М.О. Вольф, 1911. С. 236–237).

Обозреватель одесской газеты убежден в том, что «в "Тьме" поставлена проблема религиозная, только прямо противоположная христианской. Здесь тоже вопрос о жертве, об искуплении, только не греха, а наоборот, – чистоты, святости, невинности. Грех – нечто роковое, неизбежное на земле; грех – проклятие, страдание, следовательно, – заслуга, некий плюeus души человеческой. В святости, невинности – отсутствует это проклятие, страдание – следовательно, есть некое благополучие, которое нужно заслужить, омывшись в грехе, как в купели очищающей. Вот почему проститутка, пьяная, грязная, отдавшая на поругание тело и душу, все же выше, значительнее, ближе к истине, чем "чистый" революционер» (*Подгуг Н.* Литературный диалог: О романе Леонида Андреева "Сашка Жегулев" // Южная мысль. Одесса, 1911. 29 дек. (№ 99). С. 2).

Вопреки позитивным суждениям о повести, священник Н.А. Колосов назвал "Тьму" декадентской, производящей "отталкивающее впечатление", написанной по антихристианским меркам "сверхчеловеческой морали", где "любовь к ближнему должна заключаться в любви к греху" (*Колосов Н.А., свящ.* Новые люди: Сверхчеловеческая любовь // Душеполезное чтение. М., 1908. Ч. 1. (Янв.) С. 126, 128).

Большой пласт критического "материка" образовали статьи, рецензии, отзывы авторов, стоявших в основном вне интересов "партий".

М. Королицкий, впервые написавший о "Тьме" в газете "Бакинец", полагает, что террорист «не отрекся от своих намерений "отдать душу за други своя". В нем только произошло перемещение центра тяжести: как он прежде во имя этой идеи бесстрашно шел на "свой подвиг", так теперь бесстрашно замахивается на самого себя» (*М.К.* "К свету через тьму": Вместо рецензии: О новом рассказе Л. Андреева "Тьма" // Бакинец. 1907. 17 дек. (№ 18). С. 3).

В газете "Окраина" (Минск. 1908. 9 февр. С. 2) Королицкий, назвав Андреева "центральным светилом современной литературы", в особую заслугу писателю поставил его вклад в "современное идейное движение", в осмысление "перелома" революционного сознания русской интеллигенции. В обзорной статье "Наша современная беллетристика" (сборник "Туманы". Минск, 1909) критик называет автора "Тьмы" "великим служителем трагического", художником "вечной трагедии человеческого существования".

Критик "Киевских новостей" И. Джонсон (И.В. Иванов), регулярно писавший об Андрееве, на "Тьму" отозвался пять раз. Его статья

“Русская литература в 1907 году” представляла Андреева «настоящим “властителем дум” в истекшем году, сосредоточившим на себе постоянное и всеобщее внимание. Его “Жизнь Человека”, “Иуда Искариот и другие” и “Тьма” бесспорно были центральными произведениями года. Очень большой художник, Андреев все более становится ценен как замечательный возбудитель мысли» (Киевские вести. 1908. 3 янв. (№ 3). С. 2). Позднее Джонсон характеризовал “Тьму” как “страстный вопль неутоленной жажды правды”, ибо “Андреев не дает застыть своей душе во мраке отчаяния, а все продолжает идти дальше и искать света правды (... ) смысла жизни” (Джонсон И. О Леониде Андрееве // Киевские вести. 1908. 14 дек. (№ 332). С. 4).

В шести номерах “Киевских вестей” за 1910 г. (с 19 авг. по 20 сент.) печаталась серия статей критика, подводившая итог его андреевским штудиям под общим названием “В тревогах богоискания”. Пятая статья посвящалась “Тьме” и “Черным маскам”. Осложняя свой анализ 1908 г., критик назвал “Тьму” “повестью о правде последнего отчаяния”. Истоки ее идей он возвел к Белинскому, “не желавшему счастья для себя, если его нет у каждого из его братьев по крови”. Как на важного предтечу героя “Тьмы” Джонсон указывал на Ивана Карамазова, готового вернуть свой билет в царство будущей гармонии, если она не может искупить бывших до нее человеческих страданий. Повесть Андреева заняла свое место в ряду произведений, посвященных “старой доброй правде – жить для других”, когда “они” – “тьма” и «не имеют никакой возможности сделаться “хорошими”». По Джонсону, финал повести звучит на два голоса: мотив “последнего отчаяния” в нем сливается с “благовестом новой, радостной, могучей жизни” (Киевские вести. 1910. 19 сент. (№ 251). С. 2).

Для М. Неведомского Андреев “один из первых в революционной русской общественности порвал с морализмом и заговорил на языке философских исканий”. В этом критик увидел “его историческое призвание, его значение в русской литературе, причину его успеха”. “Тьму” Неведомский находит “неудачной по форме”, “недоношенной по мысли”; однако же она переворачивает “заветный вопрос о морализме”. «Дилемма, которая развернулась перед духовным взором террориста, встретившегося с проституткой, в плане морали совершенно неразрешима», а “самоуничужение и самоотрицание, отказ от преимуществ и привилегий, даже моральных (... ) разве это не подвиг смирения, не проявление абсолютной любви?... (... ) Мораль сама по себе заводит здесь в тупик – в безысходность, повергает в подлинную “тьму”». Критик видит в “Тьме” попытку писателя “аргументировать против морализма доведением до абсурда: делая последние крайние выводы из моралистских посылок” (Неведомский М. [Миклашевский М.П.] Об искусстве наших дней и искусстве будущего // Современный мир. 1909. № 3. Отд. 1. С. 179, 183).

В другой статье об Андрееве Неведомский возвращается к вопросу о бесплодности “морализма” в разрешении бытийных проблем. В повести “Тьма” “интеллигентская идеология, во имя которой человек



полагает свою душу, оказывается бессильной разрешить вопрос: почему предпочтительнее борьба за новые формы жизни, нежели жертва – наиболее дорогим человеческим достоянием – нравственной чистотой и совершенством?”. По мысли автора, “вопрос решается в иной плоскости, при помощи иных критериев и отправных точек; мораль сама по себе бессильна дать решение...”.

Критик констатирует: для прорыва в бытийное Андреев “порывает с реализмом и бытом. Все реально-конкретное служит у него лишь ризами, в которые он облачает свои идеи-вопросы, иллюстрациями для его исканий в области неясного и нерешенного” (*Неведомский 1910. С. 271–272*).

Наряду с выступлениями в солидных печатных изданиях Неведомский посвящает “Тьме” несколько газетных рецензий. Два варианта одной из них под псевдонимом Пессимист попали в “Уральскую жизнь” (в рубрике “Литературные заметки”) и в “Бакинец” (“Литературные наброски”). В обоих случаях они были названы «Во тьме: “Тьма”, рассказ Леонида Андреева, “Шиповник”. Кн. III». В обоих случаях Пессимист писал об Андрееве как о художнике не чувства, но мысли и логики, сооружающем “скульптурные художественные трактаты”, воплощенные в формулы-контуры. Андреев тяготеет не к Чехову, а к Достоевскому, который “вместил будущего Ницше и прошедшего Христа”, все вместе “они дали Андреева, самого русского из современных русских писателей”.

Во “Тьме”, как обычно, интерес Андреева сосредоточен не на конкретном, индивидуальном, а на общечеловеческом: “революционер и Люба – оба отвлеченные правды жизни”. Автор их сталкивает, “чтобы найти новую, третью правду”. Происходит “неожиданное сближение полярностей”, и «какая-то открывается странная, мгновенная правда – в этом хождении “во тьме” последних вопросов человеческого бытия». Рассказ считают реакционным произведением. Однако “он революционнее утилитарного революционизма, ибо его бунт – дальше формы, глубже социальной оболочки”, он “в самой сущности человеческих взаимоотношений” (*Уральская жизнь. 1908. 5 янв. (№ 4). С. 2; Бакинец. 1908. 3 февр. (№ 5). С. 2–3*).

Ведущий критик журнала “Современный мир” В.П. Кранихфельд отозвался на “Тьму” в 1908 г. трижды. В первом номере он посвятил разбору “Тьмы” специальную рецензию, отнюдь не положительную: «...из всех известных мне доселе произведений Леонида Андреева этот рассказ я считаю наименее удавшимся. Он как будто написан с умышленным намерением демонстрировать читателям все наиболее слабые стороны художника (...) Это (...) какой-то головоломный прыжок, которым художник хотел перескочить (...) и через “Иуду” и даже через самого себя». В замысле автора усматривается «дальнейшее абстрагирование того положения, которое уже в “Иуде” трепещет и колеблется, готовое вот-вот оторваться от своего конкретного выражения (...) Положение (...) до такой степени искусственно, что оно не может быть (...)»

истолковано самой хитросплетенной софистикой» (*Кранихфельд В.П.* Литературные отклики: “Тьма” Л. Андреева // Современный мир. 1908. № 1. Отд. 2. С. 95, 97).

Статья критика в следующем номере была названа “Симптомы современных переживаний и настроений”. “Тьма” и другие андреевские вещи той поры охарактеризованы “как (...) именно нынешний день русской литературы и русской действительности (...) Мрачные произведения Андреева болезненны, как болезненно породившее их время” (*Современный мир.* 1908. № 2. Отд. 2. С. 28).

И, наконец, в этом же втором и в пятом номере журнала Кранихфельд вступает в полемику с критиками автора “Тьмы” двух лагерей – символистского и большевистского. В № 11–12 “Золотого руна” за 1907 г. Бальмонт произнес неосторожный приговор: “Оперный певец русской прозы, Леонид Андреев стал вчерашним днем” (*Бальмонт К.* Наше литературное сегодня: Заметка // Золотое руно. 1907. № 11–12. С. 61). В противовес Бальмонту Кранихфельд назвал Андреева «единственным художником, отразившим наше время в его больной мечте (“К звездам”, “Савва”) и в его больном разочаровании (“Так было”, “Елеазар”, “Иуда Искариот и другие”, “Тьма”)».

“Литературные отклики” пятого номера полемизируют с Воровским, автором статьи “В ночь после битвы” из сборника “О веяниях времени”, и с Луначарским, автором статьи “Тьма” из первого сборника “Литературного распада”. Политические пристрастия помешали, утверждает Кранихфельд, понять смысл “Тьмы”. Орловский-Воровский с легкостью заклеил Андреева и Сологуба, назвав их “мародерами русской революции”. “Изучал ли, знает ли этот отважный критик разбираемых им авторов?” – иронически спрашивает Кранихфельд. Его единомышленник Луначарский не приемлет “отрицаний” Андреева, называя их “пошлостью”, а мысль писателя, в его глазах, “всегда слаба в своих титанических потугах”. Кранихфельду представляются убогими “заключения критического большевизма” о том, что ценности “расколотого мира”, созданные модерном, “подлежат гибели” (*Современный мир.* 1908. № 5. Отд. 2. С. 46–47).

К.И. Чуковский откликнулся на “Тьму” дважды. В первый раз, когда писал об Андрееве как об изобличителе “мещанственности”, которая в глазах писателя “приняла титанические размеры”. А «повесть “Тьма” тонченно вскрывает мещанство на самых вершинах человеческого благородства (...) Он как бы говорит своею “Тьмой”: даже отдай себя “за други своя”, отдай себя всего, целиком, но если ты при этом безмятежен, и если твой подвиг, твои муки, твоя жертва доставляют тебе покой и довольство, ты мещанин, и развратная, грубая девка лучше и святее тебя» (*Чуковский К.И.* От Чехова до наших дней. 3-е изд. СПб.; М., 1908. С. 242).

Во второй раз к “Тьме” Чуковский обратился в пятой главе книги “Леонид Андреев большой и маленький”. Он остановился на такой черте творчества писателя, как “сбрасывание” литературным героем с себя

“тесных оков” своего внешнего “я” для обнаружения “я” внутреннего. В герое “Тьмы” Чуковский находил “внешним, выдуманным” комплекс идей и поступков террориста; внутренним, за внешним скрытым, “голового, абсолютного, свободного человека”, “субстанциональную личность”. “Внешнее” – все, что герой «узнал в течение жизни, полюбил и передумал, разговоры с товарищами, книги, опасная и завлекательная работа, и что названо в повести “книжной мудростью”». На их место вставало то, что критик считал “своим” героя и что автор обозначил как “дикое и темное, как голос самой черной земли” (Чуковский К.И. Леонид Андреев большой и маленький. СПб., 1908. С. 48).

Отклик М.О. Гершензона на “Тьму” состоял из двух частей. В первой он отнес повесть к разряду “философско-романтического репертуара Максима Горького”; в ней “психология террориста и проститутки фантастична; все это так сложно и глубоко, что нет ни тени правды”. Но во второй критик пишет о ненужности искусства правдоподобия для Андреева. Анализируя “Тьму” с точки зрения собственных идей религиозного народничества, Гершензон утверждает, что “сила Андреева не в правдоподобии”, а “в чувствах героев”, в частности “в боли” героя “за живого человека”. И посему “Тьма” – “это живая трепещущая жизнь”; ее “правда” – “в том, что чувство равенства и братства между людьми (...) составляет самую сущность души террориста, (...) что нарушение этого равенства для него невыносимо и не может быть оправдано перед совестью ничем (...) и это значит, что он должен погибнуть (...) Внешняя катастрофа обусловлена субъективно”. Среди “множества поразительных художественных черт”, присущих повести, критик особо выделил “высокое мастерство” в обрисовке второстепенных фигур ([Б.п.] [Гершензон М.О.] Литературное обозрение. [Вып.] VIII: Литературно-художественный альманах издательства “Шиповник”. Кн. III. СПб., 1908 // ВЕ. 1908. № 1. С. 374–375).

Профессор общественных наук М.А. Рейснер был занят выяснением природы и свойств нищезанятия у Андреева и его героев. Под этим углом зрения его интересовала и “Тьма”, о которой он пишет в главе под названием “Сверхчеловек” в книге “Леонид Андреев и его социальная идеология”. Именно в этой повести, как думает Рейснер, “с поразительной яркостью и силой происходит рождение андреевского сверхчеловека”. “Самоуверенность честного и чистого человека” не выдерживает испытания тем, что стоит за “проституткой, а это: миллионы раздавленных жизней и моря горьких слез”.

Не Алексей, а Любовь переживает ницшевское “великое презрение”: бросает на него “гордый презрительный взгляд”, поднимается на ступень “неведомого престола и оттуда (...) разглядывает у ног своих что-то маленькое, крикливое и жалкое”. И только тогда, пройдя через “великое презрение”, он вернулся к “темной мудрости предков”, в которой “виделось кровавое зарево пожаров и звон железных кандалов, и исступленная молитва, и сатанинский хохот тысяч глоток, и черный купол неба над непокрытой головою”.

Критик поясняет, что повесть оканчивается на моменте рождения сверхчеловека: это момент явления его “раскаленной воли”, уже чувствующей способность “все создать и все разрушить”. Но и как сам Ницше, как все другие, грезящие о рождении сверхчеловека, Андреев не показал его в действии, в земной жизни (*Рейснер 1909. С. 113–115*).

Предметом критического очерка С.Ю. Витте о творчестве писателя стала интерпретация его произведений зрелой поры: “Елеазара”, “Иуды Искариота”, “Тьмы”, “Рассказа о семи повешенных” и др.

По мысли Витте, Андреев замахнулся на стереотипы “позитивно-революционистского сознания”. Его заслугой Витте считала расшатывание этого типа сознания, приближение к сознанию неохристианскому и, может быть, к вере. Знаком приближения у Андреева стала Любовь: любовь Августа, Иуды и Христа, Петра–Алексея, Вернера, Муси, Тани, – любовь, оказавшаяся сильнее смерти.

“Тьму” Софья Витте прочитывает в этом ключе. Герой повести смерти не боялся, был к ней готов: “Он был силен сознанием красоты и величия своего будущего подвига: убить и умереть, пожертвовать собою (...) Он считал жизнь свою прекрасной, потому что он не знал, что иногда умереть за других гораздо легче, чем жить для других” (*Bumme 1910. С. 18*).

Неожиданный вопрос Любы о праве быть “хорошим” распахнул в его душе пропасть, куда “провалилась” “вся та старая правда, которою он до сих пор жил, за которую хотел умереть”. На дне пропасти он нашел “новую правду”. Она заставила его сменить будущий подвиг падением и обратить падение в подвиг. Его славная смерть сулила восхищение, его унижительная жизнь с падшими – “брезгливое презрение”, “но для него самого подвиг бесславной жизни был выше подвига славной смерти”.

Неоднократно писал о “Тьме” В.Л. Львов-Рогачевский. Вскоре по выходе альманаха “Шиповник” он опубликовал рецензию, назвав в ней повесть “ночным кошмаром” (*Обр. 1908. № 2. Отд. 3. С. 54*). Затем, в рецензии на роман В.К. Винниченко “Честность с собою”, в персонажах Андреева и Винниченко критик увидел современных искателей неординарной свободы, назвав их “героями тьмы” (*Утро. Харьков, 1911. 6 февр. (№ 1264)*). Книга Львова-Рогачевского “Снова накануне” (М., 1913) открывалась его статьей «О “Тьме” Леонида Андреева». Решение героя повести остаться с “тьмой” критик квалифицировал как “припадок и полубезумное действие во время припадка”. В вину Андрееву поставлено развенчание революционера, который “вдруг” отказался от “борьбы за страдающего брата” и порвал “со всей своей прежней жизнью”. Вывод критика: «Игрушка своей мысли и жертва воображения, Андреев захотел перешагнуть через “Записки из подполья” Достоевского и “Воскресение” Толстого и потерпел полный крах» (с. 67, 69).

Итоговый разбор “Тьмы” Львов-Рогачевский дал в монографии “Две правды”. Трактую “Тьму” как повесть о духовном крахе революционера,

критик отказался воспринять внутреннюю необходимость поступков героя. Он назвал “ребусом” переживание героем чувства своего прародства с “тьмой”. Автору книги не было ясно, чем был поступок Алексея – безумием или откровением “последней ужасной правды жизни, своей правды, которой не могли и не могут понять другие люди...” (*Львов-Рогачевский 1914. С. 207–208*).

Вместе с тем, оценивая полемику вокруг “Тьмы” и других произведений Андреева середины 1900-х годов, критик назвал “резкими и несправедливыми” выступления В. Брюсова, Д. Мережковского, З. Гиппиус, А. Луначарского и др.; их мотивы объяснял “партийными” интересами: “Во всех этих статьях, написанных и во имя культуры и во имя Христа и во имя пролетариата, была общая черта: все обращались к художнику, как к человеку, стоящему на распутье, обращались, как к огромному таланту, который обращал свои удары против всех без различия и которого важно было привлечь на свою сторону” (Там же. С. 111, 115, 118).

Л.С. Козловский в статье “Вечный укор: К характеристике творчества Л. Андреева” (1909) задался целью понять тексты произведений писателя от “Кусаки” до “Черных масок” в их внутреннем единстве, на которое указывают универсальные формулы, сосредоточивающиеся вокруг слова “ужас”: “ужас смерти”, “ужас равнодушия ко всему живому” и др. Носители ужаса – “черные маски”: они у Андреева присутствуют как “вечный укор (...) сытым и довольным своим счастьем и красотой, (...) вечное напоминание о том, что в жизни творится (...) страшное, с чем мириться нельзя”. Сближение с “Черными масками” позволило критику найти свою трактовку финала “Тьмы”. Вся жизнь Алексея до встречи с Любой была “заколдованным замком”: он жил тем, что “хороший”. Встреча с ней разрушила “замок”, заставила помнить об угрозе “тьмы” для души каждого человека (*Вестник знания. 1909. № 8/9. С. 997–998*).

Козловский вернулся к анализу “Тьмы” в венгерском издании “Русской литературы XX века”. “Тьму” Андреева, все его творчество, манеру, стиль критик относит к “чисто романтическим”: контрастами, преувеличениями, гротесками Андреев, как и другие “новые романтики” эпохи – Ибсен и Ницше, передает свои мечты “об абсолютной свободе, о сверхчеловеке”. Романтическому сознанию соответствует романтический тип отношения “хорошего” и “чистого” героя к героине “падшей”. По Козловскому, формула “Как ты можешь быть хорошим, когда я плохая?” заострена Андреевым, однако “к ней вела вся русская литература своею проповедью любви к последнему человеку. Если последний грешник и преступник действительно брат наш, то разве можем мы при виде его падения не испытывать чувства неловкости и стыда за ту чистоту, которую нам жизнь оставила, отняв у него”. Источник этого воззрения – народная мудрость, “которая в преступнике видит несчастного” (*Козловский 1915. С. 263–264*).

При жизни автора повесть была переведена на болгарский (1908), польский (1908), финский (1908), чешский (1909), эстонский (1909), хорватский (1910), сербский (1911?), французский (1913), нидерландский (1917) языки и на идиш (1909, 1910, 1912).

К сюжету повести позднее неоднократно обращались театр и кинематограф. В 1992 г. по заказу седьмого канала французского телевидения режиссер Игорь Масленников сделал фильм “Тьма”. Сценарист Жак Байнак, оператор Владимир Брыляков, композитор Владимир Дашкевич. Главные роли исполнили Олег Янковский и Ксения Качалина. Телепреьера состоялась в феврале 1993 г.

Сценическая версия рассказа была показана на английском языке 1 ноября – 9 декабря 1995 г. в лондонском театре “Челси сэнтз” (Chelsea Centre). Сценарий и режиссура Галины Дубовской, перевод Анны Баркан (она же исполнила роль Любы) и Стюарта Бунса (Bunce).

Новая экранизация под названием “Ах, зачем эта ночь...” создавалась режиссером Борисом Бланком в 1997 г. Сценарий Александра Макарова, в ролях Михаил и Олег Ефремовы, Оксана Арбузова, Лев Дуров. Производство “Фильмстудио 12А”. Однако работа над фильмом не была закончена, на экран он не вышел.

Еще одна английская версия “Тьмы” шла в рамках проекта “Фристейдж сизтз” (Freestage Theatre / “Театр без сцены”) на подмостках эдинбургского театра “Рокси арт хаус” (Roxy Art House) 31 марта – 2 апреля 2004 г. Роли исполняли актриса Елена Шеленберг-Гудкова (Schellenberg-Gudkova) и Сэнди Грирсон (Sandy Grierson).

С. 78. *Тьма (заглавие)* – Заглавие “Тьма” побуждает искать значение его скрытого подтекста в новозаветных архетипах: “Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? (Мф 6: 23); “...Смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?” (Лк 11: 35); “И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы” (1 Ин 1: 5). Архетипы “свет–тьма” были и в Ветхом Завете, в частности в Книге Иова, любимой Андреевым: “Где путь к жилищу света, и где место тьмы?” (Иов 38: 18–19); “Когда я чаял добра, пришло зло; когда ожидал света, пришла тьма” (Иов 30: 26). “Свет” и “тьма” – библейские архетипы, широко бытовавшие в литературе. К примеру:

Он падает – кричат они, хохочут.  
А он всего лишь – к ним спуститься хочет.  
Он слишком счастлив был с самим собой,  
Он – слишком свет, чтоб не пойти за тьмой.  
(“Нисхождение” / Пер. В. Топорова // Ницше Фр.  
Стихотворения. Философская проза.  
СПб., 1993. С 267)

С. 88. – *А отчего же это ты такой хороший? (...)* покоренный воспоминаниями о жизни, такой чистой и мучительно прекрасной. – “Хороший” и “чистый” в контексте повести – формулы пусть невольного,

но революционистского фарисейства. Мотив “чистого”, “чистоты” как фарисейства рассматривал Эрнест Ренан в книге “Жизнь Иисуса”, на что обратил внимание русский богослов М.Д. Муретов: «Христа “оскорбляла” самоуверенность фарисеев, их похвальба “чистотой и святостью”, отсутствие у них “страха” перед судом и религиозного “смирения”» (Муретов М.Д. Эрнест Ренан и его “Жизнь Иисуса” // Странник. 1907. Т. II, ч. I. С. 81).

С. 93. *Котильон* – бальный танец (*франц. cotillon*); объединяет вальс, мазурку, польку, др.

*Дед был мужик. Мы из старообрядцев.* – Андреев ставит героя в ряд с Раскольниковым из “Преступления и наказания”, с Керженцевым из “Мысли”; общее между ними – генетическая принадлежность к исконно русской, ставшей бунтовской, вере и крови. Возможно, этот акцент связан с последующим в повести мотивом возвращения к “первоначально своему – к деду, к прадеду, к тем стихийным, первобытным бунтарям, для которых бунт был религией, и религия – бунтом”.

С. 95. *Ритурнель* – вступительный и заключительный отыгрыши в танце (*франц. ritournelle*).

С. 97. *Драпри* – занавеси со складками, преимущественно из тяжелой ткани.

С. 119. – *Самсон и Далила!* – сказал иронически невысокий, гнуса-вый офицер... – Имеется в виду эпизод из жизни героя ветхозаветной легенды о предательстве Самсона его возлюбленной филистимлянкой Далилой, коварно открывшей врагам Самсона (своим братьям) тайну его непобедимой силы, скрывавшейся в длине его волос (намек на передачу Любкой браунинга террориста службам дома терпимости, послужившую поводом к его аресту).

*С девкою связался, со стервой (...)* *распутная женщина*... – “Распутная женщина”, “девка”, “блудница Любка” имеет в своей родословной судьбу кающейся Марии Магдалины. Ей в русской поэзии посвящено немало стихотворений: “Соламская гетера” и “Грешница” В. Крестовского, “Блудница” А. Фета и “Блудница” Д. Минаева, “Грешница” Н. Клюева (см.: *Брихничев И. Христос в мировой поэзии.* М., 1912).

## ЧА I

С. 316. – *Вихри враждебные веют над нами*... – Начало известной польской революционной песни “Варшавянка”, автор слов В. Свенцицкий (1883), автор русского перевода Г.М. Кржижановский (1897).

ИЗ РАССКАЗА, КОТОРЫЙ НИКОГДА  
НЕ БУДЕТ ОКОНЧЕН

(С. 121)

Источники текста:

УР – Утро России. 1907. 16 сент. (№ 1). С. 4.

П – Путь. 1908. 1 апр. (№ 2). С. 8–13.

У – Утренники: Товарищеский сб. М., 1909. С. 7–12.

Ш. Т. 6. С. 261, 263–268.

Пр. Т. 9. С. 261–268.

ПССМ. Т. 4. С. 145–149.

Автограф неизвестен.

Впервые: УР.

Печатается по тексту ПССМ.

Возможно, о замысле рассказа автор говорит в неопубликованной записке брату Павлу Николаевичу, написанной предположительно в конце 1906 г. Рассказ должен называться “Революция”, в нем “будет говориться о баррикадах (...) Потом пусть будет снова рабство, что угодно, важно одно – баррикады. Важен – момент” (РО ИРЛИ. Ф. 9. Оп. 2. Ед. хр. 5). Связь замысла рассказа с цитированным письмом впервые отмечена в “Примечаниях” А.И. Наумовой и В.Н. Чувакова (см.: *Андреев Л.Н.* Повести и рассказы: В 2 т. М., 1971. Т. 2. С. 414). Ими же выявлена неточность в воспоминаниях А.М. Горького, который отнес рассказ к 1905 г. (Там же. С. 415).

Рукописные источники произведения до нас не дошли. В газете “Одесское обозрение” (1907. 25 дек. (№ 22). С. 6) был воспроизведен текст первой публикации под заглавием “Из рассказа, который никогда не будет напечатан” и с подзаголовком “Из французской жизни”. Заглавие, возможно, принадлежало редакции газеты.

По всей вероятности, в произведении в полуаллегорической форме отразились события Первой русской революции, в частности выступления московских рабочих в 1906–1907 гг.

В. Брусянин, истолковывая рассказ, затронул тему “Дети и революция”. “Ради праздника людей, революции, – писал он, – героиня рассказа Андреева готова оставить и детей. Правда, этим дети еще не обрекаются на несомненную жертву, но, во всяком случае, они отдаются во власть обстоятельств, без ухода и ласк матери. Но и перед этим не останавливается андреевская мать, – таков уж ореол того идеализма, которым окружена мать в произведениях Андреева. Мать – прообраз родины, и Андреев говорит детям: следуйте по пути ваших матерей, если они зовут вас на праздник людей...” (*Брусянин В.В.* Дети и писатели. М., 1915. С. 144–145).

При жизни автора рассказ переведен на английский (1908, 1917), шведский (1909), финский (1910 – 2 раза), эстонский (1910), итальянский (1919), словенский (1919) языки.



Существует инсценировка рассказа в виде одноактной пьесы американского драматурга Уолтера Уикса (*Call of Revolution // He Who Gets Slapped and other plays by Leonid Andreyev / Adapt. by W. Wykes. Los Angeles: Black Box Press, [2007]. P. 67–75).*

С. 121. *Значит, это – правда: оно пришло. (...) Оно боится слов.* – “Оно” – условное наименование мятежа, восстания, революции. Ср. в стихотворении З. Гиппиус “Оно” (1906): “Мчится грозное Оно”. Как отметили в своих комментариях к нему К. Азадовский и А. Лавров, образ восходит к заключительной главе “Истории одного города” (1870) М.Е. Салтыкова-Щедрина, к следующему месту из нее: “Полное гнева, оно неслось, бурвя землю, грохоча, гудя и стена (...) Оно близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой” (см.: *Гиппиус З.Н. Соч. Л., 1991. С. 626).*

С. 123–124. *...падают, падают какие-то стены – и так просторно, так широко, так вольно! (...) Я смотрел на стены, и они казались мне прозрачными. Точно всю вечность обнимая одним взглядом, я видел, как разрушатся они...* – Отголосок раннего рассказа Л.Н. Андреева “Стена” (1901) с его центральным образом, символизирующим преграды на пути людей к совершенной жизни.

С. 123. – *Времени нет.* – Ср. в Откровении Иоанна Богослова: “...времени уже не будет” (10: 6).

*Солнце восходило и заходило...* – Ср. слова из песни, которую поют герои пьесы М. Горького “На дне” (Д. 2): “Солнце восходит и заходит...”

## ВЕЛИКАН

(С. 126)

Источники текста:

*СМ* – Современный мир. 1908. № 1. С. 47–49.

*Ш.* Т. 5. С. 213–215.

*Пр.* Т. 9. С. 209–214.

*ПССМ.* Т. 1. С. 163–164.

Впервые: *СМ.*

Печатается по тексту *ПССМ.*

По свидетельству близких, основные настроения рассказа автобиографичны: навеяны тяжелой и опасной болезнью старшего сына Андреева, Вадима, в 1907 г. Так, родственница Л.Н. Андреева, С.Д. Панова, пишет: «Детей своих Леонид очень любил. Переживания отца он изобразил в рассказе “Великан”. У него был болен сын, Вадим. Мальчик поправился, что неясно из рассказа» (*Фатов. С. 206).*

Рассказ написан в сложный для писателя период после смерти жены, А.М. Велигорской, и, возможно, интерпретирует тему смерти по

далековатой, но глубоко личной ассоциации “мать–ребенок–смерть”. В таком случае к предыстории рассказа имеет отношение описанный М. Горьким в воспоминаниях следующий эпизод:

«Как-то под вечер, придя к нему, я застал его в кресле пред камином. Одетый в черное, весь в багровых отсветах тлеющего угля, он держал на коленях сына своего, Вадима, и вполголоса, всхлипывая, говорил ему что-то. Я вошел тихо; мне показалось, что ребенок засыпает, я сел в кресло у двери и слышу: Леонид рассказывает ребенку о том, как смерть ходит по земле и душит маленьких детей.

– Я боюсь, – сказал Вадим.

– Не хочешь слушать?

– Я боюсь, – повторил мальчик.

– Ну, иди спать...

Но ребенок прижался к ногам отца и заплакал. Долго не удавалось нам успокоить его. Леонид был настроен истерически, его слова раздражали мальчика, он топал ногами и кричал:

– Не хочу спать! Не хочу умирать!

Когда бабушка увела его, я заметил, что едва ли следует пугать ребенка такими сказками, какова сказка о смерти, непобедимом великане.

– А если я не могу говорить о другом? – резко сказал он. – Теперь я понимаю, насколько равнодушна “прекрасная природа”, и мне одного хочется – вырвать мой портрет из этой пошло-красивенькой рамки» (*Горький. ПСС-ХП. Т. 16. С. 347–348*).

Впервые рассказ опубликован в 1908 г. в январском номере журнала “Современный мир”. Сразу после первой публикации с лестной анонимной аннотацией перепечатан в “Биржевых ведомостях”: «В вышедшей сегодня в свет январской книге “Современного мира” находим новое, крохотное по размерам (120–150 строк), но крупное по глубине поэзии и силе выражения произведение Леонида Андреева» (*БВед. 1908. 9 янв. (№ 7). С. 2–3*), а затем воспроизведен множеством провинциальных газет (см.: *БиблиА1. С. 51; БиблиА2а. С. 67*). Почти все перепечатки также сопровождались комплиментарными отзывами, например: “маленькое по размерам и трогательное по силе чувства новое произведение Леонида Андреева” (*Голос Приуралья. Челябинск, 1908. 23 янв. (№ 18). С. 3*).

Произведение в полторы страницы вызвало многочисленные отклики в прессе, причем тональность критических отзывов прямо противоположна: от полного неприятия – до признания лучшей вещью писателя.

Так, А. Южанин выражает разочарованность рассказом, который, по его словам, не соответствует тем ожиданиям, которые обыкновенно возлагают на Андреева. В частности, критик отмечает “двойственное впечатление”, производимое рассказом, особенно его концовкой: “Драма, обнаруживающаяся (...) последней строчкой, сваливается как снег на голову читателю; и весь рассказ производит какое-то неожиданное, двойственное впечатление” (*Южанин А. [Иерусалимский А.М.] Литературные отголоски: По журнальным полям // Северокавказская газета.*

Ставрополь, 1908. 8 февр. (№ 35). С. 2–3). Двойственность тональности рассказа, его “оптимистический пессимизм” отмечается и рецензентом газеты “Русь” ([Б.п.] Книги и писатели // Русь. 1908. 18 янв. (№ 17)).

Неоднозначность восприятия этой вещи пытается истолковать М. Дмитриев в своей статье “Призраки и туманы”:

«Претенциозность – характерная особенность Андреевского творчества, и она его погубит, если не погубила.

Все так привыкли к его болезненным изломам, странным туманным образам, к его своеобразному мистицизму, что, когда из-под его пера случайно вырывается правдивая вещь, – его поклонники останавливаются перед ней в недоумении, а противники оптом относят ее к разряду непроходимой чепухи.

Такое роковое недоумение произошло, между прочим, с маленькой вещью Андреева “Великан”, напечатанной в последней книжке “Современного мира”.

Поклонники Андреева прошли мимо нее с снисходительной улыбкой: шалость гения! Не больше! Противники подняли крик: Чепуха! Бессмысленный набор слов! Издевательство над здравым смыслом!

Да, это действительно набор слов. Но в них такая глубокая трагедия, такой кошмарный ужас, такая потрясающая правда жизни, что за “Великана” я отдам все андреевские произведения: и “Бездну”, “Тьму”, и “Жизнь Василия Фивейского”, и пресловутую “Жизнь Человека”. Что значат то громовые, то жалобные монологи Человека перед этим бессвязным трогательным шепотом?.. {...}

Неужели из-за этих бессвязных слов вы не чувствуете холодного дыхания смерти, не слышите страшного мучительного горя? Это отрывок из живой, настоящей жизни. Может быть, он даже не сочинен, а списан с природы, подслушан в уголке горя... Так ярко рисуется усталая, измученная фигура матери с умирающим ребенком на руках... Губы шепчут какие-то слова, а мысль далеко, далеко, может быть, обращена с страстной мольбой к Всемогущему, может быть, блуждает в недалеком прошлом, когда этот Додик, бедный маленький Додик, весело топтал ножонками и болтал что-то на своем детском языке. Мозг усиленно работает, мысли пронесятся беспорядочным вихрем, переходя от молитвы к проклятию, от надежды к отчаянию, а губы машинально шепчут с убаюкивающим ритмом:

– Вот пришел великан и упал. Такой смешной, смешной великан. Пришел и упал.

Критика глубокомысленно изрекла:

– Нет смысла!

Позвольте, однако, спросить, что называть смыслом, и какой именно смысл нужен и может быть в безнадежном отчаянии матери с умирающим ребенком на руках?

По-моему, этот бессмысленный лепет о смешном упавшем великане куда и глубже, и правдивее, чем патетическое театральное проклятие Человека, потерявшего сына: “Ты женщину обидел, негодяй! Ты маль-

чика убил!” И я думаю, что “Великан” – это лучшее, что вышло из-под пера Андреева. Прочтите это внимательно, поздней ночью, в глубокой тишине, создайте себе иллюзию обстановки, в которой бедная мать шепчет свою бесконечную сказку о великане, и вы почувствуете силу этого произведения (...))»

“Мы привыкли к претенциозной изломанности его произведений, – далее развивает мысль критик, – и когда он показал нам фотографию кусочка жизни, одни сказали, что это ложное кривлянье, другие ничего не поняли и отошли недоумевая, третьи решили, что в этом кроется какой-то особый символический смысл и принялись его разгадывать с усердием, достойным лучшего применения” (*Дмитриев М.* Призраки и туманы // Николаевская газета. 1908. 23 февр. (№ 630). С. 2). (Примечательно, что авторы газетных откликов на рассказ интерпретируют его именно в трех обозначенных критиком направлениях: “правда жизни”, “декадентская бессвязность” и “символизм”.) Наконец, обозначая движение Андреева к декадансу и вырождению таланта, Дмитриев заключает: «Может быть, “бессмысленный “Великан”” – последний проблеск сознания в большом мозгу, запечатлевшаяся в мозговых извилинах отрывочная картина настоящей жизни, погребенная под ворохом болезненных представлений и галлюцинаций» (Там же. С. 4).

В том же духе пишет и критик Боровой, причисляя рассказ к лучшим произведениям Андреева и называя писателя “самой крупной величиной нового литературного мира”: “Он один умеет захватывать, волновать общественное мнение, и каждое его новое произведение читается с захватывающим интересом, уже хотя бы потому, что интересно следить за развитием литературного творчества” (*Боровой [Якушев Д.П.]*. Литературные очерки: О журналах и сборниках: Три произведения Леонида Андреева: “Великан”, “Проклятие зверя”, “Царь-Голод” (...) // Голос правды. СПб., 1908. 22 марта. (№ 756). С. 2).

Боровой выражает надежду на то, что Леонид Андреев, как и Максим Горький, который “пал” раньше, смогут вновь “обрести себя”: «(...) талант, блеснув в “Великане” силой своего могущества, снова, после минутного уклонения, пошел в прежнем направлении, он стал падать все ниже.

Жаль Андреева, жаль большого художника, который не сумел разобрататься в окружающей жизни, не угадал направления, ведущего к свету, к солнцу, к небу, и стал могучей рукой прокладывать себе путь в мрачные недра, где света нет – и, стало быть, найти его нельзя» (Там же).

Анализируя причины, по которым “Великан” остался несправедливо не замеченным критикой (как мы видим, это не так), Боровой отмечает: «Дело в том, что “Великан” – произведение того Андреева, который написал “Жили-были”. В нем нет вычурности, он прост и естественен. От такого Андреева уже отвыкли; публика привыкла к тем кричащим, вычурным образам, к которым прибегает Андреев в своих более поздних произведениях, и не узнает своего любимца без этих, в сущности, чрезвычайно антихудожественных атрибутов» (Там же). Отмечая неспра-

ведливость того, что “Великан” встречен “сочувственной улыбкой”, как “каприз талантливой автора”, Боривой пишет: «“Великан” стоит выше многих нашумевших рассказов того же автора. В этом рассказе Андрееву удалось уловить бред матери над умирающим ребенком, удалось в бессвязных, почти бессмысленных фразах выразить такое отчаяние, такое безумное, само себе не доверяющее горе, что без обычных “андреевских” сравнений, без вычурного, ходульного языка, рассказ производит чрезвычайно сильное впечатление (...) Нужен талант Андреева, чтобы вдохнуть столько чувства в такие бессвязные слова. Эта картина написана рукой большого мастера» (Там же).

М. Морозов, в целом высоко оценивая произведение, в большей степени занят символическим смыслом рассказа, сводимого к изображению образа смерти. Критик считает, что, в отличие от Арцыбашева, у которого смерть страшна, и Сологуба, у которого она очаровательна и мистически привлекательна, Андреев раскрывает эту тему совершенно иначе: «Только Леонид Андреев не связал образа смерти с предвзятой мыслью. Страшны глаза Елеазара, отразившие в зрачках своих загадочную тайну смерти, и умирает и гаснет неотвратимо все под тяжелым взором Елеазара. Ту же неодолимую силу ужаса перед смертью раскрывают 2 странички рассказа Андреева “Великан” (...) Глубокое волнение охватывает при чтении этой беспорядочной речи (...) Повторяя слова и сбиваясь, говорит мать о смешном великане, который пришел к ним, к их маленькому Додику, умирающему у нее на руках (...) От каждого как будто пустого, как будто ненужного слова матери веет невыразимой болью любви, испуганной тенью великана.

Я не знаю в литературе еще такого сильного удара словом» (*Морозов М. Литературные заметки: “Великан” Л. Андреева // Реформа. СПб., 1908. 12 янв. (№ 10). С. 1).*

Великан трактуется Морозовым как образ смерти: “Именно глупый великан стоит над каждым домом и глупо спотыкается и падает... Зачем пришел, – сам, да и никто, не знает. А все-таки тупо идет и падает, и нет никакой силы ни остановить, ни поднять. (...) Это образ совершенно новый, неожиданный, необычный (...)”

Гол современный человек перед лицом жизни; безоружен он перед нелепым великаном – смертью.

Наивное суеверие и религиозность – они вооружены (...) Но мы не верим ни в тот свет, ни в его миражи. С открытой грудью встречаем страшного врага, с переменным счастьем боремся с его слепотой, убивающей все без разбора (...) И в той трагической борьбе необходима ясность и смелость мысли и гордое презрение ко всякому подслащиванию трагизма. У Леонида Андреева этого подслащивания нет. Божественный Август делает вызов смерти (...) И, выколотив глаза Елеазару, через которые она могла смотреть на всех, он лишил смерть возможности губить то, что ей не принадлежит (...)

Как резко и определенно расходится Леонид Андреев в жизненной постановке вопроса от тех, кто как бы старается снова вставить Елеазару глаза и сделать их очаровательными или страшными” (Там же).

Среди самых “злых” рецензентов – верный себе литературный обозреватель “Нового времени” В.П. Буренин, усмотревший в “Великане” свидетельство “разжижения мозга” у писателя, “образчик белиберды”, “сумасшедшую чепуху”, “галиматью” и следствие “гипноза имени”: “Психиатр наверное определит эту галиматью как произведение сумасшедшего. Тут сразу поражает первый признак свихнутой мысли: беспрестанное повторенье одних и тех же слов...” (Буренин В.П. Критические очерки: Разговор // *НВ*. 1908. 8 февр. (№ 11462). С. 4).

Литературный обозреватель “Русской правды” пишет по поводу последних произведений Андреева, в числе которых и рассказ “Великан”: “...погоня за популярностью и страсть к вычурности и оригинальничанью быстро привели Леонида Андреева в тупик, из которого ему надо выбирать скорее, если он не желает в самом недалеком будущем прослыть даже среди своих недавних поклонников сумасшедшим или, по крайней мере, душевнобольным” (М.Л. Литературные заметки // *Русская правда*. Екатеринослав, 1908. 5 марта. (№ 378). С. 2). Критик обращает внимание на то, что рассказ напечатан в “Современном мире” – «органе социал-демократов, задающемся целью распространять среди читателей идею “освобождения личности”» (Там же).

«Если журнал имеет в виду освобождение личности от логики и здравого смысла, – продолжает обозреватель, – тогда, конечно, понятно появление на его страницах такой претенциозной, самодовлеющей белиберды, как “Великан” Андреева (...)

Материнская скорбь, материнская любовь и слезы перед грозным призраком смерти – это ли не тема для таланта, обладающего чудесным даром перелить в читателя собственную душу, собственные чувства! Но у Леонида Андреева отсутствует главное свойство здорового, не извращенного таланта, заключающееся в той *простоте* изложения, которая, однако, действует на воображение куда сильнее декадентских вычурностей. Неужели же набор слов, бессмысленный и надоедливый, может сойти за “творчество”?» (Там же). «Леонид Андреев на этот раз пересолил, – заключает автор заметки. – Страсть к оригинальничанью, при полном отсутствии настоящей оригинальности, заводит его слишком далеко. Хотя требования современного читателя очень невысоки, но они сводятся, главным образом, к занимательности фабулы, вполне отсутствующей (...) в “Великане” (...) Еще несколько таких загадочных повестей, и слава Андреева неминуемо померкнет, – тем более, что в его аллегориях не разобрать даже столь излюбленных в нынешнее время “гражданских мотивов”» (Там же).

Приведем другие отрицательные отзывы: “Жалкая и совершенно ни с чем не сообразная болтовня”, “доказательство полнейшего отсутствия авторского самолюбия” (*Юс*. Литературная хроника // *Россия*. 1908. 13 янв. (№ 655). С. 3); “произведение сумасшедшего (...) порнографа

Л. Андреева – как наиболее яркой силы новой эротомании” ([Б.н.] Литературные наброски // Волга. Саратов, 1908. 23 марта. (№ 68)). Обвиняя Андреева в числе прочих “модных писателей” в “порнографии” и называя всю современную беллетристику “желтым домом” и “домом терпимости”, автор заметки в “Тамбовском крае” видит в Андрееве преемника “павшего” Горького: «Его преемник, светило нынешней литературной богемы – Л. Андреев – дописался до полной (...) бессмыслицы, хотя все еще гремит, как некогда Горький. Только что появившееся в “Современном мире” новое произведение Андреева “Великан” – наглядное доказательство того, до какой благоглупости может дописаться модный писатель. “Великан” – глупейший набор слов, не более того. И право, большое удивление вызывает “Современный мир”, который, претендуя на серьезность и солидность, дает с охотой место всяким глупостям» ([Б.н.] Кое-что о современной беллетристике и “модных писателях” // Тамбовский край. 1908. 26 апр. (№ 287). С. 2).

На фоне благожелательных или отрицательных отзывов, комментирующих прежде всего художественные качества рассказа, выделяется статья Арк. Бухова, который усматривает в сюжете “Великана” связь с современной общественной ситуацией и интерпретирует его как социально-политическую аллегорию (хотя предпочитает в духе своего времени и современной ему риторики оперировать понятием “символ”). Более того, “Великан” для этого литературного обозревателя представляет собой идейно-смысловое единство с рассказом “Так было”:

«Андреев всегда долго и упорно разрабатывает раз намеченную тему. Как хороший психолог, он до конца исследует действующих лиц своих произведений или вообще их внутреннее содержание, если явления человеческой жизни и духа абстрагированы, как это мы видим в “Жизни Человека” или в “Так было”. Это совершенно незаметно в его “Великане”. Маленькая сказка над умирающим ребенком (...) она, с первого взгляда, совершенно не представляет из себя психологический этюд (в ней всего 2 страницы), являясь чем-то вроде зайцевских безделушек... Нет в “Великане” яркой аллегории, нет красивых мест, сопоставлений; так и кажется, будто подпись “Леонид Андреев” ненароком поставлена под маленьким наброском, но глубже вглядываясь в него, ясно представляется та большая мысль этой бессвязной сказочки, которая была уже высказана в великолепном, разработанном и художественном рассказе “Так было”. Там, в большом, ярком рассказе мыслитель-художник и анархист набрасывает картину, как поднявшийся народ-великан, стряхнув бремя видимой власти, идет, чтобы судить живое олицетворение этой власти – “маленького носатого буржуа” – короля Двадцатого, но, идя судить его, не успел вытравить из своей большой души то рабское чувство, благодаря которому он носил цепи. И когда был казнен Двадцатый, это неясное чувство вылилось в смешных и горьких для этого момента криках “да здравствует Двадцать Первый!”, погубивших всю непоказную, духовную сторону этого восстания, с виду такого грозного, но в самой своей сущности жалкого (...) Абстрагированный образ чисто

внешнего, не духовного переворота людской жизни в “Так было” представляет возможность читателю *индуктивным* способом представить себе этот переворот, и если читатель будет вдумчив, то эта абстрагированная, внешняя, но не духовная революция и представится ему в том виде, в каком туманно рисуется “такой большой, большой великан” из рассказа-сказки “Великан”. После “Так было” все содержание его, вся его глубокая мысль в мозгу вдумчивого читателя набрасывает картину гибели, падения чего-то большого, но потом оказавшегося таким жалким и маленьким. Рисуется, как какой-то большой и непонятный великан-народ поднялся, встал, уверенный в своей силе, но не заметил, что ноги не держат его, и лишь только сделал несколько шагов вперед, как зашатался и упал (...)» (*Бухов Арк.* Леонид Андреев. “Великан”. “Современный мир”. Январь. 1908. (Библиографическая заметка) // Голос Приуралья. Челябинск, 1908. 19 февр. (№ 40). С. 3). И далее критик развивает свою мысль в том же ключе: «Несвязное содержание его (рассказа. – *Сост.*) – материал для дедукции (...) Результатом нашего анализа непременно явится аналогия между “Великаном” и “Так было”, где есть также и свой “светлый, умный” Додик – люди, познавшие, что нужно убить не власть, а рабов, и свой великан – толпа, которая, казнив Двадцатого, хочет воздвигнуть трон Двадцать Первому» (Там же). Наконец, автор статьи делает вывод о том, что, как и в поэзии, в творчестве Андреева сосуществуют «два символизма – один ясный, точный символизм, понятный для всех (...) и другой, запутанный символизм (...) для “избранных”, постигнуть который могут только имеющие родственную Андрееву психику (...) Художественные достоинства рассказа для автора статьи и неважны, и спорны (...) Сказать, чтоб он (рассказ. – *Сост.*) был особенно ярок и художествен, нельзя; этот набросок, выполненный “титаном мысли” – “пятно на солнце»» (Там же).

Необычный, экспрессивный по форме рассказ форматно и стилистически показался близок авторам, работавшим в жанре пародии, и вызвал к жизни несколько сочинений такого рода.

Так, О.Л. Д’Ор в своей пародии на андреевский рассказ, апеллируя к литературно-журнальной ситуации современности, вписывает творчество Андреева в литературный контекст рубежа веков:

«... – Вот пришел великан, большой, большой великан, сам Леонид Андреев.

Вот пришел он, пришел. Такой крупный, такой великий. Талантище у него огромный. С Арарат?

Вот пришел он ... и упал. Понимаете, взял и упал!

Зацепился ногой за ступеньку “Современного Мира” и упал, зацепился и упал.

Такой странный великан! Такой смешной великан!

Ты зачем пришел сюда, великан! Ступай, ступай в “Шиповник”.

Ступай, ступай! Ляцкий такой милый, такой славный. И носик у него такой славный. И он не шалит.



Это прежде он шалил, когда была конституция... Бегал, кричал разные слова.

Теперь он паинька. Ты знаешь, великан, у Ляцкого есть лошадка, хорошая лошадка, большая – М. Неведомский.

Он садится на нее и ездит. Далеко, далеко ездит, в самые глухие города и местечки.

А в глухих городах и местечках есть подписчики. Ты знаешь, великан, какие бывают подписчики?

Нет, не знаешь, великан. Какой смешной, смешной великан!

Да, какой смешной великан! Пришел, зацепился и упал.

Подошел к “Знанию” и перешагнул через Горького.

Подошел к “Шиповнику” и перешагнул через всех одним, одним движением ноги.

А зацепился за “Современный Мир” и упал. Да, да, упал, и растянулся рядом с Олигер...

Такой смешной, такой большой и смешной великан!

А ты не ходи к нам, великан! Что? Он говорит, что к нему пришли? Позвали? Дали аванс?

А ты все-таки не ходи. Видишь, зацепился.

А здесь лестница такая. Не любит великанов. По этой лестнице Ковалевские поднимаются.

Вот посмотри на Куприна. Большой, как ты.

В “Знании” так же всех заслонял.

Скиталец до пятки его еле достиг. Семен Юшкевич носом в щиколотку его тыкался.

Сам Горький еле-еле лбом до его поясницы дорос.

А придет в “Современный Мир” – спотыкнется...

Говоришь, фонарь? Ах, смешной, смешной великан... Ведь это Плеханов.

Сказал себе: у них темно. Дай посвечу и туда немножко социализмом. А то ведь у них так темно, так темно.

Такой смешной фонарь. Такой длинный – за границей стоит, а сюда светит. Такой смешной...

Да, да, да. Великан. Конечно, конечно. Больше фонаря. Больше театра. Больше университета. Больше Академии Наук.

Пришел и упал. Такой смешной – смешной – смешной же.

\* \* \*

Так, глубокой ночью нашего безвременья, говорила Муза над умирающим русским читателем.

Носила его по темной комнате и говорила, а в соседней комнате слушал ее слова писатель и плакал» (*Д’Ор О.Л. [Оршер О.Л.] “Великан”* (по Андрееву) // *Свободные мысли*. 1908. 14 янв. (№ 1186). С. 3).

Опубликованная же за подписью “А.” пародия “Новые галоши” искусно имитирует стиль Андреева и явно ориентируется не столько

на рассказ “Великан”, сколько на весь корпус андреевских произведений (намекы на излюбленные темы и мотивы: “тайна”, “кровь”, “рок”, “смерть” и т. п.).

«Одну галошу звать. Одну галошу звать. Звать. Я не знаю, как ее звать. Я не знаю. Мне никто не поможет. Не поможет. Я задыхаюсь. Но нет, я жив. Я вспомнил.

Одна называется левая, другая правая, правая. На одной буква Л, на другой А. Л и А.

Л непонятная. Я не смотрю на нее, чтобы избежать ее взгляда. Другая А. Бр! Она мне напоминает виселицу. Кровь. Капли крови.

Океан кровей. Все красные, красные, красные.

Океаны, моря, заливы и проливы.

Новые галоши <...>

В них есть что-то великое. Грандиозное. Бессмертное.

В них я чувствую себя “великим”. Великаном. Я буду показываться в них на небе по утрам вместо солнца. Я буду освещать землю.

Надо мною будет только одно небо, а подо мною на ногах еще два неба.

В этом рассказе много слов, много слов. Разноцветные буквы. Разноцветные буквы. Аз, буки, веди.

Прощайте, сейчас мне нужно подняться на небо. Вместо солнца. Вместо солнца» (А. Между прочим // Николаевская газета. 1908. 17 февр. С. 3).

Примечательно, что одна из пародий развивает образный ряд рассказа в направлении, близком к намеренному в статье Арк. Бухова (см. выше), и тоже апеллирует к современной социально-политической ситуации:

«Вот съехались черносотенцы, глупые, глупые черносотенцы. Такие глупые, глупые. Вот съехались они, съехались. Такие смешные черносотенцы. Вот съехались они и кричат. Покричат, порычат ... и сядут в калошу! Понимаете, поскандальят, поругаются ... и сядут в калошу! Такие смешные черносотенцы, такие бессильные – думают землю поворотить ... и сядут в калошу! Зачем вы понапрасну съехались, черносотенцы?... Разъезжайтесь-ка восвояси, черносотенцы... Русский народ такой умный, такой умный, и уж вовсе не такой слепой, как вы думаете, черносотенцы... Есть в его жизни горе, у всех народов было горе, но будут и большие, большие радости. Будет он свободный и красивый, и солнце будет сиять над ним, и он с улыбкой сожаления вспомнит о вас и скажет: “Глупые, глупые черносотенцы... Такие смешные ... смешные”!..» (Фрицхэн [Благов Ф.Ф.]. Л. Андреев. Черносотенцы: (Из альбома пародий и шуток) // Руль. М., 1908. 14 февр. (№ 30). С. 3).

Рассказ был высоко оценен М. Горьким в письме к К.П. Пятницкому около 18 (31) января 1908 г.: «“Великан” Андреева – грациозная вещь <...> Сколь верный рыцарь смерти он!» (Горький. Письма. Т. 6. С. 167).

Одно из последних упоминаний о рассказе в прессе – заметка о вечере памяти Андреева 11 октября 1919 г., на котором большой успех имели живые картины, изображающие героев произведений Андреева: Красный смех, Анатэму, Некого в сером, мать из “Великана” ([Б.п.] Вечер памяти Л. Андреева // Свобода России. Ревель, 1919. 22 окт. (№ 30). С. 4).

При жизни автора рассказ был переведен на немецкий (1908), хорватский (1908 – 2 раза), болгарский (1912), сербский (1912), английский (1916) языки.

## САВВА

(С. 131)

### Источники текста:

*ЧН1* – Черновой набросок (план). Под заглавием “Огонь врачует”. Хранится: *Hoover*. Box 140. Folder 3. 1 л. Рукопись.

*ЧН2* – Черновой набросок (характеристика действующих лиц, план). 20 января н(ового) с(тиля) 1906 (на обложке домашнего архива – 19 января 1906 г.). Под заглавием “Савва. Драма в 4 актах”. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Hoover*. Box 140. Folder 4. 2 л. Рукопись.

*ЧА1* – Черновой автограф. 14 (27) января 1906 г. Мюнхен. Под заглавием “Савва. Трагедия в 4 действиях”. Хранится: *Hoover*. Box 140. Folder 4. 71 л. Рукопись.

*ЧНЗ* – Черновой набросок (характеристика действующих лиц). Без даты. Под заглавием “Савва. (Ignis sanat) Пиеса в четырех действиях”. Хранится: *Hoover*. Box 140. Folder 4. 2 л. Рукопись.

*ЧА2* – Черновой автограф. 29 января – 10 февраля 1906 г. Мюнхен. Под заглавием “Савва. (Ignis sanat). Пиесса в 4-х действиях”. Хранится: *Hoover*. Box 140. Folder 6. 67 л. Рукопись трех первых действий.

*РКАП* – Рукописная копия (рукой А.М. Андреевой) с авторской правкой. 10/23 февраля 1906 г. Мюнхен. Под заглавием “Савва. (Ignis sanat). Пиесса в четырех действиях”. Хранится: *Hoover*. Box 140. Folder 5. 80 л. Рукопись действий 1, 2 и 4.

*ЧН4* – Черновой автограф. Без даты. Без заглавия. Хранится: *Hoover*. Box 140. Folder 8. 14 л. Рукопись отдельных фрагментов:

*ЧН4а* – отвергнутые варианты отдельных фрагментов (л. 3, 5 (2)<sup>8</sup>, 7 (1), 8 (2), 9, 12 (последняя строка), 13, 14);

*ЧН4б* – редакция финала действия 1 (л. 10 и 11);

*ЧН4в* – позднейшие варианты отдельных фрагментов, перенесенные в *БМАП* (л. 1, 2, 4, 5(1), 6, 7 (2 и 3), 8 (1), 12 (кроме первой строки)).

---

<sup>8</sup> Здесь и далее в описании источников в скобках после номера листа дана цифра, обозначающая условный номер (в порядке общего следования) фрагмента на данном листе.

*НР* – Наборная рукопись. 10/23 февраля 1906 г. Первый лист (с заглавием) отсутствует; вместо него в начало рукописи вложен архивный лист с названием (по нормам современной орфографии) “Савва. Первичная редакция”. Хранится: ИРЛИ. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 1–111. 112 л. Отпуск машинописи (копия *БМАП*) с незначительной авторской правкой и правкой рукой неустановленного лица, а также с типографическими пометами.

*БМАП* – Беловая машинопись с авторской правкой. 10/23 февраля 1906 г. Под заглавием “Савва. (Ignis sanat). Пьеса в четырех действиях”; в начало рукописи вложен архивный лист с названием (по нормам современной орфографии) “Савва. Окончательная редакция”. Хранится: ИРЛИ. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 112–225. Машинопись с авторской правкой и правкой рукой А.М. Андреевой.

*МП* – Машинописная копия первых двух действий. Хранится: *Hoover*. Box 140. Folder 7. 47 л. (Машинопись (отпуск) первых двух действий.)

*Шт* – Савва: (Ignis sanat): Пьеса в 4-х действиях. Stuttgart: J.H.W. Dietz Nachfolger, 1906. 98 с.

*СБЗн* – Савва: (Ignis sanat): Пьеса в 4-х действиях // Сб. товарищества “Знание” за 1906 г. СПб., 1906. Кн. 11. С. 229–234.

*Зн.* Т. 4. С. 229–334.

*Пр.* Т. 6. С. 145–326.

*ПССМ.* Т. 4. С. 242–310.

Впервые: *Шт*

Печатается по тексту *ПССМ* со следующими исправлениями:

#### ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

*Стк. 608:* родивши, тотчас не умерли сами – *вместо:* родившись, тотчас не умерли сами (*по ЧА2, СБЗн, Пр*)

#### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

*Стк. 24:* (озираясь, таинственно) – *вместо:* (озираясь таинственно) (*по СБЗн, Пр*)

*Стк. 193–194:* Или нет, лучше так, я повешу вас, как знамя истины. – *вместо:* Или нет, лучше так, я повешу вас, как знамя истины. (*по СБЗн*)

*Стк. 300:* (Поворачивая голову к Сперанскому, но продолжая глядеть на Липу.) – *вместо:* (Поворачивает голову к Сперанскому, но продолжая глядеть на Липу.) (*по СБЗн*)

#### ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

*Стк. 129:* Ну, бабы, заснули! – *вместо:* Ну, бабы заснули! (*по СБЗн*)

*Стк. 386–387:* утирается взглядом в Савву – *вместо:* утирается взглядом на Савву (*по РКАП, НР, Шт, БМАП*)

*Стк. 391:* Вы сами видели? – *вместо:* Вы сами видели. (*по РКАП*)

*ЧН1* является первым планом пьесы. Здесь намечена система персонажей и в целом даны основные сюжетные линии. Хотя еще отсутствуют имена всех персонажей, вместо них характерологические обозначения:

“жилец попович” (в пьесе – Сперанский), “сонный” брат (Тюха), “дикий человек в веригах” (Царь Ирод). Еще никак не обозначена линия Липы. Название в плане (“Огонь врачует”) в пьесе трансформируется в подзаголовок (“Ignis sanat”).

ЧН2 – написанный непосредственно перед созданием ЧА1 план пьесы с развернутыми характеристиками персонажей. Вместе с тем здесь еще не найдены имена для ряда персонажей, и вместо них и все еще фигурируют обозначения (“семинарист”, “монашек”, “человек в веригах”).

ЧА1 (окончание работы 14 (27) января 1906 г.) является первой редакцией пьесы, имеющей ряд существенных отличий от всех последующих, которые лишь в деталях отличаются от ОТ. Текст именуется не “пьесой”, “а трагедией” (в раннем слое “драма”). Иные по сравнению с последующими редакциями имена отдельных героев: Саша вместо Липы, Железняк вместо Царя Ирода. Детали более локализованы: имеет имя (Кресто-Воздвиженский) монастырь, в котором происходят события (в ОТ он безымянный). Судя по этому названию, а также топониму “ковалихинские” (л. 43), локализация места действия в первой редакции связана с Нижним Новгородом, куда Андреев несколько раз приезжал в 1902 и 1903 г. к Горькому. Икона здесь имеет предысторию (“В ручье она явилась”, л. 36), связывающую ее с иконой, ставшей центром реального события (попытка взрыва в курском монастыре, о ней см. ниже). Локализацию сюжета усиливает также использование диалектизмов (“селитьба”, “булгачить”, “дручить” и др. – подробнее см. реальные комментарии к ЧА1).

Иными в первой редакции были и характеристики отдельных персонажей. Пелагея здесь более агрессивна, она пьет, как и ее муж Тюха (л. 6), и, как считает Саша, именно поэтому “скидывает” детей (л. 3). Вера Кондратия в дьявола дана в утрированном ключе: в ЧА1 он напрямую говорит: “Бога я в себе никогда не ощущал, а дьявола ощущал сызмалолетства” (л. 17). Здесь менее разработан образ Сперанского, отсутствует введенная для контраста в позднейших редакциях фигура молодого и жизнелюбивого послушника Васи. В ЧА1 еще не нашла законченного оформления и характерная “философия” Тюхи, видящего вокруг “одни рожи”.

Главный герой в первой редакции более эксцентричен, “беспоподобен”. В этом отношении особенно показательно третье действие, когда он напряженно ждет взрыва. Так, в раннем слое редакции присутствует фрагмент, в котором Савва рассказывает (театрально разыгрывает) некую аллегория о том, как в дремучий лес ворвался ураган и сокрушил все старое (л. 45). В конце третьего действия, после раздавшегося взрыва, в нижнем слое текста содержатся откровенные богоборческие призывы (услышав набат, герой обращается к колоколу: “На весь мир кричи, что Бога нет, Бога нет, Бога нет!” – л. 55).

В начале четвертого действия подробности произошедшего чуда даны преимущественно через реплики группы идущих к монастырю

паломников (в позднейших редакциях эта массовая сцена заменена разговором о чуде между Липой и Послушником).

В позднейшие редакции и *ОТ* по сравнению с *ЧА1* введены существенно пространственные ремарки и увеличено их общее количество: даны более конкретизирующие и обширные ремарки в начале каждого действия, а, например, на протяжении всего второго действия возрастающее напряжение подчеркнуто ремарками о периодически вспыхивающих зарницах.

Последующая работа над пьесой отражена в сохранившихся фрагментах. В *ЧНЗ* окончательно уточняются имена и характеристики действующих лиц. В *ЧН4а* и *ЧН4б* содержатся промежуточные варианты отдельных фрагментов пьесы (прежде всего связанные с беседами Саввы с Липой, в которых герой выражает свое мировоззрение).

В отличие от *ЧА1* все позднейшие редакции существенно ближе к *ОТ* и потому даны в “Вариантах”. При этом нужно учесть тесную связь *ЧА2*, *РКАП* и *НР* и отличие от них *БМАП*. Генезис текста на этом этапе может быть охарактеризован следующим образом.

10 (23) февраля 1906 г. в Мюнхене Андреев заканчивает *ЧА2*, являющийся результатом переработки *ЧА1*. *ЧА2* набело переписывается А.М. Андреевой, в результате чего возникает *РКАП*. При копировании жена писателя допускает ряд описок, часть из которых Андреев исправляет при просмотре копии, но отдельные не замечает. Знаменательной является ошибка в *РКАП* (из не замеченных писателем) в указании возраста отца героя, Егора Ивановича Тропинина (“старик лет под пятьдесят”, вместо: “лет под шестьдесят” – *ЧА2*, л. 2; *ОТ*, стк. 6–7). Налицо логическая несообразность, так как в следующем абзаце сказано, что старшему сыну Егора Ивановича, Тюхе, “лет 35–38”. Описка сохранилась в штутгартском и знаниевском первоизданиях!<sup>9</sup> Явные описки в *РКАП*, исправленные в позднейших редакциях, в “Вариантах” не учитываются.

*РКАП* становится основой для создания машинописи. Нижний (неправленный) слой машинописи – общий для *НР* и *БМАП*, так как *НР* является отпуском *БМАП*. Но далее судьба двух этих копий разнится. *НР* после незначительной, в основном чисто формальной правки отправляется в штутгартское издательство, с него делается набор для *Шт* (то, что машинопись является наборной рукописью, подтверждается типографскими пометами и многочисленными следами пальцев наборщиков на ее страницах). Но первый машинописный экземпляр, ставший основой *БМАП*, еще раз редактируется Андреевым. Новые варианты текста он набрасывает на отдельных листах (*ЧН4в*), откуда их переписывает и вклеивает в машинопись А.М. Андреева. После этого Андреев еще раз просматривает текст, о чем свидетельствует авторская правка в *БМАП*. Этот текст становится основой публикации в одиннадцатом

---

<sup>9</sup> В позднейших (по отношению к публикации пьесы в сборнике “Знание”) печатных изданиях она была исправлена, возможно, после язвительного замечания рецензента Н. Колосова (см. с. 660 наст. тома).

сборнике “Знания” (*СБЗн*). Между двумя правленными машинописями (*НР* и *БМАП*) и соответствующими печатными изданиями (*Шт* и *СБЗн*) имеются отдельные разночтения (см. Варианты), что позволяет предположить, что писатель правил несохранившиеся верстки обоих изданий.

Таким образом, косвенным путем можно установить неравноценность правок двух машинописных копий, и потому *БМАП* во многом фактически оказывается текстом, содержащим более позднюю правку, чем печатная редакция *Шт*. В связи с этим составителями было принято решение о совмещении всех вариантов – рукописных, машинописных и печатных – в едином своде, при этом варианты печатного издания *Шт* предшествуют вариантам правленной машинописи *БМАП*.

*МП* является позднейшей белой машинописной копией первых двух действий. Возможно, она была предназначена для пересылке какому-нибудь переводчику, так как в середине этой архивной единицы находится бледный отпуск машинописного письма Андреева в Женеvu по поводу публикации “Саввы” в иностранных журналах. В творческой истории пьесы *МП* не учитывается.

Судя по всему, первый импульс к созданию пьесы Андреев получил в начале 1902 г., после ознакомления с сообщением в газете “Правительственный вестник”, в котором говорилось о раскрытии давнего уголовного дела о взрыве иконы в курском Знаменском монастыре. Само событие произошло в ночь на 8 марта 1898 г., когда группа молодых людей с целью уничтожения весьма почитаемой, древней и чудотворной Курской иконы Божией Матери “Знамение” (подробнее см.: Чудотворные иконы Богоматери / Сост. А.А. Воронов, Е.Г. Соколова. М., 1993. С. 59) подложили под нее самодельную бомбу с часовым механизмом, и ночью (когда собор, где хранилась икона, был пуст) произошел взрыв, “которым были отброшены на значительное расстояние каменные и деревянные ступени, ведущие к иконе, повреждены и частью разрушены решетка и устроенная над иконою сень, и разбито стекло у киота” (Правительственный вестник. 1902. 6 янв. (№ 5). С. 2). Преступление было раскрыто лишь через три с лишним года: осенью 1901 г. были арестованы причастные к взрыву в Знаменском монастыре учащиеся Курского реального училища Анатолий Уфимцев (20 лет) и Леонид Кишкин (21 год), вольнонаемный писец Василий Каменев (22 года) и студент Института инженеров путей сообщения Анатолий Лагутин (21 год). Задержанные вскоре начали давать показания, из которых следовало, что взрыв был произведен по предложению А. Уфимцева, полагавшего тем самым поколебать веру в чтимую святыню и привлечь всеобщее внимание к этому происшествию. 7 марта, когда бомба была готова, Уфимцев, Кишкин и Лагутин отправились в храм. Во время всенощной службы под видом поклонения святыне они приблизились к иконе, и Кишкин незаметно оставил возле нее завернутый в вату снаряд. Человеческих жертв решено было избегать, поэтому часовой механизм установили

на половину второго ночи, когда в храме не бывает богослужения. “По соображении проявленного обвиняемыми чистосердечного раскаяния в совершенном ими преступлении и во внимание к их легкомыслию, а равно несовершеннолетнему возрасту Уфимцева и молодости остальных во время совершения преступления” было решено дела к судебному расследованию не обращать. 26 декабря 1901 г. Николай II повелел выслать обвиняемых в отдаленные области Российской империи под надзор полиции: Уфимцева на пять лет в Акмолинск, в Северный Казахстан; Кишкина на пять лет, Каменева и Лагутина на два года в Восточную Сибирь (Там же. С. 3). В официальном сообщении о судьбе самой иконы ничего не сказано, но, согласно церковной версии, несмотря на чудовищный взрыв, принесший существенные разрушения окружающему интерьеру, икона чудесным образом осталась невредимой (см.: Колосов Н., *свящ.* Босьяк в роли антихриста: (“Савва” – пьеса Леонида Андреева) // Душеполезное чтение. М., 1906. Ч. 3. Дек. С. 502–503).

Ежедневно просматривавший в то время (в связи с обязанностями фельетониста “Курьера”) все крупные газеты, Андреев, безусловно, заметил и это сообщение; 12 января 1902 г. он пишет Горькому о замысле нового рассказа: «Каждый почти что день выдумываю рассказы – и хороню их. Вот еще один, имеющий касательство к твоим словам о боге.

Монастырь с чудотворной иконой, а при монастыре городок, а в городке, в поповской семье, высланный студент. Атеист, молодой и воинствующий. Знает всю потайную сторону монастырской жизни: разврат, пьянство, обирательство. Монахи жирные, животы трясутся, глаз нет. Видит и обираемых богомольцев и ненавидит их так же, как и их грабителей и обманщиков. И вот решает: “Ты, бог, устоял против тысяч; устоишь ли ты против хорошей порции динамиту?”

Завтра праздник – торжество темноликой иконы и жирных грабителей. День-два за своим окном он слышит шаги: стучат каблуки, шлепают босые ноги, шуршат лапти. Идут, идут... Он распалается. Сговаривается с пьяненьким штрафованным послушником и после всенощной (описание ее) кладет к подножию патрон, “адскую” машинку. Колебания, страх, проснулась вера сотен поколений – но он побеждает.

Ночь и борьба неба с адом. Небу помогают монахи. Извещенные послушником и сообразившие выгоду, прячут временно икону, а после взрыва (описание оного), ставят ее на место.

На сотни верст кричит земля: Чудо! Чудо! Он идет в монастырь: толпа, охваченная экстазом, бьется в рыданиях у подножия, славословит и молитвует. Видя это чудо, он верит, что и в ее темной, мужицкой, рабочей, голодной, издырявленной жизни может совершиться чудо – она увидела руку бога. И вот три группы – он, одинокий и сомневающийся.

Монахи с трясующимися животами – знают про обман и все же *плачут*.

И – верующая толпа.

Послушник рассказывает ему, как произошло, и говорит плача: “Бог совершил чудо моими недостойными руками. Пути его неисповедимы –



и, быть может, я, пьянчужка, только для того и родился, чтобы через мое посредство он проявил свое могущество”.

Так что и расскажи атеист про обман, все равно – *чудо совершилось*.

И тут вопрос: да и нужно ли? Не лучше ли оставить бога – для этих труждающихся и обремененных?» (ЛН72. С. 130–131).

В ответном письме (около 16 января 1902 г.) Горький в целом, но с характерной оговоркой одобрил замысел: “Твой рассказ об иконе – великолепно задуман, удивительно правдив по фабуле, тяжел в конце – как в действительности и – нецензурен. Сим последним одначе – не смущайся – но – вали во всю!” (Горький. Письма. Т. 3. С. 23).

В своем следующем письме (около 23 января 1902 г.) Горький продолжает рассуждения о рассказе: «Не будь пессимистом, клятвенно умоляю!

Почему? А прочитавши рассказ твой о чуде, мне почудилось, что конец его – не имеет того, что именуется верою в погибель мещанства. Оно не скоро сдохнет – я знаю! (...) но – давай, товарищ, будем нарушать мир его жирной души (...)

И – вот ты с этой точки зрения взгляни в “Бездну”. Она – хорошая затрещина им, оттого они и недовольны» (Там же. С. 25–26).

Вероятно, именно это противопоставление андреевского рассказа “Бездна”, вызвавшего в то время в прессе скандальную полемику, включавшую многочисленные обвинения писателя в безнравственности, несохранившемуся “рассказу о чуде” с не удовлетворившим Горького “тяжелым” финалом повлияло на дальнейшую работу над произведением.

Рассказ “Чудо (Взрыв иконы)” упоминается в рабочей тетради писателя 1902–1907 гг., в перечне “Задуманные и неоконченные рассказы”: “б) Чудо (Взрыв иконы). Задуман” (МиИ2012. С. 129).

Здесь же среди творческих заготовок писателя встречаем заметки, относящиеся к этому сюжету (и приблизительно к тому же времени): «Огонь врачует. Основной мотив “Взрыва иконы”» (Там же. С. 119; в конечном счете эта помета преобразуется в латинский подзаголовок пьесы – “Ignis sanat”); “Измученная бедностью и детьми, забеременев шестым, напивается: бьет себя кулаками по животу” (Там же. С. 126; данная характеристика будет придана в раннем наброске к пьесе (ЧН2) Пелагее, забитой жене Тюхи, и развернута в диалоге между ней и Сашей в ЧА1 (ЧА1. Л. 7).

Работа над произведением (уже как над пьесой) возобновилась под влиянием событий Первой русской революции в Германии в январе 1906 г. Судя по письму Е.Н. Чирикову от 4 (17) января 2006 г. из Берлина, уже в это время Андреев напряженно ищет драматургические решения для выражения идеи “Саввы”. В начале письма он дает анализ структуры персонажей пьесы Чирикова “Мужики”, в которой изображен крестьянский бунт во время недавних революционных событий. А затем делится своим впечатлением от спектакля берлинского “Лессинг-театра” по пьесе Г. Гауптмана “Ткачи”, где также показано восстание народных масс:

«И мне кажется, что самую сложную психологию масс (...) в пиесе можно и следует передать драмой нескольких лиц, но таких, чтобы каждое было точным и полным выразителем определенного строя мысли. Многолюдие на сцене, как и многословие, – убийственная вещь. Вводя новых и новых лиц, автор хочет захватить как можно больше – а на самом деле он грабит себя, грабит лучших в своей пиесе героев (...)

Расписался так потому, что сам (в публикации опечатка: “там”. – *Сост.*) я сейчас состою на положении ученика драматического искусства и, мало того, задумал пиесу, где действуют массы» (Переписка Л. Андреева и Е.Н. Чирикова / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. В.Н. Чувакова // *МиИ2000*. С. 40).

В письме Пятницкому из Мюнхена от 10 (23) февраля 1906 г. Андреев уже констатирует: «Вчера я окончил драму “Савва” – вещь, которую опять-таки можно было написать только при двух противоположных влияниях: заграницы и российских зверств. К себе я отношусь вообще довольно строго, Вы это знаете, но “Савву” считаю вещью хорошей – серьезной и сильной. С “К звездам” и сравнивать, конечно, нельзя. Понравится пиеса или нет, это еще большой вопрос – слишком она остра и радикальна. И страшна она, как черт. Но самое в ней плохое – это ее нецензурность. Напечатать еще можно, но поставить на сцене и думать нечего» (*Письма Пятницкому*. С. 176). В письме от 24 февраля (9 марта) 1906 г., уже из Швейцарии, он говорит о своем желании совершенствовать готовую пьесу: «“Савву” пришлю на днях, но с печатанием его нужно погодить: вероятно, придется еще переделать кое-что. Если у Вас будет время – но только если будет время, – черкните несколько слов о Вашем впечатлении и о недостатках вещи. Тема серьезная, и выпускать вещь неотделанной не стоит» (Там же. С. 177).

В письме Г.И. Чулкову из Лозанны от 24 февраля (9 марта) 1906 г. он сообщает: «Написал драму “Савва”, – жестоко анархическую. Кажется, есть в ней некоторая сила, а что ругать меня будут за нее до смерти, это верно. Только, ей-богу, не за что, ибо и здесь я стараюсь остаться прежде всего художником» (*Письма Чулкову*. С. 23). В середине марта 1906 г. Горький перед отъездом в Америку посетил Швейцарию, где в Глионе Андреев прочел ему свою пьесу. «Как пьеса, – писал Горький И.П. Ладьяжникову из Глиона (около 15 (28) марта 1906 г.), – это гораздо выше предыдущей. Есть изумительно написанные роли – наприм., странник “Царь Ирод”, послушник Вася. Очень хороши все монахи, и сильно сделан герой пьесы [анар(хист)] Савва. Вероятно, в России пьесу цензура не разрешит, пред Европой она может открыть много нового и глубоко интересного. Такая фигура, как Царь Ирод, – это нечто специфически русское и в то же время – общечеловеческое. Человек, живущий страданием, влюбленный в него и во Христа. Атеист Савва, герой пьесы, и этот странник – две очень большие и трагические фигуры. Думаю, что пьеса должна производить оглушающее впечатление» (*Горький. Письма*. Т. 5. С. 158).

Однако в своих воспоминаниях Горький говорит об иной оценке андреевского произведения: «Через несколько месяцев мы встретились в Швейцарии, в Монтрэ (...)

– Написал я пьесу, – прочитаем?  
И вечером он прочитал “Савву”.

Еще в России, слушая рассказы о юноше Уфимцеве и товарищах его, которые пытались взорвать икону Курской Богородицы, – Андреев решил обработать это событие в повесть и тогда же, сразу, очень интересно создал план повести, выпукло очертил характеры. Его особенно увлекал Уфимцев, поэт в области научной техники, юноша, обладавший несомненным талантом изобретателя (...) Не знаю, какова судьба всех этих изобретений, – уехав за границу, я потерял Уфимцева из виду.

Но я знал, что это юноша из ряда тех прекрасных мечтателей, которые, – очарованы своей верой и любовью, – идут разными путями к одной и той же цели – к возбуждению в народе своим разумной энергии, творящей добро и красоту.

Мне было грустно и досадно видеть, что Андреев искажил этот характер, еще не тронутый русской литературой, мне казалось, что в повести, как она была задумана, характер этот найдет и оценку, и краски, достойные его. Мы поспорили и, может быть, я несколько резко говорил о необходимости точного изображения некоторых – наиболее редких и положительных – явлений действительности.

Как все люди определенно очерченного “я”, острого ощущения своей “самости”, Л.Н. не любил противоречия, он обиделся на меня, и мы расстались холодно» (*Горький ПСС-ХП*. Т. 16. С. 345–346).

Приблизительно в марте 1906 г. Андреев пишет своей сестре, Р.Н. Андреевой: “Переписывают мне тут Савву – отвратительно переписывают, глядеть гадко и читать трудно. Как будет готово (через неделю), пришлю ценной посылкой на имя Виктора (В.П. Тройнова. – *Сост.*) (...) Когда получится, прочтите сами и тотчас отдайте Филиппу (Ф.А. Доброву. – *Сост.*) и устройте так, чтобы Среда прочла<sup>10</sup>. И, пожалуйста, напиши, как ты и как оно. Понимаешь ты это глупое чувство: написать вещь и не знать, что ты написал: либо форменную ерунду, либо хорошую штуку. Ерунда и ерунда, это неважно – напишу лучше, но глупо не знать. И обсудите сообща с Филиппкой вопрос: можно печатать ее, не садясь в тюрьму. Категорически от нее не отказываюсь, но хотел бы подождать, пока там станет малолюднее. И Аркадию (А.П. Алексеевскому. – *Сост.*) скажи, чтобы пока в газете сведения о драме не давал” (*Андреев Л. Письма / Вступ. ст. и примеч. К.И. Чуковского // Русский современник*. 1924. № 4. С. 126–127).

---

<sup>10</sup> Имеется в виду московский литературно-художественный кружок “Среда”. По поводу состоявшегося обсуждения пьесы в “Среде” он пишет 28 мая (10 июня) 1906 г. А.М. Андреевой: «Получил от Голоушева неприятное письмо относительно Саввы: читали его по-идиотски (Грузинский читал, как “Женитьбу” Гоголя) и впечатление идиотское. И вообще не поняли) (“I am writing from the depths of Scandinavia”: Leonid Andreev’s Unpublished Correspondence with his First Wife in 1906 / Ed. and introd. by R. Davies // *Scottish Slavonic Review*. 1990. Vol. 14. Spring, 1990. P. 70).

Знаменательно желание писателя вернуться к образу Саввы из одноименной пьесы уже после ее создания. Так, 8 (21) марта 1906 г. он пишет брату Павлу из Глиона: «Конечно, нужно быть немного сумасшедшим. Много – нехорошо, посадят, а немного – придает жизни особый, острый вкус, отвлекает ее от лживо-реального, делает неисчерпаемо богатой. И нужно было быть слегка сумасшедшим, чтобы написать “Савву” и тебе, я думаю, он понравится, а здоровые люди придут в огорчение и недоумение. Человек, который самым серьезным – трагически серьезным – образом задумал уничтожить все созданное человеком, оголить землю. Безумно! Дико! Наконец просто так невозможно. А он задумал и уверен, что это хорошо и что это можно. Трезвому уму понять этого нельзя; трезвый ум склонен к трезвой справедливости и сейчас же начнет выбирать, что хорошего можно оставить, а так как все хорошее обязательно с другого боку плохо, а плохо – хорошо, то в конце концов все и оставит. Уничтожить города! Но позвольте – там же есть школы, Университеты. Уничтожить У[ниверсите]ты! Картинные галереи! Нелепость! – А Савва говорит: да, У[ниверсите]ты, да – картинные галереи. Ну а дальше? – А дальше голая земля и голые люди, к[отор]ые сговариваются и устраивают новую жизнь. – Ну а если у них пойдет по-старому? – Тогда пусть на земле совсем не будет человека. Безумие!

Не знаю, как “Савва” с художественной стороны, может быть, и плохо – но по существу вещь ядовитая, дикая и в то же время настолько вразумительная, что сразу определит мое положение. Все обидятся. И с.-р., и с.-д., и к.-д., и просто д. И даже анархисты, ибо и об анархистах Савва отзывается пренебрежительно. Конечно, я не Савва, но мои симпатии к нему настолько очевидны, что платить я за него буду, и чувствую – жестоко. Едва ли поймет кто и истинный смысл вещи: как последнюю крайнюю ярость против гнусностей жизни. Вот вы с Аней<sup>11</sup> мечтаете о культурной жизни – а ты знаешь ли, что культурная жизнь, культурный человек и есть смерть. Свободе, разуму, всему. Культурный – это значит уже физиологически измененный; то, что у нас, некультурных русских, только в психологии, у него в мускулах, в костях, в крови. {...}

После “Саввы” думаю написать “Записки Саввы Тропинина”, где более подробно и мотивированно разовью его мирозерцание. Фигура такая, что жаль расстаться, не исчерпавши. Ты знаешь, что он к революции относится пренебрежительно: “это значит расчесывать голову покойнику – пустое занятие!” Возьму интересный фон, приведу его в столкновение с интересными людьми. Мне он – дорог! Я все думал: почему меня не угрызает совесть, что я не дерусь на баррикадах, что я удрал от революции – а теперь я понимаю почему» (Неопубликованное письмо Леонида Андреева / Публ. И. Андреевой-Рыжковой и А. Богданова // Вопросы литературы. 1990. № 4. С. 276, 277).

Видимо, приблизительно к тому же времени относится план задуманного произведения, вписанный Андреевым в рабочую тетрадь:

<sup>11</sup> Анна Ивановна, жена П.Н. Андреева.

## «ЗАПИСКИ САВВЫ ТРОПИНИНА

Никакая революция, ни частная, ни общая, не освободит человека. Необходима мировая катастрофа. При всех уклонениях, жестокости и пр. – революция лишь ускорение и обострение процесса эволюции. По существу она – действие в направлении все той же прямой линии, цели (?), и оставленной биологически. Ни направо, ни налево не сворачивает человека, а на несколько шагов бросает вперед. А лозунг “вперед” должно (?) заменить “в сторону”.

В какую сторону – Савва не знает. Он, как человек, к(отор)ый в бесконечном коридоре с глухими стенами: с к(оторо)й стороны свобода? Но она ни впереди, ни сзади.

И отсюда необходимость катастрофы, страшного толчка, к(отор)ый изменил бы самое направление движения. Вроде перемещения земной оси. Б(ыть) м(ожет), погибнет все, б(ыть) м(ожет), у человека *нет иного пути* – а, м(ожет) б(ыть), новая земля и новый человек. Не в том смысле, как бывает старый пиджак и новый пиджак. Должно погибнуть самое понятие человека и производные – сверх-бого-человек и т. п. Новое существо, к(отор)ое относится к человеку так же, как цветок к семени. Пшеничное зерно, к(отор)ое 3000 лет в фараоновой гробнице живет (нрзб.) и вдруг сброшено в землю.

Избирает огонь, как наиболее разрушительное» (*МиИ2012*. С. 120).

Этот замысел реализован не был, однако желание вернуться к теме не оставляет писателя и в дальнейшем. Об этом свидетельствует запись в другой рабочей тетради, относящаяся приблизительно к 1910–1911 гг.: в очередном списке задуманных произведений значится: “К Адаму (Савва)” (Там же. С. 148).

Но сразу после написания пьесы автора продолжают беспокоить как ее цензурность, так и ее художественный уровень. Жалуясь на безденежье, он говорит в письме К.П. Пятницкому из Глиона от 27 марта (9 апреля) 1906 г.: «Так это мерзко, что нет у меня других источников, кроме “Знания”, и приходится истощать его. Вот пьеса “Савва” – Горький говорит, что Саввы еще не было не только в русской литер(атуре), но и в мировой – а что из того? Только и есть, что за этого Савву – по словам того же Алексея – меня посадят. Ни один год не писал я так много, как нынешний, а утешений никаких. Глупо! Если бы хоть этого Савву удалось устроить в Берлине – да и там цензура не пропустит. Алексей взял экземпляр с собою в Америку, хочет продать его там – да не удастся».

Недели через полторы Вы получите экземпляр – послано для переписки в Россию. Тут содрали за переписку 100 фр(анков), а вышла ерунда (...). Если будет время, голубчик! – два слова о Вашем впечатлении от “Саввы”» (*Письма Пятницкому*. С. 179).

Андреев колеблется в вопросе, где публиковать пьесу. Из того же Глиона он пишет Пятницкому 14 (27) апреля 1906 г., отвечая на просьбу редактора “Знания” прислать что-нибудь для очередного знаниевского сборника: «Готового рассказа, к сожалению, нету, а работать до Июля не буду, не могу. Что же касается “Саввы”, то с Вашего одобрения думаю

поступить с ним так: или продав какому-нибудь журналу, вслед за тем немедленно выпустить отдельным, коп. по 40; или даже без журнала, сразу выпустить отдельным. В сборник не хотелось бы, уверен, что отдельной брошюрой он пойдет лучше и даст кассе больше. Об этом нужно будет столкнуться» (Там же. С. 178–179).

Одним из возможных вариантов была публикация в альманахе “Факелы”, который выпускал Г.И. Чулков, писатель-символист, выступивший в 1905 г. с концепцией мистического анархизма, которая в отдельных своих положениях перекликалась с мотивами “Саввы”<sup>12</sup>. В начале мая 1906 г. Андреев пишет ему из Фрисанса, местечка под Гельсингфорсом: «Это – дача и большая дача, где есть для Вас комната, приезжайте. Поговорим о Факелах и обо всем. Я прочту “Савву”» (*Письма Чулкову*. С. 27). Однако 16 (29) июня во Фрисанс приезжает Пятницкий, также заинтересованный в пьесе. В дневнике Пятницкого под этой датой записано: «“Савва” отдан в “Факелы” по 500 р. за лист. Предлагаю с XI сборника по 1000 с листа. Леонид отдает в XI сборник. Горькому больше всего нравится “Царь Ирод”. В лице Саввы изображен Горький» (цит. по: *ЛН72*. С. 270).

Поэтому автор пьесы уже 18 июня (1 июля) сообщает Чулкову: «Как это ни скверно, но принужден обмануть Вас. Был у меня Пятницкий, и результат разговора такой, что должен я “Савву” отдать в Знаниевский сборник. Вам это покажется неумением с моей стороны или нежеланием поддерживать дружеские, прочные связи – наоборот, я в дружбе тверд – поэтому отдаю “Савву” Знанию, поэтому же дам “Факелам” к осени хороший рассказ, поверьте, зря действовать я не стану» (*Письма Чулкову*. С. 28).

15 (28) июля 1906 г. Андреев сообщает Пятницкому из Гельсингфорса: «Уже с неделю как “Савва” готов – насколько можно. Мелкие поправки произвел, а крупные – не в силах, охоты нет. Готов, одним словом (...) во Вторник послал на имя Семена Павловича Боголюбова (заведующий конторой “Знания”. – *Сост.*) ценной посылкой. В Берлине уже готовы выпустить по-русски, но пишу, чтобы раньше сговорились с Вами – ведь по нынешним временам сборник, глядишь, придется задержать» (*Письма Пятницкому*. С. 179). Однако, несмотря на опасения писателя, сборник, в котором была опубликована пьеса, был напечатан без особой задержки и уже 19 августа 1906 г. поступил в продажу.

Андреев пытался заинтересовать пьесой руководителей Художественного театра. 4 (17) апреля 1906 г. он, узнав о намечавшихся гастролях театра в Америке, пишет Вл.И. Немировичу-Данченко из Глиона:

<sup>12</sup> Так, например, Чулков писал: “Борьба с догматизмом в религии, философии, морали и политике – вот лозунг мистического анархизма. И не к безразличному хаосу приведет борьба за анархический идеал, а к преображенному миру” (*Чулков Г. О мистическом анархизме // Вопросы жизни. 1905. № 7. С. 201*). В июле 1906 г. он выпустил сборник эссе под тем же названием, вызвавшим ожесточенную полемику в кругу символистов. В апреле 1906 г. в первом альманахе “Факелы” был опубликован рассказ Андреева “Так было”.

«Сообщите мне точный Ваш адрес, и я вышлю Вам для прочтения “Савву”. Если Вы в течение Ваших гастролей будете ставить что-нибудь новое, то я искренне и беспристрастно посоветовал бы Вам поставить “Савву”.

В России она безусловно пройти не может, даже при парламенте, но на Западе, где сцена не боится религиозных сюжетов, она не вызовет такого соблазна. Вместе с тем, пьеса в высшей степени нуждается в художественном исполнении. При поверхностном, тенденциозном толковании она превратится в крикливую чепуху, в “нецензурную” пьесу – нужно беспристрастие, нужен такт, нужно тонкое художественное чутье, нужна, наконец, вражда к злободневщине, чтобы сделать ее по-настоящему.

Задача пьесы, как, по крайности, старался я сделать – отнюдь не агитационная. Это попытка дать синтез российского мятежного духа в различных крайних его проявлениях. С этой точки зрения центральная фигура Саввы равноценна трем другим: Царю Ироду, Сперанскому, Тюхе. По цельности характера, по силе Царь Ирод, религиозный мистик, христианин, б(ыть) м(ожет), даже выше Саввы, атеиста, мистика разрушения. Как всегда, я только ставлю вопросы, но ответа на них не даю – и это должно быть ярко оттенено в исполнении.

В противоположность “К звездам”, где по существу задачи я должен был избегать специфически русского, “Савва” носит характер сугубо российский – и это, пожалуй, для заграницы недурно. Вообще, в успехе вещи я уверен – хотя, по совести, почти не надеюсь видеть ее где-нибудь на сцене. Пессимист я.

Когда прочтете, напишите, как показалось Вам и артистам. Нужны еще кое-какие переделки» (*УЗТГУ119*. С. 385–386). В гастрольный репертуар театра пьеса не была включена.

Летом 1906 г., узнав, что в Финляндию приехал на отдых К.С. Станиславский, Андреев написал режиссеру о желании ознакомить его с “Саввой”: “Мне очень интересно, что скажете Вы о сценической стороне этой вещи – в качестве новоявленного драматурга я чувствую великую неуверенность в своей работе” (Там же. С. 381). Судя по всему, встреча не состоялась или была мимолетной, так как в следующем письме тому же адресату писатель сетует: «Так жаль, что не пришлось поговорить: много нужно сказать (...) “Савва” безнадежно нецензурен, и причиной тому не я, а глупость цензуры. Да и из публики, читателей многие серьезно подумают, что это – призыв к анархии. А это – еще раз и еще раз трагическое жизни, тоска о светлом, загадка смерти. Я знаю, что многие из читавших не заметили Тюху – Тюху, истинного героя этой драмы» (Там же. С. 382).

На публикацию “Саввы” критика отреагировала неоднозначно.

Так, харьковский рецензент писал о поставленной Андреевым в “Савве” задаче – “дать по возможности полную картину психологии внутреннего анархизма личности, психологию восстания, мятежа личности, направленного против всех форм и установлений современной жизни. Такой внутренний мятеж обостряется всегда в одно яркое жела-

ние разрушения, приходит к одному лозунгу – разрушать”. Феникс противопоставлял сильную волю, решительность, твердость Саввы и суживающую его горизонты “трубую, мрачную, кремнистую” душу (Феникс [Василевский И.М.]. Сборник тов. “Знание”, книга XI // Южный край. Харьков, 1906. 14 сент. (№ 8889). С. 3–4).

Ю. Айхенвальд в своем отрицательном отзыве обращает особенное внимание на финал пьесы, отмечая, что неожиданным потрясением для ее героя было то, что «люди хотят быть обманутыми (...), что люди ни за что не отдадут своего Бога и убьют всех, кто посягнет на Него (...). Сколько бы ни оголял он землю, сколько бы ни обрекал он ее мечу и пожарам, всегда останется неуничтожимая душа; он может разбить идола, но не идеалы.

Этот вывод о благодатности возвышающего обмана, несомненно, следует из пьесы г. Андреева, может быть – против воли самого автора – и составляет ее главную и лучшую сторону. Но психология г. Андреева, как и в других его произведениях, более притязательна и изысканна, чем убедительна; и раз навсегда надо: либо совсем отвергнуть манеру нашего писателя, либо принять ее условность. В последнем случае будем “не плакать, не смеяться, а понимать”, будем помнить, что герои “Саввы” очень мало похожи на реальных людей; они образуют мир призраков, отвлечений, схем. Это – фантомы из общего андреевского кошмара, и, понятно, есть что-то надуманное, сочиненное в их речах. В описаниях автора, в его определениях нет грациозности и простоты; слишком он видит и слышит каждое свое слово. Может быть, это – субъективное впечатление, но нам кажется, что и всякого читателя некоторые эпитеты и образы г. Андреева словно задевают; за них цепляешься, потому что им недостает внутренней необходимости. Например, у семинариста Сперанского не просто лежат волосы на голове, а “висят они двумя унылыми прядями вдоль длинного белого лица”. Это тяжело читать. Нечего и говорить, что и в новой драме ужасающего писателя вы находите богатый выбор физических и нравственных страхов: вот кладбище, уроды, калеки, человека убивает разъяренная толпа, другой человек убил когда-то родного сына (...). Резюмируя наблюдения над стилем пьесы, критик пишет: “Реализм, не осуществленный в виде типичности и жизненного правдоподобия, сказался зато в откровенности ругательных слов, и даже автор очень близко подходит к национальной русской брани” (Ю.А. [Айхенвальд Ю.И.] Литературная заметка // Московский еженедельник. 1906. 16 сент. (№ 26). С. 52–53).

А.Р. Кугель предъявляет к эстетической стороне пьесы претензии иного рода. По мнению известного театрального критика, несмотря на “всякое реалистическое старание”, подробное изображение “привычек, манер, даже наружности действующих лиц”, пьеса “вся состоит из диалогов, которые ни мало не продвигают сути вперед и повторяют одну и ту же мысль автора. Она с успехом и с несомненным драматическим нарастанием могла бы быть вдвинута в рамки одного последнего действия, потому что, по моему староверческому взгляду, только в одном



последнем действии и есть действие, т. е. кризис души и столкновение страстей” (*Негорев Ник. [Кугель А.Р.] Савва Антихристов // ТуИ. 1906. 17 сент. (№ 38). С. 584*).

Вместе с тем рецензент обращает внимание и на смысловое наполнение образа центрального героя: «(...) в “Савве” Леон. Андреев решительно сближает анархизм с Антихристовым пришествием, давая ему, по крайней мере, такое же психологическое объяснение (...)»

Все уничтожить, все оголить для того, чтобы потом все строить заново – идея анархическая, антихристова, идея “конца мира”, о котором писал Вл. Соловьев (...)

С художественной точки зрения он потому не интересен, этот Савва, что с первого момента своего появления не представляет никакой загадочности. В своих бредовых идеях всеобщего уничтожения и вселенского пожара (...) он ясен с первого слова. В нем нет конспирации, таинственности, мистики» (Там же).

По мнению критика, мечтающий об оголении земли Савва «сам гол. Гол – по отсутствию фантастики, искрящихся риз, искрометных откровений. Его речи плоски (...) Собираясь зажечь мир, он не в силах зажечь сердца окружающих (...)»

Савва – это мещанский Манфред, вульгарнейший из чертиков, самоучка-демон... И мысли его – самые вульгарные, самые мещанские мысли... И не то беда, что он таков, а то беда, что это и есть высший предел “дерзания”, на которое способен Леон. Андреев.

Нет, Андрееву не следовало писать своего “Савву”. Зачем вызывать тени Достоевского, Ницше, Ибсена? Бери меч по руке» (Там же. С. 584–585).

Буквально через неделю в том же журнале появился отзыв, трактующий пьесу в аналогичном духе. В начале заметки критик сопоставляет фрагмент из “Человека” М. Горького (“Я создан мыслью затем, чтобы опрокинуть, разрушить, растоптать все старое... и новое создать. Все в Человеке, все для Человека”) и афоризм М. Бакунина (“Бог есть, значит, человек – раб. Человек свободен, значит, Бога нет”) с богоборческими инвективами Саввы, которые резюмируются в максиме: “После царства Бога наступает царство Человека”. Исходя из этого соположения, он далее пишет: «Нам нет нужды разбираться в этой философии, не за нее упрекнем мы автора: борьба с Богом, отрицание Его мира дали нам в переживаниях великих художников творения вечной красоты. Но “Савва”... его отрицание вовсе не производит впечатления того могучего мятежа, которым дышит, напр., гетевский Прометей, он вовсе не страшен, он лягает Бога, но не потрясает его трона. Автору изменил его художественный талант, и в этом секрет неудачи пьесы. Вместо мощного и грозного богоборца пред нами только зазнавшийся хам, вообразивший, что он с голыми руками создает новый лучший мир. С одним лишь ему трудно сладить: со смертью. “Я не люблю мертвых”, – говорит он в смутном беспокойстве; но он, очевидно, не сомневается, что в будущем

и эту задачу решит Мысль Человека; по крайней мере, патент на это открытие уже наперед выдан Мысли г. Горьким (см. “Человек”).

Повторяю, наиболее грустные чувства возбуждает ярко ощущаемый регресс в художественном творчестве Леонида Андреева, – регресс, вообще заметный у него последнее время, но особенно ярко проявившийся в “Савве”. Этот Савва напоминает мне диких десятипудовых богатырей, возлюбленных г. Скитальцем. И тяжело видеть, как грубеет талант Л. Андреева в том оркестре, где тон задает г. Горький с своим “Человеком»» (*Сильверсван Б.* Заметка о “Савве” // *ТуйИ.* 1906. 24 сент. (№ 39). С. 599).

Полярную оценку пьесе дал П.Т. Герцо-Виноградский, особенно подчеркнувший ее художественную новизну: “С понятием о старом искусстве не подходите к этому произведению.

Исходя из старых условных драматических форм, вы рискуете ничего не понять в нем.

Внешним образом произведение как будто остается в этих старых рамках.

Построение драмы соблюдается.

Роли для актеров есть.

И все как будто бы обстоит благополучно.

Но это, в сущности, обман автора, потому что под внешностью таится особенный мир лихорадочных и безумных образов, всецело проникнувшись которыми, актеры, – представим, что есть такие актеры, или что они явятся, – дадут уже не пьесу, а дом сумасшедших, не логику, а фантазмагорию, не ход событий, а ряд то утомленных, то возбужденных и кричащих сцен и бред расстроенного воображения” (*Лоэнгрин [Герцо-Виноградский П.Т.]*. Зигзаги. “Савва” Л. Андреева // *Одесские новости.* 1906. 22 сент. (№ 7035). С. 4).

Критик причисляет “Савву” к произведениям “новой литературы” (“такой красочной, странной, капризной”), которую он определяет как “импрессионизм”. Любопытно, что образ Саввы в восприятии критика оказывается “неполноценным”, “умаленным”. На первое место выдвигаются фигуры Сперанского и Тюхи (наиболее отражающие интерпретацию пьесы как радикально-модернистской). По мнению Лоэнгрин, важность этих фигур подчеркнута тем, что “они, эти двое, резюмируют пьесу (имеется в виду финальный эпизод. – *Сост.*). И не только пьесу. Они должны резюмировать и смысл самой жизни”.

В заключение утверждается: “Это произведение – есть создание чрезвычайного пессимизма автора, тонкого, глубокого философского пессимизма, безнадежного, и вместе с тем, как литературная форма, это есть создание редкого по силе импрессионизма (...)

Это произведение – есть крик протеста против условностей, против шаблона, против банальности, против мещанства человеческого духа” (Там же).

В. Боцяновский начинает свой отзыв с указания на сценическое несовершенство пьесы, ее растянутость, перегруженность деталями, а главное – на перенасыщенность символикой, ибо в “Савве” “почти все действующие лица – символы, да притом еще представляющие собой каждый в отдельности материал для одного огромного символа”. Но все это искупает “внутреннее содержание пьесы, задуманной очень оригинально и смело”. По мнению критика, «в пьесе Андреева только два действующих лица и есть. Это оголитель земли Савва и его враг – “неизбывная человеческая глупость”. Все персонажи пьесы, кроме Саввы, представляют собой, как я уже заметил, лишь детали, лишь отдельные составные части, дающие в общей сумме именно ту “неизбывную человеческую глупость”, которая одерживает победу над всеми энергичными порывами свободной индивидуальной души Саввы (...). Андрееву захотелось создать образ стихийной, тупой огромной силы, воплощение глупости, которая усиливается от всего пошлого и бездарного и которая дает все живое, все сколько-нибудь самостоятельное». Боцяновский считает, что позиция героя-“сверханархиста” и автора пьесы совпадают: “Андреев верит, что новая жизнь, новые всходы может дать только заново вспаханная, обновленная и очищенная от всего земля” (*Боцяновский Вл. Критические наброски // Око. СПб., 1906. 3 окт. (№ 26). С. 3*).

Отзыв С. Адрианова открывается упоминанием реального события – протосюжета: “Тема новой драмы Л. Андреева навеяна нашумевшим несколько лет тому назад мнимым чудом в курском монастыре. Под чудотворным образом, находившимся в монастыре, взорвалась бомба, решетка и киот были исковерканы, а икона осталась невредимой. Вся Русь загудела о совершившемся чуде”. Любопытно дипломатичное примечание от редакции к этому абзацу: “Случаи невредимости предметов, находившихся чуть ли не в самом центре взрыва, – явление обычное и обуславливается малоизученными способами распространения газов, развиваемыми при взрыве современными взрывчатыми веществами”. Критик дает характерную интерпретацию героя пьесы: “В центре драмы Андреев ставит фигуру анархиста Саввы, для которого Бог есть фикция, а чудотворный образ – идол. Фикции и идолы питают тупость и неподвижность людскую и мешают людям смело и бодро двинуться к осуществлению прекрасной и свободной жизни. Подобно древним проповедникам, сокрушавшим идолов, чтобы показать их бессилие, Савва желает доказать людям бессилие Христа, взорвав его образ”. Говоря о наличии в “Савве” общего для андреевских произведений мотива ужаса перед жизнью, этой “какой-то сплошной мучительной бессмыслицы”, критик находит, что на почве такого мироотношения у героя пьесы, так же как и у Василия Фивейского, вырастает “громкая дума о жизни”, и, так же как герой повести о “непокорном попе”, Савва «чувствует свое “одиночество”, подобно ему рвется к мгновенному преображению жизни, к божественной победе над страданием, и подобно ему же терпит неудачу в безумно-смелой попытке и гибнет». Разумеется, пути к преображению у них разнятся: “если о. Василий думал о преображении земли и жизни

чудесной помощью Бога, то Савва думает уничтожить царящую в мире бессмыслицу, уничтожив Бога и освободив человека от всего, что он до сих пор принимал за основное и возвышеннейшее содержание жизни”.

Критик указывает на ряд литературных параллелей с Достоевским: «В этом бунте против самых первооснов мирового порядка и незыблемых законов души человеческой нельзя не видеть непосредственного влияния бунтарских типов Достоевского. Когда Савва признается, что у него есть такой враг, которого он ненавидит, и что враг этот – Бог, то в речах его слышатся отголоски Кириллова из “Бесов”, которого тоже “всю жизнь Бог мучил”. Когда Савва тоскует о необходимости переступить через людскую кровь, то невольно вспоминается теория преступления, развитая Раскольниковым. И уже буквально повторяются раскольниковские слова, когда Савва говорит: “Только бы сам выдержал... Ну а не выдержит, туда, значит, ему и дорога, не в свои, значит, сани сел. Мировая ошибочка произошла”<sup>13</sup> (...) Надо к этому прибавить, что в новой драме Л. Андреев остался нечужд и тем положительным принципам, которые развивает наш великий художник-психолог, как противовес бунтарским элементам человеческого духа. Против Саввы выступает целая серия лиц, являющихся противоположными элементами, и суть драмы – как раз в единоборстве главного героя с носителями противоположного воззрения» (*Адрианов С.* Из литературы текущей и старой. I: Л. Андреев. “Савва”. (Сборник “Знания”, в. XI) // Столичная почта. 1906. 4 окт. (№ 3). С. 2).

Известный литературовед Д.Н. Овсяннико-Куликовский посчитал, что “Г. Андреев очень упростил свою задачу: он совершенно пренебрег (...) изучением психологии анархизма, и все свое внимание сосредоточил на (...) его психопатологии” (*Овсяннико-Куликовский Д.* Литературные беседы: “Савва”, пьеса в 4 действиях Леонида Андреева. (Сборник товарищества “Знание”. 1906. № 11) // Страна. СПб., 1906. 3 окт. (№ 176). С. 2). Савва, писал он, “настоящий маньяк в психиатрическом смысле, с резкими признаками мании величия и психопатологической наследственности”. В этой рецензии, сильно огорчившей Андреева<sup>14</sup>, содержался подробный разбор душевных аномалий всех персонажей

---

<sup>13</sup> Критик не совсем точен. Указанная фраза Саввы, возможно, переключается со словами другого персонажа “Преступления и наказания” – Свидригайлова, правда обращенными к Раскольникову в ситуации краха прежних волюнтаристских убеждений последнего: “Если так, ступайте да и объявите по начальству, что вот, дескать, так и так, случился со мной такой казус: в теории ошибочка небольшая вышла” (*Достоевский Ф.М.* Преступление и наказание (Ч. 6, гл. 5) // Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 373).

<sup>14</sup> В ноябре 1906 г. Андреев пишет Пятницкому, отзываясь на эту и другие рецензии: «С каким раздражением ругают “Савву”-то! Неужели не найдется ни одного человека, к(отор)ый мог бы разобраться в этой достаточно несложной вещи! Странно – но за руганью критиков я чувствую где-то в тишине другие разговоры о пьесе, и это меня утешает. А то, ей-богу, обидно быть до такой степени непонятым. Особенно хорош Овсяннико-Куликовский, признавший

песны – от “психической осовелости” отца Саввы до “совсем рехнувшегося” Тюхи и “истерички и фанатички” Липы. Смысл же бунта главного героя Овсяннико-Куликовский понял как анархизм с “религиозной подкладкой”: “Его больная мысль бьется (...) в рамках представлений о втором пришествии, о Мессии, об Антихристе, о Посланном в мир и о Пославшем” (Там же. С. 2, 3).

А.А. Измайлов обратил внимание на то, что произведения Андреева носят “всегда психологический отклик” на то, “что волнует сегодняшний день”, и что в “Савве” писатель рассматривает психологию “заявлений своеволия”, идущую от Кириллова из “Бесов” Достоевского: «Сейчас в “Савве” Андреев тоже ловит момент. Его тема – анархическое “своеволие”» (Измайлов А. Каины и Манфреды российского производства: Новая драма Л. Андреева “Савва” // РС. 1906. 4 окт. (№ 243). С. 1). Критик отмечает, что “курский случай” подрыва иконы – лишь «внешний сюжет драмы Андреева. Психология печального героя этого случая, которую он понимает как совершенно явную психологию сознательного богоборчества, “заявления своеволия в самом полном пункте”, – внутреннее ее содержание». Причина обращения к данной теме, по мнению Измайлова, в том, что “последний год в России – год особенно яркого расцвета идей политического и религиозного анархизма”: “Время толкает в эту сторону, заставляет искать предельные точки дерзостных взлетов над нормальной человеческой совестью. Андреев взял подлинно высокую ноту. Ту, на которую дерзали разве Люциферы, Прометеи, Каины, Иуды да Геростраты”. Однако критик увидел в пьесе “что-то лубочное и вместе ложно-классическое”, “что-то доморощенное, российское на фоне грандиозных образов”: “Ницше, Достоевский болели думою о сверхчеловеке, о человекобоге. От Кириллова веет мрачною грандиозностью души, спускавшейся в бездны. Картонный Савва, играющий в бабки и кокетничающий своим нигилизмом перед простецами и чудаками, создан совсем из другого теста. Он родственнее не Манфредам и Прометеям, а Смердякову, смущающему благочестивого слугу Григория вопросом, как был свет в первый день, если звезды сотворены на четвертый (...)” (Там же). Измайлов считает, что герой Андреева – “чисто головное сочинение”, потому что “тот настоящий Савва, который заводил адскую машину в Курске, если руководствовался геростратической психологией, уж, конечно, был покрупнее Андреевского героя, помрачнее, посерьезнее...” (Там же).

В своей следующей статье о пьесе критик усугубил ее отрицательную оценку, подчеркнув, что “Савва” – “сколок с чужеземного, с приспособлением к кричащему факту, случившемуся в России”: «Российский “Савва” носит на себе совершенно ясный патент made in germany. Этот анархист, хвативший через самые верхи возможного для мысли анархизма, – а хватать до самых верхов очень просто, кто раз понял

---

Егора Ивановича за сумасшедшего. Вот кадетская душа!» (Письма Пятницкому. С. 183).

прием творчества ad absurdum, – кроен по заграничным выкройкам (...) Но выкройки были чужеземные, а товар российский, и это слишком видно. Что-то серое, провинциальное, невыдержанное есть в Савве (...) Вместо грандиозного Прометея, вместо грозного и страшного духа абсолютного отрицания, Андреев показал нам мелкого, хвастливого, доморощенного беса, – пошленького, смердяковски-кошунственного, паскудненького беса, который сам развонил о своем замысле и сам себе дело испортил» (*Измайлов А.* Литературные заметки: О новой драме Леонида Андреева “Савва” и доморощенных Прометеях // *БВед.* 1906. 14 окт. (№ 9542). Утр. вып. С. 3).

Общая характеристика Н. Колосовым персонажей пьесы в целом сближается с оценками Овсяннико-Куликовского: «Действующие лица драмы представляют собою какую-то коллекцию уродов. Полуидиот Егор Тропинин, повторяющий одни и те же немногие слова, – вдобавок грубый и злой самодур; сумасшедший Тюха, неудержимо хохочущий над трупом брата; маньяки Савва, Царь Ирод и Сперанский (последний “с жадным любопытством” смотрит на убийство Саввы); опустившийся пьяница Кондратий; озлобленная Пелагея (жена Тюхи); полоумный послушник Вася, мечтающий только о том, чтобы уйти в лес и там пугать монахов парой светляков, которых они примут за чертовы глаза, – все это как-то неестественно и потому нехудожественно. Даже и Липа, которая, ничего не делая сама, равнодушно смотрит, как беременная Пелагея через силу моет полы, – грозит убить Савву, иступленно называет его, при возбужденной толпе, антихристом и только молится, когда его убивают, – и та, несмотря на всю свою симпатичность, не может быть названа типом вполне нормального человека» (*Колосов Н., свящ.* Босяк в роли антихриста: (“Савва” – пьеса Леонида Андреева) // *Душеполезное чтение.* М., 1906. Ч. 3. (Дек.) С. 510).

Колосов обратил внимание на ошибку в списке действующих лиц и истолковал ее как продолжение “коллекции уродов”: “Тропинину, по авторской ремарке, под пятьдесят лет, а сыну его Тюхе – под сорок(!)” (Там же). Примечательно, что непонятым остался эпиграф драмы, о чем критик прямо говорит в примечании: «“Ignis sanat” (огонь исцеляет) – гласит эпиграф драмы. Что хотел этим сказать автор?» (Там же).

В результате критик счел, “что новая пьеса Леон. Андреева, несмотря на эффекты и трескучие слова – невысокого достоинства и значительно ниже большинства прежних его произведений” (Там же. С. 511). Он также отметил, что “тип Саввы не только не представляет собою чего-либо нового в литературе, а тем паче титанического, но на нем явно отразилось влияние Горького (...) это лишь один из горьковских босяков, пожелавший более крупного амплуа и решивший выступить в эффектной роли антихриста и сверхчеловека” (Там же). Единственной “отрадной стороной” пьесы Колосов называет то, что “доселе наш автор был слишком пессимистом (...) Здесь же, напротив, мы видим победу веры и любви над неверием и ненавистью, победу Липы над Саввою (...)” (Там же).

Вл. Кранихфельд, хотя и отмечая, что “господствующие в обществе представления об анархизме очень смутны и спутаны”, указал на непосредственную связь взглядов главного героя пьесы с анархизмом: «И как бы категорически Савва ни отрицал свою связь с анархизмом, как бы ни старался он отгородить себя от этого учения, называя себя не анархистом, а “мстителем”, – для нас он все же остается анархистом чистой воды» (*Кранихфельд В.* По поводу последних произведений г. Леонида Андреева // *Современный мир.* 1906. № 10. Отд. 2. С. 76). Критик обращает внимание на ошибочное, по его мнению, представление как у героев пьесы (Липы и Саввы), так и ее автора о морали в анархизме: «Антитезы, поставленной Липой (имеется в виду ее фраза: “убивать нельзя, никого нельзя, но я все же их понимаю: они убивают злых”. – *Сост.*), на самом деле не существует. Анархизм вовсе не так щепетилен в своей морали, чтобы им раз и навсегда могли бы быть осуждены намерения Саввы» (Там же). Довольно обширный экскурс в историю европейского и русского анархизма Кранихфельд приводит в рецензии потому, что хочет «несколько осветить темную область, “в туман” которой (...) забрел художник в своих последних произведениях» (Там же. С. 80). По его мнению, в художественном творчестве Андреева к моменту написания драмы назрел “тот же процесс, который характеризует художественную деятельность и Л.Н. Толстого с момента, когда этот великий художник только начал распутывать, или, пожалуй, вернее, запутывать сложный клубок своей анархической системы” (Там же. С. 81). Процесс этот он называет “раздвоением творческой мысли”: “Вспомните теперь прежние произведения г. Андреева. Не он ли раскрывал в них, со всею жестокостью художественной логики, бессилие человеческого интеллекта в борьбе с комплексом тех непреодолимых влияний, из которых слагается характер человека? (...) И вот теперь тот же художник, в своих последних произведениях, взывает к природе человека, ее винит он за неустройство социальной жизни, ей предписывает исправить зло. *Они*, люди, виноваты, *они*, при помощи своих пророков, должны и оздоровить жизнь.

У г. Андреева, как и у Л. Толстого, как и вообще у всех адептов анархизма, из огромного пространства, которое отделяет человека от человечества, выпали все промежуточные звенья (...) Нет государства, нет орудий господства и подчинения. Отныне человек, вооруженный свободной волей, свободным хотением, должен сам распоряжаться своею судьбой” (Там же. С. 81–82).

А. Курсинский посвятил “Савве” рецензию, в которой автор пьесы был назван не только “высоким мастером художественного слова”, но и “глубоким провидцем индивидуальной души. На этот раз также и души народной” (*Курсинский А.* Сборник товарищества “Знание”. Пб., 1906 // *Золотое руно.* 1906. № 10. С. 90). По мнению критика, “в конфликте этих двух душ в сущности весь сюжет драмы и заключается. С одной стороны, такие народные типы, как трагический Царь-Ирод (...) Такие, как спокойная Люба (опечатка; имеется в виду: Липа. – *Сост.*),

уже уравновешенная несколько культурой, но не оторванная ею от народа, изнывающая среди проявлений его дикости, но счастливая его же счастьем долготерпения и слепой веры; такие, как послушник Вася, зовущий в привольные поля (...) большую душу анархиста Саввы (...). А за ними – эти бесчисленные, бессловесные, медленной вереницей идущие, ползущие (...) несущие свои страдания, горькие муки, горячую веру и великую правду к символу Неизъяснимого (...)

А с другой стороны он, Савва Тропинин. Он тоже знает свою правду, правду черствого рассудка, правду нашей выгрызшей душу культуры (...)

А между этими двумя титанами (Саввой и Царем Иродом. – *Сост.*) группа слабеньких, сереньких, колеблющихся: семинарист Сперанский, послушник Кондратий; группа оступелых или непробуждавшихся для жизни: монахи, Егор Иванович, Олимпиада (опечатка; вероятно, речь идет о Пелагее. – *Сост.*), – и в стороне философ Тюха, любимец и герой автора (...).” (Там же. С. 90). Смехом которого над трупом Саввы, по мнению Курсинского, “разрешил автор извечный, нам же особенно близкий конфликт двух правд, а быть может, правды с неправдой, а быть может, обеих неправд” (Там же).

Критик также отметил, что действительно никто “ни сверху, ни внизу, ни справа, ни слева из тех, кто искал или ждал от пьесы разрешения животрепещущего вопроса текущего дня”, не удовлетворится “таким разрешением” (Там же). По мнению Курсинского, художник «остался один на высоте своего художественного миропонимания, бросив свои “смехотворные рожи” всем ратам, все партиям, всем настоящим и преходящим. Остался со своею правдой (...), понятный и свой лишь тем, кто не ищет от него ничего, кроме художественной правды» (Там же. С. 91).

К недостаткам пьесы он отнес “тот язык, которым говорит Липа. Он делает ее слишком культурной для ее среды”. Обилие же в “Савве”, «материала для сценических эффектов, народных сцен, смен “настроения” и т. д.», по его мнению, вызовет интерес Художественного театра, “для которого, надо полагать, пьеса предназначалась” (Там же). Вероятно, Курсинскому к моменту публикации рецензии было уже известно о цензурном запрещении “Саввы”, так как в конце статьи он выразил сожаление о том, что постановки в Художественном театре не будет.

Следует отметить, что появлению рецензии предшествовало письмо автора пьесы Курсинскому (от 16 сентября 1906 г.), бывшему тогда ведущим сотрудником журнала “Золотое руно”, с которым Андреев сотрудничал. Из письма ясно, что Андреев читал отзыв до его публикации: «Очень рад, что “Савва” понравился Вам, ибо вещь эта для очень немногих, и в публике успеха иметь не будет. Из указанных Вами недостатков согласен с одним: Липа слишком культурна для своей среды. Что же касается второго, то – не в характере Саввы было бы суетиться, раз дело так или иначе сделано. Раз взрыва не будет, то по количеству времени уже не во власти Саввы что-либо изменить; раз взрыв произошел, то опять-таки Савве некуда торопиться и бежать. *Бежать* хочет



Липа, а Савва удерживает ее. Не нужно вообще упускать из виду, что взрыв иконы – только один из многих предначертанных шагов Саввы.

Мне лично Савва-человек очень нравится. Он не “герой” мой – таковым я могу назвать только Тюху, – но он силен, полон ненависти к существующему, непримирим, и за это я люблю его. За это же люблю я и царя Ирода, и не знаю – кого больше люблю.

Недоразумения с “Саввой” будут всякие. Будут браниться и слева и справа, и сверху и снизу, ибо уклоняюсь я от установленных образцов. Но это – не важно» (*УЗТГУ119*. С. 292).

А.Е. Редько резко отверг все упреки в “неулавливании тона окружающей жизни”, обращенные к Л. Андрееву: “Если урезывать право художника искать истину, в чем бы она ни заключалась, и оценивать его, художника, исключительно с точки зрения общественной полезности тех душевных комплексов, которые создаются его художественными произведениями, его творческим настроением, нет сомнения, что г. Андреев должен быть отнесен в категорию отрицательных явлений в нашей литературе. Читатель, который раскрыл новую вещь Леонида Андреева, может быть заранее уверен, что он сохранил свое нормальное настроение только в том случае, если новая вещь окажется неудовлетворительною по исполнению в большей мере, чем это можно ожидать у Л. Андреева. Если же новая вещь принадлежит к числу более удачных, читателю г. Андреева не освободиться от чувства известной подавленности жизнью” (*Редько А.Е. [Редько А.М. и Е.И.] Литературные наброски: (“Савва” и “К звездам” Л. Андреева) // Русское богатство. 1906. (№ 11). Отд. 2. С. 117*). Вместе с тем Редько считал необходимым отметить, что «в “Савве” перед читателем-зрителем скорее какие-то художественные переотражения кошмара наяву, чем образы подлинных живых людей. И с этой стороны “страшен” {...} только сам художник, представляющий действительность в виде кошмара: удручающ только он сам, как крупная единица общего настроения, а не созданные им образы {...}» (Там же. С. 121).

Оригинальна трактовка пьесы В.Ф. Ходасевича, вступавшего тогда в большую литературу. В начале статьи критик дает разбор пьесы “К звездам”, которая расценивается им как попытка Андреева – автора “Красного смеха”, “поэта мучительных и неизгладимых противоречий”, обрести “согласие и успокоение”. Однако в финале “К звездам”, «не появляясь на сцене, из списка “действующих лиц” смотрит на них (героев пьесы. – *Сост.*) лик безумия “Николай, 27 лет...”<sup>15</sup> {...} Бессознательно Л. Андреев остался верен себе.

И во второй пьесе, в “Савве”, ему слышится все тот же смех, видятся все те же искривленные лики – “рожи”, и мы знаем, что никакие

---

<sup>15</sup> В финале пьесы “К звездам” действующие лица узнают, что арестованный и измученный в тюрьме Николай (сын главного героя драмы) сошел с ума. Включенный в состав действующих лиц, он не появляется на сцене, оставаясь одним из главных предметов разговоров остальных персонажей.

слова о земных устройствах не заглушат смеха, не изменят лиц. Осуществят ли за Савву другие его идею о “голом человеке” на “голой земле”, сожгут ли Шекспиров и Пушкиных, разобьют ли старые статуи – или нет – все равно! “Человек останется человеком”. Послушник Кондратий прав: “он хитрый, припрячет что-нибудь или как. А потом, глядь, на старое и повернули...” Конечно, припрячет: все боли и все радости останутся с человеком, дорогие ему и желанные. Пока жив человек – царь Ирод будет тосковать со своим Богом и не расстанется ни с Богом, ни с тоской. Ибо сам Бог затосковал однажды, “да до сих пор тоскует...” И отражается печаль Лица Его на нас. Видит Тюха страшные рожи, а не знает, существуем ли мы, – до смерти страшно-смешны ему “рожи” несуществующих. Он говорит брату: “У тебя тоже, Савка, очень смешная рожа” (<...> Поистине страшна “рожа” Саввы! Его “бомбочка” не взорвала человеческой веры. Жизнь сумела вывернуть наизнанку его мечты, извратить его движения и, замахнувшись на человеческую “слепоту”, он убил – себя. И когда хохочет Тюха над трупом Саввы, он, наверное, умирает от смеха, но смерти его мы не видим. Волны ликующей толпы закрывают его от нас, и уже не он, сумасшедший Тюха, а мы, мы сами, видим, как в безумной процессии плывут торжествующие рожи, и радуются до слез, до забвения себя радуются – поддельному чуду. И этой радости тысячелетнего младенца уже не взорвать никакими адскими машинами. Отчаянным безумием черного бреда гремит его песня, сложенная (к) тихой радости Светлого Воскресения: “Христос воскрес из мертвых...” (<...>)

Здесь жизнь мчится разъяренно; все сокрушено, спутано, извращено, лица искажены гримасами. Это – один ужас, поражающий нас. Но есть еще другой, больший, поглощающий первый, но тихий и неприметный, от которого все замирает, все умолкает и свертываются небеса “ненужным свитком”.

“Весьма возможно, что в действительности мы не существуем, во-все не существуем”.

“Ах! Старый вопрос!” – и это смешно мудрецам из профессоров. (<...>)

Однако, мудрые, ответьте на эти слова, которые ведь – почти шутка!

Но она встречает нас на всех путях, и некуда от нее укрыться, как от взгляда Медузы.

Семинарист Сперанский. Смешной, неподвижный, худой и бледный.

Это он уже каменеет под ее взглядом» (*Ходасевич В. Х* сборник т-ва “Знание”, СПб., 1906; XI сборник т-ва “Знание”. СПб., 1906 г. 1 р. // Перевал. М., 1906. № 1. С. 51–52; номер вышел в ноябре 1906 г.).

Своеобразно оценивается пьеса автором фельетона-эссе, появившегося в одесском “Новом обозрении”. В очередной раз андреевская драма делается основой для собственных умозрительных конструкций, суть которых даже изложена эссеистом в некой аннотации, предвещающей фельетон. Он считает, что герои пьесы – Савва и Липа – воплощают “два

основных начала человеческого духа”: “Липа – начало приятия жизни всей, целиком, вне догм и карательных рамок. Савва – дух разрушения во имя великой любви к должному, дух отрицания во имя идеи и доктрины, во имя морального императива”. Обозначив “реальных представителей обоих жизнечувствований” (“первого – Гете, Христос и Спиноза, второго – борцы и герои революции”), эссеист предполагает, что в будущем произойдет примирение этих двух начал, и видит “в дали будущего – сияние последней свободы: бесповоротное признание за каждым права на творчество своей истины, морали и красоты”. Любопытно личное свидетельство фельетониста: “Андреева я видел в Берлине. Никогда не забуду его тонкого лица и грустной, застенчивой, страдающей улыбки. Мягкие манеры, мягкий задумчивый взгляд. Не хотелось верить, что в этом человеке заключена мощная сила отрицания, умение проклинать, (...) заражать тревожным настроением (...) Я вслушивался в проникновенный голос писателя, и мне странно было думать, что передо мною автор “Красного смеха”, который не побоялся заглянуть, перегнувшись, в бездну отчаяния и сомнения (...)» (-ск-. Последняя драма г. Андреева // Новое обозрение. Одесса, 1906. 5 нояб. (№ 88)).

О некоем синтезе двух полярных начал, к которому непроизвольно устремлен смысл пьесы, пишет и критик “Образования”. В статье, дающей обобщенные контуры этико-философских мотивов творчества Андреева, говорится о “столкновении двух правд” в пьесе: «Савва со своей жадной голого человека, человека без вековой тяжести греха, человека “с молодой, жадной душой, с ясными глазами, которые обнимают весь мир”, ведет борьбу на два фронта. Внутри, в душе его борются светлая правда и сознание “неподатливости времени”. “И на всей земле, на всей земле, монах, нет места для правды”, с тоской говорит Савва. Он сам “видит свое одиночество” и даже “близкую смерть”.

Ему навстречу идет правда мира, правда низов, с которой он борется безнадежно, но упорно.

Устами Царя Ирода говорит эта правда. “Правду я узнал, – говорит он, – через мое горе”. И Христос дорог царю Ироду не своей сияющей чистотой, а своим страданием, тем, что уравнивает его со многими, тем, что спускает его с высоты» (В.А.Щ. [Хейсина-Щегло Л.В.] Голгофа // Обр. 1908. № 6. Отд. 3. С. 41).

По мнению критика, особенно выделяющего этого персонажа – Царя Ирода, Христос тоскует, «потому что встретила правда неба с земной скверной, с земным страданием. Не крестные муки создали Голгофу, а эта тоска, эти душевные муки рождения человека в Боге, муки, которые наполняют мир, и составляют его трагедию.

Эта трагедия, это столкновение двух правд настойчиво звучит в творчестве Андреева. Он поднимает на высоту то одну, то другую. И Бог и человек качаются на весах мира (...)

Этого Бога страдания не отдаст земля, он слишком необъятен, слишком вошел внутрь жизни, слишком охватил и омыл вещи и кумиры. Нельзя разрушить этого страдания. “Ничего не надо разрушать, –

говорит Липа, – а нужно работать и ждать... жизнь настоящая, Вася, придет”»).

Именно слияние этих полярных начал становится, согласно убеждению критика “Образования”, этическим пределом, к которому стремится все творчество писателя: «Чистая сияющая сама собой согревающаяся божественная правда, замкнутая и одинокая, омывается человеческой правдой, ее кровью, страданиями и слезами, и, внутренне надломленная “неподатливостью времени”, она родит новую правду, которая должна быть родной дочерью земли и неба, которая должна висеть вечной Голгофой над миром, которая должна спускать бога на землю. В этом спускании бога на землю, в этом крушении одинокой небесной правды – глубокий смысл Андреевского творчества, ищущего путей к новой правде без жертв, без недосягаемой высоты» (Там же. С. 42).

Актуальность пьесы продолжала быть главной темой отзывов. «Она проникнута настроением наших дней, полна отчаянием и болью, – писал Е. Ляцкий. – Только бы разрушить, только бы уничтожить, во имя чего-то лучшего, нового, иного, чем то, что было вчера, что есть сегодня, только бы разом смести с земли все, что мешает явиться на ней “новому человеку”, а там... будь, что будет (...)

Это чувство нестерпимой боли и безумной тоски. Приступать к нему с логическим анализом бесполезно (...) И сколько же ужасов, и страданий, и вражды должно быть разлито на той несчастной земле, которая делает заразительным и понятным это в существе своем дикое чувство мести и разрушения!

Но того зла, которым отравлена жизнь, не может вытравить даже огонь, и не ясно ли, что для борьбы с ним нужны другие, менее разрушительные, но более действительные средства» (Евг. Л. [Ляцкий Е.А.] Литературное обозрение. Ч. II. Эптон Синклер. “Чаша” (The Jungle). Американский роман. Книгоиздательство В.К. Шнеур. Спб. 1906. Сборник товарищества “Знание” за 1906 г. Книга XI. Спб. 1906 // ВЕ. 1906. № 12. С. 837–838).

Показателен спор относительно авторской позиции в пьесе, который разгорелся между критиками А. Горнфельдом и В. Львовым-Рогачевским.

В рецензии Горнфельда андреевская пьеса сопоставляется с актуальными событиями – недавно пережитыми Россией днями революции 1905 г. И критик относит пьесу к произведениям, авторы которых “не в силах подняться над действительностью на крыльях обобщения”, а потому “просто умывают руки”. Горнфельд иронически отмечает, что пьеса “очень занимательна и замечательна”, «в ней есть все для сценического успеха; в ней есть движение, читателю все время хочется знать, что будет дальше; в ней есть резко очерченные, красочные образы, до сих пор не утилизированные русской сценой. Один “Царь Ирод”, однорукый, мрачно-дикий, высокий, чего стоит. Занятна и прочая компания уродов от полусумасшедшего семинариста Сперанского до совсем сумасшедшего Тюхи, от истерички Липы до пьяницы послушника Кондратия;

прелюбопытный российский Бедлам, может быть, выдуманный, но зато выигрышный. В чтении эти химерические образы мало убедительны, но при соответственном костюме, жесте и гриме они могут остаться в памяти; они сценичны и индивидуальны. Сценична и вся пьеса, в которой есть и эффектные монологи, и острые диалоги – словесные поединки, где каждое слово чревато грозой и аргументы вспыхивают, как роковые зарницы; есть в пьесе и моменты сосредоточенного настроения, и декоративные массовые движения, и красивые позы; есть все, коль нет обмана. К сожалению, есть и обман.

Обман заключается в том, что пьеса имеет всю видимость содержательности, не будучи содержательной по существу. Автор как будто подразнивает <так!> читателя: “Я что-то знаю, да не скажу!” Но он ничего такого не знает. Его произведение затрагивает важные вопросы, но затрагивает поверхностно, не только не решая – мы этого не требуем от художника – но даже не ставя их» (*Горнфельд А.* Литературные беседы. IX. Одиннадцатый сборник “Знания” // Товарищ. СПб., 1906. 12 окт. (№ 85). С. 2; цит. по: *Горнфельд 1908.* С. 70–71).

В заключение критик фактически обвиняет Андреева в потакании обывательскому умонастроению и вкусу: «Пьеса задает ему (обывателю. – *Сост.*) нетрудные загадки; он легко решает их и подымается в собственном знании. Он видит анархизм именно таким, как он его представлял; “монахи эксплуатируют чувство народное”: он это знал; “для безбрежной и непобедимой веры даже явный обман становится чудом”: ах, как хорошо он это понимает (...) и анархист, “конечно”, не выдержал; если бы народ не убил Савву, он сам погиб бы: недаром перед гибелью он чувствует, что “тьма идет”. Еще бы: самый свободолюбивый обыватель чувствует себя спокойно и удобно только тогда, когда принимает аргументы верующей Липы: “Нет, Савва, ты никого не любишь (...) Пусть ты не веришь в Христа, но если в тебе есть хоть капля благородства, ты должен уважать Его, чтить Его благородную память” (...) Культурный обыватель не хочет трагедии (...) И пьеса Андреева не смутит его покоя» (Там же. С. 72).

“Ошибочнее такой характеристики трудно что-либо представить, – парировал его оппонент. – (...) Андреев (...) никогда не отписывается от действительности, умывая руки; никогда не пытается освободиться от ответственности, которая связана с исканием правды; никогда не бывает поверхностно объективным. Он с мукой подходит к мученическим вопросам, он, в жадном искании правды, не останавливается на внешнем описании действительности, а всей силой своего таланта стремится проникнуть в ее сокровенный смысл (...)” (*Львов В.* [*Рогачевский В.Л.*] Литературные заметки: “С одной стороны – с другой стороны”: Несколько слов о Л. Андрееве // *Обр.* 1906. № 12. Отд. 2. С. 62). Львов-Рогачевский обратил внимание на мысль А. Горнфельда, что если «произведения художника Савелова, друга доктора Керженцева, были “интересны для сотни ожиревших людей”, которых они развлекали, то произведения Леонида Андреева (...) волнуют глубоко и захватывают тех “русских

мальчиков», о которых рассказывал в трактире Иван Карамазов своему брату Алеше» (Там же. С. 63). В этом противопоставлении, по мнению критика, «содержится отдаленный намек на характерную черту произведений Леонида Андреева (...) второго периода»: «Если вы вспомните его “Мысль”, “Жизнь Василия Фивейского”, “К звездам”, “Так было, так будет”, “Савву”, – вас поразит то обстоятельство, что “светлая, острая, упругая, как папира”, мысль художника с одинаковым блеском приходит к самым противоположным выводам и, наконец, “превращается в самую страшную из змей, ибо она прячется во мраке”.

Это отнюдь не то “удобное беспристрастие” с его равнодушно-ленивым “с одной стороны, с другой стороны”, – это пытка, которую пережил доктор Керженцев, когда его “единая мысль разбилась на тысячу мыслей, и каждая из них была сильна, и все они были враждебны”» (Там же. С. 63). Львов-Рогачевский считает, что судьба произведений Л. Андреева, начиная с выхода “Жизни Василия Фивейского”, повторяет судьбу статьи Ивана Карамазова о “церковных судах”: «Церковники и атеисты торжественно объявили автора *своим* и одинаково ошиблись в авторе, который, если можно так выразиться, был “сам не свой”» (Там же). “Трагедию мыслящего художника” (автора “Саввы”. – *Сост.*) критик сопоставляет с “сердцем Ивана” (Карамазова. – *Сост.*), «где *нутро* с логикой борются, и в этом “с одной стороны, с другой стороны” – великая трагедия мыслящего человека» (Там же. С. 64). Это же противоречие выделяет критик как основное, рассматривая содержание драмы: «Где же выход?

Логика или нутро?

Та жизнь, которую устроили люди, невыносима (...) и должна быть изменена. Но как и чем?

Перед Саввой, Липой, Тюхой, “царем Иродом”, измученной толпой встает этот вопрос. Каждому на помощь приходит мысль, но у каждого получается свое решение» (Там же. С. 65–66). Сперанский и Тюха “чуют трупный запах, запах разложения, они бродят вокруг могил, они заглядывают в лица мертвецов...” (Там же. С. 66). Липа «вялая, бездеятельная (...) в молитву и книгу (...) *уходит*», как монахи в монастырь (...)

Она *боится* страданий людей (...). А Савва к действительности «относится просто, даже слишком просто!

“*Надо уничтожить все*” – вот решение, которое подсказывает Савве его “простой, мужицкий ум”» (Там же). “То, что задумал и привел в исполнение Савва, это только вывод из его логических посылок. Тут простой математический расчет” (Там же. С. 67). Савва упорствует в правильности своего “логического построения” даже после неудавшегося исполнения его “замысла”: «“Я прав, я прав”, – повторяет он в каком-то полузабытье, не замечая уже занесенного над ним смертельного удара» (Там же. С. 68). “Каждый логичен по-своему и у всех логика приходит к разным выводам” (Там же. С. 69). Львов-Рогачевский ищет

художественное осмысление этого противоречия в пьесе, обращаясь к беседе Тюхи и Сперанского:

«Тюха (таинственно). Куда это они идут, а?

Сперанский. На поднятие иконы. Завтра праздник, поднятие иконы.

Тюха. Нет, а по-настоящему! По-настоящему, понимаешь?

Сперанский. Понимаю. Неизвестно. Никому неизвестно, Антон Егору!»

Никому неизвестно (...) ни Савве, ни Липе, ни “царю Ироду”, ни Тюхе» (Там же). Критик замечает, что в лице Тюхи автор “выводит как бы истолкователя собственных настроений”: «Присмотритесь не глазами Тюхи, а своими глазами к Савве, Сперанскому, Липе, монахам, Егору, – разве не поражает вас какая-то двойственность образов? Это образы двойников.

Чудится, что вы сидите в полутемной комнате, ветер надувает белую занавеску в окне и колышет пламя свечи, слышится шепот Сперанского и Тюхи, а перед вами плывут “рожи”, “множество рож”, плывут застывшие мертвые маски» (Там же. С. 70).

«Итак, не быть, а видения, – подводит он итог своим размышлениям, – не лица, а рожи – вот царство гордой мысли, превратившей голову из замка в тюрьму...

Как же вырваться на свободу из этой тюрьмы, к синему небу и клейким листочкам?

Интересно, что ответ на этот вопрос невзначай намечает Савва, “настоящий” Савва в разговоре со Сперанским (...): “А зачем вам знать, существуете ли вы или нет, – говорит Сперанскому Савва. – Вон небо, посмотрите, какое красивое! Вон ласточки. Травую пахнет... Хорошо!..”

Сам Савва, как и Сперанский, тоже отгородился тюремной стеной и от неба, и от ласточек» (Там же. С. 71).

Однако «в драме Леонида Андреева не только выступают действующие лица-рожи, послушные манекены логики. Это “с одной стороны”.

“С другой стороны” – *нутро*, и представителем этой другой стороны является послушник Вася (...) Вася, точно посланник из забытого взаправдашнего мира, пришедший отгнать людям-“рожам” их “холодную ложь из какого-то другого совсем особого мира”<sup>16</sup>, мира видений и призраков, мира, в котором множество рож и нет человеческого лица.

И кажется нам, что Вася – “разгадка чего-то”.

Молодой, круглолицый, крепкий, с бессознательной радостью на лице – Вася не призрак, не “рожа”, а сама жизнь, сама природа (...) Этот *лесной дух козлоногий нутром* чует всюду жизнь так же, как Сперанский своей *мыслью* всюду различает только “трупный запах”. Недаром же Вася так не выносит Сперанского, и недаром же он так любит гулять по полям с *настоящим* Саввой...» (Там же. С. 72–73).

Спасает ли “нутро”? – задается вопросом критик, и отвечает:

«Нет более Пана! Умер лесной дух козлоногий! Пришла “мысль”...

<sup>16</sup> Эта и следующая цитаты – из повести Андреева “Мысль” (1902).

И читатель – да и художник – сам томится вместе с Васей.

Горе человеческое идет, идет, а лес шумит, полный ликующей жизни. И не знает художник человека, который сочетал бы в себе гармонически и “нутро”, и “логику”, отдался бы человеческому горю и слышал бы немолчный шум леса.

В этом незнании, в этом “с одной стороны, с другой стороны” (...) не умывание рук, а трагедия...» (Там же. С. 73).

А. Смирнов связал свой анализ трагедии анархизма в России с образом главного героя пьесы. Рассматривая соотношение авторской позиции и позиции главного героя, критик исходит из того, что “истинный художник знает лишь *жизнь*. Никаких тенденциозных идей он проводить не может и никаких приговоров он не выносит” (Смирнов А. Трагедия анархизма // *Обр.* 1906. № 11. Отд. 2. С. 81). С этой точки зрения рассматривается и трагедия анархизма: “Прежде всего, она совершается внутри личности героя (...) неведомым проклятьем она преследует героя по пятам. Это проклятье – в непонимании замыслов и дела героя (...) По всей пьесе красной нитью проходит это удивительно упорное отношение жизни к анархистской мечте. Какой мощной страстью ни пропитана проповедь Саввы, как ни близки его злобные чувства и образы сердцам его собеседников, совершенно безуспешными остаются его речи о новой земле, обновленной огнем (...) Даже такие чуткие люди, как Липа или Царь-Ирод, и те не только не верят в осуществление надежд Саввы, но прямо не в состоянии вместить их в свое сознание” (Там же).

Внутренний трагизм Саввы, по мысли критика, в его утопизме: “Чем утопичнее мечта, тем в большую житейскую нелепость она обращается при практическом проведении (...) Даже в выборе соучастником покушения монаха Кондратия чувствуется этот безнадежный утопизм: попытки убедить эту продажную душу, настроить ее на тон анархистских понятий естественно должны окончиться той жестокой иронией судьбы, которую мы видим” (Там же. С. 82). Любопытным, по мнению Смирнова, оказывается тот факт, что “анархистский утопизм в данной пьесе не оставляет надежд даже на будущее торжество мечтательных идей” (Там же. С. 83).

Суть трагедии героя критик видит не столько в идейном анархизме, сколько в “области психологических глубин”: “Если анархизм всегда индивидуалистичен, то здесь в особенности. Савва одинок, глубоко одинок не только в общественном непонимании, но еще больше в своей психологической исключительности. Он – Царь-Ирод, только с другого конца. Как тот центростремительно впитал в свое сердце преувеличенное горе, так Савва центробежным порывом старается выбросить его вон – огнем. Его анархизм – продукт больного сердца, анархизм надрыва. Уже слишком исстрадалось, надорвалось гордое сердце, глядя на совершающееся вокруг, и Савва потерял равновесие, чуткость и глазомер к жизни, стал в демоническую позу и клеймит злостным презрением жизнь, как Царь-Ирод – монахов” (Там же. С. 83). По мнению А. Смирнова, новой чертой “трагизма Саввы как анархиста” является



“отсутствие того альтруистического начала, которое, в сущности, одно созидает жизнь” (Там же. С. 85). Разгадку “лица жизни” критик видит в людях “с живым альтруистическим чувством, вроде Липы, свободных от личной замкнутости”: “Теперь им становится ясней скрытая за мелким будничным эгоизмом тайна жидкительного процесса жизни, сознательней постигают они месть за попрание ее законов и, обновленные, они готовы гуманнее принять ее во всем ее великом и малом” (Там же. С. 86). Критика особенно вдохновляет то, «как Андреев художественно красиво изображает этот мощный, словно неудержимый поток, стихийный процесс жизни. Еще когда Савва в нервно-возбужденном ожидании взрыва находится у себя дома, одинокий с своими утопичными мечтами, там, за окном, всем чудится, как “идут”, “все идут” (на богомолье народ) и нет конца этим мерно топочущим ногам. Это идет жизнь какой-то густой, сплошной массой, которую никакая сила не в состоянии ни прорвать, ни уничтожить. Нет препятствий у нее на пути; движимая изнутри инстинктом, она не нуждается ни в каком руководстве. В пьесе это “идут”, бессознательное и бесформенное, но как что-то властное и большое, повторяется несколько раз. Его все чувствуют (...) Первый же авангард этой стихии сметает Савву. Его убивают бессознательно, и разве лишь смутно догадываясь, за что» (Там же. С. 86–87).

З. Венгерова жестко оценивает творчество Андреева в целом, исходя из ошибочности его мировоззренческих основ. Ошибку его в построении собственной философии критик видит в том, что, проникаясь “идеализмом”, писатель стал вопрошать о целях жизни, “исходя только из человеческой обособленности, из относительных знаний человека”, тогда как “нельзя устанавливать суждения о далеком – и, опять-таки, судить его, – находясь в ослепленности близким” (З.В. [Венгерова З.А.] Литературно-художественные альманахи издательства “Шиповник”. Кн. 1. СПб. 1907 // ВЕ. 1907. № 5. С. 372). По ее мнению, “философия животного крика” началась с “Жизни Василия Фивейского”. Сопоставляя понимание трагического у Андреева с греческой трагедией, Венгерова отмечает: “Греческая трагедия раскрывает ужас жизни, но вводит его как активную силу в мировую гармонию (...) А от криков Леонида Андреева душа не растет, потому что ее активная роль сведена на нет” (Там же. С. 373). Рассматривая драматургическое творчество писателя, критик находит в пьесе “Савва” «непосредственную силу таланта, придающую большую выпуклость и смелость очерченным фигурам и сталкивающимся силам. Но, по своему идейному замыслу, и эта драма (имея в виду и предшествующую – “К звездам”. – *Сост.*) обнаруживает тоже коренное неумение Л. Андреева справиться с темой, навеянной, с одной стороны, кошмаром русской действительности, а с другой – противоречивыми философскими идеями, которые носятся в воздухе и среди которых он беспомощно путается. Его герой – анархист, проповедник “голой земли” во имя грядущего строительства. Но анархист он очень элементарный, слепой исполнитель так называемой

“propagande par le fait”<sup>17</sup>, не оправданной в духе. Вся мысль анархизма, противопоставляющая правоту свободного самоопределения условному насилию закона, исчезает в риторике голого насилия над насилием в речах Саввы, бессильных при всей своей хвастливой смелости. Ему противопоставлена пламенная христианка Липа, его сестра, печальница горя человеческого, – тоже повторяющая с бессильным пафосом старые слова о жалости. Вся идеологическая сторона их спора риторична и не вносит никакого интуитивного понимания в противоречия души, где гнев и любовь отстаивают свои права во имя правды и счастья. Но уменьше Л. Андреева окутывать кошмаром действия и чувства людей и двигаться в хаосе стихийных сил – заслоняет бедность замысла. В драме побеждает жалость – торжествует Липа, разрушающая анархический подвиг Саввы, – но жалость торжествует в таком бреде крови и злобы толпы, что идея драмы совершенно спутывается, – остается опять крик ужаса и боли, как во всем творчестве Л. Андреева.

“Жизнь человека”, следующая теперь за *первыми* двумя драмами Л. Андреева, – самая претенциозная из трех. В ней он берется за мировую тему, хочет обнять жизнь человека философской схемой и противопоставить ее судьбе» (Там же. С. 374).

Иначе на лигу творческого развития Андреева смотрит Д.С. Мережковский. “Савва”, по его мнению, является центральной частью “главнейшего произведения, едва ли не случайно написанного от 1905 до 1907, то есть в годы русской революции”, – трилогии “К звездам”, “Савва” и “Жизнь Человека”, эпилогом к которому является повесть “Иуда Искариот”. Все они посвящены «тем же религиозным недоумениям или, вернее, той же религиозной боли, которой Андреев впервые коснулся в “Жизни Василия Фивейского”», – утверждает критик (*Мережковский Д.* В обезьяньих лапах // *РМ.* 1908. № 1. Отд. 2. С. 85). В центре стоит вопрос о “чуде в новой религии”, как бы испугавшись которого, в драме “К звездам” Андреев “повернул к старой позитивной религии без чуда.

Нет чуда, нет воскресения, нет личного бессмертия; но есть безличное; все умирают, но все живет; смерть всех – бессмертие всего” (Там же. С. 86). В “Савве”, по мнению Мережковского, от «позитивной религии человечества не остается камня на камне (...) “Человечество идет к звездам”, – говорит Сергей Николаевич (герой пьесы “К звездам”. – *Сост.*); “Человечество идет к черту”, – говорит Савва. Для первого сверхчеловек есть острие растущей вверх пирамиды, вавилонской башни прогресса; для второго – нижняя точка воронкообразного колодца, как бы пустого опрокинутого конуса, который заияет под скрытую пирамидою» (Там же. С. 88).

---

<sup>17</sup> Propagande par le fait (“пропаганда делом”, *франц.*) – стратегия, возникшая в анархизме в конце XIX в. и провозглашавшая реальные действия (террористические акты, диверсии, локальную партизанскую борьбу и т.п.) наиболее эффективным средством внедрения в массы собственных идей.

Проблемой для критика остается художественная позиция Андреева: «На чьей же стороне Андреев – на стороне Саввы, предтечи Антихриста, или погромщиков, “слуг Христовых”? А если ни на той, ни на другой, то во имя какой истины отрицает он эти две лжи?» (Там же. С. 89). Так как отношение автора к идеям своих героев в художественной системе Андреева для Мережковского остается невыясненным, то и главным вопросом, волнующим критика, оказывается следующий: “чем мог бы Андреев возразить Савве?” (Там же).

Выдержит ли человек всемирное разрушение, Савва не знает и хочет провести опыт. Но после “Жизни Человека” опыт не нужен; ясно и так, что “не выдержит”. «“Некто в сером” остается победителем» (Там же. С. 92). Это не Бог, не дьявол, не Рок, а “олицетворенная глупость самого человека” (Там же. С. 91). «Все его отчаянные вопли и проклятия с “Некоего в сером” как с гуся вода; но, может быть, от одной тихой усмешки Еремея, сыноубийцы: “Понимаешь, Господи, страдание мое?” – это чучело провалилось бы, не оставив после себя ничего, кроме серного запаха, который сопровождает провалы театральных чертей» (Там же). Решение “религиозного недоумения” и главную мысль эпилога, повести “Иуда Искариот”, Мережковский находит в словах Еремея (Царь Ирод в “Савве”. – *Сост.*): “...человек за страдание может не только проклясть, но и благословить Бога, – и уж, конечно, для благословения нужна большая сила, чем для проклятия” (Там же. С. 91).

Однако далеко не вся критика захотела увидеть в “тихой усмешке” сыноубийцы Еремея противовес разрушительным идеям Саввы. В этом отношении показательны отзывы марксистов. А.В. Луначарский в статье “Заметки философа: О настоящих анархистах”, посвященной критике анархизма, сосредоточился на политической значимости андреевской пьесы. «“Савва”, – писал он, – невольно или против воли автора сделался довольно глубоким памфлетом против анархизма» (*Луначарский 1906*. С. 20). Он определял природу мировоззрения Саввы как анархизма выстраданного: любовь к людям побуждает его мстить за то, что с ними сделали: “Сила, непреклонность, уверенность и неподкупность Саввиной мысли объясняется тем, что поддерживает ее далеко не только радужный ангел грезы о будущем, не только милосердный ангел сострадания к братьям-безумцам, но и несравненно более крепкая рука, рука Демона мести” (Там же. С. 30). Однако максимализм Саввы, выросший из социальных язв больного мира, приводит героя к гибели и раскрывает закономерность поражения его идеи.

Заслугу Андреева А. Луначарский видел также в том, что ему удалось показать пропасть непонимания между идеями бунтующих одиночек и косным сознанием масс. В статье “Тьма” критик неоднократно возвращается к идеям и образам пьесы и повторяет то, на что указывал в ранее цитированной статье: “Андреевская критика в данном случае совпадает с марксистской. То же понимание революции, как огромного социального переворота, в конечном счете с необходимостью вызванного самим процессом роста сил общества, то понимание

ее, которым богата социал-демократия, остается вне и выше критики Андреева” (*Луначарский 1908. С. 171*). Обращаясь к критике города в рассказе Андреева “Проклятие зверя”, Луначарский снова вспоминает Савву и сопоставляет взгляды героя пьесы с идеями Руссо и Толстого, всю ответственность за которые возлагает на автора: “Помните, как Савва, – пишет он, – отказывается строить дальше здание культуры? Для него это только нагромождение лжи на ложь, нет, все скрыть, все долой. Обычная греза культууроотрицателей, в сущности не верящих в человека, – дитя, дикарь, мужик – Андреев не верит в человека, как не верили в него Руссо, как и Толстой не верит в него” (Там же. С. 166). Таким образом, идеи героя Андреева рассматриваются в плане борьбы марксизма со своими идеологическими противниками, в число которых попадает и сам автор пьесы, – критик называет Андреева Геростратом, “всеуничтожающим смерчем” (Там же. С. 161). «Спиноза сказал: “Свободный человек” ни о чем не думает меньше, чем о смерти”. Спиноза вдавил бы клеймо трусливого раба в лбы г.г. Мережковских, Бердяевых и... самого могильного могильщика – Андреева.

Жизнь – принцип пролетарский. Так вышло. Так изжила себя старуха буржуазия на Западе, что русская сестра ее начинает свою жизнь с панихиды и колыбелью своей избирает гроб. Буржуазное “свободное” искусство есть – смерть» (Там же. С. 154).

При этом в своей идеологической борьбе с Андреевым критик использует привлекательный для отдельных представителей дореволюционной марксистской критики образ Христа, сопоставляя удар, который наносит царь Ирод Савве, с ударом, нанесенным Андреевым в “Иуде Искарите” (“Подошел к Христу Леонид Андреев неожиданно странно. Царь Ирод ударил Савву левой рукой, Савва не ожидал удара с той стороны и упал. Андреев ударил Христа левой рукой”), хотя и с характерной оговоркой: “Андреев сказал: Христос-то хорош, да люди-то, ради которых он страдал, плохи”. Луначарский восклицает: “Нет, не можем мы вам оставить Христа. Если мы пытаемся исторически реконструировать его, как личность – мы видим в нем свободного вождя пролетарских масс Галилеи (...) Пусть он слишком пассивный для нашего современного духа, он все же пролетарский герой, учитель великой любви и великой ненависти тоже” (Там же. С. 161).

По-своему характерен отклик Л. Герасимова. Для него герой андреевской пьесы – отражение эпохи послереволюционной реакции и одновременно “сын той революционной гамлетики, к которой так склонна была всегда нетерпеливая индивидуалистическая интеллигенция, не поддающаяся дисциплине, требуемой массовой борьбой, и бросающаяся от террора к толстовству, от толстовства и чеховщины к Бакунину, Жану Граву, Севастьяну Фору и другим апостолам анархизма” (*Герасимов Л. Литературные отклики: “Савва и Саввы” // У горна. СПб.: Изд-е группы студентов, 1907. Сб. 1. С. 28*). Исходя из этого тезиса, автор (видимо, революционно настроенный студент) отвергает философию литератур-

ного героя, а заодно и “отечественного анархизма последних месяцев” с позиций учения о классовой борьбе.

По мнению еще одного радикально ориентированного критика, В. Попова, в андреевской пьесе “нет планомерного внутреннего развития. Благодаря этому в ней нет цельности, и она представляет из себя механическое соединение элементов, не объединенных между собою внутренней связью”; развитие действия определяется необходимостью “доказательства общественной теоремы” (Попов В. Старое и новое: (“Савва”. Пьеса Л. Андреева) // Очередные вопросы: Сб. статей. [Ч.] I. СПб.: Новая дума, 1907. С. 96). Как и в прозе Андреева, “несмотря на мастерскую маскировку (...) несмотря на внешнюю цельность, целое выдает себя своею искусственностью”, хотя “отдельные места отличаются чисто андреевской силой (...) персонаж, составленный из разношерстных кусочков, местами вдруг вспыхивает ослепительным блеском” (Там же. С. 97).

В. Попов считает, что статичен и искусствен прежде всего центральный персонаж пьесы. Попытки автора представить его сильным героем, обладающим железной волей и крепким разумом, терпят фиаско: он “говорит слишком много, очень горячо, с большим вкусом и часто весьма неуместно”, а на практике – “большой разиня, плохо знает людей и, по совести говоря, взялся не за свое дело” (Там же. С. 98–99). “Рядом с Саввой стоит другой такой же неудачный тип – Липа. Она не имеет даже резкости очертаний, как ее брат, но страдает теми же органическими пороками. Надуманное, неживое, бледное лицо” (Там же. С. 100). Вместе с тем критик высоко оценивает художественную выразительность других образов пьесы: Царя Ирода и Кондратия. Первый персонаж “темен, как темна мгла слепой веры, из которой он вырос. Но он обладает колоссальной устойчивостью (...) И при встрече с ним Савва впервые почувствовал беспредельную огромность и живучесть той тьмы, которую он вызвал на бой” (Там же. С. 100–101).

Резюмируя статью, критик утверждает, что Андреев использовал в пьесе “старые”, “дореволюционные” приемы: “Новый же революционный материал совершенно не поддается его усилиям” (Там же. С. 102). Отсюда и мировоззренческое фиаско автора, попытавшегося раскрыть “революционную тему”: “его постановка общественных вопросов уходит корнями в бездонную глубину стихий. Старая основа, ужас жизни приподнимает новейший революционный материал, и из бездны мы слышим все тот же старый похоронный звон” (Там же. С. 104). Вместе с тем актуальна и нова сама идея пьесы, ее богоборческий и революционный пафос; поэтому “даже неудачно выполненный широкий замысел, широкий размах – сами по себе имеют ценность и обаяние” (Там же. С. 106).

В работе Т. Ганжулевич андреевская пьеса рассматривается в широком контексте философских исканий писателя. По мнению критика, попытка героя взорвать чудотворную икону – “этот тот же камень проклятия”, который бросает человек в “лицо Некто (в сером), скрывающего в

себе границы человеческой мысли и жизни и стоящие за ними мировые законы” (*Ганжулевич 1908*. С. 83). Однако, «стремясь освободить человека от пут, Савва незаметно освобождает его от той сущности, во имя которой и стоит только жить человечеству, – идеи преемственности человеческого труда, ведущего собою к вечности целый ряд поколений, с входящими в него личностями. Липа не понимает, но чувствует это (...) “Упорное и постоянное убеждение человечества в соприкосновении мирам иным”<sup>18</sup> для Л. Андреева существенно важно при исследовании им границ человеческого и смысла его существования с запредельным. В широком размахе Саввы он экспериментирует над возможностью его устранения, но яркость красок только сильнее и глубже вырисовывает власть этого убеждения над человечеством» (Там же. С. 84). Ганжулевич считает, что это связано со своеобразием мировосприятия центрального героя, который в своем стремлении освободить человеческую личность фактически нивелирует ее “единичность”, индивидуальность: «Недаром Савва совершенно искренно опровергает свою связь с анархистами: у тех единичность отождествляется с индивидуальностью, составляет главное содержание ее; ее права уважаются, ее привязанности чтутся, и насильственное оголение личности, проповедуемое Саввой, для анархистов немислимо, как сведение к нулю свободы личности. Стремлению Саввы “пустить голого человека по голой земле” у анархистов противопоставляется – пустить свободного человека по свободной земле» (Там же. С. 97).

В позднейшей книге К.И. Арабажина о творчестве Андреева “Савва” – одно из немногих произведений писателя, которое получило у критика безусловно высокую оценку. Она во многом была предопределена своеобразием критической интерпретации смысла этой драмы. Арабажин считает, что “последние страницы пьесы Андреева, вопреки желаниям автора, являются апофеозом соборного начала жизни” (*Арабажин 1910*. С. 138). Картина ликующей, уверовавшей в чудо толпы “поразительная и подавляющая. И пусть Андреев уверяет в своих ремарках, что толпа ревет, а не поет, пусть старается подмарать впечатление указанием на расширенные, округлившиеся глаза и раскрытые рты, на задавленных и кликуш, – вы чувствуете, что большое художественное дарование пробило, прорвалось сквозь все индивидуалистические загородки и победило, создав, – может быть, повторяю и вопреки автору, величественную картину торжества жизни! Перед нами не погромная толпа, перед нами народ, гласом которого говорит сам Бог!” (Там же. С. 139).

Во многом вследствие подобной трактовки финала критик уверен, что «драма Андреева “Савва” должна быть отнесена к числу лучших произведений не только Андреева, но и вообще русской литературы,

---

<sup>18</sup> Измененная цитата из записных книжек Ф.М. Достоевского; ср.: “Убеждение же человечества в *соприкосновении мирам иным*, упорное и постоянное, тоже ведь весьма значительно” (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1977. Т. 27. С. 85).

и нужно только искренне жалеть о тупости цензуры, которая ставит препятствия к постановке на сцене таких истинно и глубоко художественных произведений. Пьеса написана хорошо и интересно и с точки зрения технической, и с точки зрения полноты и законченности типов и характеристик (...) В сценическом отношении это едва ли не лучшая из драм Андреева. И если пьеса и не имела успеха на немецкой сцене<sup>19</sup>, то тут играют роль какие-нибудь побочные причины. Пьеса сценична и с большим драматическим нервом. Особенно удачны два последние акта. (...) Конец третьего акта, когда Савве кажется еще, что взрывом икона уничтожена, написан с полным пониманием сценического движения» (Там же. С. 139, 143).

По убеждению критика, «для понимания творчества Андреева драма “Савва” является ключом, раскрывающим смысл его творчества и его тайные намерения. Савва хочет уничтожить все идола человечества, все те кумиры, которые держат человека в рабстве и мешают ему быть свободным (...) Их надо разрушить, поколебать, чтобы остался голый человек, свободный от предрассудков, способный построить жизнь заново.

Андреев – тот же Савва (...) Пусть все эти покушения на идолов (критик имеет в виду ряд андреевских произведений, направленных на разрушение иллюзорных счастья, истины, разума, веры и т. п. – *Сост.*) не более удачны, чем покушения Саввы на икону. Пусть каждое нападение произведено наспех и не колеблет твердынь; Андреев не замечает, что ужасное не там, где он его ищет, что твердыни не затронуты его динамитными взрывами, что и трагизм событий, им изображаемых, чаще всего следствие или глубокого одиночества человека, или каких-нибудь исключительных обстоятельств – путь Андреева намечен; он еще не кончен. Андреев должен пройти его до конца» (Там же. С. 144–145).

Почти сразу же после выхода в русском издании пьеса была переведена на немецкий язык и вызвала интерес в Европе. Так, Генрих фон Дельвег писал в своем обзоре: «“Савва” Андреева переводился по частям и печатался одновременно в венской, берлинской и парижской прессе. Об анархизме Саввы и богоборчестве Василия Фивейского спорили и говорили в редакционных кабинетах и литературных кругах.

– Савва не исповедует религии Ницше и Штирнера, он и не индивидуалист толстовского толка. Он анархист, сметающий, уничтожающий и превращающий в пепел культуру веков. Это новый, выросший на русской почве тип. Коротко – “андреевщина”!.. Там, где сорок лет тому назад возможны были Карамазовы, Раскольниковы и Свидригайловы, Савва должен был родиться.

Так понял небезызвестный немецкий критик и публицист Макс Гольдшайдер “Савву”, и такими словами определил он эту страшную

<sup>19</sup> О берлинской постановке “Саввы” см. с. 680–681 наст. тома.

и мстящую культурному человечеству фигуру андреевской драмы)<sup>20</sup> (*Дельвег Г. фон. Письма из-за рубежа (из впечатлений иностранного корреспондента) // РС. 1907. 23 авг. (№ 193). С. 2).*

Театральную цензуру “Савва” не прошел. Сохранился экземпляр пьесы (*СбЗн*), отданный на ее суд, на котором имеется помета: “К представлению признано неудобным. 12 октября 1906 г. Цензор драматических сочинений, действительный с(татский) с(оветник). (подпись)” (Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека. Фонд “Драматическая цензура”. Шифр 200022). До 1917 г. запрещенная цензурой пьеса Андреева в России не ставилась.

В апреле 1907 г. отрывки из “Саввы” были показаны на экзаменационном спектакле воскресной школы Воронковой, руководимой Ю.М. Юрьевым (*ТиИ. 1907. № 16. С. 261).*

Летом 1907 г. В.Р. Гардин организовал труппу с целью постановки ряда запрещенных в России пьес (включая “К звездам” и “Савву”) в Финляндии, которая, входя в состав Российской империи, имела особый статус, благодаря чему цензурный запрет здесь не действовал. Премьера “Саввы” состоялась 11 июля 1907 г. в Териоках (режиссер В.Э. Мейерхольд). Как писал рецензент, «впервые этой сильной и талантливой драме удалось увидеть свет ramпы “по ту сторону добра и зла” – за финляндской границей, на небольшой дачной сцене» (*Легри А. Териокский театр: “Савва” – Л. Андреева // Русь. 1907. 14 июля. (№ 182). С. 3).* А. Легри прежде всего интерпретирует идеи героя пьесы: «Нужно раздеть людей, проповедует он, сорвать мишуру окружающей обстановки, отрезать все то, что он символически называет “карманом”, оголить человека от вещей, и тогда, быть может, он найдет, он должен найти, пути к счастью, к свету и истине. Если люди не согласятся “раздеться” и сорвать с себя покровы и одежды всего избытого и изжитого, существующего, он готов и землю “раздеть” от людей. Лучше ничто, лучше пустота, чем дряблость и мука, старость и уродство жизненных форм» (Там же). Главное для критика – это попытка Саввы “пробить брешь в старой, глухой стене человеческой жизни (...) вся мрачная история его поисков новых жизненных норм остается, хотя носитель этих грядущих планов погиб”. Критик негативно оценивает созданный Андреевым образ сестры Саввы, Олимпиады, которую автор назвал «в ремарке по пьесе “белой”... Быть может, он хотел ее сделать таковой, но вся пьеса рисует ее не белой, а скорее уж серой, шаблонной, с истерическими припадками мистицизма (...)» (Там же). Сама постановка оценивается двойственно. С одной стороны, говорится, что “пьеса производит сильное впечатление даже в постановке териокской труппы”. С другой – главной ее неудачей объявляется игра исполнителя главной роли, Галина: “Савва-титан в его руках был

---

<sup>20</sup> Обозреватель неточно называет имя немецкого критика, вероятнее всего, им приведено мнение о пьесе Эдуарда Гольдшайдера из его обзорной статьи об Андрееве (*Goldscheider Eduard, Dr. Feuilleton. Leonid Andrejew // Fremdenblatt. 1906. 8.11).*



Саввой – кривлякой с провинциальной сцены...” Оценивая по-разному игру прочих актеров, рецензент отмечает: “Прекрасно и продуманно, моментами доходя до глубокого трагизма, играл алкоголика Тюху г. Неволин” (Там же).

Рецензент “Товарища” считает, что в центре пьесы – конфликт между двумя правдами, Саввы и Царя Ирода: “Но, разумеется, гибель Саввы раскрывается для нас не в тот момент, когда он повержен на землю Иродом и убит толпою: его гибель, его падение внутренне предreshается его неудачным идейным поединком с этим безруким странником. На стороне Саввы – его могучая *воля*, на стороне Ирода – его *мудрость*. И Леонид Андреев сумел взвесить на весах своего таланта и волю, и мудрость”. Вместе с тем критик отмечает, что Савва как художественный образ “не совсем удался” драматургу: “в чертах его есть что-то искусственное, его характер мало определяется самим действием драмы, речь его порою бледнеет, рассуждения его недостаточно остры, недостаточно отточены (...) в драме нет внутренней борьбы. Савва не сомневается и не знает внутренних противоречий”. Несмотря на это, драма, по определению рецензента, “безмерно богата художественными сокровищами” – другие образы пьесы, даже второстепенные, “созданы навек”. Поэтому «даже в маленьком териокском театре эта драма Андреева смотрится с интересом: все в ней ярко, страстно и в то же время все исполнено той тайны, какую знает Леонид Андреев и какой совсем не знает его Савва. Есть в драме одно изумительное место, необычайное по глубине и по таинственной связи со всей концепцией пьесы. Я говорю о беседе Ирода с Саввой, которую можно выделить как “слово о мировой скорби»». Далее критик кратко оценивает игру актеров, отмечая неудачу исполнителя главной роли (Галина): “Крикливость совсем не в тоне этой роли” (Ч. Театр в Териоках: “Савва” Леонида Андреева // Товарищ. 1907. 15 июля. (№ 319). Отд.: Театр и музыка).

Сопоставивший две териокские постановки пьес Андреева Авель, констатировав очевидный неуспех “К звездам” (обусловленный, по его мнению, и несценичностью самой вещи), о второй драме писал: «Что касается “Саввы”, в котором гораздо больше драматической красочности и пафоса, то с этой пьесой группа справилась в смысле внешнем вполне удовлетворительно, но мятежный дух анархизма поблек в ее исполнении и потускнел. В этом последнем неуспехе всю вину приходится возложить именно на исполнителей, для которых психическая плоскость всей этой драмы и ее повстанца-героя, оказалась, к сожалению, чуждой, неусвояемой и невоплотимой. В двух словах коренное различие между замыслом автора “Саввы” и сценическим воплощением заключается в том, что Л. Андреев смотрит вперед, за грань сегодняшней действительности, а актеры и режиссер смотрели назад, в глубину сегодняшней тьмы, рабства и убожества» (Авель [Василевский Л.М.]. За гранью цензуры // Столичное утро. 1907. 19 июля. (№ 42). С. 3).

Режиссерские новации Мейерхольда, сгущенная мистическая символика вызвали раздражение Андреева, убежденного в необходимости

реалистического сценического решения (см.: *Цитрон И.Л.* В гостях у Леонида Андреева // *Одесские новости.* 1907. 27 июля. (№ 7290)). О том, что в Териоках «на летней сцене изнасиловали “Савву”», Андреев с раздражением писал Горькому 22 июля (4 августа) 1907 г. (*ЛН*72. С. 284).

Постановка “Саввы” 22 июня 1907 г. в Художественно-артистическом театре Губанова (Товарищество драматических артистов) в Харбине не имела успеха (см.: *Новый край.* Харбин, 1907. 1 июля).

Летом 1909 г. “Савва” был успешно поставлен в Вене: «На венской “Свободной народной сцене” был поставлен недавно “Савва” Л. Андреева. Местной критикой пьеса встречена весьма сочувственно. Газеты называют ее “замечательной, взбудораживающей драмой одного из сильнейших революционных русских талантов”. Отмечая чрезмерное изобилие в “Савве” диалогов и философских рассуждений, пресса вместе с тем рекомендует примириться с ними ради их глубокомыслия и исключительной художественности» (*ОбозрТ.* 1909. 27 нояб. (№ 917). С. 12. Отд.: За границей).

Иным был эффект в берлинском Hebbel-Theater, где пьеса была показана 18 сентября (1 октября) под названием “Чудо”. Непосредственный свидетель премьеры И. Троцкий констатирует неудачу берлинской постановки, связанной с неумением режиссера “разыграть” пьесу, а также с настроем немецкой публики: «Мистический анархист, не приемлющий мира, Савва с первого появления на сцене возбуждал недовольство публики. Нужно хоть немного представить себе мирозерцание берлинской публики “премьер”, чтобы понять, какую органическую ненависть она чувствует к пьесам “с философией и рассуждениями”».

Глубоко буржуазная, самодовольная, сытая и холодная, она ездит в театр, чтобы убить два-три часа, посмеяться и закончить день в каком-нибудь фешенебельном ресторане. Вообразите себе, что подобной публике, вместо пикантного и смешного, преподносят архи-террориста, проповедывающего “оголение земли до основы”, галерею типов, вроде Тюхи, семинариста Сперанского, “короля Геродоса” (имеется в виду Царь Ирод. – *Сост.*) и Полку (вероятно, речь идет о Липе. – *Сост.*), Пелагею, Тропинина, – надломленных, больных и исковерканных русской действительностью людей.

На протяжении четырех актов – бесконечные споры о суете жизни, о Боге и черте, о мировой никчемности (...) Калейдоскоп ужасов и беспросветного пессимизма.

И все это, заметьте, “не играется”, а говорится. Публика слышит только слова, но не видит игры. А для немцев игра – все!.. Немцу подавай жесты, пластику, мимику, движения (...)

Не помогли дивная постановка и безукоризненная игра актеров (...)

Я на время забыл, что вижу перед собой немецких артистов, – настолько верно и жизненно были ими схвачены и изображены эти русские типы.

И все-таки пьеса провалилась! Не спасли ее и эффекты, вроде взрыва бомбы, убийства Саввы и церковного шествия!.. (...)

Критика явилась отражением общего настроения.

“Андреевская пьеса заслуживает быть брошенной в огонь, в котором будут сжигать героя драмы”, – пишет местный рецензент.

“Андреевское творчество типично для дилетанта. В нем сказывается писатель, плохо разобравшийся в Шопенгауэре...” – говорит другой.

Остальная печать если и не так зла и менее беспощадна в оценке “Саввы”, то ее определения достоинств пьесы не выходят дальше сатирической улыбки и общих мест.

Резюме: если публика похоронила пьесу, критика поставила на ней крест» (*Троцкий И.* “Савва” в берлинском Hebbel Theater. (От нашего берлинского корреспондента) // *РС.* 1909. 24 сент. (№ 218). С. 4).

Г.А. Гроссман отмечал, что немецкая критика и публика после гастролей МХТ повторяет по поводу постановки “Саввы” Л. Андреева в Hebbel-Theater то же самое, что и после представления чеховской “Чайки” в том же театре: “Вот, если бы московские художники играли эту драму!” (*Гр. Г. [Гроссман Г.А.]* “Савва” Андреева на берлинской сцене // *РВед.* 1909. 24. сент. (№ 218). С. 4). Критик отмечает, что сюжет “Саввы”, уже известный публике по немецкому переводу, вышедшему еще в 1906 г. под названием “Das Wunder” (“Чудо”), варьирует драму “Сверх наших сил” Б. Бьернсона “на свой особый лад” (Там же). Как пример “теплого, грустью проникнутого настроения, которое характеризует отношение более серьезной немецкой критики к произведениям русской литературы”, он приводит отзыв на “Савву” Альфреда Керра в “Тат”: “Эту вещь писал художник, но художник, обладающий рукой, несколько смазывающей контуры, сердцем, которое отдает бóльшим благородством, чем самобытностью, которое блещет чистотой, но не свежестью первого дня, обладающий взором, который искренен, но не обращен на новые пути, гуманным чувством, на котором, несомненно, покоится будущее нашей земли, но таким чувством, в котором есть что-то схематическое, традиция страданий. Будь Андреев гением, то мы чуяли бы в его творениях большую непосредственность. Конечно, он возразит нам: где нам до воздушных парений, у нас много иных забот!.. И то правда: трагизм его родины гнетет его, и вместе с ним чувствуешь боль каждого человека, который на этой родине изнывает в страданиях. Я не знаю, какие лавры увенчают чело этого художника; но тепло пожать его руку должен каждый, видевший его драму” (Там же).

В том же году пьеса шла на финском языке в Гельсингфорсе в театре Kansan Näyttämö (Рабочий театр), премьера 18 ноября (1 декабря) 1909 г. Спектакль, появившийся на сцене демократического театра, вызвал оживленную полемику в прессе, однако успеха не имел: состоялось только три представления (см.: *Хеллман Б.* Рецепция творчества Л.Н. Андреева в Финляндии // *МиИ2012.* Вып. 2. С. 290).

После 1917 г. пьеса Андреева оказалась востребованной временем, ее ставили многочисленные провинциальные российские театры.

Близкая писателю “Русская воля” сообщала: «В будущем сезоне в Московском Художественном театре предполагается постановка “Саввы” Леонида Андреева. Эта пьеса, как известно, и доныне находится под цензурным запретом» (Русская воля. 1917. 4 янв. (№ 3.) С. 7). Но МХТ так и не включил пьесу в свой репертуар. В 1917 г. премьера состоялась в Харьковском драматическом театре (Савва – А. Андреев), в 1918 г. – в Московском драматическом театре (режиссер и исполнитель роли Саввы – И.Н. Певцов), в петрозаводском Народном театре драмы (Савва – К. Вертышев), Самарском городском театре (Савва – Н.К. Симонов), Воронежском театре (Обозрение театров г. Воронежа. 1918. 11 дек.) и театре Нижнего Новгорода (Рабоче-крестьянский нижегородский листок. 1918. 8 авг.).

В 1918 г. драма шла и в Малом театре в Москве. Театральный хроникер говорит о двойственном впечатлении от постановки: “Это очень сильный по впечатлениям спектакль, хотя исполнители главных ролей, Саввы – г. Нерадовский и Олимпиады – г-жа Миронова, этого впечатления не увеличивали. Ну какой же фанатик-анархист г. Нерадовский? И чем похожа г-жа Миронова на верующую, экзальтированную молодую девушку? Хорошо играли лишь исполнители чисто-бытовых ролей: г. Онни (Кондратий), Орлов (послушник Вася), г-жа Самойлова (Пелагея)” (Б.В. Малый театр // *Туй*. 1918. 24 (11) марта. (№ 8–9). С. 90).

В 1919 г. в Казани в серии “Театральная библиотека” (издание Внешкольного подотдела Казанского губернского отдела по просвещению) был впервые в новой орфографии напечатан текст пьесы, а также даны сценические рекомендации по упрощенной постановке “Саввы”. В том же году пьеса была еще раз поставлена в Воронеже (Известия Воронежского губернского и городского совета. 1919. 25 сент.).

В 1920 г. в Новороссийском театре, руководимом тогда В.Э. Мейерхольдом, “Савву” поставил режиссер В. Вильнер (Театр. 1967. № 11. С. 83–84). В 1918–1920 гг. пьеса Андреева охотно ставилась красноармейскими театрами.

В это же время была поставлена и за границей, в Латвии, в Театре русской драмы в Риге. Премьера состоялась 23 декабря 1920 г., в роли Саввы – актер Вронский. К.И. Арабажин (между прочим, выступивший со вступительным словом на премьере) отмечал успех представления (*Solus [Арабажин К.И.]*. Русская драма: “Савва” Л. Андреева // Сегодня. Рига, 1920. 29 дек. (№ 288). С. 3. Отд.: Театр и искусство). Другой рецензент писал о бледности образа главного героя в исполнении Вронского (А.Д. “Савва” (анархист), пьеса Леонида Андреева // Рижский курьер. 1920. 25 дек. (№ 1). С. 3. (Прилож.) Отд.: Театр и искусство).

В Москве пьеса, интерпретированная С.И. Прокофьевым (режиссером и автором литературной обработки) в упрощенно-агитационном ключе, была показана 6 ноября 1922 г. в Театре МГСПС (Савва – В. Освецимский) (Правда. 1923. 9 февр.). Без успеха прошла премьера в Театре рабочих и солдатских депутатов Замоскворецкого района (Савва – Ольховский) (Зрелища. 1922/23. № 18. С. 20). В 1922 г. “Савву”

ставили в Екатеринбурге (Уральский рабочий. Екатеринбург, 1922. 17 янв.), Казани (Савва – И.А. Слонов) (Известия. Казань, 1922. 25 июня), Одессе (Савва – А.П. Харламов) (Зритель. Одесса, 1922. № 9. С. 9). Сезон 1923/1924 г. в череповецком Народном театре драмы ознаменовался постановкой “Саввы” как “спектакля-диспута” на антирелигиозную тему.

В 1990 г. пьеса была поставлена в киевском Театре русской драмы им. Леси Украинки. Режиссер В.С. Петров (см.: *Старосельская Н.* Драматургия Леонида Андреева: Модерн 100 лет спустя // Вопросы литературы. 2000. Ноябрь.–дек. С. 134–136).

26 декабря 2008 г. в московском театре “А.Р.Т.О.” состоялась премьера спектакля “Савва. Ignis Sanat”. Постановка руководителя театра Н. Рощина; Савва – К. Сбитнев, см.: *Галахова О.* Детский сад русского подполья // Независимая газета. 2009. 26 янв. (№ 13 (4645)). С. 10; *Должанский Р.* Бомба без запала // Коммерсантъ. 2009. 29 янв. (№ 13 (4068)).

В 1919 г. “Савва” был экранизирован (автор сценария и режиссер Ч. Сабинский); фильм не сохранился.

При жизни автора пьеса переведена на немецкий (1906), польский (1907, 1909), болгарский (1908, 1911, 1912), хорватский (1910), английский (1914) языки.

С. 131. *Ignis sanat* – Л. Андреев в качестве подзаголовка берет часть эпиграфа к драме Ф. Шиллера “Разбойники” (1781): “Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat! Hippocrates” (“Чего не исцеляют лекарства, исцеляет железо; чего не исцеляет железо, исцеляет огонь. Гиппократ”). О сюжетных и образных перекличках между пьесой Шиллера и “Саввой” см.: *Панкова Е.С.* Л.Н. Андреев и Ф. Шиллер: (К вопросу об “Ignis sanat”) // Центральная Россия и литература русского зарубежья (1917–1939): Исследования и публикации (...). Орел: Вешние воды, 2003. С. 221–223.

*Послушник* – принявший обет послушания при подготовке в монахи.

С. 132. *Чуйка* – длиннополый суконый кафтан халатного покроя.

...чудотворною иконою Спасителя. – В пьесе в центре событий оказывается икона “Спаса Вседержителя” – одного из наиболее почитаемых в православии типов икон. Как правило, это поясное изображение Иисуса Христа, правой рукой он благословляет, а в левой держит открытое Евангелие, обычно со следующим текстом: “Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы” (см.: *Кондаков Н.П.* Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: Лицевой иконописный подлинник. Т. I. СПб., 1905. Репринт. М.: Паломникъ, 2001).

С. 133. *Горка* – характерный предмет убранства дома конца XVIII – начала XX в.: застекленный шкафчик для фарфора, хрусталя и т. п.

*Ладыжки* (лодыжки, бабки) – популярная русская народная игра, в которой используются кости нижних суставов ног скота. Победителем считается игрок, выбивший из “кона” наибольшее количество бабок.

С. 134. *...На том свете мы первые будем...* – “Последние будут первыми” – обещает Притча о богаче и бедном Лазаре: “Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь” (Лк 16: 25); “И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними” (Лк 13: 30).

С. 135. *Преподобный* – обращение к лицу монашеского звания, почитаемому святым.

С. 136. *Становой пристав* – начальник полиции стана – административно-полицейского округа из нескольких волостей.

С. 137. *Шесть пар с лашкой выиграл!* – “Лаушка (...) взятка” (СРНГ. Вып. 16. С. 293).

С. 141. *Манна небесная* – пища, которой, согласно ветхозаветному преданию, израильтяне утоляли голод во время сорокалетнего странствования к Земле обетованной. После роптания сынов Израилевых на отсутствие пищи Господь послал им “хлеб с неба” в виде манны.

С. 143. *... про человека, которого клевал орел...* – Имеется в виду Прометей – титан, персонаж древнегреческих мифов, похитивший для людей у Зевса огонь и наказанный им. Древнейший из прометеевских сюжетов рассказывает об орле, который ежедневно прилетал к прикованному к скале титану и клевал его печень.

*“Приидите ко мне все труждающиеся и обремененнии (...) И Аз успокою вы”* – цитата из Евангелия (Мф 11: 28).

*...один, по прозвищу Царь Ирод...* – Согласно Евангелию, узнав от волхвов о рождении Иисуса Христа, призванного стать вождем его народа, иудейский царь Ирод I Великий приказал истребить в Вифлееме всех младенцев мужского пола младше двух лет. Согласно некоторым источникам, он не пощадил и своего ребенка, который был убит в числе 14 тысяч вифлеемских детей во время “избиения младенцев”. Наричательное значение имени – злодей, изувер.

С. 144. *... вон, торгующие, из храма!* – Иисус накануне Пасхи изгнал из храма в Иерусалиме торгующих голубями и менял: “... дома Отца Моего не делайте домом торговли” (Ин 2: 16); “И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей” (Мф 21: 12).

С. 145. *Я принес на землю меч...* – Реминисценция из Евангелия: “Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч” (Мф 10: 34).

*Глухие – и те услышат.* – Иисус рассказывает притчи для тех, кто “и слыша не слышат” (Мф 13: 13).

С. 147. *“Во Иордане крещаются”.* – Тропарь празднику Богоявления или Крещения Господня.

С. 148. *Шмыгать* – метаться взад-вперед.

С. 153. *Чугунка* – железная дорога.

С. 154. *Кропило* – кисть или веничек, которыми кропят святой водой.

*Вериги* – железные цепи, носимые на голом теле для смирения плоти или в наказание.

С. 156. *Таратайка* – коляска, телега.

С. 157. ...*по образу, по подобию созданы*. – Согласно Библии, на шестой день творения Бог сказал, что пришло время создать человека: “И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему” (Быт 1: 26).

...*сказано Божие Богови, а кесарево – кесарю*. – Ответ Иисуса Христа фарисеям, спрашивавшим, можно ли платить налоги кесарю, римскому императору. В русском переводе Библии: “отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу” (Мф 22: 21). Выражение употребляется в значении “каждому свое”.

...*шпаленым пахнет?* – От “шпаленое” (паленое) сало.

С. 158. *Кроткие-то, голубчик, наследуют землю...* – В Нагорной проповеди Христос произносит: “Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю” (Мф 5: 5).

С. 160. ... *Христос, насколько известно, заповедал: люби ближнего, как самого себя!* – Вторая заповедь Христа, поведенная фарисеям: “возлюби ближнего твоего, как самого себя” (Мф 22: 39).

С. 163. *Антихрист* – “выходящий из моря зверь” (Откр 13: 1) – ведомый сатаной противник Христа, “выдающий себя за Бога” (2 Фес 2: 4).

С. 167. *Посаженный отец* – заступающий место отца при свадебном обряде.

*Иуда раньше получил!* – Иуда Искариот, предавший Христа, получил накануне своего предательства тридцать сребренников.

С. 171. “*Все в жизни неверно...*” – романс “Смерть” на слова П.М. Ковалевского и музыку А.Т. Гречанинова.

С. 174. *Свинчатка* – бита (биток) из свинца для игры в ладжки.

С. 178. *Голгофа* – христианская святыня, холм под Иерусалимом, лобное место, где Христос принял мученическую смерть.

С. 182. *Василиск* (просторечн.) – чудовище.

С. 183. *Всполашной* – оповещающий о тревоге.

С. 186. “*Христос воскрес*” – тропарь празднику Пасхи.

С. 191. *Скит* – пустынь, общая обитель отшельников, братское уединенное сожителство в глуши с отдельными кельями.

С. 192. *Манерка* – солдатская походная фляга для воды.

*Каляная* – упорная, упрямая.

С. 195. *Пополоветь* – пожелтеть, побледнеть, внезапно испугавшись.

С. 196. *Притвор* – предхрамие, передняя паперть.

С. 199. *Отпусти рабу Твоему Савве*. – Nunc dimittis (Отходная молитва).

С. 334. *Селитьба* – “место, на котором находится дом с хозяйственными постройками” (СРНГ. Вып. 37. С. 137).

*Кресто-Воздвиженский монастырь...* – Прототипом его, с большой долей вероятности, является один из одноименных монастырей дореволюционной России, находившийся в Нижнем Новгороде, где Андреев был в 1902–1904 гг. в гостях у М. Горького.

С. 339. ....*недаром тебя Е(гор) И(ванович) дручит...* – Дручить – “удручать, мучить, томить, изнурять...” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 1. С. 497).

С. 347. ...*Бога-то никто же виде нигде же...* (ц.-слав.) – Бога не видел никто никогда (Ин 1, 18).

С. 363. *Икону вот только жалко: явленная она. В ручье она явилась.* – Возможно, здесь упоминаются детали, связанные с преданием об иконе, попытка уничтожения которой послужила источником фабулы пьесы, – о Курской иконе Божией Матери “Знамение”. Согласно преданию, она была найдена 8 сентября 1295 г. охотником недалеко от Курска, на корне дерева (отсюда другое ее название – Курская Коренная). Когда он поднял икону, из того места, где она лежала, забил источник (см.: Чудотворные иконы Богоматери / Сост. А.А. Воронов, Е.Г. Соколова. М., 1993. С. 59).

С. 369. ...*жаловались эти ковалихинские...* – Возможно, что данное определение восходит к Ковалихе – улице в Нижнем Новгороде, что является дополнительным указанием на этот город как возможный прототип места действия в ранней редакции пьесы.

С. 384. *Булгачить* – “тревожить, беспокоиться” (СРНГ. Вып. 3. С. 263).

## ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

(С. 201)

Источники текста:

*ЧН1* – черновой набросок. Под заглавием “Жизнь человека. Театральное представление, состоящее из четырех картин”. Хранится: РАЛ. MS. 606/С.11.і. 1 л.

*ЧН2* – черновой набросок. Ранняя редакция картины третьей. Хранится: РАЛ. MS.606/С.11.і. Состоит из *ЧН2а* и *ЧН2б*:

*ЧН2а* – автограф ранней редакции первой части третьей картины с авторской правкой. 21 л.

*ЧН2б* – автограф ранней редакции фрагмента третьей картины с авторской правкой. 10 л.

*ЧН3* – черновой набросок. Ранняя редакция картины четвертой. Хранится: РАЛ. MS.606/С.11.і. Состоит из *ЧН3а* и *ЧН3б*:

*ЧН3а* – автограф ранней редакции четвертой картины с авторской правкой. 17 сент. (1906 г.) 17 л.



*ЧНЗ6* – автограф ранней редакции фрагмента четвертой картины с авторской правкой. 6 л.

*ЧА* – черновой автограф. Под заглавием: “Жизнь Человека. Представление в пяти картинах с прологом”. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: РАЛ. MS.606/С.11.i. 116 л.

*МП1* – под заглавием: “Жизнь Человека. Представление в пяти картинах с прологом” авторизованная машинопись с незначительной авторской правкой и преимущественной правкой рукой неуст. лица. 23 сентября 1906. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: ИРЛИ. Р. III. Оп. I. Ед. хр. 47. 75 л.

*МП2* – авторизованная машинопись. Оттиск *МП1* с аналогичной (повторенной<sup>21</sup>) правкой. В тексте всех картин имеется надстрочный перевод на немецкий язык отдельных слов и выражений. 23 сентября 1906. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: РАЛ. MS. 606 / С. 11. ii. 75 л.

*Б* – Жизнь Человека. Представление в пяти картинах, с прологом. Berlin: J. Ladyschnikow, 1907.

*АШ* – Жизнь Человека. Представление в пяти картинах с прологом // Литературно-художественные альманахи издательства “Шиповник”. СПб., 1907. Кн. 1. С. 197–291.

*СЧ* – Смерть Человека. Новый вариант пятой картины “Жизни Человека” // Литературно-художественные альманахи издательства “Шиповник”. СПб., 1908. Кн. 4. С. 255–273.

*Ш*. Т. 5. С. 113–209 – Жизнь Человека; Пятая картина. Смерть Человека. (Вариант).

*Пр*. Т. 7. С. 33–147 – Жизнь Человека; Пятая картина. Смерть Человека. (Вариант).

*ПССМ*. Т. 1. С. 172–230 – Жизнь Человека; Смерть Человека. Вариант пятой картины “Жизни Человека”.

Впервые: “Жизнь Человека” – *Б* (с подзаголовком “Представление в пяти картинах, с прологом”); второй вариант пятой картины (“Смерть Человека”) – *СЧ*.

Печатается по тексту *ПССМ* со следующими исправлениями:

#### КАРТИНА ВТОРАЯ

*Стк. 75:* поцелуй – *вместо:* поцелуй (*по ЧА, МП1, АШ*)

*Стк. 108:* И чтобы никогда не пробежала – *вместо:* и чтобы не пробежала (*по ЧА, МП1, Ш*)

*Стк. 223:* встал вон там, в углу – *вместо:* стал там в углу (*по ЧА, МП1, АШ, Пр*)

*Стк. 331:* омою твои раны – *вместо:* смою твои раны (*по ЧА, МП1, АШ, Пр*)

#### КАРТИНА ТРЕТЬЯ

*Стк. 23–24:* очень худой, с вытянутым лицом и крепко составленными худыми ногами. – *вместо:* очень худой, с затынутыми худыми ногами (*по ЧА, МП1, АШ*)

<sup>21</sup> Единичные расхождения между правкой в *МП1* и *МП2* отмечены в “Вариантах черновой редакции и авторизованных машинописных копий” (с. 460–474 наст. тома).

*Стк. 121: снежно-белого – вместо: светло-белого (по ЧА, МП1, АШ, Пр)*

#### КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

*Стк. 76: посмотрю в записную книжку – вместо: посмотрю на записную книжку (по Б, АШ, Пр)*

*Стк. 194: МОЛИТВА МАТЕРИ (далее с абзаца) – вместо: Молитва матери (далее в подбор) (по ЧА, МП1, АШ, Ш, Пр)*

*Стк. 210: МОЛИТВА ОТЦА (далее с абзаца) – вместо: Молитва отца (далее в подбор) (по ЧА, МП1, АШ, Ш, Пр)*

*Стк. 366: ПРОКЛЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА (далее с абзаца) – вместо: Проклятие Человека (далее в подбор) (по ЧА, МП1, АШ, Ш, Пр)*

#### КАРТИНА ПЯТАЯ

*Стк. 9–10: уставленный совершенно правильными рядами бутылок – вместо: установленный совершенно правильными рядами бутылок (по ЧА)*

*Стк. 20–21: Волосы у всех спутанные – вместо: Волосы у всех путаные (по ЧА, МП1, АШ)*

#### СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА. ВАРИАНТ ПЯТОЙ КАРТИНЫ

*Стк. 344–345: задерживавшие мрак / задержавшие мрак (по СЧ, Ш)*

Одно из первых упоминаний о задуманной пьесе, которая получит название “Жизнь Человека”, – в письме Л. Андреева К.П. Пятницкому от 10 (23) февраля 1906 г.: «Живем мы в Мюнхене хорошо – насколько возможно жить хорошо сейчас. Нет ни одного знакомого – и жизнь моя проходит между посещением галерей и музеев (удивительных!) и усиленной работой. Своей поездкой я вообще очень доволен: заграница раздвинула мне голову и дала новые мотивы для работы. Есть вещи – задуманные, – которые могли родиться только здесь. И я очень рад, что “увеселительно-успокоительная” прогулка превратилась в нечто более серьезное и важное (...) весной или летом, к началу будущего сезона, сочиняя цензурную пьесу. Придумал некоторую новую драматическую форму – такую, что декаденты рот разинут» (*Письма Пятницкому*. С. 176).

Продолжение размышлений о предполагаемой пьесе – уже в Швейцарии, куда Андреев перебрался после нескольких недель жизни в Мюнхене. На этот раз своими планами он поделился с братом Павлом: “А потом я задумал одну преинтересную по форме вещь – драму. И как приятно – совершенно цензурную. Нечто ирреальное и вместе с тем не похожее ни на Метерлинка, ни на Ибсена, – свое. Придумал я ее в Мюнхене, под влиянием старых мастеров” (Вопр. лит. 1990. № 4. С. 277).

“Придуманная” драма и незабываемые впечатления от мюнхенской Пинакотеки приобретают для писателя определенность во время его недолгих вынужденных скитаний по Норвегии. Теперь у пьесы с ее “чуждаковой” формой уже есть название – “Жизнь Человека”. Об этом – в письме жене, Александре Михайловне, от 29 июля (11 августа) 1906 г.: «Сейчас мы в Тронтхейме, городке далеко на севере Норвегии, у фиор-

да, – писал Л. Андреев. – Уже с той минуты, как поезд переехал границу Норвегии, началось красивое – и то, что здесь, красота необыкновенная, невиданная (...) Красота такая, что плакать хочется. Все особенное – и контуры и краски и горы и вода и здания. Все молодое и яркое – и все старое, как картины старых мастеров в пинакотеке. И все – ирреальное. Мы ехали вдоль фиорда в закат, и горы были синие и багрово-красные, а океанская вода, особенно блестящая, металлическая, блестела золотом и кровью, и зеленью и лазурью (...) А ночью – тут еще почти белые ночи – мы сидели на молу, у маяка, и все было так же необыкновенно и сказочно (...) При моем настроении трудно меня растрогать – а это и тронуло и умилило, и что-то большое шевельнуло во мне. И особенно живо я почувствовал “Жизнь человека” – точно где-нибудь здесь уже написана эта драма в этой своей чудаковатой, но правдивой и красивой форме» (Leonid Andreev's Unpublished Correspondence with his First Wife in 1906 / Ed. and introd. by R. Davies // Scottish Slavonic Review. 1990. Spring. Vol. 14. P. 82).

В середине августа Л. Андреев приехал в Берлин, обосновался в Груневальде и сразу же погрузился в работу. «С удивительной быстротой, – сообщил он Горькому, – написал “Елеазара”, рассказ мрачный, как клистирная трубка, и ту самую “Жизнь человека” – произведение, достойное самого внимательного и хладнокровного изучения. На первый взгляд, это – ерунда; на второй взгляд – это возмутительная нелепость; и только на тридцатый взгляд становится очевидным, что написано это не идиотом, а просто человеком, ищущим для пьесы удобных и свободных форм» (ЛН72. С. 274).

Вместе с тем Андрееву, почти уверенному в том, что новая драматическая форма им найдена, важно было получить подтверждение этого от людей, чьим мнением он дорожил. Надеждами на понимание и одобрение были продиктованы его письма М. Горькому, Н.Д. Телешову, Вл.И. Немировичу-Данченко. «(...) С 1 по 22 сентября написал две вещи: рассказ в 1 печат. лист и пьесу “Жизнь человека”, – рассказывал он Г. Чулкову. – Первое для того, чтобы расписаться после летнего перерыва, второе потому, что очень меня интересовало. И как только будет оно переписано, хочу послать Вам – для суждения Вашего и товарищей по Факелам, писателей и художников. Будьте мне другом, соберите компанию и прочтите ей пьесу, а потом напишите мне, как показалось. Дело в том, что взял я для пьесы совершенно новую форму – ни реализм, ни символизм, ни романтика – а что, не знаю – и очень хочется мне услышать мнение сведущих людей» (Письма Чулкову. С. 12).

Пьеса “Жизнь Человека” навсегда осталась для Л. Андреева совершенно особым, глубоко личностным произведением. Он посвятил ее памяти своей жены, А.М. Андреевой (1881–1906), умершей в Берлине после родов. “Жизнь Человека”, напишет он позднее, “не была для меня литературой, а мной самим, моей душой” (письмо С.Я. Елпатьевскому от 18 марта 1914 г. ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. № 440).

Завещая в 1907 г. рукопись пьесы старшему сыну, В.Л. Андрееву, тогда пятилетнему ребенку, писатель рассказал о роли Александры Михайловны в создании “Жизни Человека”:

«Эту рукопись я завещаю после моей смерти Вадиму. Это последняя, над работой в которой принимала участие его мать. В Берлине, по ночам, на Auerbachstrasse, кажется 17 (против станции), по ночам, когда ты спал, я будил, окончив работу, мать, читал ей, и вместе обсуждали. По ее настоянию и при ее непосредственной помощи я столько раз переделявал “Бал”.

Когда ночью, ей, сонной, я читал молитвы матери и отца, она так плакала, что мне стало больно.

И еще момент. Когда я отыскивал, вслух, с нею слова, какие должен крикнуть перед смертью человек, я вдруг нашел и, глядя на нее, сказал: Слушай. Вот.

– Где мой оруженосец? – Где мой меч? – Где мой щит? – Я обезоружен. Будь проклят.

И я помню, навсегда, ее лицо, ее глаза, как она на меня смотрела. И почему-то была бледная.

Последнюю картину, Смерть, я писал на Herbertstrasse, № (26) в доме, где она родила Даниила, мучилась десять дней началом своей смертельной болезни. И по ночам, когда я был в ужасе, светила та же лампа» (РАЛ. MS.606 / С. II. iii).

Завещанная В.Л. Андрееву рукопись сохранилась. Она находится в Русском архиве в Лидсе. Там же и два больших фрагмента ранней редакции “Бала у Человека”; черновые наброски четвертой картины (Несчастье Человека); автограф общего плана произведения; авторизованная машинопись с авторской правкой и правкой рукой неустановленного лица (можно предположить, что это была рука Александры Михайловны Андреевой) – в конце пятой картины этой рукописи автором поставлена дата окончания работы: “23 сентября 1906”.

Изучение этого достаточно обширного рукописного наследия позволяет представить направленность творческих поисков Л. Андреева.

По первоначальному общему плану (ЧН1) “человек” еще не писался с заглавной буквы (в более поздних черновиках строчная и прописная буквы будут постоянно варьироваться), Некто в сером именовался Невидимым и был одет в черное домино, картин предполагалось четыре, несколько иным должно было быть их содержание. План определял главное: это представление “в стиле упрощенности” о жизни и смерти обыкновенного человека. Рядом будет постоянно находиться невидимый человеку толкователь главных событий. Кроме него, пояснения предстояло давать соседям, гостям, судьям, посетителям трактира.

Среди черновиков наибольший интерес представляют отвергнутые писателем фрагменты “Бала у Человека” (в окончательной редакции это картина третья). В первом из сохранившихся набросков (ЧН2а. Л. 6–9) значительное место отводилось диалогу Человека и Жены – в нем с

большой определенностью звучали две темы: Его и Ее. Человек этого эпизода наслаждается балом, богатством; ему кажется, что он всемогущ; он испытывает мстительную радость, когда видит ничтожество презираемых им врагов. Жена же печальна, утомлена гостями, назойливыми звуками музыки. Только слова Человека о златокудром сыне, “нашем дорогом мальчике”, вызывают ее улыбку, эти слова сближают их, делают счастливой парой в глазах восхищенных гостей.

В этой же ранней редакции бал внезапно прерывался всеобщим оценением – и Некто в сером возвещал о грядущих бедах Человека: “развалится, как карточный домик, тот величественный дворец, что строил он годами” (ЧН26. Л. 9–10), ему придется отвечать перед судьями за свои невольные ошибки. Так намечалась та фабульная нить, которая должна была вести к переломной сцене суда, предусмотренной автором в первоначальном плане (ЧН1).

Предсказания Некогого в сером и печаль Жены усиливались обличительными репликами Друзей и Врагов Человека. Друзей здесь “всего четверо” – это те, “кто искренне любит его”. “Если бы собрались сюда все, кто притворится его друзьями, нас было бы больше” (ЧН26. Л. 10). Их переполняют затаенные обиды, они с грустью говорят о том, как самонадеян, самолюбив и тщеславен Человек. Враги – а их у Человека много – оживленно перечисляют его недостатки и откровенно клеветают: “– Идиот! – Кривляка! – Самонадеянный наглец! – Скотина! (...) – А его жена? Вы видели? Вид мадонны, сошедшей на землю, а любовников не перечесать!” (ЧН26. Л. 16–18). Последняя фраза одного из Врагов (ею завершается эта редакция): “И я вам должен сказать, что чертеж лучшего своего здания Человек украл у меня. Я позабыл его на столе...” (ЧН26. Л. 18).

Трагедия одиночества Человека как ведущая тема первой редакции позднее (ЧН2а) несколько корректируется писателем. Теперь на балу у Человека много Друзей, и все они говорят исключительно о его достоинствах, подчас явно их преувеличивая: “Он так щедро рассыпает богатства своего духа (...) он кажется мне полубогом” (ЧН2а. Л. 11). В этом черновом наброске Друзья даже дают клятву никогда не оставлять Человека: “Поклянемся, что до последней минуты мы останемся верными нашему другу (...) Что бы ни постигло его: бедность, несчастье, болезнь, сама смерть – клянемся, что до последней минуты мы останемся верными ему неизменно” (ЧН2а. Л. 13).

Врагов и в этом фрагменте много. Они “хохочут с необыкновенным восторгом” (ЧН2а. Л. 17) и еще более зло обличают хозяина бала: “– Вор! – Отравитель! (...) – Негодяй! Зовет в столовую. А недавно я обедал у него и лакей вылил мне за шею горячего супу. Нарочно!” (ЧН2а. Л. 14–15).

В окончательной редакции Андреев убрал все реплики Человека, его Жены, Друзей и Врагов – “медленно и совершенно молча проходят они через залу” (Карт. 3. Стк. 194). О них лаконично, “в стиле упрощенности” говорят гости: о Человеке и Жене – “Как он красив!”, “Какое

мужественное лицо!”, “Как она прекрасна!”, “Как горда!”; о Друзьях – “Благородные лица!”, “На них сияние его славы!”; о Врагах – “Какие подлые лица!”, “Человек укротил их” (Карт. 3. Стк. 199, 200, 207, 208, 218, 220, 239, 232).

Завершая работу над третьей картиной, писатель отказался и от трех больших монологов, которые произносили, чередуясь, Человек, Некто в сером и снова Человек.

В первом монологе Человек говорит о своем счастье, богатстве, гордится любовью Жены и двенадцатилетнего сына, мечтает о большем: “Завоевав город, я хочу завоевать весь мир! Все больше славы, все больше богатства, все больше любви хочу я – и получу то, что хочу” (*ЧН2а*. Л. 18). В момент, казалось бы, наивысшего торжества Человека посещают внезапные мысли о краткости жизни, о “брюзгливой” старости, об оскудении таланта – обо всем этом он ведет речь, “с ужасом и мольбою” “вглядываясь” в угол, где неподвижно стоит Некто.

Как бы в ответ на гордые слова Человека Некто в сером предсказывает грядущие беды, которые сторожат дом, “заглядывают в окна”: “Он не знает, что в бесшумных сапогах, на мягких подошвах ходит по свету несчастье – думает, что далеко, а оно уже у порога его и тихо крадется в спальню” (*ЧН2а*. Л. 19а).

Человеку не дано слышать эти предостережения. Его последний монолог (переписанный автором дважды; герой произносит его, вновь обращаясь в угол, где Некто) звучит гимном жизни: “Благословляю тебя, Жизнь! Послушай, как я рад, что я живу, как я люблю тебя, милая, хорошая Жизнь!” (*ЧН2а*. Л. 20).

Эти монологи в окончательном тексте вытесняются многозначительной финальной ремаркой: “Не поднимая головы, Он поворачивается и медленно, через всю залу, спокойными и тихими шагами, озаренный пламенем свечи, идет к тем дверям, куда ушел Человек, и скрывается в них” (Карт. 3. Стк. 325–327). Она контрастна рефрену: “Как богато! – Как пышно! – Какая честь!” С нее начинается переход к следующей картине – “Несчастье Человека”, где громко прозвучит тема случая, судьбы, рока.

Сопоставление черновых набросков с последней редакцией третьей картины позволяет увидеть, с какой последовательностью писатель отказывался от психологизма, фабульных приемов, оставляя и расширяя только пространственные ремарки и реплики гротескного хора Гостей.

Автографы “Бала у Человека” дают представление о том, как тщательно писатель работал с цветом. Например, в ремарке ранней редакции была фраза: “У стены на стульях сидят гости: все дамы в белом, все мужчины в черном” (*ЧН2а*. Л. 1–2). И почти рядом реплика одного из Гостей: “А я видел конюшни. Там стоят белые и черные лошади”. От этой явной и довольно грубой аналогии в окончательной редакции автор счел нужным отказаться – о лошадях говорится без указания цвета: “Господин Человек удостоил меня чести показать свои конюшни и

сарай, и я высказал полное одобрение содержащимся там лошадям и экипажам” (Карт. 3. Стк. 146–147).

В другой рукописи, давая пояснения о том, как должны были выглядеть Гости, Андреев написал: “Среди гостей черный, белый и ярко-красный цвета”. Ручкой автора “ярко-красный” был зачеркнут и заменен преобладающим цветом этой картины – “ярко-желтым” (*Варианты черновой редакции и авторизованных машинописных копий*. Карт. 3. Стк. 48); в петлицах Врагов Человека вместо первоначальных красных роз оказываются желтые (Там же. Стк. 193). В ранней редакции упоминался “превосходный красный автомобиль” (*ЧН2а*. Л. 4); в окончательной – цвет вообще отсутствует: “Особенно глубокое впечатление произвел на меня автомобиль” (Карт. 3. Стк. 147–148). Красный цвет как тревожный контраст черноте ночи появится только в следующей картине – “Несчастье Человека”.

В самом общем виде работа над четвертой картиной, насколько об этом позволяют судить два сохранившихся рукописных текста, шла в том же направлении, что и в картине “Бал у Человека”: упрощалась фабула, сокращалось число второстепенных персонажей, уточнялись их реплики, монологи Человека и его Жены. Оставалось только сущностное, точнее – деформированно-сущностное, подчас гротескное.

Так, в обеих рукописях (*ЧН3б*, *ЧН3а*) у Человека, на которого обрушились несчастья, еще три прислуги – они с неодобрением обсуждают своих хозяев, их утраченное богатство, привычку барствовать; много говорят о беде, случившейся с молодым господином. В окончательной редакции автор отказался от этого хора женщин (видимо, по причине сходства с хором Гостей третьей картины), а часть их реплик включил в монолог единственной прислуги Человека – Старухи.

Иной была и первоначальная характеристика Доктора. “У него очень ученый и самодовольный вид” (*ЧН3б*. Л. 5) – в одном случае; “у него круглое, самодовольное лицо” (*ЧН3а*. Л. 2) – в рукописи, датированной 17 сентября. В окончательном тексте он “мрачный и очень озабоченный” (Карт. 4. Стк. 71). С появлением самодовольного Доктора в пьесе усиливалось ощущение безнадежности. “Мы всех лечим, – говорит он Няне, – молодых, старых, только ничего из этого не выходит. Не плачьте, старушка, – если можно вылечить вашего господина, я вылечу, если нельзя, то не вылечу” (*ЧН3б*. Л. 6).

Когда же следом за Доктором в доме появлялись два Гробовщика “с вытаращенными от жадности глазами” (*ЧН3б*. Л. 6), больше не оставалось сомнений, что сын Человека обречен. В другой рукописи тема гробовщиков смягчается – их нет на сцене, они только упоминаются в реплике Доктора: “Я быстро езжу, быстрее всех докторов. Только гробовщики быстрее меня, и уже двое сторожат там за вашими дверьми. Я их прогнал, но они опять придут” (*ЧН3а*. Л. 2). В окончательной редакции нет ни Гробовщиков, ни упоминаний о них, да и “очень озабоченному” Доктору отводится иная, более сдержанная и точнее соответствующая

обобщенному представлению о его профессии роль – снять напряжение, успокоить.

Четвертая картина редакции, предшествовавшей окончательной, завершалась пространным монологом Человека – в очередной раз он обращен в угол, где стоит Некто. Для Человека убийца сына – “слепой, безумный, жестокий Рок”, “проклятый разбойник, бездарный кривляка вечности” (*ЧНЗа*. Л. 16–17). Жена в этой редакции “молча, без крика и слез” шла к дивану, падала на него и умирала. Позднее монолог был переписан заново, стал более лаконичным, точным, ритмичным. Некто в сером для Человека в окончательном тексте – “Бог, дьявол, рок или жизнь”. Проклиная Его, Человек говорит и от имени своей Жены – в горе они едины, а их рыдания контрастны равнодушию Некогого в сером.

Появление “Жизни Человека” после пьес “К звездам” и “Савва” для многих было неожиданностью. Эта неожиданность как бы подогревалась тем слегка нарочитым недоумением, с которым относился к своему новому произведению сам автор. «Написал “Елеазара”, пишу “Жизнь человека”. Чудно!» – сообщал он в письме М. Горькому (*ЛН72*. С. 273). А потом варьировал эту мысль в письме А.С. Серафимовичу («И написал я еще “Жизнь человека” и послал оную Сергеичу с обязательством ознакомить “Среду”. Какая странная вещь!») (*Московский альманах*. Кн. 1. М.; Л., 1926. С. 296)), в письмах Чулкову, Глаголю, Телешову, а возможно, и многим другим. Во всяком случае она вскоре стала общим достоянием и так или иначе проникла во множество репортерских заметок, рецензий и статей.

К тому же переход от “Саввы” к “Жизни Человека” сразу стал толковаться как некий “поворот” в творчестве писателя, вызванный его глубоким разочарованием в революционном движении после поражения Свеаборгского восстания в июле 1906 г. На это стали указывать почти сразу же после появления пьесы. «(...) Леонид Андреев написал “Жизнь человека”, произведение ужасное, отчаянное, – утверждал, например, Д.В. Философов. – Свести этот пессимизм к индивидуальным особенностям художественного дарования Леонида Андреева – слишком близоруко. “Жизнь человека” имеет общественное значение, и успех, который пьеса встретила в широкой публике, доказывает, что коренной пессимизм, овладевший душой Андреева, уже проник и в массы» (*Философов Д.В. Слова и Жизнь: Литературные споры новейшего времени (1901–1908 гг.)*. СПб., 1909. С. 93).

А критик А. Курсинский в статье “Поворот в творчестве Л. Андреева” напишет о том, что «появление на свет “Жизни человека” поставило критиков Л. Андреева в немалое затруднение. Пьеса слишком мало имела общего со всем тем, что раньше давал нам этот писатель и на чем основывал он свою вполне заслуженную популярность и славу. Не было ни малейшего сомнения в том, что за рядом ее символических сцен и образов, смутных, едва очерченных, зачастую чуть намеченных, таится глубокий замысел, широтой своего захвата превосходящий все,



чего касался до сих пор поэт, могущий поистине называться “вещим” в области острых, непримиримых конфликтов человеческого духа» (*Курсинский А.* Поворот в творчестве Л. Андреева // *Русский артист.* 1908. № 9. С. 130). Таких и сходных высказываний в прессе можно привести множество.

Л. Андреев и в самом деле тяжело переживет поражение революции, с которой он связывал столько надежд, о которой писал так взволнованно и увлеченно в многочисленных письмах к друзьям. «Милый друг, это очень грустно, – напишет он в октябре 1906 г. М. Горькому, – но не заслуживает любви твоя Финляндия, это я правду тебе говорю. До Европы и до Америки и ты и я были большими... многоточие, а повидавши, поняли, что это за штука. Не на кого надеяться русской революции; мало друзей у свободы, и нет у нее горячих любовников. Вот и Финляндия. До Свеаборга многое от нее ждалось, а что вышло? Я был, к несчастью, там и видел близко всю эту гнусную историю. Одинокая, покинутая Красная гвардия – и огромное, стозевное, предательское большинство. Ведь окажись Финляндия мужественной и благородной, поддержи хотя бы только забастовкой свеаборгское восстание – Петергофа не было бы! Романовых не было бы! А она не только не забастовала, но в лице своих интеллигентных черносотенцев расстреливала красногвардейцев, а в лице крайних партий – отказалась от союза с ними. И погибли бедные красногвардейцы вместе с обманутыми матросами. Я видел этих лояльных финнов, которые толпами шли на охрану железной дороги; я видел этих милых финнов, отказывавших в куске хлеба красногвардейцам, бродившим по лесам. Я слышал, как глупость и злоба и дрянненькое, трусливое, подкупленное манифестом негодяйство шипело о необходимости сидеть тихо, не вмешиваться и беречь свою “финскую свободу” и клялось в ненависти к красногвардейцам. Жить противно становится, глядя на всю эту мерзость (...) И как везде, с одной стороны, слабый, обворованный, малоразвитой умственно пролетариат, и с другой – тупая, жирная и крепкая буржуазия и такая же тупая и буржуазная интеллигенция. Не годится она и в подметки русской интеллигенции (...)» (*ЛН72.* С. 275–276).

Однако замысел “Жизни Человека” не связан напрямую с этими личными впечатлениями участника революционных событий в Финляндии, выступавшего на майской демонстрации в Гельсингфорсе и призывавшего к революционному восстанию, а затем, после разгрома Свеаборгского восстания, вынужденного две недели скрываться в норвежских фьордах и через Стокгольм вновь возвращаться в Берлин.

Проблематика пьесы не имеет социально-политического характера. Это философская драма, тема которой естественно выростала из всего предшествующего творчества Андреева, начиная с первых рассказов и завершая “Жизнью Василия Фивейского” и “К звездам” с их романтико-героической философией. “Проблема бытия – вот чему безвозвратно отдана мысль моя, и ничто не заставит ее свернуть в сторону”, – неоднократно утверждал он в ту пору и снова повторил эту мысль в недатиро-

ванном письме Вл.И. Немировичу-Данченко (Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 266 (1962). С. 386). А немного раньше так пояснил этот тезис: «Как ни разнятся мои взгляды с взглядами Вересаева и других, у нас есть один общий пункт, отказаться от которого – значит на всей нашей деятельности поставить крест. Это – “царство человека должно быть на земле”. Отсюда призывы к Богу нам враждебны...» (ЛАС. С. 106).

Философичность “Жизни Человека” Андреев подчеркнул и в письме Н.Д. Телешову, твердо заявив в октябре 1906 г.: “О революции не буду писать ни слова по меньшей мере год. А может, и два. Плохо писать не стоит, а хорошо написать сейчас невозможно” (Телешов Н.Д. Избр. соч.: В 3 т. М., 1956. Т. 3. С. 128). А в примечании к варианту пятой картины пьесы прямо сказал, что она посвящена “толкованию смысла человеческой жизни”.

С самого начала пьеса рассматривалась драматургом как часть обширного и сугубо циклического замысла. «“Жизнь человека”, – писал Андреев 5 мая 1907 г. Вл.И. Немировичу-Данченко, – является первой в цикле пьес, связанных однородностью формы и неразрывным единством основной идеи. За “Жизнью человека” идет “жизнь человеческая” – которая будет изображена в четырех пьесах: “Царь-Голод”, “Война”, “Революция” и “Бог, дьявол и человек”. Таким образом, “Жизнь человека” является необходимым вступлением как по форме, так и по содержанию в этот цикл, которому я смею придавать весьма большое значение» (цит. по: Андреев Л. Пьесы / Сост., подгот. текстов и примеч. В. Чувакова. М., 1959. С. 563).

В разговоре с В.В. Вересаевым Андреев заявил, что вслед за “Жизнью Человека” должна последовать пьеса “Царь Голод”: «Но это – изображение бунта, а не революции. “Революция” – это будет отдельная пьеса. Веселая, вся полная борьбы, энергии. Главное действующее лицо – Смерть. Будет умирать революционер, – и сама Смерть будет рукоплескать тому, как он умирает. Будет еще пьеса “Бог, человек и дьявол”. Человек – воплощение мысли. Дьявол – представитель покоя, тишины, порядка и закономерности. Бог – представитель движения, разрушения, борьбы. Веселый будет Бог. Он будет говорить, потирая руки: “Сегодня я устроил хорошенькое изверженьице!”» (Вересаев В. Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 5. С. 413).

Общий замысел в своем первоначальном виде так и не был осуществлен. Появилась только пьеса “Царь Голод” (1908). И это дало основание критикам из социал-демократического лагеря уже после опубликования “Царя Голода” говорить о недостатках мировоззрения писателя, о том, что ему не под силу постановка грандиозных мировых и социальных проблем человеческой истории. “Мысль Андреева всегда будет слаба в своих титанических потугах”, – утверждал А. Луначарский в статье “Тьма”, впервые опубликованной в сборнике “Литературный распад” (Луначарский 1908. С. 415). А П. Орловский (В.В. Воровский) в главе “Леонид Андреев” своей панорамно-аналитической статьи “Из истории новейшего романа (Горький, Куприн, Андреев)” писал: “Гран-

диозные мировые и общественные вопросы не под силу односторонней, узкой мысли Л. Андреева” (*Орловский П. [Воровский В.С.] Из истории новейшего романа (Горький, Куприн, Андреев) // Из истории новейшей русской литературы / [Авт.] В. Базаров, П. Орловский, В. Фриче, В. Шулятиков. М.: Звено, 1910. С. 40).*

Новаторские идейно-художественные задачи заставили Андреева искать для своей драматургии и новые формы. “Хочу реформировать драму, применив к ней систему бомб – на точном основании начал, изложенных в манифесте 17 октября”, – шуточно пишет он в ноябре 1906 г. А.С. Серафимовичу (*Московский альманах. М.; Л., 1926. Кн. 1. С. 295).*

Поиски эти привели прежде всего к использованию в новой драме форм и средств античного и средневекового искусства, а также художественных приемов смежных искусств. Со всем этим писатель с большим увлечением будет знакомиться за границей. При этом использование “живописных” приемов на самом деле было возвращением театрального искусства к самому себе, только через посредство живописи, поскольку живопись эпохи Возрождения в своих исканиях опиралась на искусство сцены и была в этом смысле “сценичной” и “драматургичной”. Недаром живописцев эпохи Возрождения иногда называют “драматургами” (см.: *Берковский Н.Я. Статьи о литературе. М.; Л., 1962).*

В других интервью Андреев называл в качестве источников художественной формы пьесы театр Петрушки (*УЗТУ119. С. 390).* А однажды писатель, по воспоминаниям его брата Андрея Николаевича Андреева, прочитал целую лекцию о том, как в “Жизни Человека”, “применяясь к требованиям современного театра и психологии слушателей, может быть передан важнейший элемент античной трагедии – хор”:

«Греческий хор – это посредник между тем, что происходит на сцене, и слушателями. Хор объясняет сцену, указывает зрителю важнейшие места, прямо говорит даже о том, что должен испытывать, что думать и что чувствовать этот зритель.

Прямой голос хора в “Жизни человека” – это голос Некто:

“{...} Вы, пришедшие сюда для забавы и смеха... слушайте: вот пройдет перед вами жизнь человека”... и т.д.

Но помимо этого голоса, звучащего над всю драмой, каждое действие имеет особый хор. И хор этот строго соответствует каждой эпохе жизни человека, строго соотносится с ее характером и сам, в то же время, выражает ее.

В первом действии таким хором являются старухи, преддверия бытия и небытия, сама таинственная грань жизни; они возвещают зрителям о рождении человека; и в том же действии родственники выражают своим присутствием преемство жизни.

Во втором действии хор составляют соседи. Молодость, бедность, красота всегда вызывают любовь, внимание, добрые пожелания... Соседи и говорят об этом, внушая зрителю все то, что должен он в этой сцене видеть, чувствовать, понимать. Заражая зрителя совершенно определенным, от автора исходящим волнением, соседи второго действия явно

служат передаточным средством, хором древности, растолковывающим действие.

Третье действие. Богатство и сила вызывают уже не одно, но два отношения к себе: дружеское и враждебное. И то и другое внушают зрителю друзья и враги человека.

Четвертое действие. Здесь хор – в полном соответствии с одиночеством, болезнью и старостью человека; здесь хор должен выразить отношение мира к старому и одинокому человеку. Отношение это – безразличие; “мне все равно” – так отражает мир факт существования человека, к которому он повернулся уже спиной. И здесь хор выражен одинокой, усталой старухой-нянькой, которой “все равно”...

– Я не мог здесь дать многолюдного хора, это было бы вопиющим противоречием: тогда не было бы никакого одиночества человека, – говорил Леонид.

В пятом действии, наконец, хором являются пьяницы, свидетельствующие перед зрителем о разрушении жизни человека своею разрушенною жизнью, идущей к полному уничтожению. Полный упадок жизни и бесценность уже не вызывают ничьего участия. И в том же действии вновь появляются зловещие старухи» (*Андреев А. О Леониде Андрееве // Мий2012. С. 82–83*).

Закончив работу над пьесой, Андреев разослал авторизованные копии ее Горькому, Н.Д. Телешову для чтения на очередном собрании московского кружка писателей-реалистов “Среда”. «Продолжая быть настоящим членом “Среды”, буду посылать тебе мои вещи для прочтения и обсуждения, – писал Андреев Телешову. – На днях пришло тебе две штуки: рассказ “Елеазар” и пьесу “Жизнь человека”. О первом можно и не говорить, но вторая вещь по форме новая, – опыт в некотором роде нового строительства пьесы. Поэтому я очень прошу тебя: сообщи, как отзовется “Среда”. Ее советы и мнения всегда были мне важны, а в новом деле, в котором я еще сам иду ощупью, – наипаче» (*Телешов Н.Д. Избр. соч. Т. 3. С. 127*).

Одним из первых на новый опыт отозвался Горький. В обширном письме, очень высоко оценивавшем творческие возможности писателя (“Для меня несомненно, что Л. Андреев в данное время является самым интересным писателем Европы и Америки, и я думаю, что он в то же время самый талантливый писатель двух частей света”), Горький тем не менее указал как на те черты новой вещи Андреева, которые показались ему найденными удачно, так и на то, что его не устроило. «“Жизнь человека” – это превосходно как попытка создать новую форму драмы. Я думаю, что из всех попыток в этом роде – твоя, по совести, наиболее удачна. Ты, мне кажется, взял форму древней мистерии, но выбросил из мистерии героев, и это вышло дьявольски интересно, оригинально. Местами, как, например, в описании друзей и врагов человека, ты вводишь простоту и злую наивность лубка – это тоже твое и это – тоже хорошо. Язык этой вещи – лучшее, что когда-либо тебе удавалось.

Но – ты поторопился. В жизни твоего человека – почти нет человеческой жизни, а то, что есть – слишком условно, не реально. Человек поэтому вышел очень незначителен – ниже и слабее, чем он есть в действительности, менее интересен. Человек, который так великолепно говорил с Ним, не может жить такой пустой жизнью, как он живет у тебя – его существование трагичнее, количество драм в его жизни – больше. В жизни твоего человека я вижу одну драму – смерть сына. Это – ничтожно (...)

Вообще ты слишком оголил твоего человека, отделив его от действительности, и тем лишил его трагизма, плоти, крови. Все написанное слишком значительно по форме, и нельзя устоять от естественного желания подчеркнуть незначительность, неполноту, бедность жизни твоего человека (...). Моя уверенность в силе твоего таланта говорит мне – ты мог бы написать эту очень крупную вещь лучше, чем написал» (*Горький. Письма*. Т. 5. С. 221–222).

Тогда же Андреев отправил рукопись руководителям Московского художественного театра и Театра В.Ф. Коммиссаржевской, сопроводив ее небольшими разъяснениями. «Думаю, что “Жизнь человека” вызовет в Вас некоторые сомнения, – писал он Вл.И. Немировичу-Данченко. – Со своей стороны я уверен в художественной целесообразности взятой мною формы, настолько уверен, что задумал уже целый цикл пьес в таком же роде (...) Конечно, как бы ни была верна форма, успех “Жизни человека” сомнителен: нужна большая ломка не только в понятиях публики, но и в приемах: и в симпатиях артистов, чтобы от тихих, нежных, тонких настроений перейти к резким, отчетливым, гневным звукам трубы (...) Не боясь нарушить непосредственности Ваших впечатлений от пьесы, я более подробно, чем думал в начале письма, остановлюсь на характерных чертах взятой мною формы. С внешней стороны – это стилизация. Характеры, положения и обстановка должны быть приведены к основным своим идеям, упрощены и в то же время углублены благодаря отсутствию мелочей и второстепенного. Далее, единственный закон, от всех существовавших на сей предмет узаконений, остается такой: пусть будет интересно, драматически интересно. Отсюда полная свобода пользования – и символом, и натурализмом, и молчанием, и монологом, и чем угодно. Лживая логика натурализма или символизма заменяется логикой искусства, в которой все служит одному – силе художественного восприятия. С внутренней стороны – это широкий синтез, обобщение целых полос жизни. Раздробленность, конкретность натуралистического письма, робость и связанность приемов символизма не дают ни тому ни другому возможности охватить столь широкие и общие темы, как жизнь отдельного человека или явления голода, войны, революции» (*УЗТГУ119*. С. 389–390).

В не дошедшем до нас ответном письме Вл.И. Немировича-Данченко содержалось не только принципиальное одобрение новой пьесы драматурга, но и точное определение существа его исканий: “упразднение

натуралистической видимости при сохранении строго реалистических основ” (*Вопросы театра*. С. 276).

Надежда на скорую будущую совместную работу с театром приведет к новым авторским комментариям. «Скажу откровенно: сам я далеко не доволен “Жизнью человека”. Приходилось положительно идти ощупью, мысль упрямо сбивает на старое, привычное, и минутами не было никакой возможности разобраться, хорошо ты делаешь или дурно, – напишет Андреев в письме Немировичу-Данченко, приблизительно датированном осенью 1906 г. – В самом процессе работы развивалась и выяснялась форма, и только окончивши пьесу, понял я сам ее сущность. И многое, как я вижу теперь, надо бы изменить, а еще вернее, всю пьесу следовало бы написать сызнова. Но это невозможно – для этого нужно совершенно забыть написанное. Пусть это будет первым опытом. Будет у нас успех или нет, конечно, сказать нельзя, но сцена уже подчеркнет положительные и отрицательные стороны взятой формы. Следующая моя пьеса будет еще более разительна в художественном отношении – пусть же проложит ей дорогу “Жизнь человека”, в которой еще много сыринки от старой формы» (Там же. С. 276–277).

«В оценке отдельных актов, – писал далее Андреев, – я расхожусь несколько с Вами. Так, четвертый акт с молитвами и проклятиями положительно не нравится мне: он недостаточно стилизован и более всего написан по старым сигнатуркам. Два раза перестраивал я его, но ничего как следует сделать не смог; теперь переделывать не буду, но изменю (к лучшему!) “проклятие человека”. Не нравится мне и разговор старух особенно в первом действии: тоже припахивает стариною. Третья же картина “бал” – наиболее приближается к тому, что я хочу. Три раза писал я эту картину, и все по-разному, и теперешняя редакция удовлетворяет меня – поскольку, конечно, возможно удовлетворение. Так как здесь у нас наибольшие разногласия, то постараюсь мотивировать.

Конечно, это грубо и даже аляповато. Но этого я и хочу, именно грубости, угловатости, даже как будто вульгарной карикатурности. Пусть будет обнажено не только до мяса, но до самых костей. Но вместе с тем это отнюдь не должна быть карикатура: пусть смешное, если оно есть, ходит в трауре. Точно так же, как “родственники” конца первого акта – гости должны быть уродливы, безобразны, но не смешны. И мне кажется, так это у меня есть. Не забывайте, что в других театрах это будет вызывать хохот как верх нелепости – но я не сомневаюсь, с другой стороны, что у Вас она пройдет хорошо. Если будут смеяться, то от собственной глупости, как смеются они при смерти Гамлета. И музыка именно такова должна быть – она определяет всю пьесу. Не знаю, получили ли Вы ноты. Да, это “Катенька”, но и не совсем “Катенька” – дисгармоничный оркестр пустому и жалкому мотиву, при соответствии остального, должен придать характер чего-то печального и даже утраченного.

Но во всяком случае не последняя картина, а скорее эта расковалась. Чтобы смеялись над пьяницами или старухами, не думаю, – но здесь

могут смеяться. Ей-богу, я совсем не умею разьяснять то, что пишу, и часто только путаю. И поэтому прибегаю к последнему аргументу: ей-богу, так надо!» (Там же. С. 277).

Определенным комментарием к идейно-художественному замыслу Андреева в “Жизни Человека” могут служить и те интервью, которые он даст в ту же пору ряду корреспондентов. Свою художественную задачу в них он определит как разработку и разьяснение широким массам “проклятых вопросов” о смысле жизни и о назначении человека. Несомненно, утверждал Андреев в беседе с корреспондентом журнала “Искры” в ноябре 1906 г., что после революции “во множестве появится новый читатель, и он потребует для себя своей особенной литературы, которая ответит на его зарождающиеся потребности самосознания.

Что это будет за литература – трудно сказать. Видно, что все это потребует новых людей и что прежние литераторы, заматерелые в своих взглядах, не будут в состоянии ответить на эти вопросы жизни.

Одним словом, произойдет полный переворот, революция в литературе.

Вместе с новым читателем и с введением девятичасового рабочего дня освободится много народа; поэтому будет не только новый читатель, но и *новый зритель*. Он создаст новую сценическую литературу. Вообще все то, что раньше было у декадентов – этот рокфор литературы – исчезнет и заменится каким-то простым черным хлебом, которого до сих пор у нас не было” (Искры. 1906. № 47. С. 667).

“Простым черным хлебом” для лишенных долгое время духовной пищи масс, для их пробуждающегося сознания, по-видимому, считал свой цикл о человеке и человечестве и Андреев. С его точки зрения, это должна была быть реальная и демократическая драма, простая и понятная, как в архитектуре просты, понятны и демократичны пирамиды. «О, я не теоретик, совсем не теоретик, – заявил несколько позже драматург корреспонденту С.Л. Полякову. – Построить какую-нибудь теорию искусства и потом, следуя ей, творить, осуществляя в художественных образах эстетическую программу, – я не понимаю (...) как это можно делать.

Я думаю, что этот путь неправилен (...) Вот почему я боюсь теории. Я лично пишу свои вещи как пишется. Как мне удобнее, а потом уже, написав, продумываю, что вышло, и стараюсь, насколько могу, подыскать написанному то или другое теоретическое обоснование. Не от теории к образам, а от художественных образов к теории. Так у меня было и с “Жизнью человека”. Написал, а потом сказал себе: “Это – стилизованная драма”.

Возвращаясь к вопросу о новой и старой драме, я, прежде всего, скажу, что и тут – что касается формы, – нельзя исходить из догматов. Форма до такой степени неразрывно связана с содержанием, до такой степени от него неотделима, что, в сущности, единой формы быть не может. Все зависит от сюжета. Я даже отношусь подозрительно к упорному постоянству у писателя раз им усвоенной формы. Моим идеалом

является богатейшее разнообразие форм в естественной зависимости от разнообразия сюжетов. Сам сюжет должен облечься в свойственную ему форму. Пусть индивидуальность художника сказывается не в неподвижности форм, а в самом их разнообразии (...)

Но все-таки, признавая, что каждому сюжету свойственна его особая форма, я думаю, что бытовая драма безусловно устарела и более не нужна. Во-первых, совершенно потерял для нас всякий интерес весьма значительный в бытовой драме – хотя бы Островского – этнографический элемент. Теперь существуют железные дороги. Петербуржец знает быт Москвы, а было время, когда Замоскворечье было неведомой страной даже для жителей Сивцева Вражка. Этим грубым примером я хочу сказать, что своеобразности быта нас больше не могут интересовать, как добрые старые знакомые... Затем, современный человек стал слишком чуток, слишком о многом догадывается с первого слова, и ему скучновато следить за развитием интриги, развязку которой он чувствует издалека. Но самое главное – это, конечно, то, что настало время широких обобщений, что назрела потребность в итогах пережитого, передуманного и перечувствованного за последние десятилетия. Нужен синтез. А эти-то широкие обобщения в бытовой драме невысказанны. Она всегда освещает один какой-нибудь уголок жизни, какой-нибудь домик, – частность и частности.

На что уж Чехов большой артист и мастер. Его пьесы это – живопись на стекле, сквозь которое сквозят бесконечно далекие перспективы, но и он не мог, оставаясь в рамках своей формы, достигнуть широких обобщений. Для итогов нужны стилизованные произведения, где взято самое общее, квинтэссенция, где детали не подавляют главного, где общее не утопает в частностях. Вот почему я думаю, что нужна новая форма и что эта новая форма должна быть стилизованной (...). Мне нередко приходилось слышать, что “Жизнь человека” – это метерлинковщина. Я считаю подобное мнение чистейшим недоразумением. Различий между этими типами драм целая масса. Вот хотя бы некоторые. Стилизованная драма должна быть демократической. Не книжкой для народа, не нравоучением, а именно демократической в смысле универсальности. Есть и архитектура демократическая – пирамиды. Эти ясные, простые линии всем понятны, всем доступны и всех трогают. А вот стиль рококо с его завитушками, с этим бесконечным кружевом деталей – стиль аристократический, говорящий чувству только утонченных, избранных. Новая драма должна быть простою и понятною всем, как пирамиды. Не таковы пьесы Метерлинка. Они для утонченных, для избранных. Затем Метерлинк – символист. В его “Слепых”, например, море не море, а символ жизни. Я же, в “Жизни человека” и вообще, строгий реалист, если у меня будет сказано: “море”, понимайте именно “море”, а не что-нибудь, символизируемое им. “Некто в сером” – не символ. Это реальное существо. В своей основе, конечно, мистическое, но изображающее в пьесе само себя: Рок, Судьба. Тут не символ Рока или Судьбы, а сам Рок, сама Судьба, представленные в образе “Некоего в сером”».



Единственное, чем недоволен Л. Андреев в “Жизни Человека”, – это старухи. “Они, действительно, чужды и реализма и духа моей драмы. Вот они действительно символы и могут с основанием быть названы метерлинковскими. Стилизованная драма должна быть реальной и демократической” (Эс. Пэ. В мире искусств: У Леонида Андреева // РС. 1907. 5 окт. (№ 228). С. 2).

Завершив пьесу, Андреев не торопился отдавать ее какому бы то ни было издательству. «Забыл сказать, – писал он Г.И. Чулкову, – “Жизнь человека” я никому не обещал, и Вам не обещаю – еще совершенно не знаю, как поступлю. Может быть, еще выпущу отдельно с рисунками. Ничего не знаю» (Письма Чулкову. С. 13).

Но газеты, известившие публику о “странной пьесе”, сделали свое дело. Издатели и составители разного рода сборников наперебой просили у Андреева пьесу. Предприимчивее других оказался З.И. Гржебин, специально ездивший к Андрееву в Берлин и сумевший убедить его дать свою пьесу для первого выпуска альманаха издательства “Шиповник”.

Из газетных сообщений о пьесе особенно важна статья одного из давних друзей Андреева – Сергея Глаголя (С.С. Голоушева) в “Московском еженедельнике”, неоднократно повторенная и пересказанная другими газетами. “В Москве, – писал С. Глаголь, – появилась в рукописи новая драма Леонида Андреева. В одной из газет было напечатано даже изложение ее содержания, но в таком виде, что о новом произведении Андреева составить себе понятие довольно трудно. В виду этого даем более полное изложение драмы.

Драма странна по форме и необычна по замыслу. Настолько необычна, что даже сам автор называет ее не драмой, а просто – представлением в пяти картинах.

Задача драмы – нарисовать жизнь вне всякого ее осложненья, жизнь, как жизнь. Родился, вырос, устроился, умер. Задача драмы нарисовать даже не жизнь, а ее схему. Но для того, чтобы увидеть жизнь такую, надо отделиться от нее и унести куда-то далеко. Надо увидеть ее так, как видишь жизнь муравья, бегающего около своего муравейника, ибо только тогда и встанет во всем ужасе бесцельность и бессмысленность жизни. Родился, – неизвестно зачем. Рос, страдал, устраивался и устроился – неизвестно зачем. Снова страдал от несчастий, которые приходили неизвестно зачем и почему. Измучился, умер и снова – неизвестно зачем...

Но как достигнуть этого впечатленья? Как перенести человека, хотя бы на момент, вдаль от его собственной жизни? Как показать эту жизнь, происходящую где-то в такой дали, что ступешались все мелочи жизни и остался только ее остов?

И вот Андреев дает нам ряд картин не жизни, а кошмарного сна, сна, в котором все и реально, и в то же время призрачно. Это не жизнь, а ее отраженье в каком-то странном зеркале, точно в зеркале из неровного, слегка волнистого стекла, в котором и ваше лицо кажется вам то искаженной ужасом маской, то лицом клоуна, а все окружающее исчезает в

вихре какого-то хаоса и принимает неясные очертанья нового кошмарного мира” (*Глаголь Сергей [Голоушев С.С.]*. “Жизнь Человека”: Новая драма Леонида Андреева // Московский еженедельник. 1906. 28 окт. (№ 32). С. 48–49).

И пересказав далее очень подробно все пять актов пьесы, С. Глаголь ставит вопрос о сценической судьбе этого произведения: “Возможно ли исполнение драмы на сцене? На сцене рутинных приемов, разумеется, нет. На такой сцене драма обратится в скучный и глупый балаган. Но на сцене, ищущей новых приемов, на сцене, способной передать всю тонкость настроений, драма не только возможна, но даже представляет для нее ценный клад. Так много здесь материала для сценического символизма, так широк простор для чуткого талантливого режиссера. В тексте драмы, быть может, много недочетов (...) Все это так, но сама по себе драма – все-таки настоящий оселок, на котором может испробовать себя действительно ищущий, современный режиссер. Вот почему мне хочется думать, что мы увидим драму и на сцене Художественного театра” (Там же. С. 53).

Статья эта любопытна тем, что явно написана на основе не дошедшего до нас письма Андреева к Голоушеву и пронизана его мыслями и толкованиями.

Одними из первых против новой пьесы выступили богословы-церковники. Признавая талантливость творчества Андреева, они в то же время увидели в нем воинствующую безрелигиозность и даже откровенное богохульство, носящее кощунственный характер. “Эта пьеса, – писал священник Рында, – исполняемая теперь на сцене Одесского театра и вызывающая шумные одобрения еврейской и русско-босяческой печати, направлена против божества, носимого в тайниках своей души всяким хотя сколько-нибудь верующим человеком” (*Рында [Пруссаков А.И.]*. Современное босячество печати и сцены: По поводу Богохульной пьесы Андреева “Жизнь человека” // Русское знамя. 1907. 20 апр. (№ 90). С. 4).

Более подробно те же идеи развил в своем архипастырском послании харьковский архиепископ Арсений. «Безобразно-пессимистическое, удручающее изображение жизни человека в этой пьесе соединяется с возмутительным и грубейшим кощунством над именем Господа Бога. В пьесе во всех картинах фигурирует изображение божества под именем “Некто в сером, именуемый Он”. Это бесстрастное, бесчувственное, немумолимо-непреклонное и безжалостное существо с каменноподобным лицом, держащее в своих руках горящую свечу жизни человека (...) Пьеса не в отдельных только своих частях и деталях, но и в целом своем виде от начала и до конца представляет собой совершенно превратное, ложное и безнравственное изображение жизни человеческой, грубое и кощунственное изображение Господа Бога в отношении к человеку, возмущающее религиозное чувство каждого благомыслящего человека. Ввиду вышеизложенного я признаю, что постановка пьесы Л. Андрее-

ва “Жизнь человека” не должна быть допускаема ни в какое время” (*Тул.* 1909. 15 марта. (№ 11). С. 211).

Очень характерна для церковной позиции и брошюра М. Григорьевского. Христианская вера, утверждал этот пастырь, учит, что “уже в самом акте творения Бог вложил отображение своего вечного духа в смертную природу человека и тем отразил как бесконечную любовь Свою, так и Божественную Свою силу. Движимый тою же любовью к падшему человеку, Бог дал миру своего Сына (...) Богочеловек возвысил до Себя того, кто живет впечатлениями минуты и часто является рабом своих страстей, сообщая ему высокое достоинство и свет вечной красоты. Облагодетельствованный человек-христианин совершает жизненный путь, от рождения до смерти, с глубокою верою, что без воли Отца Небесного ничего не совершается в его жизни, как бы ни казалась эта жизнь малоценною в глазах людей” (*Григорьевский М.* Несколко слов по поводу “Жизни человека” Л. Андреева. Киев, 1907. С. 3).

Именно эту высочайшую истину христианского учения и поставил под сомнение Андреев, потому что в его пьесе “христианский Бог теряет свои отличительные свойства и совершенства, которые в сознании человека представляются неотъемлемо присущими Ему: в Нем нет ни любви и милосердия к страждущему человечеству, которая привела Богочеловека к Голгофе, ни грозной, карающей правды, одним лишь легким прикосновением к человеку приводящей его в трепет и страх” (Там же. С. 5).

В то же время, продолжал М. Григорьевский, герой Андреева – типичный современный человек, “рвущийся точно в горячечном бреду к ничем не сдерживаемой свободе”. “Гордый успехами своего знания, преувеличенно оценивающий слабые по существу свои силы, человек в самообольщении без Бога хочет стать богом и собственными усилиями думает ковать свое счастье, создать свою жизнь без всякого стороннего вмешательства” (Там же. С. 5). Но терпит неудачу и гибнет, порождая пессимизм. Пессимизм – дитя неверия. «Вера призывает нас любить этот мир, как дом Отца, любить и друг друга, так как все люди божественного рода. Она наконец возвышает христианина над всеми горестями и борениями, неизбежными в земной жизни. Этой веры не знал и не хотел знать гордый Человек Л. Андреева, и поэтому его уму, отравленному мыслью, что “жестокая судьба людей станет и его судьбою и его жестокая судьба станет судьбою всех людей” (...) вся жизнь, все ее главнейшие моменты представляются с теневой стороны: вся жизнь – пошлость, бесцельное прозябание, игрушка в руках властного “Некто в сером”» (Там же. С. 11–12).

Несколко иначе подходит к творчеству Андреева и его пьесе священник Константин Аггеев в статье “Кошмар безверия” (Век. СПб., 1907. 25 февр. (№ 8)). Для него Андреев – человек переходного сознания. Он “едва ли не самый сильный из новейших художников”, ярко изображающих “глубокую трагедию современного человека”: «Религиозное восприятие мира чуждо нашему интеллигенту. Небо пусто для

него. Если у людей простых в одной из темных каморок “нехитрого” душевного дома живет кто-то, очень полезный им, – то “у меня, признается Андреев, эта комната пуста. Он давно умер, и на могиле его я воздвиг пышный памятник. Он умер, умер и не воскреснет”, с какой-то напряженностью уверяет себя современный искренний атеист» (Там же. С. 97). Но совсем уйти от великих нравственных проблем невозможно. «Чистый нигилизм – удел тупых натур. В людях же более богатой и тонкой души подлинный Бог заменяется лишь “кумирами”, в большей или меньшей степени родственными ему. Оторванный от своего религиозного корня моральный инстинкт, от которого “полное освобождение возможно лишь при некотором уклонении от нормального типа”, могучая гордая человеческая мысль с ее воплощением – наукой – вот новые алтари, на которые в качестве жертв несет свою душу современный невер (<...>» (Там же). Но как только и эти “алтари” опустеют, андреевский человек осознает, что “так жить нельзя” (Там же. С. 98), и вернется под покров веры.

Именно такое переходное сознание видит Аггеев в “Жизни Человека”. Но если раньше на первом плане в творчестве Андреева была “душа, временами бессознательно цеплявшаяся за покидаемый твердый берег”, то в последних картинах “Жизни Человека” “перед нами какое-то объективное до сухости протоколирование последовательных периодов человеческой жизни. Но сколько ужаса в этой передаче!” «Видимо, нашим русским интеллигентам суждено пережить весь ужас добросовестного неверия, прежде чем они услышат голос Христа. И на этом тяжелом пути муки Андреева – доброе “знамение времени”» (Там же. С. 98).

С новой силой упреки церкви в адрес Л. Андреева и его “Жизни Человека” прозвучали на публичном чтении 18 марта 1912 г. в Полтаве. Выступая в зале Мариинской женской гимназии от Свято-Макариевского епархиального братства, протоиерей Сергей Четвериков утверждал: “Здесь нет ни одного лица, ни одной мысли, на которых могла бы отдохнуть душа читателя. Мир, по этому произведению, есть нечто унылое, однообразное, мертвое, жестокое, беспощадное, серое, вечно-серое. Бог – Некто в сером, именуемый Он, холодный, лишенный всякого доброго чувства, с суровым безразличием читающий книгу Судеб. Человек – его несчастная жертва или игрушка (<...> Для андреевского человека Бог – это нечто жестокое, бездушное, гнетущее, чужое и ненужное ему. Он живет без Бога и прожил бы без Него, если бы только рабский, животный страх утраты своего земного благополучия не побуждал его со злобою в душе заискивать перед Высшим Существом мира. На протяжении всей пьесы, т. е. всей жизни человека, человек только три раза вспоминает о Боге” (*Четвериков С., протоиер.* Современное богоборство и целительная сила христианства // Душеполезное чтение. 1912. Сентябрь. Ч. III. С. 74–75).

“Этот человек, – продолжал настаивать на своем понимании пьесы Сергей Четвериков, – перенес центр своей жизни от Бога на самого себя. Не в Боге цель его жизни, а в себе самом. Бог нужен ему лишь как сред-

ство для устройства собственного благополучия. Когда он не получает от Бога того, чего ему хочется, когда Бог не оправдывает, так сказать, его ожиданий и даже причиняет ему горе, в его душе поднимается лишь одно чувство, чувство непримиримой вражды к Богу". Христианин поступает по-другому – "он всегда и во всем говорит одно: да будет воля Твоя, не моя, но Твоя воля да будет! Андреевский человек на эту точку зрения стать не может: ему мешает его безмерная, поистине сатанинская гордость, опутавшая его душу многочисленными и неразрывными путями" (Там же. С. 78).

Впервые "Жизнь Человека" была поставлена в Петербурге в Драматическом театре В.Ф. Коммиссаржевской. Премьера состоялась 22 февраля 1907 г. Режиссером спектакля был В.Э. Мейерхольд, роли исполняли: Некто в сером – К.В. Бравич, Человек – А.И. Аркадьев, Жена Человека – Е.М. Мунт.

В основу представления, видимо, лег текст, утвержденный театральной цензурой. В Петербургской государственной театральной библиотеке (фонд "Театральная цензура") хранится два цензурных экземпляра пьесы с соответствующими резолюциями. Первый, с двумя надписями: "К представлению дозволено. С.-Петербург, 5 февраля 1907 года", "К представлению дозволено. С.-Петербург, 29 марта 1907 года", – является литографированным изданием библиотеки С. Ф. Рассохина. В нем нет никаких цензурных изъятий, поскольку просто нет тех мест, которые позже будут вызывать неприятие цензуры. Второй – оттиск первого тома альманаха издательства "Шиповник" с двумя надписями: "К представлению дозволено, С.-Петербург, 12 ноября 1907 года", "К представлению на сценах народных театров признано неудобным. СПб., 27 апреля 1909 года" (шифр 48124). Последняя надпись сделана красными чернилами, и, видимо, теми же красными чернилами вычеркнуты многие места текста. В архиве писателя сохранился текст, написанный рукой неустановленного лица и озаглавленный "Жизнь Человека. Места, исключенные театральной цензурой" (РАЛ. MS.606/С.11.iii; см. с. 492–493 наст. тома). Видимо, уже в Московском художественном театре спектакли игрались в соответствии с авторским текстом, и только для народных театров брался тот вариант, который был ранее утвержден по литографированному тексту типографии Рассохина.

Как пишет исследователь творчества Мейерхольда, К.Л. Рудницкий, для режиссера ключевой стала ремарка автора "все как во сне": "Мейерхольд завесил сцену, открытую во всю глубину, серыми холстами. Получилось дымчатое одноцветное серое пространство, которое как бы клубилось вокруг фигуры Некогого в сером; читавшего пролог. На сцене сгущалась полная глубочайшая тьма. Потом во тьме медленно загорался свет лампы, озарившей уголок сцены – диван и кресла, где сидели андреевские старухи" (*Рудницкий К.Л.* Режиссер Мейерхольд. М., 1969. С. 97).

Мейерхольд пояснял: "Так и во всех других картинах. Из одного источника света ложится на какую-нибудь часть сцены световое пятно,

которого хватает только на то, чтобы осветить около него размещенную мебель и того актера, который поместился близко к источнику света. Затаив всю сцену серой мглой и освещая лишь отдельные места, притом всегда только из одного источника света (...) удалось создать у зрителей представление, будто стены комнат на сцене построены, но их зрители не видят, потому что свет не достигает стен.

На освобожденной от обычных декораций сцене роль мебели и аксессуаров становится более значительной. Теперь только характер мебели и аксессуаров определяет характер комнаты и ее настроения. Выступает необходимость показать на сцене мебель и аксессуары в подчеркнуто преувеличенных масштабах. И всегда очень мало мебели. Один характерный предмет заполняет собою много характерных менее. Зритель должен запомнить какой-то необычный контур дивана, грандиозную колонну, какое-то золоченое кресло, книжный шкаф во всю стену, громоздкий буфет, и по отдельным частям целого дорисовать фантазией все остальное. Понятно, облики людей нужно было лепить четко, как скульптуру, и гримы давать резко очерченными; актерам невольно пришлось повторять в фигурах ими представляемых людей то, что любили подчеркивать в портретах Леонардо да Винчи и Ф. Гойя” (*Мейерхольд В.Э. О театре: Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., 1968. Ч. 1. С. 251*).

Отношение к пьесе и спектаклю было различным. Как вспоминает участница спектакля В.П. Веригина, “Мейерхольд одержал решительную победу”. Она подробно описывает весь ход действия, ведущих исполнителей и то впечатление, которое произвела постановка на А.А. Блока: “Блоку некоторые сцены казались поставленными гениально”. Когда Веригина позволила себе сделать на обсуждении пьесы какое-то замечание в адрес автора, Блок резко ее оборвал, а на другой день прислал письмо, в котором упрекал ее в непонимании Андреева: “Я знаю, – писал Блок, – что Вы теперь не чувствуете Леонида Андреева, может быть, от усталости, может быть, оттого, что не знаете того последнего отчаяния, которое сверлит его душу. Каждая его фраза – безобразный визг, как от пилы, когда он слабый человек, и звериный рев, когда он творец и художник. Меня эти визги и вопли проникают всего, от них я застываю и переселяюсь в них, так что перестаю чувствовать живую душу и становлюсь жестоким и ненавидящим всех, кто не с нами (потому что в эти мгновения – я с Л. Андреевым – одно, и мы оба отчаявшиеся и отчаянные). Последнее отчаяние мне слишком близко, и оно рождает последнюю искренность, притом, может быть, вывороченную наизнанку” (*Веригина В.П. Воспоминания. Л., 1974. С. 116–117*).

“Мрачным реквиемом” назвал спектакль Мейерхольда Юрий Беляев. “Эта пространная, удручающая оратория отчаяния”, – явный плод глубоко личных переживаний, пишет он. «У писателя умерла жена и потому вдохновение его мрачно и безотрадно. Призрак смерти витает над всем произведением. Нет красок, кроме черной и белой. Это поистине изделие гробовщика, траурная колесница, проезжающая по шумному

базару жизни. На меня, да, вероятно, и на многих из публики она произвела впечатление подавляющее. Трудно отделаться от фантастического кошмара, где талант безумствует по ту сторону возможного. Ужасные видения преследуют автора. Вспоминается пушкинский Моцарт: “Мне день и ночь покою не дает мой черный человек. За мною всюду как тень он гонится”. Но реквием сыгран. “Жизнь человека” отныне снесена на подмостки. Все, что сказано в ней и показано, все это в сущности заключает в себе Пролог (...) Следующие за Прологом картины только иллюстрируют этот скорбный псалом (...) Картины эти достаточно наглядно развивают мысль о бренности человеческой жизни, хотя излишнее нагромождение ужасов в конце концов притупляет впечатление» (Беляев Ю. “Жизнь Человека” // *НВ*. 1907. 24 февр. (№ 11119). С. 5).

Всю вину за мрачное впечатление, а иногда и за безвкусицу спектакля Ю. Беляев возлагает в первую очередь на автора. «Для создания объективного, философского и художественного это “представление” недостаточно выношено, продумано и отделано. Право же этот Человек по ничтожному существу своему, по вычурной фразистости своей и по вертлявым повадкам вовсе не человек, а “чеазк”. Лучший акт по тонкой наблюдательности и сатирической трактовке – третий: “Бал у Человека”. Это яркое олицетворение людской пошлости и мелочности, низменных страстишек и побуждений наиболее искренно почувствовано автором и изображено в духе остроумной карикатуры; “Рождение Человека” – бледно и, что называется, сведено на нет; “Любовь и бедность” – сладенький сантимент во вкусе немецких повестушек; “Несчастье Человека” только драматически намечено – и порой, напр(имер) в сцене с игрушками, очень удачно, но недоразвито: Проклятию Человека, с которым он обращается к судьбе, следует больше чувства и содержания, которых не заменяют ругань и сжатие кулака; наконец, “Смерть Человека” – это уже просто нелепое запугивание публики чертовщиной и разными страшными словами» (Там же).

«Я говорю, – завершает свою рецензию Ю. Беляев, – что “Жизнь Человека” произвела на меня и на многих впечатление. Еще бы! Как же не быть впечатлению, если весь вечер сидишь в крошечной темноте, если тебя то усыпляют как на спиритическом сеансе, то будят каким-то гонгом, страшат всяческими возгласами, шепотами, визгами, и в конце концов угощают сарабандой ведьм вокруг умершего человека» (Там же). «Резюмируя свои впечатления, должен сказать, что “Жизнь Человека” ничего к славе г. Андреева не прибавит, если не убавит ему зрителей, напуганных мрачным представлением. Схематически изображенное, вымученное, необычайное представление это складывается в мрачный, кошмарный реквием, который долго звучит в ушах нескладной, громоздкой музыкой и оставляет неудовлетворенное, разочарованное воспоминание» (Там же).

«Вечное, бессмертное значение для литературы, – писал рецензент “Обозрения театров”, – имеет только Пролог “Жизни Человека”. Остальные 5 картин, иллюстрирующие в аллегорической форме жизнь

человека и его судьбу, за исключением нескольких отдельных сцен, серьезного значения иметь не могут» (*Объективный*. Театр В.Ф. Коммиссаржевской: “Жизнь Человека” Леонида Андреева // *Обозрт*. 1907. 24 февр. (№ 79). С. 7). «Пока укажу только, что “Жизнь человека” как драма, как драматическое произведение, предназначенное для сцены, еще менее удачно, чем его драма “К звездам”. Основной недостаток в его драме лежит в том, что этот большой художник в своих драмах больше философствует, чем живописует. Театр В.Ф. Коммиссаржевской сделал для пьесы очень многое в смысле декоративном, обстановочном. Стилль постановки вполне отвечает стилю пьесы. В данном случае нельзя упрекать театр за стилизацию, так как эта чисто аллегорическая пьеса требует такой же аллегорической постановки, пожалуй, даже в большей степени, чем это сделано. Я, например, не показал бы “Некоего в сером” столь видимым и осязаемым, каким был г. Бравич. Если бы публика видела только горящую свечу и слышала только бы голос “Рока” – впечатление получилось бы более сильное. Две-три сцены пьесы, в которых действительно чувствуется гигантский талант Леонида Андреева, создают “Жизни Человека” больший успех, чем она заслуживает как театральное представление» (Там же. С. 8).

В связи со спектаклем развернулась дискуссия и о пьесе. Она представляет собой довольно сложное многоголосье различных идейных и эстетических позиций. Особое раздражение пьеса вызвала у символистов “неохристианского” направления – З. Гиппиус, Д. Мережковского и Д. Философова. «С “Человеком” вышло литературное недоразумение, – писала З. Гиппиус. – Драмму особенно хвалили, а когда она была поставлена на сцене (“передового театра” Коммиссаржевской) – то прямо превознесли. Даже Юрий Беляев из “Нового Времени” отнесся благосклонно. Успех был несомненный, хотя и не очень “видный”. Но, благодаря событиям общественной жизни, интерес к литературе вообще несколько ослабел.

Вот тут-то и недоразумение, и что-то очень горькое есть в этом недоразумении. Если бы драма имела успех среди “большой публики”, как это часто случалось с весьма неудачными вещами Горького, то можно бы, при желании, утешаться, что наша “толпа” еще не умеет разбираться сразу, что у нее есть случайные любимцы... Но нет: драмму Андреева ценила не “толпа”, а цвет нашей литературы и критики. И драма этим “лучшим” ценителям понравилась, “пришлась” к ним. Я выключаю Юрия Беляева, – поклонников “Человека” довольно и без него; весь театр Коммиссаржевской держится именно этим “цветом” литературы, – писателями, поэтами и просто – людьми, считающими себя “передовыми” в искусстве и культуре.

“Жизнь человека” Л. Андреева – несомненно, самая слабая, самая плохая вещь из всего, что когда-либо писал этот талантливый беллетрист. “Елеазар”, его недавний рассказ в “Золотом Руне”, тоже слаб, но не в такой мере, хоть и приближается скорее к разбираемой драме, нежели к прежним произведениям писателя. Фантастические сюжеты, “мисти-



ческая” обстановка крайне невыгодны для Л. Андреева: вся грубость, вся примитивная его некультурность и вытекающая из нее беспомощность – выступают особенно выпукло и резко, как только Л. Андреев хочет оторваться от реальных форм быта. Собственно, талант у него очень большой, гораздо больше, чем у Горького; но у Горького чувствуется большая сгармонированность между талантом и содержанием таланта (...) Л. Андреев не может справиться с вопросами, которые сам же поднимает; ему душно в их темном хаосе. И как только он хочет что-то сам сказать, сознательно, – начинается невероятная и постыдная фальшь. “Савва” его – хаос невообразимый; но, по крайней мере, там вопросы остаются вопросами, там хаос не разрешается плоскостью, вопли не переходят в риторику. Талант-самородок остается тем, что он есть, и не вылезает из-за него сам Л. Андреев, бессознательный, запутавшийся, чуждый культуры русский человек. Л. Андреев еще глубок, когда не думает, что он глубокомыслен. А когда это думает – теряет все, вплоть до таланта.

Не в том беда, что последняя драма его написана так, что не напоминает, а почти повторяет Метерлинка. Но она дурно, некультурно, грубо его повторяет; выходит не то доморощенная карикатура, не то изнанка вышитого ковра. И не в том только беда, что эта узловатая, рабски подражательная форма содержит в себе путаную, смятую, да еще банальную мысль о бессмысленном роке. Может быть, впрочем, и вовсе там никакой мысли нет. Горе в том, что подобная вещь преподносится нам как художественное произведение, да еще с глубиной, с претензией на какое-то общее мирозерцанье. Претензии убили самую возможность непосредственного живого слова; и нет их ни одного во всей “Жизни Человека”, во всей драме, наполненной холодными, придуманными, крикливо-плоскими фразами. Никогда мне не было так жалко Леонида Андреева. Он давал сильные вещи, чувствовалось, что за ними стихийно, слепо мучится и борется живой человек, которого можно бы любить, с которым можно страдать вместе. А тут, из-за драмы и рассказа “Елеазар”, вдруг высунулся малообразованный и претенциозный русский литератор, которого, поскольку он все-таки человек и все-таки Л. Андреев, ничего не понимающий и не разрешающий, – можно лишь бесконечно жалеть» (*Антон Крайний [Гиппиус З.Н.]*. О “Шиповнике” // *Весы*. 1907. № 5. С. 53–55).

“Антихудожественность произведения”, “ходульность” и “риторичность” языка драмы порождены убожеством и наивностью атеистического мировоззрения автора, его утверждением того, что “никакого Бога нет, а есть равнодушно-бессмысленная Судьба” (Там же. С. 55). «Символизируется Судьба у Андреева “серым Некто”, нисколько не страшной, а простой бутафорской фигурой, стоящей бессменно в углу со свечой (тоже необыкновенно новым символом жизни человеческой!)». Такой же бутафорской фигурой, по мысли З. Гиппиус, предстает в драме и ее главный герой, “величественно названный Человеком с большой буквы” (Там же). “Самого примитивного понятия о том, что такое искусство, –

завершала свою статью З. Гиппиус, – достаточно, чтобы отвергнуть эту драму. О ней не может быть двух мнений” (Там же. С. 56).

З. Гиппиус вторил Д.В. Философов. «Нечего себя обманывать, – писал он, – “Жизнь человека” – одно из самых *реакционных* произведений русской литературы, и только наивное и бездарное русское правительство может ставить препоны к его распространению. Оно *реакционно* потому, что уничтожает всякий смысл жизни, истории. “Жизнь человека” – вне времени и пространства. Если жизнь действительно такова, как ее изображает Андреев, то она одинаково жалка, ничтожна, бесцельна и при самодержавии, и при конституции, и при социалистической республике. Стоит ли бороться, стоит ли жертвовать своей жизнью, идти на каторгу, на виселицу – когда жизнь человека – сплошное издевательство “Серого Некто”, когда здесь, на земле, – все обман и суета? Как наша публицистика просмотрела этот яд андреевской пьесы, как она не удивилась тому сочувствию, которое пьеса встретила в широкой публике, как она не ужаснулась перед этим призраком грядущей реакции, реакции самой страшной, потому что не правительственной, а общественной? Да никакой монах Илиодор или Крушеван так не опасны, как “Жизнь человека”. Черная сотня вызывает на борьбу с реакцией за лучшее будущее, заставляет утверждать правду жизни, истории, Андреев же притупляет чувство, волю, погружает в мрак небытия» (*Философов Д.В. Слова и Жизнь: Литературные споры новейшего времени (1901–1908)*. СПб., 1909. С. 93–94).

“Истинно художественное произведение, – писал далее Философов, – никогда не бывает реакционным, только отрицающим. Оно никогда не потакает небытию”. Поэтому «и с художественной точки зрения “Жизнь человека” вещь очень слабая» (Там же. С. 94).

Большая статья Д.С. Мережковского “В обезьяньих лапах (о Леониде Андрееве)” появилась несколько позже. В ней Мережковский рассматривает “Жизнь Человека” в общем контексте творчества писателя под углом больше всего волновавшей его тогда проблемы слияния задач социально-политической революции с задачами нового религиозного сознания. Он отдает должное Андрееву: “⟨...⟩ по действию на умы читателей среди современных русских писателей нет ему равного. Все они – свечи под спудом, он один – свеча на столе. Они никого не заразили; он заражает всех. Хорошо или дурно, но это так, и нельзя с этим не считаться критике, если критика есть понимание не только того, что пишется о жизни, но и того, что делается в жизни” (*Русская мысль*. 1908. № 1. Отд. 2. С. 80).

“Андреев не художник, – четко определяет свою позицию по отношению к его творчеству Мережковский, – но все же почти гениальный писатель: у него гений всей русской интеллигенции – гений общественности. Есть у Андреева и нечто большее, небывалое в русской интеллигенции: прикосновение общественности к религии. Что из этого выйдет, добро или зло, сейчас трудно решить, но что бы ни вышло, неизмеримо важно, что это случилось. Нужна небольшая религиозная опытность,

чтобы предсказать, что для русской общественности прикосновение к религии даром не пройдет; коготок увяз, всей птичке пропасть” (Там же. С. 81).

“О Боге, – продолжает Мережковский, – Андреев не первый задумался в русской литературе, которая эти думы, можно сказать, всосала с молоком матери”. Конечно, “мистика Достоевского по сравнению с мистикой Андреева – солнечная система Коперника по сравнению с календарем”. “Недосягаемые глубины мистического созерцания” одного переходят “в общедоступную плоскость” другого. “Елевзинские таинства” превращаются “в уличный митинг”. Но это величайшее достоинство. Андрееву удалось то, к чему безуспешно стремились “великие русские мистики, от Гоголя до Л. Толстого и Достоевского (...)” (Там же. С. 81–82). “На нем видно, как мистика, некогда редчайшая болезнь, случай белого ворона, становится эпидемической: все черные вороны вдруг побелели” (Там же. С. 82).

Конечно, “по степени религиозного сознания андреевские герои – недоумки, недоросли”. Но это ничего: “(...) в России издавна так повелось, что общественность делают не взрослые, а дети, эти вечные русские мальчики в красных рубашках-косоворотках и студенческих тужурках, которые в религиозном сознании ушли немногим дальше Писарева и Чернышевского. С Богом навсегда покончено, – так думали они вчера; а сегодня не то чтобы подумали иначе, но зашевелилось у них что-то на дне прежних дум, как большая рыба в мутной воде. Откуда, что, зачем – они еще сами не знают. Со старой дороги не свернули, а только зашли в тупик и уперлись лбом в стену” (Там же).

Герои Андреева, по Мережковскому, страдают “религиозным недоумением, или, вернее, той же религиозной болью”. Этим же недоумениям, этой же боли «посвящено главнейшее произведение его, едва ли случайно написанное от 1905 до 1907 года, то есть в годы русской революции. Может быть, сам автор не сознавал, но для читателя ясно, что “К звездам”, “Савва” и “Жизнь Человека” – три части одного целого, одной трилогии» (Там же. С. 85).

В этой трилогии Андреев, как бы испугавшись “вопроса о чуде в новой религии (...) повернул назад, к старой позитивной религии без чуда.

Нет чуда, нет воскресения, нет личного бессмертия; но есть безличное; все умирают, но все живет; смерть всех – бессмертие всего” (Там же. С. 86).

У астронома Сергея Николаевича, героя первой части трилогии “К звездам”, Мережковский находит “отвлеченную религиозно-позитивную путаницу”, “религию человечества без Бога”. “Савва” – это уже отрицание всего: “отрицание культуры, науки, искусства, религии, торжество хаоса, торжество дьявола” (Там же. С. 89). «“Жизнь человека” заключает собой круг исканий. “В слепом неведении своем человек – покорно совершит круг железного предначертания”, – предсказывает “Некто в сером” жизнь человека. Василий Фивейский верил или хотел

верить в Бога, Сергей Николаевич – в бессмертный дух, Савва – в сверхчеловека. Но вот оказывается, что ничего этого нет и быть не может, а есть только круг “железного предначертания”, от которого человек никогда не освободится: он был, есть и будет или жалким, покорным, или еще более жалким, бунтующим рабом “Некоего в сером”, Бога – Дявола) (Там же. С. 90).

Как и Философов, Мережковский утверждает, что, “если бы Андреев был последователен и правдив до конца, он отрекся бы от революции и предался бы реакции”: «В самом деле, к чему революция, борьба за свободу, когда никакой свободы нет, а есть только беспощадная и бессмысленная необходимость – “круг железного предначертания” – для человечества то же, что кольцо, продетое сквозь ноздри быка, которого ведут на бойню? Ведь эмпирическое рабство – неизбежное следствие рабства метафизического. После всех революций не отойдет от человечества “Некто в сером”, а следовательно, в сущности, ничего не изменится. Что было – будет, что будет – было. Социализм, капитализм, республика, монархия – только разные положения больного, который ворочается на постели, не находя покоя. Зачем бороться, если нельзя победить? Опустим же руки, сложим оружие, умудрится, усмирится до последнего смирения, до ничтожества. Если такова “Жизнь человека”, то лучше быть не человеком, а зверем, – не зверем, а деревом, – не деревом, а камнем, – не камнем, а ничем» (Там же. С. 96–97).

Несколько иначе, более сдержанно, подойдет к “Жизни Человека” и вообще к творчеству Андреева близкая к символистским кругам Зинаида Венгерова. В большой статье, посвященной творческой позиции Андреева в последние годы, она попытается вскрыть причины его необыкновенной популярности. «Ни один из новейших писателей, – даже сам Горький, так быстро смытый захлестнувшей его новой волной, – ни один не пришелся так “в точку” современному настроению русского общества, как именно Леонид Андреев. И случилось это потому, что он избрал самое действенное средство воздействия на толпу: он стал кричать, кричать благим матом, часто заменяя криком простую членораздельную речь, даже когда она и возможна, и уместна, и, главное, необходима для уяснения смысла явлений. Но он не уяснял, не вдумывался, – он только кричал. И все, кому больно, и кто не хочет думать, принимали этот крик за философию жизни. Леонид Андреев прослыл мыслителем, познавшим боль человека. Он так оглушил толпу своими воплями, что она принимает за мысли – крики человека в горячечном бреде, или крики младенца, не умеющего выражать свои чувства и желания членораздельной речью» (З.В. [Венгерова З.А.] Литературно-художественные альманахи “Шиповник”. Кн. Первая. СПб., 1907 // ВЕ. 1907. № 5. С. 370–371).

«Леонид Андреев, – утверждает З. Венгерова, – не был всегда таким. В начале своей литературной деятельности он был чрезвычайно талантлив, вдумчивым художником, чутко внимавшим литургии духа, которая свершается в храме души под аккомпанемент нестройного гула

жизни. Тогда он писал такие благоуханные рассказы, как “Жили-были” и “Тишина”<sup>22</sup>. В них отразилась и боль жизни, и беспомощность человека перед непонятными физическими и нравственными страданиями. Но человек в них не был изображен безответной игрушкой стихий. Художник чувствовал и воссоздавал творчество духа, соучастие человеческого начала в трагической гармонии мира, и видел путь единения человеческой жизни с жизнью мировой, а не один только разрыв, в котором человеческая воля лишена всякого стремления к цели, всякого творческого созидания» (Там же. С. 371).

Эту перемену в творчестве художника З. Венгерова объясняет двумя обстоятельствами. Во-первых, столкновением с “кошмаром русской действительности, с которым не может справиться его мысль”: «Он увидел вокруг себя уродливую власть событий, кошмар крови и насилий и задохнулся, забыл о “погребенном храме” в душе человека, и слышал только нестройный гул жизни; забыл о творческом духе, который может перевоплощать и даже пересоздавать жизнь, и чувствовал только боль, только то, что наваливается кошмаром на грудь; забыл, что человек – часть мира, причиняющего ему боль, что, соучаствуя в целях мира, он превращается из жертвы в творца» (Там же. С. 371).

Во-вторых, воздействием на него философско-символической литературы, которой он, однако, следовать не смог в силу особенностей своего мировоззрения: “{...} Леонид Андреев услышал вокруг себя голоса, говорящие о смысле жизни, услышал, что люди мысли ищут в разуме, в мистическом чувстве источники гармонии, углубляют смысл кажущихся противоречий, чтобы оправдать таинственное чувство цели, присущее духу человеческому, составляющее его творческое начало. Идеалистическая философия, сменившая позитивизм и на Западе и у нас, отразилась в творчестве Леонида Андреева в стремлении создать свою философию. Он не проникся идеализмом – напротив того, он теперь дальше от него, чем в первых своих произведениях, но он заразился приемами идеалистов, или, вернее, одним из приемов: он стал вопрошать о целях жизни” (Там же. С. 371–372).

“Но тут и произошла роковая для него ошибка. Можно отражать явления с их видимой стороны, оставаясь в правде, но нельзя вторгаться в область искания целей, не меняя отношения к познаваемому: нельзя искать целей мира и устанавливать суждения о ней, нельзя отрицать этой цели, исходя только из человеческой обособленности, из относительных знаний человека, нельзя устанавливать суждения о далеком – и опять-таки судить его, – находясь в ослепленности близким. А это делает Леонид Андреев. Он будто бы мыслит, а на самом деле только кричит бессмысленным, животным криком” (Там же).

“В последние годы, – пишет далее Венгерова, – Леонид Андреев сосредоточился на драматическом творчестве. Оно составляет у него

---

<sup>22</sup> У Андреева нет рассказа под таким названием. Возможно, Венгерова имеет в виду рассказ “Молчание”.

как бы поворот к большей созерцательности, большей идейности, в противоположность прежнему захлебыванию мрачными картинами и фактами. В драмах преобладает идеология, сталкиваются разные миро-созерцания, борются разные отношения к жизни. Но и тут перемена – только кажущаяся, и маска мыслителя оказывается неудобной для бреда Леонида Андреева. Она каждую минуту спадает, и перед нами – искаженное от животного крика лицо” (Там же. С. 373).

“Жизнь Человека”, по мысли З. Венгеровой, “самая претенциозная” из андреевских пьес. «В ней он берется за мировую тему, хочет обнять жизнь человека философской схемой и противопоставить ее судьбе. Метерлинк в своих символических драмах изображал “типичную” душу, то, что скрыто под всеми наслоениями индивидуальности и живет своей жизнью за событиями. Эта тема взята и Л. Андреевым, причем и художественные приемы ее выполнения тоже обнаруживают сильное влияние Метерлинка. Но это напрашивающееся само собой сопоставление с Метерлинком обнаруживает и всю несостоятельность “Жизни человека”. У Метерлинка душа живет своей активной жизнью, и судьба, которая сокрушает ее, вместе с тем выявляет всю ее самобытную ценность, все прекрасное и глубокое, что она вносит в гармонию мира. Получается трагический поединок, но в нем не обесцениваются сокровища души, как не обесценились они в глубоком трагизме античной драмы рока; напротив того, в душе загорается сознание мировой цели, превышающей суд во имя осязательных благополучий. Для того, чтобы судить о жизни и о ее целях, нужно знать, во имя чего судишь; справедливость мировых судеб не может определяться горем или радостью человека. Если судить судьбу, как это делает Л. Андреев, то, при его постановке вопроса, человек – одна из тяжущихся сторон, – и нельзя произносить приговора от его имени. Выходит не суд, не мысли о справедливости мира, а крик, неосмысленный крик; такова, действительно, “Жизнь человека”» (Там же. С. 374–375).

«“Жизнь человека”, – настаивала Венгерова, – не просто неудачное художественное произведение. Напротив того, в нем сказывается большой непосредственный талант, но так как он берется за совершенно ему недоступную тему, берется решать смысл жизни, будучи скован позитивным пониманием благ, чуждый трагизму духа, то – спутывает отношения к жизни, к миру своими неистовыми криками» (Там же. С. 376).

Сторонникам “нового религиозного сознания” возражали А. Блок и Н.М. Минский. Для Блока “Жизнь Человека” «есть истинно сценическое произведение, написанное с каким-то “секретом” для сцены» (Блок А. О драме // Золотое руно. 1907. № 7–9; цит. по: Блок. ПСС. Т. 7. С. 98). «Несмотря на то, что прошло много времени со дня появления “Жизни Человека”, до сих пор трудно писать об этом произведении. Не говоря о том, что оно необычайно ново само по себе, оно еще, сверх того, ново для самого Л. Андреева и резко отличается от остальных его вещей. Произведение, названное только “представлением в пяти картинах с прологом”, носит на себе признаки той сильной драматической

техники, которая не снилась сверстникам Андреева и неизмеримо превосходит в этом отношении не только “К звездам”, где слишком бледна тень Ибсена, но и “Савву”, произведение горьковского пафоса». «С другой стороны, – уточняет свою мысль критик, – кажется, что “Жизнь Человека” написана писателем неопытным, даже начинающим – до такой степени несовершенна еще ее техника и так первобытно чувство автора, как будто впервые открывающего глаза на мир» (Там же. С. 96).

Блок категорически отвергает мысль о пессимизме и “крикливости” произведения Андреева. В “первобытности” взгляда автора, по мысли Блока, «скрывается мудрость. Как будто не в первый раз открываются глаза, глядящие на мир, ибо нет в этом взоре ничего ужасного, крикливого, растерянного, ребячливо-слюнявого. Лицо автора, скрытое за драмой, напоминает лицо Человека, героя драмы; так же, как у Человека, у автора нет ни того раздражающего крика, который неизменно образо[вы]вал до сих пор пафос почти всех произведений Андреева, ни растерянного: “Господи Боже мой, что же это?” Так же, как у Человека, у автора есть здоровая и твердая решимость бороться до конца (...)» (Там же. С. 96).

“В самую глубь идей, противоречий, жизни, смятения бросают нас” писатели, подобные Андрееву, утверждал Блок (Там же). А в другой статье – «“Пробуждение весны”»<sup>23</sup> – назвал “Жизнь Человека” “произведением бездонно русским” (Там же. С.101). Поэтому, утверждает Блок в статье “О драме”, «никакого Метерлинка нет в “Жизни Человека”, есть только видимость Метерлинка, т. е., вероятно, Андреев читал Метерлинка – вот и все. Но Метерлинк никогда не достигал такой жестокости, такой грубости, топорности, наивности в постановке вопросов. За эту-то топорность и наивность я и люблю “Жизнь Человека” и думаю, что давно не было пьесы более важной и насыщенной» (Там же. С. 98).

С “большим искусством” написан, по мысли Блока, главный герой драмы, “уже по тому одному, что герой не наделен никакими сверхъестественными чертами”: «(...)ни одной резкой черты: не преобладает ни ум, ни сердце, ни воля, всем в равной степени наделен Человек и всеми своими способностями одинаково борется со своим верным “спутником” – “Некто в Сером”» (Там же. С. 97). Величие Человека создается за счет “противоположно” написанных “остальных лиц”. Все вместе эти лица образуют “какой-то тихий кошмар, глухое беспомыслие жизни, которая течет тяжелым оловом и у которой нет берегов. Все эти люди – какая-то случайная утварь жизни, подозрительная рухлядь, плывущая оловянной рекой (...)”. Поэтому “никому из них не дано причащаться тому страданию, которое дано герою – Человеку. Да, это единственный не картонный герой новейшей драмы. – человек, в котором подчеркивается заурядно человеческое с тем же упорством, с каким Чернышевский подчеркивает заурядность Лопухова, Кирсанова, Веры Павловны. Это – реальнейший из реальных людей, без примеси необычайного или фан-

<sup>23</sup> Впервые опубликована: Луч. 1907. № 1. С. 12–14.

тастического (...)» (Там же). Все отличие его от героя Чернышевского, по Блоку, в том, «что он, зная, как и тот, “что делать” в жизни, знает еще, что стоит около него, на рубеже жизни, неотступно тот – ужасный – серо-каменный и что горит перед его твердо сжатыми губами и квадратным подбородком – свеча-лампада. И опять возникает перед ним – возникает *вторично* – и уже без лопуховской жизнерадостности и розовой бессознательности – вопрос: “что делать?”» (Там же. С. 98).

Блок пишет и о постановке театра Коммиссаржевской. По его определению, это “лучшая постановка Мейерхольда. Замыслы автора и режиссера слились воедино” (Там же). Режиссер кое в чем отступил от автора, но многое в результате получилось только лучше. Особенно понравилась Блоку сцена бального зала, в которой “Мейерхольд, построив толстую серо-белую колоннаду полукругом и посадив на возвышении у каждой колонны нарочито идиотических дам и рамольных стариков”, добился “внушительного эффекта” (Там же).

«Мне привелось смотреть “Жизнь Человека” со сцены, – пишет далее Блок. – Я никогда не забуду потрясающего впечатления первой картины. Была она поставлена “на сукнах” – все огромное пространство сцены вглубь и вширь затянато сукном. Глубоко стоял диванчик со старухами и ширма, впереди – круглый стол и стулья вокруг. И больше ничего. Сцена освещалась только лампой и узким круглым пятном верхнего света. Таким образом, стоя в глубине сцены, почти рядом с действующими лицами, можно было видеть весь театр, будучи совершенно скрытым от него. И “Жизнь Человека” протекала здесь, рядом со мной, ибо я видел около себя смутные тени копошащихся старух, слышал пронзительный крик рожаящей матери, смотрел на силуэты сутевливых родственников, различал только фартук нервно бегающего по диагонали доктора с папироской и почти ощущал холод неподвижной спины “Серого”, который, стоя в тонком столбе матового света, бросал в окружающий мрак навеки памятные слова: “Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха”» (Там же).

Проклятия Человека, в противоположность “неохристианам” и З. Венгеровой, Блок оценивает как слова, “от которых разрывается сердце” (Там же. С. 99). И с презрением пишет о тех, “кто не понял, *хуже* – не захотел понять весь ужас, всю скрежещущую злобу, всю искренность проклятий”, кто не пережил вместе с Человеком и Блоком “тайной тоски, строгого отчаяния”. А потом и “свет, потоками льющийся; твердая уверенность, что *победил Человек*, что *прав* тот, кто вызывал на бой неумолимую, квадратную, проклятую Судьбу”. «“Литературные произведения” давно не доставляли таких острых переживаний, как “Жизнь Человека”. Да – тьма, отчаянье. Но – свет из тьмы» (Там же). «И пусть мне скажут, что я не критикую, а говорю лирические “по поводу”. Таково мое восприятие. Я не в силах критиковать, хотя – пусть растянуты разговоры старух, пусть “наивен” второй акт, пусть однообразны разговоры гостей на балу. Но *свет* негаданно ярок, и источник этого света таится в “Жизни Человека”» (Там же). Андреев вовсе «не



хочет гасить жизни и “погружать во мрак небытия” (...)» (Там же). И одно из важнейших свидетельств этого – “Жизнь Человека”, «яркое доказательство того, что Человек есть человек, не кукла, не жалкое существо, обреченное тлению, но чудесный феникс, преодолевающий “ледяной ветер безграничных пространств”. Тает воск, но не убывает жизнь» (Там же. С.100).

Таким же лирическим чувством проникнуты и отзывы на “Жизнь Человека” Андрея Белого. В рецензии на первую книгу альманаха “Шиповник” он отказывается от роли критика пьесы Андреева. «Я не могу забыть того подъема, с которым я читал это замечательное произведение. И когда мне говорят о недостатках, хочется сказать: “не в недостатках дело!” Недостатки последнего произведения Л. Андреева явны; они бросаются в глаза всякому, сколько-нибудь любящему словесность. Но во сколько раз вся эта неряшливость стиля милее, дороже гладко зализанных произведений стиля модерн. Но как было бы нам, любящим Андреева, больно, если бы тот громадный внутренний фонд творчества, который чувствуется в писателе, заслонился чеканкой формы» (*Белый Андрей*. Литературно-художественный альманах издательства “Шиповник”. Кн. 1. СПб., 1907 // Перевал. 1907. № 5. С. 51).

О недостатках следует говорить, утверждает Белый, когда имеешь дело с писателем среднего дарования. «Но как приятно отметить, что правило, созданное для среднего литератора, неприменимо к большому таланту. “Жизнь Человека” – это полумиссеченное, каменное изваяние, срастающееся с громадой скалы. Всякий рельеф – рельеф формы, всякая кропотливая забота о деталях нарушила бы стиль произведения. Можно сказать, что самые технические недостатки Л. Андреева в этом произведении послужили ему на пользу. Как сорвавшаяся лавина проносится перед нами “Жизнь Человека”. Как сорвавшаяся лавина, вырастает в душе гордый вызов судьбе. Как сорвавшаяся, пухнувшая лавина, растет, накипает в сердце рыдающее отчаяние. Как на сорвавшейся лавине, несемся мы вместе с человеком в темный провал под скалой. И скалой над нами стоит “Некто в сером”. Простоту величавых, строгих линий в своем последнем произведении соединил Л. Андреев с бердслеевщиной “Балаганчика” А. Блока: только из марионеточного мира Метерлинка и манекенного мира Блока вырос Человек» (Там же).

На место “сверхчеловеческого схематизма”, “идиотских бесчеловечных гримас”, “невест из картона” приходит у Л. Андреева Человек. «И мы хотим сказать ему: “Товарищ!” Спасибо, спасибо художнику, который раскрыл перед нами пропасти бытия и показал над ними гордого Человека, а не идиота». «Я должен признаться, – заключает свой лирический этюд Белый, – что я не могу спокойно писать о “Жизни Человека”: когда струны души так натянуты, трудно быть объективным критиком. “Жизнь Человека” Л. Андреева принадлежит к тому немногому, на что мы можем с гордостью опираться среди многообразного печатного хлама последнего времени» (Там же).

В другой статье – «Смерть или возрождение. “Жизнь Человека” Леонида Андреева» Белый, по существу, повторит все сказанное и вновь даст высокую оценку таланту Андреева, но укажет на переходный характер “Жизни Человека”: “⟨...⟩ Андреева по справедливости считают крупным писателем современности, но он менее, чем кто-либо, установился. Тут и надежда, и опасение: опасение – а вдруг сочтет себя писателем, успокоится, слишком низко оценив себя; надежда – если все, им написанное, есть только проба пера, то как же он может еще развернуться? Ведь берега его творчества еще не обозначены! Но если творчество его без берегов, он непременно уплывет куда-то ⟨...⟩” (Литературно-художественная неделя. 1907. 17 сент. (№ 1). С. 3).

«С чем порвал Андреев, куда он уходит от нас? Не знаем, увидим. Но я хочу подчеркнуть только то, что неспроста меняется его стиль, потому что тут глубочайший кризис души. И уже одно это создает из “Жизни Человека” глубоко захватывающее нас произведение. Искусство ли это – не знаю, но испытываю головокружение; может быть, головокружение не есть реакция на художественное произведение, но я хочу, чтобы “Жизнь Человека” была такой, а не иной. Когда читал, забыл, что есть слог, что существуют определенные требования, которые я как критик должен предъявить автору. Просто забыл проверить полномочия и по-детски принял то, что дал мне Андреев» (Там же). С этих позиций Белый, как и ранее Блок, категорически отвергает зависимость Андреева от Метерлинка. “И Андреев, и Метерлинк оба говорят о неизвестном, о роковом. Но неизвестность неизвестности разнь...” «“Голос безмолвия” у Метерлинка совсем не тот, что у Андреева. У Андреева в нем слышна “глубина все постигающей долгой ночи, темной ночи”». «“Жизнь Человека” нельзя ни хвалить, ни порицать. Ее можно отвергнуть или принять. И я принимаю», – торжественно заявляет Белый.

Особенно резко против сторонников “нового религиозного сознания” и в защиту Андреева выскажется Н.М. Минский в большой статье “Абсолютная реакция. Леонид Андреев и Мережковский” (Наша газета. СПб., 1908. 16 марта. (№ 1). С. 2–3). Он увидит в позиции Мережковского “рецидив самой грубой, самой суеверной религиозности”, “сектантскую проповедь” “новой апокалиптической церкви и теократического государства”. “До сих пор мы знали критику эстетическую, психологическую, общественную, философскую. Мережковский создал критику миссионерскую, проповедническую” (цит. по: *Минский Н.* На общественные темы. СПб., 1909. С. 206). В такой критике нет главного: “искания в разбираемом писателе его индивидуальных, неповторяемых, неожиданных черт”. “По существу каждый критический этюд Мережковского является исповеданием веры и спором о вере” (Там же. С. 208).

Отсюда и попытка не столько разобраться в произведениях Андреева, сколько опровергнуть позицию атеиста. «Легко понять, чего искал Мережковский в Андрееве, что он хотел и должен был отыскать. Безбожие и пессимизм Андреева – вот текст, который должен был показаться

Мережковскому особенно заманчивым. И позиция Мережковского на первый взгляд представляется очень сильной. В самом деле, если Василий Фивейский, усомнившись в Боге и в чуде воскресения, видит в человеке только “проклятое мясо” и сам падает мертвый от ужаса, если атеист Андреев всю “Жизнь человека” сводит к бессцельному и болезненному верчению в колесе, под хохот уродливых старух и равнодушное молчание “некто в сером”, то отсюда вывод, казалось бы, только один: для того, чтобы человек перестал быть “проклятым мясом”, а жизнь – бессцельным злом, необходимо снова уверовать в чудесное. Мережковский был бы прав, если бы человеку не оставалось другого исхода, как сделать выбор между слепую верою и слепым отчаянием». «К счастью, в действительности это не так, – резюмирует Минский. – Есть еще третье отношение к жизни, равно далекое от веры и отчаяния, есть высшая религиозность, почерпаемая не из мертвых книг и не из преданий, а из вечно живого, вечно светлого источника разума, и весь вопрос в том, что ближе к этой высшей религиозности – атеизм ли отчаявшегося и “глупого” Фивейского, или неохристианство жизнерадостного и умного Мережковского» (Там же. С. 208–209). Во всяком случае “ослепление своей религиозной миссией” привело Мережковского к тому, что он “проглядел” и в героях Андреева и в самом его творчестве “основной их мотив – мотив любви к людям, то есть проглядел все” (Там же. С. 212).

Как отношение к “Жизни Человека” развело между собой символистов, так развело оно и социал-демократов. Очень высоко оценил пьесу А.В. Луначарский и более сдержанно В.Л. Львов-Рогачевский. Для Луначарского пьеса Андреева – это “чудесное произведение”, “подлинный шедевр”. «Символическая драма Леонида Андреева являет собою блестящий пример того, чем должна быть истинная символическая драма. “Жизнь человека”! Это может показаться до дерзости претенциозным. Дать драматическое обобщение *жизни* человека? Как выполнить такую задачу, не впадая в сухие абстракции и костлявые аллегии. Ведь даже Гете, великий Гете, царь поэтов, в некоторых местах Фауста (...) дает куски идейного скелета, не облеченного живой плотью. Но когда художник ставит себе столь дерзновенную задачу и разрешает ее – хвала и честь ему, тем большая, – чем большей неудачей он рисковал» (Луначарский А.В. Новые драмы // Вестник жизни. 1907. № 3. С. 102–103).

“Некто в сером”, по оценке критика, это “величественный и яркий в своей жизненности символ”, способный “стать рядом с самыми глубокомысленными образами мировой поэзии” (Там же. С. 103). По Луначарскому, “Некто в сером” не управляет жизнью человека, «он только словно знает все, он только “чтец, с суровым безразличием читающий книгу судеб”». “Он – не злая воля, Он сам – судьба и подчинен своим законам (...) Он – природа в ее законах, ничего не желающий закон, Он – таков, как есть, последнее основание, которое само не опирается на человекоподобные намерения, Он – весь причина, целей у него нет” (Там же. С. 104).

Это позволяет критику писать о “героически честном пессимизме” Андреева, о “совершенно материалистическом характере его философии”: “И перед лицом этой честно пессимистической драмы, в живых и прекрасных символах рисующей правдиво *то, что есть*, мы говорим: Да, все это правда. Человеческий индивид бессилен и несчастен, он тень, пламя свечи, воск, который тает, игрушка в руках безликого серого бытия. Да, это так” (Там же. С. 109). Но является ли пессимизм Андреева в отношении индивидуальной судьбы таким же пессимизмом в отношении судеб человечества? Этот вопрос Луначарский ставит, но определенного ответа на него не дает, так как не находит такого ответа в самой пьесе.

В отличие от Луначарского, В.Л. Львов-Рогачевский видит в “Жизни Человека” сплошной пессимизм и связывает его прежде всего с общественной ситуацией. «Под грохот расстрелов, когда не в “Вишневом саду”, а на заднем дворе тюрьмы “слышен стук топора”, когда в наш исторический “кровавый синодик” вносят сотни убиенных и приявших смерть, когда жизнь человека стала какой-то “сказкой в устах глупца”, а смерть чем-то повседневным и заурядным, Л. Андреев написал два новых произведения, страшные по своему пессимизму, произведения, возвращающие нас к тому, что “было”. Эти произведения – “Жизнь Человека” и “Елеазар” снова переносят нас в “Мертвое царство”, больше того, в них художник как бы говорит свое последнее слово, свое “я нашел”, свое “довольно”».

«Все прежние смутные намеки и тени он собрал, как рассеянные лучи в фокус, в огромные символы чего-то *Неизвестного* и холодного *Ничто*, олицетворениями которых являются “Некто в сером” (“Жизнь Человека”) и чудесный воскресший и три дня и три ночи пробывший во власти смерти (“Елеазар”). “Некто в сером” и “Мертвец в брачных одеждах”, жизнь и смерть, здесь и там – вот двуликий Янус, отразившийся в обоих близких по настроению и содержанию произведениях» (Львов-Рогачевский. 1907. С. 42).

Львов отмечает оригинальность замысла пьесы, отражение в ней не реальной действительности, а “нового вида страшно знакомого мира”, проведенного через сознание художника, но больше всего пишет о глубоком пессимизме автора и предлагает пути его преодоления. Он рассказывает историю из жизни первых христиан, когда гонения мучителей поставили перед ними вопрос о смерти. Смерть апостола Петра произвела угнетающее впечатление на небольшую общину последователей его учения. Но одному из особенно скорбевших учеников он явился во сне и повелел вернуться к общему их делу: “Я жил и живу в общем нашем деле, и если хочешь быть со мной и любишь меня, иди и продолжай мою проповедь (...)” “Здесь легенда сводит Человека не к пятнадцати комнатам, а к его идеям, к делу, к заветным мыслям и к борьбе за новое учение, к жизни в Человечестве, а такой Человек бессмертен. Он протягивает свою братскую руку через века, и эту руку радостно и крепко жмут следующие поколения” (Там же. С. 62).

В двух статьях, опубликованных в газете “Русь” и журнале “Театр и искусство”, отчасти повторяющих, отчасти дополняющих друг друга, А.Р. Кугель дал развернутый анализ пьесы и спектакля Мейерхоolda. «Из всего, что написано Л. Андреевым, – скажет А. Кугель, – если не считать некоторых первых его рассказов, мне больше всего нравится “представление” “Жизнь Человека”. Оно нравится, волнует и привлекает тем, что мироотношение писателя нашло для себя соответствующую художественную форму в этом “представлении”, мысль не отделима от образа, идея от символа, схема ума от схемы фантазии. Оттого, при многих второстепенных погрешностях, произведение Л. Андреева местами прекрасно и возвышенно. Мне кажется, что с “Жизнью Человека” Л. Андреев нашел настоящую свою дорогу» (*Ното новус [Кугель А.Р.] “Жизнь человека” // Русь. 1907. 24 февр. (№ 55). С. 3.*). «“Жизнь Человека”, – продолжает критик, – взята не в ее конкретной красочности, не в подробностях и сложности ее бытового богатства, не в утонченности и сплетении ее культурных ценностей, а в голых, сухих, схематичных очертаниях» (Там же. С. 3). Кугель понял замысел Андреева как стремление показать жизнь не исключительного, а обыкновенного человека, его существование от рождения до смерти, – и эта идея нашла у критика полную поддержку. «В основание жизнеописания, – констатирует он, – взято лубочное изображение. Вы, конечно, видели эти “народные картины”, где вокруг небольшого текста, занимающего середину листа, расположены иллюстрации главнейших моментов жизни человека: рождение, детство, юношество, возмужалость, смерть. Вот “предел”, “его же не преидеши”. Основная идея, основная мысль “представления” г. Андреева в том и заключается, что жизнь Человека, т. е. не видовая, а родовая его жизнь, присущая всякому представителю биологического, и само собой разумеется, социологического рода – примитивно проста и заключена в указанные самим процессом жизни рамки. Прежде всего тьма, из которой появляется человек, затем тьма, в которую он погружается. В промежутке – типично простые, схематические стадии, которые рознятся между собою во второстепенном, но никак не в существе» (*Кугель А. Театральные заметки // ТуИ. 1907. 4 марта. (№ 9). С. 159.*)

«Пессимизм, – пишет далее Кугель, – не только в том, что суета сует, и всяческая суета, но и в том, что над жизнью Человека, которую каждый из нас считает произведением своей воли, своих трудов и усилий, ибо “всякий кузнец своего счастья”, высится, подобно огромной магнитной горе, притягивающей мелкие железные опилки, Необходимость – рок, неизбежность, закон причинности. Мы подходим к тому философски-психологическому узловому скрещению, где сходятся фатализм с пессимизмом. Нет воли у человека. Прежде всего потому, что воля бессильна побороть рождение, как бессильна побороть смерть – две крайние нерушимые стенки, заключающие клетку человеческого бытия» (Там же). Л. Андреев как бы возвращает нас к основам античного сознания: «“Самое лучшее совсем не родиться” – говорится в древне-греческой трагедии. Но мы не можем не родиться. Это не от нас. И не можем не

умереть: это тоже не от нас. Остается, стало быть, миг бесконечности, заключающийся между двумя полюсами вечности. Но и этот миг имеет свою железную, математически данную схему движения. И тут все кажущееся разнообразие сводится к основным, примитивным линиям скелета человеческого бытия» (Там же).

Пессимизм Андреева, утверждает критик, совсем другого порядка, нежели у Толстого и Чехова: «Он не в мизантропии и не в сладкой и светлой грусти, как у Чехова. Он и не в той острой и беспощадной аналитической способности, которая, как у Толстого, вскрывает каждую радость жизни, в частности обнаруживая ее, так сказать, клетчатку. Его пессимизм – в нагромождении страданий. Его поражает не зло в добре, не страдание в радости, не ползущая змею за широкою дорогою жизни тропа несчастий, но самое зло, самое страдание, самое несчастье (...) Л. Андреев как бы пристегивает жизнь к страданию. Страдание есть факт, несомненность – единственно существующее, к которому механически присоединено все прочее» (Русь. 1907. 24 февр. (№ 55). С. 3).

Высоко оценивает Кугель фигуру Некогого в сером. «Быть может, – пишет он, – самое замечательное по мысли, хотя и наименее удавшееся автору по исполнению, это – лубочное изображение того («Некто в сером»), к которому все люди, во все времена, во все эпохи, под всеми широтами и долготами, как географическими, так и культурными, обращали лик свой, рисуя его лучезарным, прекрасным, многоликим, многообъемлющим. В этого «Некто в сером» вкладывалась вся сила и красота религиозного искания. Когда заканчивался «Бал у Человека» и затихали последние аккорды жалкого треньканья, принимаемого за восхитительную симфонию искусства, у Человека оставалось еще одно утешение, высшее и самое пленительное – представление об абсолютно прекрасном, иконописном, преображенном идеале истины и света (...)»

Самые чудесные дары фантазии, самые благоухающие розы поэзии приносились на алтарь Неизвестного. В нем, сообразно с индивидуальностью человека, – то жизнерадостность эллина, то аскетизм христианства, мстительность и милосердие, справедливость и гнев, рай и ад, демон и ангел, все краски и переливы света и теней. Но сведите и эту сложность к сухой абстракции лубочного изображения – к серому, бесцветно серому Непроницаемому. Это последняя станция пессимизма. Если не здесь, то там; если не мы, то Некто. Но и Некто, подобно Человеку, сер и одноцветен, лубочен в простоте своих элементов, и так же лишен красоты, яркости, солнца, радуги цветов, как и жизнь Человека» (Там же).

«Все разлагается на сухие, бескровные, примитивно прямые линии: и жизнь человека, и смерть, и движение ограниченного пространством костяка, облеченного плотью, и искание в бесконечном, натянувшееся на Непонятное, которое, если совлечь с него блестящие ризы самообмана, есть не более, как «Некто в сером». Таков смысл пьесы Л. Андреева» (ТуйИ. 1907. 4 марта. (№ 9). С. 160).

Кугель высоко оценивает замысел драматурга: «Задача, поставленная автором, чрезвычайно широка: это равно “Фаусту”, по глубине замысла», – но в то же время скептичен в отношении результата. Новый “Фауст”, по мысли критика, “не вполне по силам г. Л. Андрееву”. “Если бы выполнение соответствовало грандиозности замысла, пред нами было бы мировое произведение. Выполнение не таково, но все же оно обладает решительными художественными достоинствами” (Там же).

Указывает критик и на отдельные черты близости пьесы Андреева к античной трагедии: «действующие лица являются только родовыми группами (...) Все эти люди имеют именно собирательный, групповой характер, все они составляют разного рода “хоры”, подобно участвующим в действии древне-греческой трагедии» (Там же).

«Вообще, – продолжает свои наблюдения критик, – внешняя форма пьесы г. Андреева не имеет обычных для театральных представлений делений текста на диалоги, ремарки и пр. Там, где разговаривают двое, ясно, что это диалог, и понятно, кто говорит какие слова. Там же, где разговаривают многие, большей частью не важно, кто именно из данного “хора” говорит какие слова (...) Ремарка составляет, собственно, описательную часть произведения и сливается в пьесе Л. Андреева с разговором. Благодаря этому, ремарка, которая, впрочем, вообще выдвигается новейшими авторами (...) на первый план, приобретает особенное значение. Но я замечу мимоходом, что насколько подробная и тщательная ремарка часто бывает стеснительна в реальных пьесах, настолько она художественна и поэтична, более того – сценична в пьесах, подобных “Жизни Человека”, где формы реального воспроизведения уступают место сценическому “видению”, в тесном смысле слова. Это сценическое “видение” изображено у Андреева прекрасно. Автор все видит, что происходит на сцене, и даже все слышит» (Там же).

Одним из первых Кугель выскажет и предположение о том, что в “Жизни Человека” Андреев, возможно, вступает в полемику с горьковской концепцией человека. «“Человек – это звучит гордо!” – говорится у Горького. “Человек – это звучит жалко!” – читаем у Л. Андреева» (Там же. С. 159).

«Постановка пьесы на сцене Драматического театра, – завершит свой разговор о пьесе и спектакле критик, – на этот раз не очень мешала впечатлению. Больше всего это объясняется тем, что Л. Андреев дал подробнейшие указания и описания происходящего, даже ноты пустышкой польки, которую играют на балу у Человека, напечатаны в книжке. Своеволие нелепой и скудной фантазии г. Мейерхольда не дерзнуло коснуться прекрасных местами страниц поэтических описаний. Режиссер позволил себе только по-своему переработать декорации, отчего получилась обычная нелепица. Например, вторая картина изображает у автора бедную, сырую комнату крайне убогого вида с двумя “бедными” кроватями. Режиссерский забавник Драматического театра повесил розовый фонарь в чистенькой очень уютной комнате и поставил две двухспальные кровати с целою горою подушек.

Получилась точная копия бюргерской спальни, в которой поживает бюргерская фантазия г. Мейерхольда (...)

Но слава Богу, что играть в этом театре стали без барельефов, рельефов и прочих глупостей, а обыкновенным, натуральным образом. Оттого актер среднего дарования, г. Аркадьев, в общем очень недурно справился с ролью Человека и местами даже достигал известной высоты патетизма. Жену Человека изображала г-жа Мунт. Она играла просто, естественно, мягко, но она не обладает драматической выразительностью, и когда перед нами была мать, бессильно ломающая руки перед Кем-то в сером, – мы не видели матери и не чувствовали ее неизбывного горя» (Русь. 1907. 24 февр. (№ 55). С. 3).

Журнал “Театр и искусство” еще многократно будет возвращаться к пьесе Андреева и к спектаклям по ней, он будет публиковать отчеты о провинциальных спектаклях, о цензурных преследованиях и о протестах черносотенцев. В этих материалах будут содержаться и суждения о пьесе, но наибольший интерес представляют еще два критических отклика. Это статьи А. Ростиславова и А. Амфитеатрова. Первый обвинит Андреева в крайнем реализме, гнетущем пессимизме и отсутствии внимания к истинным “идеалистическим ценностям”. «Я редко испытывал более гнетущее, тоскливое и даже неловкое чувство, чем на представлении пьесы Андреева в театре Коммиссаржевской. С внешней стороны это, конечно, занято, не скучно, даже забавно, хотя, право, по своей схематичности несколько напоминает “Весь Петербург за 15 коп.”, несмотря на отдельные талантливые сатирические сцены, на милую, например, и удачную стилизацию бала». «Не забавно ли в самом деле, – развивает дальше свою мысль критик, – что все наши “ценности” должны потонуть в несуразной фигуре, облеченной в серую хламиду, со стеариновой свечкой у желудка, освещающей столь всем знакомые нос и бритый подбородок г-на Бравича? Не забавно ли, что парки-“старухи”, какие-то переряженные тоже в уродливые серые хламиды барышни, говорящие с вульгарными интонациями, кое-кто даже с акцентом, грубо освещенные (в ремарке Л. Андреева: “смутно намечаются серые силуэты”) лампой на штативе, если не ошибаюсь, изобретением конца XIX ст., а не первой его половины, к которой относятся костюмы и обстановка? Разве не забавно, что у нищенствующей и голодающей юной парочки во второй картине спальня – такая уютная бонбоньерка, даже с розовым фонарем (кстати, почему бы не продать его и хоть часть подушек, чтобы купить хлеба, даже “ветчины”)?» (Ростиславов А. О “Жизни Человека” // *ТуйИ*. 1907. 18 марта. (№ 11). С. 190).

Спектакль Мейерхольда понравился Ростиславову именно тем, что он выявил лубочную схематичность произведения, избитую афористичность его основной мысли. «Театр Коммиссаржевской отчасти хорошо сделал, так грубо поставив произведение Андреева, ибо в такой постановке – как бы бессознательная сатира на все произведение. “Некто в сером, именуемый Он”, уже в прологе явившись в виде фигуры, грубо по оперному освещенной (в ремарке: “слабый свет... не дает ни теней,



ни светлых обликов”), докладывающей о “жизни человека” акцентирующим голосом г-на Бравича, так до конца и остается курьезом. Вместо холода, страха, чувства безнадежности – тоскливое чувство неловкости, ненужности, какой-то обнаженности. А ведь произведение Л. Андреева не только “хочет сказать”, а прямо навязывает “идею”, “настроение”, и потому оно глубоко не художественно в самой своей концепции. Оно слишком голо, слишком лубочно, схематично не потому, чтобы оно сводило “жизнь человека” к лубочной схеме, а потому, что изображает ее в слишком лубочно-схематических чертах; мозолящие глаза выводы его – общеизвестные истины таких избитых афоризмов, как “все прах и суета”, “все мы помрем”, “жизнь копейка, а судьба индейка”, “от судьбы не уйдешь” и пр.» (Там же).

Ростиславов глубоко не удовлетворен главным героем пьесы. Он хотел бы на его месте видеть “образы, близкие к Прометею, Леонардо да Винчи, Фаусту, Манфреду”. А Андреев преподносит нам «жизнь архитектора, добившегося “славы и денег”, жизнь почти “человека” в кавычках, почти толстовского молодого лакея» (Там же). Его “молодые мечты” «о произведениях, выставленных за окнами гастрономических магазинов, об автомобилях, о том, как “все будут кланяться»», “вершина счастья – быть на балу не только не молодым лакеем, а самым что ни на есть первым господином, величайшие горе и страдания, сводящиеся к потере успехов, богатства и близких”, – такая “схема жизни”, “из которой вычеркнуты все истинные ценности, все привлекательное и загадочное”. “Интересно ли, нужно ли зрелище столь примитивных страданий и утех, стоило ли беспокоить для него не бутафорского, а настоящего Его – в сером?” – заявит критик. «Ведь истинные ценности так огромны, смутное чувство их так сложно, “высшие радости” так далеки от успехов в жизни (...)» (Там же).

«Ужас “ничего”, царящего по ту сторону», всегда был свойственен творчеству Андреева. Но никогда в нем не тонули до такой степени “не лакейские, а истинные ценности”, как в “Жизни Человека”. «Тайны нет в представлении Л. Андреева, нет обобщения жизни, а только грубый каркас ее неизбежных стадий от рождения до смерти (...) “Некто в сером” в конце концов такое же грубое, не обоснованное категорическое утверждение, как базаровский лопух, как все категорические утверждения того, “кто мы, откуда, куда мы идем и т. д.”, с одной стороны, в узкодогматических религиозных учениях, а с другой в крайних материалистических. Произведение Андреева в самой своей сущности не художественно, ибо все художественное прежде всего соприкасается с тайной, говорит о тайне», – окончательно обозначая свои позиции, заявляет критик (Там же. С. 191).

Статья А. Амфитеатрова представляет собой иронический этюд о “Некто в сером”, вернее, о тех задачах, которые этот образ ставит перед актером. По Амфитеатрову, Л. Андреев – “природный реалист, только случаем и модою временно сбитый на символические тропы”; поэтому, в отличие от Метерлинка, “с невидимым обращаться он не мастер, – ему

осязательный образ подай, актера, фигуру, лицо, голос, речь” (*Амфи-театров А. “Некто в сером” // ТИИ. 1907. 16 дек. (№ 50). С. 842*). А как будет выглядеть это Неизвестное в исполнении безнадежно плотского актера? “Нет более рискованного и предательского зрелища, чем сверхъестественное всемогущество, воплощаемое в сценический образ”. Кроме того, «писатель, пытающийся воплотить провиденциальность в сценический образ, не должен забывать, что объем ее власти, распростертой на миры, не может быть съезжен в иллюзию призрака, ходящего по пятам человека и изъясняющего шаги его (...) Если Некто в сером – вся сумма Провидения, если архитектору андреевскому суждено было пасть, как Иову, Фаусту, Дон-Жуану, под специальную опеку самого, как определяют масоны, Великого Архитектора природы, то, право же, последний тратит на Человека уж слишком много своего времени и внимания и для чести носить свечу по пятам Человека слишком забывает, что за стенами дома Человека остались пучины мирового пространства, “где первообразы кипят”» (Там же. С. 843–844).

Сосредоточена на замысле Андреева статья Петра Пильского в газете “Родная земля”, похожая на философское эссе. Как и многие другие, критик констатирует схематизм пьесы, пишет о том, что в пьесе “все абстракция”, что “это не жизнь, а геометрия”, “не символ, а резкая и слишком ясная стилизация прямой линии, проведенной между точками А и В, рождением и смертью”, “это не образы, а производные в таблице умножения”, “это не плоть, не искусство, а схема”, но в то же время пьеса, с его точки зрения, “интересно задумана, очень оригинальна, у нее умная, философская душа” (*Пильский П. Смерть (“Жизнь Человека” Леонида Андреева) // Родная земля. СПб., 1907. 12 февр. (№ 6). С. 3*).

Хотя статья и называется “Смерть”, на самом деле Андреев – в отличие от Л. Толстого в “Смерти Ивана Ильича”, как считает критик, – занят не смертью, а проблемой смысла человеческой жизни в новую эпоху. “Ужас перед бесчувственной, немой и стихийной силой рока”, “ужас и трагизм самой жизни”, “мощь слепой, но грозной стихийной силы и беспомощность сознательных усилий человека – вот тайна и ключ андреевских трагедий”. Андрееву, утверждает Пильский, “страшна судьба, а не самая смерть” (Там же. С. 2). В то же время идейные и философские искания Андреева органичны для всей современной эпохи: “Будто вся идущая от Библии и Паскаля молодая беллетристическая школа несет в себе живую печать задумчивой библейской эпохи.

Временами кажется: лучшие строки литературных сил – результат величественных дум и одиноких размышлений, которыми жил некогда библейский человек в безмерно великих пустынях Востока.

Чувствуется таинственная и огненная жажда вечно близкого и вечно далекого Бога.

Здесь пророческие видения. Раздумья о бесконечности. Искания мирового смысла” (Там же).

Современная литература тяготеет к трагедии. К трагедии тяготеет и Л. Андреев. “В основе трагизма, – утверждает Пильский, – всегда

поверженная сила. Только в нем заключена лучшая часть человеческой души, ее божественность и героичность, ее сверхбыденность и подвижничество.

Сущность трагедии – в вечной неудовлетворенности духа.

Содержание ее – в муках и ошибках, в боли и радостях исканий.

Отсюда все величие и все благородство трагической красоты.

И в этом ее неоспоримо революционный характер.

Лучшего человека она готовит для лучшего будущего. В нашей душе она культивирует непримиримость со злом и пошлостью, преклонение перед страстью и подвигом. Воспитывает благоговение перед страданием. Создает ореол мученичеству и самоотвержению” (Там же).

Поэтому “то отдаленное, что будет называться возвышенной и прекрасной человеческой индивидуальностью, – завершает статью критик, – вырастет из протестантских семян, посеянных трагическим искусством”. Таким искусством он считает и “Жизнь Человека”. Пьеса привлекла внимание критика именно тем, что он видит в ней «(...)» последний и ясный вывод, который делает сам писатель, отвечая на вопрос о своих страхах, своем трепете и своих тревогах. И если надвое мог решаться вопрос об андреевском двустороннем “ужасе жизни и ужасе смерти”, – как это определил Михайловский, – то теперь вторая половина формулы отпадает сама собой. Остается первая: страх перед жизнью. Ужас бессмысленности. Боязнь судьбы.

Последнее слово договорено.

Точки над і расставлены.

Писатель вложил в определеннейшую из формул» (Там же).

О существе задач, поставленных Андреевым, говорит статья А.Г. Горнфельда в газете “Товарищ”. Он обращает внимание на то, что современный художник «не обещает быть “верным” действительности и от нас не требует веры – он требует мысли (...)» Изображение действительности для него не цель, а средство. Чтобы выяснить свою мысль о явлении, он отвлекается от его индивидуальных особенностей. Он абстрактен и схематичен, чтобы ярче и полнее выступало общее» (*Горнфельд А.* Литературные беседы. XVIII Альманах “Шиповника” // *Товарищ.* 1907. 13 февр. (№ 193). С. 2).

“Образцом такого абстрактного изображения” и является, по Горнфельду, “Жизнь Человека” Л. Андреева. «Схематично все с начала до конца. Это жизнь не чья-нибудь, не Ивана, не Наполеона, а “Человека”. Это не драма, не трагедия, а “представление в пяти картинах”.

Нет имен, нет эпохи, нет места, а те обозначения, которые по необходимости дал художник – все-таки художник! – намеренно противоречат всякой реальности. Лучший зал обширного дома Человека, где герой, разбогатец, дает бал, есть такое “общее место”. Мы видим перед собою в доме гениального архитектора очень высокую, большую, правильно четырехугольную комнату с совершенно гладкими белыми стенами, таким же потолком и светлым полом (...) Иногда этот намеренный ирреализм абстракций прямо переходит в орнамент». Перечислив далее различные

приемы стилизации в произведении Андреева, включая карикатуру, фантастику и романтическую идеализацию, критик сосредоточивается на главном герое, который “так божественно прекрасен, как бывает только на портретах Байрона”. «И “Жизнь Человека”, изображенная Андреевым, есть такая же общая, идеализированная человеческая жизнь, идеализированная в хорошем и в дурном, идеализированная в романтически приподнятом языке и в классически типичных положениях: голая “идея” всечеловеческой жизни». Обезличенность героев, по мысли критика, была свойственна Андрееву и раньше, но в “Жизни Человека” “эта трагедия ничтожества всякой личности” перед обстоятельствами “доведена до апогея”. «Страшно жить, потому что живешь не ты: живет за человека тот Некто в сером, кто был до него и будет после него. А Человек только покорно совершит “круг железного предначертания”» (Там же).

«Пестрая смена однообразного, одинакового, чужого – вот для Андреева вся “Жизнь Человека”. Но это однообразие он сумел показать по-новому, по-своему, в смене этих бесконечно обыкновенных, известных, необходимых вещей ничто не кажется нам скучным, ненужным, пошлым. Ибо это не банальность, но элементарность. Сведение сложных сплетений жизни к простейшим началам, к первичным силам, закономерная игра которых и образует то, что мы называем сложностью жизни. Это теоретическое упрощение того, что сложно по своему существу, есть самая обыкновенная и потому самая трудная задача мыслителя-художника, – и чем дальше он идет в разложении, тем труднее его подвиг (...) Задачу такого упрощения жизни поставил себе Андреев. Он исполнил ее с большим умением; он свел в органическое целое те основные представления, которые мы имеем о судьбе человеческой, о безразлично-хлопотливой атмосфере, в которой проходит наша жизнь в ее подъемах и падениях, в случайностях ее безразличной игры, в ее бессодержательности, в ее безнадежности. Очень ценно, что при этом он умело избежал той опасности, которою грозит упрощение. Упрощение всегда односторонне. Скелет или схема первой системы охватывают целого человека, но только в одном элементе его организации (...) И трудность стилизирующего искусства заключается именно в том, что, будучи близко к абстракции, оно должно оставаться мышлением в образах (...) Оно должно оставаться искусством, оно должно захватить в свой волшебный круг не только нашу мысль, но и наше чувство...» (Там же).

Л. Андреев, по мысли критика, “многим пожертвовал для элементарности, но сохранил дыхание жизни. Удивительно не то искусство, с которым он отпрепарировал скелет человека; удивительно то, что этот костяк возбуждает в нас живое отношение. В нем нет своей плоти и крови, но он отражает нашу плоть, нашу жизнь – и мы хотим знать его ближе, хотим думать о нем, хотим думать о нашей жизни, которую талантливый художник делает не нашей, чтобы показать ее ужас” (Там же).

“Смелость замысла, необычность формы, сильный лирический темперамент автора, его всенесомненный выдающийся талант, едкость сатиры и глубокий пессимизм, заражающий мрачной неприглядностью жизни в ее оголенном остове и вечным трагизмом смерти – все это привлекает с особой интенсивностью внимание к новому произведению Леонида Андреева, которое почти одновременно появилось в печати и на подмостках театра”, – так начнет свою статью о пьесе Андреева известный литературовед и критик Ф.Д. Батюшков. Отметив, что “представление”, как названа эта своеобразная пьеса “в пяти картинах с прологом”, – хотя и вызвало “разноречивые отзывы”, имело успех как на сцене, так и среди читателей, он признал этот успех вполне заслуженным. Замечательны, например, ремарки автора. Это “не простые указания для режиссера театра, а часть пьесы: они хороши сами по себе, литературны, значительны для понимания целого” (*Батюшков Ф. “Жизнь Человека”* Леонида Андреева // *Современный мир*. 1907. № 3. Отд. 2. С. 80).

Понравится критику и Пролог, который он назовет “почти поэмой в прозе”. “Автор, по-видимому, ничуть не склонен скрывать, – заявит он дальше, – что пьеса в своей основе примыкает к типу лубочных изданий с изображением главных моментов жизни человека, от рождения до смерти. Вот только в народных картинках число ступеней жизни человека больше”. Л. Андреев все этапы жизни свел к пяти картинам, но, главное, традиционные лубочные изображения “носят весьма определенную церковную окраску: представлены все таинства и обряды от крещения до отпевания тела покойного человека” (Там же). Андреев же “секуляризовал тему”. “Сюжет первоначально возник в средние века на почве аскетической проповеди о тщете жизни и необходимости думать лишь о спасении души. Л. Андреев сохранил мрачный колорит изображения суетности человеческих стремлений, но христианский аскетизм заменен философским пессимизмом, еще более безнадежным, принижающим значение жизни, охлаждающим всякие порывы к проявлению свободной воли человека (...)” (Там же). «Тут нет даже веры в родовое или идейное бессмертие, которую автор выдвигал в своей прежней пьесе “К звездам”. Тут нет “сына вечности”, а есть лишь “дитя рока” или даже “дитя смерти”, через смерть (матери) рожденное и смерти обреченное от самого рождения» (Там же. С. 80–81).

Замысел Андреева, по Батюшкову, удался ему не более, чем тысячам других, задумывавшихся над загадкой бытия, но он имеет отчетливо атеистический характер. “Мысль о смерти – колыбель религий. Ею запугивали воображение живущих и затем питали рассказами о загробной жизни. Для Л. Андреева – ночь в начале и конце жизни, и в продолжение ее – жестокая, неумолимая судьба, которая охватывает железным кольцом всю жизнь человека...” Его философия – “философия детерминизма, самого крайнего, беспросветного детерминизма, который не уделяет ни малейшего места свободной воле человека, даже в ее значении психологического фактора”. «Автор воплощает идею Рока в фантастический образ “Некто в сером, именуемый Он” (...) Рок – символ детер-

минизма, заменяет религиозные представления об ангеле-хранителе, по христианским воззрениям, или сократовского демона, сопутствующего каждому смертному» (Там же. С. 81).

Батюшков отдает должное Андрееву. Он “внес свое понимание при обработке старинной темы: весь сюжет получил новое индивидуальное освещение. Нужна была большая смелость, чтобы взяться за такой общий, общеизвестный сюжет, как изображение ступеней человеческой жизни, смелость, чтобы решиться переделать лубок в художественное произведение, и автор доказал, что он имеет право на эту смелость...” (Там же).

“За всем тем, отдавая должное таланту автора, – пишет далее критик, – становясь на его точку зрения в искании новых форм или в новом использовании старых форм примитивного искусства для воплощения отвлеченной идеи в художественном образе, оценивая весь придаток индивидуального творчества при переработке старинного сюжета, любуясь красотой стиля Андреева и мастерской отделкой некоторых эпизодов в пьесе, мы расходимся с автором в его миропонимании, усматриваем значительную неровность при выполнении намеченной задачи и, наконец, не можем не высказать несколько возражений против того принципа искусства, которому автор, по-видимому, намеревался следовать, но, на наш взгляд, сам его опроверг, так как лучшие места в его пьесе идут ему вразрез” (Там же. С. 82).

От спора о миропонимании Батюшков отказывается, поскольку автор имеет полное право исповедовать тот взгляд, к которому он пришел, но вот образ Человека вызывает у него полное неприятие. “Нам сулят показать какого-то не только общечеловека, но всечеловека и жизнь всех людей в судьбе одного человека. Автор гонится за обобщениями, которые, по замыслу, лишены конкретных очертаний. Он берет голую идею, абстракцию, и придумывает для нее воплощение. Он сводит жизнь к математической формуле, и эту формулу хочет облечь в образ” (Там же). Такой путь Батюшков не приемлет, хотя и видит в современном искусстве многочисленные попытки вернуться к примитивным формам искусства. Но он разглядит в “Жизни Человека” “сатиру на мещанство, избличение мещанских взглядов, навыков, тщеславия, мелочности интересов, суетности стремлений, ограниченности кругозора” и некий морализм: “Автор от сатиры переходит к дидактике и заканчивает приемами настоящего моралиста, запугивающего примером суетной и тщеславной жизни, завершенной в глубоком падении” (Там же. С. 83–84).

К числу философских драм отнесет “Жизнь Человека” А. Измайлов. Он включит ее в тот ряд философской литературы, который для него начинается Байроном, а продолжается Ренаном. Но андреевская пьеса отличается от них своим стилизаторским характером. “Она намеренно упрощена, выгнута в прямую линию. Из нее рассчитанно устранено все необщее, возвышающееся над будничным, общежитейским. Автор хотел столкнуть высший трагизм бытия с безнадежнейшей пошлостью обыденщины на одной плоскости. Как бы жизнь человека ни была раз-

нообразна, если смотреть на нее с точки зрения вечности, она сведется к трафаретке, – родился, жил, любил, выбивался из бедности в богатство и умер. Андреев хочет показать эту трафаретку во всей ее страшной простоте. Пошлость людей он намеренно берет во всей ее незамаскированности, нарочитой схематичности, лубочной грубости. Чем она предстанет прямолинейнее, примитивнее, тем, кажется ему, ее соприкосновение высшему трагизму жизни будет ярче” (*Смоленский [Измайлов А.А.] “Жизнь Человека”, представление в пяти картинах Леонида Андреева // БВед. 1907. 24 февр. (№ 9764). Утр. вып. С. 5).*

«Как литературное произведение “Жизнь человека” в высокой степени характерна для Л. Андреева. На нем лежит след его большого таланта. В нем есть великолепное проклятие человека судьбе. В нем прекрасно, – нежно и прочувствованно, – тоскует отец по уходящем из жизни ребенке, и трогательно молится мать. В картине “бала” в нем намеренно грубыми штрихами, но с силою опозорена человеческая пошлость», – считает критик, но оговаривает, что “сатирическая часть драмы” “много выше философской” (Там же).

«О “представлении” Л. Андреева будут много говорить и спорить, – предрекает Измайлов. – Оно будет вызывать восторги одних и жесткое порицание других. Это гарантирует новой вещи Андреева и его имя, и экстраординарность его эксперимента над философской драмой» (Там же).

Измайлов положительно оценивает спектакль Мейерхольда, соотносит его с приемами и жанрами классического театра: «Спектакль был, что бы то ни было, в высокой степени интересен. Аплодисменты были шумны. Вызывали автора. Вызывали Мейерхольда и главных исполнителей несколько раз. Можно вдумываться, не есть ли “Некто в сером” старый греческий рок, не исполняет ли он роли хора, не есть ли читаемое им предисловие “Пролог” греко-римского театра, не близится ли грим драматического театра к греческой моде, можно вспомнить многие из старых мистерий и применить к “Жизни Человека”, но и всем этим соображениями нельзя отказать в любопытности» (Там же).

Неожиданное сопоставление “Жизни Человека” с цыганским романсом предложит автор “Обозрения театров”. Пьеса Андреева, заявит он, «принадлежит к тем счастливым произведениям литературы, которым уделяется больше внимания, чем они заслуживают. Лишенная озабоченной новой мысли, примитивная по форме, старый афоризм по содержанию, новая драма Леонида Андреева, как уже видно по газетным рецензиям после первого представления в театре В.Ф. Коммиссаржевской, становится центральной темой сезонной критики. Но я склонен думать, что успех “Жизни Человека” для драматургии – это повторение успеха цыганского романса для музыки. Успех этот основан на общедоступности “идеи”. Романические коллизии цыганских романсов, все эти “упоения” поцелуем, “свидания с милым дружкой” и “нега” и “страсть” “под чарующей лаской” – инстинктивно чувствуют все без исключения. Для этого человек должен обладать элементарной, пожалуй, просто жи-

вотной чуткостью. Тут от публики не требуется никакой рафинировки, никакого особенного развития вкуса и художественного чутья. Музыка цыганских романсов, как известно, вполне отвечает тексту их, она элементарна, примитивна и общепонятна, как “поцелуй милого дружка”. Так же и “Жизнь Человека”. Что жизнь есть, по выражению поэта, “пустая и глупая шутка”, – это мы все инстинктивно чувствуем, наблюдая свою жизнь, предчувствуя свой конец, изучая жизнь во всех ее проявлениях. А по форме драма Л. Андреева – намеренный лубок. Это все признают. Получается общее место» (*Объективный. “Жизнь Человека” // ОбозрТ. 1907. 28 февр. (№ 82). С. 5).*

Наиболее подробно о спектакле Театра Коммиссаржевской писал критик “Петербургской газеты” Ф.В. Трозинер, печатавшийся под псевдонимом Омега. Он считал, что «мистическое начало сразу овладевает зрителем. Жуткий трепет ожидания, когда “в ночи небытия вспыхнет светильник, зажженный неведомой рукой” и совершится рождение человека, висит и дрожит в воздухе. Это мистическое настроение прекрасно выражено г. Андреевым и, благодаря художественному старательству режиссера, владеет зрителем неотступно» (*Омега [Трозинер Ф.В.]. Драматический театр В.Ф. Коммиссаржевской: “Жизнь Человека”, соч. Леонида Андреева // Петербургская газета. 1907. 24 февр. (№ 54). С. 4–5).*

Вторая картина представляется критику наиболее интересной у Андреева, но самой неудачной в постановке Мейерхольда: «У г. Андреева от всей картины веет свежим, туманящим голову ароматом весны. Золотом яркого солнца отовсюду блестит здоровая, смеющаяся, ничего не страшая, верящая в себя, в свою любовь, в свое счастье, гордая молодость. Кажется, что даже каменное лицо “Неизвестного в сером” должно озаряться тихой улыбкой, и что на его безнадежно-серое покрывало должны лечь светлые радостные блики. “Все залито ярким, теплым светом”, так отмечает сам автор. А г. Мейерхольд оставил почти половину сцены в тусклом освещении, почти в полумраке, осветил, и то с помощью фонаря, только две кровати и маленькое пространство между ними. По этой причине получилось, что и Человек, и его жена казались танцующими китайскими тенями на ярко освещенном экране. И затем, к чему эти две нелепые двуспальные кровати с такой массой подушек? Две двуспальные кровати – это немножко много даже для очень влюбленных новобрачных. А парочку подушек можно было бы свободно продать, чтобы бедные молодые люди хотя бы день или два не испытывали голода» (Там же). Впрочем, остальные три картины поставлены “очень хорошо и выразительно”. Что касается “Некоего в сером”, то, по мнению критика, выводить на сцену того, кого все называют Он, “не следовало”. «(...) Конечно, не по цензурным соображениям, а потому, что таким путем на тонкое и глубокое, возвышенное и волнующее мистическое начало набрасывается слишком реальное и грубое – скажу прямо – некрасивое покрывало. “Некто в сером”, разгуливающий по сцене и поднимающийся по лестнице, – это только “некто в сером”, не таинственный, не страшный, не властный и не жуткий, а, может быть,



даже смешной, – просто чудак, разгуливающий с догорающей свечой в руке...» Такой “Некто в сером” “не внушает никакого мистического настроения, никакого ужаса” (Там же).

Сам автор постановкой удовлетворен не был. Признавая талантливость Мейерхольда, Андреев в то же время считал, что тот придал постановке несвойственный ей мистический характер. «“Жизнь Человека”, – заявил он корреспонденту газеты “Сегодня”, – я считаю самой реалистической драмой, лишь стилизованной». Одобрив сами по себе поиски Мейерхольдом новых путей в искусстве, он вместе с тем высказал недовольство искажением авторского замысла. Хотелось бы, заявил Андреев, чтобы лица персонажей “были освещены, а не терялись во мраке. Этот мрак! Мейерхольд злоупотребляет им. Всю пьесу он пронизал мраком, нарушив цельность впечатления. В ней должны быть свет и тьма”. И далее протестовал против однотонности постановки, отсутствия даже во второй картине жизнерадостности и света. Не устроил Андреева и исполнитель роли Человека. В частности, ему не понравилось то, что вызов судьбе у Человека звучит недостаточно страстно и сильно (*Старый воробей* [Соляный П.М.]. Л. Андреев о Мейерхольде // *Сегодня*. 1907. 20 сент. (№ 328). С. 3).

Неудовлетворенность Театром В.Ф. Коммиссаржевской привела к тому, что драматург главные надежды возложил на спектакль Художественного театра. Стремясь к максимальной реализации своего замысла, он заявляет в письме К.С. Станиславскому, что на этот раз “сам хотел бы побывать при постановке пьесы” (*Вопросы театра*. С. 280). Не дожидаясь ответа от театра, Андреев направил развернутое письмо Станиславскому, тщательно истолковывая свой художественный замысел. «Идя по новому, еще недостаточно исследованному пути, я не мог дать в пьесе все, что думал, и многое осталось недоговоренным, иногда только намеченным. Ясная мне самому – другим, не знающим моих мыслей, “Жизнь человека” может показаться темной. Виноват в этом я: насколько возможно сделать это в письмах, постараюсь рассказать, как мне лично представляется постановка. За справедливость своих соображений я, однако, не ручаюсь.

Некто в сером говорит: “...далеким и призрачным эхом пройдет перед вами жизнь человека...”

В подчеркнутых словах – основной тон игры. Если в Чехове и даже Метерлинке сцена должна дать жизнь, то здесь – в этом представлении – сцена должна дать только отражение жизни. Ни на одну минуту зритель не должен забывать, что он стоит перед картиною, что он находится в театре и перед ним актеры, изображающие то-то и то-то. И сами актеры, изображая, не должны забывать, что они актеры и что перед ними зрительный зал. Как дать такое соединение: захватывающую игру и одновременно искусственность, и можно ли дать – я не знаю.

В связи с тем, что здесь не жизнь, а только отражение жизни, рассказ о жизни, представление, как живут – в известных местах должны быть подчеркивания, преувеличения, доведение определенного типа, свой-

ства до крайнего его развития. Нет положительной, спокойной степени, а только превосходная. Если добр, то как ангел; если глуп, то как министр; если безобразен, то так, чтобы дети боялись. Резкие контрасты. Родственники, например, в первой картине должны быть так пластично нелепы, пошлы, чудовищны, комичны, что каждый из них, как фигура, остается в памяти надолго. У вас это делают прекрасно. Взять гостей в “Иванове” – вот уже готовая положительная степень, из которой нужно сделать превосходную.

Также и гости “на балу”. Вообще весь этот “бал” откровенно должен показать тщету славы, богатства и так называемого счастья. Отсюда и убожество обстановки и бедность пустого, однообразного, повторяющегося мотива, и откровенная глупость. Они, эти гости, должны быть похожи на деревянных говорящих кукол, резко раскрашенных. Деревянные голоса, деревянные жесты, деревянная глупость и надменность. В сущности, все они, начиная с оголенных люстр, кончая отчаянно играющими музыкантами, испытывают невыносимую скуку, но не понимают этого, и думают, что им весело. Если бы мне удалось дать, что я хочу, – эта картина “веселья” должна бы быть самой тяжелой из всех, безнадежно удручающей. Это не сатира, нет. Это изображение того, как веселятся сытые люди, у которых душа мертва. Пьяницы и вся пятая картина – кошмар. Чувствую, что она удалась вам необыкновенно.

Но вот еще одно очень важное обстоятельство. Так как все это – только отражение, только далекое и призрачное эхо, то драмы в жизни человека нет. В четвертой картине молитвы и проклятия, очень удобной для чисто драматических проявлений, и я с трудом удерживался от того, чтобы не перейти границу и кое-где вместо отражения жизни не дать настоящей жизни. Так, например, я допустил сперва такую ошибку. Когда, после смерти сына, входит жена, Человек спрашивает ее одним только словом:

– Умер?

Понятно, как драматично, безыскусственно может прозвучать это Слово. И вместе с тем – как раз и нарушит цельность вещи. И потому я подставил смягчающее, отдаляющее:

– Наш сын умер?

Но если выкинуть драму совсем, то, по непривычке к такого рода нарисованным представлениям, публика сразу начнет чихать и кашлять. И потому я смалодушничал: кое-где в четвертой и пятой картинах я оставил драматическое местечко (например, молитва отца, которую, в сущности, следовало сделать холоднее и отвлеченнее). Но в общем и горе и радость должны быть только представлены, и зритель должен почувствовать их не больше, чем если бы он увидел их на картине. Иначе, если исполнители начнут давать драму, в то время как я упорно старался ее не давать, – получится мало заметный на первый взгляд, но убийственный разлад.

Наконец, еще одно соображение. Сцена соединена только с залом, – от закулис она должна быть оторвана. Во все пять картин за сценою ночь

и полное безмолвие. Был у меня соблазн – ввести кое-какие эффекты для настроения, но я от них воздержался» (*Вопросы театра*. С. 280–282).

“Во всяком случае, – заканчивает письмо Андреев, – я думаю, что если Вашему театру не удастся, то уже и никому не удастся” (Там же. С. 280).

Премьера в Московском художественном театре состоялась 12 декабря 1907 г. Режиссеры К.С. Станиславский и Л.А. Сулержицкий, художник В.Е. Егоров, музыка И.А. Саца. Роли исполняли: Некто в сером – И.М. Уралов, Человек – Л.М. Леонидов, Жена – В.В. Барановская.

При постановке пьесы Станиславский впервые воспользовался новым, им открытым принципом – черным бархатным сценическим фоном. Для “Жизни Человека”, считал Станиславский, “черный фон подходил исключительно удачно. На нем можно говорить о вечном. Мрачное творчество Леонида Андреева, его пессимизм отвечали настроению, которое давал бархат на сцене. Маленькая жизнь человека у Леонида Андреева протекает именно среди такой мрачной, черной мглы, среди глубокой, жуткой беспредельности. На этом фоне страшная фигура того, кого Леонид Андреев назвал Некто в сером, кажется еще призрачнее. Она и видна, и вместе с тем – как будто не видна. Чувствуется присутствие кого-то, с трудом различимого, кто придает всей пьесе роковой, фатальный оттенок. Именно в эту черную мглу надо поместить маленькую жизнь человека и придать ей вид случайности, временности, призрачности. В пьесе Андреева жизнь человека является даже не жизнью, а лишь ее схемой, ее общим контуром. Я достиг этой контурности, этой схематичности и в декорации, сделав ее из веревок. Они, как прямые линии в упрощенном рисунке, намечали лишь очертания комнаты, окон, дверей, столов, стульев (...)

Естественно, что и люди в этой схематичной комнате должны быть не людьми, а тоже лишь схемами человека. И их костюмы очерчены линиями. Отдельные части их тел кажутся несуществующими, так как они прикрыты черным бархатом, сливающимся с фоном. В этой схеме жизни родится схема человека, приветствуемого схемами его родных, знакомых. Слова, ими произносимые, выражают не живую радость, а лишь ее формальный протокол. Эти привычные восклицания произносятся не живыми голосами, а точно с помощью грамофонных пластинок. Вся эта глупая, призрачная, как сон, жизнь неожиданно, на глазах публики, рождается из темноты и так же неожиданно в ней пропадает. Люди не выходят из дверей и не входят в них, а неожиданно появляются на авансцене и исчезают в беспредельном мраке” (*Станиславский К.С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 1. С. 399*).

При том что “пьеса и постановка имели большой успех”, Станиславский не был удовлетворен результатами своей работы: с помощью черного бархата удалось достигнуть только внешних эффектов, декорации отвлекли “от внутренней актерской сути”. Спектакль, по мнению режиссера, “не принес ничего нового нашему актерскому искусству”: «Оторвавшись от реализма, мы – артисты – почувствовали себя беспо-

мощными и лишенными почвы под ногами. Чтобы не повиснуть в воздухе и не сесть между двух стульев, мы, естественно, потянулись к тому, что внешне, механически привычно нам, то есть к обычному актерскому ремесленному приему игры, благо он, по непонятному недоразумению, принимается толпой за “возвышенный стиль” актерского исполнения» (Там же. С. 401).

Л. Сулержицкий считал несомненной удачей спектакля музыку, написанную Ильей Сацем: композитор “прекрасно чувствовал стиль, угадывал основной принцип той или иной постановки” (*Сулержицкий Л. Илья Сац // Маски. М., 1912. № 2 (ноябрь). С. 25*). «В “Жизни Человека”, например, – пишет Сулержицкий, – в первых же ходах его польки на балу у Человека, гротеск, в котором шла постановка, выражен так, как может быть не выразился он нигде так цельно и ярко в самой постановке. В этих аккордах, написанных параллельными квартами, звучащими жутко, тяжело и самодовольно-пусто, квинт-эссенция всей идеи постановки. Тут в звуках дан весь ужас черной пустоты, в которую брошен человек, это маленькое самодовольное существо, даже не сознающее своей беспомощности.

Говорят, с точки зрения академической музыки, эти параллельные кварты недопустимы. Но для нас – именно в них-то, в этих пусто звучащих и неразрешенных аккордах сказано все, о чем говорится в течение четырех актов на сцене. Тут и черный бархатный бездонный фон, и тупость гостей и дальше, во второй части польки, полной бесконечной тоски по чем-то прекрасном, но недостижимом, – те бледные, изуродованные жизнью девушки, которые танцуют в каком-то трансе на балу у Человека» (Там же. С. 25–26).

Что касается автора пьесы, то он не поддержал подобные восторги по поводу музыки, более того – высказал свое неудовольствие в связи с тем, что Художественный театр изменил мотив польки, которая играется на балу. Свое неприятие и новой музыки, и спектакля в целом Андреев высказал в письме Вл.И. Немировичу-Данченко осенью 1908 г.: «Вот я написал для Вас, именно для Вас “Жизнь человека” – и что же Вы сделали с нею? Употребили все старание, чтобы усложнить ее, навалили груды бархату и шелку и даже упразднили мою музыку, органически связанную с представлением – слишком простая, она звучала бы крайне неприлично среди бархата перед первым абонементом, которому Вы служите. Я помню слова Станиславского: “Мы дали пьесе благородство, но отняли от нее силу” – нет, это не совсем правда: силу Вы отняли, а вместо благородства дали роскошный коленкоровый переплет» (цит. по: *Беззубов В.И. Леонид Андреев и Московский Художественный театр // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1968. Вып. 209. С. 153*).

Однако позже Андреев изменил отношении к этой музыке (см. запись в дневнике от ноября 1915 г., где он пишет о глубоко личном переживании этого “мотива”. *С.О.С. С. 25–26*). Ноты музыки И.А. Саца воспроизводятся в “Приложении” (с. 494–496 наст. тома).

Премьера “Жизни Человека” в Художественном театре стала событием театральной жизни Москвы. На него откликнулись рецензенты таких газет, как “Русские ведомости”, “Час”, “Русское слово”, “Театр”, “Голос Москвы”, “Раннее утро”, “Московские ведомости”, “Русь”, “Слово”.

В статье, опубликованной на следующий день после премьеры, друг и поклонник театра Н.Е. Эфрос отметил “громкость впечатления, чрезвычайную степень художественной взволнованности и (...) дружное сочетание автора и театра (...) успех громадный. Переставшая аплодировать зала Художественного театра забыла о своем решении – и гремели громы. После 2-го, 4-го и 5-го актов по много раз был вызван Леонид Андреев. И каждое появление популярного писателя встречалось восторженным взрывом”.

В рецензии Эфроса выражалось восхищение великолепной игрой Леонидова и Барановской и сожаление, что “не так удался Некто в сером (...) г. Уралов, самый характер его голоса и читки не подходят сюда, не давали нужного эффекта” (*Старый друг [Эфрос Н.Е.]*. “Жизнь человека”: вчерашний спектакль // Театр. 1907. 13 дек. (№ 130). С. 15).

14 декабря газета “Театр” публикует новую статью Эфроса. Продолжая радоваться успеху спектакля, критик подчеркивает: “(...) мы присутствовали при первом истинном опыте сценического осуществления обобщенной драмы”. Ставить драму в обычных декорациях, по мнению Эфроса, было невозможно, ибо получилось бы конкретизирование, которое “убивает пьесу Андреева, оно делает его драму незначительной. При помощи черных бархатных стен с белыми контурами окон и дверей Художественный театр сумел дать громадную обобщенность (...)” (Там же. 14 дек. (№ 131). С. 13, 14).

Еще одну статью рецензент посвятил обстоятельному анализу актерских работ, высокопрофессиональному, талантливому исполнению ролей Человека и Жены. Здесь же Эфрос поделился своими сомнениями по поводу цельности сценического решения эпизода бала. Он считает напрасным, что «по обе стороны карикатурного ряда поместили прекрасных дев в белом, точно снятых с эллинских ваз. А сами по себе эти четыре изящных фигурки с золотыми волосами и красивыми, нежными лицами, были очень прелестны. И они так грациозно повторяли позы и жесты Айседоры Дункан. И для них было даже дано особое, печальное колено польки. Но никак нельзя было ее пристроить к целому картине. Я знаю, режиссеры думали этим показать, что среди всего царства пошлости, что захватила человека и засорила его жизнь, есть все-таки и кусочки красоты (...) но это не воспринималось непосредственно. Это было лишнее. И когда четыре белых девы с золотыми волосами скорбно прикрывали рукою лица, точно чтобы не видеть пошлости бала – это производило впечатление только режиссерского ребячества. Это был “символизм” не то что плохого тона, но очень уж большой наивности. И говорило о недостатке вкуса» (Там же. 16 дек. (№ 133). С. 20).

Сергей Глаголь, присоединив свой голос к тем критикам, у кого работа Художественного театра вызвала исключительно положительные отклики, построил свою статью на последовательном сопоставлении пьесы и спектакля. У Андреева, по наблюдению Сергея Глаголя, “образы не выдержаны в одном тоне. Его Человек то едва намеченная туманная отвлеченность, Некто, подобный человеку, то самый обыкновенный реальный человек, охваченный юною радостью бытия, или истекающий настоящею горячею кровью своего сердца. Недостаток ли это драмы? Я этого не думаю, но, во всяком случае, это ее особенность” (*Глаголь Сергей [Голоушев С.С.]. Художественный театр и “Жизнь Человека” // Московский еженедельник. 1908. 8 янв. (№ 2). С. 49.*

“Что же мог сделать театр, реализуя это все на своих подмостках? – продолжает размышлять Сергей Глаголь. – Разумеется, он должен был показать все те же переходы отвлеченного к реальному и обратно от реального к отвлеченному. И отсюда та пестрота постановки, которую сейчас же отметили и чуткие зрители, и печать, но это не только не промах, а наоборот, это ее большой плюс. В этой нестройности угадана одна из коренных особенностей пьесы и от нее же представление выиграло в интересе. Оно стало разнообразнее, не утомляет однотонностью и оставляет очень богатое красками впечатление” (Там же. С. 50).

Вместе с тем критик отмечает некоторую непоследовательность театра в прочтении четвертой картины пьесы Андреева. Театр не почувствовал, что старуха-нянька – абстракция, она принимает очертание бесстрастного Времени, которому все равно. А странный доктор – это само человеческое Сострадание. Не очень точной получилась пятая картина, в которой кричащие пьяницы выглядят реальными существами, а не кошмарными видениями Человека, одиноко сидящего в кабаке.

В целом же, считает Сергей Глаголь, постановка Художественного театра “сделала пьесу Андреева тоньше, разыграла ее тоном выше” (Там же. С. 53). Так, сцена бала у Андреева аляповатее и грубее, чем в спектакле. В Художественном театре “плачущая музыка Саца надрывает сердце и рядом с ней и грациозно движущимися девами все разговоры не грубы, а трагичны и жутки и веют не пошлостью, а ужасом”; “настоящие художественные создания” и фигуры некоторых гостей: “толстая дама, с улыбающейся рожей, девица в огромной шляпе, камергер (...) а главные музыканты – все это удивительные фигуры, точно сорвавшиеся с рисунка Бердслея” (Там же).

Андрей Белый начинает свои размышления о спектакле с общей характеристики пьесы в контексте художественных исканий ее автора. «Мне думается, – писал Андрей Белый, – “Жизнь человека” является демаркационной линией в творчестве Андреева. Все написанное раньше, до “Жизни человека” – лишь подготовительная стадия. Там талант Андреева только созревает, сам Андреев еще не знает, по какому пути идти, он считает себя реалистом прежних времен, но в приемах впадает в символизм. Начинает с реализма, а кончает бездной, куда проваливается и реализм его. В этом смысле Андреев был всегда бессознательным

символистом. Если в “Жизни Василия Фивейского” и других вещах он начинает с реального, а кончает бездной, то в “Жизни человека” эту бездну он кладет в основу, она у него является фоном, где разворачивается жизнь человека» (Белый А. “Жизнь человека” // Раннее утро. М., 1908. 16 янв. (№ 48). С. 4).

Что касается постановки, то, принимая ее “в общих чертах”, по деталям рецензий вступает в полемику и с Художественным театром, и с некоторыми суждениями Сергея Глаголя. В частности, Андрей Белый считает, «что стиль Бердслея не идет к “Жизни человека”». И продолжает: «(...) я бы считал более удобным стиль Дюрера, перед картиной которого, как мне говорил сам Андреев, и пришла ему мысль написать “Жизнь человека”. Стиль немецких примитивов шел бы более к этой пьесе. Бердслей слишком хрупок. Стиль же “Жизни человека” – это образы, грубо изваянные из каменных глыб (...) Художественный театр дал “Жизнь человека” не Андреева, а Станиславского».

«По вопросу об исполнении пьесы скажу, – пишет далее Андрей Белый, – что более всего мне нравятся гости, хорош сам “Человек”, в особенности в третьем акте, на балу; во втором акте реалистические штрихи придают ему пошлый облик. Очень хороша “Жена Человека”. Безусловно неудачен “Некто в сером”: неудачны и исполнение, и сам способ воспроизведения его. В этом отношении у Коммиссаржевской было лучше» (Там же).

Довольно высоко оценил спектакль Художественного театра А. Воронников. По его мнению, это “цельная картина, задуманная своеобразно и красиво” (Воронников А. “Жизнь Человека” в Художественном театре // Золотое руно. 1908. № 1. С. 91). “Эти картины, – пишет критик, – воплощены Художественным театром, в общем, последовательно и с многими моментами захватывающей и незабываемой выразительности. Черный, беспросветный фон, на котором только белые или серебристые очертания архитектурных линий, дает большую красоту, так же как и эти два цвета в одеждах. Неприятным диссонансом врезаются в картину иные цвета, краски из реальной жизни, в особенности блестящие, цветные платья дам на балу”. “Прекрасный заключительный аккорд в Художественном театре – это последняя картина; в ней красота ужаса (...)” (Там же).

Иная точка зрения на произведение Андреева и его сценическое решение в статье постоянного оппонента писателя – Ю. Айхенвальда. Для него пьеса Андреева, “бедная мыслью”, “недостойна той постановки, какую ей дали в Художественном театре” (Айхенвальд Ю. Литературные заметки // Русская мысль. 1908. № 1. Отд. 2. С. 187). Художественный театр “воплотил произведение г. Андреева в чертах легких и намекающих, дал тени людей, схему существования, призраки вещей. Возникло жуткое впечатление кошмара (...) Если бы не артист, очень дурно исполнявший Некогого в сером, спектакль создал бы стройное впечатление мистики и фатума” (Там же. С. 184).

О пьесе же Айхенвальд пишет как о произведении внутренне банальном, прикрытом необычной формой, она “не представляет собою проникновения в тайники духа”, в ней “нет психологии”. “Некто говорит красиво, ритмично, – продолжает критик, – но его философия так элементарна и скучна, что иной раз подозреваешь, не кроется ли под его загадочной серой пеленою умный гимназист (...) У г. Андреева Некто думает как Человек, ничем от последнего не отличается. С таким Некто можно и потягаться, можно и договориться. Андреевский Некто не только серый, но и узкий” (Там же. С. 185–187).

Позднее о своем неприятии “Жизни Человека” Айхенвальд пишет в книге “Силуэты русских писателей”, подчас дословно повторив однажды уже сказанное: «И в своем представлении “Жизнь Человека” он предложил такую схематизацию и типизацию, такие обобщения, которые были бы чем-то обещающим в устах развитого юноши, но недостаточны тонки и глубоки для писателя, взрослого умом и талантом. Нет внутренней типичности в настроениях всех людей вообще и его Человека в отдельности» (Айхенвальд Ю. Леонид Андреев // Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Вып. III. 2-е изд. М.: Мир, 1913. С. 111).

И далее – продолжение претензий к Андрееву: “Вообще, изображая жизнь и смерть человека, все, что мы делаем и от чего страдаем, Леонид Андреев не проникает в тайники духа”. “В рамку пошлости вставляет он жизнь человека. Но сатира на пошлость не дается ему, она звучит у него всегда тенденцией, иногда – обидой, но никогда не правдой” (Там же. С. 114–116).

Еще более резкое неприятие пьесы и спектакля характерно для суждений Аврелия (В. Брюсова). Талант Л. Андреева, утверждает автор статьи «“Жизнь Человека” в Художественном театре», – “талант некультурный. Л. Андреев, как художник, не связан с высшей духовной жизнью своего времени. Он художник не верхов своего века, а его середины. Я бы выразил это еще иначе. Л. Андреев – талантливый писатель, но не умный и не образованный человек” (Весы. 1908. № 1. С. 144).

С этих позиций дается оценка пьесы: «“Жизнь Человека” – одно из самых слабых созданий Л. Андреева, если не самое неудачное»; «“Жизнь Человека” – единственное в своем роде собрание банальностей (...) на протяжении пяти картин действующие лица говорят только плоскости и пошлости. А в то же время автор, никогда не исчезающий за своими персонажами, сохраняет важный вид, словно он влагает в уста действующих лиц какие-то откровения»; “Если бы можно было серьезно отнестись к этому пятикартинному недоразумению в плохой прозе, мы сказали бы, что драма Л. Андреева – клевета на человека” (Там же. С. 144–145).

Та же заведомая неприязнь в суждениях В. Брюсова, когда он пишет о сценической интерпретации пьесы: «Поставить “Жизнь Человека” на сцене – задача неблагоприятная. Что можно сделать с этим выкидышем? Как влить жизнь в мертвые схемы и скучные трафареты, или как схематизировать, стилизовать сцены мелодраматические и бытовые?» И



далее перечисляются недостатки постановки: она получилась пестрою “сообразно с пестротой самой пьесы”; со стилизованными декорациями не гармонировала реальная игра актеров, их “определенно современные костюмы”; “вместо танцующих было четыре декадентских женских фигуры, изгибавшихся á la miss Duncan”. “О самой игре сказать нечего, – завершая статью, утверждает ее автор. – Играли вообще хуже, чем обыкновенно в Художественном театре (...) Слушая со сцены этот поток трюизмов, становилось стыдно и за автора, написавшего их, и за бедных исполнителей, обязанных их докладывать нам, и за самого себя. Хотелось встать и тихонько выйти из зрительного зала” (Там же. С. 146).

“Шарлатанством на сцене” назвал работу Художественного театра В.П. Буренин. По его мнению, «более лубочного и балаганного спектакля кажется нельзя представить. И постановка, и обстановка, и игра сплошь всех “художественников” до такой степени карикатурны, что порой невольно является мысль: не было ли у гг. Станиславского и Немировича-Данченко лукавого умысла уронить пресловутую “Жизнь Человека” грубо-пародийным воспроизведением на сцене (...) общий тип постановки, обстановки и исполнения таков, что пошлость, глупость, скарденность и безвкусице бросаются в глаза. К нелепостям, сочиненным автором пьесы, прибавлены еще нелепости, исходящие из фантазии “художественников”; или же нелепости Андреевские изменены как раз наоборот в нелепости станиславско-немировские».

В подтверждение своих суждений Буренин приводит следующие примеры: «(...) у г. Андреева комната, где происходит “бал у Человека”, должна быть такою, что в ней “все полно холодной белизной” и “обилием позолоты”. А на сцене “художественников” зал этот таков, что в нем все полно чернотой дегтя и обилие сажи угнетает зрение»; «У г. Андреева на балу “мечтательно танцуют девушки и молодые люди, все очень красивые, стройные”. А на сцене “художественников” молодые люди похожи не то на молодых козорогов, не то на лакеев из московских ресторанов. Молодых же танцующих девушек поставили по паре направо и налево около сидящих “гостей”. Обе пары в продолжение целого действия однообразно кружатся и выкидывают какие-то якобы грациозные жесты в стиле Дункан» (*Буренин В. Критические очерки // НВ. 1908. 2 (15) мая. (№ 11543). С. 3.*

Одновременно с интенсивным обсуждением спектакля Художественного театра появляется немало статей, посвященных собственно произведению Андреева. И в этом случае немало тех, кто присоединяется к обличителям писателя.

Например, газета “Русская окраина” опубликовала статью с издательским изложением основных картин “Жизни Человека”: “Картина вторая. Любовь и бедность. Этим мало сказано: любовь и бедность, пошлость и глупость: основное начало молодости: жрать и любить, любить и жрать. Зависть ко всем, кто сытно жрет (...) В картине пятой человек Л. Андреева, наконец, умирает вместе со своим автором среди

пьяниц и сумасшедших, опять пророчески и автобиографически. Что такое Леонидо-Андреевский человек, про то знают только петербургские болота, да их нездоровые испарения, да больной мозг Л. Андреева и палата № 13” (*Старый знакомый. Жизнь Человека // Русская окраина. Самарканд, 1908. 22 апр. (№ 581). С. 2–3*).

Безапелляционно недоброжелательны и высказывания А. Курсинского: по его мнению, Андреев ничего не вынес из той пропасти, в которую “ухнул с самоотверженной решимостью”; “дал нам не более, как уже давно знакомые вопросительные знаки”. И далее: «А что сверх сего... право не надо и “ухать” в бездну, чтобы сказать нам, что мы: 1) рождаемся, 2) любим и нищенствуем, 3) работаем и наживаемся, 4) забываемся в пошлом веселье, 5) теряем близких и с горя пьем горькую, пока в скотском опьянении не околеем где-нибудь под забором или в грязном притоне» (*Курсинский А. Поворот в творчестве Л. Андреева // Русский артист. 1908. 2 марта. (№ 9). С. 130*).

Автор более поздней статьи назвал “Жизнь Человека” “одним из краеугольных камней, на фундаменте которых построена современная бесовская драма” (*Г. Наброски о современном литературном положении // Эхо театра: Календарь-альманах / Сост. А.А. Соколов. М., 1911. С. 101*).

Далее Г. дает свою интерпретацию смысла пьесы: «Жизнью человека он отрицает “жизнь человека”. В жизни нет смысла, нет цели, мало того, нет никаких более или менее осязательных данных, чтобы искать в ней смысла, хотя бы незначительного отличия ее от жизни собаки, слона, камня, папоротника, рыбы. Все бессмысленно и кроме того все, весь мир, природа, люди, особенно люди, все это отдано во власть слепого рока “Некоего в сером”, который (...) бестрепетной рукою держит “свечу жизни” и когда она, догорев, гаснет, умирает и человек, жалкое порождение невидимых глазу частиц материи, бессмысленная игра природы и прочее... чего нельзя только нагородить по этому поводу (...) В отношении проповедуемых идей произведение Андреева крайне одностороннее и реакционное. Отрицается жизнь, а значит действительность; истинная подоплека пьесы заключается в прославлении небытия”. От этих рассуждений Г. переходит к прямым оскорблениям: “Можно ли, здраво рассуждая, дойти до такого убожества мысли? (...) Только потакая умственной лености и невежеству толпы, можно было написать такое нелепое во всех отношениях произведение, как “Жизнь человека” (...) Боже мой, да ведь так убого не думали даже люди с неандертальными черепами» (Там же. С. 104–107).

Такого рода пассажиам противостоял вполне уважительный взгляд на произведение Андреева, высказанный Г.И. Чулковым. Силу Андреева он видит в том, что писатель “с изумительной определенностью, даже наивностью, даже грубостью ставит в своих произведениях самые роковые, самые центральные и насущные темы, волнующие человека” (*Чулков Г. Гастроли Художественного театра: “Жизнь Человека”*

Леонида Андреева // Современное слово. СПб., 1908. 22 апр. (5 мая). (№ 190). С. 3).

Это обращение к важнейшим проблемам, считает Чулков, вызывает негодование “образованных” критиков. Их нападки на писателя “сводятся обыкновенно к одному главному обвинению: Человек Андреева слишком наивный богоборец; Человек Андреева – не герой, а мещанин”. С точки зрения автора статьи, «это обвинение основано на глубоком недоразумении. О, конечно, Человек Леонида Андреева – самый обыкновенный человек и совсем не прометеевского склада. Но ведь Леонид Андреев в своем “представлении” нигде не дает повода думать, что он ставит центром “Жизни Человека” тему богоборчества. Это совершенно явно из того, что “Некто в сером” не есть Бог. “Рок, дьявол или жизнь, я бросаю тебе перчатку, зову тебя на бой!” – вот точные слова Человека, обращенные к “Некому в сером”. И в “представлении” нет ни одной фразы, на основании которой мы могли бы отождествить с божеством тот символ, “каменное лицо” которого страшно для человека. И для всякого, кто умеет читать, должно быть явно, что “Некто в сером” – рок, необходимость, косность, закон, но никак не Бог, никак не свобода, никак не любовь. И тот, кто спешит отождествить “Некоего в сером” с Богом, выдает свой тайный нигилизм и свое безбожие» (Там же).

В статье Чулкова, приуроченной к весенним гастролям Художественного театра в Петербурге, о самом спектакле москвичей сказано немного и без той категоричности, которая была характерна для прессы тех дней: «В постановке “Жизни Человека” на сцене Художественного театра много богатой “выдумки”, сложной технической работы, иногда художественного вкуса, но все же что-то в ней утомляет и не удовлетворяет. И я не знаю, кто в этом виноват. Иногда не нравится фантастика феерии, иногда чувствуется разлад между условной обстановкой и безусловной игрой актеров (...)» (Там же).

Почти все писавшие о “Жизни Человека” в апреле–мае 1908 г. сравнивали два спектакля: Мейерхольда в Петербурге и Станиславского в Москве.

Для Л. Гуревич безусловно первенство великолепного Станиславского, правда, ей жаль, что творческая фантазия режиссера “затрачена на плохую пьесу” (Гуревич Л. Две новые постановки Художественного театра: “Жизнь человека” // Слово. 1908. 30 апр. (13 мая). (№ 444). С. 2).

“(...) Уродство этой пьесы, действительно, почти невыносимо, – настаивала критик. – Талантливый писатель, с мечущимся, самонадеянным и невыдержанным умом, с яркой, почти не русской красочной фантазией, в спектре которой преобладает черное, красное и огненно-желтое, с безнадежно разрастающимися кавернами в душе, – поражает в этой своей вещи не только психологической бессодержательностью, но и полным отсутствием вкуса и определенного стиля (...) Пьеса словно написана с нескольких, различных, точек зрения, и потому художественно безграмотна”.

По поводу петербургской работы Мейерхольда Гуревич пишет: “Общий замысел этой постановки – примитивность, грубоватость, переходящая в лубочность. Это было удачно, это смазывало разностильность пьесы в один общий сероватый фон (...) В общем, пьесу спасала некоторая бесформенность постановки, отсутствие на сцене выдержанных рисунков, которые бы заканчивали то, что осталось сбивчивым и смутным у автора, подчеркивая, таким образом, грубое смешение стилей в его самоуверенно-безобразной постройке”.

Иное дело, считает рецензент, сценическое решение Станиславского: «Обстановка пьесы и воплощение среды представляют собой чудо фантазии и выдержанности стиля. Станиславский подарил “Жизни человека” свое удивительное режиссерское изобретение – черные бархатные декорации, поглощающие световые лучи и создающие вокруг действующих лиц иллюзию зияющей пустоты, бездны. Театральное действие происходит при этом как бы вне времени и пространства» (Там же).

В характеристике московского и петербургского спектаклей Зигфрид также исходил из воинственно негативного отношения к пьесе: «На днях исполнилось десятилетие литературной деятельности Леонида Андреева, причем писатель этот, кажется, окончательно провозглашен великим! (...) И я сидел третьего дня в театре, смотрел на сцену и думал: как же это так? великий писатель – и такая, с позволения сказать, глупость, такая ничтожная вещь (...) При всем остроумии, вдохновении и смелости постановка “Жизни Человека” нисколько не спасает самое произведение: оно остается бессодержательным» (*Зигфрид [Старк Э.А.]*. “Жизнь Человека” // Санкт-Петербургские ведомости. 1908. 20 апр. (3 мая). (№ 89). С. 3).

Сходство между Станиславским и Мейерхольдом Зигфрид видит в том, “что оба отступили от авторских ремарок, стремясь провести во всей постановке тот стиль, который каждому представляется наиболее гармонирующим с его пониманием пьесы” (Там же. 23 апр. (6 мая). (№ 91). С. 3).

“Вообще пьеса Леонида Андреева, – продолжает рецензент, – в силу своей схематичности и неопределенности настроений, дает повод к различному толкованию. Одни видят в ней подчеркнутую пошлость жизни, и соответственно такому взгляду Мейерхольд, например, очень заботился о том, чтобы на сцене оттенить как можно рельефнее эту пошлость, что удалось ему особенно хорошо в сцене бала. Станиславский же, наоборот, отодвигает пошлость на задний план, лейтмотивом же своим делает тоску по жизни”. Музыка Саца “отражает то настроение, которое нужно было Станиславскому по ходу его художественной мысли в данной постановке; она проникнута тихой грустью, элегической тоской (...)”.

И далее о работе Станиславского: «Карикатурность, которая имеется в “Жизни Человека” в обрисовке фигур родственников в 1-м акте и гостей на балу и о которой, видимо, особенно заботился сам автор, не

забыта Станиславским, но она не выдвигается на первый план и трактована с большой осторожностью, в мягких тонах, без излишнего подчеркивания. Последняя картина, смерть Человека, – своего рода шедевр сценической техники. Тут так ловко распределено освещение, столько фантастического в очертаниях фигур и предметов, что трудно даже передать словами производимое этой сценой впечатление таинственного ужаса...» (Там же).

В сопоставлении двух театральных работ Влад. Азов исходит из убеждения, что “Жизнь Человека” – “прекрасное произведение Леонида Андреева” (*Азов Влад. [Ашкинази В.А.] “Жизнь Человека” петербургская и московская // Речь. 1908. 20 апр. (3 мая). (№ 94). С. 2.*

Критик дает последовательный, покартинный анализ спектаклей, выделяет главное, оценивает, мотивирует:

«В Москве: на черном фоне белые линии, графически указывающие окна и двери. Словно чертеж белым грифелем по черной аспидной доске. Белыми же линиями (...) обведены углы павильона. Ни теней, ни нюансов, ни пятен. Геометрия. Графика. Человеческая фигура возникает из темноты – это Некто в сером (...)

В Петербурге рельеф и живопись.

Оба замысла хороши, оба замысла законны.

(...) Художественный театр можно только поздравить с идеей представить “Жизнь Человека” в контурах и линиях. С идеей, но не с исполнением ее, – по крайней мере в прологе и картине первой.

Крик роженицы – грубое нарушение замысла (...) Если белого квадрата на черном фоне достаточно для меня, чтобы я представил себе окно, – разговоров о том, что роженица кричит, достаточно для меня, чтобы я представил крик роженицы (...) Хороши “старухи”, чуть видные, едва угадываемые. Хороши родственники (...) “Некто в сером” у москвичей плох: голосу его недостает металлической колючей жесткости. Он не провозглашает, он декламирует, и удивительные слова пролога, отдающиеся в душе как маятник вечности, пропадают.

Вторая картина была испорчена г. Мейерхольдом. Больше чем испорчена: искажена и зарезана поразительно пошлой постановкой – кроватями с розовыми одеялами, наводившими на мысль о росписи приданому, и с горами мешанских подушек.

У москвичей все просто, все схематично, но сухо. Черный фон, свежее дерево оконной рамы и лестницы, блеск букета – и больше ничего”.

Московские исполнители главных ролей показали Влад. Азову неизмеримо выше петербургских. Особых похвал удостоена В.В. Барановская – “прелестная жена Человека. Непочатый край хорошей, ненаигранной простоты, органическое отсутствие малейшей фальши, редкое психологическое изящество».

Огромные трудности, по мнению критика, представляла постановка картины “Смерть Человека” (“тема для Гойи, если только это не тема, заимствованная у Гойи”). “Их преодолел до некоторой степени г. Мей-

ерхольд, прибегнувший к средствам живописи. Об эти трудности споткнулся Художественный театр, отступивший от графики и не прибегнувший к живописи. Была попытка создать путем трюков и эффектов нечто кошмарное, получилось нечто невразумительное, какой-то трагический кинематограф” (Там же).

Среди рецензентов, откликнувшихся на спектакли гастролировавшего в Петербурге Художественного театра, было немало и тех, кому работа москвичей показалась малоинтересной и скучной.

По свидетельству А.А. Измайлова, представление вызвало недоумение, “аплодисменты были совсем жидки и единичны”. Спектакль Художественного театра показался ему менее смелым и эксцентричным, чем у Мейерхольда. «В постановке “Бала”, – продолжает критик, – у москвичей введены превосходные детали сатирического и карикатурного оттенка (...) Здесь очень выразительно подчеркнуты в символических фигурах, похожих на заводных кукол, глупая женская красота, тупое и откровенное самодовольство с размалеванными щеками, безобразная старость, надутое чванство, злословие и т. д. – и, однако, я опять едва ли отдам предпочтение вчерашней постановке».

Среди аргументов в пользу театра Коммиссаржевской, которые приводит Измайлов, – упоминание о более колоритной, чем у москвичей, фигуре камердинера, приглашавшего гостей на ужин: “Отъевшийся, как клоп, с огромным отвислым животом, на уродливо тонких ногах, бросающий почти презрительный зов гостям, – он запомнится навсегда” (*Смоленский [Измайлов А.А.] Московский Художественный театр в Петербурге: “Жизнь Человека” Л. Андреева // БВед. 1908. 17 апр. (№ 10455). Утр. вып. С. 6.*

“Провел на редкость скучный вечер. Было скучно, нудно и нарастало томительное желание уйти. Первоклассная труппа играла пьесу первоклассного писателя. Двойная магия, двойной гипноз имен” (*Жилкин И. Скучно: Маленький фельетон // Слово. 1908. 17 (30) апр. (№ 433). С. 2.* По свидетельству журналиста, публика на спектакле смеялась, кто-то повторял толстовское “Он меня пугает...”, кто-то якобы вспоминал слова Чуковского, что Андреев рисует не человеческие лица, а рожи. И. Жилкин предложил свою версию негативной реакции переполненного зала – в ней ставший привычным набор претензий к автору произведения: «В “Жизни человека” имеются два основных недостатка: в пьесе нет человека и нет жизни. Схема – не жизнь, а абстрактная тень человека – не человек (...) В “Жизни человека” нет ни терзаний, ни борьбы, ни сложной путаницы житейских отношений. Нет солнца, нет дождя, нет бурь и сладостного затишья. Есть только оголенный гнетущий страх смерти и нудная, серая фигура Рока, сторожащего каждый шаг человека» (Там же).

Н. Шебуев, назвав работу Художественного театра “нудным фарсом”, приводит свои аргументы: «“Жизнь человека” не должна заставлять смеяться, – от нее должны слезы на глаза навертываться».

“И свечу Бравича заменили электрической лампочкою”.

“Подменили и трагически пошлые замечания соседней, гостей и родственников Человека, придав им комический характер.

Не Бог весть, какой высокой марки комизм, но все же комизм, все же фарс”.

И итог сопоставлений критика: “петербургский театр гораздо ближе подошел к замыслу автора” (*Шебуев Н.* Рецензии // *ОбозрТ.* 1908. 18 апр. (№ 376). С. 3).

Скучным, нудным и однообразным показался спектакль москвичей А. Кугелю. По его мнению, причина неуспеха в том, что “идея пьесы Л. Андреева, в своей сущности, осталась чужда г. Станиславскому”. “Жизнь Человека”, считает рецензент, “с необычайной ясностью подчеркнула режиссерское, так сказать, самодовление г. Станиславского, режиссирование für sich, an sich, в свое имя, а не во славу и имя разыгрываемого или разыгрывающих. В Художественном театре как будто давали другую пьесу, и потому всякий мог себя спросить, почему понадобилось давать другую пьесу, решительно отступая не только от идеи пьесы (...) но и от прямых указаний и ремарок автора” (*Кугель А.* Театральные заметки // *ТулИ.* 1908. 27 апр. (№ 17). С. 313).

А. Кугель обращает внимание на несколько моментов несовпадения авторской воли и режиссерских решений Станиславского.

«Например, — пишет он, — у Андреева играют пустейшую и пошлейшую польку на балу у Человека. Поэтому, когда гости хвалят прекрасную музыку, это не только вызывает улыбку, — чудится еще все ничтожество нашего познания, весь обман наших чувств, вся суетность нашего наслаждения (...) Г. Станиславский же “заказал” какую-то благозвучную музыку, которую играет небольшой, но очень согласный оркестр (у Андреева явно сказано: фальшивят). Звуки этой торжественной музыки раздаются не только на балу. В последней картине откуда-то сверху, чуть ли не с неба, спускаются те же музыканты и, так сказать, сопровождают Человека в Елисейские поля теми же меланхолическими, задумчивыми звуками. Андреев надевает на Человека трагикомический колпак, — г. Станиславский же хоронит его, как генерала, с оркестром музыки и при всех орденах, которые несут на подушке» (Там же. С. 313–314).

Другой пример: «Все время действие происходит на черном фоне, в полном мраке, как в гробу, или как в “кабинете” магии. “Некто в сером” неотступно торчит все время пред глазами, как бы боясь уходом своим вселить недоверие к Року (...) У Андреева Некто в сером есть не более, как мистическая ремарка в житейской типичности. Г. Станиславский со своими 9-вершковыми рукавами, шестью комнатами, на сандаленными носами, петушиными голосами и пр. — вообще, со всею своею олеографией, которую простодушные считали “венцом” искусства, — конечно, этого не может ни понять, ни воспроизвести. Он груб в своем символизме, превращающемся в аллегоричность, как груб в реализме, вырождающемся в самый докучливый и несносный натурализм» (Там же. С. 314).

Говоря об исполнителях главных ролей, А. Кугель отдает предпочтение актерам театра Коммиссаржевской – москвичам «местами не хватало чувства, местами художественной лепки образа. Единственная удовлетворительная картина – “Любовь и бедность”, в которой очень недурны г. Леонидов и г-жа Барановская» (Там же. С. 314).

Накануне петербургских гастролей Художественного театра в четвертом номере альманаха “Шиповник” Леонид Андреев опубликовал новый вариант заключительной, пятой, картины пьесы. Отклики на эту публикацию по времени почти совпали с рецензиями на спектакль московичей.

В анализе этого варианта “Смерти Человека” автор статьи в газете “Тульская молва” ссылается на предисловие Андреева к новому тексту пятой картины, в котором, в частности, говорится, что «при первоначальном изображении Смерти Человека им был упущен важный момент – “Смены”». «(...) Введение нового элемента “Смены”, нового понятия – преемственности, – пишет критик, – есть уже значительная ломка всей трагической концепции драмы. Геометрическая формула Л. Андреева, что “Жизнь Человека” – “замкнутый круг железного предначертания” – рушится перед Сменой, как перед чем-то выходящим за пределы замкнутого круга рождения и смерти» (Пли-кий. Смена: (Л. Андреев. Смерть Человека) // Тульская молва. 1908. 2 мая. (№ 177). С. 2).

«Нетрудно однако заметить, – продолжает Пли-кий, – что в новом варианте случайное не заменено объективно естественным, а заменено опять-таки... случайным, элементом стихийного, а не органического характера. – Вместо случайных Пьяниц в новом варианте являются случайные Наследники (...) Естественный, органический, жизненнозаконный Наследник Человека – Сын Человека “случайно удален” автором еще в 4-ой картине, – а в пятой Наследниками выведены все-таки из категории случайных, с улицы... И нужно признаться, что Леонид Андреев, “упустив в своем первоначальном изображении Смену”, – как важный фактор в вопросе уяснения себе цели, смысла и ценности человеческой жизни, – прорела этого новым своим вариантом не восполняет, так как понятие смены вводит в случайных, органически не связанных с Человеком образах...» И потому, по мысли автора статьи, если из пьесы убрать все случайное (Пьяницы, несчастье, смерть Сына, Наследники с улицы), от «всей философской концепции “Жизни Человека” останется лишь то положение, что человек родился и умер...» (Там же. С. 2–3).

Н. Кадмин строит свои рассуждения на сопоставлении нового варианта пятой картины с повестью Бор. Зайцева “Аграфена”, которые были напечатаны в “Шиповнике” одновременно: «(...) проведите параллель между тусклой и холодной тоской и серостью существования Андреевского “Человека” и многокрасочной, полной теплоты и восторгов жизнью Аграфены Зайцева. “Человек” Андреева прежде всего мещански скуден и нищ. Он бессильно мечется в своих протестах против рока (...) Насладившись только сытостью и кошмарно-тупым довольством, этот жалкий человек кричит в бесконечность, в мировые пустыни свой



крик: – караул! Его грабят, у него отнимают его мещанское довольство. Но пройдя все ступени человеческого существования, он даже не прикоснулся к богатству, к мудрости, к красоте и тайне жизни. Деревенская девушка Зайцева взяла у жизни столько, что у Андреевского Человека глаза разбежались бы на эти богатства» (Кадмин Н. [Абрамович Н.Я.] Литературные заметки // Обр. 1908. № 5. Отд. 3. С. 52).

«В варианте пятого акта, – продолжает Н. Кадмин, – Андреев перенес умирание человека из кабака в его обветшалый дом. Но кошмарность не уменьшилась, а, пожалуй, увеличилась. Бред пьяниц заменился пошлостью “Наследников”» (Там же. С. 53). И далее – продолжение негативных суждений: “Андреев выпустил автомата-человека в умерщвленную, пустую, серую жизнь – и в отдельных моментах попробовал сделать его живым. Получилось не художественное произведение, а, положительно, какое-то уродство” (Там же).

В очередной раз для развенчания андреевской пьесы критик обращается к художественному опыту Метерлинка: “Метерлинковские схематичные формы губят последние произведения Андреева. Ключом Метерлинковского творчества Андреев не овладел. Он упускает из виду тот элемент лиризма и особой тонкой и смутной мистической идейности, которые у Метерлинка питают сухую ткань драматической схемы и сообщают ей жизнь и своеобразную творческую значимость {...} У Метерлинка схема – это что-то вроде окна, из которого дает он смотреть на вольность и простор жизни. Андреев вводит в комнату, окна и двери которой заколочены, сообщение которой с жизнью прервано. Вот четыре стены, душный потолок – и только” (Там же. С. 53–54).

М. Премиров, сравнив два варианта пятой картины, отдал предпочтение первому как более художественно выразительному и глубокому: “Первый вариант написан так сильно, ярко, страшно и безумно, что со сцены он действовал на душу как живой, разительный, безмерно тягостный кошмар. Правда, он был случаен, он отступал несколько от строгой схематичности пьесы, но он был мощен, но в нем был размах гигантской силы, он был нетипичен, не гармонировал с основным замыслом пьесы, но был художествен. И – более глубокий.

Теперь же на суд читателя автор представил новый вариант, где фигурируют вместо пьяниц наследники и вместо кабатчика – сестра милосердия. Может быть, наследники и ближе к жизненному трафарету, может быть, милосердие и существует, может быть, второй вариант *разумнее* в смысле приближения к точности схемы, но все же первый как вылившийся из души художника, души безумной, не укладывающейся в рамки алгебры, – все-таки первый вариант сильнее, могучее и ярче теми бездонно-черными провалами ужаса, которые разверзлись под ногами умирающего человека” (Премиров М. Литературные отклики: Альманах “Шиповник”. Кн. IV // Волжский листок. Казань, 1908. 22 июня. (№ 707). С. 2).

“Жизнь Человека” привлекла внимание многих провинциальных театров. Представления бурно обсуждались, подчас сопровождалась беспорядками, которые провоцировали монархисты и черносотенцы.

Такая неприятность случилась с постановкой, которую осуществил К.А. Марджанов сначала в Харькове (премьера 26 февраля 1907 г.), а затем повторил в Киеве. Пьеса шла в сукнах, с минимумом обстановки. Отзывы прессы были довольно сдержанные. Указывалось, в частности, на равнодушие публики, на невнимание режиссера к авторским ремаркам, на подражание постановке Вс. Мейерхольда (*Венедиктов. Городской театр // Харьковские ведомости. 1907. 28 февр. (№ 48). С. 4; Анцев С. “Жизнь человека” // Последние новости. Киев, 1907. 14 марта. (№ 18). С. 3.*

На первом же представлении в Одессе черносотенцы устроили скандал – о нем много писали в одесских и столичных газетах (*[Б.н.] Инцидент в театре Сибирякова // Новое обозрение. Одесса, 1907. 3 апр. (№ 211). С. 3; [Б.н.] Вандалы идут // Голос Волыни. Житомир, 1907. 5 апр. (№ 80). С. 4; [Б.н.] Истинно русские театралы // ОбзорГ. 1907. 6 апр. (№ 99). С. 9; С. Скандал в одесском театре // БВед. 1907. 7 апр. (№ 9836). Утр. вып. С. 4.* А председатель одесского Союза русских людей отправил телеграммы обер-прокурору Святейшего синода и иеромонаху Илиодору с требованием запретить “кошунственную” пьесу.

Драматическая цензура вновь рассмотрела пьесу и признала ее благонадежной. Однако Главное управление по делам печати издало специальный циркуляр по поводу постановки на провинциальных сценах “Жизни Человека”. Циркуляр был разослан губернаторам и опубликован в газетах. Приводим его полностью:

«В ноябре минувшего года драматическою цензурою была дозволена к представлению пьеса Леонида Андреева “Жизнь человека”, в коей одно из действующих лиц, именуемое автором “Некто в сером”, олицетворяет судьбу. Пьеса эта, поставленная на сцене одного из провинциальных театров, выдержала целый ряд представлений и никаких недоразумений не вызывала. Между тем, постановка “Жизни человека” на некоторых провинциальных сценах сопровождалась беспорядками, возникшими вследствие того, что часть зрителей, усмотрев в сценическом воспроизведении вышеупомянутого “Некто в сером” кошунство, требовала прекращения представления, остальная же публика настаивала на продолжении спектакля.

Принимая во внимание возможность возникновения подобных беспорядков вследствие присвоения роли “Некто в сером” несвойственного ей кошунственного характера, главное управление по делам печати, по приказанию министра внутренних дел просит губернаторов дозволять к представлению пьесу “Жизнь человека” лишь в том случае, если добросовестность антрепризы может служить ручательством надлежащего исполнения этой пьесы и если не имеется в виду причин, заставляющих опасаться нарушения порядка во время представления» (Цирку-

ляр о “Жизни Человека” Л. Андреева // *ОбозрТ.* 1907. 29 апр. (№ 110). С. 10–11).

На основании циркуляра спектакли по “Жизни Человека” были запрещены во многих городах России. Об этой тяжелой ситуации на примере финансового краха руководимой им труппы подробно рассказал режиссер и артист В.М. Янов: «В городах: Тверь, Орел, Тула, Тамбов, даже Саратов “Жизнь человека” давала в среднем такие сборы, что покрывали расход и оставалась прибыль. С Симбирска дело уже резко изменяется. Симбирский полицмейстер присылает ко мне пристава с заявлением, что “Жизнь человека” поставлена быть не может ввиду полученного циркуляра. После долгих хлопот спектакль мне разрешают. Предвидя подобные хлопоты в будущем, посылаю телеграмму в Театральное общество с просьбой выхлопотать мне бумагу, в которой бы значилось, что пьеса будет исполнена моей труппой добросовестно (для роли Человека я пригласил г. Аркадьева, игравшего эту роль в Петербурге) и роль “Некто в сером”, исполняемая лично мною, и не оскорбит ничьего религиозного чувства *(так!)*. На мою телеграмму я ответа не получил. И вот начались муки.

В Казани, в Вологде, в Ярославле, в Костроме, в Владимире или не разрешают “Жизнь человека” или разрешают после проволочки, срывая сборы.

В Вологде пьесу разрешили с тем условием, что “Некто в сером” будет стоять не в том углу, где указано автором, а в противоположном...

Пришлось заложить декорации, чтобы довезти труппу до Москвы.

Цензурованный экземпляр “Жизни человека” мне был вручен 19 апреля после всех одесских скандалов, после запрещения, после собрания всех цензоров, которые разрешили вновь пьесу к представлению. Не имей я этого экземпляра в руках, я бы разумеется не рискнул бы ехать» ([Б.н.] “Жизнь человека” – в провинции // *ОбозрТ.* 1907. 19 июня. (№ 123). С. 9).

В декабре 1907 г. жюри Общества русских драматических писателей и оперных композиторов в составе А.Н. Веселовского, П.Н. Сакулина и Р.Ф. Брандта присудило Л. Андрееву за драму “Жизнь Человека” премию имени А.С. Грибоедова (*БВед.* 1907. 24 дек. (№ 10269). Веч. вып. С. 3).

Несмотря на гонения со стороны светских и церковных властей, пьесу продолжали ставить в разных городах на протяжении 1908 года и реже в последующие годы. Газеты печатали информацию и рецензии о спектаклях в Нижнем Новгороде, Мариуполе, Симферополе, Симбирске, Бузулуке.

10 января 1908 г. в минской газете “Окраина” была опубликована статья без подписи о состоявшейся накануне в Городском театре премьеры “Жизни Человека”. Автор рецензии, посетовав на выбор для постановки явно неудачного произведения Андреева (“в пьесе много риторики, много натянутости, много деланной серьезности и мрачности”), нашел спектакль безупречным: «Можно не согласиться во взглядах вообще на

“Жизнь человека”, но нельзя не признать, что спектакль прошел блестяще и вполне заслуженно собрал ту многочисленную публику, которая сверху донизу переполняла театр... Блестящая была постановка. Блестящая была игра...» (Украина. Минск, 1908. 10 янв. (№ 134). С. 3).

В тот же день другая газета – “Минское слово” – напечатала рецензию, автор которой вполне доволен режиссерской и актерской работой: «Поставленная драматической труппой Е.А. Беляева пьеса Л. Андреева “Жизнь человека” привлекла массу публики. Об исполнителях мы говорить не будем, т. к. режиссер г. Славский, и г. Горский (человек), и г-жа Херувимова (жена), а равно и г. Морев в роли “Некто в сером” и другие персонажи прекрасно справились со своей задачей» (*Бемоль*. “Жизнь человека” // Минское слово. 1908. 10 янв. (№ 335). С. 3). Далее шел пространный перечень претензий к Андрееву, из которого следовало, что рецензент не знаком с самой пьесой, а судит о ней, исходя из увиденного в театре. «Г. Андреев, как писатель нового пошиба, воспитанный на Горьком и Ницше, – утверждает Бемоль, – не знает преград и полагает, что раз дан ему талант хотя бы с наперсток, то он может бытописать на аршинных полотнах. Поэтому он прежде всего пытается свалить с пьедестала представление о могуществе и Милосердии Высшей Силы, именуемой в просторечии Богом, и вот под обликом “Некто в сером” он старается доказать своим читателям, что если и существует “Он”, то это божество относится совершенно безучастно к страданиям людским (...).» По Бемолю, именно Андреев повинен в том, что во время спектакля “показывается в тумане какая-то фигура не в сером, а скорее в темно-коричневом, с бронзовым, жестким, некрасивым лицом и со свечой в руках и начинает монотонно декламировать. Во II акте та же фигура появляется уже в виде большой иконы, также со светильником в руках, причем свеча уже становится меньше. К этой иконе жена человека обращается с мольбой о помощи (...).” Совсем “ненатуральной” показалась критику сцена бала: гости напоминают стадо баранов, музыканты играют какие-то “трямблясы” на мотив “где училась Катенька”, а “фешенебельные гости танцуют и беседуют”. По этому поводу Бемоль вопрошает: “Интересно спросить автора, бывал ли он в аристократическом обществе, если не высокого, то среднего пошиба? Сомнительно”. В последней сцене автор рецензии увидел “нечто невообразимое. В чаду хмельного угара сидят, лежат, стоят на столах бывшие люди с бутылками в руках и стараются забыть горе. Посредине целовальник в виде сатаны наблюдает за грешными душами”.

Статья кончается обличительной риторикой, производящей комическое впечатление: “Да что же это такое, что за наваждение? Нечем дышать, мы задыхаемся от такой жизни. Воздуха, свежего воздуха скорей, живительных лучей солнца, ветра бодрящего, который бы подкрепил наши изнемогающие силы! Долой мрак, долой преступление, долой узкая эгоистическая жизнь! Дайте нам настоящую жизнь и человека в благородном смысле этого слова!” (Там же).

В полемику с Бемолем вступил критик, подписавшийся “Н.М.”, высказавший предположение, что тот руководствовался статьями Буренина и “вечными старыми идеалами, сшитыми по старой мерке”: «Я убежден, что если бы Минское общество и г. Бемоль видели “Жизнь человека” в надлежащем исполнении, они не смеялись бы над автором действительно глубокого, сильного произведения»; “Подавляющее и страшное впечатление производит пьеса... и уходя из театра, трагически жаль человека (...) страшно, что неминуемо для каждого пережить эти моменты, – и хочется ближе сплотиться с человеком, теснее встать друг с другом и помочь, всеми силами помочь человеку...” (Н.М. По поводу “Жизни человека” // Минское слово. 1908. 15 янв. (№ 339). С. 3).

Отзывы на спектакли, состоявшиеся в других городах, были лаконичны. Чаще всего они сводились к сообщениям о том, как вела себя публика, назывались имена исполнителей. При этом даже самые короткие заметки сегодня представляют определенный интерес:

Нижний Новгород. «Третьего дня при полном сборе повторена в городском театре пьеса Л. Андреева – “Жизнь человека”. Пьеса смотрелась с большим интересом и оставила сильное впечатление» ([Б.н.] Театр и музыка // Волгарь. 1908. 1 янв. (№ 1). С. 3).

Симферополь. «“Жизнь человека” в постановке драматической труппы А.М. Коралли-Торцова произвела сильное впечатление на зрителей. Из отдельных исполнителей выдающийся успех имели Белгородский (Человек), Вольская (его жена) и молодой актер г. Лигин (2 пьяница). После каждого действия публика дружно аплодировала исполнителям, вызывая их по несколько раз. Театр был почти полон. Пьеса должна была пойти и в воскресенье, но по требованию администрации она временно снимается с репертуара. Говорят, что она пойдет в пятницу» ([Б.н.] Симферопольский театр // Крымский вестник. 1908. 27 мая. (№ 118). С. 3).

Симбирск. Автор статьи, ссылаясь на мнение “всего общества”, считает пьесу несостоятельной. Но постановка, осуществленная в местном театре 9 октября, показалась рецензенту удовлетворительной. Правда, были и недостатки: роли старух исполняли мужчины; Некто в сером был в одеянии, которое от неверного освещения казалось двухэтажным, и т. п. При этом “все играли порядочно, а г-же Свободиной совсем недурно удался четвертый акт пьесы – несчастье человека”. Публика «вела себя в течение спектакля невозможно (...) самые интересные моменты пьесы проходили незамеченными, заглушаемые кашлем, хохотом или окриками кого-то: “тише” (...) Аплодировали и шумно и много» (Рцы. “Жизнь человека” Андреева // Симбирянин. 1908. 11 окт. (№ 504). С. 3).

Бузулук. «В пятницу, 31 октября, труппою драматических артистов под управлением А.Н. Брянского представлена была в первый раз на здешней сцене пьеса талантливого писателя Леонида Андреева “Жизнь Человека”. Пьеса прошла с большим подъемом и дружно разыграна артистами и артистками. Монолог в прологе “Некто в сером”, именуемый “Он”, прекрасно был исполнен г. Плесковым. Г. Арский в роли человека и г-жа Чистякова 1-я в роли жены человека произвели

своей игрой сильное впечатление на публику, которая слушала их с напряженным вниманием (...) Остальные исполнители дружно провели свои роли, так что лучшего желать нечего» (Бузулукский вестник. 1908. 2 нояб. (№ 40). С. 2).

“Жизнь Человека” ставилась в Дюссельдорфе, в Русском общественном собрании Таллина, в парижском театре “Атеней”. В заметке без подписи, опубликованной в “Крымском вестнике”, в частности, сообщалось: «Заманить публику на русский спектакль здесь вообще довольно мудрено, но на этот раз театр был настолько полон, что многим отказывали в местах, и пьеса будет повторена несколько раз. О впечатлении говорить трудно, так как постановка была чисто любительской, несмотря на преобладание профессионалов. В таинственности постановки несколько пересолили; так, например, марля, которой была задернута сцена в двух действиях, оказалась почти непрозрачной. Значительная часть пьесы была выпущена (“Бал у человека” – целиком). Последний акт вызвал искренний смех публики, которая ничего не видела на сцене, но слышала очень жалобный, хотя и не страшный, вой. Но в общем русская парижская публика довольна – все-таки посмотрела и она “Жизнь Человека”, о которой так шумят русские газеты» ([Б.п.] “Жизнь Человека” в Париже // Крымский вестник. Севастополь, 1908. 3 янв. (№ 2). С. 3).

В 1907–1908 гг. газеты сообщали также о постановках пьесы (в местных театрах или гастрольными труппами) в Аккермане, Астрахани, Баку, Варшаве, Вильне, Витебске, Владикавказе, Воронеже, Вятке, Гельсингфорсе (на русском и финском языках), Двинске, Евпатории, Екатеринбурге, Екатеринодаре, Житомире, Иркутске, Кишиневе, Ковне, Курске, Мелитополе, Мариуполе, Нарве, Николаеве, Новозыбкове (Черниговская губерния), Оренбурге, Риге (на русском и латышском языках), Ростове-на-Дону, Севастополе, Смоленске, Таганроге, Ташкенте, Тифлисе, Тобольске, Томске, Херсоне (подробнее см.: *БиблиА2* и *БиблиА2а* (по указ.)).

20 апреля 1909 г. состоялась премьера спектакля во Львове на сцене городского польского театра. Зрительный зал не мог вместить всех желающих. Публика высоко оценила работу режиссера, художника, актеров. Но уже на втором представлении разразился скандал – в газетах писали о «буре в клерикальных кругах» города: «Католические мракобесы нашли пьесу кощунственной и, несмотря на ее громадный успех, решили добиться запрещения “Жизни Человека”. Клерикалы ведут для этой цели отчаянную агитацию. Протест против пьесы нашел свое выражение в ходатайстве о ее запрещении перед городским советом и в выпущенных специальных воззваниях» (Русская Ривьера. Ялта, 1909. 16 мая. (№ 107). С. 3). После пятого спектакля пьесу исключили из репертуара (см.: *Альберт И.* “Жизнь Человека” на польской сцене во Львове // *МиИ2000*. С. 307–312).

В октябре 1912 г. “Жизнь Человека” была поставлена в Мюнхене. В статье, опубликованной в журнале “Янус” (ее изложение – в московском

журнале “Маски”), немецкий критик Вальтер Кюн протестовал против ходячих сопоставлений пьесы Андреева с мистериями и моралите. “Моральной проповеди в ней ровно столько, сколько и в любом художественном произведении, – писал Вальтер Кюн. – Слова пролога лишь подготавливают к серьезному восприятию мрачного самопознания”. И далее только о пьесе: «В “Жизни человека” при помощи ярких реалистических средств показана нам судьба индивидуально ограниченного человека, находящегося в зависимости от целого ряда случайностей, символизирующих, по мысли автора, сущность вещей. От пьесы веет тяжелым безнадежным пессимизмом. Проклятие жизни – единственное удовлетворение (...) Все картины, несмотря на различие в стиле, обладают, тем не менее, конкретною жизненностью, что выгодно отличает пьесу от других русских драм, так бедных “действием”». Что касается исполнения произведения в “Каммершпилен” (Камерный театр), то Вальтер Кюн нашел его блестящим (Маски. М., 1912. № 2. (Нояб.) С. 79).

Пьеса также ставилась в некоторых других европейских странах: так, например, в 1908 г. она шла в Загребе (на хорватском языке).

В США труппой “Вашингтон-сквер плейерс” пьеса была поставлена на сцене нью-йоркского “Комеди тиэтр” (премьера и единственное представление – 14 января 1917 г., см.: [Б.н.] “The Life of Man” well presented // New York Times. 1917. 15 January).

И еще об одном сценическом прочтении пьесы Андреева были публикации в прессе. Речь шла о состоявшемся 16 января 1908 г. в Петербурге, в зале Павловой (Троицкая, 13), литературно-драматическом вечере – на нем были показаны две картины из “Жизни Человека”: “Любовь и бедность” и “Несчастье Человека”. Роль Человека исполнил П.В. Самойлов. В статьях об этом вечере особенно подчеркивался трагический пафос его игры и тот “гром аплодисментов, какими наградила публика талантливого артиста” (*Новичек*. Вечер 16-го января в зале Павловой // Сцена. 1908. 25 янв. (№ 24). С. 11–12).

По словам В.В. Брусянина, “П.В. Самойлов вносит несравненно более ярких, глубоких, содержательных черт в исполнение роли человека, чем А.И. Аркадьев, игравший эту роль в театре В.Ф. Коммиссаржевской. Самойлов облек в живую плоть отвлеченный образ человека и характерными, конкретными чертами обрисовал каждое его движение и слово. Как задушевно, тепло прошла его лирическая беседа с детскими игрушками! И какая дерзновенная гордость звучала в проклятии человека! Публика шумно вызывала артиста бесконечное количество раз. Интересно провела роль жены человека – г-жа Иолшина” (*Вас. Б. [Брусянин В.В.] Петербургские письма // Русский артист. 1908. 27 янв. (№ 4). С. 56*).

20 января 1910 г. Андреев посетил главную контору акционерного общества “Граммофон”, где с его голоса была сделана запись пролога из “Жизни Человека”.

Одновременно с первыми успехами на сценах многочисленных театров в печати появились отдельные работы о пьесе, призванные дать

ответ на вопрос о причинах этого успеха и предложить более развернутое понимание произведения Андреева.

В одной из них – «Мысли по поводу пьесы Андреева “Жизнь человека”» (Киев, 1907) – ее автор, Ю.М. Зунин, констатирует, что пьеса не блещет “богатством новых, неведомых еще миру истин”. Напротив, в поле зрения Андреева именно “те азбучные истины, которые ясны и просты”, но игнорируются умом человека. Между тем нужно, чтобы они наконец были усвоены раз и навсегда: “Художник силою своего могучего таланта все время приковывает внимание наше к обыденным явлениям всей жизни нашей и заставляет сильно задуматься над ними, искать причин разлада между розовыми мечтами и печальной серой действительностью, над тем, где правда, где ложь жизни” (с. 5).

“Что же хотел сказать нам Андреев этой пьесой?” Главный смысл пьесы не в том, чтобы выставить “жизнь нашу бессмысленной и все усилила человеческого гения ничтожными перед судьбой” (Там же. С. 13). Человек Андреева заботится лишь о личном своем счастье, и жизнь в конце концов теряет для него свой смысл и значение. Но есть другой путь: “Все силы своего таланта, разума и души человек должен с любовью принести на алтарь общественного служения, слить свою жизнь с жизнью миллионов людей, чтобы сделать ее осмысленной. Личные страдания, неудачи человека ступшеваются тогда перед тем безбрежным морем страданий других, которое бушует вокруг нас (...) стремление к общей пользе, к облегчению горя других делают человека великим (...) и приносят то высшее наслаждение, что называется смыслом жизни” (Там же. С. 14–15).

Анатолий Волынский в брошюре «Как понимать “Жизнь Человека” Л. Андреева» (Киев, 1907) ставит перед собой задачу «опростить для среднего читателя и зрителя смысл такого крупного произведения Андреева, как “Жизнь Человека”», “сделать пьесу по возможности яснее и легче воспринимаемой сознанием тех, кто не искушен в хождении по новым путям искусства в искании на них новых правд”. Для Волынского Л. Андреев принадлежит к числу символистов, ищущих “разгадок бытия в тех таинственных переживаниях, в тех туманных образах, которые (...) остаются часто чужими и даже непонятными обыкновенному читателю и зрителю” (с. 1).

К числу таких образов относится и Некто в сером. “Человеческой фантазии всегда хотелось представить себе образ Бога (...)” (Там же. С. 3). У Л. Андреева тоже родился «образ существа, ведающего судьбы людей (...) Но это уже – не Бог, или по крайней мере не Бог старых народов, старого мира, старой фантазии. Л. Андрееву даже трудно назвать это могучее существо, когда он хочет его определить не по внешнему образу, а по внутренней сущности: иногда он его называет “Неизвестный”; в другом месте словами “Человека” он обращается к нему: “Эй, ты, как тебя там зовут: рок, дьявол или жизнь?”

По внешнему же образу, какой рисуется Л. Андрееву, он называет это властное над человеком существо: “Некто в сером” (...) Несомнен-



но, и этот цвет образа явился результатом свойств, приписываемых автором “Некому” господствующему существу. Проследив текст пьесы, мы усматриваем, что существо это бесстрастно и равнодушно к судьбе человека, какова бы она ни была: нет в нем ни милосердия христианского Бога, ни карающего возмездия Бога Адоная» (Там же. С. 3–4).

“Красный цвет, черный цвет и все другие – более или менее яркие – цвета наделены уже в нашем представлении известным характером, соответственно чувствам, которые эти цвета обыкновенно в жизни вызывают и выражают. Белый цвет – цвет чистоты, невинности, розовый – цвет юности <...> черный – цвет траура, безнадежности, мрака; красный – цвет ярких чувств, желаний, борьбы и т. д. Тогда становится естественным, понятным и даже обязательным, что существо, лишенное каких бы то ни было человеческих страстей и отношений <...> должно было представляться Л. Андрееву застывшим в сером цвете, этом цвете бесстрастия и окаменелости. Именно в сером и только сером цвете” (Там же. С. 4–5).

В отличие от многих других критиков Вольтинский считает, что Андреев в своей пьесе изображает “не обычного, среднего человека, а человека особо одаренного, человека, так сказать, высшей породы” (Там же. С. 6). И этот выбор писателя определяется его глубоким пессимизмом. “Л. Андреев вывел гениального, сильного человека для того, чтобы показать, что как ни горды, как ни красивы и смелы его короны <так!>, идеи, речи, позы – все же и он, наравне с остальными жителями земли, беспомощно и жалко подвластен бесстрастной воле неизвестного. И нет смысла, нет цели, нет правды в самом существовании его” (Там же. С. 10).

“Желая показать ужасающую бессмысленность жизни человеческой, Л. Андреев обесценивает все протяжение этой жизни...” (Там же. С. 8). “Давно уже не появлялось в литературе произведения, проникнутого таким страшным пессимизмом, таким безнадежным взглядом на человека и его жизнь, каким проникнута пьеса Л. Андреева”, – заключает Вольтинский (Там же).

Своему брошюру “Некто в сером...” М. Браиловский назвал “Критическим этюдом о произведениях Леонида Андреева” (Киев, 1907). Высоко оценивая значение творчества писателя в русской литературе начала XX в., критик полагает “одной из самых своеобразных черт творчества Андреева” его “удивительную смелость и прямолинейность”, с которыми Андреев приступает к решению «вековых загадок “жизни человека”» (с. 3). “Пытливый и жадный ум торопливо бросается от одной загадки бытия к другой, с каким-то страстным упоением роется в тайниках жизни, обнажая самые ужасные глубины ее, срывая один покров за другим” (Там же. С. 4).

«Русской литературе, – утверждает критик, – знаком уже тип “дерзкого” и “жестокоего” таланта. Это – Достоевский. Между ним и Андреевым много сходного, много родного по духу <...> Та же пытливость творчества, то же неугомонное преследование жизни в самых отвра-

тительных и безобразных проявлениях ее (...) Достоевский и Андреев одинаково не жалеют читателя, не считаются с его нервами и выносливостью, не размеряют своих ударов» (Там же. С. 4–5).

С другой стороны, Браиловский категорически отвергает версию о близости Андреева к Метерлинку, сходство с которым ограничено лишь стремлением “изображать внутренний мир души”. «Отказавшись от познания макрокосмоса, Метерлинк всецело углубился в свой микрокосмос – во вселенную, созданную его душой (...) Здесь-то и сказывается резкая противоположность между Метерлинком и Андреевым. Первый отказался от мира, существующего вне его личности, и ценит только свои личные переживания, строя на них свой собственный мир; душа второго вибрирует вместе со всеми явлениями “внеличного” мира и реагирует на них, как сильная и смелая личность – тоской, гневом, болью, ненавистью. Первый купил себе спокойствие и мир ценой радужных, но обманчивых грез о несуществующем; второй, не зная отдыха, ведет постоянную борьбу, срывая с жизни ее лгущие покровы, обнажая ее во всей ее неприглядности. Первый хочет верить в жизнь, а потому отказался от познания ее; второй хочет познать жизнь и дорого дал бы, чтобы найти основание верить в нее...» (Там же. С. 7).

О современной эпохе, считает Браиловский, “существуют два резко противоречивых мнения: одни называют ее эпохой упадка, эпохой декаданса, другие – возрождения, вторым Ренессансом” (Там же. С. 8). Оба мнения представляются справедливыми: “... где создается новый уклад жизни, там, естественно, должны гибнуть и разрушаться старые формы ее” (Там же). Андреев принадлежит к числу жизнестроителей: “верно и метко бьет он по самым крепким основам старой жизни”, но «за обломками разрушенного им можем заметить в его произведениях семена новой морали, новых ценностей, неясные контуры нового храма жизни, на фронтоне которого будет горделиво написано: “*Temnitur hic humilis tellus. Nunc itur ad astro* – попирается здесь низменная земля – отсюда идут к звездам”» (Там же).

Определив позицию Андреева как выраженную полнее всего в пьесе “К звездам”, критик опирается на нее в своем подходе к “Жизни Человека”, высоко оценивая общественное и художественное значение пьесы: «Как бы мы ни оценивали художественное и философское достоинство пьесы “Жизнь человека”, в одном отношении она сыграла, несомненно, существенную роль: она хоть на время оторвала широкие слои общества от будничных забот и заставила среднего человека хоть немного подумать, поговорить “о Боге и людях и таинственных судьбах человеческой жизни”». «К каким бы кругам читающей публики мы ни обратились, раз только заходила речь о “Жизни человека”, неминуемо завязывались горячие дебаты о грозном символе – “Некто в сером”, о религиозности и атеизме, о смысле или бессмысленности человеческой жизни» (Там же. С. 9).

Вместе с тем критик по-своему понимает замысел художника. Он отвергает возможность “в одном художественном произведении вопло-

тить и всю жизнь человека и жизнь *всякого* человека”: необъятность такой задачи “исключает всякую мысль о возможности ее выполнения” (Там же. С. 9–10). Поэтому несомненно, что автор написал не “жизнь всякого человека”, а лишь жизнь известной его разновидности, которая вся протекает по формуле, заданной словами Некогого в сером. Однако, «как ни стремился Андреев изобразить полнейшую зависимость Человека от “Некогого в сером”, но он не мог отказать ему в некоторых чертах, показывающих, что чувство внутреннего самоопределения так же свойственно человеку, как и чувство зависимости от внешних сил природы» (Там же. С. 12). Но не эти, а другие черты определяют образ героя пьесы: “Мы видели Человека с его хищными мечтами о сытом благополучии, с его узким кругозором жизни, с его шаткими убеждениями, беспринципным неверием, трусливой верой, высокопарными вызовами, жалкими проклятиями. Мы видели его с его равнодушием к другим людям, со смешными претензиями на чужое внимание, с его неумением жить, неумением устроить свою жизнь, с его аляповатым счастьем, пошлыми радостями, маленьким, узким, эгоистическим горем” (Там же. С. 18). Так кто же он, этот Человек, спрашивает Браиловский, и отвечает: «это представитель старого, отжившего, умирающего уклада жизни, в котором сочетаются культурная внешность, вера дикаря и хищные вождения зверя, того “старого мира”, которого даже прах хотят отторгнуть молодые поколения. Это – представитель того мира, в котором всюду высятся огромные стены, мешающие дышать свободно, в котором все загромажено хламом старых предрассудков, в котором “свободный и смелый” дух человека колеблется между маленьким счастьем и маленьким горем» (Там же).

Предшественника образа Некогого в сером Браиловский обнаруживает еще в “Жизни Василия Фивейского”. Но там он не выведен с той степенью самостоятельности и художественной обрисовки, как в “Жизни Человека”. По мнению критика, «несмотря на все старания автора, образ “Некогого в сером” все же отличается некоторой двойственностью». Условия драматического произведения лишают образ той бездушности, которая заложена в авторском замысле. Для читателя пьесы Некто в сером – “бездушная, слепая сила природы, не ведающая ни добра, ни жалости, но не потому, что она зла или жестока, а просто потому, что к ней вообще не приложимы понятия добра и зла, любви или ненависти, жестокости или страдания” (Там же. С. 26–27). В представлении же Человека «“Некто в сером” является вовсе не таким, каким изображает его Андреев для читателей пьесы» (Там же. С. 26), а очеловеченным, зловеще одушевленным существом. В завершение Браиловский возвращается к критической оценке героя пьесы Андреева и вновь противопоставляет ему героя “К звездам”, “справляющегося” с теми проблемами, перед которыми не устоял герой “Жизни человека”.

Особым толкованием пьесы и в том числе неожиданной политической ее интерпретацией отличается очерк “Некто в сером” М. Волошина. Для критика “успех последних произведений Леонида Андреева

представляет знаменательное явление, как свидетельство о состоянии души русского общества в эпоху революционной смуты. Он указывает на точный уровень нравственных и философских запросов большой публики” (*Волошин М.* Некто в сером. “Жизнь Человека” Леонида Андреева (Альманах “Шиповник”), “Иуда Искариот и др.”. Его же. (Сборник “Знания”, кн. XVI) // Русь. 1907. 19 июня. (№ 157). Цит. по: *Волошин М.* Лики творчества. Л., 1988. С. 457).

“Истинные произведения искусства, – продолжает критик, – дают душе новую полноту, даже проповедуя пессимизм и отрицание. Главные же особенности произведений Леонида Андреева в том, что они оставляют в душе новое чувство пустоты – точно вынимают из нее нечто” (Там же). Однако, “открыв тайну бесцельности жизни”, автор “не остается молчаливым” и равнодушным констататором. «Во всех его произведениях слышится особая интонация пророческой иступленности, которая требует от читателя либо полного согласия, либо открытой борьбы. Либо “верую и исповедую!”, либо побивание камнями проповедника.

Это настоятельное и личное обращение к читателю особенно подчеркнуто в “Жизни Человека” той безличной формой, которая, называя действующих лиц не именами собственными, а именами нарицательными (“Человек”, “Жена Человека”, “Сын Человека”), говорит читателю: “Так и ты. Так и каждый”» (Там же).

“Спорить с художественным произведением нельзя, – заявляет критик. – Истинное художественное произведение вырастает в душе так же органично и бессознательно, как цветок растения. Его можно разбирать, толковать, но нельзя опровергать. Произведения же Леонида Андреева требуют возражений. Их можно и должно оспаривать. Этим они выдают проповедническую сущность, прикрытую формами художественного произведения” (Там же).

Особое внимание критик уделяет образу Некого в сером. По его словам, уже в предшествующих произведениях чувствовалось присутствие “некоторой правящей силы”, с которой боролись и которой поклонялись действующие лица. Но только в “Жизни Человека” «Леонид Андреев впервые показывает ее лицо и дает ей имя (...) Герой “Жизни Человека” – “Он”, а не “Человек”, ибо герой трагедии – воля, а не безвольная и слепая марионетка, нервно выкрикивающая слова протеста.

Характер этого лица намечен намеренно неясно, но оно произносит все ремарки от лица автора и держит в руках все темные нити, управляющие жизнью “Человека”, т. е. каждого человека.

Имя “Некто в сером” очевидно псевдоним, так как у такого значительного лица не может не быть многих иных имен, которыми называло его человечество (...) Некто в сером облачен атрибутами высшей власти и высшей безучастности. Молитвы людей, обращенные к Божеству, на самом деле адресуются к этому “Некто” (...) Следовательно, “Некто в сером” – Божественный Закон» (Там же. С. 457–459). Но в то же время в нем скрывается и некая “мистическая или научная реальность”. Так есть ли в мире “такой Закон, олицетворением которого может явиться

Некто в сером?» – спрашивает критик, и несколько неожиданно расширяет сущность Некогого в сером до государственной власти: «Ту насильственность, которую Леонид Андреев приписывает закону, может иметь только закон государственный.

Но тогда он является не законом, а насилием, принявшим лик закона (...). Понятие насильственного государственного закона Леонид Андреев возводит до степени мистического закона, управляющего Вселенной, и преходящий общественный строй России он считает прообразом устройства всего мира. Его космос – это проекция института усиленной охраны в область мировых законов. “Некто в сером” – это не борьба и не закон – это представитель закона, космический жандарм с андерсеновской свечкой жизни в руках» (Там же. С. 459).

М. Волошину и другим критикам, склонным к общественно-политической интерпретации и творчества Л. Андреева в целом, и “Жизни Человека”, отвечал в своей книге “О смысле жизни” Р.В. Иванов-Разумник. Он посмеялся над тем, что можно истолковать Некогого в сером в качестве символа закона и государства. И написал, что «слишком много чести не только режиму Плеве, но и всему русскому абсолютизму XIX века сравнивать его с вечной, неизменной, фатальной силой, какую представляется Л. Андрееву “Стена”»: «(...) после “Жизни Человека” для каждого должно быть ясно, что “Стена” – это судьба, рок, Мойра, Некто в сером» (*Иванов-Разумник 1908*. С. 116–117).

Для Иванова-Разумника творчество Л. Андреева – целая эпоха, непосредственно следующая за Чеховым и М. Горьким. А значение ее определяется тем, что «в Л. Андрееве осуществился переход от общественно-этических к философско-этическим проблемам; в творчестве Л. Андреева мы видим возвращение “назад к Достоевскому”. Это возвращение назад бывает иногда громадным шагом вперед; таким громадным шагом вперед было, например, возвращение философской мысли второй половины XIX века “назад к Канту”; таким же шагом вперед в русской художественной литературе является и это возвращение Л. Андреева “назад к Достоевскому”, возвращение к художественной разработке вечных философско-этических и, говоря шире, философско-религиозных проблем. Вечные карамазовские вопросы снова поставлены на очередь современным художественным творчеством; трагические проблемы снова стоят перед нашим сознанием и требуют ответа. Цель, смысл и оправдание отдельной жизни человека; цель, смысл и оправдание общей жизни человечества – на все эти вопросы Л. Андреев дает нам (...) один из возможных ответов своим творчеством. И в этом – главное его значение в современной русской литературе» (Там же. С. 160–161).

Вопросы о смысле жизни, поставленные Л. Андреевым “во главу угла своего художественного и философского творчества”, приобрели, по мнению Иванова-Разумника, особую актуальность в связи с крахом прежнего позитивистского мировоззрения, которое мыслитель определяет как “позитивную теорию прогресса”. Согласно этой теории, целью исторического процесса является счастье грядущих поколений, посте-

пенное приближение будущего Человечества к идеальному общественному устройству. На слабость этой позитивной теории указали “отщепенцы марксизма”, перешедшие от него к идеализму. Но и “мистическая теория прогресса”, как называет ее Иванов-Разумник, согласно которой “цель исторического процесса является трансцендентной – эта цель есть Бог” (“Мы боремся, страдаем и умираем не за счастье будущих поколений, не для достижения золотого века на земле, а для достижения некоторой трансцендентной нам великой цели, великого идеала – осуществления некоего премирного плана Создателя мира”), – не удовлетворяет современное сознание (Там же. С. 13–14).

Вот почему карамазовские вопросы о смысле жизни и истории и требуют теперь настоящего ответа. На них-то и пытается ответить писатель. “Л. Андреев хочет отыскать смысл нашей земной, конечной жизни и не ищет решения в области ноуменального или за пределами трех измерений” (Там же. С. 89). Вывод же, к которому он приходит, заключается в том, что “жизнь человечества имеет не более смысла, чем жизнь одного человека” (Там же. С. 115). «Крайнего своего развития и наивысшего напряжения эта тема достигает в “Жизни Человека” {...} Здесь перед нами выступает “Некто в сером”, на голову которого Л. Андреев обрушивал свои проклятья с первых шагов своего художественного творчества, придавая ему, этому “Некому в сером”, различные имена» (Там же. С. 115–116). По мысли критика, это Некто в сером стоял в углу дома Василия Фивейского, был олицетворением мыслей Павла в рассказе “В тумане”, грозно молчащим Ничто в рассказе “Молчание” и Стеной в одноименном рассказе. В образе Некогого в сером собраны воедино многие черты прежних произведений. И громадной силы достигает вывод о бессмысленности жизни и человека и человечества с “объективной точки зрения”, как выражается Иванов-Разумник. Но есть еще, по его мысли, “субъективная осмысленность”. И с этой точки зрения борьба Человека против обстоятельств, против законов природы, против Некогого в сером вовсе не бессмысленна. Человек умирает, но до последнего дыхания не признает власти Рока, “умирает победителем, ибо тот...кто смерть принял в бою, Тот разве пал и побежден? – говоря словами М. Горького. И если даже согласиться, что Человек умер не победителем, то разве не ясно зато во всяком случае, что он умер непообежденным?» (Там же. С. 123–124).

Продолжит исследование творчества Л. Андреева в связи с пьесой “Жизнь Человека” и Ю. Соболев. В своей статье критик скажет, что “одним из основных мотивов” в творчестве писателя “является несомненно изображение постоянной борьбы двух течений, двух начал: божеское – небесное противопоставляется человеческому – земному; смерть – жизни; угасание, тление, небытие – вечному движению всего живого, солнцу и радости” (Соболев 1908а. С. 125). В соответствии с этим писатель в своих последних произведениях, в том числе и в “Жизни Человека”, “весь в исканиях смысла жизни – в исканиях настолько страстных и пытливых, что они невольно чувствуются и читателем, перед которым

поставлен роковой, нерешенный, страшный в своей глубине и сложности вопрос: о смысле и цели человеческого существования» (Там же).

Голосом своего Некогого в сером, “голосом наемного чтеца Библии” писатель вроде бы “бесстрастно возвещает” мысль о “бесплодности, ненужности и бессмысленности всех исканий” человека, так как он все равно покорно совершит “круг железного предначертания” (Там же. С. 126). Но тем не менее человек “мятежными порывами” пытается сбросить иго судьбы. “А отсюда постоянная, упорная и страшная борьба...” Поэтому смысл “Жизни Человека” не сводится к “безнадежно унылому, трагически пессимистическому тону”. “Остановиться на этой мертвой точке значило бы окончить всю творческую работу, лозунгом которой служит для нашего художника принцип вечного движения “все вперед и выше”. «Появление таких произведений, как “Иуда Искариот и другие” и “Тьма”, служит лучшим доказательством того, что Андреев продолжает пылливо всматриваться в жизнь, освещая своим прекрасным творческим аппетитом все изгибы мысли, движения сердца, волнения, страсти, роковые противоречия, что лежат в основе человеческой природы, – желая найти решение того проклятого вечного вопроса, над которым, говоря словами Гейне, “билось столько бедных голов”» (Там же).

Две книжки К.И. Чуковского, посвященные литературе начала XX в. и собственно Л. Андрееву, только отчасти касаются “Жизни Человека”. Первая книжка – “От Чехова до наших дней. Литературные портреты. Характеристики” (СПб., 1908), по словам ее автора, носит характер “случайных критических заметок о случайных писателях послечеховского периода” (Чуковский К. От Чехова до наших дней. С. 9). Такой заметкой является и критический очерк о творчестве Л. Андреева. “Андреев, – по словам Чуковского, – современнейший из современных писателей. Никто не воплотил всю нашу эпоху так всесторонне, как он” (Там же. С. 133). Главной чертой эпохи, по Чуковскому, является “обезличение личности”, сведение человека к схеме. Именно эта сторона полнее всего и воплотилась в творчестве Л. Андреева: «Словно с капусты сдирает с человека Андреев листья, чтобы увидеть кочан, но кочана нет. А есть целый ряд листьев, и листьев, и листьев; в них-то и кроется истинная индивидуальность, но Андреев ищет под ними, и когда он отодрал почти все, то получилась его “Жизнь человека”» “с большой буквы, жизнь всякого человека, общечеловека” – “с ее темным началом и темным концом” (Там же. С. 130–131). “Мистический, непонятный огонь, который зовется жизнью, вот и все, что хочет увидеть Андреев в человеке, вот и все, до чего он добирается, обрывая листья. Больше огня или меньше огня – единственно этим отличаются для него один от другого. Другие отличия призрачны, и их нужно удалить прочь. Здесь уже полнейшая гибель реального человека” (Там же. С. 131).

Фельетонной является вторая книжка К. Чуковского “Леонид Андреев большой и маленький” (СПб., 1908). В этой работе Андреев для Чуковского – великий мистификатор, “буффонер”, фельетонист, автор кустарных трагедий. Он изготавливает их с необыкновенной ловкостью.

“Андреев сделал уже трагедию бытия, трагедию веры, трагедию истины, трагедию войны, трагедию власти” (Там же. С. 40). А сейчас вот появилась «еще одна кустарная трагедия – “Царь-Голод”» (Там же). А так как “трагедий делать нельзя; у каждого из нас по одной трагедии; а кто предложит мне их целый десяток – у того я не возьму ни одной” (Там же).

Ю. Александрович считает, что драма “Жизнь Человека” появилась в момент, когда писателем была “потеряна нить творчества” и он метался “от темы к теме, от времен французской революции к временам апостольским и от времен апостольских к русской революции, и от русской революции к временам Елеазара, от двадцатого века к первому и обратно” (Александрович Ю. [Потеряхин А.Н.] После Чехова: Очерк молодой литературы последнего десятилетия: 1898–1908. М., 1908. С. 185).

Метания, по мысли автора монографии, характерны и для самой драмы: «В ней душа Л. Андреева мечется вверх и вниз, уносится “к звездам” – в абстракцию, и снова, как подстреленная птица, падает на землю, и снова взрывается “к звездам”. В этой пьесе борьба земли с небом достигла высшего напряжения – апогея. И вот в разгаре этой борьбы, в момент, когда казалось бы кончены счета с землей, Андреев шлет вдруг проклятия небу {...}» (Там же. С. 190).

Александрович полемизирует с К. Чуковским, для которого в проклятии Неизвестному – крушение индивидуализма: “{...} это неправда, мы видим здесь утверждение индивидуализма, возврат к конкретному индивиду, возврат внутренний, несмотря на внешнюю абстрактность”. «А в той абстрактности, – продолжает критик, – которая допущена автором, нельзя не видеть особой прелести и очарования. Необходимо было для его замысла создать абстракцию, и нельзя не сознаться, что абстракция как-то сама собою вытекает из замысла, она органически с ним связана и выбор имени для этой абстракции “Человек” даже слишком груб и телесен» (Там же. С. 191–192).

Как о несомненной удаче автора, “обезумевшего от ужаса жизни”, Александрович пишет о старухах последнего акта – об их пляске над умирающим Человеком: «Это сарказм – сарказм над жизнью и какое-то сладострастное заигрывание со смертью – своего рода некромания. Здесь и Бёклин с его автопортретом, и Бодлер с “Цветами Зла”, и По, и Гауптман {...} Даже в общем тоне вся “Жизнь Человека” отзывает Достоевщиной с его культом сладострастия страдания. В “Василии Фивейском” Андреев еще бежит от страдания, в “Жизни Человека” он, очертя голову, бросается в объятия трагедии и смерти. Из трагедии нет выхода – надо пить из ее ядовитого источника – пить и упиваться» (Там же. С. 193).

В книжке Н. Валентинова (Н.В. Вольского) «Мы еще придем! О современной литературе, “Жизни человека” и “Царь-Голоде” Л. Андреева» “Жизнь Человека” будет оценена на фоне крайне индивидуалистической, порнографической и мистической продукции, которой отмечена пореволюционная пора. Негативные высказывания Валенти-



нова касались произведений М. Арцыбашева, А. Каменского, А. Ремизова, М. Кузмина и некоторых других “модных” писателей, а также их духовных вождей – Н. Бердяева, Вс. Иванова и Г. Чулкова: «Погоня за формой, ее преобладание над содержанием, елейно-церковные порывы одних, “теургические” самонатаскивания у других? – горький осадок вызывает современная литературная вакханалия. Неприятен “Бедлам наших дней”» (*Валентинов Н.* Мы еще придем! О современной литературе, “Жизни человека” и “Царь-Голоде” Л. Андреева. М., 1908. С. 36).

В те годы, скажет позднее в книге “Два года с символистами” (1-е изд.: Стэнфорд, 1969) Валентинов, “мне была присуща резкая критика индивидуализма. В ней помимо других мотивов была законная реакция на выпиравшую после революции, особенно в литературе, идею личности с безобразными наслоениями на нее эгоизма, эротизма, мистицизма, анархизма и всякой разнузданности” (*Валентинов Н.* Два года с символистами. М., 2000. С. 22). Вот этому “Бедламу” и противостоят «два из последних произведений Леонида Андреева: “Жизнь человека” и “Царь-Голод”. Мы можем не соглашаться с ними, можем тысячу раз опровергать их, но пройти мимо не в состоянии». Потому что после них, цитируя А.Г. Горнфельда, скажет критик, “хочется думать” (*Валентинов Н.* Мы еще придем!.. С. 39).

Л. Андреев, по мысли Валентинова, «ставит себе задачей в общих, отвлеченных чертах рассказать о “Жизни человека”». Показать “всю жизнь человека с ее темным началом и темным концом”. «Л. Андрееву, конечно, не важно, кто этот человек. И друзья, и враги, и соседи, говорящие об его бедности, и гости, повторяющие “как пышно, как светло, как богато”, и бал, все это и смерть среди пьяниц, – все это мелочи. Это лишь маловажный рисунок на канве, на схеме, в которую уложена жизнь человека. Суть же философии в том, что судьба этого человека – судьба всех людей. Главное – в том, что пьеса Андреева жестко ставит вопрос о смысле жизни. Ставя этот вопрос, она дает и ответ: в жизни нет смысла» (Там же. С. 40).

При этом андреевский Человек – прекрасный “человеческий экземпляр”: он энергичен, деятельно свободен, у этого человека “красивая, гордая голова, с блестящими глазами, высоким лбом и черными бровями” (Там же). Кажется, что он – самоцель. Но в действительности, говорит Андреев, «это ошибка: Человек – игрушка в руках того, “кого называют Он” и о ком сам человек говорит как о “Роке, дьяволе или жизни”. “Некто в сером” управляет жизнью человека и стоит над ним» (Там же. С. 40–41).

Поэтому философия пьесы – “философия безысходного пессимизма. Трагедия мысли о человеческой ничтожности. Философия смерти, скорби и рока. Стимул для удручающего тоской своей взгляда на мир...” (Там же. С. 42). И поэтому она не может быть принята. Необходимо отвергнуть “эту пессимистическую философию”, которую Андреев видит в том, что пытается рассмотреть “смысл жизни человеческой” с точки зрения рока. «Кого бы мы ни подразумевали под “Роком, Дьяволом, Им”

и т. д., представляя его то как “абсолют с лукавством разума” (Гегель), то как бесстрастный поток мировой энергии, как ход железной необходимости, вечного движения форм и состояний, – с этой точки зрения мы ни в коем случае не найдем путей к смыслу человеческой жизни. К ней с оценками мирового масштаба подходить нечего» (Там же. С. 43–44).

Но зато этот смысл критик находит в этике человеческого рода, жизни человеческих масс в “Царе Голоде”, а также в вечном круговращении материи, все том же “базаровском лопухе”, который, правда, превращается у нашего вульгарного материалиста в более привлекательную для него “хрустальную каплю росы на лепестках ландыша” (Там же. С. 44). Поэтому, до конца отвергая “Жизнь Человека” как “философию непреодолимого, безысходного трагического пессимизма” (Там же. С. 51), Валентинов противопоставляет ей “громадной силы произведение”, “трагедию социального порядка” – “Царь Голод” (Там же. С. 54).

В основу книги Т.Я. Ганжулевич “Русская жизнь и ее течения в творчестве Л. Андреева” положена уже ранее высказанная В.Г. Короленко мысль о том, что сущность творческих устремлений писателя заключается в поисках новых “концепций природы и мира”, напряженном интересе к вечным вопросам “человеческого духа в его искании своей связи с бесконечностью вообще и с бесконечной справедливостью в частности” (Короленко В. Г. О литературе. М., 1957. С. 370, 360). Автор соглашается с Мережковским в том, что Андреев ставит в своем творчестве те вопросы, которые раньше были преимущественно в ведении религии. Его герои часто стоят “между двумя безднами – первобытного хаоса и вечной тайны” (Ганжулевич 1908. С. 76). В этом положении находится Василий Фивейский, стремясь “соединить их концы и подняться самому над ними” (Там же). Перед той же великой тайной ставит Л. Андреев и своего Человека. “Человеческая жизнь перед лицом вечности” – таков, по мысли критика, общий смысл драмы. Поэтому ее герой, Человек без имени, – “типическая индивидуальность”. Ничего подобного, по словам Ганжулевич, не было в прежней литературе. Сходные попытки предпринимала декадентская литература. “Но не было жизни в отвлеченных образах этой символики, не из души художника выходили они, а из холодно отточенного разума его и не проникали потому в душу читателя (...) Л. Андреев в свои создания внес трепетание живой жизни и ею индивидуализировал тип. Благодаря этому он мог противопоставить единичное во всей его жизненности и ясной логичности тому неведомому, которое, скрываясь за гранями, хранит в себе непостижимые его умом законы (...) Человек и Некто в сером стоят друг против друга на протяжении всей жизни человеческой, состоящей из ряда мгновений” (Там же. С. 78). Но напрасно старается Человек слить эти мгновения с вечностью. На все его дела, все просьбы и проклятия Некто отвечает “молчанием, хранящим под таинственно трепещущим покровом неведомые слова, великую тайну, окружающую человека, но не входящую в него” (Там же). Л. Андреев, утверждает дальше критик, “не определяет характера этого Неведомого, хотя и пишет его с большой буквы как бе-

зымянное обозначение великой тайны (...) Для него самого нет жизни в этом образе (...) его лицо, обращенное к автору, бесстрастно по своему выражению, но за ним вечность, и в этой близости с ней величие и сила Некто в сером Л. Андреева” (Там же. С. 81).

В 1909 г. о “Жизни Человека” выскажется маститый ученый Д.Н. Овсяннико-Куликовский в статье “Заметки о творчестве Леонида Андреева”, опубликованной первоначально в литературно-художественном сборнике “Зарницы” (СПб., 1909), а затем перепечатанной под названием «“Жизнь человека”»: (Заметки о творчестве Леонида Андреева)» в его собрании сочинений. Ученый отнесет творчество Л. Андреева к очень характерным явлениям современного искусства. “Две черты, – по его мнению, – отчетливо выступают в творчестве Леонида Андреева: 1) пессимизм содержания и настроения и 2) схематичность образов. И между ними есть несомненное родство – психологическое и художественное”. “Родство пессимизма с схематическим творчеством” представляется ученому “явлением всеобщим и закономерным” (Овсяннико-Куликовский Д.Н. Собр. соч. СПб., 1912. Т. 5. С. 192).

По мысли исследователя, в схематическом искусстве есть “что-то, возвращающее нас к давно забытым мифам”, к давно устаревшему мировоззрению с его понятиями судьбы, рока и предопределенности (Там же. С. 194). Когда идея Рока, Судьбы, Фатума начинает выражаться в образе, “получается рецидив мифа и настроений, с ним связанных” (Там же. С. 195). В результате такого рецидива и возникла “Жизнь Человека”. Она представляет собой попытку вернуться назад. “Некто в сером” не устраивает критика не только потому, что он “символ страшной идеи, но еще и потому, что, не совпадая с человеком, он все-таки близок к нему, человекообразен” (Там же. С. 197). В таком виде он внушает страх. “Все в этом образе загадочно и страшно. Он как будто и человек и не человек, бог и не бог, он – особое существо, покрытое таинственным – символическим – покрывалом...” (Там же. С. 195). Поэтому, “чтобы убить суеверный страх и свести миф на нет, нужно отодвинуть мифический образ, источник страха, подальше от человека, поднять его высоко над миром человеческим, отнять у него образ и подобие человеческого и растворить его в безличности стихии, в абстракции космического закона” (Там же. С. 197). А лучше всего было бы, по Овсяннико-Куликовскому, показать, «что никакого Рока нет, а есть человечество, борющееся с природой и с самим собой и идущее к верной победе над тем и другим силою своих человеческих преимуществ, тех самых, которых лишен “Некто в сером”»: силою зрения, прозрения и силою сострадания, жалости, гуманности...» (Там же. С. 195–196).

Рок же у Андреева “не то что слеп, а не смотрит, не хочет или не может видеть, – как и подобает Року, этой слепой, стихийной силе, безучастной, безжалостной, бесчувственной. И кто знает, если бы он, вдруг прозрев, увидел, восчувствовал всю глубину страданий человеческих, – он, быть может, содрогнулся бы, пришел в ужас и – устранился бы, исчез бы, сказав людям: устраивайтесь сами, как знаете и умеете! Не так ли

оно и вышло на самом деле? Кажется, человечество уже близко к тому, чтобы самому взять в свои – человеческие – руки свою человеческую судьбу. Дело, по-видимому, к тому и клонится, и человечество давно уже идет в этом направлении, – идет медленным, но верным, твердым шагом” (Там же. С. 195).

Ученый находит, что Некто в сером гораздо страшнее Черта Ивана Карамазова, поскольку «Черт Ивана Карамазова – явление современное, психиатрическое, клиническое. “Некто в сером” – явление мифологическое, выходец с того света» (Там же. С. 196). Страшнее карамазовского Черта представляется ученому и главный герой пьесы Андреева – Человек, так как он стоит перед нами как “фантом, как пугающая схема человека, и его жизнь и смерть – не настоящая жизнь и смерть, а пугающая схема жизни и смерти” (Там же. С. 196). Кажется, что Человек “говорит, радуется, страдает по-человечески. Но всмотритесь в него: это не человек, это восковая кукла человека” (Там же. С. 198). Глубокий пессимизм, буддийский, шопенгауэровский, “свойственен Л. Андрееву: он составляет, как я думаю, психологическую основу его художественных восприятий – под этим углом зрения он созерцает мир и жизнь человеческую” (Там же. С. 199).

По словам профессора М.А. Рейснера, абстракция в “Жизни Человека” достигает своей вершины: «В пьесе проходит перед нами жизнь отвлеченного и нормального естественного человека, на коем зиждется теперешнее общество. Этот человек “во всем подобен другим людям, уже живущим на земле”. “Его жестокая судьба становится судьбою всех людей”. Простая единица жизни, уединенный атом, “придя из ночи, он возвратится к ночи и станет (у Андреева – “сгинет”) бесследно в безграничности времен немислимый, нечувствуемый, неизвестный никем”. Трагедия современного человека началась...» (*Рейснер 1909. С. 27*).

Рассматривая “Жизнь Человека” в контексте андреевского ницшеанства, автор монографии делает следующее наблюдение: «Через падение и позор, через преступление и ужас совершается созревание сверхчеловека. Великое презрение Ницше превращается в великое преступление Керженцева или Иуды Искариотского. Неудивительно теперь, что в “Жизни человека” смерть его и вместе победа над судьбою совершается лишь тогда, когда он, по крайней мере, по первой редакции пьесы, нисходит до компании пьяниц и преступников, где царит бесконечное разнообразие отвратительного и ужасного (...) И даже во второй редакции – только опустившись на дно жизни, в последний момент перед ее полной кончиной, проклинает человек судьбу, вызывает ее на последний бой (...) Слишком поздно пришел человек в пучину порока и преступления, он мог только умереть, бросив последний вызов своему року, но и в этом вызове чувствуется уже мотив грядущего сверхчеловека» (Там же. С. 112–113).

В очерке “Леонид Николаевич Андреев”, помещенном в пятом томе “Истории русской литературы XIX века” под редакцией Д.Н. Овсянико-Куликовского (М., 1910), а затем вошедшем без каких-либо изменений

в его итоговую книгу “Зачинатели и продолжатели. Поминки, характеристики, очерки по русской литературе от дней Белинского до дней наших” (Пг., 1919), М. Неведомский (М.П. Миклашевский) рассматривает “Жизнь Человека” как одно из самых характерных произведений своей эпохи. Эта эпоха, по Неведомскому, проходила под знаком “идеи личности”. Она все решительнее ставила во главу угла “всех своих построений, в основу всех своих оценок, – уже не моральный только, а эстетико-философский идеал высоко развитой, свободной индивидуальности. Все более и более гордо звучало слово человек, говоря терминами горьковской драмы” (*Неведомский 1910. С. 265*). И в творчестве Андреева по-своему отразилась эта же “основная тенденция эпохи, отразилась заветная, излюбленная идея” (Там же).

“Подобно Горькому, в его раннем периоде, и Андреев сосредоточивается на человеческой личности, можно сказать; не выходит за пределы человеческой индивидуальности, человеческого *я*. *Среда* и *быт* почти отсутствуют в его глубоко субъективном, символическом творчестве” (Там же. С. 268). Его тема – это вечная борьба, вечная тяжба человека с жизнью, с действительностью. В этой борьбе он готов дать жизни и действительности “вперед много очков, облегчающих им победу над человеческим сознанием, над человеческим *я*. Он как бы согласен признать победу этого *я* лишь в том случае, если оно одержит верх при самых невыгодных, самых пессимистических допущениях. И если мы проследим в эволюции его творчества за этой его тяжбой с действительностью, мы увидим, что пядь за пядью, медленно, но неуклонно побеждает именно человеческое *я*, человеческое сознание” (Там же).

Вглядевшись «пристальнее даже в такие мрачные вещи, как “Елеазар”, “Жизнь Человека”, а затем “Проклятие зверя”, “Рассказ о семи повешенных” и “Царь-Голод”, и расположив их в порядке их появления на свет, – мы увидим борьбу и победу, а не поражение, увидим выпрямление и рост, а не съеживающееся в страхе бессилье. Можно сказать, что в этой серии произведений Андреев пытается освободиться от кошмара наиболее тяжелых, наиболее удручающих человека сторон бытия». Поэтому, «если в “Жизни Человека” тупому и “серому” року противопоставлено несчастное, заурядное человеческое существование, полное дисгармонии и страданий, то в упорстве этого бедного бойца с роком, в этом предсмертном его вызове року, в не сдающемся самосознании его – автор, очевидно, видит нечто пленительное и шлет погибающему бойцу свое да. Во имя чего? – во имя той крупницы творчества, которую проявил этот незадачливый строитель, во имя человеческого негибающегося сознания, наконец, просто – во имя его “благообразной седой” человеческой головы, с человеческой мыслью на челе, которая одна светится среди общего мрака в заключительной картине драмы» (Там же. С. 269).

И в заключение этого пассажа Неведомский оспаривает высказанную еще Кугелем, а затем многократно повторенную другими мысль о якобы имеющейся в драме полемике Андреева с Горьким по вопросу

о человеке. «“Все в человеке – все для человека” – говорит Горький. И в минорной гамме, под аккомпанемент жутко-тривиальной полки, которую играет оркестр, – то же самое провозглашает в своей драме Андреев» (Там же).

К.И. Арабажин видит в “Жизни Человека” прямое продолжение трагической истории Керженцева и Василия Фивейского. С той разницей, что в драме “мы имеем перед собою попытку смелого и более широкого художественного обобщения. Индивидуальные черты здесь стертые, сглажены; на первом плане обобщения {...} В русской литературе это первая стилизованная пьеса...” (*Арабажин 1910*. С. 61).

Размышляя о стилизации и о причинах, по которым Андреев обратился к новой манере письма, автор монографии в известной степени повторяет мысли, высказанные его предшественниками. Иногда вступает с ними в полемику, доказывая, например, что между Неким в сером и древнегреческим роком нет ничего общего: «У Андреева судьба – только форма выражения мысли. И его герой Василий Фивейский, и Человек с большой буквы находятся во власти случая, а не судьбы. Вся особенность Андреева в том, что для него *там* – ничего нет, что его рок – не дьявол, не бог и не рок, а просто “Некто в сером”, просто “Стена”, о которую напрасно бьются люди, потому что она только стена, она каменная, бесчувственная, сырая, безразличная, она не закон и не высшая сила, она только тьма, только небытие, только символ безвыходности человеческого сознания, она только обозначение предела, за которым для человека начинается тьма, и только тьма» (Там же. С. 68).

Критик считает, что Некто в сером “персонифицирован автором для нужд театральных подмостков. На самом деле он служит у Андреева на ампулу общественного мнения, или голоса традиции, или резонера, говорящего за автора. Прежде таким резонером являлся врач, друг героя, добрый дядюшка, – Андреев поручил эти обязанности Некому в сером” (Там же. С. 69).

Довольно противоречивы суждения Арабажина о старухах первой и последней картин. Отметим, что они “никакого особенного значения для идеи пьесы” не имеют, критик одновременно утверждает противоположное: “Кто они? парки? ведьмы? Повивальные бабки, или просто кумушки, – воплощение пошлости и цинизма вообще, – это не важно. Важно то, что эти противные старухи со своим циничным хохотком и циничными и пошлыми разговорами присутствуют при самых великих и таинственных актах человеческой жизни: при рождении и смерти человека. Впрочем, не только старухи опошляют своим присутствием величайшее таинство рождения. В этой пошлости повинны и все окружающие страдающую родильницу {...} Эта первая сцена, несмотря на свою схематичность, написана с большой дозой злой иронии и сарказма. В нескольких страничках обрисован целый уголок жизни” (Там же. С. 70–71).

Самым сильным местом драмы критик считает эпизод, в котором Человек произносит слова проклятия: “В проклятии столько внутренней

силы, такая жажда справедливости, такое негодование против нелепого и безобразного в жизни, такая *воля* к разумному, такая огромная, клоко-чущая страсть, такое грозное и могучее восстание духа, – что невольно забывается драма Человека, и какая-то бодрая волна вливается в душу, и кажется, что победа уже одержана (...) В этой колоссальной силе проклятия, произносимого человеком, в этом открытом возмущении против традиции и зла, эстетическое и моральное оправдание всей драмы...” (Там же. С. 80). Сценой проклятия, считает Арабажин, можно было бы кончить пьесу, ибо оба варианта последней, пятой, картины кажутся ему неудавшимися.

Один из разделов монографии посвящен защите произведения Андреева от нападок со стороны Философова, Мережковского, Гиппиус. Осудив их за “публицистическое усердие” и “публицистический пересол”, Арабажин не столько полемизирует с “суровой критикой”, сколько подбирает аргументы для собственных нелицеприятных суждений и выводов: «Мы, конечно, не станем отрицать многих недостатков пьесы. Трагизм жизни в ней вовсе не показан. Достаточно сравнить пьесу Андреева хотя бы с трагедиями Софокла: “Эдип царь”, “Эдип в Колоне”, чтобы понять, насколько там сложнее и глубже захвачено трагическое начало жизни»; “У Андреева разочарование жизнью слишком мелко обставлено и плохо мотивировано”; “А между тем самый коренной трагизм человеческой жизни – неизбежность смерти вообще почти не замечен”; “Замысел был у автора грандиозный, но результат сравнительно ничтожный. Жизнь современного человека действительно жалка и полна случайностей, но трагизма жизни вообще Андреев не показал. Отдельные сцены в пьесе талантливы и интересны” (Там же. С. 96, 97, 98).

Для Софьи Витте, автора небольшой брошюры о прозе и драматургии Л. Андреева, талант писателя – “жестокий талант. Он заставляет людей немилосердно страдать за человека, но он и сам страдает” (*Витте 1910*. С. 6).

Как многие ее современники, С. Витте видит связь между “Жизнью Василия Фивейского” и “Жизнью Человека”. В пьесе «тоже тяготеет рок в образе кого-то, именуемого “Он”, или – “Некто в сером”. Но “Он” даже не “Некто”, а “Нечто в сером”, какая-то говорящая кукла, бесцветная фигура, какой-то Бог автомат, не только без чувств и без жалости, но и без воли, власти и могущества. “Нечто” слепо неуловимое, абсолютно бесстрастное. Этот странный Бог как будто и не управляет жизнью человека, а только наблюдает за нею, состоя при нем вроде спутника» (Там же. С. 8–9).

«В тяжелой и сумрачной “Жизни человека”, – утверждает критик, – есть, однако, яркий просвет – любовь (...) Богатство и слава, приобретенные человеком, в действительности не делают его счастливым. Когда же для человека наступает старость, болезни, бедность, печали и несчастья, он, в безумии и слепоте горя, обращаясь с дерзновенным вызовом Богу, проклинает все – и день своего рождения, и всю жизнь свою, и самого себя, и самого Бога – все, кроме своей любви, давшей

ему хотя и воображаемое счастье, но реально прочувствованное им» (Там же. С. 9–10).

В работе Сергея Родзевича «Идея “судьбы” в драмах Метерлинка и Л. Андреева» рассматривается проблема, к которой уже обращались его предшественники. Но в отличие от них Родзевич делает выводы, исходя как из основных положений теории Метерлинка, так и сопоставления “Жизни Человека” и “Смерти Тентажиля”, “Слепых”, “Аглавены и Селизетты”:

«У Метерлинка как бы преобладает эпически-объективное начало. Он изображает “пассивные” существа, так как, с его точки зрения, *активно* только “*присутствие смерти*”, присутствие неких “таинственных сил”, в руках которых мы “случайные и мгновенные огни” (...) Совершенно иную концепцию встречаем мы у Андреева. “Человек” Андреева взят именно со стороны его активности, со стороны *творческого* начала в нем, жаждущего свободы, красоты и бессмертия, начала, вступающего в борьбу с началом “зловещей *косности*” (...) В понимании трагического, таким образом, наши писатели, как видим, близки друг к другу, исходя из одной идеи – идеи “смутных сил Рока”, “зловещей их косности”, сталкивающейся с безгранично выросшей мыслью, жаждущей свободы. Различно отношение к этой идее, пассивно-мистическое у Метерлинка и активно-враждебное у Андреева» (Родзевич С. Идея судьбы в драмах Метерлинка и Л. Андреева: Очерк к истории символической драмы // Аргонавты: Литературно-художественные сборники. Киев, 1914. Кн. 2. С. 250–251).

В заключение – к вопросу об отношении Л. Толстого к пьесе Л. Андреева, который несколько запутан в нашей литературе. Конечно, авторитет яснополянского старца был очень велик, и репортеры всячески добивались его высказываний по тем или иным литературным вопросам, но при этом часто интерпретировали сказанное по-своему и даже приписывали Толстому то, о чем он скорее всего не говорил. Такова, например, краткая заметка «Л.Н. Толстой о “Жизни человека”», появившаяся в июне 1907 г. в газете “Столичное утро” без подписи. Репортер утверждал в ней, что на вопрос о его оценке пьесы Л. Андреева Л. Толстой долго отнекивался, а потом сказал, что это “ярко написанная вещичка. И – по-новому”, а основу ее составляют “известные реалистические взгляды” (подразумеваются, видимо, его взгляды на смертность всего живого). Итог заметки – собственные рассуждения репортера, сопровождаемые неизменным “очень, очень страшает Леонид Андреев, но меня не испугал” (Столичное утро. 1907. 24 июня. (№ 22)). Однако факт общения Л. Толстого с прессой в июньские дни 1907 г. не подтверждается ни “Яснополянскими записками” Д.П. Маковицкого (ЛН. Т. 90: В 4 кн. М., 1979), ни “Летописью” Гусева (Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого: 1891–1910. М., 1960). В мемуарах того же Н.Н. Гусева и Д.П. Маковицкого утверждается, что пьесу “Жизнь Человека” Л. Андреева Толстой не читал, а лишь знаком был с ее содержанием по рассказам М.С. Сухотина и других (см.: Гусев Н.Н.



Два года с Л.Н. Толстым. М., 1928. С. 142; *Маковицкий Д.П.* Яснополяские записки. Кн. 2. С. 593–594), и это знакомство происходило то ли в декабре 1907 г., то ли в апреле 1908 г. Таким образом, приводимое Гусевым высказывание Л. Толстого о “Жизни Человека”: “Это наивный, напускной пессимизм, что не так идет жизнь, как мне хочется... Ни новой мысли, ни художественных образов” (*Гусев Н.Н.* Два года с Л.Н. Толстым. С. 142), – основано не на самостоятельном чтении пьесы, а всего лишь на чужом пересказе.

После Октябрьской революции “Жизнь Человека” шла в Ростове-на-Дону (см.: *ТИИ.* 1917. № 52. С. 874). 19 марта 1918 г. состоялась премьера пьесы в Театре народного просвещения (быв. Незлобина) в Петрограде, режиссер Н.Н. Урванцов. Последний акт игрался во втором варианте. Актерский ансамбль был слабым. Пьеса включалась в серию “Человеческое и божественное”, и перед началом спектакля выходил организатор театра и говорил о том, что “божественное находится в душе каждого человека и только от него зависит загасить эту искру или дать ей ярко разгореться” (*Михайлов А.* Зимний Луна-парк // Наш век. 1918. 21 марта).

При жизни автора пьеса была переведена на болгарский (1907), польский (1907), украинский (1907), финский (1907), немецкий (1908), хорватский (1908 – дважды), латышский (1908, 1915), румынский (1909), французский (1909), чешский (1910), эстонский (1910 – только “Пролог”), японский (1911), итальянский (1912), английский (1914, 1915 – дважды), венгерский (1919) языки и на идиш (1910, 1911).

Уже после смерти автора к пьесе обращались театры Эстонии. 15 апреля 1921 г. показал премьеру Драматический театр (режиссер П. Сепп), спектакль создавался под сильным влиянием Вс. Мейерхольда (см.: *Беззубов В.И., Исаков С.Г.* Творчество Леонида Андреева в Эстонии // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1975. Вып. 209. С. 59–61). Как описывал один из рецензентов, «“Жизнь человека” идет в “полусукнах”, в жутких, тускло освещенных сценических пространствах, так выпукло подчеркивающих своей почти мистической мертвенностью жизненность сценического действия» (Там же. С. 60). В следующем сезоне Сепп поставил пьесу в тартуском Русском театре. В 1924 г. она шла в Нарвском театре. В 1928 г. “Жизнь Человека” показали Пярнуский рабочий театр и вырусский любительский театр “Каннэль” (Там же. С. 66).

24 и 26 марта 1932 г. пьесу играли актеры театра-студии при Калифорнийском университете под руководством режиссера Сары Хантсман Стержес (Program, courtesy University of California at Berkely Archives, Bancroft Library). Театр “Арс мансли” (Arts Monthly) напечатал фотоснимок одной сцены в своем июльском выпуске 1932 г. (см.: *Ришина Р.* “Вечные дебри отчаянья”: Леонид Андреев и американский оптимизм: (К восприятию творчества Леонида Андреева в Америке) // *МиИ*2012. С. 198). В конце 1950-х годов она была показана Студенческим театром Иллинойского университета США (см.: Театр. 1959. № 4. С. 185).

В 1980 г. (премьера 4 октября) “Жизнь Человека” в обновленном переводе на эстонский язык была показана в Таллинском театре им. В. Кингисеппа (режиссер Э. Керге, Человек – Р. Арен, Ю. Крюков, Жена Человека – Э. Куль, Нёкто в сером – Ю. Вийдинг, У. Кибуепуу; см.: Вечерний Таллин. 1980. 3 окт.). В 1987 г. пьесу привез на гастроли в Москву Драматический театр им. Словацкого национального восстания (ЧССР; постановка Й. Беднарик, художник Й. Циллер; см.: *Солнцева Л.* Высокое искусство // Советская культура. 1987. 21 апр.).

В 2009 г. по сюжету пьесы в Пермском академическом Театре-Театре была поставлена арт-опера “Жизнь Человека” (режиссер Борис Мильграм, музыка Владимира Чекакина (он является также соавтором либретто и сорежиссером), сценография Теодора Тэжика; см.: *Ребель Г.* “Жизнь Человека” в интерпретации Театра-Театра // Филолог / Пермский гос. пед. ин-т. Пермь, 2009. № 9. Интернет-ресурс. Режим доступа: [http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub\\_9\\_172](http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_9_172)).

С. 201. *Книга Судеб* – В мифологии самых разных народов имеется представление о некоей силе, управляющей жизнью человека, о предначертанности его поступков. В некоторых мифологиях говорится о книге, куда занесены вехи жизненного пути каждого человека. М. Волошин считал, что одним из источников темы судьбы в пьесе “Жизнь Человека” стали строки немецкого писателя и публициста Л. Берне (*Волошин М.* Лики творчества. Л., 1988. С. 458). В полном виде текст Л. Берне в переводе П.И. Вейнберга выглядит так: “На мировой сцене судьба – суфлер, читающий пьесу спокойно и шепотом, без жестов, без декламаций и не обращая никакого внимания на то, трагедия ли она или комедия. Крики, свистки, аплодисменты и все прочее производят люди” (*Берне Л.* Соч.: В 9 т. СПб., 1896. Т. 2. С. 264).

С. 207. *...вспыхивает свеча...* – Свеча как символ сгорающей человеческой жизни занимает большое место в русских народных поверьях и обрядах (см.: *Максимов С.В.* Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. С. 216–217). Часто встречается этот образ в народном поэтическом творчестве – сказках, плачах и причитаниях (см.: *Чистов К.В.* Русская причеть // Причитания. Л., 1960. С. 38), в русских народных картинках (лубок) – в притчах “О житии человеческого и о старении”, “О возрасте человеческого”, “О последних ступенях возраста человеческого” (см.: *Ровинский Д.А.* Русские народные картинки. СПб., 1881. Кн. 3: Притчи и листы духовные. № 735–740). Во второй половине XIX в. образ свечи как символа человеческой жизни все чаще встречается и в литературе (см.: *Герцен А.И.* Былое и думы // Собр. соч.: В 9 т. М., 1956. Т. 5. С. 170; *Толстой Л.Н.* Анна Каренина // Собр. соч.: В 20 т. М., 1963. Т. 9. С. 388–389).

*...два высоких восьмистекольных окна...* – Такие окна были для Андреева принадлежностью казенного жилища. В рассказе “Губернатор” он писал: “Рамы в высоких окнах делились по-старинному на восемь

частей, и это придавало им характер унылой казенщины, сходство с сиротским судом или тюремной канцелярией” (ПССМ. Т. 2. С. 28).

С. 217. *Нет, Бог не допустит этого.* – В этой и следующей репликах заключены скрытые цитаты из романа Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание” (см.: *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 245–246).

С. 222. *Народный дом* – просветительское учреждение, обычно соединявшее в себе библиотеку-читальню, чайную и залы для спектаклей, народных чтений, лекций и т. п. В России они появились в конце XIX в. и рассматривались в качестве важного средства культурного воспитания масс.

## НЕОПУБЛИКОВАННОЕ<sup>24</sup>

### ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

(С. 261)

Источник – машинописная копия. (Июнь–август 1907 г.) Хранится: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 3. Ед. хр. 7. 6 л.

Впервые опубликовано: *Дэвис Р.Д., Козьменко М.В.* Два неизвестных этюда Леонида Андреева // *Memento vivere: Сб. памяти Л.Н. Ивановой.* СПб.: Наука, 2009. С. 318–330.

Текст представляет собой машинопись (бледно-лиловый шрифт, возможно отпуск). На обороте последнего, шестого, листа помета карандашом: “Письмо обращено к одной родственнице Г.И. Чулкова в 1906–7 годах летом в Финляндии. Надежда Чулкова”.

Машинопись не авторизована (слова “Леонид Андреев” в конце также напечатаны), поэтому, скорее всего, это копия с несохранившегося рукописного автографа. В пользу этого предположения говорит и ряд пропусков (более чем вероятно, на месте неразобранных слов). Вопросительные и восклицательные знаки (очевидно, отсутствующие в шрифте пишущей машинки) везде проставлены вручную, а в некоторых случаях пропущены. Редакционное восполнение пропущенных знаков препинания (предпринятое только в безусловных случаях) специально не оговаривается.

Видимо, этот текст – своеобразная лирическая медитация, обращенная к любимой женщине, – создан непосредственно после освещенных в нем событий, т. е. приблизительно в июне–августе 1907 г. Вероятно, у нее находился подлинник, с которого сделана копия.

В мае–июле 1907 г. Андреев живет в Финляндии, в дачных местах Куоккала и Черная Речка, с целью приобретения земли для постройки дачи. Здесь он знакомится с сестрой Г.И. Чулкова, Любовью Ивановной (1882–1973), которая была в то время замужем за Федором Егоровичем

<sup>24</sup> В раздел входят произведения, не опубликованные при жизни писателя.

Рыбаковым (1868–1920), известным психиатром, бывшим в 1911–1918 гг. директором Психиатрической клиники им. А.А. Морозова, основателем Московского научно-исследовательского института психиатрии. Л.И. Рыбакова – автор мемуаров “Воспоминания из детской жизни о Георгии Ивановиче” (не опубликованы; хранятся: ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 5. Ед. хр. 39). По воспоминаниям жены Чулкова, Надежды Григорьевны, Андреев влюбился в эту “очень красивую молодую женщину, веселую и кокетливую (...) Познакомившись с Любовью Ивановой, Л.И. стал нашим постоянным гостем. Иногда он приглашал нас к себе на обед в Куоккала, где жил с матерью, сестрой и братьями, гостившими у него летом (...) Леонид Николаевич продолжал свои частые посещения нашей дачи, все так же весело проводя время в летних удовольствиях. Мы много гуляли, катались на лодке в Черной Речке, вместе обедали и засиживались до позднего вечера. Он делился с нами своими планами его литературных работ, его замыслами о новых книгах и мечтами о его будущей даче в Финляндии.

Кончилось тем, что он признался в любви к Любови Ивановне, написал ей несколько писем, полных восторга от ее красоты и очарования, и просил ее расстаться с мужем и быть его женой. Но Л.И. не хотела пожертвовать своей семьей” (*Чулкова Н. Портрет Леонида Андреева: 1906–1908 гг. / Подгот. текста, публ. и коммент. Ф.Х. Уайта // Солнечное сплетение. 2003. № 5–6 (24–25). С. 335*). В своем дневнике Андреев отмечает, вспоминая это время: “Ищу женщину. Которую мог бы полюбить и на которой мог бы жениться. Пока безуспешно. Летом нашел нечто как бы подходящее, и она отдалась мне – но она беременная, и ушла опять к мужу. Полюбилась зато еще одна женщина – но тоже беременная, и я немедленно охладел узнав” (*Андреев Л.И. Дневник: 1897–1901 гг. // Подгот. текста М.В. Козьменко и Л.В. Хачатурян (при участии Л.Д. Затуловской), сост., вступ. ст. и коммент. М.В. Козьменко; науч. ред. В.А. Келдыш. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 218; запись от 9 октября 1907 г.*). Из данной записи можно судить, что второй роман был кратковременным, а героиней “Дня первого” является скорее всего именно Любовь Ивановна. Л.И. Рыбакова носила тогда сына Вячеслава (1907–1931), будущего художника.

Общим фоном для сюжета “Дня первого” служат мучительные воспоминания автора об умершей 28 ноября 1906 г. Александре Михайловне Андреевой, его первой жене. Отсюда образ-лейтмотив призрачной лодки, в которой “она, та, что умерла”. В той же дневниковой записи от 9 октября 1907 г. говорится: “Думаю, что достиг предела страданий. Дальше – или смерть, или поворот к счастью. И сердцем безраздельно и страшно владеет мертвая Шурочка”.

С. 261. *Уже полтора года море окружает меня (...) там, на Капри... – На Капри Андреев находился полгода, с декабря 1906 до 6 мая 1907 г., по приглашению Горького, стремившегося ободрить друга, тя-*

жело переживавшего смерть жены. “Полтора года” подряд Андреев у моря не жил, но, возможно, эта субъективная оценка связана с тем, что он дважды снимал дачу в Финляндии (летом 1905 и летом 1906 г.).

*Н.Г.* – Чулкова Надежда Григорьевна (урожд. Петрова, в первом браке Степанова; 1875–1961) – жена Г.И. Чулкова, переводчик, автор мемуаров.

*Г.И.* – Чулков Георгий Иванович (1879–1939) – писатель, литературный критик. С Андреевым познакомился в 1901 г., когда тот заведовал литературным отделом газеты “Курьер”. В 1906–1907 гг. произошло сближение двух писателей, так как Андреев был заинтересован издательскими инициативами Чулкова, прежде всего альманахом “Факелы”, в одном из номеров которого он участвовал. Сохранилось около 20 писем Андреева Чулкову (ОР РГБ. ГАИС Ш. П. XI. Ед. хр. 4; РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 3. Ед. хр. 6), большая часть которых опубликована (Письма Леонида Андреева / Предисл. и послесл. Г. Чулкова. Л., 1924). Автор мемуарного очерка об Андрееве (вошел в кн.: *Чулков Г.И.* Годы странствий: Из книги воспоминаний. М., 1930).

...эти двое – гимназист и девочка... – В это время на даче Чулковых гостили дети В.И. Иванова и Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, сводные брат и сестра Константин и Лидия (*Чулкова Н.* Портрет Леонида Андреева. С. 335; *Иванова Л.* Воспоминания: Книга об отце / Подгот. текста и коммент. Дж. Мальмстада. М., 1992. С. 26).

С. 263. *Аркадий* – Алексеевский Аркадий Павлович (1871–1943) – журналист, знаком с Андреевым с первых лет существования газеты “Курьер”. Гражданский муж Р.Н. Андреевой, сестры Андреева, автор мемуаров о нем (не опубл.; хранятся в ООГЛМТ). Подробнее о нем см.: *Андреев Л.Н.* Письма А.П. Алексеевскому / Публ. В.Н. Чувакова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 178–192.

С. 266. ...*Гржебин...*; *Я так люблю “Шиповник”*. – Гржебин Зиновий Исаевич (1877–1929) – художник-карикатурист и график, издатель. Вместе с С.Ю. Копельманом в 1906 г. основал издательство “Шиповник”, которое выпускало одноименные альманахи. С 1907 г. Андреев начинает сближаться с “Шиповником”, на протяжении 1907–1917 гг. публикуется в альманахах издательства (кн. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 26), в 1908 г. здесь выходит отдельным изданием его пьеса “Царь Голод”, в 1909 – три тома его Собрания сочинений (т. 7–9; нумерация продолжает Собрание сочинений, вышедшее в “Знании”) и трагедия “Анатэма”; кроме того, сам писатель входил в редакционную коллегию издательства. По воспоминаниям В. Беклемишевой: «В “Шиповнике” Леонид Николаевич принимал близкое и длительное участие. Некоторое время он был редактором альманахов. Конечно, всех присылаемых произведений он не читал, но большинство сборников составлено при его ближайшем участии» (*Реквием.* С. 235); см. также: *Келдыш В.А.* Альманахи издательства “Шиповник” // Русская литература и журналистика начала XX века: 1905–1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 261.

## НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ

### ⟨ДОЛГ И ЛЮБОВЬ⟩

(С. 269)

Источник – беловой автограф. ⟨Июнь–август 1907 г.⟩ Хранится: РАЛ. MS.606/B.34.i (2). 1 л.

Впервые опубликовано: *Дэвис Р.Д., Козьменко М.В.* Два неизвестных этюда Леонида Андреева // *Memento vivere: Сб. памяти Л.Н. Ивановой.* СПб.: Наука, 2009. С. 318–330.

Набросок или сохранившийся фрагмент неизвестного произведения, скорее всего, имеет автобиографическую основу, связан с реальными событиями в жизни Андреева, произошедшими летом 1907 г. на даче в Куоккале. Подробнее см. коммент. к рассказу “День первый” (с. 777–778 наст. тома).

Набросок сюжетно и стилистически связан с “Днем первым”. В нем повествуется о позднейшем, финальном эпизоде в отношениях между двумя героями первого этюда. Два текста, в частности, связывает образ-лейтмотив солнца – символа надежды на будущую любовь и жизнь.

“Но почему так много солнца? Солнце – и вдруг умирать. Умирать – и вдруг солнце. Кто говорит о смерти? А, это та. Ты умерла и зовешь меня туда с тобою. Но мне весело, весело, весело” (“День первый”).

“Солгало солнце. Оно светило на мою дорогу, а потом ушло. И вот ночь, и вот холодный туман” (“Долг и любовь”).

У героини первого текста “глаза коричневые, теплые, нет-нет, горячие, желтые – несомненно, позади их где-то солнце...”. Во втором у нее “бледное, смятенное лицо, от которого отступило солнце”.

# УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

## ОБЩИЕ<sup>1</sup>

- Б.д. – без даты  
Б.п. – без подписи  
*незач. вар.* – незачеркнутый вариант  
*незаверш. правка* – незавершенная правка  
*неуст.* – неустановленное  
*ОТ* – основной текст  
*Сост.* – составитель  
*стк.* – строка

## АРХИВОХРАНИЛИЩА

ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел (С.-Петербург).

ООГЛМТ – Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева. Отдел рукописей.

РАЛ – Русский архив в Лидсе (Leeds Russian Archive). Лидсский университет (Великобритания).

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

*Hoover* – Стэнфордский университет. Гуверовский институт (Стэнфорд, Калифорния, США). Коллекция Б.И. Николаевского (№ 88).

## ИСТОЧНИКИ

*Арабажин 1910* – *Арабажин К.И.* Леонид Андреев: Итоги творчества. СПб., 1910.

*АШ* – Литературно-художественные альманахи изд-ва “Шиповник”.

*Баранов 1907* – *Баранов И.П.* Леонид Андреев как художник-психолог и мыслитель. Киев: Изд-е кн. магазина С.И. Иванова, 1907.

*БВед* – газета “Биржевые ведомости” (С.-Петербург).

*БиблА1* – Леонид Николаевич Андреев: Библиография. Вып. 1: Сочинения и письма / Сост. В.Н. Чуваков. М., 1995.

*БиблА2* – Леонид Николаевич Андреев: Библиография. Вып. 2: Литература (1900–1919) / Сост. В.Н. Чуваков. М., 1998.

---

<sup>1</sup> В перечень общих сокращений не входят стандартные сокращения, используемые в библиографических описаниях и т. п.

*БиблиА2а* – Леонид Николаевич Андреев: Библиография. Вып. 2а: Аннотированный каталог собрания рецензий Славянской библиотеки Хельсинкского университета / Сост. М.В. Козьменко. М., 2002.

*Блок. ПСС – Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997–.

*ВЕ* – журнал “Вестник Европы” (С.-Петербург).

*Витте 1910* – *Витте С.Ю.* Леонид Андреев: Критический очерк. Одесса, 1910.

*Волошин 1907* – *Волошин М.А.* “Елеазар”, рассказ Леонида Андреева // *Русь*. 1907. 16 февр. (№ 47). С. 3.

*Вопросы театра* – Письма Л.Н. Андреева к Вл.И. Немировичу-Данченко и К.С. Станиславскому / Публ. и коммент. Н. Балатовой // *Вопросы театра*: 1966: Сб. статей и материалов. М., 1966. С. 275–301.

*Ганжулевич 1908* – *Ганжулевич Т.* Русская жизнь и ее течения в творчестве Леонида Андреева. СПб.: Изд-е т-ва “Издательское бюро”, 1908.

*Германов 1916* – *Германов В.* Вечное в художественной литературе наших дней. [Ч.] 2: Перед дверьми // *Христианская мысль*. Киев, 1916. Март.

*Горнфельд 1908.* – *Горнфельд А.Г.* Книги и люди: Литературные беседы. СПб.: Жизнь, 1908. Кн. I.

*Горький. Письма* – *Горький М.* Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 1997–.

*Горький ПСС-ХП* – *Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М., 1968–1976.

*Джонсон 1908* – *Джонсон И.* [*Иванов И.В.*] О Леониде Андрееве // *Киевские вести*. 1908. 14 дек. (№ 332). С. 4.

*Зн* – *Андреев Л.Н.* Рассказы: В 4 т. СПб.: Т-во “Знание”, 1902–1907.

*Иванов-Разумник 1908* – *Иванов-Разумник Р.В.* О смысле жизни: Федор Сологуб, Леонид Андреев, Лев Шестов. СПб., 1908.

*Измайлов 1911* – *Измайлов А.* Литературный Олимп. М., 1911.

*Книга о Л.А.* – Книга о Леониде Андрееве: Воспоминания М. Горького, К. Чуковского, А. Блока, Георгия Чулкова, Бор. Зайцева, Н. Телешова, Евг. Замятина, Андрея Белого. 2-е изд., доп. Б.; Пг.; М., 1922.

*Коган 1910* – *Коган П.* Леонид Андреев // *Коган П.* Очерки по истории новейшей русской литературы. Т. 3: Современники. Вып. 2. М., 1910. С. 3–59.

*Козловский 1915* – *Козловский Л.С.* Леонид Андреев // *Русская литература XX в.* / Под ред. С.А. Венгерова. М.: Мир, 1915. Т. 2. С. 251–280.

*ЛА5* – Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. [Т.] 5 / Под ред. К.Д. Муратовой. М.; Л., 1960.

*ЛН* – Литературное наследство.

*ЛН72* – *Горький и Леонид Андреев*: Неизданная переписка. М., 1965. (Литературное наследство; Т. 72).

*Луначарский 1906* – *Луначарский А.* Заметки философа: О настоящих анархистах // *Образование*. 1906. № 10. С. 19–38; № 11. С. 19–38.

*Луначарский 1908* – *Луначарский А.В.* Тьма // *Литературный распад*. СПб., 1908. Кн. 1. С. 153–178.

*Львов-Рогачевский 1907* – *Львов В.* [*Львов-Рогачевский В.Л.*] Шаги смерти: По поводу “представления” Л. Андреева “Жизнь человека” и рассказа Л. Андреева “Елеазар” // *Образование*. 1907. № 3. Отд. 3.

*Львов-Рогачевский 1914* – *Львов-Рогачевский В.Л.* Две правды: Книга о Леониде Андрееве. СПб.: Прометей, 1914.

*Ляцкий 1907* – *Ляцкий Е.А.* Между бездной и тайной (“Елеазар”, “Иуда Искариот и другие” Л. Андреева) // *Современный мир*. 1907. № 7–8. Отд. 2.

*МИИ2000* – Леонид Андреев: Материалы и исследования. М., 2000.



- МиИ2012* – Леонид Андреев: Материалы и исследования. Вып. 2. М., 2012.
- НВ* – газета “Новое время” (С.-Петербург).
- Неведомский 1910* – *Неведомский М.* [Миклашевский М.П.] Леонид Андреев // История русской литературы XIX века / Под ред. Д.Н. Овсяннико-Куликовского. М.: Мир, 1910. Т. 5.
- ОбозрТ* – газета “Обозрение театров” (С.-Петербург).
- Обр* – журнал “Образование” (С.-Петербург).
- Письма Пятницкому* – Из писем Л. Андреева – К.П. Пятницкому. 1904–1906 / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. В. Чувакова // Вопросы литературы. 1971. № 8. С. 160–184.
- Письма Чулкову* – Письма Леонида Андреева / Предисл. и послесл. Г. Чулкова. Л.: Колос, 1924.
- Пр* – Андреев Л.Н. Собр. соч.: [В 13 т.]. СПб.: Просвещение, 1911–1913.
- ПССМ – Андреев Л.Н.* Полн. собр. соч.: [В 8 т.]. СПб.: Изд-е т-ва А.Ф. Маркс, 1913.
- РВед* – газета “Русские ведомости” (Москва).
- Рейснер 1909* – *Рейснер М.* Л. Андреев и его социальная идеология: Опыт социологической критики. СПб., 1909.
- Реквием* – Реквием: Сб. памяти Леонида Андреева / Под ред. Д.Л. Андреева и В.Е. Беклемишевой; с предисл. В.И. Невского М.: Федерация, 1930.
- РЛ-1962* – Письма Л.Н. Андреева к А.А. Измайлову / Публ. В. Гречнева // Русская литература. 1962. № 3. С. 193–201.
- РМ* – журнал “Русская мысль” (Москва).
- РС* – газета “Русское слово” (Москва).
- Соболев 1908а* – *Соболев Ю.В.* Над бездной // Сборник / Изд-е Харьковско-го студ. лит.-филол. кружка. Харьков, 1908. С. 135–154.
- Соболев 1908б* – *Соболев Ю.В.* За правдой: Критический этюд по поводу рассказа Л. Андреева “Тьма” // Сура. Пенза, 1908. 4 янв. (№ 3). С. 2–3.
- ССХЛ* – *Андреев Л.Н.* Собр. соч.: В 6 т. М.: Худ. лит., 1990–1996.
- СРНГ* – Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965– .
- ТиИ* – журнал “Театр и искусство” (С.-Петербург).
- УЗГУ119* – Неизданные письма Леонида Андреева: К творческой истории пьес периода первой русской революции / Вступ. ст., публ. и коммент. В.И. Беззубова // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1962. Вып. 119. С. 378–393.
- Фатов* – *Фатов Н.Н.* Молодые годы Леонида Андреева: По неизданным письмам, воспоминаниям и документам. М., 1924.
- Ш* – *Андреев Л.Н.* Собр. соч. СПб.: Шиповник, 1909. Т. 5–7.
- S.O.S.* – Андреев Леонид. S.O.S.: Дневник (1914–1919); Письма (1917–1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918–1919) / Под ред. и со вступ. ст. Р. Дэвиса и Б. Хеллмана. М.; СПб., 1994.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН<sup>1</sup>

- А.В. *см. Тыркова А.В.*  
А.Д. 682  
А.П. 600  
А.Т. 599  
А. Тим-ъ *см. Тимофеев А.А.*  
Абельсон И.О. (Объективный) 710, 734  
Абрамова Д. 581  
Абрамович Н.Я. (Кадмин Н.) 750, 751  
Август Октавиан 17–22, 515, 518, 520, 521, 523, 626, 635  
Августин Блаженный 531  
Авель *см. Василевский Л.М.*  
Аврелий *см. Брюсов В.Я.*  
Аврелий Марк 538  
Аггеев К.М. 705, 706  
Адрианов С.А. 565, 657, 658  
Азадовский К.М. 631  
Азеф Е.Ф. 525, 538  
Азов Влад. [Ашкинази В.А.] 747  
Айхенвальд Ю.И. (Ю.А.) 654, 741, 742  
Александр II 593, 594  
Александрович Ю. [Потеряхин А.Н.] 766  
Алексеевский А.П. 263, 265, 266, 649, 779  
Альберт И.С. 756  
Амитон И. 581  
Амфитеатров А.В. 532, 609, 613, 614, 726, 727  
Андреев, фельдфебель 595  
Андреев А., актер 682, 698  
Андреев В.Л. 539, 541, 631, 690  
Андреев Д.Л. 536, 541, 783  
Андреев П.Н. 536, 538, 630, 650, 688  
Андреева (Велигорская) А.М. 537, 540, 631, 642, 644, 649, 688–690, 775, 778  
Андреева А.И. 536, 650  
Андреева М.Ф. 503, 510  
Андреева Р.Н. 649, 779  
Андреева-Рыжкова И.Г. 650  
Андрей В. *см. Вейнберг А.А.*  
Анненский И.Ф. 565, 567, 590, 593  
Антон Крайний *см. Гиппиус З.Н.*  
Антонов И.Н. *см. Изгнанник*  
Анцев С. 752  
Арабажин К.И. (Solus) 676, 682, 772, 773, 781  
Арбузова О.В. 628  
Арен Р. 776  
Аркадьев А.И. 707, 726, 753, 757  
Арнольд В. 543, 544  
Арсений, архиепископ (Брянцев А.Д.) 704, 705  
Арский П. [Афанасьев П.А.] 755  
Архангельский В.Н. 540  
Арцыбашев М.П. 599, 607, 767  
Аскольдов Сергей [Алексеев (Козлов) С.А.] 545, 546  
Аскоченский В.И. 539, 547, 548, 556  
Афонин Л.Н. 511  
Ахматова А.А. 508  
Ашкинази В.А. *см. Азов Влад.*  
Ашкинази И.Г. 571  
Б.В. 682  
Базаров В. [Руднев В.А.] 697  
Байнак Ж. 628  
Байрон Дж.Г. 730, 732  
Бакунин М.А. 655, 674

<sup>1</sup> В Указателе использовано три вида скобок: в угловых дается псевдоним рядом с наст. именем; в квадратных – реальная фамилия человека; в круглых – дополнительное равнозначное реальное имя / фамилия.

- Балатова Н.Р. 782  
 Бальмонт К.Д. 624  
 Баранов И.П. 781  
 Барановская В.В. 737, 747, 750  
 Баркан А. 628  
 Батюшков Ф.Д. 731, 732  
 Бах И.-С. 535  
 Беднарик Й. 776  
 Беззубов В.И. 607, 738, 775, 783  
 Беклемишева В.Е. 779, 783  
 Бёклин А. 766  
 Белгородский, актер 755  
 Белинский В.Г. 622, 771  
 Белоусов И.А. 538  
 Белый Андрей [Бугаев Б.Н.] 501, 560,  
 607, 719, 720, 740, 741, 782  
 Бельмонт Лео 570, 571  
 Беляев Е.А. 754  
 Беляев Ю.Д. 708, 709, 710  
 Бемоль 754, 755  
 Бенштейн Н.А. (Угрюмов Н.) 599  
 Бердслей О.-В. 740, 741  
 Бердяев Н.А. 504, 560, 674, 767  
 Берковский Н.Я. 697  
 Берне Л. 776  
 Бескин Э.Б. (Эмбе) 543, 555  
 Бессонов П.А. 535  
 Бирман Б. 599  
 Благов Ф.Ф. (Фрицхен) 640  
 Бланк Б.Л. 628  
 Блок А.А. 500, 501, 532, 549, 598, 601,  
 607–609, 708, 716–720, 782  
 Блок Л.Д. (жена) 607, (Люба) 608  
 Бовио Дж. 577  
 Богатырев А. 581  
 Богданов А.В. 607, 650  
 Богдашевский Д.И. 556  
 Боголюбов С.П. 652  
 Боголюбский Н.И., протоиерей 571  
 Богородский Я.А. 569  
 Бодлер Ш. 766  
 Боева Г.Н. 507, 785  
 Боривой [Якушев Д.П.] 634  
 Боссюэт Ж.Б. 551  
 Боткин В.П. 523  
 Боцяновский В.Ф. 523, 574, 620, 621,  
 657  
 Бравич К.В. 707, 710, 726, 727, 748  
 Браиловский М. 759–761  
 Брандт Р.Ф. 753  
 Брехт Б. 506  
 Брихничев И.П. 629  
 Брокгауз Ф.А. 526, 577  
 Бронзов А.А. 556  
 Брусянин В.В. (Вас. Б.) 630, 757  
 Брыляков В.Ф. 628  
 Брюсов В.Я. (Аврелий) 500, 532, 533,  
 535, 557, 560, 617, 618, 627, 742  
 Брянский А.Н. 755  
 Бунин И.А. 500, 508, 590  
 Бунс С. 628  
 Бургов А.В., священник 575–577  
 Буренин В.П. (В.) 562, 636, 639, 743  
 Буракин А.А. 555  
 Бурцев В.Л. 525  
 Бутнару В. 581  
 Быстренин В.П. 611  
 Быстров В.Н. 507  
 Бьернсон Б.М. 681  
 Бухов А.С. 637, 638, 640  
 Бялый Г.А. 598  
  
 В. см. Буренин В.П  
 В.А.Щ. см. Хейсина-Щегло Л.В.  
 В.Л. см. Андреев В.Л  
 Валентинов Н. см. Вольский Н.В.  
 Варнеке Б.В. 542  
 Вас. Б. см. Брусянин В.В  
 Васенов М. 565  
 Василевский И.М. (Феникс) 554, 654  
 Василевский Л.М. (Авель) 679  
 Василий Федоров см. Рутенберг П.М.  
 Введенская В.М. 508  
 Вейнберг А.А. (В. Андрей) 611, 612  
 Вейнберг П.И. 512, 776  
 Вель 554  
 Венгеров С.А. 577, 612, 613, 782  
 Венгерова З.А. (З.В.) 671, 714–716,  
 718  
 Венедиктов 752  
 Вересаев В.В. 537, 696  
 Веригина В.П. 708  
 Вертышев К.Н. 682  
 Веселовский А. (лексей) Н. 753  
 Вейдинг Ю. 776  
 Виленкин см. Минский Н.  
 Вильнер В. 682  
 Винниченко В.К. 626  
 Витте С.Ю. 522, 523, 573, 574, 626,  
 773, 782  
 Волжский см. Глинка-Волжский А.С.  
 Волкенштейн Л.А. 524

- Волошин М.А. 512–514, 517, 533–536, 549, 550, 563, 601, 606, 761–763, 776, 782  
 Волынский А.Л. [Флексер Х.Л.] 607, 608  
 Волынский Анат. 758, 759  
 Вольская, актриса 755  
 Вольский Н.В. (Валентинов Н.) 766–768  
 Воронский В.В. (Орловский П.) 614, 624, 696, 697  
 Воронкова 678  
 Воронов А.А. 645, 686  
 Воротников А. 741  
 Вронский, актер 682  
 Г. 744  
 Галахов А.Д. 523  
 Галахова О. 683  
 Галин, актер 678, 679  
 Ганжулевич Т.Я. 565, 675, 676, 768, 782  
 Гапон Г.А., священник 588  
 Гардин В.Р. 678  
 Гарнак Адольф фон 551  
 Гаршин В.М. 614  
 Гауптман Г. 647, 766  
 Гегель Г.-В.-Ф. 768  
 Гедберг (Хедберг) Т. 531, 575, 577  
 Гейзе П. (Хейзе П.) 531, 560, 561, 575  
 Гейне Г. 512, 765.  
 Геккер Н.Л. (Н.Г.) 601, 612, 614  
 Георгий (Ярошевский Г.Г.), митрополит 565, 568  
 Герасимов Л. 674  
 Германов В. 518, 577, 580, 782  
 Герострат 674  
 Герцен А.И. 523, 776  
 Герцо-Виноградский П.Т. (Лоэнгрин) 656  
 Гершензон М.О. 625  
 Гёте И.-В. 531, 665  
 Гинзбург Р.И. (Ergo) 602  
 Гиппиус З.Н. (Антон Крайний) 515, 532, 553, 613, 617–619, 627, 631, 710–712, 773  
 Глаголев Н.М. 538  
 Глаголь С. см. *Голоушев С.С.*  
 Глинка-Волжский [Глинка] А.С. (Волжский) 549, 551, 553, 610  
 Глухова Е.В. 508  
 Говоруха-Отрок Ю.Н. 598  
 Говорухо А.Я. 581  
 Гоголь Н.В. 649, 713  
 Гойя Ф. 512, 708, 747  
 Голованов Н.Н. 532, 547  
 Голоушев С.С. (Сергей Глаголь) 499, 506, 540, 649, 694, 703, 704, 740  
 Гольдберг И.Г. (Исаак Г.) 519, 543, 593  
 Гольдшайдер Э. 677, 678  
 Гончаров И.А. 569  
 Горнфельд А.Г. 557, 601–604, 609, 666, 667, 729, 767, 782  
 Горский, актер 754  
 Горький Максим [Пешков А.М.] 501, 502, 503, 510, 511, 529, 530, 536, 537, 538, 569, 578, 587, 588, 599, 617, 625, 630–632, 634, 637, 639, 640, 643, 646–649, 651, 655, 656, 660, 686, 689, 694–699, 710, 711, 714, 725, 754, 763, 764, 771, 772, 782  
 Гр. Г. см. *Гроссман Г.А.*  
 Грав Ж. 674  
 Грановский Т.Н. 523  
 Грахова 514  
 Грачева А.М. 532  
 Гречанинов А.Т. 685  
 Гречишкин С.С. 533, 535  
 Гречнев В.Я. 783  
 Гржебин З.И. 266, 512, 607, 703, 779  
 Грибоедов А.С. 753  
 Григорьевский М.С. 705  
 Григорьев А.Л. 511  
 Грирсон С. 628  
 Гроссман Г.А. (Гр. Г.) 681  
 Грузинский 649  
 Грюневальд М. 514  
 Губанов А.А. 680  
 Гуревич Л.Я. 745, 746  
 Гусев Н.Н. 609, 774, 775  
 Гюго В. 512  
 Д'Ор [Оршер О.Л.] 605, 638, 639  
 Давыдов З. 581  
 Даль В.И. 686  
 Данилевский Г. 571  
 Дашкевич В.С. 628  
 Девор Д.А. 519  
 Деген Е.В. 512, 513  
 Дейч Л.Г. 594

- Дельвег Г. фон 677, 678  
 Державин Н.Л. 560, 561  
 Джонсон И. [Иванов И.В.] 515, 519, 562–564, 621, 622, 782  
 Диккенс Ч. 531  
 Дикман М.И. 532  
 Дмитриев М. 633, 634  
 Дмитриев П. 522  
 Добров Ф.А. 649  
 Довгелло (Ремизова-Довгелло) С.П. 533  
 Должанский Р. 683  
 Дорошевич В. М. 547, 548  
 Достоевский Ф.М. 512, 514, 523, 565–567, 569, 571, 577, 591–594, 602, 610–613, 618–620, 623, 626, 655, 658, 659, 676, 713, 759, 760, 763, 777  
 Дробыш-Дробышевский А.А. (Уманьский А.; Ум-ский А.) 542, 543, 620  
 Дубовская Г. 628  
 Дункан А. 739, 743  
 Дуров Л.К. 628  
 Дьеркс Л. 512, 513, 514  
 Дьяк Шигони *см. о. Михаил, епископ; Семенов П.В.*  
 Дэвис Р. *см. также Davies R.* 507–509, 533, 649, 689, 777, 780, 783  
 Дюрер А. 741  
  
 Е.К. *см. Кускова Е.Д.*  
 Евг. Л. *см. Ляцкий Е.А.*  
 Егоров В.Е. 737  
 Ел.Кл. *см. Колтоновская Е.А.*  
 Елпатьевский С.Я. 689  
 Ефремов М.О. 628  
 Ефремов О.Н. 628  
 Ефрон И.А. 526, 577  
  
 Жебар Э.(Е. Хебгардт) 531, 532  
 Жилкин И.В. 748  
 Жураковский А.Е. 571  
  
 З.В. *см. Венгерова З.В.*  
 Зайцев Б.К. 508, 511, 750, 782  
 Замятин Е.И. 503, 782  
 Засулич В.И. 594  
 Затуловская Л.Д. 778  
 Зигфрид *см. Старк Э.А.*  
 Зиновьева-Аннибал Л.Д. 779  
 Зунин Ю.М. 758  
  
 И. *см. Игнатов И.Н.*  
 Ибрагимов Е. 581  
 Ибсен Г. 577, 627, 655, 688, 717  
 И-в Н. 605  
 Иванов В.И. 533, 607, 608, 620, 767, 779  
 Иванов И.В. *см. Джонсон И.*  
 Иванов О. 525, 580  
 Иванов С.И. 781  
 Иванова Л.Н. 536, 777, 780  
 Иванова Л.В. 779  
 Иванов-Разумник [Иванов Р.В.] 501, 519, 520, 609, 611, 762–764, 782  
 Игнатов И.Н. (И.) 553, 561, 602  
 Иезуитова Л.А. 507–509, 511, 533, 591  
 Иерусалимский А.М. (Юж-н; Южанин А.) 515, 632  
 Изгнанник [Антонов И.Н.] 599  
 Измайлов А.А. (Неблагодарный читатель; Смоленский) 517, 518, 519, 532, 600, 659, 660, 733, 748, 782, 783  
 Илиодор (Труфанов С.М.), иеромонах 712  
 Ильин М.А. *см. Осоргин М.А.*  
 Ильинский В. 556, 557, 569  
 Инд А. 562  
 Иннокентий, архиепископ 576  
 Иолшина (Чирикова В.Г., урожд. Григорьева) 757  
 Ирод Антипа 582  
 Исаак Г. [Гольдберг И.Г.] 519, 593  
 Исаков С.Г. 775  
  
 Кабалин В.Н. 580  
 Кадмин Н. *см. Абрамович Н.Я.*  
 Казакова Н.А. 507  
 Кальвин Ж. 551  
 Каменев В. 645, 646  
 Каменский А.П. 767  
 Кант И. 763  
 Канчели Г. 525, 580, 581  
 Картожинский О.М.(Норвежский О.) 599  
 Кац М. 525, 580  
 Качалина К. 628  
 Келдыш В.А. 508, 778, 779  
 Кен Л.Н. 508, 511, 536  
 Керге Э. 776  
 Керр А. 681

- Кибуепуу У. 776  
 Кингисепп В. 776  
 Кишкин Л. 645, 646  
 Клейнборт Л.Н. 588  
 Климов Л.А. 507  
 Клопшток Ф.Г. 531  
 Клычков С.А. 555  
 Клюев Н. 629  
 Ковалевский П.М. 639, 685  
 Коган П.С. 782  
 К-ов Л. см. *Колбасников Л.*  
 Козловский Л.С. 577–579, 627, 782  
 Козьменко М.В. 507–509, 530, 777,  
 778, 780, 782, 785  
 Колбасников Л. (К-ов Л.) 620  
 Колосов Н.А. 621, 644, 646, 660  
 Колтоновская Е.А. 521  
 Коммиссаржевская В.Ф. 699, 707, 710,  
 718, 726, 733–735, 748, 750, 757  
 Комков Вл. 559  
 Кондаков Н.П. 683  
 Кондурушкин С.С. 532  
 Коненков С.Т. 555.  
 Копельман С.Ю. 607, 779  
 Коперник Н. 713  
 Коралли-Торцов А.М. 755  
 Корелли М. 531  
 Коринфский А.А. (Литературный  
 Старовер) 544, 545  
 Короленко В.Г. 516, 590, 618, 768  
 Королицкий М.С. (М.К.) 621  
 Корш Ф.А. 598.  
 Костомаров Н. 535  
 Кравчинский С.М. (Степняк С.) 594–  
 597, 613  
 Крахнфельд В.П. 515, 557, 623, 624,  
 661  
 Крестовский В.В. 629  
 Кржижановский Г.М. 629  
 Крушеван П.А. 712  
 Крюков Ю. 776  
 Кублицкая-Пиоттух А.А. (мать) 608  
 Кугель А.Р. (Негорев Ник.; Ното по-  
 ву) 654, 655, 723–725, 749, 750  
 Кузмин М.А. 767  
 Куль Э. 776  
 Куприн А.И. 500, 508, 602, 607, 639,  
 696, 697  
 Купченко В.Н. 533  
 Курсинский А.А. 661, 662, 694, 695,  
 744  
 Куртней Л. 517, 572  
 Кускова Е.Д. (Кускова-Прокопович  
 Е.Д.) 593, 603, 604  
 Кюн В. 757  
 Кюнерайнен К. 263, 266  
 Лавров А.В. 533, 535, 631  
 Лагутин А. 645, 646  
 Ладыжников И.П. (Ladyschnikow)  
 509, 528, 585, 648, 687  
 Левин К. 517  
 Легри А. 678  
 Леонардо да Винчи 708, 727  
 Леонидов Л.М. 737, 739, 750  
 Леся Украинка [Косач-Квитка Л.П.]  
 683  
 Лесков Н.С. 613  
 Лигин, актер 755  
 Лизогуб Д.А. 595, 596  
 Литературный Старовер см. *Коринф-  
 ский А.А.*  
 Лопатин Г.А. 525  
 Лопухин А.П. 556  
 Лоу В. 518, 572  
 Лознгрин см. *Герцо-Виноградский П.Т.*  
 Луначарский А.В. 516, 559, 560, 567,  
 614–616, 619, 620, 624, 627, 673,  
 674, 696, 721, 722, 782  
 Лурье Ф.М. 589  
 Львов-Рогачевский В.Л. (Рогачев-  
 ский) 516, 523, 549, 553, 577, 578,  
 626, 627, 666–668, 721, 722, 782  
 Любатович О.С. 594  
 Лютер М. 551  
 Ляцкий Е.А. (Евг. Л.) 520, 521, 549,  
 553, 554, 638, 639, 666, 783  
 М.К. см. *Королицкий М.*  
 Магомедова Д.М. 607, 608  
 Макаров А. 628  
 Маковицкий Д.П. 774, 775  
 Максимов С.В. 776  
 Мальмстад Дж. 779  
 Маныч П.Д. (Тавричанин П.) 599  
 Марджанов К.А. 752  
 Маркс А.Ф. 469, 783  
 Мартов Л. см. *Сергеев Л.*  
 Масленников И.Ф. 628  
 Матрюков 571  
 Махнев В.А. 525, 580

- Мейерхольд В.Э. 678, 679, 682, 707, 708, 718, 723, 725, 726, 733–735, 745–748, 752, 775
- Меланхтон Ф. 551
- Менделеева А.И. (теща) 607
- Мережковский Д.С. 516, 557–560, 567, 610, 613, 617–620, 627, 672–674, 710, 712–714, 720, 721, 768, 773
- Метерлинк М. 688, 702, 711, 716, 717, 719, 720, 727, 735, 751, 760, 774
- Миклашевский М.П. *см. Неведомский М.П.*
- Мильграм Б.Л. 776
- Мильтон Д. 531
- Мельшин *см. Якубович П.Ф.*
- Минаев Д.Д. 629
- Минский Н. [Виленкин Н.М.] 512, 532, 558, 559, 618, 619, 716, 720, 721
- Мирноголов Ал. [Фриденберг А.Э.] 555
- Миронова, актриса 682
- Михайловский Н.К. 590, 729
- Морев, актер 754
- Морозов А.А. 778
- Морозов М.В. 574, 575, 635
- Морозов Н.А. 594
- Моцарт В.-А. 709
- Мунт Е.М. 707, 726
- Муратова К.Д. 782
- Муретов М.Д. 531, 539, 556, 629
- Н.Г. *см. Геккер Н.Л.*
- Н.М. 755
- Надсон С.Я. 532, 614
- Найденев С.А. [Алексеев С.А.] 602
- Наполеон Буонапарте 729
- Наумова А.И. 630
- Неблагосклонный читатель *см. Измайлов А.А.*
- Неведомский М.П. [Миклашевский М.П.] 565–567, 593, 622, 623, 639, 771, 783
- Невский В.И. 783
- Негорев Ник. *см. Кугель А.Р.*
- Незлобин К.Н. 775
- Незнакомец *см. Флит Б.Д.*
- Немирович-Данченко Вл.И. 505, 652, 689, 696, 699, 700, 738, 743, 782
- Нерадовский, актер 682
- Николай II 646
- Ницше Ф. 564, 566, 570, 571, 577, 623, 627, 655, 659, 754
- Новичек 757
- Новодворский А.О. *см. Осипович А.О.*
- Ноев С. 610
- Норвежский О. *см. Картожинский О.М.*
- о. Георгий (Ярошевский Г.Г.), митрополит 565, 568
- о. Михаил (Семенов П.В.) (Дьяк Шигони) 601, 605, 606, 615
- Обатнина Е.Р. 533
- Объективный *см. Абельсон И.О.*
- Овсяннико-Куликовский Д.Н. 658–660, 769, 770, 783
- Олигер Н.Ф. 639
- Ольховский, актер 682
- Омега *см. Трозинер Ф.В.*
- Онни, актер 682
- Орлов, актер 682
- Орловский А.П. *см. Воровский В.В.*
- Освецимский В.И. 682
- Осипович А.О. (Новодворский А.) 597, 614, 621
- Осипович-Новодворский *см. Осипович А.О.*
- Осоргин М.А. (Ильин М.А.) 557
- Островский А.Н. 702
- Павлова А.И. 757
- Панова С.Д. 631
- Паскаль Б. 728
- Певцов И.Н. 682
- Панкова Е.С. 683
- Пантыкин А.А. 580
- Петр I 547
- Петров А. 609
- Петров В.С. 683
- Петров Гр.С., священник 533
- Петров П. *см. Пильский П.М.*
- Петрова Н.Г. *см. Чулкова Н.Г.*
- Петровский М.С. 607
- Пильский П.М. (Петров П.) 559, 728
- Пирожков М.В. 538
- Писарев Д.И. 713
- Плеве В.К. 523
- Плесков, актер 755
- Плеханов Г.В. 639
- Пли-кий 750

По Э. 766  
Победоносцев К.П. 531  
Подгуг Н. 574, 621  
Полонский Г.Я. 601, 605  
Поляков С.Л. (Эс. Пэ.) 554, 555, 701, 703  
Попов А.В. 556  
Попов В. 675  
Попов М. 594  
Попов П. 532  
Порфирьев И.Я. 535  
Потемкин А. 599  
Потеряхин А.Н. *см. Александрович Ю.*  
Потресов А. 567, 568  
Потресов С.В. *см. Яблоновский Серг.*  
Поярков Н.Е. 555, 601  
Премиров М.Л. 751  
Приходько И.С. 607  
Прокофьев С.И. 682  
Пруссаков А.И. (Рында) 704  
Пухов Ю.С. 503  
Пушкин А.С. 664  
Пятницкий К.П. 511, 588, 640, 648, 651, 652, 658, 659, 688, 783

**р** 542

Рассохин С.Ф. 707  
Ребель Г.М. 776  
Редько А.Е. [Редько А.М. и Е.И.] 564, 663  
Рейснер М.А. 565, 569, 570, 625, 626, 770, 783  
Ремизов А.М. 533, 534, 535, 536, 578, 767  
Ренан Э. 531, 536, 538, 539, 551, 560, 629, 732  
Ришина Р. 775  
Ровинский Д.А. 776  
Рогачевский *см. Львов-Рогачевский В.Л.*  
Родзевич С.И. 774  
Розанов В.В. 516, 532, 533, 549, 551, 552, 558, 559, 618  
Романовы, царская династия 695  
Рославлев А.С. 532, 537, 538, 577, 578  
Ростиславов А.А. 726, 727  
Рошин Н. 683  
Рудницкий К.Л. 707  
Русов Н.Н. 555  
Руссо Ж.-Ж. 674

Рутенберг П.М. (Василий Федоров) 587, 588, 589  
Рцы 755  
Рыбаков Ф.Е. 778  
Рыбакова (урожд. Чулкова) Л.И. 777, 778  
Рында *см. Пруссаков А.И.*

Сабинский Ч. 683  
Сазонов (Созонов) Е.С. 523, 524  
Сакулин П.Н. 753  
Салтыков-Щедрин М.Е. 631  
Сальникова Е. 581  
Самойлов П.В. 757  
Самойлова, актриса 682  
Сац И.А. 737, 738, 740, 746, 784, 494  
С-в Алексей 620  
Сбитнев К. 683  
Свенцицкий В.П. 629  
Свободина, актриса 755  
Святловский Е.В. 538  
Селиванов Ар. А. 564  
Семенов П.В. *см. о. Михаил*  
Сепп П. 775  
Серафимович А.С. [Попов А.С.] 537, 694, 697  
Сергеев Л. [Цедербаум Ю.О.] (Мартов Л.) 610  
Сергеев-Ценский С.Н. (Ценский) 607, 608  
Сибирияков А.И. 752  
Сизов В. 580  
Сильверсван Б. 656  
Симонов Н.К. 682  
Синклер Э. 666  
Сирин Ефим 576  
-ск- 665  
Скиталец [Петров С.Г.] 549, 639  
Славский, режиссер театра 754  
Слонов И.А. 683  
Смирнов А.А. 670  
Смоленский *см. Измайлов А.А.*  
Смолянов А. 612  
Соболев Ю.В. 520, 561, 612, 764, 783  
Соколов А.А. 744  
Соколова Е.Г. 645, 686  
Солнцева Л. 776  
Соловьев А.К. 593–595, 597  
Соловьев В.С. 591–593, 655  
Сологуб Федор [Тетерников Ф.К.] 532, 551, 606–608, 624, 782



- Соляный П.М. (Старый воробей) 735  
Софокл 773  
Спиноза Б. 665, 674  
Станиславский К.С. 653, 735, 737, 741, 743, 745–747, 749, 782  
Старк Э.А. (Зигфрид) 746  
Стародворский Н.П. 613  
Старосельская Н.Д. 683  
Старый воробей *см. Соляный П.М.*  
Старый друг *см. Эфрос Н.Е.*  
Старый знакомый 744  
Степанова Н.Г. *см. Чулкова Н.Г.*  
Стефанович Я.В. 594  
Стражев В.И. 514, 515, 598, 599  
Сулержицкий Л.А. 737, 738  
Сухотин М.С. 774
- Тавричанин П. *см. Маныч П.Д.*  
Таксиль Л. 550  
Тальников Д. [Шпитальников Д.Л.] 593, 594, 603, 604  
Тан-Богораз В.Г. 598  
Тарабукин Н.М. 778  
Тареев М.М. 531, 551  
Телешов Н.Д. 689, 694, 696, 698, 782  
Тиберий, император 582  
Тимофеев А.А. (Тим-ъ А.) 558, 559  
Тим-ъ А. *см. Тимофеев А.А.*  
Тихомиров Л.А. 598  
Тихонова 595  
Тихонович 571  
Толстой Л.Н. 500, 512, 516, 517, 565, 569, 577, 579, 595, 596, 609, 619, 626, 661, 674, 713, 724, 728, 774–776  
Топоров В.Л. 628  
Тришатный А.И. 544  
Трозинер Ф.В. 734  
Тройнов В.П. 649  
Троцкий И. 680, 681  
Троцкий Л.Д. 547  
Тургенев И.С. 569  
Турецкий Е. 525, 581  
Тутолмина С.Н. 608  
Тыркова А.В. (А.В.) 554  
Тэжик Т. 776
- Уайт Ф.Х. 778  
Угрюмов Н. *см. Бенштейн Н.А.*  
Уикс У. (W.Wykes) 630, 631
- Уманьский А. *см. Дробыш-Дробышевский А.А.*  
Уралов И.М. 737, 739  
Урванцов Н.Н. 775  
Успенский Г.И. 590, 614  
Уфимцев А. 645–647, 649
- Фатов Н.Н. 631  
Феникс *см. Василевский И.М.*  
Фет А.А. 629  
Фигнер В.Н. 522, 524, 525, 595, 613  
Философов Д.В. 549, 613, 619, 694, 710, 712, 714, 773  
Финк В.Г. 610  
Флит Б.Д. (Незнакомец) 600  
Флобер Г. 511  
Фома Кемпийский 531  
Фор С. 674  
Фофанов К.М. 532  
Франк С.Л. 557  
Франс А. 511, 512, 531, 534, 577  
Фриденберг А.Э. *см. Мирногородов Ал.*  
Фрицхен *см. Благов Ф.Ф.*  
Фриче В.М. 616, 617, 697  
Фроленко М.Ф. 525  
Фролов С. 581
- Хантсман Стержес С. 775  
Харламов А.П. 683  
Хачатурян Л.В. 778  
Хедберг Т. *см. Гедберг Т.*  
Хейзе П. *см. Гейзе П.*  
Хейсина-Щегло Л.В. (В.А.Щ.) 665  
Хеллман Б. 508, 681, 783  
Херувимова, актриса 754  
Ходасевич В.Ф. 663, 664  
Храмов, крестьянин 595  
Храневич В. 539
- Цвингли У. 551  
Цедербаум Ю.О. *см. Сергеев Л.*  
Ценский *см. Сергеев-Ценский С.Н.*  
Циллер Й. 776  
Цитрон И.Л. 680
- Ч. 679  
Чайковский М.И. 555  
Чекасин В.Н. 776  
Чернышевский Н.Г. 526, 713, 717, 718  
Четвериков С.И., протоиерей 706

Чехов А.П. 623, 702, 724, 735, 763,  
765, 766  
Чирва Ю.Н. 508  
Чириков Е.Н. 536, 537, 608, 647, 648  
Чистов К.В. 776  
Чистякова 1-я, актриса 755  
Читатель 614  
Чуваков В.Н. 511, 533, 593, 648, 696,  
779, 781, 783  
Чуковский К.И. 548, 549, 563, 609,  
620, 624, 625, 649, 765, 766, 782  
Чулков Г.И. 261, 536, 607, 608, 648,  
652, 689, 694, 703, 744, 745, 767,  
777-779, 782, 783  
Чулкова Н.Г. (Петрова Н.Г.; Степано-  
ва Н.Г.) 261, 777-779

Шалыгина О.В. 507  
Шаховской Ю.Ф. 547  
Шварсалон К.С. 779  
Шведов О. 581  
Швецов А. 575, 576  
Шебуев Н.Г. 748, 749  
Шевченков А. 581  
Шекспир У. 664  
Шеленберг-Гудкова Е. 628  
Шестов Л.И. 782  
Шиллер Ф. 683  
Шмелев И.С. 508, 607  
Шнеур В.К. 666  
Шпитальников Д.Л. см. *Тальников Д.*  
Штирнер М. 677  
Штраус Д. 531, 536, 538, 551, 560  
Штук Ф. 514  
Шубин А. 580  
Шулятиков В.М. 616, 697

Эжже, аббат 533  
Эмбе см. *Бескин Э.Б.*

Эс Пэ см. *Поляков С.Л.*  
Эфрос А.И. 542  
Эфрос Н.Е. (Старый друг) 739

Ю.А. см. *Айхенвальд Ю.И.*  
Южанин А. см. *Иерусалимский А.М.*  
Юж-н см. *Иерусалимский А.М.*  
Юль Юст 547  
Юр. Гр. 602  
Юрьев Ю.М. 678  
Юшкевич С.С. 607, 639

Яблоновский Серг. [Потресов С.В.]  
565, 568, 601  
Якубович П.Ф. (П.Я.; Мельшин) 522,  
524, 607  
Якушев Д.П. см. *Боривой*  
Янковский О.И. 628  
Янов В.М. 753  
Янус 599, 600  
Яцимирский А.И. 535

Bunce см. *Бунс С.*  
Butnaru Val. см. *Бутнару В.*  
Davies R. см. *Дэвис Р.*  
Duncan см. *Дункан*  
Ergo см. *Гинзбург Р.И.*  
Goldscheider E. см. *Гольдшайдер Э.*  
Grierson S. см. *Грирсон С.*  
Hippokrates 683  
Homo novus см. *Кугель А.Р.*  
Ladyschnikow J. см. *Ладыжников И.П.*  
Maquingheu F. 572, 573  
m-eur de Max 572  
Schellenberg-Gudkova см. *Шеленберг-  
Гудкова Е.*  
Solus см. *Арабажин К.И.*  
Wykes W. см. *Уикс У.*

## УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ ИМЕН

- Анна, первосвященник 47–50, 71–73, 296, 297, 304, 305, 312, 573, 583  
Варавва 531, 585  
Иаков, апостол 41, 55, 58, 61, 75, 295, 300, 307, 539, 583  
Иисус Христос 24–30, 32–41, 43–76, 275–278, 280, 281, 283, 285–288, 290–300, 302–306, 308, 310, 311, 336, 382, 392, 481, 485, 486–491, 516, 517, 518, 525, 526, 529, 531, 532, 535, 536, 538, 539, 541–556, 558–571, 573–585, 596, 604–606, 615, 617, 620, 623, 626, 657, 665, 674  
Иоанн Зеведеев (Иоанн Богослов) (Ин), евангелист 26, 28, 30, 34, 36–38, 40, 41, 43–46, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 73–75, 277, 278, 281, 282, 284–286, 289–291, 294, 295, 300, 306–308, 311, 491, 525, 539, 546, 549, 566, 573, 581, 583, 584, 631  
Иоанн Златоуст 531  
Иоанн Креститель 582  
Ирод I Великий 684  
Иуда Искариот (Искариотский), апостол 24–35, 37–57, 59, 60–77, 167, 274–310, 312, 364, 481, 483–491, 525, 528–532, 534–536, 537, 538, 539–556, 558–582, 584, 606, 626  
Каиафа, первосвященник 70–73, 304, 305, 307, 585  
Лазарь (Елеазар) 7–23, 273, 510–513, 516, 525, 526, 582, 684  
Лука (Лк), евангелист 526, 584, 605, 628, 684  
Мария Магдалина 38, 51, 52, 54, 55, 67, 69, 73, 297, 546, 571, 573, 583, 629  
Мария, сестра Лазаря 7, 10, 526, 582  
Марк (Мк), евангелист 584, 605  
Марфа, сестра Лазаря 7, 10, 526, 582  
Матфей (Мф), евангелист 30, 39, 44, 73, 75, 311, 526, 582, 583, 584, 605, 628, 685  
Павел, апостол 538  
Петр, апостол 26–28, 30–32, 34, 36–42, 44–46, 50, 52, 53, 55–62, 73–75, 84, 276–278, 280–284, 286, 289, 293–295, 297–300, 306–308, 528, 529, 539, 548, 549, 573, 581, 583, 722  
Понтий Пилат 66, 67, 307, 549, 573, 585  
Соломон, царь 30, 39, 44, 45, 73, 582  
Фома, апостол 27, 28, 31, 32–35, 37–43, 45, 46, 53, 55, 56, 59, 61, 65, 67, 68, 74, 75, 278, 279–287, 289–296, 298, 300, 306–308, 482–485, 489–491, 529, 539, 549, 573, 582, 583  
Филипп, апостол 36, 41, 286, 583

## УКАЗАТЕЛЬ УПОМИНАЕМЫХ В ТОМЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н. АНДРЕЕВА

- Анатэма 499, 518, 527, 536, 571, 572,  
575, 577, 779  
Баргамот и Гараська 499  
Бездна 633, 647  
Бен-Товит 566  
В тумане 764  
Великан 506, 631, 633–638, 640, 641  
Впечатления *(цикл фельетонов)* 590  
Две женщины на войне 509  
Две сестры *(набросок к рассказу)* 509  
День гнева 536  
День первый 506, 508, 780  
Диссонанс 590  
Дневник Сатаны 536  
Дни нашей жизни 499  
*(Долг и любовь)* 506, 508  
Елеазар 499, 501, 504, 505, 507–509,  
511–514, 516, 517, 519, 520, 521,  
536, 566, 580, 624, 626, 689, 694,  
698, 710, 711, 722, 771, 782, 783  
Жизнь Василия Фивейского 503, 504,  
505, 536, 558, 565, 568, 633, 668,  
671, 672, 695, 741, 761, 766, 773  
Жизнь Человека 499, 501, 504–506,  
508, 516, 520, 527, 550, 557, 558,  
563, 566, 599, 608, 618, 622, 633,  
637, 672, 673, 689, 694–696, 698–  
706, 709–714, 716–722, 725, 727–  
734, 740–754, 757–774, 776, 782  
Жили-были 715  
Загадка 589  
Иван Иванович 504, 507  
Из рассказа, который никогда не будет  
окончен 503, 507, 630  
Иуда Искарот (Иуда Искарот и дру-  
гие) 499, 504–508, 510, 511, 520,  
528, 531, 536, 537, 541, 550, 552,  
556–559, 562–567, 569–577, 579,  
580, 588, 599, 618, 622–624, 626,  
672–674, 762, 765, 783  
К звездам 558, 559, 624, 663, 668, 671,  
672, 678, 694, 695, 710, 713, 717,  
760, 761  
Красный смех 663  
Мои записки 499, 570  
Молчание 715, 764  
Мысль 503, 668, 669  
О писателе 590  
Правила добра 536  
Проклятие зверя 634, 674, 771  
Рассказ о семи повешенных 499, 516,  
536, 559, 566, 626, 771  
Рассказ о Сергее Петровиче 568  
Реквием 500  
Савва 499, 504, 505, 507, 558, 559,  
570, 578, 588, 611, 624, 641, 642,  
645–653, 655–663, 668, 672, 673,  
675–683, 694, 711, 713, 717  
Самсон в оковах 536  
Сашка Жегулев 536  
Свидетель истины 536  
Собачий вальс 500  
Так было 509, 624, 637, 638, 668  
Тьма 499, 505, 507, 508, 536, 537, 551,  
557, 559, 560, 563, 564, 574, 579,  
585, 587, 588, 591–605, 608–627,  
633, 765  
Христиане 508  
Царь Голод 565, 566, 574, 575, 599,  
619, 634, 696, 766–768, 771, 779  
Черные маски 499, 568, 622, 627  
S.O.S. 540

## СОДЕРЖАНИЕ

	Осн. текст	Др. ред. и вар-ты	Ком- мен- тарии
<b>ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ</b>			
Елезар.....	7	273	509
Иуда Искарот.....	24	274	528
Тьма.....	78	313	585
Из рассказа, который никогда не будет окончен...	121	330	630
Великан.....	126		631
<b>ПЬЕСЫ</b>			
Савва.....	131	331	641
Жизнь Человека .....	201	427	686
Смерть Человека (Вариант пятой картины “Жизни Человека”).....	249		
<b>НЕОПУБЛИКОВАННОЕ<sup>1</sup></b>			
День первый .....	261		777
<b>НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ</b>			
⟨Долг и любовь⟩.....	269		780
<b>ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ.....</b>	<b>271</b>		
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>			
“Иуда Искарот”. Критические замечания М. Горького к ранней редакции.....	481		
“Жизнь Человека”. Фрагменты, исключенные театральной цензурой .....	492		

<sup>1</sup> В раздел входят произведения, не опубликованные при жизни писателя (включая посмертные публикации).

	Осн. текст	Др. ред. и вар-ты	Ком- мен- тари
“Жизнь Человека”. Партитура музыки И.А. Саца к постановке в Художественном театре.....	494		
<b>КОММЕНТАРИИ</b>			
Художественные произведения 1906–1907 гг.....	499		
Условные сокращения.....	781		
Указатель имен.....	784		
Указатель библейских имен.....	793		
Указатель упоминаемых в томе произведений Л.Н. Андреева .....	794		

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

*В.Н. Быстров, Н.П. Генералова,  
Р.Д. Дэвис (зам. главного редактора),  
Л.А. Иезуитова, В.А. Келдыш (главный редактор),  
Л.Н. Кен, М.В. Козьменко (зам. главного редактора),  
В.В. Полонский, А.И. Чагин, Ю.Н. Чирва, В.Н. Чуваков*

**Основные тексты и другие редакции  
и варианты произведений подготовили,  
комментарии составили:**

*Г.Н. Боева, В.Н. Быстров, Р.Д. Дэвис,  
Л.А. Иезуитова, Н.А. Казакова, Л.Н. Кен,  
М.В. Козьменко, Ю.Н. Чирва, О.В. Шалыгина*

**Ответственный редактор тома**

*В.А. Келдыш*

**Рецензенты:**

*А.Г. Бойчук, М.В. Михайлова*

*Печатается по решению  
Научно-издательского совета  
Российской академии наук*

**Леонид Николаевич  
АНДРЕЕВ**

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ  
В ДВАДЦАТИ ТРЕХ ТОМАХ**

**Том пятый**

*Заведующая редакцией Е.Ю. Жолудь*

*Редактор М.Л. Береснева*

*Художник В.Ю. Яковлев*

*Художественный редактор Ю.И. Духовская*

*Технические редакторы Т.В. Жмелькова,*

*Т.А. Резникова*

*Корректоры А.Б. Васильев, Т.А. Печко*



Подписано к печати 05.10.2012  
Формат 60 × 90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура Таймс. Печать офсетная  
Усл.печ.л. 51,1. Усл.кр.-отт. 51,1. Уч.-изд.л. 59,8  
Тип. зак. 3399

Издательство “Наука”  
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail. [secret@naukaran.ru](mailto:secret@naukaran.ru)  
[www.naukaran.ru](http://www.naukaran.ru)

Первая Академическая типография “Наука”  
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12/28

